ИВАН МЕЛЕЖ
МИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ИВАН МЕЛЕЖ

МИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РОМАН

В ТРЕХ КНИГАХ

Перевел с белорусского автор

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1973

Проза народного писателя Белоруссии И. П. Мележа заслуженно пользуется любовью советских читателей, его произведения переведены на многие языки народов СССР, издавались в ряде социалистических стран.

За романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» И. П. Мележу в 1972 году присуждена Ленинская премия.

Роман «Минское направление» — первое крупное произведение И. Мележа — впервые был издан в «Советском писателе» в 1954 году.

В этом произведении изображена самоотверженная борьба белорусского народа против фашистских захватчиков. Автор ярко рисует мужество и героизм советских солдат и офицеров, партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне. Суровые будни партизанской жизни и борьбы сменяются в романе то фронтовыми событиями, то изображением оккупированного Минска и действующих в нем подпольщиков.

В романе воссоздан образ советского полководца, генерала армии И. Д. Черняховского.

Готовя роман «Минское направление» к переизданию на родном языке в собрании сочинений, автор существенно дополнил его и доработал. Настоящее издание представляет собой перевод на русский язык этой последней редакции.

М $\frac{733-266}{083(02)-73}$ 221—72

Іван Мележ

Книга первая

ТУЧИ НА РАССВЕТЕ

Земля наша. Белопенные березовые рощи, синевато-дымчатые сосняки на холмистых просторах. Немолчный шепот камышей на Пинских болотах. Стародавние стены Витебска и Турова, новая, величавая краса минских и гомельских улиц.

Спокойны, мирны ветры над твоими полями, над реками твоими. Хороша, прекрасна ты под горячим полуденным солнцем — вся в сиянье, вся в буйном цветенье. Но пройди по тропам, по травам твоим — и увидишь: по всей земле еще — из края в край — ржавь осколков, шрамы полузаросших окопов. Еще будто тянет из лесу дымом партизанского костра... Еще, кажется, не утих стон почерневшей от горя вдовы...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

1

Шабуниха остановилась. Гребля вдруг оборвалась, дальше была топь.

Женщина устало посмотрела вперед: сухой бережок виднелся не ближе чем в сотне шагов. Люди, идущие туда, увязали в топи почти по пояс. Авдотья с жалостью взглянула на дочку, будто хотела убедиться, пройдет ли она. Велела мальчику, старшему своему:

— Андрей, стань с той стороны, возьми Вольку за руку. Помогать будешь ей... Цыц ты! — строго приказала малышу, который непрерывно ныл за спиной.

Авдотья крепче сжала тонкую руку девочки, преодолевая усталость в ногах, во всем теле, молча шагнула за всеми. Ноги сразу ушли выше колен в мягкую жижу. Вскоре она почувствовала под ногами хворост,— это, видно, были остатки гребли, вдавленной в топь.

Брели по топи медленно. Тепловатая жижа охватывала Вольку почти до груди. Девочка, измученная, обессиленно останавливалась, кривила губы, готова была заплакать. Едва сдерживалась. Андрей подбадривал ее:

— Разве это болото! Вот мы на той неделе ловили рыбу, так заходили по шею — и то ничего...

Выбравшись на сухой берег, Шабуниха не спеша вытерла пот со лба, повернулась назад. Неподвижно глядела вдаль. На лице ее с резкими, почти мужскими чертами, с пятнами засохшей крови и грязи застыло неподвижное выражение тревоги и усталости.

Там, куда глядела Авдотья, над лесом клубился дым. Он поднялся высоко, закрыл солнце, темно-серые мутные облака. Казалось, что это не облака, а тоже дым. Все небо затянуло дымом.

Чем дальше уходила Шабуниха от леса, тем увереннее чувствовала себя. Но вместе с тем поднималось в ней беспокойство: «Что там?»

Там, где остались партизаны, где ее Змитро...

Мимо Шабунихи проходили, не останавливаясь, люди, такие же, как и она, Авдотья, усталые, встревоженные, молчаливые. Старые, молодые, женщины, дети, с узлами, без узлов. Порой среди людей послушно брели коровы и лошади, и казалось, они тоже понимают, что творится вокруг.

Болото хлюпало, чавкало, вздыхало.

Снова, уже как бы со стороны, видела: на гребле там и тут лежали люди, лошади, коровы — убитые с самолетов. Горбились брошенные повозки. Заметила: вблизи погибали лошадь и корова, увязшие в трясине рядом с греблей. Замученно дергались, пытались вырваться.

Шабуниха отвернулась, поправила платок, взяла дочь за руку и двинулась дальше.

— Боже мой... Боже мой... — услыхала она рядом с собой и оглянулась на голос.

Увидела старую женщину с худым, изможденным лицом. За плечами у старухи висел узел, видно с домашним скарбом.

— Боже мой... И — куда? Куда — если б знать! .. — спрашивала она, ни к кому не обращаясь.

Авдотья шла молча. Не было никаких мыслей, жаждала только одного — скорее бы дойти. Лечь на траву, расправить одеревенелую спину, дать отдых натруженным ногам.

— Любка! Люба-а! — звал чей-то осипший голос. — Люба-а! А-а-а...

Авдотья увидела неподалеку одинокую девочку. Платье девочки было порвано на плече, тонкие ножки залеплены грязью. Шабуниха потянула ее за острое плечо:

— Это не тебя зовут?

— Нет... — безразлично отозвалась девочка, не взглянув на Авдотью.

— А как тебя звать?

— Воля Рыгорова... Из Заболотья я...

Старуха, жаловавшаяся богу, уже все время брела рядом. Явно старалась держаться поближе, словно нашла надежного попутчика. Авдотья молча приняла ее в попутчики,— тяжело ступая, все время чувствовала рядом старуху. И когда старухи вдруг не оказалось рядом, Шабуниха невольно оглянулась.

Старуха помутневшими глазами глядела на траву, собиралась сесть.

— Что ты?! — с беспокойством возвратилась к ней Шабуниха.— Не надо отставать!

Старуха дышала устало, с хрипом. Некоторое время молчала, будто не понимая, что ей говорят, потом равнодушно покачала головой:

— Все равно... Не могу больше.

Авдотья взяла ее под руку, поддержала. Старуха, почувствовав помощь, немного выпрямилась.

— Пойдем,— сказала Шабуниха сурово, но участливо.— Так легче?

— Легче,— кивнула старуха.

Они вместе побрели по гребле. Потом гребля кончилась, и они пошли по кочкам. Начался чахлый заболоченный лесок, в котором кусты низкорослых олешин перемежались с редкими березками. Молча обошли большую воронку от бомбы, до половины наполненную ржавой болотной водой. На вывороченной земле у дороги лежали убитые с почерневшими лицами. Над ними никто не плакал, никто не ужасался. У каждого свое горе.

Время от времени Авдотья тревожно поглядывала в хмурое небо, недоверчиво прислушивалась, не приближается ли неровный, опасный гул. И вместе с тем все время слышала яростный спор пулеметов, в который раз за разом вмешивались тяжелые, сильные взрывы орудий.

Она снова остановилась и поглядела назад. Там муж, Змитро,— там много знакомых партизан бьются насмерть с карателями.

Удержатся ли? Выживут ли? Грудь Шабунихи сжали страх, тоска. «Змитро, береги себя, смотри!» — исступленно попросила она.

2

Двумя или тремя часами позже рота Шабуни, прижатая к тому же болоту, вела отчаянный бой. Она прикрывала отход бригады. Почувствовав, что главные силы партизан пытаются

уйти, немцы бешено навалились на роту. Одна за другой следовали сильные атаки.

Снаряды и мины со свистом ложились впереди, сзади, сбоку. Содрогалась земля. Взметались темные столбы дыма, остро сверкало пламя. То в одном месте, то в другом взлетали молодые сосенки, вырванные с корнем, кружась, падали в облаках песка. Сыпались срезанные осколками ветки.

Одна мина угодила в ствол сосны. Коротко блеснуло пламя, и дерево переломилось. Тонкая стройная вершина, очертив лапчатой макушкой дугу, опустилась на землю. Остался стоять только ствол с острым белым верхом.

Когда вдруг наступила тишина, Туровец не сразу ощутил ее: в ушах еще звенело. Он отряхнул насыпавшийся за ворот песок, прочистил уши... Было так тихо, что ломило в висках.

От человека к человеку пошло: сестру на правый фланг. Туровец заметил, как Нина, сестра, пригибаясь, от дерева к дереву, пробежала мимо него.

По песчаной опушке, рассеиваясь, полз горький беловатый дым. От него давило в груди, першило в горле.

— Сейчас пойдут... — сказал рядом с Туровцом Шабуня, грузный, с вислыми усами.

В голосе командира роты Туровец почувствовал неприкрытую тревогу. Он невольно взглянул на Шабуню,— тот смотрел вперед, где были немцы. К его вислым усам — почему-то бросилось в глаза комиссару — прилипли комочки песка.

Не отрывая взгляда от переднего края немцев, Шабуня говорил:

— Продержаться бы — пока стемнеет... Снимемся, как только начнет темнеть. Я проведу, я тут хорошо знаю каждую тропинку... — Он запнулся и вдруг выругался. — Пошли... Вот сволота!

Туровец, следивший за полем, увидел в отдалении фигуры солдат. Они были едва заметны на темной зубчатой стене ельника.

Гитлеровцы шли нестройной цепью, то сбиваясь в группки, то расходясь. Если бы не это перемещение, могло бы показаться, что они стоят на месте.

На поле — особенно ближе к лесу — были видны трупы в серо-зеленой одежде — немало трупов,— а гитлеровцы снова шли. Следя за приближающимися фигурами, Туровец чувствовал, как все тело тяжелеет от напряженного ожидания.

— Упрямые!.. Чертово племя! — выругался Шабуня. Это было в третий раз. Третья атака.

Почти не сводя острого взгляда с немцев, Туровец вдруг заметил большого рыжего муравья, что спокойно и деловито полз с ношей по песчаной лысинке меж редких кустиков травы. «Ишь ты! — удивился мельком комиссар.— Тут, кажется,

конец света, а он и не замечает вроде. Мол, какое мне дело до вас, у меня свои заботы! ..»

Внезапно из ельничка, откуда вышли солдаты, вынырнула приземистая, похожая на черепаху машина и, покачиваясь с боку на бок, обгоняя пехотинцев, двинулась в поле. Следом за ней появилась другая.

— Танки! — крикнул кто-то.

Шабуня бросил на Туровца быстрый взгляд, в котором были заметны беспокойство и тревога. Он будто искал у Туровца поддержки. В следующую минуту Шабуня уже командовал:

— Бронебойщики-и-и... по танкам!.. Приготовить гранаты!...

Впереди одной из машин сверкнул огонь, и над опушкой низко, со свистом распарывая воздух, пронесся снаряд.

Туровец схватил две гранаты, лежавшие в ямке меж корневищ, крикнул на ходу Шабуне: «Я в первый взвод!» Пригибаясь, спеша, побежал между деревьями. Слышал: совсем рядом шугануло еще несколько снарядов, но Туровец не бросился на землю. Уже когда упал возле партизана из первого взвода, услышал вблизи выстрел бронебойки. Бронебойщик, с мокрым от пота виском, дрожащими, торопливыми руками перезарядил ружье и прирос к нему, не сводя глаз с цели.

Убитого командира взвода заменил Василь Крайко, голубоглазый, белокурый парень в немецком офицерском мундире и пилотке со звездочкой.

— Ну что, солдаты, припекает? — нарочито весело спросил Туровец.

Василь ничего не ответил. Комиссар бригады осторожно выглянул из-за комля сосны,— танки, приземистые, зловещие, упорно приближались. Они двигались медленно, очевидно потому, что боялись оторваться от пехоты, следовавшей за ними.

— Дай вперед человека с гранатами,— сказал комиссар.

По выражению лица Василя Туровец видел, что тот понимает, какой человек нужен. Значит, не надо говорить, что этот человек может и не возвратиться оттуда, но что послать его необходимо. Он должен остановить танк, не пропустить сюда.

Внезапно Туровец заметил, что кто-то из партизан вскочил и бросился к зарослям позади. Он мгновенно оглянулся: партизан бежал, втянув голову, трусливо спасался.

Туровец, быстрый и решительный, вскинул автомат.

— Куда? Стой! — жестко крикнул он. Дал очередь. Предупредил: если тот не послушается,— расстреляет. Не колеблясь.

Беглец нерешительно присел.

— Назад!

Тот неохотно подчинился, согнувшись, опасливо поглядывая, побрел на свое место.

— Эх ты, вояка! — язвительно, громко сказал Туровец.— Танков испугался! Не видел их никогда?

В это время он услышал радостный возглас Василя. Не понимая еще, что случилось, повернулся к нему. Парень, не сводя глаз с поля, радостно, ошалело крикнул:

— Горит!

Один танк стоял неподвижно и густо дымил. В рядах карателей, шедших за ним, было замешательство. Некоторые уже лежали, беспорядочно отстреливались, оглядывались.

Второй танк тоже приостановился. Но сразу же открыл по опушке яростную, беспрерывную стрельбу. Потом, взревев, рванулся с места и, как разъяренный зверь, помчался к опушке. В ответ ему торопливо застучали бронебойки.

Схватив гранаты, Крайко выглянул из-за дерева, выбрал удобный момент и вьюном, спеша пополз вперед.

— Почему сам? — хватился, попытался остановить его Туровец.

Василь уже ничего не слышал. Он полз, прикрываясь кустами, иссеченными осколками, буграми вывороченной взрывами земли...

— Гра-на-а-а-ты! — крикнул Туровец, но в грохоте стрельбы его никто не услышал. Он поспешно вставил в гранату запал и, сжав ее, поднял, показал всем.

Тревожно оглядел партизан, как бы проверяя, не подведут ли.

В перерывах между очередями все более грозно слышался нарастающий рев танка. Земля дрожала. Туровец выглянул — танк шел не на его позицию, а отклонился, направлялся примерно туда, где находился командный пункт Шабуни. За танком попыхивал дым и тянулось облачко песка.

Мало кто видел, как из воронки, у срезанного куста, сбоку от танка, метнулась белобрысая голова, быстро вскинулась рука. Они сразу же исчезли, и почти тотчас из-под гусеницы коротко всплеснуло пламя. Едва слышно прозвучал взрыв. Но танк вдруг странно и резко качнулся. Подкинул корму, осел на один бок. С разбега он сделал крутой поворот и повернулся к опушке тыльной стороной. Будто собираясь возвратиться.

Уловив обостренным слухом, что пулемет бьет не в его сторону, Туровец выглянул. Танк стоял как вкопанный, накренившись, окутанный пылью и дымом. Башня его быстро поворачивалась, и вскоре из нее снова ударил пулемет. Танк оборонялся в ожидании пехоты. Но партизаны перед ним располагались на довольно широком пространстве, с ними тяжело было справиться. Башня танка непрерывно двигалась. Он напоминал ра-

неного зверя, который уже не может кинуться вперед, но еще имеет силы огрызаться.

В него с разных сторон бросали гранаты, большая часть которых не долетала. Обрадованно били из бронебоек и винтовок.

Танк начал дымиться. Дымок тянулся вначале скупыми струйками. Потом на башне поднялась крышка люка и вместе с клубами дыма, стремительно вырвавшегося вверх, из танка вывалился танкист.

Теперь весь огонь был направлен на пехотинцев, приближавшихся к своей машине. Солдаты не остановились, не замедлили бега, еще напористей кинулись вперед. Вот они уже обошли машину. Они все ближе, ближе. Уже отчетливо видны их злобные, потные, разгоряченные лица, мокрые, слипшиеся волосы...

Они уже около самой опушки!..

То, что было дальше, запечатлелось в памяти Туровца бессвязными, спутанными обрывками. Короткой очередью он в упор убил солдата и вдруг обнаружил, что диск опустел. Сбоку на него набежал гитлеровец, выставил автомат, и, наверное, Туровец не успел бы уклониться, но кто-то из партизан в этот миг ударил автоматчика прикладом по голове.

...Едва немцы начали отступать, Туровец, будто подхваченный волной, выскочил из леса. Он чувствовал себя сильным и легким.

— Первый взвод! За мной!

Не оглядываясь, он бросился за отступающими, чувствуя, что партизаны двинулись следом...

Только после того, как, тяжело дыша, радуясь победе, стали возвращаться, Туровец заметил, что левая рука его ноет и рукав набряк кровью. Кровь забрызгала гимнастерку и брюки. Он почувствовал, что рука стала странно тяжелой. Поддерживая ее здоровой рукой, Туровец направился к окопу.

— Давайте я перевяжу, товарищ комиссар,— неожиданно услышал он голос Василя Крайко.

Туровец сразу обернулся, обрадовался: живой и даже не ранен!

Василь стал перевязывать Туровцу рану. Парень еще горел от волнения, и руки его плохо слушались.

— Дали мы им, товарищ комиссар! Больше, наверно, не сунутся.

— Не сунутся, говоришь? Черт их знает, сунутся или нет,— ответил комиссар.— А что дали, то дали! По-настоящему всыпали.

— Полной меркой!

Туровец огляделся. Всюду были следы недавней схватки. Вблизи лежал убитый каратель, другой, чуть дальше, корчился в предсмертной агонии. Рядом с ним, запрокинув голову, широко открыв в страшном крике рот, лежал убитый партизан, совсем еще молодой, почти мальчишка. Он, казалось, еще кричал о боли, о предсмертной муке. Когда Туровец увидел это, он помрачнел, радость его угасла. Сразу сильнее заныла рана,— не там, где была на самом деле, а выше, в локте.

В это время он уловил, что кто-то сказал:

— Командира роты убили...

— Кого? — тревожно встрепенулся он. — Шабуню?..

Придерживая раненую руку, Туровец побежал к Шабуне.

Змитро лежал на траве, гимнастерка его была задрана, и страшно белел живот с тоненькой струйкой крови. Туровцу бросилось в глаза: Змитро стал странно не похож на себя. Лицо было бледное, бескровное, как у мертвого; вислые рыжеватые усы казались редкими, в них все еще виднелись застрявшие песчинки. Глаза были закрыты.

Около него, на коленях, испуганно глядя на белый его живот, на маленькую, почти незаметную ранку, стояла Нина.

— Что у него?

— Пулевая. В живот... — шепотом ответила она.

Комиссар быстро наклонился к Шабуне, взял его за руку и почувствовал тихое, слабое биение пульса.

Шабуня устало, с усилием открыл глаза, но взгляд его был чужим и невидящим. На мгновенье глаза остановились на гимнастерке комиссара, потом безразлично глянули куда-то в небо и закрылись.

Нина вынула бинт, начала делать перевязку. Перевязывала она медленно, осторожно, боясь сделать больно, лицо ее при этом подергивалось от боли, будто раненой была она сама.

Туровец одной рукой помог ей повернуть Шабуню на бок.

Шабуня застонал от боли и очнулся. В тусклом взгляде мелькнуло беспокойство. Туровец наклонился к нему.

— Ну что... фрицы?..

— Отбили, Змитро. Отогнали фрицев. Еле смылись, гады. Показали пятки. А многих положили здесь, навсегда. Оба танка сожгли.

— Отбили, — повторил Шабуня и, помолчав, как бы собираясь с мыслями, произнес тихо: — Жаль...

— Чего жаль? — не понял Туровец.

— Не вовремя. Жаль...

Шабуня снова закрыл глаза. Туровец положил ему под голову свернутый пиджак, чтобы удобней было лежать, и, подумав, приказал ребятам вынести Змитра за лесок, к болоту, где были все раненые. Нине сказал:

— И ты иди туда, смотри за ним. Сделай все, что можно...

Скорбно посмотрев вслед Шабуне, Туровец подозвал Дрозда, щупленького, краснолицего человека, командира второго взвода, приказал принять роту.

Присев потом возле дерева, опершись спиной о шершавый раненый ствол, чтобы передохнуть, он неожиданно услышал, как в перерывах между выстрелами мирно шумят-гудят вершины сосен да где-то долбит сухое дерево дятел: дук-дук-дук-дук.

Солнце опускалось за край поля. Подпалив край, оно, казалось, вот-вот могло зажечь все поле. Поле как бы пламенело.

Туровец думал о том, как он будет с партизанами выбираться отсюда, с этого клочка земли. Им теперь остался один путь — по болоту, по незнакомым гнилым тропам. Карта тут мало чем может помочь, на ней видно только огромное, с голубыми черточками пятно. Она не говорит о том, где и как здесь можно пробираться усталым людям, которым надо нести на себе раненых и оружие.

«Тут же где-то Дрозд работал до войны! Недалеко от этих мест!» — вспомнил он. Туровец приказал позвать Дрозда. Когда тот подошел, спросил, хорошо ли знает местность, сможет ли ночью провести через болота.

— Тяжеловато, Ничипор: очень разлились они, болота...

— Разлились...

— Ну ничего, — успокоил Дрозд Туровца, — думаю, что выведу...

3

Как только стемнело, Туровец дал приказ отходить. Люди среди сосен сразу зашевелились, стали вылезать из ямок, из-за деревьев, потянулись с опушки в лес, к спасительному болоту.

По тихим, приглушенным голосам, что сразу оживились, Нина Лагунович почувствовала, как обрадовались люди приказу. Они мало думали о том, что будет завтра; это, казалось, было где-то далеко, до этого надо еще дожить. Их больше волновало близкое: вот пойдут — и не будет сейчас тревоги такой и смерти.

Вечер был тихий и теплый. Каратели отдыхали. Из-за ельничка доносились чужая пьяная песня с выкриками да время от времени пулеметные очереди дозорных, должно быть скучавших в одиночестве.

«Ну вот, Алексей, мы и закончили день! Нелегкий это был день», — проплыло в Нининой голове. Он давно был далеко, ее Алексей, ее друг, ее муж, но она все время чувствовала его рядом и часто, в горе ли, в радости, будто говорила с ним.

Давно не виделись Нина и Алексей. Он ушел в армию еще до войны, зимой, когда Нина училась в университете, на последнем курсе. Только полгода они и прожили вместе. Зато

какие это были полгода: у других, наверное, за всю жизнь не было столько счастья, сколько у них за те скоро улетевшие месяцы.

С первого военного дня от него не было никаких вестей. Вначале она знала, что он где-то на фронте, может быть совсем недалеко от нее, от Минска, ведь его часть была под Брестом. Когда Минск начали бомбить, ей очень не хотелось покидать дом, куда он мог вдруг забежать или послать весточку. Лишь на пятый день этих ужасных бомбежек Нина вышла из города, надеясь добраться до Могилева, а оттуда поехать к родственникам, жившим под Москвой.

Но уйти она смогла недалеко: впереди немцы высадили десант. Пришлось вернуться в Минск...

В тот страшный год у нее родилась дочка... И тогда, когда каждый день и час в оккупированном городе таили опасность, и позже, когда она жила в отряде, все эти три долгих года разлуки, Алексей неизменно был с ней. Он поддерживал, укреплял, обнадеживал.

Делая что-нибудь, Нина обычно думала, как бы на это посмотрел Алексей. И когда казалось, что он был бы доволен, довольной была и она.

Где ты сейчас, Алексей?!

...Она уходила все дальше в лес, в котором попадалось еще немало воронок. Ноги и здесь цеплялись за срубленные ветки.

Стала спускаться с пригорка вниз и вскоре очутилась на мягком, в кочках, лугу. Звук шагов, заметила Нина, сразу изменился: не было больше слышно треска сухих веток, ноги однообразно шуршали в высокой некошеной траве. В лицо пахнуло холодной болотной сыростью.

Сумрак быстро сгущался — закрывал не только росшие поодаль кусты, но и траву под ногами. «Как они ведут в такой темноте?» — мельком подумала Нина про Туровца и Дрозда, которые шли впереди.

Все брели молча,— чувствовалось, что люди очень устали. Слышался только шелест травы под ногами да иногда резко звякало железо.

Скоро местность, по которой шли, ухудшилась — земля под ногами покачивалась, прогибалась. Все чаще стали проваливаться, чавкать грязью. Началась трясина.

В одном месте под ногами, под болотной жижей, Нина почувствовала хрупкий скользкий пласт. «Лед еще...»

Партизаны, несшие Шабуню, часто останавливались, делали передышки. Шабуня был полнотелый, тяжелый.

Наверное, от ночной прохлады к нему вновь вернулось сознание.

— Кто ведет роту? — превозмогая боль, спросил он.

— Дрозд...

— Дрозд?.. — Он помолчал, попросил позвать Туровца.

Туровец вскоре подошел.

— Ничипор, ты?.. Прошу... — Шабуня говорил не так, как обычно, а прерывисто, с придыханием. — Позаботься, Ничипор, о моих... малышах... Передай жене... — Он помолчал, то ли раздумывая, то ли собираясь с силой, но, так и не договорив, что передать, спросил: — Ты слышишь?

— Слышу, Змитро, слышу!

— Ничипор...

— Что?

Он вдруг тихо, решительно произнес:

— Оставь меня...

— Почему это — оставить?

— Хватит, Ничипор... мучить людей...

Шабуня спокойно закончил:

— Мне все равно мало осталось.

Нина знала, что Шабуня проживет недолго. Знала она и то, как мучительно страдал он от боли, и с уважением отмечала, что, когда был в сознании, он не стонал. Только если было очень больно, ругался.

Нина ждала, что́ Туровец ответит на просьбу командира роты. Успокоит, попробует убедить, что он выживет? Скажет неправду, которой поддерживают слабых и доверчивых?..

— Не говори глупостей, Змитро! — нарочно неласково, строго, как бы приказывая, произнес Туровец.

Нине понравилось обращение Туровца с Шабуней. С Шабуней иначе нельзя.

Будто подтверждая свои слова, Туровец здоровой рукой взялся за ручку носилок, Шабуня попробовал возражать, но неожиданно забормотал что-то непонятное: начался бред.

Впереди тускло засерела широкая полоса воды.

«Что это? — стала вглядываться Нина.— Разлившееся болото? Или речка, может?» Увидев, что Дрозд послал двух человек в разведку, Нина нащупала кочку и опустилась на нее. Воспользовались остановкой и другие партизаны: тоже рассаживались, где удалось, тихо переговаривались.

— Давайте сюда! — позвали вскоре из темноты.

Все зашевелились, отряд вытянулся вдоль водной полосы. Это, оказалось, была разлившаяся речка. «Видно, Турейка»,— подумала Нина.

Прежде всего стали переправлять раненых. Речка была довольно глубокая, и носилки с ранеными приходилось держать на плечах. Когда первые перебрались на другую сторону, Нина тоже вошла в воду.

С каждым шагом Нина опускалась все глубже.

Поверхность воды уже доходила до груди, а дно все понижалось. Вода была такой холодной, что у Нины захватило дух.

«И как это никакая хворь не одолеет меня?» — невольно подумала она.

Когда вышла на берег, казалось, что вся оледенела. Всю трясло от холода. Одежда хлюпала и прилипала к телу.

Сразу быстро пошли дальше, стараясь в движении согреться.

4

Повеял живой ветерок: начинало светать. Холодная апрельская ночь кончалась, но небо на востоке, затянутое тучами, было темным, угрюмым.

Туровец разрешил остановиться. Люди, усталые, обессилевшие от бессонницы и трудного пути, сразу падали на землю и засыпали, слышались лишь время от времени глухой стон раненого или крепкое соленое слово, которым кто-то пытался облегчить боль.

Люди спали, хотя вскоре пошел сильный дождь, и редкие, с нежной листвой ветви деревьев над головой не защищали от воды.

Присев возле куста, Туровец тоже попробовал заснуть, но у него так болела голова и горели глаза, что сон не приходил.

Какое-то время спустя ветер разогнал тучи и дождь затих. Сразу посветлело. Видимо, уже взошло солнце, но оно не могло пробиться сквозь тучи, затянувшие небосвод.

Теперь, когда беспокойство унялось, Туровец стал острее чувствовать, как ноет раненая рука.

Повязка за ночь сдвинулась, намокла от дождя, бинты скрутились, как жгуты. Туровец поправил их другой рукой так, чтобы они лучше прикрывали рану. «Хоть бы не было гангрены. Эти эскулапы, не задумываясь, могут отхватить руку».

Туровец сел на траву и, стараясь не задевать раненую руку, снял сапоги, вылил воду. Выкрутил портянки, прижимая один их конец ногами к траве. С непривычки устал, пока переобулся...

Он немного отошел от того места, где спали все, отыскал маленькую лужу. Ее окружали с трех сторон кусты. На ветвях ольхи из только что лопнувших почек выглядывали острые, свернутые листочки, окропленные утренней росой.

Вода была такой прозрачной, какой она бывает только в лесу и весной. В ней, как в самом лучшем зеркале, отражались кусты и хмурое небо.

Туровец остановился на самом бережку, среди светло-зеленой мокрой травы, мягко стелющейся под ногами. Склонился над водой, увидел себя: похудевшее, заросшее лицо, черные как смоль, спутанные волосы. Не было времени и побриться!

Стараясь не потревожить раненую руку, зачерпнул горстью воды и брызнул в лицо. Когда, отряхнув капли с лица, он отступил от лужи и вытерся краем сырой нижней рубахи, почувствовал себя бодрее.

Из-за ближних кустов вырвалась и прошумела стайка уток: фр-фр-фр-фр. Он проводил их взглядом, невольно по привычке определяя, на сколько надо бы «вынести» ствол ружья.

«Кряквы. Уток в этом году уйма».

Он был заядлым охотником, но мысли об утках сразу отошли: не до того, не до них. Вспомнил: эх, Змитро, Змитро...

На какую-то минуту тучи на небосводе раздвинулись, и из них с любопытством выглянуло солнце. На мокрых от росы кустах, на траве заиграли утренние лучи. Солнечный луч будто проник в сердце Туровца, в котором стоял мрак минувшей ночи.

Туровец почувствовал, что очень голоден.

Он поискал в карманах. Не было ни одной хлебной крошки. Стал вспоминать, когда ел в последний раз — он наспех, кое-как подкрепился вчера утром, а потом все — бой, бой, заботы, не было минуты подумать о еде...

Печалился ли о Шабуне, отгонял ли боль в руке, все время беспокоило одно, главное: «Что с бригадой? Что с другими отрядами?»

Бригада должна была перебраться через болото и сосредоточиться в Загальском лесу, так было договорено с Ермаковым. Но все ли благополучно переправились, в каком положении отряды, готовы ли к бою, какое настроение у людей после вчерашнего дня — об этом можно было только гадать. Он ничего не знал о бригаде и в таком состоянии вынужден был сидеть в каком-то болоте, мучиться неизвестностью!

К нему со странным, виноватым лицом подошла Нина и, не глядя в глаза, сказала:

— Шабуня... умер.

Хотя известие, которое принесла Нина, Туровец со страхом ожидал, оно все же вызвало у него чувство горечи и беспомощности. Ни слова не говоря, Туровец встал, побрел за Ниной.

Шабуня лежал вытянувшись, неподвижный и непривычно спокойный. За ночь он так похудел, что его трудно было узнать, усы обвисли ниже, делали лицо уже и длиннее.

«Не вовремя... жаль», — вспомнилось вдруг Туровцу. Вспомнилось, что совсем недавно Шабуня беспокоился, как будет добираться к своим...

— Иди, отдохни, — взглянул Туровец на Нину. — Скоро пойдем.

Склонился, поцеловал товарища, почувствовал на щеке мягкое прикосновение усов. Вынул из его кармана партбилет,

остальные документы. Осторожно, будто боясь разбудить, накрыл палаткой.

Как-то не верилось, что Шабуня умер. Командир роты был одним из тех, кто вместе с Туровцом создавал бригаду. Туровцу обычно представлялось, что Шабуня всегда, непременно будет с ней.

И вот Шабуни уже нет...

Горькая тоска сжала горло Туровца, наполнила его сердце, и от этого все вокруг снова померкло. Растерянный, разбитый, он пошел, не выбирая дороги, лишь бы идти, все не мог успокоиться.

Он натолкнулся на часового. На посту был командир Крайко, тот, что подорвал танк. Он стоял, прислонившись спиной к невысокой болотной березке.

— Не спится, товарищ комиссар? — вывел парень из забытья Туровца. — И мне тоже — ну, правда, не хочется спать. Хоть и автомат из рук валится.

Было заметно, он обрадовался, что есть с кем поговорить, что можно нарушить нудное, тягостное молчание, окружавшее его.

— Командир умер, — сказал Туровец.

— Умер... — отозвался Крайко. — Эх!

В этом «эх» Туровец почувствовал безутешную обиду и боль.

— Хороший командир и человек был... незаменимый.

Василь несколько минут молчал.

— Товарищ комиссар, — порывисто сказал он, — а если я... подам в партию, могут принять?

— Принять?.. Думаю, могут...

— Вы знаете,— заговорил доверительно Василь,— я давно хотел сказать вам об этом, да как-то не осмеливался. В партию ведь людей особых принимают. Не то что честных, а особых — самую гвардию... А теперь — подам...

— Подавай.

— Не может быть, чтоб не приняли, а? Я этих сволочей буду так бить, так бить!..

5

Разбудив нескольких партизан, Туровец попросил их вырыть на небольшом пригорке, вблизи двух березок-близнецов, могилу для Шабуни. Он попробовал и сам копать, но делать это одной рукой было трудно, и он отдал лопату. Отойдя немного в сторону, Туровец снял гимнастерку и раскинул на кустике, чтобы высохла.

Солнце поднялось над обложившими небо тучами, и все вокруг празднично сверкало. Было удивительно свежо и чисто. Такие утра, знал Туровец, бывают только весной; они поднимают человека — сам воздух такой, что вливает в человека силы.

В это время Туровец заметил, что проснулся Гречка. Со вчерашнего дня комиссар с особым вниманием приглядывался к Гречке: все помнилось Туровцу, как тот в трудную минуту кинулся в кусты, бросил всех. Обратил внимание Туровец и на то, что Гречка все время спал тревожно, стонал во сне и просил о чем-то.

Гречка сел, почесал голову, огляделся вокруг сонными глазами. Как только взгляд ожил, лицо его страдальчески омрачилось. Он почувствовал, что за ним следят, и повернулся к Туровцу— комиссару показалось, что он хочет о чем-то спросить, но не решается. Когда Гречка оглянулся, Туровцу вдруг вспомнилось, как он смотрел вчера, когда очередь автомата остановила его.

Гречка встал, отошел немного и вдруг увидел Шабуню. Быстро, почти испуганно отвернулся от покойника, подался прочь. Через какое-то время он возвратился, но не подошел, остановился в отдалении, как бы в глубоком раздумье. Туровец видел меж кустов лозняка сосредоточенное, чем-то озабоченное лицо. О чем он думал?

Гречка снова лег, но не заснул и скоро опять поднялся. Достав из кармана кусок хлеба, стал тяжело жевать. И все хмуро молчал, углубившись в какие-то свои раздумья.

Туровец приказал ему будить всех.

Нина долго не могла очнуться.

— А-а? Встать? Хорошо, сейчас,— бормотала она, не открывая глаз, а когда Гречка отошел, снова заснула.

Во второй раз Гречка был более настойчивым, не отошел до тех пор, пока она не встала. Трудно было Нине раскрывать непослушные веки, утренний, сияющий свет резал невидящие хмурые глаза. Может, лучше бы было, если б она не ложилась совсем.

Уже почти все собрались, и Нина, как только одолела сон, заспешила, чтобы не отстать от остальных. Поскорее умылась, вытерла лицо и руки полотенцем, торопливо причесала взлохмаченные, слегка вьющиеся волосы.

Шабуню хоронили молча и просто. Прощального залпа не было, где-то поблизости могли таиться немцы. Не было слез, всех тревожила неопределенность положения.

— Надо быстрей искать своих,— сказал Кривец, пожилой пулеметчик, когда на свежем сером холмике Дрозд поставил столбик.— А то как пчелы, что отбились от улья.

Гречка мрачно отозвался:

— А что там — еще неизвестно. От бригады, наверное, остались рожки да ножки.

Туровец, уже ожидавший команды Дрозда трогаться в путь, иронически спросил у Гречки:

— Откуда у тебя, приятель, такие сведения?

Прилаживая мешок за плечами, Гречка поднял взгляд на комиссара, требовательно спросил:

— Где же бригада?

Туровец заметил, как все умолкли, ожидая ответа.

— Бригада там, где надо,— произнес он спокойно и твердо.— А тебя, приятель, прошу язык за зубами держать, чтоб не болтал глупостей. Соображать надо прежде.

— Со своими соединимся — легче будет,— поддержал Туровца Кривец.

— И другие так же... драпают, — не сдержался Гречка. Ни на кого не глядя, он пошевелил плечами, проверяя, удобно ли сидит мешок, взял в руки винтовку.

Но тут к нему порывисто шагнул Василь. Сжав автомат, Василь вонзил в Гречку безжалостный взгляд голубых глаз, горевших от гнева и возмущения.

— Что? М-мы драпаем? — заикаясь от волнения, спросил Крайко с угрозой. Готов был, похоже, немедля сцепиться в драке.— М-мы драпаем?

Нижняя, по-юношески припухлая губа его дрожала. Гречка беспокойно огляделся вокруг, ища поддержки, но встретился с настороженными, неодобрительными взглядами.

— Ну, не драпаем, не драпаем... Воюем!.. Привязался!..

— Сам — драпаешь, так и говори о себе!

Внимательно следивший за этой сценой, Туровец приказал выступать. Лучшего ответа Гречке и не требовалось. «Раскис сам, да еще над другими каркает!» — подумал Туровец с неприязнью, решил: надо будет присматривать за Гречкой.

Крайко с явной неохотой отступил от Гречки, с силой забросил автомат за плечо.

— Драпают! Ишь ты, зараза...

Он долго не мог успокоиться.

Неприятное воспоминание о разговоре с Гречкой не покидало и Туровца.

Немного погодя, будто проверяя настроение людей, он оглянулся и увидел невдалеке Нину. Туровец заметил: светлое, с девичьими чертами лицо ее, на которое выбивалась из-под платка прядка цвета спелой ржи, за эту ночь осунулось и посерело. Она шла за ним, глядя на следы, будто боялась сбиться с тропинки. Ступив шаг в сторону, он пропустил несколько человек мимо себя. Пытливо осматривая проходящих, Туровец встретился взглядом с Василем. От чистых, доверчивых глаз

парня, от возвратившегося ощущения того, что эти люди готовы на все, неприятное недоверие угасло.

Вдруг впереди, там, где шел передовой дозор, послышалась автоматная очередь и несколько отдельных выстрелов.

Все сразу остановились. Вокруг них был частый кустарник, над которым кое-где возвышались рослые осины и ольха.

Туровец послал Василя Крайко узнать, что случилось.

Перестрелка усилилась, и Туровец, не ожидая Крайко, стал пробираться среди кустарника вперед, держа автомат наготове. По пути он встретил Василя, что возвращался назад. Крайко сказал, что партизаны натолкнулись на группу немцев.

— Сколько их?

— Трудно определить. Не видать их. Прячутся в зарослях... Но если судить по стрельбе, их немного...

— Если судить по стрельбе? — У Туровца была привычка переспрашивать. Переспрашивая, он смотрел на говорящего, как бы желая еще о чем-то узнать.— Ну, брат, это риск. Или — или...

Возможно, это была всего лишь одна из бродячих десантных группок, какие гитлеровцы часто посылали в районы блокады, чтобы вызвать больше паники. Но очень верить в это не приходилось, потому что часть карателей могла до поры до времени сидеть тихо или находиться где-нибудь неподалеку. Немцы, наверное, также ничего не знали о силах партизан: получив отпор, они не высовывались, ограничивались стрельбой.

Туровец и Дрозд решили не ввязываться в бой, он не обещал ничего хорошего. Люди устали, патронов и гранат мало, а самое главное — надо быстрей добраться до своих.

Не ожидая, пока гитлеровцы опомнятся, Туровец приказал отходить — обойти немцев.

Перебегая от куста к кусту, пользуясь этим прикрытием, партизаны начали торопливо удаляться от места стычки. Вскоре выстрелы стали слышаться справа, передвигаться назад, потом совсем затихли. Немцы не осмелились идти за ними, а может, потеряли след.

Как бы там ни было, отошли удачно. Но когда через несколько километров, продравшись через кустарник, выбрались в сосновый лес и на привале проверили людей, обнаружили, что пропал Гречка.

— Кто знает, что с ним? — спросил Туровец, окидывая взглядом сидящих и лежащих вокруг людей. — Он не был ранен?

— Здоров был... Да его около немцев и близко не было. Я видел, он остановился переобуть сапог.

— Удрал, з-зараза, — сказал с уверенностью Василь, — ручаюсь, удрал.

Добрый, жалостливый пулеметчик Кривец, затянувшись папиросой из листьев, возразил:

— Скажешь! Видно, отстал где-нибудь или заблудился.

II

Гречка был далеко.

Когда завязалась перестрелка, он почувствовал, что в эту минуту, может, решается судьба, что, если сейчас же не смотаться куда-нибудь, дело может кончиться плохо. К тому явно шло все в последние дни, в блокаду. Он чувствовал это не первый день, но вчера понял все особо отчетливо. Дураком надо было быть, чтоб не понять этого. Он понимал и со вчерашнего дня только и думал о том, как бы смотаться, спастись, пока не поздно.

Об этом он думал все время, но все не отваживался, да и не было удобного случая. Теперь же опасность придала ему решимости. Он видел, что надо действовать немедленно, со страхом и нетерпением ждал подходящего момента.

Как только достаточно отошли от немцев и пули перестали свистеть над головой, Гречка остановился.

— Переобуться надо! — пробормотал он больше сам для себя, так как его никто не слушал, никто не спрашивал. — Эх, черт, всю ногу натер рубец!..

Оставшись один, немного переждав, он с недоверием прислушался, осторожно, с опаской огляделся, не следят ли за ним. Убедившись, что никто не следит, что он один, Гречка, вначале на четвереньках, пригибаясь, стал отступать в сторону от тропки, по которой ушли другие. Потом выпрямился и, уже не сдерживаясь, не прячась, побежал, будто спасаясь от погони. Он не выбирал дороги, обдирая лицо, ломился напрямик, сквозь упрямые ветки лозняка, ольшаника.

Только выбившись из сил, задохнувшись, остановился и огляделся вокруг.

Сзади в отдалении еще слышались выстрелы, но здесь было тихо. Спокойно, мирно.

Хотя листва еще только распускалась, его обступал полумрак. Летом в этом месте, должно быть, совсем темно. Чаща.

Он пошел медленнее. Сердце его от недавнего бега, от пережитого волнения еще бешено колотилось.

Гречка полез через гнилой, скользкий валежник, глубже в заросли.

Бояться теперь, кажется, нечего...

На сломанном, наполовину сгнившем дереве, с которого уже клочьями облезла кора, присел отдохнуть.

Сейчас, когда с отдыхом пришло ощущение легкости, свободы, он увидел в своих руках винтовку, которую до сих пор неизвестно зачем держал. Гречка удивленно повертел ее, будто впервые разглядывая. Его вдруг охватил приступ злобы на нее, с которой было связано столько тяжелых переплетов, которой он вынужден был служить, которую таскал на себе, натирая плечи. Он изо всех сил стукнул ложей о пень. Потом размахнулся и бросил в кусты.

Неспокойный взгляд его перебежал на полотняную сумку. Он открыл ее, в глаза весело блеснули патроны — их было десятка полтора. С тем же злорадством, с которым бросал винтовку, он по одному вынимал их и подошвой сапога с силой втаптывал в мокрую черную листву.

Когда увидел, что сумка опустела, его тронуло запоздалое, бессмысленное сожаление: еще недавно он тревожился, что в ней было мало патронов.

«Нема дурных лезть в петлю»,— подумал Гречка, чувствуя в себе прилив упорства, злобы. Идти на смерть свою, на погибель!.. Нет, нема дурных!..

«Пусть идут те, у кого нет головы, кому надоело жить».

А он не пойдет.

Он хочет жить.

Одному, что ни говори, легче спастись. Любая нора, любое вывороченное дерево тебе убежище, никакой черт тебя не найдет, если ты один. А то ползет такой хвост, столько народу — все время на виду, как какой-нибудь табун...

Ну, вот и обошлось все, слава богу. Кажется, смотался так, что не заметили. Не заметили. А если и заметили, не страшно, им теперь не до него, им свою шкуру спасти бы, не до него, конечно...

Однако, несмотря на все эти, столь трезвые, надежные рассуждения, беспокойство почему-то не оставляло его.

Вдруг он вздрогнул: показалось, что из полумрака, из-за сплетения ветвей кто-то следит за ним.

Он тревожно оглянулся. На кривой ветке, взмахивая крыльями, сидела черная, с длинным клювом птица, следила за ним острым хищным глазом.

Гречка подрагивающими руками схватил скользкий сук и яростно швырнул в нее. Птица неохотно взлетела. «Черт тебя принес сюда, образина!»

Гречка начал обдумывать, как быть дальше.

Здесь неподалеку его деревня, его хата. Он зайдет к жене, наберет хлеба, сала и пересидит опасность. А там, там будет видно.

Как-то надо переждать лихую годину.

Он поднялся и, прислушиваясь к окружающему, двинулся туда, где, по его расчету, была деревня.

ГЛАВА II

I

Дорога была трудная: то увязали в болоте, то продирались сквозь чащу, то вброд тащились через какие-то речки, заросшие аиром и осокой. Не только раненые, но и здоровые партизаны выбились из сил. А самым неприятным было, наверное, то, что начал мучить голод: больше суток ничего не ели.

Время от времени отчетливо слышались выстрелы пушек. Над головой с напряженным воем, от которого стопала земля, шли тяжелые бомбардировщики. Были отчетливо видны тупорылые стеклянные носы, желтые наконечники на крыльях с черными крестами. Самолеты летели по одному, по три, несли в себе смертоносный груз, вскоре там, куда они направлялись, было слышно утробное, тяжелое: гух, гух, гу-гух... Назад они возвращались облегченные, ревели спокойнее, будто утолив свою жажду крови.

Часто, выискивая добычу, с въедливым визгом проносились юркие, быстрые «мессершмитты».

Заметив самолет, все торопились куда-нибудь спрятаться.

Когда пробирались сквозь заросли, набрели на группку людей, настороженных, испуганных. Это были жители ближайшего села, спасавшиеся от гитлеровцев. Пожилая женщина с грустными черными глазами, к которой молча жались двое детей, спросила у Василя:

— Неужели могут они сюда дойти? Или, может, партизаны не пропустят?

В ее глазах был страх. Только сегодня утром она спаслась от смерти: выскочила из села, уже окруженного карателями.

Тут пряталось несколько семей: женщины, старики и дети. Поблизости, привязанная к березке, опустив голову, стояла рябая, с белой лысинкой корова, морда ее была обвязана платком.

Люди договорились пересидеть все вместе в лозняке, пока не утихнет блокада, когда можно будет вернуться в село.

Вскоре партизаны наткнулись на горстку детей, жавшихся под кустом орешника.

Увидя вооруженных людей, дети испуганно вскочили. Их было четверо. Старшая среди них, болезненная, с длинными, ободранными ножками девочка, схватила на руки мальчика, прижала к груди, как бы защищая. Глаза ее из-под выпуклого лба глядели непримиримо. Было видно, что хоть она и бессильна, но все-таки не дастся в руки без боя.

Девочка с круглыми глазами, в посконном платье, разорванном до пояса, закричала:

— Мама-а! Мама-а! А-а-а!

Она упала ничком, затряслась, стала бить маленькими грязными кулачками по земле.

— Глупые, что ж вы боитесь? Мы же партизаны, — сказал Василь.

— Это ж партизаны! — отозвался старший мальчик таким голосом, будто сделал важное открытие. Он показал на орден Красной Звезды на гимнастерке комиссара. Мальчик был, вероятно, ровесником старшей девочки. Лицо его до самых глаз закрывала большая фуражка с широким сломанным козырьком.

Нина попыталась поднять девочку, но та, извиваясь, вырывалась из рук, царапалась, бормотала посиневшими губами: «У-у-у... ма...»

Девочка не слушалась уговоров.

— Замолчи, сейчас же! — внезапно строго, словно приказывая, крикнула Нина.

Василя удивило, что она, всегда ласковая и добрая, так сурово обходится с маленькой, но не сказал ничего,— верил Нине. Если она так обращается, видно, так и надо.

И правда, девочка сразу замолчала, испуганно съежилась и с опаской посмотрела на тетю. Нина ласково одобрила:

— Вот так!

— Она у нас так уже третий раз,— заговорила старшая девочка, все еще не выпуская из рук мальчика.— Как только испугается, так и начнет вопить: «Мама!» На весь лес. Мы ей сказали, что бросим, если она будет кричать. Тогда она сказала, что больше не будет.

— Где же ваши родители? Почему вы одни? — спросил Туровец.

Оказалось, что дети уже второй день ходят по лесу одни, никак не могут найти своих. Они не боялись темноты и одиночества в большом лесу, в их маленьких сердцах жил страх перед гитлеровцами. Только бы не встретить их!

Старшая девочка, державшая на руках брата, пожаловалась, как взрослая: «Горе мне с ним, он же еще ребенок. А у нас мамы нет... сожгли...»

Мальчик в большой фуражке, оказалось, был сыном командира взвода из отряда имени Кутузова.

Вторая девочка, Галя, та, что плакала, потеряла мать, когда налетели самолеты. Испуганная, среди страшного грохота, она вскочила и, ничего не соображая, побежала, а когда опомнилась и стала искать мать, ее нигде не было. Неизвестно куда девалась. Под вечер она встретила других детей, таких, как сама, они приняли ее к себе и поддержали.

Малыши сговорились искать партизан; а чтобы было не страшно, ходили вместе.

Туровец приказал забрать детей.

— Пойдем с нами,— сказала Нина Гальке,—к партизанам, к твоей маме.

Девочка все еще всхлипывала, размазывала кулачком по лицу слезы. Но была уже спокойнее и всхлипывала больше потому, что не могла сразу уняться.

Она подала Нине руку и сказала доверчиво:

— Пойдем. А я думала, что вы полицейские и убьете нас.— Стараясь не отставать, взглянула снизу вверх васильковыми глазами. — Тетя, а... у вас хлебца нет? Мне очень хочется есть...

2

Перед вечером пришлось остановиться: люди обессилели.

Приближалась гроза. Хотя солнце еще не заходило, вокруг было темно, как вечером. Деревья, со всех сторон обступавшие людей, гудели беспокойно, недобро. От их гула на сердце у Нины стало тревожнее. Ветер быстро гнал темно-синие дымчатые тучи, застилал ими ватные клубящиеся облака, еще недавно белевшие на небе.

Вдали время от времени погромыхивало, будто от выстрелов орудий. Потом загремело ближе, неспешно, перекатами, басисто.

— Гром?! — не поверила Нина.

— Гром!..

— Первый! Еще не гремело...

Не прошло и получаса, как тучи закрыли все небо. Они ползли так низко, что, казалось, цеплялись за вершины деревьев,— низ их был весь разорван и висел клочьями.

Дрозд приказал сделать шалаши для ночлега. Люди, преодолевая усталость, охотно взялись за дело. Застучали, как бы споря между собой, тесаки и ножи, затрещали ветки, лес наполнился оживленным шумом.

Нина хлопотала вместе со всеми, стараясь управиться до того, как начнется дождь. У нее были помощники — дети, они рьяно, с радостным гамом помогали ей и Васе.

Вдруг ветер затих. Все насторожилось и замерло. Только безостановочно неслись и неслись тучи.

Когда начал накрапывать дождь, Василь накрыл шалаш палаткой и скомандовал детям забираться внутрь. Мальчики послушно полезли. Галька же, заглянув в лаз шалаша, попятилась, боязливо крикнула:

— Не видно ничего!

— Не бойся, глупенькая.

Нина забралась следом за ней, прижала девочку к груди.

Над головой сильно треснуло, мрак шалаша разорвало броским пламенем.

— Ма-ама! ..

— Тихо ты — это гром!

Она чувствовала, как у девочки часто бьется сердце, — Нину всю наполнила материнская нежность. Она ласково прижала ребенка.

— Какая ты смелая,— сказала девочка,— и теплая,— добавила она, помолчав.

Нина улыбнулась.

За ними протиснулись в шалаш Дрозд, Василь и двое партизан — раненые. Детям стало совсем не страшно, хотя снаружи гудели сосны и в шалаше ничего не было видно. Палатка вверху лопотала от дождя.

— Дождик — хорошо... Для озимых как раз... — вдруг послышался в темноте голос Дрозда.

Кто-то протянул задумчиво, затаенно:

— Да-а, для озимых как раз.

— Золотой! — охотно, радостно отозвался Дрозд.

Нину не удивила эта забота Дрозда: естественной была эта забота-радость у него. Неисправимо мирным был этот человек. Сколько уже воевал, а мало было в нем военного — и в облике, и в поведении. Он даже команды отдавать по-военному до сих пор не научился: «Сделай, Сергей, то», «Пойди погляди, Иван, не немцы ли там». Его в глаза называли командиром, а за глаза в шутку — «председателем», председателем колхоза. Шутили, что он вел точный учет трудодней: за взорванный эшелон — три, за разбитый гарнизон — от полутора до двух на каждого.

— Хороший дождь... Да не вовремя, — пожалел тот, затаенный голос.

— Почему это не вовремя?

Голос не отозвался.

— Э, скажешь... Где теперь наши? У Жлобина да под Могилевом, так? .. Не все ж лето будем здесь сидеть...

Сопя, стараясь удобнее устроиться, Дрозд тихо, рассудительно говорил:

— Скоро уже и за косу, и за серпок надо будет браться. Скоро... Хлеб-то, видать, будем убирать мы... Вот и хорошо, что дождик.

— Кабы так было,— вздохнул один из раненых.

— Будет. Чует мое сердце, будет, — пророчески пообещал Дрозд.

После этих слов взрослые молчали. Думали каждый о чем-то. Нине казалось, что если не все, то большинство, вероятно, думают об одном. О том, что задел Дрозд. И то, что люди могли говорить и думать не о том тяжелом, что беспокоило днем

и что ждет завтра, а о далеком, дорогом, как бы обнадеживало ее. Она думала, как странно звучит этот разговор здесь, перед неизвестностью, ожидающей их завтра и потом... «Будто завтра надо будет идти в поле...» Но все же чувствовала в этом что-то очень хорошее, очень нужное ей, всем...

По палатке, не умолкая, барабанил дождь.

3

Они ночевали совсем близко от бригады. Поутру Туровец со своей группой был уже в отряде «За Родину». Там он узнал, что штаб бригады расположился неподалеку, в этом же лесу, на северной окраине.

— Вот мы и дома! — радостно сказал комиссар.— Теперь живем!

Все, кто шел с ним, тоже почувствовали себя «дома», ободрились, окрепли духом. Они были не одни, здесь с ними вся партизанская семья. И хоть в этой семье нельзя было разжиться табаком, да и с хлебом было скупо, это не омрачало радости людей. Самое главное, что окончились скитания, неизвестность и тревога.

Видя, как повеселели взрослые, стали радоваться и дети.

— Дома! Дома! — щебетала Галька.— Тут моя мама! Правда, тетя Нина?

Радость встречи делала людей нечувствительными ко всему остальному, а между тем положение отряда было, видимо, нелегким. Только Туровец, Дрозд да еще несколько человек сразу почувствовали тревожный, напряженный строй теперешней жизни в отряде.

Попрощавшись с Дроздом, идущим в свой отряд, комиссар с Ниной, детьми и двумя парнями поспешили к штабу.

Когда партизаны стали расходиться, Василь присоединился к группе, несущей в госпиталь раненых.

Он заметил: чуть только Валя увидела среди других его, лицо «сестрички» — милое, с яркими губами — засияло доброй улыбкой. Василь почувствовал себя самым счастливым человеком. Покоренный этой улыбкой, он не сводил глаз с девушки, следил за каждым ее движением, пока Мария Андреевна, старший «доктор», Валя и другие принимали раненых.

При всей своей радости он чувствовал и неловкость оттого, что стоит здесь, что все, казалось, видят его насквозь. Понимал: нехорошо — стоять так, перед всеми, ждать девушку. И все же не двигался с места, ждал.

Валя наконец попросила у Марии Андреевны позволения отлучиться.

Сдерживаясь, чтобы не побежать, сохраняя серьезное выражение лица, девушка повела Василя сначала по дороге, потом в сторону от нее, в чащу. Дальше от госпиталя, от людских глаз. За порослью молодого осинника она остановилась, глянула в лицо Василя, тревожно, с сочувствием:

— Трудно тебе там было, правда?

— Горячо. Но ничего, бывает и хуже...

— Сказал: бывает!..

— Ты знаешь, — просто, с удивлением сообщил вдруг он, — я танк подбил.

— Танк! Один? Как же ты один на него пошел?

— Ну так... Пошёл... Пополз!..

— Вот! Минуты покоя нет из-за тебя! Чуть пропал с глаз, так и тревожься!

— Чего за меня тревожиться, ну, правда? Что я — маленький?

— Конечно, не маленький, — согласилась Валя тоном, каким говорят старшие, более опытные.— Но надо беречься. Ты думай не только о себе, а и о... других.

Заглядывая в голубые, как небо, глаза, зажурчала с упреком:

— Ну что я буду делать, если с тобой что-нибудь случится?

— Ничего со мной не случится, Валя,— убежденно ответил он.— Ты не беспокойся никогда, ладно?

— Как же не беспокоиться? — Она снова взяла на себя роль старшей. — Ты иногда будто рассудительный, взрослый. А иногда вдруг найдет на тебя такое, что ты ничего не видишь. Не бережешься, забываешь обо всем. Как же за тебя не бояться?

— А что ж с этим танком? Ну правда, надо же было комунибудь. Не я, так кто-нибудь другой...

И такая открытость, ясность была в его чистых глазах, что она смягчилась, сказала влюбленно:

— Отчаянный ты мой!

Он неловко переступил с ноги на ногу, отвел глаза в сторону:

— Тебя здесь никто не обижал?

— Никто, Вась.

— А этот,— он с усилием выдавил из себя,— Ермаков этот, не был?

— Нет, не был,— поспешно, немного смущенно сказала Валя.— Ну зачем ты вспомнил его? Чего он тебе дался? — сказала дружески, поклялась: — Он для меня — ничто!.. Ревнивый ты какой!

В голосе ее уже слышался ласковый укор. Но Василя не смягчила ее ласка.

— Почему он все ходит к тебе?

Он говорил так требовательно, непримиримо, что она сникла, ответила виновато:

— Разве он ко мне одной? Он ко всем. Заходит просто...

— Ч-чего ж он к другим не липнет, а все — к т-тебе? — будто не слышал, наступал Василь.

— Ну что я сделаю? — сказала она почти с отчаянием.

Она увидела, что он по-прежнему требовательно строг, не понимает ее, и вдруг ожесточилась.

— Почему ко мне? А ты... спроси у него, — резко ответила Валя.

— Я и спрошу когда-нибудь! — пообещал он решительно.— Не посмотрю, что комбриг.

— Спроси!.. Ну, я пойду, — сказала она холодно. — Мария Андреевна там, наверное, ждет...

Она быстро и легко пошла меж деревьев. Он посмотрел вслед ей, удаляющейся гордой походкой, и почувствовал, как к гневу его начало примешиваться сожаление. «Ну почему она не отучила этого... Ермакова!» — подумал он, злясь почему-то больше не на нее, а на Ермакова.

Привычно поправив автомат за плечом, Василь устало, невесело потащился в сторону взвода.

4

Под кривым дубом, широко простершим ветви, стоял низкий, похожий на копну сена шалаш, накрытый брезентом. Поблизости Туровец увидел начштаба Габдулина; сидя на траве, тот что-то писал на ящике от мин, заменявшем стол.

— Наш летописец по-прежнему корпит над историей! — вместо приветствия радостно сказал Туровец, подойдя к начштабу.

Габдулин вскочил. Это был жилистый крепыш с очень живыми, по-монгольски узкими глазами. Перед войной он учился в Ленинграде в институте, откуда его послали на практику в Белоруссию. Война задержала его здесь, продлила практику на целые годы.

— Ничипор Павлович? — Габдулин смотрел на Туровца так, будто не верил, что стоящий перед ним человек и вправду тот, кого он видит.

— Ты что это такой странный, летописец Пимен? — заметил Туровец.

Габдулин будто очнулся.

— Когда ты вернулся?

— Только что.

— Здесь кто-то пустил слух, — заметно неловко сказал нач-

штаба, — что тебя нет в живых... будто из пулемета резанули... А вижу, живой!

— И умирать не собираюсь вдобавок... Ты обо мне некролога не написал еще?

— Нет. — Габдулин засмеялся. Взял с ящика толстую тетрадь в черной кожаной обложке, свернул. Быстрые глаза его увидели повязку на руке комиссара и тревожно взметнулись на Туровца: — Что с рукой?

— А, ерунда. Какая-то шальная пуля царапнула. Не посмотрела, что комиссар.

Узнав о возвращении комиссара, к ним сбежались все штабные работники. Радовались, расспрашивали о событиях последних двух дней. Туровец отвечал скупо, но охотно. Ему было в радость видеть снова — как после долгой разлуки — эти родные лица.

Женщины окружили детей, жавшихся поближе к Нине. Дети явно смущались незнакомых людей. Малышей расспрашивали, кто они, откуда, словом и женской лаской старались утешить.

— Габдулин, гляди-ка, у нас новые солдаты,— весело сказал Туровец.— Принимаешь? Ну вот и хорошо. А если принимаешь, так и накормить должен. Мы хотим есть. Правда, вояки?

Дети ответили дружным криком:

— Правда, правда!

Устроив их пока поблизости, возле радиста, Туровец втиснулся в штабной шалаш.

Вся сдерживаемая в эти дни усталость вдруг сразу навалилась, налила свинцом руки и ноги. Соблазнительно бросилась в глаза постель — смятая трава у наклонной стенки-крыши, прикрытая рябым домотканым одеялом. Ноги сами собой подгибались.

Он опустился на ящик со штабными бумагами, расстегнул воротник, снял фуражку, — на голове кудрявились черные непокорные волосы. Цыганские упрямые глаза глядели устало.

— Тихо у вас чего-то,— сказал Туровец.

— Да, тихо! — иронически произнес Габдулин.— Обманчивая тишина... Сегодня мы собираемся сняться отсюда. Фрицы концентрируют силы, сжимают кольцо.

— А что из штаба соединения?

— Штаб соединения приказывает сейчас же пробиваться из блокады. Сегодня же, пока фрицы еще готовятся. Надо смешать им карты.

Габдулин сказал, что бригада отрезана от штаба соединения и от других бригад и теперь действует одна. Комбриг Ермаков связался по рации со штабом, оттуда передали, что там все эти

дни также непрерывно идут бои и что каратели захватили много сел. Штаб приказал прорываться в район Сосновки.

— Где Ермаков? — Туровец озабоченно поднялся.

— У кутузовцев.

— Когда вернется?

Габдулин вынул из кармана часы на цепочке.

— Скоро должен быть.

Туровец помолчал, а потом с какой-то странной ноткой в голосе спросил:

— Что с Машей, не знаешь?..

— Как не знаю, жива, здорова! Сегодня видел ее, о тебе спрашивала. Очень беспокоилась!

— Ну, скажешь — так уж и беспокоилась! — будто не поверил Туровец. Он хитрил, на самом деле поверил сразу.

В груди у Туровца прошла теплая волна.

— Видно, до нее тоже дошли слухи. Ну ничего, теперь может быть спокойной, — блеснув узкими черными глазами, улыбнулся начштаба. — Чем меньше было надежды видеть тебя живым, тем больше радости будет при встрече.

Туровец подумал, что они с Машей не виделись целую неделю. Он уже давно невольно считал дни от встречи до встречи, сожалел, что промежутки между встречами обычно такие большие. Он старался не думать о ней, но все же чувствовал, что ее не хватает, ждал встречи с ней. Невзирая ни на что, память все время отсчитывала: еще день, еще. Сейчас ждал он встречи с особым нетерпением, так много пришлось пережить за эти горькие дни.

«Надо бы обязательно увидеться до выступления».

— Что слышно с Большой земли? Какие сводки?

— Не знаю... приемник разбился, а в рации энергии мало.

Туровцу очень хотелось знать новости с Большой земли. У него была просто потребность каждый день чувствовать жизнь Большой земли, теперь потребность эта стала необходимостью. Он пожалел, что приемник не сберегли. Кроме всего прочего, это была бригадная реликвия: два года назад, рискуя жизнью, принесла его из города студентка-подпольщица.

Вблизи вдруг сильно, заливисто заржала лошадь. Туровец по ржанью узнал коня комбрига.

— Вот и Ермаков!

Они вышли из шалаша. Комбриг легко соскочил с седла, отдал коня ординарцу и, стройный, по-военному подтянутый, упруго пошел к комиссару и начштабу.

У Ермакова была особая посадка головы, очень прямая, придававшая ему орлиный и гордый вид; одно плечо он держал чуть выше,— это было результатом давней контузии и ранения в лопатку.

— Вот хорошо, что ты вернулся, — сказал он так, будто ни-

когда не сомневался, что Туровец обязательно вернется. — А то одному тяжело.

Ермаков почти не изменился за эти дни. Хотя под жесткими, решительными глазами последние испытания наложили нездоровую синеву, Туровец не заметил в них усталости или смятенности. Как и раньше, Ермаков был чисто выбрит. Брился он, видимо, сам, в спешке, на лице были порезы. Шерстяная армейская гимнастерка и бриджи, сшитые по заказу, как всегда, ладно облегали крепкую фигуру. Туровцу понравилось, что он такой собранный.

Ермаков бросил взгляд вокруг, понизил голос:

— Вот, комиссар, задача! Надо прорываться, а патронов нет. Пушки сегодня приказал закопать — нет снарядов! Вот как — ни одного снаряда! — Он тут же отогнал мелькнувшее отчаяние, заявил напористо: — Полсотни снарядов бы! Я так долбанул бы, что они покатились бы без оглядки!

По тому, как он сказал, чувствовалось, что комбриг нисколько не сомневался: все было бы так, как он представляет.

— Да! Полсотни снарядов — и концы с концами! — повторил Ермаков.

— Полсотни снарядов?

Туровец пытливо, вопрошающе взглянул на Ермакова.

В таких случаях раньше в глазах комиссара Ермаков мог видеть лукавинку, как бы насмешку, но теперь было в них другое.

— А без пушек и снарядов?

— Выбирать нечего. Надо пробиться!

Ермаков сел на ящик от мин, дал место Туровцу.

— Слушай, что я надумал. Сегодня будем прорываться. Оттягивать нельзя! Время сейчас работает на них!.. Кутузовцы и «Родина» пойдут во главе. Я им отдал все патроны, что были, сам пойду с ними. Прорыв я наметил...

Он порывисто выхватил из полевой офицерской сумки протертую на углах карту, развернул на коленях:

— Вот здесь!.. Разведчики говорят — тут два пулеметных гнезда и роты две в окопах. Но это ничего. Ярок там хороший, скрытный, кустарник; можно незаметно пробраться. Вот здесь... Давай все обмозгуем... Габдулин, сюда! — позвал он.

Втроем стали обсуждать план боя: где собраться для прорыва, как и когда отрядам атаковать, когда провести женщин и детей. Договорились о сигнализации.

— Пиши приказ! — сказал Ермаков начштабу.

Габдулин успел написать только первые слова, когда поблизости раздался грудной голос:

— Можно?

К ним подходила Маша — Мария Андреевна, невысокая, темноволосая женщина в белой косынке, из-под которой

спереди выбивались густые, разделенные на прямой пробор волосы.

— А, доктор! Доктору всегда можно,— отозвался начштаба.

— Где тут у вас раненые? — спросила она намеренно весело, чтобы скрыть неловкость.— Меня просили сделать перевязку.

Увидев Марию Андреевну, Туровец сразу же встал, не сводил с нее счастливых глаз.

«Вот и она! Как хорошо, что пришла».

Тут же подумал удивленно: «Кто ее просил?» Пытливо, остро взглянул на Габдулина, но тот не подал и вида. Наклонившись над ящиком, старательно писал приказ. Ермаков сосредоточенно думал над чем-то, складывая карту.

Мария Андреевна положила сумку, спросила улыбчиво и официально:

— Ну что у вас, товарищ комиссар?

— Идем, начштаба, нельзя мешать... доктору.

— А вы и не мешаете! Пациент у меня, вижу, не тяжело ранен...

— Нет, нет!

Габдулин и Ермаков ушли. Она начала развязывать узелок повязки, но оттого, что спешила и руки дрожали, узелок не давался. Она разрезала бинт ножницами и стала торопливо раскручивать повязку. Все время, пока делала это, ни разу не подняла глаз на Туровца, но по ее рукам, нетерпеливым и дрожащим, было заметно, как она волнуется.

Повязка присохла к ране. Мария Андреевна отдирала ее так бережно, что Туровец почти не чувствовал боли. Молча осмотрев кровавое пятно на руке, Мария Андреевна прижала к груди ладони своих ласковых, мягких рук, будто хотела унять встревоженное дыхание, и глубоко, с облегчением вздохнула.

— Я уже думала, что вас нет в живых... — призналась она, закончив перевязку,— а тут... пустяк, детская рана. Зря только беспокоилась.

Последние слова Мария Андреевна произнесла, как бы подшучивая над собой, но шутка ей не удалась. Очень уж большой радостью светились глаза, чтобы ее можно было скрыть шуткой.

Туровец ответил ей в тон:

— И совсем не зря. Хорошо рану перевязали.

— Как сделал бы любой другой.

— Любой? Так, как вы сегодня,— никто!

Она внимательно, уже без улыбки посмотрела на Туровца.

Быстро отвернувшись, Мария Андреевна стала складывать в сумку пинцет, флакон с риванолем, чистый бинт,— почему-то очень заторопилась.

— Надо в госпиталь, там новых раненых принесли... — на-

дев на плечо сумку и по-прежнему избегая его взгляда, будто оправдываясь, сказала она.

Туровец не стал ее задерживать.

После ее ухода на душе у Туровца было светло и немного грустно. Он подумал об их отношениях. «Удивительно, мы чувствуем себя близкими, и некоторые из товарищей догадываются о нашем чувстве, а мы играем в прятки, как дети...»

Она почему-то все время сторонилась его, и он тоже обманывал себя. Только сегодня... Как она отдирала повязку! Маша, Маша, что же это будет дальше?..

5

Туровец решил с детьми и Ниной зайти в семейный лагерь. Хотелось посмотреть, как устроились люди, и предупредить о ночном бое.

Лагерь размещался в сосновой чаще. Еще издалека, подходя к нему, Туровец услышал тоскливое домашнее мычание, показавшееся ему удивительно мирным и спокойным.

Припомнилось: однажды в детстве он — пастушок — искал в лесу отбившуюся от стада корову. Ничипор блуждал босиком по, казалось, бесконечному лесу и, охрипнув, то со злостью, то с нежностью звал: «Манька-а, Манька-а!» Тогда, облазив, может, пол-леса, он услышал среди лесного шума такое же одинокое мычание и обрадованно заторопился в ту сторону.

Войдя в лагерь, Туровец услышал детский плач, женский голос, успокаивающий ребенка, потом увидел из-за синевато-желтых стволов сосен людей, медлительных и молчаливых, беспорядочно разбросанные узлы с домашними пожитками и лозовые коробки.

— Туровец пришел! — обрадовалась какая-то женщина.

Лагерь ожил, зашевелился, и к Туровцу со всех сторон потянулись женщины с детьми и без детей, старики и подростки.

Среди них, немного поодаль, Туровец с болью увидел знакомое строгое лицо Шабунихи. Она еще не знает о смерти мужа, ему, Туровцу, надо будет сообщить ей страшную весть.

«Как же я скажу ей теперь! Она и так столько пережила за последние дни».

— Василек! — закричала одна из женщин.

Она бросилась к старшему мальчику, подхватила на руки, прижала к себе.

— Сыночек мой! Где ж ты пропадал? Я вся изболелась по тебе. Деточка моя!

Трое остальных детей оглядывались вокруг. Женщины сочувственно охали да вздыхали. Где же ваши матери, бездомные?

Окружившая Туровца толпа тревожно спрашивала о мужьях, о знакомых, об общем положении.

— Это правда, что, говорят, партизаны хотят нас кинуть? — настороженно заглянула комиссару в глаза пожилая женщина с оспинками на лице.

Все смотрели на него с тревогой и надеждой. Туровец видел, что на него смотрят так, будто он все может. Что ж, им нужна была надежда. А на кого еще они могли надеяться здесь, в лесу, как не на него, которого хорошо знали и к которому часто обращались и раньше.

Но чем он мог ответить на эту надежду? Нехорошо было у него на душе: редко когда так хотелось ему помочь людям, и редко когда он так мало мог сделать для них. Как ни трудно было, он не обещал ничего хорошего. Сказал, что будет бой, и бой нелегкий, надо быть готовыми ко всему. Быть дисциплинированными, сохранять маскировку. Выполнять приказы командования.

Окружив его, женщины внимательно слушали, переспрашивали, повторяли друг другу, что он говорил.

Видя, как люди ловят каждое его слово, Туровец чувствовал, как в нем крепнет сознание ответственности за всех них и та упорная сила, которая делает слова убедительными. Нет, не зря ему верят, он сделает все, что возможно...

Беседуя с женщинами, Туровец заметил, что к нему, раздвигая стоящих впереди, пробирается Шабуниха. Лицо ее было сурово-сосредоточенно, настороженно, будто она чувствовала беду.

— Как там мой Змитро? Здоров?

Хотя Туровец был человеком правдивым, не любил обмана, он решил не говорить сейчас женщине страшную правду.

— Змитро? Не знаю,— ответил Туровец, стараясь смотреть спокойно в ее настороженно-внимательные глаза.

Позже, как-нибудь позже.

Только не сейчас.

Он видел, что Авдотья почувствовала в его голосе недоброе, и, чтобы уверить ее, снова сказал неправду:

— Вчера видел, был здоров. А после этого не доводилось встречаться...

Вверху, где в яркой голубизне неба покачивались игольчатые кроны, злобно стреляя по неизвестной цели, пронесся «мессершмитт».

Женщины с криками разбежались кто куда, только Шабуниха стояла неподвижно, сурово смотрела в небо сухими строгими глазами, прижимала к груди ребенка.

Когда самолет пролетел и люди стали снова собираться, Туровец попрощался со всеми. Повернулся к Нине, успокаивавшей испуганную девочку.

— Оставайся здесь. Готовь всех к походу. Здесь твое боевое место, ты за него отвечаешь головой.

— А что делать с сиротами?

— С сиротами? Что ж, будешь им пока матерью.

Он заторопился в отряд имени Кутузова.

На душе у Туровца после всего только что виденного было печально. Он думал о том, что никто, наверное, не страдает на войне так, как матери и дети.

Вспомнилась их тревога: «Правда ли, что партизаны хотят нас кинуть?» Кто мог сказать им такое? Они, правда, мешали отрядам сейчас, в блокаде, но разве приходило кому-нибудь в голову бросить их? Бросить на расправу, на муки?

Когда Туровец подходил к отряду, над деревьями снова низко пронесся истребитель. Прозвучало несколько выстрелов. Неподалеку в просвете между соснами он увидел высокого парня в клетчатом пиджаке, целившегося из винтовки вверх.

Комиссар подбежал к нему, схватил за плечо, но в тот же миг ударил выстрел.

— Кто разрешил? Куда палишь?

Боец опустил винтовку, повернул к комиссару землистое удивленное лицо.

— По самолету, — ответил он не совсем уверенно.

— В белый свет, а не по самолету! Патроны надо беречь...

ГЛАВА III

1

Утром старшего лейтенанта Алексея Лагуновича вызвали в штаб бригады.

Старший лейтенант, командир танковой роты, в это время проводил в избе совещание с командирами экипажей.

— Иду, — кивнул Лагунович посыльному, принесшему приказ. Поинтересовался: — Одного меня или еще кого?

Посыльный ответил, что вызывают также командира батальона и командиров других рот.

Старший лейтенант прервал совещание, разрешил танкистам разойтись. Отдав взводным приказ, что делать, быстро оделся, вышел через темные, с прогнившим полом сени во двор, в котором возле сарая стоял танк, прикрытый прошлогодней соломой и ветками.

На крыльце Лагунович остановился, прищурил глаза от негорячего, но яркого апрельского солнца. Неподалеку за селом несколько раз ударили наши тяжелые орудия, эхо перекатами

покатилось по селу, по лесу, по полю. Поодаль, в той стороне, где был передний край, время от времени слышалась пулеметная стрельба.

Лагунович шел тяжело, немного выворачивая ноги, обутые в поношенные кирзовые сапоги.

Старший лейтенант был среднего роста. Плечи у него были неширокие, руки — небольшие, несильные, был он довольно щуплым и в целом производил впечатление некрепкого человека. Лицо его казалось худым,— эту худощавость усиливала угловатость в очертании челюсти.

Кожа на его лице была темновата, овеяна зимними ветрами и стужами, она еще не была отмечена весенним загаром. Глаза, темно-серые, неброские, казались добрыми и как будто несмелыми. Подбородок был по-юношески мягким. На носу с маленькой горбинкой обозначались точечки, будто оспинки, след ожога. Лагунович горел в танке.

По дороге старший лейтенант гадал о том, зачем вызывает командир бригады. Гадал почти без интереса, даже с неприязнью: наверное, снова нудное, ненужное совещание, с придирками.

«А может, что-нибудь важное?» — возникла все же заманчивая надежда. Может, сейчас, собрав всех, полковник прикажет ехать за танками и пополнением, бригада быстро укомплектуется — и в бой. Уже и так долго топчутся здесь, упуская день за днем, дают немцам время окопаться, собраться с силами.

Тяжелые орудия недалеко за селом снова загрохотали. И снова эхо перекатами, как гром, покатилось по окрестностям.

Старший лейтенант вошел в штаб. Это была просторная изба из двух комнат с большими, раньше, наверное, светлыми окнами. Теперь стекла почти все были выбиты и заставлены фанерой, отчего в избе было сумрачно. В первой комнате на лавке, у широкой русской печи, маленький курносый телефонист охрипшим, сорванным голосом кричал в трубку: «Днепро, Днепро!»

— Входите,— сказал адъютант комбрига.— Полковник там.

Старший лейтенант вошел. В комнате были полковник Бессонов, плотный, русый, несколько штабных работников да командиров батальонов и рот. Полковник разговаривал с майором из штаба. Старший лейтенант доложил о прибытии. Оглянулся, ища глазами, где лучше присесть, и направился в угол.

— Что, может, за пополнением? — спросил он тихо у соседа-капитана.

Тот блеснул черными холодными глазами:

— Тут, кажется, и то, что есть, отдадим и «пеше по-танкистски» запылим.

— Смеешься? — не поверил Алексей.

— Нет... видно, на формировку пойдем.

Полковник закончил разговор с майором, обвел хату взглядом, проверяя, все ли пришли, и, как обычно, начал без вступления, сразу о главном:

— Получен приказ: сдать машины и отвести бригаду на отдых и переформирование. Что надо сделать? Прежде всего подготовить к сдаче матчасть...

Минут через десять все уже выходили из штаба, направляясь к своим экипажам.

На следующее утро подразделения бригады начали рассредоточенно уходить в тыл.

Это был заслуженный отдых: больше полугода, с ранней осени, танкисты не выходили из боев.

Командиры машин и орудий, в черных комбинезонах, в шлемах, сидели на башнях, подставив лица ласковому ветру. С обеих сторон шли перелески, убранные светлой дымчатой зеленью, от которой все кругом казалось веселым, красочным. Кружились поля, то зеленые от всходов, то пестрые от бурьяна и сурепки.

На машине с цифрой «271», написанной на башне белой краской, сидели старший лейтенант Лагунович и кряжистый, немного хмурый сержант Быстров, командир орудия. В открытом люке водителя виднелась голова третьего из экипажа, Солнцева. Круглое, широкое лицо его было усеяно веснушками.

Старший лейтенант недоверчиво прислушивался к царившему в природе покою. Быстров же томился скукою, хотелось покурить и поговорить, но и то и другое было невозможно. Солнцев, судя по светло-карим глазам его, в отличие от товарищей, был всем доволен: и тем, что он видел в квадратное окошко с поднятой, как козырек, тяжелой плитой, и ветром, который волнами шел навстречу, освежал лицо и шею, забирался под воротник.

При въезде в небольшую деревню танкам пришлось проходить по мосту. Мост был старый, и, осмотрев немало потрудившиеся черные бревна, Лагунович забеспокоился, выдержат ли они машины.

Объезд был далеко, и потому решили попытаться пройти по мосту.

Первую машину мост выдержал, перебралась и вторая. Под танком же «271» настил затрещал, и несколько бревен с одной стороны надломились, готовые обвалиться. Машина накренилась. Водитель осторожно тронул машину, попробовал выйти на берег, но мост подался еще опаснее, и танк накренился больше.

Внизу была речка с топким дном и болотистыми берегами.

Лагунович, у моста следивший за всем, приказал экипажу переднего танка взять машину на буксир. Когда танк, медленно пятясь, подполз кормой к берегу, Быстров и заряжающий начали скреплять обе машины стальным тросом.

В это время навстречу танкам из деревни подкатила колонна грузовых машин. Подъехав почти вплотную, передний грузовик, а за ним и остальные затормозили.

Из кабины переднего грузовика вылез плечистый, высокий пехотный майор, быстро подошел к мосту. Офицер был перетянут новыми блестящими ремнями,— видно, подразделение шло с переформирования.

— Что здесь такое? — спросил он начальственным тоном.

— То, что видите... — ответил Лагунович озабоченно.

Пехотный майор был недоволен. Задерживают. В его лице, показалось Алексею, было что-то высокомерное, недоброе.

Из грузовиков, чувствуя, что придется постоять, высыпали бойцы, несколько человек подошли к танкистам. Один из них вдруг обрадованно воскликнул:

— Товарищ старший лейтенант!

Алексей оглянулся: перед ним стоял пехотный старшина с загорелым веселым лицом. Карие глаза по-дружески, радостно улыбались. Лицо это, особенно глаза, показалось страшно знакомым. «Где мы с ним встречались?» А старшина молча смотрел на него, улыбаясь уже оттого, что Алексей старается вспомнить, но не может.

— Не помните? — сказал пехотинец с упреком.

— Не припоминаю...

— Конечно, где вам помнить! Мало ли встречается людей на фронте? А может, вспомните, как вы лежали... под Варваровкой?

Алексею мгновенно вспомнилось дождливое поле на Курщине. Он лежит, раненный в шею, а неподалеку рвутся снаряды и патроны. Страшными пожарами дымят несколько подожженных танков. В одном из них остались его погибшие товарищи, он один спасся. Спасся ли? Он лежит перед вражескими окопами и не может шевельнуться...

— Помню! Ты сержант, что меня с поля вынес. Расторопов? — назвал фамилию.

— Проворный,— поправил снисходительно старшина.

— Проворный! Верно!

Лагунович обнял его, сжал. Отпустив, сказал благодарно и отчего-то со смущением:

— Да! Без тебя мне тогда последнюю песенку пришлось бы спеть.

— Помните, как в воронке лежали?..

— А как же!.. Запарился ты тогда — такой груз тащил на спине!..

— Мокро, скользко очень было...

— Я, друг, после этого случая как заколдованный, ни одна пуля не берет!

— А я уже второй раз на фронт еду с того времени. Только везет, все легко. Месяц-другой полежу — и снова в порядке.

— Вот где довелось встретиться! — сказал Алексей. — Я после того не раз добрым словом тебя вспоминал. Отблагодарить бы, думал. Да вот, как-то неудачно встретились. Вы куда?

— Куда же, кроме... А вы на отдых? Не вовремя выбрались.— Старшина пошутил: — Самое время начинать войну, а вы...

Он не закончил. Передняя машина разворачивалась, пехотинцы направлялись, видно, в объезд. С грузовика позвали: «Проворный!» — и он, торопливо подав Алексею руку, побежал к машине.

2

Через несколько часов рота передавала танки другой бригаде.

На большом, изрытом гусеницами дворе, около хлева и в садике среди вишен и груш стояло три танка — все, что осталось в роте после полугода боев под Витебском.

Когда все формальности передачи были закончены, Лагунович с молчаливым капитаном, принимавшим машины, обошел свои экипажи в последний раз.

— Золотых людей вы получили! Просто жаль отдавать. Боевые достались вам хлопцы, опытные — высший класс! Они такие дела делали! Хотя что я хвалю их — сами скоро познакомитесь. Одно скажу... — Старший лейтенант взглянул на капитана: — Повезло вам, капитан.

Лицо капитана оживилось сдержанной улыбкой.

Большинство сержантов, старшин и некоторые офицеры переходили в новую часть. Танки были переданы вместе с полными экипажами.

Быстрова, Солнцева и нескольких других младших командиров Бессонов, договорившись с командиром бригады, брал с собой. Полковник Бессонов особенно ценил Быстрова: сержант бил из пушки по-снайперски.

Быстров медленно обошел свой танк, погладил рукой по шершавой крутой лобовой броне, сказал, улыбаясь, как обычно, не то иронически, не то насмешливо:

— Ну, бывай, дружище! Не обижайся, так сказать, служба, долг! Приказали — ничего не поделаешь, приходится расставаться.

Он с удивлением заметил, что на сердце стало грустно, как при прощании с товарищем. Танк стоял большой, молчаливый, прятал конец длинного хобота-ствола в ветвях старой, полузасохшей вишни. Солнцев, почувствовав в словах Быстрова нотку опечаленности, отозвался дружелюбно:

— А жаль все-таки, правда?

Быстров вскинул на плечо мешок, иронически из-под широкого лба глянул на товарища:

— Жаль, жаль! Сам чуть не погубил его, а тоже — жаль. И что это с тобой? Все проехали, и хоть бы что, а ты не смог даже по готовой дорожке. Вконец опозорился! Тебе бы не жалеть, а радоваться, что позор свой живой здесь оставляешь. Опять же, без машины тебе спокойней, теперь не надо бояться, что провалишься на мосту... пассажиром будешь... После такого срама даже грузовик тебе, ясно, никто не доверит.

— Хватит кривляться... Я от души говорю.

— И я тоже. Ладно, хватит! Бери мешок, вон нас ждут.

— Ну, Саша, поцелуемся на прощанье,— сказал Быстров маленькому хмурому заряжающему, который стоял рядом и невесело слушал его шутки.— Не обижайся, что покидаю. Был бы я комбригом — забрал бы с собой обязательно.

Обнял так, что у парня кости захрустели. Попрощавшись с другими, Быстров направился к грузовику. Он подал товарищам мешок и, поставив ногу на шину, легко поднял на крепких руках свое сильное тело. Из кузова он перегнулся и подал руку Солнцеву.

— Дай руку, парень, помогу.

Оставшиеся в прежней бригаде танкисты — большей частью офицеры, — усевшись в кузове, переговаривались с сержантами и старшинами, переходившими в новую часть. Последние были недовольны.

Эх, как не хотелось расставаться со своими товарищами, командирами, а что ты поделаешь — приказ! На судьбу, однако, никто не жаловался — грусть расставания и обиду прятали за шутливыми товарищескими возгласами:

— Быстров, дружок, пиши письма! Не забывай.

— Сережка! Привет героическому тылу!

— Привет фронтовикам!

— Смотри, чтобы вдовы не обижались!

— Солнцев, не разъедайся на тыловых харчах, тебя и так разнесло — смотреть страшно.

— Давай подымим на прощание. В последний раз с тобой.

— Почему последний? Скоро увидимся.

— Когда? В шесть часов вечера после войны?

Шутили, бодрились, а на душе было невесело.

Алексей обошел оставшиеся с ним грузовики, будто проверял, все ли готово к отъезду. Проверять, правда, было нечего,

но такая уж у него укоренилась привычка — обойти роту перед маршем. Сейчас, когда танкисты были разделены, жались группками, больше чем когда-нибудь бросалось в глаза, как их мало.

«И с этой горсточкой мы сделали столько! Столько сделали! — взглянув на них с каким-то новым, особым уважением, невольно подумал Алексей. — Здесь каждый стоит пятерых».

Он подошел к машине, где сидело несколько сержантов.

— Не нравится мне ваш вид, хлопцы,— сказал он.— В деревянном кузове, с мешочками, как шоферы. Гвардия мы или не гвардия? — спросил Алексей, улыбаясь. Это были любимые слова командира бригады, часто повторяемые солдатами. Слова эти стали бригадной поговоркой.

Солнцев, не задумываясь, ответил:

— Гвардия, товарищ старший лейтенант!

— Пассажиры бесплатные, — с иронией отозвался Быстров.

— Ну, это временно. Ездить пассажирами нам, Быстров, видно, не дадут, — ответил Алексей.

Он не закончил. Передняя машина батальона тронулась. Старший лейтенант поспешно простился с остающимися экипажами, направился к своему грузовику и сел в кабину.

— Бывайте, хлопцы! Счастливо воевать! — крикнул он напоследок, махая рукой.

Грузовик тронулся. Ветровое стекло со стороны Алексея было пробито пулей; от маленького кружка во все стороны на полстекла веером разбегались лучи. Машины быстро миновали хаты безмолвной деревни и выехали в поле. На душе у Алексея после расставания было грустно и как-то пусто. «Без танков и без солдат... Так сжились, и вот пришлось разойтись!»

...Километров через семьдесят машины свернули с битой дороги и пошли, качаясь и подскакивая, по целине вдоль леса, в котором вперемешку стояли дубы и березы. Вскоре грузовики остановились. Справа неподалеку виднелась деревня, купы деревьев между хатами; перед деревней — недавно вспаханное, рыжеватое поле.

Алексею была знакома эта местность.

— Тю! Так мы туточки были осенью! — удивился красивый, как девушка, чернобровый взводный, лейтенант Яковенко.— Чи мени, може, тольки прикинулося?

Полковник Бессонов, ожидавший на опушке около газика, позвал командиров батальонов и рот и с ними направился в лес. Молодая яркая трава, на которой, пробившись сквозь листву, солнечные пятна перемежались с тенями, была пестрой, как маскировка. После поля остро чувствовались пряные лесные запахи.

Вслед за ротными командирами в лес повалили группками другие танкисты. Неподалеку они увидели старые, полузаросшие, полуобрушившиеся землянки.

— Наша! — узнал Солнцев.

Он заглянул в середину, откуда дохнуло на него запахом прелого сена. В землянке все было разбросано, нары наполовину разломаны; в проходе валялись гнилые, с известковыми пятнами плесени, слежавшиеся клочья сена.

Солнцеву на этот раз досталась другая землянка, неподалеку. Он постоял перед ней, сбросил мешок и вскоре уже хозяйничал там, выгребая лопатой засохшую весеннюю грязь.

— Долго мы еще будем кружить вокруг этих лесов? — спросил Солнцев у Алексея, когда тот подошел к ним.

Старший лейтенант ответил:

— Думаю, что столько, сколько надо будет... Но раз уж суждено еще здесь жить — надо сделать себе жилье.

3

Когда началась война, Лагунович был командиром орудия.

В июне их полк стоял в лагере неподалеку от Бреста. В ясное, солнечное утро тихие палатки неожиданно были обстреляны фашистскими самолетами.

У белой полотняной улочки, куда, услышав стрельбу, высыпали испуганные, сонные танкисты, упали две бомбы. Волна взрыва сильно толкнула Алексея, бросила на землю. Когда он пришел в сознание, увидел рядом в луже крови водителя и пулеметчика из своего экипажа.

Это были первые убитые, которых видел сержант Лагунович.

Поднявшись, чувствуя странную слабость во всем теле, он подошел к товарищам, возбужденно обсуждавшим страшное событие. Некоторые еще думали, что произошла какая-то ошибка.

Он хорошо помнит все, до мелочей, что было в тот день. Через час пришел приказ по батальонам выступать в направлении пограничного городка. На дороге, тихом полевом тракте, по обеим сторонам которого росла рожь, они снова попали под бомбежку. Быстро рассредоточили машины и без остановки двинулись дальше. Тогда у одного из танков близким взрывом сорвало башню.

Под вечер первого дня Алексей уже был в бою. С наступлением сумерек немцы остановились отдохнуть. Алексей всю ту ночь не сомкнул глаз, все думал и вспоминал. Видел снова разорванные картины этого невероятного дня, страшное лицо Коли, водителя. Память все напоминала убитых товарищей,

с которыми еще прошлой тихой ночью спокойно спал. Было тревожно, когда думал, что только случайно смерть прошла мимо. Он чувствовал, что жизнь его в небывалой, безжалостной опасности.

Потом были бои, окружения, смятенные города, в которых на улицах душил горький дым и под ногами хрустело стекло, были несжатые, истоптанные поля. В то лето, отступая и отступая, он острее, чем когда-либо раньше, почувствовал, как безмерно любит родной край, как дорого ему все, что он увидел за свою несложную дотоле, светлую жизнь.

Дошел так Алексей до родных мест, где знал, кажется, каждый уголок. Прямо с танком подъехал к тому двору, на котором когда-то бегал босиком. Завернул на минутку: поблизости могли быть немцы. Передовые отряды их были уже где-то впереди.

Из тихой старой хаты выбежала встревоженная, испуганная мать.

Он как был, задымленный, замасленный, соскочил на землю, обнял, нежно прижал мать.

— Сынку,— потрясенно и радостно сказала мать,— откуда ж ты прилетел, голубок?

— Оттуда, откуда все идут, мама...

— Я тут день и ночь все о тебе думала. Заходи, сынку, в хату, отдохни немного да товарищей своих позови.

Зашли в хату, сели за стол. Алексей спросил, не было ли писем от Нины.

Ничего не было.

Мать засуетилась: надо угостить дорогого гостя! Принесла хлеба, молока, сыру. Товарищи, проголодавшиеся в дороге, благодарно набросились на еду. А Алексею ничего не лезло в горло, тоска такая на душе была, что слов для разговора не находилось.

Мать тоже, кажется, больше ни слова не вымолвила, смотрела, не сводя глаз.

Наполнила сумку едой, как в давние времена, когда уезжал в Минск на учебу. Молча проводила на улицу. Ни плача, ни жалобы.

Вдвоем с матерью шли пешком вслед за машиной. У крайней хаты обнял ее:

— Прости, мама... что оставляю... одну...

— Береги себя, сынку.

Он, не оглядываясь, побежал к машине, поднялся на башню...

Все дни жила в Алексее тревога о Нине. За слухами о бомбежках родного города пришло ужасное известие: в Минске немцы. Успела или не успела она с матерью выехать? Неужели

не успела, не смогла? Нет, она не осталась, в крайнем случае — ушла пешком. Но как ей было идти, в ее состоянии, беременной?

А может, она уже где-нибудь лежит мертвая на дороге? Среди многих убитых, сорванных с родных мест войной. Подобно тем, которых он столько навидался.

Ничего не известно...

То, что раньше казалось нерушимым, установленным навсегда, теперь жег, разрушал, захватывал враг. Впервые Алексей узнал, что счастье, которое он с детства принимал как должное, могут отобрать, растоптать; что над всем дорогим ему нависла смертельная опасность, о которой он прежде не раз слышал и даже говорил сам, но которая все же казалась далекой и нереальной.

Ему было тяжело, горько. От природы он был нетерпеливым, привык считать, что в жизни всего можно добиться. Стоит только очень захотеть. Здесь же все шло вопреки его желаниям, и он ничего не мог поделать. Каждый день он ожидал, что отступление кончится, но приходилось все отступать и отступать.

Под Рогачевом в их полку оставалось не больше трети бойцов и около десятка танков. Здесь им дали несколько машин из другого полка, и Алексей впервые пошел на запад. Как он ожил, встрепенулся! Они отбили в тот день четыре деревни, а ему казалось, что наступил перелом, что теперь все пойдет по-новому. Эти четыре деревни он помнил всю войну.

Мокрой осенью, перед вечером, на каком-то картофельном поле, его танк подбили, а самого Алексея ранило в грудь. Из госпиталя его направили на курсы офицеров в тихий, заполоненный садами городок. Когда началась беда на юге, Алексея и еще нескольких курсантов досрочно выпустили. В то горячее лето пришлось ему с боями, теряя людей и машины, отступать со взводом в донские степи.

На берегу Дона его снова ранило.

Потом он видел холодную, вьюжную зиму под Калачом, на Дону, в новой танковой бригаде, еще не побывавшей в боях. С ней, ведя «тридцатьчетверку» сквозь метель, Алексей окружал немцев под Сталинградом, позже шел по заснеженным донским степям на запад.

Случалось, целыми сутками просиживал он в холодном броневом колпаке. Здоровье было некрепким, он очень уставал,— видно, болезнь, перенесенная в институте несколько лет назад, да рана все же давали себя знать,— но Алексей брал выносливостью.

Ранней весной довелось ему вернуться в те места, откуда начиналось в прошлом году отступление.

Под Варваровкой на роту Алексея навалилось больше тридцати вражеских танков. Целый день рота вела неравный бой и, хотя было дьявольски трудно, не пропустила танки.

Под вечер машину Алексея сожгли, а его самого ранило, и, если бы не пехотный сержант Проворный, здесь бы, наверное, и кончилась его жизнь.

В госпитале обнаружили, что он болел туберкулезом, приняли во внимание его раны и решили на полгода послать в тыл отдохнуть, поправиться, но он попросился в действующую армию.

— Нет у меня тыла. По ту сторону мой тыл. За фронтом. Пишите уж — годен...

Вернулся Алексей под Витебск, где с самой осени был в тех неприметных боях, которые вел его батальон.

4

Оборудовали землянки. В каждой были нары из жердей, постели из скошенной мягкой травы, накрытые жесткими плащ-палатками.

Расчистили, подготовили полянку для танкового парка.

На ровной, присыпанной желтым песком линейке, тянувшейся вдоль землянок, утром и вечером, как до войны, проводили переклички и проверки. Комбат принимал доклады дежурных по батальону, давал нагоняй за плохо прибранные нары или небрежно брошенные комбинезоны, старшина объявлял, кто идет завтра в наряд. Нарядов было много, особенно сержантам. Солнцев с Быстровым ходили в наряды почти через день.

Солнцев принимал назначения в наряд не только безропотно, но даже с охотой. Любил сержант ездить за водой в деревню, колоть дрова, с удовольствием мыл котел.

— Надо попросить, чтоб тебя на кухню на все время назначили, — насмехался Быстров над товарищем, — помощником повара или котломойщиком: очень уж ты тут на месте. Не то что в «тридцатьчетверке»...

Свободные от наряда танкисты — в большинстве офицеры — целыми днями занимались «пеше по-танкистски» и строевой подготовкой. На поле, возле леса, на весело зеленеющих полянках в разных местах почти до темноты звучало:

— Раз, два! Тверже!

— Напра-а-во! Нале-е-во!

Солнцева строевая тяготила с первого же дня. Он занимался ею так, будто выполнял нудную повинность, придуманную неизвестно для какой надобности. Быстров не вешал головы,

посмеивался, сыпал шуточками и, казалось, был совершенно доволен своей судьбой.

— Ты что сияешь, как медный грош? — сказал однажды неодобрительно Солнцев.

— Потому что Солнцев не светит. — И вдруг заговорил серьезно, заговорщически: — Праздник сегодня у меня.

— Какой?

— Первая на этой неделе пятница!

И, насмешливо улыбаясь, хлопнул товарища по плечу.

Кому пришлась по душе строевая, так это лейтенанту Гогоберидзе. Лейтенант руководил строевыми занятиями в роте. Он был хорошим, можно сказать, врожденным строевиком.

До войны Гогоберидзе, бывший тогда сержантом, своими способностями и успехами по этой части славился на весь полк. Никто, наверное, не умел так красиво, с такой легкостью делать все, что требовалось по строевому кодексу, как этот щеголеватый стройный танкист. На войне ему пришлось расстаться со своим полком, а в новых частях о его способностях мало кто знал.

Теперь Гогоберидзе снова увлекся любимым делом...

Выше всего этого, главным было: скоро ли дадут машины?

В перерывах, разлегшись на траве, собравшись в кружок, или перед вечерней поверкой часто заводили о них разговоры, вспоминали, будто друзей. Многим казалось то, что они сейчас делают, неважным, почти ненужным, настоящее, достойное, считали, начнется тогда, когда придут танки, когда все снова сядут в «тридцатьчетверки».

Непривычной после фронта, как бы неправдоподобной была эта мирная жизнь. Все казались ненадежными, обманчивыми и тишина, и безопасная жизнь, от которых отвыкли давно. Настороженно слушали полузабытые звуки тихой лесной жизни, недоверчиво ждали, что весенняя сказка леса вот-вот сменится тревожной явью.

Такое настроение было и у Алексея, с неведомым ранее безразличием занимался он ротными делами, руководил занятиями.

Раза два комбат говорил о его роте как о худшей. Но Алексей относился к этому как никогда спокойно. Он был сосредоточен на одном — ожидании, когда минуют постылые, пустые дни и наступит настоящее, желанное.

В конце недели состоялось партийное собрание бригады. Собрались на поляне — в «клубе», где уже были вкопаны ряды скамей; разместились на первых трех рядах.

Полковник Бессонов делал доклад о состоянии бригады и о ее задачах. Он почти не говорил об общей обстановке, а стал рассказывать о ротах, о деятельности командиров, и в рядах сразу наступила тишина.

— Ждать пополнения — не значит, что можно сидеть сложа руки да ходить на деревню к бабам. Здесь у нас — ядро; только тогда, когда оно будет крепким, мы сможем спаять пополнение и сделать боеспособной бригаду... А у нас есть деятели, в том числе, не секрет, и коммунисты, которые решили пожить на первой передаче! Решили отдохнуть, поправить здоровье! Курорта захотели!

Алёксей при этих словах почувствовал недобрый холодок, сидеть стало неловко. Он беспокойно шевельнулся: «Сейчас обо мне скажет. . .»

Бессонов заговорил о командире третьего батальона. «Может, обойдет...» Но Алексей предчувствовал, что Бессонов не обойдет его. И действительно, полковник не забыл Алексея.

— Я заметил, что Лагуновичу тоже курорта захотелось. Устал Лагунович! Отдохнуть надо Лагуновичу! . .

Очень не нравилась Алексею, задевала его эта бессоновская злая язвительность. Нарочно не смотрел на комбрига, но чувствовал его взгляд. Чувствовал, как стало противно горячо, как лицо залила предательская краска. Хотелось вскочить, бросить в ответ: «Неправда, дело совсем в другом! . .» Но надо было сдерживаться.

Полковник ругал беспорядок в землянках, плохую подготовку занятий, ругал жестоко, но хуже всего было обидное — «тоже курорта захотелось»!

Досталось Алексею еще и от комбата.

— Ну, навалились! . . — стараясь скрыть обиду, попробовал пошутить старший лейтенант.— Что это сегодня все на меня — все шишки.

Лейтенант Яковенко, сидевший рядом, отозвался:

— Знають, на кого им сыпаться! Правильно воны сыплются.

— Почему это правильно?

Но Яковенко не ответил. Старший лейтенант, заметив, какое серьезное внимание появилось на лице товарища, взглянул на президиум: на них смотрел Бессонов.

После собрания, когда вернулись в землянку, Алексей снова начал прерванный разговор:

— Значит, ты считаешь, что правильно?

— З одной поправкой. Мабуть, мало дали.

— Ты шутишь. . . А мне, черт побери, немного неприятно: перед всей бригадой — славу такую.

— Но суть правильная?

— Суть? В том-то и дело, что суть неправильная. Ну есть такое, ослабил пояс. А почему? Потому, что курорта захотелось?

— Но результаты — одни?

— Результаты!.. Надоела эта морока! Толчем воду в ступе! С утра до вечера!

Старший лейтенант едва не выругался.

— Осточертело!

5

Алексей, хоть и очень уставал за день, ночью часто страдал от бессонницы. С вечера хотелось спать, но позже, когда он, раздевшись, лежал на нарах в землянке, сон почему-то постепенно отходил. То казалось, что в землянке душно, то будто под боком трет рубец, то комар над ухом звенит... Как назойливые оводы, одна за другой начинали донимать мысли. Он пытался отогнать их, читал про себя полузабытые стихи, прятал голову под одеяло, но ничто не помогало.

Алексей познал эту беду впервые. На фронте он засыпал легко и быстро, никогда не видел снов, просыпался всегда с трудом, неохотно, так что не сразу можно было добудиться.

Человек терпеливый, привыкший к разным фронтовым невзгодам, он мог спать на морозе, сидя в танке, согнувшись крючком. Притом не дремал, как другие, а спал. И после этого сна всегда чувствовал себя легко, бодро, никогда не знал головной боли.

Думалось не раз: пойдем в тыл, с каким наслаждением отосплюсь, и вдруг — такая неожиданность!

Сегодня ему тоже не спалось. Никак не приходил сон. Он слышал, как рядом беззаботно храпит Яковенко, живший в одной с ним землянке. Тот обычно засыпал сразу, едва повалится на кровать.

Алексей позавидовал ему.

Старший лейтенант невольно думал о собрании, вспоминал слово за слово, что говорил о нем полковник Бессонов. В груди снова жгло обидное — «курорта захотел». Он возражал комбригу, спорил с той резкостью, которая возможна только в мыслях, обвинял его в грубости и непонимании элементарных вещей. Но, успокаиваясь, трезво оценивал все, вынужден был признавать честно, что виноват сам, что в главном прав не он.

«Размяк. Поддался настроению... Снова», — упрекал он себя.

У Алексея — он сам знал это — настроение, случалось, заглушало голос рассудка. В этом была одна из особенностей его характера, от которой он не раз страдал и к которой относился настороженно. Он считал, что у него недостаточно силы воли, раз он не может не поддаваться ненужным настроениям. Алексей старался сдерживаться, но смены настроений все же время от времени вредили ему. От этого поведение его заметно меня-

лось: то он был веселым, работящим, энергичным, то вдруг становился вялым, как бы безразличным.

Пролежав час-два без сна, старший лейтенант оделся, натянул на босые ноги сапоги и вышел во двор.

Проходя мимо землянок, он едва не наступил на солдата, лежавшего на земле.

— Кто здесь?

— Я, товарищ гвардии старший лейтенант,— отозвался Солнцев. — Никак не могу в землянке... душно.

Пройдясь немного, Алексей сел на березовую колоду перед своей землянкой, закурил. В эту ночь старший лейтенант курил много.

6

Несколько дней спустя, поутру, полковник Бессонов приказал позвать к нему механиков.

Еще до того, как Бессонов начал говорить, все уже догадались, зачем их собирают. Они не ошиблись. Вскоре старый, но чистенький грузовик с механиками и техником, покачиваясь, выбирался на ровное шоссе, ведущее на станцию.

В кузове, спиной к кабине, сидели рядом Лагунович и Солнцев.

На станции уже шла выгрузка танков. Сбочь дороги, под невысокими молодыми тополями, веселили глаза свежей зеленой краской новенькие «тридцатьчетверки», кажется только что выпущенные с заводского двора. Возле них стояли несколько танкистов в синих комбинезонах.

Станция была разрушена. От вокзальных построек остался только красный каменный фундамент да помятый, с вырванным боком ржавый бак водонапорной башни, лежащий на земле. Не много уцелело и хат, черневших недалеко от вокзала.

Возле площадки для разгрузки тянулся эшелон: ряд платформ и открытый пульмановский вагон-теплушка. На платформах возвышались одна за другой, будто в походной колонне, крутолобые, сильные машины. Брезент с них был снят, танкисты разматывали проволоку, которой машины крепились к платформе, заводили моторы.

Стоял шум, скрежет. Танк, только что тяжело сошедший на землю, кое-где пощепал и сдвинул настеленные шпалы. Через опустевшую платформу медленно двигалась следующая машина, под ее траками трещало дерево.

На площадке командовал Бессонов, рядом с ним хлопотали несколько офицеров. Он и сам не любил стоять без дела и не давал другим. С виду тяжелый, полковник был все время

в движении, неотступно руководил выгрузкой, держал все под своим присмотром. Он работал шумно, с увлечением — приказывал, отчитывал, знаками советовал механикам, где вести машины. Под его острым, требовательным взглядом все делали свое дело старательно и быстро.

На одной из ближайших платформ помогал готовить машину к выгрузке Солнцев. Водителем танка был сержант Рыбаков. Поговорить им почти не пришлось, так как скоро наступила очередь выводить танк. Паровоз рывком стронул эшелон с места и подтянул платформу к площадке для разгрузки.

Солнцев сел на место водителя, привычно взялся за рычаги. Тяжелая машина, послушная рычагам, подминая и кроша настеленные доски и черные шпалы, осторожно разворачиваясь, стала медленно сходить на землю. Солнцев увидел впереди фигуру полковника, тот, подбежав к машине, рукой показывал взять правее. Танк отклонился вправо.

Бессонов отступил, пропустил машину мимо себя.

Пока Солнцев вел машину по платформе, ему казалось, будто он идет по шаткой кладке над водой; поэтому, когда танк стал на устойчивую, прочную почвv, на душе сразу полегчало.

Машина отошла от площадки. Как только остановил ее, Солнцев, заглушив мотор, вылез из люка. Сразу же его обступили новички, навалились с вопросами. Больше всего их интересовала бригада, в которую прибыли, — давно ли на фронте, где воевала, где стоит теперь, кто командует, что за человек командир бригады. Расспрашивали и о нем самом: давно ли воюет, откуда родом? Рыбаков протянул ему коробку «Казбека», неизвестно где добытую, и сразу дружески перешел на «ты». Командиром машины был молодой, краснощекий лейтенант, он спрашивал мало, но все время с интересом слушал.

Окруженный вниманием и любознательными взглядами, Солнцев заметно тушевался. Но старался держаться уверенно, как и следовало, по его мнению, представителю бригады. Насколько мог, достойно представлял и бригаду и товарищей по боям: другой такой бригады, как их, бессоновская, заявил он, нет на всем фронте. Это всем известно. Ребята все — и сержанты и офицеры — ясно — героические, гвардейцы. Говорил он искренне и горячо, убежден был в том, что сообщал, но в то же время с досадой чувствовал, что слова его выходят какими-то слабыми, бессильными.

«Эх, Быстрова нет, тот бы расписал!» — пожалел он от души и недовольно умолк.

— Одним словом, скоро увидите сами!

ГЛАВА IV

1

На еще недавно тихой полянке, подготовленной для парка, было шумно. Лагунович, предварительно указав место для каждой машины, теперь следил, как они, одна возле другой, выравниваются в ряд. Перед каждой из них впереди был командир, жестами подававший механику знаки: правее, левее, стой. Эхо на много ладов разносило по лесу урчание танков — то добродушно-мирное, похожее на бормотание, то сильное, угрожающее. Последним поставил свою «тридцатьчетверку» розовощекий белокурый лейтенант. Танк напоследок взревел, выбросил тучку сине-рыжего дыма и замер рядом с остальными. Алексей уже знал, что фамилия лейтенанта — Колышев. Едва водитель медлительно, по-медвежьи, выполз из люка, Колышев поставил его в струнку, сказал в сердцах несколько строгих слов, потом повернулся и спеша, легким красивым шагом, поправляя на ходу пояс и одергивая складки на комбинезоне, направился к Алексею.

— Опаздываешь, лейтенант,— сдвигая у переносицы брови, видом своим и тоном голоса выражая строгость, сказал Алексей, когда Колышев доложил.

Лейтенант не оправдывался, не ссылался на водителя, и Алексею, не любившему отговорок, понравилось это. У Колышева был открытый, доверчивый взгляд, юношеские, с нежным пушком щеки. Новый комбинезон почти не имел пятен масла, блестящий пояс со звездой туго перетягивал тонкий стан. По тому, как Колышев придерживался устава, старший лейтенант понял, что он пришел из училища.

— Почему не научили водителя... поворачиваться быстрее?

— Мне дали его перед отправкой, товарищ гвардии старший лейтенант,— ответил Колышев, глядя своими ясными глазами на Алексея.— Не было времени.

— Смотри, лейтенант! Не опаздывай. В другой раз не прощу,— пригрозил Алексей.

Новые танки стояли ровным рядом. Около них полукругом высились коренастые дубы, разбросавшие вверху кривые, узловатые ветви. Бывалые танкисты подходили к машинам, осматривали их внимательно, будто прицениваясь. Странно было видеть, что на шероховатой броне нет ни одной царапины. На тяжелых литых башнях не было ни номеров, ни славных знаков гвардейской бригады: сверху буква «Б», под ней острая стремительная стрела, нацеленная вперед. Быстров, открыв люк, забрался в машину. Не терпелось посмотреть, что за это время в ней изменили.

Дежурный по роте, подвижный щеголеватый лейтенант Гогоберидзе, приказал строиться.

Офицеры, сержанты со всех сторон стали сбегаться к дежурному. Рота вытягивалась вдоль линейки.

— Быстрее, быстрее,— подгонял Гогоберидзе.

Люди строились, казалось ему, очень медленно. Он прошел вдоль рядов, ровняя их в ниточку, несколько раз повторил «смирно», «отставить», не забыл при этом заметить, что надо будет заняться строевой.

Старший лейтенант, стоя в стороне, ждал, пока Гогоберидзе приведет строй в порядок. Глядя на роту, выросшую более чем втрое, он думал о том, что сейчас должен сказать. Наконец Гогоберидзе зычно скомандовал последнее «смирно». Он докладывал с таким видом, будто перед ним был не командир роты, его товарищ, а командир бригады или корпуса.

— Не умеют строиться, — сказал Алексей недовольно.

В душе, однако, старший лейтенант ликовал. Он всегда был рад новым людям, любил с ними сходиться. Сегодня же для радости были такие веские причины! Благодаря этим людям рота, прежде не превышавшая взвода, сразу выросла. Танков в ней было сколько положено. Это была настоящая рота.

Он поздоровался. Танкисты ответили звонко, но недружно.

Алексей окинул строгим взглядом притихший строй. Почувствовал на себе десятки пытливых, внимательных глаз.

— Товарищи,— начал он, чувствуя себя неловко под взглядами и пряча смущение,— наша рота сегодня увеличилась. Пришли к нам новые люди... Как командир от души приветствую вас, товарищи новички... Приветствую... и хочу, чтобы вы были на уровне тех, кого пришли заменить. Чтобы вы никогда не забывали, для чего послали вас сюда... Скоро мы с вами пойдем на фронт. Пойдем в бой. Гнать врага — подальше с нашей земли... Времени очень мало. В любую минуту нас могут поднять по тревоге. Надо, не теряя времени, готовиться... Готовиться и готовиться! Не жалея сил!

Он скомандовал «вольно» и начал знакомиться с людьми.

Первым, к кому Алексей подошел, был сержант Рыбаков.

— Вы, сержант, не из старообрядцев? — Рыбаков удивленно уставился на командира роты, не ответил.— Почему бороду отпустили?

Рыбаков начал оправдываться — времени не было, но Лагунович не стал слушать, пряча под бровями добрые глаза, оборвал:

— Побриться! В следующий раз из строя выведу.

Он спросил, где Рыбаков воевал раньше и где был ранен.

— Под Гомелем долбануло, товарищ старший лейтенант... Два дня только и побыл на фронте...

— Какой клиренс у «Т-34»? — перебил его старший лейтенант.

Рыбаков ответил быстро и четко. Старший лейтенант, оживившись, задал еще несколько технических вопросов, и на все Рыбаков отвечал правильно, хотя среди них были и нелегкие.

Алексей всегда любил технику и с уважением относился к тем, кто ее знает,— отошел от Рыбакова довольный.

Немало новичков были новыми лишь в бригаде. Несколько человек, как и старший лейтенант, начинали войну в первый день, под Перемышлем, Брестом и Белостоком, оставляли фронт только ранеными, обгорелыми, на несколько месяцев.

Алексею нравилось, что у него довольно людей, уже побывавших в огне.

Все же большинство новичков еще не были на фронте. Но и они показались Алексею людьми надежными. Особенно запомнился ему младший сержант Архипов.

— Не воевали? — спросил Алексей у Архипова, зная это из списка, который он перед этим читал.

— Воевал, товарищ гвардии старший лейтенант,— возразил сержант. Алексей заметил: возразил с обидой, будто задели его достоинство.

— Где?

— На Уральском танковом... Вот эти машины делал.

Бойцы засмеялись. Архипов неодобрительно оглянулся на товарищей. Был он старше многих, степенен, крепок,— видно, немало уже потрудился. Алексей уважительно поглядел на сержанта, почему-то поверил: этот не подведет.

У сержанта Костюченко, рябоватого, с узкими карими глазами, на гимнастерке белела серебряная партизанская медаль. Алексей из списка знал, что он до ранения был в какой-то «бригаде имени Сталина». Старший лейтенант спросил, где располагалась бригада, и, когда сержант сказал, что в Белоруссии, не мог сдержать любопытства. Оказалось, бригада стояла к югу от Минска, в местах, где старший лейтенант когда-то был!

Алексей однажды ездил туда с товарищем. Железной дороги туда не было, и они добирались на попутной машине, что «подстрелили» на окраине Минска. Была осень, оба так намерзлись в тряском кузове, что потом мать товарища никак не могла отогреть их чаем с малиной. Алексей сразу вспомнил небольшой городок. Почему-то особенно ясно припомнилась мощеная площадь с новым каменным зданием школы и полуразрушенным костелом.

На этом их первый разговор закончился. Алексей стал беседовать и знакомиться с остальными.

Когда танкисты разошлись чистить машины после дороги, Алексей вызвал Костюченко в землянку. Надеялся, что

Костюченко, может, что-нибудь знает о Минске, о его знакомых. Было еще одно затаенное желание, которое Алексей изо всех сил сдерживал, так как не верил, что оно исполнится. Хотелось спросить, не встречал ли Костюченко где-нибудь Нину. Он, конечно, понимал, что это почти безнадежно. Разве найдешь песчинку в море! Но надежда, пусть и слабая, все-таки жила в нем, не давала покоя.

Сержант, войдя, доложил, что прибыл по приказу.

— На этот раз не по приказу, а по просьбе. Садись, сержант.

Костюченко присел на край скамьи, в глазах мелькнул интерес: о чем это старший лейтенант будет просить?

— Расскажи, как там земляки мои воюют?.. Ты, кажется, не из Белоруссии? Как ты туда попал?

Сержант сказал, что до войны служил в Бресте, что под Барановичами, когда дивизия воевала в окружении, его ранило в ногу. Дивизия была разбита, и бойцы отдельными группками пробивались на восток. В одной из групп был и Костюченко, но идти ему было тяжело, с каждым днем рана донимала все больше. Он вынужден был остановиться. Его выходила одинокая старушка, которой он потом помогал в хозяйстве. В деревне собралось четверо таких солдат. Осмотревшись, подкрепившись, они сговорились пойти в лес к партизанам. Связаться с отрядом удалось не сразу — только зимой, в январе, перебрались в лес.

— Кто у вас был командиром?

— Ермаков.

— Ермаков? Не знаю. А из Минска никого не было?

— Как же, и из Минска были. Много было... Гарбуз из Минска, Липницкий. Комиссар наш Туровец тоже...

— Ничипор Павлович? — обрадовался Алексей.— Этого знаю! Он мне партийный билет вручал. И на заводе не один раз встречались. Он был секретарем райкома.

Старший лейтенант неспокойными руками свернул папиросу, вставил в мундштучок из плексигласа, глубоко затянулся.

Затаив дыхание, с усилием выжал:

— А Лагунович... Не слыхал таких?

— Лагунович?.. Была женщина одна молодая, — сказал Костюченко.

— Звать как?

— Отчества не знаю, а так — Ниной звать.

— Нина?! — взволнованный, старший лейтенант невольно поднялся. Худое, обветренное лицо его побледнело. Губы вдруг мелко задрожали.

— Нина,— повторил сержант, немного растерявшись оттого, что старший лейтенант так волнуется. — Ее по фамилии мало кто и знал, все Нина да Нина...

— Какая... она с виду?

— Русая такая, невысокая... Комиссар ее однажды посылал на разведку в город, так мы с Васей Крайко провожали... По-немецки хорошо говорит... Она у нас часто ходила на связь, в разведку... Голос у нее такой глубокий, будто изнутри идет...

— Она! Нина!

Алексей бессознательно вынул папиросу из мундштука, высыпал пепел на руку — обжегся. Но вместо выражения боли на губах засияла улыбка. Минуту спустя она вдруг погасла.

— А ты не ошибся, сержант? Лагунович, точно?

— Ну что вы!.. А вы кто ей, простите, товарищ старший лейтенант? Брат или знакомый?

— Хороший знакомый! Жена моя, как-никак... — Теперь он был не похож на того сдержанного, даже как будто жесткого командира, каким раньше знал его Костюченко. — Давно вы виделись?

— Примерно в январе было, когда мы проводили ее в город. Ну и потом, ясно, видел...

— А о сыне ничего не слышал? У меня сын должен быть.

Сержант сказал, что не слышал.

— Жаль! Там, может, большущий мужчина вырос. А может, и женщина, кто знает. Ждал — скоро, а тут война, все перепуталось... Три года, сержант, ни одной весточки. Ты ко мне как с неба свалился! Расскажи, как она там? Какая она теперь? Не могу представить ее разведчиком. — В глазах Лагуновича мелькнула тень тревоги. — Тяжело ей и опасно, видно?..

— Опасно. Конечно, не без этого, сами знаете. Но нам помогают свои люди. Она больше ходит в гарнизоны...

Костюченко остановился. Что бы еще рассказать?

— Ну, после той разведки я, конечно, встречал ее несколько раз. Но так, поздороваюсь и пройду стороной. А чтоб говорить, скажем, так не приходилось.

— Эх ты! — не то с сожалением, не то с упреком сказал старший лейтенант.

Только позже, когда Костюченко ушел и Алексей остался один, он почувствовал всю глубину счастья. «Нашел!» — радовался он. Это простое слово имело для него большое, многообразное значение. Окончилось трехлетнее неведение. Она жива! Она там, куда он пойдет. Можно написать письмо, надеясь, что оно дойдет до нее и что придет ответ. И еще многое значило это слово «нашел».

«Черт побери,— подумал он,— как в жизни бывает: искал всюду, где только могла она быть, а нашел там, где почти не надеялся».

Счастье его было таким большим, что затопило все другие

чувства и заглушило даже тревогу за Нину. Весь день Алексей жил мыслями о ней.

В тот день он написал письмо. Свернув треугольник, Алексей позвал ординарца и сразу послал его на почту. Ему хотелось, чтобы это письмо летело к ней, как телеграмма.

Что бы ни делал Алексей — нет-нет да и возвращался мыслями к Нине. Чувство радости ни на минуту не оставляло его.

2

Накануне сержант упорно отказывался выступать с лекцией: не умеет он говорить, пусть лучше кто-нибудь другой.

— Я еще, товарищ гвардии старший лейтенант, никогда не выступал...

— Ну и что? Не выступал, а вот — выступишь. Надо же когда-нибудь начинать.

— Не умею я... Выдумки у меня нет...

— Вот и хорошо! — даже как будто обрадовался ротный. — Ничего выдумывать и не надо... Рассказывай все, как было. Как приходилось работать в бою. Какие случаи были. Как выходил из положения.

— Если бы показывать, товарищ гвардии старший лейтенант, — другое дело... а говорить...

— Комбриг тоже считает, что ты должен выступить,— поддержал старшего лейтенанта стоявший рядом Быстров.

Ссылка на комбрига сломала колебания Солнцева.

— Значит, будь готов.

Быстров ответил за Солнцева:

— Все будет в порядке, товарищ гвардии старший лейтенант.

Командир орудия и водитель были людьми разного склада. Обычно медлительный и, казалось, ленивый, Солнцев был вместе с тем очень добродушным и сговорчивым, в отличие от Быстрова.

Сближало его с Быстровым спокойствие и выдержка в бою. В самую лихую минуту водитель не терял рассудка.

Был он одним из лучших, наиболее опытных водителей. Много повидав за войну, он почти никогда не рассказывал о себе, любил слушать других,— больше всего, пожалуй, острого на язык Быстрова. Если и появлялась у Солнцева охота поговорить, то обычно слышали от него о Стародубском районе на Брянщине, в котором он был до войны трактористом и который казался ему лучшим уголком на земле.

Быстров рос и жил далеко от него, в сибирской деревне, окруженной со всех сторон дремучей тайгой. От деревни было километров шестьсот до Иркутска и немного меньше до бли-

жайшей железной дороги. Суровая природа закалила сильную натуру. С детства он целыми днями бродил с ружьем по тайге один или с односельчанами, приносил домой лисиц, глухарей, рябчиков, а иногда, случалось, привозил и дикого оленя. И позже, когда учился в школе, когда работал бригадиром тракторной бригады на лесоразработках, он часто ходил с ружьем в тайгу.

Рос Быстров крепким, выносливым и уверенным в себе. Наверное, из-за этой уверенности в своих силах он смотрел на все смелыми глазами охотника, со снисходительной усмешкой.

Еще накануне Быстров заверил Солнцева, что самое трудное — начать лекцию, а дальше все пойдет «как по маслу», и Солнцев «для начала» переписал заметку о себе из корпусной газеты.

Солнцев заранее несколько раз прочитал ее, но когда вышел к столику и увидел перед собой танкистов, приготовившихся слушать, все, что он уже почти заучил, вдруг вылетело из головы. Покашливая, он растерянно, с таким усердием, что на лбу выступил пот, старался вспомнить, старался найти опору, выход. Что же делать? Может, прочесть? Но читать, чувствовал он, было неудобно.

— Расскажи народу, как на одной гусенице катался. Под Борком,— вовремя пришел на подмогу Быстров.

Хороший парень Быстров, хоть иногда и слишком злой на язык.

— Это можно, могу рассказать... Там — Быстров тогда тоже был...

— Было дело! — подтвердил Быстров.

— Чуть не попались фрицам!.. Подбили два их танка, но и нам хватило на орехи. Гусеницу разорвало. Засели мы. Сидим — и ни с места!.. Что делать? Надо машину спасать. А на одной гусенице как ты поедешь?

— На одной — кто ж говорит! — тоном знатока отозвался кто-то из танкистов.

— А выходит — можно!

Солнцев почувствовал, как слушатели его сразу заинтересовались. Скептические, настороженные усмешки, беспокоившие его, погасли, и, увидев это, Солнцев ободрился, забыл о своих страхах.

— Теоретически нельзя, а на деле — можно.

— Можно? Ну, ты это, брат...

— Осторожней, друг... Однажды уже слышали такое...

— Интересно, как это?

— А вот так. Включил я, значит, тогда заднюю скорость, развернул машину на девяносто градусов кормой в сторону немцев. Потом включил переднюю... выжал полный газ. Машина рванула вперед... Работаю левым бортовым фрикционом. —

Солнцев дополнял свой рассказ привычными жестами, явно не веря в силу слова.— После рывка машина, ясно, снова повернулась передом к немцам, но мне все-таки удалось немного проскочить. Тогда разворачиваю машину снова кормой к немцам и даю полный газ... Проскочил еще несколько метров...

Он вел рассказ таким же образом и дальше: старательно, подробно, хотя все, что он делал потом, было повторением одного приема.

— Сколько ж вы так ползли? — полюбопытствовал лейтенант Яковенко, будто еще не знал этого. Он сидел среди танкистов в одном из дальних рядов.

— Метров... четыреста — не иначе.

— Здорово! — не сдержал восхищения Костюченко.

— Пока я «маневрировал», Быстров бил из пушки и пулемета по автоматчикам. Завели «тридцатьчетверку» в лощину. Щербина побежал за тягачом, а мы с Быстровым и лейтенантом остались у машины... А потом Щербина пригнал тягач, нас взяли на буксир и привели на ремонтную базу.

— Не вас, а танк — на ремонтную базу! — заметил какой-то шутник. Слушатели засмеялись, но их смех был доброжелательным.

Ободренный первым успехом, Солнцев начал говорить свободнее и интереснее. Он не скоро остановился бы, если б Алексей не напомнил, что пора кончать.

— Ну как, товарищ гвардии старший лейтенант, лекция... ничего себе? — не выдержал он, когда танкисты, переговариваясь, перебрасываясь шутками, стали расходиться. Его раскрасневшееся веснушчатое лицо сияло от удовольствия.

— Очень хорошо, Солнцев! Профессор позавидовал бы!

Поискав взглядом среди танкистов, Алексей направился к Яковенко, собиравшемуся уже уходить. Они пошли вместе.

— Как тебе нравится, друг мой строгий, наша первая проба? Удалась?

— В основном удалась.

— Так что мнение такое, что можем и свою академию открывать?

— Ну, вжэ и акадэмию... Пока що хоть курсы по повышению квалификации. Нэ надо сразу так высоко прыгать.

Когда шли рядом по лесной утоптанной тропинке, долго молчавший строгий друг сказал:

— Кстати, одно практическое замечание, товарищ ротный. Я беспокоюсь, чи нэ будут лекции односторонними.

Алексей по-ученически послушно, шутливо взглянул на Яковенко. Взгляд Яковенко был серьезен.

— Надо показувать нэ только лучшее, но и ошибки, которые были в боях. На ошибках, товарищ Лагунович, тоже можно учить.

3

Под вечер, едва выдалась свободная минута, по опушке леса рассыпались частые переливистые звуки. Старший лейтенант подошел к кружку, обступившему гармониста. Полузакрыв глаза, сосредоточившись в себе, Костюченко играл на гармони «Огонек». Он двигал плечами, будто помогал рукам. Несколько голосов не очень слаженно подтягивали.

— Давай ту, партизанскую! — попросил молчаливый Архипов, когда песня замолкла.

Пальцы Костюченко не спеша, дважды прошлись по белым пуговкам. Возникла незнакомая Алексею, щемящая мелодия. Смежив веки, будто переживая заново, Костюченко глухо, страдальчески начал:

На опушке леса старый дуб стоит,
А под тем под дубом партизан лежит...
Он лежит, не дышит, он как будто спит,
Золотые кудри ветер шевелит.

Бойцы притихли. На Алексея от этих слов, от мелодии дохнуло бедой, необычайно понятной, близкой. Но странно, его не омрачила эта беда, в нем, несмотря на чью-то очень близкую боль, жила радость.

Алексей попробовал представить себе нынешний облик Нины, но не смог, она виделась такой, какой была до войны.

Ему захотелось отойти от всех, остаться наедине со своей радостью. Он пошел в поле. Из лесу вслед ему доносилось:

Ты скажи хоть слово матери своей,
Ой, болит сердечко по тебе, Андрей.

Мысли перенесли Алексея туда, где была Нина. В памяти возник тот городок, в который он когда-то уезжал с товарищем.

Нахлынули воспоминания. Картины далекого прошлого надвигались, оживали, представали с необычной отчетливостью. Особенно ясно представлялись ему те дни, когда он работал инженером.

«Так долго тебя не было, целый день», — казалось, услышал он голос Нины... Когда она говорила это?.. Будто снова увидел он корпуса в сосняке за городом... Работы было много: целыми днями не выходил из цеха. Прощался с Ниной утром, а возвращался поздно вечером. Работал с удовольствием, но все же ждал вечернего часа встречи с Ниной; добираясь домой, — дорога была не близкая, — каждый раз торопился.

Нина обычно выходила навстречу...

«Целый день не было! .. Мы тогда разлуку измеряли днями, даже не днями — часами».

Ему вспомнился вечер, когда они познакомились. Алексей тогда учился в политехническом институте, на последнем курсе. Товарищей по комнате пригласили в гости знакомые девушки из университета, ребята позвали и его с собой. Алексей отмахивался от них, он только начал писать дипломный проект, и как раз не давалась одна задача, над которой он бился и которая не выходила из головы. Ребята потащили его почти силой.

Там Алексей и встретился с ней.

Их познакомил Костик Зубец, товарищ Алексея. Познакомил так, будто давно дружил с Ниной, хотя, оказалось, знал всего три дня. Поговорил Алексей с ней немного и неожиданно увлекся разговором, забыл и о своем проекте, и о товарищах. Костик же, ревнивец, почему-то обиделся на Нину! Нарочно весь вечер обходил ее, танцевал с другой. Не подошел он и тогда, когда стали расходиться, и Алексей должен был проводить Нину домой. Все время, пока шли по тихому, уже уснувшему городу на ту улицу, где жила Нина, говорили. Обо всякой всячине, почему-то все казалось в ту ночь интересным обоим. Настолько интересным, что и не заметили, как подошли к дому. Им было так легко, хорошо вдвоем, что не хотелось прощаться.

«А мне сначала показалось, что вы — молчун!» — сказала она удивленно. «А разве нет?» — спросил Алексей в тон ей. Они засмеялись...

Воспоминания шли обрывками, безо всякой последовательности. Одни представали ясно, другие проплывали неуловимыми видениями.

Вечерело. На зеленом поле пламенели красные лучи заходящего солнца, вытянулись странные длинные тени. Какое-то время лучи солнца огненно пылали на вершинах деревьев, опалив их, наконец и вершины погасли. Молодая рожь покрылась росой.

Постепенно замирала жизнь. Только там, где была рота, слышался неумолкающий шум.

Алексей спохватился — зашел далеко — и повернул назад. Шел он быстро. Запыленные днем хромовые сапоги задевали траву, росшую на краю тропинки, сбивали с нее росу. Голенища были вверху серыми от пыли, а ниже мокрыми от росы.

— Где ты пропадал? — спросил Алексея лейтенант Гогоберидзе, встретивший его у опушки.

— Секретничал с Ниной.

Смуглое, с тонким носом и красивыми усиками лицо лейтенанта оживилось, в глазах появилось любопытство.

— С какой Ниной? Познакомился?

— С Ниной, с женой.

— Ну-ну, не выдумывай! Я узнаю! — не поверил, пригрозил Гогоберидзе.

4

Проходя мимо землянки Солнцева, старший лейтенант остановился прикурить. Невдалеке шла беседа. Алексей узнал неторопливый басовитый голос Быстрова.

— Ты соображаешь, куда попал? — спрашивал у кого-то Быстров.— К сталинградцам. Под Сталинградом начали. Оттуда и рванули на Дон. На главном направлении. Под Курском опять же на главном направлении стояли. — Быстров особенно подчеркнул: «на главном направлении».— И не опозорились. Потом под Ельней сражались. До самого Витебска дошли.

— Знаю... Уже слышал... — мирно, похоже было, снисходительно ответил кто-то, видимо, из «новых». Голос Алексею показался знакомым, но он не мог определить, кто говорил.

— Знаешь! Мало ты знаешь.

— Слушай, когда тебе говорят,— вмешался третий: Алексей узнал голос Солнцева.

«Новый» не отозвался.

— Вникай и соображай! — снова заговорил Быстров.— Раз приняли к нам, должен действовать по-особому. Мерка у нас особая! Пойдем, увидишь — задачу первый номер дадут. Помни мое слово — дадут главное направление. Где поважней да потяжелей!

Говорил Быстров, как бы подтрунивая, свысока, будто нарочно стараясь задеть, но в то же время и очень серьезно.

Лагунович вынул зажигалку, но так и не зажег, прислушиваясь к разговору. «Ишь ты, агитатор!»

— Это, сосед, не так себе, не «тьфу», — гвардеец-сталинградец! В твоих руках — честь твоя и всей роты. В стаде одна овечка и то весь гурт может опозорить, а здесь, в нашей боевой танковой роте...

— Кто тебя просил учить? — нетерпеливо отозвался — Алексей узнал — Рыбаков. — Замполит тебе поручил? Да?

— А если и никто не поручил?

— Ну так и молчи, замполит и без тебя обойдется.

— Это еще как сказать! Я, может, тоже отвечаю за бригаду.

— Ге-не-рал мне нашелся! — В голосе Рыбакова Алексей услышал насмешку.

— А как ты думаешь? Отвечаю! Во-первых, нет никаких оснований сомневаться, что я могу стать до конца войны

генералом. Человек я видный, смелый и, кроме того, умный, не тебе пара,— откровенно перешел на шутку Быстров.— А во-вторых, хоть я, скажем, и почти одного звания с тобой, а все же не ровня тебе. Ты здесь без году неделя, ты... вроде худого теленка, которого подсунули к хорошей матке, а я от Сталинграда иду! — снова подчеркнуто серьезно заговорил он. — Я, друг, с самого рождения бригады выводил ее в люди. Она для меня вроде сестра родная или мать. И я имею право требовать, чтобы солдаты в ней были достойные, а не прихлебатели какие-нибудь...

— Точ-чно, Быстров,— поддержал его Солнцев.— В самую точку!

Рыбаков промолчал, и разговор перевели на другое. Алексей, прикурив, затянулся горьким дымком и пошел дальше. «Да, агитатор!» — подумал он, улыбаясь, о Быстрове. Подумал: какой-то талант есть у Быстрова: внушать, подчинять себе. Будто играет, язвит, а за этим — напористость, ощущение силы своей. Уверенность удивительная в себе.

«Что с ними будет дальше? — вспомнил он Рыбакова, Колышева, Костюченко, других новичков, с которыми ему скоро предстояло идти в наступление. — С Костюченко более или менее ясно. Этот уже каленный огнем... А как Колышев? Мальчик, наверное, от мамы еще не отвык...»

После поверки лагерь стал затихать. Утомленные за день, люди быстро засыпали. Только часовые размеренно-неторопливо похаживали вдоль землянок, вокруг парка, где стояли машины под серыми покрывалами. В тишине было слышно, как шепчутся в вершинах деревьев листья. Где-то в лесу испуганно крикнула птица и смолкла.

Покоем и тишиной дышала ночь. И оттого, что эта ночь была похожа на те, которые он когда-то знал, до утра гуляя с Ниной по молчаливым улицам, воспоминания его приобретали непривычную явственность... Вот и кончились долгие годы разлуки! Еще немного, и он придет к ней! Только бы скорее пролетели эти спокойные дни, скорее на передовую, в наступление!..

В этот час Нина ощущалась такой близкой, что казалось, он слышит ее дыхание, ее шепот.

Весь вечер он сидел вдвоем с Яковенко, дежурившим по лагерю, и все говорил и говорил о своей жизни, о Нине. Ему многое хотелось высказать. Рассказывая, он курил папиросу за папиросой.

Поздним вечером над лесом взошла луна, но ее вскоре начали затягивать тучи. На небосклоне вспыхивали зарницы.

В полночь полил дружный теплый дождь, и Алексей возвратился в землянку.

ГЛАВА V

I

Туровец шел, полон невеселых дум.

Попытка вырваться из блокады окончилась неудачей — на рассвете бригада вынуждена была вернуться назад, занять прежние позиции. Настроение у людей, заметил Туровец, было угнетенным, всех беспокоила неудача.

«Как это могло случиться?» — старался он разобраться в случившемся. Но мысли были непослушными, давали себя знать усталость и пережитое напряжение.

Обрывками вставало в памяти: мины, завывая, проносятся вверху и взрываются то здесь, то там. В их стремительном жадном свете огненно вспыхивают деревья. «А-а-ай!» — кричит кто-то из раненых. Кто это?

На память скоро приходит новое — эти два чертовых пулеметных гнезда! Из них так секут, что не поднять головы.

«Эх, мин нет!» — невольно пожалел комиссар снова, направляясь в штаб, будто эти пулеметы мешали и сейчас.

«...Товарищ комиссар! Скажите, я... его гранатой». Это был Коля Малик, комсорг отряда. Он взял гранаты, быстро вставил запалы и пополз. Скрылся в темноте. Потом Туровец услышал в той стороне два взрыва. Один пулемет сразу умолк. Но другой, находившийся правее, сек по-прежнему, даже злее...

Печальный, усталый, подошел он к штабу, разместившемуся на той же полянке, что и вчера. Здесь сегодня был беспорядок, говоривший о том, что люди вернулись сюда недавно и очень измученными. Над полуразрушенным вчера шалашом торчали вверх жерди. Сумки, шинели, пальто лежали вразброс. Некогда было думать о порядке.

Возле шалаша стоял щуплый черноглазый Габдулин. Он сказал, что Ермаков у радиста, говорит со штабом соединения.

Скоро пришел и Ермаков.

— Ну что, Николай? — спросил Туровец.— Чем порадуешь?

— Штаб фронта обещает прислать самолет... Как там в «Родине»?

Ермаков, слушая Туровца, беспокойно ходил. Шагал он тяжело, широко и ровно, будто мерил землю; пройдя несколько шагов, резко поворачивался на каблуках и по своим следам шел обратно. Он был хмур и взволнован. Невдалеке послышалась пулеметная стрельба.

— Кутузовцы дерутся, — прервал комиссара Ермаков, потом, дав знак продолжать, снова заходил.

Он, не замечая этого, с усилием вдавливал каблуками траву.

Туровец кончил рассказывать, а комбриг все молча вышагивал. Ермаков не умел скрывать своего настроения. Все, что он чувствовал, отражалось на его подвижном, беспокойном лице. Он думал о чем-то неприятном, уголки его тонких губ недовольно кривились.

— Как это могло случиться? — сказал, будто рассуждая сам с собой, Туровец.— Недооценили их силу? Ошиблись в чем-то?

Ермаков резко остановился, быстрыми зеленоватыми глазами удивленно взглянул на комиссара, пораженный тем, что тот угадал его мысли.

— Ясно «как»! — произнес он неохотно.— Прошляпили — вот как! — и зашагал снова.

— Прошляпили? В чем? Место выбрали неудачно? Не может быть, чтобы всюду столько их сидело.

— Сами на рожон полезли!

Габдулин сообщил, что после того, как партизаны разведали участок, немцы подкинули туда в подкрепление пехоту с минометами и несколько танков.

Ермаков вдруг остановился и озабоченно, решительно бросил:

— Я поеду к кутузовцам, потом в «Родине» буду. Вернусь через два часа.

Он легко повернулся, позвал на ходу ординарца и быстро скрылся за деревьями. Через минуту послышалось нетерпеливое норовистое фырканье коня.

— Вот тебе и Первомай!— заговорил Габдулин.— Не повезло, можно сказать. Праздничное собрание и всякие там торжества отменяются по причине неподходящих условий. Или переносятся на следующий год. Так же, как было позапрошлым летом.

Оглядевшись вокруг, он восхищенно улыбнулся блестящими, с косым разрезом глазами:

— А солнце майское, праздничное! И такая красота везде, черт побери, что о смерти и думать не хочется. Хотя, говорят, помирать никогда не охота: осенью — земля мокрая, зимой — холодно, ну, а в такой день, как сегодня, хочется жить, жить и жить! ..

Туровец взглянул на часы.

— Скоро должны передавать обзор сегодняшних московских газет... Иду к рации. Надо послушать, как там живут наши, сегодня, в такой день...

— Я с тобой, комиссар.

2

Туровец и Габдулин направились к склоненной, едва зазеленевшей березке, под которой примостился со своей рацией радист.

В батареях рации хранились жалкие остатки энергии, и ее использовали теперь только для самых важных боевых дел.

Радист, маленький светловолосый парень, стоя на коленях, суетился возле вещевого мешка. Туровец еще с ходу попросил:

— Настрой, земляк, на Москву! Столицу послушаем!

Узнав о том, что сейчас будут слушать передачу с Большой земли, из Москвы, к рации быстро начали собираться все, кто был при штабе. Через несколько минут под березой, вокруг Туровца, Габдулина и радиста, толпилась уже небольшая группка. Радист, приладив перед собой ящик, положил на него чистый листок бумаги, быстро заточил три карандаша.

Туровец время от времени вынимал из кармана кировские часы, с толстым желтоватым слюдяным стеклом над циферблатом, смотрел, не пора ли включать. Эти часы у комиссара сохранились еще с довоенного времени и верно служили всю войну. Ему давали взамен разные трофейные, один раз подарили красивые флотские часы, но комиссар не расставался со своими, а подарок передал одному разведчику.

Минутная стрелка медленно приближалась к двенадцати. Когда осталось три минуты, Туровец дал знак радисту — пора включать. Он взял один наушник, другой протянул радисту.

Радист повернул выключатель — в наушниках послышался сначала беспорядочный треск и шипение, потом, постепенно усиливаясь, выплыли первые слова:

«...сообщает, что совхозы Краснодарского края завершили посев ранних колосовых культур на пятнадцать дней раньше, чем в прошлом году...»

«Что это? Неужели опоздали? — подумал Туровец. — Как же это? Неужели часы подвели?»

«Сотни колхозов Азербайджана встречают Первомайский праздник полным окончанием посевных работ... В Туркмении началась уборка ячменя... Колхозы приступили к выборочной уборке озимого ячменя на двадцать дней раньше срока прошлого года...»

Не дыша, вслушивался Туровец в эти простые, теперь такие важные, волнующие сообщения, стараясь все запомнить, боясь что-либо пропустить.

Вместе с ним умолкли и замерли все, кто был около рации; хоть они и не слышали передачи, чутко следили за Туровцом и радистом и по их лицам старались угадать, что те слышат, хорошее или плохое. И когда черные цыганские глаза комиссара заискрились радостью, люди заулыбались. Когда же на лице

его появилась серьезная сосредоточенность и крутой смуглый лоб от виска к виску прорезали борозды морщин, это волнение невольно передалось и людям. Несколько партизан все заглядывали из-за плеча радиста на белый разлинованный листок из какого-то немецкого «гроссбуха», что быстро заполнялся неразборчивыми завитушками.

«В телеграмме из города Н. сообщается, что тридцатого апреля коллектив Кировского завода полностью выполнил повышенную апрельскую программу производства танков и моторов...

Тридцатого апреля, сообщает корреспондент «Правды», кузнецкие металлурги досрочно выполнили свои предмайские обязательства...»

Как разгоняли тревогу, радовали Туровца эти слова, спокойный голос диктора! В это время он забыл об усталости, которая недавно валила с ног, о подавленности из-за неудачной попытки вырваться из блокады.

— Что передают? — не выдержал широкоплечий рыжебородый партизан с марлевой повязкой на большой стриженой голове.

Туровец мотнул головой, чтоб не мешали, боясь пропустить что-нибудь. А далекий спокойный голос из Москвы продолжал:

«Много внимания сегодняшние газеты уделяют заявлению товарища Вышинского на пресс-конференции в Наркомате иностранных дел СССР о советско-чехословацком договоре на случай, если советские войска вступят на территорию Чехословакии...»

«На случай, если советские войска придут в Чехословакию! Вот о чем уже думают в Москве, на фронте!.. Наш черед настает! Наш праздник наступает!» — запело в сердце Туровца.

Казалось, все вокруг вдруг посветлело. Давно он не знал такой радости. Первый день мая принес ее как награду за все последние тревожные ночи и дни.

Скоро зазвучал марш, но звуки его вдруг оборвались,— радист, экономя энергию, выключил рацию. Туровец приказал снова включить ее.

По радио читали стихи:

Бойцам отваги беззаветной,
Покрытым славою всесветной,
Которым равных в мире нет,
Семьей народной всей — несметной —
Мы первомайский шлем привет!

Туровцу показалось, что это вся необъятная свободная Родина, лежащая по ту сторону фронта, приветствовала их и желала им успеха в борьбе.

— Писать? — глазами спросил радист.

— Обязательно!

3

Туровец положил наушник и, поднявшись, повернулся к людям, ожидавшим его слов.

— Родина празднует Май, друзья, в труде... — произнес Туровец взволнованным голосом, обводя веселыми глазами лица партизан. — Краснодарцы закончили сев. А в Туркменистане уже началась уборка ячменя...

И Туровец стал передавать содержание обзора. Он старался вспомнить все, что слышал, беспокоился, как бы не пропустить чего-нибудь. Говорил он непоследовательно, по мере того как вспоминал, но это не ослабляло впечатления от его слов. Все слушали с необычайным волнением.

Глядя на них, комиссар подумал, как теперь, в их положении, всем нужны такие известия, известия из Москвы, как ждут их. Надо, чтобы они быстрее дошли до всех, надо сейчас же передать их всем, во все роты, во все взводы, каждому бойцу. Он взглянул на радиста:

— Переписал?

— Сейчас кончу.

Туровец пожалел, что сейчас нет типографии, с ней пошло бы по-другому. Что же, переписывать так переписывать! Он позвал нескольких партизан, попросил Габдулина помочь и сам сел вместе с ними.

Когда сводка была переписана на несколько листков, Туровец со специальными посыльными разослал их по отрядам. Отправляя посыльных, приказал:

— Доставьте во что бы то ни стало...

В отряд имени Кутузова Туровец пошел сам. Хотелось лично порадовать.

Утро набирало силу. Солнце поднялось выше, купалось в глубокой, затянутой дымкой синеве. От леса веяло духотой. Пробиваясь сквозь зелень берез и осин, ветви которых сплетались разнообразнейшими узорами, пятна света сверкали на еще влажных деревьях, на траве. Прямые яркие лучи, будто шелковые ленты, всюду весело расцвечивали тенистый полумрак зарослей. Деревья не шевелили ни одной веткой, возносились величественно, по-праздничному торжественно. Несчетное птичье царство на разные голоса славило радость бытия, первый майский день.

Туровец снова думал о блокаде, вспоминал недавнюю ночь, но теперь это виделось во многом уже иначе. Ощущение большой, почти непоправимой беды уже не так жестоко давило, дало место иным чувствам,— он теперь смотрел на случившееся как бы с высоты, с которой было шире обозрение. «Надо показать и другим, что дальше, там, за петлей блокады...»

Отряд имени Кутузова был на самом беспокойном участке. Когда Туровец подходил, снова разгорелась пулеметная перестрелка.

Над КП с воем проносились мины, взрывались то возле командного пункта, то дальше, в лесу.

На КП командир отряда Ковалевич толковал с вихрастым, в маскхалате, парнем; Туровец узнал в нем отрядного разведчика. Прервав разговор с разведчиком, командир отряда пожал своей широкой рукой руку Туровца, пожаловался:

— Дрянь дела у меня. Гитлер как из прорвы сыплет бомбы да мины. А мы каждый патрон считаем. Гранаты кончились. Больше молчим да слушаем. Война не очень интересная... Ты что, с какой-то новостью?

— Да, с новостью. С хорошей новостью, Иван Саввич! — сказал Туровец. — Первомайские известия Московского радио!

— Из Москвы? Покажи!

Ковалевич не спеша прочел сводку. Это был высокий, плечистый мужчина с рыжеватыми, будто выгоревшими на солнце бровями и умным, настороженным взглядом.

— Хорошие новости, — сдержанно отозвался он, закончив читать сводку. Сразу, без лишних слов, перешел к делу: — Вот что, наверное, думаешь политруков созвать? Я могу снять их только на полчаса. Не больше. И то не всех. Из третьей и четвертой, сразу говорю, не могу. Боюсь за эти две.

— Давай, кого можешь! Только — сейчас же!

Командир отряда тотчас вызвал посыльных, отправил в роты. Закончив разговор с разведчиком, он отпустил его, повернулся к Туровцу, посоветовал:

— А в третью и четвертую пошли моего комиссара.

— В третью я пойду сам,— решил вдруг Туровец.— Порадую и посмотрю, как народ живет.

4

В третью роту Туровца проводил молоденький мальчик-разведчик. К переднему краю пришлось пробираться то ползком от ямки к ямке, то перебежками, слушая свист пуль и мин. Еще не добрался он до роты, как за лесом начал грозно нарастать гул. Чтобы самолеты не застигли его на открытом месте, Туровец заспешил и скоро ввалился в окопчик.

Он увидел перед собой пулеметчика Кривца.

— С праздником!.. Новости. Из столицы! — произнес Туровец так, чтоб его можно было услышать.

— Из Москвы? — Кривец понуро оглянулся на небо, заполнявшееся гулом. — Эх!.. — Он в сердцах выругался.

Из-за ветвей двух ближних осинок, из-за дрожащей листвы

тяжело выплыло несколько «юнкерсов». Зловеще пройдя над окопами, два из них развернулись невдалеке. Кривец быстро снял свой пулемет, поставил в углу окопа.

Один из «юнкерсов» вдруг стал круто падать. Начал стремительно нарастать давящий, вжимающий в землю вой. Туровец и пулеметчик в тесном окопчике, согнувшись, сжавшись, замерли в ожидании. Обостренным слухом вскоре уловили — сквозь вой и рев — противный визг. Он приближался к ним, вонзался в них. Казалось, именно в них. Его прервал оглушительный грохот. Земля словно сдвинулась. Раз, другой, третий, пятый... На Туровца и пулеметчика посыпались комья земли.

Долгим показалось время, пока они пикировали, бомбили, обстреливали, проносились над самыми вершинами деревьев.

Потом один из самолетов повернул обратно, а другой на прощание сделал еще круг. Под ним вырос белый клубок, стал снижаться и расползаться, поблескивая множеством маленьких листков. Сделав еще один круг подальше и выбросив еще один белый клубок, самолет ушел вслед за первым. Это были листовки. Кривец, отряхивая землю, смотрел на них злыми глазами и даже выругался.

Листовки, покачиваясь, медленно спускались, ложились на ветви деревьев, на траву. Одна из них упала на плечо Кривца. Туровец взял бумажку, быстро пробежал глазами. «Партизаны... Комиссары ведут вас на погибель... Они спасают свою шкуру. Вы окружены железным кольцом немецких войск... Сопротивление бессмысленно! — угрожали большие черные буквы. — Бросайте оружие...»

Туровец смял листовку и с отвращением отбросил.

К окопу Кривца ловко подполз сосед, широкоплечий подрывник Шашура, лег, прячась за комель ольхи. Ему было, видно, тоскливо в одиночке-ямке, он никак не мог пропустить случай поговорить с комиссаром.

Кривец припал щекой к гладкому прикладу пулемета и нажал спусковой крючок. Коротко ударила очередь. Опустив приклад на землю, Кривец отвернулся от пулемета:

— Еще одного...

— Туда ему и дорога!

Туровец рассказал новости. Бой почти не утихал, и оба слушателя часто переспрашивали комиссара.

— Так... Значит, сев кончили? А в Туркменистане — ячмень убирают? Вот чудо! Здесь у нас такое... а там — сеют и жнут!

— Жнут! — будто не верилось Кривцу. Он почти непрерывно искоса следил за полем. Слушал и поглядывал в сторону карателей.

— Договор с Чехословакией! Значит, скоро фюреру капут! — выпалил живой, нетерпеливый подрывник.

Выражение быстрых, даже сейчас как бы озорных глаз его постоянно менялось. Но больше всего было теперь в глазах этих восторга. Радуясь, подрывник все время переглядывался с Кривцом, как бы делился радостью.

Туровец с удовольствием наблюдал за ним: очень нравился ему теперь оптимизм подрывника. Неукротимое жизнелюбие.

— Это — факт! Все к тому идет!.. Капут скоро Адольфу!

— Недолго уже... — спокойно согласился пулеметчик, следя за полем. Кривец был непохож на товарища. Сдержан, рассудителен был, скуп в движениях и в выражении чувств. Сколько времени знакомы были, а никогда комиссар не видал, чтобы Кривец бурно радовался. Правда, не помнится, чтоб он когда-нибудь печалился особо...

— Не зря это — про Чехословакию! Не зря!.. — пророчески, убежденно настаивал Шашура.

Он все не мог успокоиться:

— Как услышал такое, так вроде сильнее стал! Силы вроде больше!

— И мне, хлопцы, когда я слушал радио,— заговорил Туровец, уже не так из комиссарского долга, как из желания просто высказаться,— подумалось: пусть нам горько, пусть они, нечисть, жмут нас, бесятся, все же не они, а мы хозяева земли! Они бесятся — сдыхая!.. Не надо вешать голову! Один раз не удалось, другой попробуем, да с большей силой, с большей злостью! Главное — не вешать голову!

— Было такое, чего скрывать,— откровенно признался Шашура.— Как увидел ночью — не получилось, надо поворачивать к фрицам задом, сидеть почти без патронов,— думал, крышка будет. А теперь — нет! Не на таких напал, фриц! Только б отбить у фрицев побольше боеприпасов!.. А вы попросите, товарищ комиссар, у фронта, чтоб прислали! Пусть подкинут! Тогда мы так рванем, что перья полетят с фрицев! — «Рванем» было любимым словом Шашуры.

— Покажем им чудеса! — поддержал его Кривец.

Закончить ему не пришлось: вокруг загремели взрывы — со стороны немцев били минометы. Шашура вмиг отпрянул в свой окопчик. Немцы стреляли «по площади», по лесу; вокруг стоял сплошной гул, будто налетела буря. В этом гуле свиста мин не было слышно. Одна мина взорвалась вблизи окопчика, как топором отсекла половину ольхи, за которой прятался Шашура.

Через несколько минут налет прекратился так же внезапно, как и начался. Туровец спросил, как добраться к командиру роты.

Выбрав подходящий момент, он выскочил из окопа.

ГЛАВА VI

1

Шашура долго ползал по опушке леса с видом человека, который что-то потерял. Ползать было довольно опасно — здесь часто посвистывали пули.

— Ты что ищешь? — окликнул его Кривец, когда Шашура заглянул в свой окоп.— Не сухарей ли? Нету, брат! Такое добро теперь не валяется.

Обычно разговорчивый, охочий до шуток, Шашура ничего не ответил, чем немало удивил товарища. Молчаливый, явно что-то затаив в себе, он вскоре исчез в лесу. Когда он вернулся, Кривец не заметил, но подрывник сам позвал соседа к себе. Кривец переполз к нему и ужаснулся — в окопчике лежала бомба. Небольшая, килограммов, наверно, на пятьдесят или семьдесят, но настоящая бомба!

— Ты что? Дуришь? — тревожно пробормотал Кривец.— Унеси ее, да подальше. Погубить хочешь своими дикими выдумками!

Шашура поднял бомбу, поднес к Кривцу.

— Сейчас на кусочки тебя...

— Брось дурить! — разозлился пулеметчик.

— Так я ж разрядил ее, взрыватель вывинтил! — захохотал довольный Шашура.

— Глупые шутки у тебя. Аж в пот вогнал. В прошлом году как разорвало подрывников бомбой, когда они тол выплавляли, так я ее, поганую, как огня боюсь. Я там около них был и только отошел, как она, проклятая, грохнула!.. Зачем она тебе?

— Сухари или сало прятать! — засмеялся Шашура.— Выплавлю тол, будет пустое место, как в банке! Так я туда и буду складывать. А после... завинчу взрывателем. Никто не позарится на добро мое!

— Ну, не дури. Скажи по правде.

Шашура перестал смеяться, произнес загадочно:

— Не могу... Тайна важная!

Уже вечерело, и стрельба становилась вялой. В затишье с немецкой стороны позвали:

— Ива-ан!.. Иди! Булку дам!.. Ром!..

Немцы хохотали. Это было не в первый раз: каратели знали, что партизаны голодают, и охотно развлекались таким образом.

— К нам иди! У нас сало есть... Шнапс!.. И курица... — ввязался в перекличку кто-то из партизан.

— Покажись, цветик! Пулей угощу! — ласково пообещал Шашура.— Высунь голову, любочка!

Когда наступила темная майская ночь и вокруг стало еще тише, Шашура со своей бомбой выбрался из окопчика и, как ящерица, пополз в сторону карателей.

В полночь там, где располагались немцы, вдруг взметнулось пламя и ударил взрыв. Почти сразу за ним, залив все острым светом, взлетели ракеты, зазвучали смятенные вопли, возгласы команд. Вскочили и партизаны, но никто не знал, что случилось.

Немцы открыли беспорядочную стрельбу, которая еще долго не утихала. Когда наконец все снова успокоилось, в окоп Кривца, встревожив задремавшего пулеметчика, кто-то вкатился. Свалился на голову Кривца, едва шею не сломал.

— Кто тут? — со сна не мог ничего сообразить Кривец.

В окопе был Шашура.

— У-ух! — выдохнул он удовлетворенно, стараясь отдышаться. Долго дышал часто, с хрипом. — Ч-черт, вымок весь! Измазался,— наверно, за месяц не отмоешься!

Он ругался, но Кривец видел, что не с раздражением и злобой, а с непонятным удовлетворением.

— Ну-у, помог фюреру! Подложил подарочек фрицам! — объяснил он наконец Кривцу причину радости.

— Это ты той бомбой? — догадался, еще не веря, Кривец.

— А то чем же, — нарочито спокойно сказал подрывник. Будто это его уже не интересовало, перевел разговор на иное: — Хочешь булки немецкой попробовать?

Он положил Кривцу на колени буханку хлеба и круг колбасы. Кривец с недоверием ощупал колбасу, хлеб, удивился:

— Где достал?

— Ешь и не спрашивай! Любопытной Варваре, знаешь, нос оторвали! ..

Кривец набросился на еду. Подкрепившись, не удержался, благодарно похвалил:

— Правду говорят: похоронных дел мастер! .. Ма-а-стер, это точно! ..

— А ты знаешь: зовут меня так совсем не потому, как ты думаешь... — Шашура, чувствовалось, был еще возбужден и рад был разговору. — Я в самом деле был похоронным мастером...

Он рассказал, что, очутившись в оккупации, вначале не знал, чем заняться. Дело было в городке, он там перед войною работал в столярной мастерской. Мастерская эта сгорела при бомбежке, да если бы и не сгорела, что толку было бы тогда от нее! В общем, Шашура оказался и без дела, и без хлеба. Конечно, заработок найти можно было бы, но Шашура не хотел пачкать руки, работать на фрицев. Однако голод не тетка, да

и немцы начали присматриваться: почему не работает? Тогда он придумал штуку: открыл свое предприятие. Приколотил над сараем вывеску: «Похоронная мастерская. Делаю гробы, кресты и пр.». Дела пошли: потребность в изделиях его была; однажды немцы взяли сразу около десятка гробов. Но Шашуре это вскоре надоело: захотелось «более веселой работы». Да и выходило все же, что он вроде работал на врагов. Много чести им, гробы сооружать, пусть эта нечисть лучше гниет неприбранной!.. Шашура пережил зиму, а весной — вместе с помощниками — в лес!..

— Вот откуда пошло это звание: похоронный мастер!..

Кривец, выслушав всю историю, сказал недоверчиво:

— Врать ты мастер!

Шашура хохотнул, не стал разуверять:

— Мое дело — сказку сказать. Твое дело: верить — не верить!..

Любил Шашура, чтоб о нем строили догадки, чтоб тайна была вокруг него!

2

Валя стояла задумчивая и грустная.

Что это с ней? Целый день не выходит из головы Василь! Никогда раньше не было такого. Перевязывает ли раненого, говорит ли с кем-нибудь — все думает о Василе. Будто неотступно ходит он следом.

И почему-то на сердце тревожно. Предчувствует сердце что-то неладное... Когда приходит кто-нибудь из отряда Кутузова, Валя прислушивается — может, услышит что-нибудь о нем. Но — нет, ничего о нем...

Ох эта любовь! Расцвела не вовремя, как цветы под заморозки. Разве сейчас о любви думают! Так нет же, любовь не слушается Валиных рассуждений, ей надо свое. Только увлечешься делом, забудешься, а в памяти снова встает вчерашний день, его хмурое лицо. «Почему не отучишь этого?..»

Ревнивый какой! И чего он хмурится из-за комбрига, который ей совсем не нравится? А вслед за этим к сердцу подступает теплая волна: ревнует, — значит, любит! Если б не любил, не злился, не ревновал бы.

Все-таки, что ни говори, она виновата. Почему она вчера не сказала об этом! Помирились бы, и сегодня все было бы хорошо. У нее всегда так: сначала сделает глупость, а после раскаивается.

Она всю ночь дежурила, а теперь отпросилась у Марии Андреевны на час-другой поспать, и вот, вместо того чтобы отдыхать, думает о Василе.

Что ж, о таком хлопце стоит думать. Наверно, на всем свете нет такого сердечного, синеокого и... отчаянного! Только б все с ним было хорошо! Чтоб ни одна пуля не тронула!

А может, чем гадать и тревожиться, лучше пойти к нему, увидеть и сказать, как она любит,— горячо, одного-единственного, навсегда...

Это желание было так велико, что мгновенно разогнало печальные Валины раздумья. Жизнь, только что казавшаяся безнадежно запутанной, обрела определенность, дала возможность увидеть путь к спасению. Пойти, взглянуть и сказать — в этом было не только осознанное решение, в этом были и надежда, и вера в счастье. Валя не могла уже больше томиться в бездействии, с внезапной решительностью направилась она к тропинке, ведущей к его отряду. Она может успеть побывать там и вовремя вернуться назад. А что не поспит — невелика беда! Разве впервые приходится ей по суткам не спать. Да ей сегодня и не хочется спать.

Валя шла быстро и легко, ее как бы ветер на крыльях нес. Сердце билось нетерпеливо: быстрее, быстрее! Будто подгоняло. Столько радости, столько нежности к «отчаянному» своему было в нем!

Когда стала подходить туда, где сражался отряд, появилась трезвая, опасливая мысль: «Смеяться хлопцы будут, что пришла». Но мысль эта не остановила Валю, даже словно бы усилила ее упрямство, решительность. Ну и пусть смеются! Ей все равно, что скажут другие.

Совсем рядом ударила мина, и этот взрыв возвратил ощущение иной опасности. Слышала уже: мины почти все время взрывались неподалеку, то и дело перелетая за нее. Почти не утихали близкие выстрелы.

Было страшно, но она сдерживалась. Она не хотела, не могла быть хуже Василя; не позволяла себе пасовать перед испытанием, которое было для него обычным. Ведь он здесь воевал уже вторые сутки.

Она спросила у встречного партизана, где здесь рота Дрозда, и стала смело пробираться туда.

Почти в полный рост подошла она к окопчикам. Счастье ее, что по ту сторону не заметили. Шашура первым из своего окопчика удивленно увидел ее вблизи, велел строго:

— Ложись!

Она не сразу послушалась.

— Ложись, убьют! — крикнул Шашура свирепо. Она опустилась на землю, по его приказу ползком добралась до окопчика.

— Ты куда это, калина-малина, собралась? — спросил не очень ласково, как бы осуждающе подрывник.

Она ответила с вызовом:

— Дело есть!

— Что за дело? К кому?

— Крайко надо,— объявила она высокомерно.

— Вот подстрелили б — было бы дело! — хмыкнул он язвительно. — Подождать нельзя было, — сказал он погодя, несколько снисходительно, но все же осуждая.

Будто видел насквозь ее: Вале неприятны были его взгляд, его тон, и она возразила нетерпеливо:

— Нельзя было.

Шашура вгляделся в нее долгим, пронзительным взглядом, сказал:

— Жаль! С делом твоим, сестрица милая, обождать придется!.. Дорога непроезжая: фрицы простреливают. Придется, сестричка, до ночи подождать.

— А сейчас — нельзя?

— Никак нельзя. Один уже пробовал сейчас — срезали...

Длилось тягостное молчание.

— А как он... Вася, жив?

— Жив! А чего ему, твоему Васе, не жить? Сидит себе в земле да постреливает! Что же все-таки передать?

— Скажите, чтобы он зашел ко мне... Когда можно будет. Я ему должна сказать что-то важное.

— Лично?

— Лично.

Она возвращалась назад повеселевшая. Что ж, что не увиделись, ей можно радоваться: Вася жив. А будет жив, придет, и она расскажет все, все...

3

Ночь прождали самолета с фронта — не дождались. На рассвете пришла радиограмма: вылететь не удалось из-за нелетной погоды на трассе.

Этот, пятый, день блокады был особенно тяжелым. «Юнкерсы» бомбили отряды, как никогда раньше, часто и сильно. Бесновались «мессеры», почти все время хищно кружили, били из пулеметов. Но кроме карателей начал грозное наступление голод. Второй день не было пищи, партизанам выдали только по кусочку несолёного мяса. Туровец видел, что в окопах кое-где люди корчились от болей в животе. Давала себя знать, видно, и грязная болотная вода.

В отряде Кутузова парторг пожаловался Туровцу на командира взвода Калиберду:

— Не узнать человека, будто подменили! Ноет все, как несмазанные ворота.

Туровец знал Калиберду. Перед блокадой тот дважды участвовал в разгроме гарнизонов, проявил себя умелым, боевым командиром.

Туровец расспросил о Калиберде у политрука роты, побывал во взводе, поговорил с партизанами, узнал их настроение, мысли. Отметил: многие были угнетены, подавлены, почти не верили в успех прорыва.

Ознакомившись со взводом, Туровец отозвал в сторону командира — Калиберду: побеседовать, присмотреться к нему.

Когда Туровец появился во взводе, его возмутило, что Калиберда не доложил, как подобало по уставу, но комиссар смолчал. Настороженный, Туровец тогда заметил, что Калиберда и внешне изменился: походка стала медлительной и вялой, взгляд водянистых глаз какой-то бесцветный, неуловимый. Лицо обросло, одежда и сапоги грязные...

Туровец сдержанно приказал:

— Застегни воротник!

Калиберда непонимающе взглянул, послушался.

Кривая усмешка на лице будто говорила: «Если вам так хочется, я сделаю, по мне все равно».

— Застегнул...

Туровец сделал вид, что не заметил иронии, задумался невесело.

— Давай откровенно поговорим, — предложил он. — Не таясь. Как товарищи? Есть? — Калиберда молчал. — Вот скажи, почему ты так опустился? Одежда в грязи, небрит...

Калиберда мгновение колебался, стоит ли говорить без утайки. Не очень уверенно ответил:

— А чего бриться? К какому празднику?

— Бреются не только к празднику...

— Некоторые бреются в другом случае...

— Перед смертью? Что ж ты не договариваешь?

Калиберда промолчал.

— Ты что ж, думаешь, что нам не удастся выйти отсюда? Правду говори.

Туровец намеренно говорил мягко. Он часто хитрил в таких случаях, чтобы лучше узнать правду. Более прямой Ермаков недаром считал его хитрецом.

Калиберда и не думал таиться. Чего уж, раз на то пошло, бояться говорить, если живешь между небом и землей. Тем более что комиссар был будто добродушен, казалось, сам был опечален.

— Чего закрывать глаза,— осмелел Калиберда.— Не вам говорить, дело наше — дрянь... Попались в нéрат [1] — ни назад, ни впéред...

---

[1] Нерат — невод.

— Да, положение наше — дрянь. Это верно. Ну, а что же делать? Ты скажи, что ты советуешь делать? Не сидеть же вот так! Рыба и та трепыхается, старается вырваться! Что делать?

— Что делать, вы решаете. Вы командуете... Вам власть дана...

— Нет, ты скажи, что ты предлагаешь делать.

— Что я думаю?

— Да, что ты думаешь?

Он снова заколебался. Все же решился, твердо объявил:

— Мне кажется, разумнее всего отпустить людей. Пусть каждый, как может, выбирается...

— Ты, значит, советуешь распустить бригаду? — выяснял Туровец, едва сдерживая гнев, хотя внешне он и казался совсем спокойным.— Может, это и более разумно, только ведь жаль бригаду. Как же это? Была она — и вдруг не будет?.. Кроме того, с нами — женщины и дети!

— Я не хочу сказать — распустить бригаду. Потом она снова соберется...

— А как женщины, дети?

— А что женщины, дети? Живым может выйти любой.

— Дети наверняка не выйдут...

— Их немцы не погубят...

— Не погубят?..

Помолчав, Туровец вдруг хмуро произнес:

— Ты, конечно, не выберешься.

Калиберда бросил быстрый, настороженный взгляд на комиссара. В бесцветных глазах мелькнуло что-то — недоумение или испуг.

— Почему?

— Ты уже почти умер. Живой труп...

— Вы шутите не к месту. Я не вижу, над чем тут смеяться... Такое положение...

Туровец встал, спокойно перебил:

— Да, да. Положение невеселое, и потому хныкать нельзя. Здесь никто не пожалеет, не вытрет слезы. Людям самим горько. А фашисты не знают жалостных слов.

Он умолк, внимательно посмотрел на партизана, будто еще не веря, что все слышал от него.

— Кто у тебя заместитель? Боровик?

Калиберда кивнул головой.

— Сдашь ему взвод.

Калиберда настороженно взглянул на Туровца.

— Я ж по душам... — неуверенно произнес он.

— Я сказал все!

Туровец холодно, презрительно смерил его взглядом, приказал позвать Боровика.

Калиберда минуту стоял в растерянности, потом заспешил исполнять приказание.

Оставшись наедине, Туровец возбужденно заходил меж деревьев. Он чувствовал то презрение, то злость, мысленно ругался: «Раскис! Размяк! Сопляк!»

Возбужденный, недовольный встретил он Боровика. Жестко, с необычной для него резкостью отчитал за состояние взвода, потребовал немедля навести порядок. Боровик, короткий, с неизменным румянцем на щеках, слушал внимательно, с готовностью исправить все, но Туровец уловил в его взгляде и затаенное недоумение. Будто не понимал чего-то. Будто зря на него навалился. Туровец спохватился: забыл сразу сказать главное. Все в том же требовательном тоне приказал принять взвод.

Отправив Боровика обратно, Туровец еще несколько минут ходил меж деревьев. Мелькнула мысль, что несправедливо жестко говорил с Боровиком, но она прошла как бы стороной. Не это волновало теперь.

Он думал о том, что жизни людей, жизни всей бригады угрожает опасная болезнь — неверие в успех. Что она будет вызывать расслабленность, подрывать боевой дух, что надо сейчас же, немедленно изгонять ее. Сделать это будет нелегко, обстоятельства способствуют болезни. Надо, чтобы все командиры, политруки поняли, как опасны сейчас, в их положении, неверие, безволие.

Да, да, никакого колебания, никакого сомнения, что победим мы. В этом сейчас главное!

Передать эту веру всем! Зажечь всех этой верой! Это надо сделать во что бы то ни стало.

Из штаба отряда Туровец связался с Ермаковым и передал свой разговор с Калибердой. Комбриг посоветовал Туровцу:

— Гнать из командиров! Снять сейчас же!

— Я уже снял,— ответил Туровец.

4

Когда Туровец вернулся в штаб бригады, комбриг сразу протянул радиограмму:

— Должен быть самолет. Если опять погода не подведет... Садись, комиссар, хочу посоветоваться.

Комбриг кратко высказал то, над чем много думал в этот день, сообщил последние разведданные.

— Я думаю, сегодня во что бы то ни стало надо прорываться... Если самолет не прилетит, без боеприпасов — будет тяжело. Но медлить нельзя. Сам знаешь...

— Как сказал Дантон, нужна дерзость, дерзость и еще раз дерзость!

Это были любимые слова Ермакова, за которые Туровец в шутку прозвал его «Дантоном двадцатого века».

— Дерзость... Как они под Коржовкой? — спросил Туровец.

— Вот и меня Коржовка привлекает. Разведчики говорят, что там батарея противотанковых орудий и около роты пехотинцев. В селе стоит какой-то штаб. Чувствуют они себя, по всем признакам, уверенно.

Ермаков сразу, без паузы, как он это обычно делал, отрывисто высказал главное:

— В общем, есть два варианта, Ничипор Павлович: на Рылевский лес и... на Коржовку. Как ты?

Туровец попросил развернуть карту на траве, склонился над ней, он стал разглядывать — в который раз! — такой знакомый квадрат ее, почти целиком окрашенный в зеленый цвет; склонясь, долго изучал подковки, кружочки, стрелочки — старые, которые он знал, и новые, только что поставленные карандашом комбрига, — все знаки, обозначающие вражескую оборону. Он особенно присматривался к подступам на Рылевский лес и на Коржовку.

Беспокойный, быстрый Ермаков ходил возле него и с нетерпением ждал,— не нравилась ему медлительность комиссара. Подняв взгляд от карты, Туровец снова стал расспрашивать о результатах разведки, о поведении карателей в стороне Рылевского леса.

— Моя мысль — бить там, где меньше всего ожидают, — сказал он наконец.

— Где это?

«Вот привычка: никогда сразу не скажет, что на уме», — подумал Ермаков.

— Где? А вот где. Немцы, наверное, ждут, что мы, лесные люди, пойдем в лес. А мы возьмем и сделаем наоборот, а? Ударим на Коржовку?

— Мне тоже Коржовка больше нравится,— признался Ермаков.— Идти, правда, придется по открытому месту, но зато удар должен быть неожиданным для них...

Прорываться решили в два часа ночи, надеясь дождаться прилета самолета. Откладывать прорыв на более позднее время не могли,— ночи были уже короткими, а им, после прорыва, пока займется день, надо постараться отойти подальше.

— Мы все, комиссар, учли? — задумался под конец Ермаков. — Не ошиблись в чем-нибудь? У нас сегодня как у минеров. Ошибка — смерть...

— Да, права на ошибку мы не имеем...

ГЛАВА VII

1

В те дни военная судьба привела в эти края немецкого лейтенанта Кляммта.

Дивизия, в которой служил лейтенант, после боев стояла под Борисовом, получала пополнение. После двухмесячной подготовки она уже должна была отправиться на фронт, как вдруг пришел приказ: дивизию временно направить на борьбу с партизанами.

Для Кляммта новость эта была неожиданной. Он знал, что решающие летние события должны были произойти на востоке, на фронте, и мысленно готовился к этому. Теперь привычное течение мыслей должно было измениться. Собирался на восток в окопы, а придется отправиться на юг, охотиться на партизан, устанавливать тишину и порядок.

До сих пор лейтенанту не приходилось воевать с партизанами.

То, что он увидел на месте, где начиналась карательная операция, немало удивило его. Здесь, оказалось, была не только пехота, стояли наготове танки, самолеты, пушки. Можно было подумать, что немцы собираются именно здесь начать генеральное летнее наступление.

...Над деревнями и лесами черными траурными тучами поднимались дымы пожаров. Тысячи солдат прочесывали леса, перелески, перехватывали дороги.

На лесных опушках и на полях звучали лающие команды, тяжело, грозно рычали танки. В чащах злобно прошивали молодую листву очереди автоматов. Лесное эхо было полно грохота, рева, лязга.

В небе беспрестанно сновали «мессершмитты» и «юнкерсы», хищно приглядывались к кудрявым зеленым просторам лесов, выискивали тропки, шалаши. То здесь, то там окрестности вздрагивали от сильных обвальных взрывов бомб, что рвали на части распаренную весеннюю землю, разваливали молчаливые хаты. Как люди в бою, раскинув ветви, падали деревья.

Все деревни выжигали. Везде оставляли страшные, неисчислимые пепелища.

Всех, кто был связан с партизанами, беспощадно вешали или расстреливали. Многих убивали и просто так, безо всякой вины, без какой-либо причины,

2

В километре от деревни возвышался небольшой холм, на котором в первую весеннюю зелень начинали одеваться березы.

Вскоре после того, как отступили партизаны, сюда подкатили немецкие мотоциклы и бронемашины. Остановившись на несколько минут, они, не заезжая в деревню, вскоре запылили по дорожке в сторону леса. На смену им к холму цепочкой подъехало несколько военных грузовиков с солдатами.

Когда машины остановились, солдаты, толкая друг друга, шумно высыпали на дорогу. Из кабины третьей машины ловко выскочил большой, с угловатыми движениями майор, командир батальона. Он позвал лейтенанта Кляммта, — поднялся с ним на холм.

На холме, прикрытые кустами и затененные березами, белели кресты — это было русское кладбище. Майор окинул взглядом синий лес, потом деревню — длинный ряд хат, вытянувшийся в цепь, сказал Кляммту:

— Какая тишина! Покой! Можно подумать, покой на всей земле...

Лейтенант, полноватый, дышал тяжело. На лбу его выступил пот, лейтенант, сняв фуражку, вытер платочком лоб, околыш. В то же время он не сводил взгляда с деревни.

— Вы имеете два часа,— сказал деловито майор.— После этого — час отдыха и обед... Я жду вас через три тридцать на опушке рощи — у деревни Красное...

Майор был немногословен: все существенное, что касалось операции, было объяснено предварительно, на совещании у него, командира батальона. Лейтенант, как и все подчиненные, знал, что в деревне следует выявить партизанских агентов, жен и вообще родственников их, что всех их следует подвергнуть немедленно публичной экзекуции и уничтожить. Что женщин — здоровых — следует отправить в концлагерь для последующего использования на работах в Германии. Что в завершение операции деревню надлежит сжечь, оставшееся население — истребить.

Главная задача, подчеркнул на совещании майор, заключалась в том, чтоб покарать население за помощь партизанам и вместе с тем лишить партизан возможной в будущем базы...

Теперь надо было решить чисто практические задачи: уточнить время, маршрут, связь. Майор и согласовал здесь это.

Лейтенант, судя по выражению, с которым он слушал майора, все понимал с первого слова: оба были опытными офицерами и хорошо знали друг друга.

Подъехал мотоцикл разведки, и майор спустился с холма. Выслушав доклад разведчика, он дал команду солдатам

садиться в машины. Взглянув на Кляммта, сошедшего вслед за ним, напомнил:

— Значит, у вас два часа.

Обогнув кладбище, машины направились к лесу. Остались только Кляммт и его солдаты. Лейтенант в нескольких словах изложил приказ: окружить деревню — она называлась Поплавы,— не выпустить ни одного человека.

Солдаты, пригибаясь, начали разбегаться по полю, обходя деревню справа и слева. Кляммт снова взошел на холм, какое-то время стоял на кладбище. Заложив руки за спину и расставив ноги, он с кладбищенского холма следил за движением солдат.

Грело солнце, но ветерок, шедший с поля, был прохладным и приятным. Наблюдать за тем, что происходит слева, было немного неловко: слепило солнечное сияние. Лейтенант был спокоен: главное, что его как командира всегда волновало, сегодня было предрешено — операция не давала повода для сомнений в ее исходе. Партизаны, по всем признакам, уходили и не были способны на сопротивление. Все же, чтоб предупредить возможность их удара из леса, лейтенант предпринял меры: опушка леса была подвергнута обстрелу из минометов. Деревню прикрывал с этой стороны сильный заслон. Сама операция не доставляла лейтенанту особого удовольствия. С военной точки зрения она не заключала в себе ничего интересного. Да, откровенно говоря, лейтенанту не очень нравилось то, что его ждало в деревне: суета женщин и детей, вопли; возня, которая его, опытного военного, ставила в положение работника, которому доводится управляться с овцами или свиньями. Однако нельзя сказать, что лейтенант сильно тяготился этим: как человек, привычный к военной службе, он был готов к любым тяготам, но, кроме этого, он знал и то, что дело, которое он обязан делать, необходимо. В том, что было приказано, была *необходимость*, и необходимость не какого-либо иного рода, а именно военная. Чтобы упрочить положение на фронте, необходимо было укрепить тыл.

Надо было уничтожить вражьи гнезда, банды, рвущие коммуникации армии, наносящие удары в спину...

Лейтенант знал, что́ следовало делать.

От села лейтенанта отделяло небольшое ровное поле, и ему было хорошо видно все, что там происходило. В деревне поднялась паника. Возле хат всюду тревожно суетились люди. Видимо, заметив у леса немецких солдат, люди бросились в противоположную сторону, к редкому кустарнику. От кустарника, видел лейтенант, они испуганно подались назад; лейтенант отметил, что предположение его оказалось точным. Он верно сде-

лал, послав туда солдат. Солдаты отрезали путь и этой группе жителей.

До кладбища доносилась привычная автоматная стрельба. Солдаты, сжимая, как петлю, круг, подходили к хатам.

Кляммт спустился с кладбищенского пригорка, сел в машину и направился в деревню.

На улице звучали отчаянное причитание женщин, плач детей, требовательные крики и ругань солдат, автоматные очереди. Всюду — по огородам, по дворам и хатам — в поисках жителей бегали, шныряли солдаты. Некоторые из них, толкая автоматами и угрожая, гнали на площадь женщин и детей. Из одного двора двое солдат в расстегнутых куртках, согнувшись, волочили тяжелые, туго набитые узлы, по-видимому, с домашним скарбом. Увидев лейтенанта, оба бросили добычу, с автоматами наперевес устремились в соседние дворы.

На площади посреди села небольшой группкой жались друг к другу испуганные жители — женщины, дети, старики. К ним подводили с улицы новых. Толпа обеспокоенно поглядывала на два ручных пулемета, устанавливаемых солдатами. Отвлеченные опасностью, которая исходила от пулеметов, они почти не обратили внимания на лейтенанта, медленно выезжавшего на площадь.

Когда Кляммт вышел из машины и неторопливой, властной походкой направился к толпе, оттуда вдруг вырвался пронзительный крик:

— Хаты жгут! Люди-и-и!

Толпа зашевелилась, зашумела. Действительно, деревня горела. С обоих концов ее поднимались, быстро росли, зловеще очерчиваясь на чистой синеве неба, черные клубы дыма. «А у меня ж там все осталось, ложки одной не вынесла!..» — закричал кто-то. Запричитало еще несколько голосов, недружно, несмело, затихая.

Теперь большинство немо, с ужасом молчало, настороженно глядело на лейтенанта.

— Где остальные? — спросил лейтенант.

Он стоял, как и на кладбище, заложив руки за спину, и всматривался в толпу. Обер-ефрейтор Келлер, исполнявший обязанности переводчика, сообщил вопрос лейтенанта по-русски, с трудом подбирая нужные слова. Старик, стоявший впереди толпы, низенький, сгорбленный, с желтым, как воск, морщинистым лицом, с реденькой желто-седой бородкой, переступил с ноги на ногу, прошамкал:

— Некоторые убежали, а некоторые лежат вон... по дворам да на улице... сам видел... — Обер-ефрейтор пересказал ответ по-немецки.

— Он шутит? Скажи, Келлер, меня интересуют не те, кто лежат, а живые! — Подождав, пока Келлер переводил, он

продолжал: — Нас интересует вопрос: у кого есть там, в лесу, дочка, сын или муж?.. Родственники? Также нас интересует: кто являлся партизанским помощником?

Лейтенант внимательным, выжидающим взглядом прошелся по толпе.

— Того, кто скажет это, мы наградим. Мы оставим дом, хлеб, корову.

В толпе было заметно волнение. Но все молчали.

— Переведите, Келлер, что у нас мало времени. Что мы не можем ждать... — Он немного обождал, прошелся снова пытливым взглядом по лицам. На большинстве лиц был ужас, но все по-прежнему молчали.— Переведите, Келлер,— обратился лейтенант к обер-ефрейтору ровным, твердым голосом, — что их молчание вынуждает нас предпринять карательные санкции...

Кляммт выбрал наугад трех женщин, — солдаты силой оторвали их от толпы,— и объявил, что они будут расстреляны, если жители не выдадут партизанских семей.

— Не карай их, пан начальник,— вступился старик.— Они не виновны. У нас партизан нет. Было два, так пошли в лес с семьями, со всеми... Забрали всех с собой...

Он говорил таким тоном, что если бы лейтенант был наивным, доверчивым человеком, мог бы подумать, что старику надо верить.

— Какие ж мы партизаны? Старики да женщины! — поддержала старика одна из трех женщин.— Нет у нас никого.

Другие молчали, не сводя с лейтенанта встревоженных глаз.

В это время солдаты подбежали с канистрой к большому деревянному зданию, расположенному перед площадью. Здесь когда-то, видимо, была школа. На широком дворе еще до сих пор стоял круглый потемневший столб, возле которого среди ромашек и полыни блестели два как будто утрамбованных круга. Наверное, это была волейбольная площадка.

Солдаты вбежали в здание, понесли туда солому. Еще двое притащили канистры, облили крыльцо бензином, тоже забежали в здание. Выскочив наружу, подожгли бензин. Огонь мгновенно охватил ступеньки, побежал по перилам крыльца, пошел в дверь. Вскоре багровое пламя, заполыхавшее внутри, бросило отсвет на широкие окна. Из одного окна вырвался черный клуб дыма, выметнулись искры.

Лейтенант еще минуту следил за огнем. Потом повернулся снова к толпе.

Лейтенанту пришла новая идея.

— Переведите, Келлер, — сказал лейтенант твердым тоном,— если сейчас же не будут сообщены семьи партизан, а также помощники партизан, эти женщины будут немедленно сожжены.

Эти слова вызвали ужас. Кляммт видел, как вырывались из рук солдат жертвы, слышал их мольбы, вопли толпы, но ни мольбы, ни вопли ужаса не трогали его. Он знал только дело. Он ждал ответа.

Но никто не отозвался.

Лейтенант махнул солдатам, чтобы начинали.

Солдаты подхватили троих и потащили к огню. Женщины упирались, каратели толкали их в спину автоматами, ругались. Одной, отчаянно вырывавшейся, заломили за спину, связали руки. Раскачали и бросили в окно.

По толпе прошел стон.

— Что ж это он делает, люди-и? — запричитал кто-то.

Вдруг из толпы послышалось:

— За что ее, ирод?

Услышав эти слова, Кляммт догадался об их смысле по тону. Он резко повернулся к толпе. Кто высказал угрозу, ему было неизвестно, но взгляд почему-то приковало к молодой женщине с ребенком на руках. Волосы ее были разметаны и спадали на плечи, на загорелой щеке подковкой синел шрам. Она дрожала от волнения, в широко открытых глазах горела такая ненависть, что лицо лейтенанта налилось кровью.

— Schweigen! [1] — велел лейтенант.

Он дал знак, и солдаты, как спущенные с цепи собаки, бросились к женщине, вырвали ее из толпы. Защищаясь, она передала ребенка соседке. Кляммт заметил это и приказал забрать и ребенка.

— Ребенка за что? За что ребенка! — крикнула женщина солдату, который грубо схватил малыша, истошно закричавшего от боли. Солдат толкнул ее.

Она попробовала вырвать ребенка.

— Людцы, дочушку мою! ..

Гитлеровец автоматом ударил ее в спину.

— Дочушка моя! .. Бей, душегуб, бей! ..

На миг глаза ее, полные гнева, ненависти, неистовые, встретились со взглядом Кляммта. В них была какая-то властная, страшная сила. «Она сумасшедшая!» — невольно подумал лейтенант.

— Чтоб на вас погибель, на собак!

— Что? Что? — спросил лейтенант.

Келлер не успел перевести.

— Чтоб вы сдохли все, нелюди вы! .. Гады вы! .. Нет на вас погибели...

Лейтенант нетерпеливо отступил на несколько шагов, выхватил пистолет, трижды выстрелил.

---

[1] Молчать! (нем.)

— Чтоб вас!..

Женщина качнулась назад, потом с усилием выпрямилась, ища руками в воздухе опору, сделала шаг вперед и молча упала на землю. Лейтенант положил пистолет в кобуру, повернулся к переводчику.

Чувствуя нервную дрожь в руках, лейтенант прошел вдоль толпы. С деловым, спокойным видом смотрел в застывшие от ожидания неведомого, от страха лица. Отобрал десятка два женщин, показавшихся наиболее здоровыми, их сразу вслед за ним вырывали из толпы. Закончив отбор, лейтенант приказал увести их в сторону.

Он обождал, пока их отведут, нашел среди окружавших командира пулеметчиков, резким жестом прочертил крест. Кивнул на толпу:

— Всех.

Повернувшись и не оглядываясь, твердо пошел к машине.

8

Машина медленно пробиралась по улице.

Хаты вдоль всей улицы пылали. От пламени несло жаром. Там и тут над пожарами взметались снопы искр. Порой падали горящие головни. Было так жарко, что Кляммт прикрывал лицо ладонью. Опасливо следил за падением головней.

За деревней, возле кладбища, машина снова остановилась. Лейтенант вышел и взобрался на холм. Горели все хаты, гривы дыма вдоль всего села поднимались вверх, сливались в небе в черную неподвижную тучу.

Кляммту вдруг вспомнилась женщина, проклявшая его, и ему, что случалось редко, стало тревожно. Самым неприятным было то, что она походила на сумасшедшую. Он страшился сумасшедших. В детстве одна сумасшедшая нищенка сказала, что его съедят собаки. Он тогда посмеялся над этим пророчеством, потом случилось так, как предсказала она. Однажды, когда маленький Кляммт возвращался из школы, его чуть не разорвали собаки. Два месяца он провалялся в больнице, а следы собачьих зубов на ногах остались навсегда. С тех пор Кляммт остерегался сумасшедших.

Вскоре возвратилась вся рота, и Кляммт забыл об этой неприятности. Солдаты, испачканные сажей, закопченные, как кочегары, волокли всякую добычу: сало, кур, одежду. У холма роту построили, и лейтенант принял доклад, что операция закончена.

— Благодарю. Вы хорошо поработали... Я доволен вами...

Окинув взглядом строй, лейтенант приказал:

— Всем почиститься. Пообедать. Через час быть готовыми к дальнейшим действиям.

Когда лейтенант разрешил распустить строй, солдаты и командиры устало разошлись: одни мыться, другие жарить кур. Кляммту поднесли несколько кругов свежей колбасы, добытой в деревне.

— А! — Кляммт потянул один кружок к себе, понюхал: — С чесноком!.. Она очень вкусная, если поджарить!..

Он отдал колбасу поджарить.

Как после всякой удачной операции, обедали шумно, весело.

Пожалуй, веселились даже слишком бурно. Как и в иные дни, с начала этих акций, говорили необычно звучно, вскрикивая, хохотали звонко и будто беззаботно. Будто похваляясь отвагой и беспечальностью...

Помогал веселью, возможно, и ром, которого было отпущено на всю операцию достаточно. Но было в этом взвинченном веселье и что-то не совсем здоровое. Казалось, скрывали слабость.

Лейтенант Кляммт понимал, что акции, с их убийствами, с кровью, оказались не для всех посильным испытанием. Чувствительными оказались некоторые новички из пополнения, не видавшие еще войны. Особенно те из них, что постарше возрастом. Тем явно мешала противная сентиментальность, напоминавшая о детях, о фрау, оставленных в фатерлянде. Им явно не хватало крепкого немецкого духа.

С трезвостью опытного солдата и здорового немца, лейтенант был уверен, что время освободит этих тыловых чистоплюев от мягкосердечия и слюнтяйства. В этом отношении карательные акции были неплохой подготовкой к фронту...

Лейтенант, полулежа на плащ-палатке в маскировочных пятнах, наливал из фляжки в алюминиевый колпачок и потягивал ром, закусывал и в то же время с любопытством наблюдал за окружавшими его офицерами и солдатами. Раз-другой он взглянул на обедавшего невдалеке обер-ефрейтора Келлера. Келлер не впервые привлекал внимание лейтенанта.

Насытившись, лейтенант вытер тщательно руки, поднялся с плащ-палатки, с серьезным, сосредоточенным видом прошелся меж солдат, подозвал Келлера. Тот вскочил, подошел, ожидая приказа. Лейтенант дал понять, что разговор будет товарищеский.

— Что пишет Ильза?

— Ильза? Разное пишет...

Лейтенант пригласил пройтись.

— Скучает, пишет?

— Да.

— Поздравляю. У тебя, видно, хорошая подруга. В наше время это случается редко.

— Почему? — Келлер, кажется, был несогласен.

— Женщина, в общем, верна, пока ты с ней...

— Ильза не такая! — возразил Келлер.

Лейтенант пригласил посидеть. Они опустились на траву.

— Я и говорю, в наше время это встречается редко,— неторопливо повел снова речь лейтенант.— У обер-лейтенанта Штумпфа из третьей роты жена спуталась с итальянцем... Она писала ему нежные письма. Штумпф хранил их целой связкой, берег, как драгоценность. А потом приходит однажды сообщение, мать пишет: родился ребенок!.. Любовные письма наделали!

— Ильза не такая,— повторил как-то устало Келлер.

— Тебе повезло, Келлер. Поздравляю... Впрочем, я не сужу их строго, женщин. Которые остались там... Они по-своему правы. Да, по-своему правы. Годы идут, жизнь идет. Молодость уходит. Зачем время терять...

— Ильза не такая, говорю!..

В сущности, разговор этот мало интересовал лейтенанта Кляммта. Ведя его, лейтенант Кляммт все время искоса поглядывал на собеседника. Лейтенанта интересовало состояние обер-ефрейтора Келлера. Обер-ефрейтор Келлер был необычно взволнован и угнетен.

Лейтенант Кляммт наблюдательно отметил, что обер-ефрейтор держался замкнуто, таил в себе что-то недоброе, явно не имеющее отношения к разговору. Лейтенант чувствовал, что в эти минуты обер-ефрейтор Келлер был далек от тревог об Ильзе.

Он думал о том, как вызвать обер-ефрейтора Келлера на откровенный разговор. Думал тяжело, мысли как бы ускользали: мешала жара и выпитое вино.

Обер-ефрейтор Келлер сам с пьяной прямотой начал открываться.

— Господин лейтенант, простите: вам не кажется, — заговорил с унылой задумчивостью обер-ефрейтор, — что все это — не то... не солдатское дело...

— Что? — будто не понял лейтенант.

— Воевать... с женщинами.

— С женщинами? Разве мы воюем с женщинами?

Он повернулся к обер-ефрейтору, но Келлер не глядел на него. Все сидел, обняв руками колени, смежив глаза.

— Для солдата есть фронт...

— Солдат должен делать то, что ему прикажут.

— Но на это есть... специальные люди.

— Им тоже хватает.

— Все равно, — упрямо, твердо произнес обер-ефрейтор. — Пусть они это делают!

— Здесь тоже война,— жестко, хладнокровно, как приказ, произнес лейтенант Кляммт.

— Война? С детьми... — Он, видно, что-то вспомнил, с тоской, с отчаяньем повел взглядом. — Кровь, дети... бр-р...

Лейтенант Кляммт почувствовал раздражение к этому нервному хлюпику. Раздражения этого не могла уже погасить обычная земляческая снисходительность. Пожалуй, лейтенант слишком много позволял обер-ефрейтору из-за земляческой близости.

Они всегда были не очень крепкими солдатами, эти вчерашние студенты, испорченные гражданским образованием. Этот же, земляк его, саксонец, вообще мечтал до армии черт знает о чем: стать садоводом. Как будто это достойное мужчины и молодого немца дело! Впрочем, на фронте ведь он проявлял себя неплохо, храбро сражался. И вот пожалуйста: разговоры, достойные строгого наказания.

Лейтенант Кляммт пока не знал, что следует предпринять.

— Гляди, — лейтенант каблуком примял и прижал траву, потом отставил сапог в сторону.

Трава в ямке из-под каблука, где была менее прижата, пружинисто поднималась.

— Завтра она вся выпрямится! Чтобы она не поднялась, ее надо рвать с корнем.

Он вырвал пучок травы с землей, смял и бросил прочь.

— Все равно,— пьяным, отчаянным голосом сказал обер-ефрейтор. Он вдруг вскочил, снова с тоской произнес: — Пусть они это делают. Пусть они!

Лейтенант Кляммт оглянулся, их, кажется, никто не слушал: подвыпив, солдаты галдели каждый на свой лад. Кляммт приказал обер-ефрейтору Келлеру привести себя в порядок, сесть. Он произнес приказ таким железным тоном, что обер-ефрейтор Келлер сразу сник, подчинился.

Сидел снова, покорно ждал, что велит лейтенант.

Лейтенант велел успокоиться, взять себя в руки. Обер-ефрейтор постарался успокоиться.

Слушал покорно, как лейтенант поносил проклятую немецкую сентиментальность, которая столько раз губила их. Как говорил о решающем значении момента, их акций, о необходимости проявлять твердость духа.

Обер-ефрейтор Келлер пообещал, что постыдное слабодушие у него больше не повторится.

Все же лейтенант ушел крайне недовольным.

ГЛАВА VIII

1

Гречка почти три дня блуждал один по лесу.

Вернуться домой не удалось. В первый же день он подошел к деревне, но зайти побоялся — в деревне, заметил, были немцы.

Из кустарника на опушке, предчувствуя недоброе, осторожно, внимательно следил он за тем, что происходило в селе. До его слуха вдруг донеслись причитания, стрельба. Он слушал это, полный растерянности. Из этого состояния вывели его лишь сильные взрывы. Близко на опушке начали рваться снаряды. Гречка бросился назад, в чащу...

На другой день, утром, на небольшом хуторке ему дали немного хлеба, и он два дня укрывался во влажном полумраке лесной чащи, прислушиваясь ко всему, что свершалось вокруг. В разных направлениях время от времени слышались взрывы, частила пулеметная и автоматная стрельба.

Он старался уйти подальше от них, но стрельба постепенно приближалась со всех сторон.

Однажды Гречка чуть не наткнулся на немцев.

Внезапно оттуда, куда он направлялся, ища тишины, донеслась немецкая речь. Он сразу припал к земле и увидел неподалеку в просвете между деревцами подлеска группу сидящих на траве солдат в серых мундирах. Оружие их лежало на земле. Они обедали. Не помня себя, Гречка стал отползать назад, потом вскочил и побежал.

Он остановился в густом лозняке, тревожно ловя звуки, стал прислушиваться. Скоро там, откуда он убежал, послышалась стрельба. Потом донеслись выстрелы с другой стороны. Они постепенно приближались.

«Прочесывают лес»,— подумал беглец.

Неожиданно он услышал вблизи треск веток и отпрянул за куст.

Из зарослей на него выбежала женщина с растрепанными волосами.

Она вела за руку ребенка. В глазах женщины был страх. Увидя вдруг перед собой незнакомого человека, она испугалась, но, вглядевшись, тихо, измученно вскрикнула:

— Боже! Да это же свой, кажется!

Тяжело и часто дыша, она подошла к Гречке.

— Слава богу, своего человека встретила! А то испугалась... Еле убежала от них... Смерть, думаю, пришла... Что же это будет!.. Где наши, далеко?

Вся ее надежда была теперь на Гречку, она глядела на него как на избавителя.

Гречка недовольно отступил, бормоча:

— Я тоже один...

Нет, он не хотел брать на себя чужую заботу. Он хотел быть один, один.

Но женщина не отставала, шла следом.

— Помоги, спаси, соколик! Не бросай, возьми с собой... Не бросай... Не бросай! Куда же ты! А, боже!

Гречка разозлился, выругался. Не сдерживаясь больше, опасливо ринулся прочь от нее. Только отбежав подальше, увидя, что ее нет, остановился.

Стрельба и крики немцев все приближались.

В какую-то минуту Гречка невдалеке услышал пронзительный, отчаянный крик женщины и выстрелы.

«Та, наверное»,— мелькнула у Гречки мысль. В груди похолодело. Он лихорадочно огляделся, ища куст или выворотень, где бы можно было укрыться. Выбрав куст погуще, полез в него. Продираясь сквозь ветви, он с ужасом замечал, что листья еще не совсем распустились, что куст просвечивает насквозь, чувствовал, что спрятаться трудно. Немцы между тем угрожающе, с криками неотвратимо приближались. Пули свистели уже рядом, в ветвях.

Вжавшись лицом в землю, он ничего не видел, думал только о том, чтобы как-нибудь эта напасть прошла мимо.

Вдруг возле него послышался голос, прозвучавший как выстрел:

— Встать!

Гречка спиной почувствовал, что это относится к нему, но не двинулся, будто приклеенный к земле.

Лишь когда кто-то злобно ударил его сапогом в бок, он поднялся. Перед ним стояли несколько немцев с автоматами.

Он онемел, ожидая, что его сразу же застрелят или учинят какую-нибудь ужасную смерть.

Из того, что говорили меж собой немцы, он ничего не понимал, хотя один из них немного говорил по-русски. До Гречки дошло только одно слово «партизан», выплывшее из наполнявшего голову тумана. Беглец сразу отрицательно покачал головой: нет, нет... нет!

В этот момент к ним подошел полицейский.

Гречка увидел знакомый черный чуб, зачесанный на глаз, и его охватило двойственное чувство — и тревоги, и облегчения. Полицейский был его знакомым. Он, Тыталь, хорошо знал Гречку, прежде не раз заходил к нему в хату, угощался самогоном.

Тыталь уговаривал даже когда-то идти в полицию, но Гречка не согласился. Он решил жить тихо, не связываясь ни с

полицией, ни с партизанами. Жить спокойно и ждать, как оно будет дальше... Этому Гречкиному решению не суждено было сбыться: потом случилось так, что пришлось уйти в лес. «Ушел себе на погибель, дурень», — искренне пожалел он теперь.

— Ну, попался, головешка? Не послушался? — сказал Тыталь со злой радостью, мстительно.

Гречка чувствовал непоправимое раскаяние.

— Не п-послушался... Дурнем был... Дурнем был, Яковочко...

— Поумнеешь на том свете, головешка.

— Не губи, Яков! — взмолился Гречка.— Сжалься, Яковочко!

Тыталь непоколебимо молчал.

Надежда на Тыталя пробудила в Гречке силу и жажду спасения.

— Отблагодарю добром! Все, что пожелаешь, отдам! Ничего не пожалею!

Тыталь был неумолим.

— Я убежал оттуда, от них! — молил Гречка, не теряя надежды. — Я бросил!.. Пусть они пропадут! Как они меня, поганые, затянули к себе... — Он ухватился за мысль, в которой уловил спасение.— Затащили ведь силою, ты знаешь! Приказали! Под ружьем приказали идти! Пришли в хату и — приказали.

— Каяться вздумал перед смертью! — пренебрежительно процедил Тыталь. Только и снизошел, чтоб сказать: — Может, что хочешь жене передать? Это я могу сделать.

Каратели что-то говорили о нем — Гречка видел это по жестам, но догадаться о содержании их разговора не мог. Может, придумывают ему смерть? Опасность смерти и надежда на Тыталя снова подняли в нем жажду спасения, и он снова стал просить, молить Якова пожалеть, заступиться.

Его мольба, кажется, наконец смягчила жесткое сердце полицейского.

Тыталь ничего не обещал, но подошел к одному из немцев, видимо старшему, и начал что-то тихонько говорить ему.

Гречка так и не понял, смог ли Тыталь уговорить немца. Немец, похоже, не соглашался.

Ему приказали идти куда-то.

С ним двинулись Тыталь и один солдат, остальные отстали. Тыталь шагал впереди, а немец за спиной. Гречке все время хотелось оглянуться. Невозможно было преодолеть тягостное, невыносимое чувство, что сзади целятся в спину.

Он вздрагивал от треска каждого сучка, и внутри у него все замирало.

2

Когда лес впереди расступился, у Гречки снова ожила надежда. Значит, не на расстрел.

Однако на душе было тяжело, и он, вспомнив вдруг Туровца, пожалел, что не пошел вместе со всеми. Что бы там ни было, все-таки в отряде не так — там ты не один, а с другими, и страх не такой.

На опушке, на берегу речки, тоже были немцы. Один из них, обнаженный по пояс, плескал на себя из ведра холодной водой и довольно кряхтел. Тело его покрылось мелкими куриными пупырышками. Два немца неподалеку что-то жарили на сковородке.

Тыталь объяснил Гречке, как бы смягчаясь:

— Сам лейтенант Кляммт... будет допрашивать тебя. — Посоветовал требовательно: — Не скрывай, говори все начистоту, что знаешь, — может, помилуют... Эх, головешка!

Лейтенант Кляммт перестал плескаться, и солдат вытер его деревенским вышитым полотенцем. Кожа лейтенанта Кляммта порозовела.

Причесав тщательно на прямой пробор землистые, похожие на вымоченный лен, волосы, лейтенант надел мундир. С холодным, непроницаемым видом выслушал доклад немца, жестко взглянул на Гречку.

Тыталь подтолкнул Гречку к лейтенанту. Гречка шагнул, кланяясь, изображая покорность, готовность все исполнить.

— Партизан? — Лейтенант вперил в Гречку враждебный взгляд.

— Я убежал... Я убежал от них, — поспешно заговорил Гречка, не сводя с офицера ждущих, умоляющих глаз. — Я не партизан.

Позвав переводчика, лейтенант Кляммт что-то сказал ему. Переводчик, молодой, белолицый, сообщил: лейтенант предупреждает, что следует отвечать на все вопросы, что ответы должны быть правдивыми, что за ложные сведения Гречка будет наказан.

— Передайте товарищу... — Гречка обмер, поправился: — господину лейтенанту, что я скажу все! Чистую правду!...

Он торопливо, будто боясь, что лейтенант прервет его и применит обещанное наказание, отвечал на вопросы, следующие один за одним. Вопросы были важные: где размещалась, куда направлялась бригада, ее состав. Правда, иногда вопросы оказывались трудноватыми: о планах бригады, — и Гречка чувствовал, как на его лице выступает пот...

Он видел, что лейтенант явно недоволен им и подозревает,

что он кое-что скрывает. Переводчик скоро подтвердил догадку Гречки.

— Лейтенант напоминает, что вы будете наказаны за сокрытие сведений... — произнес старательно переводчик.

— Я этого не знаю,— взмолился Гречка.— Ей-богу, не знаю! Мне не говорили!

Гречка чувствовал, что погибает.

Стоя перед лейтенантом, встречая его пронзающий взгляд, беглец не думал о людях, которых выдавал. Они теперь для него не существовали, им руководило только стремление спасти свою жизнь, и это стремление заслонило все, что происходило в мире. На минуту мелькнула мысль, что за такой поступок в бригаде, если бы он снова возвратился туда, расстреляли бы немедля, но она пропала, не оставив в душе следа.

Он видел перед собой только лейтенанта.

Лейтенант Кляммт, слушая его, делал отметки на карте. Под конец допроса лейтенант задал несколько вопросов, на которые Гречка снова не смог ответить, и Гречка почувствовал, что дела его совсем плохи. Он ждал приговора, немедленного приговора, но Кляммт снял телефонную трубку, вызвал какую-то «Эльбу» и что-то начал сообщать туда. Судя по тому, что он поглядывал на карту, он сообщал сведения, данные Гречкой.

Как только разговор с «Эльбой» закончился, Гречка понял, что теперь-то уж судьба его решится.

Но Кляммта эта судьба будто совсем не интересовала. Надевая высокую фуражку, он глянул на пленного так, словно того вовсе не было перед ним. В равнодушном, безжалостном взгляде лейтенанта Гречка прочитал свой приговор — конец.

Он бросился на землю, прося пощады:

— ...Господин капитан... господин капитан...

Лейтенант Кляммт по-прежнему не хотел его замечать. Один из солдат дернул Гречку за руку, ударил в бок автоматом.

Тогда за Гречку вступился Тыталь:

— Дайте, герр лейтенант, его мне. Мне нужны люди. Работы — филь, а людей — нихт.

Лейтенант Кляммт вопросительно взглянул на переводчика. Выслушав его, бросил презрительно, что этот мерзавец завтра может так же перебежать к партизанам.

— Не пойдет, я его знаю... Там ему сразу «копф» скрутят, пусть только сунется! — Обождав, когда ефрейтор переведет, Тыталь заявил твердо: — Я могу поручиться за него, герр лейтенант.

Лейтенант Кляммт поколебался мгновение, мельком взглянул на Гречку и уступил. Вероятно, он подумал, что, если этот

Тыталь ручается, пусть возьмет себе. Действительно, люди нужны, а найти их нелегко. Лейтенант махнул пухлой короткой рукой солдатам, и те оставили Гречку.

Гречка поднялся на ноги и настороженно огляделся вокруг, еще не веря, что опасность так счастливо миновала.

— Век не забуду твоей милости, Яков! — клялся он, когда вместе с Тыталем отошел от лейтенанта Кляммта.— Пока жив буду!.. До смерти буду верным другом! Чтоб тебе жилось хорошо!

— Смотри же! — заметно довольный собой, Гречкиными словами, наставительно пригрозил Тыталь. Упрекнул снисходительно: — Проси тут начальство за тебя, канителься с дурнем... Ну, да черт с тобой! — хлопнул дружески по плечу. Тут же, однако, нагнал на лицо серьезность.— Слушай: с сегодняшнего дня будешь служить со мной!.. Все глупости чтоб выбросил из головы! Смотри! — грозно и важно произнес в завершение полицай.

— Что ты, что ты, Яков! Теперь я научен! Долго буду помнить эту науку...

— Хватит выть! Как баба. «Буду помнить, буду помнить»! Попробуй забыть!.. Туда, назад, дороги теперь тебе нет. Сразу голову открутят.

Тыталь дал справку, что Гречка служит в полиции, и тот двинулся к своей деревне. Он шел легко, и все пело в нем: живу, живу!

Но позже, когда первая радость поутихла, когда лес и выстрелы остались далеко позади, Гречку начала одолевать тревога. Походка его тяжелела. Он уже тащился медленно и рассуждал невесело, в раздумье:

«Как же я буду в полиции? Я ж не хотел идти туда, а теперь буду! Я ж хотел, чтобы в стороне, чтобы переждать...»

Ему вспомнился вдруг Туровец, и Гречка так забеспокоился, будто комиссар и сейчас имел над ним власть.

Что же делать? Гречка какое-то время растерянно стоял на поле, возле тропинки, ведущей в деревню. Идти или не идти? Он не мог придумать ничего иного, кроме того, что ему подсказывали обстоятельства, куда его вели последние события.

«А, будь что будет!» — подумал он наконец и, стараясь не рассуждать, неуверенным шагом направился к деревне.

ГЛАВА IX

1

Вторую ночь на лугу дежурило несколько небольших группок.

Все отряды были уже готовы к выступлению, а комбриг на краю луга нетерпеливо прислушивался к ночному шуму. Сонно постреливали невдалеке пулеметы, взмывали, бросали отсвет ракеты. Непроницаемо было хмурое небо, тоскливо шумел наверху, в вершинах деревьев, ветер.

Сегодня Ермакова еще больше тревожило: «Прилетит или не прилетит?» Погода была ненамного лучше, чем вчера. Комбриг время от времени зажигал карманный фонарик и, подставив под свет часы, смотрел на них.

А что, если не прилетит? Ермаков чувствовал, как сердце начинает сжиматься и будто наполняется холодом. Он знал: выбора не было, на прорыв надо идти во что бы то ни стало. Сидя здесь, он, наверное, в десятый раз старался перебрать в мыслях, все ли, что надо, сделал до выступления.

Прошел час, другой, а самолета не было. Ермакову не сиделось: он то вызывал связных и отдавал приказы, то беспокойно похаживал и, чтобы унять нетерпение, насвистывал песню. Близко к полуночи он уловил далекий гул самолета. Комбриг услышал, видимо, раньше других, все еще молчали. Гул, сначала очень тихий, похожий на шум пчелиного роя, постепенно усиливался.

— Самолет! Летит! — взволнованно зашумели вокруг.

Ермаков возбужденно приказал зажечь костры. Весь луг ожил, в нескольких местах вспыхнули в темноте огни.

Самолет приближался, гул перешел в резкий рокот. Вдруг он стал тише. Заглушив моторы, невидимый самолет стал подходить к лугу. Все увидели его черный силуэт совсем близко, над самыми деревьями. Широкие большие крылья со свистом и шорохом пронеслись в темноте над лугом, и через минуту комбриг заметил возле себя неясное очертание парашюта, который относило в сторону.

Вместе с партизанами он бросился к парашюту. Это был мешок с ящиками. «Наверное, патроны». Ермаков быстро перерезал стропы, которыми мешок был привязан к парашюту, и приказал отнести к месту сбора.

Мешок был таким тяжелым, что двое здоровых парней еле смогли поднять. Один из них нарочито закряхтел, будто от напряжения, радостно сказал:

— Вот кабан! Пудов на семь...

Развернувшись, самолет снова пролетел над лугом. Гитле-

ровцы, опомнившись, открыли вслед ему стрельбу, вдогонку полетели разноцветные нити трассеров — синие, желтые, белые. Ревя мощными моторами, самолет начал набирать высоту. Не возвращаясь больше, он повернул назад, домой, стал постепенно удаляться. Это чувствовалось по гулу, который все утихал.

— Спасибо, спасибо, друг! — сказал Ермаков неизвестному летчику.

Ему хотелось действовать, командовать!

— Ну как, Мамедов, теперь можно воевать? А-а, Мамед?! — весело крикнул он принесшему мешок партизану.

— Если командир приказывает, то всегда надо,— рассудительно ответил парень.— Но теперь лучше. Патроны есть, гранаты есть, все есть!

Партизаны сносили мешки в одно место. Собрали, видно, не все,— вероятно, часть груза упала в расположение немцев или в лес. Представители отрядов, по-прежнему стоявших на боевых позициях, неотступно ходили вслед за Ермаковым. Следили за каждым движением командира и комиссара, которые распарывали мешки, старались помочь. Когда Ермаков начал распределять, просили, чтобы им выделили больше, доказывали свое право на это.

Как только комбриг поделил все, партизаны, повеселевшие, стали расходиться, почти не чувствуя на себе приятной тяжести ящиков с патронами и гранатами.

Вскоре отряды стали незаметно и быстро сходиться к месту, откуда бригада должна была начать прорыв.

Отряд Кутузова тихо разместился в негустом лесочке перед самыми «воротами», впереди остальных, два других отряда стояли за ним, справа и слева.

Партизаны садились на мокрую от росы землю, стараясь не брякать оружием, шепотом переговаривались.

— Эх, калина-малина, затянуться бы,— вздохнул Шашура, — хоть бы «бычка»!.. А, Вась? — сказал он сидевшему рядом Крайко. — Внутри как в пожарном насосе сосет... Ну прямо в печенке жжет.

— Вот нашел о чем жалеть! — безразлично отозвался Василь.— Люди думают о жизни, а ты о «бычке».

— У кого какая склонность, Вась... Ты, скажем, некурящий и не понимаешь, что такое хотеть курить!.. — Он шумно вздохнул. — Эх, брат, сосет внутри — затянуться!..

Вздохнув еще раз из-за этой беды, Шашура сказал:

— А жизнь?.. Чего о ней думать, Вась? Жить будем, если не умрем!.. Чего ж тут думать?..

Поодаль от них, среди женщин, сидела Нина, молчаливая, неподвижная, прижимала к себе Гальку, спавшую у нее на коленях.

«Спит, и хоть бы что... Пусть спит!» Нина чувствовала такую нежность к девочке, словно это была ее родная дочурка. Чувствуя теплоту маленького, худенького тельца, в этот вечер она с особым беспокойством думала о дочери. Как теперь ее Людка? Все ли у нее хорошо?

Нина почувствовала, как свежий холодок пробежал от шеи по спине. Она бросила взгляд в небо. Вверху в ветвях мелькала звезда. По вершинам деревьев тревожно бродил ветер, будто его тоже беспокоило ожидание боя. Внизу было темно и сыро, как в глубоком колодце. От холода Галя спросонья пошевелила плечами, прижалась к Нининой груди.

— Спи, спи! — Нина накрыла ее краем своего жакета.

«Чего это они медлят?» — подумала она о Ермакове и Туровце.

Ермаков с Дроздом, со связными и разведчиками были впереди, наблюдали за вражескими позициями.

Гитлеровцы были близко. Казалось, совсем рядом раз за разом объявлялись пулеметы, будто предупреждая, что там не спят. Иногда отчетливо звучали чужие голоса, резкие, отрывистые. Тогда Ермакову хотелось броситься вперед и руками душить тех, кто там стрелял, говорил, чтобы они замолчали, навсегда замолчали.

Комбриг знал, что все, кто за его спиной, вооруженные и невооруженные, надеются на него как никогда. И он делал все, что требовалось, особенно внимательно.

Он беспокоился, чтобы отряды раньше времени не выдали себя: самые большие надежды его были на внезапность удара. Он знал, что успех будет зависеть от того, удастся ли ударить неожиданно. Он всей душой желал этого: внезапности удара. Пока все шло хорошо, но настороженность его не проходила. Он с нетерпением ждал, когда подтянутся последние взводы, через связных торопил командиров отрядов.

— Давай! — сказал наконец комбриг Дрозду, рота которого должна была начинать.

Дрозд исчез.

Вперед, еле видимые в темноте, подались молчаливые люди. Шаги их мягко тонули во влажной, росистой траве. Люди сразу скрылись в кустарнике.

Вдруг вблизи вспыхнула злая, быстрая очередь немецкого пулемета. В ответ прозвучал взрыв, один, второй: гранаты. Нетерпеливо вырвался на волю многоголосый угрожающий крик. В вышине брызнули и повисли несколько ракет.

Сразу зачастила стрельба. Тьму разрывали короткие багровые вспышки. Земля гудела, стонала, кричала.

— Вперед, товарищи! Вперед!

Ермаков повел в атаку основную группу.

2

Едва грохнул взрыв, Василь Крайко вместе со всеми своими бойцами бросился вперед. Перед ним будто прошел огненный вихрь, скосивший рядом нескольких человек, но Василь не остановился. Вскоре он оказался на чистом поле, но не заметил этого — только на миг удивился, что перед глазами стало вдруг светлее.

Пробежав несколько шагов, он внезапно провалился в какую-то яму, ударился головой обо что-то твердое так, что зазвенело в висках. Автомат выпал из рук.

Василь вмиг вскочил и сразу почувствовал рядом с собой человека. Почувствовал еще до того, как увидел его. Василь быстро повернулся, невольно холодея: «Пропал!»

Хотя он и понимал, что в любую минуту может встретиться с врагом, эта встреча оказалась неожиданной.

Незнакомый порывисто вскинул руку. Василь, перехватив это движение, невольно рванулся в сторону. Слепящая вспышка ударила где-то возле виска.

Не помня себя, в горячке Василь выхватил тяжелую лимонку и по-боксерски, изо всех сил ударил в лицо врага. Немец пошатнулся, но устоял. Торопясь, Василь ударил с размаху во второй раз по челюсти. Тот, ухватил Василь вниманием, стал оседать. Разгоряченный дракой, Василь упал на карателя и ударил в третий раз, в четвертый. Когда убедился, что тот мертв, поднялся, выпрямился, устало отдышался.

— Ишь ты, зараза,— выругался он немного спокойнее.

Лишь теперь он начинал понимать, какую опасность только что преодолел. Он нагнулся, ощупью отыскал автомат. Выбрался из ямы.

Он заметил, что вокруг шла упорная рукопашная схватка. Слышались отрывистые угрожающие крики, острый лязг железа, ругань, иногда вопли.

Около Василя с руганью хрипели, сцепившись в драке, двое. Василь подскочил на помощь. Что тут делать? Оба схватились так, что не разобрать, где свой, где чужой. По голосу определил, который из них враг, и, изловчившись, взмахнул прикладом. Каратель затих.

Выручённый Василем партизан что-то поискал возле себя, с усилием поднялся.

— Ну, крепкий, черт!.. Никак, колбасник, не давался,— будто оправдываясь, сказал партизан, отплевываясь.

Василь узнал: Шашура. Шашуру выручил.

Они бросились вперед, в гущу драки. Василь увидел в свете ракет вражескую каску, как топором взмахнул автоматом. Всю силу вложил в удар... Другого помог добить Шашура...

Пробежали несколько шагов вперед. Грудь в грудь Василь столкнулся еще с одним.

Оба невольно остановились.

Василь что-то крикнул (не помнил потом — что). Угрожающе поднял автомат. Увидел: быстро поднялись вверх руки, потом уже услышал непонятное чужое бормотание.

«В плен, наверно, просится!... «Капут Гитлер»... Что с ним делать?»

Он оглянулся на Шашуру, прося совета.

В то же мгновение, воспользовавшись замешательством, встречный внезапно рванулся в сторону.

Василь сразу вскинул автомат:

— Стой!

Велико было желание дать очередь вслед, но удержался: вокруг было много своих...

— Удрал, з-зараза!

Минуту спустя Василь потерял Шашуру в темноте. Заметил: потерял и свой взвод. Рядом с Василем теперь шли и бежали незнакомые люди. «Надо найти свой взвод,— подумал он.— Как же они одни, без меня? Эта чертова яма все перепутала».

Он отметил, что стрельба осталась позади. Сзади вспыхивало пламя взрывов. Впереди было тихо, заманчиво чернел вольный простор. Путь туда был свободен.

Он услышал взволнованные, радостные голоса. И тогда его заполнила еще не совсем ясная, непривычная, но широкая радость: «Значит, прорвались!»

«Прорвались все-таки!»

Шашура в это время с двумя товарищами катил на фланг противотанковую пушку. Каратели оставили ее, когда волна партизан ринулась к батарее. Увидя партизан, не знающих, что делать с этой находкой, Шашура тотчас сообразил, что она очень понадобится на фланге.

— А ну, давай! — возбужденно крикнул, приказал он больше самому себе, чем кому-либо другому.

Шашура уперся руками в щит пушки. Сдвинув ее с двумя случайными помощниками, он велел другим оказавшимся здесь партизанам взять снаряды.

Заметив, что на помощь пришла «артиллерия», на фланге обрадовались. Но — кто мог ожидать такого! — сразу же случилась задержка. Шашура попытался открыть замок и не смог.

«Эх, черт! И снаряды есть, и орудие, а стрелять нельзя! Чего ж этот замок не открывается? Может, испортился?» — подумал с огорчением Шашура.

Он, однако, не отступился от пушки. Здесь тронул, там попробовал потянуть, повернуть, — и, к его удивлению и тор-

жеству, замок наконец подался. Вставить снаряд и закрыть замок было проще.

Не целясь, подрывник потянул за шнурок. Пушка огненно сверкнула, подскочила и бухнула. Казалось: на миг заглушила все звуки. Сила! Шашура закричал от радости и восторга. Он еще энергичнее захлопотал у пушки. Энергичнее и увереннее. И практичнее. Закрыв замок, выпрямился, нашел по вспышке огоньков пулемет, приказал повернуть пушку и только тогда потянул шнурок. После выстрела выглянул в сторону пулемета. Тот стрелял!

«Не попал! Мимо. Эх, калина-малина...» Тут подбежал артиллерист, до блокады командовавший артиллерийским взводом. Взвод теперь остался без пушек.

Подрывник с явной неохотой уступил артиллеристу место возле пушки.

Артиллерист был человеком неторопливым: зарядив пушку, он долго целился, то посматривал вперед, то крутил ручки механизмов, поворачивал ствол. Только тщательно приготовившись, выстрелил. С первого выстрела пулемет умолк.

— Слыхал, кум, как она гавкает? — задиристо крикнул артиллерист Шашуре. — А ну, подверни чуть правей. еще немного...

К ним подбежал связной от Ермакова.

— Откуда пушка? — Он передал: — Комбриг приказал: больше огня! И не стойте на одном месте. Маневрируйте — приказал комбриг. Здесь выстрелите, там.

— Сделаем! Огонек будет! Не погаснет! — заверил Шашура.

Каратели вскоре заметили орудие, стали осыпать его пулями. Возле него страшно было подняться. Шашура готов был бросить, пусть оно сгорит, — столько с ним забот! Но артиллерист не сдавался. Он будто не замечал ничего вокруг, целился и бил. Было видно, что, пока есть хоть один снаряд, орудие не смолкнет.

3

Туровец стоял у самого разрыва окружения, следил за переходом. Через разрыв шли люди из семейного лагеря: матери, дети, старики. Они были напуганы страшной стрельбой. Все старались как можно быстрее проскочить через это пекло. Дети кричали, но их крики заглушала стрельба. С левой стороны откуда-то били пушки. Сверля воздух, с пронзительным свистом снаряды проносились над толпой и взрывались совсем неподалеку.

Шабуниха стремилась не поддаваться страху и сдерживала неодолимое желание бежать. Чувствуя все время в платке за

спиной меньшого, она вела детей, крепко сжав их руки. Больше всего боялась, чтобы они, чего доброго, не потерялись в этом бурлящем потоке. Она шла молча, сжав губы. Рядом, стараясь не отстать от Шабунихи, поспешала старая женщина, она уже всегда шла вместе с Авдотьей. Как и тогда, на болоте, старуха все бормотала: «Боже мой... боже мой».

В этой же толпе была Нина. Она держала на руках девочку. та, прижавшись головкой к груди Нины, при каждом недалеком взрыве испуганно вздрагивала, как птенец.

Вдруг два снаряда попало в толпу. В темноте со скрежетом взметнулись одна за другой красные вспышки.

Люди бросились кто куда, одни свернули в сторону, чтобы обойти это место, другие в страхе шарахнулись назад.

Нину едва не сбили с ног.

Сталкиваясь с общим потоком, они задерживали движение, поднимали панику. Многие из тех, кто шел следом, тоже поворачивали назад. Не зная, что случилось, объясняли каждый посвоему. Чаще слышалось: «Немцы... Перерезали!.. Стреляют!..» Те, что были дальше от взрывов, сзади, или стояли растерянно, не знали, что делать, или, более настойчивые, старались пробиться вперед. Движение людей расстроилось, стало беспорядочным. Нельзя было тратить ни минуты, а люди топтались на месте.

Туровец, едва заметил замешательство в толпе, бросился в самую гущу ее. Надо было сразу же погасить страх в этих сотнях перепуганных людей.

— Стой-о-ой!

Несильный хриплый голос Туровца утонул в гуле толпы, как в шуме грозы. Только ближайшие услышали голос комиссара.

Туровец поднял здоровую руку:

— Сто-ой!!!

Ближайшие увидели, узнали его. Остановились, тревожно глядели на него, ждали. Дальше от Туровца по-прежнему царила суматоха.

— Куда? Назад? Там — каратели. Туда, туда,— махнул он рукой. — Там — наши. Туда! Наша взяла!.. Скорее! Туда! Туда!

Неизвестно, эти ли слова, сама ли знакомая фигура комиссара или его решительный, смелый вид подействовали, но люди, хотя и не все, послушались. Начали поворачивать туда, куда он указывал.

— Не мешайте другим. Туда! Быстрее! Пока не поздно!.. Туда!.. Туда-а! Быстрее!

Сначала нерешительно, потом все смелее люди двигались в том направлении, в каком он приказывал. К первым, стояв-

шим ближе к Туровцу, присоединялись остальные, видя, что путь вперед открыт.

А Туровец стоял в середине, в гуще людского потока, встречал, ободрял, приказывал:

— Не останавливайтесь! Смелее, смелее!

Люди спешили, спотыкались, падали, вскакивали. Все, кто мог, старались бежать, задыхаясь, выбиваясь из сил, не выбирая дороги, не замечая ни земли, ни неба, стремясь туда, куда двигались передние.

Шли женщины, дети, старики. Матери, сестры, сыновья, деды и внуки. Их беспокойные лица освещали мертвенно-белый отблеск ракет и кроваво-багровые всплески недалеких взрывов... Сдерживаемые людским потоком, проползли повозки с ранеными и убитыми. Лошади от взрывов пугливо вздрагивали... Нескольких раненых вели под руки. Одна женщина — увидел Туровец — еле волокла ноги. Голова без платка была бессильно откинута назад...

Снова — матери, дети, старики, по одному и группками.

Туровец невольно искал в темноте среди них Марию Андреевну. Ее не было видно. Хотя он и знал, что найти ее здесь почти невозможно, тревога его усиливалась по мере того, как люди шли и шли мимо.

Почему ее нет? Где она?

4

На флангах бой крепчал. Немцы и полицаи пытались атаковать, но не смогли одолеть партизанские заслоны. Отмечая, как усиливается нажим карателей с обеих сторон, Ермаков все больше убеждался, что гитлеровцы готовятся к новой атаке. Связываться с ними надолго было опасно: к ним могли подойти подкрепления, и комбриг стремился быстрее закончить бой.

Едва только людской поток прошел через разрыв окружения, он стал отводить отряды.

Обнаружив отход партизан, каратели неотступно потянулись следом. Отрядам Ермакова все время приходилось отбиваться. Чтобы остановить врага, Ермаков приказал заминировать путь за бригадой. Подрывники из отряда «За Родину» торопливо закопали несколько мин и бегом кинулись вслед за своими. Не отбежали они и двухсот шагов, как сзади ударили взрывы. Гитлеровцы остановились, стало спокойнее.

Нина чувствовала под ногами пашню, ноги погружались в разрыхленную почву, проваливались в канавки меж, разделявших полосы.

— Наделали меж! — кто-то поблизости недовольно ругнулся.

Галечка, которую Нина то несла, то вела за руку, часто спотыкалась, еле брела от усталости, но молчала. Торопливо семенила ножками, старалась не отставать.

Справа Нина заметила невысокий кустарник. Где-то недалеко отсюда должна быть Коржовка.

Но Нина не чувствовала большой радости, не было и успокоения в душе. Веселиться пока рано. Ее беспокоило, что до утра не удастся далеко отойти — уже близится день. Беда с этими короткими майскими ночами! Она теперь была бы рада, если бы ночь тянулась еще часов десять.

Нина посмотрела вверх. В темном небе мерцали редкие звезды, уже начинавшие блекнуть и гаснуть... Ожил, заходил предутренний ветер. Его чистая, криничная свежесть холодила горячее лицо.

Нина увидела справа острые, ползущие друг за другом полоски света. Там была дорога.

— Что это? — спросила Галечка.

— Ничего. Просто огоньки... — солгала, успокоила девочку Нина.

Каратели куда-то спешили на машинах. Может, подбрасывали подкрепление.

Что им принесет день? Как только возник этот вопрос, Нина устало отогнала его,— думать об этом не хотелось.

Вот только бы отойти подальше да передохнуть немного.

Так шли долго. Предутренний полумрак стал гуще. В этой темноте опять вышли на болото, наткнулись на речушку или канаву. Не разуваясь, не ища брода помельче, вслед за перешедшими сразу шагали в воду. Многие сворачивали немного в сторону и жадно пили.

Нине тоже сушила горло страшная жажда. Наверное, никогда в жизни не хотелось так пить. Перебравшись на берег, она отошла от потока людей, поставила Гальку на землю и возвратилась к середине канавы. Припав к воде, Нина увидела две-три звездочки, те колебались, дробились, расплывались. Вода показалась очень чистой и приятно холодила, — Нина пила, пила, все не могла напиться.

Только когда с усилием оторвалась от воды, почувствовала, что на зубах что-то хрустит, а во рту пахнет торфом.

Горстью воды ополоснула лицо, вытерлась изнанкой кофточки и шагнула на берег.

Снова шли. Полем, перелеском, лугом, опять — полем. Нина то вела девочку за руку, то поднимала и, выбиваясь из сил, изнемогая от напряжения, несла.

Небо на востоке сначала позеленело, потом порозовело. По мере того как оно светлело, темнота сменялась редким легким полумраком, что становился все прозрачнее. Окружающий мир как бы раздвигался вширь. Все шире раскрывалось поле, за

ним, вдали, обозначился тонкой и легкой стенкой лес. Правее, наверное, были луг или болото, в том месте пласталось сизо-белое облако тумана.

Теперь были хорошо видны лица. За одну ночь они осунулись и посерели. Люди шли молча, только кое-где слышался усталый и тихий говор.

Она вдруг услышала смех. Узнала голос Шашуры. Подрывник шагал неподалеку вразвалку и, озорно посмеиваясь, что-то увлеченно рассказывал соседу. «Почему он оказался не в своем отряде?» Удивило Нину не так это, как то, что он словно забыл уже обо всем недавно пережитом. Но другие еще не могли успокоиться после недавней тревоги. Нина заметила длинного сутулого парня в домотканой поддевке, вернее, не самого парня, а его глаза, широко открытые, испуганные, настороженные. Он беспокойно озирался.

Все же, по мере того как вокруг светлело, у многих людей прояснялись и оживлялись лица. Заметно множился разговор, послышался чей-то звонкий беззаботный смех. Пожилой бородатый мужчина забрал у Нины Гальку, взял к себе на руки. Он с жадным любопытством смотрел вокруг, не таясь радовался жизни, освобождению.

Люди все сильнее чувствовали счастье того, что вырвались, спаслись от смерти, живут. Как и других партизан, это счастье переполняло Нину. «Живу! Снова вижу этот прекрасный мир вокруг! Вижу своих людей, слышу их голоса!»

— Это штаб прислал самолет. Штаб, не иначе,— услышала она.

— Штаб... Там же знают, в каком мы положении...

Одно омрачало — неизвестно было, что ждет их днем. Немцы могли перерезать путь отступления, опять окружить или навязать неравный бой. Надо было быть готовыми ко всему. Пока рано было успокаиваться...

На окраине леса начали останавливаться. Кто-то сказал: «Привал»,— и хотя большинству людей неизвестно было, кто это сказал, все подчинились. Сбрасывали узлы, снимали оружие, натершее плечи, валились на сизую, мокрую от росы траву. Многие сразу же засыпали...

— Вот мы сейчас и посидим! — сказала Нина обессилевшей Гальке, опускаясь рядом с ней...

5

Туровец увидел комбрига и Габдулина под дубом, где разместился штаб,— Ермаков говорил с командиром бригадной разведки. Он поздоровался с Туровцом и, засунув карту, которую держал в руке, в пухлую полевую сумку, сказал разведчику:

— Значит, первое донесение я от тебя жду через тридцать минут. Я еще буду здесь. Иди, поторопись!

Он повернулся к Туровцу:

— Ну, комиссар, как наша операция? Здорово рванули. Напористый народ у нас, а? Место, надо признаться, выбрали удачно, в самую слабинку долбанули. Без этого было бы круто.— Он будто хвалился своей предусмотрительностью.

Переговорив с ним о дальнейшем движении, возможных действиях, Туровец стал искать госпиталь. Он не знал, вышла ли вместе со всеми Мария Андреевна, и, когда увидел между деревьями повозки госпиталя, невольно ускорил шаг. Еще издали всматривался, стремился поскорее найти взглядом знакомую фигуру. Но Марии Андреевны не было видно.

Она сидела, прислонясь к шершавому стволу дерева, и, бессильно свесив голову на грудь, спала. Над воротником старой шерстяной жакетки из-под сдвинутого платка белела нежно, трогательно шея, выглядывал милый детский пушок волос на ней. Выше волосы, подобранные вверх, были под платком. Она сидела в такой позе, что казалось, будто она не спит, а просто очень задумалась над чем-то. Вблизи от нее лежали на плащ-палатке двое раненых партизан. Увидев Туровца, один из них сказал:

— Не будите. Только что заснула. Присела передохнуть и заснула. Очень утомилась, значит.

Туровец и без этого не стал бы будить. Пусть отдохнет, скоро надо будет снова в путь, в неизвестность. Ему достаточно знать, что она жива, что она по-прежнему с ними, с ним...

«Спи, Маша, спи, счастье мое! Пусть будет сон твой спокоен...»

Вокруг совсем рассвело. Между стволами деревьев на траву, на спящих на ней людей весело брызнул лучистый солнечный дождь.

Туровец обходил лагерь. Всюду было много раненых. Бросалось в глаза, как поредели за ночь подразделения.

Среди спящих Туровец увидел Дрозда. Дрозд навстречу комиссару поднял печальные сухие глаза. Они сначала будто не узнали комиссара, будто не хотели видеть ничего.

— Как вы тут? — Туровец окинул взглядом лежащих вблизи людей. Опустился перед Дроздом на траву.

— Как?.. Прорвались,— ответил Дрозд глухо, неохотно. Вдруг встрепенулся, сообщил возбужденно:

— Кривца убили...

Туровец промолчал. Что он мог сказать на это? Понимал состояние Дрозда.

— Я сам его вперед... в самую опасность послал! Я, его друг...

— Одного Кривца? — спросил Туровец угрюмо.

Дрозд как будто не сразу понял.

— Троих еще...

Он очень сдал за последние дни и ночи, терпеливый, работящий Дрозд.

— Ты знаешь, что это за человек, Кривец? — снова начал Дрозд. — Не знаешь... А я его знаю, как себя. А может, даже больше, чем себя... Мы с ним, с Василем Кривцом, с пеленок вместе... Он мне брата родного родней...

Туровцу вспомнилось, каким видел Кривца позавчера, в окопчике. Словно услышал, как Кривец сказал на пророчество Шашуры, что «недолго уже». Недолго уже, но Кривцу не довелось...

— А давно ли — Шабуню... — вспомнил Дрозд.

— Не надо! — устало, будто призывая к мужеству, попросил Туровец.

Но Дрозд не послушался.

— Сколько еще убивать будут?! — как бы закричал Дрозд.

Туровец отметил, что говорил Дрозд тихо, глухо. А казалось, что кричал.

— Когда же это придет конец всему этому?..

На опушке послышался шум, тревожные крики. Туровец неохотно оглянулся, поднялся.

Что там случилось?

Ермаков только что снял рубашку, собираясь умыться, как к нему подошел взволнованный партизан.

— Товарищ комбриг... немцы!.. — крикнул он тревожно.

Ермаков выпрямился.

— Чего кричишь на весь лес, я не глухой,— упрекнул он недовольно.— Где они?

Партизан махнул рукой:

— Там!

— Много их?

— Да черт их разберет, сколько их там. Однако, видать, немало... Может, батальон...

Ермаков, быстро натягивая гимнастерку, приказал:

— Командира «Кутузова» — ко мне!

Заспанный, плечистый, в сильно потертой кожанке, командир отряда появился вмиг.

— Поднимай всех сейчас же и займи оборону. Там, на опушке.

Ермаков бросил на грудь ППШ.

На опушке уже говорили автоматы. Тихий, сонный лес сразу ожил, пришел в движение, заволновался.

Послышались крики команд. Партизаны, со сна еще мало соображая, заметались. Не сразу начали цепочкой вытягиваться к опушке. Ермаков поторапливал их, матерился.

— А нам, куда нам? — спросил кто-то из женщин.

— В лес. Подальше в лес! — махнул на ходу рукой Ермаков.

Держа в руках наготове ППШ, Ермаков побежал туда, где слышалась стрельба.

Начинался новый бой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

1

Весной 1944 года на юге страны шло большое наступление наших войск.

Еще в феврале и марте советские полки разгромили гитлеровцев на Южном Буге, освободили украинскую землю вплоть до Карпатских гор и отогнали вражеские части за Днестр. В мае захватчиков выбросили из Крыма.

Вражеские войска на юге были отброшены далеко на запад. Фронт проходил по Прикарпатской Украине и по государственной границе, частично заходя в Румынию.

В начале лета, в июне, началось наступление на севере, в результате которого была освобождена большая часть Карело-Финской республики, города Выборг и Петрозаводск.

Центральные фронты пока молчали. Передний край врага в Белоруссии глубоким выступом врезался в освобожденные земли. Немцы назвали этот выступ «белорусским балконом».

Они придавали большое значение этому «балкону», так как он перекрывал важные пути к Германии и был, по мнению немецких военачальников, удобным плацдармом для наступления в глубь Советской страны. На возможность этого немало кто из них еще надеялся.

Судьба «белорусского балкона» была вручена миллионной центральной группе. Войска группы «Центр» на протяжении многих месяцев непрерывно строили и укрепляли оборонительные рубежи. Траншеи и ходы сообщения тянулись в несколько рядов вдоль всего фронта. Для обороны гитлеровцы старались использовать также многочисленные реки, речушки и болота, которых было очень много у переднего края.

На всей семисоткилометровой линии фронта, проходившей по белорусским полям, болотам, перелескам, было тихо. Стояло странное томительное фронтовое затишье; кое-где вспыхивали перестрелки, басовито ухали пушки, выли мины, но все это не меняло основного — тянулось затишье.

Затишье это было полно напряженной жизни: изо дня в день многочисленные разведчики изучали оборону противника, раскрывали тайную систему его укреплений, выискивали слабые места. В армейских тылах, более далеких и возле самой передовой, где была близка пулеметная стрельба, шла большая учеба. Многие полки и роты старательно учились прорывать вражескую оборону, взаимодействовать, блокировать и штурмовать укрепленные пункты. Части пополнялись, укреплялись.

Из далекого тыла постепенно подходили войска разных родов — артиллеристы, танкисты, пехотинцы, саперы,— растекались по низкому, богатому болотами и лесами пространству. Подвозили боеприпасы. Несчетное число огромных штабелей ящиков со снарядами и бомбами, пока еще молчаливыми, укрывали в лесах, в выкопанных траншеях, тщательно маскировали.

Фронт жил, фронт готовился к боям,— и все же это было затишье. И никто, даже самые высокие командиры не могли бы сказать, когда это затишье кончится. Все только гадали, но почти никто не знал наверняка. Все знали об одном — оно должно кончиться, должно начаться наступление; сознанием этого, напряженной подготовкой к нему жила вся армия, — не только армия — вся страна, которая отливала танковую броню на Урале, делала самолеты и автоматы в далеких тыловых городах. Вся страна ждала: когда начнется, где?

Только немногим, в Ставке Верховного главнокомандования, было это известно. В тиши московских кабинетов, за окнами которых спокойно бежали машины и сновали люди,— в мирной тишине старинных комнат деловито изучалось положение по обе стороны переднего края, оценивались предложения, написанные командующими фронтов, обдумывались основные

особенности будущей операции. Возникали первые торопливые наметки предварительного плана большого наступления.

План этот быстро вырисовывался, углублялся, уточнялся. На карту с отметками о положении на фронтах ложились первые красные стрелки будущих ударов. Значки, обозначавшие армии, группы. У будущей операции появилось свое имя — «Багратион». План «Багратион».

2

Этот отдых был мало похож на отдых. До вечера, за день занятий, танкисты уставали так, будто, по словам Яковенко, выкосили по гектару луга.

Хотя дни и здесь были богаты событиями, хотя каждый из них что-то менял в учебной жизни, многим танкистам они казались однообразными и ровными, как траки гусениц. Здесь не было неизвестности, таящей разнообразные неожиданности, которую они привыкли все время чувствовать на фронте. Просыпаясь, знали, что предстоит им днем; засыпая, знали, что будет завтра.

В свободное время, в выходной день ходили купаться на речку, которая протекала за лесом, или на лесное озерцо, где на поверхности покоились ладони листьев кувшинок и на мелководье, сияя, зеленел аир.

Лежали, грели на солнце спины и ноги со шрамами.

Нередко, надев новые гимнастерки, до блеска начистив сапоги, оживленные, веселые, ходили в деревни — и в ближнюю и дальше,— танцевали, пели, в вишенном затишье обнимали девчат и истосковавшихся вдов, ловили скороспелое счастье.

За эти дни «новички» обжились, подружились с ветеранами. Все уважали Алешу Костюченко, любили за то, что были у него золотые руки, что хорошо играл на гармошке. Быстро вошел в солдатскую семью и Савелий Рыбаков. Он, правда, никакими способностями не отличался, если не считать того, что умел быстро завязывать дружбу. Как-то сразу Рыбаков мог перейти на «ты» с незнакомым человеком, найти общую тему для разговора и незаметно стать большим другом.

Целыми днями занимались в поле.

...Выведя танки в поле, Лагунович объяснял экипажам задачу роты. Сегодня надлежало захватить опорный пункт «противника», укрепившегося на опушке леса, справа от деревни Заборье.

Яковенко, Колышев и еще несколько офицеров склонились над картой. Лагунович тупой стороной ребристого красного карандаша показывал маршрут. Когда карандаш дошел до вытянутой полосы голубых черточек с кустиками — болота, он пытливо

взглянул на обоих: ну, как вам это нравится? Пытливый, несколько насмешливый взгляд его говорил: хотя это и небольшое препятствие, надо переходить умеючи, иначе, чего доброго, можно засесть.

Вскоре «тридцатьчетверки» двинулись выполнять задачу. Вперед послали разведку — взвод Яковенко, в котором был и танк Колышева.

От рубежа к рубежу взвод подошел к неглубокой лощине, ведущей к «опорному пункту». Лощина посредине была заболоченной, на дне ее весело поблескивал ручей, кое-где затянутый травой.

Яковенко одну за другой повел машины по слегка наклонному берегу, не поднимаясь на пригорок, стремясь незаметно подобраться к цели. Через полкилометра, неподалеку от бора, лощина повернула в сторону, а наперерез потянулась неширокая кочковатая полоса. Яковенко вышел из машины, прошел вразвалку вперед, прощупывая сапогами податливый, заросший травой грунт.

«Бисово болото! — подумал он.— Вроде кисель, колышется». Как танкист и житель степей, он органически ненавидел эту ненадежную землю. Ему не раз уже приходилось увязать в этом «киселе». Он охотно поискал бы где-нибудь вблизи более надежный путь, но что поделаешь — приказ. Возвратившись к машине, лейтенант приказал двигаться через болото.

Приминая кочки и траву, первый танк медленно приближался к противоположному берегу. Он шел плавно и прямо.

Откинув шлем назад, вытирая пот, Яковенко из открытого люка настороженно следил за ним: этот танк решал главное, что тревожило. Пройдет этот — пройдут остальные. Задача будет выполнена.

Вот наконец машина уже на противоположной стороне. После нее, убедившись в том, что пройти можно, лейтенант посмотрел на болото более мирно.

Когда двинулся второй танк — Колышева, в шлемофоне Яковенко послышалось:

— Ровнее, Рыбаков... Не газуй!.. Не газуй, говорю! А, черт,— сказал в сердцах Колышев.— Спокойно, спокойно прибавляй...

Если бы Яковенко и не видел, что машина остановилась, он только по тому, что услышал, догадался бы о случившемся. «Завязли, як вол в иле». Водитель, беззаботный Рыбаков, наверное, неосторожно газанул,— гусеницы прорвали верхний травянистый пласт, и машина погрузилась в болото.

Так оно и было на деле. Злясь, Рыбаков пробовал выбраться, но машина не трогалась и только еще глубже оседала.

«Стоп! — послышался в шлемофоне взволнованный голос Колышева. — Все. Приехали».

— Приехали... к куме на галушки, бисовы души! — отозвался тихо, беззлобно Яковенко.

Пришел его черед. Он приказал двигаться параллельно пути предыдущего танка. Скоро он уже был рядом с Колышевым, тот суетился возле своей машины, заглядывал под нее, ломал голову над тем, как выбраться.

Яковенко со своей «тридцатьчетверкой» перебрался удачно.

Засевшую машину взяли на буксир. Пока подобрались к ней, привязали трос, пока вытащили машину, прошло немало времени. Лагунович между тем не давал передышки: все торопил, чтоб двигались вперед, сообщали результаты «разведки».

— Вот душа нэспокойная! Та скоро вже! — успокаивал Яковенко Лагуновича и подгонял своих танкистов.

Немного впереди от этого места начиналась та возвышенность, за которой находился «опорный пункт». Сюда, к подножию возвышенности, вслед за разведкой стала подтягиваться вся рота. Через болото машины шли каждый раз напрямик, непременно выбирая неезженую поверхность. Поднявшись на твердый грунт, останавливались. Моторы работали на малых оборотах. Переправа через болото и в других взводах не обошлась без неприятности: засели еще две машины.

Пока их вытаскивали, Лагунович подгонял танкистов так, будто предстояла настоящая атака.

— Сорвут атаку! Загубим машины! — беспокойно сказал он лейтенанту Гогоберидзе, оглядываясь на болото.

Едва подтянулись последние машины, Алексей приказал идти в атаку. Работавшие на малых оборотах танки разом взревели и стали из укрытия быстро подниматься по склону. Перевалив через гребень возвышенности, рванулись вперед, на полной скорости, развернутым строем понеслись к молчаливому зеленому бору, на «опорный пункт»...

На опушке только что «отвоеванного» бора Лагунович делал разбор тактических занятий. Танкисты полукругом сидели на траве, кто по-турецки, кто обняв колени, кто опираясь рукой на землю. Рыбаков лежал на локте.

Алексей говорил, скупо жестикулируя, то стоя перед ними, то медленно прохаживаясь взад-вперед. Перебирая дотошно все происшедшее, он вспомнил и досадную задержку на болоте.

— По болотам, братцы, надо уметь ходить! По правде говоря, я специально этот путь выбрал. В Белоруссии такие дороги на каждом шагу. Пока не научимся ходить по болотам, нечего и соваться на фронт... А ходить по ним — наука, как видите, тонкая... Прежде всего — не надо бросаться через боло-

тистое место с разгона. Некоторые думают, что можно проскочить. Раз — и на той стороне! Они обычно и попадаются! Машина с ходу вроется в грязь, как свинья, поднимет целый вал трясины впереди — и сиди, загорай! .. Болото — штука страшно капризная! По нему надо пробираться осторожно, вроде на цыпочках. Спуск — плавный, движение — на малой скорости! .. На малой, Рыбаков! — Алексей поискал глазами водителя, но встретился взглядом с Колышевым.— Сегодня Рыбаков таким рывком посадил машину. В разведке...

Чистое лицо Колышева по-мальчишески зарделось. Чувствуя, что краснеет, лейтенант совсем смешался. Он отвел взгляд в сторону, будто что-то разглядывая.

— Еще — о фрикционах! На болоте надо осторожнее с бортовыми фрикционами,— вставил с места Солнцев. Сказав это, он, видимо, спохватился, что заговорил без разрешения и сидя, виновато поднялся.

— Правильно, Солнцев! Один малый разворот — и танк засядет.

Старший лейтенант вынул из нагрудного кармана комбинезона ручные часы, взглянул. Время возвращаться в лагерь.

— Можно покурить.

Танкисты сразу задвигались, зашумели, задымили папиросами. Быстров бросил какое-то острое слово, вокруг захохотали. В дружном хохоте выделялся голос Гогоберидзе. Нельзя было не смеяться, слыша этот увлеченный заразительный хохот.

Алексей насыпал из пачки табаку, свернул папироску и подошел к Яковенко прикурить.

— Говорил же я тебе — спокойно, не газуй... — дошел до него жесткий чистый голос.— Хорошо, что сейчас, на занятиях, так, а если бы... в бою? Если бы в бою, что тогда?!

«Колышев»,— узнал Алексей и невольно улыбнулся про себя той улыбкой, с которой взрослые следят за детьми. Его взволновала эта молодая искренность в голосе, наивная простота: «А если бы в бою? ..» — и он подумал, как еще молод-зелен лейтенант.

Было в этом голосе что-то такое, что тронуло сердце Алексея, что невольно родило в нем мысль: из Колышева выйдет солдат. Хороший командир выйдет.

3

Нежданно в обычный круг мыслей Алексея ворвались такие, что, казалось, не имели никакого отношения к его командирским обязанностям.

В выходной день, вернувшись утром из столовой, Алексей собрался в деревню. Идя по тропинке через лес, он минут че-

рез двадцать подходил уже к хатам, когда навстречу ему попался командир бригады.

Встреча эта была неприятна Алексею: он знал, что Бессонов не похвалит его за такие хождения в гости. Уже не первый день Алексей чувствовал, что Бессонов вообще неприязненно настроен по отношению к нему. Комбриг не однажды показывал, что он помнит, хорошо помнит, как Алексей подвел его в первые дни отдыха. Скупой на похвалу, Бессонов на всю жизнь запоминал каждый случай, когда его «подводили».

— Куда? Зачем? — остановил Алексея Бессонов.

— В село. В гости, товарищ гвардии полковник,— четко, но настороженно ответил Лагунович.

— К вдове какой-нибудь? — И голос и недобрые глаза полковника заранее осуждали.

— Можно сказать — к вдове... товарищ гвардии полковник.

— Что за вдова?

— Вдова как вдова.— Алексею не хотелось отвечать на допрос, его возмущал тон этого допроса. Но надо было отвечать. Полковник ждал.— Бригадир здесь один. Познакомились случайно...

— Бригадир. Случайно,— не поверил Бессонов.

— Просила зайти, товарищ гвардии полковник. Разрешите? — Старший лейтенант, которому явно не хотелось продолжать разговор, приложил руку к козырьку.

В лице полковника мелькнуло что-то жесткое, но он сдержался.

— Гляди у меня! — Бессонов вдруг махнул рукой.— Иди. День свободный...

Алексей вернулся перед вечером. В землянке он застал Яковенко, чинившего свой комбинезон. Полтавчанин, казалось, никогда не сидел без работы.

— Ну, вот и побывал я в гостях,— сразу начал Алексей,— насмотрелся всякого...

— Ты бы поел сначала,— посоветовал Яковенко,— потом расскажешь. Слово не воробей, не улетит, догонять не придется.

— Да я пообедал, угостили! Самогон был, закуска была... Только мне ничего в рот не лезло...

Он взял с крышки котелка оладью.

— Вот я и познакомился со здешними колхозницами. Выносливый народ — женщины! Пашут, хозяйничают не хуже мужчин... Одна там, Ганка Филимонова, такая невидная женщина, на пахоте просто рекорды ставит. Люди, одним словом, там что надо!.. Лошадей нет — на коровах всю пахоту вытянули. Не все, правда, успели засеять, но хлеб должен быть.

«Голодными не будем и вас не оставим без хлеба, солдатики», — говорят. Только, знаешь, очень круто им приходится, так тяжело, что смотреть нельзя спокойно.

— Ну, разве опэ только у них, — рассудительно сказал Яковенко тоном, каким говорят с младшим братом или с сыном.

Алексей не обратил внимания на этот тон, он привык, что Яковенко и к нему, и к другим товарищам относится как старший, привык к этой по-отцовски добродушной поучительной манере говорить.

— Подожди, ты послушай! — нетерпеливо перебил Лагунович.— Не только у них... А разве мне легче от того, что не только у них?! Здесь кроме всех бед, какие тебе известны, еще и их личная —председатель. Коврижка его фамилия. На вид — так, бессловесное создание, теленок. «Э-э, что мы поделаем, видите-е, рэ-э-зруха,— передразнил Лагунович.— Вээйна. Вот осилим немца, тэ-эгда...» Вместо того чтобы поднимать людей, подбадривать, сам сеет панику. «Ну что мы получим от этой земли! Пуп надорвешь, а толку мало...» А между тем, заметь, дом себе ставит, лесу навозил.

Беспокойство, горячность Лагуновича начали передаваться Яковенко.

— Опэ Коврижка! — покачал он головой. — Нэ очэнь вкусная!

— Три солдатских семьи живут в землянках. Ты думаешь, он позаботился хоть об одной? Там есть Арина-вдова. Муж сложил голову в партизанах. На руках у нее осталось четверо детей, все мелкота. Ходила, просила помощи у Коврижки. Думаешь, дал? Нет, «вэ-эйна», видишь ли! Дети щавелем перебиваются... Чего же вы, говорю моему знакомому бригадиру, Наде Мозольковой, молчите, прогнали бы его к черту! Такие героические женщины и вдруг с одним старым пнем не справитесь. Метлой его погнали бы, чтоб и духу его не было. Мнется: «Да вот мы по-бабьи поговорим, поругаем его в глаза и за глаза,— так и разойдемся. Да и разве он один, этот пень? Здесь у него целая лавочка подобралась: кладовщик, огородник, кум, сват — и черт его брат».— «Ну, а из райкома были?» — «Были, да давно. В соседнее село, где ваше начальство стоит,— штаб наш,— ездят часто. Там лучше дела. А нас объезжают...» Вот! Слышал?

Лагунович взволнованно побарабанил пальцами по котелку, глядя на Яковенко своими добрыми глазами.

— Я, признаться, думал, что знакомство у тебя будет повеселее.

— Что делать? — спросил Алексей.

Яковенко, любивший, когда к нему обращались за советами, и умевший понимать чужое настроение, почувствовал, что

старший лейтенант увлекся этим делом. Не успокоится на том, что побыл в селе и побеседовал. Он посоветовал:

— Надо поговорить про цэ с подполковником Семижоном.

— Я тоже так думаю,— ответил Алексей и стал сразу собираться к заместителю командира бригады по политчасти. Он не любил откладывать дела.

Подполковника Семижона ни дома, ни в кабинете не было. Алексей нашел его в мотобатальоне, где подполковник находился вместе с командиром бригады.

Полковник Бессонов занимался делом, которое он называл «чисткой» и которое он совершал нередко и охотно: перетрясал все, что было в кузовах грузовиков, в транспортерах, в колясках мотоциклов. Заглядывал в ранцы, безжалостно, со свирепым видом выбрасывал все, что не было необходимо.

Эта неприязнь к лишнему была у него просто болезнью. По отношению к себе он тоже непременно придерживался этого правила: в штабной своей машине он возил только один обшарпанный, еще с довоенных лет, чемодан с обмундированием и двумя парами белья. Он вел почти аскетический образ жизни.

Подполковник Семижон слушал Алексея задумчиво и внимательно.

Когда старший лейтенант кончил, подполковник сказал:

— Да-а... Это мы упустили... А оно — ведь если разобраться — тоже касается... — Молчал немного, что-то соображал: — Я подскочу в район, потолкую. О Коврижке и всем прочем... Но, видно, надо будет и самим помочь. Людьми. Можно ведь оторвать кое-кого на работы к ним. Хотя бы на день-другой. Из твоей, из других рот.

— Подремонтировать жнейки, колеса...

— Да, да, надо помочь. Шефство взять, что ли...

Подошел полковник Бессонов, недовольно хмурясь:

— Развели барахла, не мотобатальон, а обоз. — Сравнение с обозом, которое не раз слышали в бригаде, было в его устах тягчайшим обвинением.

Он спросил у Семижона, о чем идет разговор. Немного послушав, Бессонов уверенно отрезал:

— Зря я его не вернул!

Алексей взглянул на командира бригады, не выдержал, запальчиво и упрямо напомнил:

— Я, товарищ гвардии полковник, в свободное время...

— В «свободное»!..

Полковника явно задел ответ Лагуновича. Может быть, и тон ответа.

— Много у тебя, Лагунович, свободного времени оказалось. Видно, потому и в роте бардак.

Хотя рота Алексея, он знал, была не хуже других, старший лейтенант сдержался: Бессонов не любил, когда ему перечили. Сейчас спорить было вообще бессмысленно.

— Распыляешься! — словно строгий выговор объявил Бессонов.

Алексей знал, что Бессонов больше всего не любит людей, которые «распыляются», что для него, кроме командирского дела, кроме бригады, ничего не существует. Говорили, что по этой причине даже своей семье Бессонов писал редко. . .

— Лезешь куда не надо!

— Могу поддержать его, товарищ гвардии полковник. Надо,— вступился за Алексея Семижон.

— Без него обойдутся! Там своих достаточно вздыхателей! Которым положено заниматься этим. Ишь ты, только он такой заботливый! Пришел, увидел — объявляй тревогу!

— Нельзя ждать, комбриг.

— Не горячись, Семижон. Там есть свои головы, разберутся сами.

Он взглянул на Алексея, сказал с ноткой неодобрения:

— Только потому, что подполковник уже взялся за это, я не возражаю.

Довольный тем, что Бессонов все же уступил, что дело, необходимое дело, пойдет, Алексей пообещал мягче и словно виновато:

— Можете быть спокойны, товарищ гвардии полковник, рота не подведет.

Бессонов не принял обещания:

— Это мне еще неизвестно, не подведет или подведет.

На следующий день после разговора с Алексеем подполковник Семижон отправился в районный центр, расположенный километрах в пятнадцати. Вернулся он к полудню, немного усталый, но довольный. Подполковник вызвал Алексея и сообщил, что был в райкоме, переговорил обо всем с секретарем и что на днях состоится собрание колхозников.

— Хорошо было б, если бы Мозолькову Надю выбрали, — доверительно сказал Алексей. — Все женщины за нее горой. Только сама она, чудачка, побаивается: «А что, как не справлюсь?»

В землянке Яковенко писал письмо. Писал он, как школьник, навалившись грудью на стол и склонив набок голову. Письмо у него почему-то не клеилось. Он несколько раз начинал, но, написав две-три строчки, рвал. Алексей, заметив это, удивился: обычно Яковенко не задумывался над тем, что и как писать.

— Жене письмо написав, — сказал Яковенко позже. — Длинное, целый роман. Никогда за всю жизнь не писав такого длинного послання. И так тепло, так искренне, что аж самого

за душу взяло. Ей-богу, не брешу, мало сам не заплакав. А все через одих жинок, що ты росказував. Достается им... Мы здесь, на фронте, думаемо, що мы — все, мы —герои, мы, мы. А им тяжелее, может, чем нам... Конечно, ее там, жинку, ни убить, ни покалечить не может, та разве в том дело.

Лицо его с яркими карими глазами, черными густыми бровями, глянцевитыми, немного волнистыми волосами, задумчивое и доброе, теперь было особенно красиво. Алексей знал, что в Яковенко были влюблены едва ли не все женщины в бригаде.

Его жена, карточку которой видел Алексей, была с виду совсем непривлекательной и, как говорил Яковенко, года на четыре старше его. Поженились они, когда учились на курсах механизаторов при МТС,— Яковенко в то время было лет девятнадцать. Несмотря ни на что, Яковенко очень любил ее и заботился о ней.

Помолчав, лейтенант заключил:

— Мало мы ще жинок своих уважаем... Надо любить их краще та нежней. Они того достойны.

Часом позже Алексей шел уже знакомым лесом с речки. От недавнего купания тело еще сохраняло свежий, молодой холодок. Он шел медленно — как человек, которому не надо торопиться, думая о чем придется, глядя на листья, на ветки, на пеструю от солнечных лучей и теней траву.

Он любил лес, как может любить его только человек, который вырос в лесу и чувствует себя в нем как дома.

Лес жил своей жизнью, богатой и разнообразной.

На полянках пригревало солнце. Пахло молодой травкой, напоенный множеством запахов воздух полян был весь полон солнечным теплом. Высохла утренняя роса, и здесь установилась истомная неподвижность; звенела мошкара, стрекотали кузнечики.

Совсем рядом буйно теснились густые заросли дубняка, осинника. Вверху ветви разных деревьев заходили одна за одну, сплетались черно-зеленой крышей. Солнце сюда пробивалось скупо, сверкало то на листке, то на черной влажной земле капельками. Здесь все время было сумрачно, как в землянке.

Запахи в этих дебрях были другими, более острыми, без жаркой истомы. Гнилой запах старых перепрелых листьев перемешивался со спиртовым духом дуба и горьковатым— осины. Все это создавало свой, особый, сильный настой.

Этот могучий, извечный дух лесных зарослей был удивительно устойчивым, одинаковым и днем и вечером, не то что на полянах или на опушке.

Шагая сквозь чащу, Алексей вдруг увидел вблизи Мозолькову Надю. Взмахивая топором, она подрубала ствол сухой березки. Алексей подошел незаметно и сказал:

— А ну, дайте мне!

Она от неожиданности вздрогнула,— выпрямилась, опустив топор.

— Ой, это вы! Когда вы подошли? Я и не заметила! — Она вытерла пот с лица, торопливо поправила кофточку, косынку.

Он взял топор, попробовал, острый ли, размахнулся и глубоко вогнал его в дерево. Размахнулся второй раз, третий. Эх, как хорошо! Если бы можно было, целый день взмахивал бы топором.

Будто к матери на побывку приехал. И не Надя, а мать стоит рядом, ласковыми глазами следит за каждым его движением... Деревце треснуло и начало падать. Алексей перерубил его пополам, обрубил сучья.

— Ну, хватит уже! — сказала Надя.— Мне дров и надо-то немного...

Надя, видимо, спешила.

— Пора домой. За дровами я уже с поля приеду.

— С коровой в упряжке?

— А то с кем же...

Она снова поправила синюю косынку. Алексей невольно залюбовался ее стройной сильной фигурой, загорелым смуглым лицом и простыми мягкими чертами. Чем-то она напоминала Нину, только Нина была немного пониже и более хрупкой.

— Сегодня приезжали из райкома. Собираются провести собрание.

Они направились в сторону села, из которого доносились детские голоса. На опушке леса Надя остановилась.

— Может, у вас будет время, так заходите снова. Дорогу вы теперь знаете.

— Знаю...

— Здесь через лес рукой подать... Там, через канаву, есть кладка...

— Из двух жердей?

— Ага... Придете?

— Может, приду. Мало свободного времени...

— Ну, если будет... Бывает ведь оно?

— Бывает...

— Ну вот и приходите, если будет...

В голосе ее, почувствовал Алексей, прозвучала странная нотка.

— Хорошо. Посмотрю...

— Лучше — под вечер... После работы... можете?

— Можно.

— Или в воскресенье... В воскресенье я дома и днем...

— Хорошо...

— Ну, до свидания!

— Всего хорошего...

Он пошел назад. Пройдя несколько шагов вдоль леса, оглянулся и встретился с ней взглядом: Надя тоже смотрела на него...

«Она таки правда похожа на Нину»,— снова пришло в голову.

Как раз в этот момент навстречу Алексею попался лейтенант Гогоберидзе.

— Так вот куда ты ходишь... мечтать,— сказал он, хитровато улыбнувшись.— Попался! Приглашала в гости?

— Говорила.

В глазах Алексея появилось виноватое, смущенное выражение.

— Пойдешь?

— Не знаю. Наверно, нет.

— Наверно? Ох эти мне тихони! Ну-ну, не хитри. Все равно не поверю.

— Не пойду, наверное. Правду говорю.

— Тому, кто обманул хоть один раз, не верят! ..

— Ну, привязался. Прокурор! — отмахнулся Алексей.

А может, и правда пойти? Просто поговорить, и все, в этом ведь ничего плохого...

4

На занятиях им случилось подойти к шоссе Москва — Минск.

Минская магистраль проходила недалеко от того леса, где размещался в эти дни батальон.

Когда была отдана команда перекурить, танкисты шумно, толпой направились к шоссе. Первыми на дорогу выбрались Гогоберидзе, Яковенко, Рыбаков и еще несколько танкистов. Потом подошли остальные, группами и по одному разбрелись по шоссе.

Минская магистраль! Вот она, дорога из Москвы в Минск.

Асфальтированная ровная лента, млея на жарком солнце, бежала в сторону фронта. На обочине печально торчали два обломанных и обрубленных дерева. Кюветы и поле вблизи них были изрыты старыми воронками: видимо, деревья были покалечены бомбами. Поблизости лежал перевернутый, заржавелый скелет грузовика.

Май щедро убрал дорогу с обеих сторон богатой зеленью, разными цветами. Кюветы заросли густой травой. Трава возле самого асфальта была мелкой, запыленной, из нее повсюду выглядывали подорожник и ромашки.

Гогоберидзе щеголевато прошел несколько шагов по дороге, будто прогуливался в городе, сказал Яковенко:

— На Кавказе такие дороги. Гладкие, как стекло. Только там они всегда крутятся — в одну сторону, другую сторону, вверх, вниз. Такие дороги — два метра не идут прямо. А здесь прямая, посмотри, какая прямая! Катись. До самого Минска.

— Не шибко разгонишься,— иронически отозвался полтавчанин.— Дорога-то гладкая, та с фокусами. Не то що не прокатишься, но и не проползешь.

— И с танком не прорвешься.

Рыбаков, услышав эти слова, охотно поддержал:

— Где там! Фрицы такого понастроили на этой дорожке! Мне говорил сапер, на сто километров заминировали!

— Ну, вже так и на сто? Может, накопали километров на пять окопов, блиндажей та рвов. Посияли мин, где можно.

— Не хотите верить — не верьте, товарищ гвардии лейтенант. Я вам говорю то, что слышал.

Невдалеке собралась другая группа. Возле нее стоял старший лейтенант Лагунович, глядя вдоль шоссе. Асфальтированная лента бежит вдаль. Сначала поднимается, выгибаясь, на пригорок, потом пропадает и снова появляется на глаза далеко в дымке жаркого дня.

— До Минска триста четыре километра,— сказал один из танкистов.

— Откуда ты знаешь?

— Вон километровый столб,— танкист кивнул на почерневший от дождя, наполовину вывороченный столбик, торчавший в стороне.

— Ну, теперь это расстояние немного длиннее!

Среди танкистов сосредоточенно дымил папиросой Быстров. Он сплюнул сквозь зубы и, кивнув головой на дорогу, заявил с намеком:

— Прямо на Берлин ведет.

— Она только до Минска доходит.

— Все равно. Оттуда уже Берлин видно — Бранденбургские ворота, Унтер-ден-Линден и личная канцелярия Гитлера, — улыбаясь глазами, неожиданно уточнил Быстров. — Не верите? Спросите у старшего лейтенанта.

Лагунович ответил ему в тон:

— Оттуда, от Минска, только одна большая станция до Берлина — Варшава.

— Одна станция — Варшава!.. Ишь, хватили. Быстрый вы, товарищ гвардии старший лейтенант! А сколько там полустанков, которые надо проехать, никак нельзя обойти?

— Ну, полустанков мы не считаем!

— Минск... — Солнцев обрадованно сообщил: — Когда Западную Белоруссию освобождали, был я там! Приличный городок. Веселый.

— Веселый.., — повторил странным голосом Алексей, не то

иронически, не то грустно.— Был — веселый... С первого дня, как началась война, досталось ему. Сыпали, сыпали на него бомбы... В газете было — сожгли дотла всю Советскую и Ленинскую. Самые красивые улицы. Еще был в газете снимок, снятый с самолета. Нельзя было узнать, что это за кварталы. Голые стены да руины страшно все изменили... Между стенами везде пустые провалы, ни одной крыши не видно... Досталось ему...

Алексей помолчал минуту и вдруг заговорил увлеченно, с гордостью:

— А был — красивый! И веселый был, что правда, то правда, Солнцев. Эх, ребята, побывали б вы вечером на Ленинской нашей или на Театральном сквере! Вечером, когда сияли огни, когда тысячи нарядных минчан выходили погулять! До чего же хорошо было в этом говорливом людском потоке! А-а, что вам говорить, все равно этого не представите, если не видели. Вы и представить не можете, какие красавицы наши девчата! Кстати, к сведению некоторых холостяков: таких красивых девушек, как в Минске, наверное, нигде нет. Я ведь походил по свету, посмотрел... Если задумаешь жениться, Солнцев, к нам приезжай, к минским девчатам!

— Только в Минск приеду! — скрывая смущение, ответил Солнцев.

— Не пожалеешь! ..

— Не забудьте, товарищ гвардии старший лейтенант, что вам придется для него сватать девушку,— отозвался Быстров.— Он, когда увидит красивую девушку, почему-то немеет. Будто язык примерзает... от горячего чувства!

— Ну-ну, ты поосторожней! — пригрозил Солнцев.

— Он с каждым годом все хорошел... У меня ведь на глазах все происходило. Я там, можно сказать, знаю историю каждого дома. Учился там, работал. В партию вступал. Любил там. Все лучшее, что было в жизни, узнал там, в Минске...

— У вас там, говорят, жена и ребенок остались? — полюбопытствовал вдруг Рыбаков.

— Остались...

Старший лейтенант умолк. Взгляд его потух. Алексей замкнулся. Он не любил говорить о своем горе. В радости душа его раскрывалась для всех, он не таил тогда ничего. А в горе мрачнел, делался скрытным, молчаливым.

До войны, работая инженером, Алексей с Ниной и товарищами не раз ездил по этой магистрали за город. «Эмка» была не его, а директорская, но директор часто приглашал их с Ниной. Алексею нравилось мчаться на большой скорости по гладкой, как зеркало, дороге, слушая шипение шин. Нина подставляла лицо ветру, бьющему навстречу густой сильной волной, прищуривала глаза от удовольствия. На пухлых, как у детей,

ее губах трепетала беззаботная улыбка. Ветер, налетая, теребил, разбрасывал, спутывал ржаные, выгоревшие на солнце волосы.

Оставив город далеко позади, машина постепенно замедляла ход, сворачивала с шоссе и, покачиваясь с боку на бок, подбрасывая пассажиров, шла среди деревьев. У них было в лесу свое любимое место.

Нина очень любила эти прогулки. Во время них она всегда много хохотала, озорничала, как девчушка. С ней было хорошо и Алексею, он забывал обо всех заботах, заражался ее весельем. «Как ребенок!» — думал он не раз. Не однажды он искоса, смущенно поглядывал на директора и его жену. Что они, Петр Иванович и Анна Матвеевна, думают о своих молодых попутчиках: будто это так важно было. Впрочем, им нравился веселый нрав Нины. Нравились Петру Ивановичу и Анне Матвеевне они, Лагуновичи, видно, как молодость, уже ушедшая от директора и его жены...

Хорошо было в лесу, полном птичьих голосов. Кажется, степенные товарищи по прогулкам не обижались, что Лагуновичи нередко уединялись... Прятались в чаще, искали друг друга, перекликались... Вдруг, озорно сверкнув глазами и крикнув: «Лови!», Нина бросилась меж деревьев. Но попробуй поймай ее, быструю и легкую, если она то мчит что есть духу, то вдруг схитрит. Вот-вот Алексей догонит ее, уже протягивает руки, чтобы схватить, а она — ловко шмыг в сторону под руками, и — лови ветер. Стоит уже где-то позади, и хохочет, и дразнит. Ему мешают деревья, он все время придерживает бег, чтобы обойти их, не столкнуться, а ей — хоть бы что!..

На дороге, быстро усиливаясь, возник шум. Алексей оборвал воспоминания, оглянулся. В сторону фронта мчались несколько грузовиков. Приближаясь, первый из них требовательно просигналил, и танкисты торопливо освободили дорогу. Алексей с любопытством следил за приближающимися машинами. Вскоре они поравнялись, пронеслись мимо. В кузове первого грузовика видны были ящики, мешки, на них сидели солдаты; в остальных груз был сложен вровень с бортом и накрыт брезентом.

Алексей следил глазами за машинами, пока они не исчезли за гребнем подъема.

«Им до Минска восемь часов хода»,— возникла внезапно мысль.

В этот вечер, если бы не война, он мог бы увидеть огни Минска. Они вынырнули бы из темноты, как только машина взобралась бы на последний перед городом пригорок. Завороженный морем мигающих огней, шофер прибавил бы скорость, и Алексей скоро был бы дома...

Он хорошо знает эти памятные километры, где магистраль проходит через густо-зеленую сосновую стену парка имени Челюскинцев. Там, на этих последних километрах, часто проводились мотогонки. У города асфальт внезапно кончается, дальше начинается булыжник. Это уже окраина. Слева — два-три маленьких домика, ботанический сад Академии, справа — недостроенные большие красные здания, дальше — Дом печати...

Нет, не доедут туда грузовики ни за восемь часов, ни за восемь дней!

Десятка через три километров шофер свернет с шоссе, остановится где-нибудь возле склада боеприпасов или на огневой позиции...

Минская магистраль! Перерезал тебя фронт, перекопал снарядами, начинил минами, перепоясал во много рядов колючей проволокой...

Не случайно так больно враг ранит тебя, так цепляется за тебя. Он знает, что ты — самый важный путь, связывающий Минск с Москвой, Белоруссию с Советской Россией. По тебе пойдут на белорусскую землю советские войска, чтобы принести свободу людям, возвратить наш народ в родную, великую семью.

Была ты мирной дорогой, которая связывала две столицы. Стала ты дорогой нашей битвы, ориентиром, определяющим боевое направление. На Минск, на запад!

Алексей подумал: ему всегда почему-то казалось, что у дороги есть только одно направление, как у речки. Раньше, в Минске, он знал, что шоссе направлено в сторону Москвы. Оно и называлось там всегда — Московское шоссе. Теперь дорога как бы изменила свое направление, она идет в Минск. И не только у него такое чувство. Ведь все считают, что идти туда — значит идти вперед. Видно, дороги всегда ведут туда, куда стремится человек.

Когда кончится война, дороги повернут во все стороны — на восток, на юг, на север... Теперь же у всех дорог одно направление!

— Мы здесь катаемся, а там фриц черт его знает что вытворяет,— доносится до него голос Солнцева.

— Д-да... Быстрее бы — марш!

— И так отстали. На юге наши уже в Румынии, а мы здесь все топчемся.

Старший лейтенант, повернувшись на голоса, с укором взглянул на Солнцева, на других.

— Не топчемся и не катаемся, а готовимся. Понятно? Готовимся! Вам это хорошо известно. Думайте, что говорите! — И спокойно обратился ко всем: — Ничего, товарищи, ничего! Выдержки больше, надо ждать. Придет время — скажут. Как

даванем их, поганых, — до самой границы без остановки катиться будут!..

— Душа горит, товарищ гвардии старший лейтенант!

— Душа должна подчиняться голове. На то голова человеку и дана.

Лагунович хриплым голосом крикнул: «Кончай перекур!» — и, перебравшись по траве через кювет, быстро пошел к машине.

— Та ты ж сам, Олексей, як тот Солнцев! — сказал Яковенко, шагая рядом.— У тебя же самого душа там, в Минске. Нину свою бачишь все, не дождешься.

— Вижу Нину. Часто вижу, — сознался Алексей. — И не одну ее. Маму вижу. Как там ей одной, старухе!.. Всю Беларусь, кажется, вижу. Глядит вроде и зовет: «Идите, не ждите!» Знаю, браток, ох как знаю, что значит там для людей каждая минута... И болит сердце, не может оно быть равнодушным, подчиняться холодному рассудку, — тихо сказал он и хмуро закончил: — Но что поделаешь: ждать надо!..

Вскоре, когда все собрались возле машин, он говорил Яковенко нарочно строго, озабоченно:

— Товарищ гвардии лейтенант, командир роты убит. Командовать ротой приказываю вам...

Яковенко привычно, с достоинством козырнул:

— Есть командовать ротой...

Лагунович взглянул на Колышева:

— Назначаю вас командиром взвода.

— Есть! — ответил, встрепенувшись, Колышев.

Алексей этим занятиям уделял много внимания. Он уже несколько дней обучал танкистов смежным специальностям, добиваясь того, чтобы каждый мог заменить, если понадобится, своего товарища или командира. Надо, чтобы рота действовала всегда, чтобы никакие потери не выводили ее из строя.

Яковенко скомандовал своим экипажам: «По машинам!» Поднялся на башню, опустился в люк, взглянул, все ли готовы.

5

Приближались к переднему краю. В одном месте машина, идущая впереди, приостановилась, и командующий фронтом видел, как сержанты контрольного пункта, светя карманными фонариками, проверяли документы у офицера связи. Через минуту машина двинулась снова — в темноте поплыла малиновая точка заднего фонаря.

Командующий сидел рядом с шофером и, почти закрыв глаза, о чем-то думал. Сзади него, бессонно глядя в темноту, с напряженным выражением, сидел его порученец Комаров.

На переднем крае время от времени били пушки,— оттуда докатывались все более сильные звуки взрывов. Над небосклоном, очерчивая черные леса и пригорки вдали, вспыхивали, трепеща, белые ракеты.

На перекрестке дорог машины повернули на север и пошли почти вдоль фронта. Теперь взрывы слышались слева.

— Товарищ командующий,— заговорил вдруг порученец, наклоняясь к Черняховскому, — разрешите сказать... Вам надо бы немного отдохнуть.

— Почему отдохнуть? — отозвался не сразу, рассеянно Черняховский.

— Да как же, товарищ командующий, — строго официально, но с заметной ноткой вольности, встречающейся у людей, которых любит начальство, ответил порученец,— целый месяц вы все ездите по фронту, то в одну дивизию, то в другую, в дождь и ночью не знаете отдыха...

— Должность такая, Леша!

— При вашей должности можно было бы и не ездить! У вас же теперь столько помощников. Любому прикажите — сделают все как положено.

Генерал-полковник промолчал. Чувствуя, что от него ждут ответа, он неохотно произнес:

— Давно мы, Леша, вместе, а ты такие вещи говоришь!..

Командующий, которому уже надоело ехать, спешил быстрее добраться до дивизии.

По его расчету, они приближались к тому месту, где их должен встретить командир дивизии. Черняховский звонил комдиву из штаба армии, откуда он ехал и откуда договорился о месте встречи. Черняховский теперь невольно вспомнил, как командарм, который при разговоре по телефону стоял рядом с ним, попросил было разрешения ехать с ним; Черняховский не дал согласия, зная, что у командарма есть срочные дела.

«Это и лучше — без «свиты»...»

У въезда в деревню, крайние хаты которой выхватил из тьмы свет фар, передняя машина снова остановилась, и к машине Черняховского подошли два человека.

— Кто? — строго спросил, выскочив из машины, Комаров.

— Генерал-майор Щербатюк. Командующий здесь?

— Да. Я командующий,— ответил Черняховский и, поздоровавшись, сразу приказал: — Садитесь, товарищ генерал...

— Есть... Разрешите, товарищ командующий, спросить — в вашу машину?

— Да, в мою.

Генерал-майор, сказав пришедшему с ним человеку, чтобы тот ехал впереди, неловко забрался в машину. Комаров сел возле него.

Чем ближе подъезжали к дивизии, тем явственнее чувствовался передний край. Были слышны не только тугие, сильные выстрелы орудий, но и частая, резкая стрельба из пулеметов. Черняховский с интересом прислушивался: он любил боевое оживление.

— Бой идет? — повернул он голову в сторону Щербатюка.

— Закончили, товарищ генерал, только что. . . Видно, немцы еще не могут успокоиться. . .

— Значит, закрепились?

— Так точно, закрепились.

О бое Черняховский узнал в штабе армии; это была небольшая, но, сказали ему, упорная схватка. Два батальона дивизии Щербатюка отвоевывали клочок земли, за которым простирался вдаль большой болотный простор. Немцы упорно цеплялись за этот клочок, как за удобный плацдарм,— это была уже не первая попытка выбить их.

— Обнаружили новые огневые точки?

Щербатюк ответил, что на правом фланге артиллеристы засекли три новые артбатареи. Говорил он медленно и спокойно, ровным глуховатым голосом, с таким «о», которое можно услышать у украинцев или у волжан.

— Не заметили, усиливает здесь противник оборону?

— Нет, по нашим разведданным, товарищ командующий, было спокойно — до сегодняшнего дня.

— Организуйте, товарищ генерал, поиск и вытащите оттуда «языка». Я хочу знать, что происходит на болотах перед вами. . .

— Есть, товарищ командующий. Сделаю.

Остальное время молчали, пока не въехали в деревню.

— Штаб дивизии, товарищ командующий,— сказал Щербатюк, когда машина резко замедлила ход.

Черняховский вышел из машины, разогнул уставшую от езды спину, услыхал, как стучит где-то вблизи двигатель рации. Неожиданно для комдива попросил:

— Позвоните, генерал, в батальон, пусть соберут офицеров... В штаб я заеду потом... Кстати, в батальон пока не сообщайте, что буду я.

Когда Щербатюк ушел, Черняховский осмотрелся. С первого взгляда деревня казалась молчаливой и тихой, но, окинув взглядом хаты, хлева, остовы печей, мрачно черневшие вокруг, он привычно отметил проявления неугомонной жизни. Во дворе рядом со штабом несколько солдат что-то выгружали из грузовика. На другой стороне улицы, у забора, стояли две упряжки с пушками, которые то ли только что остановились, то ли собирались вот-вот двинуться в путь.

Щербатюк скоро вернулся. Когда он подошел, не спеша,

грузно, Черняховский спросил, сколько будет отсюда до батальона и можно ли проехать...

— Так точно, проехать можно, товарищ командующий, километра два с половиной...

— Едем.

Комаров ловко нырнул в машину. Хотя порученец ничем не показывал этого, он в душе осудил намерение командующего ехать на передний край. Правда, такой поворот дела не застал врасплох Комарова, который сопровождал Черняховского и тогда, когда тот был мало кому известным полковником, и позже, когда стал генералом. Комаров не мог согласиться с тем, что Черняховский и теперь, будучи командующим, как бы не понимая перемены в положении, придерживается прежней привычки.

«Очень ему надо ходить под самыми пулями!»

Что-то подобное чувствовал и Щербатюк, считавший, что командующему не обязательно надо ехать туда, но комдив не столько одобрил или осудил это, сколько отметил про себя: Щербатюк пока присматривался к Черняховскому, изучал.

«Он, кажется, в глубокие пласты любит забираться», — подумал Щербатюк о командующем.

Проехав поле и лесок, вышли из машин и дальше двинулись пешком. Впереди возник, стремительно приближаясь, знакомый въедливый свист, оглушающе ударил очень близкий взрыв, выплеснул над сплетением кустов огонь. Комаров, следовавший до этого за Щербатюком, обогнал его и командующего и присоединился к двигавшимся впереди автоматчикам и разведчику.

Черняховский шел быстро, и коротконогому Щербатюку приходилось поторапливаться, чтобы не задерживать его.

Тропинка бежала через редкий кустарник, среди которого кое-где в движущемся свете ракет смутно белели молодые березки. Хотя под ногами был твердый грунт, пахло сыростью — наверное, из недалекого болота.

Автоматчик и Комаров вдруг остановились, встретив группку идущих навстречу солдат.

— Закурить есть, землячки? — спросил один из солдат.

— А вы кто? — послышался голос Комарова.

— Кто? Свои, ясно... Удостоверение показать? Вот оно — завернутое в марлю: немец выписал сегодня.

— Из полка Сибиряка?

— Так точно! Так как — дымнуть есть?

— Есть,— ответил Черняховский, подходя ближе к солдатам.— Ну, как там?

— Да так. Хреново, — вдруг просто отрезал боец. — С островка лупит из орудий, как бреет. Мин везде натыкал.

— Крепко засел?

— Крепко...

— Но все-таки поддается?

— Поддается. Выколупали же сегодня! Да это что, так — маленькая потасовка.

— Ну, а когда начнется, скажем, большая?

— Любопытный ты: а что, а когда? .. Ну, что может быть — то же самое! .. Только,— голос задумчиво притих,— много, наверное, крови нашей прольется...

Солдат здоровой рукой взял протянутую папиросу, немного удивился:

— Папироса? Ну что ж, папироса так папироса, папиросы мы тоже умеем курить. К тому же крутить сам одной еще не наловчился... А огонь у нас свой.

Он весело щелкнул зажигалкой:

— Прикуривай, землячок!

Рука протянула зажигалку, но на миг так и осталась неподвижной, будто онемела. На плечах незнакомца, наклонившегося прикурить, отблеск недалекой ракеты осветил генеральские погоны с тремя звездочками!

Солдат вдруг торопливо отдернул зажигалку, дунул на нее и, выпрямившись, козырнув здоровой рукой, смущенно, громко выпалил:

— Извините, товарищ... армии генерал.

— За что же извинить? За откровенность?

Черняховский только дружески посоветовал лучше изучить в госпитале офицерские и генеральские знаки, чтобы не путать.

Вскоре по неглубокому ходу сообщения Черняховский и Щербатюк подошли к командному пункту батальона.

— Пригнитесь,— сказал вышедший навстречу военный,— можно удариться головой.

Перед Черняховским раздвинули палатку, и он очутился в блиндаже, освещенном огоньком из закопченной гильзы от снаряда. Здесь собралось уже с десяток офицеров, которые сразу, как только он вошел, встали, а широкоплечий рослый капитан, с забинтованной, будто в чалме, головой, попросив у генерал-полковника разрешения обратиться к командиру дивизии, доложил, что офицеры по его приказанию собрались. Потолок блиндажа был низковат для капитана, он стоял несколько сгибаясь, склонив голову.

— Докладывает командир батальона капитан Павловский,— отрекомендовался он.

Вслед за этим Щербатюк повернулся к командующему. У Щербатюка было розоватое молодое лицо с крутым лбом и крупными чертами. Он был невысоким, грузным для своих лет; во всей его фигуре чувствовалось здоровье, спокойствие и что-то очень доброе, не совсем военное, отцовское; это выра-

жалось в его поведении, его манере держать себя. «Он больше похож на добродушного учителя начальной школы, чем на шахтера»,— подумал Черняховский, уже знавший, что комдив из шахтерского племени.

Выслушав его доклад, Черняховский, чувствуя на себе любопытные, настороженные взгляды, поздоровался и стал знакомиться с офицерами.

Один из них, назвавший себя младшим лейтенантом Проворным, жилистый и смуглолицый, сказал, что прежде служил в армии Черняховского.

Генерал-полковник, глаза которого мягко засияли под козырьком фуражки, спросил, в какой части был Проворный и кем служил.

— В Белгородской гвардейской, товарищ генерал-полковник... Старшиной был.

— В Белгородской? Выходит, старые знакомые... Долго вы там были?

— До Днепра, товарищ генерал.

— Были на плацдарме?

— Так точно. С первой группой.

— Значит, военная школа у вас должна быть неплохая. Там наши бойцы и офицеры сражались геройски. Крепко сражались... А как сюда попали?

— На правом берегу меня ранило. Потом, известно, в госпитале пришлось отлеживаться... А оттуда — прямой дорогой сюда...

— Что ж, выходит, снова будем вместе... — Черняховский невольно отметил, как заинтересовал всех этот разговор, эта встреча.— Вместе Украину освобождали и в Белоруссию вместе пойдем...

Познакомившись со всеми, командующий разрешил сесть, сел сам возле накрытого газетой стола.

— Крепко вцепились немцы?

— Крепко. Но мы задачу выполнили, товарищ командующий... — ответил комбат так, как, по его мнению, и следовало.

Щербатюку ответ его, было заметно, понравился.

— Потери большие?

Павловский сказал, что в батальоне убито и ранено около трети людей. Потери были, считал Черняховский, для такого боя очень велики.

— Всех раненых эвакуировали?

— Так точно, товарищ генерал. Недавно отправили последнюю группу легкораненых.

— Вы уверены, что нет где-нибудь неподобранных?

— Я послал, товарищ генерал, еще группу солдат обыскать поле и кусты...

Черняховский стал расспрашивать о ходе боя, вызывая то одного офицера, то другого. Командиры, хотя и были возбуждены схваткой и хотя Черняховский держался просто, на равных, все же заметно было, не давали воли своей откровенности. Отвечали коротко, осторожно, стремились обойти все, что могло бы бросить малейшую тень на батальон или не понравиться комдиву.

Черняховский понимал причину этой осторожности: обычное стремление выглядеть перед начальством получше. Кроме сознания, что начальство это — командующий фронтом, генерал-полковник, мешало заметно и то, что с командующим и непосредственный начальник, командир дивизии.

Но Черняховскому нужен был откровенный, правдивый рассказ. Ради этого он и приехал сюда.

— Я замечаю, товарищи офицеры,— подняв голову и окинув неласковым взглядом командиров, произнес Черняховский,— что у вас не хватает мужества. Мужества открыто говорить правду...

Он сказал это так резко и прямо, что в блиндаже наступила напряженная тишина.

— Разрешите мне, товарищ командующий...

Щербатюк заметил, что при этих словах все, кто был в блиндаже, повернулись к нему, ожидая; он встретился с вопросительным взглядом командующего. Еще минуту назад комдив готов был ревниво, как хозяин, переживать по поводу любого пятна, замеченного командующим в дивизии, а теперь загорелся желанием говорить сам. Упрек в недостатке мужества у его офицеров был для него хуже любого замечания.

— Ошибки были,— решительно начал генерал-майор.— Мы допустили и ряд просчетов... Начну сначала — артиллерийская подготовка боя оказалась недостаточной, можно сказать — слабой. Не все цели были обнаружены, а обнаруженные не всегда хорошо пристреляны...

Он говорил, как и в машине, неторопливо, будто раздумывая, но с такой убежденностью, которая заставляла верить ему, внимательно следить за его мыслью. Слова у него не лились, а шли тяжело, и это придавало им больший вес.

— Атака началась с опозданием и была плохо организована,— продолжал Щербатюк, невольно взглянув на комбата. Павловский под этим взглядом беспокойно пошевелился, глухо кашлянул.

— Интересно все же, что думают офицеры? — выслушав командира дивизии, с любопытством прошел взглядом по лицам Черняховский.

— Что и говорить — учиться нам еще надо. Многому учиться,— порывисто отозвался Проворный, сидевший напротив командующего.— Просчетов, недосмотров у нас немало.

Он торопливо, волнуясь, начал рассказывать о неполадках у саперов: «Товарищ генерал-майор правильно сказал, что атака запоздала. А по чьей вине?.. Саперы задержали!..»

Теперь пошел откровенный, строгий разговор.

Черняховский, видя, как все изменилось после выступления комдива, подумал о Щербатюке: «Да, ты явно из тех, кто не любит сор из избы выносить. Хозяин... Не загляни к тебе, ты о многом сам не скажешь...»

Он попросил Павловского доложить об оборонительных укреплениях противника.

— У противника здесь, товарищ генерал,— встал плечистый, высокий комбат,— основные рубежи обороны проходят по болоту. Главная точка здесь — сильный опорный пункт, созданный на островке...

Черняховский приказал развернуть карту, и, когда Павловский разостлал ее на столе, командующий стал рассматривать занимаемый батальоном участок.

— Значит, заболоченный район укреплен слабее?

— Слабее, товарищ генерал.

— Известно — болото,— отозвался кто-то из угла.— И окопы и гнезда затягивает трясиной.

— Самый вред от опорных пунктов.

Черняховский помолчал, постучал пальцами по столу.

— Широкий болотный массив — как этот, что перед вами,— уже сам по себе серьезное естественное препятствие. Противник это знает и надеется на это. Он уверен, что здесь ни танков не продвинуть, ни артиллерию...

— Разрешите, товарищ генерал!.. Артиллерию легкую, товарищ генерал, по-моему, можно. Подостлать, где надо, олешник— и можно.

— Там есть, товарищ командующий, несколько насыпей узкоколеек. На запад идут, до конца болот...

Черняховского это сообщение весьма заинтересовало.

— Они хорошо сохранились?

— Хорошо, товарищ генерал. В порядке они. Насыпи как насыпи. Если до них добраться, могут пройти и танки...

— Вы в этом уверены?

— Уверены, товарищ генерал! Пройдут! — ответило сразу несколько голосов.

Черняховскому уже говорили об этих насыпях в штабе армии, но он сейчас слушал о них с большим вниманием. Здесь ведь были самые верные сведения — сведения очевидцев.

Он не мог сказать, что, изучая линию фронта, уже вторую неделю присматривается к этому огромному болоту, которое разлеглось вдоль переднего края и в глубь обороны врага не на один десяток километров, присматривается, думает упорно и неотступно:

«Можно ли здесь?»

Еще ни одна армия не прорывала оборону на таком огромном болотном просторе. Немцы уверены, что большую операцию современная армия на этом болоте развернуть не сможет.

Да, наступать здесь будет нечеловечески тяжело. Но перешеек к югу, где среди болот идет магистраль, весь начинен минами, фугасами, ощерился орудиями и дотами. Где можно больше рассчитывать на успех?

Когда Черняховский попрощался и направился к выходу, за ним вышли Щербатюк, Комаров, все офицеры.

Черняховский взглянул в сторону запада и остановился. Молча смотрел на заболоченный кустарник, слабо освещенный далеким заревом.

Смотрел, будто хотел разгадать загадку, что там скрывается, будто ожидал ответа на вопрос, беспокоивший его все эти дни: «Можно ли здесь?» Стоявшие возле него офицеры тоже молчали.

— Задержались мы, товарищи, — тихо сказал Черняховский, словно в раздумье, не сводя глаз с болота.

В голосе командующего послышалась сильная озабоченность и беспокойство. Многие в этих словах почувствовали будто укор себе.

— Отстали от Украинских фронтов. Очень отстали.

— Заждались, видно, белорусы,— отозвался один из офицеров.

— Трудно будет сдвинуть его с места,— сказал другой.— Везде доты, дзоты.

— Артиллерии побольше бы, товарищ командующий, да «катюш». Чтобы достать их за бетоном. У них везде — бетон.

Черняховский ответил:

— Да, бетона у них много... Прочно засели за бетоном... Крепко вцепились...

Он возвращался в настроении хорошей удовлетворенности, в том настроении, которое обычно возникало, когда он сам надежно выяснял то, что его беспокоило. Он почувствовал, что часть, в которую он приехал, — здоровая, что ей можно, подучив, доверить ответственную задачу. За какие-то полмесяца он таким образом познакомился уже с большинством полков и дивизий, со многими генералами, офицерами, солдатами.

Когда командующий и Щербатюк возвращались в штаб дивизии, было по-прежнему темно. В стороне переднего края вспыхивали ракеты, и здесь двигались бледные, беспокойные отблески.

Черняховский вдруг спросил:

— Много траншей выкопали?

Командир дивизии ответил.

— Мало,— недовольно бросил командующий.— Вы, навер-

ное, считаете это ненужным? Думаете, собираемся наступать, а нам приказывают без конца копать!..

Генерал-полковник угадал мысли комдива. Траншей было выкопано и без того много, а из штаба армии требовали копать еще. Люди то воевали, то вынуждены были становиться землекопами.

— Мы должны все время доказывать врагу, что готовимся к обороне...

— Я понимаю это, но людей жаль, товарищ генерал.

Командующий посоветовал неласково:

— Жалейте тогда, когда это надо. Чтобы ваша доброта не была во вред делу...

Обследовав за сутки две дивизии на переднем крае, Черняховский решил заехать перед рассветом в штаб армии.

В успокоительной, дремотной темноте его машина подъезжала к перекрестку дорог, от которого было близко до штаба.

Неожиданно мирный гул мотора вездехода заглушил, придавил зловещий вой близкого чужого самолета. Не успел Черняховский что-либо понять, как тьма вблизи разорвалась, кроваво сверкнула тугим скрежещущим огнем.

Машина остановилась так резко, что, казалось, наскочила на невидимую стену. Командующего бросило к ветровому стеклу. Взрыв!

Один, другой, третий, пятый...

Когда выскочили из машины, самолет гудел уже далеко. Черняховский оглянулся — одна воронка была близко впереди, совсем рядом, каких-нибудь десятка два метров!

— Товарищ командующий, не зацепило? — выдохнул встревоженный Комаров.

— Нет... Узнай, что с генералом Макаровым и другими!

Но Макаров, член Военного Совета, а следом за ним и командующий армией, которые со вчерашнего дня сопровождали Черняховского, подбежали сами. Ни они, ни кто-либо другой из их машин не были ранены.

— Восемь бомб сыпанул, гад! — понемногу успокаиваясь, сказал Комаров.— Ну, товарищ генерал-полковник, повезло нам...

Командующий спросил у шофера, исправен ли мотор. Мотор работал.

— Ну, тогда... — Черняховский собрался было уже сесть в машину, но остановился: — Черт побери, что-то глаза режет... Песок, что ли... Комаров, посвети.

Макаров увидел: белок одного почти закрытого глаза, веко которого дрожало, покраснел до крови; на левой брови кровоточила царапина.

— Э, да вас, Иван Данилович, все же задело!

— Это, наверно, от ветрового стекла. Разбило его... Я сейчас йода достану, товарищ командующий.— Порученец бросился в машину.

Член Военного Совета, приблизив свое добродушное, сочувственное — чем-то похожее сейчас на женское — лицо, залил царапину йодом и предложил заехать в санбат.

— Здесь близко... — отозвался командарм, молча стоящий рядом.

— Пройдет!.. Без санбата!..

— Иван Данилович, это же глаз! — возразил член Военного Совета.

Комаров посмотрел на Черняховского с упреком — как он невнимателен к себе!

— Товарищ командующий, мы не задержимся, полчаса, не больше,— сказал командарм, и Черняховский, хоть и неохотно, согласился ехать.

Санбат, оказалось, был в соседней деревне.

Врач, вызванный из квартиры, заспанный, удивительно суетливый, осмотрев глаза, сказал, что первую помощь он может оказать, но позже потребуется консилиум специалистов.

— Могут быть неприятности, товарищ генерал-полковник.

— Ну вот, вам только попадись в руки.— Командующий нетерпеливо повернулся на кресле, обвёл взглядом врачей и сестер, собравшихся вокруг.— Надеюсь, товарищ майор, это быстро — первая помощь?

— Да, быстро... Сейчас сделаем, товарищ генерал-полковник,— заторопился врач.

Комаров, с суровым видом стоявший немного в стороне, позади члена Военного Совета, невольно вздохнул: хоть бы все обошлось.

На рассвете Черняховский был уже в штабе армии. Когда машины остановились перед домом командарма, рассвело так, что стали хорошо видны хаты до конца села и даже две шестовки, тянувшиеся сбоку от улицы, и за хатами — серое, пока одноцветное поле.

Командарм, суховатый, пожилой человек, войдя за Черняховским в комнату, спросил:

— Товарищ командующий, может, отдохнете?.. Я прикажу приготовить постель.

— Спасибо. Отдыхать не буду. Надо ехать домой...

Комаров, оставшийся в первой комнате, видел, что почти сразу же вслед за Черняховским в соседнюю, большую комнату командующего армией зашли Макаров, член Военного Совета армии и начальник штаба. Опытным взглядом порученец заметил, что и здесь уже появились те озабоченность и деловая

сосредоточенность, которые он не раз наблюдал в поездках с командующим.

Вскоре вошел плотный, представительный, еще несколько сонный полковник из штаба армии, которого Комаров уже однажды видел, но не знал ни фамилии его, ни должности.

— Командующий здесь? — Полковник с деловым видом взглянул на Комарова. Взглянул спокойно, с будничной сосредоточенностью. Порученец ответил, что здесь, и полковник привычно подтянулся, осмотрел себя, будто собираясь войти. Но не вошел, задержался словно в раздумье,— спросил вдруг иначе, дружески, с тем приятельским почтением, которое уже давно не удивляло порученца:

— Как у него настроение, Алексей Иванович?

— Настроение? У него всегда, товарищ полковник, одинаковое настроение.

— Ну, все-таки... хмурится или шутит?..

— Серьезный...

Полковник опять оглядел себя.

— Серьезный, говоришь... Д-да... Зачем-то вызвал вот на доклад... Не знаешь?

— Не знаю.

Полковник переложил папку из руки в руку, направился в комнату командарма.

«Зачем приехал? Конечно, не для разговоров!.. Что-то он сегодня особо серьезен. Кому-то нагорит, наверно».

Сегодня командующий больше всего интересовался разведкой. Как только полковник — это был начальник разведотдела — вошел, Черняховский начал обстоятельно расспрашивать о работе разведки. Как организована служба в штабе армии, в дивизиях, в полках.

Генералы, кто сидя за столом, кто стоя, молча следили за Черняховским, он то шагал, то останавливался, задавал вопросы и слушал полковника. Командующий армией, генерал-лейтенант со спокойным лицом и усталыми, умными глазами, стоял, прислонившись к косяку окна, заслоняя плечом угол висевшей рядом карты.

Командующий армией с любопытством наблюдал за Черняховским. Сначала, когда генерал узнал, что возглавить фронт назначен такой молодой человек, еще недавно командовавший лишь дивизией, он и почувствовал недоумение, и подумал, что «этому юноше» неизвестно почему необычно везет. Но Черняховский в первый же приезд заставил забыть о своей молодости: он с такой уверенностью держался, так знал дело, что подчинял себе.

«Удачи сделали его, кажется, слишком самоуверенным,— подумал командарм, следя за командующим. — Молниеносный взлет редко обходится без того, чтобы человек не перестал

смотреть под ноги. Такие резкие перемены выдерживает только крепкий организм и трезвая голова...»

«Но в нем есть какая-то удивительная сила, умение подчинять... И сколько энергии... — Проездив с ним сутки, командарм почувствовал себя вконец измученным. — А ему — хоть бы что...»

Черняховский был недоволен: разведчики в некоторых дивизиях не изучали должным образом противника, использовали приблизительные данные, без достаточной тщательности готовились к операции.

— Почему сорвался поиск в 1127-м стрелковом полку, товарищ полковник?

Черняховский шагнул к окну, посмотрел на улицу, по которой шагало несколько солдат под командой старшины,— видимо, на смену караула, — быстро повернулся к начальнику разведки.

— Разведка наткнулась, товарищ генерал, на два пулеметных гнезда.

«И об этом знает»,— невольно подумал командующий армией, удивляясь, что Черняховский знает о неудаче разведчиков полка. Среди многих больших дел он запомнил и этот малозаметный случай.

— Почему она могла наткнуться? — Черняховский ходил у окна: три-четыре шага в одну сторону, столько же в другую.

— Там не было раньше гнезд, товарищ генерал.

— Это не ответ разведчика.

— Разведка не обнаружила их своевременно...

— Почему?

Полковник пошевелил короткими пальцами, как бы в поисках ответа.

— Не знаете?.. Так я вам скажу — она шла вслепую. Будто не на операцию, а на — прогулку! — Он остановил шаг, в напряженной тишине четко, убежденно подытожил: — Поиск сорвался потому, что у вас в разведке кое-кто забыл об ответственности за дело. Вот почему, собираясь в поиск, не разведали как следует систему обороны, не подготовили бойцов. Командиры небрежно отнеслись к операции. Из-за лени и халатности задача не была выполнена, а три человека расплатились жизнью.

Черняховский говорил внешне сдержанно, но в его словах чувствовался обличающий, гневный укор.

— Виноват, товарищ генерал...

Черняховский не отозвался на обещание исправить дела, звучавшее в голосе полковника.

Тем же сдержанным, гневным тоном он отметил недостатки в работе разведки армии в целом.

Завершая этот разговор, Черняховский сделал несколько шагов у окна и, круто повернувшись, глядя в глаза разведчику, сказал:

— Плохо работаете, товарищ полковник. Вам доверили важнейшее дело — разведку, судьбу тысяч людей, а вы, видно, не цените этого. Без огонька, с прохладцей работаете.

— Разведчику это непростительно, — поддержал его член Военного Совета фронта.

Другие генералы молчали. Вместе с командующим армией они относили упреки командующего фронтом и к себе: казалось, что Черняховский говорит и о них.

Шагая сосредоточенно, Черняховский с жестким выражением задумался. Видно, решал, как быть с полковником. Выражение лица не обещало ничего доброго.

— Вы — член партии? — спросил полковника Макаров.

— Так точно, товарищ генерал. Член партии.

— Билет носите, а работаете не по-партийному.

— Виноват, товарищ генерал. Учту это...

Начальник разведки с надеждой смотрел на члена Военного Совета фронта. Со страстью человека, понимающего всю опасность момента для своей судьбы, заявил:

— Больше этого не повторится, товарищ генерал!

Черняховский внимательно, испытующе вгляделся в полковника.

— Обещаете? — произнес он тоном, в котором еще чувствовалась прежняя резкость. Выслушав заверения полковника, что работа разведки будет решительно подтянута, Черняховский дал несколько указаний, предупредил: — С вас будем требовать особенно много. Учтите...

— Я сдержу свое слово, товарищ генерал.

— Посмотрим... Можете идти...

Заметно обрадованный тем, что все кончилось так благополучно, выражая всем своим видом желание немедленно взяться за дело с полной отдачей, полковник стремительно вышел.

Черняховский остановился в раздумье, потом шагнул к столу, бросил на ходу:

— Прошу ближе...

Он сел рядом с генералом Макаровым, взглянул на начальника штаба армии:

— Как обстоят дела с доукомплектованием частей?

Генерал хотел встать, но Черняховский предупредил его:

— Можете сидеть...

Генерал сказал, что части, в целом, пополняются согласно с графиком. Но есть и факты отставания от графика. Надев очки и вынув из портфеля лист бумаги, он сообщил, сколько и в какие части направлено солдат, сержантов, офицеров,

— В каких частях и какой еще недокомплект?

Черняховский вынул из кармана карандаш, но писать не стал, сведя черные дуги бровей, внимательно, сосредоточенно слушал. Дослушав до конца сообщения, Черняховский, без каких-либо замечаний или рассуждений, снова бросил:

— Каков общий недокомплект младших командиров?

Он на все требовал ответа: сколько сержантов подготовлено непосредственно в армии, сколько офицеров?

— Мне докладывали,— вспомнил Черняховский,— вы не реализовали последних нарядов на боеприпасы.

— Да, товарищ командующий. Машин не хватает. «Разутых» много.

— Получим — дадим и вам. Не обойдем! Но и до тех пор — не отставайте! Мобилизуйте весь транспорт и — запасайтесь!

— Есть.

— Это ясно,— заключил он, стукнув торцом карандаша по столу, будто поставил точку.— Теперь, пожалуйста, доложите, как части учатся?

— О дивизиях,— генерал Макаров назвал фамилии командиров, — можете не говорить...

Теперь отвечал командующий армией.

— Основное внимание мы обратили,— глухо, с хрипотцой заговорил он, — на комплектование и сколачивание подразделений. На боевую выучку... Во всех дивизиях были проведены занятия с командирами полков, батальонов и штабными работниками...

Командующий армией последовательно разворачивал картину большой учебы, идущей в полках и в дивизиях, у солдат и у генералов, на переднем крае и в резервных частях.

— Одно важное замечание,— сказал Черняховский,— надо больше учить взаимодействию. Особенно с танками, с мехчастями... Наша будущая операция — это я теперь могу сказать вам,— командующий фронтом окинул взглядом генералов, сидящих напротив,— операция, в которой будут действовать крупные танковые силы...

Черняховский начал говорить о своих впечатлениях об армии. Он сразу, прямо сказал, что армия, по его мнению, пока еще неудовлетворительно готовится к наступлению.

— У меня сложилось впечатление, что в армии многие еще работают по принципу: успеется. Такое положение нельзя дальше терпеть. У нас времени на подготовку — в обрез. Надо работать — это следует всем хорошо усвоить — с предельным напряжением всех сил, всех возможностей.

Командующий армией невольно снова подумал с завистью: «Мне бы столько силы, столько энергии, как у него...» Он раскрыл блокнот, чтобы записать распоряжения и замечания Черняховского.

«Подтянуть разведку»,— вывел он аккуратно и быстро, вспомнив разговор Черняховского с полковником, потом добавил ниже: «доукомплектовать части», «боеприпасы — артиллерия», «взаимодействие с танками»; заложив листок карандашом, прикрыл блокнот и стал слушать, склонив голову, глядя возбужденными, умными глазами на Черняховского.

— Я должен сказать, что в армии не все ладно с маскировкой подготовительных работ, дезинформацией противника. Тот факт, что готовится большое наступление, уже сам по себе предъявляет особые требования к маскировке и дезинформации противника. Нашу задачу в данном случае осложняет, конечно, отлично известное немцам обстоятельство. Немцы, безусловно, прекрасно понимают: мы не примиримся с таким отставанием нашей линии фронта здесь. Само выдвижение линии фронта в нашу сторону как бы подсказывает немцам, что здесь надо быть настороже. Несомненно, они понимают и то, что мы не упустим тех возможностей, какие дает лето. Им остается лишь гадать, где, когда и какими силами мы начнем. К счастью, полоса фронтов достаточно широка, и их внимание вынуждено рассеиваться по многим направлениям. К тому же их, по-видимому, должно тревожить наше глубокое вклинение у основания белорусского выступа. В районе Ковеля — Мозыря...— Изложив эти свои соображения, Черняховский начал высказывать требования, которые армия должна непременно выполнять: — Необходимо все делать для того, чтобы скрыть наращиванье нами сил у переднего края. Требую самой тщательной маскировки прибытия новых частей. Все новые части передвигать только в ночное время. Запрещаю в новых частях переговоры по рациям. Прошу продумать и подготовить меры использования радио в целях дезинформации противника. Ваши соображения на этот счет представьте мне лично для утверждения. Прошу, как и прежде, старательно укреплять оборонительные рубежи. Вдалбливать в головы немцев мысль, что нам предстоит стоять на месте. Долго стоять...

Он дал еще несколько указаний. Лист блокнота командарма вскоре был заполнен, и генерал перевернул его.

Но Черняховский вдруг повернулся к члену Военного Совета фронта, улыбчиво спросил:

— Как вы, Василий Емельянович, настроены — здесь позавтракаем?

— Если хозяева пригласят, то я не возражаю...

— Мы — народ гостеприимный,— шутливо, как радушный хозяин, развел руки командующий армией.

Черняховский легко, с удовольствием встал: дело сделано. С Макаровым, командующим армией и другими генералами направился в соседнюю хату. Здесь, в чистой деревенской

комнате, в которой хозяйничали военные, генералы сели за стол.

— Комарова, порученца моего, не забыли? — обратился Черняховский к подававшему борщ молодому парню в белой куртке, еле сходящейся на нем.

— Не забыли, товарищ командующий. Им приготовили в соседней комнате...

— И автоматчиков не обойдите.

— Никого не обидим, товарищ генерал.

Член Военного Совета Макаров, размешивая ложечкой кофе, спросил у начальника штаба, недавно побывавшего в семье, в Свердловске, как поживают жена и дети.

Генералы с интересом слушали. Увлеченный воспоминаниями о семье, генерал, растроганный и смущенный, достал из бумажника несколько фотографий семьи: сыновей, жены.

— На днях говорил по телефону с сыном, — поддержал общий разговор Черняховский.— На фронт, ко мне просится. Помогать обещает. Не видели моего помощника?

Он вынул из кармана кителя фотокарточку, на которой были сняты чернобровая и черноглазая, как отец, дочь и русый, похожий на мать, сын. Сын, с нежным лицом, с аккуратной челкой, был одет в военную форму с портупеей.

— Вот он, помощник...

Командующий не без гордости наблюдал, как генералы по очереди рассматривают фотоснимок. Скрывая удовлетворение, неравнодушно слушал добрые слова о детях.

Когда встали из-за стола, командующий армией посочувствовал:

— Как глаз?.. Близко прошла черная старуха...

Черняховский, уйдя в какие-то далекие мысли, отозвался не сразу:

— Пошаливает, старая...

— Негодяйка не обращает внимания ни на возраст, ни на звания...

— Да, неразборчива старуха...

Генералы направились во двор. Вслед за ними, ловко оправив китель, с видом строгим и деловым, поспешил Комаров.

Машины командующего и Макарова стояли возле разломанного забора под старым, с ободранным стволом вязом.

Здесь, возле своей машины, Черняховский стал прощаться. Подав руку остающимся, озабоченный чем-то иным, ожидающим впереди, сел рядом с шофером. Комаров закрыл дверцы, юркнул на заднее сиденье, где уже был автоматчик.

Черняховский приказал:

— В штаб фронта!

ГЛАВА II

1

Вскоре после того, как гитлеровские части прекратили блокаду, бригада Ермакова возвратилась на прежнее место.

Последние две недели жизнь в бригаде Ермакова была тревожной: несколько раз завязывались трудные бои с карателями. Чтоб избежать петли, которую стремились набросить каратели, бригада вынуждена была все время двигаться. На ходу, как могли, старались подлечить раны, пополнить поредевшие ряды новыми людьми.

Печально встречали партизан родные края. В каждой деревне, в которую можно было зайти, чернели пепелища. Пусто было на улицах. Ветер гнал пепел, осыпал им траву. Все, с кем виделись, горестно вспоминали убитых, зверские расправы карателей, пожары.

Во многих деревнях, где недавно была партизанская зона, хозяйничали немецкие управы, полицаи. Люди жили в страхе и тревоге.

Едва возвратились и немного устроились с дороги, ермаковцы стали «расчищать землю».

Ежедневно, под вечер, уходили на операции. Шли разведчики в дальние деревни, отправлялись ударные группы громить небольшие гарнизоны. Ермаков обычно сам проверял, как они подготовились, давал им советы.

Изгнав полицаев из нескольких деревень вблизи, Ермаков решил ударить по одному из отдаленных гарнизонов, расположенных в деревне Селютичи.

Для решения этой задачи комбриг создал группу, основу которой составила рота Дрозда. Дрозду Ермаков поручил и командование группой и исполнение задачи.

Вместе со своим взводом на задание отправлялся в этот день и Василь Крайко.

Помощником у Василя трудился словак Лехора, рослый, худощавый и старательный парень, одетый в гимнастерку, заправленную в коричневые суконные штаны, которые он любил носить с напуском на сапоги.

Он пришел в бригаду около года назад, сбежав из охранного немецкого батальона, куда его насильно мобилизовали в Словакии. Перед тем как прийти в бригаду, Лехора пребывал в Селютичах, оттуда его и привела в лес девушка-связная.

— Иду домой! — пошутил словак.— Жива ли там Ганка? Чувствовалось, что он очень беспокоился о ней.

Василь в этот день был взволнован. На то имелись важные причины: комиссар сказал, что завтра будут принимать

Василя в партию, просил, чтобы к началу собрания Василь постарался возвратиться в отряд.

Василю хотелось в эту ночь сделать что-нибудь необычное. Оглядываясь назад, Василь честно и с беспокойством видел, что в его жизни мало было таких поступков, на которые можно было бы надежно указать в предстоящем, праздничном испытании.

Конечно, хлебнул он немало. И мать расстреляли изверги прямо на глазах, и самому за колючей немецкой проволокой посидеть пришлось. Но геройства в этом, каждому понятно, никакого, хотя потом он и пролез под оградой, убежал из лагеря; тут не только геройства нет, а как бы даже пятно — будто в плену был. И хотя убежал потом и винтовку у пьяного полицая украл, хвалиться, ясно, нечем. А как попал в партизаны, так просто смех один — наткнулся, когда скитался по лесу, на ребят и даже хотел отстреливаться! Схватили, обезоружили — лучше не вспоминать! Конечно, он не знал, что — партизаны, и все же о таком лучше молчать!..

Да и вообще все у него еще так неясно. Он все думает, что будет делать, когда война кончится, и — ничего определенного. Никак не выберет что-то одно — и то привлекает, и другое. Когда-то рвался поехать в Арктику, позже, во время войны, после того как погиб отец, думал, когда пройдет лихолетье, когда снова возвратится мирная жизнь, вернуться домой, со временем встать на место отца, в МТС. А теперь решил — будет изобретателем.

Нет, это уж твердо, он станет изобретателем. Хорошо — искать, искать, ломать голову и, наконец, добиться, дойти до своего. Выдумать какую-нибудь такую машину, которая могла бы незаметно, неслышно подходить к вражеским дотам и бить в упор. А ее чтоб ничто не могло разбить...

До Селютич группа добралась только к полуночи.

В редком кустарнике Дрозд остановил бойцов, решив еще раз предварительно разведать деревню. С этой целью он послал вперед быстрого и осторожного Лехору с двумя ребятами. Там, в одной из крайних хат, и жила знакомая словака Ганка, связная, от которой, на его взгляд, можно было узнать обо всем, что им надо.

Оставшаяся часть группы сидела в кустарнике и ждала. Слушали: в деревне было тихо. Только где-то в середине села не могла угомониться пьяная песня — осипшие, пропитые голоса. Пьяные полицаи то, не слушая друг друга, драли горло, то, видимо устав, умолкали.

Лехора и парни возвратились не одни, с девушкой, которую Лехора, не скрывая радости, назвал Ганкой. Ганка, было заметно, в темноте пыталась разглядеть партизан, обступивших со всех сторон.

— А тут полицаи брехали, что всех перебили, а Туровца и Ермакова повесили!..— Лица девушки в темноте не было видно, и только по голосу чувствовалось, как она рада тому, что они пришли.

Девушка сообщила, что часть солдат и полицаи находятся на окраинах села — в бункерах, несут караул, большинство же из них помещается в хате возле полицейской управы. Несколько гитлеровцев пируют у мельника — это они и кричат.

Василь еще раньше слышал о мельнике: кулак, ссыльный, неизвестно каким образом возвратившийся в начале войны.

Когда полицаев и немцев выгнали отсюда, мельник куда-то было исчез, а теперь вот снова выплыл. Откуда-то у него появился хлеб, он гнал самогонку и пьянствовал со своими друзьями.

Полицаи в селе, по словам Ганки, чувствовали теперь себя уверенно и спокойно: еще, наверное, не знают, что партизаны вернулись.

— Тут один из ваших служит у них,— вдруг сообщила девушка.— Гречка. Может, знаете?

— Гречка? — Василю вспомнилось то утро, когда умер Шабуня. Значит, Василь не ошибся, когда сказал в то утро, что Гречка убежал. Верно сообразил Василь. Как знал. И все же сообщение это вызвало в нем негодование.

— У, шкура,— выразил свой гнев Василь.— Перебежал все-таки, подлюга!

Известие это взволновало, чувствовалось по тихому гомону, и других. Чувствовалось: все были возмущены и разгневаны.

— Эх, пусть он мне только попадется! — погрозился кто-то в темноте.

Но предаваться бесполезным разговорам не было времени. Дрозд вообще не любил пустопорожней болтовни, здесь же, он помнил, дорога была каждая минута. Приказав людям умолкнуть, он спросил Ганку:

— Вы можете незаметно провести к той хате... к их гнезду?

Ганку не надо было упрашивать, с радостью отозвалась на вопрос:

— Почему бы и нет! Вот, еще спрашиваете... Я вас под самое окно подведу!..

Не теряя времени, Дрозд подозвал командиров, стал с ними обсуждать план боя. Поскольку самое существенное для боя, что сообщила Ганка, было уже известно из предварительных данных разведки, Дрозд изложил тот план, который определился у него еще в лагере. По этому плану группа должна была атаковать деревню с трех направлений: с обоих концов и в центре. Удар наносить одновременно, по сигналу центральной группы. Для маневра, для поддержки группы, которая

встретится с особыми трудностями, осторожный Дрозд выделил небольшой резерв.

Командовать центральной группой Дрозд поручил Василю Крайко.

Едва совещание кончилось и Василь возвратился к своим, он, коротко объяснив людям задачу, велел Ганке и Лехоре вести к центру деревни. Остальным приказал следовать за ним. Когда подобрались к деревне, стали пробираться вслед за девушкой через огороды. Она вела по каким-то одной ей известным тропинкам. Перелезли через забор из жердей, потом друг за другом двигались по борозде, через грядки и, наконец, оказались в небольшом садике. Крики доносились из хаты неподалеку.

В садике Ганка остановилась: они здесь.

Оглядевшись, быстро оценив обстановку, Василь направил на улицу с двух сторон прикрытие, а с остальными начал пробираться к хате. Подобравшись к двору, пригибаясь у заборчика, увидел: одно окно приоткрыто, занавеска немного отодвинута. Снова оглядевшись, Василь перебрался через забор, осторожно заглянул в окно и увидел двух немцев и полицая. Немцы о чем-то спорили, а полицай, навалившись грудью на стол, дремал.

Василь нырнул в темноту, избегая падавшего из окна света, подобрался к Лехоре, что, прижавшись к забору, ждал его.

— Как только выстрелю — гранату! Туда,— шепнул, указав на окно, Василь. — Потом следи за улицей. Не подпускай на выручку.

Он выбрал двух ребят, позвал с собой, тенью шмыгнул к углу хаты, намереваясь отрезать хату с другой стороны, чтоб перекрыть пути к бегству.

Но едва только высунулся из-за угла, замер: прямо на него двигались две фигуры.

— Wer ist da? [1] — спросила одна из них.

Отступать было поздно. Тянуть — значило потерять преимущество, погубить себя. Он нажал на спусковой крючок.

Упруго сжимая автомат, Василь на миг припал к стене, настороженный, готовый ко всему. Почти в то же мгновение ударил взрыв гранаты Лехоры.

Отскочив к сараю, Василь с ребятами взял под прицел сени, дверь. Ждал — после гранаты те, что остались в доме, наверняка бросятся к сеням, в дверь. Или в окна. Заметил, в окнах после взрыва гранаты стало темно. Почти темно. Был какой-то красноватый, шевелящийся отсвет.

Дверь действительно распахнулась, и на крыльцо выскочила фигура. Одна, вторая. Василь ударил из автомата. Но в дверь,

---

[1] Кто здесь? (нем.)

навстречу его очередям, видно не соображая ничего, вырывались еще фигуры. Наконец сообразили — отпрянули назад. Кто-то попытался выскочить в окно. Василь прошелся очередью по окнам.

Окна, заметил, светились все краснее, все ярче. Внутри, видно, что-то горело. Вспыхнула одна занавеска.

— За мной!..

С решительностью, появлявшейся у него, когда надо было действовать неотложно, Василь вскочил на крыльцо. В распахнутую дверь, через сени влетел в комнату. Один немец лежал на полу убитый, другого уже не было в комнате. Не было и полицая. Стол был опрокинут, под ногами хрустело стекло. Воняло тротилом, что-то полыхало у стола. Спирт. Скатерть. Огонь вцепился в ножки стола, в скамью.

Один из партизан бросился в соседнюю комнату, но оттуда ударил выстрел, и они остановились.

— Сдавайтесь, гады! Иначе — капут всем! — пригрозил Василь.

Словно подкрепляя угрозу, предупреждая, чтоб не думали противиться, нетерпеливо дал очередь из автомата.

В соседней комнате послышался вдруг удар по раме, зазвенело стекло. Видимо, кто-то попытался убежать через окно. Похоже было, выскочил во двор: во дворе сразу послышались выстрелы. Бросившись в комнату, посветив фонариком, нашли еще одного под нарами.

Когда Василь выбежал во двор, перед ним вдруг возникла идущая навстречу фигура.

— Кто тут... п-палит? — потребовал ответа сиплый голос.

Еле ворочая языком, незнакомец грозно выругался:

— Бал-ловать-ся, сук-кины внуки! ..

Василь никак не ожидал такого. В первое мгновение он подумал, что здесь какая-нибудь хитрость, но по заплетающемуся языку, по тому, как фигуру шатало, по запаху самогона, которым на него дохнуло, почувствовал, что странный встречный действительно в дым пьян и, видимо, еще дремлет.

Пьяного сразу схватили и, обыскав, обезоружили. Вынули из кармана пистолет. Не обращая внимания на то, как полицай, которому взялись связывать руки ремнем, глухо рычит и, стараясь освободиться, выгибается, Василь прислушался: на одном конце села не утихали выстрелы...

Рядом знакомый девичий голос спросил, где командир.

— На днях здесь составили списки, кого в неметчину брать,— подбежав к нему, торопливо, тревожно заговорила Ганка.— Говорят, что в списки и связных записали. Скажите, чтобы их забрали!

— Где они? — Василь все вслушивался в выстрелы на краю деревни.

— Да тут, в управе. В шкафу, наверное.

Хотя просьба Ганки мешала военной деятельности Василя, он все же оценил значение Ганкиного сообщения: списки, конечно, надо было во что бы то ни стало забрать.

Поручив полицая одному парню, вслушиваясь в перестрелку на краю села, Василь вместе с Ганкой спеша возвратился в комнату.

Попросив девушку посветить ему фонариком, он, широко размахнувшись, ударил прикладом автомата по замку, что висел на шкафу. После второго удара согнутый пробой упал, и Василь распахнул дверцы. На полочках лежали папки и бумаги; не разглядывая их, он быстро собрал все, сунул под мышку. Ганка, вначале только следившая за ним, бросилась осматривать полочки, проверять, не осталось ли что-либо.

— Смотри не потеряй! — недоверчиво велела она Василю.

С бумагами под мышкой Василь выбежал из хаты. Стрельба, доносившаяся с другого конца улицы, уже почти затихла.

Село, до этого казавшееся пустым, из которого, испугавшись стрельбы, многие жители убежали в лес, заметно оживало. Услышав родную речь, узнав, что возвратились партизаны, на улицу стали выходить люди. Пережив страшные дни, они выбирались из своих убежищ с осторожностью, еще не вполне верили радостной новости.

— Ермаковцы пришли! Ермаков вернулся! — шло по улице от двора ко двору, от человека к человеку.

— Вернулись! ..

Радость люди высказывали тихо, сдержанно.

Старики, женщины, дети обнимали партизан, плакали, и в слезах было и счастье встречи, и недавняя боль, и печаль утрат.

— А я думала — гансы! .. — смущенно призналась какая-то женщина.

Рассказывали об ужасах, что пережили за эти дни, расспрашивали о Ермакове, о Туровце, о знакомых партизанах.

Во время этих рассказов, расспросов к Дрозду, к Василю, к толпе пригнали связанного полицая, как оказалось, начальника полиции, и разговор пошел в другом направлении. Женщины набросились на него со всех сторон и, если бы не партизаны, разорвали бы на месте. У каждой, наверное, были свои счеты и свои требования к этому выродку. Под ударами, проклятьями, угрозами, что сыпались отовсюду, полицай совершенно отрезвел. Озираясь по-волчьи, он вырывался и злобно скрипел зубами. Но его теперь никто не боялся.

Просили, чтобы партизаны отдали полицая на их суд. Чего с ним канителиться! Повесить его, ирода, и весь суд!

Но Дрозд отдать полицая не разрешил, оправдываясь, сообщил, что Ермаков просил привести одного допросить.

— Что заработал — получит,— поддержал Дрозда Василь таким тоном, что нельзя было сомневаться. Стремясь увести разговор в другую сторону и досадуя крепко, сказал: — Жаль вот, что Гречку упустили! Выкрутился на этот раз! .. — Он почему-то был уверен, что Гречка спасся от партизанской пули, хотя убитых еще не осмотрели.

Приближался рассвет. Группу ждал долгий и нелегкий путь, и Дрозд приказал отправляться обратно в бригаду. Деревенские жители небольшой, но шумной толпой проводили их за село.

— Смотрите не пускайте их снова сюда! — когда стали прощаться, держа Василя за руку, попросила незнакомая женщина.

Василь поклялся:

— Не пустим, мать, больше! Будьте спокойны...

8

Возвратившись домой, Василь решил зайти в госпиталь.

За те полмесяца, что прошли со времени блокады, он ни разу не видел Валю, но часто думал о ней. Наверное, никогда она не была такой милой его сердцу, как в эти тревожные дни. Шашура, усмехаясь, рассказывал Василю, что сестра приходила к нему в окоп, беспокоилась.

«Влюбилась, брат, девчина. Факт! Капитулировала совсем!» — засмеялся грубоватый подрывник. Василь за этот смешок едва не ударил товарища. Он думал о Вале с нежностью. Обидная ссора, которая когда-то их разлучила и отдалила, давно забылась. Василь был добродушным, не помнящим зла человеком, а после того, что он пережил за последние дни, размолвка их казалась просто мелочью. О нелюбимом Ермакове Василь думал теперь с пренебрежением победителя.

Госпиталь уже совсем обосновался. Теперь в нем было спокойно, пустовато, так как почти всех раненых отправили на самолетах в Москву. На ту сторону, в тыл, полетели и дети, подобранные во время блокады.

Возле одного шалаша Василь встретил Марию Андреевну, перед которой он всегда испытывал чувство вины и неловкости. Она взглянула на него приветливо, ласково:

— Вы к кому?

— Мне надо видеть... Залесскую, — ответил Василь. — По одному важному делу. Она сейчас свободна?

— Свободна, но ее здесь нет.

— Где же она?

Мария Андреевна как бы заколебалась. Неуверенно сообщила:

— Ее в штаб позвали...

— В штаб бригады?

— Бригады.

Василь сразу направился к тропинке, ведущей к штабу. Он старался сдерживать себя, однако шел быстро, ноги сами ускоряли шаг. «В штаб бригады? Зачем это вдруг она понадобилась штабу?» — думал он, чувствуя смущение. Василь успокоил себя: «Зачем? Мало ли зачем могли ее вызвать?» У него было ныне доверчивое, добродушное настроение.

Неожиданно за поворотом тропинки Василь увидел на полянке в стороне такую знакомую фигуру Вали.

Она была не одна.

Ноги Василя будто приросли к земле: с Валей стоял командир бригады! По-военному стройный, в галифе, с портупеей, Ермаков что-то говорил Вале, беря ее за руку.

Она не вырвала руку, не вырвала! Василь заметил это, и у него в горле вдруг стало сухо.

Он стоял в растерянности, не мог сдвинуться с места, ничего будто не соображал. Как сквозь сон заметил поодаль на тропинке ординарца комбрига, который держал за поводья лошадей.

В это время, словно почувствовав, что за ними следят, Валя оглянулась. Когда он встретил ее взгляд, в нем все будто взорвалось. Жестоко оскорбленный, он нетерпеливо, возмущенно отвернулся от нее. Отвернулся и, полный горечи, ощущая прилив странной силы, быстро пошел назад.

Он, однако, почти ничего не видел перед собой. Пройдя немало, он опомнился, увидел вдруг, что снова идет в госпиталь, и, не сбавляя шага, свернул в темную чащу. Когда невидяще продирался сквозь кустарник, его обожгло горькое, жестокое: «Она любит не меня! Не меня!»

Ему почти сразу же вспомнился рассказ Шашуры о том, как она приходила в окоп, тревожилась о нем. «Капитулировала, брат, совсем!» Это воспоминание смутило его, заставило задуматься. «Почему она приходила? Если ей нравится этот... Если она меня...» Видно, оттого, что его так угнетало увиденное, что так жарко палила обида, думалось ему трудно. Он не находил ответа.

«А может,— вдруг пришло ему в голову,— а может, она любит и меня и... его?»

Эта мысль не принесла ему облегчения. Она снова тронула то, к чему так чувствительно было его ревнивое сердце: Ермаков. Опять она с Ермаковым знается. Не может никак расстаться.

Обида была тем сильнее, что, чувствовал, Ермаков — соперник сильный, комбриг. Что, чувствовал, на стороне комбрига не только сила власти, но и опыт, о котором Василь только

смутно догадывался. И который вызывал не только ревность, но и отвращение...

Больно задетое самолюбие укрепляло его в беде. Что ж, пусть она любит своего Ермакова, если он так ей нравится. Пусть!.. Но о нем, о Василе, пусть забудет! Забудет! Навсегда!

Он сюда больше не придет!

Увидев, как Василь отвернулся и бросился прочь, Валя нахмурилась, но в первую минуту даже виду не подала, что жалеет об этом. Подумаешь, какой! Слова сказать не захотел, побежал,— догоняйте его! Счастье какое!

Валентина с надменным видом отвернулась от тропинки.

— Ты что это пасмурной такой стала? — заметил Ермаков. Догадавшись, что на нее подействовало что-то увиденное за его спиной, он оглянулся, но на тропинке уже никого не было.

— Чего это я пасмурная? Какая была, такая и есть!..— возразила она, держась как будто еще более гордо. — А если вам это не нравится, так я не виновата.

Она почему-то начала злиться.

— Нравится, все нравится,— снисходительно сказал Ермаков, стараясь успокоить ее. — Но не надо быть такой сердитой.

Он снова взял ее руку, но Валя высвободила ее. Стояла будто не девчонка, а королева, которую черт знает какая муха укусила.

— Чего вы от меня хотите?..— непочтительно, требовательно сказала девчонка.

— Чего, Валюша? Почти ничего. Просто хочется тебя видеть... Тянет к тебе, понимаешь. Неужели это так странно?

— Странно.

— Что же в этом странного, Валюша?

— Что? Вы не знаете?.. Да хотя бы то, что мы не пара. — Небольшое, узковатое, порозовевшее от волнения лицо ее выражало решимость. Прекрасно оно было, лицо человека, одухотворенное достоинством, силой. — Вы человек женатый, — что я вам? Погуляете, погуляете, поиграете, как с куклой, а дальше что?

Сила, решимость ее и раздражали Ермакова и странно подчиняли ей. Она как-то особо влекла его такая, смелая, гневная. Вот только плохо, Ермаков не мог сказать, что было бы дальше с ней, не был готов к такому вопросу.

— Ты для меня не кукла, Валюша...— уверенно возразил он.

Тонкие губы ее тронула язвительная усмешечка.

— Не говорите!.. Видела я, чем такие вещи кончаются... Только я не была бы такой послушной дурочкой, как другие,—

сказала жестко, будто даже угрожающе девушка. — Я если б к кому-нибудь пошла, так он от меня не отвертелся бы. Я не допустила бы, чтобы меня бросили!

— Ты что — пугаешь? — Ермаков, все еще не теряя надежды, что она сменит гнев на милость, попробовал обнять ее, но Валя отвела его руки.

Терпение его истощилось. В конце концов, есть предел всему. Понимая, что это глупо — показывать свою слабость, он начинал злиться. Что она строит из себя, эта зеленая, заносчивая девчонка?

— Тебя какая-то муха сегодня укусила, наверное. Что-то не в духе ты... — Он показал ей, что собирается уходить: очень надеялся, что это смягчит ее. Все же надеялся. Но, видно, ласковое настроение она припасла на следующий раз.

Он сказал с достоинством, несколько небрежно:

— Загляну как-нибудь. Если будет время...

— Зачем?..— Губы ее собрались в кружочек.— И так заметили, что вы ездите ко мне. Разговоры разные пошли... — Посоветовала с насмешкой: — Побереглись бы!..

Это было слишком! Лицо Ермакова сразу вспыхнуло; поправляя пояс, он бросил на нее яростный взгляд:

— Ну, мне учителя пока не нужны!

Он позвал ординарца и, холодно попрощавшись, давая ей понять, что очень недоволен, зашагал прочь от нее.

Оставшись одна, Валя какое-то время стояла потерянно. Потом побрела по привычке к себе в госпиталь, но опомнилась, повернула в лес. Возвращаться в госпиталь не хотелось. Что ей там делать было в таком состоянии!

Тоска была такая, что не знала, куда девать себя. Столько ждала, когда он придет, и вот, на тебе, дождалась! Встретила! Почему все в жизни ее так нелепо складывается!

Она опустилась на траву, легла лицом на ладони рук. Больше он уже, видно, не придет! Не придет, это ясно. Подумал бог знает что, век не забудет. Она знает его. Ну и пусть. Пусть не приходит. Велика беда.

Но ей почему-то хотелось плакать.

X

Чем ближе подходила Шабуниха к родному селу, тем больше волновалась. Правда, со стороны этого почти не было видно, казалась она спокойной и озабоченной, как всегда. Только стала какой-то безучастной.

Спрашивает о чем-нибудь Волька — ее всегда интересуют разные вещи,— а мать не слышит и не отвечает. Надо повто-

рить несколько раз, пока она наконец встрепенется, спросит, не понимая: «А-а? что?»

— Мама, скоро наше село? — спрашивает Волька. Она за дорогу устала, набила ноги.

— А?.. Теперь скоро, — не сразу понимает Шабуниха, глядя вдаль.

Теперь скоро. Вот как выйдем из лесу, сразу и будут Поплавы. Люди добрые, что там? Она невольно ускоряет шаг. Волька, как бы поняв, что скоро конец пути, молча ступает рядом, не выпуская маминой руки. Андрей не выдержал, выбежал вперед. Ему хочется первому взглянуть на село.

Вскоре он возвращается. Идет назад странно медленно, с каким-то виноватым видом. Потом бросился к матери, уткнулся лицом ей в грудь.

— Мама! — произнес он испуганно.

Внутри у нее вдруг что-то оборвалось. Она почувствовала, что случилось то, чего она боялась. Но, погладив рукой головку сына, сказала, успокаивая:

— Ничего, ничего, сынок.

Ноги вдруг стали непослушными. Вот последний поворот. Она увидела впереди то место, где раньше было село. Картина, вставшая перед ее глазами, — неожиданная, незнакомая — поразила ее. Она привыкла всю жизнь, с самого детства, видеть отсюда вытянувшиеся в ряд крыши хат, соломенные, гонтовые, жестяные, высокие и приземистые. С краю, на пригорке, всегда стояли длинные строения колхозных ферм и амбаров, поднималось несколько огромных столетних вязов. Посреди села она всегда видела свою крытую жестью хату. Белый веселый блеск оцинкованной жести всегда радовал глаз.

Теперь перед ней было пусто и дико. Виднелось только несколько хлевов да вязы на пригорке, но и они были голые, покалеченные, с короткими, будто обрубленными, шершавыми ветками. Из-за этих вязов все кругом казалось еще более диким. Глядя на них, хотелось кричать.

Шабуниха не остановилась, не закричала. Все так же держа Вольку за руку, с ребенком на руках, она шла туда, где раньше стояла хата, хотя теперь там не было ничего. Шла, будто не верила в то, что видела своими глазами. Как же она могла остановиться, если все эти дни столько думала о своем жилье, так рвалась к нему? Как могла она не идти сюда, если за свою жизнь привыкла считать, что здесь центр земли? Ей казалось, что все пути, большие и маленькие, бегут сюда. Да и куда еще она могла податься? Как-то смутно ощущая все, что с ней происходило, она шла по знакомой дороге, почему-то спешила, будто боялась не управиться вовремя, и все монотонно, немного испуганно шептала: «Ничего, ничего, сыночек».

Пришла на то место, где начиналась улица, почти бегом повернула к своей усадьбе. Здесь впервые Авдотья растерялась. Где ж это оно, ее прежнее жилище? Где хата, высокая, обвитая с улицы хмелем, с цинковой крышей? Где хоть она стояла, где следы от нее, от хаты?! Боже мой, невозможно узнать! Не узнать того места, на котором прожила весь век, где каждый кусочек земли тысячи раз топтала. Пепелища все похожи одно на другое...

Авдотья не нашла с первого раза своей усадьбы, прошла мимо, пропустила. Когда хаты стояли в ряд, улица казалась очень длинной, а теперь непривычно, странно укоротилась. Авдотья прошла еще немного, вернулась назад. Где же ее хата? Может, она забыла свое село, пока ходила по лесным тропинкам с партизанами? Может, горе потрясения последних дней отбили у нее память, помутили разум?

— Здесь, мама, здесь, — подсказал Андрей. — Вон стоят наши дички. Только они обгорели...

Да, это ее усадьба... Вошла во двор, сняла натерший плечи узел. Маленький Володька, почувствовав под ногами землю, побежал, быстро перебирая пухлыми ножками. Его заинтересовал большой черный закопченный лист жести, лежащий посреди двора. Володька потянул за край жести. Черный лист загремел: бу-бу-бу. Это понравилось мальчику, и он счастливо, зажмурившись от удовольствия, засмеялся. Через минуту он снова потянул лист, и лист снова загремел: бу-бу-бу-бу.

— Андлей, смотли!

Андрей стоял хмурый и с печалью смотрел на мать, что, поджав под себя ноги, устало сидела на земле. Авдотья уловила этот взгляд и спохватилась: нельзя так сидеть, надо что-то делать. Только что делать?

Внезапно ее охватило странное чувство. «Нет, это не Поплавы, — подумала она, — не Поплавы!..»

Это что-то чужое, незнакомое!..

Она огляделась вокруг. Все казалось чужим. Чужое, чужое! С груди ее на миг спала неотступная, давящая тяжесть, стало легче и свободнее.

Но мысль о том, что надо что-то делать, почему-то все не отступала, и Авдотья сказала Андрею:

— Давай подберем, что осталось.

Взгляд ее упал на погнутый, обгорелый скелет кровати с двумя кольцами сверху, который наискось торчал из песка и угля. Это же их кровать! О, она хорошо помнит эти когда-то блестящие никелевые кружки с тисненными в форме венка листочками. В ее памяти сразу ожило: здесь недавно, наведавшись домой, крепким сном спал Змитро.

У него было обросшее, небритое лицо, давно не стриженные вислые усы. Она стирала в корыте гимнастерку и все подходи-

ла к кровати и смотрела на него. У нее тогда было неспокойно на душе, она будто предчувствовала все, что будет.

«Нет, это не чужое!» — с новой силой дошло до сознания, и грудь сжала тяжесть, еще большая, чем раньше. Это ее кровать, ее хата, ее жилье! Она упала на мелкий, прибитый дождем уголь и, обхватив край полуразрушенной печи, на которой из-под дымных пятен еще кое-где виднелась побелка, застонала:

— Змитро-о! О-о-о! ..

Волька, услышав стоны матери, заплакала, запричитала. Володька испугался, сразу забыл о своем гремящем листе, закричал:

— Ма-ам! Ма-а-ам!

Как ни горько было Авдотье, она сразу услышала этот голос и подняла тоскливое, страдальческое лицо к ребенку. Минуту смотрела на сына бессмысленно, как в беспамятстве. Потом медленно поднялась, подошла к мальчику и взяла его на руки.

— Ну что ты, глупенький? Что, малыш? .. Забыли все о тебе, бросили.

Володька уткнулся лицом в мамину кофту и перестал плакать.

— Я, мама, есть хотю!

Она достала черствый, как камень, кусок хлеба, отломила ломоть, и Володька, уминая его, повеселел.

— Плиедет папа. Он тут сделает дом, больсой! .. Как... как глусы! ..

— Сделает, — сказала она, сдерживая рыдание. Она тоскливо огляделась.

Авдотью вдруг поразило, что за пепелищем несколько уцелевших грушек сияли яркой весенней зеленью, белоснежным цветом! Чудом уцелев от пожара, они в своем белом одеянии смотрели весело, радостно!

У Шабунихи невольно мелькнула мысль, как не вовремя нарядились эти грушки. И все же ей было приятно видеть, что даже здесь, возле пепелищ, деревья цветут. Их цветения ничто не могло остановить.

Они живут, цветут! ..

4

К Туровцу подошел насупленный, с вихорком, с длинными руками мальчик, метнул настороженный взгляд.

«Это же сын Шабуни!» — узнал комиссар, несколько раз заходивший в дом командира роты и знавший его семью.

— Что хорошего скажешь, товарищ Шабуня-младший?

Туровцу бросилась в глаза недетская серьезность мальчика.
— Возьмите в партизаны! — выпалил сразу, без всякого объяснения, Андрей.
— Ты что это, Андрей? Ты... серьезно?
— Серьезно. Возьмите.
— Нет, брат, ты это шутишь? Правда, шутишь? Вот молодчина — придумал так придумал!
Андрей от смеха Туровца насупился еще больше.
— Возьмите.
Комиссар сдвинул брови:
— Серьезно, значит...
Всем своим видом Туровец показал, что задача эта нелегкая. Надо хорошо подумать.
— Гм, задал ты мне задачу. А твоя мать, товарищ Шабуня, знает об этом? — неожиданно поинтересовался комиссар.
Мальчик виновато опустил глаза и ничего не ответил.
— Не знает? Ну, брат!.. А мы без разрешения матери не принимаем никого. Обязательно надо, чтобы мать разрешила. А то — какой же это партизан, если он самовольно удирает в отряд, наперекор матери? Здесь ты, Андрей, прямо нарушил дисциплину, а у нас дисциплина самая военная. Никто не имеет права ничего делать без командирского разрешения. Да и вообще надо жалеть мать, ведь она, может, теперь там тревожится за тебя, думает, что, может, ты пропал...
— А если я... если она скажет, что можно?
— Если разрешит? — Туровец развел руками, не зная, что сказать.— Лучше бы ты, Андрей, все же побыл с матерью. Знаешь, как ей теперь нужна подмога?..
— Я ее попрошу! — упрямо произнес мальчик, будто не слыша последних слов Туровца.
«Э, да ты несговорчивый!.. Ничего, мать, наверное, тебя быстро уломает, когда ты объявишься!.. Я ее знаю!» — подумал Туровец.
— Что ж, попроси. Разрешит — тогда другое дело. Тогда приходи, поговорим. Только чтобы мать разрешила!..
Часа через два Андрей, хмурый, насупленный, входил в родной двор, до которого из бригадного лагеря было километров восемь или десять. Мать во дворе готовила обед. Она сразу заметила, что сын чем-то очень взволнован.
— Что это с тобой, сынок? Обидел кто-нибудь?
Он посмотрел из-под мрачно сдвинутых, еле заметных золотистых бровей, но не ответил. Зная упрямый характер сына, Авдотья больше не спрашивала.
После долгого молчания сын внезапно попросил:
— Ма-ам! Пусти-и!
Она удивленно и немного встревоженно посмотрела на него. Куда его пустить? По требовательному тону мать почувствова-

ла, что его желание очень сильно. Спросила, пряча тревогу, куда он просит пустить.

Из ответа Авдотья узнала, что он был в отряде.

— Ты еще маленький, Андрей. В партизаны принимают взрослых, сильных людей, а тебе еще и тринадцати нет. Тебе и винтовку нести будет тяжело, ты думаешь, она легкая? Там одного железа, может, полпуда. А к винтовке еще и патроны надо. И все это на твои худенькие, слабые плечи, сыночек. А какие они переходы большие делают — по пятьдесят и больше верст. Сильные дядьки и те от усталости другой раз еле ноги волокут. А ты ведь и без того похудел, почернел, отощал... Ты же слабый, как колосок... Ты же малый, тебя не примут.

— Он говорил, примет, лишь бы ты пустила. Пусти!

Она сказала с упреком, что он совсем не думает о Володьке и Вольке и о ней, матери.

— Теперь, когда отца нет, Андрей, надо, чтобы ты помогал мне, ведь ты же теперь самый старший в семье. Ты теперь все равно как хозяин, обо всем должен заботиться. Волька, она что может сделать? Володька совсем малый, неразумный, за ним все время надо смотреть. А я сама старая уже, слабая стала, не то что, бывало, раньше. Вся надежда на тебя, Андрей! На тебя одного...

Мальчик слушал все это, опустив голову. Когда мать кончила, он поднял на нее глаза:

— А как ты одна, когда отец живой был, справлялась? Ты же со всем справлялась. Так и без меня перебьешься.

Мать заплакала:

— У меня сердце еще болит по твоему батьке... Я не хочу тревожиться еще и за тебя. У меня и без этого горя хватает.

Мальчик не ответил, но в его не по-детски суровом, холодноватом взгляде она увидела, что он не поколебался. Поняла, что он не отступит.

«Упрямый! Весь в отца пошел!» — подумала она с печалью и любовью. И, наверное, потому, что она очень любила Андрея, что хотела видеть сына радостным, вдруг притянула его к себе, крепко и нежно прижала, потом, освободив от объятий, сказала:

— Что ж, видно, так надо... Иди!

Андрей сразу засиял от счастья. Сдвинутые мрачно брови разошлись. Он припал к ней лицом и, растроганный, принялся успокаивать ее:

— Ты не обижайся, мама! Я не на все время ухожу от тебя! Я только пока война будет! А как прогоним фашистов, я сразу вернусь домой! Кроме того, я ведь буду заходить, помогать!

— Заходи, сыночек, заходи. Я буду рада.

— Мам,— сказал он взволнованно,— я хочу быть таким, как отец.

Услышав последние слова, мать удивилась. Присмотрелась к нему внимательно, будто давно не видела или будто перед ней был незнакомый человек. Авдотья все еще считала его маленьким. Она и не заметила, как он вырос. И вот теперь Авдотья увидела перед собой взрослого, рассудительного человека, маленького мужчину.

В эту минуту ей вспомнилась, за туманом давности, молодость Змитра. Тот был таким же. Такой же непокорный вихорек надо лбом и решительный, холодноватый взгляд. Такая же настойчивость и сердечность.

Снова прижала сына к груди, повторила:

— Иди!

5

Не попрощавшись с малышами, он, слегка поводя, как отец, плечами, степенно вышел со двора и зашагал по улице. Авдотья следила за ним, ждала, что, может, оглянется назад, улыбнется, махнет рукой. Он не оглянулся.

В бригаде Андрей сразу нашел комиссара и объявил, что все сделал как надо — мать отпустила. Сказав, что теперь — другое дело, даже невесело похвалив за дисциплинированность, Туровец направил мальчика в отряд, в хозяйственный взвод. Андрей заметно обрадовался, но радость свою выказал скупо, сдержанно.

«Малый, видно, с характером»,— подумал Туровец, с отцовской нежностью глядя вслед Андрею. Пусть пока у хозяйственников обживется, привыкнет, а там посмотрим,— может, переведем в разведку или куда еще. Надо будет наблюдать за сиротой, помочь, пока не обвыкнет, не повзрослеет, проследить, чтоб не обижали во взводе.

Туровец занялся своими делами и, считая, что с ним все улажено, на время забыл о своем молодом партизане.

Но на этом не кончилось. Скоро Шабуня-младший снова стоял перед комиссаром, насупленный и недовольный.

— Что такое, товарищ Шабуня? Что тебя огорчает? Может, обидели тебя во взводе?

— Нет.

— Так в чем дело?

— Я хочу — в настоящие партизаны.

— В настоящие? В какие настоящие? Они и есть самые настоящие!

— Нет.

— Откуда ты это взял? Нет, брат, они — настоящие. Они,

брат, занимаются важнейшим делом — хозяйством. В партизанах, Андрей мой дорогой, это первое дело. Напрасно ты подумал, что они — ненастоящие! Напрасно! Ты очень ошибся!

Шабуня-младший об этом был другого мнения.

— Настоящие! Какие же они настоящие!.. Не воюют, а только сидят в лесу. Картошку чистят да суп варят. Так «воюют» и женщины в селе. Я хочу в такой взвод, где воюют!

Чтобы убедить комиссара, он сказал, что умеет уже разбирать автомат, знает, как с ним обращаться, хорошо изучил разные системы гранат — и наши, и трофейные. Может хоть сейчас, хоть с закрытыми глазами, разобрать и собрать пистолет.

— Где ты научился этому?

— Отец показывал. Как приедет домой, я и спрашиваю у него — одно, другое. А он разберет автомат или пистолет и объяснит, что к чему. А потом еще и проверит, понял я или нет. «Учись, говорит, сынок, в наше время это может понадобиться!»

Услышав это, комиссар задумался.

— Ну что же, Шабуня-младший,— сказал он наконец по-иному, серьезно, — может, и недаром отец учил тебя. Пусть будет по-твоему, раз отец так хотел. Пойдешь в боевой взвод, в самый настоящий. К Васе Крайко, в отряд Кутузова.

ГЛАВА III

1

Солнце клонилось к западу, когда Василь пришел на собрание.

Партизаны только что начали собираться. Чем больше их заполняло поляну, тем более в сердце Василя нарастало волнение.

Хотя Василя окружали товарищи, у него было такое ощущение, словно он сидит отдельно и все смотрят на него. Василь чувствовал себя в центре всеобщего внимания.

Странно: казалось, будто смотрят на него не только люди, а и весенние легкие купы берез, и строгие, в темной суровой зелени, в тесном строю ели, окружавшие полянку.

Под одним из трех молодых раскидистых дубков, еще голых, без листьев, что росли почти посреди полянки, стоял стол на козлах. Сбитый из кругляшей и отесанных топором жердей, составивших его поверхность, стол этот казался Василю тоже

сооружением особого значения. У этого стола, знал он, должна была решиться его судьба.

Он с волнением следил, как за стол зашел Туровец, как избирали президиум. Волнение возросло, когда избранные уселись за столом и Туровец приготовился говорить. Василь почувствовал, что вот сейчас и начнут разбирать его заявление, но Туровец заговорил об ином.

— Товарищи,— Туровец скорбно опустил взгляд,— за последнее время в боях погибли наши товарищи, коммунисты — Шабуня... Кривец... Суховерхов...

Он говорил неторопливо, сдавленным голосом, тяжело выговаривал фамилию за фамилией. Трудно, необычно трудно было называть комиссару фамилии и имена погибших... Произнося их, Туровец ниже и ниже опускал голову, будто на него ложился все больший груз. Говорил он негромко, но в рядах собравшихся установилась такая тишина, что каждое слово отчетливо доходило до всех, до самых дальних. Еще до того, как Туровец кончил называть имена, до того, как он сказал: «Прошу почтить память», некоторые начали обнажать головы, подниматься.

Несколько минут стояли молча, неподвижно, хмуро глядели перед собой. Двигался, ходил лишь ветер — шевелил волосы, печально шелестел в листве.

Невольно слушая этот шепот берез, Василь вдруг почувствовал, что напоминание о тех, кто погиб во время блокады, имеет связь с его судьбой, его заявлением.

Долго после того, как опустились на сиденья из подтесанных жердей, на полянке еще царила печальная тишина.

Едва начался прием, к столу вызвали Ермакова, вступавшего в члены партии. Как только он, стройный, молодцеватый, в праздничной гимнастерке, с портупеей, со шпорами, маленькими, изящными, которые он, по старой артиллерийской привычке, носил в торжественные дни, вышел к столу, чтобы рассказать свою биографию, по рядам прошло:

— Не надо! Знаем! Чего тут говорить?

Но чей-то сильный голос проворчал:

— Знаем! Кто знает, а кто и нет!

— Пусть расскажет!

— Да чтобы подробно! А не как анкету!

Туровец попросил командира бригады рассказать биографию. Подробно.

Ермаков кивнул, провел рукой по портупее. Какое-то время раздумывал, с чего начать.

— Я считаю военное дело основой своей жизни,— весомо объявил он. — С самого детства я мечтал стать военным. Ну, в детстве все, понятно, играют в «войну». Я тоже любил «воевать»...

— Уже тогда «командовал»?

— Был такой грех!..— Ермаков усмехнулся, добродушно подтрунивая над собой.— В школу я ходил в военной, дядькиной гимнастерке. В Осоавиахиме долгое время был, школьной организацией руководил. В разных соревнованиях участвовал, призы имел... Заветной моей мечтой тогда было — стать летчиком. Я прочел гору книг по авиации. Прошлый грех, можно признаться,— форсил тогда разными авиационными словечками, как «аттерисаж», «ланжерон»... Все мои школьные товарищи были убеждены, что из меня выйдет боевой летчик... После девятого класса я, понятно, подал заявление в авиашколу, торжественно попрощался со всеми, уверенный, что меня обязательно примут!.. Но я сразу же срезался.

— Экзаменов не выдержал! — посочувствовал кто-то.

— Подвело сердце!.. Что же оставалось делать? Такие же, как я, неудачники посоветовали пойти в артиллерийское училище. Оно было в том же городе. Я сначала и слушать не хотел. В те дни я просто ненавидел пушки... Но другого выхода не было. Вернуться назад я не мог, не позволяло самолюбие. Пришлось податься в артучилище, понятно, затаив надежду — на следующий год выбрать что-нибудь больше по душе, ближе к авиации... Однако в училище случилось то, чего я не ждал. Нежданно-негаданно для себя я полюбил артиллерию. Полюбил не так, как некоторые любят тещу, а по-настоящему, всей душой. Словом, решил, что бога войны не променяю ни на что!..

Он, видимо, подумал, что не в меру развернулся, и заговорил сдержанно, сухо:

— До начала войны, до двадцать второго, я служил в Кобрине командиром батареи. Когда отступали, за Бобруйском был контужен взрывом бомбы... Контуженый я попал в плен.— Чувствовалось, что Ермаков сказал это виновато и, будто оправдываясь, поспешил добавить: — Оттуда я, понятно, через месяц убежал с несколькими товарищами в лес, где создал небольшую партизанскую группу. Здесь я двенадцатого сентября встретился с отрядом товарища Туровца и присоединился к нему...

Ермаков умолк, развел руки с видом, значившим: обо всем остальном вы знаете.

С места поднялся партизан и попросил Ермакова рассказать более подробно, как он попал в плен и как освободился.

— Да, это надо объяснить,— согласился Ермаков.

По-военному, кратко, сжато, будто сообщая план операции, он сказал:

— После контузии я потерял сознание. Что было дальше, я не знаю, так как очнулся уже в плену... Вокруг меня были немцы... Меня отвезли в лагерь под Бобруйск за колючую

проволоку, где я и находился некоторое время... Я совершил два побега. Первая попытка была предпринята там, в лагере. Но попытка оказалась неудачной — меня вскоре поймали и избили. Прямо сказать, чуть не до смерти. По-зверски. Но я не пал духом и совершил вторую попытку: когда нас, пленных, перевозили по железной дороге. Во время движения поезда я выломал пол в вагоне и выбросился на шпалы. На ходу поезда. Боялся, что разобьюсь или под колеса попаду. Но — обошлось...

— Еще есть вопросы?

— Нет вопросов! Голосовать!— нетерпеливо крикнул кто-то с места.

Но у одного из партизан был еще вопрос:

— Пусть расскажет о семейном положении.

Комбриг, что случалось с ним очень редко, смутился. Вопрос был задан, наверное, не случайно: ходили слухи, что у него в эвакуации, в Казани, жена и сын, но он, когда был в разведке, жил с одной девушкой.

Теперь вот стал что-то часто встречаться с Валей Залесской.

Воспоминание о Вале, о том, как увидел в последний раз ее с Ермаковым, вынуждало Василя следить все время за Ермаковым с неловкостью и неприязнью. После же вопроса о семейном положении, в котором Василь уловил как бы обидный намек, он смешался совсем. Почувствовал, как горит лицо.

— Что скрывать, — сказал комбриг, стараясь говорить спокойно. — Были грехи. Все вы знаете... Было такое. В партию нельзя идти с грехами. Я обещаю, что все это не повторится. Даю честное слово.

Стали голосовать. Десятки рук поднялись вверх, недружно, но уверенно. Против не голосовал никто.

Потом принимали Нину. Волнуясь, немного торопясь, она рассказала о своей жизни до вступления в отряд, и Василь впервые узнал, что она из Минска, что у нее на руках был маленький ребенок.

— Когда дочка немного подросла,— говорила Нина,— появилось свободное время... Я начала присматриваться к своим друзьям, не связан ли кто-нибудь из них с подпольщиками. Найти их след удалось не сразу: у них была хорошая конспирация... Однажды я открыто поговорила о своем желании с Колей Синицей. Мы с ним до войны вместе учились в университете... Мне почему-то казалось, что он работает с подпольщиками... Коля мне и помог связаться с подпольной организацией. Он, конечно, мне ничего не сказал об организации, а просто в первый раз дал несколько листовок расклеить или разбросать на видных местах. И попросил достать бинтов для перевязки. Я все это сделала. Тогда мне стали поручать более

важные дела... Как-то я трое суток прятала в своей квартире подпольщиков...

Нина на секунду остановилась, наверное вспомнила что-то печальное.

— Однажды у нас случилась беда. Это было в мае... Колю арестовали. И почти в одно время с ним еще нескольких наших... Нас это очень встревожило. Мы беспокоились, что гестапо раскрыло всю организацию. Одним словом, ждали самого плохого. У меня как раз прятали подпольную пишущую машинку, на которой мы печатали листовки. Я ее сразу закопала. И все, что могло бы показаться подозрительным, тоже спрятала... Но все обошлось, гестапо не захватило остальных. Ребята никого не выдали... Коля, говорили, умер в гестапо от пыток.

Она мотнула головой, как бы отгоняя воспоминания. Заспешила, будто опомнилась, что надо кончать.

— И потом делала все, что поручали. Расклеивала воззвания, передавала советские газеты и брошюры... Несколько раз выводила людей к партизанам... Один раз вывела группу пленных командиров, которым помогли убежать из лагеря. Потом — профессора Горкина.

Едва она умолкла, грубоватый мужской голос спросил:

— Где сейчас дочка?

— Дочка с матерью...

— Давно не виделись?

— Второй год... Как пришла сюда...

Когда Нина говорила это, голос ее странно напрягся, задрожал.

«Вот почему она так любит детей!» — подумал Василь.

Из того, что говорили о ней, Василю особенно запомнились слова Дрозда, человека очень сдержанного и скупого на похвалу:

— Я скажу, как Лагунович вела себя в блокаду... На вид она, все вы знаете, вроде тихая и несмелая. А когда под Савичами нас прижали к болоту, так что дохнуть нельзя было, как она держалась? В последней группе, в Шабуневой роте, осталась!.. Тогда, когда наш Змитро Николаевич, добрая память ему, погиб... И держалась, можно сказать, по-геройски!.. Это мне понравилось!.. Потом мы целый день выбирались из болота, лезли как черти, по топи, по лозе. Она все время ухаживала за ранеными. Она тогда уже держалась, можно сказать, как коммунист. Люди, которые там были, могут это подтвердить...

— Помним! Было такое!.. — поддержали его несколько голосов.

Все происходило как будто просто, но от этого нисколько не утрачивалось ощущение важности и торжественности события...

За Ниной вызвали к столу Василя.

Вскоре Василь уже слушал свое заявление, Из уст другого

человека слова его заявления казались Василю немного странными,— знакомые, родные слова, которые он писал сердцем своим.

Выйдя вперед, он встретился со взглядами многих людей, смотревших на него, как ему показалось, пытливо, требовательно, и на какое-то время у него появилось ощущение непрочности положения. Будто ища поддержки, он нашел доброжелательные, затаенно-радостные глаза Нины, от ее взгляда почувствовал себя увереннее, легче. Он заметил, как весело, ободряюще подмигивает ему Шашура: «Все будет хорошо. Смелее надо!»

— Родился в тысяча девятьсот двадцать шестом году...

Восемнадцать лет! По рядам прошел гомон. Василь не сразу понял смысл этого оживления, смутился. Но все улыбались дружелюбно. Всем казалось, что он намного старше.

— Учился в школе, но не закончил. Помешала война. Мать расстреляли немцы... Сестру угнали в Германию... Два брата в армии... Что с ними, не знаю...

Голос его прерывался от волнения, он спешил, за какую-нибудь минуту Василь изложил все свое недолгое жизнеописание. Закончил и вдруг растерялся: это все?

— Был также в немецком лагере,— преодолел он себя, будто признался в недостойном.— Когда мать расстреляли, нас бросили в лагерь. Меня и сестру. Но я убежал...

— Знаем! И не забыли, как ты брыкался, когда брали в партизаны! — поддел его Шашура.

— Я не знал, кто вы! — смутился Василь.

По рядам прошел смех, и Василь совсем растерялся... Что бы еще добавить?

— В других группировках не участвовал,—пришло почему-то на ум.

Снова начались шуточки. Чей-то звонкий голос весело спросил:

— А в белой армии не служил?

— В белой я все равно не был бы. А в Красной гвардии бить белых не довелось.

— Опоздал родиться...

— Зато бьет фрицев,— поддержал из-за стола комиссар.

Василь возвратился на свое место, а выступающие теперь партизаны начали говорить уже о его жизни, о его боевых делах. По их словам выходило, что Василь — или товарищ Крайко, как его именовали, — человек, достойный того, чтобы состоять в партии. Правда, командир он молодой, но не уступит и иным опытным командирам, недаром взвод, которым он командует, — среди лучших в отряде. У Крайко подчиненные могут учиться не только отваге, но и скромности... Многое вспомнили выступающие добрым словом, и Василь, впервые

будто взглянув на себя глазами других, почувствовал радостный подъем. Почувствовал себя совсем хорошо.

С уважением говорил о нем и комиссар, но заметил, что Василю надо учиться командовать, что он иногда вместо того, чтобы руководить взводом, берется за дело, которое следовало бы делать другим, подчиненным, и в результате выпускает из-под внимания взвод. К удивлению Василя, Туровец, правда, нестрого, упрекнул товарища Крайко за то, что он оставил взвод, когда отражали атаку немецких танков возле Савич,— пополз к танку сам, хотя было приказано послать кого-либо из его партизан...

И вот Дрозд, председатель собрания, встал из-за стола, чтобы подсчитать поднятые руки.

— Единогласно,— произнес с удовлетворением.— Опустите руки.

Обрадованный всем происшедшим, уважением и любовью всех, Василь в приливе благодарности, с необыкновенным желанием действовать, подумал: что бы совершить в ответ что-нибудь такое, особенное, чтобы все убедились, что не зря говорили о нем так хорошо, что он действительно сто́ит их уважения и любви. Ничего такого, достойного не находилось. Пожалуй, и рация, которую он нашел накануне в немецкой машине и которую взялся починить, дело все же маленькое. Не то. Перед блокадой он все свободное время возился с подбитым бронетранспортером, но сейчас Василь не нашел его на прежнем месте, — немцы, видно, увели. Нашел вот рацию, рация тоже штука нужная. Но все-таки не то. Но он подумает, он найдет, как ответить этим людям.

В перерыве, окружив Василя, многие из собравшихся наперебой поздравляли его, пожимали руки, друзья озорно толкали, хлопали по плечам. Подошел и Туровец:

— Мне также можно присоединиться к тем, кто поздравляет?

— П-пожалуйста!.. Спасибо.

Пожав руку, комиссар предложил:

— Может, пройдемся? Погуляем?..

Туровец взял Василя за локоть, и они пошли мимо дубков, среди людей, что прохаживались, разговаривали.

— Приняли, выходит? — шутливо спросил Туровец.

Лицо Василя сияло.

— Приняли.

Туровец постоял, окинул взглядом молодую, такую слабую и светлую, но со сломанной вершиной березу.

— Ветер, что ли... сломал?

— Видно, ветер.

— Помнишь утро?.. Когда в карауле был?.. — посмотрел на Василя Туровец.

— Помню, товарищ комиссар...

— И что говорил, не забыл? — Туровец сам напомнил: — Что Шабуня — командир незаменимый... — Он будто подумал вслух: — Да, каждый человек, можно считать, незаменим. Это — правда... Но люди не вечны. Особенно в эти дни... — Туровец вдруг помрачнел, задумался, как бы вспомнил что-то. Но преодолел задумчивость, сосредоточился на разговоре. — Ты как раз и пришел заменить... Коммунисты всегда на переднем крае, а у тех, кто впереди, не может быть неполных рядов. Как в армии, которая сражается. Если редеют ряды, армия слабеет... А нам слабеть нельзя...

— Я, товарищ комиссар, не подведу!.. Только вот могут сказать — молод... зелен...

— Молод? Да, молод... Ну да молодость — невелика беда.— Глаза Туровца вдруг заблестели.— Только кто тебе сказал, что ты молод, зелен? Ты сколько уже в партизанах?

— Третий год.

— Третий год! А говоришь, зеленый. У нас те, кто по третьему году служат, я слышал, старыми считаются... Да-а, твоему поколению как раз и пришлось повзрослеть и возмужать раньше времени.

Помолчав, он добавил, снова в задумчивости, сдерживая беспокойство:

— У меня сын, Юрий, служит в армии. Он твой ровесник.

После перерыва, едва затих говор на поляне, комиссару дали слово для доклада о предстоящих задачах бригады.

— Прежде всего, — начал он, стоя возле стола, щуплый, маленький, но жилистый,— прежде всего — и это мы должны считать своим самым главным долгом — надо опять отвоевать у немцев всю территорию зоны. Какой она была до блокады. И установить советскую власть! Повсюду, по всей зоне!

— Правильно! Гнать нечисть! — горячо выдохнул кто-то недалеко от Василя. — Выметать к черту!

Комиссар сказал, что несколько деревень уже освобождено, он назвал и ту, в которой вчера был Василь. Правда, главное, говорил комиссар, еще впереди,— пока разбиты небольшие гарнизоны. Но и в больших гитлеровцы не усидят. «Не усидят!» — мысленно поддержал комиссара Василь. От радостного возбуждения он был беспокойнее, чем обычно, и казался себе более сильным.

Ему хотелось, чтобы громить эти большие гарнизоны обязательно направили и его со взводом. Он бы там показал, как надо бить эту нечисть!

— Вторая задача — сев,— продолжал Туровец.— Люди запоздали с ним — запоздали, как вы знаете, не по своей вине. Нам надо помочь им. Не медля ни дня, мы должны начать сев... Эта задача — тоже очень важная, ответственная, жизнен-

ная, говоря по-партизански — наше второе боевое дело... Сегодня мы, как никогда раньше, должны смотреть в завтра. Все вы знаете, что скоро — наверно, очень скоро — мы выйдем навстречу нашей родной Красной Армии. Немецко-фашистские изверги, залившие нашу землю кровью, скоро будут изгнаны доблестными советскими войсками при помощи партизан и народа. Все, что мы посеем сейчас, товарищи, вырастет для нас! Мы будем сеять при оккупантах, а убирать на свободной земле!

Последние слова комиссара утонули в жарких рукоплесканиях партизан. Убирать на отвоеванном поле, на свободной земле! Разве могли быть спокойны люди при одной мысли об этом!

Они столько мечтали об этом желанном и как бы невообразимом дне, мечтали как о невероятной сказке, столько ждали — и вот он так близко, так реально встает перед ними, со своими заботами и хлопотами!

— Но,— сказал Туровец,— сеять этой весной будет тяжелее, чем когда-либо. И не только потому, что сев мы начинаем поздно и его надо провести как можно быстрее. Нет, еще и потому — и это, конечно, главное, — что мало лошадей, не хватает плугов, всего самого необходимого. Мало людей в деревнях. В некоторых селах, сожженных при блокаде, нет ни одного плуга, ни одной бороны на полсотни, сотню семей. Если раньше людям наша помощь была нужна — сеяли они или убирали,— то теперь многие посеять без нас, без нашего труда, просто не смогут. Если мы не поддержим людьми, инвентарем, трудом своим, — многие семьи будут голодать... Нам надо спасти их!

Выступавшие потом партизаны дополняли комиссара, давали свои советы, высказывали предложения. Василь внимательно, пытливо и жадно прислушивался к каждому слову. Он чувствовал, что после этого собрания поле его деятельности и обязанностей необычайно расширилось. Теперь он отвечал не только за свой взвод, но и за весь отряд, даже за всю бригаду. Мало того, что о боевых делах, ему вот и о весеннем севе надо было беспокоиться.

О многом-многом надо было ему теперь заботиться! Все требования комиссара и выступавших за ним Василь без колебаний относил к себе: он теперь ведь не только вообще, по партизанской, но и по партийной части связан был с Туровцом, с Дроздом, должен был идти с ними впереди. «Я тоже — партиец, коммунист»,— думал он, ощущал с какой-то особенной отчетливостью.

Это звание, давно, с детства, близкое, родное, было еще немного непривычным по отношению к нему самому. Но уже жило в нем, обязывало его.

2

После партийного собрания в бригаде, которая, как и раньше, вела бои, начали готовиться к севу.

Всей этой работой руководил Туровец: он был не только комиссаром бригады, но и секретарем подпольного райкома партии.

Весь первый день секретарь райкома делал, как сам говорил, рекогносцировку. С десятком партизан, выделенных ему в помощь, подсчитал, сколько и где уже вспахано и посеяно, у кого в деревнях есть лошади, а также плуги, бороны и другой необходимый инвентарь.

На самый строгий учет, как самое ценное, Туровец взял семена, сбереженные во время блокады.

Особо беспокоился он о сожженных деревнях. В сожженные деревни надо было дать не только лошадей, но и инвентарь для сева, которого в бригаде не было. Еще на собрании решили часть инвентаря взять в деревнях, где он уцелел. Отремонтировать обгоревшие плуги, сделать бороны. На это дело были направлены все бригадные кузнецы.

В первый же после собрания день Туровец с Ермаковым составили план полевых работ. Было намечено создать больше десятка групп из партизан, которые на некоторое время должны были стать пахарями и сеятелями. Каждой группе выделили свою деревню и конкретное задание.

Большинство партизанских лошадей на время сева было передано для работы в поле.

Специальным приказом Ермаков на время полевых работ запретил партизанам брать лошадей в деревнях на любые нужды. Разрешалось брать лишь в одном случае: чтобы отвезти в госпиталь раненого.

Во все освобожденные деревни разошлись агитаторы, рассказать о последних решениях райкома и партийного собрания, о значении сева в этом году.

С утра следующего дня вслед за агитаторами в деревни отправились партизанские группы.

На пустой, сожженной улице Поплавов в то утро гомонила небольшая печальная толпа. Окруженные горсткой уцелевших во время блокады жителей, в центре ее дымили цигарками несколько партизан, старик, назначенный временно председателем сельсовета, и Шашура. Шашура с важным видом держал в руке список, называл имена. Распределял партизан по бригадам...

Он явился к людям во всем боевом блеске. На плече, стволом вниз, висел, отливая синеватой сталью, ППШ, на боку мотался трофейный парабеллум. Узковатый, старенький пид-

жачок Шашуры был перехвачен командирским поясом с наплечными ремнями, что на спине сходились накрест; такие ремни носили кавалеристы. Над нагрудным карманом поблескивали уже довольно потертый орден Красного Знамени и партизанская медаль.

Закончив распределение, Шашура заявил:

— Вот и все пока. Больше выделить не могли... Сами понимаете, какое у нас, калина-малина, положение — приходится начеку держать автомат... Одним словом, воевать надо...

— Понимаем... и за то спасибо, что дали, — ответила Шабуниха среди гомона других женщин.

— Ну, раз понятно,— заключил с удовлетворением Шашура, — можно, калина-малина, начинать...

Он приказал партизанам расходиться на работу.

В это утро боевой подрывник был похож на колхозного бригадира, дающего людям наряды. Такое сравнение день назад, вероятно, задело бы подрывника, но теперь, сознавая важность своей почетной, хотя и штатской миссии, окруженный женщинами, с уважением смотревшими на него, он даже гордился, что ему доверили такое дело.

Повозки с плугами, посверкивающими белыми лемехами, начали разъезжаться. За ними стали расходиться и женщины: одни пошли за повозками, другие — к своим жилищам. Среди них не спеша двинулась и молчаливая Шабуниха.

Как и надлежит начальству, Шашура проследил за всеми; отправился последним, когда подчиненные пахари уже разъехались. Затаив озорные искорки в глазах, он обратился к невысокой, еще молодой, но с сетью морщинок у глаз женщине, ожидающей его:

— Командуй, тетка Аксинья, куда править...

Кроме ее имени он пока знал только то, что фамилия женщины — Поленичка.

Взяв вожжи, Шашура легко тронул ими коня, и повозка двинулась. Вскоре она въехала на голую выжженную усадьбу, похожую на все другие в этой деревне, но впечатлительный подрывник не сдержался:

— Эх, калина-малина, как вымели, захребетники!

Человек практичный, он сразу же отметил, что Аксинье все же повезло больше, чем многим другим: у нее уцелел хлев, стоящий поодаль.

В садике рядом с двором под обгорелой молодой яблоней, вдруг заплакал ребенок, и Аксинья бегом бросилась к яблоньке. Схватив ребенка на руки и покачивая, Аксинья стала успокаивать его.

— А-а-а! Ну, чего ты, что с тобой! Ну, тише, тише, глупенький, — ласково говорила она малышу. Улыбаясь, она

пожаловалась Шашуре: — Такой беспокойный, ни на минуту нельзя отойти.

Возле яблони стоял курносый мальчик, исподлобья поглядывал на незнакомого человека. Мальчик, очевидно, смотрел за ребенком.

Подождав, пока мать успокоит ребенка, Шашура попросил:

— Покажи, Аксинья, куда ехать. Чтобы не терять времени.

Аксинья оставила ребенка с мальчиком, повела подрывника в поле.

Остановилась невдалеке за селом.

Кое-где загоны были уже вспаханы, видно, еще до блокады, людьми, большинства которых уже не было в живых. Вспахали, не предполагая, что сеять и убирать придется уже кому-то другому.

Шашура перепряг коня, разулся, снял пиджак. Взял автомат, закинул за спину. Прицепил сбоку и парабеллум. Поставив плуг у начала загона, шевельнул вожжами, дал коню знак трогать. Лошадь натянула постромки, лемех послушно вошел в землю, и влажный, свежий, с жирным оттенком, серый пласт стал валиться набок. Босые ноги Шашуры ступили в мягкую холодноватую борозду, грудь под рубахой тронул щекочущий майский ветерок.

Пройдя до конца полосы, Шашура налег на ручки, перевел плуг на другую сторону загона и повернул назад. В конце загона его ждала Аксинья.

— Иди. Смотри за ребенком,— сказал он по-хозяйски.— Да прикажи, чтобы подкрепиться чего-нибудь подготовили... Святым духом, знаешь, долго не протянешь...

Она нисколько не удивилась тому, что он распоряжается, и послушно отправилась домой. А он сразу забыл обо всем. До чего же это хорошо: идти босыми ногами по мягкой борозде, держаться за плуг! Сколько времени он не брался за плуг!

Солнце поднималось все выше на ясно-голубом, с редкими легкими облаками небе. Становилось жарко. Сорочка намокла, особенно под мышками и на спине, и прилипала к телу. Время от времени неровными слабыми порывами набегал ласковый ветерок, приятно освежал лицо, холодил спину.

По всему полю спокойно, мирно трудились люди. Борозду за бороздой сосредоточенно и увлеченно вел Шашура, весь отдавшись сладостному ощущению тихого труда, покоя. Покой был у него в душе, покой, казалось, наполнял весь окружающий мир. Это ощущение покоя усиливало беззаботное, прекрасное пение жаворонков, которое будто разливалось и в небе, и по земле.

Сделав немало кругов, подрывник, однако, с досадой заметил, что начала деревенеть согнутая спина. Чем дальше шел бороздой, тем больше наливались усталостью руки, ноги, неме-

ющим рукам приходилось поочередно давать отдых, работать одной рукой. «Вот что значит отвыкнуть от работы!» — подумал он с удивлением и неудовольствием.

Но жаворонки все пели в небе и на земле, он это слышал, и ощущение покоя все жило в устающем теле...

Ближе к полудню подрывник издали заметил маленькую ловкую фигуру Аксиньи и другую, незнакомую: женщины что-то несли в узелках. Потом они разошлись, та, незнакомая, направилась к работавшему вблизи товарищу, а Аксинья пошла напрямую к загону Шашуры.

Шашура был уже недалеко от нее, когда из-за ближнего леса внезапно вынырнули два самолета. Подрывник сразу оставил плуг и бросился к коню, ухватился за узду. Он едва успел ухватить узду, как вверху послышалась, быстро приближаясь, трескучая, злая пулеметная очередь. Беспрерывно стреляя, самолеты низко, как бы придавливая к земле, прошли над полем; вслед за ними пробежала по полосам черная тень. Лошадь храпела, рвалась из рук как ошалелая, но Шашура, почти повиснув на ней, крепко держал узду, не выпускал ее. Она могла далеко убежать, ранить о лемех ноги.

Самолеты пропали вдали, но вскоре показались снова. Возвращались. Поле замерло, как перед грозой, и в настороженной тишине резкий треск пулеметов показался особенно громким и угрожающим. Шашура увидел вдали партизана, что целился навстречу самолетам, и пожалел, что так беззащитен перед самолетами здесь, в поле. «Эх, калина, лошадь эта совсем стреножила меня!» Шашура невольно втянул голову в плечи, снова напряг руки, не выпуская уздечки. Самолеты прошли, казалось, над самой головой, оглушив ревом моторов и стрельбой.

Он постоял, прислушиваясь, пока не убедился, что самолеты ушли, не возвращаются. Тихо тронув вожжами лошадь, ноги которой от нервного напряжения мелко дрожали, Шашура довел плуг до конца полосы и остановился. Перепуганная, побледневшая Аксинья сказала:

— Боже! И работать спокойно не дают!

— Знают, захребетники, что не достанешь автоматом! На голову садятся!.. — Шашура чуть не выругался, но вовремя спохватился.— Ничего, тетка Аксинья, бывает и хуже. И — нередко!..

Он распряг коня, пустил пастись. Тем временем Аксинья, как могла, преодолела волнение, испуг, развязала узелок. Расстелив вместо скатерти полотенце, поставила кувшин с молоком, миску с ноздреватыми картофельными оладьями.

— Подкрепись чем богаты!..

Шашура сел на заросший травой обмежек возле полотенца, довольно потер руки, показывая, что занятие, которое ему надо начинать, он весьма любит.

— Обед, можно сказать, мирного режима! Драников напекла! Как ты отгадала — я их страх люблю!.. Ну что же, начнем без всяких торжественных слов.

Он уже собрался начать, но вдруг передумал:

— Знаешь что! Давай вместе! Чтобы веселее шло и охотнее. Договорились?

Шашура, весело поглядывая, протянул ей кружку с молоком.

— Я уже обедала.

Аксинья, однако, не стала отказываться.

Он пил прямо из кувшина, большими глотками и закусывал сложенными вдвое драниками. Ел беспокойный подрывник так же, как и работал: споровисто, быстро, будто спешил и боялся не успеть.

Обтерев ладонью губы, с нескрываемым удовольствием поблагодарил за угощение, похвалил все. Полдник действительно показался ему очень вкусным. И поработал он немало, да и жить доводилось в последние дни голодновато...

После угощения полагалось на щедрость хозяйки ответить хорошим разговором.

— Молодец ты, ей-богу,— похвалил он ее.

— Да уж куда там,— скромно ответила она. Но подрывник почувствовал, что рада была похвале.

— Что-то я тебя не знал раньше?— удивился он. — Столько раз приходил сюда — и не знал, не встретил.

— Не судьба, значит, — невесело пошутила она.

— Муж, видно, строгий?

— Строгий... — странно ответила она и замкнулась.

Шашура уловил: разговор о муже что-то не по нраву.

— Ты не горюй больно,— посочувствовал он.— Наживется все. А что болит — утихнет.

— Не все...

— Все, все, калина-малина. Главное: живы остались. А все остальное заживет, зарастет. У меня сколько было — заросло, как мясо на собаке.

— Живы ли еще останемся, бог знает.

— Будем живы: не померли до сих пор, дальше уж — не помрем!

— Чудом спаслись! Перед тем днем, как знала, к свекрови уехала с малыми, тем и спаслась. А если бы не уехала...

— Не терзай себя! Ни к чему это! — Шашура все стремился увести от мрачных мыслей.— Скажи вот лучше: на что надеешься? Кого ждешь — и тому подобное?

— На что надеюсь? Вот война, может, когда-нибудь кончится.

— Кончится. И притом, заверяю, скоро...

— Пусть бы кончилась! Сколько ж можно терпеть ее!

— Кончится скоро, сказал ведь. А еще на что надежда?

— Дети вот подрастут. Старше будут — легче станет. Вся моя надежда.

— Так уж и вся? — не поверил Шашура.

— Вся.

Опять что-то она уклонялась говорить о муже.

— Кого-то же, наверно, ждешь? — поинтересовался он как можно равнодушнее, деликатно.

— Некого мне ждать! — печально сказала она.— С того света не возвращаются. — Нервно, горько сообщила: — Убили его еще в позапрошлом году. В партизанах тоже был.

— А-а,— посочувствовал Шашура.

Довольно долго молчали.

— Но ты — ничего, не горюй очень, а? — посоветовал деликатно Шашура.— Не всю же жизнь убиваться!.. Ему от этого легче не будет, а себя сведешь в могилу... Про детей думай. Да и сама ж еще молодая...

— Молодая...— скромно возразила она. Не согласилась с ним. Не подняла глаз.

— Я это — серьезно.

Она не ответила. Вдруг заспешила: собрала посуду в узелок, торопливо встала.

3

Под вечер он уже кончал загон. Опускаясь на лес, низкое солнце отбрасывало от лошади на поле длинную тень, на которой лошадь была похожа на жирафа. Все вокруг розовело. Шашура шагал устало и иногда выбивался из борозды, ступал то правее, то левее.

В этот предвечерний час он увидел вблизи Туровца, шедшего к нему широкими быстрыми шагами прямо через поле. Шашура сразу остановил лошадь, стал ждать. Туровец еще издали поздоровался.

— Напахал на трудодень? — спросил он, подойдя, с улыбкой глядя цыганскими глазами.

— Думаю, что хватит. Хоть и поздно начал.

— Хватит? Смотри, чтобы хватило... Что ж, выходит, и хлеб зарабатываешь? Никто не скажет — дармоед?.. Утомился?

— Немного...

Передав Шашуре автомат, Туровец взял у него ручки плуга. Туровец шел за плугом легко, уверенно, своим обычным шагом. Было видно, что пахать ему не впервые.

Он прошел один круг, другой, потом, поравнявшись с Шашурой, остановил коня, отдал вожжи.

— А вы, оказывается, калина-малина, с плугом, как с другом...

— С другом? — будто удивился Туровец.— Нет, брат, отвык. Не ври.

Он взглянул весело и так, будто говорил: «Зачем льстишь? Кому ты это...»

Туровец заторопился:

— Надо идти в село. Вечером будет собрание.

Он зашагал к деревне.

Закончив пахать, в теплом сумраке неторопливо двинулся в село и Шашура. Он шел счастливый и довольный прожитым днем; даже усталость, налившая тяжестью ноги и руки, была приятной.

Ему вспомнился разговор с Туровцом, и Шашура подумал, как хорошо было бы всегда вот так до вечера усердствовать в поле, возвращаться усталым домой.

Во дворе горел небольшой костер, на котором в чугунке Аксинья варила ужин. Услыхав шаги, она подняла лицо к Шашуре:

— Устал, наверно?

— Немного есть.

— Поставь коня да приходи сюда, будем ужинать.

Распрягая лошадь, он подумал, что надо как-нибудь постараться помочь Аксинье привести в порядок хозяйство; хотя бы залатать на хлеву крышу, что светится не одной дырой. Чтоб в дождь было где спрятаться.

Возле него вертелся мальчик, наблюдал за всем, что делает незнакомый дядька. Подбросив коню травы, Шашура внезапно схватил малыша на руки и пощекотал. Мальчик, выворачиваясь, весело завизжал.

— Ой, пусти, не щекочи!

Шашура поставил его на землю, полюбопытствовал, чем он сегодня занимался. Мальчик ответил:

— Ничем...

— Как это ничем? Весь день — ничем?

— Весь день! .. Аленку немножко покачал.

— Э, брат, неужели ты такой лентяй?

Мальчик, осмелев, вдруг попросил:

— Дядя, дай! — Он показал на автомат.

Шашура снял ППШ.

— На! Только тебе, друг, может, еще рановато?

Подержав с усилием автомат, малыш признался:

— Тяжелый.

Ужинали у костра, на траве. Грудной ребенок спал, а мальчик сидел возле матери, большими внимательными глазами следил за дядькой. Когда ужин закончился, Аксинья проронила:

— Говорили, собрание будет.
— Будет. Пойдешь?
— Нет, дети одни будут бояться. А ты пойдешь?
— Пойду.
— Ты мне расскажешь, что там будет, хорошо?

Молча кивнув, он свернул папиросу, бросил на ладонь багряно-бархатный яркий уголек и прикурил. Она взглянула на него:

— Где тебе постелить?

— Постели во дворе, в садике. Дождя, наверное, не будет.

Он посмотрел в небо.

— Ну, так я пойду. Часовых надо поставить, да и на собрание как бы не опоздать.

— Ты не очень засиживайся,— посоветовала она.

Спохватившись, она неловко добавила:

— Устал ведь. День такой.

— Нет, чего ж там...

Он вышел на улицу, темную, молчаливую. По вечерам деревни, знал он, давно уже молчали, не до песен людям было. Война всегда чувствовалась даже в зоне, до блокады, и тогда здесь люди жили сурово, по законам войны. Теперь было в тишине села что-то гнетущее, могильное. Тьма почти скрыла страшное зрелище разрушения, но Шашура в темени видел все еще более мрачным. Остовы печей выглядели в ней словно памятники над могилами. С тяжелым сердцем думал он об Аксинье, о ее судьбе. «Когда же это все снова придет на свои места и люди заживут как надо?»

Лишь в одном месте среди этой гнетущей темени горел, багряно пламенел костер. Но и он вызывал неприятное ощущение, напоминал об огне, сжегшем людей, деревню. Проходя мимо, Шашура увидел там группку сельчан, комиссара, похоже сосредоточенно беседовавших.

Разведя часовых, он направился к костру, посмотреть, послушать.

Разговор шел о всякой всячине, говорили все, кому хотелось, перебивали, поправляли друг друга. То шла речь о севе, то вспоминали страшный день, всякие случаи, ужасались, тревожились. Туровец слушал, подавал голос, сочувствовал. Могло показаться даже, что он просто участвовал в беседе, пустил все на самотек. Но скоро Шашура проницательно отметил: не впустую сидит Туровец, линию ведет. Не надо, мол, впадать в отчаянье, жить надо. Недолго уже страдать осталось. Слаб уже фашист перед нашей армией, не удержится. Что касается полевых работ, партизаны поддержат всем, чем смогут. Но надо и самим за дело браться. Общими усилиями одолевать беду...

Когда собрание закончилось, подрывник заспешил к Аксинье. По сохранившемуся хлеву легко определил ее усадьбу. Еще с улицы различил: Аксинья не спала, неподвижно темнела во дворе, возле хлева.

— Мечтаешь? — нарочно беззаботно спросил подрывник.— А говорила — не о чем...

— Значит, есть,— ответила она сдержанно, потом добавила открыто: — Почему-то муторно на душе. Вспоминается разное... — Она одолела трудное, спросила веселее: — Что там было?

4

Помня, что людям утром надо будет идти на работу, Туровец постарался закончить собрание раньше, дать им отдохнуть. Но люди расходились неохотно. Многие после собрания, окружив его, еще долго расспрашивали, толковали обо всем. Не отпускали. Будто не хотели остаться одни, наедине с бедой...

— Правда ли,— увязавшись за ним, оставшись наедине, сказал Туровцу старик, заговорщицки приглушив голос,— что, говорят, наступление уже три дня как началось? Слышал я, что Рокоссовский, значит, занял Могилев и Жлобин, только это пока держат в секрете...

— Что ты говоришь! — невесело удивился Туровец. — Могилев и Жлобин?

В беседах и вообще во взаимоотношениях с людьми у Туровца иногда можно было заметить то, что Ермаков называл «актерством» и «хитростью». Туровец нередко сознательно лукавил, не сразу высказывал собеседнику свое понимание дела. Он, случалось, удивлялся тому, в чем не было для него ничего странного, делал вид, что восхищается там, где восхищаться было нечем. Он как бы подлаживался под собеседника: удивлялся и восхищался там, где тому хотелось. Делал он это и потому, что такая игра давала возможность полнее высказаться собеседнику, а значит, и лучше понять его, и еще потому, что лукавство такое, игра эта — чего греха таить — Туровцу нравилась. Была такая слабость у комиссара бригады.

— Это, как его, формбюро наше,— продолжал старик,— пока молчит, чтоб передать сразу побольше городов!

— Вон что! — снова удивился Туровец.

— Наверно, когда Минск возьмут, тогда и будут передавать все за один день!

Не хотелось, очень не хотелось разочаровывать старика. Но обманывать нельзя было. Туровец наконец перестал улыбаться, задумался.

— Нет, наступление еще не началось,— сказал он, сожалея, что приходится огорчать.

Но старик не огорчился. Проницательно, весело посоветовал:

— Вы, товарищ секретарь, не скрывайте! Вам ведь давно сказали это! — Он, этот мудрый старик, понимал все, чувствовалось по голосу. — Наверно, не разрешают пока, чтоб говорили, поэтому вы и молчите!

Заметив, что Туровец будто колеблется, старик перешел на совсем дружеский тон:

— Оно и правда, шепни только одному, двум, так и поползет сразу по всему свету! — Старик тотчас уточнил: — Но оно, сказать, люди не все одинаковые. Два брата и то не бывает, чтобы как две капли походили друг на друга. Вот я, примером, человек не такой, одним словом, не то, что другие. Я человек очень скрытный. Никто знать не будет, если нельзя говорить... В Саковцах, что за пятьдесят верст, говорят, уже были наши разведчики... Правда?

— Нет, пока неправда. Но,— Туровец весело прищурил глаз,— может случиться, что... скоро станет правдой!

Старик понял это по-своему, тихо, заговорщицки засмеялся:

— Понятно, правда! Дыма без огня, говорят, не бывает! Если говорят, значит, что-то е-есть!..

5

Туровец решил сразу после собрания ехать. Здесь была Мария Андреевна, еще утром прибывшая в деревню осмотреть жителей после блокады, и они вместе направились в бригаду.

Туровец сам правил лошадью. Ординарца своего комиссар днем послал с поручением в один из отрядов.

На улице было пустынно и тихо.

Туровец, полный тяжелых воспоминаний об увиденном, об опустошении, произведенном блокадой, печально молчал. Понимал, что надо бы заговорить, но не мог. Впрочем, ему казалось, что Мария чувствовала то же.

Туровец ощущал ее плечо, которое от покачивания телеги то легко прислонялось к нему, то отдалялось. Подумал, что вот она с ним, что им всю дорогу долго ехать вдвоем, рядом, наедине, но и эта мысль увязала в печали.

Он рассказал о разговоре со стариком. Мария Андреевна задумчиво возразила ему:

— Вы ошиблись — это не неправда, это что-то другое. Люди говорят потому, что хотят, чтобы так было. Это скорее, как бы сказать, мечта. Мечта людская.

Мечта людская? Она, кажется, правильно сказала. Мечта, которой суждено скоро сбыться.

— Как Барковская — поправится? — спросил он. Барковская, мать троих убитых детей, помешалась.

— Трудно. Но, может быть, отойдет. Организм крепкий...

Некоторое время ехали молча. Вокруг было непривычно тихо и спокойно, казалось, ничто не сможет нарушить этот покой. Только и слышалось, как беззаботно поскрипывает телега, фыркают кони. Время от времени налетал легкий ветерок, начинавший под утро оживать.

— Вся земля — в пожарищах, — сказал он нервно, с тоской, — пахнет гарью... Стонет, кажется. Кажется, никогда не перестанет пахнуть дымом, стонать...

— Не надо, — попросила она горячо. — Не надо об этом, Ничипор Павлович! .. — Она мягко дотронулась до его руки. — Расскажите лучше, как вы жили прежде, до войны. Мне это хочется знать...

Он понял: спрашивает, чтоб увести разговор на иное, не столь горькое.

— Что же вам рассказать?

— Все, что хотите. Все будет интересно... Хоть с детства начинайте... — Она сказала мягко, с сочувствием: — Вы, кажется, сиротой были? ..

— Сиротой...

— И рано остались?

— Отца не помню совсем... Говорили, надорвался, поднимая бревна на сруб. В нашем же селе случилось... Плотником нанимался к людям, подрабатывал... Мать помню, но смутно. Умерла от чахотки, когда мне не было и шести...

Он задумался.

— С кем же вы жили?

— Сначала взял дедушка. Через пять лет — так перед весной — его похоронили рядом с матерью моей... Потом взял чужой человек, Евхим Стручок, односельчанин, добродей. «Не пропадать же ребенку! Должен же кто-то дать приют божьему созданию!»

— Что, тяжело было? — спросила она, уловив в словах Туровца иронию.

— Почти как обычно... Летом пас скотину, зимой ухаживал за ней. Возил дрова... Зарабатывал на кусок хлеба... Однажды на ярмарке хозяин мой купил коня. Конь был лихой, с норовом, но продавали дешево. Стручок и позарился. Скуп был очень, бережлив... Передал он коня мне, объезжать, приучать. Поганая скотина попалась, недаром дешево отдали! Зверем, кстати, звали; имя — лучшего для нее и не сыщешь! Долго никого и близко не подпускал. Ходил я, ходил вокруг него,

задабривал и строгостью пробовал — не дается, и все тут. Зверь зверем, ничего другого не скажешь. И вот однажды решился я сесть на него. Едва только вскочил на него, он как рванется, прыгнет, захрапит. Повертелся, поплясал и понесся по улице, в поле. Я вцепился в гриву, впился ногами ему в бока, ни жив ни мертв лечу. Вот он, смертный мой час, думаю!.. В поле он как метнется в сторону, я и полетел со всего разгона. Хорошо, что пахота была! И то, наверное, с час пролежал без сознания.

Мария Андреевна легко дотронулась до его локтя. Будто жалея, будто успокаивая.

— Ничего, все-таки ожил! Только шрам над левой бровью остался...

— Я думала, это с войны..

— С того дня... Добрался я, хромая, домой. Стручок как набросится: «Где конь? Ты его не нашел? Так чего же ты, волчье отродье, приперся назад? Ты думаешь, что за тебя будут искать другие?..» — «Жалобно как-то выходит, почти лирика»,— подумал Туровец и стал рассказывать более сдержанно: — Я, конечно, не пошел искать. Непослушный, упрямый был страшно. Потому, наверное, и от Зверя не отступился, пока не приучил. Еще три раза летал я с него кувырком, а потом дикая душа Зверя все же смягчилась. Смирился, стал слушаться... Меня тогда,— усмехнулся Туровец,— звали цыганом. Смуглый был, черный. Дети на улице кричали вслед: «Цы́ган, цы́ган, веди коня на выгон...»

— И долго вы пробыли у Стручка своего?

— Два года. Потом бросил все к черту и подался в город. Нанялся сторожем на пристань... Интересные времена тогда были... Неподалеку фронт. На улицах полно солдат. Веселые, возбужденные, голосистые... Однажды я попал на митинг — они тогда были чуть ли не каждый день. Говорили там о революции, о земле, о войне, говорили эсеры, меньшевики, большевики. Я многого толком не понял, но главное ухватил. Особенно что касается земли народу, власти мозолистых рук, серпа. Сознание того, что и я творец истории, сделало меня точно пьяным. Я упивался митингами, речами, был активнейшим участником всех манифестаций в пользу революции. В какую-нибудь неделю переродился в боевого революционера. Переродился вчистую!.. Раньше ведь все мои мысли ограничивались тем, как заработать копейку да прожить день. Мечтал только прикопить денег и вернуться в деревню, налаживать хозяйство... Теперь я полон был больших страстей, кипевших вокруг меня. Есть, оказалось, вещи куда более важные, чем свое хозяйство!.. Пробовал я в голодные времена снова жить в деревне, но вытерпел только год. Меня неудержимо потянуло на простор, в беспокойную жизнь. К свету... Я должен был

действовать. Революционная энергия, бродившая во мне, требовала активности! На торфоразработках, куда я приехал на заработки, меня выбрали бригадиром. Это была моя первая выборная должность, начало «карьеры руководителя»...

Говоря, вспоминая это, Туровец как бы таил легкий смешок. Задумавшись, замолчав потом, казалось, улыбался.

Мария Андреевна первой нарушила это молчание:

— Вам, видно, нелегко было в райкоме работать? Без образования?

— Нелегко. Пришлось доучиваться на ходу.

— Как?

— По вечерам, иногда — и ночами. Вернувшись из поездки по колхозам... Многому научила партийная работа, знакомство с различными людьми... Дважды побывал на парткурсах, в Минске, в Москве... Очень помог мне в учебе один человек...

— Кто он?

— Моя жена.

Воспоминания о жене обычно вызывали печаль — теперь он почувствовал как бы упрек себе. Зося предстала перед ним как судья: будто он был виноват перед нею, виноват, что полюбил другую. Тяжело было вспоминать ее теперь, говорить о ней, но он преодолел себя, решил рассказать все. Он ничего не хотел от Марии Андреевны утаивать, не хотел оставлять недомолвок.

— Мы познакомились, когда Зося окончила техникум. Она тогда только начинала учительствовать. Сама птенец была, но взялась помогать мне. Охотно взялась. Для меня она была просто находка. Повезло мне. Горячо взялся я за учебу! Правда, нелегко было — бесконечные разъезды. Не раз она ждала зря — не удавалось выкроить время, вернуться из района... Но чаще — выкраивал, возвращался, спешил к ней... Так было... Нередко после занятий начал засиживаться в ее комнате, делиться своими заботами... Зося рассказывала о своих учениках, каждого из них я вскоре знал как близкого знакомого... Задержавшись в районе, я все больше жалел, что приходится пропускать занятия. Жалел теперь, кажется, больше потому, что не мог увидеть ее... Учительница! — сказал Туровец с печалью и уважением.

Он попытался одолеть печаль, вспомнил веселее:

— Когда она стала моей женой, я часто в шутку называл ее учительницей. «Ну как, учительница, заждалась, наверное? Виноват, задержался!» Она упрекала, тоже шутя: «Виноват! Отговорка одна и та же. Не знаю, что и делать с таким ненадежным учеником!»

Туровец внезапно сообщил:

— Она погибла на второй день бомбежек. Я был в райкоме, когда позвонили... Не успела выйти из дома... Бомба попала прямо в дом...

Каждую фразу произносил так, будто ворочал глыбы руин того дома. Стал дышать трудно.

Не сразу заговорил снова. Все не мог начать. Начал задумчиво и открыто:

— Мне везло в семейной жизни. Очень везло. Мы были счастливы... Знаешь, мне даже кажется, что я был недостоин ее. Что она — лучше, гораздо лучше меня! Она была человеком, каких мало! Если я чего-нибудь стою, то это в основном ее заслуга...

Он заметил: Мария Андреевна слушала все это с настороженным вниманием.

Окончив рассказывать, Туровец успокоился: теперь она знает все.

— Вот, как на исповеди! ..

Снова длилось молчание, лишь поскрипывала повозка.

Туровец попросил ее рассказать о себе, но она сдержанно возразила:

— Не сейчас. Как-нибудь в другой раз... если только вас это будет интересовать.

Она думала о чем-то своем, и Туровец почувствовал, как их разделила невидимая граница. Ощущение близости исчезло.

Они долго ехали так — и близкие, и чужие. Опустив голову, будто задремав, Мария Андреевна молча думала о чем-то, вспоминала что-то свое, затаенное, куда не хотела его впускать, где он был нежеланным, ненужным. Туровец чувствовал, что она теперь была очень далеко от него.

— Вы, вероятно, думаете, что я скрытная и не умею благодарить за искренность,— вдруг заговорила она.— Выпытала у вас, что хотела, а сама молчу... Нет, я люблю откровенность, Ничипор Павлович, и умею на нее отвечать. Просто, говорю от души, не хотелось портить настроение и вам и себе. Мое семейное счастье было несладким... Я была несчастлива,— сказала Мария Андреевна с трудной прямотой, с вызовом. В голосе ее пробилась нотка ревнивой обиды.

Открыв самое трудное, она говорила уже легче.

— История моя очень простая, неинтересная. Я вышла замуж еще в институте. Жили сначала тоже очень хорошо, счастливо жили. А потом — мы тогда уже работали — он обманул меня... Я случайно узнала... С того дня мы стали чужими...

Она умолкла, очевидно вспоминая все вновь.

— Какое-то время мы жили еще вместе. В одной квартире. Сначала не разговаривали, потом он, Анатоль, захотел помириться. Просил простить, забыть. Клялся, заботился о дочери... А я не умею ничего ни забывать, ни прощать... Не простила... Тогда он переехал на другую квартиру... Правда, часто заходил проведать Светку... Когда началась война, его, как всех, призвали. Перед отправкой — уже из эшелона — он отпросился,

забежал к нам. Обнял и поцеловал дочку. Попрощался со мной... Сказал, что, если будет жив, вернется ко мне. Что без меня не может жить. Сказал еще, что я жестока... С фронта он прислал письмо... В общем, он после той истории, кажется, любил по-настоящему... А я? — Она задумалась.— А я? Война все же что-то изменила во мне... Жаль мне как будто его... Светку жаль... Вообще-то не понимаю, что во мне там, внутри...

Они въехали в лес. Молчаливый, торжественный, чуткий.

— Ах, Ничипор Павлович, что мне делать, не знаю,— сказала она по-иному, ласково, мягко.— Думаете, я не вижу, что вы меня любите? Вижу.

— Да, люблю... — Туровец трудно выговорил: — А ты?

— И я вас люблю.

— Любишь?

Он выпустил вожжи, волнуясь, взял ее руку, но Мария Андреевна, смеясь, легонько оттолкнула его.

— Лю-ю-блю! Признаюсь— чего уж скрывать? А вот как дальше быть с вами — не знаю. Думаю о Светке, о ее будущем, иногда об Анатолии, и все путается...

— Маша, я буду ей хорошим отцом...

Мария Андреевна мягко возразила:

— Не будем пока говорить об этом, хорошо? Подождем, посмотрим. Посмотрим, как дальше будет... А тогда я скажу, решу... один раз на всю жизнь, окончательно. Хорошо?

— Хорошо. Но... лучше бы теперь.

— Какой вы нетерпеливый! Ну, так и быть, постараюсь скорее... А если я решу сказать — нет? Как тогда?

— А ты постарайся сказать и быстрее, и — да! ...

Миновали поле, начался редкий лесок. Она подняла воротник пальто и сказала устало:

— Вы знаете, я третьи сутки не сплю. Я подремлю сидя. А вы не гоните быстро и кое-где объезжайте ямы. Иначе я, чего доброго, могу выпасть из вашей кареты, и вам придется отвечать.

Она уткнула лицо в воротник. Как ни тихо старался ехать Туровец, телега все же покачивалась, подпрыгивала на невидимых корневищах, заваливалась в ямы.

Мария Андреевна, было видно, крепко устала. Задремав, она прислонилась к его плечу, и он боялся пошевелиться.

Вокруг, особенно вверху, где виднелось небо, светлело. Приближалось утро.

Он видел, что Марии Андреевне неудобно, отодвинулся, положил ее голову к себе на колени. Она не проснулась. Почувствовав, что посвежело, Туровец осторожно вытянул из-под себя полу шинели и прикрыл ее. Если бы нужно было, он, кажется, взял бы ее на руки и потихоньку, чтобы не разбудить, понес.

Ему хотелось, чтобы эта поездка длилась долго...

«Я люблю. Я снова люблю...» Три гóда назад, когда он горевал о гибели жены, ему казалось, что все ушло без возврата. Тогда он и думать не мог бы о том, что когда-нибудь случится что-то похожее на вот это. Что кто-то придет в сердце, станет желанной, как та. Но случилось вот. Пришло. Он любит... Он счастлив... Хотя, казалось, так любил ту... Снова любит...

Медленно наступало утро. Туровец видел, как все более прояснялось, обретало краски небо, пунцовели вершины деревьев. Лес пробуждался, веяло величавым покоем и силой.

Глядя на ее голову, покоящуюся на его коленях, на белую, уставшую шею, на всю ее, доверчиво спящую рядом, он чувствовал, что счастье без нее невозможно.

ГЛАВА IV

I

Черняховский родился в селе Оксанино, степном селе на север от Одессы. Здесь, однако, прошли только первые годы его детства: когда ему было семь лет, родителям пришлось переехать на новое место. Пан Новинский, у которого отец Ивана был «при конях», купил у другого пана новое имение, и конюху с семьей пришлось ехать за ним.

Они стали жить в Вербове.

Жизнь в Вербове почти ничем не отличалась от прежней. Как и до этого, у отца не было ни своей земли, ни даже собственного угла: жить приходилось в панской хате «для конюхов», за которую пан удерживал часть отцовского заработка.

Недалеко от села была станция Вапнярка. Станция тогда казалась маленькому Ясю, как звали Черняховского в семье, сказочным краем. Глядя на паровозы, слушая свистки, лязг буферов, он немел от восхищения. Машинисты, сцепщики, стрелочники были героями его мечты. Когда Яся спрашивали, кем он будет, мальчик твердо отвечал: машинистом или стрелочником.

На этой станции Ясь начал учиться. Учеба давалась ему легко, особенно арифметика. Отец был очень доволен, что Ясь так хорошо решает задачи,— он считал арифметику «главной наукой в жизни».

— Если человек, сынок, умеет хорошо считать, он — ого! Такого, сынок, никто не обманет...

Ясь рос живым, беспокойным, смелым. Видно, эти качества его и были причиной того, что вербовские дети выбрали его

своим вожаком. Во всех играх, в походах Ясь неизменно был на первых ролях.

А тем временем в Вербове происходили необыкновенные события.

Пришла революция. Пан Новинский сбежал, и крестьяне поделили панский хлеб, несколько мешков его принес домой и обрадованный отец. Веселье в семье Черняховских, однако, было недолгим: скоро снова настали трудные времена. Пан Новинский вернулся с немцами, и хлеб, что еще оставался, отобрали, а отца прогнали со «двора».

Стали голодать...

В это трудное время в жизни Яся случилось самое худшее, что могло случиться. Жесток, беспощаден был удар, нанесенный мальчику, его семье. От тифа, свирепствовавшего в Вербове, слегли отец и мать, слегли и вскоре умерли. Почти в один день.

Ясь остался сиротой, вместе с пятью сестрами и братьями.

Двенадцатилетний мальчик начал работать на себя, на семью: летом и осенью пас вербовскую скотину, жарился долгими днями на солнце, мок под дождем, стыл в осеннюю непогодь.

Школа была закрыта, но ему хотелось учиться. Урывая деньги от своего жалкого заработка, он ходил на занятия к больному учителю.

— У тебя, Ясь, хорошая голова,— как-то сказал ему учитель.— Учиться тебе надо, обязательно.

Но учеба ему предстояла иная.

Из Вербова он ушел на железную дорогу, определился ремонтным рабочим. Летом меняли шпалы, ровняли насыпи. Зимой тоже работы хватало: взяв лопаты, выходили на дорогу расчищать ее от снега, ставить вдоль насыпи щиты.

На следующую зиму, немного поработав подручным слесаря в железнодорожных мастерских, он устроился проводником на товарных поездах, следовавших из Вапнярки в Одессу,— сопровождал важные грузы.

В те дни, одним из первых вступив в комсомольскую ячейку, Ясь уже жил, можно сказать, богатой жизнью.

Обстановка в селе была тревожной: недалеко действовали банды.

— Если придут бандюги, нас всех перебьют,— однажды сказал кто-то из комсомольцев после собрания, затянувшегося до позднего вечера.— Они давно уже точат зубы...

— Не перебьют! Мы сильнее их, — уверенно отозвался Ясь.— А если и сунутся — возьмем ружья да так их встретим!..

Он был всегда смелым и решительным. Видно, за это его любили, уважали и слушались...

Он не знал, куда девать энергию, бродившую в нем. Чем только он не занимался в клубе: выступал в спектаклях, играл в оркестре, пел в хоре, выпускал стенгазету, писал в нее статьи и даже стихи. Способный к музыке, он играл на всех струнных инструментах, которые были в деревне.

Горячий, настойчивый парень с черной чуприной, щеголявший в военной гимнастерке, в синих с кожаными леями галифе, он был лучшим комсомольским оратором на вербовских диспутах. С особым блеском выступал Иван Черняховский на диспуте «Есть ли бог?». У Ивана была на редкость цепкая память, хранившая бессчетное множество разнообразнейших сведений и фактов. Если прибавить к этому, что молодой оратор в спорах легко загорался, что спор возбуждал в нем упорство, ту одухотворенность, которую ученые люди назвали вдохновением, то удивительно ли, что Ивана невозможно было одолеть в диспуте.

Уже тогда можно было заметить в нем одаренного, талантливого человека, кипучая натура которого ищет своего пути.

Вскоре открылась прекрасная возможность: Ивану Черняховскому, который в то время уже работал шофером в Новороссийске, предложили поехать в пехотную школу в Одессу. Он без колебаний взял в окружкоме комсомола путевку и, полный надежд, укатил навстречу заманчивому будущему.

Надежды его, увы, не оправдались: пехотная школа не удовлетворила молодого пытливого курсанта, влюбленного в технику. Своенравный и целеустремленный курсант пехотного училища вскоре настоятельно попросил о переводе его в артиллерийскую школу.

Четыре года после окончания школы он служил в артиллерии, учился, множил опыт командирской работы: был и командиром взвода, и замполитом командира батареи, и командиром разведки батареи. Человек многосторонних интересов, активного отношения к людям, к происходящему вокруг, он всегда, всей душой отдавался партийной работе. Почти непременно Иван Данилович был то членом партбюро полка, то секретарем партячейки. Он любил политработу, должно быть, не меньше командирской деятельности.

— Вот где ваше призвание: политработа,— не раз говорил ему командир полка.— У вас талант политработника!..

Эти годы, как и все последующие, были полны каждодневной учебы. Трудолюбивый и любознательный, он изо дня в день впитывал в себя ценные знания, опыт, удивляя товарищей жаждой знать как можно более.

В те дни, годы в нем вызревало и крепло желание пойти учиться дальше, он чувствовал потребность в целенаправленной, максимально насыщенной учебе, в овладении новейшими теоретическими знаниями, новой техникой. Всем этим желаниям

его соответствовала Академия механизации и моторизации. Черняховский все более упорно стремился к ней. Удивительно ли, что, когда ему представилась возможность поступить в Академию, он с присущей ему энергией воспользовался этой возможностью. Тщательно подготовился к экзаменам, успешно сдал их.

В Академии он неизменно был отличником.

Но занятия не иссушали его. Как и прежде, он не мог ограничивать себя только делом. Широкой, неуемной натуре его мало было одного дела. Он увлекался спортом, причем разными его видами: был и лыжником, и волейболистом, и баскетболистом, и стрелком.

Когда он учился на третьем курсе, в Академии проводили переход на лыжах из Москвы в Нарофоминск. В день перехода мартовское солнце припекло, и снег начал быстро таять. Идти было трудно, многие курсанты сошли с лыжни и поехали на машине.

— Брось, Ваня! Сдавайся... весне! — посоветовал ему товарищ.

Черняховский не сдался, дошел до финиша — и не просто дошел, а занял первое место на курсе.

По-прежнему любил он музыку, любил петь, особенно украинские песни...

Окончив Академию, Черняховский несколько лет служил в Белоруссии — в Бобруйске и в Гомеле. Перед войной его перевели в Ригу.

Известие о войне застало Черняховского в учебном лагере под Шауляем, куда его танковая дивизия прибыла из Риги на летние учения.

Он начинал войну полковником, а через три года был уже генерал-полковником, ему доверили командование фронтом. Позади был большой и трудный путь: он командовал и дивизией, и корпусом, и армией; позади были отступление сорок первого, трудные бои под Новгородом и под Воронежем, переправа через Днепр, освобождение Киева, многие другие большие сражения и маленькие бои. Позади были дни и ночи огромной, незаметной для посторонних работы, подготовки к сражениям тысяч солдат и офицеров, всего наисложнейшего хозяйства соединений.

2

Черняховский больше суток ездил по переднему краю, знакомясь с обстановкой, с частями.

Теперь командующий возвращался в штаб фронта.

Откинувшись на мягкую спинку, прямо, как бы горделиво

держа голову, он сидел за баранкой, привычно вел машину. Вел он машину сам не впервые за эти дни: нередко приказывал командующий шоферу поменяться местами — и садился за руль.

Шофер чувствовал себя неловко без дела, у него был строгий и немного виноватый вид. Хотя он и знал, что командующий тоже когда-то был шофером, возил директора завода в Новороссийске, все же не мог привыкнуть к тому, что приходится быть при командующем пассажиром.

Машина мчалась по дороге, минуя деревни и поля. Лицо генерала холодил утренний ветерок, залетавший в машину. Холодок этот был приятным, прогонял сонливость, бодрил.

Машина отошла уже далеко от переднего края, когда генерал-полковник заметил впереди несколько танков, мчавшихся наперерез. Танки шли со значительными интервалами. Увидав «тридцатьчетверки», командующий оживился, приподнялся на сиденье.

Это была родная, близкая сердцу картина. Сколько раз ему самому приходилось водить «тридцатьчетверки» по военным дорогам, в бой!

Проехав еще немного, Черняховский заметил в кустарнике возле дороги прикрытую ветками «тридцатьчетверку».

Он остановил машину. Накинув плащ-палатку, раздвигая мокрые ветки, подошел к танку. Поблизости стояла еще одна «тридцатьчетверка». По знаку на башне он понял, что машины — из славного гвардейского корпуса.

Возле танка хлопотал боец. Увлеченный делом, он не сразу заметил Черняховского. Только когда выпрямился, торопливо двинулся к своему люку, вдруг увидел его.

Рыжеватый, в веснушках танкист окинул настороженным взглядом человека в плащ-палатке и не совсем уверенно поздоровался.

— Чем вы занимаетесь?

— Воюем... — кратко и неприветливо ответил солдат.

Он увалисто, озабоченно двинулся к люку.

— Подождите, товарищ...

— Некогда... Сейчас позову командира... — И он скрылся в люке.

«Прием не очень деликатный», — подумал командующий, не сбрасывая плащ-палатки.

Вскоре из машины выскочил второй танкист. Поздоровавшись, он спросил документы; Черняховский протянул ему удостоверение.

Раскрыв его, танкист мгновенно выпрямился перед командующим. Поднес напряженную ладонь к шлему.

— Извините, товарищ генерал. Виноват. Никогда не видел.

Он был явно смущен. На лице было выражение неловкости и тревожного ожидания. Спохватился, назвал себя:

— Гвардии старший лейтенант Лагунович.

Оправляясь от первого смущения, старший лейтенант торопливо, несколько срывающимся голосом доложил, чем занимается его рота. Рота с батальоном участвовала в ночных занятиях.

— Почему же стоите, товарищ гвардии старший лейтенант?

— Задержка. Ждем сообщений разведки.

Черняховский спросил, часто ли проводятся в бригаде ночные занятия.

— Два-три раза в неделю, товарищ генерал.

Черняховского чем-то привлекало доброе, как бы застенчивое лицо танкиста. Была в лице старшего лейтенанта доброта, за которой командующему угадывалась внутренняя открытость, честность фронтового труженика.

Испытывая симпатию к танкисту и стремясь рассеять неловкость первого момента встречи, командующий деликатно, дружески поинтересовался, давно ли старший лейтенант в бригаде и давно ли на фронте. Где воевал.

Ответ танкиста укрепил в Черняховском ощущение симпатии к застенчивому ротному. Подумал невольно: не обмануло внешнее впечатление, угадал.

— Семья где? — спросил Черняховский.

Ротный помрачнел, отвел взгляд в сторону. Выдавил:

— По ту сторону. . .

— Там. . . — сочувственно насупив приподнятые дуги бровей, произнес командующий.

Тем временем к ним подошло еще несколько танкистов. Первым соскочил с башни Быстров, за ним заряжающий, потом от соседней машины явился Колышев; Солнцев, так неудачно встретивший генерал-полковника, отсиживался в танке.

Черняховский прервал разговор с Алексеем, быстро, с любопытством посмотрел на подошедших. Отметил уверенный, показалось — даже самоуверенный, независимый взгляд плотного танкиста, Быстрова.

— Чем занимались в последние дни? — обратился он к Быстрову.

Быстров держался все с той же уверенностью. Черняховскому показалось: испытующе глядел на него, командующего.

— Пристреливали орудия, товарищ генерал. Экипажи учили.

Во взгляде танкиста было все то же испытующее, ожидающее.

— Чему, конкретно?

— Теперь вот начали заменять друг друга.

— Это хорошо. Вы давно в бригаде? — снова быстро окинув глазами танкистов, остановил Черняховский взгляд на Колышеве.

— Одиннадцать... дней, товарищ генерал.

— Каково ваше мнение о бригаде? Хорошая бригада?

— Бригада хорошая, товарищ генерал! Прославленная...

— Прославленная? Этого мало. Слава, как и гимнастерка, может покрываться пылью и стареть.

— Обновим, товарищ генерал,— решительно вмешался Быстров. Он недобро, насмешливо глянул на Колышева: не мог ответить как следует.

— Обновите? Н-ну, смотрите! — Черняховский все время чувствовал следящий взгляд плотного танкиста. Опять обратился к старшему лейтенанту, уже строго, как командующий: — А на занятия вы всегда выезжаете без автоматчиков?

Алексей заметно смутился.

— Нет... Прошлый раз, товарищ генерал, занятия проходили с автоматчиками...

В это время старшего лейтенанта позвали к рации.

Алексей в первое мгновение обрадовался, что зовут: разговор с командующим все же беспокоил. Но он сразу же сообразил, что уйти так охотно от командующего будет нехорошо, не по-командирски, и командующий может это почувствовать. И он, с удовольствием сознавая, что поступает мужественно, попросил у командующего разрешения передать, чтобы там обождали. Но Черняховский не разрешил.

— Нет. С этим ждать нельзя,— произнес он твердо, значительно. — Война не ждет... — С той же значительностью, понимая, что каждое его слово запомнят и передадут другим, посоветовал, приказал: — Готовьтесь, товарищи, хорошо готовьтесь. Вам предстоит важная работа...

Он поправил на плечах плащ-палатку.

— А вы, товарищ старший лейтенант, запомните, что на занятия надо отправляться в полной боевой готовности. Каждый раз! .. Идите!

— Есть!

Танкисты поспешили к своим танкам, а Черняховский быстро зашагал обратно.

Через минуту его машина снова мчалась по дороге...

3

Штаб 3-го Белорусского фронта размещался километрах в четырех от городка Красное.

Прославившийся еще при Кутузове, городок стал центром, откуда велось управление многотысячными войсками фронта. Освобожденный полгода назад, городок лежал весь в руинах,

среди которых кое-где чернели стены сожженных домов. Он казался пустым, почти нежилым, как и все разрушенные города.

Совсем иначе шла жизнь в сосняке за городом, где расположился штаб фронта. В блиндажах, вырытых между деревьями, ни днем ни ночью не утихала напряженная, неутомимая работа.

Над блиндажами, покачивая вверху высокими макушками, шумели сосны. Тонкие и стройные, они похожи были на часовых.

Командующий еще издали увидал знакомый рисунок леска.

По обеим сторонам дороги мелькали, убегая назад, ряды старых лип, некоторые из них начали сохнуть — вверху чернели голые сучья.

На перекрестке дорог стоял памятник воинам 1812 года, возле него виднелась группка солдат, видимо направлявшихся на передний край.

Сосняк стремительно приближался. Когда машина подошла к шлагбауму, преграждавшему на опушке дорогу, часовой, вышедший из дощатой будки, сначала намеревался было спросить документы, но узнал командующего и тотчас пропустил.

В сосняке машина шла тихо, объезжая стройные бронзовые деревья и сизую чащу зарослей.

На развилке дорог, одна из которых вела в гараж, генерал-полковник остановил машину и вышел.

— Передай механику — пусть наладит мотор,— сказал он шоферу, поправляя на плечах плащ-палатку, — в одном цилиндре стучит...

Стоял и ждал члена Военного Совета, ехавшего следом. Недавно здесь, видно, прошел дождь — песок на дорожке прибило, он затвердел и стал ноздреватым, будто покрылся оспинами.

Дальше генералы пошли пешком.

Несмотря на ранний час, здесь чувствовалась жизнь. Из одного блиндажа выбежал, держа в руке лист бумаги и на ходу просматривая его, молодой черноволосый офицер. По пути встретились еще два офицера и девушка-связистка, куда-то спешившие.

Черняховскому приятно было видеть здесь жизнь в такую раннюю пору. Когда подошли к тропинке, по которой члену Военного Совета надо было свернуть, Черняховский сказал, что неплохо было бы сегодня выбрать время и сходить в баню...

— Да, неплохо бы смыть дорожную пыль... — устало, но одобрительно отозвался Макаров. Он подал руку: — Ну и наездились мы нынче, Иван Данилович!

Черняховский пошел к своему дому, стены которого, окрашенные в зеленый цвет, размалеванные рыжими полосами, выглядывали из-за сосен. Деревянная крыша была тоже камуфлирована, прикрыта набросанными ветками.

Вдруг он услыхал вверху над собой знакомый металлический треск и остановился: на сосне, на медном стволе с тонкими, похожими на слюду пластинками коры, висела головой вниз огненно-рыжая белка. Пушистый хвост ее был поднят, на тощих боках ходили ребра. Напряженно пригнувшись, она смотрела внимательными глазами на Черняховского.

Щелкнув, пробежала несколько шагов по стволу и остановилась, потом начала быстро спускаться. На земле встала на задние лапки, оглянулась вокруг и хлопотливо поскакала к соседнему дереву. Там что-то поискала. Черняховский шевельнулся,— и она, испуганная, сразу прыгнула на дерево и как молния полетела по стволу, осыпая вниз кору.

Командующий залюбовался ее живостью и ловкостью. Взлетев на кривой сук, белка прыгнула в воздух и какой-то миг парила, летела в голубой вышине, как птица. Потом мелькнула на зеленой ветке, что сразу закачалась.

«Ишь ты, попрыгунья!» — невольно подумал Черняховский.

Он устало поднялся на крыльцо с небольшим навесом. В приемной дежурил русый курносый лейтенант. Увидев командующего, он поспешно вскочил и поздоровался.

Черняховский, почти не задерживаясь, попросил принести материалы, пришедшие на его имя.

Он прошел в кабинет. Кабинет был самой большой комнатой в доме. В углу стоял рабочий стол, к нему примыкал другой, подлиннее; у стены — диван, несколько стульев. Недалеко от рабочего стола висела большая карта фронта, закрытая синей шторой.

Лейтенант принес радиограммы, донесения, докладные, и Черняховский, не раздеваясь с дороги, стал быстро и молча просматривать их.

— Есть еще письмо, товарищ генерал.— Адъютант подал маленький самодельный конверт. Черняховский мельком глянул на адрес: «В действующую армию на Западный фронт, командующему генералу тов. С.». «С.», вероятно, значило — Соколовскому, командовавшему бывшим Западным фронтом.

Черняховский посмотрел на танки и самолеты с красными звездочками, нарисованные вверху письма, стал читать.

Прочтя, он насупился, положил письмо в стол. «От дочки, видно. . . или от Алика»,— подумал Комаров, не видевший адреса на письме.

Черняховский одним движением распахнул плащ-палатку, отдал ее подбежавшему ординарцу, отрывисто бросил порученцу:

— Комаров, вызови на восемь тридцать начальника тыла. На девять — командующего воздушной армией. Переключите телефоны! Всё? — взглянул он на адъютанта.

— Был ваш брат, товарищ командующий. Подполковник Черняховский, Александр Данилович.

— Давно?

— От шестнадцати тридцати до семнадцати.

— Уехал?

— Так точно. Он был проездом.

Брат командующего служил на этом же фронте в танковой бригаде, заместителем командира. Видеться им приходилось очень редко, и Черняховский пожалел, что не встретились.

В комнате отдыха, маленькой и узкой, в которую вела дверь из кабинета, ему показалось душно, и он отворил окно. Сняв китель и сапоги, на минуту прилег на железную кровать, накрытую простым байковым одеялом, и почувствовал, как приятно, легко стало телу. Зевнул и сразу спохватился:

«Так, чего доброго, засну».

Он с усилием поднялся и, умывшись во дворе под жестяным умывальником, прибитым к сосне, порозовевший, бодрый вернулся в комнату, стал надевать чистый китель. Китель становился тесноватым, — у Черняховского шевельнулась мысль: «Начинаю полнеть. И хожу много, а все почему-то полнею...» Он причесал густые непослушные волосы, окинул себя взглядом — командующий любил аккуратность в одежде — и вышел в кабинет.

Взяв с краю стола, где лежали свежие газеты, последний номер «Правды», Черняховский прилег на диван, положил голову на рубчатый жесткий подлокотник. Этот твердый деревенский диван, на котором обычно лежал генерал в редкие минуты отдыха, попал в его кабинет «временно», но когда потом его заменили мягким, плюшевым, Черняховский, к удивлению многих, приказал вернуть прежний.

— Вы что, из кабинета вторую спальню хотите сделать? — сказал он адъютанту.

Что правда, то правда: спать на этом диване было не сладко. Читая газету, Черняховский все время менял положение головы: не давал покоя проклятый жесткий угол боковой стенки. Но когда Комаров через несколько минут заглянул в кабинет, то увидел, что командующий, неловко подогнув голову, спит, держа развернутую газету на груди.

Порученец тихо прикрыл дверь и переключил телефоны на приемную.

Минут через сорок явился начальник тыла, и Комаров со строгим, деловым видом снова вошел в комнату.

— Товарищ командующий!

Черняховский пошевелил бровью, будто отгоняя муху, и проснулся.

— Что такое?

— Прибыл начальник тыла.

— Прибыл? .. Хорошо.

Он встал, привычно одернул китель и, проведя рукой по лицу, как бы стирая остатки сна, сказал:

— Проси.

Черняховский шагнул навстречу вошедшему, поздоровался.

— Доложите,— мягко попросил он, заходя за рабочий стол,— какие перемены произошли у вас за последние двое суток.

— Есть... — начальник тыла развернул папку, которую держал в руках. — За этот период нами получено: первое — оружие и боеприпасы...

Заглядывая в папку и время от времени вопросительно посматривая на командующего, он стал медленно хрипловатым голосом называть число эшелонов с оружием, номенклатуру боеприпасов — род, калибр, марки. После каждого пункта он делал паузу, ожидая замечания или вопроса Черняховского, но тот молчал.

Командующий внимательно слушал, однако почти ничего не записывал. Только раз или два сделал какие-то пометки в записной ледериновой книжечке, которую вынул из кармана. Начальника тыла это не смущало: как и прочие близкие к командующему люди, он знал, что у Черняховского на удивление хорошая память, что она хранит самые разнообразные сведения обо всем фронте, о дивизиях и даже полках.

Генерал читал, время от времени посматривая на Черняховского.

— Хорошо. Доложите, сколько боекомплектов гранат в частях, на ДОПах, в армиях, на складах фронта?

И снова генерал читал, стараясь стоять прямо, а Черняховский слушал, тоже стоя, машинально вертя в руках остро заточенный синий карандаш.

— Горюче-смазочные материалы...

— Обождите.— Карандаш легко стукнул по столу.— Бронебойных патронов у нас по графику должно быть три боекомплекта? Почему пока только два с половиной?

— Два эшелона с патронами задержались в Москве — на Окружной. Один — с бронебойными патронами.

— А как дела с автомобильным маслом специальным? — спросил Черняховский, вспомнив какой-то прошлый доклад.

— Еще не уложились в график, товарищ командующий.

— Сколько же вы будете укладываться?

— Железная дорога, товарищ командующий, подводит.

— А вы говорили с железнодорожниками?

— Говорил...

— Ну и что?

— Обещают выручить.

— Обещают. А между тем уже не впервые не справляются с графиком.

— Я говорил с ними об этом.

— Видно, недостаточно хорошо говорили.

Он прошелся по комнате, засунув руки в карманы. Генерал молча следил за ним, опустив папку и держа между листками палец вместо закладки.

— Что ж, я с ними поговорю! Где эшелоны с автомобильным маслом?

— На подходе, товарищ командующий.

Черняховский вернулся к столу.

— Доложите, сколько всего эшелонов на станциях разгрузки, на подходе, какие.

Выслушав ответ, командующий минуту помолчал, покручивая карандаш.

— Я приказал при перевозке войск и вооружения соблюдать строгую маскировку. И все-таки до последнего времени наблюдаются случаи, когда шоферы едут ночью с полным светом.

— Нарушают. Я предупреждал людей, товарищ генерал.

— За нарушение маскировки — шоферов сразу снимайте с машин, а командиров привлекайте к ответственности.

— Есть, товарищ генерал. Я сегодня же приму меры.

— Все, можете быть свободны.

После него Черняховский попросил зайти командующего воздушной армией, наметил на ближайшие дни план «обработки» с воздуха важнейших железнодорожных узлов.

Уже много дней Черняховский обстоятельно знал план будущей операции и то, какое место отводится в ней его фронту, ему самому.

Это стало ему известно 22 мая на совещании в Москве, в Ставке, на котором присутствовали Сталин, его заместители, командующие четырех фронтов. По плану наступление предполагалось развернуть на всей огромной линии от Полоцка до Мозыря. Предполагалось, прорвав фронт на шести отдаленных друг от друга участках, раздробить силы врага и по частям уничтожить. Удары должны были сходиться в направлении на Минск.

То, что стало ему известно на совещании, конкретизировала и закрепила в точных, строгих выражениях 31 мая директива Ставки, которая руководила всеми его действиями в будущей битве. Его войска вместе с войсками соседних 1-го Прибалтий-

ского и 2-го Белорусского фронтов должны были разгромить витебскую и оршанскую группировки немцев и выйти на Березину. Фронт должен был нанести два удара: первый двумя армиями на юг от Витебска; второй, тоже двумя армиями,— вдоль минской магистрали...

Черняховский и его штаб за эти считанные дни уже многое сделали для скорого наступления. С каждым днем наступление, еще недавно существовавшее в общих, схематичных чертах, приобретало все большую жизненную конкретность и сложность. По мере того как оно обрисовывалось, ширилось, оно выдвигало все больше требований, ставило все больше вопросов, загадок, которые надо было выяснить, решить.

Все эти дни Черняховский с утра до ночи — до той поздней поры, когда, измученный поездками, заботами, засыпал, — думал над этими загадками, обступавшими его со всех сторон.

Среди множества дел, ожидающих командующего фронтом в этот день, одно имело, можно сказать, исключительное значение: на десять часов было назначено совещание с командующим 11-й гвардейской армией. Совещание было не первым среди самых важных дел, которые Черняховскому предстояло сделать до начала наступления: командующий уже проводил такие совещания с руководителями штаба фронта и командующими родов войск. На этих совещаниях с особым вниманием обсуждались общие вопросы операции, задачи разведки, задачи инженерных войск, артиллерии, авиации. За последние два дня он побывал в 5-й и 39-й армиях, встретился с их командующими генералами Крыловым и Людниковым, вместе с командованием армий обсудил все, что касалось наступления.

Сегодня настала очередь 11-й гвардейской армии. Эта встреча была особенно важна потому, что в будущей операции армии предстояло выполнить самую трудную и ответственную задачу. Армия стояла на центральном направлении и должна была наступать вдоль магистрали и через осиновские болота.

Около десяти Черняховский, в кабинете которого уже сидели начальник штаба фронта генерал-лейтенант Покровский и начальник оперативного управления генерал Иголкин, вышел в приемную и пригласил вызванных на совещание к себе. Поздоровавшись со всеми, подошел к столу, окинул взглядом, по-хозяйски посмотрел, где кто устраивается. Выбрав себе места, генералы тоже не садились, смотрели на него, ждали его слов. Здесь были кроме Покровского и Иголкина член Военного Совета Макаров, который стоял рядом с Черняховским, некоторые командующие родов войск, командующий, член Военного Совета армии, начальник штаба армии. Список тех, кого вызвать на совещание, Черняховский составлял сам, отобрал только необходимых, заботясь о том, чтобы и это совещание было секретным.

Явились все, кого вызвали.

— Прошу садиться.— Черняховский обождал, пока все сядут, сосредоточат внимание, деловито объявил: — Начнем. — Взглянул на командующего армией, следившего с видом, в котором чувствовались собранность и готовность к делу.— Вам слово, товарищ Галицкий.

Командующий 11-й гвардейской, коренастый, с обветренным лицом, с проседью в русых волосах, встал, неторопливым, уверенным шагом направился к карте, висевшей рядом со столом. Взял из рук Черняховского указку. Спокойно, даже немного медлительно стал докладывать, как он решил расположить войска перед наступлением, в районе магистрали, где было узкое дефиле среди болот, на обширном болотном пространстве. Без излишней торопливости, с каким-то очень хорошим достоинством доложил, какие задачи ставит перед каждым соединением, каждой приданной частью. Рассказал, как думает организовать прорыв немецкой обороны в полосе магистрали, в болотах, как, введя войска в прорыв, будет наступать в направлении Орши, возьмет Оршу, будет развивать наступление вдоль магистрали до Борисова. Подробно доложил, как армия будет взаимодействовать с соседними — 5-й с севера и 31-й с юга...

— Хорошо,— приветливо, даже почтительно сказал Черняховский. Чувствовалось, что он с уважением относится к командующему армией, верит его опыту, знаниям. — Давайте заглянем по ту сторону фронта. Охарактеризуйте положение войск противника, что нового обнаружила разведка?

Он слушал с тем же приветливым, но одновременно и строгим, требовательным выражением. Стал расспрашивать о 78-й штурмовой дивизии, которая сидела, зарывшись в землю, по обеим сторонам магистрали.

Уже из того, что засекли пехота и артиллерия, что обнаружила разведка армии, было видно, как крепко вцепилась в узкую полоску земли немецкая дивизия. Минные поля, проволочные заграждения, огневые точки, доты, дзоты, траншеи, пулеметные гнезда, минометные, артиллерийские батареи, тщательно замаскированные, подготовленные,— на многие километры в глубь фронта...

— 78-я штурмовая дивизия славится у немцев упорством в обороне,— сказал член Военного Совета фронта Макаров.— Генерал Траут — один из самых опытных фортификаторов...

Черняховский поддержал Макарова:

— Мы предоставили более чем достаточно времени этому фортификатору! — Он заговорил озабоченно: — Крепкий орешек достался армии! Надо будет хорошенько поработать, чтобы расколоть!.. — Он взглянул на командующего армией: — Как вы оцениваете данные разведки? Они полны?

— Думаю, что не все удалось обнаружить,— открыто признался командарм.— Нами выявлены огневые точки, которые ни разу не отзывались на наш огонь.

— Артиллерийская разведка тоже обнаружила несколько таких батарей,— подтвердил командующий артиллерией фронта Барсуков.

— К сожалению, поиски разведчиков часто заканчиваются неудачей,— снова заговорил командарм.— Потеряли немало хороших людей... Большая плотность, и внимательно следят...

— Надо всеми силами вести разведку,— твердо, даже жестко приказал Черняховский. Он взглянул на начальника штаба, потом на командующего воздушной армией.— Надо усилить разведку с воздуха.

Черняховский перевел взгляд на командующего артиллерией:

— Товарищ Барсуков, доложите об артиллерийском обеспечении прорыва.

Внимательно слушал, как генерал глуховатым голосом называл подошедшие части и части на подходе, следил, как генерал показывал их размещение. Снова с особым вниманием расспрашивал о тех, которые будут вести артподготовку в полосе магистрали. О том, сколько боекомплектов будут иметь до начала наступления, сколько имеется сейчас.

За командующим артиллерией Черняховский поднял командующего воздушной армией: чем поможет 11-й гвардейской в наступлении авиация? За командующим воздушной армией попросил доложить о действиях своих частей начальника инженерных войск Баранова...

Окна в кабинете были закрыты, день к тому же выдался душный, должно быть, парило. Солнечное тепло падало на правое плечо, жгло спину. Черняховский отодвинулся в тень. Когда Баранов закончил, он, взглянув на часы, разрешил сделать перерыв. Встал, широко раскрыл окна.

Генералы вышли во двор, под сосны, в пропахшую смолой тень. Прохаживались, стояли группами, разговаривали, курили. Высокий, с коротко остриженными волосами генерал авиации, отличавшийся от остальных голубыми лампасами, рассказывал в кружке веселую историю, и слушавшие его генералы хохотали. Сдержанно посмеивался и задумчивый, углубленный в себя Черняховский, стоя немного в стороне. Невдалеке что-то доказывал генералу Барсукову Иголкин, невысокий, гололобый, добродушный,— удивительно мирный даже в своем генеральском мундире...

После перерыва Черняховский снова закрыл окна; вернувшись к столу, отыскал взглядом командующего бронетанковыми войсками.

— Товарищ Родин, согласован ли с командованием армии план ввода в прорыв танковых войск?

Генерал Родин поднялся:

— Согласован. Мы согласовали детали ввода с командующим армией. — Он взглянул на командарма, будто просил подтвердить.— Кроме того, план ввода был согласован и с командующим корпуса...

— Вчера мы встретились с генералом Бурдейным, — сказал командарм.

— В полосе магистрали вы должны ввести 5-ю гвардейскую танковую армию, — напомнил Черняховский. Напомнил тоном, который означал: вы должны отнестись к этому с особой ответственностью. Армия для успеха наступления фронта имеет особое значение, будто говорил Черняховский. Следующие несколько вопросов командующего были о том, как будет организован ввод в прорыв армии, которая была на подходе, размещалась в лесах в тылу фронта.

Вопросы были и общие, широкие, и более узкие, практические: кто обеспечит разминирование минных полей в полосе ввода танков, как помочь танкистам в преодолении противотанковых препятствий, как организовать связь пехоты с танками. Черняховский снова вызвал командующего воздушной армией генерала Хрюкина: кто прикроет ввод танковых войск с воздуха, кто будет прикрывать их в дальнейшем продвижении.

Потом на какую-то минуту наступило молчание. Черняховский всматривался в карту, в полосу магистрали, и лицо его выражало тревогу и вопрос. Он смотрел так, будто спрашивал, будто требовал ответа. Беспокойно, недовольно потер щеку и шею. Резко повернулся к командарму.

— А что, если у нас здесь не пойдет? — сказал вдруг открыто, беспощадно.

Это был смелый вопрос. Могло показаться — и ненужный, зачем рассуждать о таком, если Ставка решила по-иному. Решение Ставки — закон. И вообще, к чему еще до начала дела допускать возможность неудачи. Да еще на важнейшем направлении.

Командующий армией с трудом находил ответ.

— Мы будем развивать наступление также в направлении Остров-Юрьев. — Он говорил о той части войск армии, которая была в осиновских болотах.— Мы нависнем над дефиле, над шоссе с севера. В конце концов это поставит противника перед угрозой окружения...

— Ввод корпуса Бурдейного может задержаться,— будто осуждал командующий.

— Можно было бы использовать корпус в боях на про-

рыв,— в раздумье произнес командарм,— но он может понести большие потери...

— Корпус нельзя вводить в бой на прорыв,— возразил генерал Родин.

— Да, корпус надо сохранить для развития наступления,— сказал Черняховский.

Он напомнил командующему армией:

— У вас в тылу ждет ввода армия Ротмистрова.

— Да...

Снова наступило минутное молчание. Тяжелое, тревожное. Черняховский стоял за столом, засунув руки в карманы, ждал.

— Как вы думаете,— заговорил он напористо,— возможно ли, в случае неудачи в районе магистрали, ввести корпус,— он взял указку, резко взмахнул по карте,— в направлении — Остров-Юрьев, Межево, на Клюковку?

— Корпус может засесть,— сказал командующий армией.— Во всяком случае болота задержат продвижение корпуса...

— Там есть насыпи узкоколеек...

— Насыпи ненадежны...

— Хорошо,— Черняховский будто показывал: кончим пока с этим.— Откуда наибольшая опасность контратак противника при наступлении на Остров-Юрьев? Какими силами и средствами могут, по-вашему, вестись эти контратаки? Как вы рассчитываете их отбивать?

Задавал вопрос за вопросом — жданные и нежданные. Что вы думаете сделать для поддержки армии Крылова, если она вырвется вперед; как будете защищать фланги, если вырветесь вперед вы? Все, что могло встретиться в изменчивом счастье боев, хотел предвидеть заранее, предусмотреть...

После этого напомнил: успех наступления будет в высшей степени зависеть от того, насколько незаметно удастся подготовиться, насколько неожиданным для противника окажется удар.

Под конец снова вернулся к магистрали: как там ни трудно, надо сразу же разломать фронт немцев, поддержать пехоту сильнейшими ударами артиллерии и авиации. Сделать все, чтобы возможно быстрее ввести в прорыв танковый корпус Бурдейного и армию Ротмистрова...

Вечером ему сообщили, что неподалеку, на прифронтовом аэродроме, приземлился Рогов, командир крупного партизанского соединения в Белоруссии.

Сообщение это не было неожиданным для Черняховского. Накануне о приезде партизанского командира звонили ему из Москвы, из Штаба партизанского движения. Это был звонок

в ответ на его просьбу помочь встретиться, крепче связаться с партизанами.

Черняховский приказал Комарову немедленно ехать на аэродром и пригласить командира соединения в штаб.

Он снял телефонную трубку:

— Василий Емельянович, пожалуйста, зайдите минут через тридцать ко мне. Дело есть...

Черняховский вынул из стола самодельный конвертик с письмом, на котором были нарисованы танки и самолеты. Посмотрел на рисунок и стал перечитывать.

«Дорогой товарищ командующий генерал! Это пишут вам из Л. детского дома Коля и Сережа Крушины, Шурка Хмелевский и Леня Зеленков,— сразу называли себя авторы письма. — Мы все с гордостью читаем о геройских делах наших бойцов и офицеров Красной Армии, а также и слушаем по радио каждый день. Наши отцы тоже на фронте воюют, только у Лени Зеленкова и Шурки Хмелевского не воюют, потому что они погибли на фронте. Живем мы в настоящее время хорошо. Мы здесь учимся в школе. У нас есть нары и постели. Одно плохо, что далеко дрова носить из леса и воду из речки, потому что не на чем возить. А мы еще не окрепли после немецкого лагеря. А так все хорошо. Не думайте, дорогой товарищ генерал, что мы жалуемся на трудности. Мы их переживем, ведь на фронте наши бойцы переживают еще больше...»

«Мы подготовили для Красной Армии пять посылок и послали их. Мы хотим Вас спросить, не надо ли вам еще чего-нибудь? Напишите, какие Вам нужны подарки? Мы все сделаем!!!»

Дальше шли адрес и приписка: «Извините, что пишем не секретный Ваш адрес, так как мы его не знаем»,— ниже был нарисован немецкий самолет, падающий и дымящийся...

Командующий, глядя на этот самолет, взял карандаш и неторопливо подчеркнул слова: «далеко носить дрова из леса и воду из речки, потому что не на чем возить... не окрепли после лагеря». Он так нажал карандаш, что грифель сломался.

Начало наплывать, приближаться далекое-далекое: воспоминания, как сам когда-то скитался по дорогам. Преодолевая воспоминания, он взял ручку, начал быстро, энергично писать:

«Дорогие друзья! Письмо Ваше мне передали. Спасибо за него. Вы спрашиваете, какой нужен фронту подарок. Отвечаю — учиться хорошо, настойчиво. Это главный подарок. Передайте привет всем Вашим воспитателям и товарищам от солдат и офицеров фронта!»

Черняховский размашисто, но разборчиво расписался. Сняв телефонную трубку, вызвал начальника тыла и договорился подготовить подарки для детского дома.

Вошел член Военного Совета.

— Сейчас здесь будет наш гость — Рогов, партизанский генерал. Он должен приехать с минуты на минуту... А пока, Василий Емельянович, вот — почитайте.

Черняховский подал письмо и стал наблюдать за лицом генерала, пока тот читал.

— Трудновато детям! — складывая листок, посочувствовал Макаров.— Вы, догадываюсь, решили поддержать их. . .

— Да. Вот. . . — командующий подал листок, на котором было написано, что надо отправить детдому.

— Это правильно. . . — Добрый Макаров довольно потер рукой щеку. — Надо их беречь. . .

Вскоре неслышно вошел Комаров и с лихостью, которую выказывал в наиболее важные моменты, доложил, что генерал-майор прибыл,— порученец едва, по привычке, не сказал: «по вашему приказанию», но своевременно поправился: «по вашей просьбе!»

— Проси. . .

В комнату шагнул плотный, показалось, медлительный, одетый в новую полевую форму генерал. Войдя, он внимательными глазами из-под темных бровей неторопливо оглядел Черняховского и Макарова и глуховатым голосом просто отрекомендовался:

— Рогов.

Выйдя из-за стола, Черняховский приветливо пожал руку и, познакомив с генералом Макаровым, пригласил гостя сесть.

— Я, признаюсь, представлял вас более грозным на вид,— пошутил командующий.— Думал, у вас борода до пояса. . .

— Я тоже представлял вас другим — старше! . . — поддержал шутку Рогов. Говорил партизан тоже медлительно, все время оглядываясь, не сводя глаз с собеседника. Взгляд был зорким, но не сторожким, а доброжелательным, дружеским. Вместе с тем и в манере говорить, и в том, как партизан держался, была уверенность в себе, за которой чувствовался человек, умеющий и привыкший руководить.

Черняховский спросил, что нового слышно в Москве.

— Што новаго в Москве? Общие новости вы знаете, наверно, лучше меня. Все ж таки ближай к столице, чим мы, лесные люди. . .

Рогов говорил со столь знакомым Черняховскому белорусским акцентом. И в том шутливо-рассудительном стиле, который, казалось Черняховскому, был свойствен белорусским крестьянам. Вообще в Рогове чувствовалось что-то крестьянское, крепкое, привлекательное.

— Ближе-то ближе, да вы ведь только что из Москвы,— москвич, можно сказать. . .

— Яки я москвич? Я и недели там не был. Да и то — находясь в столице, думал пра своих хлопцев да пра лес...

— Леса и лесные люди нас теперь, товарищ Рогов, тоже очень интересуют... Как никогда. Поэтому мы и попросили, чтобы нам помогли встретиться. Как там у вас в лесах?

Черняховский уловил во взгляде командира партизанского соединения вопрос: что именно вас интересует? Уточнил без улыбки, с пониманием серьезности положения и сочувствием:

— Блокады еще продолжаются?

— Кое-где прадавжаются...

— Значит, фашисты не совсем притихли?

— Немного притихли. Беспокоятся пра фронт. Усе их карательные дивизии з нашага района двинулися у бок фронта...

— Что там теперь в селах?

— Пагано в селах. Вернулись у старые места — невозможно познать. Проезжал я недавно по такой деревне — Поплавы. Была когда-то зеленая, уся в садах, з багатыми колхозными пастройками. Я ее хорошо знаю, работал там лет десять назад директором МТС... А теперь — тольки пепел и чорные пустыри... За один день фрицы з палицаями убили двести триддать человек. Нескольких человек живыми спалили в школе. Одну женщину кинули вместе с маленьким ребенком... Вот что у нас... Тысячи людей по-зверски убиты и спалены... Пепелища и трупы...

Черняховский опустил голову. Лица его почти не было видно, — свет лампы выхватывал резкие, дугами, брови да беспокойные, без единой нити седины, переплетения волос.

— Теперь занялися севбою... — невольно понизил голос Рогов. Он поправился, пояснил: — Севом... Сеять очень трудно: все спалено, совсем мало осталося коней, плугов. В Поплавах, например, не осталося ни одного коня. Пришлося мобилизовать коней в бригаде — Ермаков там у нас командует.

Пока шел этот разговор, ординарец и Комаров расторопно накрыли соседний стол, поставили ужин на троих. Откупорили бутылку коньяку и бутылку боржоми, положили пачку «Казбека».

Дальше разговор вели за столом с ужином. Налив коньяку в рюмки, Черняховский предложил выпить, как полагалось, за родину, за победу, что и было охотно поддержано обоими генералами. Он же поднял и второй тост: за партизан Белоруссии и за весь белорусский народ; командующий с необычным волнением и уважением сказал о страданиях, терпеливости и героизме народа, его сыновей-партизан. Слова его, прочувствованные, задушевные, заметно растрогали командира партизанского соединения, лицо Рогова вдруг исказила спазма боли, он часто, со внезапной беспомощностью заморгал глазами, готовый, кажется, заплакать. Но овладел собой, благодарно чокнулся с Черняховским, с Макаровым. Растроганный, он взял следующее слово: за Красную Армию, за освобождение. Оттого

что сильно волновался, говорил он с еще более выразительным белорусским произношением, больше употреблял белорусских слов...

Большой, выстраданной любовью, нетерпеливой и неистребимой надеждой были полны его слова.

— Часто спрашивают,— бросил на Рогова любопытный, мягкий взгляд Макаров,— когда начнется наступление?

— Таки вопрос, наверное, у кажнаго, кали не на языке, то у голове...

По тому, как посмотрел Рогов на члена Военного Совета фронта, Черняховский уловил, что партизанский генерал сам не прочь услышать: когда?

По свойственной ему благожелательности, Черняховский испытывал немалое искушение кое-что открыть Рогову, обнадежить товарища и побратима, но профессиональная сдержанность, привычка военного, понимание долга и ответственности сразу приглушили благодушное желание.

— Готовимся, товарищ Рогов,— сказал Черняховский с дружеским участием. Заверил также дружески, твердо: — Ни одного лишнего дня стоять не будем.— По проницательному, с хитринкой взгляду Рогова Черняховский уловил, что тот все понял и что, может быть, знает гораздо больше, чем они думают. Конечно, ему не могли не доверить некоторых существенных сведений, секретарю подпольного обкома партии, члену ЦК. К тому же умный человек в его положении и с его информированностью мог и сам без большого труда о главном догадываться. Эти соображения мелькнули у Черняховского, когда он, избегая пытливого, с лукавинкой, взгляда Рогова, с радушием гостеприимного хозяина перевел разговор в деловую колею: — У нас большая просьба, Иван Иванович, — чтобы поддержали по-соседски, когда придет время!

— За этим остановки не будет! — сразу погасил лукавинку Рогов. Прямо и преданно заявил: — Поддержим, сколько сможем!..— Снова с лукавинкой сообщил: — Думаю, что скоро услышите наш голосок!

Черняховский и член Военного Совета знали, на что намекает Рогов: им уже сообщали, что готовится большой партизанский «концерт». Удар по железным дорогам врага, по его коммуникациям. Радуясь этому, Черняховский сказал Рогову, что было бы очень хорошо, если бы партизанские силы во время наступательных боев армии усилили свои удары с тыла. Он дал несколько советов, как и чем можно лучше помочь армии в такой ситуации, как наладить взаимодействие с армейскими частями. Для постоянной оперативной связи с партизанским соединением Черняховский предложил принять группу разведчиков фронта. Попросил оказывать им всяческое содействие.

Закончив деловой разговор, Черняховский полюбопытствовал у Рогова, сколько тот собирается пробыть на фронте.

— Думаю сегодня ж отправиться домой.

— А может, побыли бы денек у нас? Посмотрели бы? — предложил Черняховский.

— Не, не. Нет времени! — решительно отказался Рогов.

Взглянув на ручные часы, он удивился: так много уже. Стал сосредоточенным, заторопился. Поблагодарил за ужин, встал и начал сразу же прощаться, сославшись на то, что ночи теперь короткие и можно, чего доброго, не управиться до рассвета домой.

Пожалев, что Рогов так скоро улетает, Макаров первый с чувством пожал руку партизану.

— Передайте привет своим лесным солдатам. Скажите, что мы крепко надеемся на таких помощников.

Черняховский нажал кнопку звонка и приказал вошедшему порученцу:

— Комаров, поезжайте с генералом и проследите, чтобы отправили без задержки.

Он вышел с Роговым во двор, проводил до машины. Вернувшись в комнату, командующий фронтом и член Военного Совета долго молчали. Макаров сидел и о чем-то возбужденно размышлял, Черняховский в задумчивости ходил.

— Знаете,— произнес член Военного Совета,— я, слушая Рогова, вдруг почувствовал себя виноватым. Без вины виноватым...

— Нам не за что считать себя виноватыми,— сдержанно отозвался Черняховский.— Мы уже начали наступление...

— Начали...

По тому, как говорил Черняховский, чувствовалось, что он думает о чем-то своем. Пройдясь еще раз-другой из угла в угол, командующий вынул руки из карманов, торопливо подошел к карте, отодвинул штору. Взял со стола циркуль, сразу на карте выхватил над линией шоссе зелено-голубое пятно, стал что-то измерять. Озабоченно, молча раздумывая, будто колеблясь, не находя ясности в мыслях, стоял возле карты.

Потом положил циркуль, снова засунул руки глубоко в карманы брюк, нетерпеливо, тяжело зашагал. Наконец поймал вопросительный взгляд Макарова, пошевелил плечом, будто ему что-то мешало, будто не по нраву пришлось преждевременное любопытство, шаги стали мягче, сдержаннее. После этого остановился, признался:

— Сомнение грызет, Василий Емельянович! Не отстает!

Макаров смотрел сочувственно:

— Какое сомнение?

— Все то же.— Черняховский сильно потер рукой щеку, шею. — Что для успеха дела операцию кое в чем надо бы ре-

шать иначе...— Он как бы согласился с кем-то: — Конечно, удар в полосе магистрали имеет свои преимущества. Это факт... Но, — в голосе его послышалось упорное несогласие, — в этом варианте есть и свои минусы. Один из них — что если немцы ждут нас, то больше всего здесь... Беспокойство берет: как бы нам тут не засесть.

— Здесь, конечно, будет нелегко...

— Вот об этом я и думаю. И берет меня сомнение, что не здесь, не на магистрали, нам надо ожидать успеха. Сдается мне, что больше шансов на удачу здесь.

Черняховский подошел к карте. Член Военного Совета, приблизившись, увидел: кончик сложенного циркуля в руке командующего показывает район Лиозно, Богушевск, полосу наступления армии Крылова.

— Я вас понимаю, Иван Данилович, — член Военного Совета сказал мягко, приветливо и отвел глаза в сторону. — Но...

— Но, — настойчиво подхватил Черняховский, — леса, болота? Я об этом тоже думаю. Поэтому и берет сомнение!.. Однако, — он нервно потер щеку, засунул руки в карманы, — нас здесь меньше всего ждут! И кроме того, здесь у немцев слабинка: стык 3-й и 4-й армий! Если бы удалось прорваться и ввести армию Ротмистрова да ударить с севера на магистраль, на Толочин или Крупки! По немецким тылам! — Черняховский все больше загорался тем, что рисовалось в воображении.— Весь образцовый немецкий порядок рухнул бы сразу! И магистраль наша, и оршанский орешек раскололся бы! Там, где он как раз наименее твердый! А там — и до Березины недолго.

В том, как Черняховский говорил, чувствовались и нетерпение, и сила. Черняховский будто вдруг поднялся в представлении Макарова: широтой, решительностью мысли, силою воли, что ощущалась за мыслью.

Взгляд Черняховского будто говорил: вот как здорово могло бы выйти!

— Соблазн велик, — согласился член Военного Совета. — В этом есть смысл.

— Есть! — убежденно произнес Черняховский, и Макаров снова почувствовал, как сильно это захватило командующего.— Вот и грызет червь сомнения,— сказал Черняховский, сдерживаясь. Он добавил сосредоточенно: — Надо подумать!

Вскоре Макаров встал, сказал, что пора и «честь знать», время отдохнуть. Черняховский взглянул на часы и согласился:

— Время...

Когда генерал вышел, Черняховский снял китель, повесил его на спинку стула, наклонился, чтобы снять сапоги. И вдруг остановился, захваченный мыслью. Поднялся, подошел к столу,

беспокойно склонился над картой. Отошел и снова вернулся к ней.

Решительно снял телефонную трубку, попросил генерала Иголкина:

— Петр Иванович, не спите? Зайдите, пожалуйста.

Ожидая, пока придет начальник оперуправления, приказал подать два стакана чая, нетерпеливо отпил из одного. Генерал так и застал его: со стаканом чая над картой.

— Петр Иванович, как вы считаете, — сразу встал Черняховский,— куда бросится противник, если мы возьмем Оршу, а Первый Белорусский — Бобруйск?

— На Минское шоссе, товарищ командующий... Потом — на Борисов, на Минск... — Генерал говорил, внимательно глядя на командующего: что означает этот вопрос?

Черняховский взволнованно подхватил:

— На Минское шоссе! По нашим тылам!..

— Такая опасность существует, товарищ командующий,— согласился генерал.

Черняховский произнес тоном приказа:

— Надо левый фланг фронта прикрыть корпусом Бурдейного. До Кохонова пусть он наступает согласно плану, а там — круто поворачивает на юг, на Староселье. Оттуда — двумя бригадами на запад, на Чернявку. Одной — на восток, навстречу отступающим.

Генерал Иголкин, проследив, как быстро, решительно летает карандаш по карте, только отметил:

— Корпусу Бурдейного надо дать пехоты, товарищ командующий.

— Это правильно, — одобрил Черняховский удовлетворенно. — Пехоту дадим!

Вдруг он спохватился, пригласил выпить чаю. Когда пили чай, все еще довольный пришедшим важным соображением, попросил Иголкина извинить за позднее беспокойство.

Проводив генерала на темный двор, Черняховский вдруг раздумал тотчас возвращаться в комнату. Какое-то время стоял один в темноте. Наслаждался ночью, покоем, удовлетворением, что все сделал.

Отсюда до переднего края было около сорока километров, и рокот фронта здесь едва нарушал тишину ночи. Было, казалось, совсем тихо, и это ощущение тишины, покоя вливало беззаботную сонливость в него, в переполнявшую его усталость. Он уже было собрался возвратиться в комнату, лечь спать, когда услышал быстро нарастающий гул самолетов. Стал ждать. На звездной черноте неба различил силуэты — шли бомбардировщики...

Они вскоре смолкли, а он все стоял и уже чувствовал в себе странную тревогу. Он не сразу понял причину ее, позже она

оформилась в мысль, которую он постарался отогнать: «Как на это посмотрит Сталин? Как объяснить ему все?..»

Он преодолел тревогу, успокоил себя: Сталин поймет необходимость этого. Согласится... Вспомнил разговор с Роговым, подумал, сколько людей там, в Белоруссии, ждут его солдат.

Но разве наступления ждут только по ту сторону фронта? Его ждут и на переднем крае, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Вся страна ждет, весь мир...

4

Туровца и Ермакова срочно вызвали на совещание в штаб соединения.

Когда они добрались до штаба, все командиры и комиссары бригад были уже в сборе. Рогов, великолепный, с виду как бы незнакомый в новой генеральской форме, что-то увлеченно рассказывал. Увидев Ермакова и Туровца, он, с тем же возбужденным блеском в глазах, поздоровался с обоими за руку, отметил:

— Вот наконец и опоздавшие!

Ермаков и Туровец поздравили его с возвращением, он ответил с удовольствием, дружески осмотрел обоих, широким, гостеприимным жестом протянул пачку «Казбека» — угощайтесь. Все уже угостились: курили, дым повисал вверху, уходил в открытое окно. Оставив раскрытую пачку на столе, Рогов возвратился на прежнее место.

Рогову, опытному партийному работнику, только во время войны пришлось взяться за военное дело. Как и многие другие партизанские руководители, он прошел все курсы «лесной академии»: сначала командовал созданным им небольшим отрядом, потом бригадой, выросшей из отряда, наконец, возглавил целое партизанское соединение, одно из крупнейших в Белоруссии. Этим соединением он теперь и командовал.

Одновременно Рогов был и партийным руководителем на обширной территории республики, секретарем подпольного обкома партии. По натуре сугубо штатский человек, он и военную деятельность свою воспринимал, было заметно, как необходимую, вызванную особыми обстоятельствами — войной — деятельность. Командирская деятельность была для него просто продолжением, особым и временным в сущности видом партийной работы. Это понимание своего положения поддерживалось в нем и тем, что люди, которыми он командовал, были, за небольшим исключением, по сути своей, тоже штатскими людьми. Хотя и придерживались военной дисциплины. Чуждый всего показного, демократичный по натуре, по опыту работы,

Рогов, естественно, сохранял прежние штатские обычаи, в частности в обращении с подчиненными, здороваясь запросто, за руку, со всеми, будь то командир бригады или рядовой партизан. Явно не хватало командиру соединения того, что называют военной выправкой. Видно, по этой причине и новый генеральский китель выглядел на нем, как казалось Туровцу, все же будто с чужого плеча. Впрочем, может, это впечатление было у Туровца и оттого, что на Рогове он привык видеть обычный пиджак или гимнастерку. Они, казалось, были больше к лицу и внутреннему строю Рогова.

— Да-а, так провели нас по цехам... Всюду одно примерно: женщины, да девушки, да зеленые подростки. Мужчин почти что и не видно, да и то разве какой калека после фронта... С лица все не очень чтоб гладкие, сразу видно, что кормежка не сытная... Ну, тут, пока нас водили, перерыв начался. Повели меня на двор, смотрю — народу полно, аж в глазах рябит... И слово мне дают... Мол, слово имеет товарищ Р., белорусский партизан... Что тут было: ни пером не описать, ни словом не сказать! Овация целая!.. Я так увидел, как они к нам, так чуть не заплакал от чувства... Вот какая, значит, слава у нас, белорусских партизан...

— Да ще ж не просто партизан, а — генерал! — поддержал Ермаков.

— Я, между прочим, пришел туда в штатском,— уточнил недовольно Рогов. — Специально. И должность мою не говорили. Просто партизан... Тут важно, что представитель партизан! — растолковал он.— Для них одно уже слово: партизан — значит герой!.. Как стал рассказывать про блокаду — тишина мертвая. Но я больше не про страдания, а про — геройство! Что живем, значит, и побеждаем!.. Тут что ни слово, так — овация!.. Я, конечно, старался покороче, о главном. Сообразил, что им и пообедать надо! Словами сыт не будешь! Но они не дали закончить скоро! Весь перерыв митинговали. А под конец — на руках хотели понести: еле уговорил!.. Что ж вы, мол, женщины, — здорового мужчину нести...

Рогов пережидал реплики, подымил папиросой, предложил другим не стесняться, курить «Казбек», для того и привез. Туровец удивленно спросил у соседа, командира бригады «Смерть фашизму!», почему так восторженно встречали партизан в Гомеле: разве в Гомеле мало видели своих партизан! Туровец знал, что Рогов улетал в Гомель,— но сосед объяснил, что рассказанное Роговым происходило в Москве. Из Гомеля Рогова вызвали в Москву...

— Я, конечно, бывал не только в кабинетах да в цехах. Побывал я и на базаре. Понимаете, захотелось повидать базар. За всю войну я ни разу не был на базаре! Прямо-таки соскучился. Вот раз так, раничкой, когда начальство думало, что

сплю, я собрался — и на базар. Возле цирка там, почти что в самом центре. Зашел, глянул, братки мои, — родная картина! Народу — что до войны, на Комаровке. И кого только нет: и старые, и молодые, и простые с виду, и интеллигенция. И солдат-калек полно. Протиснуться трудно. И всякой всячины вещей: то гимнастерка или шинель, а то подсвечник или ситечко для чая специальное. А продуктов мало: масла, мяса почти не видно. Буханка хлеба и то роскошь! И все больше на обмен! Две буханки — гимнастерка! Кое-кто, между прочим, водочку из-под пазухи показывает! Мне тоже одна старушка интеллигентная показала. Решила почему-то, что интересуюсь этим!

Рогов, улыбаясь, переждал шуточки. Туровец полюбопытствовал:

— А в магазинах как там, Иван Иванович?

— Говорил уже, пока вы с Ермаковым добирались... В магазинах — неплохо. Больше гораздо, чем в сорок втором! Есть продукты! По карточкам специальным. В зависимости от работы — разные карточки, с разной нормой. Есть карточки для служащих, для рабочих, для ученых, для инвалидов. Есть специальная, называется «УДП». Усиленное дополнительное питание... И в промтоварных — тоже по карточкам. Даешь талончик от карточки, получаешь вещь, которую положено...

Рогов взглянул на часы, видно, решил начинать, но вдруг что-то вспомнил, заулыбался:

— Да-а, иду я однажды возле гостиницы «Москва». Решил погулять, поглядеть мирную жизнь. Перед отлетом... Иду это и вдруг вижу — кого б вы думали? — Михолапа! Инструктора из отдела промышленности горкома, до войны!.. В подполковниках уже. Гляжу, глазам не верю! А он, как увидел меня — генерал, мол! — вытянулся, шаг дал, как перед большим начальством. Я все смотрю: он — не он? Он. Я так важно пальцем ему: подойдите, мол! Говорю строго: вы ш-што ж это так плохо приветствуете начальство? Он вроде угадал, но глазам не верит... Ему уже сказали, что я в партизанах. А тут — генерал!.. Смех — и только!.. В общем, пригласил я его, поужинали вместе в ресторане «Москва». Оказывается, он в резерве, после госпиталя. Ждет направления на фронт. Я про него тихонько Пантелеймону Кондратовичу: он в то время как раз в Москве был. Вызвали из Гомеля... Так, мол, и так, говорю ему: нужный, мол, человек. Пантелеймон Кондратович сразу на заметку. Сказал, что отзовет на работу!..

Рогов посмотрел на часы, возбужденный воспоминаниями, с видимой неохотой стал завершать рассказ:

— В общем, повидал! Всего и не расскажешь сразу. Одним словом: живет Москва! Крепко и уверенно живет! Лучше гораздо, чем в сорок втором!.. — Он затянулся, погасил папиросу

и уже озабоченно, твердо сказал: — Поговорили, послушали, а теперь — за дело!

Он оглядел сидящих таким взглядом, будто проверял: готовы ли командиры к серьезному разговору. А если не готовы, пусть подготовятся.

— Так вот, Пантелеймон Кондратович Пономаренко передал нам не только привет, но и приказ: провести одно большое дело! — Он произнес с особой выразительностью последние слова: «большое дело». Поглядел поочередно на командиров и комиссаров бригад, чтоб поняли, прочувствовали значение того, что он сказал.

Туровец еще раньше отметил, что в штабе, кроме руководства соединения, только высшие командиры из бригад, и подумал, что совещание будет строго секретное и важное. Сознание важности момента передалось теперь всем вызванным. В комнате установилась глубокая тишина. Все со вниманием смотрели на командира соединения, ждали.

— Перед нами стоит задача,— выразительно, со значением заговорил Рогов, — организовать большой «концерт». «Концерт» проводится по специальному приказу Штаба партизанского движения. Время назначено — ночь на двадцатое июня...

Слушая Рогова, Туровец невольно переглянулся с Ермаковым: вот для чего привезли такую массу тола и детонаторов!

План операции захватил Туровца своей широтой и смелостью. На этот раз «концерт» готовился даже более сильный, чем все предыдущие.

В своем стремлении видеть во всем скрытый смысл, Туровец с волнением, теснившим грудь, угадывал, предполагал, что бой на «железке» будет, вероятно, только вступлением, что за ним, похоже, должен последовать другой «концерт», куда более могучий, тот, которого все с таким нетерпением ждут. И радуясь, и страстно желая этого, он предчувствовал, что наступают великие, долгожданные события. Что, видно, близко, очень близко начало праздника «на их улице».

После совещания Рогов попросил Туровца остаться. Туровец был с ним хорошо знаком еще с довоенного времени, когда оба работали в одном районе: Рогов — секретарем райкома, а Туровец — в МТС. С тех пор, с нелегкого того времени, у них сохранились дружеские отношения.

Рогов взял Туровца за руку, предложил:

— Пройдемся.

Они вышли во двор, направились к лесу. На вопросы Туровца Рогов отвечал, что видел в Ново-Белице под Гомелем, где размещалось правительство. О встречах там, о жизни по ту сторону...

Когда вышли тропинкой на опушку, за которой открывался мокрый луг, Рогов вдруг сказал с удовольствием:

— Добра тут, а? Тут на приволье, в тишине, добра думается. Я сюда частенько заглядываю... Гончар как-то даже пошутил, не свидания ли у меня здесь...

Он вдруг оборвал разговор, как-то странно, с удивлением вгляделся.

— Я слышал, жениться собираешься? — Рогов пытливо, остро смотрел на Туровца.

Туровец смутился:

— Откуда ты это, Иван Иванович, взял?..

— Неправда, значит?

— Пока, можно сказать, неправда. А дальше... а за дальнейшее, честно говоря, боюсь поручиться... Тебе одному признаюсь...

Туровец подумал: кто бы это мог сообщить о нем? Он никому не говорил о своем чувстве к Марии, старался быть с ней сдержанным; такой же сдержанной, даже, казалось, безразличной к нему была и Мария. Кто собирается их поженить?

— Ну что ж — дело твое. Холостяцкое...

Рогов долго смотрел на луг, молчал. Молчал и Туровец. Рогов оторвал взгляд от луга, сказал дружески, со значением:

— На работу новую определить думаем. В Минск, секретарем райкома!

Он говорил так, будто сообщал: пойдешь в другую бригаду.

— В Минск?

— В Минск...

— Как громом ты! Оглушил прямо!

— Будто не ждал?

— Вообще-то — ждал, как все. И все же...

— Привыкай!

Рогов, конечно, нарочно держался спокойно. С расчетом.

— У тебя в районе хлебозавод, станкозавод, — напоминал Рогов. — Театр, двенадцать школ... Девять из них спалены... Подумай, как будешь все восстанавливать.., Скажи, что будешь делать, если завтра освободят Минск и ты придешь в райком? — неожиданно требовательно спросил Рогов.

— Ты, Иван Иванович, такие вопросы!.. Как топором, с маху!..

— И с маху на такие вопросы надо отвечать!.. В общем, помозгуй! Еще до того, как явимся в Минск, Ничипор, мы должны знать, что будем делать!.. Между прочим, в Москве уже обсуждали, как будем пахать и засевать поля, на которых пока воюем. Чем помочь Минску, всей республике. В Гомеле, в резерве, сотни работников, которые ждут только часа. Чтобы с первого же дня начать ладить мирную жизнь... Между прочим, в Москве повидался я с дочкой. В университет я не ходил,

но у дочки порасспросил. Интересно ведь. Там же, на станции Сходня, где была партизанская школа, теперь Белорусский университет. Триста человек учатся... Тоже, сказала, готовятся, ждут, когда можно возвратиться...

Туровец с восторгом слушал эти слова, они лучше всего говорили о вере в завтрашний день.

— Кстати, обмозгуй, Ничипор, как помочь Красной Армии людьми. Война не кончается у нас. До Берлина надо. Подготовь людей, чтобы передать армии. Надо дать армии таких солдат, чтоб они честь нашу несли высоко. Чтоб краснеть не пришлось.

— За моих, Иван Иванович, не придется!.. Эх, значит, скоро снова фабрики, заводы, школы! Строительство, строительство, беспокойства о планах!..

— Нелегко будет сначала, Ничипор.

— Горько... Больно. Тяжело. Но я не думаю об этом. Главное — вернуться!

Они стали вспоминать горком, бессонные ночи, заботы того времени, встречи, события, товарищей. Все, что еще недавно, казалось, было где-то далеко, как бы в ином мире, отделенном тяжелой, непреодолимой полосой войны, вдруг снова стало волнующе близким, реальным, будто война вдруг что-то потеряла в своем всесилии над ними. Долгие, трудные годы войны как бы сузились в пространстве и времени, как бы отступили.

Они расстались, не зная, что в следующий раз встретятся уже в Минске.

5

Ехать в бригаду ближней дорогой было опасно. Неподалеку располагалось несколько гарнизонов, и немцы часто устраивали на дорогах засады. Комбригу с комиссаром, чтоб добраться домой, пришлось сделать большой круг в объезд.

Домой они подъезжали утром.

Все громче, заливистей звенели птичьи голоса. Роса постепенно высыхала, и лес наполнялся парной духотой, смешанными запахами трав, сосен, земляники. Шерсть на сером коне Туровца намокла, закурчавилась от пота.

— Какое дерево тебе нравится больше всего? — прервал надоевшее молчание комиссар, окинув взглядом низкорослый сосняЧок, обступивший дорогу.

— Какое? — оторвался Ермаков от своих мыслей.— Не люблю осину. Плохо горит...

— Плохо горит? Эх ты, сухарь!.. Я люблю дуб. Он — крепкий, сильный. У него — заметил? — и запах крепкий, острый. Как спирт... Деревья, они как люди — у каждого своя натура. Елки — стройные, строгие, задумчивые и малоразговорчивые.

Сосны — те веселее, раскинут вверху медные свои ветви, охотно говорят с ветром, кивают ему. А осины и совсем не любят молчать. И вечно тревожные, хлопотливые — нервные, можно сказать...

Проехав еще, Туровец заметил — над ельничком справа тяжело взлетела черная птица.

— Ворон!

Туровец протянул руку к ординарцу, взяв винтовку, весело блеснул глазами на Ермакова:

— Разреши, комбриг?

Не слезая с коня, прицелился. Грохнул выстрел.

Ворон по-прежнему летел. Похоже, даже ускорил полет, стал набирать высоту. Слушая насмешки комбрига, Туровец торопливо перезарядил винтовку, остановил коня и снова прицелился. После выстрела ворон секунду шел по-прежнему, потом стал валиться на бок.

— Ну, видал?

Ермаков ответил с насмешкой, что в такую громадину любой попал бы.

— Я и в первый раз попал. Но он живучий, гад.

Туровец расстегнул пиджак и воротник белой полотняной рубашки, вытер рукой лоб.

— Что, пригревает? — взглянул на него Ермаков.

Комбриг, начавший после блокады заметно полнеть, сидел в седле ловко, чуть согнувшись, слегка покачиваясь в такт конскому шагу.

— Припекает...— Туровец положил намокший платок в карман.

Они снова ехали молча.

Ермакову вспомнилась Валя, и радостное настроение, рожденное солнечным утром и близостью дома, сменилось беспокойством.

И зачем на его пути встретилась эта гордая девушка, и почему его так тянет к ней? Его, правда, всегда тянуло к женщинам. Быть с ними, чувствовать себя любимым, завоевывать их симпатию было его постоянным желанием...

И какая упрямая, подумать только. Нет ей, этой девчонке, никакого дела до него, до того, что он, всеми уважаемый человек, комбриг, думает о ней. Может, он и думает столько о ней,— если трезво посмотреть, в общем-то обычной, ничем не примечательной, — именно потому, что она такая — упрямая и безразличная. Он не умеет отступаться.

А отступиться все же придется. Слово дал на собрании, все это слышали, сам сказал — твердое слово. Ну и бог с ней. И вообще, подальше бы, наверное, от них — столько неприятностей, особенно сейчас, когда он, комбриг, на виду...

Туровец все вспоминал встречу с Роговым, разговор с ним.

Эта встреча многое прояснила в настроении, в мыслях, во всем отношении Туровца к миру. Будто иным взглядом смотрел на мир Туровец. Со вчерашнего дня привычные бригадные заботы хотя и ощущались еще важными, обязательными, но уже как бы не имели прежней, единственной власти над ним. Иное, мирное, к чему он стремился всегда, но которое представлялось все же отдаленным и таилось внутри, ныне виделось приближенно и волнующе явственно. Оно, это желанное, приблизившееся, обретшее реальность, все сильнее владело Туровцом, все больше занимало его мысли.

С нетерпением, с необычным ощущением молодости думал Туровец о том, что должно вот-вот произойти. В самом деле, может произойти так, что через месяц-другой он вернется в город. От этой мысли на душе у Туровца становилось весело и по-праздничному легко. В этом состоянии ему как-то мало думалось о том, что город разрушен, что будет, особенно вначале, нелегко, что многое там будет вызывать горькие чувства. Мысли о городе как бы снова приближали к нему первые дни войны, напоминали о большом горе — смерти жены, но охватившая его радость была такой сильной, желанной ему, что приглушала и горечь, и боль о беде, случившейся в городе, к которому он стремился.

Туровец в мыслях бродил по заваленным улицам, осматривал онемевший, опустошенный цех станкостроительного завода, направлял людей на хлебозавод, чтобы в первый же день дать городу хлеб. Думал, как о непременном, сегодняшнем, что надо во что бы то ни стало сделать поскорее все, чтобы восстановить школы. Произвести учет учителей, познакомиться с ними. Думал Туровец обо всех своих будущих заботах с таким увлечением и интересом, что почти не замечал ничего вокруг.

Между тем они уже приближались к лагерю. Серый в яблоках конь Туровца, почувствовав близость лагеря, заторопился и голосисто заржал. Дорога спустилась в неглубокую лощину, посреди которой, прячась в высокой влажной траве, бежал тихий прозрачный ручей. Конь, шагнув в него, потянулся к воде.

Туровец разнуздал коня и, пока тот пил, молча наблюдал, как кружится возле конской морды вода. Утолив жажду, конь вскинул голову, мотнул ею и фыркнул: в воздухе весело блеснули капли воды...

Дальше дорога взбиралась на невысокий, но крутой холм.

На холме Туровец отдал коня ординарцу и до лагеря шел пешком. Соскочил с коня и Ермаков. Идти после долгой езды, от которой онемели ноги и одеревенела спина, было легко и приятно.

— Кого нам послать в Минск? — заговорил Ермаков.

В штабе им приказали послать разведчика в Минск. Нужны были новые подробные сведения о размещении военных объектов в городе.

Ермаков и Туровец стали рассуждать, кому можно поручить такое задание. Оба считали, что послать надо кого-нибудь из тех, кто бывал в Минске и хорошо знает город.

Припомнили нескольких человек, которые могли бы подойти для такого дела, наконец комбриг назвал Лагунович Нину. Она, по мнению Ермакова, могла бы справиться лучше других.

Туровец задумался.

— Лучше-то, может, лучше... Но...

— Что еще?

— Понимаешь, она же мать. Ребенок у нее. В Минске... Мать, понимаешь?

— Ну и что?

— А если там случится что-нибудь?

— С каждым может случиться. Никто не застрахован от этого.

— Ну вот, я к тому и говорю... опасно...

— Опасно. А другие что — не люди?

— Люди-то люди. Но она же — мать, понимаешь?

— Знаешь что, Ничипор: одна — мать, другая — сестра. У той — брат, у другой — еще кто-нибудь, — Ермаков говорил резко, нетерпеливо.— По-моему, она подходит. И нечего мудрить.

— Я не мудрю. Как ты не понимаешь! ..

Туровец вздохнул.

— Займись-ка ты разведкой, Ничипор Павлович,— мягче попросил комбриг.— А мне с «рельсами» забот по горло.

Они говорили тихо. Ординарцы вели коней сзади и тоже о чем-то разговаривали.

Из-за кустов вышли, поздоровались с ними часовые, стоявшие у дороги. Слушая доносившиеся из лагеря голоса людей, которые становились все отчетливее, Ермаков и Туровец невольно ускорили шаг.

Оба сразу направились в штаб узнать обстановку в бригаде. Узнать, что случилось за время их отсутствия. Ермакову казалось, что он уже давно не был в бригаде, и потому комбриг ожидал каких-то особенных новостей. Он чувствовал себя так, будто вернулся в родную семью из далекого путешествия. И действительно, бригада давно стала для него и домом и семьей.

Габдулин как раз был в штабе. От него Ермаков и узнал, что произошло за последние дни.

После этого комбриг зашагал к своему шалашу, а комиссар остался, приказал дежурному позвать Лагунович.

Минут через десять дежурный возвратился.

— Она была ночью на задании. Теперь где-то спит, в шалаше ее нет. Найти ее?

— Не надо. Когда появится, пусть зайдет ко мне.

ГЛАВА V

1

Нина возвратилась с задания утром. Когда она вошла в свой шалаш, там уже вставали.

— Ты знаешь, Нина, — сообщила ей смущенно и удивленно Валя, — мне снился твой Алексей! На коне, снилось, ехал. А у коня в гриву вплетены разные шелковые ленты... Как увидел меня, подъехал, о тебе спрашивает: «Где, говорит, Нина, проводите к ней». Потом стал что-то рассказывать о себе. Но я ничего не помню!..

— Главное-то забыла! — пожурила Нина устало. Женщины поддержали разговор, рады были поговорить.

— Может, и не забыла, да скрывает!

— Ой, Валя, нехорошо это — чужих мужей видеть во сне!

— Уж не влюбилась ли ты в него?

— Валя-то по Василю сохнет, а Туровец вот влюбился,— вдруг сказала, чиня кофту, Вера Капуста. Она озорно сверкнула красивыми черными глазами.

Судя по тому, как приняли ее слова в шалаше, новость эту уже знали.

— Что ж, она женщина хорошая,— сказала Нина.

— А я вот не верю,— возразила убежденно Валя.

— Во что? В то, что Туровец может влюбиться? Ох ты, глупая. Я, милочка, мужчин насквозь вижу.

— И что же ты видишь? — надменно произнесла Валя.

— Вижу: ох, и мужчина это! Он только такой скрытный. Ясное дело — комиссар! Тут только взгляни на кого-нибудь ласково, так глаза, вроде моих, сразу поймают!..

— Плетешь, сама не знаешь что.

— Я не знаю? Ты посмотри, какие глаза у него! Цыганские! Ох, в молодости, наверное, был хват! Не одну, наверное, присушил!

— Счастливая будет Мария Андреевна,— вздохнула Нина.— Рада я за нее!

— И ты будешь, Нинка, счастливой! Чует мое сердце, будешь счастливой, — заверила ее Валя, уловив в голосе Нины грустную нотку.

— А я и так счастлива, — сказала Нина, почувствовав, что Валя хочет успокоить ее. — Я счастлива... Разве не счастье так любить?

Вера, все латая кофточку, внимательно посмотрела на Нину и недоверчиво улыбнулась:

— Неправду ты говоришь, Нинка. Какое это счастье — сохнуть по человеку, который три года неизвестно где?

— Не сохнуть, а любить,— поправила ее Нина, волнуясь.

— Какая ж это любовь! .. — удивилась Вера. — Тоска одна. Сухота...

Нина не сразу нашлась что ответить.

— Значит... не любила ты! — сказала она запальчиво.— Не любила... И вообще, — добавила она, — ничего ты не понимаешь в этом!

Нина вышла к колодцу, умылась и вскоре возвратилась в шалаш. Щеки ее после умывания порозовели. Она взяла со столика маленькое зеркальце, на обратной стороне которого был рисунок — дети купаются в реке. Начала причесываться.

Из зеркала смотрели на нее серые усталые глаза. В четырехугольнике были видны ровный, немного курносый нос, озабоченный лоб и русые волосы. Нина была красива неяркой, скромной красотой. Особенно привлекательны были ее глаза: серые, голубоватые, словно подернутые дымкой, они смотрели с какой-то светлой задумчивостью и сердечностью. Красиво очерчивались мягкие, будто припухшие губы.

Нина остановила взгляд на морщинках, что начали появляться под глазами. «Вот, стареть начинаю...» В голове проплыло озабоченное: «Алексей, наверное, тоже постарел?»

В шалаше было душно, и она решила, взяв с собой одеяло и жакет, поспать где-нибудь в лесу.

За шалашами трава была вытоптана. Неподалеку ходили и разговаривали партизаны. Нине захотелось отойти дальше, в тишину, одной спрятаться в сочной высокой траве. Она немного побродила между деревьями, отыскивая удобное местечко.

В этих поисках она неожиданно наткнулась на Василя, тот увлеченно копался в небольшом голубом ящичке; увидев ее рядом, он поднял на нее странно неприветливый, недовольный взгляд. Будто помешала она, оторвала от дела. Не сразу и неохотно, поразмыслив вначале, ответил, что ремонтирует испорченную немецкую рацию.

— Зачем она тебе?

— Как зачем? Рация зачем? — удивился Василь.

Нина смутилась — надо же спросить такое.

— Получается что-нибудь?

— Пока ничего. Что-то я не могу тут разгадать... Но я добьюсь, правда. Вот увидишь.

— Конечно, добьешься. Ты такой,— ободрила его Нина и пошла дальше.

Наконец возле большой березы она остановилась. Береза была сильная, с черным, в крепких жилах, стволом, клейкие, с мелкими зубцами листочки чуть трепетали на тонких ветках. Трава под деревом росла густая, дружная и темная. Предчувствуя радость отдыха, Нина расстелила одеяло, положила вместо подушки под голову свернутый жакет, легла. Прикрылась от комаров одеялом.

Комары назойливо звенели у лица. Пришлось завязать платок так, чтобы укрыть почти все лицо.

Вокруг было тихо, зелено, красиво, сердце ее неизвестно почему наполнилось ощущением необыкновенного счастья.

Потом ветви наверху с кусочками чистого неба в прогалинах легко заколыхались, поднялись вверх и тихо-тихо куда-то поплыли. И она тоже поплыла, чувствуя, как ей с каждой минутой становится легче...

Проснулась она с улыбкой, с ощущением светлой радости. Во сне она видела дочку Люду. Нина не могла вспомнить, что именно она видела, было только безмятежное ощущение чего-то необычно хорошего, прекрасного. В первую минуту, еще в полусне, в состоянии полусознания, она светло огляделась вокруг, но, когда стала возвращаться к действительности, улыбка начала гаснуть. Все, что радовало ее только что, оказалось, было сном!

Грудь ее сдавила тоска.

Нина вспомнила слово за словом весь недавний разговор в шалаше, и сердце наполнила неодолимая жалость к себе, к Люде... Она уткнулась в траву и, задыхаясь от горя, зарыдала. Плечи ее вздрагивали.

— Ничего, ничего ты не понимаешь! — говорила она.

Когда выплакалась, ей стало легче. Уже не было жалости к себе, было спокойствие. «Вот чудачка, расплакалась неизвестно почему»,— подумала Нина, смущенная внезапным своим отчаянием.

Она развязала платок и легла снова на спину.

Небо было по-летнему высоким и чистым. Синь его была не яркой, а затуманенной, молочной. Где-то в нем,— казалось, в недосягаемой вышине,— двигались переплетенные березовые ветви, трепетали необычно темные, почти черные листья.

Вверху с ветки на ветку ловко перепрыгивала резвая птичка, заливалась веселой песней: фи-ур-рр-фи-у.

О чем она пела?

Нина вслушивалась в увлекающую, непонятную песню, и ею все сильнее овладевало неожиданное желание разгадать смысл пения. Вспомнилось, как это желание постичь птичий

язык беспокоило ее когда-то в детстве. Она забиралась в глубину сада, в вишенник, где было особенно много птиц, и целыми часами слушала, выдумывая свои объяснения непонятным звукам.

Птица спрыгнула на самую нижнюю ветку, посмотрела внимательными глазками, удивленно тенькнула и, взмахнув крылышками, скрылась в ветвях. Нина стала слушать, как трепещут-шепчутся между собой листья... Хорошо в июньском лесу!

Тихо и спокойно было вокруг. По ее лежащей на груди руке, покрытой тонким светлым пушком, полз муравей. Дойдя до ладони, он остановился, будто подумав о чем-то, спокойно повернул назад. Подняв руку, она следила за ним.

С острым вниманием присматривалась Нина ко всему, жадно ловила звуки жизни.

Но странно! Почему-то чем прекраснее раскрывался мир вокруг, тем более тяжело становилось на душе.

Затуманенным взглядом снова будто увидела дочь. Люда смеялась и протягивала к ней руки.

«Где ты теперь, Людочка?» — заныло щемяще, жарко у нее в груди. Захотелось снова уткнуться в траву, закричать, но она сдержалась.

Однако одолеть мыслей, воспоминаний о дочери она не могла. Сами собой ожили, возвратились долгие осенние дни и ночи, пережитые когда-то в Минске. Она сидит целыми днями дома, ласкает малышку. Шьет маленькие рубашечки, тихо поет песни, беспокойно прислушивается к шуму на улице... Та нежность, которая раньше была направлена только на Алексея, перешла теперь также и на дочку. Любовь к Люде и забота о ней заглушали тоску по мужу...

Дни были тревожные. Говорили, что немцы подошли к Москве. И хотя надо было все время заботиться о Люде, казалось постыдным так сидеть. Она рвалась к делу.

Она нашла дело, настоящее дело. Но все ж и теперь ей кажется, что не хватает чего-то, очень нужного. Не хватает дочурки, Людочки. Как хочется ее увидеть, хоть на минутку. Как хочется поговорить с ней, приласкать. Прижать к себе милые щечки. А каким счастьем было бы — даже в горле сохнет, чуть только представишь! — нагреть воды да поставить малышку в ванну и пенистым мылом мылить слабенькие, с ямочками, плечи, розовые распаренные ножки. А потом, закутав в простынку, нести на кровать и, положив в постель, склониться над ней и рассказывать-выдумывать сказки или целовать. Ох, если бы сейчас увидеть ее, расцеловала бы всю!

Кто-то из поэтов писал, что природа успокаивает, ослабляет боль. Неправда это. Когда видишь такую красоту, очень хочет-

ся счастья. Просыпаются сокровенные желания: скорее бы получить от Алексея весточку, обнять бы дочурку, жить в Минске, всем вместе, делать свое любимое дело — учить детей.

Когда все это будет опять? Как тогда будет хорошо!

Почему раньше она не умела так ощущать, понимать счастье? Почему счастье начинаешь по-настоящему ценить тогда, когда оно ушло? Она тогда многого не ценила, не понимала... Теперь она знает, что такое счастье. Она научит дочку ценить его...

Скоро ли придет оно, это сча́стье? Наверное, скоро. «Видно, недолго ждать, — подумала с надеждой. — Видно, близко... Пусть бы скорее!..»

Пахло травой, влажным мохом, цветами. Запахи были не такими, как в середине лета. Не чувствовалось еще в них той истомы, той духмени приувядших от зноя растений, что бывают позже. Буйно росла трава — свежая, светло-зеленая.

Так хорошо было вокруг!

2

Нина встала, взяла одеяло и жакет и направилась к лагерю. На том месте, где она лежала, остался только след примятой травы да сломанный незаметный стебелек нерасцветшего колокольчика.

У шалаша она встретилась с Валей Залесской.

— Ой, Ниночка! А тебя здесь искали!..

— Зачем?

— Не сказали. Просили только, чтоб зашла к комиссару...

Нина отнесла одеяло в шалаш, торопливо умылась и заспешила к Туровцу. Все время гадала, зачем ее зовут, любила угадывать заранее. «Наверное, снова пошлют с лекцией,— пришло ей в голову,— выступать, не иначе. Зачем же еще?»

Туровец был около штабной землянки, читал газеты. Увидев Нину, он встал, поздоровался, сказал мирно:

— А, появилась!.. А я уж заждался...

Туровец укоризненно покачал головой, улыбнулся, но улыбка почти сразу же сошла с лица. Свернув газету, взяв другие, он попросил зайти в землянку.

По речи его Нина чутко определила, что не для лекции ее позвали, что-то иное ждет ее.

Села за столик у темноватого окошка, вопросительно посмотрела на комиссара. Лицо ее после сна было ясным, светилось молодостью и красотой. Сейчас она походила на девочку,

что еще не видела в жизни горя и смотрит на все открытыми, доверчивыми глазами.

Туровца тронули эти молодость, красота, с затаенным ощущением их шевельнулось тяжелое сомнение — справедливо ли рисковать ее будущим и счастьем?

— Как здоровье?

— Здоровье? Ничего...

Нина внимательно взглянула на Туровца: к чему этот вопрос?

— Ты не больна? — спросил комиссар.

— Нет...

— Отдохнула хорошо?

— Хорошо.

— Значит, силы есть?..

— Есть...

Туровец преодолел себя.

— Готовься в дорогу.

— Куда?

— В Минск надо...

— В Минск? — невольно вырвалось у Нины.

Еще не думая ни о чем, она обрадовалась.

— Пойдешь на спецзадание.

Она молча кивнула головой.

— Задание очень важное. Для штаба фронта.

Он стал объяснять, что ей надо сделать. По своему обыкновению, говоря о задании, Туровец не скрывал, что выполнить его будет нелегко. В таких случаях он никогда не пытался представить события проще, чем они были в действительности. Он хотел, чтобы Нина знала, на что идет.

Конечно, ей помогут надежные люди, с которыми она встретится в Минске, но все-таки будет трудно. Не одна опасность в дороге и в родном городе будет подстерегать ее, угрожать смертью. Много злых вражеских глаз будет выслеживать ее. Ей надо будет чувствовать опасность издали, особым чутьем, суметь, если возникнет надобность, не теряясь, пойти на смелый риск...

— Вы говорите так, будто хотите испугать меня,— сказала она.

— Я хочу, Нина, чтобы ты все обдумала. И чтобы была ко всему готова.

— Я все понимаю, Ничипор Павлович...

По тому, как были сказаны эти слова, Туровец почувствовал, что она действительно все понимает. Он встал, снял со стены свою полевую сумку, расстегнул.

— Ну что ж, если понимаешь, вот тебе — пропуск,

Он подал ей сложенный листок.

— С этой минуты ты уже не Нина, а Алена, Перегуд Алена.

Нина развернула пропуск, написанный синими чернилами: да, она теперь Перегуд Алена, проживающая в деревне Борисовичи.

— До Лопатич тебя проводят товарищи. А оттуда — смотри сама, Нина, прости, Алена. Кстати, и ты привыкай к новому имени. Иди, собирайся. Ни пуха ни пера.

Он сжал Нинину руку. Глядя на нее, Туровец с надеждой подумал, что все будет хорошо.

После полудня Нина вышла из лагеря. Она была в старом коверкотовом пиджаке с закатанными длинными рукавами, в платке, повязанном по-деревенски, с рожками у шеи и козырьком надо лбом. В руках несла плетеную крестьянскую корзинку с продуктами — идет в город, выменять что-нибудь из одежды.

Провожавшие Нину партизаны все время переговаривались, шутили. Больше всего подтрунивали над высоким бородатым мужчиной, в шутку прозванным «Бородой».

Под вечер небо стало хмуриться. Поднялся ветер, откуда-то пригнал тучи, они все ползли и ползли навстречу и скоро закрыли все небо. Было похоже, что собирается дождь.

Когда ночью миновали границу партизанской зоны, не коротали уже время в ненужных разговорах. Шли тихо, по еле заметной во мраке ночи тропинке. Впереди неслышно ступал Борода, все остальные, нередко спотыкаясь, двигались вслед за ним.

На окраине леса разведчики остановились.

— Вон и Лопатичи твои! — сказал Борода и, как показалось Нине, кивнул головой вперед. В темноте ничего не было видно, но Нина знала, что село находится в каком-нибудь полукилометре.

Хотя ей и хотелось поскорее добраться до города, стало тоскливо и тревожно. Это было всегда, когда расставалась с такими — близкими и надежными — людьми, уходила одна в неизвестность. Несколько минут все стояли молча, не торопились обратно. Понимали, что значит уйти туда...

Она понимала, что кто-нибудь из них, видно, догадывался: она медлит оттого, что боится оставаться одна. Одна перед этой давящей теменью, залившей, казалось, весь мир, перед опасной неизвестностью. Ей неловко было оттого, что они догадывались о ее тревоге, о слабости ее, но она все не спешила. Что ж, пусть догадываются...

Наконец молчание, ожидание начало тяготить и ее. Надо было идти. Насколько могла, она спокойно, как бы даже беззаботно, произнесла:

— Ну, мне пора! Да и вам, наверное, не мешает поторопиться...

— Да, времени у нас мало...

— До свидания.

— Счастливой дороги, Нина!

Нина шагнула в темноту.

3

Когда посветлело на востоке и начали гаснуть звезды, старик связной провел Нину за деревню. Он все жалел, что, отправляясь в такую нелегкую дорогу, она даже не подремала, и уговаривал вернуться, отдохнуть денек.

Но Нина стояла на своем: сегодня как раз было воскресенье, день, в который в город идет больше всего людей. Среди них ей будет легче пробраться.

Старик долго, подробно, повторяясь, объяснял Нине, как идти, чего и где надо опасаться.

Как только рассвело и начали ходить люди, она выбралась на дорогу, присоединилась к группке шедших к городу женщин. Мимо, скрипя, постукивая грядками, проезжали телеги, с шумом, с грохотом проносились немецкие грузовики. С треском, будто стреляя, мчались в сторону города мотоциклы.

Вскоре ей удалось устроиться на попутный немецкий грузовик. Взяв в качестве платы десяток яиц, немец-шофер из тыловых войск разрешил залезть в крытый кузов. В этой машине, в окружении незнакомых женщин, как и она подобранных по пути, она и добралась до Минска.

Вот и город. Из кузова взбирающейся на пригорок машины Нина издали увидела серые угловатые очертания Дома правительства, возвышающегося над другими домами, острую, похожую на красный карандаш, башню костела. Знакомая, дорогая до мелочей — давно-давно, до боли знакомая — картина эта сильно взволновала. Сердце замерло, заныло, а в горле запершило, и она почувствовала, что на глаза вот-вот навернутся слезы.

«Люда, дочурка! Как ты теперь живешь, в такое время, без меня? Какая ты стала? Выросла, наверно, вытянулась, говорливая, беспокойная, голосок мой! Вспоминаешь ли ты хоть когда-нибудь свою маму, которой приходится жить с тобой в разлуке, но которая носит тебя всегда в своем сердце? ..»

Сразу за пригорком солдат-шофер остановил грузовик и приказал всем, кто сидел в кузове, сойти.

Дальше они пошли к городу пешком.

Усилием воли, отгоняя воспоминания, Нина заставила себя успокоиться. Но по мере того как исчезала в душе расслабленность и Нина приходила в себя, в ней все росла тревожная

настороженность. Глядя на знакомую картину города, она уже жила затаенным ощущением опасности и неизвестности: что там ожидает?

Удастся ли сделать все, что надо? Удастся ли выбраться оттуда?

Предчувствие близкой опасности как бы вызвало у нее прилив энергии, силы. Легкости и спокойствия у нее уже не было, но зато не было и смятения. Было сознание: нужна осторожность.

Шла твердо и, казалось, совсем спокойно.

Перед городом ее и попутчиков остановил патруль — три солдата с автоматами. Когда перед ней проверили документы и осмотрели вещи двух попутчиц, Нина выступила вперед. Один из немцев, белобрысый, с нахальными голубыми глазами, окинул ее взглядом с головы до ног, будто раздевая, бросил одно слово:

— Ausweis! [1]

Нина вынула из внутреннего кармана пиджака тряпку, неторопливо развернула ее и показала удостоверение. Не сводя с нее глаз, гитлеровец взял документ, прочитал, снова впился в нее взглядом. Не возвращал удостоверение, и Нину холодом обдала тревога: плохо сделано? Заметил какую-нибудь погрешность? Заподозрил? Сдерживая дыхание, тая страх, видела она, как патрульный с нахальной улыбочкой вертел аусвайс, смотрел на нее. Другой, видимо его помощник, тем временем проворно рылся в корзинке.

Заметив, как кусок розового сала, густо посыпанного солью, исчез в кармане обыскивающего, она ухватилась за корзинку. Надо и мне оставить на рынок!

— Но, но! — грозно крикнул на нее тот, с аусвайсом.

Корзину отобрали, обыскивающий перерыл все. Только тогда возвратил. Глядя на нее, белобрысый вдруг пожурил:

— Нехорошо! Такая красивая мадам! Волнуется продукты...

Он возвратил аусвайс.

4

Первым, что Нина увидела в городе, были два новых дзота по обеим сторонам улицы. Сбоку тянулись два ряда заграждений из переплетенной накрест проволоки, вдоль которой мерно прохаживался солдат. На углу высилась будка на столбах, и там торчала другая такая же фигура, только странно неподвижная.

«А на улице пусто»,— заметила она. Ей казалось, что колючая проволока опутала весь город.

---

[1] Удостоверение (нем.).

С этой минуты у нее было такое ощущение, будто вдруг наступило затмение, страшное, загадочное, угрожающее. Слух ее теперь остро ловил каждый звук. Она замечала все, что происходило вокруг, хотя со стороны казалась спокойной и даже беззаботной.

Когда подходила к рынку, мимо прошумела грузовая машина с солдатами, за ней такая же другая, потом третья.

Задержав шаг, Нина увидела: недалеко впереди машины резко остановились. Послышались команды, и посыпавшиеся из кузова солдаты начали быстро, с угрожающим топотом, разбегаться в обе стороны, окружать рынок.

«Облава»,— мгновенно сообразила она. Сразу же свернула в первую же боковую улочку.

Ощущая тревожный холодок в груди, Нина старалась быстрее отойти от рынка. Уловила слухом: там возникали звуки испуга, суеты, вопли, приказные крики немцев. Мимо нее торопливо пробежало несколько женщин, видно вырвавшихся с рынка. Две из них придерживали рукой кое-как скомканную ткань, которую они, вероятно, не успели продать, третья держала за плечами мешочек, — он при беге болтался и бил ее по спине. Из мешка сыпалась мука.

Вслед за ними протопал тяжелыми коваными сапогами солдат. Он на бегу крикнул что-то и выстрелил. Беглянки, услышав выстрел, остановились...

Задержавший их немец был впереди. Нине страшно хотелось броситься назад, вырнуть в какой-нибудь укромный переулок. Но она знала, что солдат непременно приказал бы ей остановиться, выстрелил бы, потому как ни в чем не бывало уверенно пошла навстречу ему. Солдат, подталкивая автоматом, ругаясь, вел задержанных к рынку. Когда оказались рядом, он с подозрением взглянул на Нину, хотел что-то сказать, даже шевельнул губами, но спокойный, без признаков смятения, вид женщины, бросившей на него уверенный взгляд, остановил его.

Преодолев опасность, Нина пошла быстрее. Сердце ее билось гулко и часто.

«Чуть не попалась. Так глупо, бессмысленно...»

Через час, а может, и больше по тихой, изрытой колдобинами улице она подошла к одной из явочных квартир.

Быстрым, зорким взглядом окинула дворик и деревянный, покосившийся от ветхости дом, куда ей надо было идти.

Отметила, что у дома какой-то запущенный, будто нежилой вид — в окнах ни одной занавески, а в среднем выбито стекло. Неужели так и живут с выбитым стеклом? И около распахнутых ворот — рубчатый след автомобиля.

Все это ухватила одним взглядом. Не замедляя шага, не спеша, прошла мимо дома.

Чуть впереди, заметила она, прохаживался сухой, мирный, как бы скучающий человек. Приближаясь, проходя мимо, видела она: у человека скучающее выражение сменилось недобрым, острым вниманием. Мелькнуло во взгляде его что-то похожее на подозрение. Казалось, хотел что-то спросить. Проходя мимо, она ждала вопроса. Но он не спросил. Уже когда он остался позади, чувствовала за собой его следящий взгляд, с усилием сдерживала себя, чтобы не оглянуться.

Вдруг показалось, что она где-то уже видела этого человечка. Она лихорадочно старалась вспомнить: где? Но память ничего не подсказывала.

Пройдя полквартала, не выдержала, у поворота улицы, будто невзначай, оглянулась. Человек следил за ней. Почему он следит? Может, и он припоминает? Значит, он тоже где-то видел ее? Узнал ли?

Неторопливо прошла за угол. Здесь остановилась, огляделась по сторонам и, недолго думая, нырнула в проем сожженного здания. Между каменными руинами быстро выбралась на другую улицу. Осмотрелась: человека не было видно.

Когда шла к другой квартире, нарочно сделала большой круг, чтобы запутать след. Встревоженная облавой и подозрительным человеком, была теперь очень осторожной.

По мере того как подходила к этой явке, беспокойство ее все усиливалось. Неужели и здесь то же?

Вот и вторая явочная квартира. Узенький двор, аккуратная, закрытая калитка. У вымытых окон зеленеют молодая липа и кусты сирени. Во дворе увидала девушку, подметающую двор. По тому, как она это делала, Нина почувствовала: здесь спокойно. Открыла калитку, подошла, поздоровалась. Девушка, светловолосая, полнолицая, ответила охотно, с какой-то веселой беззаботностью.

— Мне говорили, что вы хотите менять одежду на крупу,— вопросительно взглянула Нина девушке в глаза.

Беззаботный смех в глазах девушки пропал. Теперь глаза ее смотрели внимательно, изучающе.

— А какая у вас крупа?

— Пшено. Есть немного и гречки.

— Идите к Сергею.

Девушка проводила Нину через темные сени с шатким полом в низенькую комнату. Здесь на скамейке сидел молодой, озабоченный парень, что-то клепавший из жести. Когда Нина вошла, он перестал клепать, выпрямился и, откинув со лба прядь густых волос, спокойно взглянул на нее. По приметам, о которых говорил Туровец, Нина определила, что это и есть Сергей...

— Пшено принесла. И гречки горсточку... На обмен. Купите?

— Посмотрю, какую цену заломите.

По его знаку девушка вышла. Убедившись, что он именно тот, к кому ее послали, Нина рассказала о своем поручении. Она сняла левый сапог и из-за голенища вынула небольшую бумажку — записку от Туровца.

Сергей прочитал ее, аккуратно свернул, положил в карман на груди.

— Что-то давно никого не было. Я уже начал беспокоиться... Как там дядька Ничипор? Что делает?

— Долго занимался севом. Сеяли хлеб, картофель... Фрицев и всех прочих гоняли... Теперь собрания проводит, лекции читает...

— Лекции, правда? Интересно бы послушать, по международному!.. Что нового там — по ту сторону?

Он сказал это «там, по ту сторону» с такой нежностью, с какой произносят имя любимого человека. Его вопрос напомнил Нине, как когда-то сама отсюда, из неволи, ловила вести с «той стороны», с Большой земли. Взволнованная этим воспоминанием, она стала охотно, радостно рассказывать ему.

Сергей ловил каждое слово. Лицо его ожило, глаза блестели.

— А что у вас? — спросила она в свою очередь.

Он рукой отбросил прядь волос со лба, сразу стал озабоченным.

— Тяжело здесь стало, ничего не скажешь. Теперь, когда приехало СД из Смоленска и Гомеля, на каждого подпольщика, наверно, не менее полдесятка этих собак, гестаповцев. Хватают одного за другим... Иногда наши попадаются случайно: вскочит где-нибудь в облаву и вместе с другими — в лагерь. Гестаповцы теперь забирают сотнями, думают, гады, что так легче уничтожить нас.

— Как они здесь себя чувствуют?

— Нервничают... Доты везде ставят, амбразуры в домах вырезают, надеются, значит, драться за каждый дом. Вывозят, сволочи, оборудование. Работают только те заводы, которые нужны для войны: ремонтируют танки, пушки, винтовки. Табачная фабрика, депо. Фрау уже собирают свои манатки и спешат — нах Дойчлянд.

Он еще немало рассказывал о положении в городе. Нина слушала внимательно, старалась все запомнить, чтобы не спутать потом, не упустить чего-либо важного, когда спросят в бригаде.

Слушала все это она, еле скрывая волнение. С трудом удерживала нетерпеливые, ненужные вопросы, которые рвались наружу. Ей столько жаждалось знать о том, что происходит здесь, в ее городе. А надо было таить все, прикидываться просто связной.

Рядом, в соседней комнате, послышалась пьяная песня.

— Кто это?

— Фрицы. Из акционерного общества... Со-се-ди,— иронически сказал Сергей.— Правда, с ними хоть немного спокойней: полицаи не так досаждают...

Вскоре Сергей поднялся:

— Я пойду к своим. Карту нам недолго нарисовать, так что вы не беспокойтесь. Все будет в порядке. Вы побудьте здесь с Клавкой, поговорите,— она вам все расскажет. Сестренка моя умеет рассказывать!.. Клавка-а! — крикнул он, подойдя к окну.

Скрипнула дверь, и в хату вошла девушка, подметавшая двор.

— Займи-ка гостью нашу, Клавка. Ей, наверное, скучно у нас...— сказал Сергей.

Они остались вдвоем. Нине бросилось в глаза: в полных Клавиных губах словно таилась улыбка, почти не сходили со щек веселые ямочки,— видно, любила посмеяться, повеселиться.

— Вам, наверно, и правда скучно у нас?.. — спросила она.

— Нет, ничего...

— Вы же, наверное, не минчанка? — спросила Клава, стараясь не молчать.

— Нет...

— А я вот — в Минске все время. И родилась здесь, и живу...

Они помолчали.

— И не были раньше в Минске?

— Нет...— Нина добавила тверже: — Не приходилось...

— Жаль.

— Почему?

— Хороший был город...

Чтобы переменить направление разговора, Нина спросила:

— Вы вдвоем с братом живете?

— Нет... Мать тоже с нами. Она — на Суражском рынке.

— Торгует?

— Продает терки, ковши.

— Их делает Сергей? — догадалась Нина.

— Сергей... После работы или в выходной. Он в гараже «Ост» работает.

— А вы не работаете?

— Нет, тоже приходится... Ничего не поделаешь! Я в столовой — около гаража...

— Помогаете, значит?

— Помогаю, чем могу... — Клава вдруг озорно усмехнулась.

Они незаметно разговорились.

Клава интересно рассказывала о разных случаях из городской жизни.

Слушая ее, Нина поднялась, подошла к низкому, темноватому окну, стала поверх сборчатой занавески смотреть на улицу. Из окна был виден только небольшой кусочек улицы, всего четыре старых приземистых домика...

Прижавшись щекой к свежевымытому косяку, Нина глядела в дальний конец улицы: не увидит ли Сергея? Сергея что-то все не было.

Вдруг из-за угла улицы, покачиваясь на неровной дороге, вынырнула легковая машина с закрытыми стеклами.

— «Черный ворон» прилетел...

— Где? — сразу вскочила Клава и подбежала к окну. Машина за окном уже поравнялась с воротами и, качнувшись с боку на бок, двинулась дальше. За стеклом мелькнула длинноносая, хищная голова в фуражке с высоким верхом.

— Не к нам...

— Кого-то схватят...

Несколько минут стояли рядом, молча.

Теперь она может и не успеть выйти из города, близок уже комендантский час. Нина беспокойно прошлась по комнате, снова остановилась у окна и ожидающе поглядела на улицу.

— Строго сейчас с ночевкой?

— Строго.

— Что, облавы часто?

— Часто...

Спрашивала не потому, что не знала, все это было ей известно с тех пор, когда сама жила в городе. Спрашивала потому, что трудно было молчать. Все же не стала спрашивать, как поступят с тем, у кого обнаружат человека в запрещенное время. Об этом и думать не хотелось: тюрьма, а может, и расстрел.

— А вы не бойтесь,— попыталась успокоить ее Клава.— Сергей придет, все устроит...

Нина отошла от окна и села на диван. Сквозь тревогу и ожидание вдруг, не впервые, но с новой силой прорвалось желание — увидеть бы, обнять бы дочурку!

Только бы, кажется, увидеть, увидеть хотя бы на миг, хотя бы издали взглянуть!

Невыносимо давила тоска: близко-близко дочурка, а увидеть нельзя, не только встретиться, сказать слово малышке, но и увидеть нельзя!

Рассказать, может, Клаве о своей печали, пожаловаться просто, по-женски? Но и этого не позволяло положение, долг ее. Да и беспокойство за дочурку, опасение подвергать Люду риску не позволяло.

— У вас, Клава, детей нет? — выдавила с трудом Нина.

— Ой, что вы! Нет,— ответила Клава.— Я незамужняя.

«Она все равно ничего не поняла бы, если бы и могла рассказать ей», — успокоила себя Нина.

Чувствуя щемящую тоску, Нина вспомнила, с какой тревожной влюбленностью когда-то смотрела на дочку: только бы все было хорошо! Вспомнила, как устраивалась на работу, чтобы не вызывать лишних подозрений, как там, в конторке аптеки, едва не весь день думала о Люде: дома было неспокойно, каждый день около них кружила опасность. В то время она часто относила Люду к Залесским...

То было время, когда Люда едва ли не каждый день удивляла и радовала. Еще не исполнилось года, как она уже сама стояла, делала первые неуверенные, но такие важные шаги. Падала и с помощью мамы или бабы снова поднималась. Дрожали милые ножки, но упорно ступали по полу. Училась ходить. Скоро, держась за мамину руку, она могла пройти уже через всю комнату.

Нина хорошо помнит — на всю жизнь запомнила, — как дочь произнесла «папа» — первое слово, которому ее научила мать... Слушая этот смешной, милый лепет дочурки, Нина тогда старалась представить, как бы слушал его Алексей...

Вечерело.

На минуту где-то из-за туч проглянуло солнце, и все за окном ясно засветилось. Весело заблестели листья на кустах сирени, запылало стекло в доме напротив. Но вскоре солнце снова скрылось,— после его сияния сумрак в комнате показался гуще.

А Сергей не возвращался.

5

Нина услышала его спокойные шаги, как только он вошел во двор.

Нетерпеливо вскочила: наконец-то! Он прикрыл дверь и, привычным движением откинув прядь волос, сказал:

— Заждались, наверное? Немного опоздали мы...

Сергей вынул из-под сатиновой подкладки своей коротенькой куртки сложенный тоненький листок.

— Вот!

Он протянул листок Нине.

— Долго пришлось разрисовывать эту картину, старались ничего не пропустить. Зато все вписали, даже недостроенные доты. Чисто сделали, одним словом...

Нина развернула прозрачный, просвечивающий листок, аккуратно сложенный в несколько раз. План города был весь исчерчен различными знаками. На всякий случай рассмотрев обозначения улиц и площадей, расположение знаков, Нина бе-

режно сложила листок по прежним изгибам. Сняла жакет и, попросив нож или ножницы, осторожно распорола снизу плечо и спрятала карту. Когда стала зашивать, Сергей сказал, успокаивая:

— А что немного опоздали — не такая уж беда. Конечно, выйти из города уже не успеете,— поздно. Но мы можем переправить вас ночью. Так что не тревожьтесь, все будет как надо.

Нина хорошо знала, как опасно ходить ночью. Вспомнилось вдруг, что перед тем, как в позапрошлом году шла с больным профессором, одна группа нарвалась на засаду. Троих девчат схватили и замучили в гестапо.

Прощаясь с Клавой, Нина выложила все, что принесла с собой. Несколько яиц, мешочек крупы, банку топленого масла.

— Пусть вроде подарка из леса будет. Да и мне легче будет возвращаться! — пошутила она.

Клава поблагодарила. Не отказываясь, взяла.

До полуночи скрывалась в квартире на окраине города. В дорогу ей разрешили отправиться только поздней ночью. Первым вышел парень, провожатый. Задержав Нину в сенях, он постоял молча на крыльце, прислушиваясь. Тьма была такой густой, что его фигура в проеме двери была еле заметна даже вблизи.

Где-то тягуче, надрывно, как сирена, гудели машины.

— Пойдем, — тихо позвал парень.

Он спустился с крыльца, молча двинулся в темень, и вслед за ним, мягко ступая, пошла Нина.

Долго пробирались по руинам,— спотыкаясь, то взбирались на горы камней, то проваливались в невидимые ямы; неслышно перешли улочку и наконец поползли по какой-то сырой, грязной канаве. Видно, парень не раз ходил здесь, в темноте вел уверенно, как днем.

У дороги они несколько минут лежали.

Прошли, переговариваясь, патрули. Их сапоги прошагали совсем близко от Нины. Один из них водил карманным фонариком вперед и в стороны.

Мертвенно-желтое пятно, прорезавшее темноту, скользнуло по мокрой блестящей траве почти рядом с ней.

Вжавшись в откос канавы, поросший жалкой травкой, Нина затаила дыхание. Сейчас острый нож света найдет ее, вонзится в плечи, в голову. Нет, нож миновал, отдалился. Вскоре, однако, он снова повернул к ней, перепрыгнул через блестящий столбик. Приблизился вплотную. Стоит ему только повернуть немного в сторону... Нет, вновь отошел...

Теперь он уже с каждой минутой отдалялся.

— А как близко был, — удивленно шепнул парень. — Еще бы немного...

— Близко.

Она не могла отдышаться, будто после бега.

— Поползем. Главное — перебраться через дорогу...

— Ползи! ..— Нина стала выбираться на дорогу.

Потом шли полем. Сбоку порывами налетал свежий влажный ветер. Они были за городом, но парень вел дальше.

Нина оглянулась: города не было видно, не светился ни один огонек, — Минск будто утонул во тьме.

Где-то там, в темноте, спали ее дочка и мать...

Когда были уже довольно далеко от города, стало светать. Вокруг были едва видимые в полумраке поля, полосы ржи, одинокие деревья. Перешли полузаросшую глухую дорогу. Чем более редел мрак, тем более внимательно оглядывались, осторожнее шли.

На меже, среди ржи, остановились, присев на мокрую землю. Отсюда поодаль угадывался вытянутый ряд деревьев — шоссе. Идти туда пока было рано.

— Не пришлось, бедняга, поспать,— сказала Нина сочувственно.

— А мы, можно сказать, никогда и не спим. Только так, дремлем...

— Когда ночь свободная, тоже нет покоя?

— Сейчас такое время, что все тревожишься, прислушиваешься...

— Часто ночью ходишь?

— Часто...— Он вскинул голову.— Что правда, то правда, не спим, можно сказать. Но зато и фрицам не даем спать! ..

Нина только сейчас рассмотрела его как следует: пареньку было не больше четырнадцати лет. Он был худой, усталый, с узкой впалой грудью, живые, смышленые глаза смотрели не по годам серьезно. Колени залатанных штанов и локти были залеплены грязью. Устало сутулясь, он вытирал грязь пучком ржи.

— Не пускают к вам. Говорят, здесь нужны люди. А то бы я давно махнул в лес...

Он посидел с полчаса, чуть было не задремал, но встрепенулся — с усилием привстал, осмотрелся.

— Здесь дорога близко. В конце межи. Из села к шоссе. Так вы по ней. Как начнут ходить...

Он подал руку. Пригибаясь, ушел по меже, в сторону города. Исчез, скрылся за стеною ржи.

Нина осталась во ржи.

Справа от того места, где был невидимый сейчас за холмами Минск, все больше светлело, розовело небо. В вышине, пока еще тускло-серой, вдруг весело заалели легкие неподвижные облака.

Светало.

ГЛАВА VI

1

Готовясь к предстоящей операции на железной дороге, Ермаков тщательно разведывал пути, обстановку в районе дороги.

С этой же целью отправил комбриг к дороге и группу подрывников во главе с Шашурой. Группа должна была обследовать участок дороги со своей, специальной точки зрения: определить лучшие пути подхода к дороге, характер действия подрывных групп.

Подрывники, укрывшись в ближайшем лесу, день и полночи просидели, изучая участок, на котором предстоит им работать, расположенную между лесом и дорогой довольно широкую полосу вырубки.

Казалось бы, целиком озабоченный делом, Шашура, однако, много думал и о вещах, весьма далеких от его командирских обязанностей. Еще до того, как отправился из лагеря в этот путь, Шашура думал о том, что теперь все время беспокойно и заманчиво теснило его сердце.

Следя за дорогой, отмечая все ценное для дела, Шашура ощущал, что есть прекрасная возможность осуществить давнее желание — навестить Поплавы...

Весь остаток ночи они шли обратно, потом отдыхали в лесу и снова шли. К концу дня, сделав довольно большой круг, подошли к так знакомому Шашуре селу. Разрешив людям, которые были с ним, отдохнуть в леске у села, Шашура с видом человека, обремененного обязанностями, сообщил, что должен зайти по одному неотложному делу. Неторопливо, важно зашагал к селу.

После того как Шашура пахал поле, ему ни разу не удавалось побывать в селе. Он, правда, не раз собирался сюда наведаться, но все как-то не выходило.

Аксинья встретила его приветливо и, чувствовалось, была рада его приходу. Уложив детей спать и постелив гостю в садике, она долго стояла с ним под яблоней и разговаривала.

— Пора спать... Поздно, — спохватилась вдруг женщина.

Шашура попытался задержать ее, обнял за талию, будто в шутку, и привлек к себе. Но Аксинья вырвалась и, попрощавшись, пошла к себе в «хату».

Подрывник остался один. На душе у него было тоскливо и беспокойно: уже давно не мог безразлично относиться к этой женщине славный бригадный подрывник. Не видя ее, он почти все время думал о ней, вспоминал ее; далекая, как будто случайная встречная, она удивительно влекла к себе, вызывала у Шашуры такое ощущение, будто жизнь без нее не полна.

вызывала невероятные мысли об одиночестве, которых он никогда не знал...

Шашура не очень долго тревожил душу печалью. Не умел подрывник, не в его характере это было — видеть жизнь безнадежной... «Может быть, она чувствует то же самое... — пришла мысль, которая ему сразу понравилась и потому была поддержана им. — Конечно, то же самое...Человек ведь тоже... скучает, конечно... Вон как обрадовалась, когда увидела... Сказала: спать хочет. Но не спит же, конечно... Не спит!.. Не спит и — ждет!»

Ободренный этой мыслью, Шашура направился к хлеву. Ворота были прикрыты. Когда подрывник потянул их к себе, они заскрипели.

— Ты чего? — тихо спросила Аксинья. Шашура почувствовал: похоже, вроде бы в самом деле дремала.

— Да вот... Спать что-то не хочется...

— Не хочется? — Она как бы даже зевнула. Спросила равнодушно: — Что же это?

— Да черт его знает! Не спится, хоть лопни!..— Сказал игриво: — Помогла бы ты, что ли, калина-малина?

— А чем я могу тебе помочь?

Она не приняла шутки, и он сказал серьезно, печально, даже как бы со вздохом:

— Скучно что-то. Такая тоска на душе — понимаешь?

— Не понимаю...

— Не понимаешь? Эх, что же ты такая недогадливая!

Он присел на край постели и ласково, по-приятельски положил руку на ее плечо, горячее и упругое.

— Аксинья!

Она сняла руку, посоветовала недоброжелательно, строго:

— Если скучно, поезжай к жене. Станет веселее.

— Не к кому мне ехать,— сообщил Шашура, как бы ища сострадания. — Я не женат...

— Все вы одинаковые, неженатые,— ответила она с насмешкой.

Шашуру это задело. Правду говорят ей, а она не верит!

— Не женат, верно говорю.

— И давно?

— Вот же, не верит! Побожиться тебе, что ли?

— Зачем? — погасила она надежду, вспыхнувшую у подрывника.— Все равно... я веселить не умею.

Шашуру не очень обескуражила ее строгость. Человек настойчивый, он не зря считал себя хорошим знатоком отзывчивого, по его мнению, женского сердца. Еще с полчаса он говорил, непоколебимо веря, что женщина сменит гнев на милость. Говорил увлеченно: Аксинья казалась ему желанной и родной, как никогда.

Рассказав несколько смешных историй и анекдотов и услышав, что Аксинья раз-другой засмеялась, Шашура ласковым, но уверенным движением обнял ее за плечи. Их тепло обожгло его.

— Аксинья, милая!..

Она попыталась вырваться. Но он не подчинился ей.

— Ты что это?

— Да вроде ничего,— попробовал он шутить.

Жарко дыша у его лица, она приказала решительно:

— Пусти!

— Аксинья, — попытался он смягчить ее гнев, — успокойся!.. Не надо...

— Пусти! — неуступчиво прошептала она и с силой вырвалась. — Какие вы все! С вами по-хорошему, так вы не понимаете...

В голосе ее были и гнев, и обида: показалось, она вот-вот заплачет. Шашуре было неловко, но сильнее всего была досада и раздражение:

— Ты «понимаешь»! Будто черт знает что сделал!..

— Еще что скажешь? Так я тебе и разрешу!

— Прямо — картина, дотронуться нельзя...

— А что ты думаешь? Нельзя!

Он отдышался. Была уже неловкость и оттого, что он, как баба, не скрыл раздражения. Не удержал на уровне свое мужское достоинство.

Он изменил направление разговора:

— Я же, может, потому, что люблю тебя.

— Неужели? Что-то не заметила...

Он на этот раз не поступился достоинством. Не стал унижаться: не верит, ну и пусть не верит. Попробовал, однако, — теперь осторожно — снова обнять ее, но Аксинья оттолкнула его руки и, легонько ударив, сказала:

— Иди отсюда... По-хорошему прошу...

— Просишь? Ничего себе — просьба.

— Как умею...

«Ишь ты какая барыня! — недовольно подумал Шашура. — И кто бы мог ожидать. Казалась такой ласковой... Эту породу никогда не поймешь...»

— Ну что же, спасибо... За просьбу.

Он говорил холодно, с достоинством.

Встал и вышел.

В полночь, решив уходить, он снова зашел к ней, разбудил ее, чтобы попрощаться. Будто и не случилось ничего, был, как всегда, весел, с Аксиньей говорил дружески, шутил.

За то, что произошло ночью, он не чувствовал ни стыда, ни раскаянья: впрочем, кажется, он никогда не раскаивался.

Получив отказ и успокоившись, он, прощаясь теперь, испытывал к ней даже как будто большее уважение. Строгая женщина! Твердый человек, надежный. На такую жену можно было бы надеяться.

«Этак, чего доброго, я скоро перестану ценить свою холостяцкую свободу!» — с удивлением подумал подрывник.

Шашура до войны был женат, но неудачно. Жена его оказалась придирчивой и страшно ревнивой женщиной, в семье часто возникали ссоры, и наконец Шашура не выдержал — развелся.

С тех пор он очень скептически смотрел на любовь и на семейное счастье. Поэтому он и удивлялся своей привязанности к Аксинье. Говоря ночью женщине, что любит ее, подрывник сам мало верил в свои слова.

Аксинья, казалось, тоже как будто забыла о злополучном происшествии. Попрощалась приветливо и даже попросила, чтобы он не забывал дорогу к ней, заезжал в гости.

— Заезжать, значит,— задержался Шашура.— Ты это — серьезно?

— Сказал! Какие могут быть шутки!

— Значит, серьезно...

— Серьезно.

— Ну что же, надо будет подумать...

Он чувствовал в ее голосе лукавинку, и ему казалось, что она и глядит лукаво. Сказал озорно — надо было скрасить както недавнее недостойное раздражение:

— Очень уж ты строгая!

— А ты очень быстрый!..

— Быстрый? Это правда. Что верно, то верно!

Шашура захохотал.

— Значит, заехать?— Он нахмурился, озабоченно поинтересовался: — А драться не будешь?

Она успокоила:

— Не буду, если ты будешь... умнее... И врать перестанешь!

— Врать? — Шашура поклялся: — Век не врал...

— Ну да! Ладно, иди уж.

— Иду. Ну что ж. Раз так — дожидайся!..

Он наклонился, притянул ее к себе. Поцеловал.

Быстро, весело пошел со двора.

2

По сообщениям разведки, район, куда отправлялись ермаковцы, кишел гитлеровцами и полицаями. Почти на всем бригадном участке железной дороги стояли дзоты, тянулась

колючая проволока. В ближайших деревнях располагались гарнизоны, а в поселке, километров за восемь от дороги, размещалась отведенная с фронта на пополнение артиллерийская часть с шестью пушками.

Последнее обстоятельство, надо сказать, весьма заинтересовало Ермакова. Услышав о пушках, комбриг загорелся: ударить внезапно, вдребезги распатронить и захватить артиллерию! Этот соблазн так увлек Ермакова, что он настроился было группу посильнее направить громить гарнизон, а для работы на дороге выделить один отряд с кое-каким усилением. Ермаков уже предчувствовал, какая слава загремит, когда он расколотит гарнизон и возьмет пушки.

Но Туровец не смог постичь значения блестящей идеи комбрига. Осторожный, штатский ум комиссара более чем сдержанно принял эту идею.

— На что это тебе сдалось, Коля?.. Слава? Шум?.. — сказал Туровец, раздражая своей медлительностью. — «Сочтемся славою, — ведь мы свои», как сказал поэт...

Туровец говорил шутливо, мягко: знал, что ласковый разговор комбриг любит и, хотя и считает его, Туровца, хитрецом, быстрее уступит там, где из-за самолюбия упрямился бы при ином тоне разговора.

Ермаков поспорил, поколебался и, поразмыслив, уступил Туровцу. Упрямый, увлекающийся, он, к счастью, умел подчинять свои желания рассудку.

Было условлено: выполнять основную задачу, а против гарнизона, чтобы прикрыть себя с этой стороны, выставить только заслон.

Весь следующий день собирались в дорогу. Брали с собой только оружие и средства для подрыва — толовые шашки, шарики, детонаторы. Командиры следили за тем, чтобы не было лишнего груза: комбриг предупредил, что двигаться придется быстро, следует достигнуть назначенного района за один переход.

Между тем предстояло пройти более шестидесяти километров.

Отправились перед вечером. Привыкшие к большим переходам бойцы и командиры шли ходко. Несмотря на то, что почти все несли тол и боеприпасы, отстающих не было.

Туровец шел с отрядом имени Кутузова. Шагая рядом с партизанами, он слушал неторопливый разговор. Туровец любил эти бесконечные дорожные разговоры. Чего только в них не услышишь — и воспоминание, и озабоченность, и веселую историю, и сказку, и нередко чью-нибудь заветную мечту.

Вот один пожилой мужчина рассказывает, как его, когда он еще мальчиком косил сено, укусила гадюка и он, наверное, умер бы, если бы не бабушка-знахарка.

— Дала она мне какое-то зелье, густое и горькое-горькое — такое, что я, когда выпил его, спал целых полтора суток как убитый. И с тех пор, поверишь, пошел на поправку. Опухоль спала, полегчало сразу...

Послушав эту историю, порадовавшись за рассказчика, посочувствовав ему, Туровец оказался рядом с двумя парнями с пулеметом, обсуждавшими будущую операцию. Один из них был настроен очень воинственно, слишком воинственно.

— Ну, все-таки бой есть бой. Все может быть... — вмешался Туровец в разговор. Он помолчал. — Вот однажды шел хлопец полем. Утром дело было. Хорошо — солнце, лен цветет, а в том льне девушка, такая красавица, что от нее все кажется еще прекраснее... Ну, хлопец и растаял, всему радуется: ах, какой день хороший, ах, какой лен, ах, какая славная девушка!

Парни, чувствовал Туровец, слушали с интересом, ожидали, что же будет дальше. Туровец не спешил.

— Так. А здесь этот разговор и услышал старик — шел навстречу. Остановился он, да и говорит: хвали, хлопче, лен осенью, день к вечеру, ну а девушку — замужем!

— Ловко! — засмеялся один из парней.— День к вечеру, а девушку — замужем!

— О чем вы рассказываете, товарищ комиссар? — послышался любопытствующий голос сбоку. В бригаде знали, что Туровец мастер рассказывать.

Туровец часто вмешивался в разговор. То с какой-нибудь историей из жизни, то с охотничьим приключением, а то и с таким анекдотом, начиная который надо было поначалу осмотреться, нет ли поблизости женщин. Запас разных историй у него был неисчерпаем, и рассказывал он их охотно, где придется,— в дороге, на привале, просто к слову. Он чувствовал, что эти разговоры часто сближали его с людьми, открывали скрытные души, помогали в работе.

В разговоре дорога проходит незаметно. Тихо, крадучись, подступили сумерки. Вот уже в темноте гнилушечными светлячками обозначаются в руках цигарки. Вдруг тьма расступилась, ушла в кусты, в ветви деревьев. Выплыла луна. Около нее заблестело несколько прозрачных, пронизанных ровным тихим светом облачков. Подплыв к луне, они серебристо сияли.

Миновав свою зону, начали обходить деревни. Кроме того, что не имело смысла ввязываться в стычки с полицаями, надо было подобраться к дороге незаметно.

Шли больше всего заросшими травой полевыми дорогами. По обеим сторонам часто щетинились полоски хлебов.

— Хороший хлеб будет,— с удовлетворением произнес кто-то. — Хоть и поздновато сеяли, но должен уродиться...

Туровец оглянулся на голос и увидел спокойную, мерно шагающую фигуру пожилого автоматчика. А тот продолжал, будто рассуждая сам с собой:

— Дождик ему был очень вовремя. Как на дрожжах — прямо гонит жито из земли. Будем с пирогами встречать!

— Это еще как сказать! — возразил кто-то вблизи. Насмешливо, баском.

— Чего — «как сказать»?

— А того. Я думаю, что пироги твои не испекут к тому времени.

— Почему — не испекут?

— Потому. В печку не успеют!

— То-очно,— весело подхватил Лехора.

8

После полуночи луна скрылась. Небо затянуло тучами. Туровец был рад, что наступила темнота, легче будет незаметно подойти к железной дороге.

На рассвете хлынул дождь, дорога стала скользкой, колеи и ямы наполнились водой. Партизаны попадали в лужи или наступали друг другу на ноги. Чертыхались, поругивались.

Дождь, почти не утихая, лил и на рассвете. Утро было неприветливым и хмурым.

Остановились на поляне в лесу. Бойцы промокли до нитки, но развести костры Ермаков не разрешил, чтобы не демаскировать бригаду. Всем было приказано соблюдать тишину и не покидать места дневки.

Дождь на некоторое время прекратился было, потом снова начало лить. С мокрых веток на людей то падала каплями, то стекала струями вода. Но почти никто не просыпался. Скорчившись, пригнув голову к груди, стараясь согреться своим дыханием, люди спали.

Туровец прилег возле дубка и тоже задремал. Проснувшись, он почувствовал, что правый бок, на котором он лежал,—в воде, тело начало сводить от холода.

Прикрывшись от дождя краем промокшего плаща, он закурил и затянулся горьким дымком, от которого внутри будто потеплело. Осторожно обходя спящих, в мокрой фуражке, мокром парусиновом плаще, выбрался из лагеря и направился к постам, стоящим со стороны села.

— Ну, что выследили? — спросил комиссар у дозорного Лехоры, сидевшего в кустах на опушке леса. В набрякшей пестрой плащ-палатке партизан был похож на большую нахохлившуюся птицу.

— Пока ничего, товарищ комиссар. Спокойно. — Лехора с завистью глянул на цигарку. Заметив этот взгляд, Туровец затянулся и отдал ему «бычок».

Туровец, преодолевая сонливость, посмотрел в поле, на деревню, тянувшуюся в километре чередой понурых серых хат с гонтовыми и соломенными крышами. С поля в деревню ползла телега с крестьянином.

Слева вдали виднелся небольшой луг. Там мальчик пас нескольких коров. Размахивая кнутом, он бежал за отбившейся от стада коровой. От этой картины на Туровца будто дохнуло детством. Когда-то вот так же ходил с кнутом и он, черноволосый, похожий на цыгана, пастух, сирота Ничипор. Комиссара тронула отцовская нежность к мальчику, захотелось подойти к нему поближе, поговорить, как-то обнадежить. «Вот и им теперь вместо школы приходится пасти коров».

— У вас, в Чехии, меньше дождей? — взглянул Туровец на Лехору.

— У нас большие дожди, товарищ комиссар, бывают. Особенно в горах, там, если пройдет ливень, маленький ручей становится как река. Ревет, как зверь, и все срывает, что попадется на пути. Дубы выворачивает и несет, как... как щепки!

Туровец симпатизировал Лехоре. Парень хорошо вел себя в бою, радовал дисциплинированностью, аккуратностью во всем. Туровец знал, что отец его — старый железнодорожник в Словакии, брат, коммунист, арестован гестаповцами.

— Ну, это, видно, последняя твоя операция с нами. Как только прилетит самолет, отправим тебя, Лехора, за линию фронта.

Лехора поблагодарил: он просил, чтобы его отправили в Чехословацкий корпус, тот уже подходил к его родной Словакии.

— Мне будет жалко, товарищ комиссар, ехать отсюда... — признался парень.

— Жаль?

— Привык...

Приказав задерживать всех, кто появится в лесу, Туровец направился назад, в глубь леса.

Лагерь уже ожил. Дрозд поднял роту и теперь, сутулый, в замызганной кепке и свитке, вместе с командирами рачительно, придирчиво проверял, готовы ли люди к бою, полностью ли сохранили тол, взрыватели, шнуры. У него все было на учете до самой малой мелочи.

«Хозяин! — невольно подумал с одобрением Туровец.— Да, недаром его называют председателем колхоза».

Заметив Туровца, Дрозд оторвался от своих дел, шаркая сапогами в траве, подошел к нему. Невозмутимым тоном сообщил, что в лесу задержали полицая.

— Какого полицая? — будто не понял Туровец. — Что ему понадобилось здесь?

— Вот и я думаю. Вынюхивал что-то, похоже.

— Допросили?

— Спрашивали...

— Ну, а что он?

— Говорит, за самогоном пришел. Гнать здесь кто-то должен был. Опохмелиться захотел.

— Где он?

— К комбригу повели...

Туровец недовольно вытер ладонью шею. На нее текло, ворот плаща тер ее.

Сообщение о полицае он принял почти с безразличием. Дождь и усталость после бессонной ночи мешали соображать. Вначале только подумал недовольно: черт принес этого дурака. Самогона ему захотелось.

Скорее по привычке, чем по велению долга, направился он к Ермакову узнать, в чем же дело с этим полицаем. Разыскивая комбрига, Туровец все время помнил дроздовское «вынюхивал что-то», но почему-то не испытывал тревоги. Как ни трудно думалось, трезвый, опытный разум склонял к тому, что полиция вряд ли могла так скоро узнать об их появлении здесь. Скорее всего, полицай действительно приперся случайно.

Но долг и тот же опыт повелевали не дремать, не успокаивать себя, пока не убедился на фактах. Он должен был, пока во всяком случае, допускать и иное предположение: что полицай послан «вынюхивать». Должен был допускать тем более, что возможность такого поворота дела сулила людям его, бригаде большие трудности и немалую опасность. Ведь если немцы узнали о них, они наверняка подтянут силы, и бригаде придется нелегко. Собственно, исход всей операции может зависеть от этого...

Ермаков, в портупее, со шпорами, вобрав голову в плечи, стоял против рослого растерянного вояки. Вид у комбрига был грозный и решительный. Зеленоватые глаза командира, казалось, пронзали полицая насквозь,— в такие минуты даже партизаны побаивались своего командира. Бледный от страха полицай испуганно следил за каждым движением Ермакова, лепетал:

— Ей-богу, за самогонкой!.. Здесь должны гнать!.. Опохмелиться хотел...

— Врешь! По глазам вижу, что врешь! Говори, зачем пришел? — наседал комбриг.

Пленный клялся, что полицаи не знают о приходе партизан и чувствуют себя спокойно. Стараясь вымолить пощаду, он торопливо рассказывал все, что знал: где и какие у немцев гарнизоны, какая у них охрана, с какой стороны лучше ударить...

Многие из этих сведений позже подтвердил крестьянин, задержанный постовыми.

Человек шел на какой-то лесной лужок косить траву. На плече у него была коса, на ручке косы висел небольшой мешочек.

Увидя в лесу множество партизан, косарь опешил.

— Ого, сколько войска,— обрадовался он.— Откуда это, скажите, столько собралось?

4

План операции, разработанный командованием бригады, включал в себя три отдельные задачи, выполнение которых обеспечивало общий успех.

Главная задача состояла, конечно, в том, чтоб взорвать дорогу. Но для того чтоб это осуществить, следовало разгромить или в крайнем случае блокировать силы немцев, сосредоточенные в районе полустанка. Для прикрытия группы, которой надлежало вести бой за полустанок, было условлено выставить заслон.

Если не самой важной, то самой трудной была задача группы, которой предстояло вести бой за полустанок. Поэтому эта группа, названная штурмовой, была наиболее сильной, ей приданы были и обе бригадные пушки. Возглавлять эту группу взялся сам командир бригады.

Группу, решавшую главную задачу, должен был вести Ковалевич, командир отряда имени Кутузова. Было решено, что с этой группой будет действовать и комиссар, как представитель командования бригады. В группу входила и рота Дрозда. Все бригадные подрывники были включены в эту группу.

Для заслона была выделена рота.

Днем Ермаков провел общее совещание командиров всех групп, командиров и комиссаров отрядов. Сообщил обстановку, какой она представлялась по последним данным разведки, изложил общий план операции, уточнил задачи группам, высказал свои советы. С участием Ермакова, Туровца и Габдулина были проведены совещания в группах, проверена готовность групп, подразделений, людей.

Дождь прекратился еще до полудня. Почти сразу же тучи поднялись, будто вдруг стали легче. Вскоре и вовсе прояснилось, все чаще начало проглядывать солнце. Это солнце, хорошая погода были очень кстати.

Вся вторая половина дня прошла в подготовке к ночным действиям, в ожидании необычной, большой схватки с противником. За это время Туровец побывал почти во всех подразделениях, побеседовал со многими политработниками, ря-

довыми коммунистами, беспартийными. Встретился с подрывниками, у которых он и остался.

Туровец был доволен общим состоянием дел: бригада была хорошо подготовлена к предстоящей схватке. Его особенно радовало отличное боевое настроение людей, сознание размаха и значения предстоящей операции вызывало у людей жажду деятельности, какую-то праздничность. Люди чувствовали приближение великого праздника, того самого, которого столько долгих лет ждали. Казалось, не случайно так весело, тепло сияло солнце к вечеру, к тому времени, когда приближалась операция...

Как видно, это общее настроение передалось и задержанному косарю. Дядька Михал выразил недовольство тем, что должен сидеть как арестант, и попросил, чтобы его тоже взяли на железку. Обосновывая свою просьбу, пообещал, что все покажет там. Ведь он каждую тропку к дороге знает. Побеседовав с ним, Туровец уступил ему, убедил Ермакова разрешить взять его на дорогу.

Эта праздничная настроенность поднимала вместе со всеми и Туровца, в котором ни на один час не умолкало воспоминание о разговоре с Роговым. Совершавшееся ныне словно подтверждало, развивало то, что он слышал от Рогова, что чувствовал и думал, возвращаясь от него домой, в бригаду...

С первыми сумерками бригада пришла в движение. До железной дороги оставалось еще километров семь-восемь, но это было ближайшее расстояние. Группе, выделенной для заслона, предстояло преодолеть расстояние без малого в два раза больше. При этом ей следовало обойти несколько деревень, двигаться без дорог. Немалый и нелегкий путь ждал и штурмовую группу.

Сначала ушли люди из заслона, потом, подчиняясь тихо передаваемой команде Ермакова, двинулась штурмовая с пушками. Наконец, начала вытягиваться в путь к железной дороге группа подрыва.

5

С вечера вошла в лес теплая темень. В этой темени и выбирались из лесу, шагали некоторое время полем. Но позже темень начала заметно редеть, потом и вовсе сменилась призрачным полумраком.

— Сейчас вылезет снова луна,— пророчил Шашура.— Когда я иду на железную дорогу, она всегда, поганка, вылезает. Сияет вовсю, чтобы мне труднее было подбираться.

Он не ошибся. Действительно, как и прошлую ночь, вскоре вышла, серебряно засияла луна. Заголубели дорога, поля

вокруг, открылись дали. В лунном свете виднелись в стороне леса, молчаливые деревни. Пришлось идти с большей осторожностью. Более внимательно наблюдали за дорогой впереди, за деревнями, которые обходили. Напряжение не спадало и тогда, когда вступали в леса, испещренные светом и тенями.

Туровец все время следил за движением группы: за тем, чтоб держались бдительно, чтоб соблюдали тишину, чтоб не привлекали внимания немецких гарнизонов. В движении вне дорог очень полезным оказался бородатый косарь, дядька Михал. Возбужденный и обстановкой, и своей ролью, он с разведчиками вел группу и по полузаросшим тропам, и напрямик через поля, и через какие-то луга. Иногда у него с разведчиками возникали споры, и он, глубоко задетый, вспыхивал, повышал голос, доказывая свою правоту. Раз в этот спор пришлось вмешаться Туровцу. Для начала комиссар велел дядьке поубавить голос, напомнил о необходимости соблюдать тишину...

Группа достигла места сосредоточения удачно, без единого выстрела. В глубине леса Туровца встретили разведчики и объявили:

— Дорога тут, близко. Метров триста.

Оставив группу в укрытии, приказав соблюдать предельную маскировку, Туровец с разведчиками, командиром отряда, Дроздом и Шашурой начал среди деревьев пробираться к дороге. У дороги, он знал, должна быть довольно широкая полоса вырубки.

Вскоре в просвете меж деревьями обозначилась полоса. Залегли у самой полосы, за последними деревьями. В свете луны отчетливо была видна ровная линия насыпи. Та самая железная дорога, к которой они шли. От полотна дороги их отделяла теперь только вырубка, сделанная немцами по обеим сторонам насыпи. На вырубке повсюду чернели пни да молодые лесные побеги.

По насыпи шли, переговариваясь, патрульные. В тишине Туровец слышал, как шаркают по шпалам да по гравию сапоги. То один, то другой патрульный останавливался и оглядывался. Пройдя шагов сорок, патрульные постояли на месте, потом молча повернули назад.

Шашура тихо, взволнованно прошептал:

— Крутятся тут себе на погибель! ..

Туровец спросил разведчиков, уверены ли они, что правильно вывели. Что это именно тот участок дороги, который нужен. Командир разведчиков ответил, что вышли точно. Что вон там справа — у ручья — дзот, там, как намечено, — правый фланг.

Услышав про дзот, правый фланг, Дрозд пододвинулся к разведчику. Именно там, на правом фланге, надлежало дей-

ствовать ему, его роте. Он знал, что роте предстояла нелегкая, очень важная задача. И трудность ее определялась прежде всего тем, что там, справа, этот проклятый дзот. К которому надо подобраться незаметно и, как только Ермаков начнет штурм полустанка, — заставить замолчать установленный в дзоте пулемет. Забросать дзот гранатами. Дрозд эту задачу поручил боевым ребятам Василя Крайко.

От успеха действий у этого дзота многое зависело в предстоящем здесь бою.

Ознакомившись с обстановкой, посоветовавшись с Туровцом, командир группы Ковалевич приказал осторожно подтянуть группу к вырубке.

Лежа у вырубки, наблюдая за насыпью, за патрульными, Туровец в то же время прислушивался к звукам в той стороне, где был полустанок, где должна начать бой штурмовая группа Ермакова. Начало ее боя должно было стать сигналом к началу боя у них, в группе Ковалевича. Туровец беспокоился, как бы там не начали бой до того, как здесь подтянутся, подготовятся к бою. Но там было тихо.

Тихо было и здесь. Тихая, спокойная ночь, казалось, царила вокруг.

В лесу спросонья прокричала какая-то птица и замолкла. Туровец ощущал знакомые запахи ночного леса. Пахло застоявшейся сыростью, осинником, болотными травами.

Окидывая взглядом вырубку, невольно подумал: «Сколько деревьев погубили возле железной дороги! .. И давно ли, кажется, это было. А вон уже кустарник лезет... Упрямо! Неистребимо! ..»

По какой-то непонятной связи вслед за этой пришла мысль о Нине. Беспокойная, она, впрочем, не раз приходила и в прошлую ночь, и в минувший день. Сегодня Нина должна вернуться. Может, она уже дома... Эта мысль таила в себе тревогу, но Туровец успокаивал себя. Надеялся на лучшее.

Обостренным слухом он ловил позади еле заметный шум большого движения. Тревожился, как бы не заметили немцы. Когда фигуры на насыпи остановились, он насторожился, подумал, что услышали, поднимут тревогу. Но они зашагали снова.

Туровец вдруг представил себе, сколько глаз следит в это время за ними.

Там, куда пошла штурмовая группа, которой надлежало начать, было тихо. Уже подтянулись, подготовились к броску все, а там по-прежнему было тихо. Туровец чем дальше, тем более нетерпеливо ждал сигнала, но со стороны полустанка не было ни звука. Он начал беспокоиться: почему они опаздывают? Не случилось ли чего-нибудь?

— Надо б начинать,— нетерпеливо шевельнулся рядом Шашура. — Что они там, калина-малина?

— Какая-то заминка, видно...

Слева треснули выстрелы, послышались отдаленные, какие-то всполошенные вопли. Вопли захлестнула стрельба.

Тогда же торопливо, почти слитно прозвучало два орудийных выстрела, потрясших тягостную тишину. За ними взлетела, подсветила очертания леса в стороне малиновая ракета.

Туровец подумал, что немцы, видно, в последнюю минуту обнаружили партизан. Но то, что партизаны сразу же за их выстрелами ударили, дало ему понять, что обнаружили немцы поздно. Началось! Сразу спало трудное напряжение беспокойного ожидания.

По звукам боя, которые он остро ловил, Туровец мог лишь догадываться о том, что происходит у Ермакова. Короткое время были слышны только орудия Ермакова да его пулеметы. Очень скоро немецкие винтовки и автоматы вступили в схватку с партизанскими. Схватка эта, издали определял Туровец, была яростной. И с каждой минутой ожесточение ее, похоже, нарастало. Немцы как бы и не думали поддаваться.

Удивительно много ощущает, видит и замечает человек в напряженные мгновения. Слушая, следя за полустанком, тревожась, определяя, Туровец в то же время замечал, как вели себя патрульные на дороге. При первых выстрелах на полустанке они остановились, какую-то минуту каменели неподвижно, видимо не зная, что предпринять. Потом, когда на полустанке завязался бой, устремились вправо, к дзоту.

Но в это время ухнуло возле дзота. Один раз, второй. Гранаты. Гранаты, видно, Василя Крайко. Патрульные застыли, сыпанули с насыпи. Сначала на эту сторону, потом, когда заработал немецкий пулемет, метнулись на ту. Это Туровец ухватил как бы боковым зрением, так как все внимание было направлено туда, где начал Крайко. Он с облегчением отметил то мгновение, когда вслед за еще несколькими взрывами пулемет, бивший из дзота, захлебнулся. Он это выделил сразу, несмотря на то, что там, у дзота, закипела беспорядочная стрельба автоматов.

Сквозь эту стрельбу почти сразу же прорвались напористые, возбужденные крики. На помощь Василю, понял Туровец, пошла вся рота...

Тогда Туровец, ощущая легкость внутри, повернулся к командиру группы:

— Время начинать.

Ковалевич — слышал ли, нет ли — понял его. Кивнул:

— Время.

Они поднялись.

Обратившись лицом к лесу, Ковалевич широко, уверенно повел рукой в сторону дороги. Туровец в клекоте недалекого

боя не расслышал его, увидел только раскрытый в крике рот. Но показалось, будто Ковалевич приказывал:

— Вперед, хлопцы! На железку!

— На железку! На железку! .. На железку! .. — показалось, многоголосое эхо покатилось по опушке.

Вероятно, скрывавшиеся за деревьями люди только и ждали этого желанного приказа, так как сразу его подхватили. Молчаливая, влажная опушка леса мгновенно ожила, пришла в движение, многообразное, неистовое. Казалось, будто грозовой ветер вырвался из опушки на полосу вырубки перед дорогой. С угрожающими торжествующими криками, перескакивая через пни, спотыкаясь, выбегали на вырубку — мимо Туровца, мчались к насыпи темные движущиеся фигуры. В мгновение они заполнили собой всю полосу вырубки впереди. И теперь в клекоте боя Туровец странно слышал и крики, и ругань, и топот многих ног. Чувствовал, как подрагивает под ногами земля.

У насыпи партизаны стали расходиться в обе стороны, очищать железную дорогу. Их натиск был таким сильным и дружным, что немецкая охрана, залегшая по ту сторону и попытавшаяся сопротивляться, едва сделав несколько беспорядочных выстрелов, умолкла.

Очистив насыпь, партизаны отошли, залегли на безопасном расстоянии по сторонам ее. На насыпь, дождавшись наконец своего часа, поднялись подрывники. Большинство их разрывали землю, подкладывали шашки, несколько человек зажигали шнуры, — беспокойные огоньки множились, мигали, шевелились, все шире расходились в обе стороны.

Туровец видел, как, едва подрывники проворно отбежали от насыпи, над одним огоньком стремительно взлетело белое яркое пламя, насыпь и вся вырубка словно вспыхнули, земля содрогнулась. Сильно, упруго ударил близкий взрыв.

Еще не опал щебень, выброшенный первым взрывом, как на насыпи грохнуло вновь.

Взрывы вскидывались и вскидывались, расходились вправо и влево. В воздух все время взметало щебень, землю, осколки, щепу.

Эти сильные взрывы, прекрасное, праздничное ощущение мощи захватывало Туровца, влекло его броситься к подрывникам подкладывать шашки. Он вспомнил, как в прошлом году с крестьянами выворачивал ломом рельсы. Вот и сейчас он чувствовал в себе силы для такой работы! Но надо было стоять, следить за ходом операции. Чтоб при необходимости сразу вмешаться...

Туровец не обмолвился ни с кем и словом, грохот заглушал все. Да и не до разговоров было!

Вдруг сзади, в лесу, ударил взрыв. Туровец огляделся, за первым ударило еще несколько раз. Снаряды. Видимо, били гитлеровцы из дальней деревни. Стреляли наугад, и снаряды обычно делали перелет, но несколько легло недалеко на вырубке.

Несмотря на обстрел, подрывники быстро, настойчиво делали свое.

6

Наконец по одному, по два, группами стали отходить от насыпи. Закончили.

Установилась тишина.

Еще не освоившись с ней, все говорили громко. Говорили вразнобой. Смеялись.

Туровец приказал проверить, не остались ли раненые, и отводить людей из-под обстрела.

— Ну как, калина-малина, музыка? — крикнул Шашура, появившийся внезапно, как из-под земли.

Туровец сдержанно ответил:

— Концерт что надо. Симфония!

— Правда, товарищ комиссар! — обрадовался возбужденный подрывник.— Симфония! Здесь другого слова и не скажешь. Такого, чтоб сильное, вроде «домкрат», скажем, и — чтоб непонятное. Рванули! .. А помните, как в прошлом году «концерт» давали под Погорелым? Я тогда под мост подложил бомбу-двухсотку. Эх, калина-малина, так фугануло, что балки летели, как щепки. Я лежал в ямке неподалеку, так меня от взрывной волны сначала как поднимет, а потом как грохнет об землю! Чуть дух не испустил! .. Тогда тоже «концерт» знатный был — на всех дорогах играли.

— Идем, малина-хлопчина, посмотрим, как ты на этот раз поиграл,— прервал его Туровец.

Он шел не только потому, что это повелевал сделать долг, но и из любопытства. Того неистребимого, еще с мальчишеских времен, любопытства, которое столько раз подчиняло себе увлекающуюся натуру комиссара. Знал, что небезопасно расхаживать там, по насыпи, но все же шел. Не мог не пойти.

— Чисто, товарищ комиссар, сработал,— уверял его Шашура, весело шагая рядом.

Когда они поднялись по невысокому, но крутому, заросшему травой откосу на насыпь, в стороне полустанка вскинулось батровое клубящееся пламя, и немного позже докатился взрыв.

— Наверно, наши логово фрицев взорвали...

Туровец с Шашурой пошли по насыпи. Шпалы были изрыты, расщеплены, железные рельсы порваны, покорежены.

— Эх, порвало рельсы! — не выдержал подрывник.

— Порвало... Похоже, брат, — сказал удовлетворенно Туровец, — завоеватели здесь не разгонятся. Действительно, чисто сделали.

— Теперь им тут не скоро удастся прокатить!.. — поддержал Шашура.

Пройдя немного, утолив любопытство, Туровец решил повернуть назад, к лесу. Помнил: небезопасно прогуливаться здесь, когда в любое время могут появиться еще немцы из гарнизонов. Да и срезать из кустов очередью могут запросто. Но в то время, когда уже собрался уходить, его остановил отдаленный, приглушенный расстоянием взрыв. За ним вскоре донеслись второй, третий.

Потом загремело в другой стороне, ближе. Будто эхо перекатами шло, ширилось во все стороны по полям, лесам, лугам.

Близко и далеко, то громко, раскатисто, то тихо, едва слышно, звучали, перекликались взрывы.

— Кто это? — восхищенно спросил Шашура.

От пламени пожара, пылавшего в стороне полустанка, на лице Туровца трепетали красные отблески. Минуту он стоял неподвижно, сосредоточенно слушал. Потом как бы опомнился, взглянул на Шашуру:

— Кто, говоришь? Кто же — все наши знакомые... Здесь и вот здесь калининцы и «Советская Беларусь». Дальше, справа, видно, Первая Минская. Вон там, не иначе,— Вторая... Возле нее — гастелловцы... А кто за ними — и сам не знаю...

«Концерт» бригады Ермакова, вероятно, был едва слышен в общем «концерте». На всех дорогах, по всей Белоруссии гремели в эту ночь взрывы.

Партизаны взрывали дороги под Бобром и под Пуховичами, под Лунинцем и под Лидой, под Брестом и возле самого Минска. Тол разрушал мосты, рассекал, корежил тяжелые железные балки, разбрасывал бревна. Над сотнями железнодорожных складов пылало трепещущее, грозное пламя. Эшелоны, следовавшие в эту ночь к фронту, либо горели, либо валялись под откосом.

За одну ночь многотысячная партизанская армия вывела из строя все железные дороги, по которым гитлеровцы снабжали свой фронт, отрезала немецкие части, стоящие на переднем крае, от тыла, от баз снабжения.

«Концерт» был частью общей подготовки нашей армии к наступлению. Он был первым громом, возвещавшим о начале битвы за Белоруссию.

ГЛАВА VII

I

После того как Нина вернулась из Минска, ее отправили к связным в местечко.

Сделать это было гораздо легче, чем пробраться в Минск. Она уже не раз ходила в местечко, и всегда эти походы ее кончались удачно.

Удачными были и ее нынешний путь в местечко и встречи в нем. Но при возвращении в лагерь ее подстерегала жестокая неожиданность. Одна из тех неожиданностей, которых всегда немало на пути разведчиков.

Миновав многие опасности, тогда, когда уже предчувствовала радость близкой встречи со своими, на границе партизанской зоны Нина вдруг попала в немецкую засаду.

Из кустарника навстречу внезапно выскочил немец, нацелил на нее автомат.

В первое мгновение, когда Нина увидела перед собой солдата и автомат, нацеленный ей в грудь, она испугалась, но еще не ощутила всей жестокости того, что случилось с ней. Она не впервые видела наведенный на нее автомат, угрожающий взгляд солдата. Тогда все сходило хорошо. Ей удавалось выбираться из безвыходного, казалось, положения.

И теперь в ней, где-то глубоко, в тумане внезапной, горячей тревоги, тлела надежда, что все как-нибудь обойдется. Но это было глубоко в душе, затаенно. В сознании же, возбужденном опасностью, сразу лихорадочно закружили мысли, быстрые, стремительные: что делать, что отвечать?

— Партизан? — спросил немец.

— Нет. . .

«Надо быть спокойней и смелей»,— подсказывал ей внутренний голос.

Рядом с первым выросли еще несколько солдат и полицаи. Безбровый, свирепый немец лающим голосом приказал:

— Обыскать!

Полицаи и солдаты бросились к ней, схватили за руки, заломили их за спину. Почувствовав невыносимое насилие чужих рук, Нина невольно рванулась и едва не застонала от боли.

Один из полицаев, с густым черным чубом, начесанным на глаз, уловив выражение боли на ее лице, сказал злорадно:

— Не так, как в партизанах? Привыкай!

Он, видимо, был старшим над полицейскими, так как держался свободнее остальных.

У нее не нашли ничего подозрительного.

Безбровый, внимательно разглядывая, повертел в руках ее аусвайс, положил в карман.

Ее толкнули, повели куда-то. Идя между двумя немцами, чувствуя сзади тяжелые шаги чубатого, Нина стала обдумывать свое положение, и ей показалось, что мир вокруг нее сжался, сомкнулся. Она вдруг почувствовала себя очень одинокой.

Однако она не теряла надежды. Мысли были быстрые, беспокойные, чуткие к опасности. Все они были устремлены к одному: что сделать, чтобы спастись?

Она лихорадочно готовилась к предстоящей встрече и допросу.

Прежде всего, понимала она, надо быть спокойной, чтобы обмануть их подозрительность. Она будет обижаться и даже угрожать от имени своего знакомого офицера... Кто он, этот спасительный ее знакомый?..

В помещении полиции кого-то допрашивали. На столе, развалившись, восседал немецкий ефрейтор. На полу, подвернув под голову голые руки, стонал избитый, окровавленный человек. Ефрейтор скользнул по ней взглядом и, недовольно ожидая, повернулся снова к лежавшему на полу. Поразмыслив о чем-то, он жестом руки велел убрать человека. Возбужденный прежним допросом, он равнодушно выслушал сообщение безбрового.

— Куда шла? — спросил он у переводчика, читая тем временем аусвайс.

Нина сама по-немецки ответила, что шла в деревню обменять вещи на еду. Услышав ответ на немецком языке, ефрейтор внимательно посмотрел на нее.

— Там партизанский район.

— Партизаны?! — изобразила она испуг. — Ой, боже... И никто не предупредил!

Она поблагодарила ефрейтора, что ее вовремя остановили, иначе могла бы, не дай бог, попасть «в лапы к партизанам».

— Где вы научились говорить по-немецки?

— О, у меня был хороший учитель! — Нина обиженно сказала, что с ней говорили как с партизанкой, что она пожалуется своему Карлу, штурмфюреру. Чувствуя, что предоставилась возможность выпутаться, она выдумывала так быстро и удачно, что ефрейтор, показалось, поверил, стал говорить с ней мягче.

Он не совсем уверенно велел обыскать ее.

Беспокойство еще не проходило, но теперь ярче засветилась надежда. Может,— о, если бы это случилось! — удастся вырваться.

Внезапно случилось то, чего она не ожидала и что заставило ее сразу забеспокоиться. В комнату вошел Гречка, в полицейской форме, со знаком на рукаве.

Войдя, Гречка козырнул ефрейтору и доложил, что привел какого-то Ворончука.

— Хорошо, веди сюда. Я сейчас кончу с этой... — буднично произнес ефрейтор. Переводчик передал его слова по-русски.

Гречка невольно повел взглядом на того, кем занимался ефрейтор. В первое мгновение, когда увидел Нину, он растерянно заморгал маленькими, глубоко сидящими глазками. Однако быстро оправился, перестал моргать, отвел взгляд в сторону.

Нина настороженно ожидала дальнейшего: выдаст или не выдаст ее?

Может быть, то, что она слышала о Гречке, неправда, ведь слухи нередко обманчивы. Может быть, он остался своим?

— А-а!.. Вы знакомы, Хречка? — вдруг с любопытством произнес ефрейтор.

Нина замерла: вот оно, начинается то, чего она боялась. Скажет или не скажет? Видела: Гречка опасливо взглянул на ефрейтора, встретил его внимательный, требующий ответа взгляд.

Отвел глаза от немца. Долгое мгновение молчал, колебался. Нерешительно кивнул головой.

— Где же вы познакомились?

В голосе ефрейтора звучали нетерпеливые, требовательные нотки.

Лицо Гречки вдруг покрылось испариной. На лице были мука и страх.

— Ну?

— В... лесу,— он торопливо вытер лоб. Рука его дрожала.

— О, в лесу! В партизанах?!

Ефрейтор изображал крайнее удивление: вот так новость! Он ожил. Он еще настойчивее требовал ответа.

Гречка кивнул.

— Давно это было?

— Недавно...

— Когда?

Гречка снова вытер лоб дрожащей рукой.

— Последний раз мы виделись с ней, когда я... пришел сюда, пан ефрейтор...

В сознании Нины возникло, наполнило холодом всю ее страшное: «Пропала». Будто сквозь туман, откуда-то донесся торжествующий голос чубатого: «А-а! Попалась?»

Она нашла силы захохотать.

— Я думала, мы тогда последний день были вместе! — Она снова, с таким трудом, засмеялась.— Я думала, пан и сейчас

там тоже. В лесу.— Внимательно посмотрела на него.— Пан старательным был там!

— Я? . . — испугался Гречка.

— Как вы очутились здесь, пан? Случайно или — специально? — намекнула она на что-то.

— Что ты г-говоришь?! — встревожился Гречка.

— Я говорю об этом, где надо, товарищ Гречка! — наступала, будто открыв что-то важное, Нина.— Там, где этим заинтересуются как следует!

— Гэ, обдурить хочет! — сообразил чубатый.

— Следствие покажет, кто кого хотел обдурить! . .

Немцы, видела она, внимательно выслушали все, что она говорила. Намеки ее произвели впечатление. И то, как она держалась, тоже не прошло бесследно. Ее уверенность беспокоила их. И все же это не помогло. Ее и не думали выпускать.

День ее продержали в каморке при полиции — выведывали, проверяли. Как она ни стремилась выпутаться, чувствовала, что надежды на то, что удастся спастись, все меньше и меньше. И как могла она спастись: Гречка рассказал о ней все, что знал. Они всё знали от своего человека...

Ефрейтор слез со стола, медленно подошел, переваливаясь с боку на бок.

— Откуда шла? — спросил он.

— Я говорила: менять вещи...

Она знала бесполезность своих увертох. Но продолжала игру. Как еще иначе она могла вести разговор с ними?

— Откуда шла? — повторил ефрейтор настойчивее, злобно.

Он раздельно выговаривал каждое слово. Она ответила то же. Видела, как лицо гитлеровца быстро наливалось кровью.

Ефрейтор вдруг размахнулся.

Перед ее глазами вспыхнули острые огненные искры, пронзившие ее бесчисленным множеством жгучих жал. Глухо ойкнув, она упала на пол.

Когда, очнувшись, она поднялась на ослабевших руках и села, пол перед глазами ее качался, клонился набок, вставал вертикально, как стена. На полу было трудно удержаться. Она цеплялась пальцами за щели...

Услышала вопрос, который потом тысячу раз повторяли допрашивающие ее:

— Какое задание выполняла?

Она молчала. Рот был полон крови.

Ефрейтор ходил вокруг нее.

— Кто посылал?

— Какое поручение?

— С кем встречалась?

2

Избитую до полусмерти, ее на телеге повезли в другую комендатуру. Колеса стучали по твердым, будто каменным колеям, скрипели, качались. Каждый толчок болью рвал, жег тело, и Нина сжимала зубы, чтобы не застонать. На грядке рядом горбато возвышался чубатый, время от времени злорадно косился единственным глазом. Нет, он не услышит от нее мучительного стона, не порадуется ее слезам.

«Ничего. Это без привычки,— успокаивала она себя, стараясь сдержать невыносимую боль, разрывающую тело.— Скоро полегчает». Ей вспомнилось, что кто-то из партизан говорил, будто боль сильнее всего мучает человека сначала, а потом нервы притупляются и человек привыкает к боли. И она, видно, тоже привыкнет.

Но почему так горит все тело? Как подумала, что болит, так боль сразу будто ожила. Не надо думать об этом. Лучше постараться думать о чем-нибудь другом, о далеком, хорошем.

С усилием вспомнила один ясный, солнечный день детства. Они с матерью гостили тогда в деревне у тетки. Это было давно... Когда же это было? Она, кажется, еще не ходила в школу.

Как-то раз, бегая с детьми по улице, Нина босой ногой наступила на обрывок колючей проволоки. Колючки во всю длину впились в ногу. Она закричала от боли и, подогнув раненую ногу, стала прыгать на одной. Попробовала вырвать колючки, но не могла. Их словно прибили к пятке.

На крик выскочила встревоженная мать. Нина уже сидела на земле и плакала, испуганно глядя, как из раны течет и течет кровь. Мать сразу вытащила колючки и отбросила прочь. Быстро перевязала ногу платком, взяла Нину на руки и, ласково обняв, понесла в хату. О, это нежное мамино объятие! От него сразу утихла боль и унялись, высохли слезы.

Мама, мама! Если бы ты знала, как мне больно сейчас... Хуже всего, что не знаю, как будет дальше? Не знаю, удастся ли спастись. Что меня ожидает там, куда меня везут? Снова, видно, будут бить и снова будут спрашивать об одном и том же...

Будут бить и спрашивать об одном и том же... Трудно мне, мама... Трудно...

В какое-то время она почувствовала на себе освежающее прикосновение водяных капель. Пошел неспорый дождь. Закрыв глаза, Нина слушала, как частые, холодноватые дождинки падают на лицо, на шею, на ноги.

Дождь шел долго, то слабея, то усиливаясь.

Когда дождь прекратился, Нина увидела солнце — оно тускло желтело сквозь тучи — и удивилась, что еще так рано,

Неужели прошло так мало времени с тех пор, как ее схватили? А ей оно показалось бесконечным.

Этому дню, видно, не будет конца.

В комендатуре почему-то допрашивали недолго. Она, как и раньше, отказывалась давать сведения. Какой-то подвижный, беспокойный «фюрер» ошалело набросился на Нину с угрозами, тыча ей в лицо пистолетом. Грозился, что, если она и дальше будет упираться, он прямо здесь, на месте, не церемонясь, застрелит ее.

Позеленев от злобы из-за ее упорства, «фюрер» вызвал кого-то и велел связать ей руки и вывести во двор.

Во дворе Нину втолкнули в низкую, будто приплюснутую, легковую машину. Рядом сел эсэсовец с автоматом, большой, длинноногий — возле шофера сидел еще один, — и она подумала, что это, видно, конец, что ее, вероятно, вывезут за село и расстреляют. Она знала, что эсэсовцы на расправу скоры...

Измученная болью, ощущающая безвыходность случившегося, она воспринимала близкую опасность смерти уже не так остро, как вначале. Чувства ее словно притупились. И все же она не была безразличной к жизни.

Невыносимая боль как бы утихала перед тем невообразимым и холодным, что приблизилось вплотную, неуклонно встало перед ней.

Время вдруг словно ускорило бег. Если раньше оно тянулось медленно, то теперь побежало пугающе быстро. Быстро шофер завел машину, быстро полетели мимо хатенки, закружилось, побежало назад поле, выскочил навстречу, будто из-под земли, сосновый борок.

Миновали еще одно село, и машина вышла на гладкую асфальтированную ленту шоссе. Это было, видимо, Могилевское шоссе. В стекло начал стучать дождь. Капли воды стекали по нему ручейками. Вокруг все затянула мутная поволока, только вблизи было видно мокрое, блестящее шоссе со множеством маленьких кружочков — капель и пузырей. Эсэсовец поднял стекло, стало трудно дышать, казалось, не хватало воздуха. Машина еще прибавила скорости, так что зашипели по-змеиному шины.

«Как будто — в Минск?» Еще не думая ни о чем, она почувствовала минутное облегчение, — значит, еще будет жить.

Но потом в затуманенное болью сознание проникло тревожное: почему в Минск? Именно в Минск? Узнали, что она из Минска? Как ни была измучена, в нее ворвалась, заставила похолодеть всю тревога о дочери, о матери. Если узнали о ней, найдут их. Схватят их. Будут истязать их. Ее доченьку, мать. Они так всегда делают... Если узнали, — видно, уже схватили.

Она застонала. Уже не думала о том, что там снова будут допрашивать ее, снова будут бить, будет заплывать кровью рот. Не чувствовала облегчения от того, что смерть отодвинулась.

Сквозь боль, заполнявшую ее, чувствовала только тревогу за дочь, за мать. Страх за них. Особенно за малышку.

3

Она не ошиблась. Ее привезли в Минск. Машина остановилась возле тюрьмы, немцы из комендатуры передали ее тюремщикам.

Тюремщики говорили по-русски, и она насторожилась: не встретил бы ее кто-нибудь знакомый! Все были незнакомы. И вообще никто не проявил к ней ни малейшего любопытства. Безразлично посмотрели бумажку из комендатуры, привычно обыскали, и Нина очутилась в камере. Когда дверь закрылась, она огляделась. Людей в камере было столько, что они занимали и нары из грубых неструганых досок и грязный пол. Многие прямо на полу дремали.

На ее приход не многие обратили внимание. Она и здесь огляделась с той же тревогой: нет ли кого-либо, знающего ее. Нет, лица все были незнакомые.

В первый день в тюрьме время для Нины тянулось в мучительной тревоге.

Снова, как и в дороге, мучила ее страшная загадка: знают или не знают, что она из Минска? Знают или не знают, что здесь ее дочь, мать? Что с Людочкой, с мамой? Неужели и они уже... Нину так ужасало это, что она, не додумав, обрывала мысль. Не могла даже думать о таком. Не в силах была.

Пусть будет все, только не это. Только не это...

Со страхом она ожидала, что вот-вот вызовут на допрос, пыталась представить, что там ждет. И холодела от ужаса, от одной мысли, что, может, увидит там дочь.

Все время с визгом открывалась тяжелая, четырехвершковой толщины дверь, тюремщик вызывал то одну, то другую женщину, и их куда-то уводили.

Девушка, сидевшая рядом с Ниной, объяснила, что они в камере предварительного заключения. Кроме этого, сообщила девушка, есть еще камера для тех, кого допрашивают, и для тех, чья судьба, после окончания следствия, уже решена.

Как ни тревожило Нину предстоящее, она невольно замечала то, что происходило в камере. Для нее все это было необычно, как часть того кошмара, в который ввергла ее случайная неудача. Вскоре она уловила приглушенный, неразборчивый разговор и какой-то непонятный, странный шум из-за стены.

Нина стала вслушиваться, но шум в камере мешал ей. Внезапно из-за стены прорвались дикие, пронзительные крики, от которых Нина похолодела, а в камере сразу наступила тревожная тишина.

— Что это? — спросила Нина у девушки-соседки.

— Известно что — бьют. Допрашивают. . .

Девушка сказала еще, что раньше водили на допрос в гестапо, а теперь в тюрьме столько людей, многих допрашивают здесь.

Крики за стеной не утихали до самого вечера. Было слышно, как по коридору все время водили людей на допрос и волокли обратно избитых.

Нина все ждала, что и ее сейчас вызовут на допрос. Но в этот день ее не вызвали. За всю ночь Нина ни на минуту не заснула, все тревожилась о дочери, о матери, о том, что следует говорить завтра, о товарищах, ожидающих в лесу. Перед глазами ее проходили в беспорядке близкие, далекие дни.

Особенно четко, горько вспоминала она подробности последнего, несчастливого дня. . .

Стоны и вопли за стеной слышались почти до самого утра. От страха за дочь, страха перед неизвестностью и от бессонницы она за ночь измучилась и обессилела.

Утром ее наконец вызвали на допрос. Но повели не в соседнюю комнату, а во двор. Она очутилась на улице под охраной двух рослых немцев.

Двое откормленных, вооруженных охранников с автоматами наготове вели одну женщину. Вели вдвоем, в центре города, средь бела дня. Но она отметила это лишь мельком; как и прежде, волновало ее, что ждет там, в гестапо? Знают они или не знают о Людочке? Где она, Людочка? Теперь, когда так близка была разгадка, страх за дочь охватывал ее все сильнее. Только бы не было там Людочки, мамы! . .

На пустынной улице изредка встречались молчаливые прохожие. На нее поглядывали, но коротко, осторожно, словно боясь привлечь к себе внимание. Она же таила в себе тревогу: не попался бы навстречу недобрый знакомый. Надеялась, что после побоев вид у нее такой, что не каждый и хорошо знающий узнает, но все же беспокоилась. Но больше всего мучил ее, не утихая, страх за дочь, за мать. Только бы не было там, куда ее ведут, Люды, мамы!

Впрочем, Люду и мать она искала и среди тех, кто встречался на улице. В смятении разорванных впечатлений и мыслей все время не исчезало беспокойство о Люде и маме. . .

СД размещалось в здании бывшего Института народного хозяйства. Как и до войны, перед окнами знакомого серого здания зеленели два ряда молодых кленов, хорошо памятных ей с давней студенческой поры.

При входе в СД, в вестибюле, ее задержали. Стоявший у двери охранник старательно обыскал ее. Только после того, как обыскали, разрешили провести дальше.

Ввели в длинный институтский коридор, по которому она когда-то не раз проходила с подругами. Здесь теперь стояли, лицом к стене, человек двадцать женщин и мужчин, неподвижно смотревших перед собой. За их спинами медленно прохаживался розовощекий, неприступно строгий надзиратель лет семнадцати. Помахивал короткой кожаной плетью.

Едва увидела ряды людей, Нина остро, с сильно забившимся сердцем, окинула взглядом их: нет ли здесь Людочки, матери?

Она успела рассмотреть лишь нескольких человек: надзиратель толкнул ее к пожилой, с седыми заплетенными волосами женщине. Встав рядом с женщиной, Нина только повернула голову, чтобы оглядеться, как в тот же миг спину обожгло огнем. Тотчас взвизгнул злой, писклявый окрик надзирателя.

Стоять, ничего не видя рядом с собой, было тягостно. Казалось все, что надзиратель за спиной замахивается, ударит сейчас. Но это все она ощущала как бы приглушенно, ее больше всего волновало: здесь или не здесь Людочка, мама? Она остро ловила слухом все, что происходило сзади, каждый звук, преодолевала неотступное желание оглядеться. Но люди стояли молча. Ни одного голоса не было слышно. Лишь где-то за дверью буднично постукивали пишущие машинки...

Все больше тревожила Нину близкая встреча с гестаповцами. Все больше пугала ее судьба дочери, матери.

Случались в бригаде, в бою, такие минуты, когда требовалось большое мужество. Но там переносить любые беды было легче, там каждый мог тебе помочь, поддержать,— рядом были товарищи. Здесь уготовила ей судьба стоять одной перед гестаповцами, перед всей их сворой. Одной, одинокой, беззащитной во всем, выстоять под их угрозами, пытками. Весь смысл своей теперешней жизни видела она в одном беспокойном стремлении — не поддаться, выдержать! И, не веровавшая никогда в бога, молила: только бы судьба пощадила Людочку, маму! Только бы не втянула в эту пытку их!

Ее вызвали скоро. Нина вошла в комнату, похожую на канцелярию. За маленькими столиками сидели две накрашенные немки, деловито стучали на машинках; возле одной, наклонившись, стоял гестаповец, что-то диктовал.

Никто не поднял глаз на Нину: привыкли. Но она отметила лишь то, что ни Людочки, ни мамы здесь не было.

Отсюда ее через тяжелую, окованную железом дверь ввели в другую комнату. И здесь она прежде всего огляделась: Люды и мамы нет.

Допрашивали светловолосого юношу в синей футболке. Он стоял с трудом, будто держал на себе невидимый большой груз. Еще почти детское лицо его было в крови и распухло от побоев. Возле него вертелся гестаповец, туго перетянутый в талии.

— Значит, ты никого не знаешь? И мину никто не приносил? Сам нашел?

Юноша кивнул головой. Гестаповец несколько раз изо всех сил ударил его плетью, отошел, сел, посидев минуту, вскочил, подбежал к парню:

— Врешь! — и со злостью, изо всех сил стал бить рукояткой плети по голове, приговаривая: — Врешь! Врешь!

Парень молча, как подрубленный, рухнул на пол.

Ее толкнули к сидящему за столом гестаповцу. У него было холодное лицо, внимательные, беспощадные глаза. На носу сидели роговые очки, которые придавали гестаповцу ученый вид.

Следователь что-то жевал. Рядом с ним стоял переводчик.

Не переставая жевать, гестаповец пододвинул к себе папку, открыл ее, аккуратно, старательно написал красными чернилами какой-то номер, произнес трудную ее фамилию, остро вгляделся в лицо Нины.

Она сказала, что ее фамилия — Перегуд. Алена Перегуд. Собственно, то, что в гестапо знали ее настоящую фамилию, не таило особой опасности для нее. У мамы была другая фамилия: Суганяка. Фамилия эта была и у Нины до замужества. А Люда была при бабушке, ее тоже знали все как внучку бабушки Суганяка... Правда, фамилия Лагунович могла значиться где-либо среди старых документов, из тех времен, когда Нина была здесь, в городе...

Гестаповец не отозвался на ее ответ. Будто не слышал. По его взгляду она поняла, что для него почти ничего не значат ее ответы. Он заранее знает, что ни одному ее слову доверяться не следует. Что обмануть его будет трудно, скорее всего невозможно.

Он вдруг спросил зловеще:

— Откуда вы знаете немецкий язык?

Она сказала, что изучала язык в школе и институте. Гестаповец на это, отчетливо произнося, не сводя с нее глаз, заметил, что немецкий язык изучали во всех советских школах, но почти никто его не знает.

В том, какое значение придавал следователь этому вопросу, что-то скрывалось непонятно опасное. Стараясь предугадать, что именно скрывалось, Нина ответила нарочито наивно:

— Но я ведь говорила: я изучала его в институте.

Гестаповец и это принял с таким видом, словно он знал больше, чем она сказала.

— В каком?

Она почувствовала опасность в вопросе. Стремясь избежать

всего, что могло навести их внимание на Минск, незамедлительно ответила, что — в Гомельском педагогическом. Подумала: Гомель по ту сторону, пусть проверят. Но тут же сообразила, что в ее ответе есть и ловушка для нее.

— Как вы оказались на нашей территории?

— Я работала учительницей после института. Я постоянно проживала там... Гомель ведь тоже был немецкой территорией... Оттуда я уехала в деревню. Голод был...

Гестаповец, казалось, по-прежнему оставил ее ответ без внимания.

— Кто такой Курт? — спросил он вдруг.

Она знала, что в городке стояло раньше охранное подразделение и в нем действительно был гестаповец Курт Майснер, садист и щеголь. Она даже видела его из тайника в один из своих походов в городок.

Охранников тех в городке давно уже не было. Не было и Курта. Отбыли куда-то срочно в неизвестном направлении. По слухам, куда-то к фронту. Впрочем, городок с той поры тоже опустел сильно. Жителей старых мало осталось, начальство все переменилось... Нина уверенно ответила, кто был Курт и для города, и для нее.

Отвечая на вопрос о Курте, она, однако, почувствовала, что вся эта выдуманная история может повернуться против нее. Все теперь в ее положении поворачивалось против нее.

— С какой целью вы установили связь с Куртом Майснером?

Она ответила то, что должна была ответить. Никакой цели, просто Курт заинтересовался ею, и ей было интересно с ним. Она понимала, как все эти придумки были слабы для того, чтоб помочь ей. Гестаповец будто не слушал. Все скрывал что-то. Что?.. Мама, Люда, где вы?

Она объяснила, что в партизаны ее призвали принудительно. Под угрозой расстрела Но во время блокады она убежала. С тех пор она не была в партизанах. Она жила в селе. Скрывалась от партизан. О бригаде, о том, что было до блокады, она может рассказать. Все, что знает. (Еще в камере Нина решила, что нелепо скрывать то, где была и чем жила бригада до блокады. Все это уже наверняка им известно. Один Гречка сколько мог рассказать.) Но вот о нынешнем состоянии бригады она почти ничего не могла сообщить определенного. Сказала только то, что знала по слухам. По слухам, бригада не смогла восстановиться. Остатки ее скрываются в лесах. По деревням рассеяны, поодиночке...

Но следователя это интересовало как бы между прочим. Очень скоро привел он разговор к тому, чего она боялась больше всего, к Минску. Ему надо было знать, с кем бригада сотрудничала в Минске. Он знал, что бригада была связана

с Минском, с подпольем. Вот для чего ее привезли сюда, в Минск! Вот, оказывается, зачем она понадобилась здесь. Ему нужны были фамилии сотрудничавших с партизанами, места встреч жителей города с партизанами.

Нина ответила, что это ей неизвестно. Она вообще не знает, был ли кто-либо из партизан бригады в Минске... Говоря это, она снова думала о Люде, о маме. Только бы их не коснулась беда ее!..

Следователь начал терять выдержку.

— Вы это должны знать! Вы — разведчица!..

— Я вам говорю, что ничего не знаю об этом!

— Вы — врете!..

Близорукие, болезненно прищуренные глаза за роговыми очками смотрели злобно, пронзая ее. Нине стало тоскливо и страшно. Спину сковал холод, сердце вдруг словно перестало биться, замерло в ожидании.

Как бы собирая силы, ища поддержки, она на миг вспомнила Туровца, других товарищей. Не ослабеть, выдержать, перенести все, вытерпеть все пытки, все мучения!

Она видела, что гестаповец перестал жевать, поднялся, и с ужасом подумала: «Сейчас начнется...»

4

Нину привезли с допроса вечером. Она была так истерзана, что не могла сама дойти от машины до камеры. Двое тюремщиков подхватили ее под руки и равнодушно поволокли по длинному мрачному коридору. Открыв двери, ее бросили, и она упала здесь же, возле двери.

Заботливые, дружеские руки подняли Нину, тихо перенесли, осторожно положили на нары. Она не могла пошевелиться. Все тело было одним комком боли и горело так, будто его беспрестанно сжигал нестерпимый огонь. Ей подали воды. Нина увидела перед собой незнакомое, сочувствующее женское лицо и тихо, глухо застонала.

— Ничего, ничего... Потерпи, — сказала женщина, утешая.

Долго не могла она заснуть, хотя и очень измучилась. Огонь, все время сжигавший ее, то немного спадал, то усиливался снова.

Глаза невыносимо резал белый острый свет лампочки. От искристых лучей, расходящихся во все стороны, лампочка походила на какую-то сверкающую колючку. Эти лучи проникали даже под закрытые веки, вонзались в голову, от них нельзя было спрятаться.

Скрипела дверь, кого-то выводили и приводили назад, кто-то беспрерывно стонал за стеной. Все это странно сплеталось

в единое целое с тем жгучим огнем, который рвал, терзал ее тело. Только под утро забылась она беспокойным, болезненным сном, все бредила и стонала.

Когда пришла в сознание, ей начало понемногу вспоминаться все, что произошло вчера, и она с тоской закрыла глаза. Долгое время так и лежала.

— Алена! — услышала она позже, совсем рядом. Ей показалось, будто обращались к ней.

Она обернулась на голос и увидела недалеко от себя девушку, та действительно смотрела на нее. Лицо девушки было знакомо.

«Где мы виделись?» — подумала Нина, пытаясь вспомнить.

— Я же Клава. Снежко Клава,— подсказала ей девушка.

Ах, Клава! .. Будто в тумане представилась Нине комнатка, сирень за окном, вспомнилось, как они сидели вдвоем в этой комнатке и беседовали. Тогда Сергей, брат Клавы, ходил готовить карту...

Нина попробовала встать.

— Ты лежи тихо,— посоветовала Клава. И, наклонившись к Нине, с нежностью и сочувствием сказала: — Ты во сне стонала и говорила что-то. Крепко они тебя... Но ты не поддавайся. Главное, не прислушивайся к боли. Больно тебе, а ты старайся думать, что не очень, что терпеть можно. Не поддавайся, одним словом... Меня уже четыре раза водили, все печенки, наверное, отбили, а я ничего. Не поддаюсь! .. Здесь мне удивляются, легкий у тебя характер, говорят. Будто мне не так больно, как остальным. Просто я стараюсь отогнать боль. Понимаешь?

Нина кивнула. Ей было приятно слушать этот ласковый, участливый голос.

От слов Клавы боль как бы притихала.

— Ты, наверно, в первый раз? .. Когда тебя бросили сюда? Вчера? А я пять дней уже. Здесь это кажется целым годом... Я тут насмотрелась такого, не дай бог. Месяц можно рассказывать, честное слово. Знаешь, что я тебе скажу,— перешла она на шепот,— ты будь осторожнее. К нам сюда подсылают шпиков, подслушивать. Они сидят, как и мы. Их даже иногда бьют для вида, чтобы нас обмануть. И иногда будто на допрос водят, подкармливать, как собак...

Она заметила на лице Нины тень боли, заговорила заботливо:

— Тебе неудобно лежать. Дай я помогу тебе.

Клава помогла Нине повернуться, потом, удивительно подмечая все смешное, начала рассказывать о последних событиях в камере, о сообщениях, которые приносили люди из города.

— А где Сергей? Тоже схватили? .. — прервала ее Нина.

— Спасся, кажется.

Преодолев набежавшую на лицо печаль, Клава начала рассказывать, как жила раньше, веселые и смешные истории. Она наверное, хотела, чтобы Нина, слушая эти воспоминания, забыла о своей боли.

Вспомнила, как учитель в школе обижался, что она невнимательно слушает его, все время вертится за партой, и обычно ставил тройки по поведению. За эти тройки отец и мать ругали ее, краснели на родительских собраниях, но начиналась новая четверть, и все шло по-прежнему. Не любила Клава долго сидеть над книжками, «сушить голову», зимой чуть не все свободное время каталась на лыжах, летом ездила к родственникам в деревню, купалась, загорала, ходила с деревенскими парнями сгребать сено, собирать ягоды...

Нина слушала молча, закрыв глаза. Иногда ей казалось, что голос Клавы доносится откуда-то издалека. То, что она слышала, перемешивалось с ее собственными мыслями и воспоминаниями. Картины вставали перед ней какие-то бессвязные и путаные... То видела черные ветви березы на мягкой синеве неба, вспоминала, о чем думала тогда под этим деревом, то будто приходили университетские друзья, то среди них вдруг выплывала фигура гестаповца в очках, кричавшего ей: «Ты должна это знать! .. Ты врешь! ..» Она открывала глаза, чтобы отогнать бред...

Под тихий, ласковый рассказ Клавы Нина задремала.

Когда ее разбудил визг двери, она увидела на пороге двух. Один из них, с каким-то блокнотом в руке, мутным, пьяным взглядом медленно окидывал лица заключенных. Люди напряженно смотрели на него и на маленький блокнотик в руке со сверкающим перстнем. По охватившему всех чувству тревоги Нина догадалась, зачем он пришел и куда поведут тех, кого он вызовет.

Кого же? Нина приподнялась на локте.

Может, и ее.

Она оглянулась на Клаву, та тоже настороженно ждала.

— Ивашина! — резко, как выстрел, прозвучал отрывистый окрик.

Все взгляды повернулись к красивой черноглазой женщине с растрепанными волосами, которая молча встала. Идя к двери, машинально поправляя платок, она вдруг споткнулась на ровном месте.

— Прощайте, люди... родные! — сказала женщина, остановившись возле двери и оглянувшись.

Эсэсовец толкнул ее в коридор...

За ней вызвали еще пять человек...

Когда дверь закрылась, в камере некоторое время царила тишина. Потом кто-то угрожающе крикнул:

— Душегубы! Дождетесь и вы, проклятые! ..

Хотя Нина столько перетерпела за эти ужасные дни, увиденное потрясло ее.

Скоро этих шестерых не станет...

Угроза смерти пробудила в Нине страстное желание жить. Жить, жить! ..

Ей было знакомо это чувство, Нина уже не раз испытывала его в бою. Но тогда было иначе. Там ее жизнь зависела от нее самой, там она могла действовать, бороться, а здесь — ей будто связали руки.

В бою не так давит опасность смерти, ее заслоняют разные заботы. Здесь же нечего было делать, оставалось одно — ждать. Терпеть нечеловеческие муки и ждать.

Она вспомнила Людку, до мельчайших подробностей представила последнюю встречу с ней. Нина тогда страшно спешила, целовала дочку жадно и торопливо. Так трудно было ей оторваться от Людочки. Будто предчувствовала, что, может случиться, не увидит больше родную кровиночку.

Сколько дней — кажется, всю жизнь — ждала она Алексея! Неужели так и не дождется? ..

— Ты не думай,— сочувственно сказала Клава.— Не горюй: чему быть, того не миновать. Еще и неизвестно, как оно все выйдет. Хочешь, я тебе что-нибудь расскажу?

[illegible]

Утром Клаву вызвали на допрос. Нина осталась одна со своими мыслями, почувствовала, как не хватает ей Клавы.

Она с тревогой и нетерпением ждала Клаву и каждый раз, когда открывалась скрипучая дверь, с надеждой смотрела в ту сторону.

Все время возвращались с допроса измученные, избитые женщины, но Клавы не было.

Днем нескольких человек погнали на работу, разгружать машины на складах.

Они возвратились под вечер. Когда дверь закрылась, все, кто был в камере, стали расспрашивать о том, что там, на воле.

Но возвратившиеся заключенные вначале ничего интересного не говорили, опасались шпиков и доносчиков. Все важное обычно рассказывали только в узком кругу, надежным друзьям. Осмотревшись в одной такой группке, в которую приняли и Нину, женщина, одетая в старенький пестрый домашний халат, как величайшую тайну открыла, что слышала своими ушами от знакомого шофера, парня с Комаровки, будто сегодня должны прилететь наши.

— Так об этом и скажут! — недоверчиво отозвался кто-то.— Откуда он знает?

— Значит, знает! А откуда — об этом иди спроси у него самого! Сейчас многие кое о чем знают, да только держат язык за зубами.

— Если бы не знал, так не говорил бы! — послышались голоса.

И кажется, никто больше не сомневался в словах женщины, хотя всем было известно, на чем они строились. Каждому хотелось верить!

Другая рассказала, что видела на Товарной много сожженных вагонов, вероятно, от того налета, который был четыре дня назад.

— А о... наступлении ничего не слыхать? — прошептал вдруг с ближайших нар взволнованный голос, и все сразу притихли.

— Ничего...

С работы одна из женщин принесла сырую свеклу, несколько картофелин и головку чеснока. Как ей это удалось — неизвестно,— при входе в тюрьму каждого, кто ходил работать, старательно обыскивали и за каждую спрятанную вещь нещадно били.

«Трофеи», как в шутку назвали добычу, поделили. Делила женщина в пестром халате, говорившая, что сегодня прилетят самолеты. Она обошла двух женщин, которые недавно пришли с воли и хорошо выглядели, — как она сказала, «объелись там». Кусочек сырой свеклы передали и Нине, хотя она и была из «новых».

На следующий день нескольких девушек вызвали мыть полы. Грубыми окриками подняли и Нину, не считаясь с тем, что она была обессилена.

— Ты смотри, нет ли окурков, — мужчины просили. Как найдешь, принеси мне, я постараюсь им передать,— шепнула ей, когда вышли в коридор, маленькая, с веснушками под глазами, девушка, часто ходившая мыть полы.

«Здесь есть будто связные с мужскими камерами»,— удивленно подумала Нина.

Ей дали тряпку и ведро и повели. Жандарм втолкнул ее в комнату и сказал:

— Здесь.

Это была небольшая полутемная комната с замурованными больше чем наполовину окнами. Нина окинула безразличным взглядом пол и увидела на нем какой-то тусклый маслянистый блеск. Она шагнула на это блестевшее пятно и чуть не поскользнулась.

— Ну ты, чего встала? — крикнул полицай и толкнул ее кулаком в спину. — Приглашения ждешь?..

Превозмогая жгучую боль, сразу ожившую в спине, во всем теле, она согнулась. Руки дотронулись до чего-то густого и липкого.

— Что это? — вырвалось у нее.

— Кровь, не видишь? — сердито отозвался полицай... — Не вино французское!..

Когда она возвращалась в камеру, девушка с веснушками, мывшая коридор, шепнула:

— Окурки есть?

Нина покачала головой: нет.

В камере она увидела Клаву. Девушка неподвижно лежала на нарах, лицом вниз, одна рука с разорванным до плеча рукавом свешивалась с досок, как у неживой.

Нина с тревогой приблизилась к ней и молча встала. Не решалась побеспокоить. Клава лежала неподвижно, только тяжело, мучительно поднималась и опускалась спина. Кофточка была вся в пятнах засохшей крови. Слышалось трудное, хриплое дыхание.

«Что с ней, гады, сделали!» — ужаснулась Нина, стоя перед истерзанной, казалось, почти неживой девушкой.

— Ты, Нина? — едва слышно, не поворачивая головы, спросила Клава.

— Я, Клавка. Я... — ответила Нина ласково, с участием. Хотела поддержать, утешить, но не находила слов. Спазмы душили горло.

— Ой, как меня били!.. — сказала Клава. — Никогда еще так не били...

Она снова замолчала: тяжело было говорить. И вдруг в хриплом голосе Клавы послышалась упрямая, тихая радость:

— Все-таки они от меня ничего не добились!

Нина осторожно присела рядом на край нар, нежно дотронулась рукой до ее головы, до милых темно-русых волос.

ГЛАВА VIII

I

Незадолго до этих событий в Минске появился майор Вольф. Разговор майора с лейтенантом Кляммтом на кладбище у Поплавов был их последним разговором. В тот же день майор внезапно был ранен на дороге в машине. Осколком мины, прилетевшей из недалекого леска.

Майор очутился в госпитале, в Барановичах. У него была задета кость лица, выбит глаз и сидел осколок в шее. Прова-

лявшись больше месяца в госпитале, майор вырвался из него с повязкой на глазу и шрамом на правой щеке. Шея тоже плохо служила, почти не поворачивалась. Майор держал голову несколько косо.

Выписавшись из госпиталя, майор побыл еще какое-то время там же, в Барановичах, в резерве, и наконец получил назначение в Минск.

Он приехал сюда семнадцатого июня. Явился к дежурному военной комендатуры, тот, просмотрев его документы, попросил прийти завтра к коменданту. Пока же дежурный направил майора в офицерскую гостиницу.

Исполнив все формальности, необходимые для вселения, майор зашел в комнату, где была определена ему кровать. Комната досталась большая, как казарма, и это не понравилось майору Вольфу, тем более что здесь блистало никелем еще семь кроватей. Правда, это обстоятельство его мало беспокоило: он знал, что жить здесь, в этой комнате, предстояло недолго. Возможно, завтра уже надо будет уезжать из города. Он даже решил не брать свои два чемодана, сданных на вокзале в камеру хранения.

Майор немного постоял у окна, рассеянно посмотрел на запыленный каштан рядом, на дома напротив: большой, красный, и поменьше, с облезшей краской.

Делать майору было нечего, и он отправился гулять по городу. На улице было тихо и почти пусто. На минуту запустение и тишину оживил трамвай, что пролязгал, когда майор стоял возле кинотеатра, рассматривая яркую, пеструю афишу. Кинотеатр, барак с острой черепичной крышей, построенный, как определил майор по стилю сооружения, немцами, был рядом с гостиницей. Майор посмотрел, когда начинается ближайший сеанс, и, узнав, что ждать недолго, взял билет.

Вечером майор, которому после кино скоро надоело бродить без дела среди скучных развалин, отправился в ресторан при фабрике-кухне. Ресторан, как и кино, находился близко от гостиницы. Майор сел за столик у стены и стал с любопытством одинокого и скучающего посетителя рассматривать немногих офицеров, сидящих в ресторане.

Когда официантки начали опускать шторы маскировки, в ресторан вошло еще несколько человек — офицеры и женщины. Один из них, в форме эсэсовца, стройный, с безукоризненной тыловой выправкой, поискав глазами столик, вдруг направился к майору.

— О! Вольф! — произнес он не совсем уверенно.

— Да, майор Вольф.

Майор уловил на лице штурмбанфюрера мимолетную гримасу при виде его повязки на глазу, шрама. Но штурмбанфюрер тут же скрыл ее. Спросил участливо:

— Как ты сюда попал?

— Да так... Жду назначения...

Штурмбанфюрер держал под локоть тоненькую, очень худенькую и, как майору показалось, очень привлекательную женщину.

— Надеюсь, ты не будешь против, если мы расположимся рядом? — дружески усмехнувшись, полюбопытствовал эсэсовец.

— Нет, конечно. Прошу...

Это был штурмбанфюрер Рейзе. Майор познакомился с ним давно, еще в далеком сорок первом году, во время операции под Ростовом, где Вольф командовал ротой у Клейста, а эсэсовец время от времени заглядывал по своим делам в полк. Там эсэсовца называли счастливчиком и говорили, что красноречивому, ловкому красавцу, сынку какого-то обувного фабриканта, всегда и во всем везет. Потом Рейзе куда-то исчез, и больше двух лет они не виделись; только три месяца назад, когда Вольф приезжал сюда из Борисова, случайно довелось встретиться в Минске. Они тогда весело провели время в компании офицеров и женщин. Счастливчик, оказалось, успел побывать в Вязьме и Смоленске, неизвестно за что получить железный крест и стать помощником самого генерал-комиссара...

Штурмбанфюрер представил свою попутчицу. Ее звали Анни. Она приветливо кивнула и подала майору маленькую руку. Когда штурмбанфюрер, знакомя с ней Вольфа, сообщил, что майор — боевой командир, почти всю русскую кампанию на фронте, она метнула на майора уважительный, даже, похоже, восхищенный взгляд.

Она показалась майору красивой — стройная, с четкими немецкими чертами лица, с живым ласковым выражением глаз. Возможно, что впечатление красоты, которое она произвела на майора, в некоторой степени было усилено тем, что Анни была облачена не в примелькавшуюся военную форму, а в легкое, привлекательное женское платье.

Она напоминала майору женщин из далекого, уже как бы нереального довоенного мира. Или тех, которых он встречал во время мимолетных отпусков на родину.

Сидя рядом с ней, майор чувствовал себя поначалу большим и неловким, смущался тем, что так обезображено лицо, и испытывал невольную неприязнь к лощеному, уверенному счастливчику. В этой неприязни его к штурмбанфюреру было, однако, и сознание превосходства оттого, что, в отличие от счастливчика, жизнь у него действительно боевая, достойная. И то, что Анни понимала это и ценила, поддерживало майора в его тщеславии.

Штурмбанфюрера здесь, конечно, хорошо знали. Едва он занял место у столика, к нему поспешила официантка, учтиво

поздоровалась с фрейлейн и с ним, спросила, что желают фрейлейн и господин штурмбанфюрер на ужин.

Фрейлейн, держа деликатными, с маникюром пальчиками ресторанную карту, не спеша, с достоинством просмотрела ее. Штурмбанфюрер заказывал себе, не заглядывая в карту, как будто все, что в ней может быть, знал наизусть. Держался он как обычно, надменно и самоуверенно.

Все, что они заказали, скоро было на столе. Официантка остановилась, ожидая дальнейших просьб, но Рейзе жестом приказал ей уйти. Сам налил коньяк в рюмочки. Подняв свою рюмку, предложил выпить за фюрера великой Германии. Майор почувствовал, что право на второй тост — за ним, и, когда пришло время, торжественно и решительным тоном не столько пригласил, сколько приказал поднять рюмки — за великую Германию.

Попросив штурмбанфюрера налить рюмки, оживленная, повеселевшая Анни, озорно взглянув на майора, сказала:

— Я хочу выпить за фронтовых солдат!..

Штурмбанфюрер поднес свою рюмку к рюмке майора.

— За доблестных фронтовиков.

В голосе его майор уловил что-то высокомерное и как будто притаенно насмешливое, но неприятное ощущение от этого растопили внимание и ласковый взгляд Анни.

У майора было доброе, благодушное настроение.

Оттого, что вокруг было чисто и тихо, ходили официантки и рядом сидела женщина в белой кофточке, приятно звенело стекло рюмок, Вольфу казалось, что война где-то далеко, что здесь полный покой...

Радиола, стоящая недалеко в простенке между окнами, журчала беззаботно и нежно:

Es geht alles forüber,
es geht alles vorbei.
Auf jeder December
folgt wieder ein Mai [1].

Анни тихонько подпевала, покачивая головой с нежным, узким подбородком. Глаза ее блестели мягко и молодо.

Они основательно захмелели. Вели беспорядочный разговор. Штурмбанфюрер явно скучал, время от времени он блуждал тяжелым, надменным взглядом по залу. Анни казалась — или старалась казаться — веселой. Порой подпевая песенкам из радиолы, она все время стремилась поддерживать разговор.

Майор не однажды ловил на себе ее сочувственный и дружеский, открыто любопытный взгляд. Поначалу он принимал

---

[1] Все уходит,
Все проходит мимо.
За каждым декабрем
Приходит снова май (нем.).

ее внимание с настороженностью. Майор болезненно помнил о повязке на глазу и шраме на щеке. Но он все более убеждался, что эти изъяны на его лице не только не отталкивают ее, но вызывают у нее сострадание и симпатию к нему. Она не только не скрывала, а как бы вызывающе выказывала интерес к майору. Вольфа волновали и ее взгляды, и ее смех, и узкие плечи, и нежная кожа в разрезе деликатного воротничка.

Она все расспрашивала о фронте, о его деятельности там, о фронтовом его бытье, и Вольф рассказывал с редким для него увлечением. Его настраивало на разговорчивость и ее неподдельное любопытство и сердечное сочувствие.

Пробивавшееся сквозь хмель волнующее понимание того, что он явно имеет успех у подруги штурмбанфюрера, и радовало и смущало майора. Как ни туманил голову, ни настраивал на греховные мечтания хмель, майор чувствовал, что положение его становится сложным.

Майор считал себя человеком офицерской чести. Кодекс этой чести, которого майор Вольф неукоснительно придерживался, определял ухаживанье за женой или подругой товарища занятием недостойным. Столь же недостойными представлял майор и повышенные знаки внимания с их стороны. Неловкость, которую испытывал майор, была тем более неприятна ему, что он чувствовал, что штурмбанфюрер отлично видит смысл поведения его и Анни. Видит, несмотря на то, что почти все время сидит со скучающим выражением и все скользит взглядом по сторонам.

Впрочем, в отношениях Анни и Рейзе было что-то странное, непонятное майору. Как ни мало знал он их, у него было такое ощущение, что у них как будто нет настоящего согласия или крепкой дружбы. Может быть, они наскучили уже друг другу, но было похоже, словно они случайно оказались вместе. Как бы встретились случайно и зашли.

Исподволь майор узнал, что они когда-то вместе учились в университете, но что Анни работает не с ним, а в какой-то местной немецкой газете.

Еще по прошлым встречам майор знал, что у штурмбанфюрера есть одно отвратительное качество. Подвыпив, он начинает задираться, зло насмехаться над другими. Иногда даже издеваться. В общем, раскрывается в действительном своем обличье.

— Насколько я понимаю,— заговорил дружески Рейзе,— майор направляется на укрепление тыловых служб...

Майор помрачнел: штурмбанфюрер задел самое чувствительное в его душе. Задел, вероятно, не случайно, однако выражение лица у штурмбанфюрера было самое невинное, даже дружеское.

— Насколько я также помню, — продолжал он, — майор

считал, что тыловые службы плохо справляются со своими обязанностями. Он даже обвинял тыловые службы в неудачах армии на фронте...

Майор вообще не любил разговоров политического характера и понимал, что штурмбанфюрер, может быть и непреднамеренно, провоцирует его на небезопасный разговор. Но в то же время майор был человеком прямым и решительным, не любил уклончивых разговоров. К тому же он чувствовал и присутствие внимательной к нему женщины.

— Да, я считаю, — заговорил он резко, — что во многих наших поражениях большая вина тыловых служб, что они не обеспечили армии надежного тыла.

Он уловил, что ответ его не только не смутил, а как бы подзадорил штурмбанфюрера. Рейзе ласково улыбнулся:

— Но господин майор теперь имеет собственный опыт укрепления тыла армии. Нам известно, что майор героически участвовал в операции «мокрый мешок». И не без успеха. Значительная территория района партизанских действий умиротворена...— Он приостановил речь, изобразил огорчение: — К сожалению, должен сообщить господину майору, что усмиренная территория снова зашевелилась. Там снова начались партизанские акции. Но мы надеемся, — дружески улыбнулся Рейзе,— что появление в наших рядах боевого офицера укрепит наши тыловые службы. У нас будет надежный тыл!..

Майор едва дослушал до конца эту, может быть, и беззлобную болтовню. Чувствуя, как приливает к лицу кровь, он твердо, со сдержанной яростью произнес:

— Это — остроумно. Но я прошу оставить эти шутки.

Штурмбанфюрера, похоже, смутил его тон. Скрывая смущение улыбкой, он упрекнул дружески:

— У тебя, Вольф, нет чувства юмора.

Майор отрезал непримиримо:

— Мне не нравится подобный юмор!

Штурмбанфюрер благодушно уступил ему: не нравится — не будет. Вольф с досадой почувствовал: и здесь этот ловкий счастливчик как бы выше оказался.

Но в то же время он заметил: в глазах Анни, обращенных к нему, было уважение, даже восхищение.

Ее взгляд остудил гнев майора. Он мирно смотрел, как штурмбанфюрер наливает ему в рюмку коньяк, протянул свою рюмку навстречу, чокнулся.

2

Снова пили. Штурмбанфюрер пригласил Анни танцевать, и она охотно согласилась. Сидя один за столиком, майор чувствовал себя одиноко. Он явно испытывал ревнивое чувство

к Анни. Досадовал на себя за то, что вообразил, будто она испытывает к нему какую-то симпатию.

Как она может симпатизировать ему, вообще некрасивому, к тому же обезображенному войной? В нем пробудилось обычное недоверчивое чувство к женщинам,— как он считал всегда, самым неверным существам на земле.

Но когда он позже, с решительным видом поднявшись, поклонился ей, приглашая на танец, и заметил в глазах ее удовольствие, чувство неприязни к женщинам улетучилось куда-то. Он почувствовал себя совсем счастливым, когда она преданно прильнула к нему и послушно заскользила по паркету, чуткая к каждому его движению. Не объясняя ничего, она шепнула ему: «Вы — молодец», — и он с гордостью понял, что это она о его ответе Рейзе.

Танец с ней вернул майору прежнее доброе расположение.

Когда сидели снова за столом, штурмбанфюрер, уже не однажды поглядывавший на ручные часы, озабоченно сказал, что пора вставать. Время его на исходе. Анни кивнула ему головой: пора, подняла свой бокал с вином. Собираясь, как видно, тоже уходить.

— Впрочем, ты ведь можешь остаться,— сказал вдруг великодушно штурмбанфюрер.— Зачем тебе терять вечер из-за служебных забот некоего знакомого. Майор, надеюсь, проводит тебя.

Он взглянул на майора.

— Я что же, я готов, — заявил майор, будто получив боевой приказ.

— Да, пожалуй, я еще побуду...— произнесла Анни, показалось майору, будто прося извинить ее.

Штурмбанфюрер подозвал официантку, рассчитался. Дружески простился и бодро, озабоченно зашагал к выходу.

Оставшись вдвоем, они какое-то время молчали. Майор вдруг утратил все свое красноречие. Почувствовал снова себя большим, неловким, вспомнил о проклятой повязке на глазу. Молча пили.

Анни о чем-то замкнуто думала, и ему хотелось узнать, о чем.

— Что-то,— заговорила она,— русские не в меру разлетались... Ни одной ночи не пропускают. Покоя от них нет... Все же это безумная мысль — идти в такое время в ресторан.

Вольфу захотелось успокоить ее.

— Сегодня ничего не будет.

Все-таки Анни было неспокойно. Радиола напевала веселую песенку, но эта песня, видимо, еще больше усиливала в Анни беспокойство.

Вдруг песня оборвалась на полуслове, и не успел затихнуть последний аккорд, как из репродуктора донеслось тревожное: «Ахтунг, ахтунг!..» Во дворе уныло и тягуче завыла сирена.

— Ну вот! Начинается! — Анни торопливо вскочила и, спеша на высоких каблуках, бросилась к выходу. Майор поспешил за ней. У гардероба она спохватилась, бросилась к вешалке, схватила плащ.

— Здесь — бомбоубежище, — сообщила она впопыхах.

Когда они выбежали во двор, самолеты были уже недалеко. В небе скрещивались, суетливо бегали длинные лучи прожекторов. Звучно ударили зенитки.

Сидеть в бомбоубежище пришлось долго. В подземелье было сумрачно, тяжело пахло сырой землей. Напряженно прислушиваясь к взрывам наверху, к толчкам земли, Анни заметила возле ноги странный притаившийся комок. Она тронула его носком туфли и с отвращением взвизгнула: это была крыса!

«Фи, какая гадость!» Анни, брезгливо морщась, толкнула ее. Крыса неохотно отползла.

Время тянулось невыносимо медленно, а бомбежка все не стихала.

Анни начала было снова насвистывать мелодию песенки о том, что после каждого декабря приходит май, но скоро оборвала свист. Какая скука сидеть так!..

— Когда это все кончится! — начала она злиться, пряча подбородок в воротник плаща.— Боже мой, как это долго тянется!

— Скоро кончится,— успокоил майор.

Анни все прятала подбородок в воротник, упорно, недовольно молчала.

Когда Вольф выбрался с ней наконец из подземелья во двор, пламенеющий в отсветах недалекого пожара, она ни за что не захотела возвращаться в ресторан.

— Хватит на сегодня! Лучше проводите меня домой,— попросила она. — Я здесь, на Командатурштрассе...

Так немцы называли улицу Карла Маркса. Вольф неловко взял ее под руку, собираясь вести, но она потребовала, чтобы он вынул пистолет из кобуры и установил на боевой взвод...

Он послушался.

— Ну вот, теперь пойдем...

Она подсказывала, где надо идти. Как и тогда, когда танцевали, она льнула к нему, но теперь, майор чувствовал, она будто искала у него защиты. И он готов был защитить ее. Но защита не потребовалась. Дошли до ее квартиры без приключений. Квартира, оказалось, была совсем недалеко от ресторана.

Когда они остановились у ее дома, она спросила:

— Вы не спешите?

— Нет.
— Может быть, зайдете ко мне? Я одна в комнате...
Она провела майора на лестницу, открыла ключом дверь.
— Заходите...— Во мраке комнаты она сказала: — Рейзе назвал мое пристанище одиночной камерой...
Она говорила тихо, видимо беспокоясь, как бы не услышали в соседней комнате.
— Здесь — диван,— сообщила она. Нащупав руку майора, повела его за собой, усадила.
Она слегка прижалась к плечу майора.
— Побудьте со мной. Я боюсь одна... Нервы что-то! ..
Майор понимал, что значило побыть с ней после той близости, которую он почувствовал еще в ресторане. Ему, пожалуй, и трудно было бы встать, уйти теперь отсюда. Но почему-то трудно было и здесь, рядом с ней. Труднее, чем там, в ресторане. Снова чувствовал себя неловким, несообразительным. Пожалуй, больше всего потому, что она нравилась, эта случайная знакомая, что чувствовал — умна она и как бы из другого мира. Одно укрепляло его: она искала у него поддержки, считала его сильным.
— Но штурмбанфюрер...— сказал он, чувствуя, что говорит глупость.
— Ах, штурмбанфюрер... — отозвалась она насмешливо. — Разве вы не поняли ничего... У нас никогда не было ничего с ним серьезного... Просто я попросила провести со мной вечер. Он снизошел... У него есть своя женщина...
Некоторое время они сидели на диване. Майор трудно осваивался с новым положением. Наконец она встала, произнесла:
— Устраивайтесь здесь, на диване...
Она что-то принесла, постлала.
Не зажигая света и ничего больше не говоря майору, она возвратилась к кровати, быстро разделась. Забралась под одеяло.
Майор колебался.
— Вольф! Что же вы?
— В гостинице будут ждать...
— Кто?
— Из комендатуры могут вызвать...
— Обождут...
Анни щелкнула зажигалкой, закурила. Волосы ее свешивались, и она подняла белую руку, отбрасывая их.
В темноте, наступившей, когда погас огонек зажигалки, майор принялся раздеваться. Тускло белея в темноте нижней рубашкой, неуверенно ступая босыми ногами, направился на глазок сигареты, к ней. Она мягко попросила закрыть задвижку двери.

Когда они лежали вместе, вдруг снова началась бомбежка. Анни хотела вскочить, броситься в бомбоубежище, но майор определил, что бомбят далеко, удержал ее. Она пугливо жалась к нему, нервно вздрагивала. Потом, когда уже утихло, разрыдалась истерически:

— Боже мой, будет ли конец этому!.. Не могу больше!..

Лежа на его руке, она рассказала, что у нее был жених. Тоже в пехоте, здесь, на Восточном. Обер-лейтенант. Погиб зимой сорок второго. Под городом Великие Луки. Художником хотел быть. И отец погиб — тоже на фронте. А мать и сестра — в бомбежке. Осталась только одна сестра. Но сколько и ей жить? Сколько Анни жить? Все погибнет.

Здесь жизнь каждый день на волоске. Она ни минуты не знает покоя в этом страшном городе. Где смерть сторожит из-за каждого угла. Где все их ненавидят. Зачем они здесь? Она, конечно, была пьяна, но в том, что она говорила, майор чувствовал искренность. И странно действовали на него эти непозволительные разговоры. Они расслабляли майора, он не мог возражать ей.

Обессиленный, полный сострадания к ней и противоречивых мыслей, ушел майор от Анни утром.

Перед тем как отправиться к коменданту, он забежал в гостиницу. Дежурная, пожилая, полная немка, сказала ему:

— А мы тут, герр майор, беспокоились за вас. Думали, что под бомбу попали... Или, не дай бог, задушили где-нибудь на темной улице...

3

В это утро штурмбанфюрер Рейзе был на аэродроме. Он сопровождал своего начальника, группенфюрера фон Готтберга.

На аэродроме было тихо и пусто, никто бы не подумал, что здесь сейчас могут произойти какие-либо важные события. Ровное, голое, с примятой кое-где травой аэродромное поле спокойно млело под солнцем, и таким же спокойным казалось глубокое голубое небо. Единственным, что нарушало покой неба, были два истребителя, патрулировавших над аэродромом.

А между тем день был не совсем обычным. Небольшая группка, собравшаяся возле барака аэродрома, состояла почти целиком из высокопоставленных немецких генералов и офицеров во главе с самим генерал-комиссаром. Генералы и офицеры прохаживались, изредка перебрасывались словами, часто посматривали на западную сторону небосклона.

Ожидали прилета специального уполномоченного фюрера генерал-лейтенанта Баумволя.

Миссия генерала была Рейзе неизвестна, но он понимал, что генерал направлялся сюда не с обычными полномочиями. Рейзе хорошо знал генерала, знал еще с того времени, когда нынешний генерал был руководителем нацистской организации в том городе, в котором мальчиком учился будущий штурмбанфюрер. В те времена Баумволь не раз захаживал в гости к его отцу. Вскоре друга отца перевели на работу в Берлин, и он за несколько лет сделал такую блестящую карьеру, так поднялся, что в доме Рейзе говорили о нем, как о великом человеке. Говорили, что ему оказывает особое расположение фюрер.

Рейзе весьма интересовало, с какими полномочиями он летит.

Едва в восточной стороне неба обозначились очертания пассажирского самолета, направляющегося к аэродрому, все ожили, возбужденно заговорили.

Самолет шел в сопровождении трех истребителей. Низко над аэродромом он совершил полукруг и, выровняв крен, убавив шум моторов, пошел на посадку. Когда он подрулил к месту, где обычно останавливались самолеты, еще до того, как перестали реветь моторы, группка ожидающих направилась к машине.

По лестнице легко сошел высокий, худой, в очках, в сером летнем пальто генерал — поздоровался, выбросив вперед вверх руку. Заметив среди высоких военных и гражданских чинов Рейзе, стоявшего за своим начальником, он задержал на нем взгляд, сосредоточенно нахмурился, видимо стараясь вспомнить. Генерал, однако, ни о чем не спросил.

— К машине...— сухо сказал он Готтбергу.

Генерал-комиссар повел его к выехавшей навстречу большой черной машине. Возле машины уполномоченный, уже открыв дверцу, вдруг озабоченно оглянулся на штурмбанфюрера и сдержанно спросил:

— Вилли Рейзе?

Чувствуя себя в центре общего внимания, штурмбанфюрер обрадованно вытянулся, отрапортовал:

— Я, господин генерал! Штурмбанфюрер Рейзе.

Он был доволен, что Баумволь узнал, ему льстило, что на виду у всех встречающих генерал назвал его не официально, а по имени.

Генерал отечески милостиво, уже без прежней холодности кивнул ему.

Встреча на этом и закончилась. Вслед за машиной генерал-комиссара в город устремилась вереница других машин, через минуту на аэродромном поле никого из встречавших не было.

Генеральный комиссар пригласил уполномоченного поехать к нему домой, и вскоре Баумволь был в одной из комнат ко-

миссарского особняка. Здесь он попрощался с Рейзе, подав ему руку, сказал:

— Я рад, Вилли. Вижу, что у моего друга Отто настоящий сын. Надеюсь, мы еще увидимся...

— Я почту это за честь, господин генерал, — ответил с уважением Рейзе. Радуясь вниманию генерала, он в то же время показывал, что отлично понимает разницу в положении их и тем более ценит доброе отношение со стороны высокого гостя.

Больше Рейзе не пришлось видеть генерала в этот день.

Генерал Баумволь почти сразу же попрощался с Готтбергом, объявив хозяину, что устал и хочет отдохнуть.

Он позвонил фон Готтбергу и вышел к нему уже вечером.

Сидя за столом, ужиная, попивая вино, генерал, посвежевший, с живым блеском глаз, с деликатностью светского человека рассказывал о берлинской жизни, и фрау-хозяйка, одетая в богатое бархатное вечернее платье, с аккуратно уложенными и завитыми подкрашенными волосами, вздыхала, вспоминая большой город, театры, шумные улицы, богатые магазины.

— Здесь такая скука,— пожаловалась она, и на лице ее появилось выражение капризного, прежде балованного, теперь несправедливо обиженного судьбой человека. Она посмотрела на мужа, ожидая, что он поддержит ее, а может, желая узнать, как он относится к ее словам.

Муж объедал поросячье ребро и был, казалось, всецело поглощен этой заботой. Он, похоже было, не слышал ее слов. Фрау-хозяйку такая неучтивость мужа, да еще в присутствии высокого, столичного гостя, глубоко задела, и она подумала, сколько раз ей приходилось краснеть из-за его невнимательности, бестактности. Она вообще считала, что он был неделикатным, невоспитанным, грубым человеком.

— Судьба солдат! — произнес учтиво, с сочувственной улыбкой гость.— Здесь она едина — и у мужей, и у их спутниц.

Генерал с изяществом светского человека налил ей вина, потом хозяину и себе, поднял синий с золотой каемкой бокальчик— за спутниц! Хозяйка с благодарной улыбкой, с царственной величавостью, сверкая камнями на бледных пальчиках, поднесла к нему свой бокал. Она была в восторге от генерала.

Часов в десять генерал встал, склонив к хозяйке голову с зачесанными набок редкими рыжеватыми волосами, вежливо поцеловал ей руку и вместе с генеральным комиссаром удалился в свою комнату.

Оказавшись наедине с Готтбергом, он был уже не таким деликатным, улыбающимся; лицо его, сероватое, костистое, сразу как бы осунулось и вытянулось. Сжатые тонкие губы

и холодноватый взгляд придавали ему выражение воли и внутренней собранности. Хотя в том, как держался высокий гость, не было заметно высокомерия, Готтберг, однако, ощущал по отношению к нему настороженность. Может быть, таков уж закон жизни, что все уполномоченные вынуждают относиться к ним с осторожностью.

— Вы довольны Рейзе? — спросил вдруг Баумволь, вправляя в мундштук сигарету.

— Да. Он энергичный, деятельный...

— Способный?

— Да.

— Я хорошо знал его отца, Отто Рейзе. Отто когда-то оказал нам не одну услугу...

Готтберг кивнул головой. Следя со вниманием за гостем, с готовностью отвечая ему, он чувствовал, однако, что уполномоченный думает не о том, что спрашивает, что это все — между прочим, игра. Он ждал, что гость скоро заговорит о важных вещах, ради которых прибыл. Хозяин с нетерпением ждал этого. Но Баумволь не спешил. Опустившись в мягкое, черной кожи кресло, он курил, созерцал висящую напротив картину, пейзаж с кудрявым лесочком, острыми черепичными крышами и мирным, лубочно-наивным пастухом со стадом овец.

— Какая фальшь! — произнес он раздумчиво и недовольно.

Готтберг обратил к нему недоумевающий взгляд:

— Что — фальшь?

Баумволь небрежно махнул рукой с дымящейся папиросой:

— Это — овечки, пастух. Тишина...

— Да, старое...

Смежив глаза, отставив руку с сигаретой, Баумволь покоился в кресле. Губы были сжаты и лицо сосредоточенно, замкнуто.

— Мои полномочия в основном касаются фронта, — сказал Баумволь после немалой паузы, словно отвечая на молчаливый вопрос Готтберга. — Однако я имею некоторые поручения и относительно вас.

Готтберг сразу оживился, остро взглянул на уполномоченного. Тот смотрел на него строго и значительно.

— Фюрер недоволен результатами акций против партизан, — сказал Баумволь не спеша, веско. — Он не доверяет вашей информации; по его мнению, она не вполне объективна. Он считает, что положение у вас неудовлетворительно. Фюрер считает, что вы не предприняли надлежащих мер, не проявили надлежащей твердости для стабилизации положения...

Генерал постучал мундштуком по краю пепельницы, стряхнул пепел.

— Активизация бандитских групп на наших важнейших

коммуникациях вызвала его решительное недовольство работой тыловых учреждений на Востоке. Он считает, что такое положение недопустимо дальше терпеть, что оно ставит наши войска на Восточном фронте перед жизненно опасными трудностями. Это тем более обеспокоило фюрера, что фельдмаршал Кейтель во время последнего доклада представил обстановку в тылу наших восточных войск в крайне неблагополучном виде...

Готтберг нетерпеливо шевельнулся.

— Но в операциях против бандитов были использованы и военные силы. Это не только мои акции.

На лице Баумволя появилось выражение недовольства. Готтберг понял, что не следовало оправдываться.

— Ответственность за неудачи в операциях против бандитов фюрер, естественно, возлагает на вас...— жестко произнес уполномоченный.

Он умолк. Баумволь молчал довольно долго, прищурив глаза за стеклами очков и думая о чем-то своем. За дверью в столовой слышался звон посуды: видимо, убирали со стола.

— Обстановка, по мнению фюрера, требует новых мер для того, чтобы упрочить положение на восточных землях, в том числе и в Вайсрутении... Не следует ограничивать себя в средствах — карательные акции против бандитов целесообразно дополнить другими средствами, более гибкими, дипломатическими. В создавшейся обстановке мы не можем опираться только на оружие. Фюрер считает, что вы недооцениваете эти средства... В связи с этим необходимо, по мнению фюрера, ускорить оформление самостоятельности для Вайсрутении. Следует в самое ближайшее время созвать конгресс и объявить ее самостоятельность от имени Германского государства. Следует обдумать, тщательно подготовить состав правительства, естественно обращая особое внимание на преданность членов правительства рейху... Этот акт — объявление самостоятельности Вайсрутении — может произвести благоприятное впечатление на часть патриотически настроенного местного населения...

— Мы уже начали некоторые подготовительные мероприятия, генерал.

— От подготовительных мероприятий необходимо переходить к реальным делам. Создается такое положение, что мы не можем медлить с подготовительными мероприятиями.

На этом гость прекратил деловой разговор. Вспомнив, с какими мыслями он ждал разговора, генеральный комиссар мрачно подумал: нет, предчувствие не обмануло его — уполномоченные всегда приносят какую-нибудь неприятность. И хлопоты, и беспокойство.

— Завтра мне надо встретиться с генерал-фельдмаршалом, — сказал Баумволь уже иным, более мягким тоном.

Скрывая недовольство прежним разговором, фон Готтберг ответил успокаивающе:

— Машины и охрана будут организованы, генерал. На какое время?

— На утро. Я хочу поехать в семь... Кстати,— вспомнил Баумволь,— пошлите со мной Рейзе...

— Штурмбанфюрер Рейзе будет с вами.

Баумволь дал понять хозяину, что разговор окончен и что он хочет остаться один.

Генеральный комиссар пожелал ему спокойной ночи, поприветствовал его и вышел.

4

Они уже сели за накрытый стол, уставленный бутылками с вином, рюмками, тарелками с закуской, когда фельдмаршала позвали в кабинет к телефону. Фельдмаршал недовольно поморщился, раздраженно спросил, кто звонит, и, бросив на стол салфетку, встал.

— Прошу прощения...

Баумволь и Рейзе остались за столом одни. Опершись грудью о стол, прищурив глаза, генерал о чем-то думал, нижняя губа его, резко очерченная, беспокойно вздрагивала.

— У тебя, Вилли, нездоровый вид, — произнес он вдруг, не глядя на Рейзе.

— Я чувствую себя хорошо, мой генерал...

— В твои годы я выглядел лучше...— Баумволь всем туловищем повернулся к штурмбанфюреру, глаза за стеклами очков взглянули на Рейзе странно пристально.— Женщины, вероятно, виноваты...

Он не дал ответить Рейзе.

— Женщины опасно изнашивают мужчину. Ты молод и еще не можешь знать, как дорого мы платим за мимолетные удовольствия. Они забирают у нас много сил и много времени, которые разумнее следовало бы тратить на другие, более важные дела.

— Недосыпаю, мой генерал. По ночам беспокойно...

Генерал коротко блеснул стеклами очков.

— Русские самолеты?

— Да, в последнее время они наведываются с удивительной настойчивостью. Вам повезло, генерал, прошлая ночь — одна из немногих спокойных ночей... Мы отвыкаем спать...

— В Германии, Вилли, теперь тоже многие разучились спать по ночам. Да, разучились... Я отдыхаю по-настоящему, только когда выбираюсь из Берлина на виллу...

Он встал, подошел к краю веранды и принялся рассматривать садик, подступающий к особняку фельдмаршала. Садик

был небольшой, всего несколько деревьев. Меж деревьев желтела ровная, присмотренная дорожка, посыпанная песком, а перед верандой пестрел цветами старательно ухоженный газон.

Услышав, что фельдмаршал возвратился, Баумволь оглянулся на него:

— Вы, оказывается, любите цветы?

— Да.

— Это хорошо. Цветы придают человеческому жилью уют и — как бы это сказать — хозяйский вид. Чувствуется, что живет не гость, а хозяин...

— Я везде чувствую себя хозяином,— лаконично ответил фельдмаршал.

Он налил вина и предложил выпить за фюрера. После этого он не очень гостеприимно умолк, только поддакивал и подкладывал себе в тарелку закуску и жевал.

— Вчера я еще раз почувствовал, как приблизился Восточный фронт к Германии,— первым заговорил Баумволь.— От Берлина три часа самолетом — и фронт! Минск — это уже фронт.

— Да, фронт, — согласился фельдмаршал.

— Но это ведь не самое близкое расстояние. Здесь наша линия фронта выдвинута на восток... Мы стоим перед великой угрозой. Угроза эта уже почти у границ Германии.

— Да, она подступила к германским границам.

— Угроза,— рассуждал генерал,— еще никогда не была такой реальной, такой тревожной. Это ощущение угрозы теперь в Германии везде. Вся Германия настороженно ждет, прислушивается. Прислушивается к гулу бомбардировщиков, ждет, что будет на Востоке, где огромная русская армия таит неизвестные планы... Настала пора, когда мир должен увидеть величие германского духа.

— Да, Германия должна заявить снова о своем величии,— спокойно согласился фельдмаршал.

Рейзе не вмешивался в их разговор. Он только слушал, посматривал то на одного, то на другого, профессиональным взглядом отмечал про себя их отношения. Фельдмаршал, хотя и оказывал генералу-уполномоченному все знаки внимания, вместе с тем держался суховато, даже высокомерно, как человек, уверенный в себе, в своей силе. Старый, заслуженный военный, он, как чувствовал штурмбанфюрер, в душе свысока относился к генералу, который, получив высокое звание, не имел достаточных для этого звания боевых заслуг. Партийные заслуги Баумволя, видно, весьма мало значили для фельдмаршала.

Фельдмаршал, однако, по-видимому, побаивался уполномоченного, — недаром он держался настороженно и считал за лучшее послушно соглашаться или высказывать оптимисти-

ческие истины. Баумволь также чувствовал холодноватость командующего, и Рейзе заметил, что генерал старался платить ему тем же. Он также относился к фельдмаршалу внешне учтиво, а в душе холодно, высокомерно.

— Каково ваше мнение о наших перспективах на лето? — спросил уполномоченный, подливая коньяку в чашку с черным кофе.

Фельдмаршал вытер руки о салфетку, положил ее. Помолчал.

— Я уже докладывал фельдмаршалу Кейтелю,— сдержанно, в раздумье начал командующий.

Он искоса глянул на Рейзе, и Баумволь, перехватив этот взгляд, попросил штурмбанфюрера оставить их наедине. Покраснев, Рейзе поднялся.

— Я думаю, что наиболее уязвим для нас правый фланг. Ковельский уступ, где русские глубоко вклинились под основание «балкона». Стоит русским сломать оборону в районе Ковеля, и «балкон» может потерять устойчивость. Группа «Центр» может оказаться в тяжелом положении...

— «Балкон» может обрушиться? — Генерал был крайне сосредоточен и озабочен. Он требовал прямого ответа.

— Может создаться очень тяжелое положение.

Баумволь вздохнул, сообщил:

— Фельдмаршала Кейтеля также беспокоит Ковельская яма.

Общее беспокойство как бы сблизило их. Это единение чувствовалось и в длительной паузе, последовавшей за рассуждениями об опасности со стороны Ковеля.

— Фюрера волнует, — заговорил генерал доверительно и значительно, — странное молчание русских в вашем районе. Уже середина июня, фельдмаршал, а русские молчат. Это молчание, по мнению фюрера, должно настораживать вас.

— По нашим расчетам, они давно должны были бы попытаться наступать...

— Что говорит разведка? Есть доказательства того, что русские готовятся?

— Это то, что, естественно, нас больше всего интересует. Мы ведем непрестанную разведку по всему фронту, используя все средства, следим тщательно за всеми радиопереговорами, за всеми передвижениями войск. Особенно внимательно мы определяем, где намечается концентрация войск. Нами установлено, что русские по-прежнему держат крупные танковые соединения в непосредственной близости у Ковельского клина...

На восточном участке фронта, по нашим данным, у русских обычная жизнь. Никаких серьезных фактов, говорящих о том, что они намереваются здесь в ближайшее время наступать.

Обнаружено даже, что они роют окопы вдоль всего фронта... Но мы, конечно, не можем думать, что русские и дальше будут пассивны. И на востоке, и особенно у Ковеля.

— Да, русские не могут отказаться от попыток сломать «балкон». Это аксиома.

— Безусловно. Их наступления надо ожидать, и, возможно, в ближайшее время. Самое важное, что нас интересует и чем занимается разведка, это — откуда они попробуют ударить и когда. Мы этого не знаем... Нам приходится, генерал, распылять силы, рассредоточивая их по всему фронту...

— Да,— согласился генерал,— у наступающих есть одно бесспорное преимущество: они могут выбирать. Сосредоточивать войска в кулак и выбирать место для удара...

— Наша линия фронта чрезмерно растянута... — озабоченно сказал, почти пожаловался фельдмаршал. Он с надеждой взглянул на генерала: — Ставка не предполагает выделить для нас еще войск?

— Мы уже сняли с Запада несколько дивизий, фельдмаршал. Они здесь, на Востоке. Меня просили напомнить вам, что сюда отданы лучшие дивизии, цвет германской армии...

— Я это помню.— Фельдмаршал недовольно замкнулся в себе: ему явно не понравилась поучающая манера речи уполномоченного.

Баумволь или не заметил, или сделал вид, что не заметил недовольства фельдмаршала. Тем же жестким, наставительным тоном продолжил:

— Фюрер придает очень важное значение действиям группы «Центр». Итоги ваших операций, фельдмаршал, будут иметь не только военное, но и политическое значение. В этот ответственный час престиж Германского государства во многом зависит от вас. Крушение будущего русского наступления должно значительно укрепить авторитет Германии, укрепить наши политические позиции...

На веранду вдруг ворвалась волна порывистого ветра, сыпнула песку на белоснежную скатерть, сбила на пол салфетку генерала.

Фельдмаршал нетерпеливо поморщился. Он позвал прислуживающего за столом солдата, тот мигом влетел на веранду, вытянулся, готовый ко всему.

— Песок. Салфетка,— показал глазами недовольно фельдмаршал, и солдат бросился сметать песок со стола. Через секунду принес чистую салфетку.

Пока все это происходило, генерал наблюдал: деревья в саду под порывами ветра раскачивались. Ветер мотал, гнул ветви.

Когда солдат вышел, Баумволь оторвал взгляд от сада, недоверчиво огляделся, приглушенно спросил:

— Нас не могут слышать?

Фельдмаршал покачал головой.

— Я имею указание сделать вам важное сообщение.— Уполномоченный навалился грудью на стол, приблизил лицо к фельдмаршалу.— Сообщение, которое я должен сделать вам, имеет государственное значение и, как вы понимаете, должно содержаться в строжайшем секрете...— Заинтригованный, фельдмаршал кивнул: естественно, он понимает. Баумволь значительным тоном сообщил действительно чрезвычайное: — Берлин намеревается начать секретные переговоры с Лондоном и Вашингтоном... Считают, что у нас есть серьезные шансы договориться... Англосаксы, конечно, будут выгадывать, принюхиваться...— Таинственность и недоговоренность, с которой Баумволь сообщал все это, еще как бы усиливали значение известия.— Наш успех там будет зависеть во многом от ваших успехов здесь, понимаете?

Возбужденный и потрясенный фельдмаршал пристально смотрел на генерала, будто не мог поверить услышанному. Но лицо его уже светилось удовлетворением.

— Вы говорите очень интересные вещи, генерал...

Генерал был явно польщен произведенным впечатлением.

— Большего я пока не могу сказать. Должен лишь сообщить, что о государственной тайне, которую я вам открыл, знают только несколько человек... Времена меняются,— произнес он другим тоном,— когда-то генералам надо было знать только военное дело. Теперь им надлежит быть и политиками.

Уполномоченный улыбнулся, чуть приподняв уголки тонких губ. Фельдмаршал не ответил на его улыбку,— командующий все раздумывал над услышанным.

Улыбка тотчас сошла с лица генерала, озабоченно, требовательно он спросил:

— Что вы можете, фельдмаршал, сказать о назначении русскими генерала Черняховского?

— Пока почти ничего,— оторвался от своих мыслей фельдмаршал,— кроме того, что Черняховский — молодой, энергичный генерал. По мнению русских, он хорошо проявил себя под Киевом. Сделал молниеносную карьеру. Видимо, русские возлагают на него какие-то надежды...

— Не означает ли назначение молодого, энергичного генерала, что русские не собираются здесь засиживаться?

— Возможно... У молодости много энергии, но обычно недостаточно опыта... У них есть Рокоссовский, на южном фланге. Лично меня больше беспокоит Рокоссовский. Это очень опытный, опасный противник.

— Рокоссовский — да, опасен, — согласился Баумволь.

Он встал, оправил мундир, повернулся к саду за верандой. В это время ветер, подняв в саду пыль и песок, снова ворвался на веранду, дохнул в лицо Баумволю холодком.

Генерал невольно прижмурил глаза за стеклами очков. Взглянув в ту сторону, откуда прилетел ветер, где шумели деревья, заметил, что за садом на беловато-мутное облачное небо наплывает синяя, мрачная, с черными краями и дном, тяжелая широкая туча.

— Кажется, гроза собирается.

Фельдмаршал тоже посмотрел на небо:

— Да, собирается.

5

Лейтенанту Кляммту в тот вечер судьба уготовила необычную встречу.

Он уже почти месяц жил на незаметном, мокром островке, окруженном болотами, кочками, осокой. С островка были отчетливо видны другие, сухие острова, линия магистрали. На островках и у магистрали размещались соседние роты, командный пункт батальона. Вдоль магистрали еще кое-где виднелись иссеченные, покосившиеся и обрубленные телеграфные столбы.

Магистраль почти все время то обстреливали, то бомбили, и лейтенант на своем мокром островке не завидовал тем, кому выпало жить на ней.

Лейтенант увидел генералов не у себя на островке, а у командира батальона. Об их приезде и лейтенант и батальонный узнали уже тогда, когда высокое начальство выехало из штаба полка. Батальонный, рослый, неразговорчивый баварец, сидевший в сорочке, поспешно натянул на плечи мундир и приказал солдату прибрать в помещении. Сам он тоже бросился наводить порядок. По тому, как он вел себя, лейтенант видел, что его крепко взволновала предстоящая встреча. Прибрав в блиндаже, батальонный, несколько успокоившись, стал звонить в роты, приказывал проверить, все ли в порядке, но не открывал причину своей тревоги.

Только отдав распоряжения, он сообщил лейтенанту то, что сообщили ему из штаба. Высказал одним словом:

— Фельдмаршал!..

Он, похоже, был доволен предстоящей встречей и с интересом ждал прибытия необычных гостей. Правда, об этом лейтенант больше мог лишь догадываться — баварец был человеком скрытным и, как обычно, выглядел спокойным.

Батальонный встретил генералов с таким спокойствием и такой уверенностью, что лейтенант, человек тоже не робкого десятка, просто поразился. Очень четко, без запинки, баварец доложил о батальоне, о себе, с готовностью и с достоинством стал отвечать на вопросы. Он умел выразить и большое уважение к высоким гостям и не унизить себя.

Лейтенант заметил, что командир дивизии, строгий и придирчивый, был доволен четкостью и уверенностью баварца.

Незнакомый Кляммту генерал-лейтенант вдруг сверкнул очками в сторону ротного, что молча, неподвижно, почти не дыша, наблюдал и слушал, спросил о его должности.

Баварец ответил, и генерал повернулся к лейтенанту:

— Где ваша рота?

Лейтенант ответил, что рота размещается в пятистах метрах отсюда.

— Проводите нас,— произнес генерал таким тоном, что было непонятно, просьба это или приказ. Генерал взглянул на фельдмаршала: — Я надеюсь, господин генерал-фельдмаршал, что ваши намерения совпадают с моими?

— Да, конечно...

Фельдмаршал чуть склонил голову. Генерал с видом человека, решившего не терять зря времени, приказал лейтенанту вести в роту, отступил в сторону, будто предоставляя ему дорогу. Рядом с генералом вытянулся, готовый немедленно двинуться вслед за ним, стройный, красивый штурмбанфюрер из генеральской охраны.

Но баварец осмелился остановить генерала и фельдмаршала. Почтительно и вместе с тем с решимостью, убежденно заявил высоким гостям, что идти на остров не следует.

На лице генерала появилось удивление и недовольство.

— Почему?

Баварец выразительно кивнул на лейтенанта, на его сапоги и брюки:

— Болото, господин генерал.

Генерал — это был Баумволь — повел взглядом туда, куда указывал баварец, увидел, что одежда лейтенанта мокра почти до пояса. Лейтенант вытирал сапоги и брюки, но на них все же заметны были пятна болотной грязи. Вероятно, генерал все-таки не остановился бы, но командир дивизии высказал мнение, что участок обороны, расположенный на острове, малоинтересен, и, видно, именно это послужило причиной того, что уполномоченный оставил свое намерение.

— Вы укрепились прямо в болоте? — поинтересовался генерал у лейтенанта, стоявшего навытяжку и ожидавшего приказа.

— Да, среди болота, господин генерал. На маленьком островке...

Генерал посмотрел на него с сочувствием:

— А-а...

Командир дивизии сообщил, что почти треть дивизии сидит в болоте, в воде. Возбужденный вниманием высокого гостя, лейтенант почувствовал потребность представить достойным

образом себя, своих товарищей, поддержать командира дивизии.

Улучив мгновение, когда гости еще были в неведении, что предпринять дальше, лейтенант мужественно и бодро объявил, что хотя и плохо жить в болоте, зато и русским будет с ним много хлопот.

— Много хлопот! — повторил он с особым смыслом. Как бы радуясь и приглашая присоединиться к его радости.

Генерал улыбнулся,— правда, скуповато, сдержанно, но улыбнулся. Видимо, рассуждения лейтенанта ему понравились.

Фельдмаршал с уважением, одобрительно сказал:

— Это — заявление солдата.— Фельдмаршал полюбопытствовал: — Вы были солдатом?

— Яволь, герр фельдмаршал [1].— Лейтенант даже привстал на носках, вытягиваясь перед фельдмаршалом.

— Я тоже. . .— по-товарищески сообщил господин фельдмаршал.

Оживленный бодростью и заявлением лейтенанта, растроганный внезапной близостью к тому времени, когда сам был таким же лейтенантом, господин фельдмаршал взволнованно повернул суховатое и морщинистое лицо к генералу:

— Меня всегда восхищал германский солдат. Своим мужеством и своей готовностью к любым жертвам во имя отечества.

— О да.

Лейтенант услышал в словах фельдмаршала похвалу себе. Стоя навытяжку, он следил то за фельдмаршалом, то за генералом, всемерно выражая преданность, готовность исполнить любой приказ. Однако во взгляде лейтенанта было и затаенное любопытство, обостренное одной зорко замеченной им странностью. Лейтенанта весьма интриговало то, что генерал, хотя и был званием значительно ниже фельдмаршала, держал себя с ним на равных. Лейтенант догадывался, что это какая-то важная персона.

Генерал был настроен совсем не благодушно. Лейтенант отметил, что и его слова генерала не растрогали так, как господина фельдмаршала. Лицо генерала было холодно и строго, требовательно смотрели глаза из-за стекол очков.

— Как ведут себя русские? — пронзил лейтенанта жесткий взгляд.— Не собираются наступать?

Лейтенант чутко уловил, что этот вопрос генерал задал иным тоном, чем вопрос о болоте, он сразу понял, что генерал ожидает серьезного, дельного ответа. Лейтенант сосредоточенно задумался, что ответить. Но ответа не находилось. Лейтенант постарался скрыть смятение. Знал, что следует держаться с прежней уверенностью.

---

[1] Так точно, господин фельдмаршал (нем.).

— Они пробовали наступать, господин генерал, но им не удалось. Теперь они молчат...

— Молчат...— Лейтенант заметил: генерал был явно недоволен ответом. Тонкая губа его даже нетерпеливо дернулась.— Сколько они будут молчать?

— Это пока неизвестно, господин генерал. Мы взяли несколько пленных, но они упорно говорят, что у русских тихо...

— Вы их хорошо допросили? — Генерал сверкнул стеклами очков на командира дивизии.

— Хорошо, господин генерал.

Господин генерал неожиданно категорически возразил:

— Нет, плохо!

В блиндаже стало очень тихо.

— Среди них должны быть такие, которые знают интересующие нас сведения. Должны быть! Мы должны получить эти сведения! — В голосе генерала была такая сила, что лейтенант, да и все вокруг замерли. Глаза генерала переходили с лица на лицо, приказывали, требовали. Голос его был тверд и полон ярости, когда он заговорил снова: — Никакой жалости! Горячим железом из них вытягивать! Горячим!..

Он вдруг позвал:

— Штурмбанфюрер Рейзе!

Тонкий, перетянутый в талии штурмбанфюрер с готовностью вытянулся перед генералом.

— Займитесь пленными! Поговорите вы!

— Яволь, господин генерал! — Штурмбанфюрер, казалось, намеревался тотчас же броситься выполнять распоряжение,— он напоминал коршуна, готового вцепиться в добычу.

Лейтенант уже с беспокойством ожидал, что еще пожелает узнать и что скажет господин неизвестный генерал, но генерал повернулся к командиру батальона и сообщил, что хочет познакомиться с оборонительными сооружениями.

Когда генералы возвращались из батальона в тыл, было уже за полночь. Передний край, оставшийся позади, проводил их дремотным покоем,— только пулемет, будто вырвавшись из сна, залопотал, но, побежденный тишиной, смолк.

Шагавший рядом с господином уполномоченным фельдмаршал в разговоре о многих других делах полюбопытствовал, какое в целом впечатление произвели на генерала оборонительные сооружения. Баумволь еще раньше заметил, что фельдмаршал гордится этим, и генерал, ощущавший с раздражением самоуверенность, скрытое неуважение старого военного, почувствовал, что ему хочется сказать командующему какую-нибудь неприятность. Он сдержанно ответил:

— Я считаю, что сооружения неплохие. Наши инженеры, видимо, не потеряли даром эту передышку в боях.— Он с умыслом отметил, что заслуга в создании сооружений при-

надлежит инженерам. Но, зная, что фельдмаршалу этот акцент не понравится, он отметил это как бы вскользь, не выказывая своего раздражения. Тем самым придавая своим словам впечатление объективного суждения и делая укол тонким и чувствительным для собеседника. Как бы скучая, он сообщил: — У меня, конечно, есть некоторые замечания, но их я выскажу позже, когда это станет лучше видно в общем масштабе. Я не хочу повторяться... Как это сказал командир роты, — вспомнил он будничным голосом,— о русских? О болотах?

— «Они будут иметь много хлопот», господин генерал,— подсказал командир дивизии...

— Да, много хлопот! Им, конечно, будет много хлопот и с нашими инженерами. С сооружениями наших инженеров. Только надо, чтобы дух солдат, которые их займут, был таким же сильным, как эти сооружения...

— Наши солдаты, господин генерал, всегда были стойкими в обороне.— Баумволь с удовлетворением почувствовал, что расчет его оказался верным: фельдмаршал был явно задет.

Молчаливый, мрачный командир дивизии сказал, что его дивизия оставит эти сооружения только в случае приказа.

— Она ни в коем случае не должна оставлять их,— вдруг резко, словно выговаривая командиру дивизии, произнес генерал.

— Разрешите, господин генерал...— осторожно попытался объяснить недоразумение командир дивизии. — Я сказал: только по приказу...

— Такого приказа не будет,— сухо отрезал господин уполномоченный.

Некоторое время шли молча. Генерал-уполномоченный слышал рядом с собой тяжелое сопение фельдмаршала.

— Болота... это очень хорошо,— произнес Баумволь примирительно, уже без мстительного чувства к фельдмаршалу.— Кажется, они нам посланы самим богом...

Фельдмаршал не ответил. В лицо им вдруг ударил сильный, холодный порыв ветра, и фельдмаршал схватился за фуражку, чтобы ее не сорвало. Господин уполномоченный набычился, поднял воротник летнего генеральского пальто, полы которого прилипли к ногам, будто стреножив, мешали идти.

Господин уполномоченный заметил — в той стороне, куда они шли, вспыхнула молния. Там чернила небо гроза. Ветер донес угрожающий басовитый рев недалекого грома. Гроза с молниями, громом, с бурей приближалась сюда.

Черными были тучи невдалеке, черным было небо, и только горячие вспышки молний время от времени разрывали эту черноту. Но они не радовали, а делали всю картину более тревожной.

Генерала-уполномоченного тронуло беспокойство.

ГЛАВА IX

1

В бригаде Бессонова ожидали комиссию из штаба фронта. Не только молодые, но и бывалые офицеры, всякого повидавшие на фронте, волновались, как курсанты перед экзаменом.

Готовился к этой проверке и Алексей Лагунович, который, хоть и старался казаться беззаботным, тоже усердствовал больше обычного. По этому поводу острый на язык Быстров даже шепнул на ухо Солнцеву:

— У нас два абсолютно спокойных человека — Яковенко и Рыбаков. А наш старший лейтенант, как ученик, волнуется.

Целыми днями занимались в поле, бесконечно чистили и смазывали механизмы и приборы танков, каждую ночь вскакивали по «тревоге». И везде видели перед собой неугомонного, стожильного полковника, который каким-то образом успевал все увидеть, всегда все держать под придирчивым наблюдением. Он осмотрел, и не однажды, каждую машину, не однажды заставлял их мыть и мыть, сделал большую «чистку», снова выбрасывая из танков все лишнее.

Как же построжал он, когда узнал, что бригаду едет проверять сам командующий фронтом.

— Ну, подведи меня теперь! — погрозил полковник Алексею.

Командир бригады никак не мог забыть о давней встрече Алексея с Черняховским, простить старшему лейтенанту замечание командующего.

Старший лейтенант в последний раз перед проверкой обошел роту, критическим оком осмотрел людей, машины: нет ли каких-нибудь неполадок.

В эти дни он чувствовал тот особый подъем — прилив энергии, был в том добром настроении, когда мог без устали работать целыми сутками. Его обязанности совпадали с желанием.

Алексей увидал Черняховского уже на марше: бригада получила задачу, войдя в прорыв, действовать в условиях глубоко прорванного фронта врага. Черняховский стоял возле переправы с Бессоновым, впереди группки генералов и офицеров, и, следя за танками, что-то говорил полковнику...

«Не случилось бы чего-нибудь,— невольно подумал Алексей о роте. — Бессонов тогда всю жизнь будет поминать...»

Еще раз старший лейтенант увидел Черняховского, когда рота на опушке леса готовилась к атаке. За березовым и осиновым подлеском стлалось перед ними незасеянное буро-зеленое поле.

Черняховский стоял вблизи, на краю березнячка, следил за танками, что двигались поодаль через поле и часто стреляли. Генерал снял фуражку, и ветер шевелил его густые, с глянцевитым блеском волосы. Рядом с Черняховским по-прежнему было несколько военных, чуть в стороне стояли три или четыре машины.

Все это старший лейтенант видел какую-нибудь минуту, так как тут же в шлемофоне послышался голос комбрига,— надо было идти в атаку. Алексей закрыл люк над головой и отныне видел в перископ, как бежит навстречу, расходясь вширь, пустое поле и приближается лесок, где находится противник.

Танк Алексея стал бить и бить по этому леску...

Больше старший лейтенант не встречался с Черняховским. От Бессонова передавали, чтобы подготовились к проверке, так как скоро будет командующий фронтом, передавали, что он особенно интересуется выучкой экипажей, самостоятельными действиями взводов, рот. Потом стало известно, что Черняховский уже у соседей, и в роте Алексея и во всем батальоне ждали — вот-вот приедет.

Но генерал-полковник от соседей поехал куда-то в другое место.

Алексей слышал, как вечером, собравшись возле землянки, его танкисты расспрашивали у соседей:

— Ну, какой он из себя? Очень строгий?

— Строгий... До всего, брат, старается добраться сам. Сам в «тридцатьчетверку» залез и стал гонять: а как вы это делаете, а как это? А наведите пушку вон на ту цель, а высчитайте, какое до цели расстояние... Когда Петя наводил пушку, между прочим взглянул на часы: засек время...

Суховатый, с белесыми бровями, словоохотливый старшина прикурил папироску.

— А у меня спросил: что будешь, товарищ старшина, делать, когда, допустим, командир выйдет из строя?

— Ну а ты что?

— Что? Ясно, что! Ответил по форме... Если хочешь поучиться, могу повторить, — поддел любопытного старшина.

— Ишь ты, такой молодой, а уже генерал-полковник, командующий фронтом! Он старше меня лет на пять, не больше,— сказал Рыбаков.

— Гляди ты, куда он метит, в генералы! — засмеялся кто-то из сержантов.— Да ты через пять лет и до старшины не дотянешь. Голова, брат, маловата!

Сержанта поддержал веселый хохот, говор.

— А кем он был в начале войны, командующий, а? Не иначе, из генерал-майоров, а может, и из полковников?

загадал загадку Колышев. — А вот — командующий! Заслужил, и не посмотрели ни на что, фронт дали.

Солнцев неожиданно переменил тему разговора:

— Недаром он приехал! Скоро снимемся отсюда. Серьезное задание, видно, дадут. Не зря он доискивался до всего.

— Факт — серьезное. Нам лишь бы какое не дадут,— поддержал Быстров и перешел на шутку: — С такими машинами к бабке Ганне в огород не пошлют. Таких серьезных, геройских парней, как я да ты...

— Одним словом, можно укладывать чемоданы.

— А что, нам, малярам, не привыкать. Сборы недолги.

Алексей тоже считал — теперь скоро.

— Сделайте, ребята,— сказал он командирам машин,— чтобы все было в порядке, наготове. Вдруг разбудят ночью, чтобы сразу — в дорогу. В момент.

— Оцэ воно и кончилось, отдохнули,— заключил Яковенко.

С вечера до полуночи сидели Алексей с Колышевым, писали в Сибирь, на Урал, в Поволжье поздравительные письма семьям награжденных.

Устали за день, но Алексей решил написать обо всех. Не хотел откладывать. Нельзя было откладывать. С минуты на минуту мог прийти приказ — двигаться на фронт. А там — кто мог сказать, когда выпадет свободная минута!

Вообще Алексей писал нередко, обычно письма к председателям колхозов или горсоветов, просил или требовал, чтобы помогли семье какого-нибудь бойца. Он писал эти письма потому, что считал своим долгом «наводить порядок» в личной, семейной жизни солдата. Хотя обычно старший лейтенант и не любил «писанины», тут старался быть пунктуальным.

В тот вечер написал он два письма на родину Яковенко. Командир взвода днем жаловался, что жена с тремя детьми живет в хате с дырявой крышей, а председатель сельсовета не хочет помочь привести дом в порядок. «Как дождь идет, спрятаться негде, цэ дило? Диты мокнут...» Он весь день ходил мрачный, только вечером, получив давно заслуженный орден, повеселел. Алексей, как и обещал, написал жалобу в райисполком.

— Известный вы человек теперь! — сказал Колышев.

— Еще какой известный! — иронически сказал Алексей.

— А разве нет? По всему Советскому Союзу знают.

— Не выдумывай!.. Эх, что это жена не пишет,— с горечью молвил старший лейтенант и нахмурился. Письма, которые он посылал Нине, где-то исчезали бесследно, как в бездну канули. Ни разу не получил он ответа.

— Вот возьмем Минск, будете и вы получать. По два в день.

Алексей не ответил. Наверно, действительно, он раньше придет в Минск, чем дождется письма.

Когда Колышев ушел, он, потушив коптилку, еще долго сидел в темноте. Почему же все-таки нет ответа? Неужели она не получила ни одного из его писем? Наверное, не получила, ведь не могла же она не ответить...

Он вспомнил, как часто присылала Нина письма до войны, простенькие, сердечные, от них невозможно было оторваться, не дочитав. Читал он их обыкновенно по нескольку раз. По ним можно было представить каждый ее день, со всеми мыслями и хлопотами. Странно: тогда он, хотя и с радостью получал ее письма-весточки, сам отвечал коротко, суховато.

Если бы хоть слово пришло от нее! Не придет уж, видно, сюда ничего. Так, наверно, ничего и не получит он здесь: завтра-послезавтра, похоже, снимутся...

2

Над двором, на котором в зеленой траве и в вишеннике разместились группки солдат пополнения, появился «юнкерс» и дал несколько очередей. Все встревожились, засуетились, послышались беспорядочные выстрелы. Кое-кто испуганно бросился на землю.

Подъехавший на «виллисе» генерал-майор Щербатюк, проводив взглядом удаляющийся, но все еще постреливающий самолет, спокойно осмотрел встревоженный двор. Его внимание привлек черноволосый сержант вблизи, у почерневшего колодезного сруба; сержант держал в руке шест с котелком и со странным выражением смотрел вслед «юнкерсу». Генерал сошел с машины, направился к сержанту.

— Что всматриваешься? Не узнаешь?

— Узнаю, товарищ генерал,— выпрямившись, но все еще не выпуская из рук шеста, ответил сержант.

— Видел, значит?

— Видел, товарищ генерал,— боец спохватился, осторожно отпустил шест.

— Где?

— В Минске, товарищ генерал.

— Как в Минске? — не понял генерал.

— В первые дни...

Командир дивизии внимательно вгляделся в сержанта.

— Ты что же, начал войну раньше меня?! — вдруг хмуро, будто недовольно произнес он. Генерал-майор до начала зимы сорок первого учился в Военной академии.

Сержант, видимо, не нашел что ответить.

— Как фамилия?

— Туровец, товарищ генерал.

Командир дивизии направился к группе бойцов, издали смотревших на него. Но тут навстречу ему выбежал высокий, со шрамом на щеке, лейтенант и стал докладывать. Генерал остановился.

— Что, потревожил фриц? — спросил он насмешливо и вместе с тем сочувственно, подходя к группке. — Ничего не поделаешь, придется терпеть... Фронт.

Сержант с нашивками за ранение молодцевато поддержал, что здесь тебе не у мамочки за спиной, нянчиться некому.

— Да, нянчиться некому, — согласился генерал. — А вот мать есть. Строгая, правда, но есть... И хорошая мать... Дивизия наша... Она не даст в обиду. Правда, и спуску от нее не ждите.

Генерал стал знакомиться с бойцами. Он любил знакомиться с новичками, любил поговорить с ними, похвалиться дивизией,— лучшая на фронте! Щербатюк при случае рассказывал, что пришел в дивизию под Орлом начштаба полка, а стал генералом, комдивом, что когда-то, в гражданскую, он тоже был солдатом. В такие дни генерал приезжал в кителе с Золотой Звездой.

Сегодня Щербатюку не довелось поговорить с новичками, так как из штаба дивизии приехал капитан и доложил, что генерала срочно вызывают. Попрося отойти в сторону, капитан приглушенным голосом сообщил, что вызывают к командующему армией, что попросили подготовиться к докладу. Иметь при себе все материалы, касающиеся предстоящих учебных занятий дивизии. Генерал выслушал все, казалось, рассеянно, однако сразу же, хотя и неторопливо, направился к машине.

Садясь рядом с шофером, он заметил, что молодцеватый сержант с нашивками за ранение набросился за что-то на бойца. Командир жестом руки подозвал лейтенанта со шрамом на щеке

— Узнай, чего раскричался этот аника-воин. Да скажи, что у нас кричать не принято. Скажи, что у нас любят спокойный разговор...

Выехав за деревню, генерал натянул на плечи бурку, ее всегда возили в машине. Генерал недавно перенес воспаление легких и теперь вынужден был беречься, а с утра что-то знобило. Уж не грипп ли, черт возьми?

При всей кажущейся невозмутимости генерал перед предстоящей встречей испытывал немалое и сложное волнение. Это волнение вызывалось прежде всего тем, о чем надлежало ему докладывать командующему армией. То, что капитану велено было назвать учебными занятиями, было в действительности засекреченным названием большого, забиравшего у командира дивизии все время и все силы дела, главного его нынешнего

дела. И главного дела дивизии. Дело это было — наступление, большое, огромное, невиданной силы, и близкое, такое близкое, что генерал уже весь был словно бы в нем. Весь в нем. В самых мелких и живых подробностях он знал и чувствовал это наступление. Оно было все проработано на карте, в многочисленных расчетах всего того, что необходимо для успеха. Более того, оно уже, все наращивая темп, еще пока скрыто для посторонних, проявляло себя как живое существо: в дивизию подходило пополнение, к месту ее расположения подвозились необходимые боеприпасы, подтягивались приданные части...

Генерала радостно волновало приближение великого часа. Но он испытывал не только радость, но и беспокойство: и за то, что сроки прибытия пополнения срываются, и за задержки с подвозом боеприпасов, и за то, смогут ли вовремя подойти все поддерживающие части — артиллерия, танки, саперы. Было в его волнении и особое, личное: генерала беспокоила неблагосклонность к нему, к дивизии со стороны командующего армией. Командующий армией, в подчинении которого ныне оказалась гвардейская дивизия Щербатюка, мягко говоря, не жаловал ни дивизию, ни ее командира. Не однажды предъявлял к ним несправедливые претензии, задевал самолюбие генерала обидным недоверием и придирками.

Генерал-майор задержался в штабе дивизии лишь настолько, насколько это было необходимо для того, чтоб взять надлежащие материалы, приобщить к ним последние сводки. Сидя в машине, мчавшейся в направлении штаба командующего армией, генерал в мыслях готовился к докладу. Нездоровье, которое он чувствовал с утра, мешало думать, но возбуждение, вызванное предстоящей нелегкой встречей, да и свойственная генералу терпеливость помогали одолевать слабость. Запахнув бурку на груди и закрыв глаза, будто дремля, он думал, перебирал в памяти детали доклада, цифры, которые понадобятся. Надо было все продумать, подготовить, не дать возможности педанту-командующему уличить его в каких-то недосмотрах, упущениях. Особенно тщательно он припоминал цифры: командующий в знании цифр видел знание действительного положения, а у Щербатюка память на цифры была ненадежна. Сегодня же удерживать цифры было еще труднее, из-за хвори, что ли...

В приемной командующего армией уже были полковник, командир соседней дивизии, и незнакомый генерал-артиллерист. Артиллерист после того, как Щербатюк назвал ему себя, сообщил свою фамилию, но должности не сообщил, и Щербатюк понял, что он из новых, подошедших или подходивших. Щербатюк как совершенно естественное принял то, что артиллерист в тайне оставил свою должность, а значит, и часть, которую он представляет. Для генерала давно привычной была

обстановка особой секретности накануне наступления. Впрочем, генерал и не любил зряшного любопытства.

Командир соседней дивизии со значительным выражением на лице, доверительным шепотом сообщил, что у командующего армией сейчас ни мало ни много — командующий фронтом Черняховский и представитель Ставки маршал Василевский. Щербатюк принял это сообщение как бы с невозмутимым благодушием, но конечно же он сразу почувствовал, что разговор предстоит ответственный. Впрочем, волнения особого он не испытал, больше, пожалуй, было любопытства. Зябко поежился: познабливало все же, а бурку оставил в машине...

Его вызвали первым. Едва войдя, он увидел за столом Черняховского и незнакомого в комбинезоне и полевой генеральской фуражке, что стоял, склонившись над столом. Поздоровавшись, вобрав живот, явно портивший военную выправку, Щербатюк на мгновение остановился в раздумье: к кому первому обратиться? Повернулся к Черняховскому, попросил разрешения обратиться к командующему армией. Доложил о прибытии.

Когда он докладывал, незнакомый в комбинезоне оторвал глаза от карты, остановил взгляд на нем, на Щербатюке. Когда формальность была исполнена, незнакомый в комбинезоне шагнул из-за стола, протянул руку.

— Василевский,— назвался просто, приветливо.

Он снова зашел за стол. Указывая на большую карту, разостланную на столе, попросил:

— Доложите обстановку на вашем участке и план действий дивизии на период наступления.

Генерал-майор шагнул к столу. Приблизились, стали вокруг стола Черняховский и командующий армией. Черняховский, помогая, нацелил карандаш на то место, где было обозначено расположение дивизии. Щербатюк ухватил взглядом знакомые линии, знаки деревень. Опытным взглядом сразу же определил: на карту была нанесена обстановка, долженствующая быть в начале наступления. Фронт дивизии к этому времени, расположение приданных частей, которые еще пока ждал.

Командующий армией вручил ему указку.

Пока рассматривал карту, собирался начать, произошло с генералом неожиданное: то чувствовал озноб, а здесь вдруг ударило в жар, на лбу выступил пот. С ощущением этого жара и слабости в ногах он докладывал обстановку. Докладывал неторопливо, уверенно, точно отмечал на карте точки, направления, но указка, проклятая, почему-то подрагивала.

Его задерживали, переспрашивали,— почти все один Василевский. Черняховский задержал лишь однажды, и тоже, как понял Щербатюк, чтоб обратить внимание Василевского,

Больше задерживали, когда он докладывал о действиях дивизии в предстоящем наступлении. Здесь шли вопросы за вопросами, причем очень требовательно допытывал его не только Василевский, но и командующий фронтом. Вот здесь больше всего и подрагивала указка и донимал пот на лбу. Неприятно было оттого, что они неправильно могли истолковать это, но не мог же он объяснить им, что все потому, что нездоровится, видимо, грипп...

Особо внимательно выясняли, как он будет распоряжаться артиллерией, танками, авиацией, причем предлагали разные варианты развития боя, требовали его решений. Щербатюк понимал, что в эту минуту ставился на проверку не только его общий командирский опыт, но и то, насколько серьезно он продумал все, что может случиться в ходе боев. Мешал пот на лбу и слабость в ногах, но, казалось, генерал в целом неплохо справился с вопросами.

— Ну что ж, дело здесь ясное,— произнес маршал, как бы подытоживая разговор.

После этого было согласовано, как и когда дивизия сдаст часть своих позиций на переднем крае новой дивизии, с которой будет взаимодействовать в наступлении. Черняховский дал несколько советов по дезинформации противника о наших намерениях.

Щербатюк уже с облегчением вытирал платочком лоб, когда Василевский, повернувшись к командарму, спросил:

— Как боевые качества дивизии?

— Неплохие,— сдержанно, будто неуверенно ответил командующий армией.

— Участок очень важный.

Тон речи Василевского говорил о крайней серьезности вопроса, который он ставил.

— Дивизия хорошая! — сказал с внезапной веселостью Черняховский.— Боевая, люди закаленные! .. Правда, командир, я сказал бы,— он как бы с лукавинкой метнул взгляд на Щербатюка,— порой склонен к благодушию! ..

— Да, есть у него такой грех,— охотно поддержал Черняховского командующий армией.— Успокаивается, если не подталкивать...

— Обвинение для командира очень серьезное, особенно сейчас... Ну, а что вы скажете, товарищ генерал? — повернулся Василевский к Щербатюку.— Справитесь?

— Справлюсь, товарищ маршал,— ответил Щербатюк, вытянувшись, как только мог, глядя на маршала и с просьбой поверить, и с готовностью все сделать.

Была минута молчания, тягостная для командира дивизии минута.

— За что Героя получили? — спросил Василевский.

— За Курскую дугу, товарищ Маршал Советского Союза!

— Я думаю, ему можно поверить! — поддержал Щербатюка Черняховский. И снова Щербатюк уловил в голосе командующего фронтом доброжелательность и веселье.

— Ну, посмотрим! — сдержанно произнес маршал. Он, показалось Щербатюку, смотрел испытующим взглядом.

3

Алексей сидел на башне, свесив ноги в боевое отделение. Его грудь, будто щит, прикрывал круглый броневой диск — крышка люка. Слева пружинисто качался штырь рации, похожий на упругий прут лозы. Вправо, влево,— когда машину бросало из стороны в сторону, назад и вперед,— когда она увеличивала скорость или останавливалась...

Алексей, сутулясь, подавшись грудью вперед, покачивался вместе с машиной. Выше пояса он отклонялся все время в сторону, противоположную броску машины,— тело привычно старалось сохранять равновесие.

До чего ж это хорошо — сидеть на башне мощной машины, что стремится, мчит по дороге, отсчитывает гусеницами километр за километром, оставляя за собой две широкие зубчатые колеи.

Танки двигались без остановок. Один за другим. Слитные, в едином стремлении. Лишь стрекотали, перекликались гусеницы да беспокойно шумели моторы.

Иногда по сторонам дороги осторожно жались к краям плотные ряды пехотинцев, кавалеристы, придерживающие беспокойных, встревоженных коней, встречные грузовики. Ожидали, когда прогремят танки. Алексею было приятно видеть это. Так пропускают вперед уважаемого человека, которому предстоит особо важная работа.

Впереди были хорошо видны вспышки от выстрелов батарей, вспышки эти, как огни маяков, указывали путь танкистам. Звуки боя во время движения танков не были слышны, их заглушал шум машин.

Приближаясь к фронту, Алексей поддавался тому знакомому каждому фронтовику возбуждению, в котором смешиваются и острое любопытство к предстоящему, и нетерпеливое стремление подогнать время, и тревога, и добрые надежды.

— Кто эта женщина, что так грустно с вами прощалась? — спросил как-то, во время случайной остановки, с хитринкой Костюченко.

— А-а... это Надя Мозолькова,— немного смутился Алексей,— председатель колхоза. Помнишь, я ходил в деревню, колхозом было занялся... Тогда ее выбрали председателем...

Надя подошла к нему под вечер, когда колонна стояла на дороге возле села. Ласковые, немного грустные глаза, смуглое лицо с крепким красивым подбородком, сильные загорелые руки.

— Вот вы уже и уезжаете... Пишите, как вы там будете жить. Не забывайте...

Поспешно, как бы несмело протянула сверточек — подарок. Потом, когда танки тронулись, стояла неподвижно, смотрела вслед.

Алексею вспомнилось ее давнее, на опушке: «Приходите!» — и нежданное чувство вины легло на сердце. Так и не выполнил Алексей обещания, не пришел больше. И нельзя сказать, чтобы не нашлось свободной минуты, — но откладывал со дня на день, да так и не пришел.

«Что же, тем лучше... Пусть не обижается...»

— Хорошая, наверное, женщина?

— Хорошая — работящая, честная. Она там навела порядок. Люди довольны ею.

— Нет, я говорю — из себя красивая. Ради такой и родную Кубань можно променять на Смоленщину.

— Я об этом не думал,— не принял шутки Алексей.— У меня, брат, не то на душе. Ты же знаешь...

— Знать-то знаю. Но это, может, не помешало бы утешить вдову. Гогоберидзе, тот, говорят, не одну... Надя же соскучилась, видать... Да и, кажется, очень вы ей понравились...

— Не знаю... Я не могу так...

Алексей не скрывал, что ему не хочется говорить об этом. Он первым изменил направление разговора.

— С такими конями скоро заявимся к Туровцу? — спросил Алексей.

— Да оно по расстоянию — недалеко вроде. Каких-то три сотни километров. Это не матушка пехота, которой все надо «одиннадцатым» перемерить... Только ведь — как оно пойдет и когда мы отправимся туда? — рассудительно произнес Костюченко, бередя тревогу Алексея.

— Ну нет, стоять, видно, не будем, — не столько отвечая, сколько успокаивая себя, возразил Алексей. — Конечно, неизвестно, какие планы у командования, но топтаться на месте, судя по всему, не должны.

— Не должны, — согласился Костюченко. — И я так думаю. Оружие нам серьезное дали, с таким без дела стоять просто грех.

— Грех...

— Бывало, у нас на Кубани, в степу во время жатвы, комбайн простоит час, так тому комбайнеру голову так намылят! А тут!

— Думаю, что стоять долго не будем, Костюченко. По всему видать...

Алексею вспомнилось, как еще совсем недавно, недалеко отсюда, через зеленеющие поля, по развороченным бомбами дорогам они шли в тыл, как на грузовиках добирались до полузабытых землянок. Тогда они сдали старые, не раз ремонтированные, не раз латанные железом танки, гусеницы которых знали поля под Курском, дороги Смоленщины. Сейчас у них были иные машины, совсем недавно сошедшие с заводских дворов.

Какие дороги узнают эти гусеницы, какие события увидят новые, без боевых рубцов башни?

Колышев смотрел на приближающиеся вспышки огней с неутолимым любопытством. В его чистых, широко открытых глазах вспыхивали пытливые беспокойные светлячки.

Его влекла эта назнакомая, неведомая даль, о которой он столько думал и слышал, но вместе с тем в душу его вкрадывались какое-то беспокойство и странная печаль. Нетерпеливо смотря вперед, он почему-то оглядывался и назад. То привычное, что все дальше уходило в прошлое, представлялось теперь как бы по-новому, особенно привлекательным. Сначала он охотно поддался соблазну воспоминаний, но потом почувствовал, как им овладевает тоска, и спохватился.

Сегодня надо думать только о том, что там, где сияют огни, и дальше, за огнями... Где-то там его, очевидно, ждет не дождется чья-то мать. Или смотрит на него из-за колючей проволоки, как на плакате, висящем в коридоре у них на курсах, женщина с ребенком на руках, зовет: «Спаси меня!» Он придет к ним, принесет избавление. Он так явственно представил себе эту минуту, что будто ощутил на своих плечах благодарное объятие, будто увидел глаза, полные слез и признательности.

Жаль только, что не увидит его в эту минуту Рая. Она знала бы, что он давно уже не тот зеленый мальчишка, каким она привыкла его считать.

К рассвету батальон был на месте, в небольшом лесу. Меж деревьев, под которыми еще хранились тепло и поредевший ночной полумрак, мирно стояли какие-то грузовики и телеги. Когда подошли «тридцатьчетверки», вокруг них засуетились люди.

— Эй, третий эшелон! Просим потесниться! — задиристо крикнул Быстров, соскочив с машины.

— Куд-да это?

— Километра на два вправо.

Шоферы и ездовые, окружив Быстрова, начали было спорить, угрожать начальством. Но где там, разве устоишь перед этими разбойниками с махинами танками. Один за другим не-

охотно начали отводить грузовики и повозки. На их место, ломая ветки, двинулись танки.

Вскоре моторы смолкли. Танкисты маскировали машины, отовсюду было слышно, как весело стучат топоры и трещат деревья.

Следы гусениц засыпали ветками.

В утренней полутьме Алексей окинул глазами место, где они расположились.

Впереди, под высоткой, стояла батарея — приземистые пушки с опущенными стволами. Пушки еще не окопали, только кое-где скупо обозначались горки свежей земли,— видно, артиллеристы тоже недавно подошли.

Теперь они спешили до восхода солнца замаскировать позицию. Ветви для маскировки несли из леса, порой тащили за собой, приминая траву, срубленные под корень молодые березы и ольхи.

Алексей увидел неподалеку командира бригады Бессонова. Крепкий, присадистый, в легкой летней гимнастерке, несмотря на утреннюю свежесть, полковник упругим шагом бодро подходил к роте, и Алексей торопливо направился к нему.

Идя навстречу полковнику, Алексей сдерживал ту настороженность, которую всегда чувствуешь к человеку, который не любит тебя и от которого можно всего ожидать.

Бессонов, казалось, небрежно и рассеянно выслушал доклад Алексея. Но был он возбужден, лицо излишне красновато, в то же время, когда Алексей докладывал, взгляд его на чем-то остановился озабоченно. На чем-то не имеющем отношения к докладу.

Разрешив скомандовать «вольно», Бессонов сразу шагнул в ту сторону, куда только что смотрел.

Он остановился перед Колышевым. Устремил жесткий, требовательный взгляд в глаза лейтенанта:

— Как фамилия? Почему я тебя не знаю?

Колышев смутился. С неловкостью назвал себя.

— Видно, плохо воюешь! Всех хороших командиров я знаю,— убежденно сказал полковник.

Алексей сказал, что Колышев — из пополнения.

— Новый? А, тогда — другое дело,— смягчился полковник. На лбу командира бригады собрались озабоченные морщины. — А ты не трус?

— Не знаю, товарищ гвардии полковник,— снова смутился, покраснел Колышев. — Не был…

— Не знаешь? — Полковник удивился: — Как это не знаешь? Кто же тогда знает? — Он оглядел Колышева и велел строго: — Ну-ну, смотри, Колышев!

После осмотра роты Бессонов властно распорядился:

— Чтоб до восхода солнца был порядок! Особенно маскировка от авиации. Нас здесь нет, здесь только березы да дятлы. Покой... Ясно?

— Ясно, товарищ гвардии полковник!

Полковник окинул взглядом спокойное утреннее небо, тусклая бесцветность которого уже сменилась глубокой и широкой синевой. Подняв вслед за ним взгляд, Алексей увидел: в выси купались два розовых облачка, улыбаясь невидимому с земли солнцу.

Со стороны запада с легким, довольным гулом приближалась в вышине эскадрилья бомбардировщиков. Самолеты были наши. На их крыльях тоже краснели лучи солнца. Алексей подумал, что самолеты, видно, летят откуда-то издалека, может быть из Минска.

— Маскировку сделай идеальную,— оторвал Бессонов взгляд Алексея от самолетов.— Солнце будет светить во все небо. Сверху за километр каждая травинка будет видна... Через час проверю!

Когда засияло солнце, уже не было никаких следов того, что здесь готовятся к грозным событиям. Казалось, царили покой, тишина.

Солнцев где-то сумел набрать спелой земляники, принес старшему лейтенанту.

Ягоды были вкусными и пахли лесом и солнцем.

4

Собравшись в кружок, развалясь привольно, беседовали.

Вокруг буйно росла густая трава, краснели, желтели цветы. У головы Быстрова стояла, будто в раздумье, неподвижная метлица. Уходя вершиной ввысь, лениво шевелила сизыми, словно фланелевыми, листьями вечно трепещущая осина,— тихонько лопотала, будто тоже хотела говорить.

Сильно пахло чабрецом.

Быстров с ленцой слушал, как Гогоберидзе шутил:

— Где справедливость? Нет справедливости! Зачем Яковенко такая красота? Красота дается для того, чтобы женщины любили, а Яковенко — не любит их... Зачем ему такие брови?

Вблизи рассказывал Рыбаков:

— Именины! Без водки какие именины?.. А лейтенант говорит: денег нет, домой послал. Один карман вывернул, другой — только мелочь. И у меня — под метелку!.. А тут подкатываем к станции!.. Что делать? Так знаешь, что я придумал? Из аттестата реализовать, из продуктов... Стоим около окошечка, получаем. Как только вышли, я за банку консервов

да первому встречному. Тот: «Сколько?» — «Пятьдесят». Он и выложил бумажку...

— Ловко! Нашелся,— похвалил кто-то Рыбакова.

Быстров сквозь дремоту прислушивался, о чем говорит в другой стороне Солнцев: «Ну, директор МТС у меня и спрашивает: «Почему стоит твой «натик»?» — «Подшипники расплавились».

«Опять ту же историю,—брянский летописец»,—шевельнулось в голове Быстрова. Он зевнул и громко сказал:

— В приятной компании — приятно зевнуть!..

Солнцев сделал вид, что не слышит его.

— И правда, почему бы не вздремнуть? А, Костюченко? Еще ни один солдат, говорят, не умер на войне от сна...

Но заснуть Быстров не мог,—очень уж беспокойная была у него натура. Вскоре он услышал, что разговор принимает интересное направление. Второй фронт.

— Сила у них, конечно, немалая,—рассуждал Костюченко.—Эту высадку они провели здорово. Вот только идут медленно: сколько времени в Италии топтались, опять же во Франции что-то туго у них. Кто его знает почему. Ну, в Италии, там, наверно, горы мешают.

— А во Франции— равнины,— подхватил Быстров.— Фрицы издали видят, стреляют. Зато здесь — скатертью дорога. Идем по асфальтам, фрицы сами руки поднимают вверх, скорее бегут в плен.

Послышался смешок.

— Ну, чего ж они тогда медлят?

— А ты, Солнцев, спроси у Черчилля,— посоветовал Быстров.— Он тебе скажет, почему сидел в Африке, потом в Италии, пока мы под Сталинградом дрались да Курскую дугу ломали.

Вдруг заговорил Яковенко:

— Как бы ты, Солнцев, дужэ верил бы человеку, который однажды собирался, скажем, убить тебя?

— Убить? — не ожидал Солнцев такого вопроса.

— Мабуть, не верил бы! А Черчилль организовывал интервенцию на нашу страну в гражданскую войну. Он и Гитлера в свое время науськивал на нас, да вышло так, что фюрер осмелился поднять руку на своего опекуна. Можно верить такому человеку?

— Как же ему верить, товарищ лейтенант?

— Разве не похоже, что така людына мало заботится о том, щоб нам було легче? Разве не все равно такому человеку, что там, где-то на чужой земле, в неволе гибнут наши люди?

— Хочет, старая лиса, загребать жар чужими руками,— взволнованно отозвался Рыбаков.

Алексей убежденно сказал:

— Не удастся!

— Я тоже думаю, что не удастся,— спокойно согласился Гогоберидзе.

— Эх, надейся тут на всяких черчиллей! . .

— Та-ак! На союзничков надейся, а сам не плошай!

— Да уж, плоховать не приходится.

— Не оплошаем, думаю!

Часом позже к Алексею подошел письмоносец, подал треугольничек; старший лейтенант сразу заметил — почерк был незнакомый.

От Алексея письмоносец сразу двинулся дальше, шел от экипажа к экипажу,— размахивал конвертами, треугольничками, выкрикивал фамилии. Танкисты, как обычно, кто выбегал навстречу ему, кто кричал издали, от машин. Всех, конечно, волновало одно: нет ли писем.

Письмо, полученное Алексеем, было от матери бывшего его бойца Курнева, мать тревожило, что от сына уже три месяца нет вестей. Курнев служил в одном экипаже с Быстровым, а когда бригаду отправили на переформировку, был оставлен в новой части. Что с ним теперь, Алексей не знал.

Яковенко с гордостью протянул Алексею листок:

— Смотри. Мишка написал!..

На листочке было старательно выведено сантиметровыми кривыми буквами: «Папа, дорогой». Яковенко чувствовал себя беспредельно счастливым. Алексей не раз замечал, что он необыкновенно любит детей, — сколько раз беспокоился о них, о сыне Мишке, о двух девочках. Он любил говорить о них, и чуть не вся рота была заочно знакома со всей его семьей.

Алексею подумалось, что если правда у каждого человека есть какой-нибудь талант, то у Яковенко— это, конечно, талант отца. Подумалось, что и в отношении Яковенко к бойцам тоже есть что-то отцовское. . .

Может, Быстров что-нибудь расскажет о Курневе: они ведь, кажется, были друзьями. Командир орудия сидел под березой возле танка, вместе с Солнцевым, читавшим письмо. Подойдя к ним, старший лейтенант спросил о Курневе: нет, Быстров не знает ничего о нем; как перешел Курнев в другую часть, так и не сообщил о себе ни слова.

— От кого письмо, Солнцев, если не секрет? — поинтересовался Алексей.

— Если мне читает, то, выходит, не секрет,— поддел друга, пошутил Быстров.— Секретные он читает один и только глазами. Даже без шепота.

Письмо было от сестры.

— От той, от студентки? Ну, как она поживает?

Алексей присел на траву рядом с танкистами. Он знал, что сестра Солнцева учится в техникуме. Солнцев как-то рассказы-

вал,— когда он уходил в армию, Юлька, сестричка, была еще ребенком; прежде часто прибегала в поле, взбиралась на трактор, просила дать подержаться за руль. И как счастлива была, если он разрешал немного повести «СТЗ». Сейчас ей пошел уже семнадцатый год...

Солнцева не пришлось упрашивать,— обычно молчаливый, он на этот раз заговорил охотно:

— Да как поживает,— известно как: и учатся, и отстраивают дом, в котором техникум. Половина его была разбита в оккупацию. Писала, что зимой сильно мерзли...

— И помощи, наверное, неоткуда ждать? На одной техникумовской стипендии в такое время... — Алексей сочувственно покачал головой. Да, сейчас студентам трудно. Потруднее, чем тогда, когда он учился. Хотя и тогда всяко было...

— Да откуда помощь, товарищ гвардии старший лейтенант? Два раза послал по сто рублей, а больше не могу. Матери же тоже надо пособлять...

— Одним словом — всюду фронт... — Быстров сломал березовую ветку, которую держал в руке. Он едва не выругался, но, взглянув на командира роты, остановил себя, только напряглись тяжелые, угловатые челюсти...

Старший лейтенант встал, нерешительно прошел, задумавшись, несколько шагов, потом, будто о чем-то вспомнив, повернулся к водителю:

— Кстати, Солнцев,— идемте со мной!..

Шагая рядом с Солнцевым, Алексей озабоченно думал о сестре сержанта. В памяти ожило время, когда он сам был студентом... Да, и тогда всяко было, в те прекрасные годы. И тогда нелегко бывало. А теперь...

Он, кажется, ничего не пожалел бы для этой незнакомой девушки, которую, вероятно, никогда и не увидит. Но она может обидеться, если узнает, что деньги ей посылает незнакомый человек...

Алексей отвел Солнцева в березняк и, повернувшись спиной к танкам, с неловкостью вынул из кармана комбинезона пачку червонцев, почти всю свою месячную зарплату.

Солнцев покраснел.

— Товарищ гвардии старший лейтенант...

— Бери... — перебил его строго, тоном приказа Алексей. — Бери, ну, чудак! И сразу же пошли! От своего имени... — добавил он мягче.

Солнцев отправился назад растерянный. У люка водителя он оглянулся и, увидев, что старший лейтенант ушел куда-то, позвал Быстрова. Откровенно рассказал товарищу обо всем.

— Нехорошо как-то получилось,— с неловкостью заключил Солнцев.

— Почему нехорошо?

— Они ж ему и самому нужны, деньги... В Минске...
— Ну и что?
— Надо вернуть, думаю.
— Вернуть?! Он их тебе дал?
Солнцев не понял вопроса.
— А кому ж?
— Это ж, можно сказать, уже деньги сестры, — срезал Солнцева Быстров.
— Сестры?
— А чьи же? Эх ты, горе!..
Быстров сам привел письмоносца, приказал Солнцеву немедля написать адрес и отдать деньги.
В мирной обыденности этого дня случилось одно происшествие необычное. Ближе к полудню Рыбаков привел к Алексею незнакомого человека, которого задержал неподалеку в лесу.
Человек, немолодой, с русыми усами и давно небритым подбородком, был одет в мягкую ватную поддевку, с прилипшими к ней травинками и красноватыми пятнами глины: видимо, на этой поддевке человек спал. В руках он держал самодельный, на веревочках, довольно большой заплечный мешок. Незнакомец глядел на танкистов добродушно и доверчиво.
— Что вы здесь делаете? — строго хмурясь, скрывая любопытство, спросил его Алексей.
— Что делаю? — охотно отозвался человек. — Да, можно сказать, ничего! Отлеживаю бока! На солнце приходится загорать. Одним словом, жду.
— Чего ждете?
— Чего же еще — наступления нашего. Да что-то вы, не в укор будь сказано, медлите. Топчетесь на месте, аж терпенья нет!
Оказалось, что ждет он здесь уже вторую неделю; что до войны был огородником в одном из колхозов на Минщине. Спешил, боялся не успеть, а теперь приходится зря терять время. Документы у него были в порядке, даже имелась справка о том, что «тов. Живица действительно отпущен с работы».
Алексей заинтересовался им. Он от души посочувствовал нетерпеливому земляку.
— Да, ждать — вещь трудноватая. Особенно — после трех лет... По себе знаю... Три года там не были?
— Три, три, дорогой! Только несколько дней и не хватает.
— А семья ваша тоже там?
— Там, там, золотой ты человек!.. Оно-то не все там, сказать. Жена да меньшой сынок — там, а два других — на фронте.
— Письма получаете?

— От одного, дорогой, есть. Нашел его. Через наркомат... А другой, ответили,— без вести. Без вести.

— А у меня вот жена не пишет. В оккупации,— словно жалуясь, сообщил Алексей.

— Жена? Ай-яй! Скажи ты! .. Раскололась семейка, в такие молодые твои годы! .. Эх, война-разлучница! ..

— Сами были на фронте или — в тылу?

— Был немножко в пехоте. Немного побыл, вылез в поле, мина — вз-з. Стукнула — и долой, по чистой. Хромаю, видишь, с тех пор. Ну, а потом в тылу.

Засмеялся как-то по-детски:

— А теперь вот снова на фронт попал!

— Это правильно.

Алексей задумался,— что с ним делать? Откуда-то появилось привычное, настороженное: а что, если он никакой не Живица, прикидывается только? Алексей сразу же возразил себе: «Глупость какая!» — но мягко сказал:

— Вот что, батька. Не хочу вас обижать, но — должен сказать. Вы знаете, что вам здесь не положено быть?

— Почему это, дорогой? А где же мне быть?

— Здесь — запретная зона, нельзя здесь посторонним ходить.

— А какой же я посторонний?

Алексей не сразу ответил:

— Не военный, вот и посторонний.

Порядок есть порядок. Хотя Алексей чувствовал себя неловко перед этим разговорчивым добрым человеком, пришлось отправить его к командиру батальона. Комбат же, не утруждая себя расспросами, приказал отвести в штаб бригады:

— Пусть там разберутся! Может, наш, а может... кто его знает!

ГЛАВА X

I

В двенадцати километрах от города Дубровно есть небольшая деревня Редьки. За этой деревней на северо-западе поднимается невысокий и некрутой холм. Обычный холм, похожий на многие другие, которые возвышаются рядом и поодаль в этом уголке белорусской земли.

В те дни холм этот находился в полосе нашего переднего края. Перед холмом, с запада, были окопы и траншеи — передовые позиции нашей пехоты. За нейтральным полем скрыва-

лись, следили, подстерегали глаза и пулеметные стволы гитлеровских войск.

Таким образом, холм этот был тогда в опасном и важном месте, вместе с солдатами словно нес нелегкую фронтовую службу.

Но оттого, что он был не один такой вдоль переднего края, его судьба и его жизнь почти ничем не отличались от судьбы и жизни других возвышенностей, которым пришлось оказаться на стыке двух фронтов. Для постороннего глаза этот холм ничем не отличался от других таких же холмов. Даже зоркие глаза вражеских разведчиков, следившие за ним днем и ночью, не замечали в нем ничего особенного: обычная высота на переднем крае.

Немцы часто стреляли по ней из пулеметов, молотили из пушек. Но такова была обычная судьба фронтового холма. И внимание, которое он привлекал к себе со стороны немцев, было обычным вниманием, которое отдавали многим.

А между тем тихий, будто бы ничем не примечательный холм таил в себе необычную жизнь. Он скрывал в себе множество людей, и людей весьма значительных, — ни в одном другом холме по всему фронту не собиралось столько командиров самых высоких званий, самых высоких должностей, как в этом холме. Нигде не жили такой важной, большой заботой, как в этом подземелье.

Это маленькое, незаметное снаружи подземелье проводами и людьми было связано с необъятными прифронтовыми просторами, со всеми войсками, которые занимали эти просторы, ждали наступления, подходили к новым рубежам.

Здесь находился командно-наблюдательный пункт 3-го Белорусского фронта, работал его командующий.

К КНП фронта вели длинные ходы сообщения, начинавшиеся далеко от холма. Пропускали сюда только самых необходимых людей, вход на КНП и весь холм зорко охранялся. Вся жизнь холма была подчинена самым строгим правилам маскировки.

Голый, казалось, без малейших признаков жизни холм таил в себе целый, полный больших забот, подземный городок. В городке этом были свои кварталы — блиндажи, свои улицы — подземные пути сообщения, прорезавшие холм в разных направлениях, соединявшие блиндажи между собой. Здесь были скрыты в земле блиндажи командующих артиллерией, бронетанковыми войсками фронта, командующего воздушной армией,— командные пункты разных родов войск фронта.

Немного в стороне от них размещались блиндажи оперативной группы, где обрабатывались оперативные документы, приходившие из частей и направлявшиеся в части.

Неподалеку от опергруппы находились рабочая комната и комната отдыха командующего фронтом, здесь и жил генерал-полковник последние дни перед наступлением. На столе рабочей комнаты лежала большая карта фронта со стрелками, значками частей, датами — карта близкой операции. Рядом стояли телефоны.

Командующий не раз склонялся над картой, пополнял ее новыми значками, разглядывал в сотый раз, словно ища ответа на загадки, беспокоившие его в стремлении заглянуть вперед. Часто снимал он трубки телефонов — спрашивал, проверял, советовал, приказывал.

Впереди, в западном — к врагу — склоне холма, был оборудован наблюдательный пункт — маленький блиндаж, в стенке которого дневным светом обозначались амбразуры. В них виднелось поле, недалекое шоссе Москва — Минск с поломанным, покалеченным рядом телефонных столбов, исчезавших во вражеском тылу. Отсюда широко открывался простор на запад. Через эти амбразуры, возле которых стояли стереотрубы, направив глаза-стеклышки в поле, в сторону врага, Черняховский наблюдал за передним краем немцев...

В первый день, когда он смотрел в стереотрубу, поле впереди было молчаливым, настороженным.

О чем он думал, глядя туда, в притаившуюся, замершую в ожидании переднюю полосу вражеской обороны?

Все время он был полон забот о необычном событии в своей жизни, о наступлении фронта. Его беспокоили, тревожили десятки, сотни, тысячи явлений, рассуждений, расчетов, все то, что он носил в себе уже много дней и что все разрасталось, множилось, росло, чем ближе подступал ответственный час!

Углубленный в свою большую заботу, он думал очень конкретно: в нем словно жили хлопоты сотен и тысяч людей, ответственных за одно с ним дело, жили образы и данные о состоянии разных частей, жили задачи, которые предстояло каждой из них решить, жила тревога — как им удастся решить каждую задачу. Но о чем бы он ни думал, что бы ни изменялось в потоке мыслей, за всем неизменно и неотступно жило, волновало его большое, широкое, всеобщее.

Его тревожило то, что осталось в памяти от этих двух бесконечно тяжелых месяцев — беспокойные поездки в полки, дивизии, армии, проверки, совещания, советы, нетерпеливая, гневная борьба с легкомыслием, безответственностью, расслабленностью, с большими и малыми неполадками. Сколько дней и сколько сил отдано обучению командиров и солдат из-за непоколебимой уверенности, что в конце концов все решит их умение, их осведомленность. Сколько дней и сколько сил отдано тому, чтобы обеспечить этих людей, все части, весь фронт необходимой техникой, оружием, боеприпасами! Все, что мог,

старался он сделать для успеха,— какие же результаты даст завтрашний, послезавтрашний день — безжалостная проверка боями?..

Невольно, хотя и где-то глубоко внутри, недозволенно, настороженно беспокоило воспоминание о том, что уже не раз пробовали сбить врага с этих рубежей, особенно под Витебском, — но неудачно. Каждый раз только теряли и людей и технику, а противник где был раньше, там и оставался. Не сдавал рубежей. Удерживался. Конечно, положение, соотношение сил теперь другие — никогда не было здесь столько войск и техники,— но память о прошлых неудачах все же настораживала.

В том, что волновало командующего, особенно важным ощущалось все, что было связано с Москвой. Поездка из-под Тернополя, из армии, памятный разговор в Генеральном штабе с генералом Антоновым, который сказал, что его решили назначить на 3-й Белорусский фронт командующим. Тревожно-радостное чувство, которое возникло тогда и с которым он ехал потом на фронт, притихло со временем, но никогда не пропадало совсем. Теперь оно снова будто усилилось, как бы заново ожило, правда, только одним своим качеством. Беспокойством, чувством ответственности.

Беспокойство и сознание ответственности объединяли это чувство с тем, которое осталось от 22 и 23 мая, от совещания в Ставке. Все время помнился пристальный, проницательный взгляд Сталина, когда он, командующий фронтом, докладывал о делах на 3-м Белорусском и когда высказывал свои замечания о плане «Багратион». Сталин смотрел и слушал так, будто хотел проверить, не ошиблись ли, доверив ему фронт, осилит ли?..

В волнении, переполнявшем Черняховского, когда он смотрел через амбразуру в молчаливое, загадочное поле, острее, чем когда-нибудь раньше, бередили его мысли о самом большом событии, что вот-вот должно будет начаться. Невольно он нетерпеливо заглядывал вперед — как пойдут дела завтра, послезавтра? Многое будет зависеть от того, насколько неожиданным для врага окажется наступление. Не выведали ли, не догадываются ли немцы, когда мы решили начать? Трудно тайно провести такую огромную подготовку!.. В тысячный раз беспокоило его, все ли он учел, что необходимо, не просмотрел ли что-нибудь важное? Старался заранее предугадать: где, судя по данным разведки и по своему предчувствию, будет особенно тяжело, а где можно скорее рассчитывать на успех?

Давние эти загадки сегодня особенно волновали потому, что на следующий день, 22 июня, должна была начаться первая проверка всего, что он все время готовил. 22 июня, за день до

наступления, фронт на нескольких участках должен был провести разведку боем. Сильную и широкую разведку вдоль переднего края...

Разведку боем приказала сделать Ставка. Разведка, которую предстояло провести фронту, далеко не ограничивалась им. Вместе с 3-м Белорусским разведку должны были одновременно провести другие, близкие и далекие фронты, в том числе и те, которые в наступлении не должны были участвовать.

Разведка боем должна была распылить внимание немцев, отвлечь его от войск, подготовленных к наступлению. Вместе с тем она ставила своей целью помочь фронтам, которым предстояло начать наступление, лучше выяснить положение противника, нащупать слабые места в его обороне.

Быстро вечерело. Наблюдать за полем стало трудно: солнце светило с запада.

Он вернулся в рабочую комнату.

2

Вокруг было тихо. Но по всему чувствовалось, что со дня на день должно начаться.

Ночью все прибывали и прибывали войска. Бесшумно — только изредка звякнет где-нибудь оружие или котелок — проходила вперед пехота. Вперемежку с пехотинцами тянулись грузовики, пушки, минометы. Темноту наполнял осторожный гул машин, слышались приглушенные голоса артиллеристов, фырканье коней.

Все двигалось без огней. Не только фары, но и цигарки не светились. Не было слышно и громких выкриков команды, они тоже могли нарушить маскировку.

С каждой минутой прифронтовая земля все больше заполнялась войсками. Их было так много, что Алексей только удивлялся, куда это все девается. Но солдаты, пушки, повозки все шли и шли.

Темнота, как бездна, поглощала все.

Утром поле затихало. Поспешно кончали рыть окопы, маскировали следы ночной работы. Когда поднималось солнце, поле казалось тихим и мирным.

Орудия теперь стояли вдоль всего переднего края в несколько эшелонов. Накрытые маскировкой, они сливались с землей, некоторые даже вблизи были почти незаметны.

На следующий день Бессонов решил познакомиться с обстановкой на участке, занимаемом стрелковой дивизией Щербатюка. Полковник взял с собой нескольких офицеров.

Генерал был на КП. Танкистов проводил туда майор из штаба дивизии.

Командир дивизии, заложив назад пухлые руки, расставив ноги, согнувшись, чтобы не мешал живот, стоял около стереотрубы. Он повернулся навстречу танкистам, медлительный, спокойный, с моложавым розоватым лицом.

— Что, Бессонов, дорогу хочешь себе высмотреть?

— С вашей помощью, генерал.

— Могу показать. Только сначала пообещай помочь расчистить.

— Хорошему соседу, генерал, я всегда готов помочь...

— Поможешь? Знаю я тебя — будешь ждать, пока расчистят путь и пригласят: пожалуйста...

— Когда это мы ждали, генерал? — Бессонов готов был вот-вот броситься в контратаку.

— Ну-ну, не будем спорить,— примирительно сказал Щербатюк.— Прошу чувствовать себя долгожданными гостями у гостеприимного хозяина... Прошу познакомиться с моим гнездом,—он обвел рукой свои владения.

— Вы тут обжились за месяц,— осмотрелся Бессонов.

— Э, это что! Мы что, мы, можно сказать, еще новички. Вот здесь, рядом с нами, пушкари, те обжились. Каждый прыщ на болоте знают, не то что блиндажи.

Он вынул из кармана кисет, свернул цигарку. Бессонов протянул коробку «Казбека», но генерал покачал головой:

— Мы, пехота, любим, чтобы в горле драло... — Добрый, душевный генерал имел обычай, разговаривая с равными себе, употреблять сильные выражения, выставлять напоказ грубые привычки солдата.

Бессонов не любил Щербатюка за мягкотелость, за медлительность, но в глубине души завидовал ему, которому неизвестно почему так везет в жизни — Герой и генерал! — и которого все уважают как очень образованного человека. Бессонов учился только на курсах, да и то без особого успеха. Он считал себя практиком в противовес Щербатюку и гордился этим.

Все же генерал и Бессонов вскоре перешли на тот деловой лад, какой обычно устанавливается между командирами, которых объединяет общая близкая забота. Генерал велел пехотному майору подать карту и, разложив ее, сам стал знакомить с обстановкой, показывая Бессонову в стереотрубу отдельные объекты и ориентиры.

С командного пункта Бессонов внимательно рассматривал будущее поле битвы.

Перед КП была заболоченная лощина, а за ней начинался узкий, чуть заметный клочок суши, на котором когда-то стояла деревня. На месте деревни валялся теперь только битый кирпич да кое-где торчали обожженные и ссеченные стволы

деревьев. Вся земля была изрыта воронками, на ней не только не было видно людей, не было заметно вообще никаких признаков жизни. Даже трава не росла.

По сторонам клочка суши и за ним было болото: огромная равнина, поросшая высокой травой и кустарником, что темнел купами. Видимый простор, сколько можно было охватить взглядом, казался пустынным, хотя все там было перекопано и густо заселено войсками. Там, на этой обманчиво покойной равнине впереди, широкими полосами тянулись невидимые минные поля, настороженно выжидали русских солдат бесчисленные пулеметы и орудия.

Кое-где на болоте взлетали вверх черные столбы торфа, потом доносился запоздалый глухой звук взрыва. Вяло перекликались пулеметы. Бессонов знал, что скрывается за этим покоем.

Он осматривал болото, как хозяин, как человек, которому надо выбрать место для работы. Сдвинув фуражку с затылка на лоб, на самые глаза, как он часто делал, когда бывал озабочен, полковник из-под козырька пытливо осматривал незнакомый простор.

Справа, посреди болота, едва заметно обозначалась полузаросшая, с желтыми глиняными пятнами полоска. Бессонов заинтересовался ею.

— Железная дорога была,— объяснил, затянувшись самокруткой, генерал, — узкоколейка. Немцы разобрали...

— Какой там грунт?

— Твердый. Обычная насыпь, правда, невысокая.

Справа и слева от железной дороги, в глубине зеленоватого простора, четко выделялись черные прямые линии торфяников; впереди, километрах в трех дальше, плавился в зыбкой голубой дымке большой песчаный остров.

На нем горбилось разрушенное кирпичное здание. Бессонову надо будет пробиваться с машинами туда. Как пройти с танками через эту огромную, зыбкую торфяную ширь? Конечно, только по насыпи, иного выбора нет. Проложить от деревни до насыпи гать — здесь, вероятно, будет с полкилометра,— а дальше по этой прямой узенькой дорожке — к острову.

Что же за островом? Карта показывала: тоже болото, еще большее, на нем лишь кое-где обнадеживают протянувшиеся на запад узкие насыпи. Прочный грунт, желанный широкий простор, где можно развернуться,— далеко.

Генерал сообщил, что в болотах перед ними обнаружено несколько параллельных оборонительных линий, общая ширина которых превышает два десятка километров. На островке — большой укрепленный узел, с которого немцы поддерживают

свои расположившиеся вокруг части. Этот неширокий «пятачок» весь щерится пушками.

— Крепкий орешек, что и говорить! — произнес Бессонов, когда командир дивизии представил полную картину обороны противника.

— Семь месяцев они тут все копали, строили, минировали,— отозвался Щербатюк.

Он снял фуражку и вытер запотевший клеенчатый ободок внутри. У него была широкая, розовая лысина, которую украшали только несколько белых волосков, зачесанных назад, — без фуражки, из-за лысины, генерал казался старше своих сорока четырех лет.

Лицо же его было свежим, почти без морщин, полным, с мягкими чертами и добродушными толстоватыми губами.

— Ну, я думаю, у вас для этого будет хороший молоток. Вас не обидят. И птичек и спичек небось подбросят. Богачом становитесь, генерал,— хозяйство как в армии.

— Забот прибавится. Одна голова — на все! .. — неискренне посетовал на судьбу Щербатюк. Чувствовалось, что он доволен этим.

Майор-пехотинец сказал:

— Хоть бы земля как земля здесь была, а то ведь топь одна! Вязнешь на каждом шагу. Бывает — чуть не тонешь.

— Земля хорошая. Наша, советская! — спокойно возразил генерал-майор.

С немецкой стороны провыло несколько мин, шлепнулось вблизи КП. Майор забеспокоился, не засекли ли их немцы. Солнце клонилось к закату, и на той стороне могли заметить блеск стеклышка стереотрубы. Но следующие мины упали дальше.

Бессонов собрался идти обратно.

— Спасибо, генерал. Открыли вы нам глаза...

— Для твоей и своей пользы стараюсь! Надеюсь на вас! Будьте осторожны,— предупредил генерал, пожав танкистам руки.— Где-то слева снайпер сидит, утром сержанта у меня срезал. Попал, мерзавец, прямо в висок.

На одном из поворотов узенького хода старшина-проводник дал знак пригнуться к земле. Десятка два метров все ползли. Когда вышли на безопасное место, старшина, стряхивая с колен налипшие комочки глины, сказал:

— Черт! Интересно бы посчитать, сколько я земли исползал за войну. Видать, не одну сотню километров. Штанов одних десятка три истер. Каждые больше всего на коленях и истирались. И штаны, кажется, ничего, жить им еще да жить, а на коленях светятся! ..

3

Ночь. Грохнет, прокатится близко или далеко орудийный выстрел, рассыплется частая пулеметная очередь, и наступит на некоторое время тишина.

И слышно тогда: мирно, спокойно шепчутся, покачивают своими упругими ветвями под беспечным июньским ветерком серые в темноте березы. Дробно, не умолкая трепещут листочки осин. Где-то сонно запорхала крыльями птица.

Сколько раз был в бою, кажется, пора бы привыкнуть, так нет же,— перед каждым настораживаешься, подбираешься, беспокоишься. Вот и снова, зная, что скоро бой, сражение, ощущаешь все то же, необычное, предбоевое, тревожное...

Алексей неторопливо обходил роту. Везде, около темных молчаливых машин, едва видимых среди деревьев, спали, отдыхали танкисты.

Возле одной «тридцатьчетверки» старший лейтенант увидел неподвижную фигуру; кто-то стоял, опершись на гусеницу. Алексей подошел ближе, спросил:

— Кто?

Это был Колышев.

— Не надо,— сказал Алексей, заметив, что лейтенант спеша выпрямился.— Что, Колышев, не спится?

— Да так...

— А все же? Забота какая-либо?

Колышев молчал, колебался. Наконец сказал смущенно, тихо:

— Да всякое в голову...

— Мысли?

— Вспоминается все...

— Мать одна осталась?

— Одна... Отец в армии. На Дальнем Востоке... Тоже лейтенант, в артиллерии.

— И у меня мать дома. Там, по ту сторону... Наверное, ждет, старушка, не дождется... — вздохнул Алексей.

Он замолчал горестно. Потом закурил осторожно, пряча огонек, затянулся, спросил глухо:

— Девушку, наверно, вспомнил? Ни разу и не похвалился, какая она у тебя... Скрытный, видно?

— Да нет, просто не было случая...

— Кто она? Как зовут?

— Рая. Мы с ней вместе учились в школе... Сейчас она в институте, врачом будет. Там же, в Горьком, и учится...

— Хорошая девушка?

— Хорошая! Красивая!.. Умная!.. Мы с ней, знаете, хоть и учились вместе, говорили мало. Жили, знаете, рядом,

каждый день встречались, а почти и не говорили друг с другом! Только так, все... глазами разве! ..

— Это бывает...

— Так и у нас вышло. Я все понял, когда она пришла на вокзал, прощаться. Странно, правда? Она знаете, что сказала: «Помни, говорит, где бы ты ни был, как бы тяжело тебе ни было — я буду о тебе думать!» Тогда мы в первый раз поцеловались... прямо, знаете, при всех, при моей матери. Мать засмеялась еще: «Эх вы, говорит, целоваться не умеете! ..» Теперь она, Рая, часто приходит к нам. Ну, одним словом, стала как сестра, как своя... И для меня она... как будто другая...

— Что, давно не виделись?

— Давно. Скоро год. Мы сюда, знаете, ехали с эшелоном через Горький... Были почти возле самого дома. Наша улица тут же, рядом с железной дорогой. Страшно хотелось повидаться. Да не пришлось. Почти не стояли в городе! ..

— Д-да... обидно,— посочувствовал Алексей.

— Почти рядом были...

Снова и долго молчали. Молчали, ощущая близость, удивительную чуткость друг к другу. Будто слышали невыразимые мысли, движения души.

— Тоскуешь? — спросил Алексей тихо, сочувствуя.

То чуткое единение, что связывало их, сказало Колышеву: это уже не о Рае, об ином. Затаенном. Трудном.

— Тоскую,— нелегко признался Колышев.

И снова было молчание. В темноте посверкивала цигарка Алексея.

— Лезет в голову... — трудно и виновато заговорил Колышев. Алексей уловил в его голосе даже как бы отчаянье.— Лезет вот: вдруг — завтра меня здесь... Недалеко от этого леса... понимаете? А я ведь, кажется, ничего еще не видел... Вот только начинаю по-настоящему жить. А меня... Понимаете, такие мысли... перед боем...

Виноватость и отчаянье все явственнее слышались в голосе Колышева. Алексею захотелось утешить его:

— У каждого, видно, бывают такие мысли. Или, может, похожие... Жить всем хочется...

— Значит, это не... трусость? Комбриг меня спросил, не трус ли я, а я и не знаю. Ну, откуда мне знать, если я еще не был там? Я только от других слышал, как они шли в первый раз, а рассказывают все по-разному...

— Здесь, мне кажется, главное — не поддаться! Когда надо, уметь забыть, побороть все, что мешает. И чувствовать только одно — то, что нужно. Долг. Всего себя, все свои мысли отдать долгу. И еще, по-моему, надо думать, что то место, на котором ты оказался, — важное. Что от тебя зависит судьба других,

всех. Всей роты, всей бригады... В общем, факт — каждому дорога своя жизнь. И если рискуешь ею, то надо знать, что — не зря. А во имя цели. Я так считаю...

— Это верно,— задумчиво произнес Колышев.

Алексей почувствовал, что Колышеву хочется еще что-то сказать, но он колеблется. Старший лейтенант нарочно молчал, ждал. Он не ошибся.

Колышев вдруг спросил:

— А вы тоже, товарищ гвардии старший лейтенант... не спали сначала?

— Не спал.— Алексей посмотрел в небо, в глубокой черноте которого смутно белел Млечный Путь, сказал открыто: — В первые ночи не спал... И вспоминал много. В бою — вроде не хуже других. А как ночь наступит, все храпят, а я — ворочаюсь с боку на бок! Не могу заснуть — и все! Как проклятый! Картины дневные мне мерещатся. Все, что повидал за день, снова повторяется. И страшновато становится, как вспомню. Но в бою не дрейфил, держался. Потом стал спокойнее, постепенно привык. Спал тогда сидя и стоя, хоть из пушки стреляй, не добудишься.

Будто споря с собой или раздумывая, признался:

— Я, брат, тоже не знаю — смелый я или нет? Отваги у меня мало, чувствую...

— Что вы, товарищ гвардии старший лейтенант!

— А так, брат,— страшно мне иногда бывает. Даже очень. Особенно бомбежек проклятых не люблю... Душу они мне выворачивают. Только я сдерживаю себя. Держусь, одним словом!.. Но это пусть будет так, между нами, а?

— Не беспокойтесь, не скажу!

— Я, брат, в детстве почти никогда не лез в драку. Разве что когда очень досаждали. А вообще старался быть дальше от этого. Тихий был!..

Опушка леса вдруг стала быстро наполняться мощным гулом, от которого дрожала земля. Алексей и Колышев замолчали и лишь смотрели в небо. Там шли на запад самолеты.

— У вас душа, наверно, летит в Минск? — заговорил первым Колышев. — Жену видите все, не дождетесь...

— Вижу, часто вижу... — признался Алексей печально, и Колышев пожалел, что тронул это, больное для командира роты. Колышев посетовал на свою оплошность.

Казалось, исчезла недавняя взаимная близость. Неловкий вопрос Колышева будто разделил их.

— А тебя,— спросил странно, пытливо старший лейтенант,— не тянет туда душа?.. Тебе все равно?

И в тоне, и в самом вопросе что-то как бы скрывалось. Колышев не понял что. Но смысл вопроса был ясен, хотя Колышев и не ждал его.

— Почему же... — сразу возразил лейтенант.

— А чего ж ты, скажем, туда стремишься? — странно допытывался командир роты.— У тебя ведь там нет никого? Мать в Горьком. Рая тоже далеко в тылу. У тебя же в Белоруссии даже знакомых-то нет. Одним словом, нет никого, к кому бы душа летела.

И снова Колышев слышал в словах ротного скрытое: ревнивое и острое. Будто недоверие какое-то, обиду. Он сказал со смущением:

— Как никого, товарищ гвардии старший лейтенант? А люди?

Старший лейтенант молча курил. Думал о чем-то.

— Люди... Наши люди, мученики... Народ... — В раздумчивом, глуховатом голосе Алексея слышалось уже иное: сострадание и печаль. — Сражаются там и горюют... И ждут нас, не дождутся... И все мы им — как сыновья, как надежда...

За тем, что говорил Алексей, как и прежде, чувствовалось еще что-то свое, особое, невыразимое...

Снова, наполняя гулом небо и лес, прошла на запад эскадрилья. Когда гул начал стихать, старший лейтенант взглянул на ручные часы,— там светились цифры и стрелка,— спохватился: надо отдохнуть!

— Ну до свидания, Колышев. Ложись, прикорни. Уже немного осталось. Обязательно прикорни, слышь, брат. Пойдем в бой, там неизвестно, когда удастся подремать...

ГЛАВА XI

1

В эту ночь обстановка на командно-наблюдательном пункте фронта и на нескольких участках переднего края напоминала ту, какая бывает при наступлении.

В донесениях, приходивших на КНП, сообщалось, как части, выделенные для разведки, выходят к рубежам, готовятся к близкой уже атаке. В темноте июньской ночи тихо занимала окопы и траншеи переднего края пехота, размещались на подготовленных позициях минометчики и артиллерийские батареи, подтягивались танки. В промежутках между вспышками белых немецких ракет саперы разминировали проходы для пехоты, для танков...

Черняховский внимательно следил за подготовкой к разведке. Она была только частью его заботы: как и прежде, он держал в себе ощущение огромной жизни фронта, который

приближался к великому событию,— но среди всех других забот ни на секунду не забывал он главное — разведку.

Кроме важного практического значения разведка боем, которая должна была вот-вот начаться, имела и другое, человеческое: она будто заканчивала то давнее, напряженное ожидание, которое становилось все более тяжелым, мучило своей неподвижностью. Она словно начинала новую, желанную перемену в жизни — пору деятельности.

С этим ощущением вышел Черняховский утром 22 июня на наблюдательный пункт перед тем моментом, когда должна была заговорить артиллерия. Как ни наполняли его заботы о том великом, что предстояло начать через день, он с нетерпением, взволнованно ждал начала нынешнего боя.

Когда он вошел в блиндаж НП, поле, шоссе, небо еще хранили тишину утра. После ночи в подземелье он особенно остро ощутил прохладную утреннюю свежесть и увидел живой свет за амбразурой и — небо, ширь которого угадывалась даже в этой узкой прорези блиндажа. Это длилось всего момент и было не главным: по-прежнему бередило его беспокойство, которое он принес из рабочего блиндажа, и волновало ожидание близкой артподготовки, всего того, что должно было прийти за ней.

Сразу, едва только загремело, он склонился к окуляру стереотрубы, опытным глазом стал следить, как на той, на вражеской стороне растет, клубится, сливается воедино шевелящийся ряд взрывов. Он на какое-то время вдруг почувствовал себя легко, свободно: так было хорошо, что кончилось тяжелое ожидание. Где-то в сознании радостно мелькнуло: «Вот оно, началось!..» Великое, завтрашнее заявило о себе первым громом. Заговорило не таясь, во весь голос. Нет, не во весь, но — вслух...

Однако это таилось там, глубже, главным же, чем он жил теперь, было беспокойное пристальное внимание: клубы дыма в кружке, приблизившиеся, ясные, разрезанные четким крестом с делениями. Взрывы разворачивали землю, рвали кустарник, рушили подозрительные пригорочки. В двух-трех местах выхватились суетливые фигуры, выгнанные из укрытий неожиданным налетом...

Почти сразу вслед за тем, как начали наши батареи, ожила артиллерия и по ту сторону. Прошло очень мало времени, и артподготовка стала похожа на артиллерийскую дуэль, взрывы вражеских снарядов все чаще чернили наш передний край. Они вскидывались на всей видной части поля, и на передних рубежах и в глубине нашей обороны. Время от времени взрывы слышались и сзади, за высотой, в которой был КНП фронта. Несколько раз блиндаж сильно сотрясало от взрывов наверху: немцы не оставляли без внимания и высоту. Было видно,

что они старались бить по всей глубине наших позиций. Стремились парализовать нашу артиллерию.

Черняховский заметил, что немецкие снаряды нередко сразу ложатся точно. Похоже было на то, что позиции многих батарей немцы засекли заранее, что цели эти подготовлены. Командующий гневно сжал губы, когда увидел, как меткие вражеские удары почти сразу одну за другой накрыли две артиллерийские батареи...

Пристальным вниманием Черняховский настороженно отметил, что сопротивление артиллерии противника со временем не только не ослабевает, а словно бы усиливается. Конечно, широкие, прочные выводы пока делать рано, но при всем этом были уже неприятные основания думать, что удар артиллерии на этом направлении оказался не совсем неожиданным для немцев. Были основания думать, что они не случайно так сильно встретили артподготовку.

Черняховский не спешил с выводами о том, как будет развиваться дальше бой артиллерии. В конце концов, в том, что немцы так упорно сопротивляются, не было ничего странного. Было бы странно, если бы они на первых порах не сопротивлялись изо всех сил. Неизвестным, существенным было здесь только то, как долго смогут они противостоять нашей артиллерии. Когда удастся сломить их сопротивление. Успех работы артиллерии будет определяться этим.

Но чем дальше шло сражение, тем больше с беспокойством отмечал Черняховский, что противник мало притихает, что подавить немецкую артиллерию все не удается. Как ни досадно было, приходилось делать вывод, что артиллерийская подготовка оказалась малоэффективной. Многие важные цели — немецкие батареи — так и не удалось уничтожить.

Черняховский оторвался от стереотрубы, гневно заходил в узеньком промежутке между стенами. Жгло возмущение: какая халатность! Допустить, чтобы так плохо была разведана немецкая артиллерия! Немецкие батареи не выявили, а свои дали обнаружить! ..

Неприятное открытие это породило беспокойство, что, может, и на других участках не все как следует разведано. И с маскировкой — не везде порядок...

Он снова приник к стереотрубе, когда артиллерия стала переносить огонь в глубь немецкой обороны и туда, к вражеским позициям, вскидывая за собой землю, стреляя, двинулись танки. И, невидимая до сих пор, пошла вперед пехота — неслышные, подвижные фигуры...

Черняховский с тревогой и надеждой следил, как идут танки и пехота. Он видел, что еще до того, как танки прошли

наши передовые позиции, перед ними и вокруг них стали взметаться взрывы. Воздух прочертили трассирующие снаряды. Огонь немецкой артиллерии намного усилился, когда танки двинулись через проходы в минных полях. Перед глазами командующего происходило такое, с чем, сколько он ни видел за войну, не мог свыкнуться: то одна, то другая машина останавливалась, замолкала. В окуляре стереотрубы появилось: из машины, над которой начал струиться дым, торопливо вываливаются черные фигуры танкистов.

Там, в лощине, в разных местах, над танками вспухали знакомые зловещие облачка. В кружке окуляра вдруг вспыхнуло, клубы черного дыма и земли закрыли танк — машина взорвалась... Черняховский повел окуляр по лощине: танки, часто стреляя, упорно двигались вперед. За ними следовали маленькие фигуры пехотинцев... Все же было заметно, что натиск танков и пехоты прямо на глазах слабел...

Поступь их все замедлялась, потом они вовсе остановились. Пехота залегла. В тишине, что чувствовалась в блиндаже НП, командующий оторвал взгляд от окуляра стереотрубы, выпрямился, вскинул голову. Некоторое время стоял так, неподвижно, как бы горделиво, с закрытыми глазами. Офицеры и генерал Макаров, стоявшие рядом, тоже старались не шевелиться, будто боялись побеспокоить его. Все словно чувствовали себя также виноватыми в неудаче.

Когда Черняховский открыл глаза, взгляд его упал на лоскуток серого неба вверху амбразуры, но он как-то не увидел его. Он был крайне огорчен. С ощущением униженности, которое вызывала неудача, вдруг охватило давнее, когда-то привычное желание: выбраться бы отсюда, из подземелья, броситься бы туда. Разобраться вблизи, помочь, исправить.

Из этого состояния его вывел генерал Макаров. Всматриваясь в стереотрубу, член Военного Совета вдруг обрадованно воскликнул: «Пошли!» Черняховский с любопытством взглянул на него, встрепенулся и снова приник к стереотрубе. Он сразу схватил взглядом: два танка — один немного впереди, второй сбоку, чуть отставая,— решительно, быстро двигались вперед. За ними, словно поразмыслив, часто стреляя, тронулись еще три. Один — самый первый — скоро закрыла вдруг взлетевшая черная туча: видимо, подорвался, а второй — все шел и шел. Пробился к немецким позициям и — прорвался через них. И — застыл неподвижно уже за ними. Из последовавших трех один тоже подбили. А два, отстреливаясь, поползли назад...

Некоторое время впереди усердствовали штурмовики — бомбили, обстреливали передний край врага. Они еще вжимали противника в землю, когда началась новая атака танков и пехоты, еще более упорная. Но и эта попытка ничего не

изменила. Черняховский отступил от стереотрубы, молча повернулся и, позвав с собой генерала Макарова, быстрым, твердым шагом направился в рабочий блиндаж.

Здесь командующий сразу вызвал начальника оперативного управления и, едва тот явился, попросил доложить, как идут бои на других направлениях. Генерал Иголкин быстрым, зорким взглядом уловил беспокойство в лице командующего.

Генерал, всегда отличавшийся веселостью, сегодня заговорил с особой радостью:

— В 5-й и 39-й, товарищ командующий, все идет превосходно! Лучше, чем можно было предположить!.. Артиллерию противника подавили! Ворвались в первые линии обороны...

Потом уже стал подробно докладывать обстановку.

Донесения от Людникова и Крылова радовали. Подразделения 5-й армии Крылова с ходу форсировали реку Суходревку, захватили первую линию вражеской обороны и прорвались ко второй. Бой шел на второй линии. Чувствуя, какие возможности это открывает на завтра, Черняховский приказал Крылову строить мосты для тяжелых танков.

Не менее удачно разворачивалось сражение и для 39-й армии. Можно сказать, что на обоих этих направлениях бои принесли успехи даже большие, чем рассчитывали. Успехи здесь давали основания возлагать самые добрые надежды на эти направления на завтрашний день.

Но здесь, в полосе магистрали и на юг от нее, бои шли так неудачно, что хуже и быть не могло. Черняховский, как ни был занят подготовкой к наступлению, еще дважды выходил в блиндаж НП, приникал к окуляру стереотрубы. Как и раньше, видел, что гвардейский батальон в отчаянном своем штурме сражается почти безуспешно. Каждый раз, когда роты поднимались в атаку, ряды пехотинцев на глазах редели, и живые бросались на землю, прижимались к ней. Батальон поддерживали танки, самолеты, пушки. Вражеские позиции были окутаны огнем и дымом, а все атаки пехоты не давали никаких результатов. Только на исходе третьего часа необычайно упорного боя батальон смог штурмом ворваться в первые траншеи врага, захватить их. Захватил, но — какой ценой!

Хотя Черняховский и не надеялся на легкую удачу здесь, в полосе магистрали, он все же не предполагал, что будет так плохо. То, как трудно шел бой, превосходило худшие его опасения. Какими бы значительными ни были наши просчеты и недостатки подготовки, они мало меняли главное, что почувствовал Черняховский: как сильна здесь оборона противника. Кроме того, бой подтверждал, что именно здесь она наиболее сильна. Именно здесь будет труднее всего их сдвинуть.

То, что бои на других направлениях были удачными и обещали хорошие результаты, радуя и вдохновляя, вместе с тем усиливало противоречия в обстановке, в которой приходилось действовать. Жизнь упрямо перечила некоторым, и притом весьма важным, предначертаниям плана операции, так старательно подготовленного и утвержденного. Бои еще раз подтвердили, что не напрасными были сомнения. Что надо изменять некоторые задачи.

Прежде всего изменять то, что касается магистрали, с захватом которой в плане связаны такие надежды. Надежды на успех, который мог бы дать нашим войскам великолепные возможности, но который уже сегодня оказался таким маловероятным. Которого можно добиться только страшно дорогой ценой. Тогда как подобных результатов на других направлениях можно достигнуть и быстрее, и с меньшими потерями. . .

Снова ожило, требовало ответа давнее, неотступное: где вводить 5-ю танковую армию и 2-й танковый корпус?

Эта противоречивость, что рушила важнейшие расчеты перед самым наступлением, настораживала Черняховского. Она словно требовала быть предельно бдительным, действовать быстро. Чтобы успеть учесть все, что обнаружилось. Как можно лучше подготовиться.

Оттого что времени было так мало, а забот столько, что хотелось только одного — успеть бы,— командующий работал с предельным напряжением. И остаток дня, и ночь не утихало это трудное, целеустремленное напряжение. Используя немногие часы и минуты, оставшиеся до наступления, Черняховский ставил дополнительные задачи, предупреждал, поправлял. Следил за тем, как сосредоточиваются части на передовых рубежах.

Все время КНП командующего держал связь с армиями, со всем тем скрытым большим движением, которым жил фронт последние часы перед наступлением.

Подготовка к наступлению заканчивалась.

В ночь на 23 июня, через три года после того, как первые гитлеровские солдаты ворвались на землю Белоруссии, на всем фронте шла напряженная заключительная работа.

За дни подготовки были обнаружены и засечены тысячи блиндажей, артиллерийских и минометных батарей, пулеметных гнезд, дотов и дзотов. Теперь заносились на карты поправки, последние донесения разведки.

В штабах бригад, корпусов, армий дорабатывались последние детали, уточнялись сроки, связь при общих операциях. В последний раз проверяли готовность частей к наступлению офицеры оперативного управления штаба фронта. В эту ночь

они один за другим возвращались в оперуправление, докладывали о результатах своей проверки.

К переднему краю подходили и занимали позиции последние части, подготовленные для наступления. Окапывалась пехота, располагались артиллерийские батареи, подвозили ящики со снарядами, с патронами, подходили походные кухни, повозки с продуктами.

Необычайное множество людей, различных машин теснилось в полях, лесах, болотах вдоль всего фронта. Особенно много людей и оружия было в местах, предназначенных для прорыва вражеской обороны. На участках прорыва разместилось три четверти всей артиллерии — от 150 до 200 пушек и минометов на один километр. У артиллерии было вдоволь снарядов — до пяти боекомплектов, и половину из них предполагалось использовать в первый день наступления. Артиллерийская подготовка планировалась продолжительностью от двух до двух с половиной часов. Мощная артиллерийская атака должна была начать наступление.

В ближайших тылах стояли большие группы танков и самолетов, готовые поддержать пехоту и артиллерию, выбить врага из укрепленных позиций, гнать его, когда он начнет отступать. В лесах, в укрытиях, ждали своей поры танкисты 2-го гвардейского танкового корпуса генерала Бурдейного, мощной 5-й гвардейской танковой армии маршала Ротмистрова. На аэродромах ждали горячей работы славные летчики 1-й воздушной армии.

С каждым часом передний край становился все сильнее. На севере, зацепившись за занятые вчера позиции, готовилась к атаке 39-я армия Людникова, которой предстояло вместе с соседней армией 1-го Прибалтийского фронта окружить и уничтожить витебскую группировку врага. Занимала исходные позиции 5-я армия генерала Крылова, которая должна была наступать на Богушевском направлении и выйти к Березине. Завершали подготовку к наступлению 11-я гвардейская — генерала Галицкого и 31-я — генерала Глаголева, они должны были разбить оршанскую группировку и наступать вдоль минской магистрали...

Авиация совершила мощные налеты на вражеские аэродромы в Бобруйске, Минске, Орше, Барановичах, Бресте.

Долго ждали наши люди этой минуты. И она наступила.

Четыре фронта — три Белорусских и 1-й Прибалтийский — готовы были вот-вот вступить в большую битву. Корпуса и армии, занимающие семьсот километров вдоль переднего края, застыли настороженно, в ожидании желанного слова команды.

Начиналась битва за Белоруссию. Над изувеченной землей, над порабощенным народом, находившимся еще по ту сторону фронтовой линии, вот-вот должна была подняться заря освобождения. Она поднималась на востоке, должна была слиться с утренней зарей, с восходом солнца.

Еще не начало светлеть небо, когда весь фронт стал оживать. В полках, взводах, на позициях, еще хранивших тишину, последние ее минуты, политработники читали обращение Военного Совета фронта.

И заплескались в тихих сумерках, забурлили, пошли по всему фронту, по артиллерийским позициям, по аэродромам, по пехотным блиндажам и окопам, по стоянкам замаскированных танков, по саперным батальонам и авторотам, по складам и санбатам, по лескам, полям, ярам, — то вслух, то — на самом переднем крае — шепотом, чтобы пока не услышал враг,— радостные, безудержные, разноголосые команды, приказы — к близкой битве, к большому наступлению!

Еще никто, кроме фронтовиков, не знал, что наступает великая, заветная минута. Не знали этого ни Ермаков, ни Шабуниха, ни Нина, ни Туровец. Не знали миллионы людей,— не знали, но жадно ждали три долгих, мучительных года.

А артиллеристы уже сбрасывали с холодноватых вынесенных вперед стволов и вороненых дульных тормозов замасленные чехлы, крутили ручки подъемных и поворотных механизмов, посылали снаряды в патронники.

Дула орудий поднимались в небо, в сторону запада.

Начиналось утро.

2

Алексею казалось, что светает медленно, удивительно медленно.

Весь полный ожидания давным-давно желанной необычной минуты, он нетерпеливо посматривал на часы, на тихое небо, по которому все просторнее, все победоноснее разливалась багряная заря. Чем дальше, тем более пунцово разгоралось небо, и все вокруг светлело, — глазам открывалась молчаливая, мирная даль. И поля, и леса в отсветах зари были розоватыми.

Уже из-за далекого леса брызнуло солнце, переливчато засияло на росе влажных кустов, на ярко-зеленых молодых березках, на замаскированных машинах, а в природе еще царила тишина. Удивительной, незабываемой была тишина в это необычное утро, тишина большого ожидания.

Лицо Алексея обвевал упругий, холодноватый ветер, что едва слышно шептал в листьях берез.

Вдруг впереди, по всему простору, видимому глазу и скрытому за холмами и лесами, заухало, загрохотало.

В следующее мгновение отдельные взрывы слились в единый общий мощный гром. Оттуда, где стоял Алексей, не было видно, как на позициях немцев, за пригорком, начали взметаться черные гривы взрывов, вскидывая вверх обломки, столбы земли. Он видел только наши орудия с поднятыми стволами, над которыми почти непрерывно, стремительно вспыхивали белые языки, вился, поднимался синий дым.

Возле орудий деловито хлопотали артиллеристы.

Все вокруг гремело. Земля дрожала, будто рядом проходила бесчисленная колонна танков.

Алексей невольно слился с этим великим громом, его наполнило воодушевляющее ощущение своей мощной силы. Будто все это говорило по его приказу. Он чувствовал себя необычно, невиданно огромным и сильным, богатырем, для которого не существует ничего невозможного. Ощущать эту силу и мощь было чрезвычайно радостно, так радостно, будто он испытывал их впервые, будто не слышал артподготовок под Курском и Сталинградом.

Алексей, казалось, забыл обо всем. Вероятно, не могло быть более желанной музыки, чем эта. «Так их! Чтобы помнили это болото! Чтобы помнили этот день!» — шептал он про себя.

Торжествующий, Алексей взглянул на стоявшего рядом Яковенко. «Слышишь, а?» — спросил он глазами.

С деревьев, заметил Алексей, от грохота, кружась, опадали молодые, еще клейкие листья.

Над пригорком впереди от взрывов выплыл и начал подниматься густой, черный, клубящийся вал.

Рядом со старшим лейтенантом стояло несколько офицеров. Все молчали, смотрели и слушали. Особенно был взволнован Колышев, лицо его светилось почти детским восторгом.

— Вот такую подготовочку послушать бы тому, у кого чешутся руки воевать с нами, а? — прокричал он на ухо Алексею.— Сразу отпала бы охота соваться к нам!

— К сожалению, Колышев, те, кто послал сюда с войной, не слышат этого. Отсиживаются, сволочи, где-то в тихих уголках.

— Ничего. Я думаю, теперь многие зарекутся. Конечно, те, кто еще не лишился рассудка. . .

А огненный ураган все гремел и гремел.

Наконец огонь перенесли дальше. . .

На холм начали подниматься тяжелые танки прорыва. Они перевалили через гребень и стали один за другим скрываться. На пригорок взбирались другие. Где-то впереди уже, вероятно, поднялась пехота.

Из-за леска вырвалось несколько групп штурмовиков. Они пронеслись низко, с ревом и тоже скрылись за пригорком.

Алексей ждал, что сейчас и его роте дадут команду — вперед, на исходную позицию, а там — в бой. Все его тело напряглось, сжалось. «Скорее бы уж!» — торопило его беспокойное, нетерпеливое сердце, которое не любило ждать. Было привычное перед боем ощущение какой-то лихорадочности, когда все остальные чувства сменяются одним — ожиданием близкой битвы.

Старший лейтенант окинул взглядом свою роту, будто проверяя, готова ли она. Со стороны казалось, что все было спокойно. Машины, укрытые молодым ольшаником и березовыми ветками, стояли неподвижно. Группками возле машин толпились танкисты и автоматчики из десанта. Вблизи Алексей увидел крепкую, уверенную фигуру Быстрова, рядом с ним неразлучного Солнцева и с радостью подумал, что хорошо иметь таких солдат.

Когда орудия начали смолкать, Алексей не сразу заметил, что наступает тишина; в голове еще грохотало.

Потом он услышал, что за пригорком, как кипяток в огромном котле, клокочет бой.

— Деревня, наверное,— сказал старший лейтенант,— перестала быть ничьей. Проворный со своими хлопцами, видать, работает уже где-то там. . .

— Уже, должно, заняли. . .

— Е таки села,— отозвался Яковенко,— которым достается особенно велыка порция железа и толу. Вернутся люды и места не познають. Перекопано все по-новому — окопы, воронки.

— Узнают! Интересно, что там будет лет через десять. Просто трудно сейчас представить. На таком месте снова вырастут хаты, и будет там. . . человек ходить спокойно. Не боясь, что его прошьет пуля или осколок. Окопы и КП запашут, засыплют землей. . .

— Запашут. Забудут, как мы здесь стояли, ждали.

— Будут помнить. Все, что мы делаем, будут помнить. Каждый лесок, где было такое, помнить будут. Такое нельзя забыть!

— А я думаю, забудут,— заупрямился Яковенко.— Людына забувае, коли следу не остается.

— А это не наш след,— сказал Алексей возбужденно.— Битые камни и кровь — не наш след. Наш след — то, что вырастет на этих камнях, окопах. Везде, где мы пройдем.

Они замолчали. Алексей следил за всем, что происходило вокруг, и ждал, ждал.

Оттуда, где кипел бой, начали привозить и приводить раненых. Их было много. Одного раненого танкисты задержали

и окружили. Большая голова его была перевязана бинтами, над которыми кустом торчали русые волосы. Правый рукав полинявшей гимнастерки был разорван и надрезан, а забинтованная рука висела на марлевой косынке. На лице темнели полосы смешанного с грязью пота.

— Ну что там, земляк?

— Что? Мины, проволока — шагу не ступишь.

— Ну, а все-таки наши жмут?

Пехотинец повернул к тому, кто спрашивал, обветренное, с коротким облупленным носом лицо, сказал:

— Жмем.

Продвинувшись немного вперед, наши части приостановились, будто не могли пробиться дальше. Враг, видимо, подтянул подкрепления. Потом бой снова начал медленно отдаляться. Алексей вслушивался в звуки битвы, и в нем все не спадало напряженное ожидание. Он знал, что надо ждать своей поры, что она придет...

— Сколько мы будем здесь стоять? — нетерпеливо спросил Колышев у Алексея.

— Видать, недолго уже... Скоро, наверно...

Алексей подумал, как огромно начавшееся наступление и сколько здесь войск, людей, что так же, как и они, его рота, нетерпеливо, возбужденно ждут своей поры!..

Артиллеристы полевых батарей покатили вперед пушки. Двинулись дальше, подскакивая и покачиваясь, повозки с боеприпасами.

Впервые Алексей подумал, что идти они будут, наверное, долго. Начали здесь, а где остановка — неизвестно. Дороги уходили в летнюю дымку куда-то очень далеко.

Вдруг Алексей увидел невдалеке земляка, которого было задержал. Живица, в той же мятой поддевке, с мешком за плечами, с березовой палкой в руке, прихрамывая, шел следом за повозками.

— Вот и Живица в наступление пошел! — пошутил Быстров и крикнул: — Эй, огородник! Скорость увеличь, отстанешь!

Старик оглянулся на голос.

— От кого отстану, а от кого — и нет! — задиристо отозвался он.— Вас с вашими машинами я и с палочкой перегоню, только стойте здесь подольше! — озорно поддел он.

Сняв шапку, старик добавил:

— Будьте здоровы! Мне некогда.

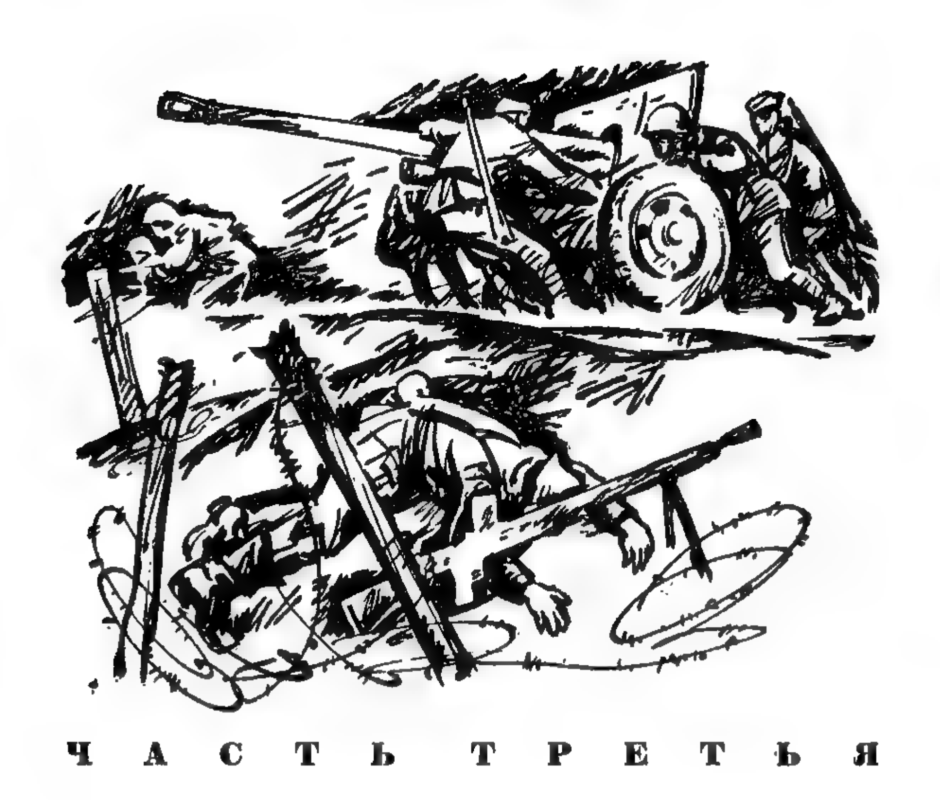
Поправив за веревочку мешок за плечами, Живица быстро захромал дальше.

Книга вторая

МИНСК ЗА ГОРИЗОНТОМ

Земля наша. С детских лет дорогое, памятное сердцу величавое течение Припяти. Хлопотливый гул заводов Минска, турбин Осиновки, который затих на три долгих, бесконечных года... Родная, милая земля наша!

Слышишь, гремят громы над О́ршей и над полесскими чащами? Слышишь? Это громы, которых ты ждала: с ними кончится лихолетье, снова засияет небо людям и травам. Идут тебе на помощь бесчисленные кровные твои братья, сыновья щедрой семьи нашей. Идут посланные заботливой, разгневанной в горе матерью нашей — Москвой... Слышишь? Это — час твоего освобождения, твоего торжества. Выстраданный час великой радости.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

1

В тот час, когда загремело, когда от грохота заходила удивительно податливая земля, Юрий словно вступил в необычайный мир.

Сжавшись в траншейке, на самом переднем крае наших позиций, перед самым грохотом, от которого сильно, больно било в уши, он долгое время не думал, не размышлял. Оглушенный, ошеломленный, он только болезненно остро следил, с каким-то непонятным интересом невольно, подсознательно все отмечал. Он вдруг словно потерял способность понимать. Все происходившее вокруг было таким необычным, огромным, что казалось будто нереальным. Непостижимым для обычного понимания.

Он только следил, отмечал все: и то, что снаряды взрываются очень близко, и то, что от их взрывов набегают тугие, горячие волны, и то, что все время, беспрерывно, струится с

края траншейки песок, и даже то, что день по-прежнему пасмурный, что начинает моросить дождь. Среди всего необычного, переплетавшегося в его сознании, и дождь этот, который какое-то время шел очень споро, отражался как что-то необычное.

Вместе с тем, что вбирал он в себя, жило в Юрии, мучило его томительное и неприятное ощущение внезапной своей слабости, незначительности, особенно острое по сравнению с тем огромным, что гремело, ревело, заставляло послушно ходить землю. В том незнакомом, недоступном пониманию сердца, что творилось вокруг, незнакомым обыденному, привычному был он и самому себе. Будто и следил за всем, и пригибался тревожно, и сдерживал нелепую дрожь под промокшей от недолгого дождя гимнастеркой не сам, не тот, каким был всегда, а кто-то другой.

Потом, когда взрывы ушли дальше, когда щуплый, со странным блеском в глазах командир взвода знаками показал, что скоро вставать, идти в атаку,— хотя Юрий кивнул как только мог бодро, что помнит, не подведет,— он почувствовал, как в душе его, этого странного, маленького человечка, что-то тревожно, одиноко сжалось. Словно должен был скоро потерять что-то дорогое, которое до сих пор не только не ценил, а будто и не замечал и значение которого понял только теперь, так поздно.

Наблюдая за Проворным, ожидая его команды, он вместе с тем как никогда ощущал в себе это дорогое, до боли родное, ощущал, что это последние минуты, когда они вместе. Нелегко было ему, когда он перехватил приказ беспокойного, порывистого Проворного, когда сам закричал отделению,— закричал, будто чужим голосом,— встать, в атаку, когда он и его отделение с криком, застревавшим в горле, с винтовками и автоматами в руках, с вещевыми мешками за плечами стали взбираться на бережок траншеи, побежали, не чувствуя под собой ног, вслед за грохотом, навстречу неизвестности.

Когда бежали, все по-прежнему смешивалось: и ощущение слабости своей, и сожаление, оставшееся в душе, и возбужденное любопытство. Но кроме этого жило в нем, пусть в смятении, то, что он знал из недавних наставлений и требований, он помнил это и теперь как обязательное, непременное, и оно вело его вперед, навстречу неизвестности.

Он знал, что сразу, как только встанут, побегут, будет минное поле — наше, что в этом минном поле саперы сделали проходы, что идти надо именно в эти проходы,— иначе можно подорваться. Он и бежал там, где были проходы, мимо солдат с флажками, мимо флажков, воткнутых в землю, — бежал так, будто бежал не он, а кто-то другой. И будто то, что происходило, видел не сам, не своими глазами, видел, как что-то непостижимое, чужое.

2

За минным полем был пустырь, ничейная земля. Говорили, на ее месте когда-то красовалась деревня, — теперь не было даже следов печищ. Никаких признаков прежнего жилья. Только ямы да выжженная земля. За пустырем начинался небольшой подъем, здесь, в воронках, пришлось залечь, оказалось, что саперы не кончили разминировать проход в минном поле, втором, немецком. Юрий видел, как недовольно прилег Проворный, как что-то запальчиво говорил, наверное ругался, что пришлось остановиться, упустить такой важный момент. Юрий видел, как почти сразу подбежал к Проворному солдат, видимо связной с приказом; Проворный отвечал ему тоже недовольно, горячо, нетерпеливо посматривал в сторону саперов. Замечая это краем глаза, Юрий вместе с тем с необычным сожалением чувствовал, как хорошо, горьковато пахнет еще влажная трава, видел, как кустик ее пророс через какую-то ржавую жестянку на краю старой воронки. Испытывал внезапное облегчение, что прилег, прижался к земле.

С этими ощущениями он видел, как впереди, за едва приметным пригорком, уже за немецкими траншеями, взлетают столбы взрывов. Посматривал с настороженностью туда, где чужие траншеи, следил, как перед траншеями, сгибаясь, на коленях, торопливо суетятся фигуры — саперы; неожиданно, не понимая, что это, увидел, как в том месте вдруг взметнулся взрыв. В общем грохоте звука взрыва не было слышно, но он невольно прижал голову к земле: так это было близко. Он подумал, что это бьет немецкая пушка, но взрывов больше не было, и он догадался: вероятно, взорвалась мина. Выглянув, он увидел, что там все лежат, одни неподвижно, другие осторожно осматриваясь. Среди них зашевелился один, что-то закричал остальным, стал снова трудиться. Несмело, с опаской, один за другим, взялись за дело и остальные, все, кто уцелел.

Когда встал и бросился вместе с другими в проход, словно нереальное, невероятное, увидел Юрий кровавое месиво на дороге, короткий обрубок, без головы, без руки, с вещевым мешком. Бежал торопливо, следил, нет ли немцев впереди, поэтому заметил страшное в тот момент, когда чуть не наскочил на него; едва успел отклониться, чтобы не наступить. Почувствовал, как стало дурно, как вдруг появилась слабость в ногах. Так добежал до верха пригорка, до первой немецкой траншеи; ошалевший от грохота, от только что пережитого потрясения, смутно отметил, что вокруг траншеи все перекопано, разворочено взрывами снарядов. На дне ее увидел несколько трупов, почти засыпанных песком.

Сразу за траншеями начинался негустой, весь изрубленный осколками ольшаник. Начиналось заболоченное место. Едва

прошли ольшаник, выдвинулись на голое, кочковатое болото,— тяжело загрохали взрывы. По острому, гнетущему свисту, прорывавшемуся сквозь грохот, Юрий догадался, что откуда-то бьют немецкие пушки.

Кое-кто из солдат остановился. Юрий тоже стал. Ему вдруг неудержимо захотелось упасть на землю или броситься назад, в безопасное место. Ссутулясь, вобрав голову в плечи, он торопливо, ничего не понимая, оглянулся, потом поймал глазами Проворного, ожидая поддержки или совета. Младший лейтенант, сжимая в руке пистолет, нетерпеливо махнул им — вперед. Юрий, все еще сгибаясь, что-то крикнул бойцам,— что, он и сам не знал, и, затаив дыхание, весь замирая в ожидании, бросился в страшный грохот и дым. Он смутно, болезненно чувствовал, что жизнь его сейчас в необычайной, смертельной опасности. Это было давящее, безжалостное чувство, которое вынуждало напряженно ловить каждый новый свист, отмечать каждый взрыв. «Еще один... Еще... Еще...» Все сильнее хотелось упасть, вжаться в землю или броситься подальше отсюда, но он преодолевал это желание и — в грохоте, в страхе — бежал, бежал.

Когда взрывы остались сзади, он не почувствовал облегчения. Как и прежде, он недоверчиво прислушивался, ждал,— не покидало опасение, что все снова повторится. В лихорадочном смятении чувств и мыслей пробилась одна ясная мысль: «Это, видимо, и было то...» Думать было трудно, и мысль оборвалась; то, что она начала, довершилось где-то в подсознании: то грозное, безжалостное, что называется — «был в огне». Ему на миг вспомнился Минск, первая бомбежка, притихшая было в памяти за давностью пережитого...

Настороженный, возбужденный, весь в напряжении, он шел навстречу опасности, навстречу неизвестности. Шел потому, что помнил: надо идти, несмотря ни на что. Шел потому, что надо было идти не только самому, но и вести других, отделение. Шел потому, что рядом шел Проворный, его надежда и его повелитель, его командир. Потому, что знал: по сторонам, сколько охватит взгляд, шли многие такие же, как он. Шли, стреляли, ложились, вставали, бежали.

Старалась не отставать от остальных, он шел и шел.

3

По мере того как углублялись в расположение врага, наступать становилось все труднее. Хотя продвигались сразу за артиллерийскими взрывами, которые, казалось, сметали с пути все живое и неживое, враг еще пробовал удержаться. Когда взрывы отдалялись, гитлеровцы, которым под бетонными кры-

шами и толстыми накатами удалось спастись, выползли наверх и косили из пулеметов и автоматов...

На один из таких заслонов наскочил и взвод Проворного. Пулеметная очередь ударила вдруг так близко, что Юрий едва успел броситься на землю. Еще не понимая, что произошло, он отметил, что над ним, над самой головой, будто пронесся горячий, гремящий ветер.

Чувствуя, что его словно обдало жаром, стараясь отдышаться, он попытался понять, что случилось. Очереди немецкого пулемета проносились так близко, что звуки выстрелов, казалось, стучали по голове. Справа, поблизости, пулеметная очередь срезала несколько высоких болотных стеблей... Вот-вот, еще очередь — и пули, наверное, вопьются в голову, в плечо.

Он с тревогой отметил, что лежит на голом, опасно открытом месте. Как на беду, рядом хотя бы кустик, хотя бы воронка, которыми перерыто почти все болото,— чтобы можно было, пусть немного, укрыться от пуль! Одни только бородавки-кочки да болотная трава.

В довершение ко всему вокруг начали рваться немецкие мины. Невольно прислушиваясь к их свисту, Юрий стремился осмыслить свое положение. Что с ним, не ранен ли? Нет, пока все обошлось... Что с его бойцами? Живы ли они? Где они теперь? .. Он осторожно оглянулся по сторонам и увидел одного немного правее от себя, сзади,— это был Шарафутдинов. Он острыми глазами что-то выслеживал из-за кочки. Слева лежал лицом вниз светловолосый Кулиш, у него на спине топорщился новенький вещевой мешок... Лежал неподвижно...

Юрий глазами отыскал поблизости ямку и, по-прежнему прижимаясь к земле, передвинулся в нее. Ямка была неглубокая, наполовину затянутая жидкой грязью, но Юрий все же почувствовал в ней себя более надежно: хоть немного, да можно укрыться. Теперь он начал беспокоиться о дальнейшем: сколько же еще придется здесь лежать?.. Почему молчит Рыбалка с пулеметом? Почему не стреляет? Нельзя медлить...

Время шло и шло, томительное, бесконечное, а Рыбалка все молчал... Юрию оставалось лишь гадать, что с ним: патронов нет или, может, погиб? Нет, патроны он еще не расстрелял. Неужели погиб?! Убит? .. А что со вторым номером?

Вопросы возникали один за другим, а ответа не было. Однако главное было ясным: пулемет молчал. Что там ни случилось, пулемет молчал. В такое время, когда ни секунды не должен был бездействовать.

В этом необычном мире Юрия не покидало неизменное сознание своей ответственности за все, что происходит в отделении. Сознание это было теперь гораздо более сложным, чем прежде, но оно жило в нем, требовало от него. Этот пулемет —

его, за него он, командир отделения, в ответе. И если пулемет не должен молчать, Юрий обязан сделать для этого все необходимое. И Юрий стал рассуждать о том, что надо сделать.

Первое, что пришло ему в мысли, было: если быстро проскочить расстояние до Рыбалки, вражеские пулеметчики, наверно, не успеют взять на прицел. Надо только выбрать момент, когда будут бить пулеметы из соседних отделений. . .

Он знал, что так надо сделать. Необходимо сделать. Но сознание этого натыкалось на предостерегающее, грозное: сразу, едва встанешь, немецкий пулемет повернет сюда. Он уже пристрелялся. Достаточно короткой очереди.

Чем упорнее он думал: надо сделать, — тем будто крепче прижимало его к земле. Не давало подняться, угрожало тем, что будет сразу, как только он встанет. Тяжело было и от страха и от назойливой мысли, что это все, конечно, видят. Видят, что он, выходит, трус. Самый никчемный трус.

Он старался преодолеть страх и не мог. Не мог оторваться от земли, встать; уже почти собравшись вскочить, он вспоминал: пулемет немца этого только и ждет. И земля словно больше притягивала, не отпускала. Никогда так трудно не было ему превозмочь себя — ни до этого, ни после, за многие годы. На всю жизнь запомнилось то мгновение, когда он, чувствуя в себе отчаянную решимость, сознавая, что иного выхода нет, вдруг вскочил, стремительно побежал.

Он упал около Рыбалки на какую-то долю секунды раньше, чем над ним прошла очередь.

Казалось, снова не минуту, а вечность вжимался он в землю, не мог пошевелиться. Хватал открытым ртом воздух, не мог отдышаться, задыхался. Слышал, как, заполняя всего, колотилось сердце. Гремело громче всех взрывов.

Успокоившись немного, он осторожно повел головой, присмотрелся к Рыбалке. Тот лежал, уткнувшись головой в болото, будто хотел спрятать ее. Над тонкой шеей, над шишечками позвонков заплывала кровью широкая рана. Увидев оголенную, окровавленную ткань, кровь, в которой белели осколки кости, Юрий быстро отвернулся.

Стараясь поддерживать ту силу, которую ощущал, когда вскочил, бежал сюда, помня долг свой командирский, Юрий, прикрываясь Рыбалкой, непослушными руками потянул невероятно тяжелый пулемет и отполз в ближайшую, от взрыва, ямку, перетащил коробку с дисками.

Выбрав, как ему показалось, удачную минуту, он торопливо прицелился и быстро нажал спусковой крючок. Пулемет сразу послушался, заговорил и, подрагивающий, как бы живой, будто поддержал, укрепил Юрия. Прижимая приклад к плечу, стараясь выдерживать линию прицела, Юрий почувствовал торжество силы. Дав длинную очередь, он, однако, отпустил пулемет,

укрылся в воронке. Лежал терпеливо, пока немецкий пулеметчик вел по нему стрельбу. Потом, услышав, что тот прекратил стрельбу, попробовал снова взяться за пулемет, но, едва поднял голову, рядом прошла очередь.

Юрий долго лежал молча. Сдерживая нервную дрожь, возбужденный поединком, он решил ждать подольше. Он рассчитывал, что чем дольше он будет молчать, тем менее бдительным будет немец. Может быть, даже подумает, что он, Юрий, убит. Выждав, Юрий снова приник к пулемету, прицелился. Дал очередь туда, откуда тот бил. Укрывшись в ямке, стал снова ждать ответа...

4

Комбат Павловский, заметив со своего КП, что залегла рота, сразу постарался помочь ей. Он приказал командиру соседней роты ударить во фланг противнику. Тогда же комбат, длинный, с длинным утиным носом и решительным подбородком, повернул плечи к щупленькому артиллеристу-капитану с чумацкими усами, командиру приданного артдивизиона:

— Выручай, капитан. Эх, гады пещерные,— прижали моих самоварами и пулеметами! Подняться не дают!.. Вон, видишь, кривое деревцо, там, слева рядом, — пулемет... Левее еще два, — один на два пальца левее кустарничка. Видишь?..

Капитан сосредоточенно поднял бинокль, стал вглядываться, расспрашивать о расположении пулеметов. Подергивая за длинный ус, взглядом несколько раз пересекал болото, определял расстояние. Молча и важно раскрыл полевую, большую для его роста, сумку, достал тетрадь, сделал какие-то свои заметки. Потом, позволяя комбату лишь наблюдать за ним, кратко приказал артиллеристу-телефонисту: «Амур»...

Взяв трубку, он, маленький, в больших сапогах, хриплым баском начал командовать «Амуру» прицел, угломер, заряд.

Впереди Юрия сначала по одному, прицеливаясь, потом пачками стали рваться снаряды. Они проносились вверху со стремительным, обнадеживающим свистом. Там, откуда били пулеметы, вспыхивали яростно-горячие огни, с громом взлетали коричневые гривы.

Вскоре начали бить орудия впереди, с немецкой стороны.

Юрий слышал, как все усиливается артиллерийский поединок. Вот уже в бой вступили наши тяжелые орудия. Они начали бить по немецкой артиллерии, — их взрывы ухали где-то далеко за позициями пехоты. От этих взрывов содрогалась земля. Слушая все нарастающий грохот впереди, Юрий словно становился сильнее. Вон сколько артиллеристов вступилось за них...

Наконец немецкие пулеметы замолчали. Когда Юрий, держа в руках пулемет, поднялся, сразу и не верилось, что они не заговорят. Но они молчали. И хотя вокруг по-прежнему кипела большая битва, Юрию казалось, что наступила тишина.

Проворный встал, привычным движением вытер локти, поправил пилотку. Оглянулся вправо, влево, махнул рукой: велел поднимать бойцов, вести вперед.

Но поднимать и не надо было. Увидев, как встали Юрий и Проворный, бойцы сами начали подниматься. По заросшей травой податливой почве, по кочкам, хлюпая в воде, а часто и увязая по пояс, снова пошли вперед. Юрий, стараясь идти в полный рост, идти так, как и надлежит командиру, сколько мог поддерживал в себе трудную смелость, которая нужна была, чтобы достойно идти вперед, вести других. Мучительно скрывая то, что противоречило этому в нем, он все же шел с опаской, чутко вглядываясь, вслушиваясь, снова невольно ждал страшного. Но он бежал, и падал, и вскакивал, а это страшное, к счастью, обходило его стороной.

Между тем приблизились к ольховому кустарнику. Вот-вот должны были вскочить в него. . .

И тут, когда до кустарника оставалось несколько шагов, к Юрию вдруг метнулось что-то сбоку. Юрий не понял, что это, но быстрый, ловкий Шарафутдинов рванул его к себе и бросился с ним на землю. Едва успели упасть — рядом ударил взрыв.

Юрий лежа, инстинктом понимая, что дорого каждое мгновение, торопливо отцепил от пояса лимонку, швырнул за ольховый куст. Туда, откуда бросили гранату. Едва она взорвалась, ухватил пулемет — дал туда же очередь.

Переждав момент, вскочил, держа перед собой пулемет, настороженно заглянул за куст. Вблизи, возле траншеи, лежали двое убитых в серых мундирах. Еще один немец выбирался из окопчика, намереваясь убежать, но, увидев пехотинцев, поднял руки.

Поодаль в кустах шла автоматная перестрелка. Потом оттуда привели еще нескольких пленных.

Вид у них был встревоженный. Глядели уже пугливо, рук не опускали. Будто просили пощады. Солдат с белой гривой, без пилотки и без мундира, в заляпанной грязью майке шевелил губами, что-то шептал.

— Человек: голова, два уха,— презрительно сказал Шарафутдинов.

— Молитву, что ли, он шепчет? — удивился Юрий, вопросительно глядя цыганскими, как у отца, глазами на Проворного.— Думает, наверное, что бог поможет ему? Вспомнил!

— Наш «бог войны» напомнил! — без улыбки ответил Проворный.

Юрий впервые видел их так близко. Он смотрел на них, как на незнакомые существа, — «вот они какие!». Подсознательно ощущая волнение оттого, что опасность едва миновала, он пытливо осмотрел солдата, которого взяли раньше: кто бросил гранату? Не этот ли?

Хотя стояли они перед ним впервые, он чувствовал к ним давнюю, укоренившуюся ненависть. Он ненавидел их с того дня, когда увидел свою мать под обломком стены, разрушенной бомбой с «юнкерса»...

Проворный отправил пленных в тыл.

5

Ближе к полудню рота с боем заняла ряд траншей на окраине леса. Вся земля здесь была изрыта бесчисленным множеством воронок. В неглубоких, оплетенных лозой траншеях на дне блестела болотная жижа. В этой жиже, в воронках и в траве валялось много трупов, ранцев из рыжей телячьей кожи, газеты, журналы с фотографиями.

Заняв весь лесок, рота вынуждена была на опушке остановиться. Бойцы начали быстро окапываться. Все время била вражеская артиллерия, но снаряды рвались где-то позади позиций пехоты.

Юрий тоже взялся рыть окопчик, вырыл в полроста, так, чтобы можно было укрыться. Знал, что стоять здесь будут не долго. Установив на краю окопа пулемет, он на минуту присел отдохнуть. Теперь, когда стало немного спокойнее и можно было собраться с мыслями, с чувствами, он впервые осознанно ощутил, как много пережил и преодолел за несколько часов. Пораженный огромностью того, в чем он сегодня принял участие, он был потрясен не менее тем, как, при всей великой силе армии, трудно на войне каждому человеку. И оттого, что он преодолел столько, он казался себе не совсем обычным, будто повзрослевшим, постаревшим вдруг. Будто уже совершившим что-то значительное.

Вместе с тем томило его и неприятное понимание того, что жизнь его не так прочна, как он думал всегда до нынешнего дня. Но он не дал воли этому пониманию, он с силой сжал его в себе. Незачем думать об этом...

Он снял сапоги, чтобы вылить из них неприятно хлюпавшую воду и выжать мокрые портянки. Ноги покрылись будто рубцами ржавчины, а портянки совсем порыжели.

Только успел переобуться, его позвал к себе Проворный. Младший лейтенант, как и Юрий, мокрый по пояс, с мокрыми рукавами, с чубчиком растрепанных и нависших на лоб глянцевитых каштановых волос, сидел около комля дерева, сломанного

снарядом. Верхушка дерева лежала здесь же, на траве. Перед Проворным были младший лейтенант из соседнего взвода и толстый, мрачный ротный старшина. Проворный сидел озабоченный, но с виду был бодрым: его карие глаза, как и прежде, казалось, посмеивались. Юрию было странно видеть его будничным. После такого героического пути.

Проворный теперь заменял командира роты, полчаса назад убитого миной.

Отпустив младшего лейтенанта, Проворный, не меняя выражения озабоченности, морща по-юношески чистый лоб, спросил Юрия о потерях. Юрий доложил, что отделение потеряло шесть человек: четверо ранены, а двое убиты.

— Подыщи ему пулеметчика,— сказал Проворный старшине. — Еще вот что, — Проворный снова повернулся к Юрию. Но здесь на них обрушился стремительный, оглушающий рев. Юрий невольно втянул голову: низко, почти цепляясь за верхушки деревьев, невероятно большие, черные, выскочили, пронеслись несколько самолетов. Он запоздало повел вслед за ними взглядом. Штурмовики.

Проворный озабоченно вернулся к прерванному разговору:

— Вот что,— мы получаем пополнение. Тебе тоже пришлем. Следи за ними, помогай, пока пообвыкнут. Многие из них, наверное, будут впервые. Так что надо иметь в виду...

Он спросил, сколько отделению Юрия надо патронов и гранат, и приказал, чтобы старшина немедленно все доставил ему.

— А ты молодец, Туровец,— как бы случайно произнес он напоследок.

Юрий, хотя принял эту похвалу внешне сдержанно, обрадовался ей, как трудно добытой награде.

— Хорошо держишься!.. Чувствуешь ответственность за дело: за пулемет лег. Это тоже хорошо... Продолжай в том же духе!..

— Ясно,— ответил Юрий, ободренный хорошим словом Проворного.

В таком настроении сержант вернулся в свое отделение, проверил, как оно разместилось.

Скоро подошло пополнение. Юрий смотрел на него уже как бывалый фронтовик, не замечая в себе этой перемены, и новички относились к нему тоже с доверием и уважением. Он распределил новичков. Одному их них Юрий передал пулемет Рыбалки.

Немного позади, где снаряды оставили только разбитые комли деревьев и путаницу веток, устраивались минометчики. Они устанавливали тяжелые зеленые плиты и трубы, подносили ящики с минами. Потом подошли лесной просекой полко-

вые артиллеристы, раскрасневшиеся, усталые; орудия глубоко увязали в болоте, их тащили волоком метр за метром.

Один из артиллеристов — ефрейтор — подбежал к Юрию, попросил закурить.

— Спички есть? — спросил Юрий, доставая из кармана пачку махорки. Он никогда раньше не курил, но сейчас почему-то захотелось курить.

Закурили. Ефрейтор сразу побежал к своим пушкам, где артиллеристы принимались копать ровики.

Снова потемнело вокруг, некстати пошел сильный дождь. Странно было видеть, что у многих на плечах появились плащ-палатки, что кто-то был способен на такие мелочные, никчемные заботы. Юрий был будто рад, что дождь льет, что можно мокнуть, ему приятно было слышать, как прилипает к плечам, холодит спину промокшая гимнастерка.

Еще шел дождь, когда снаряды противника начали часто рваться вокруг. В лесу пошел непрерывный, умноженный на разные голоса гул. Видимо от дождя, гул этот был приглушенный, будто отяжелевший. Когда взрывалось и гудело, подбежал, втянув голову в крутые плечи, комбат Павловский и передал приказ подготовиться к контратаке. С комбатом были два бойца — ординарец и, наверное, связной.

Дождь теперь был не сильный, и за сероватой пеленой его снова проступил грязный, ползучий дым от подожженного, видимо, снарядами торфа. Откуда-то появились впереди подвижные, но с нечеткими абрисами, будто нереальные фигуры. Фигуры эти все собирались, все подтягивались на невидимый рубеж. Исходный для атаки рубеж...

Осмотрев позицию взвода, комбат приказал перенести два пулемета на левый фланг. Юрий время от времени посматривал в сторону немцев, сплевывая воду, оплывающую с пилотки, со лба, текущую в рот, жадно курил. Взрывы возникали все чаще и чаще.

— Раньше не курил? — вдруг спросил комбат, услышав, как Юрий закашлялся.— Не кури... Здоровье испортишь,— сказал он поучительно, как старший младшему. — Ну, командуй!

Он послал связного с каким-то поручением в соседнюю роту, а сам рысцой направился к КП. Здесь он связался с командиром пулеметчиков и приказал перебросить четыре пулемета к Проворному.

Капитан-артиллерист с чумацкими усами, стоя за деревом около КП, наблюдал за взрывами своих снарядов, иногда он подбегал к телефонисту и передавал «Амуру» поправки.

— Видишь, капитан, где они собираются? — спросил комбат.

— Вижу. Пускай, пускай собираются! Я сейчас вермишель из них сделаю!

Юрий из мелкого окопчика видел, как вражеских пехотинцев, поднявшихся и движущихся сюда, к леску, вдруг охватили дым и пламя взрывов. Били орудия приданного дивизиона, начали бить полковые батареи, минометы. Несколько десятков солдат поднялись, бегом двинулись на роту Проворного. Не добежали. Заметно поредевшими рядами остановили бег, залегли. Начали отползать назад.

Потом батальон попробовал пробиться дальше. Но немцы держались по-прежнему упорно...

Сидя в грязном окопчике, над которым роем вились надоедливые комары, Юрий снова видел, как под хмурым небом впереди штурмуют врага «ИЛы»...

Пришел старшина и объявил, что подвезли термосы с обедом. Юрий приказал выделить двух человек для получения обеда... Только сейчас он вспомнил, что с вечера ничего не ел.

Но есть и не хотелось. До того ли было ему, если его наполняли такие непривычные, непостижимо огромные впечатления.

Он не заметил, как подошел Проворный. Присев на край окопчика, спустив в окопчик ноги, Проворный минуту прислушивался к близкому артиллерийскому грохоту, который все усиливался позади.

— Слышишь? Артиллерия начинает... Только что звонил комбат — надо готовиться. Скоро пойдем, учти!..

Снова начинал сеять дождь.

6

Когда передовые подразделения отдалились, генерал-майор Щербатюк приказал перенести НП на новое, заранее подготовленное место. Он взял папку с картой и, спустившись с пригорка, на котором был прежний НП, с группой штабных офицеров пошел вперед.

Под ногами прогибалась заболоченная земля, затянутая разнотравьем, хлюпала вода. Почти на каждом шагу были видны следы недавней битвы — воронки от снарядов, от бомб, от мин, куски проволочных заграждений, брошенные немецкие противогазы, похожие на термосы. Повсюду валялись трупы.

Все время проносились самолеты — одни в сторону переднего края, другие возвращались назад. Проносились большими и маленькими стаями, повыше, возле туч, и низко, над самыми дымами битвы.

Шли минометчики, сгибаясь под тяжестью труб и ящиков с минами. Напрягаясь изо всех сил, лошади тащили тяжелые повозки...

Генерал, грузный, рыхловатый, с животом, наблюдая, как несколько артиллеристов двигали пушку, увязшую почти до оси, сказал начарту [1] дивизии:

— Отстает твоя техника... Успеешь ли вовремя подтянуть все стволы?

Начальник артиллерии, смуглый чернобровый подполковник, ответил:

— Все противотанковые и легкие успею.

Под НП была использована вражеская траншея в кустарничке, на чуть заметном возвышении. НП не нравился генералу, но найти на этом болоте место получше было невозможно.

— Ну, как связь? — спросил генерал у связиста-лейтенанта.

— Связь установлена, товарищ генерал...

Место, выбранное для НП, подвергалось бешеному артобстрелу. Со всех сторон НП рвались снаряды и мины, разбрасывая болотную грязь. Возможно, не надо было устраивать НП так близко от врага, но Щербатюк учел то, что полки наступают...

— Свяжись с полками, уточни обстановку,— приказал он подполковнику — начальнику разведки.

Генерал готовил новую атаку на вражеские позиции. Дивизия заняла первую линию врага, а местами начала штурмовать вторую. Однако противник еще крепко держался, особенно на центральном участке, где он остановил полк Сибиряка. Генерал стал говорить с Сибиряком сам.

— Контратакует Сибиряка! .. Вот скаженный! — Он обратился к начарту: — Прибавь Сибиряку дивизион. Только один! Остальных готовь к атаке...

Щербатюк снял фуражку, вытер лысину, медную шею.

— Ну денек! .. Вгрызаешься, как в породу, в час — шаг.

Генерал стал смотреть на поле боя. Была минута, как казалось комдиву, необычного в этот горячий день затишья в его дивизии. Правда, назвать это затишьем мог только разве такой терпеливый, привыкший к боям воин, как Щербатюк. Как и прежде, все вокруг гремело от взрывов и выстрелов пушек, в промежутки между которыми врывалась скороговорка пулеметов. Но генерал все же был прав: это было относительное затишье. Затишье во время бури. Больше половины пушечных стволов, стоявших среди кустарника на занимаемом дивизией участке, молчали. И боевые полки, кроме Сибиряка, тоже молчали.

Поблизости от генерала, в соседнем окопчике, находился наводящий от авиачасти, приданной дивизии, рослый, флегматичный с виду лейтенант. Он сидел возле рации, все время

---

[1] Начальнику артиллерии.

поддерживая связь с полком, и, казалось, что-то тихо насвистывал.

— Через двадцать одну минуту начнем атаку, — сказал командир дивизии, подойдя к нему. — Передай своим, чтобы были наготове.

— Хорошо. Сейчас передам.

— Сигнал для обозначения переднего края — две белые ракеты... Не перепутай квадраты... Начальник разведки уточнит тебе обстановку.

Щербатюк позвал подполковника.

Неподалеку от пригорка шли повозки со снарядами. Еще несколько тащилось позади них. Кони увязали. Ездовой передней повозки размахивал плетью и кричал что-то на коня, напрягавшегося изо всех сил. За повозкой шли, подталкивая ее, два пехотинца.

— Медленно, други мои, наступаете,— заметил генерал пехотинцам, когда те, уже въехав на островок, поздоровались с ним.

— Так болото же, товарищ генерал-майор... Вот выйдем на твердую землю, тогда — аж пыль заклубится! — оптимистически ответил один из солдат.

— «Выйдем на твердую»... Сколько же вы будете так выходить!

Генерал взглянул на часы,— оставалось семнадцать минут. На НП Щербатюк связался с командирами полков, проверяя, все ли подготовились, сверил свои часы с часами начарта.

— Что же, дорогой, полки готовы... Тебе осталось шесть минут.

Начальник артиллерии знал, что, если генерал сказал: шесть,— значит, шесть, ни секунды меньше или больше. Щербатюк был, при всей своей медлительности, человеком удивительно точным.

Ровно через шесть минут загрохотали пушки. Некоторые из них стояли так близко от НП, что телефонисты и летчик вынуждены были прикрывать уши ладонями, чтобы слышать ответы в трубках. Над позициями противника сплошной стеной заклубился дым. Оттуда ответили на нашу стрельбу несколькими залпами, — полдесятка снарядов легло около огневой позиции ближайшей батареи.

Командир дивизии подошел к летчику:

— Поднимай, лейтенант, в воздух своих летунов.

Штурмовики пронеслись так низко, что рев их заглушил все звуки войны. Километра через два с половиной они развернулись и пошли вдоль переднего края, расстреливая противника из пулеметов и пушек. Отсюда было видно, как самолеты

выбрасывают острые язычки пламени. Время от времени слышались взрывы бомб...

— Пошла, царица полей и болот! — сказал подполковник-разведчик, глядя вперед.

Там были видны пехотинцы, упорные пехотинцы с мешками за плечами, с оружием; они постепенно отдалялись. На их пути нередко взлетали дымы взрывов, но люди не останавливались. Медленно и уверенно они все шли и шли...

Вот они уже добрались до пригорка, и здесь волна пехоты, как морская волна, ударившись о берег, остановилась. Щербатюк, что, не сводя глаз, следил за своей пехотой, начал волноваться,— по щекам пошли белые пятна. Он вынул кисет, хмуро затянулся едким дымом самокрутки.

С этим островком придется повозиться. Не так-то просто вытурить оттуда врага. Щербатюк беспокоился, как бы его дивизия, провозившись с пригорком, не отстала от соседей. Это было бы для него самым большим позором. Он представил, как бы отозвался на это известие командарм: «Я так и знал... Он только хвалиться мастер!»

Генерал вызвал авиацию, и над островком появились наши пикировщики. Сменяя друг друга, они бросались сверху на невидимые отсюда цели. Не переставая, по тем же местам била артиллерия. Все вдали затянуло дымом.

Щербатюк приказал вызвать к телефону Скоробогатого, полк которого правым флангом наступал на пригорок, но лейтенант-связной устало ответил, что связь с полком прервана.

— Третий раз! Только что исправили, и снова...

— Хотя бы и десятый раз, дорогой... Мне нужен Скоробогатый!

Лейтенант хотел сказать, что там, на линии, уже есть солдат, которого он недавно послал, но сдержался. Взглянув на генерала, связист направился рысцой вдоль провода вслед за бойцом.

Возле кустов ольшаника лейтенант увидел побелевшего телефониста, тот полз возле провода, волоча окровавленную ногу.

— Снаряд... близко...— прошептал боец с усилием.— Нога... как в огне...

Он сам наспех сделал себе перевязку, видно, сразу после ранения. Лейтенант сказал, что скоро вернется, и торопливо побежал дальше. Поблизости он нашел обрыв, — возле провода чернела воронка, наполовину заплывшая болотной грязью. Связист натянул провода с обеих сторон, обчистил ножом порванные концы и, соединив их, обмотал клейкой изоляционной лентой.

Через минуту Щербатюк слушал быстрый говор Скоробогатого. Наступление на правом фланге затормозилось, и это ставило под угрозу фланг Сибиряка.

— Дзоты? — переспросил генерал-майор, багрово краснея.— Сочувствую! Такая неприятность! ..

Все, кто знал командира дивизии, чувствовали, что подступает взрыв гнева. У добродушного Щербатюка ровное, доброе настроение иногда резко прерывалось, сменялось взрывом гнева. В такие минуты генерал становился горячим и несдержанным, — будто все, что копилось много дней, сразу взрывалось.

Этих взрывов боялись все в дивизии.

— У тебя, душа моя, артиллерии на целую дивизию! Больше, чем на дивизию! Такая сила! И ты с такой силой не можешь закрыть им пасть?.. Нелегко? Сочувствую! — в голосе комдива чувствовалось возмущение.— Но если бы легко было, нам здесь нечего было бы делать! ..

С самого детства он жил нелегко. В пятнадцать лет, обливаясь горячим потом, уже гонял вагонетки как откатчик. Через два года стал сам добывать уголь, в полутемной пещере врубаясь в неподатливую твердь. Шахтеры никогда не жаловались на трудности, он тоже не говорил об этом. Более того, он не понимал, что такое легкая жизнь. Бывший угольщик из-под Новочеркасска, настойчивый и упрямый, он с юных лет сохранил привычку спокойно преодолевать все трудности. Хорошо зная, что Скоробогатому действительно трудно, он чувствовал неприязнь к командиру полка, который пожаловался.

— Не понимаю этого человека! Гордости мало! Я бы разбился, но не стал жаловаться, а у него вечные жалобы. Баба! ..

Генерал связался с Сибиряком.

— Поверни две крайние роты и дивизион артиллерии направо — помоги Скоробогатому.

На какую-то минуту он подумал, как оценит сегодняшние действия командарм,— при воспоминании о командарме Щербатюку стало беспокойно. Вспомнились слова Черняховского: «...А что вы скажете, товарищ генерал... справитесь?..» Он подумал, что Черняховский, видимо, внимательно следит за его дивизией...

Командир дивизии подошел к летчику.

— Пять «Ильюшиных» на правый фланг,— он назвал квадрат.

Позвонив Скоробогатому, генерал-майор приказал ему обозначить передний край.

ГЛАВА II

1

Туровец остановился, вынул из кармана часы и чиркнул зажигалкой. В шевелящемся свете обозначился кружок циферблата.

«Опоздал!»

Обычно в это время он был у радиоприемника, слушал сводки Информбюро. Сегодня же Туровец задержался — партийное собрание в отряде, из которого он сейчас шел, затянулось. «Ну что же, узнаю от Габдулина», — подумал Туровец, дунув на зажигалку. Он замедлил шаг.

Тропинки почти не было видно. Меж деревьев, молчаливо теснившихся вдоль узкой дорожки, царила такая тьма, какая может быть лишь в лесу, и то разве летним вечером. Только потому, что Туровец хорошо знал дорогу, он шел не сбиваясь.

Подходя к лагерю, он еще издали услышал гомон и удивился. В этот час в лагере всегда было тихо. Значит, что-то случилось, и к тому же — необычное. Он заторопился, стал нетерпеливо вслушиваться. Скоро в общем шуме выделились отдельные более сильные голоса, но, как он ни старался, слов нельзя было разобрать. Все же слышно было, что шум этот радостный, ликующий. Туровца охватило предчувствие такого счастья, что он едва не бросился бежать.

«Неужели началось?»

Неподалеку от лагеря Туровца остановил часовой. Он окликнул из темноты, невидимый среди деревьев, и, только когда Туровец отозвался, подошел ближе.

— Что это, брат, у нас там расшумелись, как на маевке?

— Не знаю, товарищ комиссар... Да там уже давно так — наверное, с полчаса... Что-то странное творится. Эх, а у меня, как назло, — это дежурство!.. Да пусть бы хоть смену прислали, а то они могут и забыть...

Туровец заторопился к лагерю.

Возле землянок стояли группками люди, весело переговаривались. Поодаль кто-то заводил песенку,— человек, видимо, был подвыпивши. Туровец, никого не расспрашивая, направился прямо к штабной землянке, надеясь обо всем узнать от Ермакова. По отдельным словам, которые он ловил на ходу, комиссар уже догадался, что началось наступление. От одной группки донеслось слово «Витебск», и он подумал, что наступление идет под Витебском. Но только ли под Витебском? Комиссар уже не шел, а бежал.

Кроме комбрига в землянке теснились еще несколько человек. Как и во всем лагере, здесь было необычайно оживленно

и шумно — говорили громко, перебивая друг друга, смеялись. Когда комиссар вошел, весь этот гомон на минуту затих.

— Эх ты, информбюро! — сказал Ермаков с торжественной улыбкой на полноватом лице.— Сообщал, сообщал, а самое главное проморгал! ..

— Началось, значит?!

— А ты еще не знаешь? — удивился Габдулин, глядя косыми глазами почему-то не на комиссара, а на товарищей.

— Да, комиссар, наступление! — произнес Ермаков. Таким возбужденным Туровец видел его впервые. — Большое наступление. Под Витебском! Третий Белорусский и Первый Прибалтийский берут фрицев в клещи. С северо-запада и с юга.

Ермаков по-военному отрывисто, с почти детской радостью стал передавать содержание сводки. Комбриг запомнил ее, кажется, слово в слово.

— Витебск еще не заняли?

— Нет, пока об этом не передавали. Но займут!

— Не сомневаюсь, дорогой Дантон! .. Слушай, командир,— спохватился Туровец,— по такому случаю надо бы митинг. Собрать людей.

— Опоздал,— ответил за комбрига Дрозд, молча стоявший среди командиров.— Мы здесь уже сделали... Да и без митинга люди теперь сами того... митингуют...

— А в другие отряды конных послали?

— Послали... Я, признаться, на радостях не догадался, так прибежал Крайко: «Комбриг, говорит, прикажи людям передать эту новость в другие отряды». — «Правильно, — говорю. — Лети в «Родину». Только без лишнего шума — чтобы не перепугал всех ночью...» Он уже давно там... А ты его не встретил? — спросил Ермаков.— Не видел? Ты по тропинке шел? И он по ней, не иначе,— как же вы могли разминуться?

— Видишь, комиссар, и тут ты опоздал. Но в одном ты все же не опоздал.— Габдулин хитровато подмигнул Ермакову и откуда-то из угла вынул бутылку самогонки.

2

Комбриг вдруг спохватился,— на лице его появилось виноватое выражение.

— Тебе, Ничипор Павлович, повезло еще на один подарок... Прости, что не сказал сразу. Угадаешь?

Какой еще подарок? Может... письмо от Юрия, которого он давно ждет? «Нет, видно, что-то другое»,— подумал он, больше всего, однако, желая, чтобы это было именно письмо.

— Нет, видно, не отгадаю...

— От сына! Вот! — Ермаков подал Туровцу сразу два конверта.— Из штаба соединения прислали...

Комбриг заметил, как дрогнула протянутая рука Туровца. Выражение счастья, осветившее в первый момент лицо комиссара, сменилось беспокойством. Туровец заметно волновался. И это так подействовало на всех, что в землянке сразу стало тихо. Все следили за комиссаром. Он развернул один треугольник и жадно пробежал глазами несколько торопливых, написанных зеленым карандашом строк: «Пишу с дороги... поезд везет нас в ту сторону, где ты... скоро, наверно, и я начну воевать... будем вместе...» Нетерпеливо схватив главное, успокоившись, Туровец стал читать письмо во второй раз, теперь медленнее, слово в слово. В висках горячо стучало: «Значит, и Юрий — на войне».

Он думал об этом и с гордостью, что у него сын уже на фронте, и с тревогой. Дорогой мальчик, кто лучше меня знает, как тебе будет тяжело! И опасно. В такие молодые годы!..

Он осторожно открыл второй конвертик — письмо было написано недели за две до первого. Юрий писал о своей жизни в учебном полку.

— Юрий — на фронте... — Туровец сказал это сдержанно, но многие почувствовали, как он взволнован.

Словно отгоняя тревогу, Туровец решительно поднялся.

— Надо зайти в типографию. Как там с газетой, успеют ли напечатать до рассвета? Район ждет...

— Все-таки одно дело мы, выходит, прозевали!.. — признался Ермаков.

Туровец вышел. Когда остался один, подумал: «Юрка, видно, тоже наступает там...» В типографии сводку уже кончили набирать, редактор газеты что-то писал. Листок был весь исчеркан.

— Ничего не получается,— сказал в отчаянии редактор, увидев комиссара. — Не могу! В сердце — огонь, а здесь пустота! Протокол! Квас!..

Туровец сел за столик. Он был хорошим оратором, и его страстные, умные выступления сильно действовали на людей. С карандашом в руке он чувствовал себя менее уверенно,— на бумаге слова, казалось, теряли свою зажигательную силу. Кроме того, надо было написать кратко, очень сжато, о главном. Как в скупых выражениях высказать то большое, богатое чувство, которое волнует его?

Да, газетчик говорит правду — нужны какие-то особые слова... Туровец несколько раз начинал, но, написав две-три строчки, зачеркивал.

Наконец к нему пришло: «Сбылось! Этого дня мы ждали три долгих года, ждали с неугасимой верой в помощь Родины,

родной армии...» В его памяти обрывками прошли эти три года — последними ожили черные дни блокады.

Вспомнилась Нина, — где она, что с ней? Нина, Нина!.. Какие мучения терпишь ты, может быть, в эту минуту? Эх, как не повезло! Да, великими и — трудными были эти три года!

Туровец почувствовал, что нашел самое существенное, самое важное. Писать стало легче.

— Бери,— отдал он листок редактору,— и быстрее, как можно быстрее печатай номер.

Выйдя из землянки, комиссар остановился. Плыла ночь, обычная, похожая на многие ночи. Где-то взошла луна, но в лесу ее не было видно. О том, что взошла она, можно было догадаться по голубым отсветам, которые плавно шевелились в верхушках деревьев, да по тому, как вокруг, даже под покровом деревьев, посветлело. В прогалинах мигали неяркие звезды.

Туровец представил: где-то под Витебском гремят пушки, стихают пожары в первых освобожденных деревнях, из убежищ выходят женщины и дети... Он почти увидел Юрия: идет по улице деревни, обветренный, усталый, зоркий. Рука отца невольно дотронулась до правого кармана гимнастерки, где лежали оба конверта. Захотелось снова взять письма, перечитать..

Как он, Юрий, быстро вырос. Кажется, не так давно часами бился над простенькими арифметическими задачами, с радостью встречал в пионерлагере родителей, с которыми не виделся целую неделю.

Давно ли переживал он, что не подошел в школьной команде для вратаря. Рост маловат! Туровец вспомнил, как сын увлекался в школе футболом... Юрка тогда нашел свое место в обороне, он стал хорошим центром защиты — быстрый, ловкий, проворный.

Мать часто упрекала его: где набраться обуви. Да и отцу были хлопоты: и раньше Юрий был средним учеником, а теперь часто стал приносить тройки...

Вспомнились поездки на охоту. Для Юрия эти поездки — если отец брал его с собой — были настоящим праздником. Как он любил ходить с ружьем по лесу, упорный, терпеливый, как любил спать с охотниками у огня! Сколько тревог было тогда матери: чтобы не простудился, чтобы не ранил себя...

Давно ли это было? А сегодня Юрка уже солдат...

Вот она, настала и его солдатская пора. «Будь же настоящим солдатом, сынок».

«Будь счастлив, Юрка!»

Туровец подумал, что и им надо перейти в наступление. «Мы же тоже стоим на Минском направлении». Надо поговорить с Ермаковым!

Но когда он шагнул в землянку, увидел, что на столе, над которым склонился комбриг, лежит карта и Ермаков линейкой что-то измеряет на ней. На одном конце карты, чтобы она не топорщилась, стояла кружка, из которой недавно пили водку.

Командиры, стоявшие рядом, переговаривались и тоже разглядывали карту.

— Хочу сделать подарок Красной Армии. К встрече... Садись, комиссар, присоединяйся...

3

Как это случилось, Василь и сам толком не знал.

Когда Ермаков дал ему поручение ехать в отряд, Василь бросился к коню. Мигом оседлал его, взлетел в седло и помчался. Он был так счастлив от того, что услышал, что несет такую новость, что уже не видел и не слышал ничего вокруг. Он, казалось ему, не скакал на лошади, а летел вместе с ней, над землей, в захмелевшем от счастья мире.

Он тоже был захмелевшим, и от радости, и от почти полного стакана самогонки, щедро налитой комбригом. Захмелев, он чувствовал себя богачом, который может сделать богатым на всю жизнь каждого, кого захочет. Лишь бы захотел, осчастливит одним словом! А он хотел: и обычно доброжелательный, в этот вечер, в безумии безудержной радости, он был как никогда готов радовать всех. Прежде всего, конечно, самых близких сердцу.

Удивительно ли, что конь, который сначала направился было на тропинку, ведущую к отряду, вскоре свернул на другую, узкую, извилистую, ведущую в госпиталь. Надо ли очень удивляться, что в эти минуты Василь совсем не помнил, что с Валей «все кончено», как он твердо думал почти целый месяц. Она снова была такой, как до той неприятности, до беды, будто никто и не стоял между ними.

Он подлетел к ее землянке и, соскочив с коня, постучал по небольшому квадратному стеклу.

— Валя, Валя! — Он поправился: — Залесская!

Василь отступил от оконца и стал с нетерпением ждать. «А может, ее здесь нет?» — вдруг забеспокоился парень. Действительно, почему он думает, что она обязательно в землянке, а не на дежурстве? Но открылась дверь, и Василь узнал: она! Ее фигура четко вырисовывалась в голубом лунном свете.

— Кто здесь? Ты?! — Голос девушки задрожал, но в следующую минуту в нем уже послышались холодноватые нотки: — Что это такое вдруг привело... вас... ночью?

Богатый, готовый щедро одарять, Василь не заметил ни этого холодка, ни «вас».

— А вот отгадай! Отгадай!

Девушка по голосу почувствовала, что случилось что-то необычное. Но все же выдержала гонор.

— Я не цыганка... Не гадаю...

— Большая новость! Т-такая новость!..

— Началось?!

Она и просила и требовала. Как ни гордо и как будто холодно она ни говорила, Василь уловил нетерпение в ее голосе. И это покорило его.

— Началось! Наступление! — выпалил он, безмерно счастливый, что может так порадовать самого дорогого человека. — Под Витебском! Прорвали оборону на фронте! Протяженностью тридцать километров. Пробились до пятнадцати километров вглубь!

— Откуда ты это знаешь?

— По радио приняли... — И он, чувствуя потребность поделиться всем, без остатка, торопливо объявил, что заняли более ста населенных пунктов, город Шумилино освободили, перерезали дороги на Полоцк и на Витебск!..

— Ух, как много! — смущенно произнесла Валя и — чего уж Василь никак не ждал — вдруг заплакала. Василя это привело в замешательство.

Но уже кто-то другой прибежал из штаба и возвестил на весь госпиталь: «Наступление!!» Тихий лесной поселок сразу ожил. Неподалеку стали собираться люди. «Где... какое наступление?! Орша?!» — выкрикнул кто-то, пробегая мимо Василя и Вали к шумной толпе.

Как ни взволнован был встречей с Валей, Василь опомнился, вспомнил, что его ждут. Сообразил испуганно, что может так случиться, будто он не выполнил приказа. Пока он тут занимается личными делами, известие о наступлении может принести туда кто-нибудь другой. Кто-либо другой, а не он,— и если это дойдет до комбрига, как это будет выглядеть? И вообще будет стыдно, если он опоздает!

— Валя, я п-поеду! — сказал он торопясь и все же виновато. — Мне, понимаешь, надо в «Родину»...

Не прощаясь, он повернул коня. Повернул с тем же ощущением вины перед нею: пусть не обижается, поймет, что он не может больше задерживаться. Валя вдруг подбежала к нему, легко и быстро, почти бегом пошла рядом.

— Достанется мне! П-попадет на орехи! — весело признался Василь.— Не попало за боевые дела, так попадет за это.

— Ничего не будет,— успокоила она. Сказала уверенно и покровительственно, как и прежде, — будто старшая, человек более опытный.— Хорошо, что сделал так!

Словно подтверждая значение своих слов, Валентина задержала его сильной рукой, привлекла его к себе и поцеловала.

В эти минуты он был безмерно счастлив. Любовь, принесшая ему столько горечи, сразу заставила его забыть обо всех огорчениях.

С легким сердцем вскочил он на коня, не оглядываясь помчался в отряд.

ГЛАВА III

I

Когда началась артподготовка, Черняховский вышел на наблюдательный пункт.

На всем пространстве, где был враг, взлетали столбы земли, вспыхивали огни, ползли тучи дыма. Несколько минут он взволнованно оглядывал простор, слушал рев и клокотание, наполнявшие все вокруг. Но и в этот момент, когда то, что он видел и слышал, было таким новым, должно было бы так радовать, лицо его, со следами многодневного недосыпания и напряжения, было по-прежнему озабоченным.

Все время, пока он стоял на НП, то ли подавшись вперед, приблизив глаза к окулярам стереотрубы, в кружке которых все было очень близким, резко очерченным, то ли отступив от стереотрубы, выпрямившись, смотрел прямо в амбразуру, его мучило неотступное, неприятное беспокойство. Беспокойство это жило в нем давно, как предчувствие, со вчерашнего дня оно стало реальностью, одной из самых больших его забот. Его породила разведка боем, которую вели вчера его войска на некоторых участках фронта.

За ночь Черняховский попробовал сделать все возможное, чтобы учесть то, что обнаружила разведка: перенацелил часть артиллерии и авиации, усилил части, наступавшие в полосе магистрали, подтянул вперед некоторые дивизии на правом крыле. Но тревога, вызванная неудачей боев на магистрали, не оставляла его. Да и как было не тревожиться, если сзади, в полосе магистрали, стоял, ждал, когда откроется путь, 2-й гвардейский танковый корпус, а еще дальше — затаившаяся в лесах возле Гусина 5-я гвардейская танковая армия, которым отводилась такая важная роль во всей операции. И которые надо было как можно раньше вывести на оперативный простор.

Беспокойное ночное раздумье над тем, что сообщила разведка боем, все больше убеждало командующего, что положение требует иного решения относительно 2-го танкового корпуса. Утром он вызвал к себе генерала Родина — командующего бронетанковыми войсками — и приказал перебросить корпус в леса на север от магистрали, с тем чтобы ввести его в прорыв

через Остров-Юрьев, Межево, через заболоченный район, где оборона немцев оказалась более податливой.

Все эти заботы волновали Черняховского сейчас, когда он наблюдал, как работает артиллерия. К беспокойству, оставшемуся от вчерашнего дня, от ночи, прибавилось новое: опытным, пристальным вниманием он отметил, что артиллерия немцев и сегодня сопротивляется успешно, что артподготовка здесь, в районе НП фронта, недостаточно эффективна. Как беду и как многозначащий факт он воспринял то, что прямо перед ним немцы одну за одной накрыли три батареи. Были серьезные основания полагать, что удар для немцев,— во всяком случае, здесь, в полосе магистрали,— не был совсем неожиданным. Похоже было: заметили концентрацию артиллерии, засекли батареи. Ждали, похоже...

К этому примешивалось недовольство тем, что уже заметил на рассвете и что с НП увидел снова: день был пасмурный, тучи висели низкие, дождевые — авиации не развернуться в полную силу. В памяти засело то, что сообщили утром: в полосе армии Крылова день и ночь шли дожди. Все залило, размыло дороги, и это — в болотистом, мокром краю, где и без того убивало бездорожье. Надо же — погода подкинула такую неожиданность!

2

Беспокойство о том, как идет артподготовка на других направлениях, заставило его вернуться в блиндаж НП. Не узнали ли, не пронюхали немцы, что им готовилось? — вдруг снова, сильно встревожило его. Он подошел к телефонам, связывающим его со всеми соединениями, управлениями, штабом фронта.

Из армий сообщали, что артподготовка везде началась вовремя, артиллерия действует успешно. Сообщали, что на многих участках вражеская артиллерия подавлена. Едва он, немного успокоившись, встал от телефонов, в блиндаж вошел начальник оперуправления генерал Иголкин, сказал, что в армии Людникова три полка 19-й гвардейской дивизии бросились в атаку за час до утвержденного командующим часа. Артподготовка приостановлена. На час раньше, чем утверждено графиком. Оперуправление выяснило обстановку: до того, как сообщение это подтвердилось, стало известно, что в наступление пошел уже весь корпус генерала Безуглого.

— Как идет наступление? — коротко спросил командующий.

— В полосе 19-й дивизии захвачены два ряда траншей.

По взгляду начальника оперуправления он видел, что тот ждет указаний, но ничего не сказал. Наклонившись над оперативной картой, разостланной на столе, внимательно присмот-

релся к тому месту, где это происходило. Обвел его красным карандашом.

Какие указания могут быть? Разве он знает обстановку так, как знают там? Безуглый, Людников — опытные, умные командиры. Если они считают, что обстановка позволяет,— с богом! Вся ответственность на них, они понимают. Понимают: если они поспешили — снисхождения не будет! .. Людников это хорошо знает: не первый день вместе, — как-никак вместе прошли из-под Воронежа до Днепра и дальше, он, Черняховский,— командующим армией, Людников — командиром корпуса в его армии. Может быть, здесь такая же ситуация, которая была у него, тогда командующего 60-й армией, после Курской битвы. Армия его в то время только называлась армией, но, когда немцы сняли часть своих войск, он почувствовал, что настал момент, не использовать который — преступление. И он дерзнул — остатками армии ударил, прорвал оборону, посадил пехоту на автомашины, вывел армию на оперативный простор. Открыл дорогу танковым войскам, вместе с которыми пробился к Десне.

Людников тоже знает, что значит — выгодный момент. И как важно не упустить его... Вот и начинают ломаться планы. Судьба самых совершенных планов, к сожалению или к счастью, такова. Черняховский встал, дал знак начальнику оперуправления, что на этом разговор окончен. «Гладко дело на бумаге»... А ходить — по земле!

Сидеть в блиндаже было тягостно, и он снова вышел на НП. Приближалось время, когда к артиллерии должна была присоединиться авиация. Он несколько раз нетерпеливо взглянул на часы,— намеченный для авиации час подходил, казалось, медленно. Может быть, это чувство было и у летчиков, потому что первая группа пикирующих бомбардировщиков появилась над вражескими позициями на две минуты раньше. Немцы заметили их только после того, как они сбросили первые бомбы, когда над дымом артиллерийских взрывов выросли горы черной земли.

Хмурое небо впереди пронизывали красные нити трассирующих пуль, пятнали частые дымки выстрелов немецких зениток. Но самолеты, которых с каждой минутой становилось все больше, кружились, бросались на невидимые отсюда цели, поднимали под собой горы развороченной земли. Действовали бомбардировщики, легко, стремительно кружили истребители, охранявшие, помогавшие им. Действовали ближе, дальше, совсем далеко. Небо, казалось, шевелилось...

Было время, когда артиллерия смолкла и стала слышна пулеметная стрельба, сначала с нашей стороны, потом все больше с немецкой. По ту сторону, должно быть, вылезали из блинда-

жей, занимали позиции. Черняховский ждал. Вскоре на вражеские позиции снова обвалился грохот, снова закипели огонь и дым. Одну минуту, две, три...

Потом вперед двинулись танки. Танки и пехота.

3

Весь этот день Черняховского томило тягостное ожидание. Он не любил копаться в своих чувствах; человек деятельный, озабоченный множеством важных, неотложных дел, он привык заниматься тем, что необходимо было решать, а чувства, совершенно ненужные сейчас, упорно лезли к нему в душу, волновали расслабляли. Что бы он ни делал, его волновало ощущение того, что со вчерашнего дня, а особенно с сегодняшнего утра, с артподготовки, он и все его войска, которыми ему поручили командовать, вступили в новую, долгожданную и вместе с тем — самую ответственную пору деятельности. Его волновало понимание того, что с началом этой поры в его жизни начинается самая строгая, суровая проверка всего, что он делал, чем жил многие дни. Проверка его стараний, расчетов, предусмотрительности, проверка его командирской ценности.

Он надеялся, что наступление в целом будет успешным: то, что он знал о силах противника из разведданных, что знал о своих войсках, о подготовленности к такой сложной операции, давало ему основания считать: наступление в целом должно быть успешным. Он был уверен, что подготовка проведена в целом неплохо, есть, по внимательным подсчетам, достаточный перевес в людях и особенно — в технике. Есть способные, опытные командиры. Но это все же не давало ему покоя. Он помнил, успех зависел не только от него. Зависел от многого и — от многих. Разве мог он быть абсолютно спокойным хотя бы потому, что даже среди тех, с кем он хорошо познакомился, видел: есть богато одаренные, с глубоким, творческим умом, в лучшем смысле командиры, и есть — недалекие, без божьей искры исполнители. Есть, наконец, и такие, которых он не смог как следует распознать. И в которых, хотя бы по этой причине, не может быть вполне уверен. А кроме этого — кто может сказать, что у него не было никаких ошибок в расчетах, в выборе, например, мест для прорывов? И кто может сказать, как дорого обойдутся его и других командиров ошибки и просчеты? Которые начнут открываться только сейчас, когда не все можно исправить. Или — исправить с потерями, размер которых невозможно предвидеть.

Он всегда был нетерпеливым по натуре. Эта его нетерпеливость каждый раз давала себя знать перед важным событием. Здесь она особенно заявляла о себе: впервые приходилось ему

делать такое сложное, трудное и вместе с тем — ответственное дело. Его нетерпение, росшее день ото дня, по мере того как приближалось наступление, теперь достигло своей наивысшей точки. Это был самый трудный, самый напряженный для него момент,— может, не только за все дни, но и за всю жизнь.

Все собралось, давило вместе: и волнение о правом фланге, где был Людников, и беспокойство о том, как начинают Крылов, Галицкий, Глаголев, и настороженность от неведения: как там, по ту сторону. Где по обеим сторонам магистрали, закопавшись в землю, за бетоном и железом сидел со своей упорной 78-й штурмовой дивизией Траут; где вдоль всего фронта надеялись удержаться другие немецкие дивизии.

Как оно пойдет?

Первые донесения, поступающие из управлений и армий, казалось, не должны были бы вызывать в нем тревогу. Подготовка, проведенная артиллерией и авиацией, судя по данным, прошла в целом организованно, успешно, войска начали наступление вовремя, в соответствии с планом; не медля, используя то, чего добилась артиллерия. Двинулись вслед за огневым валом, делали все, чтобы не дать врагу опомниться.

Но хотя будто бы и не было причин для новых тревог, напряжение в нем не только не спадало, но все усиливалось,— достигало, можно сказать, наибольшей своей силы. Причиной его беспокойства было то, что именно в этот момент, чувствовал он, должно будет решиться все, что было для него самым важным, все, чему он отдал столько сил и что стало смыслом его жизни.

Оттого что он так нетерпеливо, напряженно ждал, время, казалось, тянулось невыносимо медленно. Чтобы скоротать тягостное ожидание, подогнать время, Черняховский то садился за стол, брался за работу, то все бросал, быстро, стремительно ходил по комнате. Будто нарочно, каждый раз, когда он подходил к столу, на глаза ему попадались телефоны, — руки сами тянулись к ним, но он сдерживался. Он знал, что в это время все командующие армиями захвачены своими хлопотами. И кроме того, он знал, что никто из командующих ничего важного, существенного пока не скажет. И что самое главное — ему сейчас нет необходимости говорить: он ничем не может помочь. Ничего не может изменить. Потому что все только начинается, потому что момент этот зависит от того, что сделано раньше. От того, насколько правильно было определено действительное положение. И от того, что нельзя ни определить, ни предвидеть заранее. И что начнется открываться только теперь.

Он чувствовал одно: весь фронт начал битву. Самый трудный, напряженный момент ее. Момент, когда враг, как бы ни

был он ослаблен артподготовкой и ударами авиации, еще в большой силе. Когда машина его работает почти на полную мощность. Когда еще есть у нее та слаженность, с которой она действовала долгие месяцы.

Черняховский, казалось, чувствовал в себе то напряжение, с которым в этот момент схватился в битве с врагом весь фронт, все его войска. . .

Пришло несколько торопливых донесений, что на отдельных участках войска захватили первые позиции врага. Хорошо, успешно начинали войска Крылова, новые обнадеживающие вести были от Людникова. Но вместе с тем он чутко отметил, что в армии Глаголева успеха не видно. . .

Трудно, просто невозможно было сидеть в блиндаже, ждать. И он снова вышел на НП. Заметил: бой шел почти на прежнем рубеже. И по всему полю чернели неподвижные танки. Подбитые, сожженные. Над некоторыми еще не осели дымы. . . Вот еще один — над башней черно взорвалось, взлетело пламя. Закрутился дым. . . Из машины выскочили две фигуры. Бросились назад от нее. . .

Он отметил: напряжение боя возросло. Противник не собирался отступать. . .

4

Сообщения, приходившие позже, снова то обнадеживали, то тревожили. Как и вчера, очень удачно шли войска Людникова, особенно на левом его фланге. Армия все глубже врезалась во вражеские позиции, расширяла прорыв. Снова радовали вести из 5-й армии, от Крылова. И снова тревожила славная 11-я гвардейская, Галицкий,— здесь только на север от магистрали войска добивались успеха. И дорогой ценой.

В полосе магистрали войска по-прежнему топтались. Теряли много людей и техники и топтались на месте. Безуспешно пытались сдвинуть противника и войска Глаголева. . .

Все же фронт был в движении. То, что целые месяцы считалось неподвижным, теперь во многих местах сдвигалось, отползало. Трещало, ломалось давнее, надоевшее постоянство линии фронта. Пусть трудно, неохотно, но — ломалось!

Да,— сначала медленно, не везде успешно — фронт входил в новое состояние, состояние подвижности, которое скоро должно было стать основной особенностью жизни тысяч и тысяч людей. Эта подвижность теперь изменила и настроение командующего фронтом: в однообразное, тягучее ожидание все чаще, сильнее врывалось нетерпеливое, деятельное стремление — к новым и новым переменам. От этого стремления в нем снова все росла энергия, которая жаждала работы. К нему возвращались прежняя деловитость, сила.

Донесения все больше показывали, что почти весь левый фланг не может добиться перелома: и левый фланг армии Галицкого, и армия Глаголева почти не сдвинули немцев с места. Трудно пробивается — но все-таки пробивается! — армия Галицкого на правом фланге, с северной стороны магистрали. Через залитые дождями болота упорно, мужественно движется в направлении Орехи — Выдрица. За наступлением здесь Черняховский следил с особым вниманием: он знал, как бы там ни было, здесь — самое чувствительное место немецкой обороны в районе магистрали. Отсюда, пробившись в глубь болот, можно нависнуть с фланга над их обороной, а потом — и совсем обойти их с тыла, пригрозить окружением. Не может быть, чтобы это не подействовало на них, в том числе и на Траута, при всей его выдержке. Только надо, чтобы Галицкий пробивался вперед, как бы ни было тяжело...

С правого крыла фронта, из-под Витебска, вести все более ободряли: подтверждали, что здесь наступление развивается удачно и что успех с каждой минутой все крепнет. Командующий 39-й Людников, преждевременно начавший наступление, все глубже входил в размещение врага, все увеличивал прорыв в ширину. Уже был хорошо виден клин южнее от Витебска, углубление клина этого радовало предчувствием большой, важной удачи.

Хорошо продвигалась и 5-я армия Крылова, несмотря на раскисшие от несвоевременных дождей дороги и разлившиеся речки, болота, которых столько было на пути. Войска неудержимо прорывались в направлении на Богушевск, важный город на железнодорожной линии, соединяющей Витебск и Оршу. Удача армии Крылова на Богушевском направлении и радовала Черняховского, и все больше заставляла возвращаться мыслями к магистрали, туда, где стояла, ждала своего часа танковая армия. Снова и снова беспокоило его, и с каждым часом все более настойчиво, ощущение, что танки Ротмистрова надо перебросить в район армии Крылова, ввести в направлении на Богушевск.

Как ни усложнялось положение, чем больше обрисовывалось оно, тем более собранным, твердым становился Черняховский. Проходило самое неприятное: неопределенность, которая заставляла теряться в догадках, связывала по рукам и ногам; по мере того как прояснялось положение, отчетливо определялось поле деятельности. То, что положение было неровным, что оно изменялось и ставило все новые задачи, придавало его стремлениям точный, действенный смысл. Он словно вовлекался в изменчивое напряжение битвы, в которой сейчас — и со временем все больше, — чувствовал он, нужна была его руководящая воля. Он уже жил содержательной, целеустремленной заботой об армиях, корпусах, дивизиях, которые нахо-

дились в таком изменчивом, разном положении, наступали с таким разным успехом, преодолевали такие разные преграды, пробивались вперед и топтались на месте. Все новые и новые задачи возникали перед ним, требовали его. И он отдавался им, жил ими, уже не замечая ничего другого.

Комаров, который, как всегда, был неизменно рядом, в тесной боковушке, слышал, как Черняховский просил связать его то с командующим 31-й армией, то с командующим 11-й гвардейской, то с начальником штаба, то с управлениями. Вбегая время от времени по обязанности порученца в блиндаж командующего, Комаров видел, как быстро охватывает он взглядом содержание радиограмм, как, склонившись над столом, делает отметки на карте, всматривается в нее, будто хочет прочесть что-то скрытое в глубине, как сосредоточенно, озабоченно ходит.

Часто Комаров, вбегая, видел его у телефона.

— Развивайте успех дивизии! — говорил-советовал Черняховский, выпрямившись во весь рост, прищурив глаза. Не замечал Комарова. — Усильте ее — артиллерией и танками. Ее успех открывает перед вами хорошие перспективы. Вы зря недооцениваете его. . .

— Вы не боитесь за свой левый фланг? Нет? — услышал Комаров, появившись позже, чтобы напомнить о позднем обеде, который третий раз приносили в его боковушку. Командующий взглянул на него, поднял бровь, будто спрашивая: с какой новостью? — но Комаров не стал перебивать его, даже вытянулся наготове. — Не боитесь? — сказал Черняховский в телефонную трубку сдержанно, но очень недовольно. — Зря. За него надо бояться, — он у вас плохо прикрыт. — Нетерпеливо выслушал, что ему говорили, строго отрезал: — Это — не риск! Это просто легкомыслие. Тактика «авось».— И уже тоном приказа: — Прикройте фланг. Немедленно.

— Вы не выполняете задачи, топчетесь! — жестко, с гневом выговаривал он кому-то. Твердо, безжалостно повторил: — Топчетесь, теряете выгодный момент! Даете немцам собраться с силами! Подводите соседей! Из-за вас наступление под угрозой срыва. А силы у вас достаточно, чтобы погнать. Погнать как следует! . . — Командующий пообещал: — Я позвоню через час.

5

К концу первого дня войска левого фланга 39-й армии пробились на десять — пятнадцать километров в глубь немецкой обороны, форсировали речку Лучесу. Десять-одиннадцать километров прошли и войска 5-й армии. Фронт войск противника был прорван на ширину до пятидесяти километров.

Здесь же, в полосе магистрали, тяжелые, упорные бои не дали успеха. Несмотря на все усилия, авиация, артиллерия, стрелковые части, много раз поднимавшиеся в наступление, так и не смогли сломить врага в этом направлении. Только к северу от магистрали войска 11-й гвардейской армии смогли с нечеловеческим упорством пробиться на два-три километра вперед.

31-я армия генерала Глаголева, наступавшая к югу от магистрали, к концу этого тяжелого дня была почти на тех же позициях, что и утром.

С противоречивыми чувствами подписывал Черняховский донесение в Ставку о результатах первого дня наступления фронта. Все же очень серьезной была неудача на левом крыле, чтобы можно было закрывать на нее глаза из-за того, что на севере наступление пошло просто отлично. С беспокойством думалось о том, как эта неудача на левом фланге будет оценена в Ставке, особенно как отнесется к ней Сталин.

Как ни неприятно это, уже ясно, что наступление на важнейшем направлении не удалось, захват важнейшей коммуникации пока что сорвался. Ясно, что, как там ни будет дальше, неудача эта, хотя бы временно, затормозит развитие наступления, оттянет, задержит большую часть войск.

Как раз в это время генерал Алешин, начальник разведотдела фронта, доложил: от пленного офицера-артиллериста стало известно, что немцы до начала наступления заметили концентрацию артиллерии в районе магистрали, смогли засечь многие батареи. Слушая сообщения разведки, Черняховский вспомнил то, что видел с НП; значит, он не ошибся, предположив, что наступление здесь не было для немцев совершенно неожиданным. В этом немалая доля причин неудачи в полосе магистрали. Неудачи, ответственность за которую должен нести и 5-й артиллерийский корпус прорыва, не сумевший незаметно занять позиции, как следует замаскировать батареи. Отвечать он должен, конечно, вместе с командованием обеих армий, которые не смогли хорошо разведать систему огня противника, точно организовать огонь своих частей...

Кто бы там ни был виноват, в Ставке вина за случившееся здесь будет выглядеть прежде всего его виной, и, может быть, только его виной. И мнение это не будет несправедливым: в нем, очевидно, закономерное проявление той ответственности, которую должен нести за все он, командующий фронтом, кто бы еще там ни был виноват кроме него...

Мысли эти почти сразу же отошли. Некогда было рассуждать о подобных тонкостях. Его ждали, требовали к себе неотложные дела. Надо позаботиться о завтрашнем дне. Дать распоряжения на завтра. Завтра — очень важный, нелегкий день.

Он связался со штабом фронта, с начальником штаба генералом Покровским. Александр Петрович — пунктуальный, критического склада человек, опытный штабист; Черняховский внимательно прислушивался к его оценкам положения на отдельных участках фронта, к его рассуждениям о перспективах на будущее. Внимательно, подробно обсудили работу штаба, его отделений на завтра. Потом Черняховский вызвал командующего 1-й воздушной армией. Пригласив командующего сесть, стоя за столом, кратко, в точных выражениях объяснил новое положение на фронте и в связи с этим новые задачи авиации. Подавить сопротивление войск, которые упорно обороняются в полосе магистрали и к югу от нее, поддержать войска, развивающие наступление в районе Витебска и в направлении Богушевска. Сорвать переброску врагом резервов с тыла. И дальше наносить удары по важным станциям, пунктам обеспечения противника. Склонившись над картой, вместе договорились об основных целях, наиболее важных направлениях действий авиации. Командующего бронетанковыми войсками фронта генерала Родина, только что вернувшегося из 2-го танкового корпуса, Черняховский попросил доложить о передислокации корпуса на новый рубеж и о положении в нем. Сообщил обстановку в 11-й армии на участке ввода корпуса и предупредил: все подготовить, чтобы корпус мог в любой момент без задержки, в наикратчайший срок переправиться через болота. Сам бывший танкист, он заботился о танкистах с особым вниманием, не удержался, чтобы не дать генералу Родину несколько советов из своего танкистского опыта относительно переправ через болота. Потом перешел к новой заботе, к 5-й гвардейской армии. Сказал: положение складывается так, что 5-ю гвардейскую танковую армию, может быть, тоже придется передислоцировать. Ввести в полосе войск Крылова, на Богушевском направлении. Попросил предусмотреть все, что необходимо для этого...

С начальником инженерных войск генералом Барановым разговор, кроме многого другого, снова пошел о 2-м танковом корпусе: инженерные подразделения должны сделать все, чтобы переправа танкового корпуса через болотный массив шла без задержки. Очистить от мин, выложить, где надо, фашинами насыпь узкоколейки, подготовить мосты. Генералу Барсукову, командующему артиллерией фронта, пришлось выслушать немало и неприятного: Черняховский жестко объявил, что артиллерия в полосе магистрали действовала плохо, что он недоволен результатами. Сейчас это факт: вражеские позиции были разведаны небрежно. Нарушения маскировки артиллерии привели к тому, что неожиданность огневого удара была потеряна...

Время шло в целеустремленной деятельности. Когда Черняховский уже давал распоряжения командующим армиями, позвонил командующий 39-й Людников. Генерал доложил о результатах наступления за день, рассказал о состоянии войск, попросил наградить солдат и офицеров, отличившихся отвагой, инициативой. По тому, как сдержанно он говорил, Черняховский все время чувствовал, что командующий армией втайне беспокоится, помнит свою вину.

— Присылайте реляции, награды не задержим,— великодушно сказал он Людникову, который, видимо, уже думал, что на этом и кончится. Но Черняховский, помолчав, требовательно спросил: — А почему вы, Иван Ильич, скрыли, как и когда начались ваши атаки? За это, между прочим, тоже кое-что полагается. Только не знаю — орден или взыскание...

Людников ответил, что это может решить только командующий.

Черняховский произнес мягче:

— Хорошо то, что хорошо кончается.

Когда отдал необходимые распоряжения на завтрашний день, почувствовал, что устал. Встал, походил по блиндажу, стараясь отогнать усталость.

Усталость не проходила. В голове не было обычной ясности. Видимо, сказывалось многодневное напряжение и недосыпание. И, конечно, сегодняшнее волнение.

Он попросил подать ужин. Поужинав, снова ходил по блиндажу, пробовал развеяться. Но в голову опять лезло воспоминание о неудаче в полосе магистрали. Угнетало сознание — большие потери. Каждый раз, как проходил мимо стола, глаза сами выхватывали знакомое пятно, которое обозначало неподвижные позиции врага: магистраль, 78-я штурмовая, упорный Траут.

Снова беспокоила 5-я танковая армия. С сожалением подумал: Ротмистров был прав — не надо было пока подтягивать ее к переднему краю. Теперь придется отводить назад, к прежнему размещению, и уже оттуда, по рокадной дороге, в полосу Крылова... Снова думал о неудачах, об их причинах. Бои показали, что и выучка войск оказалась недостаточной. Не хватило все-таки времени. Надо было больше учить войска, как наступать. А не копать без конца окопы. Сколько времени убили на окопы,— которого было так мало. Копать, конечно, надо было, для маскировки. Но не так много... И разве надо было так поздно делить фронт, почти перед самым наступлением. Неужели нельзя было сделать это раньше? Столько времени потратили на перестройку!..

Утомленный волнением за неудачу на юге, тревожными мыслями, не дававшими покоя, он пожалел, что не может оставить НП, ринуться на машине по фронтовой дороге. Взглянуть на все своими глазами, враз ожить. Не может, обязан быть здесь. Может только сделать вылазку в блиндаж оперативного управления. Здесь же, под землей.

Когда он вошел в блиндаж управления, офицеры, которые обрабатывали поступавшие с фронта материалы, сразу встали. Он отметил: были довольны, что он пришел. Черняховский поздоровался со всеми, приветливо обвел взглядом лица. Офицеры смотрели на него с таким видом, будто ждали, что он скажет что-то важное.

Под ногами несколько раз подряд качнулась земля. Содрогнулись желтые, из сосновых бревен стены.

— Не смолкает...— кивнул командующий куда-то за блиндаж. Кивнул и произнес со значением: — Не смолкает, не ослабевает битва.

— Не смолкает!..

Черняховский различил среди других голос щуплого, тихого полковника Арико. Командующий давно симпатизировал умному и скромному полковнику: считал, что он многое может сделать. Талант да еще трудолюбие...

Черняховский, словно только за этим и пришел, сосредоточенно, деловито повернулся к начальнику оперуправления:

— Товарищ генерал, прошу последние донесения. И — сводку потерь. Людей и техники.

Снова повернулся к остальным, тоном одновременно и строгим и товарищеским приказал:

— Остальным, кроме дежурных — спать! Завтра будет много работы!

Когда возвращался в свой блиндаж, снова вспомнил полковника Арико. Вдумчивый, трудолюбивый, и, кроме того, какая скромность! Какая человеческая привлекательность!.. Радостно, тепло отозвалось, когда вспомнил, какими взглядами встретили. От этого ощущения шел уже будто без недавней тяжести на плечах. Будто заново увидел, что тяжесть эту разделяют с ним. И разделяют надежно. Кому-кому, а ему грех жаловаться...

Иголкина не надо было долго ждать. Вместе рассмотрели, обсудили последние донесения. Внимательно, печально изучали сводку потерь. Потери были большие — и самые большие в полосе магистрали. И самые большие, и — что особенно угнетало — в полосе магистрали напрасные...

Проводив Иголкина до двери, посоветовав и ему лечь отдохнуть, Черняховский вернулся к столу. Глаза его невольно нашли на карте дефиле, черту магистрали. Он оторвался от кар-

ты, потянулся рукой к аппарату ВЧ: может быть, Василевский уже вернулся. Черняховский знал: весь день маршал провел под Витебском, в войсках 1-го Прибалтийского и в армии Людникова.

Подумал заранее, что, видимо, не вернулся: если бы вернулся, наверное, позвонил бы. Черняховский не ошибся: в трубке отозвался голос дежурного при уполномоченном Ставки. Дежурный подтвердил — маршала еще нет.

Прежде чем лечь, Черняховский не выдержал, снова вышел на НП. На востоке, должно быть, уже светало, а в амбразуре небо было темным. Внизу в разных местах горели пожары, и от них оно тревожно краснело. Краснело и то поднималось, то опадало.

В непрестанном близком и далеком грохоте, белых вспышках ракет Черняховский чувствовал еще не остывший накал битвы. Напряженное, частое дыхание бойцов, сцепившихся в яростной схватке...

6

И в этот день наступление перед высотой 108,5 шло почти безуспешно. Черняховский, несколько раз выходя на НП, видел, как небо полосуют «эресы», видел, как стремительно, угрожающе проносятся штурмовики.

Весь день без отдыха била артиллерия, земля гремела, горела, дым застилал все впереди, но пехота, много раз поднимавшаяся в наступление, все не могла заметно сдвинуть противника. Выходя на НП, Черняховский видел, что бои идут почти на одном и том же месте.

Известия, которые по телефонным проводам, шифрованными радиограммами, докладами начальника оперативного управления поступали на НП, говорили, что на всем южном крыле наступление идет по-прежнему трудно, с большими потерями. Если бы ход битвы определялся только данными с южного фланга, можно было бы считать, что наступлению угрожает провал.

Но, как ни беспокоило Черняховского положение на юге, он чувствовал, что с каждой минутой наступление в целом набирает все большую силу. Даже из армии Галицкого, с правого ее фланга, где войска прокладывали себе дорогу через сильные оборонительные узлы, по трясине осиновских болот, шли все более обнадеживающие известия. Выбив противника в тяжелом бою из Острова-Юрьева, мощного узла вражеской обороны, войска 11-й гвардейской через узлы в глубине обороны Орехи и Выдрица пробивались на Гришень, на Межево. Успехи этих войск Галицкого очень волновали Черняховского: по мере того как они разрушали немецкую оборону, приближа-

лась пора, когда сможет выйти на оперативный простор танковый корпус генерала Бурдейного. Этого часа Черняховский ждал с нетерпением, которое не забывалось среди всей стихии забот и хлопот.

Сообщения с правого крыла фронта все больше радовали. Войска 39-й армии сегодня двигались еще быстрее. Все дальше обходя с юга Витебск, 5-й гвардейский стрелковый корпус 39-й армии настойчиво шел на Островно, на Гнездиловичи, где ему надо было соединиться с частями 1-го Прибалтийского фронта, завершить окружение витебской группировки врага.

Радовало Черняховского и то, как шло наступление 5-й армии генерала Крылова, ведущей бои в направлении Богушевска. Армия пробилась к речке Лучесе, форсировала ее с бою, вырвалась на шоссе Витебск — Орша: перерезала вслед за войсками Людникова прифронтовую коммуникацию немцев. Не ослабляя натиска, армия двинулась дальше, на Богушевск, и с ходу, штурмом взяла город. Успех войск Крылова был особенно важен потому, что в образовавшийся прорыв стало возможным ввести первую сильную подвижную группу, начать развивать наступление в оперативной глубине немецкой обороны. Уже днем Черняховскому доложили, что группа эта вошла в прорыв. Мехпехота, танки, кавалерия — механизированный корпус генерала Обухова и конный генерала Осликовского — ринулись во вражеские тылы.

С самого утра со все возрастающим нетерпением Черняховский думал о 5-й гвардейской танковой армии. Чем больше развертывалось наступление, тем больше мучило его беспокойство об армии Ротмистрова, которую неудача войск в полосе магистрали вынуждала стоять без пользы и сейчас, и неизвестно еще сколько времени. Понимание того, что такую мощную силу ни одной минуты нельзя было без причины держать в бездействии, заставляло его с пристальным вниманием всматриваться туда, где со все большим успехом двигались войска Крылова. К тому же в то утро генерал Иголкин, кроме всего прочего, доложил ему: взятый в плен немецкий зенитчик сообщил, что их 25-я зенитная артиллерийская дивизия поставлена в полосе магистрали отбивать танковое наступление русских.

Этот факт, который Черняховский особо отметил как доказательство того, что немцы больше всего ждут наступления танков на магистрали, вместе с тем был для командующего фронтом еще одним доводом, увлекавшим его внимание к войскам, наступавшим на Богушевском направлении.

Но для того, чтобы изменить утвержденное Ставкой решение, которое обязывало ввести танковую армию в прорыв на магистрали, нужно было согласие уполномоченного Ставки. Еще по предварительной договоренности маршал Василевский вскоре должен был приехать на КП, и теперь Черняховский

с нетерпением ожидал его. Когда с контрольно-пропускного пункта позвонили, что маршал приехал, Черняховский с генералом Макаровым сразу по ходу сообщения пошел навстречу.

За маршалом Василевским, запыленным, в генеральской фуражке и комбинезоне, Черняховский увидел, тоже усталого и запыленного, командующего 5-й гвардейской танковой армией. Черняховский едва не усмехнулся: будто нарочно, на ловца — зверь! — но сдержался: встреча была серьезная. Да и заметил: маршал Ротмистров смотрел из-за очков настороженно, недовольно.

Когда пришли на КП, Черняховский кратко, сосредоточенно доложил уполномоченному Ставки, как развивается наступление. Особенно подчеркнул, что неудача в полосе магистрали заставляет принять некоторые соответствующие обстановке новые решения. Собранный, решительный, он взглянул на маршала Василевского, произнес тоном, выражавшим твердую уверенность в том, что он говорит:

— Товарищ маршал, прошу разрешения ввести 5-ю гвардейскую танковую в полосе армии генерала Крылова.

Вдумчивый, внимательный взгляд маршала Василевского перешел на маршала Ротмистрова, сидевшего мрачно, затаенно у другой стены. Черняховский заметил: этот взгляд будто говорил о чем-то прежнем, известном обоим,— но Черняховский не понял, о чем.

Ротмистров сидел, немного наклонившись, усы топорщились, выражение глаз за очками было плохо видно. Черняховский только уловил: Ротмистров нервно шевельнулся.

— Я согласен, — произнес Василевский медленно, спокойно, и Черняховский почувствовал: маршал тоже думал об этом.

Тут же Ротмистров получил задачу: к утру 25 июня сконцентрировать 5-ю гвардейскую танковую армию на исходном рубеже, в полосе 5-й армии Крылова, с таким расчетом, чтобы ночью 26 июня войти в прорыв. Войдя в прорыв, наступать в направлении на Толочин, развивать наступление в полосе Минского шоссе в район Борисова.

7

Утро 25 июня пришло в солнечном блеске. В необычной торжественной тишине. Впервые за несколько суток, проведенных здесь, Черняховский смог выйти наверх, порадоваться солнцу, росистой свежести.

Правда, радость была мимолетной и сдержанной: все вокруг напоминало о недавнем. Свежие воронки, черные пятна выжженной земли, бесчисленные раны на деревьях — березах, осинах. Неподалеку страшно чернели неподвижные танки — с башнями, без башен...

Озабоченный, Черняховский спустился в блиндаж.

Генерал Иголкин вошел с таким видом, что Черняховский с первого взгляда уловил: с веселыми новостями.

— Лед тронулся, товарищ командующий! — радостно, по-юношески звонко объявил начальник оперативного управления. Низкорослый, сильный, он склонил голую, блестящую голову над картой, пригласил порадоваться: — 26-я и 84-я гвардейские дивизии взяли Шалашино и в хорошем темпе вдоль магистрали выходят на рубеж Юрцево — Бурдюки! Выбрался на простор и набирает скорость 2-й гвардейский танковый корпус. Передовой отряд корпуса перехватил шоссе Витебск — Орша и занял Клюковку.— Обе деревни и станция Клюковка были обозначены к югу от Орши.— Немцы в Орше почувствовали угрозу окружения. По этой причине у противника, судя по радиоперехватам, началось большое волнение. В том числе — в 78-й штурмовой дивизии генерала Траута...

— Не выдержали нервы у железного Траута,— отозвался Черняховский.

— Не выдержали. 78-я дивизия начала отступать. Правда, еще огрызаются...

Войска 5-й армии Крылова, которая взаимодействовала с конно-механизированной группой Осликовского, вели бои уже далеко за освобожденным вчера Богушевском. Передовые отряды приближались к городу Сенно, важному узлу дорог. Еще более важные новости поступали с правого фланга, из 39-й армии Людникова. Часть войск армии прорвалась в Витебск, выбивала врага из города, а другая — 5-й гвардейский корпус — была далеко за Витебском, в районе Гнездиловичей. Сходилась с войсками 1-го Прибалтийского, завершала окружение всей витебской группировки немцев.

Новости были такие, что лучше нельзя было ожидать. Но Черняховский не проявил большой радости, будто принял все как должное. Это было давнее, неизменное правило: и беспокойство и радость держать в себе, не особенно давать им волю. Чувства расслабляют.

Все же, как ни сдерживался, услышанное сильно волновало его. Захватывало великое, стремительное движение, в котором были сейчас войска фронта, волновало напряженное кипение огромной мощной жизни. Черняховский в нетерпеливом ожидании чувствовал, что еще один, второй сильный удар — и враг не выдержит, побежит.

Вместе с радостью было и недовольство: оттого, что момент был таким важным, таким удобным для удара, что так надо было бить изо всех сил, не давать врагу передышки, он чувствовал особое недовольство тем, что мощная часть войск фронта — танковая армия Ротмистрова — пока не участвует в битве. Его не успокаивало, а наполняло еще большим нетерпе-

нием то, что ждать ввода армии в прорыв оставалось недолго. Что, как сообщили ему, армия уже сосредоточилась на исходном рубеже. В этом нетерпении было и беспокойное предчувствие того, что сделает армия, когда войдет в прорыв, в полной силе, во всем своем нимало не растраченном могуществе. Чтобы подкрепить эту мощь, прикрыть танковую армию от вражеских самолетов, он выделил из 1-й воздушной армии сильную поддержку — четыре авиационных корпуса и две дивизии. Все, что мог выделить.

Среди множества известий, важных, деловых, приходивших в этот день на КП командующего фронтом, было одно особенное. Не только потому, что оно имело личный характер, а и потому, что сообщало о несчастье. Несло горе.

Все остальные известия дошли, это задержали. Задержали перед самым командующим, на КП.

Взволнованный, член Военного Совета генерал Макаров сначала зашел на КП, настороженно, затаенно взглянул на Черняховского: словно хотел проверить свое опасение. Командующий говорил по телефону, углубленный в разговор, встретил генерала отчужденным взглядом. Член Военного Совета, как мог сдержанно, дал ему знать: ничего особенного, зайду позже, исчез за дверью.

В соседней комнатке генерал остановился, постоял в раздумье, попросил подполковника Комарова пойти с ним. Когда они вошли в блиндаж члена Военного Совета, генерал подошел вплотную к подполковнику. С выражением страдания на полноватом лице и как будто сердясь, тихо спросил:

— Алеша, ты знаешь, что случилось несчастье?..

— Какое несчастье?

— Брат командующего Александр погиб...

— Подполковник Черняховский? Когда?

— Только что сообщил генерал Алексеев. Под Алексиничами... Как ты думаешь — командующий не знает?

— Нет.

— Надо, чтобы он не знал. Я попрошу корпус, чтобы они пока молчали. Надо подождать... У него сейчас, ты знаешь, так напряжены нервы. Надо поберечь его. Понимаешь?

— Понимаю, товарищ генерал.

Когда член Военного Совета вернулся в блиндаж командующего, Черняховский, взволнованно стоя в полный рост, нетерпеливо кому-то приказывал:

— Надо действовать энергично и быстро! Время не терпит, топтаться некогда!.. Разрубайте на части, бейте по частям! Без отдыха! Чтобы у них искры из глаз! Чтобы ни один не выкрутился! — Мягче, почти добродушно, закончил: — Надеюсь на вас, Иван Ильич!

Положив трубку, повернулся к члену Военного Совета, произнес, еще взволнованный разговором:

— С Людниковым говорил. Ну вот, Василий Емельянович, могу порадовать. Первый «белорусский котел» готов!

— Сколько всего?

— Пять дивизий.

Черняховский назвал их номера.

8

На следующий день 2-й гвардейский танковый корпус генерала Бурдейного стремительно двигался на юг, в тылу немецких войск обошел Оршанский узел, вырвался на шоссе и захватил станцию Кохоново, в двадцати пяти километрах к западу от Орши. В этот же день, в 4 часа утра, ринулась в прорыв 5-я гвардейская танковая армия маршала Ротмистрова. До вечера, двигаясь в направлении на юго-запад, она пробилась больше чем на семьдесят километров и заняла районный центр Толочин, в пятидесяти километрах от Орши. С выходом обоих танковых соединений на магистраль оршанская группировка врага оказалась отрезанной с тыла, лишилась самого удобного пути к отступлению. Наши же войска, танки 5-й гвардейской армии, могли двигаться прямо на Борисов к Березине.

Пробилась наконец через вражеские укрепления, через болота на простор 11-я гвардейская армия генерала Галицкого, начала быстро набирать темп движения. По-прежнему хорошо, все глубже на запад шла 5-я армия генерала Крылова, которая в этот день перерезала шоссе Орша — Лепель. Еще дальше прорвалась конно-механизированная группа.

И в этот день особенно порадовал Черняховского командующий 39-й армией Людников: части его, вместе с войсками 1-го Прибалтийского фронта, очистили от гитлеровцев Витебск, который больше полугода казался таким близким и далеким. Войска Людникова сжимали окруженные части противника, уничтожали их.

Хотя не отпускала забота о том, как бы не дать противнику уйти из Орши на запад, не дать витебской группировке вырваться из окружения, хотя тревога вела уже дальше на запад, к Березине, Черняховский все же чувствовал, как спадает недавнее, давящее беспокойство, державшее его в трудном напряжении все эти дни. Что бы там ни было позже, сейчас уже видно: вражеский фронт разрушен, разломан. Самое трудное сделано, и сделано успешно. Теперь одно: закрепить успех, развить насколько возможно.

Здесь генерал Макаров решил, что настала пора сообщить наконец то, что он скрывал от командующего.

— Иван Данилович,— сказал он, глядя на Черняховского решительно и вместе с тем виновато,— я вам должен сообщить... печальную новость...— Черняховский взглянул на него, не понимая и, казалось, будто не веря. Макаров смутился, неловко замолчал. Нахмурившись, опустив вниз виноватые глаза, строго, с усилием закончил: — Ваш брат... Александр Данилович... погиб...

— Саша? — Черняховский все еще был погружен в какие-то свои, далекие мысли. По-прежнему не понимал и будто не верил. Потом вдруг вырвался издалека. Произнес беспокойно: — Откуда вам известно?

— Генерал Алексеев сообщил. Ему передали из корпуса.— Макаров поднял глаза, старался говорить как можно спокойнее, мужественнее.— Кроме того, я сам связался с корпусом.

Черняховский, казалось, долго молчал.

— Когда он погиб?

— Позавчера.

Снова наступило молчание. Потом Черняховский требовательно сказал:

— Почему не сообщили раньше?

— Это — по моей просьбе.— Странно: Макаров говорил теперь спокойнее, будто самое трудное было позади.— Вам тогда было очень тяжело...— объяснил он.

— А сейчас — легко...

Черняховский недовольно помолчал, потом устало опустился в кресло, попросил:

— Что вам известно — как он погиб?

Все время, пока член Военного Совета говорил, Черняховский молча смотрел в одну точку на карте, разостланной на столе. И потом, когда генерал Макаров кончил, тоже молчал.

— Иван Данилович, может, на могилу съездили бы?

Черняховский на мгновение задумался. Сказал с сожалением, но твердо:

— Нет, не смогу.

Он встрепенулся, вызвал из соседней комнаты порученца. Когда тот явился, попросил сдержанно, мягко:

— Вот что, Алеша. Съезди на место, где похоронен Саша. Посмотри, все ли там как надо. Если что надо — сделай. Возьми в части вещи его. На память семье...

Черняховский вышел из блиндажа.

Начинало светать. Сонно прокричала неподалеку какая-то птица.

Чистый предутренний воздух холодил, бодрил. Медленно проходила усталость. Но на душе у него было тоскливо, тяжело.

«Саша...»

Вспомнилось далекое-далекое. Когда похоронили мать, Саша — маленький — долго не мог забыть ее. Ему сказали, что мать уехала в город — «привезет хлебца», он помнил и все спрашивал: когда же она вернется?..

Отрывками вспоминалось более позднее. Вести, которые приносили нечастые письма, редкие встречи. Все годы, пока Саша учился, Иван помогал ему — посылал деньги, следил за успехами в учебе, давал советы. Однажды строго выговорил брату: это было уже на фронте, — когда услышал, что Саша много пьет...

Все, что приходило на память, сейчас вызывало тоску. «В последний раз не застал меня. Не увиделись, и теперь уже — никогда не увидимся...»

Немного пройдя, Черняховский заметил: в леске, поодаль от КП, хлопотливо урчали тягачи. Иногда оттуда доносились веселые выкрики. Наверное, снималась с позиции тяжелая артбатарея. Лес, в котором недавно было полно артиллерии и танков, покидали последние пушки.

Все вокруг опустело. Но это запустение не вызывало печали, а радовало.

Наступление, передовыми частями ушедшее далеко на запад, уводило за собой последние подразделения. Даже здесь, в районе магистрали, столько времени тревожившей его. И командующего, не впервые, с большой силой взяло нетерпение: скорее надо отсюда и ему, его командному пункту...

Вслед за войсками...

ГЛАВА IV

1

Вокруг был мрак. Дорога виднелась в нем тускло-серым ручьем. Алексей Лагунович, сидя на башне свесив ноги внутрь, видел, как бежал и бежал навстречу этот ручей, как по обеим сторонам дороги сменялись темные, едва различимые деревья, кусты, похожие в темноте на копны сена. Иногда серый ручей надолго пропадал, машину начинало больше бросать во все стороны: батальон шел прямо по полю...

Звуки переднего края постепенно отдалялись, и огненные вспышки взрывов становились похожими на зарницы. Танки все глубже входили в тыл врага.

Алексей был возбужден. Он с волнением воспринимал все: и мрак вокруг, и дорогу, и отдаляющиеся звуки, и движение,

движение в ночь, в неизвестность. Оттого, что все, что он видел, было дорого ему, что движение и ощущение опасности были новы и непривычны еще, все происходящее теперь волновало его с особой остротой и силой.

Неспокойно было у Алексея на душе.

Печально, тревожно помнилось Алексею то, что он увидел, проходя прорыв. В отсветах угасающего закатного неба на выжженной земле, возле развороченных траншей, неподвижно чернели танки. Пробитые, взорванные, сгоревшие. Их было много. Алексей и теперь, когда все это осталось позади, как будто слышал хорошо знакомый железный запах гари, всегда вызывавший в нем тоску. Сколько их, друзей незнакомых, таких же, как он, танкистов, полегло там?

Но, как трава сквозь гарь и пепел, в душе старшего лейтенанта сквозь горечь пережитого упорно прорывалась, одолевала все радость. Радость оттого, что наступила наконец желанная пора, которую он так долго ждал, что вот дождался все же, ведет машины по родной земле, к родному дому. Эту радость подкрепляло трезвое сознание того, что самое трудное, как там ни пойдет дальше, уже сделано. То, что немцы старательно строили целых полгода, разломано, искорежено.

Как же было не радоваться старшему лейтенанту. Тем более что ему хотелось радости, что эта радость была будто естественным продолжением того настроения, которым он жил все последние дни. Уже привычным было для Алексея хорошее состояние особого подъема, когда хочется работы, забот, когда неизвестно откуда берутся силы, когда забываешь, что такое усталость. Вот и теперь хотелось мчаться как можно быстрее, мчаться без остановки.

Вместе с тем, как человек, который немало хлебнул на фронте и хорошо знал, что такое наступление, бои, он не испытывал беспечной легкости. Он знал: дорога будет жестокая, опасная. То, что начало наступления было удачным, знал он, еще не значило, что дальше все будет так же хорошо. По давнему опыту он знал, как много неожиданностей может уготовить каждый бой, и поэтому не утешал себя обманчивыми надеждами. Кто может сказать заранее, насколько далеко удастся отогнать эту нечисть? Удастся ли пробиться до так еще далекого Минска, освободить его теперь? А если удастся войскам в целом, кто может знать — что в эти дни, в этих боях будет с ним? Дойдет ли он? И особо тревожило: что ждет его там?

Среди ночи, заглушая разговор траков, недалеко впереди вдруг ударил орудийный выстрел. Еще один, два сразу... Там сейчас находилась батальонная разведка. Вскоре комбат сообщил, что в ближайшей деревне — у них на пути — раз-

ведка обнаружила около двух взводов танков и самоходок противника. Он приказал Алексею, рота которого шла в головной походной заставе, расчистить дорогу.

Старший лейтенант вскоре подошел к танкам разведки. Один танк был подбит и горел.

Алексей оставил третий взвод вести перестрелку со стороны дороги, а сам с остальными машинами, пользуясь темнотой, начал обходить деревню справа. К счастью, здесь оказалось большое ровное поле.

Он волновался. Противно, нервной дрожью дрожали руки, в груди ныло беспокойное, напряженное ожидание. Вот, черт возьми, — всегда так: стоит только немного отвыкнуть от фронта, как снова начинаешь будто в первый раз.

«Хотя бы не заметили другие...»

Ему удалось без единого выстрела добраться до самых огородов.

Посреди села пылало несколько хлевов и хат. Пламя взлетало свирепыми огненно-багровыми гривами. От них на землю ложились красноватые, колеблющиеся отблески. С огородов было хорошо видно все, что происходило на улице, на дворах, между хатами и хлевами.

Отсюда Алексей, стоявший в открытом люке, чтобы лучше наблюдать, увидел два немецких танка. Они стреляли по дороге, прикрываясь строениями. На дворах и на улице в разных местах проворно суетились фигуры. Со двора неподалеку, проломив забор, выезжали два грузовика.

Алексей рассмотрел все это внимательно и быстро. Он спешил, чувствовал, что дело впереди важное и не терпящее промедления. Стремясь не упустить выгодный момент, он решил уже скомандовать первые цели — оба вражеских танка,— как его внимание привлекло другое.

Из-за хлева, находившегося левее тех строений, которыми прикрывались стрелявшие танки, вынырнул еще один немецкий танк. Старший лейтенант увидел его темный силуэт: танк уже повернулся в сторону наших машин. Почти в ту же минуту там блеснул огонь выстрела и рядом, со свистом разрезая воздух, пронесся снаряд.

Алексей нырнул вниз:

— Быстров, слева. У сарая...

Старший лейтенант не успел кончить, как его «тридцатьчетверка» сверкнула пламенем. Быстров ловил команды так быстро, будто угадывал заранее.

Одновременно с машиной Алексея выстрелила еще одна «тридцатьчетверка»,— это была машина Колышева. Немецкий танк быстро ударил во второй, третий раз, потом, видно маневрируя, стал отходить назад.

Но Быстров и Колышев не дали ему уйти. На вражеской машине клубами взметнулся огонь...

Когда Колышев увидел это, он сначала не поверил своим глазам. Не поверил, что это он, не кто иной, подбил танк. Танк пылал, а ему как-то трудно было в первое мгновение почувствовать, что это — от снаряда из его машины, его, Колышева! Но скоро это недоверие сменилось гордостью за себя, за то, что он так умело утихомирил фрица. Так он отныне будет разговаривать со всеми ими!

Надо сказать, то, что открылось Колышеву, пока шли бои на прорыв, произвело на него тяжелое впечатление. Из всего, что он увидел и пережил в эти дни, больше всего мучило его ощущение того, как невообразимо трудно на войне каждому отдельному человеку. Его потрясло то, каких жестоких усилий, риска и жертв требует каждый шаг по земле, которую надо вырвать у врага. От вида взорванных и сожженных танков, обгоревших товарищей, которых было так много в месте прорыва, осталось в нем, угнетало его ощущение неуверенности за свою жизнь. Теперь, когда он почувствовал себя победителем, ему стало как-то свободней.

— Молодцы, ребята,— сказал он экипажу бодро и решительно.

Хотя он говорил это товарищам по машине, Колышев воспринимал эти слова прежде всего как похвалу себе. Конечно же в том, что совершил экипаж, чувствовал он, заслуга была в первую очередь его, командира.

Этот первый успех особо радовал лейтенанта потому, что теперь все, что он делал, представлялось ему необычайно значительным. Он сам себе теперь казался иным, чем был совсем недавно, до боя,— этого, как он чувствовал, великого часа, с которого началась у него иная, большая жизнь. Началась таким выдающимся успехом.

Несколько «тридцатьчетверок» вырвалось на улицу. Их появление среди деревни, между горящими домами и застрявшими грузовиками, в ночной неразберихе вызвало у противника смятение. Хотя несколько танков их и отдельные группки пехоты еще пытались сопротивляться, чувствовалось, что обороняются они разрозненно и не смогут долго удержаться... И действительно, они довольно скоро начали отходить за постройки на другой стороне. Бой все дальше уходил в темноту за селом.

Взвод, в который входил и Колышев, должен был отрезать противнику путь к отступлению.

Лейтенант по огородам вывел танк на западную окраину села. Возбужденный и удачей своей и общим успехом, лейтенант был полон отваги, желания действовать, совершить еще какой-либо выдающийся поступок. То, что ему было поручено

такое важное дело, обнадежило лейтенанта: он ждал, что танки немцев вот-вот начнут пятиться и тогда он снова проявит себя. Но танки немцев, вопреки ожиданиям, не показывались здесь, пошли, видно, в ином направлении.

В то время, когда лейтенант, все еще не теряя надежды, всматривался, вслушивался, на танк его обрадованно налетели трое в немецких мундирах. В темноте, видимо, приняли его машину за свою.

Пока немцы разобрались, кто перед ними, было уже поздно. Им не оставалось ничего иного, как поднять руки. Один из автоматчиков подбежал к лейтенанту, спросил, что с ними делать.

Что с ними делать, Колышев не знал. Давая знать автоматчику, что решить это не в его власти, он начал связываться со взводным. Доложил, что имеются пленные, и спросил указания, куда их отправить.

Командир взвода странно равнодушно сказал, что никуда отправлять не надо.

— Зачем отправлять?! Скоро сюда подойдет вся бригада. Тогда их и сдадим...

2

Когда бой утих, Колышев возвратился в село. Остановив танк, он соскочил на землю.

Еще весь горевший боем, он прежде всего поискал глазами тот танк, которому так здорово «дал прикурить». Не нашел: танк был где-то за строениями.

Понимая, как важно, велико все, что свершилось здесь, Колышев невольно ждал и необычного продолжения. Но то, что он увидел, удивило его и прямо разочаровало. Село было молчаливое, почти пустое.

Ему представлялось, что сразу же, как только утихнет бой, а может, и во время боя, все жители с радостью окружат танкистов, начнут обнимать, бурно выражать чувства благодарности. А здесь вокруг было гнетущее омертвение и настороженность. Даже возле горящих хат никто не суетился, не беспокоился. Эти окруженные тишиной пожары делали деревню еще более унылой.

Только позже, когда Колышев со своей машиной остановился в центре села, он увидел жителя.

Это был очень пожилой человек, почти лысый, с бородой, одна сторона которой где-то обгорела; на плечи его был почему-то наброшен кожушок. Старик стоял в окружении танкистов, среди которых Колышев заметил старшего лейтенанта и Яковенко. Старик что-то говорил Яковенко, но о чем он гово-

рил, Колышев вначале из-за шума мотора не слышал. Он видел, как все взволнованы рассказом, и сам невольно поддался общему волнению.

— Повесили его! ..— вдруг донеслось до Колышева громкое, отчаянное, и лейтенант увидел, как жестко прищурились глаза Быстрова, стоявшего напротив деда. Старик странно всхлипнул и провел по глазам кулаком: — Нет Андрея!

Колышев смутился. Его радость сразу угасла. Оттого что не ждал, как удар, поразили слова старика: в них плеснуло такое большое, безутешное горе!

Притихший и словно виноватый, слушал он, как старик рассказывал о том, куда девались люди.

— Оторвали всех от своих хат... Окружили со всех сторон. Наставили винтовки и погнали... Только и остались те, кто успел убежать или спрятаться...— Он сказал, что все скрывались в каком-то Омелькином лесу.

Не закончив рассказ, он вдруг опять застонал, полный бьющей тоски:

— Нет Андрея! ..

Горе старика, тревога за угнанных людей тяжело легли на душу Колышева. Придавили то легкое, восторженное, что казалось недавно таким важным. Сдержанно, степенно шел он к подбитой машине. Она теперь чуть дымилась. Лейтенант удовлетворенно дотронулся рукой до горячего железа. Поискал на броне пробоину, сделанную его снарядом, и нашел недалеко от лобовика круглое отверстие — вот она. А может, и второй снаряд попал? Колышев нашел и вторую пробоину, но рядом с ней оказалась почему-то и третья. Откуда она? Он ведь выстрелил два раза!

— Что, товарищ лейтенант, учишься, как надо работать? — неожиданно услышал он сзади насмешливый голос Быстрова.

Лейтенант оглянулся.

— Нет, проверяю, как работает мой экипаж.

— Тогда вам, товарищ лейтенант, надо было бы подойти к другой машине. Потому что здесь — моя работа.

— Почему это?

И Колышев услышал, что по этому танку бил также и Быстров! Эта новость его не то что разочаровала, а ошарашила: значит, может, это и не он, не Колышев, подбил? Колышев попробовал утешиться тем, что, как бы там ни было, все-таки хоть один его снаряд да есть там, но разочарование от этого не проходило.

Возвращаясь к машине, огорченный, Колышев встретил старшего лейтенанта. Командир роты спросил у него:

— Ну как — страшно было?

— Сначала было страшновато...— признался Колышев.— А потом — прошло...

— Прошло?

— Забыл. Забыл, товарищ гвардии старший лейтенант!..

Колышев сказал уверенно и с удовольствием. Показалось, что нашел очень точный ответ.

Старший лейтенант, похоже было, не совсем поверил ему. Поглядел на Колышева внимательно, как бы всматриваясь в него:

— Забыл?

Колышев покраснел, будто его уличили во лжи, сказал, оправдываясь:

— Некогда, знаете, было бояться. Так поработать пришлось, что всякие глупости вылетели из головы...

— Вылетели? — Старший лейтенант посоветовал со значением: — Ну смотри, не впускай их обратно!.. Как бы ни пришлось!..

Командир роты поторопил его. Сказал, что сейчас будут выступать.

8

Машина все время покачивалась, подскакивала, опадала. Напряженно работали, ревели моторы, стремительно несли тяжелую крепость вперед — по дороге, через холмы, ручьи. Ствол пушки, нацеленный туда, куда мчалась «тридцатьчетверка», то опускался ниже линии небосвода, то взлетал в светлеющее небо.

На дорогах и вдоль них часто виднелись воронки, множество воронок, вокруг них торчали разбитые, покореженные грузовые машины и повозки, валялись трупы лошадей, далеко разбросанные взрывами обломки. Было похоже, будто здесь уже проходил фронт. Это были результаты работы нашей авиации.

Размеренно, как часы, лязгали, спешили траки. Слушая этот привычный перестук, Алексей, окруженный автоматчиками, напряженно всматривался в молчаливые кустарники, деревья, овраги.

Только когда он оглядывался назад, его добрые, застенчивые глаза веселели.

За ним, вздымая, как дымовую завесу, косяки пыли, одна за другой мчались по дороге машины, тоже облепленные автоматчиками. Танки мчались вслед за Алексеем с той же устремленностью вперед, подвластные его воле, его команде...

Когда поднялось сияющее солнце, над танками в безоблачном ласковом небе появились наши истребители. Самолеты почти непрерывно патрулировали над бригадой, охраняя ее сверху, — то пролетали вперед так далеко, что становились едва заметными, то возвращались, дружелюбно рокоча.

Потом они куда-то улетели. А минут через пятнадцать сержант-автоматчик, сидевший возле башни, показал Алексею направо. Из-за ближнего леса сунулся «костыль». Вскоре он уже, как коршун, кружил над колонной, тая злые намерения.

— Алексей, мне не нравится эта ворона! — сообщил старшему лейтенанту Гогоберидзе.— Ты видишь ее?

— Вижу...

Алексей настороженно следил за «костылем». Тот медленно кружил над колонной, лениво кренился то на одно крыло, то на другое.

Рота подходила к болоту, через которое тянулась гать. Старший лейтенант, опасаясь налета бомбардировщиков, приказал увеличить расстояние между машинами. Задние танки сразу замедлили движение. Колонна стала растягиваться.

Скоро выяснилось, что Алексей тревожился недаром.

Еще издали он увидел слева в небе несколько черных длинных силуэтов немецких бомбардировщиков, которые, очевидно, заходили в хвост его колонне. Наблюдать за ними вскоре стало трудно — там, куда они зашли, сияло, слепило солнце.

— Слева, сзади,— «юнкерсы»,— придерживая рукой ларингофон, передал старший лейтенант экипажам. Выглянув из башни, он еще раз внимательно огляделся — по сторонам была осока с луговой травой, редкие сизые кусты лозняка, чахлые деревца.

— Идти — по гати!.. Не сворачивать!..

Самолеты быстро приближались к колонне. Вот уже в чистом, ласково-спокойном небе стали видны желтоватые концы крыльев и стеклянные носы. За говором траков гула самолетов не было слышно. Автоматчики то следили за небом, то тревожно переглядывались. Старший лейтенант, сообщая комбату, что на роту идут «юнкерсы», смотрел, как они деловито выстраиваются друг за другом, готовясь к бомбежке. Внутри у Алексея что-то тоскливо сжалось, — терпеть не мог он бомбежек! С первых дней войны осталась в нем эта тоскливая боязнь бомбежек. Больше всего не любил он налетов!

Через открытый люк Алексей видел, как один, перевалившись на нос, стал стремительно падать вниз. Автоматчики сразу посыпались с машин. На минуту показалось, что наступила тишина, что все замерло и стук траков стал глуше. Вблизи резко ударил чей-то пулемет.

На время заглушив все давящим свистом, самолет пронесся над машиной Алексея. Впереди он круто выровнялся, сбросил сразу несколько бомб.

Загрохотали сильные взрывы — гуп, гу-гуп!

— Лагунович, смотри не засади машины в болоте! — услыхал Алексей в шлемофоне требовательный голос комбрига.

Бессонов все время знал, что делается в батальонах, ротах, экипажах,— знал, казалось, до последней мелочи. В трудную минуту командиры почти неизменно слышали его голос, будто он был вместе с ними.

Комбриг угадал, что тревожило старшего лейтенанта. Алексей тоже беспокоился, что кто-либо из танкистов не выдержит бомбежки и, потеряв голову, свернет с гати, увязнет в болоте или закупорит узкую дорогу.

Когда Алексей смотрел, как падает вниз второй самолет, в его памяти вдруг мелькнул тихий забор у родной хаты, яркая, радостная травка, кустик смородины, сияющий под летним солнцем. Почему вспомнились эта травка и этот кустик из далекого, невозможного детства — он не понимал, но такими милыми, дорогими увиделись они теперь...

Алексей крикнул, приказал дать лобовой пулемет. Сейчас же, немедленно!

— Скорее!

Пока передавали пулемет, «юнкерс» пролетел. Старший лейтенант торопливо приготовился встретить следующий бомбардировщик, уже входивший в пике.

Теперь, когда его захватило желание сразиться, он уже не чувствовал былой тоски, страха. Тоска и страх, правда, не исчезли полностью, но как-то притупились перед азартом боя, стремлением дать отпор. Весь в сильном напряжении, он будто прирос руками к пулемету. Глаза, не моргавшие, горевшие под окаменевшими бровями, пронизывали бомбардировщик,— Алексей старался все время держать его на прицеле.

«Юнкерс» падал на «тридцатьчетверку». Он быстро увеличивался. Можно было подумать, что он так и не свернет: врежется в танк со всеми своими бомбами.

Целиться было трудно: все же как-то действовало, придавливало это прямое, устремленное падение «юнкерса». Трудно было держать самолет на прицеле: машину в движении все время бросало в стороны.

Но желание влепить, врезать уверенному стервятнику было таким сильным, что готов был все преодолеть. Только бы — влепить, врезать. Впившись глазами в «юнкерс», упрямо старался держать его на прицеле. Изо всех сил вжимал спуск пулемета. Не обрывал очередь, непрерывно бил. Навстречу стервятнику, его пулеметам.

Закрыв уже, казалось, полнеба, «юнкерс» стал выравниваться.

— Сто-о-ой! — крикнул старший лейтенант. Что-то подсказало ему, что «юнкерс» сбросит бомбы на его машину.

Солнцев остановил машину так резко, что Алексей, которого по инерции бросило вперед, едва не ударился головой о пе-

рископ. В наступившей внезапно тишине было отчетливо слышно, как бомбы с въедливым визгом неслись на «тридцатьчетверку». Машину сильно тряхнуло. Один, второй, третий взрывы. Алексей выглянул из башни: вблизи на гати оседала туча земли.

— Вперед! — Машина сразу рванулась с места и бросилась в эту тучу. Проскочить удалось совсем немного, пикировал второй самолет. Солнцев снова резко затормозил «тридцатьчетверку». Бомбы на этот раз упали не на дорогу, а в болото.

Вскоре танк Алексея вынужден был совсем остановиться: перед ним, загородив узкую насыпь, неподвижно стояла машина.

Что с ней? Почему она стала? Старший лейтенант увидел, что одна гусеница сорвана — машина накренилась набок. Заметил: и кусок башенной брони вырван!..

Но подбежать к раненой машине не смог: взглянув вверх, он увидел — на колонну падает «юнкерс». Алексей схватил пулемет и стал снова бить по ненавистному пикировщику.

Вслед за тем устремился еще один... Вдруг остальные «юнкерсы», уже готовившиеся к атаке, круто повернули в сторону.

Что это, какой-нибудь новый маневр?

4

Нет, это был не маневр. К «юнкерсам» быстро приближались наши истребители. Алексей, еще весь возбужденный, встретил их благодарным взглядом.

Он тяжело, устало спустился с башни; черт возьми, как измотала его эта бомбежка! Подошел к переднему танку. Колышев, болезненно бледный, мрачный, обняв обеими руками Архипова, вытаскивал его из переднего люка. Руки Архипова бессильно повисли, а ноги скользили по броне, оставляя за собой струйку крови. Алексей помог спустить Архипова на землю, бережно поддерживая его раненую ногу, приказал Колышеву сделать перевязку. Старший лейтенант торопливо заглянул в башню,— заряжающий был убит.

— Не повезло! — с усилием говорил Архипов Колышеву, обертывавшему бинтом рану на белой обнаженной ноге. Архипов морщился не то от боли, не то оттого, что видит свою ногу в крови.— Только что начали — и трах!

— Война — не родная мать,— попытался успокоить Колышев словами, слышанными от кого-то.— Бывает и хуже...— Он был словно в полусне, еще будто не мог уразуметь всего, что произошло; делал все как заведенный.

Руки слушались его плохо, будто чужие, и один из автоматчиков попытался взять у него бинт, но Колышев не отдал. Он продолжал перевязывать сам.

Вверху вдруг возникли быстро нарастающий рев и стрельба. Все сразу повернулись навстречу им, встревоженно подготовились к новому налету. Прямо на гать, на них, летел «юнкерс». За ним шли, гнали его, стреляя из пулеметов, два наших истребителя. Видно, отрезали бомбардировщика от других.

«Юнкерс» быстро снижался, терял скорость. Потом наклонился, клюнул носом, стал валиться вниз. Странно, неуклюже перевернулся через крыло, через нос. В ту минуту, когда он долетел до земли, ударил тяжелый взрыв. Взметнулся столб грязи и воды. Когда они осели, на болоте, примерно в километре, зачернела вывернутыми берегами воронка. Вокруг нее валялись какие-то покореженные обломки.

Истребители, довольно рокоча, сделали круг над болотом, в крутом развороте прошли низко над гатью. Танкисты замахали им руками, приветствуя. Там, видно, заметили это, покачали крыльями. Пройдя снова над гатью, круто взяли вверх и удалились обратно. Туда, где, может быть, еще бились другие.

Делая перевязку Архипову, Колышев все время чувствовал, что в правом боку что-то неприятно щиплет. Он старался не обращать на это внимания, но странное, щемящее пощипывание в боку все усиливалось. Закончив перевязку, он, просунув руку под комбинезон, под белье, пощупал бок, где щемило. Пальцы ощутили что-то мокрое, он поднес их к лицу и удивился: они были в крови!

— Вы ж ранены, что ж вы молчите! — удивленно сказал автоматчик, бравшийся перевязывать Архипова.

С Колышева сняли верх комбинезона, подняли смоченную кровью майку. Оказалось, на теле была тонкая царапина от какого-то осколка... Как от ножа...

Между тем к месту задержки подошло еще несколько танков. Группа людей около подбитой машины Архипова и Колышева стала быстро расти. Всех интересовало, что случилось. Да и рады были короткой передышке, разминке. Но Алексей, побывавший уже у машин впереди, оглядевший гать, беспокоился — как пробираться дальше. Машина загородила почти весь путь: она стояла не вдоль насыпи, а наискосок. Когда гусеницу разорвало взрывом бомбы, катки осели в землю и затормозили одну сторону...

Алексей приказал Солнцеву столкнуть машину с насыпи.

Сержант подвел танк к машине и стал потихоньку нажимать на нее. Разбитая «тридцатьчетверка» сначала не трогалась с места. Только когда Солнцев добавил оборотов, начала

сползать с дороги, медленно и неохотно, будто не хотела уходить от других.

Старший лейтенант сочувственно взглянул на Колышева:

— Воевать можешь? Госпиталь, кажется, тебе не нужен?

— Не нужен, товарищ гвардии старший лейтенант.

— Вот и хорошо.— Алексей вспомнил ночной разговор с Колышевым накануне прорыва. От этого разговора у Алексея осталось чувство дружеской, как бы интимной близости к сердечному парню. «Видно, нелегко сегодня ему придется,— невольно пожалел его Алексей.— Надо бы направить в какой-нибудь экипаж. Куда?» Но размышлять об этом не было времени. Старший лейтенант только велел Колышеву догнать свой взвод и сесть в машину Гогоберидзе.

Алексей подошел к Архипову. Рядом с Архиповым уже был санинструктор, прибывший в одной из машин. Алексей посоветовался с ним, как отправить Архипова в тыл. Договорились вывезти Архипова с гати на танке и в ближайшей деревне дождаться тыловых машин, — с первой же попутной проводить в медсанбат.

Старший лейтенант протянул Архипову на прощание руку:

— Ну, браток, всего хорошего. Жалко, что так рано покидаешь... Ну, ничего. Не по своей воле... Пиши нам, а? Не забывай, словом. А поправишься, обратно давай. Рады будем.

Алексей побежал к своей машине. Через минуту его «тридцатьчетверка» двинулась дальше.

Вскоре Алексей снова увидел истребители патруля. Самолеты с сильным, приветливым гулом пролетели над танками, удалились вперед. Будто в разведку. Возвратились, пошли вперед снова...

5

Колышев сказал Архипову: «Бывает и хуже!» — не случайно. Он знал, что на войне бывают и более тяжелые несчастья, чем то, что произошло с ним, и пытался смотреть на случившееся спокойно. Но желанное спокойствие не приходило. Как ни хотел, не мог Колышев спокойно воспринимать то, что смерть прошла так близко, что только случайность сохранила ему жизнь.

Он чуть не погиб в первый же день, причем даже не в бою, а на марше! Когда лейтенант думал об этом, ему становилось тревожно. Будущее, всегда такое определенное, надежное, ясное, вдруг будто заволокло неизвестностью. Неизвестностью такой жестокой, безжалостной, что становилось страшно.

Как и тогда, перед боем, ему вспомнилась Рая, но теперь уже не грустно, а тоскливо было думать о ней. Не было теперь у Колышева прежней поддерживающей уверенности, что они

увидятся. Угнетало неодолимое предчувствие, что, может случиться,— уже никогда не встретятся. Что встречались, может быть, в последний раз...

Вспоминался вопросительный, жесткий взгляд комбрига: «А ты не трус?» И Колышев, всегда правдивый, безжалостно судил себя: значит, он не герой, настоящие солдаты не думают так. Ему было стыдно за себя.

А перед глазами вставали необычные, удивительные картины.

На дороге, бежавшей через поле, где мелькали то полосы ржи, то картофельная ботва, подъезжая к лесу, танкисты наткнулись на группу вооруженных людей. Гогоберидзе был здесь первым из наступающих войск: бригадная разведка пошла по другой дороге.

Люди лежали и сидели в кювете, у молодого кустарника на опушке; заметив танки, они торопливо укрылись и насторожились. Колышев, ехавший на машине с автоматчиками, как только увидел, предупредил о них Гогоберидзе.

— Кто это? — пристально вглядывался Колышев.— У них винтовки...

— Скоро увидим! — Гогоберидзе приказал автоматчикам узнать о людях, а сам на всякий случай приготовился к бою. Покусывая губу под щеголеватыми усиками, он нетерпеливо выглядывал из башни.

Колышев пошел вместе с автоматчиками. У него в кармане лежала тяжелая граната, в руке он сжимал пистолет. Если бы на нем не было комбинезона, его можно было бы принять за одного из десантников. Он шел, внимательно наблюдая за теми, кто был на опушке.

Вдруг один, маленький, подвижный, выскочил оттуда, из кустов, и, размахивая автоматом, что-то крикнул. Бросился навстречу, стал обнимать автоматчиков. Вслед за ним из зарослей высыпало много людей.

— Наши! Ур-ра-а-а! — слышал Колышев ликующее.

Что было потом, Колышев не смог бы рассказать. Радостные крики, поцелуи, стрельба! Один из партизан ударил в небо длинной очередью из пулемета — салют!.. Колышева обнимали, что-то ему кричали, и он тоже кричал, счастливый, все еще держа в руке пистолет. Такого взрыва радости Колышев никогда не видел...

Когда подъехал Гогоберидзе, человек, первым выбежавший на дорогу, обнял его, потом спохватился, вытянулся и объявил лейтенанту, что перед ним Волчок, начальник разведки отряда.

— Гогоберидзе. Гвардии лейтенант,— с пафосом представился танкист, красиво, четко козырнув. Потом сразу тоном заговорщика добавил: — Для друзей просто — Сандро..,

Разведчик снова обнял лейтенанта.

— А мы сомневались,— признался он, виновато и растроганно.— Слышали, что скоро наши должны быть, да больше предполагали, что раньше, пожалуй, эти, чтоб они околели, куроеды... Готовились больше к иной встрече...

— Они отстали! — пошутил Сандро.

Партизан можно было теперь видеть и на танковых башнях, и возле машин, где они ликующей толпой окружали небольшую группку танкистов.

Откуда их столько собралось на этой дороге, которая только что казалась пустой! Пожилые мужчины, безусые юноши, женщины с винтовками. Каких только людей здесь не было! Они были мало похожи на военных: разная одежда, разное оружие — обычные штатские люди. Но Колышев смотрел на них, как на неведомые, удивительные, сказочные существа, не скрывая искреннего восхищения. И как было не восхищаться: перед ним впервые стояли те, кто, знал он давно, вели трудную, поразившую весь мир борьбу. Знаменитые белорусские партизаны!..

Если бы Колышев был менее взволнован и мог наблюдать, он увидел бы, что и партизаны смотрят на него с не меньшим восхищением. Особенно один, черноволосый парень в старой гимнастерке, который неожиданно спросил:

— Так вы из училища? Правда, из училища?! И только недавно окончили?.. А скажите, кого принимают в него? Ну, какое нужно образование?

Он пожалел, что у него образование маловато. Всего семь классов... Колышев же невольно позавидовал ему: вот он, наверное, прошел огонь и воду и ничего не боится...

Километра через два — при въезде в село — взвод Гогоберидзе снова «атаковали». Это были люди с топорами и пилами,— ремонтировали мост. Вокруг моста весело желтели сосновые щепки и опилки.

Колышева, как и остальных танкистов, обнимали, целовали. В его чистые, с тенью печали глаза глядели с преданностью и любовью.

Разве мог быть равнодушным к этим людям, к их радости Колышев! Чувствуя смущение за себя, за малодушие свое, он как бы снова начинал ощущать опору под собой, землю под ногами. Чутко отзываясь на преданность и сердечность этих людей, он обещал молча, требовал от себя: нет, он не будет трусом. Он не обманет людей, которые его так любят! Так надеются на него!

В этих мыслях и желаниях, среди общего ликования, преодолевал он тягостное смятение, неуверенность, обретал душевное равновесие...

Колышев слышал, как старый, с розовой лысиной плотник удовлетворенно и просто, будто знакомым, говорил:

— Выходит, не зря мосток подправили! — Он торжествовал.— А то некоторые боялись...

Волнуясь и надеясь, смотрел старик, как первый танк двинулся на другой берег по новым, им уложенным бревнам.

Покидая село, Колышев все оглядывался: пока видел, от хат, от моста махали руками, шапками...

ГЛАВА V

I

Все неудачи начинались с того страшного утра. Кляммт еще спал в окопе, когда просвистело несколько снарядов и ударило неподалеку.

В следующую минуту уже все вокруг грохотало. Снаряды ложились справа, слева, впереди.

Нечего было и думать о сне. Лейтенант сразу, согнувшись, бросился в блиндаж. Здесь он перевел дыхание. Потолок сотрясался, с накатов сыпался песок. Словно били в землю огромной, тяжелой кувалдой.

Все, съежившись, настороженно ждали, что какой-нибудь снаряд упадет на блиндаж, проломит толстый потолок или заживо завалит землей. Лейтенант, однако, старался не терять самообладания. Он был уверен, что русская артиллерия скоро смолкнет, потом пойдет пехота. Надо спокойно переждать эту минуту. Чтобы встретить русских как следует.

Но гром, властвовавший вверху, постепенно выбивал эти мысли из головы, оглушал, оставлял в душе только тягостное ожидание неизвестного, страшного.

Телефонист передал ему трубку. Командир батальона сообщил приказ генерала: «Держаться, держаться! Он посылает свое благословение». Лейтенант ответил, что принял приказ и выполнит его. Однако тягостное ожидание страшного не переставало угнетать.

С каждой минутой было хуже.

Сначала телефонист сообщил, что порваны провода. Рота осталась без связи, она теперь одна, оторвана ото всех. Потом лейтенант увидел перед собой солдата из первого взвода. Солдат был весь в грязи и так подавлен, что изменился в лице. «Кто это? Что ему надо? Чего он добивается? — не понимал лейтенант Кляммт.— Погибли? Почему — все погибли?.. Блиндаж, прямое попадание!..»

— Скоро артиллерия кончит, пойдет пехота... Смотрите внимательно! — закричал солдату лейтенант. Он пытался сохранять достоинство, но от страха, который все рос, овладевал им, сам не понимал, что говорит. Уже потом он спохватился: ведь в первом взводе теперь никого нет...

Помолчал. Но сидеть молча было невыносимо, и он неожиданно снова напал на солдата:

— А что со вторым взводом? Я вас спрашиваю, что со вторым взводом?

Ответа лейтенант Кляммт не дождался, не только потому, что солдат ничего не слышал из его слов и не знал о втором взводе. Потолок так содрогнулся, что казалось — упадет на головы, придавит всех. Посыпалась земля, едко запахло дымом. В следующий момент сильный взрыв обвалил несколько бревен. Придавил телефониста.

В лихорадочном ожидании, угнетавшем безудержным страхом, лейтенант Кляммт заметил ефрейтора-автоматчика, недавно присланного после контузии из госпиталя. Ефрейтор был бледен, смотрел так напряженно, что казалось, выскочат глаза. Какое-то время он сидел, словно окаменев; когда взрыв обвалил бревна, что-то дико закричал, подскочил и ринулся к выходу.

Кляммт едва сдержался, чтобы не броситься вслед. Чувствуя, что приходит конец жизни, с ужасом ожидая последнего взрыва, который похоронит его здесь, он стал горячо, торопливо шептать молитву, с такой преданностью, которая была когда-то в детстве.

Путано и остро начало в его памяти всплывать пережитое, виденное. Вспомнился отец,— с металлической, сверху обшитой кожей подставкой вместо ноги, ковыляет вокруг стола, подает «гостям» пиво. В опустевшей комнате, запершись, старательно считает белые кружочки денег, выручку. Сам осоловевший от выпитого, от воспоминаний, за столом с посетителями щедро делится рассказами о своих военных радостях. По-приятельски суетится за прилавком, угощает шумных молодцов-штурмовиков, что забежали веселые, раскрасневшиеся. Добродушный, довольный, учит сына равняться на других, хватать свое счастье! Память напомнила, с какой большой надеждой пошел он, Кляммт, в армию, муштру, которую он принимал с охотой, с радостью. Военная карьера оказалась, к сожалению, не особенно удачной: долгие годы в ефрейторах, длинная дорога до фельдфебеля. Все же он жил надеждой, не терял веры, что придет его пора! Он, как бы там ни было, ждал этой поры... И вот — дождался!..

Внезапно лейтенант вспомнил женщину с ребенком, которую сжег во время блокады. Как бы заново увидел ее страшные глаза, услышал слова угрозы: «Тебе это так не пройдет!..»

Угроза эта впервые обеспокоила: в ней, казалось, была реальная, жестокая сила, которая неизвестно что обещала.

Все сильнее угнетал его страх. В этом страхе начало терять смысл все — и обязанности его как командира, и приказ генерала, и жизнь.

«Когда же наступит конец? — с нетерпением подумал он. — Так можно с ума сойти...»

Он не знал, что это было только начало.

Когда затихло, он не поверил. Ждал, что сейчас все начнется снова. Но было тихо. Оглушенный, подавленный, он сначала ничего не соображал. Был так обессилен, что не мог сдвинуться с места. Не мог пошевелиться. Сколько времени это продолжалось, он не мог бы сказать. Тогда у него не было ощущения времени.

Все же исподволь, незаметно для самого себя, он будто приходил в чувство. Еще не рассуждая, только по привычке, которая первой напоминала о долге командира, приказал всем занять свои места. Сам выполз из блиндажа, ходом сообщения потащился в свою ячейку.

Все было изрыто снарядами. Вокруг горело, полз дым. Дым курился всюду, давил в груди. Мешал смотреть. В разрывах дыма лейтенант Кляммт увидел поодаль фигуры. Шли русские. Еще оглохший, почти не чувствуя себя, он стал выкрикивать команды, следить, как их выполняют.

Солдаты, что в полузасыпанном, с обваленными краями ходе сообщения, пригибаясь, растерянно, очумело озирались, начали разбегаться по ячейкам. Их было еще немало. Отплевываясь от земли, отряхивая ее из-под расстегнутого воротника, лейтенант Кляммт смотрел то на своих, как они устраиваются, то на русских. Русские все приближались.

В это время от командира батальона прибежал запыхавшийся посыльный, передал приказ держаться; это окончательно вернуло лейтенанта к привычным заботам...

И тогда вдруг снова обрушился на него, на землю грохот и огонь...

2

После двух дней боев рота была отведена с переднего края. Отделения и взводы ее за это время настолько поредели, что из роты едва ли можно было бы сформировать один взвод.

Сдав участок смене, лейтенант сразу почувствовал себя легче. Правда, чувство облегчения было сдержанным, насторожен-

ным: не верилось, что действительно разрешают оставить этот ад. Слишком въедливыми и давящими были впечатления последних дней, чтобы их можно было легко забыть.

Тем не менее это было так. Рота перешла в корпусной резерв. В деревне, ночью, ее наспех пополнили остатками других разбитых подразделений и велели ожидать распоряжений...

Настроение и здесь было тревожным. Все время со стороны фронта доносились несмолкающие звуки боя. Лейтенант представлял себе, что там происходит, и с беспокойством думал, что, наверное, скоро снова придется возвращаться.

После обеда лейтенант Кляммт получил приказ выступать, но через полчаса, когда он уже выводил солдат из села, пришел другой приказ, отменявший первый,— ждать дальнейших указаний.

С фронта провезли через деревню несколько машин с ранеными.

Поползли неясные, тревожные слухи, которые неизвестно кто принес. Будто где-то на левом фланге большевики прорвали фронт, и их танки и конница оказались далеко в тылу немецких частей. Говорили, что этот прорыв угрожает всему фронту. Лейтенант Кляммт пытался узнать, насколько правдивы эти слухи, у одного штабного офицера, но офицер с раздражением отмахнулся от него.

Вскоре после этого пришел приказ — срочно выступать, занять позиции на северной окраине деревни, расположенной восточнее.

Едва рота приблизилась к деревне, оказалось, что она уже захвачена советскими пехотинцами.

Тогда из штаба полка лейтенанту и еще одному командиру роты приказали атаковать большевистские позиции и возвратить деревню. Перед атакой обеим ротам прислали в подкрепление три «фердинанда». Бой шел почти до вечера — за это время советская пехота подбила две самоходки. Кроме того, лейтенант Кляммт потерял много солдат.

Русские оборонялись упорно. Все же поздно вечером они были выбиты из деревни. В ночной темноте, теплой, как парное молоко, солдаты Кляммта окапывались, оборудовали пулеметные гнезда — в домах, на крышах. Лейтенант попросил пополнения, но из штаба ответили, что надо обойтись имеющимися силами. Плохо было и с боеприпасами — машина привезла только половину того, что требовалось. Говорили, боеприпасы задержались где-то в тылу, но обещали до утра подвезти остальное. Кляммта это мало утешило, знал, как мало значили сейчас обещания.

Лейтенант чувствовал себя неспокойно. Кроме того, что рота ослабела и мало боеприпасов, было еще одно важное обстоятельство, тревожившее его, — левый фланг роты был плохо

прикрыт. А между тем звуки боя слева все больше углублялись в тыл ротных и полковых позиций.

Лейтенант не был уверен и в том, что русские оставят деревню в покое. Днем они наверняка постараются вернуть ее себе, навалятся, вероятно, более крупными силами.

На краю деревни горели подожженные во время боя хаты, бросая зловещие отблески на все вокруг. В отсветах пожара лейтенант ходил по выгону и огородам, проверял, как солдаты готовятся к обороне. Возле одной траншейки сидели обер-ефрейторы Келлер и Геттерих. Они о чем-то разговаривали. Когда Кляммт подошел, Келлер спросил:

— Ну, как подготовка, господин лейтенант? Наверное, русские разобьют себе лбы о нашу оборону? — лейтенант услышал в его голосе нотки насмешки и раздражения.

Вопрос этот не удивил Кляммта: Келлер, по его мнению, вообще был болтлив и слаб духом. Не раз жалел лейтенант Кляммт, что обстановка не позволяет заняться этим прогнившим нытиком как надо. Но что поражало господина лейтенанта — и крепкий, здоровый обер-ефрейтор Геттерих молчал, и в этом нельзя было не заметить поддержки Келлеру.

— Не волнуйтесь, господин лейтенант,— успокоил все тем же тоном Келлер. Он, заметил Кляммт, был основательно пьян.— Сядьте, посидите — поберегите силы на завтра. Завтра будет горячий денек...

— Завтра придется повоевать — это ясно,— отозвался Геттерих.

Помолчав, Келлер вдруг недовольно, с пьяной решимостью произнес:

— Придется. Попали мы в историйку. Вонючую историйку. По самые уши...— Он грязно, зло выругался.

Лейтенант Кляммт приказал ему замолчать и, позвав с собой обер-ефрейтора Геттериха, стал проверять оборону.

«Неужели они вправду прорвали фронт? — думал он, проходя от ячейки к ячейке.— Неужели не сможем удержать? ..— Действительно, вонючая историйка может выйти...» Нет, не хотелось ему поверить. Никак не хотелось поверить в такую мерзость. «Быть не может! Удержимся! Русские ударили неожиданно, не успели подойти резервы. Но они подойдут. Русские же слабеют день ото дня...»

Он был прочным оптимистом, лейтенант Кляммт. Образец прочности здорового немецкого духа. Непоколебимого духа. Может быть, потому, что некоторые нытики сомневались в возможности исправить положение, лейтенант чувствовал особую необходимость в здоровом духе. Зная, что надо сохранять этот крепкий дух, он не позволял себе поддаваться. Не позволял верить, что положение может стать катастрофическим. Не позволял и поэтому не верил.

...Утром советские солдаты повели наступление. Они обошли позиции и ударили с левого фланга и с тыла. У них было много минометов и пушек. Они открыли ураганный огонь по обеим ротам, ворвались на западную окраину и снова захватили свои позиции. Весь взвод, оборонявший этот участок, вместе с обер-ефрейтором Геттерихом пропал без вести. Погибли или попали в плен.

Лейтенант Кляммт и сам едва спасся. Кроме него, из деревни выбрались только несколько солдат.

Не было больше обер-ефрейтора Геттериха — ветерана роты, который вместе с Кляммтом испытал все радости и невзгоды русского похода. Не было еще многих, которые брали сотни городов и вдруг полегли в незнакомой русской деревне.

Все же он не поддавался отчаянию.

3

Деревня, в которую лейтенант прибыл с остатками роты, была молчалива и пуста.

Такое запустение лейтенант видел не впервые. Куда они все прячутся, черт их побери! Куда ни приедешь — ни души.

Лейтенант Кляммт приказал кого-нибудь найти. Пошарив по деревне, солдаты приволокли к нему женщину, прятавшуюся в подвале, вблизи своей хаты. У нее были беспокойные, испуганные глаза, седые растрепанные волосы. Лейтенант Кляммт через переводчика спросил, давно ли были здесь русские.

Женщина отвела взгляд, отрицательно покачала головой, что-то неуверенно сказала. Ему перевели: она говорит, что не знает.

— Чего не знает, — нетерпеливо произнес Кляммт. — Были ли вообще здесь русские?

Она покачала головой, и еще до того, как перевели ее слова, Кляммт догадался о ее ответе.

— Ты врешь,— разозлился, угрожающе шагнул к ней лейтенант.— Здесь была русская пехота и даже танки.— Он кивнул на следы грузовых машин, танков на улице. Повторил, требуя немедленного ответа: — Давно они были? В каком направлении пошли?

Она снова покачала головой, что-то начала говорить, клялась, просила.

Лейтенант Кляммт злобно, резко шевельнул плечом, оглянулся в ту сторону, откуда ее привели. Увидел поодаль группку малышей, испуганно смотревших на него. Еще до того, как он повернулся к ней, чтобы ударить, сломить ее угрозой, замысел которой мгновенно возник в нем, она, будто перехватив его мысль, со страхом бросилась ему в ноги.

— Скажите ей, — поморщился Кляммт, — я не имею времени играть в прятки. Пусть, пока не поздно, подумает о своих детях!

Переводчик передал ей слова лейтенанта, носком сапога заставил старуху подняться.

— Она говорит, русские были давно. После завтрака.

— Много их было?

Она испуганно взглянула в сторону двора, где стояли малыши. Переводчик сообщил Кляммту:

— Она говорит: русских было очень много, господин лейтенант. Были танки и пехота на машинах.

— Спроси: в каком направлении они пошли?

Снова лейтенант понял ответ до перевода, по жесту — из того, куда она махнула черной, крючковатой рукой.

Лейтенант заметил, как она обрадовалась, когда он шевельнулся, собираясь уйти от нее. Он был недоволен: чувствовал, что хотя она и боится, все же понимает, какой он теперь слабый, бессильный.

— Скажите,— приказал он переводчику,— если она обманула, я вернусь. И пусть тогда не ждет пощады!

Она все с той же затаенной надеждой сказала:

— Не обманываю я. Правду сказала.

Колонна свернула с шоссе. Почти час ехали по пыльной дороге, в жаркой духоте. Настороженно всматривались вперед, в поля вдоль дороги. В какой-то деревне их остановили офицеры, передали приказ занять оборону на берегу речки. Рота стала окапываться в песке, меж лозовых кустов. Черт побери, сколько им приходилось копать земли в эти дни! И главное, все зря: ни в одном из окопов не пришлось обороняться.

Не было боеприпасов, и лейтенант Кляммт, сидевший в тени, под лозовым кустом, думал о бое с тревогой, ругал в душе тыловых службистов и неповоротливых генералов, которые не могли вовремя о патронах позаботиться.

Перед вечером передали новый приказ об отступлении. Снова отступать!

Они были теперь недалеко от города и станции Толочин, и это рождало у лейтенанта новые надежды.

Он думал не об отдыхе: он знал, передышки ждать не приходится, да она ему и не нужна — не такое время. Лейтенант Кляммт надеялся, что в Толочине, во всяком случае, можно будет получить боеприпасы. Там же, наверное, и стабилизируется фронт и прояснится положение...

Кроме роты Кляммта здесь шли остатки всей дивизии. На тягачах и грузовиках, вытянувшихся в длинную колонну, томились от жары несколько сот пехотинцев и артиллеристов. Колонна двигалась очень медленно, неизвестно почему часто останавливалась...

Километров за десять от города совсем остановились.

По колонне поползли слухи, что дорога перерезана; что в Толочине — русские танки.

Лейтенант, увидев, как встревожили эти слухи солдат, которые начали растерянно переглядываться, переговариваться, спокойно, с достоинством заверил:

— Не может этого быть.

Он устало сел на подножку машины, стал жевать галету. Видел: всюду собирались группки, взволнованно гадали...

Покоя не было у него. А что, если это правда? — мучило лейтенанта. Гадать, правда это или неправда, ему не долго пришлось. Очень скоро его позвали к майору — командиру батальона. По тревожным лицам офицеров он понял, что это правда...

Случилось непоправимое и угрожающее — перерезан путь!

ГЛАВА VI

1

Это был последний день работы Сергея Снежко в гараже, принадлежащем немецкой фирме «Ост».

Сергей с самого утра копался в моторе старого, уже пережившего свой век «ганомака». Заменял поршни и подшипники.

— Ну, как дела, Снежко? — спросил у него шеф гаража Гюнте, толстый, низенький, с короткими пухлыми руками немец, одетый в рабочую блузу. Шеф Гюнте старался казаться добродушным и простецким. — Еще поживет этот старый коняка?..

— Поживет, господин шеф,— кивнул головой Сергей, вытирая о паклю черные руки.

— Это хорошо. Я доволен тобой. Ты молодец. Неплохо знаешь дело. Ты будешь хорошим мастером, Сергей. — Гюнте даже хлопнул Сергея по плечу, как он обычно делал, когда был в хорошем настроении. — Подожди немного: закончим войну, — и ты будешь учиться... Да, да, учиться, — если будешь стараться работать. На специальных курсах!.. Я тебе помогу поступить.

Сергей подумал: «Я и без тебя поступлю в институт, когда мы вытурим вас отсюда». Но вслух, откинув назад спадавшие на лоб волосы, ответил·

— Спасибо, господин шеф...

Работа у Гюнте на сегодня была закончена. Сергей сбросил ненавистную спецовку и надел свой латаный, замасленный пиджачок. Сергей очень устал: целых тринадцать часов продержал

его шеф в этом проклятом гараже. Добродушный с виду, Гюнте старался выжимать из людей все, что можно. «Скареда старый»,— про себя выругался Сергей, глядя вслед Гюнте, который направился в контору.

Сергей уже собрался идти домой, когда во двор вкатил незнакомый сине-серый «оппель-капитан». Из машины решительно выскочил гестаповец, а внутри Сергей заметил шофера, подпольщика Колесника.

Лицо Колесника было все в синяках и страшно распухло. «Попался!» — сразу понял Сергей и насторожился: «А Клава? Что с ней?» Его усталость мгновенно пропала. Мысли сразу побежали, завихрились.

«Клава тоже... попалась?»

Наверное, попалась. У нее, в мешках с картошкой, должно было скрываться самое главное — магнитки. Ничего другого недозволенного Колесник не вез, только это...

Значит, гестаповцы нашли магнитки. А если так, то ему тоже не миновать тюрьмы. Надо сейчас же спасаться, как можно быстрее.

Он заметил, что двое эсэсовцев с автоматами встали у выхода со двора. Не медля больше ни минуты, Сергей, прячась за машиной, юркнул за угол гаража. Он пробрался по узенькому темному закоулку, образовавшемуся между стеной и забором, туда, где в заборе была полуоторвана доска. Сергей отодвинул ее и выскочил на огород. Здесь он опасливо оглянулся, не гонятся ли за ним. Пока никого не было...

Прикрываясь забором, он выбрался на улицу. Немного прошел по ней, будто спокойно, не спеша, чтобы не вызывать подозрения у встречных, потом повернул в переулок.

Как ни старался сдерживаться, не мог уже идти беспечным шагом. Выше сил было тащиться: в любой момент в гараже могли хватиться, погнаться за ним. Оглянувшись назад, он заторопился, готовый вот-вот броситься бежать.

Переулок, еще переулок, зигзагами, не по прямой. Скорее, скорее от гаража, от опасности. Часто, торопливо дыша, он тревожно думал, где же Клава. Почему Колесник в машине один? Он строил разные догадки. Самой вероятной из них казалась такая: Клаву, видно, повезли в столовую, где она работала...

«Эх, Клава, Клава! — горестно пожалел он. — Почему ей так не повезло? И Колесник — сколько раз выходил невредимым изо всех переплетов, и вдруг — попался...»

В глухом переулке, очень далеко от гаража, Сергей остановился. Опершись о забор, будто бы отдыхая, стал обдумывать, что делать дальше. В его положении все вдруг изменилось, и он не знал, как быть дальше.

Только одно было известно... Идти домой опасно. Если гестаповцев еще и нет у него дома, скоро они, как коршуны, налетят туда. Налетят, это уж точно. Они не оставят без своего внимания его и Клавы жилья. Уж точно: если даже у них нет никаких улик против него, Сергея, его все равно арестуют. Только за то, что он Клавин брат... И тут легла на его сердце еще более тяжкая тревога: мама! Как он не подумал о ней сразу. Она ведь тоже в опасности, ее ведь тоже не пощадят. Они и ее схватят, всех Клавиных близких схватят. И ее тоже. Бросят в тюрьму, будут пытать.

Она еще, наверное, ничего не знает! Надо спасти ее, увести из дома. Может быть, еще не поздно...

Понимая, как это опасно, он тем не менее стал пробираться к дому, к матери. Переулками, пустырями, торопясь как только можно, он добрался до соседнего сада. Намереваясь отсюда выяснить, дома ли мать. Нет ли еще гестаповцев. Проникнуть отсюда в дом...

Он успел увидеть только, как ее выводили из дому двое в черных плащах. Как толкнули в фургон и закрыли дверцу снаружи...

2

Первые две ночи он скрывался у друга, тоже подпольщика. Укрытие это было определено ему еще до провала, на всякий случай. Здесь несколько раз они прятали связных из леса. А теперь вот довелось Сергею...

Он сидел в тесном деревянном сарайчике. Даже не столько в сарайчике, сколько в погребе. Сыром и темном погребе под сараем. Влезая туда, он должен был накрывать над собой крышку. Днем ее иногда заставляли сверху ящиком с разным барахлом.

В погребе были кадки, полки. Раньше в нем хранилась картошка, капуста. Теперь ни картошки, ни капусты не было, были только гниль и тяжелый, затхлый запах земли. Чтобы не задохнуться, он приоткрывал крышку, подкладывая под угол ее обломок доски.

Сарай был заперт снаружи, в него, чтобы не вызывать подозрения, почти не заходили. Друг и его сестра появлялись здесь не более двух раз в день: приходили как будто за дровами. Тогда они и приносили что-либо перекусить.

Приоткрыв крышку, подавали поесть, сообщали кратко новости и уходили: нельзя было задерживаться.

Сидя в земле, в темноте, едва разреженной светом из уголка под крышкой, Сергей остро ловил звуки жизни. Слышал

голоса на своем дворе, на соседских, мужчин, женщин, детей. Он различал уже: у соседки справа был звонкоголосый мальчик, к которому собиралась ватажка сверстников. Они часто действовали вблизи сарая. Однажды забрались даже на его сарай, возились, покуда сестра товарища не прогнала: «Проломите крышу».

Сергей с интересом и с радостью слушал их: они подбадривали и веселили, будто подтверждали, что есть, не останавливается жизнь. Но он и остерегался их: как бы, сорванцы, не заметили, не подглядели. Были там, у соседки, еще девочка и ребенок... У соседки слева был сварливый, нервный голос. Она все приказывала, угрожала то сыну, то кому-то взрослому. Очевидно, мужу... Со стороны дома доносились звуки улицы. В тихий час слышны были шаги по деревянному тротуару, голоса. Постукивание телеги по мостовой, шум проходящих машин.

Иногда среди голосов он улавливал немецкие, они настораживали.

Ночью он выбирался наверх. Сидел и дремал на земле, хватая свежий, невероятно вкусный воздух. Ночь тоже была полна звуков, но чаще более отдаленных. На улице же, как правило, было тихо. Ночью только топали тяжелые шаги немецких патрулей да ревели проходящие машины. Ревели угрожающе.

А еще по ночам грохали зенитки, и сквозь щели в сарае было видно — ходили ножи прожекторов. В небе звенели звуки, которые слушал с надеждой, от которых замирало сердце. Шли самолеты, наши, звездные. Ухали в разных частях города взрывы. Бомбили.

Ему было тяжело. В жизни у Сергея, вероятно, никогда еще не было таких тяжелых дней. Мучило неведение. Неведение, в котором таилось самое страшное. Мучило одиночество, необходимость скрываться, прятаться. Мучило безделье, вынужденное, жестокое безделье. Все мучило в убежище его, молодого, полного стремлением жить.

Особенно трудно становилось ему, когда он думал о матери и о Клаве. Когда он представлял, как их, наверно, истязают.

Он был виноват перед ними. Виноват в их судьбе. В том, что обе они в тюрьме, что их истязают. Это он привлек Клаву к подпольной работе. Он навлек опасность на мать. Конечно, другого выхода не было. Конечно, надо было бороться, и он будет бороться. И он знает, что все случившееся неизбежно в борьбе. Но разве этим можно успокоить свою душу, не страдать, зная, что там с ними делают. Зная, что в конце концов причина всему этому — ты, ты, который сидишь здесь, мучаясь только в мыслях.

Каждый раз, когда Сергей думал о матери, о сестре, ему неудержимо хотелось выйти отсюда. Выйти, что бы там ни

было, не опасаясь, не считаясь ни с каким риском. Только бы не сидеть, только бы — действовать. Тогда он снова и снова жалел, что нет у него ни одной магнитки, нет автомата. Автомат, правда, был, но он, Сергей, расщедрился однажды, отдал связному, партизану. Уж больно тому хотелось...

То, что случилось с матерью и сестрой, путало все его прежние расчеты. Неразрешимо запутывало жизнь. Раньше, думая о возможности провала, он неизменно связывал все свои планы с партизанами, с уходом в лес. Лес был надеждой, защитой: если только удастся ускользнуть из лап гестаповцев — сразу в лес, с матерью, с Клавкой. Но вот, трезво рассуждая, надо было бы в лес, а уйти туда было свыше сил. Не мог покинуть он город, пока мать и Клава здесь, пока они в опасности.

Надо было оставаться здесь, жить и действовать здесь. Но жизнь здесь ставила множество новых, трудно разрешимых вопросов. Все привычные связи были нарушены, вместе с невозможностью выходить в город днем.

Теперь он мог выходить из убежища и встречаться только ночью,— надо было налаживать новые способы связи. Но налаживать их было нелегко...

Зная, что надежды на спасение матери и Клавы почти нет, он все же надеялся. Надеялся, что мать, может быть, пощадят: она ведь не знала ничего. Не терял надежды, что Клаве удастся оправдаться. Клаву не учить находчивости, да и улик, могло статься, не нашли особых...

Понимая призрачность этих надежд, он просил друга как-нибудь узнать, что произошло в гараже и что там известно о Клаве, о матери. Ждал, когда тот возвратится из города, и, едва он заходил в сарай, встречал нетерпеливым взглядом. Но в первый раз товарищ Сергея пришел ни с чем: не смог узнать ничего. В следующий раз друг отвел взгляд, и Сергей понял: невозможного не случилось. Когда приезжали гестаповцы, почти всех механиков и шоферов арестовали, одних прямо в гараже, других — на квартирах. Правда, на следующий день нескольких человек выпустили, но семеро еще и сейчас сидят.

— Тебя, Сережа, тоже искали... Выспрашивали, где ты можешь быть... Обыск в твоем доме был...

— Где мама? Что с мамой? Узнал? — тихо, трудно выдавил Сергей.

— Мать, говорят, в тюрьме...

— Где, в какой?..

— Не знают.

— А Клава?

— Тоже... в тюрьме...

— Не знаешь, как схватили?.. Со всеми вещами?.. Или только... подозревают?

— Она попалась неожиданно. Со всем...

— Э-эх... — Сергей порывисто поднялся, беспокойно шевельнул плечами и вдруг снова сел. Опустил голову и, уставившись куда-то невидящим взглядом, ушел в себя, отдался своему горю...

Несколько дней Сергей скрывался в хате Залесской. Главным, что привело его сюда, было все то же стремление — узнать, что с матерью и Клавой. Сергей пробрался к ее дому ночью, у самого ее дома застала его очередная бомбежка. Притаившись у забора, Сергей тревожно следил, как шарили в небе лучи прожекторов и взрывались зенитные снаряды. Самолеты бомбили сразу несколько районов города, долго и уверенно. Когда бомбежки утихли, Сергей постучался в окно той комнаты, где обычно спала Залесская. Услышав, кто это, она сразу пошла открывать. Введя Сергея в сенцы, заговорила тихо, со слезами:

— Боже мой, какое несчастье! ..

Она ничего не знала о судьбе матери и Клавы.

Залесская устроила Сергея на чердаке, в углу за трубой. Над ним косо нависало перекрытие и плотно пригнанный гонт, изнутри выглядевший еще новым. Сергей несколько раз в день подбирался к полукруглому оконцу, затянутому паутиной, и смотрел на город. За жестяными и тесовыми пирамидами крыш виднелась вдали часть здания вокзала. Оттуда доносились гудки паровозов: Сергею чувствовалось в них беспокойство.

Наши самолеты налетали на город теперь и среди бела дня. Эти налеты еще больше возбуждали нетерпение в Сергее, опасения и надежды. Сергей жаждал деятельности.

3

Как-то вечером в камеру втолкнули женщину. Она застонала, держась за поясницу, но скоро затихла и стала оглядывать камеру, удивленно и встревоженно.

— Идите сюда, — позвала ее женщина, сидевшая возле Нины.

Новая сразу стала пробираться к ней, перешагивая через лежащих.

Когда женщина села, ее начали, как обычно, расспрашивать: кто она, откуда, потом — осторожно, с подходом — за что взяли. Незнакомая сердито отрезала:

— За длинный язык.

Заглядывая в лица слушающих глазами, словно просящими

о сочувствии, она начала торопливо, захлебываясь рассказывать, как все было. Она продавала на Червенском рынке молоко,— принесла бидончик; продала несколько кружек, когда подошел какой-то полицай, ни слова не говоря, ничего не заплатив, — как свое, — взял ее бидончик и пошел прочь. Молочница побежала вслед, хотела забрать свое добро, он оттолкнул ее. И пошел дальше как ни в чем не бывало. От такого нахальства она пришла в ярость и, не помня себя, чтобы досадить полицаю, пригрозила: «Подожди, придут партизаны!..»

Полицай, на что был глух прежде, сразу остановился. Вернулся: «Партизаны?! А-а, так ты связана с партизанами? Откуда же они придут? А ну, ком со мной...» И силой потащил ее с собой.

В СД она божилась, что и знать не знает о партизанах. Но ей не поверили...

Теперь она хотела доказать это заключенным. В камере, почти без умолку, слышалось, как она жалуется да охает. Особенно надоела она Нине, рядом с которой сидела. Она то беспокоилась, что могут отобрать коровку, что раскрадут вещи, то допытывалась, сколько надо заплатить, чтобы выпустили из тюрьмы.

— Пяти тысяч, наверное, хватит? Хватит, правда?.. Или, может, слишком много?

— Замолчите!.. Как вам не стыдно?..— с возмущением сказала Нина.

На следующую же ночь молочницу среди других вызвали и увели. Она не возвратилась,— видно, расстреляли.

Здесь теперь не очень доискивались: казалось, тюремщикам уже было не до этого. Они спешили. По нескольку раз в сутки десятками хватали заключенных, выводили во двор и оттуда везли либо в концлагерь, либо сразу на смерть.

Они нервничали и бесились. Особенно свирепствовал один из них, надзиратель с сонным лицом. Каждую ночь пьяный он вваливался в камеру, обводил всех ненавидящим взглядом, искал жертву. Убивать ему не разрешали, но бить он мог, сколько хотел. И надзиратель это право использовал. Выбрав кого-нибудь, он без всякой причины, с наслаждением садиста, руками и ногами бил до тех пор, пока не выдыхался. Идти к нему боялись не меньше, чем в гестапо...

Страшными были эти дни. Люди, которым приходилось терпеть нечеловеческие муки, все время чувствовали близкую смерть. Каждый день гадали: «Сегодня?..» В томительном напряжении тянулись бесконечные ночи. Ночи ожидания и надежд. Особенно вырастало напряжение после полуночи, к утру. Брали обычно в это время. Когда открывалась тяжелая дверь, все смотрели: «Кого сейчас?» Удивительно устроены люди: помня, что обречены, они до самого последнего часа

не теряли надежды: «А может, еще не все. . .» В последний час не могли согласиться с гибелью: «Неужели — никакой надежды на спасение?»

Как здесь многие до последнего часа ждали чуда! Чудо это виделось в разных обличьях, но чаще всего было связано с приходом своих. С освобождением своими. Внезапным, сказочно прекрасным. . .

И еще — сколько здесь кипело гнева, ненависти. Если бы гнев, кипящий здесь, имел реальную силу, никакие стены не устояли бы перед ним. Взорвал бы все стены, как бы прочны они ни были.

Но стены глухи были и к гневу, и к проклятьям узников.

Двадцать четвертого июня — поздно вечером — вызвали Клаву.

— Вот и моя очередь настала. . . — сказала она глухо, услышав свою фамилию, и странно улыбнулась.

Она сдержанно поправила спадавшую на лоб прядь белокурых волос и вдруг сильно, вся отдавшись порыву, прижалась к Нине. Обожгла жарким шепотом:

— Может, меня на смерть. . . Если тебе. . . повезет, Нина. . . расскажи Сергею обо всем. . .

Нине захотелось поддержать ее:

— А ты. . . если останешься. . . обо мне. . . Алексею и матери. . .

Сказала с тоской: знала, что не останется, не вернется Клава. Сочтены часы Клавкины.

Один из тюремщиков, держащий блокнотик в руке с золотым перстнем, нетерпеливо крикнул:

— Поскорее, корова!

— Успеешь! — бросила ему Клава. Вдруг печально, открыто словно вздохнула: — Ой, нет, Нинка. Мне, видно, не придется. . .

Будто отгоняя слабость, она качнула головой. Собралась с силами, поднялась и пошла к двери,— казалось, спокойная, как всегда.

Навстречу ей выскочил надзиратель с сонным лицом.

— Чего ползешь? — Сонный грязно выругался и наотмашь ударил ее. Клава еле удержалась на ногах, но не показала боли. Выражения боли на ее лице никто не увидел. Она даже усмехнулась. Презрительная, страшная усмешка появилась у нее на лице.

— Эх ты, лизоблюд немецкий! — услышали в притихшей камере.

— Д-давай! Проваливай! . .

— Спеши. . . Уже мало вам осталось! .

Надзиратель выругался, с силой толкнул ее.

Клава исчезла в коридоре. Нина почувствовала, что больше они не увидятся.

Всю ночь Нина думала о Клаве. Вспоминала первую встречу: кто мог подумать, что она такая, эта девочка-шутница... Нина видела ее снова такой, какой она пришла с допроса: «Ой, как меня били... Никогда еще так не били...» «Все-таки они ничего от меня не добились!» — будто еще звучал ее горячий шепот.

И вот она пошла, наверное, в последний путь. Едва начав понимать жизнь. Еще почти ничего не испытав.

Ей ведь всего семнадцать. Столько Нине было, когда она кончала десятый класс... Что она знала тогда? Глаза едва-едва начинали понимать красоту. Сердце едва начало томиться о любви, неизвестной, влекущей... Тогда только начиналось самое хорошее. Все лучшее в ее жизни было потом...

Клава не узнает ничего этого...

4

На следующее утро Нину вызвали на допрос. Это был ее последний допрос.

Допрашивали ее теперь не в здании бывшего Института народного хозяйства, а здесь же, в помещении тюрьмы. В полуподвальной комнате, куда ее ввели через темный коридор, она увидела следователя с «ученым видом». Он стоял за столом перед немцем в форме эсэсовца. Эсэсовец держал в руке, смотрел какие-то бумаги.

— Вот она, — произнес следователь, бегло скользнув по Нине взглядом.

Он дал рукой знак сопровождавшему тюремщику, что тот может оставить Нину, и тюремщик, козырнув, исчез за дверью.

Эсэсовец поднял глаза от бумаг, взглянул на Нину, остро и жестко.

Следователь надел роговые очки, лежавшие перед ним на папке.

— Я еще раз вызвал тебя,— заговорил он требовательно.— Мне нужны... фамилии соучастников и адреса явок... Ты их, конечно, вспомнила?

По тому, как он держался, Нина почувствовала, что его волнует присутствие эсэсовца, обязывает к особой четкости, строгости. Что он сам будто допрашиваемый. И что разговор для нее будет особенно трудным. Она взглянула на знаки отличия эсэсовца: немалый чин, штурмбанфюрер. Начальство какое-то...

— Я ведь говорила: не знаю их.

— Не знаешь? Значит, ты решила упираться?.. А я думал, что наш прошлый разговор... неприятный для тебя разговор, заставил тебя поумнеть. Оказывается, нет... Нет? — Глаза за роговыми очками становились злыми. Нина подумала, что сегодня снова будут бить, но следователь, взглянув на эсэсовца, вдруг сказал: — Ну что ж, в конце концов... Мы заплатим. Деньги дадим. Можем в Германию отправить... Если ты боишься своих...

Эсэсовец, остро следя за Ниной, сдержанно кивнул головой: подтвердил слова следователя.

— Я сказала — я не была здесь, в Минске. Я была в местечке, в Игумене. На базаре. Ходила менять вещи на продукты.

Она все время чувствовала молчаливое, чем-то угрожающее внимание эсэсовца.

— Ты смеешься?.. — наступал следователь. Он говорил будто и ей, и эсэсовцу. — Ваша бригада связана с городом. Это известно... У меня точные данные... У меня есть данные, что здесь была и ты...

— Я не была...

— Ты врешь! — вдруг вмешался эсэсовец. Он произнес это так решительно и зловеще, что Нина почувствовала страх.

— Я не была здесь,— тихо, но твердо повторила она.

— Нет, ты была!..

В его голосе были такая убежденность, сила, как будто он знал, все знал. Нине захотелось сесть.

— Явки и фамилии! — крикнул эсэсовец тоном приказа.— Сейчас же!..

— Я сказала...

Рейзе язвительно усмехнулся:

— Я не буду деликатничать!.. Пока не поздно, черт побери — явки! Ну, я жду.

Каким-то подсознательным чувством она поняла, что наступил самый решительный момент, что сейчас все завершится. И что возврата и надежды на спасение уже не будет. Что она стала у последней черты; что шаг дальше — в пропасть...

Эсэсовец молчал, уставившись пронзительным взглядом на Нину.

— Ну?!

— Я сказала — не знаю...

Лицо эсэсовца, твердое, со сжатым ртом, налилось кровью. Он резко шагнул к Нине и с ненавистью ударил ее кулаком в голову. Она упала. Когда приподнялась и села, сдерживаясь, чтобы не застонать от боли в голове, следователь, видно желая угодить эсэсовцу, угрожающе спросил:

— Будешь молчать?!

Она не ответила. Следователь презрительно заверил:

— Мы ведь все равно все знаем! А ты — губишь себя!.

Рейзе нетерпеливо прервал его:

— Кончать надо!

Следователь возвратился к столу. Усевшись на свое место, синим карандашом что-то написал вверху листа и бросил, как ненужную вещь, на край стола. При этом он взглянул на эсэсовца так, будто говорил: «Ну вот — исполнено...»

Эсэсовец приказал ввести следующего. Следователь крикнул в дверь и, когда появился сопровождавший Нину тюремщик, бросил:

— Обратно!

Снова — коридорный полумрак, размеренные удары о пол сапог тюремщика, ряды дверей. Тяжело заскрипели засовы, и Нина очутилась в своей камере.

Обходя людей, сидевших и лежавших на полу и нарах, пробралась к своему месту. Устроившись на краю нар, оперлась локтями на колени. В голове было одно, неподвижное и тяжелое: «Кончать надо...»

— Быстро тебя сегодня... Наверное, все-таки били,— посочувствовала соседка, Красуцкая.

— Без этого, видно, не обойтись...

Нине говорить не хотелось, и Красуцкая, должно быть, уловила это, не заговаривала больше. Нина словно уединилась, ушла в себя. Однако ей по-прежнему не думалось, в памяти стояло все то же: «Кончать надо». Ею владело ощущение обреченности, безысходности. Гнетущее, невыносимое ощущение.

Подавленная этим, она не замечала ничего вокруг. Не хотела, не могла замечать. Все вокруг казалось чужим, будто уже не принадлежащим ей. Будто отделенным от нее непреодолимой границей.

Потом навалилось отчаяние, заполнившее всю ее болью. Болело долго, и казалось, этому не будет конца, но постепенно боль начала утихать, и пришла тяжелая, дурманящая усталость. Пришло какое-то отупение, какая-то бесчувственность. Безразличие ко всему.

Она вдруг впала то ли в сон, то ли в забытье.

Опомнилась она, когда увидела солнечную полоску на стене. Подумала, что уже, видно, полдень, — в этом месте полоска бывает, когда солнце стоит на полудне. Сразу вспомнилось, как когда-то ловила солнечный луч Люда. Ловила и никак не могла схватить — непослушный луч, будто дразня, прыгал ей на ручонки, на пальчики.

Нине вдруг неудержимо захотелось взять эти ручонки, эти пальчики, прижать к своей щеке. Нежно-нежно. В душе шевельнулось такое хорошее и такое жгучее чувство, что сердце зашлось от боли.

Захотелось говорить о дочке. Решила: с Красуцкой можно, — у нее самой четверо на воле. Можно довериться, поймет все.

— Где это теперь моя... Людочка? — высказала она свою печаль Красуцкой.

Нина рассказала, не называя города, как однажды,— она вспомнила комнату Клавы, освещенную вечерним солнцем,— была близко к дочке, но не смогла повидаться с ней...

— Побоялась за нее... Всегда за нее боялась. Беспокоилась вечно.

— Понятно — материнское сердце... У каждой матери сердце больше всего болит за ребенка.— Красуцкая призналась со страданием: — Я тоже все о своих... Чует душа, наверное, не увижу...

Она еле сдержалась, чтобы не заплакать. Нину снова обожгла боль. Пронзила ясная, жестокая мысль, захлестнувшая снова отчаянием: «И мы, видно, больше не увидимся...» Но так не хотелось смириться с этим, что она возразила себе:

— А мне все кажется, что увижусь с ней...

5

Ночью неподалеку ударили гулкие выстрелы орудий, за ними почти сразу — близкая торопливая дробь пулеметов. Нина мгновенно ожила, стала вслушиваться. Задвигались, ожили все в камере...

Скоро стрельба стала такой частой, что казалось, там, снаружи все небо пронизано пулями да осколками и, как бы ни хотелось, никому не удастся прорваться в город. Лампочки в камере погасли. На переплетенных решетками окнах, прорезанных возле самого потолка, трепетали злобные отблески света.

Прошло несколько минут, и Нина в перерывах между выстрелами начала улавливать желанный, сильный гул. Он упорно рос, приближался.

Наконец ухватила самое радующее: ухнули тяжелые взрывы бомб. Они заглушали треск зениток. Бомбы ухали как бы очередями, — взорвется несколько бомб, потом наступает небольшая пауза, после которой снова: гу-гу-гу. Стены каземата и пол при каждой очереди взрывов вздрагивали.

— Это — на Товарной!.. — ликуя, определила Нина. Она приникла к Красуцкой, чтобы та могла услышать. Разделить счастье: — Бомбят Товарную! Да как сильно!.. Что там теперь делается, на Товарной,— увидеть бы!.. Слышите, как грохнуло! О, еще раз! Слышите?

— Только бы удачно попали... — отозвалась озабоченно Красуцкая.

Нина знала, что значили эти слова. На Товарной станции почти всегда стояли эшелоны с боеприпасами...

— Попадут! Они попадут! О, слышите, еще — какие взрывы!..

Это уже в другой стороне.

— На станкостроительном вроде...

Да, самолеты, похоже, бомбили и станкостроительный завод, где ремонтировали танки и пушки... Нину захлестывало такое счастье, какого она давно не знала. Когда еще здесь так весело горели ее глаза, в которых сейчас отражались зарницы взрывов!.. Вот она, ее удача. Пришла! Порадовала!..

Сквозь окна, сквозь толстые стены все врывались звуки взрывов — г-гух, гу-гух. В камере слушали эти взрывы, как лучшую музыку. Отблески света выхватывали необычно возбужденные лица. Сияющие глаза, улыбки. Люди словно забыли о своем положении.

Самолеты отбомбились, повернули назад. Гул их отдалился, затих, смолкли зенитки, а в камере еще долго царило то состояние счастья, которое принесли самолеты.

Все время где-то ухали взрывы, скорее всего — на Товарной. На стенах трепетали красноватые отблески.

— Видно, попали в склад снарядов... — не могла смолчать Нина.— Не иначе, снаряды!.. Смотрите, как вспыхивает!..

Ей вдруг подумалось, что летчики, могло ведь случиться, пользовались теми данными, которые она принесла из города. Может, их командир по ее карте-схеме выбирал объекты для бомбежки...

Если б так было. Чтоб она не зря рисковала...

6

Клаву привезли сюда из лагеря, расположенного на улице Широкой.

Когда люди стали выходить из машин, конвоиры отобрали несколько первых попавшихся человек. Среди них была и Клава. Им сразу приказали поднять руки и, ничего не говоря, погнали к какому-то низкому и длинному строению. Темневшее в утренних сумерках, оно было похоже на хлев.

Клаву втолкнули в ворота.

Она сделала шаг вперед и неожиданно споткнулась обо что-то мягкое, лежащее на земле. Почти в то же мгновение где-то рядом что-то заработало, оглушительно, железно, ударяя в уши. Она не успела понять, что это, как ее сильно ударило сзади, и она упала лицом вниз...

«Это — конец?» — пронзило ее, страшное, в каком-то лихорадочном тумане.

Чувствуя, как внутри все похолодело, Клава ждала, что снова начнут стрелять. Но несколько минут было тихо. Эти минуты тянулись очень медленно. Наверное, ничего не могло быть хуже этого: лежать, ждать смерти.

Ей страшно хотелось сорваться с места и бежать, бежать — куда угодно, только бы не лежать здесь, не ждать.

Но она сдерживалась,— потому ли, что все было таким необычным, ужасным, что она никак не могла собраться с мыслями, потому ли, что, всей душой стремясь к жизни, еще надеялась, что удастся как-нибудь вырваться. Как бы там ни было, Клава лежала неподвижно.

Не застонала, не пошевелилась она и тогда, когда кто-то схватил ее за руки и поволок, хотя плечо ее обожгла такая боль, что она чуть не потеряла сознание.

Ее бросили в какую-то яму. Лежа в яме, преодолевая боль, от которой мутилось в голове, она сквозь ужас следила за тем, что происходило вверху, у ворот.

Толпу за толпой приводили арестованных. Снова слышались крики людей и ругань конвойных.

— Н-ну, живей! Черт побери... Иди!..

— Не пойду! Стреляй здесь, паскуда арийская!

— Эй, поговори! Штиль!.. Молтшать! Молтшать!

— И так намолчались! Хватит.— И во весь голос:— Смерть вашему Гитлеру, иуде! Всем вам!.. Гады вы! Подколодные!

— Стреляй, сволочь! Стреляй! Скоро придут наши. Они тебя...

Чей-то девичий голос звал, умолял: «Мамочка милая... мамочка моя...»

Эти возгласы обрывал, глушил резкий железный лязг — автоматы.

Двое убитых, которых столкнули в яму, прижали Клаве плечо и ногу. Ей было больно, но она молчала.

Вдруг что-то огненно сверкнуло, ударил взрыв. Один, второй. Сквозь ужас, заполнявший ее, прорвалась догадка — гранаты бросают, чтобы добить раненых.

Одна граната взорвалась так близко, что взрыв на минуту оглушил Клаву. Но она осталась жива: ее прикрыл своим телом убитый.

Потом зазвучали резкие голоса команды, какие-то возгласы за воротами, наконец стало тихо. Конвойные, видимо, уходили, голоса их постепенно отдалялись.

Она осторожно повернула голову. Вверху у края ямы чернел еле заметный в темноте солдат, из какой-то посудины обливал убитых. Дальше, за ним, стоял еще кто-то. Она слышала, как с плеском льется жидкость. Ударил в нос едкий запах бензина, и к ней пришла страшная догадка:

«Нас собираются сжечь! . .»

От этой мысли Клаву обдало жаром. Ей снова захотелось вскочить и бежать, бежать. Но она все лежала. . .

Вскоре у солдат произошла какая-то заминка, и они, перебросившись недовольными словами, стали выбираться из сарая.

У одного, когда он выходил, звякнула обо что-то твердое посудина.

7

Когда шаги и голоса солдат начали отдаляться, Клава в первый момент еще лежала, словно неживая. Она не сразу и поняла, что случилось. Но скоро в горячем мраке, заполнявшем ее голову, что-то прояснилось, заволновало. Тогда до нее уже отчетливо дошло, что шаги отдаляются, что случилось что-то важное для нее, и это словно пробудило Клаву.

Чувствуя, как сразу забилось сердце, она с усилием освободила плечо и, приподняв голову, преодолевая боль в плече, в спине, настороженно огляделась.

Здесь больше никого не было. В ней с новой силой вспыхнула надежда, от которой гулко, часто заколотилось сердце.

Никого? Неужели — никого?! Не веря, она огляделась во второй раз. Никого! Вокруг не было никого! Ни одного из тех.

Тихо. Пусто и — тихо. Так тихо, что становилось не по себе. Немело вдруг, замирало сердце.

Только откуда-то издали глубокий, из самой глубины тела, мучительный стон кого-то из раненых:

— Ы-ых, ы-ых.

Никого нет! Никто не стережет! Можно... Клава не успела додумать, как всю ее заполонило сильное, неудержимое: быстрее, быстрее!

Не теряя времени, она попробовала сбросить с себя тяжелый труп, прижавший ноги и поясницу. Но, как ни напрягалась, не смогла даже сдвинуть странно неподдающуюся тяжесть. Она опустилась в изнеможении и отчаянии. Но через минуту снова нетерпеливо, изо всех сил уперлась руками в землю, напрягла спину. Качнулась, пробуя сбросить тяжесть. Труп немного подался, она сильнее напрягла спину и плечо и немного сдвинула труп. Еще одно усилие, еще, и теперь только ноги до колен зажаты. Но ноги она может вытащить.

Освободившись наконец, почувствовала, что обессилела. Но не остановилась. Некогда. Добралась до края ямы, вцепилась в него руками, ощутила под пальцами мокрую, скользкую

землю. Легла грудью на край ямы, уперлась коленями. Выбралась.

Два шага — и она очутилась у ворот, в которых тускло серел двор.

Здесь она задержалась. Хотя хотелось скорее, скорее бежать, хотя отсюда словно толкало что-то горячее, нетерпеливое, она остановилась. Прижимаясь к шероховатому косяку, настороженно, зорко оглядела двор.

Никого не видно. Пусто, тихо. Только сердце гулко, тяжело колотит, — его удары в тишине как раскаты грома. Клава прижала руку к груди, как бы сдерживая его,— взял испуг, что его могут услышать. . .

Куда бежать? В какую сторону? Она хотела было броситься влево, но там вдруг, близко, зазвучали голоса немцев. Видно, солдаты возвращались.

Если бы не эти голоса, Клава наткнулась бы на убийц, но, к счастью, она вовремя их услышала. Убийцы сами будто предостерегли Клаву: жизнь ее зависела от нелепой случайности.

Слыша голоса, в которых она чувствовала угрозу, хотя немцы и говорили спокойно, она, не медля больше, не раздумывая, решительно бросилась в ворота. Прижимаясь к стене, тенью метнулась за угол здания.

Она едва успела скрыться за углом. Припав к бревнам, замерев так, что сердце будто остановилось, она прислушалась к голосам и шагам — не заметили ли, не идут ли сюда? — и вместе с тем настороженно и остро метнула взглядом.

Место было пустым и открытым: ни кустика, ни ложбинки, где бы можно было проползти, укрыться от опасных глаз. И полумрак серел, редковатый, ненадежный, и тишина царила, ненужная, опасная. Почему была не глухая осенняя ночь, не тьма, скрывающая человека, не ветер, заглушающий шаги?

Справа кто-то ходил,— вероятно, часовой, он был слабо виден в полумраке. Возле часового угадывался ряд столбов, там, мелькнуло в Клавиной голове, наверное, ограда. Вон, левее, еще одна фигура...

Как отсюда выбраться?

Медлить было нельзя. Она это не только знала, она этим жила. Это было самым главным в ее душе. Едва только огляделась, она сразу же начала отползать — скорее, скорее от этого страшного места.

Больше всего в эти минуты жалела она, что вокруг так светло! Казалось, каждое ее движение было видно издалека. Она приостанавливалась в страхе, замирала: может, ее уже заметили? Вон часовой почему-то перестал ходить. . .

Припав к земле, не шевелясь, она ждала со страхом: нет, это он так, он не видит ее. Вот он снова зашагал. Клава отды-

шалась: на то время, когда следила за часовым, сдерживала дыхание.

Теперь можно пробираться дальше, осторожнее и смелее, пока не поздно.

Путь этот показался бесконечно длинным. Она еще несколько раз останавливалась, прислушивалась, всматривалась в полумрак, пока наконец не добралась до ограды, до столба, он теперь показался очень высоким. Здесь она снова остановилась. Надо было сделать самое трудное, а может, и невозможное: пробраться сквозь заграждение.

А что, если оно, заграждение, так сделано, что сквозь него нельзя пролезть? Может, едва дотронешься до него, ударит током или оно загремит? С тревогой, осторожно дотронулась Клава рукой до проволоки. Быстро отдернула руку — не ударило. Послушала: вокруг было тихо. Приподняв от земли тугую, жесткую проволоку, попробовала просунуть под нее плечо.

Проволока поддавалась неохотно.

Пришлось лечь на спину, чтобы можно было держать проволоку над собой. Так она просунула голову, грудь. Руки дрожали, уставали от непосильного напряжения, и она опускала их, потом снова упиралась в проволоку. Особенно трудно было держать проволоку над собой, когда оставалось вытащить ноги. Рукам не было упора. Она изогнулась, легла почти вдоль проволоки. Колючки впивались в ноги, ранили, но она не чувствовала боли.

В то время, когда уже почти вся выбралась за проволоку, она вдруг заметила, что юбка зацепилась за колючку. Клава попробовала легко потянуть юбку, но колючка крепко держала ткань.

Стараясь не тревожить проволоку, придерживая ее одной рукой, другой вырвала ткань. Освободилась наконец от проволоки...

За ограждением, в траве, Клава несколько минут лежала, ждала, пока часовой отойдет подальше. Следя за ним, собираясь с силами, она вдруг услышала: пахло ромашкой. Пахло так крепко, так невероятно, что у нее закружилась голова...

Выждав удобный момент, она выбралась на дорогу. Вжавшись в землю, ловя каждый звук в утренней тишине, торопливо поползла на ту сторону. Перебравшись, притаилась в заросшей травой канаве, опасливо проверила, не заметили ли. Высмотрела, в какую сторону идет часовой. Было тихо, и часовой шел от нее. Значит, можно дальше.

Ползком по росистой траве она добралась до кустарника.

Укрывшись в нем, привстала, огляделась, послушала. Не имея больше сил сдерживаться, забыв вдруг об осторожности, только чувствуя позади за собой призрак смерти, который словно гнался за ней, бросилась в сторону болота или речки,

судя по тому, что там белел туман. Задыхаясь от бега, лихорадочно думала: в тумане можно пока что спрятаться, а в болоте она скроет свои следы, на случай, если будет погоня... И напьется воды.

Ветви ольхи и березок били ее по лицу, но она бежала и бежала. И все жаждала — скорее, подальше от того ужасного здания.

Она не испытывала ни радости, ни облегчения. Все ее чувства заглушали тревога и страх, которые гнали ее все дальше...

Но скоро она начала слабеть. Голову жег огонь, он постепенно усиливался, и наконец каждый толчок при беге стал вызывать невыносимую боль.

Она вынуждена была пойти тише, со страхом замечая, что все перед глазами начинает качаться.

У нее хватило сил перебраться через речку. Это, как выяснилось, было не болото, а маленькая, мелкая речка. Воды в ней было немного выше колен. Перейдя речушку, Клава смогла через лужок доползти до полоски ржи. Положение было попрежнему опасным: здесь ее могли легко найти.

Напоследок, когда уже поднялось солнце и начало пригревать, она, лежа лицом на мягкой, пухлой земле, припав щекой к белому цветку повилики, как сквозь сон, сквозь горячий звон, наполнявший голову ее, весь мир вокруг, услышала вблизи шаги, шелест колосьев. Неподалеку кто-то шел.

Больше ничего не слышала. Все потонуло в горячем звоне, все тревоги и все надежды.

Клава впала в забытье.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

1

Мост был разрушен. Другие удобные для переправы места находились далеко. Старший лейтенант решил переправляться вброд.

Танки, раздвигая крутой грудью воду, легко переходили речку, но натужно ревели, когда преодолевали вязкий грунт берега. Как ни осторожно вели машины по этому грунту водители, помня наставления Алексея, все же, когда переправилось несколько машин, гусеницы выработали на берегах такие рвы, что грязь поднималась почти на высоту клиренса. Алексей попробовал переправляться в стороне от дороги, послав туда одного из наиболее опытных водителей, но машина засела, еще не дойдя до речки. Пришлось возвращаться к прежнему месту.

— Положить бревна! — приказал старший лейтенант. На каждой машине были бревна, подготовленные еще до начала

наступления; по приказу Бессонова их все время везли с собой.

Теперь их быстро положили поперек черных развороченных рвов. По бревнам, как по шпалам, начали переправляться «тридцатьчетверки».

Вскоре тяжелые машины так вдавили в грязь бревна, что их не стало видно.

Старший лейтенант, все время пребывавший на берегу, выходил навстречу каждой машине, приближавшейся к переправе, и, шагая впереди нее, жестами показывал механикам, где вести.

К счастью, ночь была ясная. Над полем серебристо белела почти полная луна, похожая на фонарный шар, и переправляться можно было, не зажигая света. Вода в речке светилась голубым, за машинами, как от парома, расходились в стороны зыбкие полосы воды.

Одна «тридцатьчетверка» завязла. На самом трудном участке, в начале противоположного берега, когда надо было до предела увеличивать обороты, дать силу машине, чтобы она смогла взять крутой подъем, мотор не выдержал нагрузки, заглох. Водитель заводил его снова, увеличивая обороты, но он все не тянул, глох.

— Эх ты, герой! — с жаром сказал лейтенант Гогоберидзе. — В луже засел...

— Возьми на буксир,— приказал ему Алексей, не любивший говорить впустую. Что тут ругать, этим все равно не поможешь.

Лейтенант спохватился, заспешил к переходу, переброшенному на месте разрушенного моста. Алексей видел, как Гогоберидзе легко перебежал по шатким жердочкам, балансируя руками. Движения его были, как всегда, красивыми. «Ходить бы тебе, Сандро, в театре на сцене, чтобы все любовались»,— невольно мелькнуло в голове Алексея.

Когда на другом берегу прилаживали буксир, старший лейтенант то ходил взад-вперед, то нетерпеливо посматривал на речку, беспокоился, что эта переправа отберет у него много времени. Придется, наверное, до самого рассвета провозиться здесь. И кто мог знать, что эта речушка так надолго задержит.

Алексей почувствовал, что очень устал. «Надо было бы часок подремать... Ну что же, еще несколько машин переправлю, а потом оставлю здесь смотреть кого-нибудь...»

Вскоре на том берегу натужно, с завыванием, заурчал буксирный танк. Было видно, что сцепили несколько тросов, чтобы буксирная машина стояла подальше от берега, на твердом грунте...

Засевший на переправе танк начал неохотно и тяжело выползать на развороченный берег.

2

По дороге к переправе подошла легковая машина. Как только она остановилась, из нее выскочил приземистый, крепкий с виду человек. Алексей узнал Бессонова и пошел навстречу ему.

— Ну, как тут у тебя? Много перетянул?

Полковник, не останавливаясь, сразу направился к речке. Алексей на ходу докладывал ему, как идет переправа, сколько машин уже перебралось на другой берег.

— Копаешься долго, — недовольно произнес Бессонов. — Так до полудня буксовать будешь...

Он посмотрел, как гусеницы размесили берег, и, приказав Алексею идти за ним, повернул обратно.

— Вот что, оставь вместо себя заместителя, а сам бери машины, которые переправились, и гони в направлении Хвойного! — Он попросил адъютанта дать фонарик. Посветил Алексею, вынувшему из планшетки карту. — Вот здесь... в лесочке — будешь сосредоточиваться. Слева от дороги, правее тебя, будет Белобородов... Есть данные, что немцы на выручку своим спешно перебрасывают пехотную дивизию. Надо выйти встретить их!..

Он сел в машину, дал знак шоферу заворачивать и уже на ходу бросил Алексею:

— Держи со мной связь — все время будь на приеме!..

— Есть, товарищ гвардии полковник!

Алексей сразу же перебрался на другой берег, к своей машине. По тому, как командир роты решительно и быстро подошел, Гогоберидзе догадался, что получен какой-то важный приказ.

— Дело есть?

— Да, Сандро, задание. И очень важное... Давай сюда командиров!

Склонившись в люк водителя и поднеся карту к маленькой яркой лампочке, внимательно проследил маршрут.

Когда командиры собрались, он в нескольких словах изложил задачу и приказал немедленно подготовиться выступать. Он чувствовал: сейчас дорога каждая минута...

Алексей спеша затянулся несколько раз папиросой, бросил ее и рывком поднялся на башню. Танк тронулся.

Шли быстро. По-прежнему светила луна, и были хорошо видны дорога, поля по сторонам, деревья, перелески поодаль.

Не задерживаясь, проскочили через несколько пустынных деревень с темными хатами.

Быстрое движение, ожидание близкого боя, ощущение опасности, которая могла таиться повсюду здесь, во вражеском тылу, держало Алексея в напряжении. Поглядывая все время

вперед и по сторонам, Алексей возбужденно думал о бое, стремился прояснить план его, характер действий роты. Он беспокоился, удастся ли подойти к месту боя до прихода немецкой колонны. Лучшим вариантом, конечно, было бы, если бы удалось домчаться раньше, занять удобную позицию, устроить засаду. Укрыться и, подготовившись, ждать.

Важно, думал он, если будет такая ситуация — ударить внезапно и сразу — во всю силу. Оглушить, сразить первым ударом, не давая опомниться. Использовать все преимущества засады, внезапного удара... Только бы удалось добраться загодя, подготовиться...

Когда он думал об этом, у него возникла надежда, что, может быть, немцы на ночь задержатся на отдых. Но трезвые соображения рассеяли сразу надежду, почти уверен был — не задержатся. Ночь теперь — самое подходящее время для движения. Да к тому же сегодня она такая светлая...

Беспокоясь о том, как может развернуться бой, жалел о двух машинах, застрявших у переправы. Очень нужны они были теперь.

В размышления о бое, о роте все время вплетались мысли о дорогом и неизвестном — о Нине. Где она сейчас? Как живет? Все ли хорошо у нее? Как всегда, при мысли о ней на сердце Алексея становилось неспокойно. Теперь, когда она была ближе чем когда-либо, когда ближе была встреча с ней, в нем как будто росла тревога за нее...

Ощущая эту глухую безотчетную тревогу, старший лейтенант связался по рации с комбатом и с «Гремучим» — радистом командира бригады.

— «Гремучий»! Я — «Ручей»... Как слышите меня?.. Прием,— он переключил рацию на «прием» и услышал ответ радиста полковника Бессонова:

— Я — «Гремучий»... Слышу вас хорошо...

В наушниках стоял беспорядочный треск, мешанина различных звуков.

Алексей отметил: в свете луны полосы ржи, слегка шевелясь, поблескивали, как морские волны. С теневой стороны кусты и деревья были черными, затаенными...

В стороне фронта почти непрерывно погромыхивали орудия. Звуки их сейчас напоминали приглушенный, отдаленный гром. Слушая это бессонное урчанье, Алексей подумал, как много прошли они за такое короткое время. Но звуки далеких орудий вместе с тем вызывали и беспокойство,— Алексей как бы чувствовал в них, что немецкие войска по-прежнему бьются, бьются упорно, пытаются, где возможно, удержаться.

3

Еще не светало, когда дошли до места. В свете луны была видна дорога, какое-то поле. Чернела роща. Она подходила краем к самой дороге.

Алексей определил опушку, удобную для засады, расположение в ней танков. Приказал заводить машины в рощу. Развернул роту лицом к дороге. Расставил так, чтобы все могли вести огонь одновременно. Могли сразу выйти в атаку. Приказал всем тщательно замаскироваться.

Послал Колышева и двух автоматчиков разведать, какая впереди местность, удобна ли для атаки танков.

Предупредил, чтобы Колышев не отходил далеко: кто знает, когда начнут появляться эти спешащие на выручку?

Пока устраивались, маскировали роту, луна, перед самым рассветом, скрылась, и все вокруг окутал плотный мрак. В лесу же, среди деревьев, сплетения веток, стало вдруг так темно, что, двигаясь здесь, следовало прикрывать глаза рукой.

Алексей был недоволен теменью. Надо же случиться такому как раз в то время, когда нужен обзор впереди.

— Разбегутся, черти, в этой темени... — сказал Алексей лейтенанту Гогоберидзе.

— Не разбегутся, Алексей! — уверенно заявил Сандро.— Как это, разбегутся?! Человек — не иголка... Кроме того... темноты не будет!

Он засмеялся.

— Не веришь?! Они подойдут сюда, когда солнце будет... на самом высоком месте. В полдень — вот увидишь!

Гогоберидзе говорил с такой уверенностью, будто у него имелись об этом точные данные. Он почему-то всегда и во всем был уверен, уверен в том, что все будет так, как ему кажется и хочется. Эта уверенность, не один раз удивлявшая Алексея, граничила с какой-то беззаботностью: Сандро казался Алексею немного легкомысленным.

— До чего можно быть беспечным! — не впервые удивился Яковенко.

— А ты — ужасно серьезный! Все время думаешь, думаешь,— жаль тебя! .. Не говори ничего — я не люблю, когда ты читаешь мораль,— мне становится скучно.

Яковенко покраснел: Сандро попал в больное место — Яковенко очень любил поучать.

Гогоберидзе позвал Алексея перекусить. Сандро откуда-то из своих запасов достал фляжку трофейного рома.

— Конечно, не московская особая, но ничего, пить можно. Мы еще, Алексей, не пили за твое счастье...

Хороший, дружеский парень Сандро! Жизнь за товарища может отдать, ничего не пожалеет. Нравилось Алексею, что он был открытым, простым, ничего не скрывал. . .

Наспех позавтракав, Алексей пошел к своей машине.

— Приляг, прикорни часок-другой,— посоветовал вслед ему Гогоберидзе.— Раньше полудня не начнется! . .

Однако, едва Алексей ступил несколько шагов, поодаль послышался треск мотоциклов. Он стал спеша пробираться к своей машине.

Танк вжимался в опушку, впереди вплоть до башни был прикрыт срубленными деревцами и ветками. Алексей встал около лобовика. Обломав несколько веток, он сделал перед глазами просвет, чтобы лучше видеть дорогу.

Через несколько минут в довольно поредевшем рассветном сумраке в поле перед лесом Алексей различил два темных силуэта на мотоциклах, неторопливо приближавшихся по дороге. За ними, поодаль, тихо, будто прислушиваясь и принюхиваясь, шла бронемашина. «Видно, передовая застава»,— мелькнула у Алексея догадка.

— Снимем, старший лейтенант? — нетерпеливо произнес Быстров, с люка башни тоже следивший за дорогой.

— Пусть едут...

Алексей предчувствовал, что за бронемашиной, возможно, пойдут еще мотоциклы, а скорее всего, грузовики с пехотой — основные силы. Он пристально вглядывался в не совсем ясную даль и в то же время прислушивался, но ему мешал надоедливый треск мотоциклов. Когда мотоциклисты немного отъехали, за пригорком послышался приглушенный шум, и в это время Алексей различил чуть дальше, на другом, повыше, пригорке, очертания грузовика. Машина начала медленно спускаться в невидимую отсюда лощину и скоро скрылась, но вслед за ней на пригорок выглянула вторая, третья, пятая...

Они шли с потушенными фарами, шли, видимо, всю ночь, стремясь до утра подойти к фронту.

В каких-нибудь трехстах метрах от деревьев, где стояли танки, дорога поворачивала и шла вдоль рощи. По ней повернули — видел Алексей — еще одна бронемашина, два бронетранспортера, потом — несколько машин с солдатами. За машинами на прицепе катились три маленькие противотанковые пушки. Солдаты в кузовах сидели тихо, неподвижно, похоже, дремали.

Алексей знал, что танкисты с нетерпением ждут сигнала к атаке — выстрела с его командирской машины. Но он не спешил, сдерживал себя. Преодолевая нервную дрожь в руках, чувствуя, как медленно, бесконечно тянется время, ждал и ждал, когда колонна как можно дальше спустится с пригорка.

«Теперь они никуда от нас не уйдут... Пусть подходят поближе...»

Колонна растянулась почти на полкилометра, а из невидимой лощины на пригорок вылезали новые машины. «Ого, сколько их тут!» — невольно подумал старший лейтенант.

И вот Алексей понял, что пришло время начинать. Он вскочил в машину и приказал дать выстрел. Танк чуть выдвинулся вперед.

Орудие ударило в упор по колонне. Броневик, что шел впереди, сразу вильнул с дороги и застыл, накренившись набок. Лесное эхо не успело подхватить звук выстрела, как Алексея поддержали остальные «тридцатьчетверки».

Вся мощь роты обрушилась на колонну. Все пулеметы, все пушки ударили разом. Стали бить без передышки — по передним машинам, по центру, по хвосту.

Колонна остановилась. Какое-то время она стояла как бы в оцепенении. Потом началась беспорядочная суета. С машин сыпались солдаты, оглядывались, падали, бежали, отстреливались. Машины одни стояли неподвижно, другие разворачивались, выезжали в поле. Двигались в разных направлениях. Замирали в разных местах. А танки не переставая били и били. Из пушек, из пулеметов.

В первые же мгновения на дороге вспыхнуло несколько костров. Вскоре пламя начало подниматься на разных участках поля. Один грузовик в поле вдруг вспыхнул взрывно. Ярко стал разбрасывать вверх и вокруг что-то подобное горящим головням. Видно, взрывались боеприпасы. Чем дальше, тем больше замирало в поле машин, подожженных, разбитых, брошенных.

Расстреляв и рассеяв голову колонны, Алексей приказал выходить из засады. Атаковать тех, что остались за пригорком. Атаковать не медля. Не давая врагу времени опомниться.

Машина Алексея, скидывая маскировку и подминая кусты, вышла с опушки.

Другие «тридцатьчетверки» двинулись рядом с ней. Бросая из-под гусениц комья земли, вдавливая траву, танки направились к дороге. Развернутым строем вырвались на пригорок, на дорогу и поле, полные суетливого движения. Здесь противник пытался уже организовать оборону. Надо было с ходу навалиться, смять, раздавить. Все должны были решить быстрота, натиск, смелость!

Работая всеми пушками и пулеметами, танки, не медля, на большой скорости ворвались в беспорядочно расползшуюся по дороге и полю колонну. Секли очередями, налетали, ломали, давили...

Алексей, машина которого вела бой, как и остальные, в то же время стремился следить за всей ротой. Он заметил, что

несколько вражеских грузовиков, круто развернувшись, старались укатить в поле...

— Сандро! .. Левее машины... Бегут... Накрой! .. — выпалил старший лейтенант, придерживая рукой ларингофон.

— Накрою! ..

Оба танка из взвода Гогоберидзе, покачиваясь, помчали полем вслед за машинами. Одна загорелась от меткой очереди пулемета, вторую бросил шофер, а третью, которая еще старалась уйти, «тридцатьчетверка» догнала и опрокинула.

Вдруг Алексей заметил, что сбоку от дороги, возле грузовика, стоявшего в зеленоватой ржи, несколько гитлеровцев торопливо устанавливают противотанковую пушку. Около них две его «тридцатьчетверки», но, кажется, ни в одной не видят, какая им угрожает опасность. Кто там? Там, должно быть, Яковенко... Еще минута — и гитлеровцы, наверное, подожгут или подобьют его. Одна минута. Алексей указал на пушечку Быстрову. Сержант сразу припал к прицелу...

Несколько удивительно быстрых движений — и Быстров нажал на спуск. Ударил гулкий выстрел. Снаряд — это была бронебойная «болванка» — не попал в артиллеристов, но они опасливо пригнулись к земле и пропустили удобный момент...

— Яковенко! Справа, во ржи! Пушка! — крикнул торопливо Алексей.

Машина Яковенко сразу развернулась. Почти в то же время из пушечки выстрелили...

— Эх ты, бисова душа! — послышалось в наушниках.

Не ожидая повторного приказа старшего лейтенанта, Быстров еще два раза выстрелил, на этот раз «осколочными». Второй снаряд ударил возле самой пушки, и она неподвижно застыла. Алексей, однако, заметил, что «тридцатьчетверка» тоже стоит. «Что с ней? Подбили? .. Как там в ней?» — мелькнуло в голове старшего лейтенанта. Он увидел — один из танкистов выскочил из машины, оглядываясь, засуетился возле гусеницы...

«Наверное, гусеницу повредило...» Командир роты спросил у Яковенко, что с экипажем.

— С экипажем все в порядке — та ленивец разбило, будь воно неладно! ..

Колышев, как обычно, был на машине Гогоберидзе.

Он с азартом следил у башни за тем, что происходило перед машиной, охранял ее. Машину на ходу сильно бросало; чтобы не свалиться, он почти не выпускал скобу, порой цепко сжимал ее обеими руками. Лишь когда танк останавливался и появлялась цель — срывал с груди автомат...

Нелегко было на машине, того и гляди полетишь на землю. Да и не очень приятно было корчиться так, не защищенным броней. Открытым для любой пули. Хотелось на землю, хозяйничать на земле. Тем более что делать там было чего. Надо бы

прочесать рожь, почистить брошенные машины, — видно, немало там прячется.

Но танки шли вперед. Сеяли из пулеметов, работали пушками... Его у башни качало, мотало, бросало. Надо было крепко держаться. Немели руки от напряжения. Секло лицо ветром, слепило пылью...

Надо было держаться... Танки работали...

4

Остановились в лесу.

Следовало подождать, пока подтянется батальон. Ждали задержавшихся у переправы.

Замаскировав машины, начали собираться в группки. Всюду задорно и весело говорили о бое. Несмотря на бессонную ночь, все были оживлены. Все жили радостью большой удачи.

Увидев Гогоберидзе, Алексей, которому хотелось смеяться, с укором покачал головой:

— Сандро, какие у тебя сегодня хромовые сапоги! Будто и не твои, как подменили их! Просто не узнать! Где это ты их так разукрасил?

Гогоберидзе посмотрел на свои аккуратные, ладно пригнанные, но нечищеные сапоги, облепленные засохшей грязью, и без улыбки сказал, что испачкал ночью, когда тащил из речки танк. Хотя Алексей шутил, зная чрезмерную склонность лейтенанта к аккуратности и чистоте, Гогоберидзе принял его слова всерьез.

Он забрался в машину и, появившись оттуда со щеткой и каким-то черным мешочком, стал яростно сдирать с сапог грязь. Сандро повсюду возил с собой щетки, гуталин и даже кусок бархата, которым наводил на хром зеркальный блеск.

Почистившись и внимательно осмотрев себя, Гогоберидзе заспешил к ближайшей группке. Он любил послушать других, а еще больше — чтобы слушали его.

Говорили о прошедшем бое. Гогоберидзе только решил вмешаться, как Костюченко объявил:

— Замполит приехал.

Все стали вглядываться туда, где меж сосен приближался газик.

Солнцев сказал:

— Новости, должно быть, привез...

Подполковник Семижон легким шагом направился к танкистам. Идя, он, как всегда, почти не размахивал руками, словно держал их по швам. До того, как он поздоровался с танкистами, все, кто сидел, вскочили. На приветствие ответили весело: начальник политотдела был желанным гостем.

Но тут из-за деревьев с оглушительным ревом вырвались, пронеслись два немецких штурмовика. Где-то невдалеке заухали взрывы. Рядом сильно затутукал запоздалый зенитный пулемет.

Минуту длилось настороженное ожидание: самолеты не возвращались.

— Какие новости привезли, товарищ подполковник? — спросил Гогоберидзе.

Семижон снял фуражку, платочком вытер белый лоб и бритую голову.

— А я, признаться, ждал новостей от вас.

— Ну, что у нас, вы уже, наверное, знаете,— отозвался Алексей Лагунович.

— Видел, Лагунович, своими глазами. Проехал там сейчас — молодцы, хорошо поработали. Полковник за это передает благодарность! А что до общих новостей, то их, товарищи, столько, что все не перескажешь...

Особенно обрадовались все известию о том, что пехота и танки, которые вели бои в Орше, выбили противника из последних кварталов. Орша освобождена. Это только что сообщил комбригу командир корпуса. В то время как остальные, перебивая друг друга, обсуждали услышанные новости, Быстров настороженно спросил:

— А как там, товарищ гвардии подполковник, американцы, на этом втором фронте?

— В коммюнике союзников говорится, что они наконец надежно укрепились на предмостных позициях, занимающих полуостров Котантен... Вечером передавали, что пересекли железную дорогу возле города Муана. Наступление проходило в тяжелых условиях, — в глазах подполковника мелькнули искорки, — шел сильный дождь...

— И, несмотря на дождь, они наступали?! — с насмешливым восторгом произнес Гогоберидзе.

— Дождь-то дождь. Но форсировали пролив они здорово!..— будто возразил Алексей.— Это вам, братцы, не речонка. Океанский пролив!

Гогоберидзе отозвался убежденно:

— Если б не мы, видеть бы им этот берег с той стороны...

Его весело поддержали.

Быстров, обычно наблюдавший за остальными, как старший, что всякого повидал и привык не удивляться, сказал:

— Все-таки как они крутили, эти господа! Когда нам горло фрицы давили, дружки эти — все обещали, все крутили!

Из зарубежных новостей больше всего взволновало сообщение швейцарской газеты «Газет де Лозанн» о том, что Муссолини убежал в Германию.

— Сбежал дуче, спасая шкуру! Как крыса!..

— А интересно — куда «фюрер» будет спасаться, когда мы подступим к Берлину? Как он тогда, гадюка сухорукая, закрутится?..

Неизвестно, сколько гадали бы об этом, но тут из зарослей выполз танк. Это приехал лейтенант Яковенко. Как только лейтенант вылез из машины и спрыгнул на землю, к нему подбежал Гогоберидзе.

Гогоберидзе сразу заметил, что Яковенко чем-то взволнован.

— Что такое, дорогой? Что случилось?!

Лейтенант устало махнул рукой, снял шлем и присел возле танка. Подошли еще несколько человек.

— Такое було, що и говорить нэ хочется. — Он вообще не любил говорить о неприятных вещах.

— Ну, что же все-таки?

— А такое, що чуть нэ попал на тот свет!.. Как одыйшлы вы, я вылез, копаюсь биля машины. Нэ одын я, а ще трое — водитель, стрелок, башнер... А тут вдруг — фрыцы! Блызко, в жыти! Как побачили, що мы их заметили, з автоматов по нас. Мы чуть успели под машину спрятаться. Добре, що заряжающий был в машине — вин одразу до пулемета. Очередь! Воны и остылы. Но нэ совсим — вижу, начали обходить. Ну тут я вже с пистолета попужав. А стрелок и башнер лежат молча, у них голи руки. Про водителя ничего не знаю, що с ним, може, и вбилы.

— А что с ним?

— Подожди. Нэ спеши попэрэд батька!.. Ну, через аварийный в танк влизлы, а там — водитель. Кровь из рукава тэчэ, лежит билый. Вин кинулся в люк свий, та его пуля догнала... Я его вже в госпиталь передал... Целый бой дали! Добре, що у ных пушки нэ було, и то б совсим капут... Одним словом — ухо надо востро держать, — поучительно закончил Яковенко.

— Сегодня убили командира взвода в третьем батальоне,— заговорил подполковник Семижон, до этого молча слушавший.— Изо ржи выстрелили, на тихой дороге.

— Без боя погиб человек...

— Дурацкая смерть...

— Дурацкая! У каждого может быть такая... Из-за любого куста может прийти...

— Да, может из-за любого куста,— сказал Семижон, с той резкостью, которой от него не привыкли слышать.— Из-за любого! Потому что кое-кто перестал замечать землю под ногами. Голова закружилась от первых успехов.

— Одним словом, надо ухо востро держать...

— Здесь так — кто первый успеет...

5

Рота сделала остановку на опушке сосняка рядом с небольшой деревушкой. Едва стало известно, что остановка будет продолжаться не меньше часа, к хатам торопливо двинулся Рыбаков. Двинулся с озабоченным видом со свертком в руке.

Все то время, пока Рыбаков оставался без машины, он жил почти без забот. Машины своей у него не было, а за чужой, на которой двигался, он не думал ухаживать. Так что Рыбаков оказался словно не у дел.

У него теперь будто и не было командира. Правда, обычно он ехал с Колышевым, однако лейтенант как бы перестал быть для него командиром. Ведь Колышев был теперь таким же «безлошадником», как и он сам.

И Рыбаков делал все так, как ему хотелось, не обращая внимания на лейтенанта. А Колышев старался не замечать этого...

Очень скоро Рыбаков, довольный, возвратился назад, тоже со свертком, но с меньшим. Он сразу же забрался в машину. Хотя Рыбаков считал эту машину чужой, он устраивался здесь, когда ему было выгодно, наравне с остальными членами экипажа.

Выбравшись из танка, он принялся, насвистывая, разбирать автомат, чтобы почистить его. Здесь к Рыбакову подошел Колышев, спросил, куда он отлучался.

— Воды напиться захотелось... Надоела эта вонючка из бачка, пропади она. Да я ведь только на минутку и отошел...

— На минутку! Чтобы в другой раз этого не было.— Колышев не стал распекать сержанта: зачем придираться? Тем более что танкисты на любят придир офицеров. А ему, конечно, хотелось, чтобы его любили.

Солнце едва начало клониться к закату, и было очень жарко. Жара эта особенно чувствовалась в густом сосняке, полном горячим, душным запахом смолы, нагретой земли и травы. Воздух в сосняке казался совершенно неподвижным.

Танкисты развязывали вещевые мешки, извлекали из них помятый хлеб, консервы, сухую колбасу. Рыбаков тоже сел перекусить. Он вынул буханку свежего хлеба и кусок желтого сала. Его мешок был всегда полон.

Он отрезал кусок сала командиру орудия Светлику, потом, как бы подумав, и радисту, сидевшему рядом. Рыбаков старался быть в хороших отношениях с экипажем.

— Спасибо. Такого не ем!..— Светлик неожиданно бросил кусок сала назад Рыбакову.— Вытянул у человека,— может, последний кусок выменял. Да еще угощает!

— Меняла! Купец свиной!..

— Ну-ну, зачем выражаться! — сдержанно упрекнул Рыба-

ков.— И добро бросать не надо! Не хотите есть, так не ешьте! .. И выдумывать нечего! ..

Рыбаков оглянулся: не слышит ли все это Колышев? Нет, лейтенанта здесь не было.

Еще один танкист вмешался в спор. Все поддержали Светлика.

— Слушай, купец, ты давно этим занимаешься?..— поинтересовался Светлик. Оказалось, Рыбаков начал «торговать» не сегодня. Радист вспомнил, что, еще когда стояли, перед наступлением, Рыбаков раза два приносил из деревни сало, а как-то даже бутылку самогона. Сегодня он нашел где-то в трофейном грузовике одежду и вот реализовал.

Рыбаков осторожно отступил, постарался погасить ссору.

— Вот что, друг: чтоб не пачкал мою машину, ясно? — не хотел успокаиваться Светлик. — Ты, правда, не из моего экипажа, но на моей машине ездишь. Так не пачкай... А то сброшу с машины...

— Ясно, ясно... Хватит уже... — примирительно пробурчал Рыбаков.

Тогда же эта ссора дошла до Быстрова, а потом каким-то образом и до старшего лейтенанта. Командир роты вызвал Рыбакова и Колышева к себе.

— Ну, Рыбаков, отходными промыслами занялся? — Старший лейтенант спросил спокойно, но в этом спокойствии Рыбаков почувствовал недоброе. «Все-таки кто-то продал!»

Рыбаков начал хитрить: какие там промыслы? Один раз попробовал, и за кусочек сала столько неприятностей. Если бы он знал это, ни за что не пошел бы в ту хату...

— Мне говорили, что это не в первый раз... Кстати, вопрос: у тебя еще осталась эта... как бы выразиться, «трофейная нажива»?

Рыбаков сказал, что не осталась. Он опасливо взглянул на старшего лейтенанта и сразу отвел глаза в сторону.

— А ты, Рыбаков, смелее! Чего же стыдиться. Видели глаза, что брали... Будь же, черт возьми, хоть мужественным...

Старший лейтенант, насупив густые, с изломом брови, неприязненно взглянул на сержанта.

— Стыдно, значит? Да и мне, признаться, тоже не очень радостно. В моей роте таких «специалистов» раньше не было... — Он помолчал.— Ты сам-то думал, для чего мы сюда пробивались... на запад идем?

Рыбаков молчал, но упорный взгляд старшего лейтенанта настаивал. Рыбаков ответил:

— Ну, думал, конечно! ..

— Плохо думал! .. Тут — посмотришь, увидишь, как настрадались люди, сердце кровью обливается... Увидишь, как их ободрали эти звери ненасытные,— и словно материнский упрек

слышишь. А он — «ну, думал, конечно...». Не человек, а... черт знает что! — старший лейтенант начал волноваться. И Рыбаков, слыша этот возмущенный голос, стал вдруг — чего с ним давно не случалось — побаиваться командира.

— Да что вы на меня так, товарищ гвардии старший лейтенант? — пробормотал Рыбаков.

— Что он за человек?! Как его могло не задеть вот это горе вокруг? То, как нас встречают? Не понимаю.

Командир роты вопросительно и удивленно взглянул на Колышева, словно прося его разгадать это.

— Я человек не злой, но памятливый, Рыбаков... — Не ожидая ответа Колышева, командир роты снова заговорил, обращаясь к сержанту, но теперь сдержанно, и Рыбаков почувствовал, что это, вероятно, последние слова: — Знайте, этого случая я никогда не забуду и не прощу... Вы показали себя ничтожным человеком, и если вы не изменитесь, не оправдаете себя в будущем, плохо вам придется!..

Рыбаков хотел что-то сказать, но старший лейтенант опередил его:

— Не надо... Вас лейтенант не отпускал? — Колышев качнул головой: «Не отпускал».— За самовольную отлучку — пять нарядов вне очереди. Идите.

6

Никогда еще Колышев не видел командира роты таким. Просто странно, что, обычно добрый, приветливый к Колышеву, старший лейтенант смотрел на него так неприязненно.

Они немного отошли от роты, остановились. Оттуда, где они стояли, виднелись полоски ржи, мелкий кустарник в поле, а на опушке — прикрытые ветками ремонтные летучки. Земля под ногами была густо усыпана рыжей хвоей.

— Я буду говорить кратко.— Алексей переступил с ноги на ногу, под сапогами затрещали сухие ветки.— Когда вы узнали, что Рыбаков оставил взвод и пошел «торговать», что вы сделали?

Колышев сказал, как оно и было, что Рыбаков обманул его. Но главное не менялось: водитель совершил «самоволку». Он, Колышев, приказал Рыбакову, чтобы это больше не повторялось.

— И все? Почему так мягко? Наверное, не хотели заедаться? Боялись, что посчитают занудой?

Колышев удивился, как старший лейтенант догадался. Парень откровенно признался, что так он и думал.

— Вот что, Колышев. Если бы это было не впервые, я говорил бы с вами более строго. Но и теперь я считаю вас вино-

ватым. Я не мог и подумать, что вы будете вроде покупать себе авторитет. За счет своего долга... Это нечестно.

Более сильного упрека, чем упрек в нечестности, для Колышева быть не могло. Его нежное лицо густо покраснело. Алексею стало жаль Колышева, и он уже мягче, словно оправдываясь, что приходится говорить неприятное, продолжал:

— И не оригинально это, брат... Были уже такие офицеры, которые хотели казаться «добрыми дядями» — думали, солдаты будут больше любить... Только это, Колышев, самообман. Я хорошо знаю, поверь. Может, и будут уважать солдаты, но только такие, как Рыбаков. У «добрых дядей» конец один — они в конце концов, Колышев, теряют уважение...

Там, где стояли танки, послышалось: «Старшего лейтенанта Лагуновича — к командиру батальона!»

— Иду... С «торгашеством» надо покончить! Я не позволю позорить роту... — Он уже собрался идти в роту, но потом спросил, скрывая улыбку на добрых губах: — Ну так как, записать в «добрые дяди»?

— Нет, не надо...

ГЛАВА II

I

Июньская жара. Тучи пыли над дорогой...

Нескончаемый поток машин, повозок.

Торопятся одна за другой «катюши», на которых, словно паруса, шевелится брезент. Напряженно рычат, лязгают гусеницами неповоротливые тягачи с пушками. Усердно шумят грузовики. На них то штабеля ящиков с боеприпасами, то мешки с сухарями или с мукой, то запыленные, загорелые солдаты. Часто на машинах трепещут засохшие ветви маскировки.

Повозки скромно и осторожно жмутся к краю дороги. Привыкшие к грохоту, ко всему на свете, лошади идут спокойно, глядя перед собой на вытоптанную горячую землю.

Среди подвод в те дни можно было видеть скрипучую крестьянскую телегу, которую лениво тащил старый конь. Тощий, в желтоватых яблоках, конь лениво отмахивался и хвостом и головой от надоедливых слепней. У него были худые мосластые ноги, казалось цеплявшиеся одна за другую. На повозке, на свежем сене, лежал довольно большой мешок, к которому были прикреплены две веревочки, чтобы носить его за плечами; мешок был для надежности привязан одной из них к решетке.

На повозке время от времени тряслись три человека. Надо сказать, отдыхать на повозке им приходилось мало: чаще всего трое шагали рядом с ней. Один из трех, пожилой, высокий, малоразговорчивый, был в военной форме, но без погон, второй — несмелый паренек, лет шестнадцати, третий, старший из них, маленький и быстрый, шел, хромая, опираясь на посошок. На плечах его висела мятая ватная поддевочка. Неизвестно почему, он в такую жару не хотел ее снимать.

— Ты же сомлеешь в ней — сними! — как-то сказал ему, посмеиваясь, человек в военном.

— Сомлела одна баба, когда муж ее застал с другим... — шуткой отделался мужчина в поддевке. Это был тот самый огородник с Минщины, Живица, которого когда-то задержали на передовой танкисты Лагуновича.

Они шли вместе уже третий день и теперь чувствовали себя так, словно были знакомы всю жизнь. Живица оказался весьма разговорчивым и любопытным человеком, он без конца расспрашивал: а куда вы идете, а что вы будете делать, а где ваша семья, а где вы жили до этого?

Паренек, узнал Живица, шел из лагеря, возвращался домой. Немцы взяли его рыть окопы, но два дня назад наши освободили его.

Пожилой, одетый в военный шерстяной костюм, по фамилии Михолап, добирался до Минска, куда его назначили директором завода. Михолап шел широким шагом, вразвалку, все время чему-то благодушно, хитровато усмехался. С усмешкой поглядывал на окрестности, слушал разговорчивого попутчика.

— Директор завода! — рассуждал Живица. — Какой же это директор, если завод, неизвестно, останется ли еще? А может, там — упаси боже! — одни обломки будут?

— Есть директор, — значит, будет и завод!..

— Э, это еще... как сказать. Время сейчас такое, что всего жди... Если бы это слышанное да видеть... — Он вдруг вспомнил: — У нас возле Поплавов, не дайте сбрехать, перед войной организовали какую-то опытную станцию, — так туда тоже приезжал директор. Человек с виду очень важный и ученый — в шляпе, в очках. Так он все что-то суетился, организовывал, организовывал, да так ничего и не организовал... Говорили, почва там, что ли, не подошла... Одним словом, с чем приехал, с тем и уехал. Организовал! Вот вам и директор! Я вам лучше на ваши слова отвечу, что был бы завод, а директора найдут!

Он рассуждал и говорил почти беспрестанно. Почти никогда не был он в состоянии покоя — все время то радовался, то горевал. Увидел вдавленную в землю рожь, подбежал, походил, посмотрел, а после полчаса охал:

— Ай-ай, сколько хлеба вытоптано! Сколько добра на ветер пущено!.. Вот же росло под ласковым солнышком такое богат-

ство, тянулось вверх, наливалось себе соками, кланялось колосками земле и вот вдруг полегло, померло... Бывало, до войны каждый стебелек, как дитя, бережешь, чтобы ни одно зернышко не пропало в поле, а тут целая полоса вытоптана — и будто так и надо!..

Почти на каждом поле Живица присматривался к посевам — как наливаются. То огорчаясь, то хваля, в зависимости от качества хлебов, Живица взволнованно рассуждал, как там хлеба дома, не вытоптаны ли и как их придется убирать...

Телега, на которой ехал Живица, или, вернее, рядом с которой шел, нравилась ему тем, что была легкой, но она уже доживала свой век. Колеса ее почти все время надоедливо скрипели.

Живице приходилось много возиться с телегой.

Едва ли не каждые полдесятка километров останавливал лошадь и живо объявлял:

— Шина, нет на нее управы, сползает!

— Тяжи снова спали!.. Тьфу, чтоб ты сгорело, такое устройство!

Он сразу начинал рьяно хлопотать.

— Устройство, нечего сказать! Эх, у нас во «Всемирной революции» делали, бывало, телеги! Катится — ни скрипу, ни рипу, а поклажи можешь нагрузить, как на грузовик, все выдержит. Сами же повозки легкие, не то что конь, а ребенок может покатить.

Конягу он очень берег и жалел. Без конца отгонял слепней, которые тучами кружили над ним и впивались в бока и в шею. Живица не сердился, что он идет медленно. Только время от времени помахивал кнутиком да добродушно посвистывал, словно для того, чтобы подбодрить.

Живица уверял своих спутников, которые по милости этого создания были вынуждены почти все время топать пешком:

— Подкормить бы немно́го, и можно хоть на ипподроме скакать наперегонки. Ручаюсь головой, всех бы перегнал!

Вдруг произнес задумчиво и тревожно:

— Может, там теперь ни одного коняги не осталось. Один этот будет... На него, может, там будут все наши надежды... До войны на этого коня, наверное, никто и глядеть не захотел бы, а теперь — когда он один — за ним надо как за самым дорогим выездным ходить.

И Живица на всех привалах старательно подкармливал коня.

На ночлег остановились в Толочине.

Городок был забит войсками. Не было такого двора, где бы не виднелись или грузовики, или пушки, или группки бойцов. На нескольких дворах стояли крытые машины с красными

крестами, и Живица догадался, что расположился военный госпиталь.

Только объехав с полсотни дворов, увидели наконец один пустой.

Живица заехал во двор, возле стены пустого хлева распряг коня, дал ему с воза душистого сена. Двор был широкий, заросший ромашками и травой, он отделял дом от небольшого сада, подступавшего к улице.

Михолап и паренек пошли в хату, а председатель остался присматривать за конем. Спать Живица собирался здесь, на повозке, чтобы конь, упаси боже, не пропал — время неспокойное, много всякого народу шатается, надо держать ухо востро.

Почти сразу за ним во двор зашло несколько женщин и девушек. Живица заметил, что они очень устали, и посоветовал им остановиться здесь: он всегда сочувствовал людям. Женщины начали размещаться, часть из них пошла в соседние дворы, а человека четыре осталось здесь. Живица, понятно, поинтересовался, кто они и откуда, и узнал, что вчера гнали их в Германию, но танкисты настигли немцев и освободили пленных.

«Может, это те танкисты?» — подумал ревниво, с внезапной завистью, Живица.

— Скажите, а вы не видели, какие знаки нарисованы на танках?

— Кто же присматривался к знакам! Разве нам было до этого! Как подлетели к нам танки, как выскочили оттуда свои люди да начались объятия — так и земли под собой не видели!.. Не то что знаков!..

— Все равно знак надо было запомнить... Потому что без знака вы не будете знать, кто вас спас!

— Боже, а я и не подумала о том знаке!

Тут отозвалась проворная, быстрая девочка:

— На тех танках сбоку была белая стрелка и «Б».

— Стрелка и «Б»? Вот теперь ясно, кого надо благодарить!.. Это — ловкие, боевые хлопцы! Я их хорошо знаю...

Ну да, это они! Смотри ты, как далеко опередили — наверное, на целую сотню или больше километров. Где там за ними угнаться! Правду тогда в сорок первом говорили, что будут так гнать назад, что немцы драпать не будут управляться...

2

По улице шли и шли войска. Рычали тягачи с тяжелыми пушками и прицепами. Тащились друг за другом повозки, дымили на ходу полевые кухни. Нетерпеливо сигналили легковые машины.

На пушках, на повозках, на прицепах — всюду солдаты,

солдаты, солдаты. Запыленные, усталые, улыбчивые. Все — мимо, все — дальше, на запад...

Уже начало смеркаться, когда ко двору, в котором расположился Живица, и к соседним дворам подошла большая колонна запыленных солдат. Сразу, как только они остановились, скучились, послышался веселый разговор — шуточки, сдержанный гомон.

Разноголосицу эту скоро прервали громкие голоса команд.

Часть бойцов со своими командирами ушли к дому напротив, а остальные повернули во двор, где определился Живица. Среди них был молодой, чернявый сержант; войдя во двор, он сразу направился к Живице.

— Вы что, хозяин здесь? Нет... Проездом? — Сержант окинул Живицу быстрым, внимательным взглядом.

— Проездом, дорогой. Проездом.

Живица ждал дальнейших вопросов. Но сержант вдруг утратил интерес к нему. Не обращая больше внимания на него, твердым шагом зашагал в хату.

Вскоре он появился снова на крыльце, властно крикнул солдатам:

— Размещаться во дворе, в саду!..

Большинство солдат направилось в садик, в котором росло несколько невысоких яблонь с раскидистыми ветвями и зеленоватыми яблоками.

Из разговоров солдат Живица определил, что фамилия сержанта — Туровец.

Живице очень хотелось спросить, откуда пришли бойцы, но он не решился. С тех пор как танкисты едва не арестовали его, Живица с осторожностью относился к военным и их делам. Кто его знает,— может, спросишь, а потом снова придется идти выкладывать душу перед их начальником. Отвечать, как за военную тайну.

Все-таки Живица не выдержал. Не сразу, конечно, но отважился. Подойдя к одному бойцу, он вначале покурил, потолковал о разных мелочах и наконец, будто случайно, спросил:

— Издалека, если не секрет, едете?

— Теперь уже не секрет! Из Орши, отец! Прямо из города,— весело и громко ответил солдат.

— Значит, Оршу заняли?!

— Заняли, отец, заняли!

Мимо них легкой походкой прошел младший лейтенант с веселыми карими глазами, дочерна загорелый. Вскоре Живица заметил его возле небольшого костра, который разложили солдаты.

— Смотрите не наделайте пожару! — не командирским, а дружеским тоном остерег офицер.

— Не наделаем... Будьте спокойны...

Младший лейтенант присел у костра, на траве, поправил длинную ветку, горевшую посередине. Живице очень понравился командир, такой простой, обходительный с бойцами.

В это время с улицы донеслось: «Сержанта Туровца — к командиру ро-оты!» Сержант, поодаль от костра беседовавший с бойцом, сразу прервал разговор, заторопился на улицу. Михолап подошел к одному из солдат, чернявому, с узкими глазами, спросил:

— Не знаешь, откуда сержант родом?

— Туровец? Кажется, из Минска... Эй, Тишин, — крикнул он товарищу, босому, без рубашки, что поливал из котелка на руки умывающемуся бойцу,— здесь спрашивают, откуда наш командир родом. Не из Минска?

Тот, кого звали Тишиным, ответил:

— У него отец в партизанах.

— В «партизанах»! Не из Минска, спрашивают,— ясно? Человек — голова, два уха! — закончил Шарафутдинов поговоркой, которую он почему-то любил повторять и которая в разных случаях приобретала разное значение: то насмешки, то презрения, то дружеской шутки.

— Из Минска, говорил...

— Ну да, Ничипора Павловича сын! — довольно проговорил Михолап. Он, не то вспоминая, не то объясняя, сказал стоявшему рядом бойцу: — Я у них года четыре назад несколько раз гостил. Тогда он, сержант ваш, был пуговкой. А теперь — смотри ты, мужчина!

— Взрослый парень и боевой!.. — с уважением отозвался пехотинец.

Вечером Михолап, лейтенант и сержант Туровец сидели вместе с солдатами у костра. Сюда подошли послушать людей и несколько женщин и, конечно, Живица.

На улице поток войск почти не останавливался. Деловито гудели машины, стучали повозки.

Юрий и Михолап говорили о Минске. Рассуждали, что им придется увидеть в городе, как лучше налаживать там жизнь.

В беседе, в своей заботе не заметили, как около костра очутился грузный, тяжелый человек в кителе с полевыми генеральскими погонами. На груди генерала от света пламени поблескивала Золотая Звезда. Генерал внимательно, неторопливо оглядел сидевших перед ним людей, поздоровался:

— Здравствуйте, товарищи!

Все военные, и Михолап в том числе, вскочили, вразнобой ответили на приветствие. Когда генерал каким-то мягким, покровительственным тоном разрешил сесть, все неторопливо, как бы в раздумье, начали снова устраиваться. Сержант, до этого сидевший на чурбачке, также сел, но тут же, с неловкостью, поднялся. Как-то осторожно предложил:

— Здесь вот чурбачок, товарищ генерал. Может, сядете?

— Сяду,— мягко произнес генерал.— Спасибо.

Он медленно, устало опустился на чурбачок, снял фуражку, пухлой рукой погладил почти лысую, с редкими волосами, голову. Живица не выдержал, поинтересовался, кто это, и услышал взволнованный, почтительный шепот: «Командир. Комдив...»

— Чужой самолет на себя не накличете? — Генерал, как-то по-домашнему горбясь, устало бросил взгляд на небо.

— Нет. Огонь маленький, товарищ генерал...

— Не до нас ему...

Минутное молчание учтиво прервал Живица:

— Потянуло к костру, товарищ генерал?

Генерал пытливо посмотрел на него, сдержанно произнес:

— Где костер, там солдаты...

— Солдат без костра, как без котелка,— подхватил кто-то из бойцов.

Послышался смех.

Генерал присмотрелся к Живице:

— Не местный?

— Нет.— Живица насторожился. Чтобы скрыть настороженность, пошутил: — Приблудный, можно сказать...

На всякий случай добавил серьезно:

— Шел, шел, да пристал. А тут и ваши,— кивнул на солдат, сидевших вокруг костра,— подошли. Вот и собрались семейкой...

— Домой? — не отставал генерал.

— Ага, домой. В колхоз возвращаюсь. — Вздохнул: — Иду и боюсь. Там, может, ни кола ни двора...

Генерал взглянул на Михолапа:

— Демобилизованный?

— Отозвали, товарищ генерал, — по-военному отрапортовал Михолап.— Из резерва, после госпиталя.

— Куда посылают?

— В Минск, директором завода.

— И это надо,— сказал генерал.

Он обвел взглядом лица бойцов, словно ища кого-то. Хмуро, с командирской строгостью произнес:

— Ну что ж, пробились? — Он сказал это таким тоном, словно здесь был кто-то, кто не верил, и он говорил этому маловеру.

— Пробились!..— зашумели вокруг костра.

— Боялся я, — с той же откровенностью, с напускной грубоватостью признался генерал.— Особенно за молодых. Подведут, думал, под монастырь.

Он будто специально скрывал добродушие, специально демонстрировал откровенность, мужскую грубоватость.

— Ничего, не подвели,— объявил он.

— Можете всегда надеяться, товарищ генерал! — отозвался довольный голос.

— Не сомневайтесь! .. Гвардейцы не подведут!

— Теперь уже не сомневаюсь,— спокойно ответил генерал. — Вижу: можно надеяться. — Он снова обвел всех медленным взглядом, с любопытством спросил: — Ну, как Орша?

— Орша — то хорошо, то горше, — произнес кто-то, и снова вокруг засмеялись.

— Всякая была!

Щербатюк из-под едва заметных, светлых бровей взглянул на Юрия:

— Интересные встречи были? — Объяснил: — В уличных боях бывают интересные ситуации.

— Были, товарищ генерал.

— Ну, например? — не то попросил, не то приказал генерал.

— Например? — Юрий задумался.— Например — на окраине! — Он повеселел, заволновался от воспоминаний.— Идем мы, идем наготове... Один дом обошли, второй. Идем, как на боевом взводе. Потом начинаем пробираться мимо хлева. Большой такой хлев.— Юрий поискал глазами.— Шарафутдинов первый, мы за ним... И тут вдруг прямо перед ним, лицом к лицу, двое! Один вытаращил глаза от неожиданности, другой — сразу за автомат! На секунду бы он, Шарафутдинов, опоздал,— каюк бы ему. Но он опередил!

— У них автоматы были на ремнях, — пояснил Шарафутдинов. — У них — на ремнях, а у меня — в руках.

— Одного он сразу очередью, в упор. А второй — руки вверх!

— Все так было? — повернулся генерал к Шарафутдинову.

— Так,— подтвердило несколько голосов.

— Молодчина! — строгим тоном похвалил командир дивизии. — Это — по-гвардейски. — Он помолчал. Вслух подумал: — А все из-за какой-то доли секунды. Вот что значит секунда в уличном бою... Да, здесь мух не лови. Оружие держи наготове, патрон — в патроннике. Один миг проворонил — и конец. Здесь так.

— Это точно!

— Где вы, товарищ гвардии ефрейтор, идете по улице во время боя? — вдруг снова поднял Шарафутдинова командир дивизии. В глазах генерала было пристальное внимание: «А ну, знаете?»

— Когда идем по улице? — переспросил ефрейтор.

— По улице.

— Когда идет бой?

— Когда идет бой.

— Тогда мы идем близко к стене. Или около забора. Осторожно.

Генерал не кивнул головой. Будто не одобрил. Ждал чего-то.

— Можно и около забора. Но лучше — дворами.

— Дворами мы тоже идем.

— Дворами лучше.— Генерал снова взглянул требовательно: — Как перебегаете через улицу?

— Когда идет бой?

— Когда идет бой.

— Мы перебегаем быстро-быстро.

— На перекрестке — тоже?

— На перекрестке — нет. Перекресток обходим.

— Это правильно, — генерал позволил Шарафутдинову сесть.

— Вот что еще, друзья,— будто и советовался, и размышлял Щербатюк.— В уличном бою первый друг — граната. Побольше бери их с собой. Подбирай на дороге. Научись пользоваться трофейными. Гранаты — лучший друг в уличном бою. Запомните это. Запомните, что мы здесь говорили. Нам придется вести много уличных боев... Сначала в Борисове, потом, может быть, в Минске. Потом, глядишь, — в Варшаве. И так — до Берлина. В городах и в деревнях. Много уличных боев будет.

— А и правда. Я как-то не думал об этом.

— И я...

— Надо думать.

Генерал снова повернулся к Живице:

— Так говорите — идете и боитесь?

— А как же не бояться,— совсем осмелел Живица.— Если там, может, ни кола ни двора. Спалено, может, все...

— Да, вам, видно, сначала придется не сладко...

— Не сладко, не сладко,— согласился Живица.— А только,— добавил он, подумав,— все равно душа рвется туда. Скорее бы, кажется, докатить.

— Легкой жизни пока не будет,— задумчиво сказал Михолап.

— А есть люди, которые думают иначе,— отозвался генерал.— Вот недавно по решению ЦК партии демобилизовали мы одного майора. Из политотдела. Он до войны здесь, в Белоруссии, работал. Так майор стал просить, чтоб оставили в армии. Пришел ко мне и говорит: «Хочу остаться на фронте. Где труднее». Так я его «успокоил». «Где теперь легче,— сказал я ему,— не так-то просто разобраться. Поезжайте и посмотрите».

Щербатюк помолчал, потом задумчиво произнес:

— Мы вот воюем, освобождаем. Освободили — и многие

думают: главное сделано. А главное, может быть, как раз только начинается...

— Вот правда! — горячо поддержал его Живица.— Великая правда! И я иду это и думаю...

Но что он думает, Живице сказать не пришлось: к командиру дивизии подошел подполковник и сообщил, что его срочно вызывают к рации.

— Вот не вовремя,— хмуро, недовольно произнес генерал. — Только разговорились по душам. Каждый раз так!

Медлительный, грузный, он неохотно поднялся. Освещенный неровным пламенем, на минуту задержался.

— Так, значит, — он обвел взглядом бойцов, — можно на вас надеяться?

— Можете, товарищ генерал!

— Не подведем.

— Ну, смотрите!

3

Некоторое время у костра говорили о командире дивизии. О его заботливости к солдатам, о строгости и отваге в бою. Говорили с любовью и гордостью.

Потом разговор перешел на иные темы, начал дробиться на группки. В каждой группке свой интерес и своя забота. Кто печалился, кто шутил, кто боевое геройство свое, товарищей славил перед женщинами. Шарафутдинов затянул какую-то тоскливую песню.

Живица подсел к Проворному, взялся расспрашивать, откуда родом, женат ли, где и кем работал, кто директор завода и какой он, директор, по характеру. Младший лейтенант доброжелательно отвечал любопытному спутнику.

Родом он с Урала, из Свердловска. Там закончил ремесленное училище, потом работал токарем. В гражданке работал на большом машиностроительном заводе, а в войну, в первые дни, пошел добровольцем в армию. Все время в пехоте... Что за человек директор? Да как сказать: на заводе сейчас новый директор. А он, Проворный, уже три года как распрощался с родным городом и о том, что там происходит, знает только из писем...

— У вас там будет легче... Что ни говори, все цело...

— Нам легче,— согласился Проворный.— У нас не только ничего не разрушено, но и много нового построено... Но — вы не чужие. А наши, уральцы, своих в беде не бросают... Поможем! Чем сможем, поможем.

— Это было бы хорошо! По-братски!.. А уж мы — в долгу не останемся.

«Собрались отовсюду, а будто старые знакомые!» — невольно подумал растроганный Живица.

Поблизости толковали Михолап и Юрий. Сержант с любовью рассказывал о своем отце:

— Давно не виделись! Кажется, целую вечность... Эх, повидаться бы! Попасть бы в Минск!.. Знаете, я почему-то уверен, что он обязательно будет в Минске. Если только жив... А если будет в городе, то я смогу его найти! Это — как дважды два. Зайду в горком, и там мне скажут. Уверен... Вот только бы попасть в Минск!

— Попадете. Направляетесь ведь как раз на Минск.

— Пока что туда идем, а завтра, если надо будет, повернем куда-нибудь на север... И тогда — увидишь Минск... на снимке в газете.

Он встал, устало выпрямился.

Их подняли на рассвете. Живица, спавший на возу, от которого пахло свежим сеном и немного дегтем, сквозь дремоту услышал, как к часовому подбежал кто-то из солдат и спросил, где найти лейтенанта. Когда Проворного разбудили, посыльный передал приказ комбата поднимать людей.

Вскоре все в саду пришло в движение. Меж яблонь заплескались то энергичные, то вялые, после сна, голоса. Звякало оружие и котелки.

Живица тоже встал. Начал хлопотать возле коня и телеги, собираться в дорогу. Оттого что все вокруг ходили, суетились, у него на душе было радостно.

— Туровец! Прикажи получить завтрак! — узнал Живица голос младшего лейтенанта.

Переговариваясь, солдаты с котелками друг за другом протопали куда-то на улицу. Когда они начали возвращаться, в саду запахло вареным пшеном. Живице тоже захотелось есть, и он развязал свой заветный мешок. Но подошел Проворный, принес котелок с кашей.

— Вот, подкрепитесь на дорогу, отец. Ехать вам еще далеко...

На улице возникли два неярких пятна света, медленно продвинулись к самому забору и остановились. Минуту спустя свет погас, затих шум мотора автомашины. В утреннем полумраке Живица различил темные очертания грузовика. Еще одна машина остановилась на другой стороне улицы.

— Грузовики пришли. Вот хорошо,— сказал Проворный и направился на улицу. Через несколько минут послышалась команда:

— Кончать завтрак. Грузиться на машины!..

Когда сад опустел и затих, Проворный возвратился. Подбежал к Живице.

— Ну, мы готовы! .. Выезжаем! — Он торопливо, но сильно пожал руку Живице.— Счастливо добраться вам, отец...

Неожиданно простился с Живицей и Михолап. Он сказал, что Юрий взялся подвезти его, пока будет возможность. Директор взял с телеги свой легонький, со вдавленным боком, чемоданчик и заторопился к машине.

— Что ж, баба с возу — кобыле легче! .. — весело произнес Живица.

Но когда машины тронулись, увозя военных и Михолапа, он почувствовал вдруг себя тоскливо, одиноко.

Хорошие люди! А вот разошлись и, наверное, уже никогда не сойдутся снова. Уехали и Проворный, и генерал, и директора нет...

Живица взглянул на то место, где вчера горел костер: там теперь только печально темнело пятно угля и пепла да валялась брошенная кем-то тряпка.

Несколько женщин, провожавших бойцов, возвратились в хату.

Пусто было вокруг.

Живица принес из хаты ведро, достал воды из колодца. Напился сам, неторопливо, морщась: от холодной воды схватывало больной зуб, напоил коня и запряг его. Потом разбудил парнишку, тот еще крепко спал. Когда парень сел на телегу, Живица выкатил на улицу. Отгоняя печаль, покрутил над головой кнутом:

— И-и-и! Но, милка! Резвей! Домой едем, не куда-нибудь!

ГЛАВА III

1

Утром танкисты подошли к Минской магистрали.

Поднялись на нее и сразу свернули с шоссе. Шли снова по узким и извилистым проселочным дорогам, нередко и прямо по полю.

Но и теперь чувствовали рядом шоссе. Магистраль была как бы ориентиром.

Не только старший лейтенант Лагунович ориентировался по ней. Проходили боевые краснозвездные самолеты на Минск — часто определяли путь по магистрали, светившейся внизу.

По каким дорогам и тропинкам ни двигались бы артиллерийские дивизионы, пехотинцы, наступавшие на Минск,— все чувствовали рядом с собой стрелу магистрали. Она словно указывала направление.

Магистраль бежала прямо на запад.

Бежала то через дружные, темные сосняки, то через белоствольные березовые рощи, то через густые смешанные леса. Ее окаймляли широкие полосы вырубок с еще не почерневшими пнями, отделявшие шоссе от лесов. Полосы, на которых упрямо выбивалась вверх зеленая молодь.

Бежала через болота, поблескивавшие осокой, через поля, на которых часто озерами разливалась сурепка. Через деревни, сожженные, разрушенные или затаившиеся в тревоге за жизнь. Через мосты, окруженные дзотами и дотами, оплетенные колючей проволокой. Бежала туда, где ждал измученный Минск.

Она была как указатель пути. Она была — как лезвие. Лезвие большого меча, нацеленного в сердце ненавистной гитлеровской державы.

Все эти дни нещадно палило солнце. Небо было высокое, огромное, чистое. Только изредка где-нибудь в необъятной вышине белели легкие, словно кружево, перистые облака. Да временами клубились на небосклоне холмы белых кучевых облаков.

«Эх, дождика бы теперь! — не раз думал Алексей, с надеждой поглядывая вверх.— Вот было бы хорошо!»

Он снимал танкошлем и вытирал ладонью пот, ручьями стекавший по лицу, насколько мог расстегивал воротник комбинезона.

В машине было душно. Нагретая солнцем броня дышала жаром, жар источал горячий мотор, напряженно гудевший за боевым отделением.

Чтобы уменьшить жару в машине, ехали с открытыми люками. Поток свежего воздуха врывался в люк водителя, в боевое отделение и выходил в люки башни. Воздух будто обмывал лица танкистов.

Жаль только, что днем почти всегда вместе с воздухом вползали тучи пыли. Она лезла в ноздри, в рот, засыпала глаза водителям, оплывала грязными ручьями по потным лицам.

Когда случалось, что ветер дул в сторону и пыль относило от машин, танкистам было легче. Можно было и подставить лицо свежему, бодрящему ветру, и подышать чистым воздухом.

— Хорошо, когда ветер дует сбоку,— как-то сказал Быстров, обычно словно безучастный ко всякого рода неудобствам. Он легко переносил их и, кроме того, не любил показывать свою слабость в чем-либо.

Быстров помолчал, прищурил зоркие глаза.

— Жару можно терпеть. У нас в тайге бывает так, что

можно свариться. Но пыль — дрянь. Наглотаешься, как полыни наешься... А тут еще ветер ее гонит...

Жара действовала не только на людей, но и на машины. «Тридцатьчетверки» вынуждены были сдерживать скорость.

Солнцев в эти дни с тревогой смотрел на круглый циферблат термометра, показывавшего температуру воды. Стрелка нередко переходила за сто градусов.

Вода в системе кипела.

Возле речек и колодцев старший лейтенант нередко останавливал машины. Радио разносило по всем экипажам привычное:

— Залить воду!

Тревожные жаркие дни, беспокойные, бессонные ночи очень утомляли танкистов. Алексей, человек хотя и терпеливый, но некрепкого здоровья, чувствовал, что и его часто одолевает усталость.

Танкисты отдыхали когда придется и как придется, зачастую спали прямо на ходу. Труднее было механикам-водителям, они-то никак не могли дремать на ходу. Они использовали для этого различные случайные остановки. При такой остановке водители обычно подгоняли свой танк вплотную к переднему, к самым малиновым кнопкам задних фонарей.

Когда в переднем танке начинал работать мотор, водитель пробуждался. Спохватившись, он тоже привычно включал мотор, давал газ и, следя за малиновым огоньком, плывшим впереди, вел вслед за ним свою машину...

Нередко, однако, случалось и так, что шум мотора уже не мог разбудить водителя.

Однажды после остановки командир батальона приказал роте двигаться вперед,— было слышно, как машины заурчали и начали отдаляться.

Но танк, стоявший перед машиной Яковенко, почему-то не трогался.

Яковенко спрыгнул на землю, пробежал вперед, выяснить, почему там медлят.

— Чего стоите?! — крикнул лейтенант, заглядывая в люк водителя.

Ему ответили не сразу. Потревоженный водитель,— видно, еще во власти сна,— похоже, все не мог понять, что означает этот вопрос и как на него надо ответить.

— Впереди танк... стоит...

— Где танк, бисова душа! — разгневался лейтенант.

— Впереди...

— «Впереди»... Ты в танке сидишь или, може, в плацкартном вагоне? Спишь? Где командир?

— Младший лейтенант прилег на часок.., Игнатов за него..,

— А где Игнатов?

— Здесь,— отозвался сверху танкист.— Виноват, товарищ командир, чуть задремал.

— «Задремал»! Я тоби сейчас подремлю! — Чтобы зря не терять времени, Яковенко приказал: — Вперед! .. Догоняйтэ роту!

Остыв от гнева, лейтенант с сочувствием подумал: «Втомилися люды. Надо було б поспать, передохнуть немного».

2

Половина деревни была сожжена, — сожжена всего день назад. Кое-где еще курился дым. За сожженным краем деревни уцелела только колхозная силосная башня...

Возле силосной башни танкисты и увидели это.

Широкая яма была доверху наполнена трупами. На лицах убитых застывшее выражение предсмертных страданий и страха. Некоторые трупы зверски изуродованы, должно быть взрывами гранат...

Все стояли молча: танкисты и автоматчики были как никогда задумчивы и мрачны. Только кто-то пригрозил:

— Ну, пусть теперь не просят жалости!

К группке танкистов подошло несколько вооруженных человек в гражданской одежде. Их пропустили вперед; один из гражданских, худой, с поседевшими висками, со страхом стал быстро искать кого-то в яме.

— Ну что, нет? Я же говорю, выдумка все. Никто толком не знает,— пробовал успокоить его второй.

— Не вижу... Но они, наверное, здесь... Наверное, здесь... — Тот, кто искал, говорил таким тревожным голосом, что у Алексея холодело в груди.

И вдруг человек увидел того, кого искал: он сразу напряженно шагнул вперед. Отодвинув труп, он поднял на руки ребенка. У малыша не было лица,— человек, видно, узнал его по одежде. Как живого, поднял он на руки ребенка и вынес из ямы, стараясь не смотреть на лицо...

Потом он нашел и вынес оттуда женщину.

Одежда ее была в лохмотьях, в запекшейся крови. На теле в нескольких местах зияли страшные рваные раны. Лицо было изможденным — щеки черные, впалые, узкий, как у скелета, подбородок. Поразили Алексея глаза — открытые, тусклые, мертво застывшие, с выражением ужаса.

— Ганночка! Гану-у-лечка!! — врезался вдруг в тишину отчаянный крик кого-то из деревенских женщин.

Старая женщина бросилась в яму, упала, без памяти забилась над трупом.

И сразу женщины, что подошли и подходили, подбегали сюда из деревни, запричитали, застонали, закричали.

У Алексея, чуткого к чужому горю, лицо нервно передернулось. Он резко повернулся и пошел прочь от ямы. Ему было больно и вместе с тем почему-то тревожно, хотя он и не понимал причину тревоги.

Вслед ему неслись отчаянные, рвущие душу голоса.

Алексею прямо невыносимо было слышать их. Все это жестоко мучило его и потому, что уже до этого болела его душа. До этого Алексея разбередило внезапное несчастье. Меньше часа назад, когда уже утихал бой, тяжело ранило командира батальона. Комбат был одним из самых старых товарищей Алексея в бригаде, и Алексея в сердце ударила весть о его беде, тем более что, по рассказам, ранен он был страшно: осколками в живот и в таз, жестоко страдал. Отправлен в санбат почти без надежды...

Танки стояли в сотне — полутораста метрах от силосной башни, прикрытые ветвями маскировки. Неподалеку на перекрестке улиц лежала на боку немецкая зенитная пушка, возле которой валялись в пыли трупы, видно, ее расчета, гильзы от снарядов, ящики.

Немного дальше виднелось еще одно немецкое зенитное орудие и тягач, брошенные бежавшими. Рядом с ними в саду стояла машина со штабной рацией бригады и несколько других машин, а также танк,— видно, начальника штаба.

— Ну что, никаких новостей? — хмуро спросил старший лейтенант у Быстрова, стоявшего возле танка.

Быстров ответил, что все по-прежнему.

Впереди, километрах в четырех, шел бой, и все ждали, что вот-вот и им надо будет вступить в него.

За пригорком, на котором виднелись воронки от бомб, часто ухали пушки танков и самоходок, густой черной тучей поднимался дым. Слушая эти звуки, Алексей стал снова возвращаться к тревожному предбоевому настроению.

Он не заметил, когда к нему подошел Рыбаков. Настороженно козырнув, сержант сообщил, что пришел с просьбой.

— Говори!

— Хочу в экипаж!

Алексей безразлично взглянул на него:

— В экипаж...

— Да! В экипаж.

Рыбаков говорил грубовато, с вызовом.

Алексей не ответил, будто не слышал.

— Или разрешите,— сказал Рыбаков мягче,— чтоб меня перевели в другую роту...

Он смотрел на Алексея требовательно, но тот как бы не замечал ни тона его речи, ни самого его,

— В другую роту?.. Нет! — сказал Алексей вдруг твердо.
— Почему?
— Не пущу — и все!
Он явно не был расположен вести разговор дальше, но Рыбаков не уходил.
— Почему? — спросил он уже злобно.
— Потому.
— А-а... не хотите сбывать «ненадежных» людей?
Алексей уловил в его голосе язвительность.
— Да,— сказал он тоже с вызовом.
Старший лейтенант метнул взгляд на Рыбакова и увидел неприязнь, даже ненависть.
— Да, — подтвердил жестко, — вы правильно догадались...
И вдруг от этой неприязни Рыбакова Алексею стало легче: а он, видно, не такой бездушный, как можно подумать. Что же такое тогда эта его самоуверенность, эта фанаберия?
Алексей на минуту задумался: Рыбаков, небрежный и эгоистичный, был при всем этом хорошим знатоком своего дела, мотор он знал так, как немногие в роте, и это нравилось Алексею.
У Рыбакова будто бы хватало также и храбрости. Кстати, вспомнил Алексей давний рассказ Рыбакова на каком-то перекуре, он, похоже, был одним из лучших трактористов в леспромхозе на Архангельщине...
Может быть, в этом сказалось и то тяжелое потрясение, которое томило душу, но Алексей смягчился.
— В экипаж, значит?
Рыбаков не ответил; озлобленный, он, видно, принял это за насмешку.
— Ну что ж. Раз вы так просите...
Алексей задумался, размышляя: куда его лучше всего определить. Заметил: Рыбаков не глядит, не верит ему.
— Сегодня вы будете водителем.
Рыбаков взглянул тяжело, недоверчиво:
— Это правда?..
Алексей озабоченно двинулся. Рыбаков последовал за ним.
— Яковенко! — позвал Алексей у одного из танков.
Лейтенант Яковенко обедал в кружке танкистов. Явился, на ходу вытирая рот, оправляя комбинезон.
— Ты просил водителя?
Яковенко сразу повел взглядом на Рыбакова, неприветливо, недобро.
— Просыв...
Алексей уловил в его взгляде да и в первом слове: просил, но не такого. Не давая Яковенко возразить, приказал:
— Вот тебе водитель.

3

В это время на дороге, с той стороны, где шел бой, появилась «тридцатьчетверка». Она остановилась неподалеку — перед окопами, возле которых лежала раздавленная пушка и валялись ящики со снарядами.

Алексей узнал машину Бессонова. Через минуту он услышал, что его вызывают к комбригу, и торопливо направился к полковнику. Гадая, зачем вызывает комбриг, решил: пришел час идти в бой...

Полковник совершал обход батальона. Когда Алексей доложил, что прибыл по его приказанию, Бессонов только приостановился, нетерпеливо выслушал доклад и, дав знак следовать за ним, пошел дальше. Коротким взглядом окидывал танкистов, делал замечания, бросал вопросы, осматривал машины.

Увидев Колышева, полковник остановился:

— Как воюешь?.. Лагунович, — обратился Бессонов к Алексею, — как он у тебя?

— Неплохо, товарищ гвардии полковник... Только вот — машину разбомбили. Так теперь на броне, с автоматчиками...

— А ты что — недоволен? — Бессонов устремил взгляд на Колышева.

Колышев смутился. Не знал, что сказать.

— Жалко, товарищ гвардии полковник.

— Чего жалко?

— Машину жалко, товарищ гвардии полковник.

— «Жалко». Я спрашиваю — недоволен, что автоматчиком стал?

— Почему?

Он не понимал, чего добивается полковник.

— Я, товарищ полковник,— сказал он, злясь,— готов служить, где надо. Кем надо.

— Вот это верно,— грубовато одобрил полковник.— Главное — везде быть солдатом. Настоящим солдатом!.. Мне самому довелось всего хлебнуть. А я — доволен!

В прошлом году перевалило за двадцать лет с тех пор, как он пришел в армию, повоевав перед этим еще партизаном в таежных просторах за Томском. В армии Бессонов долго служил и солдатом, и отделенным, и взводным, и ротным — все в пехоте, в танковую часть он попал много позже. Рос он нелегко, по очереди поработал, кажется, на всех должностях.

Видно, с солдатской поры осталась у Бессонова эта привычка быть простым в обхождении с солдатами, вести себя с ними хотя и грубовато, резко, но как равный с равными...

— Я надеюсь, что еще услышу о тебе! — сказал Бессонов, будто приказывая. Не прощаясь, пошел дальше.

Обойдя еще несколько машин, полковник остановился. Скрывая что-то в тяжеловатом взгляде, казалось, недобро, испытующе смотрел в глаза Алексею. Алексею стало даже немного не по себе.

— Примешь батальон, — внезапно произнес он хмуро, будто недовольно.

Алексей как бы не понял. Меньше всего ожидал он этого.

— Товарищ полковник,— сказал он растерянно.

Бессонов перебил его:

— С этой минуты отвечаешь за него...

Он говорил тоном, не допускающим возражений.

— Слушаюсь, товарищ гвардии полковник,— подчинился этому тону Алексей.

— Если будут какие-нибудь сомнения,— заговорил снова Бессонов, глядя по-прежнему испытующе, — спрашивай, помогу. Я люблю, когда меня беспокоят... Только смотри, чтоб батальон был всегда — как пружина. Если подведешь — не прощу!

Бессонов вызвал командиров рот и взводов, представил им нового комбата. Вблизи начали раскатисто грохать зенитки, и танкисты подняли головы. Высоко в небе шли три немецких бомбардировщика,— вокруг них вспыхивали белые облачка разрывов, что все гуще усеивали голубую высь.

Услышав давящий визг бомб, все замолкли, ожидая. Бомбы взорвались посреди деревни.

Бессонов озабоченно заторопился.

— Ну, командуй, комбат.

Полковник сделал ударение на слове «комбат», снова посмотрел Алексею в глаза. Минуту спустя танк Бессонова уже мчался к середине деревни.

К Алексею подошел Яковенко, дружески обняв, поздравил его. Старший лейтенант поблагодарил смущенно и сдержанно. Хотя Алексей и не показывал этого Бессонову, новое назначение его немало обеспокоило. Как-никак батальон — это не рота, — ему теперь надо будет вести три роты...

— Ты, Олексей, справышься,— будто угадывая мысли старшего лейтенанта, сказал, как старший брат младшему, Яковенко. — Голова у тебя розумная, сэрьезная. Та и подготовка — и техническая, и политическая, и стратегическая — выщая, гвардейская. Одним словом, всэ есть, що надо... Тильки одын совет запомни от меня,— он улыбнулся добродушно-лукаво — нэ задавайся и нэ забувай товарищей...

— Да как же можно забыть,— с неловкостью возразил Алексей,— вместе будем воевать!..

Когда Яковенко отошел, новый комбат с удивлением подумал: как это случилось, что он стал командиром батальона?

Это назначение было для Алексея неожиданным, Бессонов до нынешнего дня по-прежнему не проявлял благосклонности к нему, казалось, больше симпатизировал двум другим командирам рот.

Вместе с тем доверие Бессонова радовало Алексея. Хотя Алексей и не любил полковника за грубость и нечуткость, относился к нему настороженно и даже побаивался, он все же ценил Бессонова как командира, который всего себя отдает бригаде. Алексей знал, что, ревнивый и недоверчивый, полковник никогда не подведет бригаду. В любой обстановке сделает для нее все, что возможно.

Что таить, было у Алексея и чувство, которого он стеснялся: тщеславное ощущение, что вот он уже как бы выше, чем час назад. Командир батальона, шутка ли сказать! Сознание этого его нового положения и остро волновало Алексея и как бы еще плохо доходило: казалось, в этом было будто и что-то нереальное, выдуманное.

Скорее в силу выработанной уже привычки исполнять все, приглушать ненужные ощущения, Алексей начал деятельность в новом своем качестве.

Новый комбат задумался, с чего начинать. Познакомиться с людьми? Большинство из них, особенно командиров, он знал; правда, многих знал издали. Так что, конечно, знакомиться следует...

Прежде всего, пожалуй, надо укрепить разведку, в ней дня три назад ранило командира взвода, он лежит теперь в госпитале. Командует разведкой временно младший лейтенант, командир второй машины, человек, может быть, и неплохой, но медлительный и беспечный. Разве место ему в разведке? Это ведь из-за него, по существу, позавчера потеряли машину. Если бы он внимательнее смотрел, разве не заметил бы он те немецкие самоходки, замаскированные в саду, что подожгли «тридцатьчетверку»? Трудно быть уверенным в таком разведчике.

Алексей высказал свои соображения подполковнику Семижону, приехавшему вскоре после Бессонова. Подполковник согласился: такому командиру трудно доверяться в разведке.

— А кого ты думаешь вместо него?

— Гогоберидзе, думаю,— ответил Алексей.

— А Гогоберидзе лучше будет? Не в меру горячий... Да и, пожалуй, легкомысленный...

— Зато если возьмется за что-нибудь, ничего не пожалеет. Этот не подведет — я уверен... А что горячий, так можно остудить...

— Ну, если обещаешь остудить, то я — не против.

Гогоберидзе, узнав, куда Алексей хочет его определить, с радостью согласился, но стал просить, чтобы туда перевели и весь его взвод.

— Что тут странного, дорогой Алексей? Я каждого из них знаю, как своего брата! А мне как раз и нужны такие люди: надежные, в которых я бы не сомневался! С такими людьми я куда хочешь пойду в разведку, хоть в самый Берлин! А без них — я буду действовать с оглядкой... Все время с оглядкой... Отпусти их со мной, дай согласие!..

Сандро вообще умел сживаться с людьми. Но старший лейтенант не дал согласия...

Закончив разговор с Гогоберидзе, Алексей направился во вторую роту. Шагая в роту, что еще недавно была словно чужой, Алексей испытывал все то же чувство новизны, нового своего состояния. От врожденной застенчивости он чувствовал и неловкость и неуверенность перед предстоящей первой встречей с новыми подчиненными своими. Готовясь к этой встрече, он обдумывал, как должен будет держаться. Больше всего не хотел он, чтобы там, в роте, заметили неуверенность его. Надо, думал он, чтобы все видели его спокойным, твердым, чтобы с первого дня поверили в него как в командира. Первые шаги, пока к нему как к комбату не привыкли, понимал он,— особенно важны...

В деревне уже была пехота, начавшая заполнять улицы и дворы. Устраивался какой-то пехотный штаб,— связисты шестами вскидывали на ветви деревьев, на заборы провода.

Вблизи, у перекрестка, стоял маленький пехотинец — регулировщик с флажками.

Начинало вечереть. Бой отдалялся и затихал. Над улицей тихими тучами вилась мелкая, как пыль, мошкара. Ветер вдруг принес откуда-то истомный, как бы грустный запах увядшей скошенной травы. Кто ее скосил, эту траву?

Экипажи работали: танкисты осматривали танки, заправляли их горючим и маслом, регулировали механизмы, грузили снаряды и патроны. Как и весь батальон, готовились к маршу.

Эта знакомая картина деловитой озабоченности принесла Алексею успокоение, а с ним и первую уверенность... Он остановился возле двух танкистов, натягивающих гусеницу, стал проверять, правильно ли они делают это.

Командир машины, закатав рукава комбинезона, колдовал в трансмиссионном отделении. Когда один из танкистов толкнул его, показал на Алексея, он — щупленький, аккуратный, подвижный — соскочил на землю и доложил, чем занят экипаж.

Здесь к Алексею спеша подошел командир роты, азербайджанец Алиев, чернявый, с поклеванным оспой лицом. Будто

не были еще недавно равными, со старанием и почтением на лице доложил о роте.

Скрывая смущение, Алексей разрешил дать команду «вольно», нарочито озабоченным тоном попросил познакомить с людьми, показать свою «армию». Танкисты встречали Алексея в новой роли приветливо и, о чем-то переговариваясь, внимательно наблюдали за ним, словно видели впервые...

Обходя экипажи, Алексей заметил двух командиров машин, сидевших на завалинке. Старшему лейтенанту не понравилось, что они оставили экипажи... Но надо ли говорить им об этом сейчас, едва только он успел здесь появиться? Может, лучше в другой раз, а пока пройти мимо?

Однако пройти мимо, словно не замечая того, что ему не понравилось, Алексей не мог.

— Где ваши люди? — спросил он, поздоровавшись. Алексей подошел к ним один, так как Алиев задержался у последнего экипажа.

— Люди? Около танка...

Алексей испытывал неловкость, как всегда, когда надо было говорить кому-нибудь неприятное.

— Что ж вы в одиночестве? Дежурите?..

— А что, старший лейтенант? Разве командиру грешно отдохнуть? — дружеским тоном заговорил лейтенант, сильно загорелый, с тонкими чертами, в сдвинутом набок шлеме.— Боец хоть в машине может поспать...

— А какое тебе дело? — перебил его второй, старшина.

— Это наш комбат! — вмешался только что подошедший Алиев.

Лейтенант и старшина торопливо встали.

— А, комбат?.. Вот какое вышло знакомство...— лейтенант был явно смущен.— Знаешь, комбат, не думай ничего плохого: замучился. Так замучился, что, поверь, голова как чугунная... у меня сейчас, когда я смотрю, каждая деталь двоится, троится от бессонницы.

— А они не устали? — тихо, спокойно спросил Алексей. — Но не просятся посидеть. И кто знает, что думают о своих командирах, которые отдыхают. Наверное, не очень хвалят в мыслях...

Лейтенант насупился виновато. Старшине этот разговор, видимо, казался придиркой. Но он смолчал.

В свою роту Алексей решил на этот раз не возвращаться. Здесь он получил приказ выступать. Вызвал свою машину, приказал батальону заводить моторы.

Он шел к машине, когда вблизи внезапно возник угрожающий рев. Почти в то же мгновение из-за хаты, из-за соломен-

ной, почерневшей от дождей и времени крыши на бешеной скорости вырвался «мессершмитт».

Он на миг черным крестом закрыл синеву неба, оглушил ревом, казалось, придавил все.

Алексей не успел ничего предпринять, даже понять толком, как перед ним с железным скрежетом, разламывая мир вокруг, тяжело грохнуло, сверкнуло белое пламя...

Его сильно ударило в грудь и бросило на землю.

ГЛАВА IV

I

Жить с каждым днем становилось все труднее. То, что ждало впереди, представлялось все более неясным и пугающим. Опасения, которые раньше хотя и беспокоили, но меньше ощущались, день ото дня вырастали в грозном значении. Надвигающееся приближалось, неуклонно, неодолимо.

Он упорно искал выхода из этого опасного положения. Все дни он думал о том, как отклонить надвигающуюся жестокую развязку? Как спастись?

Но сколько ни думал он, ничего надежного найти не удавалось. Нечего было надеяться, чувствовал он, даже на какое-нибудь облегчение...

Не раз он мысленно возвращался к тому рубежу, с которого все это начиналось. Вспоминал, с каким чувством убегал он тогда от партизан и как пошел в услужение к полицаям. Сам пошел. Потому что, как ты ни старайся доказать обратное, факт остается фактом — он стал работать в полиции.

Гречка начинал жалеть, что сбежал тогда из отряда. Он жалел об этом не потому, что чувствовал вину перед товарищами, которых подло предал, а потому что, убежав, в конце концов попал в худшее положение.

Не надо было идти в полицию. Тихо пересидеть где-нибудь месяц-другой, переждать неспокойное время — вот что надо было... Он ведь так и собирался сделать, но жизнь погано перевернула, перекрутила все по-своему. Нескладная судьба поставила его прямо перед вооруженными автоматчиками, и ему ведь ничего не оставалось, как согласиться на предложение Тыталя. Ведь если бы не согласился, его кости давно сгнили бы...

А когда согласился, что он уже мог изменить? Приходилось идти туда, куда вела извилистая тропка. И вот пришел — дальше некуда,— думай, как быть?

Словно в сказке, которую слышал в детстве, расходятся перед ним две тропки: по одной пойдешь — не вернешься, по другой — тоже погибнешь. Одна тропка, та, по которой он сейчас шел, вот-вот кончится — ясно уже, скоро придут сюда красные. Другая ведет назад в лес. По ней можно вернуться к Туровцу и Ермакову... Нет, нет, нельзя уже. Невозможно уже Гречке ступить на нее. Невозможно вернуться в лес. Сразу, как только он вернется, Ермаков приставит его к дереву и расстреляет.

— Что, голова, нос повесил? — спросил как-то, пронзительно глядя, Тыталь.

Гречка встревожился. Но скрыл тревогу, возразил:

— Ничего я не повесил нос.

— Вижу все. Боишься, что придут красные и подвесят на осине! — Взгляд у Тыталя был острый и жесткий. — Не бойся,— дыша Гречке в лицо вонью самогона, подначивал вроде с удалью.— Ничего страшного, ей-богу, накинут на воротничок веревку, выбьют из-под ног подставку, кирк — и готово. Все! ..

Он даже ощеривался в улыбке, от которой Гречку бросало в озноб.

— Слушай, Яков! Шутки у тебя, ей-бо! .. — укорял его Гречка.

Но того просьбы Гречки еще как бы подзадоривали. Веселел словно, видя, как допекают его удалые речи Гречку.

— Ничего особого, пра... Ну конечно, высунешь язык... еще — наклонишь на одну сторону головку... деликатно, как какая-нибудь паненка... Просто, ей-богу... Гэ-гэ-гэ! Быстро! Кирк — и готово...

Тыталь не однажды забавлялся такими шутками. Шевеля рукой черный чуб, начесанный на выбитый глаз, осклабясь в пьяной ухмылке, изводил Гречку своими идиотскими шутками. Гречке невыносимо было слышать этот страшный хохот, видеть ощеренный рот с редкими, острыми, как у крысы, зубами.

Иногда, чаще после похмелья, вонзаясь в Гречку беспощадным взглядом, будто видя его мысли, Тыталь вел иные речи.

— Ты только, дурень, не думай давать тягу назад,— говорил он мрачно, ненавидяще. Будто завязывал петлю на шее.

— Т-ты што ето... што ты плетешь, Яков? — клятвенно упрекал Гречка.

— Што, знаю што! .. Там тебе, голова,— пророчил уверенно,— сразу сделают каюк... У них все на учете.— Тыталь будто смотрел в душу Гречки, допекал. — И как в полицию перебежал, и что натворил вместе с полицией. Как ту разведчицу — Лагунович, что ли,— выдал, все... Они тебе припишут еще и такого, чего ты никогда и не делал.

— Слушай, Яков, ей-бо! .. Охота тебе плести! ..

Но Тыталь был неумолим:

— Кто там будет допытываться, где ты был с полицией, а где нет... Был полицаем,— значит, все, что делали другие, делал и ты. Каждого из полицейских потребуют отвечать за всю полицию...

Иногда одноглазый словно бы смягчался, тогда укорял, советовал, как бы с сочувствием:

— Олух ты, олух! Сам хочешь на рожон. Видно, жизнь надоела, раз погибель свою ищешь... Они, голова, давно за тобой охотятся. Да все не удается. А ты хочешь идти! Ну разве ж ты не олух?..

— Да кто хочет! Что это ты, ей-бо! Да я их, знаешь, — как ты!.. Мне они — тьфу!..

С поддерживающей Гречку убежденностью Тыталь объявлял, втолковывал:

— Я таким дурнем не буду. Есть еще голова на плечах, слава богу. Не потерял и не потеряю! Соображаю, что к чему!.. Меня не проведут!..

— И я знаю тоже, что к чему!..— глушил в себе тревогу Гречка.

— Как они меня ищут —и говорить не приходится. Но я им фигу покажу, вот что! Руки коротки!.. — Тыталь черными, корявыми пальцами складывал фигу и злорадно тыкал кому-то: — Нате, выкусите! Получили? Вот! — Насладившись вдоволь таким образом, Тыталь опять обращался к Гречке: — Боишься, что большевики придут? А откуда ты знаешь, что они придут? А? Это еще вилами по воде писано! Ясно?

— Вилами по воде! Это точно! — соглашался Гречка.

— Немцы — попомни мое слово — не пустят их сюда. Ясно?

— Не пустят, точно...

Потрогав рукой зачесанный на лоб черный чуб, Тыталь однажды с издевательским великодушием, кривляясь, как шут, посоветовал Гречке:

— Иди к Туровцу — отпускаю! Ей-богу, не задерживаю!

— Сам иди,— нашелся, храбро посоветовал ему Гречка. Но Тыталь был верен себе: будто не слышал.

— Даже пропуск выпишу! Полицейский Гречка, мол, понял, или как там говорят... осознал свою ошибку и все такое. Примите его, напишу, как блудного.— Ухмылялся, вот-вот глупо загогочет.— Иди — там осина, передавали, давно скучает по тебе! Гэ-гэ-гэ-гэ!

Черт одноглазый! Отчаявшийся и озлобленный судьбой и издевками Тыталя, Гречка не раз сожалел от души, почему этому гаду заодно не выбили и второй глаз. Словно смеется над его, Гречки, бедой, нарочно старается допечь, как только может.

Надоел он Гречке, но что поделаешь? Приходилось терпеть: что ни говори, хоть и маленькое, и поганое, а начальство.

Посмеиваясь, Тыталь как-то напророчил:

— Никуда ты не пойдешь, дурень! .. Нам, видно, на роду так написано — вместе и жить, и висеть! ..

Не ошибся Тыталь.

Гречка и еще один полицейский охраняли мост на речке. Их обступала серая и молчаливая летняя ночь. Только время от времени где-то в далекой деревне уныло не то лаяли, не то выли собаки, от этого лая-вытья Гречке становилось муторно. «Нет на вас погибели. Было бы близко — пристрелил бы вас, волчье племя!» Полицаи, каждый охраняя свой берег, несколько раз сходились на мосту, тихо переговаривались. Время тянулось очень медленно.

Гречка отстоял примерно половину своего срока, когда услышал неподалеку знакомые тяжелые шаги. Он для порядка окликнул человека, хотя и знал, что идет «Чубатый». Тыталь пришел проверить, как охраняют мост.

— Ну что, тихо? — спросил он, с трудом управляя языком. «Набрался снова»,— подумал с неприязнью Гречка.

— Как в церкви во время обедни...— все же охотно ответил. Был доволен тем, что можно поговорить. Уж больно опостылело стояние. Да и ночь какая-то поганая.

— Ты смотри, голова, не начни молиться! ..— загоготал тихо Чубатый.— Хоть оно можно и молиться... Только — на бутылку с самогонкой! Сменишься с караула — я твою молитву приму! .. Достали самогонки! Первак — огонь! ..

Он пошел ко второму часовому, потом вернулся.

— Скучаешь, наверное?

— Дак, конечно, надоело...

— Скоро пришлю смену...

— Давай.

Набрался Тыталь до отказа. Несло от него, как от бочки с самогоном. Еле на ногах держался. Собрался уходить, но передумал.

— А ты не скучай,— посоветовал Гречке.— Покури... Хочешь, дам?

Гречка заколебался:

— Дак не положено — на посту...

— Вообще не положено. Но я — разрешаю! — Тыталь повысил голос: — Значит, можно!

— Дак чтоб потом не ругал...

— Р-разрешаю. На один раз!

— Ну, тогда — другое дело. Давай...

— Т-только чтоб молчок об этом. А то, выходит, начальство само нарушает. Ясно?

— Ясно.

— Свернуть, что ли?

— Сверни...

Чубатый стал возиться в темноте. Цигарка, похоже было, не получалась. Он выругался:

— Вот темень! Ни хрена не видно!

— Хоть глаз выколи,— поддержал Гречка.

Наконец Чубатый приказал удовлетворенно:

— Возьми!

В темноте нащупали руки. Гречка взял самокрутку.

— В рукав кури,— велел Тыталь.— Чтоб ни огонька. Ясно?

— Ясно.

— Давай ближе!

Тыталь щелкнул зажигалкой. Еле держался на ногах, но огонь прикрыл отворотом шинели.

Зажигалка была гордостью Тыталя. Подарок немцев за старания Тыталя во время блокады.

— Прик-крывай огонь!.. Ну, веселее?

— У-гу!

— Ну вот!

Пошатнувшись, Тыталь шагнул прочь. И в это время в темноте, совсем рядом, вдруг послышалось тихое, но строгое:

— Стой! Руки вверх!..

Гречка оглянулся на голос. Во тьме обозначались какие-то две фигуры. Подобрались, видно, пока они с Тыталем цигарку крутили да болтали. Может быть, даже на голоса подобрались.

Но Гречка не думал об этом, догадка такая лишь далеко мелькнула где-то в сознании. Гречку вдруг всего наполнил страх. Ноги словно приросли к земле — не сдвинуться с места...

— Стой!..—приказали грозно снова.

Но Тыталь, как ни был пьян, нашелся сразу. Ударили торопливо, коротко выстрелы. Один, второй. Пистолет Тыталя.

Ему оглушающе резко ответила автоматная очередь. Чубатый смолк. Не стрелял больше.

Выстрелы Тыталя вернули ногам Гречки силу. Пригнув голову к груди, он бросился бежать. Автоматную очередь, пронзившую Тыталя, Гречка слышал уже за собой и подумал, что это стреляют в него.

— Стой, стой! — гнался за Гречкой угрожающий приказ.

Но он, не оглядываясь, вобрав голову в плечи, бежал изо всех сил. Возгласы, доносившиеся до Гречки, словно подгоняли его. Убежать, убежать — часто колотилось, изнемогая, сердце. Это партизаны, его погибель. Дальше, дальше от них! Ему эти люди казались сейчас страшнее всего.

Гречка отбежал уже с сотню шагов, когда неожиданно впереди возникла еще одна фигура. Она стояла на пути, ведущем

к спасению. Дальше, сразу за ней, были видны кусты. Темные, спасительные кусты.

Гречка приостановился, торопливо вскинул винтовку и, почти не целясь, выстрелил. Он хотел перезарядить винтовку и выстрелить еще раз, но в эту минуту к нему подскочил другой партизан, очутившийся сбоку от Гречки, изо всех сил ударил полицая прикладом по голове. Перед глазами Гречки вспыхнуло пламя, и он свалился.

— Ах ты, г-гад! .. Ну, п-правда, гад!

Партизан — это был Василь Крайко — осветил полицая карманным фонариком. Свет фонарика выделил из темноты неподвижное скрюченное тело и рядом с ним винтовку, выпавшую из рук полицая. Василь схватил винтовку.

Он уже собрался уходить, но вдруг навел фонарик на лицо полицая. Увидев лицо, Василь вздрогнул.

2

Шашура лежал на широкой вырубке, за пнем.

Конечно, сияла луна. Перед насыпью было так светло, хоть книжки читай: каждая травинка видна. Издали в глаза бил блеск: рельсы — они бежали через лес в одну и другую сторону. Шашура из-под сдвинутой набекрень кепки смотрел на насыпь, щурил глаза и нервничал: сияла луна, а по насыпи неторопливо тянулись, маячили перед глазами патрульные. Слышны были их, казалось, спокойные голоса. И сами они были, казалось, возмутительно спокойны, самоуверенны. Словно нарочно не спешили.

Больше всего жаждал теперь Шашура одного: чтоб они удалились, не маячили здесь. Дали наконец возможность ему приняться за работу.

Едва они достаточно отошли, Шашура нетерпеливо приказал:

— На рельсы! .. Детонаторы не потеряли? — В шепоте его были жесткость и требовательность.

Он с двумя товарищами, вжимаясь в землю, быстро пополз к насыпи —остальным было велено прикрывать. Но не преодолели они и половины пути, как командир подрывников вдруг скомандовал попутчикам:

— Стой!

Чтоб провалился этот патруль — они возвращаются.

— Замри,— приказал подрывник своим товарищам.— Не шевелиться!

Шашура лежал, в мыслях ругал патруль, луну и ждал. Этот беспокойный человек, когда требовалось, мог быть удивительно терпеливым, Мог снести любые тягости, лишь бы не испортить

дела. Только когда патрульные удалились снова, он дал приказ продолжать движение к пути.

Они уже взобрались на насыпь и начали разгребать гравий, как вдруг невдалеке прозвучала очередь, за ней вторая. Стреляли по ним. Шашура, припав к насыпи, вслушался, определил: стреляли, похоже, из засады. Он бросил взгляд на мину, лежавшую возле рельса: закапывать или нет? Наверное, придут и откопают ее, а для подрывника эта вещь — ценнейшая. Хотя взяли в дорогу не одну. А вот у него в сумке еще — противопехотная,— он был запаслив на это,— такая здесь очень может пригодиться. Скомандовав остальным отступать, Шашура быстро закопал мину и отбежал.

Сюда приближались охранники. Они еще издали начали обстреливать лес, и над подрывниками посвистывали пули. Но подойти к лесу и к рельсам, где только что были партизаны, патрульные не решились.

Все сорвалось. Шашура быстро обдумал положение — надо отступать, пока не поздно. А рельсы?.. Что же рельсы? Ничего не поделаешь: немцы теперь все время будут держать уши востро...

Он заметил, что слева от деревни через насыпь бегут на выстрелы еще десятка два охранников.

Шашура приказал отходить. Он первым вошел в лесную чащобу и так впереди шагал все время; лишь иногда приостанавливался, чтобы проверить, не отстал ли кто-нибудь. Хотя светила луна, идти в лесу было нелегко: свет ее лишь кое-где проникал до земли. Там, где лунные пятна падали на землю, лес исчерчивали тени деревьев. Деревья и тени смешивались, сплетались. Не просто было различать все. Не раз подрывники, следовавшие за Шашурой, натыкались то на ствол дерева, то на прут молодняка. Не раз били их по лицу ветви. Только Шашура шагал вроде как ни в чем не бывало.

Потом с полчаса, а может, и больше шли полем. Тогда услышали невдалеке шум поезда. Шашура, оказалось, вел так, что не отдалялись от железной дороги...

Отойдя порядком от участка дороги, где его постигла неудача, Шашура снова подвел подрывников к железке. Снова приказал всем залечь у вырубки и из-за дерева стал наблюдать за тем, что происходит за вырубкой. Увы, и здесь сияла луна и все время перед глазами маячили патрули. Видно, вся охрана после тревоги, поднятой немцами, была вызвана в эту ночь на дорогу... Пришлось снова уйти от дороги. Поискать более надежного места...

Никто, видно, не определил бы, какое расстояние преодолели они, пока не остановились. Одно было ясно: прошли много, очень много. Ночь была на исходе. Близился рассвет. Вокруг был кустарник, за ним начиналось болото. Это все, что знали

подрывники в предутренней темени. Устав, они сразу же завалились спать, оставив лишь сменяющихся часовых. Шашура поднял всех, едва начало светать.

Подкрепившись немного, начали осмысливать положение, рассуждать. Высказывали мнения — что вот досада: не удалось, сорвалось, что, конечно, неприятно это, — но причина уважительная...

— На войне — оно так... всякое бывает...

— Как это — всякое? — взорвался вдруг Шашура.— Выдумают же, калина-малина: всякое бывает!.. Конечно, всякое у того, кто думает: будь что будет. Одним словом, куда ветер подует... А у меня, черт побери, не было такого, чтобы я ходил впустую! Вы когда-нибудь видели такое? Кто видел — скажи.— Один из бывалых подрывников шевельнулся, хотел что-то сказать, но Шашура так свирепо сверкнул на него взглядом, что тот прикусил язык.— Не видели?.. Так неужели же нам сейчас придется вернуться ни с чем? Дожить до такого позора!..

Если говорить правду, было у Шашуры, и не однажды, такое, что он возвращался ни с чем. И он помнил, конечно, это, но он не хотел, чтоб другие помнили или знали о нем подобное. И он говорил так, будто ничего такого и не было. Делал это Шашура не просто из-за того, что хотел потешить свое самолюбие, а со скрытым, хитро рассчитанным умыслом: чтоб поднять, зажечь людей. Почувствовал, что настроение у подрывников совсем негодное...

— Что ж, будем ждать следующей ночи?..

— Если надо, будем ждать хоть десять ночей! Но пока — посмотрим, какой будет день...

Вскоре они снова подошли к железной дороге.

Расположились на опушке леса. За лесом был камыш и кусты лозняка. С опушки леса видна была у основания высокой насыпи бесформенная горбатая груда. Валялись пущенные под откос вагоны, от некоторых из них оставались теперь почти одни скелеты...

Был, казалось, самый мирный утренний час. Тишина, покой царили в природе.

Наблюдая издали, из лозняка, подрывники видели, как после трудного ночного бдения удалились к станции патрули, как вылезло из укрытия — из засады — еще несколько охранников. Начинался день, облегченье стражам дороги... Шашура и рассчитывал, что после беспокойной ночи охранники дадут послабленье себе...

Шашура оставил на опушке леса и в лозняке, метров за двести от дороги, группу прикрытия — семь человек с винтовками и трофейным ручным пулеметом,

Стараясь не хлюпать в воде, осторожно продираясь сквозь заросли камыша, с двумя помощниками подобрался к одному из покореженных вагонов. Выбрав удобное место в обломках, подрывники засели среди них, и Шашура в щель стал внимательно наблюдать за станцией, за дорогой.

Участок дороги Шашуре был хорошо знаком, многие участки были знакомы ему. Как он мог быть незнаком, этот участок, если Шашура не впервые приглядывался к нему, если и вагоны, что покоились здесь, были им, Шашурой, свалены.

Он присматривался к станции. Ее сожженное здание чернело по другую сторону насыпи, примерно в полутора километрах. Рядом с мрачной, пустой коробкой станции жался недавно построенный барак, в котором, видимо, сейчас и жили начальство да охрана. Перед станцией Шашура разглядел замаскированный бугор дзота... На станции было тихо. Спокойно...

Тихой казалась и дорога. Невдалеке появились патрульные, не дойдя до вагонов, повернули, начали неторопливо удаляться. Вскоре послышался шум приближающегося поезда, потом он показался из-за поворота. Шел товарный, как раз в сторону фронта. Шашуре казалось, невыносимо долго со стуком проносились мимо вагоны. Большой состав проносился мимо подрывника...

Время шло и шло, а подрывник все лежал, ожидая удобного случая. Вылезать на насыпь просто так, без соответствующей обстановки, считал Шашура, было бы безрассудным. Так можно легко и дело испортить, и голову сложить: очень уж хорошо видно это место со станции. А обстановки надлежащей пока как раз и не было...

По насыпи невдалеке прошел обходчик, потом возвратился. Уже стало крепко пригревать солнце, когда подрывник услышал далекий гул самолетов. Гул этот быстро, грозно нарастал. Шашура обратил взгляд в небо и наконец увидел широкий строй самолетов с красными звездами. Самолеты шли с запада, похоже было — направлялись в сторону станции. Там поднялась беспорядочная стрельба.

Самое время! Охранники будут сейчас больше смотреть на небо, чем на пути...

Он вместе с двумя помощниками выбрался из обломков, вскарабкался на насыпь... Насыпь была крутая, сапоги скользили в траве. Шашура вжимался в траву ребром подметок. Запыхался, пока взобрался... Припав к земле, начали быстро разрывать щебень. Присыпали две мины, разровняли... Шашура оглянулся в сторону станции — показалось, что заметили. Нет, все хорошо...

Сделав дело, подрывники проворно покатились вниз с насыпи. Правильно сделали: медлить нельзя. Шашура, однако, приложил ухо к рельсу — не идет ли поезд? Нет, не идет...

Пластаясь на земле, проверил глазами, хорошо ли замаскировано, огляделся по сторонам, тогда тоже скатился вниз.

Отбежал за вагоны. Увидел: там, тревожно поглядывая на него, жались к обломкам вагона двое других. Ждали его. Он махнул рукой, приказал отходить в лозняк. В лозняке остановил.

— Здесь будем?

— А как же, а вдруг обходчик найдет мины?.. Разве ж можно, калина-малина, так формально: подложил, и все...

По насыпи прошла группка — патруль. Один из них что-то рассказывал остальным... Ничего не заметили... Шашура успокоенно опустил автомат.

Наконец донесся протяжный гудок паровоза, и скоро подрывник, вглядываясь в ту сторону, увидел белый дымок, что время от времени упруго попыхивал вверх и медленно приближался...

Тогда Шашура выбрался из зарослей лозы и прыгнул в воду, в камыш. Надо как можно дальше отбежать от насыпи... Хлюпая в воде, продираясь сквозь камыши, он все время слышал сзади нарастающий перестук колес и натужное пыхтение; было похоже, что сопит большой зверь. Паровоз, не останавливаясь на станции, быстро подходил ближе...

Шашура оглянулся: состав был смешанный — три-четыре платформы с пушками, товарные вагоны и два пассажирских, в окна которых были видны военные. Паровоз был так близко от того места, где лежали мины, что подрывник невольно остановился, напряженно ожидая, что будет дальше.

Мгновение спустя он увидел, как вспыхнуло пламя, и сразу же первый товарный вагон полез вверх...

Шашура пригнулся, что было сил побежал к своим. Сзади совсем близко, не умолкая, сухо лопались, взрывались снаряды. Когда он был уже близко от берега, сверху что-то плюхнулось в воду. «Еще прибьет так», — мелькнуло в голове. Он прибавил ходу.

3

Шашура и сегодня не мог пройти мимо Поплавов. Не мог он упустить удобного случая наведаться в них. Какая-то непонятная сила тянула подрывника заглянуть в деревню, где жила Аксинья. Правда, видел он эту деревню не очень давно. За последние дни Шашура уже несколько раз, будто случайно, заходил туда. Как-то так получалось, что его тропинка почти после каждой операции непременно или с одной, или с другой стороны вилась близко от Поплавов...

Шашура с товарищами нырнул влево, в черные заросли ольхи. Вскоре они вышли на серый от росы луг, по которому

бежала едва заметная тропинка. Шашура шагал теперь, помахивая веточкой и потихоньку весело насвистывая. Хотя далекая и бессонная дорога утомила подрывника, ему сейчас было легко.

Они пришли в деревню, когда солнце только начало показываться. На улице было еще пусто.

— Приземляйся! — скомандовал Шашура, остановив парней на окраине деревни.— Даю часок вздремнуть...

Направляясь к знакомому двору, он подумал, что Аксинья еще, наверное, спит,— придется, видно, подождать в садике. Но усердная женщина уже хозяйничала. Присев на чурбачок, чистила картошку ножом, обернутым на месте сгоревшего черенка тряпочкой. У ее ног стоял солдатский котелок, подаренный Шашурой.

Аксинья не заметила его. Шашура стал на цыпочках обходить ее, стараясь держаться за спиной Аксиньи, хотел появиться внезапно. Но когда начал приближаться, Аксинья услышала шаги и оглянулась.

На кончиках ее строгих губ затрепетала улыбка. Спокойное, еще сонное лицо ее как-то помолодело и засветилось. Аксинья была рада ему, и Шашура сразу заметил это.

— Какой ветер принес в такой ранний час?

— Почему же ранний? — изобразил удивление Шашура.— У нас, подрывников, эта пора считается поздней!

— Ну, то у вас, у подрывников!.. А я же, кажется, не подрывник...

— Знакомая подрывника!..

В котелке, в воде, уже белело несколько картофелин.

Он сел рядом и вынул из кармана складной ножик со штопором, отверткой, шилом и еще какими-то приспособлениями. Раскрыв ножик, подрывник взял из мешочка картофелинку, повертел в руках.

— Где ты нашла эту дробь?

— Где нашла, там больше нет... Неизвестно еще, какая у тебя вырастет.

— У меня — как тыква будет! Голову даю...

— Побереги ее, голову... Не рискуй раньше времени.

— Увидишь!

Он стал говорить с ней обо всем, что приходило в голову, так, будто только что вернулся с поля.

За последние дни он стал здесь как бы своим человеком. Шашура чувствовал, что, несмотря на неприятную размолвку в ту ночь, Аксинья относится к нему хотя и сдержанно, но благосклонно. Правда, наученный собственным опытом, смотрел он на эту благосклонность недоверчиво. Черт их разберет, этих женщин, никогда не поймешь, что у них на уме!

Надо сказать, Аксинья ему нравилась все больше. Чем она присушила сердце подрывника, он и сам не знал. Женской ли ласковой, завораживающей сдержанностью, за которой Шашура угадывал то безразличие, то заманчивую надежду, зрелым ли осенним покоем, который остается от пережитого горя, или, может, трепетной улыбкой на упругих по-девичьи губах? Кто знает... Но с каждым его приходом Аксинья становилась все более привлекательной для подрывника.

Она же, как и раньше, относилась к Шашуре сдержанно, словно не замечала в нем перемены. Подрывника это не обижало: он и не умел обижаться. Наоборот, чем больше Аксинья сдерживала его, тем, похоже, все желаннее ему была...

Полюбились Шашуре и дети Аксиньи, которые так привыкли видеть его рядом с собой, что относились к подрывнику, как к отцу. Он тоже звал мальчика «сынком», а девочку «дочушкой».

Этим утром Шашура заставил Аксинью смутиться. Когда они сидели у костра, на котором в котелке варилась картошка, подрывник, сдвинув на одно ухо кепку и озорно глядя на Аксинью, сказал:

— Эх, видно, такая моя судьба — породниться с тобой!.. Наверное, приеду и копать ту картошку, которую сажал.

— Приезжай, драников принесу, как тогда,— ответила Аксинья, наблюдая за бархатными угольками, и улыбнулась; она или не поняла, или сделала вид, что не догадывается, к чему он ведет.

Шашура вдруг на какую-то минуту стал чрезвычайно серьезным.

— Так как ты на то, что я сказал?

— Ты о чем?

— Ну, чтобы породниться...

— Ты что, шутишь?..— Она подняла на него свои строгие глаза. В зрачках ее что-то спокойно желтело: как осень.

— Почему шучу?

— У тебя не поймешь никогда — где ты серьезно, а где так, зубы поскалить.

— Вот когда поживем вместе, тогда будешь понимать!..— Он тут же сдержал себя и стал снова необыкновенно степенным.— Так я сейчас серьезно, Аксинья.

Она нахмурилась, так что над переносицей вспухли два горбика. Долго молчала, о чем-то размышляя, решая про себя. И он молчал, поглядывая на нее остро, ожидая.

— Если ты серьезно,— заговорила она не очень решительно,— так я вот что скажу. У меня дети — а я не знаю, как ты к ним... Как будешь обращаться... Для меня они — родные... А как ты с ними... Тебе они чужие...

— Почему это — чужие?! — Шашура удивился, почти воз-

мутился. Заявил клятвенно: — Я их буду любить, как и ты! — Он заявил таким топом, что будто не позволял и сомневаться. И вдруг снова озорно усмехнулся — натура брала свое: — Кроме того, калина-малина, мы ж не безнадежные старики, — будут у нас и еще! Коллективные — твои и мои! Были бы кузнец и кузнечиха — наживем этого лиха!.. Правда?

Сделав столь важное, решительное заявление, Шашура почувствовал, что получил право на более уверенное обращение с Аксиньей. Подрывник, не церемонясь, властно притянул Аксинью к себе.

Она тоже, видно, почувствовала серьезную перемену в их взаимоотношениях. Ибо не возмутилась таким хозяйским обращением подрывника. Только покраснела и будто застеснялась. Скорее всего — шутки его.

— Не знаю...— сказала она явно смущенно. Ответила, почувствовал Шашура, не на шутку его, а на все то же, на предложение его. Очень уж серьезна была.

Только теперь она спохватилась и, будто лишь теперь заметив, что он держит ее в своих руках, шевельнулась, потребовала выпустить ее. Стараясь скрыть неловкость, произнесла недовольно:

— Еще люди увидят, как ты тут... Берешься, аж кости заныли!.. Будто твоя.

— Не моя, так будешь моей! А что крепко берусь, так уж у меня такая привычка. Привыкай!.. Придет время, еще и не так возьмусь!

После завтрака подрывник полазил по гнилой крыше, заросшей сплошь зеленым мохом, залатал соломой дырки, чтобы не текло в жилье. По всему было видно, что он чувствует себя здесь уже как хозяин.

Когда слез на землю и отряхнул с себя соломенную труху, сразу стал собираться. О своих намерениях-мечтах относительно Аксиньи он больше не говорил.

Не договорившись окончательно, оставив женщину одну с нелегкими раздумьями, он вскоре уже выходил со двора.

4

Дорогой неспокойная голова выдумщика-подрывника, шагавшего с товарищами в лагерь, была целиком заполнена размышлениями о необычайной операции.

Эта операция должна была прославить Шашуру, как никакая другая. Он с замиранием сердца представлял себе, как проникнет в Минск, обоснуется возле аэродрома. Многие часы будет он выслеживать самолеты, определит, на каких отправляют там важных «фюреров». Пролезет к ним, пролезет и приладит

где-нибудь в незаметных местах по магнитке... Они поднимутся в воздух, направятся в свой дойчлянд. И тогда — магнитки взрываются, разнося самолеты в щепы. И «фюреры», кувыркаясь, летят на землю!.. Летят тогда, когда уже думали, что вырвались! Какой переполох будет на аэродроме, когда там узнают об этом! А может, и увидят сами. Лучше, если б они увидели, если бы взрыв произошел над аэродромом!.. Шашура думал об этом с таким увлечением и так живо представлял каждую подробность своей операции, что готов был сейчас же отправиться на нее.

Вернувшись в бригаду, он доложил Ермакову о результатах работы и получил одобрение и разрешение отдыхать. Он завалился спать с чувством человека, честно заслужившего это право и довольного удачно совершенными им делами. Спал он крепко, но его разбудили голоса за землянкой о чем-то споривших партизан. Слушая их, он вдруг вспомнил о мыслях в дороге, о плане. Он вскочил, быстро привел себя в порядок и направился к комиссару. Спросив разрешения сделать важное сообщение, Шашура чистосердечно объявил, что придумал гениальный план.

— Неужели гениальный? — не поверил Туровец.

— Гениальный, товарищ комиссар! Всю дорогу думал — аж земли под собой не чуял. Эх, хорошо будет, калина-малина, если устроим его! Можно рассказать?

— Обязательно! Говори.

Если бы подрывник был меньше захвачен своей идеей, он скоро заметил бы скептическую усмешку в глазах комиссара. Выслушав его до конца, Туровец сказал, что план интересный, даже очень интересный, но — слишком рискованный. На аэродроме, сам знаешь, толковал Туровец, сильная охрана, и подрывников могут легко заметить. Аэродром — это не железная дорога, к которой много разных подступов. А если заметят, то вряд ли удастся вырваться. Смерть? Для чего? Для того, чтобы убить нескольких «фюреров»? Которых можно отправить на тот свет другим, более надежным способом?..

— План твой, мой дорогой, нереальный. Необдуманный!..

Шашура стал горячо спорить, но вскоре вдруг умолк и, не жалея, отступил. Чего тут жалеть, если он может хоть сегодня придумать десяток таких же, может, еще и лучших!

— Ну что же, товарищ комиссар, значит, не одобряете? Выходит, калина-малина, ошибка?.. Ясно... Тогда разрешите идти, товарищ комиссар.

Он вытянулся в струнку и лихо поднес руку к сдвинутой набок кепке. При комиссаре Шашура всегда старался держаться уставных правил.

Туровец неожиданно остановил его:

— Подожди.— Он подошел к подрывнику.— Ты где был вчера?

— Был на задании, товарищ комиссар. Как вам известно, производили диверсию на дороге. Взорвали эшелон...

— Это я знаю уже. Больше нигде не были?

Шашура сразу остро, настороженно взглянул на Туровца, размышляя — говорить или нет? «Какие у него хитрые глаза! Наверное, знает обо всем», — подумал он и сказал:

— Больше? Нигде не были. Вот только когда вертались, привал маленький делали, — сказал он нарочито равнодушно.

— Ага,— кивнул будто одобрительно Туровец.

Шашура почувствовал на себе внимательный взгляд.

— Привал?

— Остановку маленькую. По случаю того, что устали.

— Устали? Ясно... Посидели немного, покурили?..

— Покурили. Я там, между прочим, зашел к знакомой одной.— Шашура по-приятельски улыбнулся.

— Вот это другой разговор. — Туровец смотрел прямо, неулыбчиво. — У тебя это серьезно с ней? Или просто так — балуешься?

— Кажется, серьезно, товарищ комиссар.— Туровец все всматривался, как будто не верил.— Не обманываю — даже собрался, калина-малина, жениться...

— Вон что... — Туровец задумался. Снова взглянул требовательно: — А где ее муж? Не интересовался? Не на фронте, а?

Шашура печально и твердо ответил:

— Нет у нее мужа. Погиб...

— Погиб? Это точно?.. Ты, Шашура, смотри, — будто не верил Туровец. — Чтобы после никто на тебя не обижался. И на всех нас...

«Что ему до этого! Во все ему надо вмешаться!» — невольно подумал Шашура. Но злился не очень. Понимал — такое уж дело комиссарское, держать под присмотром, кто как живет. Да и нравилось, что комиссар говорил товарищеским тоном.

Когда шел от комиссара домой, может, впервые стал обдумывать свои отношения с Аксиньей. Как это незаметно повернулось так серьезно. Он ведь всегда не очень благоволил к ним, к бабам, берегся серьезно связываться. Знал хорошо, что это такое, помнил. И вот, на тебе, вроде забыл все...

Странно — вчера был холостяком, а завтра будет мужем, и не просто мужем — отцом двоих детей.

Друзья, конечно, будут подсмеиваться. Но он найдет что сказать!..

ГЛАВА V

1

Они теперь встречались по нескольку раз в день. Казалось, что Залесская просто не могла жить без Натальи Михайловны.

Наталья Михайловна тоже с нетерпением ждала свою подругу. Общее горе и надежды очень сдружили обеих женщин за последний год. Как же им не быть дружными, если их Валя и Нина были вместе. И, будто следуя примеру детей, они тоже всегда старались держаться вместе, помогали друг другу в трудную минуту...

Но особенно часто стали они встречаться после того, как Залесская сообщила подруге о наступлении под Оршей. С тех пор, наверное, не было такого дня, чтобы Залесская не приносила какой-нибудь новости. Откуда только она обо всем узнавала! У нее была какая-то особенная способность узнавать обо всем, что делается,— и здесь, в городе, и на фронте...

Вот и сегодня, когда она вошла, Наталья Михайловна сразу подумала: что она скажет нового?

Наталья Михайловна шила на швейной ручной машине, стоявшей на столике, остановила работу и вопросительно взглянула на подругу.

— Все усердствуешь! — не то с упреком, не то с одобрением молвила Залесская.— Когда ты, Наталька, сидишь спокойно? Наверно, никогда...

— На базар надо — продать что-нибудь да подкормить малышку. Вот и мудрю, что можно сшить из этой рвани.

Залесская подошла к маленькой беленькой девочке, игравшей с цветными обрывками ткани, разложенными на табуретке.

— А ты что делаешь, Людочка?

— Шить буду,— серьезно сказала малышка.

— О, тоже шить? Какие же вы обе работящие! — похвалила Залесская, думая о чем-то своем. Вдруг, искоса взглянув в сторону соседней комнаты, тихо спросила, где квартирант.

Квартирантом она называла человека по фамилии Кухта, квартирант этот занял весь дом Натальи Михайловны, выжив хозяйку с внучкой в эту каморку. Наталья Михайловна сказала, что он куда-то пошел, кажется, в эту свою — чтоб ей провалиться — Раду.

— Еще не укладывает чемоданы?

— Уже все сложено...

— А, значит, подготовился. Знает, что надо спешить. Наши уже, Наталька ты моя, недалеко от Крупок! Правду говорю: к Крупкам подходят!

— Так быстро?! Даже не верится!
— Спешат, родные, к нам! ..
— Знают, как нам здесь приходится, как мы ждем их...
Залесская начала рассказывать о том, что творится сейчас на вокзале. Толкотня, давка. Прямо душат друг друга, стараясь быстрее протиснуться к вагонам. Вчера один «эсэс» пристрелил какого-то полицая, который хотел пробраться раньше. Около вокзала разные «фрау» цепляются к каждому офицеру: возьми, устрой в вагон — все отдам, душу и тело. Да офицерам словно ни до того, ни до другого... Глаза Залесской, когда она рассказывала об этом, светились и насмешкой и злорадством.

Она вскоре ушла. Но Наталья Михайловна все вспоминала ее рассказ, и радость переполняла ее. Усадив на колени синеглазую внучку, ласкала малышку, говорила, будто утешая:

— Ничего, Людочка. Ничего, деточка! Уже недолго нам страдать осталось, звоночек мой ясный. Скоро-скоренько приедет к нам твой папка. Вот будет нам радость! И ему какая радость. Как он тебя поднимет на руки, как приголубит! Да как поцелует! Он же еще ни разу не видел тебя, а тут — сразу такая красавица! ..

— Красавица,— засмеялась Людка, морща носик.

Закончив шитье, Наталья Михайловна собралась на рынок, взяла Люду за ручку и вышла на улицу.

В Минске был голод. Наталье Михайловне приходилось каждый день задумываться над тем, как прокормить малышку и себя. Правда, о себе старуха почти не беспокоилась: сама она терпеливо переносила нужду, только ждала дня, когда все это наконец сгинет — и хозяева незваные, и голод, и мучения,— но видеть, как голодает внучка, слышать, как она просит есть, Наталья Михайловна не могла.

«Боже мой, какая же ты слабенькая, моя синичка», — не раз думала, вздыхала старуха.

— На какой рынок мы пойдем? На Суражский, правда, бабуся? — деловито спросила Люда.

— Нет, на Червенский.

Отсюда, от улицы Толстого, до Червенского можно пройти возле Западного моста. А можно и через переезд на железнодорожных путях, так будет даже ближе... Нет, там сейчас, наверное, стоит стража.

Они медленно брели мимо деревянных хат и заборов к Западному мосту. Наталья Михайловна несла под мышкой завернутые в газетный лист детское платьице, перешитое из своей кофты, и мужской костюм. Это был последний, самый лучший костюм Алексея. Этот костюм любила Нина, и Наталья Михайловна все берегла его, жалела продавать. Но вот приходится и его отдавать. Ничего иного уже нет. Все остальные вещи

Алексея пришлось отнести на рынок раньше. И почти все платья Нины тоже исчезли там. И все платья самой Натальи Михайловны, и все домашние вещи...

Что ж, другого выхода не было. Эх, жизнь — только и тянешь день ото дня, проживая то, что было когда-то нажито.

А сколько раз приходилось перешивать старые, изношенные платья или рубашки, все что можно было продать...

Через скверик, между рядами еще молодых тонконогих тополей, подошли к привокзальной площади. Возле здания вокзала, заляпанного грязно-зеленой краской, и у бараков по ту сторону пыльной, запущенной площади двигались, шумели толпы немцев, виднелись — иногда навалом — узлы, ящики, чемоданы. Даже со стороны было видно, что немцы крайне встревожены.

«А, допекло, напасть вы поганая! Забегали...» — радостно подумала старуха.

В хорошем настроении, полная ясных надежд и ожидания счастья, шла она неторопливо к рынку, сдерживаясь, чтобы не заговорить о радости своей с малышкой.

— Бабушка, как называется эта улица?

— Улица Свердлова.

— Это по-нашему?

— По-нашему...

Улицы в городе имели официально два названия: одно — немецкое, другое — данное городской управой, но жители называли улицы по-довоенному, «по-нашему»...

На рынке сновало меньше людей, чем обычно; совсем пусто было на горке около пожарной вышки, где в другие дни стояли подводы с картошкой или овощами.

— Мы купим хлебца, бабуся, правда? — спросила Люда, заглядывая в глаза старухе.

— Купим, купим.

Нищета, которую Наталья Михайловна привыкла видеть за эти три года, сегодня как-то особенно резала ей глаза. Чего только не приходилось выдумывать людям, чтобы как-нибудь одолеть голод, купить горсточку муки или котелок картошки.

Вон стоит старый, сгорбленный человек, одетый в залатанный костюм из черного бостона, с когда-то модным галстуком. Наталья Михайловна знает его: когда-то он преподавал естествознание в техникуме, теперь вот стоит возле ящика, на котором разложены кусочки мыла собственного изготовления. Его мыло никто не хочет покупать, оно плохо мылится, но он стоит, ждет. Стоит, хмурый от неудачи и унижения...

А вон, в том же ряду, еще несколько стариков и детей. Чего там только не продают: рваные женские валенки, горелые, ржавые гвозди, кокетливые почерневшие каблуки, оторванные от туфель, которые, наверно, давно уже на помойке. Разный хлам.

«До чего довели людей, проклятые!»

Наталья Михайловна задумалась и не сразу заметила, как к ней подошел человек, еще не старый, в шляпе с узкими полями, во френче цвета плесени, с узкими бортами. Отодвинул платьице, взял, ни о чем не спрашивая, пиджак, как бы пренебрежительно, брезгливо. Развернул перед собой, примерил на глаз.

— Надо перешивать! .. Сколько марок?

— Я меняю на продукты.

— Гм, на продукты... А почему не на марки?

— Потому, что не на марки...

Она могла бы добавить: «выбросьте их на помойку»,— но Наталья Михайловна хорошо знала, чем это могло кончиться.

— Нет, ты скажи, почему не на марки? — не отставал «купец». — Ты знаешь, что такое марка, которая ходит по всей Германской империи?

— Знаю... — Наталья Михайловна попробовала взять пиджак у него из рук, но он не отдавал.

— А-а, наверное, хочешь, чтобы я заплатил.., большевистскими рублями? — вдруг ехидно закончил он.

— Сейчас же отдайте пиджак!

Он все не выпускал пиджака, и Наталья Михайловна, глядя в его ненавистные острые глазки, почувствовала, что он легко не отстанет, что может произойти скандал, который для нее неизвестно чем кончится.

Но тут сразу вмешались, зашумели со всех сторон люди, окружавшие их.

— Ну и что ж — ее товар. Как она хочет, так и продает!

— Может, вы еще и цену сами установите?!

— Да нет — он, видно, совсем даром хочет! ..

— Ишь ты, какой умник!

Голоса нападали со всех сторон, и человек во френче заметно притих; он растерянно оглянулся, как бы ища поддержки, но не нашел ее. Небрежно пробормотав, что пиджак велик, удалился.

Наталье Михайловне посоветовали уйти с рынка, но она осталась. Что она, боится этого недобитого заплесневелого панка? Но все-таки ей было тревожно, и женщина невольно нет-нет да посматривала, не появилась ли эта мразь снова.

Время шло и шло, а покупателей ни на костюм, ни на платье не находилось.

— Ноги болят, бабуся... — пожаловалась Людка, все время тихо стоявшая рядом. Наталья Михайловна взяла ее на руки.

Она и стояла и ходила до тех пор, пока не начали выгонять с рынка, но продать ничего не удалось: ни пиджака, ни платьица.

— Не везет нам, Людка: с чем пришли, с тем и ушли. Идем домой...

— Бабуся, а хлебца мы не купили! — вдруг напомнила внучка и тронула ее за руку.— Купим хлебца.

— Завтра, Людочка, завтра...

2

Генерал-лейтенант Баумволь уже приближался к Толочину, когда впереди, вблизи, внезапно возникла стрельба. По звукам орудийных и пулеметных выстрелов он определил — стреляли танки. Да и кто еще мог стрелять из орудий в тылу войск.

«Русские!» — обожгла догадка. Машина остановилась до того, как он приказал. Все смотрели, слушали. На шоссе впереди поднялась, начала быстро распространяться неразбериха. Все больше машин и повозок сворачивало с шоссе, торопливо катило в поле.

Рейзе первым вышел из состояния растерянности, не теряя времени, твердо приказал: сворачивать.

К счастью, откос рядом оказался небольшим и пологим. За ним темнел кустарник. Они спустились с шоссе. Это была разумная, необходимая предосторожность.

Когда они отъехали к кустарнику, генерал увидел то, чему не хотелось верить: впереди, у городка, на шоссе, поднимавшемся на холм, выползали танки. Если бы генерал и его охрана оказались чуть впереди, они неминуемо натолкнулись бы на русских! Что было бы, если бы они выехали чуть раньше!

Генерал услышал, как над его головой просвистел снаряд, один, второй.

Постреляв, танки сошли с шоссе. Повернули к городу, быстро двинулись к нему. Вскоре стрельба поднялась там, в отдаленье. Но на шоссе вблизи вышло еще несколько русских танков.

Надо было уходить. Прикрываясь кустарником, машины Баумволя отошли назад. Здесь уже было много застрявших машин и солдат. За кустарником обнаружили небольшую полевую дорогу. Двинулись среди грузовых и иных машин по ней. Впереди охрана. За ней машина Баумволя.

Смотрели вовсю. Все время держались настороже. Бой у Толочина все не утихал. Здесь, на дороге, правда, было тихо. Но в любое время можно было наткнуться на танки русских или на партизан.

В эти опасные для жизни минуты генерал мог оценить хладнокровие и ум Рейзе. Штурмбанфюрер все время точно оценивал обстановку, распоряжался дельно, предусмотрительно.

Дороги были отвратительные. В одном месте застряли в болоте. Рейзе, шофер и генеральский ординарец вытащили машину, и вскоре снова двигались осторожно и бдительно дальше. Среди неизвестности — в неизвестность.

Опасный Толочин обошли удачно. Без неприятностей выбрались на более надежные дороги и еще до вечера добрались до расположения штаба командующего группой.

На окраине города, где обосновался командующий, было тихо, и генералу эта обстановка тишины и покоя показалась невероятной, возмутительной. Баумволь, начинавший понимать всю опасность пережитого у Толочина, почувствовал к этой тишине, к фельдмаршалу резкую неприязнь.

Адъютант фельдмаршала, полнотелый, красивый, обходительный, попробовал задержать генерала, говоря, что фельдмаршал занят, но Баумволь, не снимая дорожного плаща, с решительным видом, с уверенностью в своем особом праве входить без разрешения, направился прямо к двери.

Фельдмаршал что-то угрожающе говорил по телефону. Услышав, что в комнату вошли, он с раздражением оглянулся и, не меняя выражения, ответил на приветствие. Вслед за этим он снова повернулся к телефону, оттопырив нижнюю, в мелких морщинках губу, стал слушать.

— Прорвались? Обошли? Коммуникации!.. — Он покраснел, стал нервно жевать губами. Бросил недовольный взгляд на карту, разостланную на столе, что-то поискал на ней быстрыми, беспокойными глазами, мельком пробежал далеким отрешенным взглядом по лицу Баумволя.— Черт побери! — Он напряженно задумался.— Отходите в район Чечевичи — Чигиринка. Правый берег реки Друть. Чечевичи — Чигиринка...

Он бросил трубку на рычаг телефона. Не глядя на генерала, вызвал адъютанта, коротко спросил:

— Связались?

— Связь еще не восстановлена, господин генерал-фельдмаршал...

— Долго мне ее ждать?

Адъютант пожал плечами, как бы говоря, что сейчас это неизвестно даже ему.

— Я жду,— сказал фельдмаршал требовательно, даже угрожающе.

Когда адъютант вышел, он повернулся к Баумволю. Глаза генерал-фельдмаршала спрашивали, что от него надо, спрашивали и безразлично и устало, и уполномоченный не нашелся что сказать. Какое-то время они молчали. Молчали не потому, что нечего было сказать, а потому, что генерал-лейтенант Баумволь и без слов понимал состояние фельдмаршала и положение войск. Тишина и покой, которые поразили вначале

здесь,— он понимал теперь — были обманчивыми. Нет, не тихо и не спокойно было у командующего.

— Связь нарушена? — с заметным сочувствием спросил генерал-лейтенант.

— Да.

Фельдмаршал почти равнодушно поискал глазами что-то на разостланной карте.

— Они разрезают наши войска, расчленяют единый организм нашей группы на части. Они рассчитывают, что таким образом, по частям, легче будет справиться с нами... Наступление идет одновременно на шести направлениях. И на всех направлениях — у них большое преимущество...

Фельдмаршал взглянул на генерала, стремясь определить, как генерал относится к его словам. Глаза уполномоченного были закрыты холодными стеклышками очков.

— Солдаты не проявляют достаточного упорства в обороне, — сказал Баумволь. — Есть признаки проявления неверия в себя...

— Только немецкий солдат мог выдержать такой натиск и не пасть духом,— несогласно, суховато ответил фельдмаршал. — Наши части сохранили порядок, дисциплину. Это в таких обстоятельствах, где многие другие армии неминуемо погибли бы... Нельзя не учитывать сложности обстановки.— Неожиданно он устало сообщил: — Русские прорвались к Бобруйску.

— Когда?

— Сегодня. Атаковали. Но — отбиты.

Фельдмаршал последним словом, видимо, хотел сделать свое сообщение не таким печальным, хотел придать ему обнадеживающий вид. Уполномоченного это не успокоило.

— Бобруйск нельзя сдавать ни в коем случае! Мы не можем отступить из Бобруйска! ..

Генерал-лейтенант взволнованно поднялся. Он смотрел на фельдмаршала такими глазами, будто судьба города зависела целиком от командующего,— эти глаза требовали и ждали.

Фельдмаршал согласился:

— Бобруйск — ключ ко всей нашей Березинской обороне...

— Потеряв Бобруйск,— заговорил снова жестко Баумволь,— мы поставим под удар весь Березинский рубеж... Ставка считает, что наша оборона по Березине дает нам большие шансы сдержать яростный натиск русских, обескровить их... Необходимо только, чтобы наши солдаты до подхода русских укрепились на Березине. Русские же нередко идут впереди нас...

Фельдмаршал почувствовал в этих словах упрек.

— Я забочусь об этом.

Он спросил, долго ли еще намерен генерал-лейтенант про-

быть на фронте, и генерал-лейтенант почувствовал в его словах и печаль, и скрытую неприязнь, как ему показалось, за то, что он, Баумволь, может уехать в тихую, спасительную даль.

— Я должен ознакомиться с подготовленностью нашей обороны на Березине, в Минске. Кроме того, я должен дать некоторые инструкции Готтбергу... Однако, дорогой генерал-фельдмаршал,— усмехнулся уполномоченный,— я не прощаюсь с вами совсем. Я еще могу возвратиться к вам, если это будет нужно делу и фюреру...

Произнося это, генерал-лейтенант не представлял, при каких обстоятельствах он может вернуться в армию. Но он вернулся, чтобы увидеть, пережить большую трагедию.

3

В тот день, когда генерал Баумволь прощался с командующим группой армий и направлялся в Минск, определилась судьба майора Вольфа.

Майор получил временное назначение к полковнику Шульце, руководившему сооружением оборонительных укреплений в районе Минска.

Назначение это майор получил в конце рабочего дня и явиться к полковнику смог только в начале следующего.

Когда он вошел в кабинет полковника, полковник что-то озабоченно искал в столе. Он неохотно оторвался от этого занятия, рассеянно ответил на приветствие, почти равнодушно пробежал глазами назначение.

Это был еще молодой человек, лет сорока, с рыхлым, тяжелым лицом.

— Вы фортификатор? — спросил полковник, не прекращая искать в столе.

Майор ответил, что до армии занимался строительством.

— А здесь?

— Я командовал батальоном, господин полковник.

— Инженерным?

— Нет, пехотным, господин полковник.

— Да? — Полковник взглянул с любопытством. Вдруг спросил: — Что, командиры пехотных батальонов уже не нужны для фронта?

Майор немного смутился. Полковник, уловив его смущение, уважительно объяснил:

— Я понимаю, вы из госпиталя. После ранения признаны годным только для работы в тыловых частях. Но ведь фронту, я полагаю, нужны резервы. А мне нужны — военные инженеры! Фортификаторы... А-а... — Полковник, все еще во власти каких-то иных, своих забот, кивнул — понял: — Вы можете

руководить солдатами, строящими укрепления. Как командир... — Он вдруг сказал твердо и с сожалением: — Вы поздно прибыли.

Майор не понял, что значило это «поздно», он ждал, что полковник прояснит мысль. Но полковник не посчитал нужным объяснять.

Он наконец нашел то, что искал: какую-то бумагу. Положил в портфель. Позвонил шоферу, приказал подать машину. Стал собираться к выходу.

— Я спешу. Я должен уехать.— Этим он, видимо, давал понять, что разговор окончен.

Майор уже направился было к двери, когда полковник остановил его, произнес:

— Впрочем, можете поехать и вы...

Майору не понравилось невнимание Шульце, но он скрыл недовольство. Выпрямившись, немедля ответил, что готов следовать за полковником.

Послушно, быстро вышел за полковником, по знаку его руки сел на заднее кожаное сиденье «мерседес-бенца». Ждал разговора, но полковник не проронил ни слова больше.

Они остановились у здания генерал-комиссариата. Кого-то ждали. Появился генерал в летнем плаще, в сопровождении нескольких военных, главным образом эсэсовцев. Полковник сразу приветствовал генерала.

Шульце назвал майора, представил его как новоназначенного своего помощника, попросил разрешения сопровождать их.

Вольф встретил внимательный, пронизывающий взгляд генерала. Генерал сдержанно кивнул головой.

Так на короткое время случайно сошлись пути генерала Баумволя и почти незаметного пехотного майора...

Недоброе чувство к Шульце у майора смягчилось тем, что полковник представил его генералу в качестве своего помощника, и тем, как уверенно, с достоинством Шульце держался с высоким инспектором.

Вскоре машины уже мчались по улицам, представляющим унылые однообразные горы руин.

Генерал, его адъютант и охрана ехали сзади.

Машины миновали мост над грязной речушкой, пыльную площадь и меж черных деревянных хибар окраины выскочили за город. Полковник по-прежнему был нем, высился впереди, рядом с шофером, неподвижно, прямо, казалось, весь полон сознания необычного своего значения.

С шоссе свернули на полевую дорогу, машину начало качать. Закрутилась пыль. Полковник остановил машину, двинулся к машине генерала. В «оппель-адмирале» генерала поехал вперед. «Мерседес» пошел вслед, в туче пыли. Останови-

лись на пригорке, у края ельника, за которым начиналось поле, только кое-где засеянное, полузаросшее сорняками.

В ельнике таился замаскированный дот.

— Это неплохо, — сдержанно сказал генерал, осмотрев дот и глядя в амбразуру, за которой виднелось поле, кусты поодаль.

Они осмотрели еще несколько дотов, ходы сообщения. Жгло солнце, генерал снял плащ, а Шульце то и дело вытирал платком потные лоб, шею, но шел он энергично и был увлечен делом.

Задержались на высотке, отличной высотке с широким обзором. На высотке все было подготовлено, чтоб расположить командный пункт. Отсюда хорошо можно было осмотреть систему обороны, и полковник показывал, как она продуманна и совершенна.

— Нет ни одного метра «мертвого» пространства. Каждая точка под перекрестным огнем с двух-трех направлений...

— Здесь можно держаться, можно держаться... — задумчиво сказал генерал, тая что-то свое, тревожное, как бы убеждая себя, с надеждой. С высотки он беспокойно смотрел на холмистые поля, на синеющую даль.

— Об этот бастион можно сломать даже крепкие зубы,— уверил полковник. Следовавший среди сопровождавших генерала майор Вольф чувствовал невольное уважение к своему начальнику: было что-то подчиняющее в удивительной, фанатичной убежденности полковника.

Баумволь, сосредоточенно прищурив глаза, смотрел на близкие и далекие холмы так, словно видел ту битву, которая должна здесь будет развернуться...

Шульце показал площадки, подготовленные для артиллерии. Они были так же продуманно расположены, основательно оборудованы. На нескольких вблизи, правда, еще трудились солдаты, маскировавшие недавно выкопанную землю травой и дерном.

Генерал недовольно заметил:

— Опаздываете... Надо спешить...

— Мы кончаем, господин генерал. За нами задержки не будет.

Баумволь придирчиво проверил, какого диаметра каждая площадка, расстояние между ними, глубину окопов для расчетов и многое другое,— он не упускал из внимания, казалось, никакой мелочи...

— Даже если русские и прорвутся сюда, им придется здесь засесть,— похвалил полковника Вольф, когда они возвращались к машине. Ни Баумволь, ни Шульце не ответили. Но майор не обиделся на неприветливость Шульце: он начинал уважать этого фанатика-инженера.

В Минске они осмотрели несколько дотов на возвышенности, вблизи большого круглого здания бывшего театра,— высота господствовала над значительной частью города, как раз с восточной стороны. Осмотрели укрепления на другой высоте, за речкой, в самом центре. Среди гор битого камня.

— Руины очень удобны для обороны...— говорил полковник, посматривая в амбразуру, через которую в сумрак дота струился свет.— Большое упущение, что вопрос о том, как их использовать для обороны, мало изучен... Я сделал в этом деле ряд очень ценных находок, которые имеют значение для всей армии. Я об этом пишу научный труд...

Когда, проводив генерала и его свиту, они возвратились в управление, полковник Шульце предстал перед майором словно иным человеком. Вдруг куда-то исчезли энергичность и бодрость, полковник поднимался в здание, стоял за столом в кабинете устало, невесело.

— Пообедайте и приходите на работу,— произнес он буднично.

4

С этого дня майор целыми днями пропадал там, где рыли все новые траншеи или цементировали доты.

Лишь редкие часы он проводил в городе.

Возле здания городского театра, мрачно темневшего на углу центрального сквера, майор неожиданно встретил штурмбанфюрера Рейзе. Штурмбанфюрер дружески поздоровался с ним, участливо спросил, где он пропадает, почему не видно в «Официргайме».

— А может, у Анни пропадаешь? Ее соблазнительные чары, конечно, приятнее грубой мужской дружбы и пьянок.

Уловив в словах Рейзе насмешку, майор покраснел, но штурмбанфюрер сделал вид, что не заметил этого, взял Вольфа за локоть и повел с собой, говоря, что все-таки плохо обособляться, отрываться от мужского общества.

Разговаривая в таком духе с майором, Рейзе подвел его к зданию, в котором до войны была центральная библиотека.

— Что это за флаг? — прервав Рейзе, кивнул вверх Вольф.

За полукруглым выступом главного входа висел на древке незнакомый флаг: красная полоса между двух белых.

— Что за флаг? Так ты, Вольф, не знаешь?.. О, майор, разве можно не знать подобных вещей на этой земле? Это флаг государства Вайсрутения. Или по-русски — Бело-рус-сиа.

— Она уже — государство?

— Государство.— Штурмбанфюрер вдруг толкнул его в спину: — Нет, ты должен сейчас пойти со мной — нельзя же

оставаться дальше таким неучем в... наших международных делах.

Майор попробовал отговориться, но Рейзе, вообще никогда не имевший привычки деликатничать, взял его под руку и повел с собой.

— Пойдем, дорогой. Надо интересоваться нашими международными делами... Благодаря мне ты имеешь возможность увидеть очень интересное событие... Необыкновенное событие...

Вскоре оба сидели в высоком, просторном зале с огромными окнами, со столом, президиумом, трибуной и какими-то слушателями.

Событие, к которому приобщили майора Вольфа, было действительно необыкновенное, «интересное» в своем роде. То, что он видел, было — объяснил штурмбанфюрер — заседание второго всебелорусского «конгресса», созванного по указанию «генерал-комиссара Вайсрутении»...

«Конгресс», собранный в то время, когда советские войска подходили к Минску, должен был объявить «независимую» белорусскую республику.

Укладывая чемоданы, чтобы бежать, так образцово пунктуальные в своей деятельности, гитлеровские политики вдруг заметили, что до сих пор не позаботились о «самостоятельности» захваченной земли. Нельзя же, в самом деле, было оставлять землю Советам «несамостоятельной». Запоздалую эту «заботу» из-за прежних промашек довелось проявлять в несолидной спешке. На «конгресс» пришлось собирать тех, кто попадется под руку, разные отбросы, полицейских и всяких иных прислужников. Пришлось называть всех «делегатами», закрыв глаза на то, что делегатов этих никто не выбирал...

Вскоре после того, как они уселись, к ним, вобрав голову в плечи, неслышно, кошачьей походкой, подошел из переднего ряда подвижный человек, манерами весьма смахивающий на официанта.

— Рад видеть вас, герр штурмбанфюрер,— склонился он. Он следил за лицом Рейзе пристально-внимательно и подчеркнуто учтиво.

Господин штурмбанфюрер открыто выражал недовольство:

— Почему пусто в зале, господин Кухта?

Господин Кухта непроизвольно осмотрелся, хотя знал хорошо: зал действительно пуст. Почти совершенно пуст, огромный, нелепо огромный зал. Обратив взор на штурмбанфюрера, ожидающего ответа, господин Кухта замялся, испытывая затруднение, ища ответа на трудный вопрос.

— Мы послали много пригласительных билетов, герр штурмбанфюрер. Но гости приходят неаккуратно.

— Но здесь, очевидно, не все и делегаты.

— Да, герр штурмбанфюрер, к сожалению, делегаты частично тоже... Среди делегатов частично тоже... волнение...

— Какое волнение? — Штурмбанфюрер Рейзе высказывал крайнее недовольство. В голосе его явно слышалось возмущенное: «Что вы плетете?» Было словно и высокомерное пренебрежение бестактностью, глупостью господина Кухты.

Господин Кухта хотел, видимо, объяснить, но Рейзе нетерпеливым движением руки остановил его, приказал возвратиться на свое место. Господин Кухта той же вкрадчивой походкой направился обратно, а Рейзе, прислушиваясь к словам оратора, сообщил майору, что был один из помощников президента...

Оратор — пожилой, обрюзгший — старательно, с неестественным пафосом возглашал о том, что белорусская земля сейчас переживает великий исторический момент. Не сводя глаз с трибуны, чуть склонясь к Вольфу, штурмбанфюрер начал с пятого на десятое переводить майору.

Оратор говорил, что ему «выпало счастье» на «заре жизни» принимать участие в первой попытке рождения «Белорусского государства»,— он был тогда еще молодым, полным надежд человеком, — на первом «конгрессе» в «печальном декабре» семнадцатого года. Только сейчас, через двадцать шесть лет, говорил оратор, ему и его коллегам выпало счастье собраться на свой второй «конгресс», чтобы осуществить надежды молодости — продолжить и оформить то, что не удалось тогда. Наконец пришел желанный час, Германия и фюрер объявляют Белоруссию «самостоятельным» государством и признают ее «независимость»...

Слова эти мертво звучали в пустом зале, тишиной и холодом напоминавшем сейчас склеп с мертвецами...

— Господин Островский, президент,— Рейзе кивнул на сцену, где за столом президиума, как только оратор кончил говорить, поднялся медлительный, мрачный человек.

«Президент» разомкнул сжатые губы, глядя сквозь очки в зал, заговорил глухо, тяжело и твердо. Едва он начал, Рейзе насторожился, стал вслушиваться с напряженным вниманием. Уже позже он спохватился, взялся переводить майору, что говорит «президент».

Островский предупредил, что хочет сейчас сказать только несколько слов, специально делегатам «конгресса»...

— За последнее время среди вас, уважаемые собратья, сидящие здесь, распространяется тревога, которую начали сеять большевистские агенты... И — как ни стыдно мне это говорить — некоторые из вас поддались лживым коммунистическим выдумкам: кое-кто испугался и даже перестал приходить сюда... Я уполномочен, уважаемые господа, заявить, что все, что доходит до вас от разных большевистских подпевал,

есть чистая брехня. Правда, российцы попытались наступать, но у меня есть точные сведения, полученные от военного командования,— наши немецкие заступники отбили все российские попытки. Большевистские атаки повсюду, на всем фронте, захлебнулись... Московцы побежали назад! — с подъемом объявил он, ожидая аплодисментов.

Зал захлопал вяло, недоверчиво.

— Невзирая на старания большевистских агентов, мы должны трудиться, как и прежде, спокойно и уверенно. Мы должны показать, что в эту минуту мы полны благодарности великой германской власти и великому фюреру Адольфу Гитлеру за их доверие к нам и заботу о нас. И что мы на это доверие и заботу ответим верностью и достойными делами...

Насчет этого многие из сидевших в зале, похоже, были иного мнения. Штурмбанфюрер в тревожном молчании зала словно услышал: как здесь спокойно сидеть, если ночью в Минске слышны звуки фронтовых орудий?

Господина Рейзе обуял прилив презрения и злобы: крысы, готовы быстрее бросить все и спрятаться в норы, лишь бы спасти свою шкуру... Прищурив глаза, он начал в мыслях перебирать историю «деятельности» Рады. И тогда его злоба приобрела другой характер — господин штурмбанфюрер думал о тех, кто с самого начала возникновения ее не поддержал, саботировал Раду. Их было много — все те, кого она должна была бы опутать, связать, ее презирали...

Да, как ни неприятно, приходилось в мыслях признавать: неудачной оказалась затея.

Взволнованный штурмбанфюрер начал было рассуждать, какие просчеты помешали успеху этого несомненно целесообразного для рейха предприятия, но здесь его перебили.

Сзади, от дверей, к Рейзе подошел эсэсовец — офицер и, деловито склонившись к штурмбанфюреру, тихо попросил выйти в коридор. Штурмбанфюрер, а вслед за ним и майор Вольф поднялись. В коридоре эсэсовец, выпрямившись, со всей строгостью, официальностью, показывавшей особую важность того, ради чего послан, сообщил Рейзе, что его вызывает генеральный комиссар группенфюрер фон Готтберг.

Штурмбанфюрер Рейзе, предчувствуя, что предстоит что-то очень серьезное, сразу же направился к выходу. Майор последовал за ним.

Когда спустились по ступенькам и вышли на улицу, майор неожиданно спросил напрямик:

— Для чего эта комедия?

— Какая? — не понял штурмбанфюрер. Он явно был уже далеко от только что увиденного.— А-а... Она, эта ко-ме-дия, дорогой майор,— заговорил штурмбанфюрер с раздражением,

вдруг снова вспыхнувшим в нем,— затеяна потому, что наши доблестные войска уже не под Москвой и даже не под Смоленском...

Он сказал это так резко, что майор смутился. Да и гнев справедлив был: нечем было возразить.

Его молчание несколько смирило штурмбанфюрера.

— Я тебе, дорогой майор,— заговорил штурмбанфюрер сдержаннее, хотя и жестко,— посоветовал бы в дальнейшем серьезнее, то есть обдуманнее, формулировать такие мысли. Этой, как ты говоришь, ко-ме-дией руководит сам генерал-комиссар Готтберг. По указаниям Берлина...

— Может быть, я действительно не понимаю, — сказал майор неловко. Он искоса взглянул: офицер СС, явившийся за Рейзе, стоял невдалеке.

— Да, ты слеп. Ты многого не понимаешь,— резко произнес Рейзе.

Ему не хотелось больше говорить с этим, как он считал, недалеким, туповатым пехотинцем.

5

Рейзе зашагал к подъезду большого шестиэтажного здания. Над входом дома уже несколько месяцев — широко, на полстены — зловеще чернело: «General-Komissariat für Weissruthenia».

Кирпичная, бордово-красная стена дома была обляпана грязными разводами камуфляжа; этот цвет — крови и грязи — весьма подходил для учреждения, руководившего всеми кровавыми делами в завоеванной Белоруссии.

Сразу у входа у Рейзе проверили документы. Он миновал три поста охраны, где трижды потребовали удостоверение, трижды ощупали глазами его затянутую в военное сукно прямую фигуру. Такая настороженность к нему, которого хорошо знали, не оскорбляла Рейзе: он знал приказ Готтберга — проверять всех. После убийства Кубе его наследник всегда остерегался партизан.

В приемной Готтберга сидели два генерала полиции. Когда туда вошел Рейзе, оба генерала поднялись и приветственно выбросили вперед и вверх левую руку: хайль Гитлер. Штурмбанфюрер тоже выбросил руку, ответил им.

Был здесь и помощник Готтберга, хороший знакомый Рейзе. Штурмбанфюрер сразу отметил, что сегодня помощник встретил его без обычной дружественности. Едва увидел, встал и пошел докладывать группенфюреру. И холодность, с которой он встретил, и быстрота, с которой пошел докладывать, насторожили Рейзе.

Помощник скоро вернулся и с той же официальной холодностью сказал, что господин группенфюрер сейчас примет.

Готтберг принял Рейзе очень скоро, необыкновенно скоро, и из этого штурмбанфюрер тоже сделал вывод: видимо, будет серьезное дело.

Готтберг, только что отпустивший начальника полиции, поднял на штурмбанфюрера холодный взгляд и спросил, почему он заставляет долго ждать. Рейзе с невольным трепетом и ощущением вины доложил, что был в Раде.

— Я поручаю вам важное дело, — сухо произнес группенфюрер.— Вы можете или получить новый чин, или все потерять.

Рейзе с готовностью выпрямился:

— Я жду приказа, мой группенфюрер.

— Дело требует быстроты, энергии и — таланта. Я выбрал вас...

— Я благодарю вас, мой группенфюрер.

Группенфюрер фон Готтберг молчал минуту, а когда снова заговорил, в голосе его Рейзе почувствовал сдерживаемую ярость и решительность.

— Армия отступает! Нет — она бежит! Она позорно бежит, как стадо. Даже не пытаясь сдерживать наступление коммунистов... Фронт катится сюда... Большевики рвутся к Минску. Они хотят спас-ти Минск!

Он бросил полный ненависти взгляд в сторону окна, за которым зеленели клены и вязы сквера.

— Мы им можем его оставить. Да, оставить... Но они, вступив сюда, почувствуют не радость, не счастье, а страх, ужас. Они не увидят здесь ни одного дома. Мы сделаем здесь дикую пустыню, пустыню смерти и крови! Их никто не выйдет встречать, никто, ни одной живой души здесь не останется!..

У Рейзе, хотя он и был сдержан по натуре, от этих слов захватило дух: какой сильный, жестокий и решительный человек, какие большие планы — весь город, сотни тысяч людей...

— Русские спешат, господин штурмбанфюрер, они думают опередить нас. Но им это не удастся!.. Я немедленно начинаю выполнять свою акцию, с которой и связано задание вам. Вы будете следить за лагерями — они должны как можно быстрее очищаться... Как можно быстрее!

— Яволь, мой группенфюрер. Как можно быстрее!

— До того времени, когда мы уйдем отсюда, все должно быть готово,— тоном приказа объяснил Готтберг.— В лагере не должно оставаться ни одного заключенного.

— Яволь, мой группенфюрер.

— Ни одного, — подчеркнул генерал-комиссар. Тяжелый, безжалостный взгляд, которым он смотрел, также говорил о том, как важно это требование.— Кроме того,— тем же тоном

заговорил генерал-комиссар после паузы, — не должно остаться никаких следов. Никаких следов,— подчеркнул он.

Глаза Готтберга смотрели все так же тяжело и так же требовали.

— Яволь, никаких следов, мой группенфюрер!

Почувствовав, что штурмбанфюрер понял главную задачу, Готтберг начал давать практические советы.

6

Рейзе еще из здания комиссариата вызвал машину. О, он умел, когда требовалось, быть и быстрым и решительным.

Через каких-нибудь четверть часа его машина подлетела к зданию комендатуры лагеря, расположенного у деревни Дрозды.

Рейзе еще на ходу выскочил из машины, приказал немедленно позвать шефа лагеря. Шефа, однако, в комендатуре не было, и несколько солдат из охраны побежали искать его.

Шеф явился раскрасневшийся, разомлевший, с сытой сонливостью в глазах: его нашли в столовой.

— Где вы пропадаете? — хмуро и грозно встретил его штурмбанфюрер. Не дожидаясь ответа, штурмбанфюрер скомандовал: — Идем!

Быстрой, решительной походкой Рейзе направился в лагерь. Вид у него был такой, что часовой у входной будки не решился спросить пропуск, сразу взял на караул. Штурмбанфюрер, не взглянув на него, лишь небрежно козырнул.

Широко шагая, строгий, непреклонный, штурмбанфюрер через запыленный, истоптанный плац двинулся прямо к ближайшему длинному и низкому бараку, вошел в него, не останавливаясь, прошагал мимо длинного ряда пустых, тесно сбитых нар. Зашел во второй, в котором сидело несколько изможденных, больных заключенных. Не сбавляя темпа, шел и шел он по баракам, по дороге, меж людей, сидевших и лежавших у бараков, занимающихся разной работой. Он даже почему-то посчитал необходимым заглянуть на кухню. Штурмбанфюрер ловил на себе вопросительные взгляды шефа, поспешавшего почтительно чуть сзади, но молчал, скрывая и причину своего визита и свои мысли.

Шеф, которого молчание штурмбанфюрера тревожило все более, наконец не выдержал, пожаловался, что команда в лагере маловата, однако Рейзе не удостоил его ответом.

Сделав обход лагеря, штурмбанфюрер вернулся к зданию комендатуры, вошел в комнату шефа и, когда тот закрыл за собой дверь, глядя остро в лицо круглому, потному охраннику,

жестко спросил, сколько еще осталось в лагере заключенных.

Лицо охранника засияло, с готовностью и надеждой на снисхождение шеф назвал цифру.

— Вы долго еще собираетесь канителиться?! — спросил штурмбанфюрер. В голосе его звучали зловещие нотки. На лоснящееся лицо шефа будто легла тень. Лоб заблестел потом.

— Герр штурмбанфюрер! .. Команда целые ночи работает! .. — Шеф не сводил с Рейзе молящих о пощаде глаз.

Вытерев платочком лоб, шею, он хотел еще что-то сказать в оправдание, но Рейзе перебил:

— Вы работаете вяло, медлительно. Странно медлительно,— сказал штурмбанфюрер с каким-то грозным намеком.

— Но, господин штурмбанфюрер...

— До прихода русских вы не успеете очистить лагерь даже наполовину,— тоном судьи, высказывающего уже подтвержденное тяжелое обвинение, произнес штурмбанфюрер.

Вытирая лоб и шею, шеф торопливо, с отчаянием оправдывался. Но штурмбанфюрер лишь недовольно морщился. Не желал слушать.

Шеф умолк. Наступило тягостное молчание.

Штурмбанфюрер нетерпеливо побарабанил пальцами по столу. Посмотрел на шефа так пронзительно, что тому стало не по себе. Лоб снова заблестел.

— Может быть,— заговорил зловеще штурмбанфюрер,— вы решили передать их... русским?

Шеф вздрогнул.

— О, герр штурмбанфюрер! Как можно так шутить?

Начальник лагеря вытер лоб трясущейся рукою.

Штурмбанфюрер с удовольствием наблюдал за тем, как мокнет лоб шефа и трясется рука. Нагоняя страх на шефа, штурмбанфюрер руководствовался соображениями дела: взгреть шефа, чтоб работал живее. Но Рейзе делал это и удовольствия ради: он втайне гордился своей способностью нагонять страх.

— Я вам даю возможность доказать, что мои подозрения не имеют основания,— жестко произнес он. Подавая надежду, он вместе и показывал жестко: снисхождения не будет.— Все будет зависеть от того, как вы справитесь с дальнейшим.

— Господин штурмбанфюрер, я готов сделать все, что будет приказано.

— За двое суток надо все очистить.

Глазки под лоснящимся лбом преданно обещали: все будет сделано.

— Через двое суток в лагере должно быть пусто.

Шеф лагеря поклялся, что будет пусто...

После лагеря у Дроздов штурмбанфюрер посетил лагерь, размещавшийся в городе, на улице Широкой. Отсюда, не заезжая в столовую пообедать, он направился на Могилевское шоссе. Имел намерение до вечера побывать в Тростянце, в самом крупном лагере.

Здесь деятельность Рейзе носила несколько иной характер. Он проверил, как работают печи, в которых сжигают трупы,— не должно оставаться никаких следов.

Сняв перчатки, штурмбанфюрер брал из теплых печей пепел и, рассыпая его, разглядывал...

В одном сарае еще дымились трупы. Штурмбанфюрер потребовал — работать без отдыха, все ночи.

— У нас мало времени. Каждый зря потерянный час — преступление. Ни одного часа простоя!..

В служебном бараке, расположенном недалеко от сараев, Рейзе накормили. Близился вечер: на западе, за березами, пылало багровое солнечное зарево.

ГЛАВА VI

I

Клава пришла в себя в какой-то полутемной каморке. Она лежала на кровати, до подбородка накрытая одеялом.

Когда Клава открыла глаза, она увидела перед собой незнакомую женщину,— сначала морщинистые руки, поправлявшие подушку у нее под головой, старую выцветшую кофту. Клава немного повернула голову: у женщины из-под платка выбилась прядь темно-русых, с сединой, волос.

— Проснулась, доченька!..— ласково произнесла женщина, наклонившись над девушкой, и дотронулась мягкой рукой до Клавиного лба.— Не бойся, страдалица. Мы свои...

Клава не боялась: она теперь ничего не боялась, была безразлична ко всему. Безжизненный взгляд ее равнодушно скользнул по одежде женщины, уставился в бревна стены, на которой висела почти пустая сумка.

Женщина перевернула Клаву на спину. Клавин взгляд на минуту остановился на маленьком окошечке, за которым виднелось тихое серо-голубое небо. Близился вечер. Голубой отблеск неба на мгновение вспыхнул в девичьих глазах и погас.

Проснулась она уже утром. На косяке и переплете маленького оконца теперь ярко розовело солнце, а в уголке весело звенела муха.

От яркого лучистого света девушка прищурила глаза и вдруг впервые за эти дни улыбнулась. Она с интересом при-

слушалась к звону мухи,— этот звук показался ей радостной музыкой, и Клава, не шевелясь, какое-то время слушала его.

Когда же с усилием повернула голову и увидела на стене солнечный зайчик, серые щеки ее как бы прояснились, а полные без кровинки губы тронула слабая улыбка.

Но улыбка вскоре погасла и лицо нахмурилось. Перестав замечать все вокруг, она долго лежала неподвижно, с выражением трудной сосредоточенности. Ожившая память вдруг начала возвращать из забытья разрозненные явления пережитого. Сначала это были бессвязные звуки, разорванные картины, которые, однако, возбуждали, тревожили ее, проясняли память. Потом, страшась, холодея, она начала вспоминать последний рассвет. Ее охватил такой ужас, что она поспешила открыть глаза, чтобы отогнать призраки-воспоминания. Неужели все это действительно было?

С тяжело бьющимся сердцем она подумала: а что, если оно опять вернется?! Это ее так поразило, наполнило таким беспокойством, что окончательно пробудило, вернуло к жизни. Тогда впервые встревожил ее вопрос — где она?

Как она сюда попала?

Она прислушалась, словно ожидая, что кто-то ответит. Пустая каморка молчала. Это молчание не только не пугало, но понемногу успокаивало измученную девушку.

Она была почти совсем спокойной, когда дверь тихо открылась и вошла женщина. Это была та же женщина, которую она видела вчера. Но Клава не узнала ее или, может, не помнила вчерашнего. Взглянула на нее настороженно, выжидательно.

— Проснулась, доченька? — донесся до Клавы голос, ласковый, доброжелательный.

Клаве показалось, будто она где-то слышала этот голос. Но где — не могла вспомнить. Он вызывал у Клавы смутное воспоминание о чем-то очень счастливом. Ах, вот где она слышала: так когда-то спрашивала мать, когда будила в школу...

Женщина, как бы лаская ее словами, сказала с облегчением:

— Я уже думала, что ты и не проснешься... Очень боялась за тебя... Такая ты слабая была... А ты вон, гляди,— ожила! Ожила, моя ласточка, мученица моя!..

2

На следующий день женщина села возле Клавы на кровать, разговорилась.

Она рассказала, как нашла Клаву в то утро во ржи, спрятала, а вечером принесла домой. Потом начала горевать о своей беде, о том, что живет одна и беспокоится очень: дочку Зосю

и меньшого сына, Павлика, забрали в Германию. Оттуда ей пришло три коротеньких, со скрытыми намеками, письма.

Она принесла эти письма к Клаве, пожелтевшие, потертые на сгибах, и, когда та стала молча, одними глазами, читать, объяснила:

— Пишут: «Живется нам здесь очень хорошо, аж хочется прыгать, как вдова Алексеиха». А эта Алексеиха в прошлом году прыгнула в реку, утопилась! Нашли ее на другой день в камышах, около «Гала», — верстах в четырех отсюда. Кузнец Семен нашел... Еще и женщина была молодая. Не выдержала, бедняга, беды: сына ее Петра полицаи повесили. Партизаном был ее хлопец, ну и, конечно, время от времени заходил в село, а полицаи как-то выследили его и схватили... А то еще — как там? «Вся надежда на нашего отца да его товарищей». То есть на Красную Армию, потому что их отец в армии, — еще в первый год пошел...

Она знала эти письма, наверное, на память.

Через день Клава не выдержала и попробовала подняться с кровати. Сбросила с себя одеяло и, пересиливая непривычную слабость во всем теле, села на кровати, спустила ноги.

Ей вдруг страшно захотелось походить! Она спустила ноги ниже, но, едва ступила на пол, перед глазами все закачалось, поплыло, ослабевшие ноги сами собой подогнулись. Она упала.

Из сеней, услыхав стук, тревожно вбежала Катерина. Она испугалась, увидев, что девушка лежит на полу, пытаясь подняться.

— Что с тобой, дочушка? Как это ты упала, бедняжка? Ты вставала? Зачем ты вставала?

— Хотелось походить...

— Мало ли что хотелось,— тебе еще нельзя этого! .. Надо лежать, Клавка! Лежать спокойно и не думать ни о чем, если хочешь быстрее поправиться.

Клава неуверенно оперлась рукой о пол и села. Катерина, взяв девушку под руки, помогла ей встать. Поднявшись, держась за плечо Катерины, Клава прошла несколько шагов, потом попросила:

— А теперь я одна попробую...

— Нельзя, Клавка. Не надо надрываться...

— Я немного! Совсем немного! ..

Она сняла свою руку с плеча тетки Катерины, ступила еще три шага, нетвердо, качаясь, как травинка на ветру. Остановилась у оконца, находившегося на высоте ее глаз, и, опершись о стену, стала взволнованно глядеть во двор. Увидела куст сирени, дорожку, окаймленную зеленой-зеленой травой, дальше — почерневший сруб колодца; шест с ведром был ей виден только до середины, — по траве тянулась продолговатая тень от него. За колодцем росло несколько молодых яблонь...

— Ну, хватит, хватит уже, Клавка. Не надрывайся...

У Клавы перед глазами снова начало все плыть, и если бы Катерина не поддерживала ее, Клава опять упала бы. Взяв девушку под руку, Катерина довела ее до кровати и накрыла одеялом.

Клава, глядя в потолок, задумчиво слушала, как где-то наверху без умолку щебечут, копошатся ласточки.

После пережитых потрясений она заметно изменилась. Когда-то веселая, непоседливая, разговорчивая, Клава теперь целыми днями тихо лежала, думала о чем-то своем, только ей известном. На вопросы отвечала она коротко и неохотно; движения ее, прежде быстрые, порывистые, были сдержанными, даже медлительными. Какое-то новое выражение появилось и на ее лице, у рта неподвижно лежали две строгие складки.

Весь день она что-то тихо пела, едва слышно вела какую-то грустную, задушевную мелодию. Прислушавшись, тетка Катерина разобрала слова:

...Там лежит в земле сырой зарытый,
Там схоронен красный партизан...

Но больше пела она без слов. Слушая это пение, Катерина украдкой вытирала глаза.

Вечером, проходя мимо каморки, тетка Катерина услышала, как Клава непривычно быстро и однообразно, обращаясь к кому-то, говорила:

— Ты лежи тихо... Сильно они побили тебя!.. Но ты не поддавайся,— дальше голос Клавы стал тише, перешел в неразборчивый шепот. Вскоре она снова заговорила громче: — Меня уже четыре раза таскали, все печенки, кажется, отбили, а я ничего! Не сдаюсь!

Она странно, недобро засмеялась. Этот смех ее был похож на стон. Когда Катерина слушала это, сердце ее болело от жалости,— ей хотелось остановить страшный бред, но она жалела будить измученное дитя.

— Ты, наверное, в первый раз? Когда тебя бросили сюда? Вчера?.. А я здесь уже целых пять дней... — Потом заговорила гневно: — Эх ты, холуй немецкий! Думаешь, боюсь? Бей, бей, выродок!.. Спеши!.. Недолго уже осталось!.. Бей, бей, гад!.. — И вслед за этим мягче: — Здесь мне удивляются — говорят, счастливый у меня характер. Будто мне не так, как другим, больно... Просто я стараюсь приглушить, одолеть боль! — Клава снова засмеялась.

Вдруг из каморки послышался сдавленный, полный ужаса стон. Тетка Катерина не могла дальше сдерживаться, — рванула дверь и подбежала к кровати. Склонившись над девушкой, Катерина увидела, что Клава уже не спит.

— Что с тобой, страдалица? Что, доченька моя?

— Ничего... Разные глупости мерещатся. Приснилось, будто «сонный» меня бьет — надзиратель такой был...

Тетка Катерина дотронулась до Клавиного лица, — оно было холодным и потным...

— Перекипела, ласточка моя... Успокоиться бы тебе надо...

Поправив на Клаве одеяло, женщина озабоченно вышла из каморки в хату. Принесла стакан с каким-то настоем:

— Выпей, доченька,— это хорошо успокаивает. Я, если разволнуюсь, всегда пью. Оно вроде немного неприятное, но ведь лекарства, наверное, все невкусные...

Клава выпила. Тетка Катерина до рассвета не отходила от Клавы, тихо разговаривала с ней. Уже когда в оконце начало сереть, Клава наконец заснула, не дослушав до конца какой-то рассказ.

3

День прошел. Небо в проеме окна позеленело, потом стало чернеть. Зажглась электрическая лампочка.

Ночь тянулась еще медленнее. На полу дремали, кое-где переговаривались люди, недалеко от Нины бредила и стонала женщина, которую гестаповцы привезли с «обработки».

— Скоро придут снова — «отправлять в дорогу»... — сказала Красуцкая.

Да, скоро придут брать: либо в лагерь, либо в Тростянец. Они появляются здесь обычно в это время.

— Так не забудьте уговор,— зашептала Нина Красуцкой.— Если вы останетесь жить, расскажите обо мне Алексею. Найдите его и расскажите все. И Туровца найдите, — он будет, наверное, в Минске. Скажите, что я не обманула его... А если мне повезет... Если я останусь, я обещаю вам...

— Хорошо, Нина... Расскажи моим хлопцам, как я здесь страдала. Как эти выродки тянули из меня жилы... Сердце мое чувствует, что ты спасешься.

— Я не теряю надежды! Но всякое может случиться... Вы тогда только не говорите Алексею жалобных слов. Скажите, что она — я, значит,— была спокойная. Видите, я такая и есть: спокойная. Я не боюсь! .. Вы слышите — не боюсь!

Ей странно хотелось говорить. То ли оттого, что молчала долго, то ли оттого, что не хотела оставаться наедине с мыслями. С тем страшным, что ощущала рядом и чего в душе боялась. Что гнала от себя. И может, потому еще, что понимала: еще немного — и расплачется. Отдастся отчаянию, безнадежности. Начнет заранее, долго умирать...

— Жаль вот дочку: останется без матери... Трудно будет

ей, наверно... Мама стара уже... Хоть бы с Алексеем было все хорошо... Боюсь за нее...— Она смолкла озабоченно. Едва не заплакала, но пересилила себя.— Я так рада, что она есть, доченька моя! .. Вот я могу... не вернуться, а она будет! .. Моя кровь, моя утеха! .. Эх, если бы вы видели, какая она! ..— Нина улыбнулась, сдержанно, горько. Снова смолкла, взглянула тревожно: — Она будет помнить меня? Правда?

— О чем спрашиваешь? Да кто же, Нина, может забыть мать!

Воспоминания о дочери разбередили самое чуткое в душе Нины. Чувствовала, что у нее все время закипают слезы. Но она сдерживалась. Вот-вот, кажется, заплачет, но нет, преодолевала горечь, боль. Прикусив губы, сжавшись вся, с потемневшими, онемевшими от страдания глазами, сидела отрешенно, будто не видя ничего вокруг.

И все же не выдержала: упав на пол лицом, зарыдала, молча, отчаянно. Долго, горько рыдала. Потом долго лежала тихо, неподвижно, уставшая, обессиленная. И когда, отерев лицо, поднялась, долго молчала, вперив куда-то невидящие глаза.

— Скажите Алексею,— сказала страстно, не глядя на Красуцкую, — чтоб он учил ее помнить меня без горя, без слез. Не люблю слез! .. — Снова молчала. Сказала спокойнее: — Вот, целую заповедь вам дала. И запомнить все нелегко... Это я так, на всякий случай...

И опять сидела сжавшись, уйдя вся в себя, видно было, как трудно, мучительно чувствовала, думала.

— Нет,— вдруг снова опалила Красуцкую страстным шепотом,— я еще попробую! Во что бы то ни стало, попробую! Хоть на проволоку электрическую брошусь. А попробую! ..

В глазах была такая решимость, что Красуцкая подумала: бросится, не остановится ни перед чем.

Гестаповцы вошли в камеру около полуночи. Начали выкрикивать фамилию за фамилией: так же, как и вчера, они очень спешили, поторапливали заключенных руганью и ударами. «Меня, наверное, тоже возьмут», — ждала с тревогой Нина. Но и на этот раз ее не вызвали.

Примерно через час гестаповцы снова явились и вывели еще одну группу.

После полуночи ворвались в третий раз: четверо пьяных вооруженных автоматами эсэсовцев. Один из них, в черном блестящем дождевике и сдвинутой набок фуражке, вынув бумажку, крикнул:

— Лакунович...

Нина не узнала свою фамилию, она впервые показалась ей чужой.

«Кого это? Меня? Ну да, меня». Как ни готовилась заранее к этому, худшему, все же почувствовала внезапный холод внутри, слабость, ноги, руки вдруг стали непослушными. Как подготовленное загодя, склонившись к Красуцкой, произнесла глухо, будто не своим голосом:

— Смотрите, не забудьте... уговор...

Ощущая дрожь во всем теле, с трудом поднялась. На время снова мир вокруг будто опустел, и она будто не шла сама, а кто-то нес ее. Кто-то передвигал на ставших чужими ногах.

Гестаповцы сразу схватили ее, стали толкать к выходу. Тогда оцепенение вдруг исчезло, она снова все увидела удивительно остро, ярко: камеру, людей. В камере царила гнетущая тишина. Люди смотрели на нее. Следили со вниманием, с сочувствием, со страхом.

Она как бы заново поняла все происходящее.

— Родные... прощайте! — сказала она.— Ждите... Наши уже близко...

Она сказала это тихо, хрипло, но со страстью. Ей страстно хотелось сказать это, заявить, может быть в последний раз, о себе. Это было как желание остаться в людях, не исчезнуть бесследно. Гестаповец злобно толкнул ее в коридор.

Вслед за ней из камеры вывели еще нескольких человек.

По коридору с грубой руганью и побоями выгнали во двор. В лицо Нине ударило холодноватой свежестью ночного воздуха. Закружилась голова, и Нине показалось, что она задыхается от этой свежести: давным-давно не дышала таким воздухом.

Здесь стояла грузовая машина с откинутой задней стенкой кузова. «Хорошо, что грузовик некрытый»,— заметила Нина. Один из конвоиров карманным фонариком осветил железную лесенку, приставленную к кузову, и приказал подниматься по ней:

— Шнелль... ауф!

Женщина, что поднималась третьей, вдруг покачнулась и упала бы, но к ней подскочил один из тюремщиков. Подхватил и поддержал, пока поднялась.

— Ты — русская свинья! Ползешь!..

Он злобно толкнул ее вперед. Женщина упала на дно кузова...

4

Эсэсовцы заставляли подниматься по лесенке почти бегом. Подгоняли, били и тех, кто медлил, и тех, кто слушался приказов, спешил. Нину тоже, перед тем как она шагнула на лесенку, чем-то больно ударили по спине,

Она постаралась подняться одной из первых, чтобы сесть возле борта. Рядом с ней оказались две женщины из той же камеры.

Кузов набили битком... Последними взобрались несколько эсэсовцев с автоматами. Они сели сзади...

— Генц, чего медлишь, как ксендз на мессе! — нетерпеливо крикнул кто-то из них.

— Успеете! ..

Тот, кто ответил, курил. Затянувшись еще несколько раз, он бросил сигарету и полез в кабину. Мотор заработал, шум его то усиливался, то слабел, потом послышался ровный гул.

Вот и настал тот час, о котором она столько думала в камере. Если их повезут в лагерь, надо пока подождать: будет время осмотреться, может, удастся что-нибудь придумать, спастись. А если в Тростянец, за город,— надо вырываться сейчас. Иначе — будет поздно...

Грузовик выехал из ворот тюрьмы. По обеим сторонам побежали назад искалеченные скелеты домов, горы обломков, печально черневшие в ночи. Вокруг было пусто, мертво. Нигде ни одного огонька.

Машина повернула вправо, на Червенский тракт. Они едут не в лагерь, — лагерь в другой стороне, на Широкой улице... Ну да, их везут в сторону Могилевского шоссе, к Тростянцу.

— В Тростянец едем... — шепнула она знакомой женщине, сидевшей возле нее.

Ей стало тоскливо, одиноко. «А может, еще не в Тростянец, может, куда-нибудь в другое место»,— попыталась она успокоить себя. От этой мысли на душе сразу полегчало: и смерть, и такой большой риск, связанный с попыткой побега, отдалялись. Но как ни успокаивала обманчивая надежда, Нина утешалась ею недолго... Нет, везут в Тростянец, — зачем обманывать себя, закрывать глаза перед правдой. Такой страшной, ужасной, что все внутри холодеет, охватывает слабость, но — правдой...

— Я убегу! Из машины... Спрыгну,— тихо шепнула Нина соседке. Вдруг предложила ей: — Хотите — вместе?

Женщина какое-то время думала. Потом Нина почувствовала пожатие ее руки. Вместе! Не может быть, чтобы ни одной не удалось вырваться.

Нина взглянула вперед, на черное, как неизвестность, небо: среди тяжелой черноты горела далекая одинокая звезда. От ее странно печального и веселого блеска усиливалось ощущение тревоги, тоски, но сквозь тоску, тревогу в сердце Нины пробивалась, трепетала искорка, звезда, которая не хотела ни гаснуть, ни слабеть. Ее надежда... Может, то ее, Нины, звезда? ..

Навстречу летел ветер, свежий, прохладный. Она жадно вдыхала его, остро ощущала его упругие порывы. От прохлады, от ветра, от волнения чувствовала прилив сил. . .

Машина выехала за город. По тому, что машину перестало трясти и колеса мягко зашуршали, Нина догадалась: кончилась мостовая и начался асфальт. Скоро поле. Вот уже ветер усилился. Впереди слева будет ельник, он подходит к самому шоссе.

Там. . . Там надо прыгать. . .

Ельник быстро приближался. Как мчится навстречу шоссе! Это хорошо — не сразу остановятся. Только бы удачно спрыгнуть, не разбиться, не вывихнуть ногу. Прыгнуть на землю и — сразу в ельник. . .

— Скоро прыгну. Возле ельника,— шепнула соседке.

Неужели они попадут! Темно. Но у них много автоматов. Как сильно стучит сердце! Эх, чего гадать — попадут, не попадут. Смелее! . .

Что-то, стремительно приближаясь, обозначилось впереди. Яркий свет фар, быстро бегущий по асфальту, пробивая темноту, делал мрак ночи чернее, и очертания заветного ельника, который летел навстречу, едва-едва угадывались, таинственные. Но она знала — это мог быть только он, ее надежда. Ельник. . .

Ельник! . .

Как только темный силуэт налетел, побежал мимо,— она, больше не раздумывая, не рассуждая, чувствуя необычную легкость в себе, вскочила, быстро повернулась, шагнула на доску борта. В тот момент, когда она, вскинув руки, почувствовала, что уже летит, до слуха ее дошло в вихревой мешанине разорванных впечатлений — крик, угрожающий крик тех, кто вез на гибель. . .

В следующее мгновение этот крик исчез. Его сменило новое: больно ударила в руки, в колени земля, необычайно твердая, как камень.

Изо всех сил опершись на руки, Нина с усилием вскочила, побежала по травянистому откосу за кювет, задыхаясь, бросилась в спасительную темноту ельника.

Теперь она ничего не слышала вокруг — ни свиста ветра, ни прозвучавших сзади выстрелов, даже боли от пуль, которые, догнав, впились, пронзили ее. Не поняла, почему вдруг ослабела, обессилела, опустилась на землю. . .

Как горячо, как тяжело становится внутри. А голова словно наполняется мраком, черным, осенним.

В груди пылало ужасное, невыносимое пламя. Сквозь мрак и пламя пробилась мысль, полная надежды и тоски. Последняя мысль ее жизни.

Люда. . . Дочурка моя, утеха моя милая! . .

И все погасло — и огонь и жизнь. . .

ГЛАВА VII

1

Недалеко от Толочина лейтенант Кляммт и его солдаты вместе со всей дивизией сошли с шоссе на юг.

Колонна была довольно большая; глядя на нее, еще можно было вспомнить былую мощь дивизии. Но — только вспомнить.

Кто-кто, а Кляммт хорошо знал, как много она потеряла: это была уже, в сущности, другая дивизия. Не было в ней многих ветеранов офицеров и опытных солдат. Все они полегли под Оршей.

Среди грузовиков можно видеть еще немало орудий. Только какая от них польза, от орудий, если к большинству из них нет снарядов. Артиллеристы надеются, что снаряды подвезут, но снарядов нет и нет. И когда будут — неизвестно...

Не хватает также горючего. Из-за нехватки горючего уже бросили несколько автомашин, хотя они были не лишними. Уцелевшие транспортеры и грузовики переполнены солдатами и унтер-офицерами.

В роте Кляммта — разный сброд, как и в батальоне и в целом в дивизии. В любом подразделении можно встретить солдат с разными погонами, «представителей» всяких частей. Все перемешались.

Настроение у большинства солдат возбужденное, беспокойное — все время ходят то обнадеживающие, то тревожные слухи:

— Русские танки. Впереди, справа... много танков...

— С ними — «катюши». Дивизия «катюш»... Вероятно, стали в засаду. Ждут, когда подойдем...

— Батальон саперов шел справа от нас... Вчера налетели русские танки — раздавили всех...

— Половину в плен забрали. Мне говорил Гофман из третьей роты...

— Говорят, к нам идет корпус. На помощь. Фюрер послал... Они уже возле Борисова.

— Под Борисовом много войск. Ждут только, когда русские подойдут. Дадут большевикам!..

— Котел русским сделают...

— Мне говорили, что фюрер дал приказ использовать новое оружие. Секретное... Первого июля!..

— Да? Это колоссально! Все изменит враз!..

Они обеспокоенно посматривают в голубое высокое небо, там почти непрерывно гудят и звенят стайки и большие группы советских самолетов. Правда, обычно они идут на какие-то

другие цели, но, случается, некоторые из них обстреливают колонну, бросают бомбы.

Вчера одна бомба попала в кузов грузовика, разметала и машину, и всех, кто в ней был...

От самолетов нигде нет спасения.

«Откуда у русских столько самолетов?! И почему мало наших? Куда они девались? Что с ними?..» — недоумевал Кляммт.

Снарядов так и не дождались. Горючее тоже не подвозили, и поэтому почти все пушки пришлось бросить. Их бросили перед вечером на тихой опушке леса. Несколько пушек артиллеристы взорвали: зарядили в последний раз и, насыпав в стволы песку, выстрелили.

— Что это? — спросил кто-то из солдат, услышав взрывы.

Второй нервно ответил:

— Пушки взрывают... Чтобы было легче идти.

— Чего доброго, скоро станем такими легкими, что и полететь сможем...

— ...на небо!

Назавтра колонну обстреляли из леска: били из пулеметов и малых минометов. Мины взрывались прямо на дороге. Ударили так внезапно и точно, что большая вооруженная толпа в растерянности бросилась с дороги в поле. Хорошо, что боевые подразделения быстро пришли в себя, залегли. Организовали оборону, стали бить по лесу, в том числе из минометов. Вероятно, там была группка партизан. Когда батальон, в котором был Кляммт, перебежками бросился к лесу, в контратаку, в лесу умолкли. Исчезли.

Солдаты вернулись к машинам заметно повеселевшими.

Двинулись дальше. На дорогах, пересохших от жары, поднимались тучи пыли. Двигались, утопая в этих тучах, задыхаясь, кашляя.

Где-то в стороне, как было видно из топографических карт, остались Крупки. Приближался Борисов. Он был сейчас уже где-то посередине между западом и севером.

На берегу небольшой речки отряд остановился.

— Что там, господин лейтенант? Почему встали?.. — спросил у лейтенанта рыжий, длиннорукий солдат Трейде.

— Вероятно, остановка.

Лейтенант решительно зашагал вперед, чтобы узнать о причине задержки. Впереди был низкий зеленый луг, усеянный множеством кочек, за ним из-за зарослей кустов и осоки виднелась вода. Река. Посредине луга к реке тянулась невысокая насыпь, по которой и шла к реке дорога. Насыпь эта вдруг обрывалась возле воды. Моста не было.

Возле речки лейтенант увидел группку офицеров и подошел к ним. Поодаль стояла еще одна группка, в которой лейтенант

узнал высокого генерала, запыленного, с перевязанной, подвешенной на косынке рукой, командира дивизии. Лейтенант тихо спросил у знакомого офицера, почему стоит колонна.

— Не видишь? Мост взорван!

Двое солдат, не раздеваясь, ходили в воде, достигавшей им до шеи,— мерили глубину.

— Проклятье! Полдня провозимся, пока переправимся через этот ручей,— сказал один из офицеров.

Несколько человек направились обследовать берега и речку по другую сторону от насыпи. Идя вдоль берега, они что-то обсуждали, оглядывали. Издали было понятно: выбирали наиболее надежный грунт. Лейтенанту тягостно было стоять и гадать издали, как у них дела, и он лугом, по кочкам двинулся к ним. Еще по пути к ним определил: такого грунта, по которому могли бы пройти машины, у берега не было. Кое-где здесь даже вздыхала под ногами трясина.

Выбрали просто более сухое место. Сразу как определили его, трое солдат разделись и, оставив одежду на берегу, пошли в воду. Речка здесь оказалась как раз неглубокой. Можно было бы переправляться. Весь вопрос был в том, выдержит ли грузовики проклятый луг перед берегом.

— Ну что же, попробуем! — решил майор, руководивший переправой, и приказал, чтобы подали первую машину. Она прошла почти до речки, но у самого берега завязла. По команде майора десятка два или три солдат окружили ее, вытащили на своих плечах и переправили на ту сторону... Вторая тоже засела, и еще больше.

— Здесь мороки до утра! — сказал кто-то вблизи.

Подошедший сюда генерал распорядился строить гать. Послышались команды, и толпа, наблюдавшая за происходящим, пришла в целеустремленное движение. Начал проявляться образцовый немецкий порядок: пошли в ход тесаки,— затрещали кусты, деревца на берегу. Солдаты принялись энергично сновать по лугу с кустами, деревьями, укладывать дорогу через болото.

Немецкая энергия и организованность скоро сделали бы свое дело, но возле переправы, на лугу, меж солдат вдруг стали рваться мины.

Образцовая, целеустремленная деятельность на берегу сразу расстроилась. Тесаки остановились, срубленные деревца выпали из рук. Солдаты, офицеры старались понять, что произошло.

— Русские, русские... прорвались! — пошло тревожное.

Зазвучали энергичные команды: по местам, подготовиться к обороне, и лейтенант Кляммт сразу заспешил к своим.

Едва добежав до роты, он начал распоряжаться, организовывать рассыпавшихся по ржи, беспорядочно стреляющих

солдат. И здесь, благодаря его энергичным действиям, начал устанавливаться порядок.

Лейтенант был уверен, что нападение совершили тоже партизаны, небольшая группа, и их быстро удастся отбить. Но вскоре к русским минам присоединились пулеметы, вдали замаячили бронетранспортеры. Похоже было, что это — армия и что русские быстро накапливают силы...

Видимо, это знали уже и другие. Несмотря на приказ держаться, отражать русских, взводы, хотя и постреливая, все отходили от дороги.

Стремясь укрепить положение, лейтенант приказал окапываться, прекратить отход. Взводы залегли, остановили отступление, начали работать лопатками, но ситуация беспокоила лейтенанта. Русские накапливались, а переправы позади нет. И поддержки артиллерии тоже нет и не будет...

Стоя в окопчике во ржи, лейтенант услышал, что его зовут.

— Лейтенант Кляммт! Где лейтенант?

— Я здесь. Что там такое?

К лейтенанту Кляммту, пригибаясь опасливо, подбежал связной от капитана Штамме, командира батальона. Он передал приказ — переправляться вброд.

— Одним? А как же машины? — заволновался Кляммт.

— Машины поджечь и бросить.

2

Прикрываясь заслоном, который сдерживал русских, начали переправляться. Переправлялись быстро: время было дорого.

Вдоль берега заняли оборону. Было видно, как за речкой печально дымят брошенные машины.

В первых сумерках снялись и двинулись дальше, уже пешком. Двигаться теперь стали медленно-медленно. Движение замедлялось тем, что дорога была полевая, неизвестная, темнота еще более затрудняла движение.

В этом отвратительном движении встретили и утро. До какой-нибудь березы или сосны, видневшихся вдали, приходилось тащиться целый час. Солдаты и офицеры за ночь устали. Оружие, которое несли на плечах, становилось все тяжелее. Чтобы дать отдохнуть, сделали остановку на три часа в лесу у дороги. Но и после остановки некоторые снова отставали,— колонна растягивалась и растягивалась.

Лейтенанта Кляммта возмущала эта опасная расхлябанность, он энергично добивался порядка.

— Кто там ползет сзади, черт побери? Эй, Трейде, быстрее!.. И вы, остальные,— подтянуться!

Лейтенант подозвал к себе исполняющего обязанности командира взвода обер-ефрейтора Келлера, строго выговорил ему за потворство распущенности. Приказал немедленно привести взвод в надлежащий вид.

Келлер выслушал выговор с возмутительным спокойствием, принял приказ почти безразлично. Лейтенант даже уловил ледяное выражение его глаз. Невольно возникло в голове рассудительное: на этого ефрейтора нельзя полагаться. Раздраженный отвратительным отношением ефрейтора к своим обязанностям, Кляммт вспомнил прошлые споры, снова почувствовал к Келлеру неприязнь, даже враждебность.

«Надо следить за ним,— подумал о Келлере.— Первый удобный случай, и он предаст. . .» Если бы не такое ненадежное время, он непременно снял бы ефрейтора с командования взводом и доложил бы о его поведении кому следует. Он пожалел, что не сделал этого, когда было возможно, во время блокады партизан. Или позже, до русского наступления. Он упрекнул себя за непростительный, преступный либерализм.

«Ничего,— подумал, успокаивая себя, лейтенант,— придет время, к этому можно будет вернуться! . .»

Скоро лейтенанту пришлось забеспокоиться о другом: выяснилось, что батальон оторвался от штаба полка.

Всем, что оставалось от батальона, командовал ныне капитан Штамме, присланный после гибели прежнего командира, еще на второй день русского наступления. Штамме почти всегда был пьян и мрачен, легко выходил из себя, кричал, угрожал пистолетом. Даже Кляммт остерегался его, но лейтенанта успокаивала мысль, что крутой этот человек не подведет в трудную минуту.

— Где этот проклятый штаб! — подойдя к Кляммту, злобно произнес капитан. Он глядел исподлобья и с раздражением. Словно лейтенант был виноват в случившемся.

Было похоже, что он ждет от лейтенанта ответа. Кляммт смутился.

— Не знаю, господин капитан... Видно, оторвался.

Капитан недобро пожевал губами.

— «Оторвался»! Эти чистюли нарочно оторвались! Чтоб выбраться сухими! . . Понятно?

Большой, мрачный, он снова ждал ответа.

— Да, капитан,— не захотел влезать в нелепый спор лейтенант.

Лейтенанту не нравился этот неуважительный тон разговора о командовании и тем более отвратительное подозрение, которое высказал Штамме. Он с горечью думал о том, как нескладно сложилась судьба: в такую ответственную минуту батальон оказался в руках этого недостойного пьяницы и связь с командованием прервалась.

Хуже всего угнетало то, что общая обстановка была совершенно неизвестна. Многие считают, что надо быстрее добираться до Борисова, но кто скажет, что ждет там, в Борисове? Не ждут ли там уже большевики?

Настроение солдат крайне портило то, что почти сразу вслед за тем, как бросили машины, нарушилось питание. Утром, правда, выдали по пачке галет, но потом уже никто не заботился о солдатском желудке. Это особенно действовало: ибо голод, кроме того, что озлоблял солдат, еще и наводил их на мысли о бессилии командования.

Лейтенант организовал питание за счет туземного населения. Когда входили в сохранившуюся деревню, он делал небольшую остановку и разрешал пройтись по хатам, по погребам. Это выручало роту и помогало поддерживать боеспособное настроение.

Надо было бы отдохнуть, но все, кто мог идти, старались не останавливаться. Хотелось поскорее пробиться к своим.

Уже близился конец длинного дня, когда дорогу впереди перерезали три танка. Сначала никто не знал, чьи это машины,— солдаты спорили: советские или немецкие.

Танки остановились и тоже какое-то время будто присматривались.

Потом они развернулись, навели свои пушки и ударили по колонне.

Солдаты — кто куда — рассеялись по полю, по кустарнику. До того как удалось что-либо предпринять для обороны, танки взяли прежнее направление и вскоре исчезли за пригорком.

На дороге наступила тишина. Остатки рот постепенно начали собираться снова. Все были встревожены: ждали, что за этими танками придут другие. Когда сошлись, выяснилось, что кое-кто из солдат не возвратился и, что особенно поразило Кляммта, пропал капитан Штамме!

Лейтенант послал солдат на розыски, и скоро его нашли у воронки при дороге. Взрыв снаряда вырвал у него бок, вывалил внутренности... Надо же случиться такому: едва ли не единственная жертва — и именно командир батальона.

Лейтенант приказал достойно похоронить его. Торопливо вырыли неглубокую яму здесь же у воронки и засыпали землей.

Оторвавшийся от полка батальон оказался без командира. В такую трудную минуту, в неясной, опаснейшей обстановке.

Наступил час тяжкого испытания.

Время не ждало, требовало решительных действий. Кляммт это почувствовал сразу, как только нашли убитым капитана Штамме. Он, лейтенант Кляммт, теперь оказался в батальоне одним из старших по званию.

Поняв значение этого часа, лейтенант, не медля и не колеблясь, принял командование батальоном на себя. Как ни тяжела была обстановка, то, что он принял такое важное решение и возглавил батальон, придало ему энергии и уверенности.

Приглушенное тревогой и хлопотами, его волновало предчувствие, что, может быть, это его счастливый час. Час, начиная с которого судьба поведет его круто вверх. Час, который покажет всю крепость его здорового немецкого духа, его воинскую доблесть, которая была столько времени незаслуженно незамеченной.

С сознанием особой значительности миссии, выпавшей на его долю, вывел лейтенант Кляммт батальон в дорогу. Он избрал обходный путь, чтобы обойти то место, откуда стреляли танки и куда они ушли.

Он умело провел батальон мимо танкоопасных мест. Танки больше не нападали на них.

Уже в вечерних сумерках лейтенанта, который все шел впеpед со своим батальоном, разыскал офицер связи из штаба полка.

— Где командир батальона? — спросил связной. Он сидел на лошади и производил странное впечатление на этом необычном средстве передвижения. В другое время можно было бы пошутить, но теперь было не до шуток.

Лейтенант ответил:

— Обязанности командира батальона исполняю я.

— А что с капитаном Штамме?

— Капитан Штамме погиб...

— Когда? — словно не поверил офицер.

Лейтенант ответил терпеливо:

— Во время атаки русских танков...

Офицер связи наконец понял все. Поняв это, он начал обращаться с лейтенантом более почтительно. Уважительно выпрямившись, передал лейтенанту приказ командира полка: форсированными темпами вести батальон к реке. Офицер сообщил, что штаб полка в трех километрах. Показав по карте точку, где именно надо быть батальону, связной ускакал обратно...

Значит, все поправляется. Все налаживается, как он и надеялся. Все будет хорошо.

3

Лейтенант со своим батальоном готовился к бою. Солдаты копали на берегу реки окопчики, копали неохотно и лениво, — видно, считали, что делают ненужную работу.

Если они, однако, сделали все как следует, то в этом была заслуга лейтенанта.

Оборону батальона проверил сам командир дивизии. Генералу понравились окопы и старательность нынешнего батальонного командира, и он дал понять, что весьма ценит радение лейтенанта.

Кляммт был обрадован генеральским вниманием. Несмотря на тяжелую обстановку, он ощущал подъем духа. Лейтенанта возбуждало предчувствие иного будущего; после того, как установится порядок,— а ждать этого, он был уверен, не придется долго,— он, лейтенант Кляммт, будет командовать батальоном. Его, конечно, не снимут с должности, полученной в труднейшую минуту, доверенной ему судьбой, на которой он уже сейчас работает, да еще с таким успехом. Он будет командиром настоящего батальона.

Лейтенант — тогда он, вероятно, будет уже не лейтенантом — сможет с достоинством говорить: в тяжкий час испытания он остался верен отчизне и фюреру. Он не опозорил себя и честь немца...

Судьба, однако, не дала развернуться как следует таланту нового командира батальона: старательно выкопанные окопы пришлось оставить без боя. На них никто теперь не наступал. Кляммт слышал, что большевики в ту же ночь на юге прорвались далеко в тыл позиций дивизии...

Снова началось отступление, ослаблявшее батальон хуже любого боя. Солдаты все больше деморализовались, отчаивались, целыми группами отставали. Лейтенант Кляммт чувствовал, как среди них распространяется дух непослушания и безразличия к командирам. Они, похоже, не хотели признавать его командиром батальона, казалось, глядели на него, как на выскочку и даже самозванца...

Ясным июньским утром, когда все вокруг сверкало под солнцем, на отступавшую через поле колонну полка снова наскочили советские танки. Большая группа, больше десяти танков. На машинах, вокруг башен, готовые к бою, сидели автоматчики.

Танки так внезапно и стремительно атаковали колонну, что полк не смог ни организовать сопротивления, ни хотя бы отступить в порядке. Солдаты и офицеры, ошеломленные неожиданной атакой, вынуждены были спасаться бегством. На опустевшей дороге осталось лишь несколько повозок да трупы...

К счастью, вблизи был лес, и лейтенант Кляммт, вобрав голову в плечи, устремился к нему. Он слышал за спиной выстрелы танковых орудий и пулеметные очереди. То там, то здесь воздух рвали острый свист снарядов и близкие взрывы. Они подгоняли лейтенанта. Добежать, успеть! Быстрее. Нельзя сбавлять бег. Скорее в лес: там единственное спасение...

Вбежав в осинник, он почувствовал, что задыхается, и пошел медленнее. В поле выстрелы затихли, слышалось только

фырканье моторов, лязг гусениц да непонятные русские возгласы.

Он нашел лощинку, заросшую травой и молодыми деревцами, среди которых было много густолистого орешника. Лейтенант вполз под этот навес тенистой зелени и лег, прислушиваясь к звукам с поля.

Он заметил, что в кустарнике вокруг, пробираясь, скрывались многие солдаты, убежавшие от русских.

Вскоре Кляммт услышал, что русские начали прочесывать лес.

Он стал искать более надежное укрытие. Когда лейтенант продирался сквозь чащу, он наткнулся на своего солдата Трейде, но сделал вид, что не узнал его.

Лейтенант Кляммт укрылся в таких зарослях, что казалось, будто наступил вечер. Было сыро, и сильно пахло гнилью.

До лейтенанта доносились голоса и очереди русских автоматчиков. Они все приближались. Лейтенант внимательно прислушивался. Они звучали так близко, что надо было быть готовым ко всему. Можно было попасть под слепую очередь.

Голоса слышались справа, слева, даже чуть в сторонке — сзади. Русские были почти рядом. Он привстал и начал следить за ними. Насколько можно было из-за зарослей листьев и ветвей.

Вдруг лейтенант сквозь вязь ветвей увидел русских. Их было трое. Один из них, наставив автомат, по-немецки приказал кому-то встать.

Поднялся солдат в немецком мундире. Это был Трейде. Когда он сюда забрался, Кляммт не заметил,— должно быть, переполз.

Лейтенант отстегнул кобуру, вынул пистолет и поставил на боевой взвод. Живым он не дастся. Прежде чем умереть, он убьет их — прежде всего чернявого резвого сержанта...

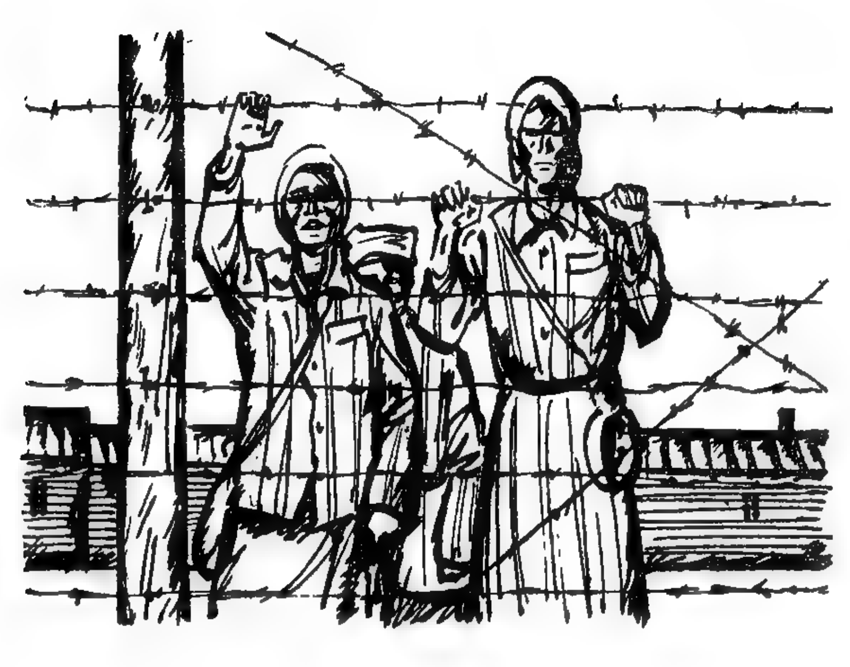
Кляммт невольно стал нажимать спусковой крючок пистолета — хотелось продырявить расторопному русскому голову.

Но русский сержант резко махнул рукой:

— Все! Пойдем, хлопцы.

Это спасло лейтенанта и русского.

Русские ушли.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА I

1

Дорога, дорога.

Дрожит, плавится вдали легкая, голубая дымка. Она влечет, притягивает к себе. Дымка окутывает далекие деревни, холмы, поля, перелески. Хочется скорее дойти до них, увидеть все таким, как оно есть.

Дорога скоро приводит к тем полям и перелескам. Но — дальше снова плавится дымка. И снова впереди зовущая даль.

Природа раскрывалась перед танкистами широким простором, изменчивым, подвижным,— каждую минуту бежало навстречу, представало перед глазами новое.

Леса, луга цвели как никогда буйно, упрямо. Во всей своей зеленой красе высились дубы, широко раскинув ветви с резной лапчатой листвой; гордо держали свои кудрявые вершины с медными ветвями-жилами сосны, рвалась к свету лесная по-

рослъ, от которой было темно в лесу, — рябина, орешник, березнячок.

Когда танки шли по лесной дороге, деревья ветвями и листьями-ладонями дотрагивались до брони, гладили запыленных автоматчиков и танкистов, сидевших на башнях. Погладив, деревья потом долго махали им вслед ветвями, словно прощались.

Всюду видны были жестокие знаки войны, давние и новые. Воронки, пепелища, пустыри. Запустение в селах и в полях, где полоски спеющих хлебов перемежались широко простирающимися зарослями разных сорняков. Но природа будто старалась закрыть, стереть страшные раны, украсила землю всем возможным летним великолепием. Будто сквозь горе и слезы стремилась сиять, мужественно и обнадеживающе.

— Гляди, как природа встречает нас! — сказал как-то Колышеву Гогоберидзе.— Нарядилась, как девушка.

— Нет, товарищ лейтенант. Лучше — как мать, которая встречает сыновей...

Сандро вспоминался первый год войны. Тогда тоже буйно зеленели леса, но в то время видеть это было горько. Горько было знать, что все достанется проклятому пришельцу...

А теперь — как не радоваться теперь этой красоте, богатству этому: оно снова наше!..

В тихой, почти пустой деревне, где остановились танки, к лейтенанту Гогоберидзе несмело подошел белобровый босой мальчик в посконной одежде.

— Дядечка, говорят, вы здесь начальник...

— Если говорят, то, видно, так и есть,— ответил Сандро, расчесывая каштановые волосы, постриженные под «полубокс».— Начальник, хоть и маленький... А в чем дело, герой?

Танки, кажется, только что остановились, однако Сандро уже успел умыться, побриться и даже немного почиститься.

— Там,— мальчик показал в сторону рукой,— лагерь. Немцы посадили людей... Они их, дядечка, всех перестреляют...

— Лагерь, говоришь? — Командир стал серьезным.— А ты это точно знаешь, что там — лагерь? Точно?

Мальчик сказал, что там в лагере сидит Степан, его брат, и еще сидят люди из их села. Туда ходили, носили передачи, но немцы не любят, когда приносят передачи. Забирают их себе. А часто и к лагерю не подпускают, стреляют.

Слова мальчика подтвердила женщина, у которой Сандро взял ведро для воды. Лагерь. Много народу.

— Этого нельзя так оставить... — согласился Гогоберидзе, видя, с какой надеждой глядит на него паренек. — Далеко он?

До лагеря было, по словам женщины, верст пять-шесть. Сандро стал торопливо застегивать пуговицы, надел шлем. По тому, какими быстрыми были движения, какой блеск был в небольших карих глазах, было видно, что Сандро решил действовать немедленно. Он сразу же двинулся к командиру роты. Уже на ходу позвал мальчика с собой.

Едва подошел к Алексею, спеша передал сообщение мальчика. Будто в подтверждение, подтолкнул мальчика вперед: вот, послушай.

— Надо помочь, Алексей! Срочно! — выпалил Сандро. То, что мальчик по-прежнему смотрел с надеждой на него, вызывало у Сандро сознание особого долга его в этом деле.

Алексей сообщение о лагере принял тоже, было видно, близко к сердцу, но сказал Сандро, что приказано вот-вот быть готовыми к выступлению.

— Ну и выступай! — отозвался Сандро. — Здесь надо только одну машину и автоматчиков! Подумаешь — лагерь! Какая там охрана!.. Одну мою машину и автоматчиков! Все сделаю! Через пятнадцать минут доложу!

Алексей не поддержал бодрого настроения Сандро: выделил еще одну машину и предупредил, чтоб были осмотрительными. Были готовы ко всему... И приказал не задерживаться.

Гогоберидзе поклялся, что все будет сделано быстро и хорошо. Козырнул и сразу побежал к машине.

— Иду освобождать лагерь! Ты останешься? — задержался на мгновение Сандро возле Колышева. Тот сидел с автоматчиками в тени забора.

Колышев вскочил:

— Нет, я поеду с вами, если разрешите...

— Давай.

Колышев мог остаться. Как «безлошадный», мог пересесть на другую машину. Но его влекло необычное, важное дело, которое выпало Гогоберидзе. Кроме того, Колышев считал законом для себя: ни в чем не отставать от товарищей. Особенно когда предстоял бой.

Гогоберидзе поручил ему командовать автоматчиками обеих машин. Собственно, можно было бы теперь этого и не говорить — Колышев уже само собой как бы стал их командиром. Он был среди них старшим по званию, и все, даже сержант, командир отделения, ждали его команд.

Гогоберидзе знал это, но считал, что, попросив Колышева командовать автоматчиками, укрепит положение его на своей машине и сделает ему приятное... Проводником Гогоберидзе решил взять мальчика. Подсадил на машину, помог опуститься внутрь нее. Был доволен, видя, как сияют глаза проводника.

И вот две «тридцатьчетверки» выскочили из села. Колышев стоял на первой, позади башни, держа на груди автомат. Рядом

с ним было еще несколько автоматчиков. Все пригнулись, уцепились за скобы — машина летит изо всех сил: того и гляди, сорвешься!..

Раз, второй притормаживали: видно, с помощью мальчика уточняли направление. Поворот, еще поворот — и вот впереди, в поле, группа длинных приземистых сооружений — не то постройки для скота, не то бараки. Похоже, бывшая колхозная ферма. Видно — лагерь...

Да, лагерь. Ограда, вышки по краям, часовые... Колышев еще издали отметил, что в лагере, похоже, спокойно. Часовые на вышках неподвижны. Не беспокоятся. За оградой неторопливое движение.

Вот уже танк сбавил скорость. Колышев приготовился к бою. Приготовились автоматчики рядом. Но в лагере было по-прежнему тихо. Почему молчит охрана? Что они — решили не сопротивляться? Или еще не знают, что в деревне наши танки? И что это не немецкие машины. И танк принимают за свой?

Предупредив, чтобы автоматчики не стреляли без его сигнала, Гогоберидзе стал подводить машину к опушке леса, к проволочному заграждению.

Гогоберидзе любил делать все, как он говорил, красиво. Уже с «тридцатьчетверки» начали спрыгивать автоматчики, соскочил Колышев, а Гогоберидзе не стрелял.

Спокойно, как бы мирно, подвел танк к самому лагерю и только тогда, развернув башню, дал выстрел из пушки — один, второй — по вражеским вышкам. С удовольствием увидел, как вдруг испуганно заметались часовые. С одного поста отозвался пулемет, Гогоберидзе ответил ему длинной очередью с «тридцатьчетверки». Его поддержал очередью также пулемет со второй машины.

Колышев, прикрываясь машиной Гогоберидзе, выглядывая из-за нее, наблюдал за всем с любопытством и настороженностью. Интересно было все лейтенанту, никогда ничего подобного не видел, и интерес к происходящему был так велик, что даже сознание опасности не могло подавить этого чувства, все воспринимающего и отмечающего. С особым волнением лейтенант следил за тем, как в разных уголках двора засуетились группки людей. Людей, которые были узниками этого ада. Но следил лейтенант не только с необычным любопытством, было у него вместе с любопытством и не менее сильное сознание долга. Он помнил конечно же, что — командир, что под его началом автоматчики и что он обязан распорядиться умело, с пользой для танков, для общего с ними дела. Он помнил это и ждал надлежащего, удобного момента. Едва охрана на вышках утихла, лейтенант, разделив автоматчиков на две группы, приказал обезоружить охранников, остававшихся на территории

лагеря. Оставив одну группу возле танков, лейтенант вторую повел к воротам, где стояла контрольная будка и какой-то небольшой дом, видно контора. Лейтенант считал необходимым заглянуть в контору, проверить, нет ли там кого-нибудь из руководства. Вообще же лейтенанта больше интересовало, где расположена охрана. Казарма охраны. После конторы он намеревался направиться именно к казарме, очистить ее. Забрать тех, кто в ней!..

Он первым пробежал контрольную будку и сразу за ней наткнулся на испуганного охранника, пытавшегося, как видно, скрыться. Увидев почти лицом к лицу русского, охранник, побелев от испуга, в растерянности поднял руки. В одной руке у него еще была винтовка. Колышев выхватил ее, передал охранника бойцу. В конторе автоматчики захватили еще двух. Один из этих двух оказался полицаем, русским; на вопрос лейтенанта, где казарма, он охотно, даже с радостью указал на барак невдалеке. Предложил провести к нему, указать все.

— Давай, — велел ему Колышев, держа полицая на прицеле.

Они ворвались в барак. Там уже никого не было. Двери были все распахнуты, но постели застланы. На вешалках висели шинели, в пирамиде стояло несколько винтовок... И ни одного охранника.

— Удрали! — пояснил подобострастно полицай. Он со страхом глядел на русских, ждал...

Тем временем, разорвав ограждавшую лагерь проволоку, машины вошли во двор лагеря, прямо через ограду.

Выехав в центр двора, Гогоберидзе остановил машины. Приказав всем быть на местах, наготове, выдвинулся из башни. Внимательно огляделся, оценил обстановку.

Вокруг были группки людей, смотрели на машины, на него. Действовали, прочесывали территорию автоматчики.

Он выбрался из башни. Быстрым движением отодвинул назад шлем, провел тонкой смуглой ладонью по лицу, будто вытирая пот. Легко спрыгнул на землю.

На него со всех сторон смотрели. Пытливо, испуганно, недоверчиво. Смотрели издали, не подходили. Может быть, смущал его черный комбинезон, шлем. Как будто чего-то ждали.

— Ну, здравствуйте! — широко, белозубо улыбнулся Сандро.— Здравствуйте, друзья!..

— Наши! — вдруг крикнул кто-то из девушек, звонко, ликующе.— Девушки! Наши! Правда, наши!

К Сандро ринулись со всех сторон. Одни — порывисто, ошалело, другие — еще словно не веря. Будто боялись какого-то обмана. Но в общем толпа вокруг быстро росла...

У другого танка тоже росла толпа.

Наиболее смелые, уверенные обнимали танкистов, целовали и плакали. Женщина со впалыми серыми щеками, пробрав-

шись к Гогоберидзе, бережно, ласково взяла руку Сандро и, глядя заплаканными глазами, вдруг поцеловала ее.

— Что вы делаете? — смутился лейтенант.— Не надо руку... Нехорошо.

Женщина покачала головой:

— Почему нехорошо? Это ж не панская рука. — И она снова поцеловала ее.

Нарушая приказ командиров, из машин один за другим выбирались другие танкисты. К толпе, окружившей Гогоберидзе, подошел Колышев с несколькими автоматчиками; их тоже окружили. Много глаз — веселых, печальных, радостных и плачущих — смотрело на лейтенанта, на его бойцов, и Колышев, всегда чутко откликавшийся на счастье и беды человеческие, от души радовался за людей, за себя, за товарищей. Он ощущал безмерную ненависть к тем, кто загнал сюда, за ограду, мучил их, этих истощенных, исстрадавшихся невольников.

Перебивая друг друга, дополняя, в большом возбуждении, люди рассказывали о своей жизни в лагере. Сюда были согнаны семьи партизан, захваченные в разных деревнях. Охранники говорили, будто их собираются вывезти в Германию, но это ложь: всех морили голодом, болезнями. Не счесть, сколько здесь отправили на тот свет. Люди умирали так часто, что их не успевали хоронить. Бросали в яму десятками сразу... Многие умерли, погибли бы и остальные...

Толпа вдруг расступилась, и к Гогоберидзе подтолкнули довольно старого, сгорбленного человека с растрепанными редкими волосами, с синяками на лице.

Двое запыхавшихся, раскрасневшихся парней, державших его за руки, рассказывали, перебивая друг друга:

— Хотел смыться. Когда все кинулись к вам, побежал к проволоке! Думал, что теперь не до него!..

— Под шумок надеялся смыться! Ах ты, скотина арийская!..

— Но мы с Костиком сразу хватились! Чтоб не дать ему выскользнуть! Сразу кинулись в его хауз! А он — этот вот — уже, видим, бежит к ограде!..

— Как гусак! Подбежал, хотел перелезть, а она вон какая, ограда! Он и повис! Сам же строил, старался, чтоб повыше...

— Тут мы его с Андреем и спустили вниз!..

— Это шеф,— объяснили Гогоберидзе из толпы,— пан Кальбе!.. Одним словом, самый главный...

Колышев с удивлением смотрел на задержанного: трудно было поверить, что этот с виду мирный, боязливый старик способен был на такую жестокость...

Рослая, с узким лицом девушка подскочила к «шефу», угрожающе сказала:

— А-а, попался, гадюка подколодная! Попался! Ну, гляди ж! Помучил ты, недоносок сучий, наших людей, так — гляди ж! Вертись теперь вьюном! .. Мы покажем тебе! ..

«Шеф», испуганно оглядываясь, забормотал что-то, из чего почти все поняли только два слова: «киндер», «арбайтен». Говорил, видно, что у него есть дети, и просил, чтобы ему дали возможность работать...

— Вишь, работать захотел! .. А какую ж ты работу хочешь? Может, снова такую, какая была?

В толпе зло засмеялись. Если бы лейтенант позволил, с «шефом» тут же расправились бы — столько накипело у всех против него. Но Гогоберидзе решительно заявил: без суда нельзя. Нужен суд по закону. Женщины недовольно зашумели, однако Гогоберидзе был непоколебим.

Танкистам хотели показать несколько тесных, сбитых наспех бараков, в которых люди спали и умирали, помещение, где их пытали, но лейтенант заявил, что не может задерживаться. Их ждут в роте.

Они и так уж опаздывают! Отстали от роты. Чувствуя на себе всеобщее внимание, Сандро вежливо и строго отдал распоряжение группе мужчин и женщин взять под стражу охранников, передать первой же пехотной части армии или партизанам. Для предания суду по закону. Следил за передачей, назначил старшего конвоя.

В этом конвое оказался и Степан, брат мальчика, приведшего сюда танки. Сандро догадался об этом, увидев мальчика рядом со щуплым, тихим парнем лет семнадцати. В эту минуту Сандро вспомнил и мальчика.

Он спросил, с кем мальчик отправится обратно: с танкистами или с братом. Мальчик явно заколебался, но долг победил, хотя и с трудом решив, паренек остался с братом. Сандро публично, во всеуслышанье объявил мальцу благодарность от командования — за помощь при спасении заключенных из лагеря... Мальчик слушал это со смущением, но был счастлив...

Четким, красивым голосом Гогоберидзе приказал танкистам и автоматчикам занять свои места. Легко, ловко поднялся на башню, до пояса забрался в нее. Прощаясь, с торжественным видом приложил прямые пальцы правой руки к шлему. Образцово отдавал честь.

Машина круто развернулась на месте, и вместе с ней повернулся полукругом Сандро. Не отпуская руки. Будто отдавал честь всем окружавшим.

Когда моторы заработали, люди начали отступать. Открыли путь, когда машина тронулась.

Колышев уже с дороги оглянулся на лагерь, возбужденно подумал: сколько таких людей еще ждут! Он думал об этом не

впервые, но теперь, когда сам увидел их, когда немало пережил, мысль эта взволновала его, будто новая. Может, она и действительно была новой; он ведь теперь воспринимал ее иначе, чем раньше, глубже и мудрее.

Для них стоит рисковать жизнью — не подумал, а сердцем почувствовал Колышев. Может быть, сейчас он впервые как следует постиг, что такое солдатский долг...

Выходит, прежде он был как слепой. Ничего не видел вокруг себя. «Верно, я не трус. Я просто не знал всего, что на̀до...»

В лицо Колышеву бил ветер.

2

Обрадованный, раскрасневшийся от бега Колышев явился к Яковенко, доложил, что по приказу командира роты прибыл в распоряжение лейтенанта.

— Добре... Мэни комбат уже казав, що пришлет...

Колышев должен был получить машину — прежнего командира полчаса назад ранил автоматчик, притаившийся на окраине села.

Это назначение, узнав о котором Колышев сразу забыл про свою обиду на судьбу, было для лейтенанта немного неожиданным. После случая с Рыбаковым ему казалось, что комбат разочаровался в нем и вряд ли доверит ему танк и экипаж.

— Ну вот, дам я тоби, примером, машину,— сказал Колышеву Яковенко.— А ты не забув, як ухажувать за нею. Як управлять?

— Так точно, товарищ гвардии лейтенант, не забыл. Да разве ж можно забыть это?! Можете не сомневаться!

Колышев с мольбой и надеждой смотрел на Яковенко.

— А це уже я побачу. А до того, як систы в машину, слухай и помни. Во-первых, я не терплю людей, которые ленятся или относятся к делу абы як.— Яковенко помолчал, словно давая Колышеву время ощутить всю важность того, что ему сообщено.— Во-вторых, я не знаю, шо таке слово «не могу». Для мене такого слова нема. Прошу це запомнить и выкинуть такое слово. Оно в нашем деле непотребно. Я знаю только слово «есть», «будет сделано»!.. Понял?

— Так точно.

— Не забудешь?

— Не забуду.

— Ну, як поняв и не забудешь — пойдем к твоим людям...

Вскоре рота двинулась дальше. Когда Колышев занял свое место в машине, когда отдал команду трогать, он почувствовал себя самым счастливым человеком.

Вот он снова в машине, в своей машине! И эти, еще так недавно чужие ребята, готовые выполнить любой его приказ,— его экипаж. Экипаж лейтенанта Колышева!

По сторонам бежали узловатые дубы, серые тонкие грабы, густые сплетения орешника. Из-за леса вырвалось поле, затем приблизился заболоченный луг, за ним вдруг зажелтели песчаные зыбучие сугробы. В песке танк осел, замедлил ход. Пошел трудно, рыча мотором...

А Колышев вслушивался в звуки в наушниках и остро вглядывался в простор перед собой. Сколько времени он был без машины? Много... Но разве это время пропало даром? Разве Колышев сел в машину таким, каким был тогда?..

Многие не знают этого. А комбат, видно, знает. Недаром же послал его сюда...

«Я еще покажу себя».

3

Случилась остановка. Моторы «тридцатьчетверок» смолкли, и стало слышно, как, не сморенные жарой, щебечут, хлопочут птицы, как в тени тонко, надоедливо гудят комары.

Прибыли автомашины с горючим. Едва они подошли к передним машинам, как танкисты начали привычно прилаживать к топливным бакам шланги, по которым вот-вот польется газойль.

Яковенко попросил механика:

— Посмотри за машиной! Заправь.

Лейтенант лег в тени, полной прохлады и свежести. Ах, до чего приятно расправить спину, подышать чистым воздухом! Он услышал знакомый, несмолкающий звон вокруг: звенели пчелы, какие-то букашки, слепни. Так когда-то звенело на лугу или в поле, когда в жаркий день он устало ложился на землю...

После того как Яковенко протрясся сутки в машине, ему казалось, что и земля, к которой он припал, тоже качается.

Под это покачивание, слушая тихий, успокаивающий звон, он заснул. И спину перестало ломить, и боль в голове пропала.

Он проспал каких-нибудь десять минут, когда его пришли будить. Он улыбался во сне: снилось, будто он ехал на комбайне по необъятной степи меж ласковой, покорной пшеницы. Когда его сон прервали, он ничего больше не мог вспомнить, кроме того, что рядом с ним стоял Мишка, сынок...

— Ротный вызывает, товарищ гвардии лейтенант.

Вокруг по-прежнему не умолкал постоянный тихий звон. Яковенко встал и пошел к машине,— командир роты приказал вывести взвод вперед, к высоте.

Вскоре лейтенант был около высоты. Здесь кроме нового командира роты, старшего лейтенанта, он увидел Алексея Лагуновича и лейтенанта, офицера связи бригады. Невдалеке от них стояла бригадная бронемашина.

Алексей рассказал Яковенко, что воздушная разведка корпуса обнаружила справа недавно построенный немцами мост. Полковник приказал Алексею немедленно бросить туда роту и захватить этот мост. Около моста есть свежие немецкие окопы и две или три зенитки. Разведка бригады, ушедшая в другом направлении, только что сообщила, что переправа там сожжена.

— Будешь во главе роты... Главное, Яковенко,— мост! Не дать им взорвать или сжечь — вот что главное... Если захватим мост, прорвемся на ту сторону, если нет,— видать, засядем на этом берегу. Речку, кажется, и переплюнуть можно, а без моста, понимаешь, не форсировать. К ней и подступиться черт знает как — берег весь заболочен! Вброд не перейдешь!

— Ясно!

Когда двинулись, Яковенко обрадованно подумал — поспал минуту, а так полегчало. Ни усталости, ни боли в голове!

Быстров видел, как почти сразу же за взводом Яковенко вперед, пыля, торопясь, прошли еще танки — вся рота.

Вскоре примчался в танке полковник Бессонов, вызвал к себе старшего лейтенанта. Что-то обсуждали, связывались с кем-то по рации. Ждали.

Быстро подтягивался весь батальон. Похоже было, готовился новый бросок.

Быстров и заряжающий Костюченко, сидя в машине, мирно переговаривались. О чем придется: как обычно во время остановки, которая в любую минуту может кончиться.

— Вот, брат, молодец — Солнцев... — сказал Костюченко Быстрову. — Не теряет времени зря. Кимарит...

— Набирается сил для новых боев.

Солнцев действительно спал, прямо у своих рычагов. Во время движения машины ему, водителю, доставалось больше других: все время приходилось работать; нельзя было ни на миг задремать, как заряжающему или командиру орудия. И днем, и ночи напролет, если рота двигалась, Солнцев пристально следил за дорогой, за кормой передней машины. Но на привале, едва машина останавливалась, он мгновенно впадал в дремоту. Ронял голову на грудь и дремал.

Быстров не раз подшучивал над товарищем:

— Тебе, брат, надо лечиться, по всем приметам у тебя это от болезни — сонливость! Страшное это для водителя дело! В сто раз хуже куриной слепоты. Едешь тут с тобой и все

боишься, как бы не угодить куда с машиной—в реку или в болото. Нырнет по твоей милости машина — и поминай как звали целый экипаж! Признаться, я так даже думаю на другую машину попроситься. От беды подальше...

— Ну и просись. Счастье какое...

Спит Солнцев удивительно чутко и, едва только кто-нибудь позовет его или заработает вблизи мотор, просыпается.

— А я не могу заснуть. Прямо завидую таким,— сказал Костюченко, устало глядя на Быстрова.

— Эх, это что, — прищурил глаза Быстров. — Вот под Ленинградом было, помню. Зимой, как раз в самом начале сорок третьего. Там наш батальон прорвался в немецкий тыл. А пехоту немцы отрезали, не пропустили... Заняли мы овражек там один, в круговую оборону стали и держимся. Приказ имеем — дождаться подхода пехоты. Вот мы и ждем. Одни сутки ждем — пехоты нет, другие ждем — нет, все не может пробиться! А вокруг — фрицы. Со всех сторон подстерегают. Зазевайся, задремли — так вмиг на тот свет отправят... Ну мы, конечно, как ты догадываешься, старались лучше их самих туда отправлять. Чуть начнет там высовываться пушечка на пригорок, — один поворот, другой, тумблер — и нет ее. Прямо к чертям на тот свет, смолу возить!.. Бронебойщик — очередь, и туда же... Наловчились бить, как снайперы. Тогда я и выучился обращаться с пушечкой... Нет худа без добра... Одним словом, пятеро суток не спали!

— Выносливое создание человек. Привыкает ко всему, прямо диву даешься... — отозвался рассудительно заряжающий.

— Разве только человек? — возразил сам себе Костюченко, знавший множество разных, часто невероятных историй.— У нас, когда мы стояли в Заболоцком лесу, корову приучили прятаться в ровик...

— В какой ровик?

— А в самый обычный. От бомб и снарядов. Образованная, скажу вам, была корова!.. Чуть услышит близкие взрывы, задерет хвост и летит со всех ног к своему ровику. И никогда не ошибалась: всегда на свое место!.. Там к ней был приставлен ухаживать один партизан — по фамилии Лабутин. Он ту корову пас, чистил и доил. Мирной профессией, можно сказать, занимался... Его у нас в шутку прозвали «Доярка и пастух», как в кино. Так этот «доярка» однажды, когда напали «юнкерсы», залетел в ровик к девчатам из госпиталя, километра за два от своего. А корова прибежала в свой...

— А может, он специально ошибся! Что-то очень уж выгодно — к девушкам из госпиталя...

Оба засмеялись.

В это время послышались приглушенные расстоянием взрывы. Быстров сказал, что стреляют из «тридцатьчетверок».

— Взвод Яковенко... — как бы подтвердил его слова Костюченко.

Они молча слушали. Взрывы звучали часто, иногда сливаясь. Было слышно, на выстрелы двух-трех наших машин отвечают несколько вражеских пушек. И странной показалась наступившая потом минута тишины...

Вдруг издали донесся новый, более сильный взрыв. Это был уже не выстрел. Танкисты тревожно переглянулись.

Что это?

4

Яковенко выскочил с машиной из-за чащи ольшаника и вдруг увидел невдалеке среди зелени берегов чистую зеркальную поверхность воды и мост. Это была река.

Яковенко на секунду остановил танк. Идти на мост с ходу было рискованно.

Он заметил: там, на более высоком западном берегу, сразу за мостом, смотрела вверх зенитка. Мелькнуло предостерегающее: нет ли там и противотанковых пушек... Но самым главным, что сдерживало Яковенко, было опасение, что мост может быть заминирован: вскочишь на него и полетишь в небо. На этой стороне, правда, еще суетились фигуры гитлеровцев, старались добежать до моста и перебраться на другой берег. Можно было бы прорваться на мост вместе с ними. Но гитлеровцы не пожалеют ничего, чтобы задержать танки. Они взорвут и своих.

По тому, как засуетились гитлеровцы и на другом берегу, разбегаясь по окопам, Яковенко понял, что танк появился неожиданно для них...

Это как бы подстегнуло Яковенко. Он перестал колебаться. Лейтенант подумал, как важно перебраться на ту сторону, уцепиться за другой берег, спасти мост. С этой минуты флегматичный, медлительный Яковенко словно переменился: мысли и движения его стали удивительно быстрыми.

Он толкнул в плечо командира орудия, показал три согнутых пальца, что значило «три осколочные», и, прижав к горлу ларингофон, велел остальным командирам машин:

— Делать, как я!

Пушка, содрогнувшись, огненно сверкнула. Горячая, с золотистым отблеском гильза, едко дымясь, полетела вниз. Заряжающий, с круглыми от волнения, тревожными глазами, торопливо подал в патронник новый снаряд.

— Рыбаков! На мост! — выдохнул Яковенко.

Машина рванулась так резко, что лейтенанта с силой бросило назад, он едва удержался на сиденье.

Рыбаков вел танк на мост. Дорога с ямами, с колеями, с зеленью травы бежала все быстрее, лихорадочно летела под танк, под гусеницы, летела с такой скоростью, что все слилось в стремительном, порывистом вихре, бьющем и бьющем навстречу. В этом вихре Рыбаков на мгновение угадал кусты лозняка, что мчались, послушно расступаясь, по сторонам дороги.

Сбоку лезвием сверкнула полоска воды, почти в тот же миг исчезла. Через мгновение она заблестела снова, уже широким простором.

Мост подбежал, вырос, расширился...

На «тридцатьчетверке» непрерывно работали оба пулемета: башенный и лобовой. Всю свою огневую мощь машина направила на ту сторону. Танкисты обстреливали берег, стремясь подавить сопротивление противника и отрезать его от моста.

Захваченные на этом берегу, немцы одни бросились в сторону, спасаясь от танка, другие, ошалев от страха, бежали прямо перед танком к мосту.

Рыбаков, почти не сбавляя скорости, с ходу направил машину на деревянный настил, бревна которого сразу задрожали и застонали. Мельком заметив, как побежали по сторонам перила, крепко сжимая побелевшими руками рукоятки рычагов, он с тревогой подумал: только бы не сорваться в воду! Скорее бы проскочить!..

Вот и перестало греметь внизу. Берег!..

Ни Рыбаков, ни кто другой из экипажа не успел почувствовать хотя бы первой радости от этой удачи, когда справа из кустарника ударило одно, второе орудие.

Яковенко приказал развернуть машину в сторону орудий, подавить их. Он видел, как его командир орудия, сгорбившись, припал к резиновому наконечнику окуляра, ухватился за ручку поворотного механизма. Почти в ту же минуту что-то сильно толкнуло лейтенанта, в башне раздался громкий треск. Башенный со стоном ужаса и боли схватился за плечо. Яковенко заметил, что оно дымилось!

Боевое отделение сразу наполнила страшная жара. Яковенко увидел перед собой искрящиеся, слепяще белые язычки пламени, жадно побежавшие по стенке башни. Он увидел, что отовсюду, сбоку, снизу, спереди, на него клубами движется, сжимает его черный дым, почувствовал, что дым рвется в рот, забивает дыхание, душит.

«Термитный снаряд!..»

Яковенко рванулся, чтобы встать на сиденье, выбраться из башни,— люк был открыт,— но от дыма, от жары по его телу разлилась такая непреодолимая слабость, что оно стало бессильным. Прикрыв ладонью лицо, которое невыносимо жгло огнем, он схватился другой рукой за край люка и нечелове-

ческим усилием стал подниматься вверх. Он снял руку с лица, он уже будто не чувствовал боли от ожога, все мысли, все силы, все было сосредоточено на одном — подняться в люк, вырваться из этого жара, из этого дыма, из невыносимого мучения. Он поднялся и, вероятно, выбрался бы. Но, кроме всего, у него, оказалось, была перебита нога, и эта рана обессиливала его совершенно. Уже почти выбравшись из люка, он, скрипя зубами от неудачи, бессилия, сполз вниз.

Пробуя снова подняться, он заметил, что на нем задымилась и вспыхнула одежда.

Собирая остатки сил, не теряя последней надежды, упорно держась за нее, полный жажды жизни, он никак не хотел сдаться, примириться с непоправимой бедой.

«Мишка, колосочек! .. Ганнуся!» — вспомнилось ему, вспомнилось таким желанным, таким дорогим, что он застонал от боли, от отчаяния. «Мишук, Ганнуся!» — словно звал он немыми, обожженными губами, вставал, душой рвался к ним, то с надеждой, то с отчаянием.

Ах, какими дорогими, какими близкими были они в этот момент, сын и жена, как рвалось к ним сердце. И раз, и второй тянулся Яковенко к люку, пробовал выбраться из дымной горечи, из духоты, все не верил, что это непоправимое, конец,— тянулся и каждый раз бессильно сползал вниз.

От жары, от слабости, от чувства беспомощности в голове у него туманилось и путалось. Туман был нестерпимо горячим, таким жгучим, что мысли в нем плавились, гибли,— только горячий туман наполнял непослушную, невыносимо тяжелую голову. Яковенко терял сознание.

В мгновенном проблеске сознания в воображении его снова возникло желанное: Мишка обнимает за шею! .. Как он тянет вниз! .. Так тяжело, что не удержаться! .. Потом на мгновение в глазах вспыхнула увиденная издали лента реки, показавшаяся сейчас красной... Снова мелькнуло лицо Мишки... Это было последним.

Яковенко, лежавший грудью на сиденье, уже ничего не сознавая, корчась от жары, покачнулся и упал в огонь.

Спастись удалось только Рыбакову. Поняв, что случилось, он быстро вынырнул из люка и сгоряча пробежал метров сто к речке. Здесь, за что-то зацепившись, Рыбаков споткнулся и упал.

Лицо его и особенно руки были обожжены, одежда на нем тлела, но Рыбаков не замечал этого,— он смотрел, как из башни, крутясь, валил черный дым.

Около машины никого не было видно. Выскочил кто-нибудь еще или только он один?

Может, там надо помочь кому-нибудь? Рыбаков напряженно поднялся на локтях. Нет, тому, кто не выскочил, теперь не поможешь...

Земля содрогнулась от сильного взрыва. В воздух полетели тяжелые куски взорванной брони, один из которых упал недалеко от Рыбакова. Это взорвались снаряды — в машине был еще почти не израсходованный боекомплект.

Вверх поднялось высокое белое облако.

Взорвались баки с горючим.

Рыбаков в отчаянии оглянулся и увидел, как по захваченному мосту мчится танк. Еще один танк и человек шесть автоматчиков были уже на этом берегу. Танк бил из пушки и пулеметов в сторону берез, растущих неподалеку, за прибрежными кустами. Несколько «тридцатьчетверок» поддерживали его с того берега. Рыбаков услышал, как низко свистят их болванки и осколочные... Это словно пробудило Рыбакова.

Он снова повернулся к машине, над которой поднимался дым, и как-то странно, тоненько, по-детски захлюпал.

Так быстро, внезапно...

5

Лейтенанта Яковенко и других танкистов, погибших в бою за мост, хоронили на берегу речки, недалеко от места гибели. Здесь, у переправы, полтора часа шел горячий бой. Наконец гитлеровцы все же вынуждены были отойти, уступить важный плацдарм.

На похороны убитых собрались товарищи: рота танкистов и бойцы мотострелкового батальона. Остальные танкисты и автоматчики были уже впереди — нельзя было задерживаться.

Здесь все еще жили боем. Некоторые словно не верили, что тех, с кем они пришли прощаться, действительно нет. Как же нет, если только часа два назад они обсуждали с нами задачу боя, шутили? Нет, наверное, какая-нибудь ошибка! Может, перепутали, может, погиб кто-нибудь другой?

На краю широкой ямы горками лоснилась свежая, еще влажная земля. Лежали рядом на брезенте, на разостланных шинелях танкисты и автоматчики. На дощечке, прибитой к еще не вкопанному столбику, написаны были их фамилии, звания — сержант Кореньков, механик-водитель Тихомиров. Вместе шли в боях, вместе лежат перед последней дорогой...

Яковенко и трех человек из его экипажа не было. Остался в живых только обгоревший Рыбаков, которого еще во время боя повезли в госпиталь...

Неподалеку, вперемежку с упряжками, тянущими тяжелые минометы, проходила пехота,— оттуда мрачно смотрели на

взорванную машину. Поток войск на другой стороне все густел...

Молчаливо и понуро стоял лес, видевший взрыв пламени над танком Яковенко. Не шумели, не трепетали листьями деревья, не скрипели ветви,— все смолкло. Они молчали не потому, что ветер затих, они, казалось, тоже скорбели над могилами.

Над свежей ямой — три склоненные тихие березы,— склонились, словно под тяжестью утраты.

Алексей шагнул на горку земли и окинул взглядом мрачно сосредоточенные лица танкистов и мотострелков. Губы, как всегда, когда он волновался, слегка вздрагивали, лицо казалось более худым, больше выдавались скулы. Шлем он держал в руке.

— Мы с ними были вместе... Вместе прожили много дней... Прошли по многим дорогам... — От волнения говорить было трудно, мысли путались. Он какое-то время тяжело молчал. Заявил убежденно: — Но они всегда будут с нами. Мы их никогда не забудем!.. И мы должны позаботиться об их детях и матерях!.. И женах, конечно!

Взгляд Алексея затуманился. Вспомнилась недавняя шутка Яковенко: «За мене бабуся дома молится каждый вечер, поэтому и пули не берут». Алексей проглотил застрявший в горле комок, задумался хмуро.

— Вот — только что были с нами, живые. Теперь — только горсточка пепла. Все, что осталось... А могли бы жить... Если бы остались на том берегу. Переждали... Но они не стали ждать. Понимали, что нельзя терять момент... И они пошли на риск, рванули сюда. И — погибли, сгорели... Но захватили мост. Захватили берег. Плацдарм... Погибли, но сохранили жизнь многих из нас... Приблизили всех нас к победе... Они погибли, но погибли, исполнив долг. Совершив подвиг. Погибли как герои... — Он объявил решительно: — Я буду ходатайствовать, чтоб всем им присвоили звание Героя Советского Союза...

Он снова помолчал. Чувствуя, что надо еще что-то сказать, важное, зовущее, закончить должным образом. И он сказал то, что говорили все другие, вкладывая, как и другие, в это личное, страстное:

— За Родину! Смерть немецким оккупантам!

Вслед за Алексеем на свежий холм медленно поднялся Быстров. Он минуту смотрел под ноги, на песок, перекатывал желваки тяжелых челюстей.

— Отсюда мы дальше пойдем без них. Они останутся здесь, на этом берегу, навсегда. Им не довелось дойти до того поганого фашистского гнезда, из которого пришла к нам война... Они хотели отомстить Гитлеру и всем гитлерам, но им не удалось дожить до победы... Они не дошли.— В голосе Быстрова послы-

шалось упорство: — Но я хочу сказать, что мы исполним их желание. Мы — дойдем!

Быстров хотел еще что-то сказать, но не нашел, видно, слов, вскинул сжатый кулак и угрожающе потряс им в сторону врага...

Убитых завернули в шинели, в брезент и начали по одному опускать в землю.

Солдаты, офицеры подняли вверх автоматы и пистолеты — прозвучал прощальный салют.

В могилу горсть за горстью посыпался влажный песок.

— Гвардии лейтенант Колышев!

Колышев быстро подошел к Алексею и, козырнув, вопросительно взглянул на комбата, ожидая приказа.

«Как он повзрослел!» — впервые заметил Алексей.

— Командир взвода Яковенко погиб... Пока пришлют нового командира, приказываю вам принять... — произнес Алексей и вдруг запнулся.

Ему внезапно вспомнилось зеленое поле на Смоленщине, голубой майский день, когда на тактических занятиях этот розовощекий юноша впервые «заменил» Яковенко. «Какое жестокое совпадение!»

Кто тогда мог знать, что так случится! Алексея вдруг обожгла жалость. Чуть не расплакался, едва сдержал себя.

— Будете временно за командира взвода...

Колышев печально ответил:

— Есть!

6

Могильный холм исчез за поворотом дороги. Над ним теперь склонялись в горе, печалились только тихие березы.

Вот и Яковенко не стало. Сколько товарищей похоронил Алексей за войну! За снежным Доном, под Курском, на Смоленщине. И здесь, на родной земле, есть могилы друзей...

Он вспомнил, как сам едва не погиб вчера,— как внезапно вынырнул из-за крыши наглый «мессершмитт», как вдруг сверкнуло, оглушительно ударило, бросило его на землю.

Опрокинутый на спину, оглушенный Алексей чувствовал, что на него падают комья земли.

Он попытался подняться. С «тридцатьчетверки» соскочил Быстров, встревоженно подбежал к нему:

— Что с вами?

— Кажется, ничего... — Алексей отвел руку сержанта, хотевшего его поддержать, и, качаясь, шагнул к машине. Возле

катков — бросилось в глаза — лежала срезанная осколком березовая ветка...

Отгоняя еще острые, давящие воспоминания о вчерашнем случае, Алексей сказал сидевшему рядом сержанту:

— Ты знаешь, Быстров, что это за земля перед нами?..

Быстров взглянул на Алексея, потом туда, куда смотрел старший лейтенант. Невдалеке начинался небольшой, обыкновенный лесок, к которому подступало такое же обыкновенное поле. У опушки было несколько брошенных немцами автомашин.

— Вот думаю — сколько крови пролито за нее? За нашу землю... За эту дорогу, за поле, за березу...

Быстров почувствовал, что комбат необычно возбужден. Из-за Яковенко, видно, переживает, подумал он.

— Что там говорить о кутузовских солдатах, это кажется далеким прошлым. Двадцать четыре года назад здесь сражались наши отцы с белополяками. Мой отец воевал тут с ними! А еще раньше — с кайзеровцами... И вот теперь — три года нашей войны!..

— Расплодилось всякой погани! — мрачно высказался Быстров.— Все время лезут, как саранча!..

— И кого только сюда не приносило: Карл-швед и тот было приперся,— сказал Алексей.

— Ну ничего. Погани такой теперь, наверно, поубавится. Думаю, что здесь кровь больше не будет литься. Отучим ходить сюда...

— Надо бы отучить.

Алексей с каким-то особым чувством любви и сострадания смотрел в это время на пыльную дорогу, на одичавшие поля, только изредка радующие глаз полосками спеющей ржи, на холмы с пологими склонами, перелески, затянутые синеватой дымкой, которые, сменяя друг друга, проходили по сторонам дороги.

Беларусь ты моя, Беларусь!..

ГЛАВА II

I

Навстречу мчало шоссе.

Оно часто было забито колоннами машин, повозками, и тогда переднему бронетранспортеру приходилось сигналить, требовать, чтобы расчистили дорогу. Так было все время — то путь свободен, и вездеход, набирая скорость, летит вперед, то

снова на дороге возникнет затор, и приходится пробиваться, ползти со скоростью пешехода.

Едва обогнали несколько тяжелых грузовиков и цистерн, как бронетранспортер, идущий впереди, подкатив к группе собравшихся на дороге машин, совсем остановился.

— Узнай, почему встали? — недовольно повернулся Черняховский к Комарову.

Порученец выскочил из машины и, придерживая планшет, с видом решительным и строгим, побежал к месту задержки. Черняховский следил за ним нетерпеливым взглядом.

Вскоре Комаров, опять бегом, возвратился и доложил, что дорогу перекрывает группа немцев.

— Большая?

— Нет, по предварительным данным, небольшая, товарищ генерал. Но пока трудно сказать точно.

— Вышли два бронетранспортера, разведай, мобилизуй в помощь солдат с грузовиков. Немедленно расчистить дорогу!

— Есть, товарищ командующий,— привычно козырнул Комаров; он собрался было бежать, но остановился в раздумье.— А вы пока... вернитесь, товарищ командующий...

— Не задерживайся!

Комаров снова бросился к бронетранспортеру. Выйдя из машины, Черняховский видел, как две приземистые зеленые машины с солдатами начали пробиваться через затор.

Вскоре с Черняховским поравнялись три грузовика с противотанковыми пушечками на прицепах, и он приказал им тоже идти вперед. Вслушиваясь в звуки боя, среди которых он узнавал знакомую пулеметную скороговорку бронетранспортеров, Черняховский подавлял в себе привычное стремление броситься вслед за ушедшими, взяться командовать самому; он помнил: не его это бой, он не имел на этот бой никакого права.

Ему оставалось одно: стоять с генералом Макаровым, ждать, когда впереди утихнет и можно будет двигаться дальше. Едва стрельба прекратилась, он сел в машину и приказал ехать.

Комаров, которого они подобрали со встречного бронетранспортера, сидя в машине командующего, все время настороженно озирался по сторонам,— беспокоился, как бы немцы не появились снова.

Но до ВПУ добрались без новых приключений. Село, в котором приготовили домик для командующего, показалось непривычно тихим и спокойным; повсюду как бы мирно зеленели сады, клены, липы. Дом стоял вблизи от окраины, в окно были видны вперемежку полосы картофеля, хлебов, через поле шла дорога.

Двор и крыльцо были чисто подметены,

— Связь налажена? — спросил Черняховский у молодого лейтенанта, выбежавшего навстречу.

Лейтенант радостно, молодцевато вытянулся:

— Так точно, налажена, товарищ генерал!

— Хорошо.— Черняховский, шагнув на крыльцо, на секунду задержался, попросил: — Прикажите принести холодной воды. Во двор. Умыться.

В первой из комнат, справа, стояла широкая русская печь с отбитой на углу штукатуркой. Черняховский, не останавливаясь, вошел в другую комнату, которая должна была на время стать его рабочим пристанищем, быстро огляделся: чисто, светло, на окнах цветы в глиняных горшках.

Сняв телефонную трубку, он вызвал генерала Иголкина, попросил прийти через десять минут. Несколько раз прошелся по комнате, пошевелил плечами, стараясь размяться после долгой езды. Потом снова вернулся во двор. Снял китель, отдал лейтенанту подержать, в майке, расставив ноги, чтобы не забрызгать сапоги, наклонился, протянул руки к бачку, который держал ординарец. С наслаждением почувствовал холодную свежесть воды, полные пригоршни плеснул на запыленное лицо. Мылил руки, тер лицо, шею, кисти рук, охотно, яростно, пока не ощутил во всем бодрящую чистоту. Легкий, веселый, почистил от пыли сапоги, синие, заметно посеревшие за дорогу брюки. Взял вычищенный лейтенантом китель.

В том, как стремились ему помочь, как смотрели на все, что он делал, чувствовалось, что его не просто уважают, а любят: героя, командующего, который сделал то, чего никто до него не смог. Черняховский же держался так, словно не замечал этого, словно все это было обычным. Сразу, едва только надел китель, на ходу застегиваясь, пошел к крыльцу.

Начальника оперативного управления он встретил аккуратно одетый, собранный, сдержанный. Чуткий, хорошо знавший командующего, генерал Иголкин мгновенно заметил за его будто бы обычной деловитостью сдержанную веселость, охотно откликнулся на нее. Как не порадоваться, если есть причина: такое отличное завершение двух важных операций. Он весело развернул принесенную карту,— с самыми новыми данными, кратко, с той точностью, которую, как он знал, любил командующий, принялся докладывать обстановку.

Черняховский стоял за столом, склонялся над разостланной оперативной картой, делал свои отметки, и генерал Иголкин время от времени останавливался. Он видел, как командующий обозначил карандашом, где находится конно-механизированная группа Осликовского,— группа подходила к Березине, в районе озера Палик. Отмечая расположение группы, Черняховский аккуратно начертил ромб: обозначил танковый корпус Обухова, входящий в группу Осликовского. Заметно продвинулись

вперед и части всей 5-й армии генерала Крылова,— передовые отряды ее также уже приближались к Березине. Относительно мало пробились вперед войска на юг от магистрали, где наступал 2-й гвардейский танковый корпус генерала Бурдейного. Корпус был еще далеко от назначенного места переправы через Березину — около деревни Чернявка. Особенно замедлилось наступление в 5-й гвардейской армии: 29-й танковый корпус, кроме упорного сопротивления врага, задерживали болота и бездорожье, 3-й гвардейский танковый корпус вел упорные бои в районе магистрали...

Из того, что сообщил в этот день начальник оперативного управления, больше всего взволновала Черняховского сводка об общих итогах операций под Оршей и Витебском, с пристальным вниманием всматривался он в переданный генералом листок. Листок был весь заполнен цифрами, которые говорили о многом: цифры убитых, взятых в плен, уничтоженной и захваченной техники врага. Черняховский с трудом оторвал взгляд от листка, напомнил, чтобы не опоздали с суточной сводкой в Москву, требовательно глядя генералу в глаза, сказал:

— Петр Иванович, наша самая важная задача сейчас — в том, чтобы части, участвовавшие в боях под Оршей и Витебском, как можно быстрее подтягивались к войскам, ведущим наступление. Я прошу, чтобы это знали все, кому надо об этом позаботиться.

Иголкин ответил, что он понимает важность задачи и будет делать все от него зависящее.

Когда он вышел, Черняховский позвонил начальнику штаба генералу Покровскому, попросил уточнить и проверить сводки о результатах боев под Оршей и под Витебском, посоветовался о ближайших делах. Вызвал некоторых начальников управлений, дал распоряжения на завтра. Связался с Людниковым, Галицким и Глаголевым, поздравил, поблагодарил за большие победы, которых добились войска. Попросил быстрее подготовить и прислать материалы к наградам. Сразу же после этого спросил, как проходит передислокация войск на новые рубежи, потребовал вести войска самым форсированным маршем.

Увлеченный новыми, требовательными заботами, он не заметил, как надвинулись сумерки. Мимо внимания его, словно далекое, прошло, как вспыхнул наверху и на столе свет, как неслышный Комаров опустил на окнах черные полотна штор. Остановил бег забот поздно вечером, собрался послушать радио, но взглянул на часы и увидел: опоздал. Привычно повел глазами на угол стола: Комаров и на этот раз не забыл — сводка Информбюро белела на обычном месте. Он взял листки, внимательно углубился в написанное: войска 1-го Белорусско-

го вышли к Березине на юг от Бобруйска, форсировали Птичь и освободили Глусск... Вражеская оборона прорвана на глубину до 40 километров... Войска вышли на оперативный простор... Он поискал по карте Глусск: далеко за Березиной, за Бобруйском,— почувствовал словно призыв не топтаться, поспешать вперед: Рокоссовский вышел на простор, движется на Минск, на Барановичи. Когда взглянул на Бобруйск, мелькнуло в памяти доброе, давнее — в Бобруйске была его курсантская стажировка. Там он впервые учился форсировать Березину...

2

Что бы он ни делал, за всем чувствовал жизнь своего фронта. Многообразная, беспокойная, она так или иначе отзывалась в нем, жила в неразрывном переплетении забот, желаний, стремлений. Она заполняла его всего. Она была его жизнью. Мысли его все время то устремлялись к Крылову, то летели к Бурдейному, то были с Ротмистровым, то вели разговор с Галицким и Глаголевым. Мысли об Осликовском и Крылове волновали нетерпеливым ожиданием — близко Березина, вот-вот подойдут. Бурдейный вызывал сложные чувства: и уважение за сделанное, за то, что делал сейчас, и тревожную озабоченность. Корпус решал нелегкие задачи: часть его танков — 25-я гвардейская танковая бригада,— после того как корпус прорвался с севера на магистраль, повернула по магистрали на восток и с востока повела наступление на Оршу. Другим бригадам корпуса приходилось не только пробиваться на запад, к Березине, но и отражать атаки немецких войск, что наседали сзади, сбоку, отступая под натиском армий Глаголева и 2-го Белорусского фронта. Черняховского беспокоило, что корпус так медленно приближался к намеченной Чернявке на Березине.

Все последние дни очень тревожила 5-я гвардейская танковая армия. 29-й корпус буксовал на болотах, на бездорожье, а 3-й гвардейский корпус, идущий в полосе магистрали, все время вел упорные бои. Немцы здесь цеплялись за каждый рубеж. Выбитые из Толочина, стремились сдержать наступление танков Ротмистрова возле станции Бобр, на реке Бобр, сейчас упорно не хотели отдавать Крупки. Маленький районный городок Крупки был, видимо, их важным форпостом, прикрывавшим подступ к Борисову, к Березине. Черняховского в эти дни постоянно бередили мысли о Березине. Осененная лозами да сосняками, тихая река, что когда-то трогательно вспоминалась в сиянии незабываемых солнечных дней в Бобруйске, давно уже и неизменно виделась им и в другом облике.

как рубеж обороны противника, который надо будет, с большими или меньшими усилиями, преодолеть. Еще до начала наступления Черняховский знал, что на Березине у немцев второй рубеж обороны; теперь этот рубеж все приближался, все отчетливее вырисовывался, все более тревожил. Извилистая, с болотистым восточным берегом, очень неудобная для переправ, река перерезала всю ширину фронта впереди. Все дороги, по которым шли войска фронта, упирались в реку; за ней возвышался очень удобный для обороны правый берег. Берег, на котором немцы надеялись удержаться...

Среди все новых и вместе с тем привычных забот, беспрестанно приходивших, требовавших, неизменно беспокоило его ощущение того, что в тылах передовых войск, среди войск второго эшелона, движутся группы немцев. Маленькие и большие, разрозненные и организованные, они делали фронт похожим на слоеный пирог: немцы, наши войска, немцы, снова наши. Особенно много немцев было к югу от магистрали, между магистралью и войсками 1-го Белорусского, клин которого вытягивался под Бобруйск, за Бобруйск. Здесь были мощные скопления вражеских войск — недобитая, еще опасная 4-я армия, отрезанная от 3-й танковой армии. Много их было у южной границы его фронта, в полосе его фронта, каждый момент такая сила могла обрушиться на его части с фланга, с тыла, натворить беды. Хочешь не хочешь, а надо было следить за ними, посматривать по сторонам. Беспокойство это, однако, не только не сдерживало его — он и в сорок первом не терялся в подобных случаях,— но будто еще подгоняло: он знал, самое лучшее средство сломить их полностью — наступление, стремительное наступление вперед. Туда, где валы двух фронтов сойдутся вместе, закроют путь на запад вражеским обломкам. Туда, куда они подойдут еще более ослабевшими...

В этот день он был полон радости. Закончена битва под Оршей. Орша взята. Утихли бои под Островно. Пять немецких дивизий, окруженных под Витебском, прекратили существование. В тылы страны тянутся толпы пленных. В плену закончилась военная карьера опытного гитлеровского генерала Гольвитцера. Упорно дрались гитлеровцы, чтобы вырваться. Но не вырвались. Операция, стоившая стольких волнений и сил, завершена. И завершена как нельзя лучше.

Обе операции до сегодняшнего дня, до их окончания, беспокоили Черняховского не только тем, что за ними надо было следить, командовать ими, но и пониманием, как дорого они обходятся всему фронту. Как нужны скованные здесь силы войскам, идущим вперед. Поэтому Черняховский с нетерпением ждал, когда операции закончатся. И теперь, когда они закончились, чувствовал, будто разорвал тяжелые путы, сдерживающие движение.

Он словно в себе самом чувствовал эти освобожденные силы трех армий — 39-й, 11-й гвардейской, 31-й. Эти мощные силы вот-вот должны были влиться в войска, движущиеся к Березине, за нее. Правда, к общему ощущению радости и облегчения примешивалось трезвое недовольство: пехота подойдет не так быстро, как надо было бы. Не впервые он жалел, что стрелковые части не имеют требуемой маневренности. Тащатся в пеших колоннах. Столько приходится из-за этого терять.

3

Следующий день начался с того, что, едва он обулся, прошелся по комнате, явился Комаров, торжественно поздравил с днем рождения. Важно вручил новые погоны — с четырьмя звездочками: два дня назад Черняховскому присвоили звание генерала армии.

Черняховский по привычке сделал несколько гимнастических упражнений, отправился во двор, прогулялся: голова после недоспанной ночи побаливала. Он постоял на крыльце, жмурясь от яркого света, потер ладонью лоб, шагнул вниз. Задумчиво похаживая, он заметил свежий след автомашины, вспомнил, что сквозь сон слышал во дворе шум мотора. Куда-то уехала машина. Уехала и до сих пор не вернулась.

Он попросил ординарца, возле хаты наблюдавшего за ним, позвать подполковника Комарова. Комаров тотчас же выбежал, веселый, готовый к любому приказу.

— Алексей Иванович, где машина?

Порученец, как заметил Черняховский, не ожидал этого. Замялся, но скрыл беспокойство, бодро отрапортовал:

— В разъезде, товарищ командующий.

— Куда послали?

Комаров секунду молчал. Снова скрыл беспокойство.

— Так что — в Москву, товарищ командующий.

— В Москву? Зачем?

— Так что... — Порученец, видимо, думал, как лучше ответить.— Детишкам вашим кое-что, товарищ командующий... Из трофеев...

— Что отправили?

— Двадцать банок консервов, товарищ командующий. И десять банок джема... Детишкам. Из трофеев,— ухватился Комаров за спасительную зацепку.— Не из военторга.

— Ну, заладил— из трофеев! — поморщился Черняховский. Строго, с официальностью, не обещавшей ничего хорошего, потребовал: — Почему без моего разрешения?

— Так что — не хотел беспокоить, товарищ командующий. Из-за такой мелочи...

Черняховский видел: порученец не сводит глаз, просит понять. Не судить строго. Черняховский, однако, был настроен не снисходительно.

— Вот что, товарищ Комаров,— сказал он после тяжелого молчания. Твердо, непреклонно: — Верните машину. Немедленно.

Комаров снова с готовностью вытянулся, но не сдвинулся с места.

— Виноват, товарищ командующий...

— Что еще?

— Она далеко, товарищ командующий...

Черняховский на миг задумался.

— Послать «ПО-2». Догнать и вернуть.

Дав знать, что разговор окончен, он резко повернулся, пошел прочь от порученца.

Почти тотчас он увидел, что во двор входит начальник разведотдела фронта, генерал Алешин. Входит так стремительно и так решительно, что Черняховский сразу понял: случилось что-то важное.

— Товарищ командующий, важные новости! — едва успев поздороваться, торопливо доложил генерал.

Тон голоса генерала был возбужденным, обеспокоенным, и Черняховский почувствовал: произошло неприятное и требующее неотложных мер. Он приказал:

— Зайдем.

Сразу быстро двинулся к крыльцу. Как только вошли в комнату, Черняховский вопросительно повернулся к генералу. Начальник разведотдела, собранный, деловитый, ответил:

— Товарищ командующий, разведка обнаружила: через Борисов в направлении на восток движется сильная танковая колонна противника.

Черняховский нетерпеливо взглянул:

— Что за колонна?

— По нашим предположениям, 5-я танковая дивизия. Из-под Ковеля.

Черняховский склонился над оперативной картой. Взгляд строгих, внимательных глаз сразу нашел разрезанный пополам извилистой лентой реки Борисов, пробежал по черточкам Минского шоссе, через горбинку возле неизвестной Лошницы, и к известным Крупкам, к синей ленте речки Бобр. Пока добежал взглядом, высчитал расстояние — около сорока километров.

Расстояние для танков по асфальту шоссе — просто ничтожное. Конечно, дивизии противника понадобится время, чтобы подтянуться, развернуться, подготовиться. И все же опасность, которую несет дивизия, — весьма близка: еще немного — и она врежется в части Ротмистрова. Черняховский мгновенно определил силу внезапно возникшей опасности. Он знал, что

дивизия ничего в целом не изменит, как не смогли изменить те другие, которые противник бросал прежде под Оршу,— и все-таки он не настраивал себя на беспечность. Будучи уверен в общем успехе сражения с дивизией, он вместе с тем знал, что дивизия может натворить немало беды, поэтому видел свой неотложный долг в том, чтобы немедля подготовиться и надлежащим образом встретить немецкие танки.

Быстро, стремительно сложился план того, что необходимо сделать сейчас же. Как и прежде, когда вдруг возникала опасность, Черняховский в эти минуты действовал энергично, расчетливо, целеустремленно. Генерал Алешин, о котором Черняховский словно вдруг забыл, видел, каким твердым шагом подошел командующий к столу, как властно взял трубку телефона, приказал связать его с маршалом Ротмистровым. Услышав голос командующего 5-й гвардейской танковой армией, кратко, сдержанно, тоном, в котором чувствовалась сильная воля, сказал:

— Павел Алексеевич, примите срочные меры. Наша разведка обнаружила: через Борисов в восточном направлении идет танковая дивизия противника.

Кратким, четким был и его разговор с командующим воздушной армией, которому он приказал тотчас же направить навстречу танковой дивизии бомбардировочную и штурмовую авиацию. За командующим воздушной армией Черняховский вызвал командующего артиллерией фронта, но генерала Барсукова в управлении не оказалось,— Черняховский отдал приказ заместителю командующего: послать навстречу противнику противотанковый артиллерийский полк, самоходные пушки, автомашины с саперами. За считанные минуты он связался, отдал распоряжения генералу Родину, командующему бронетанковыми войсками, генералу Баранову, начальнику инженерных войск фронта. Позвонил дежурному офицеру при Маршале Советского Союза Василевском...

Под конец он приказал генералу Иголкину следить и докладывать, как будет разворачиваться бой с дивизией. Потом, успокоившись, с видом человека, сделавшего неотложное, важное, повернулся к генералу Алешину.

4

Разговор с Алешиным был недолгим. Вошел подполковник Комаров и сообщил, что явился офицер связи из Ставки. Черняховский закончил разговор с генералом, вышел навстречу невысокому черноволосому майору, шагнувшему в комнату.

Майор вручил пакет, на котором ярко выделялись бордово-коричневые сургучные печати.

Черняховский расписался в получении пакета, спросил майора, как прошел полет, что нового в Москве, долго ли пробудет в штабе фронта. Майор сказал, что должен сейчас же лететь назад; Черняховский вызвал Комарова, приказал позаботиться, чтобы гостя накормили, проводить на аэродром.

Когда майор вышел, Черняховский вернулся за стол, с нетерпением разорвал прошивку на конверте, аккуратно разрезал край пакета. Предчувствие не обмануло его: пакет был чрезвычайно важным — директива Ставки на дальнейшее развертывание операции. Он с пристальным вниманием склонился над листом бумаги с четко отпечатанными строками. Строки эти обязывали его 3-й Белорусский фронт с ходу форсировать Березину и вести наступление: частями левой группы войск — на Минск, а правым крылом — на Молодечно. Директива приказывала занять Минск не позже 7—8 июля. На Минск направлялись войска всех трех Белорусских фронтов, причем основная роль во взятии Минска отводилась 2-му Белорусскому фронту, 3-й же Белорусский, как и 1-й Белорусский, взаимодействуя со 2-м, обязаны были нанести, по существу, вспомогательные удары. Заняв Минск, три фронта должны были завершить окружение 4-й армии противника. Ставка требовала также, чтобы войска правого крыла 3-го Белорусского фронта вместе с войсками 1-го Прибалтийского и частью войск 1-го Белорусского стремительно двигались на запад и уничтожали резервы противника, подходившие к фронту,— срывали попытки противника стабилизировать фронт.

Перечитав снова некоторые строки, Черняховский встал и возбужденно заходил по комнате. Его волновали противоречивые чувства. Он испытывал облегчение оттого, что теперь, когда есть директива, кончилось неведение, беспокоившее последние дни; теперь были ясные указания на дальнейшее наступление. Вместе с тем было в нем недовольство, что указания пришли лишь сейчас, когда войска вот-вот начнут форсировать реку. Вызывал размышления тот факт, что срок взятия Минска был назначен без точного учета реального положения; Черняховский был убежден, что реальное положение фронта, возможности войск, темп наступления дают основания взять Минск раньше.

Раздумья вызывало и то, что задача фронту снова ставилась на небольшую глубину, нельзя было заранее с надежной уверенностью позаботиться о дальнейшем обеспечении операции. Он рассуждал: почему вообще Ставка дает указания такими ограниченными в глубину директивами, сдерживающими командующих в планировании на будущее? Что будет дальше, какие задачи последуют после взятия Минска, окружения 4-й армии немцев — его волновало неведение. В этом неведении беспокоило его не очень приятное предчувствие; может

случиться, что после Минска 2-й Белорусский фронт отодвинет его фронт на север, с основного направления.

Но эти размышления отступили перед требовательной заботой: надо было сразу же, немедленно начать делать все необходимое, чтобы выполнить распоряжения Ставки. Работа ждала большая и важная, а времени — в обрез. Черняховский решительно отогнал зряшные мысли, твердым шагом подошел к телефону. Связался с членом Военного Совета фронта генералом Макаровым, потом с начальником штаба фронта генералом Покровским. Попросил обоих сейчас же подойти к нему.

Генералы пришли почти одновременно и очень скоро. Черняховский пригласил их присесть к столу, вынул из стола и положил перед ними директиву Ставки. Сам пошел в соседнюю комнату, приказал Комарову никого не впускать и никого не связывать с ним по телефону. Беспокоить только в случае чрезвычайной необходимости. Потом вернулся в свою комнату, но не пошел за стол, а встал поодаль. Оттуда, размышляя о своем, поглядывал, как генералы читают, невольно пробовал угадать, о чем они думают. Генерал Макаров читал, налегая грудью на руки, сложенные на столе, втянув шею, весь, казалось, отдаваясь чтению, полный стремления все постигнуть, дойти до самых глубин. В добром, полноватом, с гладко зачесанными назад волосами Макарове было что-то юношеское, курсантское. Генерал Покровский с голой, блестящей головой, суховатый, лишь чуть сутулился, смотрел остро и заметно критически. Узкие, тонкие в уголках губы собрались в морщинки, лицо выражало строгую проницательность.

Когда они кончили читать, Черняховский зашел за стол, сел, пододвинул к себе листы директивы. Взглянул на одного, другого, деловито спросил:

— Какие есть мнения?

Наступила минута молчания. Макаров, теперь сидевший прямо, пошевелился, искоса повел добродушным взглядом на начальника штаба. Шея, повернутая в тесном воротнике, покраснела.

— Первое мнение таково,— заговорил он снисходительно, — что времени на подготовку — с гулькин нос. Что штабу,— он снова немного повернул шею, искоса взглянул на генерала Покровского,— надо сразу закатывать рукава. И работать, работать...

— Да, времени мало,— сдержанно согласился начальник штаба. Черняховский уловил в его голосе недовольство.

— Второе мнение таково,— снова с той же снисходительностью заговорил после минутного молчания генерал Макаров,— что, кажется, надо хорошо поломать голову, чтобы обдумать, как организовать взаимодействие со Вторым Белорусским. Который настолько отстает...

Он смотрел на Черняховского так, словно ждал его согласия. Черняховский сдержанно кивнул: это — правильно.

— По-моему, надо также подумать о том, как обеспечить левый фланг фронта. При таком положении. Отставании соседа слева...

Черняховский согласно кивнул. Он перевел внимательный взгляд на начальника штаба: заговорил генерал Покровский.

— У фронта на определенную глубину,— Покровский говорил выразительно, ровно, будто докладывал,— на мой взгляд, есть два наиболее важных и ответственных этапа. Первый — форсирование Березины и взятие Борисова. Второй — взятие Минска и завершение окружения 4-й армии противника. Я полагаю, что при разработке операции надо обратить особое внимание на эти две задачи. И соответственно нацелить на это командование войск. Форсирование реки на первом этапе, по-моему, имеет особое значение потому, что, как нам известно, Березина — рубеж, на котором противник надеется стабилизировать фронт. В этом плане противник, безусловно, придает особое значение Борисову, который, по существу, занимает ключевую позицию на магистрали. На решение этих двух задач, по моему мнению, и надо обратить особое внимание на первом этапе...

— Я согласен с Александром Петровичем,— поддержал Покровского Макаров.— Борисов будет самым крепким орешком перед Минском, и ему нужен хороший молоточек. Ударить изо всех сил, разбить и — выйти на Минск!..

— На втором этапе,— продолжал генерал Покровский,— особое значение имеют, конечно, взятие Минска и завершение окружения 4-й армии противника. Я полагаю, что для удара на Минск,— начальник штаба фронта взглянул на Черняховского, прямо в глаза, сказал убежденно,— надо использовать сильные подвижные группы, которые следует поддержать мощными силами пехоты и авиации... Особое внимание, как показывает опыт, необходимо обратить на задачу окружения 4-й армии. Судя по нынешнему положению, надо думать, что задача эта будет, очевидно, решаться в основном нашим фронтом вместе с Первым Белорусским... Во всяком случае, на первых порах,— благоразумно добавил он. Как бы подытожил: — Она требует выделения для нее крупных сил войск...

— Все это очень правильно,— шевельнулся Макаров. По тому, как он шевельнулся, как говорил, чувствовалось, его обеспокоила какая-то мысль.— Мне только кажется: глядя на левое крыло, как бы не забыть о правом,— намекнул он на войска правой группы.— Оно тоже достойно внимания.

Черняховский согласно кивнул на его слова. Он все время внимательно, с уважением слушал. Ни разу не перебил. У него было неизменное правило: давать другим возможность выска-

заться; давать всем чувствовать себя необходимыми участниками решения задач, включать всех в общую заботу.

— Я в целом согласен с мнениями и предложениями, которые вы высказали,— заговорил Черняховский, выслушав Макарова и Покровского.— Безусловно, особое значение надо придать форсированию Березины и взятию Борисова. И, на втором этапе, взятию Минска и окружению войск противника под Минском... Мне особенно важным и — трудным представляется второй этап... Прежде всего — окружение. Нам надо будет окружить и уничтожить очень большую группировку войск, причем окружить силами трех фронтов. Это требует от нас чрезвычайно тщательной подготовки, точного взаимодействия — в масштабе трех фронтов. Особенность и сложность этой операции еще и в том, что мы должны окружить группировку в ходе развития наступления, темп и силу которого нельзя снижать и ослаблять... Делая все, чтобы как следует завершить окружение, мы должны все время помнить, что главная наша задача — развивать наступление дальше... Заботиться о дальнейшем продвижении...

— Которое пока остается загадкой... —отметил Покровский.

Черняховский понял его намек, но не поддержал. Будто не услышал. Углубленный в большую заботу, он не хотел разговоров, которые могли бы увести от главного. И от которых нельзя было ожидать пользы.

— Я согласен также и с тем, что наша задача осложняется отставанием соседа слева...— собранно довершил он начатую мысль.— Необходимостью выделить часть сил для прикрытия левого фланга. Необходимостью иметь в этом районе резервы, на всякий случай...— Черняховский повернулся к начальнику штаба: — Все это, Александр Петрович, нам надо разработать с самым большим старанием, предусмотрительностью. С учетом возможных неожиданностей.

Ему, видимо, надоело сидеть, он встал. Минуту постоял задумчиво. Пробежал взглядом по разостланной на столе карте, заговорил снова, как бы вслух размышляя:

— Вместе с тем я считаю весьма важным замечание, которое сделал Василий Емельянович... Да, как ни важно то, что следует сделать в районе магистрали и Минска, мы ни в коем случае не имеем права недооценивать значение действий на правом крыле. Мы должны всемерно развивать наступление в направлении Вилейка — Красное — Молодечно.— Черняховский привычно очертил район на карте.— Успех здесь даст нам возможность выйти на шоссе и железную дорогу Минск — Вильнюс.— Карандаш снова бегло отметил линию на карте.— Выходом сюда мы перережем важнейшую коммуникацию противника, окажем большую помощь нашим войскам в районе

Минска. Но кроме того, что мы поможем войскам в районе Минска, мы — что не менее важно — выйдем на рубежи, необходимые для дальнейшего развития наступления... Значение этого успеха будет особенно очевидно, если принять во внимание, что войска Первого Белорусского стремятся к другой важной коммуникации противника — к шоссе и железной дороге Минск — Брест. Захват этих двух коммуникаций нашими фронтами поставит окруженные под Минском войска в ситуацию, в которой они окажутся без какой-либо поддержки извне. Таким образом, будут созданы условия для того, чтобы разгромить и уничтожить окруженные войска в самый короткий срок!

Рослый, стройный, со смоляной шевелюрой и вдумчивым взглядом проницательных глаз, в прекрасно подогнанном кителе, под которым ощущалась сильная, тренированная фигура, с Золотой Звездой на кителе, с отличной выправкой, он был в это время очень красив, мужественно красив, самый молодой командующий фронтом, молодой генерал армии. Уверенный, с властностью, достоинством во всей осанке, в тоне голоса, движениях, — тем достоинством, в котором были и сознание весомости одержанных побед, и ощущение славы, уже идущей по фронту,— он был теперь во многом непохож на того, каким его могли видеть на КНП под Оршей, в первые часы наступления. В давние, тягостные минуты, мучившие неопределенностью положения.

Он немного прошелся; стоя у окна, поодаль, бросил на генералов нетерпеливый взгляд. Чем-то взволнованный.

— Теперь я хотел бы сказать — о сроках. Мне кажется, мы можем сократить некоторые из них...— Увлеченно, решительно заявил: — Я считаю, что Минск мы можем взять... Максимально — до четвертого июля... Минимально — до конца второго.

Черняховский пытливо следил: что думают они, его боевые соратники?

Первым заговорил член Военного Совета:

— Каждый выигранный у врага день — это спасение для тысяч людей. И чем больше дней мы выиграем, тем больше жизней вырвем у этой нечисти... Это должно быть в сердце каждого солдата и командира... Вообще освобождение Минска будет иметь особое политическое значение. И надо эту операцию провести особенно организованно и в наикратчайший срок...

— Срок, безусловно, можно сократить, — согласился и сдержанный, осторожный в расчетах генерал Покровский. — Я думаю: наиболее реальный срок — четвертое-пятое июля.

— Хорошо, главное ясно: задача — реальная и необходимая. И ясно — срок надо сократить до минимума. Более определенно срок — уточним! — коротко закончил командующий.

Черняховский быстрым шагом подошел к столу. Наклонившись над ним, над картой, пригласил:

— Давайте посоветуемся о задачах войск. О конкретных исполнителях задач. — Он сразу, без паузы, обрисовал задачу 39-й армии генерала Людникова, которая после завершения разгрома витебской группировки подтягивалась к передним рубежам. Привычно водя карандашом, определил задачи 5-й армии генерала Крылова и конно-механизированной группы.— Особенно трудной, сложной задачей в ближайшее время, по всем признакам, будет, видимо, овладение Борисовом.— Карандаш Черняховского очертил значок города и тяжело задержался. — Я имею намерение поручить выполнение этой задачи 11-й гвардейской и 31-й армиям, во взаимодействии с 5-й гвардейской танковой армией...— Сразу, как только Черняховский кончил объяснять задачу — освобождение Борисова, — карандаш его перескочил вдоль ленты реки вниз.— 2-й гвардейский танковый корпус, форсировав Березину в районе Чернявки, частью сил содействует наступающим на Борисов войскам, основными силами движется с юга магистрали в направлении на Минск.— Карандаш командующего остановился на скоплении значков, обозначавшем Минск.— Задачу освобождения Минска я полагаю вместе с корпусом Бурдейного возложить на часть войск Ротмистрова и на армию Глаголева...

В том, как Черняховский говорил, не спеша, деловито, чувствовалось, что он все это обдумал не только в основных чертах, но и в деталях.

— Таковы мои соображения,— сказал он, закончив, и положил карандаш. Взгляд перешел на Макарова, на Покровского: — Какие будут мнения?

Генералы уже собрались уходить от командующего, когда в комнату торопливо, взволнованно вошел Иголкин.

— Радиограмма от Обухова, товарищ командующий! — сказал он, протягивая Черняховскому листок.— Только что получили. Обухов — за Березиной.

Черняховский взял радиограмму, быстро пробежал взглядом. Да, обуховцы — танковый корпус Обухова, наступавший в конно-механизированной группе Осликовского,— были уже по другую сторону Березины, вели бои за рекой. Переправились к северу от озера Палик, по мосту, сохраненному партизанами.

— Вот и перескочили! — сказал Черняховский, будто приглашая и остальных порадоваться.

Этому нельзя было не радоваться: с ходу перескочили такой рубеж. Пусть только в уголке, почти на правом фланге, но — перескочили. В радости, рожденной вестью об успехе

Обухова, была благодарная мысль о хороших помощниках — партизанах: уберегли мост, помогли!

Думал об этом уже не раз: отовсюду доходило до него — проводили части через болота, через чащи, в обход немцев, предупреждали о засадах, спасали мосты...

Радиограмма пошла по рукам генералов. Генерал-лейтенант Покровский, возвращая ее командующему, сказал будто с намеком:

— Можно считать: новая директива уже реализуется!..

5

Сразу после совещания с членами Военного Совета он вернулся к текущим делам. На стол легли принесенные Комаровым листы радиограмм, телеграммы, прорвались требовательные телефонные звонки. Он отобрал первым делом те донесения, которые рассказывали о немецкой танковой дивизии, идущей через Борисов. После первого донесения о том, что авиация нашла цель и начала штурмовать и бомбить танки противника, он с пристальным вниманием отметил, что противотанковый полк вышел в намеченный район и занимает позиции. Радиограмма из войск маршала Ротмистрова докладывала, что танки 5-й гвардейской армии заняли рубеж для встречного боя.

Донесения со многих участков сообщали, что и в полосе армии Крылова, и в полосе 29-го танкового корпуса армии Ротмистрова, и на юг от магистрали, где наступал 2-й гвардейский танковый корпус, шли тяжелые, упорные бои. Особенно упорно сопротивлялся противник в полосе магистрали, там, куда им на помощь спешила танковая дивизия. Ко всем волнениям и тревогам прибавилось недовольство: войска из-под Орши и Островно подтягивались далеко не в том темпе, которого требовала обстановка и который был необходим для надлежащего развертывания наступления.

Пересмотрев донесения, Черняховский повернулся к телефону, нетерпеливо попросил связать его с командующим 5-й армией генералом Крыловым. Пехота Крылова подходила к Березине в том же районе, где прорвались танки Обухова. Выслушав от Крылова доклад о положении в его войсках, Черняховский властным тоном приказал ускорить темп наступления — быстрее пробиться к реке и с ходу форсировать ее. Развивать наступление на западном берегу. Надо было, не теряя удобного момента, закрепить то, чего добились танкисты.

Командующий 5-й пообещал, что сделает все, чтобы армия как можно быстрее подошла к Березине и форсировала ее. Успех Обухова и надежда на Крылова волновали Черняховского предчувствием новой, еще большей удачи: если и дальше

пойдет хорошо, войска скоро могут прорваться на дорогу Минск — Вильнюс. Отрезать вражескую группировку в Минске от тылов — и с севера и с северо-запада...

Вскоре Черняховский созвал совещание командующих родов войск. Как и прежние, это совещание не прерывалось ни звонками, ни появлением командиров: Комаров твердо стоял на пути всех, кто хотел проникнуть в комнату командующего. Всех останавливало неизменное: командующий занят. За надежно закрытыми дверями Черняховский собранно, тщательно обсуждал, что следует сделать командующим и их родам войск для осуществления новой директивы. В этот час все его мысли были ограничены только этой заботой, другой словно и не могло быть. На время он как бы отделил себя от всего, чем жил фронт.

Это было не впервые: когда требовало дело, Черняховский на время ограничивал себя самым важным, неотложным; таким неотложным сейчас было то, что следовало сделать для исполнения новой директивы. Он помнил, что от того, как удастся выполнить требования директивы, фактически зависела вся завтрашняя жизнь его многочисленных войск. С момента, когда он прочитал директиву, в нем не исчезало беспокойное сознание того, что за считанные дни, часы надо было сделать очень многое. Сознание этого сейчас, по существу, руководило им: требовало от него особой собранности, энергии. И он действовал как мог собранно, энергично.

Весь день живая жизнь фронта снова и снова возвращала его к себе. Звонки телефонов, тексты радиограмм, телеграммы врывались в его кабинет, едва появлялась возможность заняться текущими делами. Как ни сдерживали натиск этих забот беспокойные мысли о будущем, Черняховский почти все время чувствовал зов живой, стремительной жизни войск. Что бы там ни предстояло завтра, он, командующий, обязан был непрестанно заниматься происходящим, и Черняховский старался не упускать из внимания ничего важного, стремился вовремя вмешиваться, поправлять, направлять, отдавал этому частицу себя.

Как близкое и важное, выслушал он донесение, что на магистрали начался бой с немецкими танками. И как потом ни был занят иными заботами, среди многого другого не упускал из виду того, как этот бой разворачивался. После ударов авиации, после короткого, но сильного артиллерийского налета, как ему доложили, 3-й гвардейский корпус армии Ротмистрова ринулся на передовой отряд дивизии и остановил его. В стремительном бою танкисты разгромили отряд, не только удержали позиции, но и пробились вперед. Черняховский был рад, когда узнал, что танки Ротмистрова наконец заняли Крупки, мощный узел обороны противника по пути на Борисов...

Несколько раз хорошими вестями радовал Крылов. Командующий армией выполнил обещание: армия вскоре достигла Березины и с боем начала переправляться через нее. За день пехота Крылова подошла к Березине на протяжении шестидесяти километров. Захватила плацдарм на другом, западном берегу реки...

В заботах о настоящем, о будущем, которое все приближалось, разворачивалось, становилось все более реальным, все крепче увлекало Черняховского, уходил этот нелегкий день. На поздний ужин командующего явился член Военного Совета Макаров; увидев Черняховского за столом с обычным ужином, удивленно поднял брови над выпуклыми глазами, развел руками.

— Судя по всему, именинник и вправду решил не отмечать свой день! — он намекнул на прежний разговор, когда Черняховский не разрешил даже напоминать о дне рождения.

— Так и решил именинник,— подтвердил сдержанно шутливо, серьезным тоном Черняховский.

Он пытливо взглянул на генерала, на мгновение задумался и решительно отложил вилку. Встал, подошел к кровати, вытащил из-под нее чемоданчик. С загадочно важным видом, посматривая на Макарова, достал бутылку коньяка, припрятанную на всякий случай. С нарочитым достоинством поставил на стол, весело пригласил генерала:

— Поскольку именинник не хочет, чтобы о нем плохо думали близкие, давайте воздадим должное славянскому закону. Только тихо, без шума.

Он не захотел звать ординарца, посылать за рюмками, налил понемногу в стаканы.

Дальше весь разговор за столом шел о делах. Когда они обсудили все, что следовало, по мнению командующего, обмозговать вместе и согласовать, генерал Макаров почувствовал, что Черняховский обособился, углубился в какие-то свои мысли. Генерал чутко заметил, как, думая о чем-то, командующий нетерпеливо взглянул на рабочий стол, едва не встал, но спохватился. Генерал понял, что время прощаться.

Черняховский не стал его задерживать. Как только проводил генерала, вызвал ординарца,— приказав убрать остатки ужина, вернулся к рабочему столу. Одолеваемый разными делами, которых обычно прибавлялось к концу дня, он, однако, погодя позвал Комарова и приказал связать его с Москвой, с квартирой.

Он нетерпеливо шагал, пока налаживали связь, с волнением подошел к телефону.

— Тася? — выговорил он имя жены в плывущий шум в трубке.— Добрый вечер всем! — В шуме, заполнявшем трубку, возник какой-то свист, было очень плохо слышно, он гово-

рил громко, взволнованно: — Что там у вас? Все здоровы? Спасибо...— Далекий-далекий, еле слышно доносился голос жены.— Мы? Мы что же, воюем! Дела идут! Хорошо идут...— Жена спрашивала, как он себя чувствует.— Все очень хорошо... Что? — не разобрал он. Жена беспокоилась, хорошо ли с питанием. Он понял: беспокоилась из-за его гастрита, твердо повторил: — Все очень хорошо... Вы, вы — как? — настойчиво добивался он. — Как Нила, Алик?..— В то время как жена рассказывала об их жизни, сквозь шум пробилось требовательное, сына: «Мама, ну, мама, мне». Когда же ему дали трубку, сказал только: «Папа», молчал, молчал и приказал наконец: «Приезжай!» Потом в трубке услышал голос дочки.— Нила, как твои успехи?.. Давай так договоримся: я здесь буду хорошо воевать, чтобы тебе не было стыдно. А ты — хорошо учись. Чтобы я здесь не краснел. Договорились?.. Приеду, проверю!

Весь остаток вечера светлое настроение, которое принес этот разговор, не покидало его.

В этот поздний вечер мысли его почти все время забегали вперед. Когда склонялся над картой, взгляд очень часто останавливался на значках, изображавших Минск, или кружил вблизи от них. Минск, минские окрестности были близки как никогда. Так близки, словно он был уже там.

С беспокойными мыслями о Минске теплилось в душе живое ощущение города; память благодарно берегла то, каким видел город перед войной, приезжая из Гомеля в штаб округа. Тихие, гостеприимные улицы, зеленые взгорки, приветливые лица прохожих. В это уже давно щемяще вплеталось ощущение, вызванное снимком, который как-то увидел в газете. Страшный это был снимок, сделанный с самолета, с небольшой высоты: как в разрезе, однообразные лабиринты стен, между которыми мертвая пустота на месте бывших комнат; огромные, уродливые пустыри. Только кое-где уцелевшие здания...

В практические размышления о близкой операции, как ни старался отогнать, снова проникали непослушные мысли, что директива Ставки немного опоздала, не смогла учесть реальную обстановку. Конечно, трудно, просто невозможно заранее предвидеть, как пойдут дела,— но зачем тогда было ставить такие сжатые, частные задачи? Как ни суди, ясно одно: планировать надо было все же более глубоко и широко. И вообще, для общей пользы — хорошо было бы меньше опекать. Предоставлять больше инициативы командующим. Излишняя централизация сковывает, порождает неуверенность.

Ясный ум, подкрепленный опытом, трезво рассуждал: видно, не на пользу это — и такое излишнее дробление фронтов, которое также ограничивает, сужает поле деятельности командующих. Зачем было дробить, делить на два фронта бывший

Западный, какую пользу это дало? Дало только то, что вместо одного целого сделали две половинки, к тому же — слабо связанные. Которым тем не менее предстоит решать одну задачу: вместе брать Минск и завершать окружение. Он подумал, что в Ставке, конечно, понимали минусы такой дробности фронтов; не зря же сюда присланы представители Ставки для координации действий. Но если это помогло связать Первый Прибалтийский с Третьим Белорусским, а Первый Белорусский со Вторым Белорусским, — за что можно сказать спасибо обоим представителям Ставки,— то Второй Белорусский и Третий Белорусский как были, так и остались плохо связанными. Соседние фронты, которым предстоит решать одну задачу, которым надо действовать как единому целому, по-прежнему разделены. Их действия направляют два разных уполномоченных. И эта обособленность — в такой сложной и переменчивой обстановке, при том, что один фронт так отстает!..

Кроме этого, беспокоило и другое, еще неопределенное: похоже, что его фронт поворачивается к северу. Это — временное или в этом — особенность, которая предсказывает будущее положение фронта? Что Третьему Белорусскому придется сойти с заветного направления: на Варшаву, на Берлин? Он успокаивал себя рассуждением: это направление не должны ослаблять, не должны отводить в сторону такой сильный фронт. Но полной уверенности не было: не исчезало предчувствие, что на центральное направление выйдут Первый и Второй Белорусские.

Недовольный этими неприятными предположениями, он сурово остановил себя: а, все равно! Где придется, там придется! Где нужно для дела! Там и быть!..

Прежде чем лечь, он позвал к себе Комарова, хмуро спросил:

— Алексей Иванович, вернули машину?

— Так точно — вернули, товарищ командующий! — отрапортовал Комаров, глядя на Черняховского с тревожным ожиданием.

Он видел, как требовательный взгляд командующего смягчается.

— Эх, Алексей Иванович, — укоризненно сказал командующий,— как же это? Сколько лет вместе! А ты такое!..

— Так ведь, товарищ командующий... из трофеев...

— Снова старая песня!.. Твое счастье, что вернул!

6

На следующий день, при поддержке авиации, все время бомбившей танковую дивизию противника, танки Ротмистрова двинулись на главные силы дивизии, разрубили их и погнали в числе других войск по шоссе в направлении Борисова. Танки

Ротмистрова достигли Березины так быстро, что к их подходу немцы не успели даже взорвать заминированный бетонный мост через реку.

Взрыв обрушил мост в реку уже тогда, когда на другой берег прорвался наш первый танк. Это была «тридцатьчетверка» лейтенанта Рака из 3-го гвардейского танкового корпуса. Отрезанный от своих, гвардейский экипаж попал в смертельную западню, но не растерялся. Уже позже стало известно, что танкисты, прорвавшись в центр города, шестнадцать часов вели бой в полном окружении. Все трое погибли в сожженном танке...

Тридцатого июня, вслед за танкистами маршала Ротмистрова, к Борисову подошли передовые части генералов Галицкого и Глаголева. В этот же день, к югу от Борисова, в тридцати километрах от него, происходило еще одно важное событие: к Березине пробился и с ходу начал ее форсировать 2-й гвардейский танковый корпус генерала Бурдейного.

Наступила очередь Борисова. 11-я гвардейская и 31-я армии вместе с 5-й гвардейской танковой армией получили задачу комбинированным ударом танков и пехоты до утра очистить город от врага...

В тот день Черняховский выехал к Березине, в район действий 5-й гвардейской танковой армии. Здесь он встретился с уполномоченным Ставки маршалом Василевским и командующим танковой армией Ротмистровым. Черняховский и Василевский ознакомились с положением в армии, вместе с командующим армией обсудили задачи армии в ближайших боях. Втроем с опушки вблизи магистрали смотрели на заречную часть города, над которой чернили небо дымы пожаров, наблюдали, как под огнем вражеской артиллерии на плотах, на надувных лодках на другую сторону переправляются войска.

На реке все время взлетали столбы воды, взрывы почти непрерывно терзали поросший лозой берег, а саперы все суетились в воде, торопливо наводили понтонный мост для танков. Бой шел на земле, бой шел и в небе: немецкие бомбардировщики и истребители упрямо рвались к реке, к переправе,— небо и в высокой вышине, и низко, почти над землей, кружилось, звенело, ревело, рокотало пушками и пулеметами...

Это знакомое зрелище будто возвращало Черняховского в прошлое, приближало, восстанавливало в памяти осенний, студеный Днепр и пасмурный Дымер на другом, на высоком, прорезанном глубокими оврагами берегу. Память на мгновенье приблизила пасмурный, ликующий Киев, толпы на разрушенном, изувеченном Крещатике.

Затем он наведался в дивизию, которая с боем переправлялась к югу от магистрали, и возвращался к ВПУ уже незадолго перед вечером.

Среди множества мыслей, одолевавших его, больше всего теперь волновали те, которые были вызваны увиденным на переправе. Не впервые бередили его эти мысли, о переправах, и вот снова приходили, наседали, тревожили. Сколько каждый раз хлопот с переправами, сколько бед. Можно сказать, самые большие беды всегда с переправами. Маленькая речка и та нередко заставляет столько возиться с ней, класть людей на берегах, терять в ее воде. А что говорить о больших реках, таких, как Днепр или хотя бы Березина. И это при том, что на пути почти каждого наступления — река за рекой. Особенно здесь, в Белоруссии...

И при такой нужде в них — мало средств для переправ. И мало, и — что не лучше — те, которые есть, в большинстве своем тяжелые, неповоротливые, неэффективные. Вот и двигай вперед, форсируй,— если, что ни речка, останавливайся, ломай голову, как перебраться! Кланяйся чуть не каждому ручью!.. Как печальный итог размышлений, лег на сердце командующего невеселый вывод: нехватка и неэффективность средств для переправ — один из самых больших бичей современной армии. Который никогда не даст развернуться ее маневренности!..

Конечно,— сразу пришло рассудительное,— выход здесь не только в том, чтобы больше создать средств для переправ. Спасение не в одних специальных средствах, как бы совершенны они ни были. Надо, чтобы сами машины, боевые машины умели преодолевать водные препятствия. Нужны танки, которые могли бы ходить по дну рек, плавать по рекам. Танки-амфибии... И машины-амфибии — для пехоты. С хорошей скоростью и хорошим вооружением. И хорошей маневренностью.

Едва с пыльных полевых дорог выбрались на магистраль, попали в поток войск, движущихся в направлении Борисова. Черняховский подался вперед, к ветровому стеклу, стал с интересом, зорко вглядываться. То здесь, то там широкое шоссе было заполнено войсками во всю ширину, и идущий впереди бронетранспортер с трудом прокладывал дорогу машине командующего фронтом; она шла медленно. Но и тогда, когда половина полотна шоссе была свободна, Черняховский трогал рукой локоть водителя, приказывал снижать скорость.

Навстречу двигались пехотинцы, подводы, грузовики, пушки разных калибров, санитарные машины,— все, что имел фронт, казалось, шло, катилось, обгоняло друг друга,— двигалось к Березине. Пехота шла группками и нестройными колоннами, Черняховский всматривался и всматривался в лица, загорелые, запыленные, усталые. Шли в выгоревших пилотках и гимнастерках, с винтовками, с автоматами, с вещевыми меш-

ками, с котелками, кое у кого привязанными к поясу. Над нестройным колыханием рядов возвышались, покачивались черные стволы бронебоек, наконечники-конусы ручных пулеметов, и Черняховский будто чувствовал их тяжесть на себе: жесткую после долгой, утомительной дороги! Тащились в несколько рядов подводы, несчетное число подвод, нагруженных ящиками с патронами, со снарядами, вещевыми мешками, мешками с хлебом, мукой, нередко — густо облепленные людьми. Подводы, подводы — сколько их еще служит старую, извечную свою службу. Среди подвод грузовики, нетерпеливо пытающиеся прорваться вперед, часто — побитые, помятые, латаные, работяги грузовики, радовали глаз как неизменные, памятные друзья, надежные помощники. Катились за лошадьми, терпеливо помахивающими головами, легкие орудия, с достоинством двигались за тягачами заслуженные, славные 152-миллиметровые пушки-гаубицы, устроив на своих станинах запыленных артиллеристов... За пушками — снова подводы, пехота, группки конников, чем-то задержанный в дороге танк, пытающийся обогнать колонну краем поля. Колонна грузовиков, мчащихся левой стороной... Снова повозки, пехотинцы...

Подумал с удовлетворением: хорошо, что удалось рассредоточить, послать танки в трех направлениях. Пусть через болота, через леса, по бездорожью. Это когда-то вызывало сомнения, теперь каждому видно: правильно. Шоссе сковало бы войска, задержало бы. А так — подвижные части взяли простор для широких маневров. Правильно. Об этом говорит и опыт Обухова, и Бурдейного опыт. А когда-то по поводу этого были такие сомнения!..

В раздумья снова вошло недовольство, рожденное виденным. Идут, медленно идут. Движутся на древнем своем, «одиннадцатом». По земле гремят армии танков, небо завоевала авиация. Стали давно привычными новые скорости. А пехота и большинство артиллерии — на допотопных, черепаших скоростях! С полной выкладкой на спине! Матушка-пехота... Мученица-пехота!.. Быстрее, быстрее надо, дорогая. Разве не видишь, как ты задерживаешь? Как ты тормозишь! Как не даешь использовать все, что может дать стремительный, умелый маневр!.. Скорость, нужна скорость — не впервые взволновало нетерпеливое. Скорость, соответствующая скорости танков и авиации. Требованиям современной, маневренной войны... Быстрый, мощный транспорт. Способный поднимать, перебрасывать дивизии, корпуса, армии. Транспорт, способный идти по бездорожью. По болотам. Способный переправляться через реки...

Матушка-пехота, царица-пехота. Мученица-пехота... На машины, на машины надо...

Вечер на ВПУ был, как обычно, полон забот и стремлений. Донесения со всех участков фронта, изо всех армий все время держали Черняховского в самом средоточии большой, многообразной жизни войск. Весь фронт напряженно, не ослабляя натиска, вел наступление. Вечерние донесения дорисовывали последние штрихи в широкой картине сделанного за день. Обухов и Осликовский подходили к шоссе Минск — Вильнюс. Крылов уже занимал за Березиной большую территорию. Бурдейный форсировал Березину и одной бригадой шел в направлении Борисова, другими вел наступление в сторону Минска. Двигался прямо на Минск.

В Борисове шли сильные бои: немецкие танковые части, эсэсовцы и охранники упорно сопротивлялись. Но Черняховский знал: их часы сочтены. В этот вечер он больше всего думал о Минске. Обсуждал с Макаровым, Покровским, Иголкиным подробности скорой битвы, отдавал распоряжения, связанные с ней. Срок был назначен минимальный: взять до вечера 2 июля.

Ночью, оставшись один, он попросил к телефону начальника инженерных войск генерала Баранова. Приказал выделить несколько специальных подразделений саперов, с задачей — разминировать здания.

— Для работы в Минске. Сделайте это сегодня же.

— Сейчас же сделаю, товарищ генерал, — услышал он ответ Баранова.

Черняховский добавил:

— Саперы должны войти в город с первыми солдатами...

— Сделаю все, товарищ командующий.

ГЛАВА III

1

28 июня отгремели бои в Могилеве, на высоком, перекопанном снарядами и бомбами днепровском берегу. Толпы жителей города, выбравшись из убежищ, обнимали на дымных улицах родных солдат. Войска шли со стороны Луполова, по понтонам на Днепре, мимо башни древней ратуши, по зеленой Первомайской, с середины которой сворачивали на Минское шоссе, на Минск!

В тот же день бурлили радостью победы, счастьем освобождения Осиповичи, Шклов, Быхов, Кричев и многие — уже не десятки, а сотни поселков и деревень.

Фронт подступил к зеленым берегам Березины. Здесь пре-

жде всего завязались бои в Бобруйске. Это были тяжелые бои. В городе сосредоточилось восемь вражеских дивизий и несколько отдельных батальонов, — к тому же фашисты имели по всем окраинам и в центре города многочисленные укрепления.

27 июня пополудни наши танки и пехотинцы первый раз атаковали вражеские части, оборонявшиеся в Бобруйске, но пробиться в город не смогли.

Бои на окраинах не утихали и всю первую ночь, а на следующую ночь наши разведчики обнаружили, что на восточной окраине гитлеровцы сосредоточили много пехоты и артиллерии. Почти в то же время удалось захватить пленного, который дал этому разгадку,— комендант города приказал гарнизону ночью оставить город и пробиваться на северо-запад.

Наше командование предприняло свои контрмеры: на эту окраину перевели несколько артиллерийских и минометных полков.

После полуночи противник начал артподготовку. Едва пушки замолчали, на наши позиции в ночной темноте двинулись танки и пехота; впереди пехоты, как потом говорили пленные, шли ударные батальоны офицеров.

Наши артиллеристы и минометчики, ожидавшие этого, встретили гитлеровцев таким огнем, что цепи фашистской пехоты были полностью выкошены. Все, кто остался в живых, отступили назад...

Через полчаса гитлеровцы предприняли новую атаку...

На рассвете танкисты генерала Батова снова атаковали окраины Бобруйска и, прорвавшись сквозь немецкие укрепления, начали уличные бои. Около 10 часов 29 июня Бобруйск был полностью освобожден.

В этот же день был закончен и разгром всей бобруйской группировки. Попытка сопротивляться обошлась гитлеровцам и сейчас, как уже много раз, дорого: они бесславно загубили в лесах и на полях под городом тысячи своих солдат и офицеров. Те, которым посчастливилось уцелеть, признали себя побежденными и сдались в плен.

2

Недалеко от Березины взвод Проворного, наступавший во главе роты и всего батальона, с разведкой, нагнал толпу, медленно бредущую по дороге.

Позади толпы двигались две подводы, в которых сидели немецкие солдаты. Несколько вооруженных солдат шагало сбоку от толпы. Вели больших собак.

Еще издали Проворный определил, что немцы кого-то конвоируют. Когда машины приблизились, он убедился, что не ошибся. В толпе брели люди в гражданской одежде, больше — женщины и дети.

Определив, что охрана небольшая, Проворный приказал всем, кто был в грузовике, подготовиться к бою. Приказал шоферу сбавить скорость так, чтобы в любую минуту можно было остановиться. Дать бойцам соскочить на землю.

Он зорко следил за солдатами охраны. Видел: конвоиры заметили грузовики и время от времени оглядывались на них,— но двигались по-прежнему. Видно, были убеждены, что едут свои. Только когда грузовики приблизились почти вплотную, заволновались. Солдаты начали соскакивать с повозок, беспокойно оглядываться... Похоже было: ждали дальнейшего. Одна повозка вдруг заторопилась, устремилась в обход толпы. Ездовые нахлестывали лошадей...

Машины остановились, с них стали прыгать, поднимая руки, как крылья, запыленные пехотинцы. Завязалась короткая перестрелка с конвоирами, что попытались отбиваться.

Проворный тоже соскочил на землю и бросился вслед за бойцами. Младший лейтенант видел, как два конвойных встали из зарослей сурепки, подняли руки.

Вдруг он услышал детский крик, полный такого ужаса, что взводный мгновенно в испуге оглянулся. На мальчика-подростка, отбежавшего за кювет, летел рыжий свирепый зверь. Волкодав! Остановившись и с ужасом глядя на него, мальчик только выставил вперед руки...

Проворный, обо всем забыв, бросился к собаке. Успел пробежать только несколько шагов, как мальчик упал. Волкодав вскочил на него.

Проворный выстрелил в собаку из пистолета, но, боясь задеть мальчика, лишь ранил ее. Волкодав сразу бросил жертву и отпрыгнул назад. На боку его густо и, показалось, черно шла кровь.

Ощетинившаяся собака зарычала, затем, присев, злобно ощерясь, прыжком рванулась к лейтенанту, но Проворный снова выстрелил.

Волкодав взвизгнул и будто споткнулся на передние лапы. Впеппился оскаленной пастью в землю. Какое-то время грыз ее, потом, подрагивая задними лапами, вытянулся. И замер.

Мальчик, уже успевший отбежать, тревожно следил то за волкодавом, то за лейтенантом. Проворный порывисто вложил пистолет в кобуру и, махнув мальчику рукой, чтобы подошел, успокаивающе сказал:

— Не бойся! Больше не поднимется! Капут!..

Выстрелы уже стихли, конвоиры покорно сдавались в плен.

Мальчик несмело приблизился к Проворному. Он еще дрожал от пережитого ужаса.

— Ой, дяденька, как я напугался! Он же, гад, позавчера разорвал на дороге одну женщину. А теперь прицепился ко мне. Не давал мне ступить ни шагу в сторону. Только я шагну, он: гыр-р. А тут стрельба. Я и не утерпел, отбежал, — тогда он как кинется, как кинется!..

— Ничего, больше не кинется! Успокойся!..

Тем временем бойцов уже окружили женщины, подростки, дети, еще растерянные и несмелые. Они были безмерно взволнованы внезапным освобождением, ослеплены счастьем. Правда ли все это? Неужели это явь, а не сон? Сразу трудно поверить!.. Правда ли это?

Люди обнимали и целовали бойцов. Слышались непередаваемые словами возгласы — вся душа, вся боль и все счастье в этих возгласах. Люди, потрясенные случившимся вдруг, первые минуты или молчали, или говорили только этими восклицаниями да глазами, сиявшими радостью или слезами пережитого горя.

— Куда это вы направились, землячки? — спросил сержант Туровец у двух пожилых женщин, только что обнимавших его.

— А лихо его знает, куда он гнал! Чтоб у него печенки отсохли! — Вытирая покрасневшие от слез глаза, женщина гневно глянула в ту сторону, куда вела дорога, словно спрашивая у нее ответа.— Сорвал с места и гонит, гонит все туда... Должно быть, в неметчину хотел... загнать...

— Это ж, братеник, — перебила другая, в мятой свитке, с узелком за спиной,— когда наши начали подходить, хрицы приехали в село, выгнали всех на улицу... И приказали, хочешь не хочешь, идти. Куда, зачем? Неизвестно... Антон, сосед мой, заупрямился, сказал: не пойду! — так один жандарм вынул наган и — бац-бац — застрелил!..

— Все равно, Ганна, многие и после полегли! — сказала первая.

— Эге ж, полегли... Изнемогли люди от голода, падают, валятся на землю. Еще бы! А сел на землю,— значит, конец: или застрелят, или собаками затравят... Женщина шла с нами — из-под самого Ржева,— Алена ее тоже знает,— кивнула она на подругу, — хромала на одну ногу, говорила — наткнулась на гвоздь. Так собаки разорвали живую на моих глазах.

Юрий спокойно, но так твердо, что нельзя было сомневаться в его словах, заявил:

— Не волнуйтесь, дорогие, мы с ними за все рассчитаемся... И эту женщину из-под Ржева тоже припомним.

— Откуда вы, издалека? — спросил стоявший в другой группке Шарафутдинов.

— Да из разных мест,— ответила одна из женщин, окруживших автоматчика.— Я вот, например, из-под Орши; может, были там? А есть некоторые, говорят, даже из-под Смоленска...

Мальчик, спасенный Проворным, сообщил:

— Я, дяденька, починковский. Со станции Починок.

— Когда же вас забрали?

— Еще прошлой осенью...

Мальчик рассказал, что сначала они жили на болоте, недалеко от какого-то Замошья, копали торф всю осень, зиму и весну; потом, как только началось наступление, их погнали по дороге.

— Я сначала был не один — с мамой и сестрой Надькой, но они умерли на болоте,— спокойно, со взрослой сдержанностью говорил он.— Еще зимой... Я теперь один живу. Вот как вернусь домой, так буду не один. Дома у меня, в Починке-то, еще осталась Олька...

Тут беседа прервалась,— Проворный приказал садиться в машины. Нельзя было задерживаться.

3

В этот день два полка дивизии генерал-майора Щербатюка вошли в лес, противоположной стороной подступавший к реке.

Выполняя приказ генерала, полки лесными дорогами стремительно подошли к реке и попытались с ходу форсировать ее. Однако попытка эта не удалась: противник оказал сильное сопротивление. Лишь один взвод на левом фланге зацепился за другой берег.

Генерал-майор с адъютантом и двумя автоматчиками на газике направился к Березине.

При въезде в лес стоял регулировщик, он предупредил, что в лесу немало бродит немцев и надо остерегаться. У перекрестка дорог было много указателей, среди которых командир дивизии увидел и свой: «Хозяйство Щербатюка».

Вдоль дороги на ветвях висел телефонный провод, тянувшийся в направлении реки.

В трех или четырех местах тенистую дорогу перегораживали сваленные немцами деревья, и машина Щербатюка сворачивала в чащу на пути, проложенные гусеницами танков.

Впереди были слышны звуки боя. Но время от времени снаряды взрывались и позади. Гитлеровцы били по тылам дивизии, по дорогам.

Не доезжая до опушки, генерал-майор увидел свои передо-

вые подразделения. Сержант, которого генерал подозвал, сказал, что здесь полк Сибиряка. От встречного лейтенанта узнал, что командир полка впереди. Щербатюк вылез из газика и пошел пешком.

Здесь вовсю говорили пулеметные очереди, рвались снаряды и мины. Лес был полон треска и грохота.

Командира полка генерал нашел на опушке, в недавно вырытом окопчике. С Сибиряком был командир батальона Павловский, командир взвода разведки. Сибиряк и Павловский стояли у стереотрубы, рассматривали противоположный берег.

Наклонясь к генералу, используя мгновения тишины, Сибиряк доложил, что пробовал форсировать реку, но не смог. Что готовит новую попытку.

Генерал неторопливо, будто нехотя, осмотрелся. Всегда имел обыкновение по-хозяйски осмотреться, увидеть своими глазами. Впереди, до реки, была низкая зеленая равнина с кустарником, больше всего лозняком. В просветах меж кустарника поблескивала вода. Река.

Противоположный берег, как водится, был выше. Не высокий, но все же выше. Выгодный для обороны. Оттуда неплохо просматривается этот берег. И хорошо простреливается...

Генерал видел повсюду впереди, прикрытые кустарником, торопливые окопчики. Кое-где их спешили углубить. В разных сторонах шлепались мины, пятнили зелень низины дымками... Долина простреливалась пулеметами. Пули посвистывали у КП полка... Противник сторожко следил, ловил каждое движение на этом берегу. Был готов...

В такой ситуации предпринимать снова попытку переправиться?.. Но и топтаться... Нельзя топтаться... Дать немцам собраться с силами... Армия движется. Нельзя отставать. Командующий армией ждет...

— Артиллерии мало, — пожаловался Сибиряк.

Да, артиллерии мало. Работают в основном минометчики, расположившиеся в лесу, да полковая артиллерия.

Генерал расспросил разведчика, что обнаружили на том берегу. Допросил Павловского, как оценивает обстановку. Как состояние батальона. Все не торопясь, как бы устало. Сам склонился к окуляру стереотрубы, понаблюдал за тем берегом. Попросил связать его с «четвертым» — начальником артиллерии, строго выговорил, что запаздывает.

— Как прикажете, товарищ генерал, с переправой? — напомнил ему Сибиряк, все время ожидавший от него указаний.

— С переправой? — Генерал посмотрел на подполковника, рыжеватого, с крупными чертами.— Обожди пока с перепра-

вой.— Он перевел взгляд на командира батальона, сказал, что тот может быть свободным.

Попросил Сибиряка проводить немного. Когда остались одни, выждав минуту тишины, высказал то, что не мог при подчиненных:

— Спеши, но — с умом. Спешить без расчета можно только при одном занятии. А здесь — дело серьезное... люди...

Приказал тщательно вести разведку, готовить средства для переправы, обеспечить подразделения боеприпасами. Привести все в порядок.

Осмотрел позиции на других участках. Мины и снаряды попрежнему рвались и на берегу, и дальше, в лесу; в лесу, где он шел в сопровождении командиров и автоматчиков охраны, в окопчиках НП, откуда он наблюдал, тоже было опасно, но генерал, казалось, не чувствовал опасности, — делал свое дело с хозяйственным спокойствием.

Добрался наконец до батальона, взвод которого зацепился за противоположный берег.

— Ну, что там у тебя? — спросил капитана, русого, с воспаленными глазами, с перевязанной рукой.

— Держатся, но очень уж контратакует, товарищ генерал.

— Контратакует...

Командир дивизии прислушался: на другом берегу шла частая стрельба. Да, чувствовалось, немцы крепко дрались, пробуя очистить берег.

— Что ж, это нормально, что — контратакует, — произнес нарочито спокойно.

Выяснил, сколько людей на том берегу, какое оружие. Какие потери. Велел командиру полка оказать всемерную поддержку артиллерией. Переведя взгляд с командира полка на командира батальона, приказал мирным, но твердым тоном:

— Держаться. Во что бы то ни стало.

Повидав все своими глазами, с чувством исполненного долга направился на свой КП. Здесь связался с начальником артиллерии, велел поддерживать переправившийся взвод. Вызвав начальника разведотдела, внимательно выслушал то, что им удалось обнаружить. Запросил от разведки корпуса данные авиаразведки на участке дивизии.

Выяснил, как подтягиваются отставшие подразделения, как сосредоточиваются приданные части, второй эшелон. Был очень недоволен задержкой понтонного подразделения.

Чем дальше, тем все увереннее определял он план предстоящей переправы через реку. План этот был прост и трезв, он был вызван самой обстановкой. Генерал решил переправу делать на участке Сибиряка, но, чтобы отвлечь внимание немцев,

решил также создать и ложную переправу. Именно там, где дрался переправившийся взвод.

Переправу генерал наметил начать ночью, перед рассветом.

Возвращаясь в штаб дивизии, генерал-майор отметил, что войска все больше обживают лес. Он видел, как среди деревьев располагаются группы только что подошедшей пехоты, видел, как прибывшие раньше едят, курят, о чем-то рассуждают.

Вблизи солдаты пилили деревья, очищали их от сучьев. Щербатюк приказал шоферу остановиться, вышел из машины.

— Что собираетесь мастерить? — спросил у пожилого солдата.

— Плоты, товарищ генерал-майор...

Немного поодаль на поляне артиллеристы устанавливали орудия, расчищали секторы обстрела, копали окопы. На траве возле окопов серела пятнами свежая земля. Группа офицеров делала какие-то записи в книжках и тетрадях.

По соседству с «катюшами» расположились танки, к которым подходило несколько новых. Вблизи дороги домовито дымили две кухни. Повар сыпал в котел белые картофелины. Цепляясь за ветви, из-за поворота выплыли неуклюжие машины с понтонами... Войска прибывали...

Наблюдая за всем этим, генерал непрестанно думал о переправе. Все сложилось уже в четкую картину. То, что эта картина была определенна и была ясна обстановка, давало ему ощущение спокойствия и вызывало в нем желание действовать.

В штабе он сразу посвятил в свой план начальника штаба, своего заместителя, обсудил с ними детали. С начальником артиллерии дивизии определил размещение артиллерийских средств. Поставил задачи командирам приданных частей.

Провел совещание с командирами полков. Когда вышел с ними, вечерело. Накал битвы не только не ослабел, но даже словно усилился. Звуки боя в вечернем воздухе здесь, в глубине леса, были слышны так же отчетливо, как на берегу. Лесное эхо множило их и даже как будто усиливало.

— Ну, гремим,— сказал генерал. Он услышал, как в случайном секундном затишье прошелестело вверху несколько снарядов; в следующий миг злобно и, казалось, близко затыркал немецкий пулемет. Потом по ту сторону стали взрываться снаряды.— Теперь к этому грому прислушивается весь мир...

— Что говорите, товарищ генерал? — склонился к командиру дивизии подполковник Сибиряк, думая, что генерал дает распоряжение.

— Говорю, что... за нашей битвой следят все... весь мир. Сначала — за Сталинградом... потом за Курской дугой... за переправой через Днепр... А теперь за нами, за белорусской битвой... За вот этой Березиной...

— Это точно. Только им не впервые — следить...

— Не впервые?.. Да, не впервые. Давно слушают — с первого выстрела «Авроры»... Давно следят. Одни — с надеждой, другие — со страхом...

Он взглянул на командиров полков, ожидавших разрешения уйти. Будто напутствуя, сказал:

— Ну что ж, творцы всемирной истории, готовьтесь! Подведете, спуску не просите.

4

Когда генерал-майор передавал распоряжения на завтра, ординарец принес ужин.

Ефрейтор дождался окончания разговора, начал выкладывать принесенное из судков на тарелочки. Подал на стол.

Генерал рассеянно оглядел ужин и поднял взгляд на ординарца:

— Чего здесь не хватает?

Пожилой, мешковато одетый ефрейтор вытянулся, козырнул.

— Вам не положено, товарищ генерал!

— Ты это брось! Слышишь!

Генерал не в первый раз выражал недовольство. Иногда он по этому поводу просто добродушно ворчал, порой злился на себя, на болезнь. Но бывало и иное недовольство. Сегодня было именно оно: генерал был не на шутку возмущен.

— Всем положено, а мне нет!..

— Сами знаете, товарищ генерал!

— Ничего я не знаю! — отрезал жестко командир дивизии.

Щербатюку приходилось соблюдать диету — у него был порок сердца. Жена в каждом письме спрашивала, соблюдает ли он диету, приказывала не своевольничать, слушать ординарца...

Увидав, что генерал сегодня шутить не собирается, и зная, что с командиром в таком состоянии его лучше не спорить, ефрейтор полез в чемодан. С видом человека принужденного: воля ваша — поставил на стол бутылку.

— Губите вы себя, товарищ генерал. Ни себя, ни детей не жалеете...

Немало послуживший уже с генералом, сжившийся с ним, он со строгим осуждением смотрел, как командир дивизии наливал рюмку. «Словно без этого нельзя жить. Как дитя».

Выпив медленно, смакуя чарочку, Щербатюк повеселел и набросился на ужин. Черт возьми, как он проголодался!

— Не суди строго, дорогой! — уже благодушно сказал он. — Завтра важное дело, по такому случаю не грех и выпить.

В охотку поужинав, он велел ординарцу разбудить в три часа. Сняв только сапоги, завернулся в бурку и повалился на кровать.

Заснул он мгновенно. Ординарец еще убирал со стола, а от кровати уже шел сладкий, с присвистом храп.

Генерал любил поспать. Он говорил, что перед делом очень полезно выспаться,— без сна человек тупеет.

Спал он мирно, беззаботно, как дома, и не легко пробудился, когда ординарец начал тормошить: «Пора, товарищ генерал!»

На рассвете завязал бой батальон южнее, и немного погодя два полка начали переправу.

Стоя на берегу в накинутой на плечи бурке, Щербатюк видел, как солдаты в сумраке тащили плоты и бревна к воде. Над рекой, к счастью, пластался туман: почти сразу же все исчезало в нем...

Переправа началась удачно. Судя по звукам на юге и по сообщениям, немцы клюнули на обман: крепко втянулись в бой с батальоном. Здесь же первые подразделения достигли противоположного берега без единого выстрела. Уже когда они высадились, вцепились в берег, немцы обнаружили, что переправа началась и на этом участке,— стали бешено обстреливать реку и берег.

Ракеты и огонь освещали берег, деревья, кустарники, людей, бегущих к реке, но туман скрывал то, что происходило на реке. Он лишь зыбко и красновато отсвечивал.

Наша артиллерия почти непрерывно била по вражеским орудиям и пулеметам, туман быстро редел, рвался, и сквозь него и в разрывы его стало видно: на том берегу в разных местах возникли пожары. Что-то горело у самого берега.

— Окопы горят,— догадался генерал-майор,— припекает арийцам...

Выдумали изобретательные арийцы,— прутьями оплетать окопы, думал насмешливо и удовлетворенно командир дивизии.

Прутья высохли и теперь легко загорались...

Вскоре полк Сибиряка расширил плацдарм,— стрельба стала отдаляться от берега. Переправа пошла быстрее, но противник еще обстреливал из орудий берег и реку.

Этот обстрел то и дело задерживал переправу. Время было беспокойное: нельзя было медлить, надо было как можно быстрее наращивать силы на том берегу. Нетерпеливый Сибиряк нервничал, подзывал офицеров, угрожал, ругался.

Понимая его волнение и сочувствуя ему, командир дивизии все же вызвал его к себе.

— Ты что, друг мой, нервозность разводишь? — сказал командиру полка недовольно и по-отечески строго.— Это не работа. Так работать нельзя.

Подполковник Сибиряк, распаленный тревогой, в первую минуту как бы не понял его. Принял замечание, похоже было,— уже не впервые за совместную службу! — как неуместное оригинальничанье. Но не высказал недовольства, скрыл.

— Виноват, товарищ генерал... Но как тут иначе, время-то, время пропадает!

— А ты все же спокойнее, спокойнее,— Щербатюк говорил ровно, но тоном приказа.— И без ругани! За ласку тебе каждый сделает во сто раз больше, чем за мат. Страха им без тебя достаточно, а доброе, дельное слово — в сердце! .. Аж охрип! — с укоризной покачал головой командир дивизии.

В солнечном свете туман рассеялся совершенно, и с КП командира дивизии было отлично видно все, что происходило на реке. Главное, что теперь волновало Щербатюка: понтонный мост. Дальнейший успех теперь зависел от моста. От того, как скоро его наведут. Командир дивизии видел: понтонеры понимали это, трудились на совесть...

Они уже дошли до середины реки, когда налетели немецкие бомбардировщики и истребители.

В реке взметнулись столбы воды. Несколько бомб взорвалось на берегу, рядом с КП Щербатюка. На окоп, в котором был командир дивизии, обрушило тучу земли.

По самолетам били зенитки и пулеметы, но «юнкерсы» и «мессершмитты» все кружили над переправой.

Щербатюк с тревогой увидел, что одна из бомб взорвалась возле самого моста...

Генерал-майор подозвал представителя от авиачасти, жестко отчитал его, приказал связать с командиром части.

— Что ж это, дорогой, получается? — начал он сразу возмущенно.— Немцы пасутся над нами, на головы садятся, а вы преспокойно наблюдаете.— Летчик сказал виновато, что самолеты сейчас ведут бой, но Щербатюк не принял объяснения. — Мост мне разбили, понимаешь? Переправу угробили, доходит до тебя? На голову садятся! ..

В голосе его слышалось страстное негодование. Командир авиачасти наконец понял все: пообещал сейчас же помочь.

Действительно, вскоре прилетели истребители. В небе завязался бой: кружились, ревели истребители, скрещивались линии трассирующих пуль, время от времени сквозь рев моторов прорывался ожесточенный треск пулеметов.

Вдруг один из самолетов отделился от этого яростного, кипящего, ревущего клубка и, странно переваливаясь то на крыло, то на нос, стал падать. Щербатюк с огорчением увидал — наш.

Самолет упал за леском, на той стороне.

Проследив за боем, который, казалось, продолжался бесконечно долго и во время которого было сбито еще два немецких и два наших самолета, Щербатюк вызвал заместителя по тылу и спросил, где его машина и обозы. Оказалось — один обоз наткнулся на противника и потерял несколько повозок.

Генерал-майор при этом известии багрово покраснел, вены на висках напряглись. Он кипел от гнева, — вот-вот мог случиться «взрыв».

— Шляпы! — выругался генерал-майор. Возбужденно пошагав взад-вперед по берегу, приказал: — Все тылы подтянуть к мосту и до двенадцати тридцати переправить.

— Есть, товарищ генерал!

Хмуро-молчаливый, с трудом сдерживая гнев, генерал двинулся к реке. Сел в рыбачью лодку,— солдаты сразу взмахнули веслами.

5

Когда дивизия переправилась через Березину и прорвала укрепления противника, Щербатюк повернул ее на север, повел вдоль реки. Таков был приказ командующего армией: дивизия должна была как можно быстрее пробиваться к Борисову.

От командующего армией Щербатюк узнал, что с севера к Борисову подходят танки и пехота.

— Опаздываешь! Пылишь — как с ярмарки! — деликатным, вкрадчивым голосом заметил командующий. — Вообще замечаются симптомы...

Командир дивизии обиженно, возмущенно засопел: «Снова — «опаздываешь»!.. Снова — «симптомы», вечно — «симптомы»! Все та же песня...»

— Поторопись, Щербатюк! — потребовал командующий. — А то успеешь — к шапочному разбору...

— Не опоздаю,— ответил генерал-майор.

Дивизия двинулась к Борисову. С ходу сбила несколько заслонов противника. Уставшие от трудного дня, стремительного движения, бойцы к вечеру переправились с боем через речку Плиссу, вблизи от города впадающую в Березину, а в сумерках подошли к Борисову.

В городе разворачивался бой. Он шел и в старой части города и в Ново-Борисове, которые разделяла Березина. Дивизии Щербатюка надлежало освободить южную часть Ново-Борисова, район вокзала.

Дивизия вступила в бой без передышки, сразу, как только подошла к первым домам. Гитлеровцы, засевшие в привок-

зальных постройках, дотах, руинах, встретили пехотинцев сильным огнем.

В сосняке, где генерал-майор выбрал место для командного пункта, время от времени рвались снаряды и мины, но командир дивизии не обращал на это внимания, — его беспокоило, что батальоны, штурмовые группы замедлили продвижение.

Стоя с группой офицеров на краю сосняка, генерал-майор смотрел на город, в котором вздымалось несколько пожаров. За темными зданиями слышалась стрельба, взрывы, рычание машин. Стрельба доносилась и издалека, с другого конца города.

За Березиной тоже не смолкал бой.

— Наши подошли к реке,— как бы угадывая мысли генерала, сказал адъютант.— Эх, жаль — успели взорвать мост...

— Да... жаль...

Щербатюк произнес это таким тоном, что чувствовалось — командир дивизии думает об ином, глубоко встревожен. Адъютант вдруг заметил, что генерал что-то бормочет. Он прислушался и разобрал:

А коногона молодого
Везут с разбитой головой...

Генерал еще пробормотал-пропел несколько слов, потом плюнул, будто хотел освободиться от навязчивой мелодии.

Он был недоволен, и адъютант хорошо знал почему: приходится топтаться на месте.

А тут как раз позвонил командующий армией и попросил сообщить, как дела в дивизии.

Щербатюк доложил, что начал бой за город, но пока действует на подступах к станции, где противник держится особенно сильно. Командующий не высказал недовольства тем, что дивизия задерживается,— даже похвалил, что успешно преодолели Плиссу и подошли к городу. Но в том, что он похвалил за то, что было раньше, генерал-майор как бы почувствовал намек: вот то, прошлое, хорошо сделали, а теперь — подкачали. Но он, мол, пока помолчит, обождет! А тогда уж спросит...

Щербатюк приказал вызвать к телефону Сибиряка.

— Ну, что у тебя? Все по-прежнему?

Командир полка ответил, что противник держится.

— И что ты думаешь, сердце мое, делать? Стрелять, пока не отступят?

Ласковость у него была такая, что все, кто знал натуру генерала, чувствовали: вот-вот может снова начаться взрыв гнева.

— Хочу попробовать обойти их слева,— ответил подполковник.

— Ты все пробуешь! — Командир дивизии недовольно сопел в трубку.

Подполковник сказал виновато, оправдываясь:

— Там у меня уже действует штурмовая группа.

— Пошевели! Да быстрее. Не медли!

Эту задачу командир полка возложил на штурмовую группу Проворного.

Младший лейтенант с четырнадцатью бойцами, среди которых был и сержант Туровец, выйдя на левый фланг полка, ползком перебирался через насыпь, через рельсы. Не очень далеко пылал пожар, но свет его закрывала стена какого-то разрушенного здания, от нее на насыпи лежала широкая тень.

Проворный сказал, чтобы все держались в тени.

Переползали по одному. Те, кто сидел перед насыпью, затаив дыхание следили за товарищами, перебиравшимися через путь.

Все-таки в этой тени было довольно светло.

Над насыпью вдруг прошлась пулеметная очередь. Все насторожились: неужели заметили? Проворный немного подождал и приказал ползти следующему. Гитлеровцы не стреляли,— значит, не заметили.

Подобравшись к стене, Проворный привстал на колени и внимательно осмотрелся, выбирая путь. Здесь командир услышал, как неподалеку снова коротко заговорил пулемет. Он был укрыт в развалинах. Младший лейтенант приказал Туровцу и Шарафутдинову пробраться туда и «сделать тишину».

Шарафутдинов полз впереди. Он почти сливался с землей, так что даже вблизи трудно было отличить его от камней и травы. Пулемет теперь стрелял часто, и расположение его было хорошо заметно. Когда подобрались довольно близко, Шарафутдинов попросил:

— Обожди...

Он пополз между глыбами развалин; Юрий следил за ним, готовый в любую минуту помочь, поддержать. Но поддержки не понадобилось. Выбрав удобный момент, когда пулемет заработал, Шарафутдинов нажал спусковой крючок автомата.

Он возвратился назад с немецким пулеметом в руках.

Отсюда штурмовая группа пробралась к зданию, задерживавшему батальон. Рванув дверь, Юрий прямо перед собой увидал спину в сером мундире. Не успел пулеметчик оглянуть-

ся, как сержант ударил его автоматом по голове. Тот осел на пол.

Проворный обогнал Юрия, толкнул ногой вторую дверь и бросил гранату. В ожидании взрыва отпрянул от двери, затаился у стены. Когда он вбежал, по комнате стлался дым.

За четверть часа дом был очищен...

— Ну, можно дать зеленую ракету!

Расстегнув пропотевшую гимнастерку, тяжело дыша, Проворный нервно выхватил из сумки ракетницу, вложил в нее патрон.

Вскоре сюда подошел почти весь батальон.

Минут через двадцать генерал-майору доложили, что батальон, ударив с левого фланга, ворвался на станцию и что там ведет рукопашный бой.

Снова бормоча неотвязную песню о коногоне, генерал-майор прислушивался к доносившейся со станции стрельбе, всматривался в проемы между постройками. В свете пожара он увидал несколько фигур, пробежавших и исчезнувших за домом...

В то время как он ждал донесения от Сибиряка, из полка, наступавшего правее, привели десятка два пленных. Щербатюк приказал их допросить.

— Узнайте, откуда они пожаловали сюда,— сказал он капитану-переводчику.

Оказалось — из эсэсовского батальона, два дня назад переброшенного из Гродно. Они сообщили, что в Борисове бьются остатки танковой дивизии и эсэсовские охранные части, спешно перекинутые из разных мест.

Вскоре генерал-майор своей обычной тяжеловатой и медленной походкой уже шел через железнодорожные пути, тускло поблескивавшие рельсами. Возле сожженного здания лежало и сидело несколько раненых бойцов, одного из которых перевязывала полная рослая санитарка.

— Ну что, творцы истории, крепкий орешек достался?

— Ничего, мы привыкшие,— ответил тот, которого перевязывали.— Не такие разгрызали...

— Что тут у вас? Что случилось? — поинтересовался командир дивизии.

— Да вот, уходить надо. С полдороги, — сообщил один из раненых.

— Почему с полдороги?

— Так в госпиталь, говорят...

— А вы не горюйте, друзья мои, раньше времени. Дорога не близкая... Еще, может, и догоните...

Хрустя битым стеклом, генерал пошел дальше. Стекла здесь было насыпано очень много, от света пожаров оно сверкало. Навстречу снова провели большую толпу пленных.

Здесь же командир дивизии и его офицеры встретили женщин и детей, те бросились их обнимать.

Одна из женщин рассказала о страшной расправе гитлеровцев над заключенными в концлагере на лесопильном заводе.

— А позавчера один, когда его вели на расстрел, схватил кирпич и кинулся на солдата. И остальные люди кинулись, да так, что солдаты от них — наутек.

— Что же, спаслись наши?

— Некоторые спаслись. А других догнали и постреляли.

Расспрашивая, генерал сочувственно кивал головой,— Щербатюк был жалостлив. Виновато моргая глазами и вздыхая, успокоил женщину:

— Ничего, дорогая моя, ничего! Расплатятся за все! .. Мы с них за все спросим, будь уверена!

Бой не спадал. Гитлеровцы дрались за каждую улицу и переулок. Особенно упорно они держались в каменных постройках, стреляли из окон, с крыш. Из-за домов часто выползали танки, тоже пытались задержать нашу пехоту.

Некоторые из них вскоре умолкали, пробитые навылет или охваченные огнем.

Следя все время за боем, за продвижением частей, генерал-майор заметил, что полк Сибиряка снова остановился.

— Почему задерживаешься? — недовольно спросил Щербатюк командира полка.

Подполковник ответил, что его задерживает батальон Павловского, ведущий бой с немцами, засевшими в большом доме.

— Дом хороший,— неожиданно услыхал генерал.— Павловский жалеет разбивать его снарядами...

Щербатюк минуту молчал. Потом попросил, чтобы его связали с Павловским.

— Ну, что там у тебя? — произнес он строго. Едва услышав комбата, Павловский начал докладывать, как идет бой батальона. Генерал перебил его: — Что там за дом у тебя? Хороший! .. Что в нем хорошего? Большой? .. Сколько этажей? Три этажа? .. Школа была? Откуда знаешь? По виду? Какой такой вид у него? .. Окна широкие...

На лице Щербатюка было что-то детское, любознательное.

— Значит, дом хороший и школа...

Он задумался. Тяжело сопел в трубку. Недовольно, строго произнес, словно выговаривая комбату:

— А не погубишь ты мне людей зря? Заботясь о своем доме?

Павловский ответил, что надеется взять дом без потерь.

Генерал-майор спросил, сколько для этого понадобится времени, и разрешил брать дом только пехотою. Но пригрозил для строгости, что, если Павловский погубит людей,— голову снимет. И приказал, чтобы не медлили.

Прошло, вероятно, с полчаса, когда генерал-майору доложили, что дом спасен, что убитых в штурмовой группе нет. Бойцы, как сообщил Сибиряк, влезли по водосточной трубе на третий этаж и оттуда начали спускаться вниз, очищая этаж за этажом.

— Кто там из них особенно? .. — спросил Щербатюк сдержанно. — Поздравь от меня со Славой, а командира — со Звездочкой.

Еще шел бой, а командир дивизии, вызвав по телефону заместителя по тылу и командиров полков, приказал приготовиться к дороге.

— Сразу, как только закончим, выступаем. Без задержки! ..

6

Полдня дрались с немецкой частью, пытавшейся задержать продвижение. Потом приводили себя в порядок, обедали. Весь вечер, изредка останавливаясь, быстро шли. Только к полуночи, когда добрались в большое село, им разрешили сделать привал, отдохнуть. Младший лейтенант остановил взвод.

Юрий с усилием выпрямил непослушное, усталое тело. Наконец он может поспать. Поспать спокойно, да еще на соломе, в хате.

Сержант поднялся на крыльцо, отворил дверь. Посветив зажигалкой, окинул взглядом комнату. Было пусто и неуютно, но Юрию нестерпимо хотелось спать. Он знал, что и командир и бойцы хотят только одного — скорее завалиться спать. Что им до уюта!

Сержант приказал солдатам найти соломы или сена.

— Быстро. Пулей!

Через минуту солдаты внесли в хату сена — оно нашлось в хлеву на сеновале.

Сержант зажег плошку с чем-то горючим, которая тускло осветила комнату, и, подгребая под голову больше сена, разостлал шинель.

Вошедший вскоре Проворный тоже устал,— шагнув в комнату, не снимая сапог, сразу повалился на сено.

— Шарафутдинов, разбуди через час,— сказал он ефрейтору, назначенному в караул.— Да смотри, чтобы не дремали на посту! Эх, ноги гудят! ..— Он сладко зевнул и прикрылся шинелью.

В эту минуту в комнату вскочил солдат.

Он бросился к Шарафутдинову, испуганно шепнул:

— Немцы!

— Где? — тихо, но встревоженно спросил ефрейтор.

— Здесь, в соседней комнате...

— За стеной?

— За стеной... Вход со двора...

— Что они... делают?

— Спят.

— Так зачем же пугаешь? — недовольно сказал ефрейтор.— Голова, два уха!

Он спокойно снял с плеча автомат и, решительно сверкнув узкими глазами, двинулся к двери; солдат последовал за ним. Но на пороге он остановился, обернулся к Проворному. Видно, решил предупредить командира взвода.

Младший лейтенант уже встал. Услыхав торопливые, тревожные шаги солдата, Проворный, преодолевая дремоту, невольно прислушался — не к нему ли? Может, распоряжение? Он уловил слова: «Немцы! .. Здесь...»

За лейтенантом, сообразив, что случилось что-то, вскочил Юрий.

Проворный порывисто шагнул к солдату:

— Дай автомат! Скажи Шарафутдинову, чтоб не спешил! ..

— Вы бы не шли, товарищ младший лейтенант... Мы сами!

Проворный не ответил. В минуты, когда угрожала опасность, он становился неразговорчивым и быстрым.

— Сколько их? — коротко бросил Проворный автоматчику.

— Не рассмотрел. Человек, думаю, семь...

Проворный и Юрий вышли во двор, где их ждал Шарафутдинов. Вокруг, как и прежде, царили тишина и темень, но теперь они таили в себе угрозу. Все невольно насторожились. Возле двери стоял еще один солдат. Спросив шепотом, нет ли у немцев часового, Проворный двинулся к двери и первым шагнул в темные сени, левой рукой вынимая из кармана фонарик. Белый свет фонарика побежал по полу, перескочил на бочку, обнажил углы. В сенях было пусто.

Проворный рванул дверь в хату. Фонарик снова побежал по полу, выхватил из темноты лавку, стол, кровать. Немцы спали на кровати и на полу, подостлав сено, видимо, из того же хлева, откуда принесли и наши. Их было шестеро.

— Спокойно разместились, завоеватели! Как дома! А ну, Шарафутдинов, подбери их пушки да разбуди!

Ефрейтор стал будить. Носком сапога сильно толкал одного, другого из тех, кто спал на полу. Немцы пробуждались неохотно.

Проворный разозлился.

— Эй, вы, встать! — скомандовал он резким голосом.

Все, кто еще спал, зашевелились, послушно встали, вытянулись, сонно хлопая глазами. Солдат в свитере бросился было туда, где лежало оружие, но Юрий так ударил его, что он сразу остановился...

На лицах у остальных не было заметно ни испуга, ни удивления.

— Мы слышали ночь какой-то танки, — заговорил один из них, с трудом подбирая русские слова.

Оказалось, некоторые из них слышали, как через село прошли танки, но не знали, чьи это. Успокаивали себя, что немецкие. Они очень устали, весь день шли пешком, и никому из них не хотелось вставать. Решили переждать до утра, махнули на все и легли спать.

Проворный приказал автоматчику покараулить их, а Юрию — вызвать конвоиров.

Младший лейтенант возвратился в свою комнату, лег на разостланную шинель и через минуту уже спал.

7

Рядом со штабными машинами виднелось несколько незаметных холмиков — землянок, почти скрытых густой, кустистой зеленью огородов. Среди них жестко торчали черные, не по-летнему голые, обожженные груши и яблони; они, было похоже, стояли среди поля.

На карте, лежавшей на столе в закрытой штабной машине командира дивизии, эти огороды и землянки назывались деревней Поплавы.

Ехать дальше было нельзя: за соседней деревней, километрах в четырех, два полка наткнулись на отступающую часть противника и сейчас вели бой. Третий полк с боем переправлялся через болото.

— Придется постоять... Выясните, как дела у Скоробогатова, — сказал командир дивизии подполковнику из штаба, — а я выйду. Устал.

Машина генерал-майора остановилась около землянки. Грузно и мягко спустившись со ступенек машины, Щербатюк увидел во дворе двоих детей. Девочка лет одиннадцати, держа за руку маленького мальчика, смотрела на машину. Щербатюку, который давно не видел своих детей, живших сейчас в Казани, захотелось подойти к малышам. Он шагнул во двор.

— Как тебя звать, девочка?

— Воля.— Это была Волька, дочь Шабунихи.

— А где твоя мама?

— На огороде... А ты кто? — вырвалось у Вольки.— Красноармеец?

— Красноармеец,— улыбнулся генерал-майор.

— А здесь уже были красноармейцы. Только они сразу уехали...

Волька оглянулась на огород и, увидав, что мать уже идет к ним, счастливая бросилась навстречу:

— Ма-а-мка!

Шабуниха, в выцветшем платке, истрепанном платье, опустила подвернутый край фартука, заторопилась. Давным-давно не ступала она так легко и радостно, как в этот день,— будто сразу помолодела.

— Браток ты мой! — Голос Авдотьи, низкий, грудной, вздрогнул и оборвался. Она ласково обняла Щербатюка.— Все-таки я счастливая,— с какой-то торжественностью сказала она.— Пришло и ко мне счастье! Не минуло!

И неожиданно на нее нахлынуло такое недавнее, не пережитое еще, тревожное настроение. Сколько всего произошло за эти сутки! Правда ли, что все это было и что оно минуло? Еще ночью и утром здесь стояли немцы и она пряталась в кустарнике за огородами, прижимая к себе перепуганных малышей. Утром она слыхала вблизи сильную стрельбу...

А через полчаса Аксинья, ее соседка, сказала, что в селе уже наши. И она, вскинув на плечи легонький узел с краюхой хлеба, с горстью крупы и луком, взяв на руки маленького Володьку, пошла с Волькой в Поплавы...

Шабуниха спохватилась, вытерла руки о фартук.

— Боже мой, чего ж я стою! Зашел такой человек, а я... Может, в каморку зашли бы! Или тут посидите? — Обвела глазами двор, зеленевший мелким подорожником, крапивой и травой, развела руками. Негде...— Была хата, да спалили... Теперь вот где гнемся, как кроты, в норе. Злодеи все спалили, все, что было, чтоб им свету не видать... Заходи, браток, в каморку, что ли.

Щербатюк снял фуражку и, согнувшись, осторожно спустился по земляным ступенькам в темный погребок, в котором он после яркого света сначала ничего не видел. Дети спустились вслед за ним.

— Посиди, браток, тут, на лавке... Какой день! Какой день!.. — заговорила она, что-то разыскивая у печки.

Генерал-майор сел и тогда только смог поднять голову. Шабуниха неожиданно поставила на стол бутылку, велела Вольке, сидевшей на ступеньках у двери, нарвать редиски. Волька охотно вскочила.

— Не надо, сестра, я сейчас должен идти...

— Успеешь,— твердо сказала Авдотья.— Без угощения негоже...

Когда Волька выбежала, в каморке посерело от света, пробивавшегося в проем двери. Генерал-майор мог теперь рассмотреть землянку. Печь, кое-как слепленная доморощенным мастером. У стола полати с разным тряпьем: они, вероятно, заменяли и скамью.

— Погляди, погляди, браток, на наше жилье. И то еще спасибо, что погреб был: покойный муж выкопал.

Волька принесла пучок редиски. Шабуниха старательно вытерла полотенцем кружку из консервной банки, налила из бутылки. Дети, не сводя глаз, следили за гостем.

— Чем богаты, тем и рады: лучшего у меня нет. Не прогневайся.

У Щербатюка захватило дух — самогонка была неожиданно крепкой. Волька, увидев, как гость зажмурил глаза, радостно засмеялась:

— Жгучая? Мамка от самой зимы ее бережет. Аж из Озерянов принесла.

— Э, какая это водка — слезы! И то, может, ничего, если б закуска... Не было у нас еще такой голи... Бывало, наедет гостей со всего света — у нас родня большая. Никто не обижался! Мой Змитро любил очень гостей. И следил строго — чтоб всем хватило и пить и есть. Чтоб не то что сказать, но и подумать плохого никто не мог...

Ее лицо помрачнело, как от боли, а глаза часто-часто заморгали.

— Плакать почему-то захотелось... — сказала она, как бы прося извинения.— Не от водки, а от радости... И от мыслей... Что мы тут пережили, перетерпели за эти годы! Никогда сроду не было лихолетья, как это... Увидела я такое, что не думала не гадала увидеть, и никому не желаю — ни брату, ни свату.

— Да, сестрица, горя хлебнули вы много...

Помолчав минуту, Авдотья не выдержала, заговорила снова:

— Беда, верно говорят, одна не ходит. В блокаде муж мой, Змитро, погиб. Партизанский командир был... Горевала я, когда узнала, страшно. А тут еще, как вернулась я на усадьбу — из лесу, из партизан, так и знаку не нашла от своей хаты,— один пепел. Заломила я руки, повалилась без памяти на землю... Ой, натерпелась! А в позапрошлом году и сами чуть не погибли от проклятых. Я тогда уже думала, что моему Андрею смерть будет. Сама с меньшими была как раз в поле, так нам ничего, удалось убежать. А Андрею только счастье помогло уцелеть, не иначе.

— Андрей наш тогда в хате сидел,— сообщила Волька.— И дед Хведор тоже. Как немец выстрелил в деда, так Андрейка прыгнул за печку. Тогда этот бросил гранату вслед. Только

наш Андрейка успел спрятаться. Граната как бухнет, на Андрейку как посыпятся камни, он сразу упал, испугался — страшно... По хате дым стелется, дышать не дает. Ну так наш Андрейка выскочил из окна — да в огород. А тот за ним — тр-тр из автомата вслед. Увидел, зараза. Тогда Андрейка упал, будто убитый, а сам ползком, ползком. Через тыквенник скорей в поле. Убежал от него! Прямо из-под носа убежал! Он смелый у нас, Андрейка! Такой смелый!..

— Андлей нась смелий,— отозвался Володька.

— Большое село было. Здесь больше наших Поплавов сел и не было... А изо всех Поплавов только человек пятьдесят, может, осталось...

Щербатюк был человеком впечатлительным. Он живо представил себе погожий летний день и дым, черной тучей вьющийся над хатами, гитлеровцев, гоняющихся за перепуганными женщинами, за стариками и детьми.

Авдотья снова налила кружку. Генерал-майор увидал в тусклом свете ее худую, но крепкую, с напрягшимися венами руку — она дрожала. Такая рука, привычная к работе, была когда-то у его матери, и такие же черные царапины на пальцах...

Шабуниха просила выпить еще, но Щербатюк отказался. Низкий потолок землянки начинал давить, самогонка жгла внутри. Угадав, что она может обидеться на то, что он отказался, Щербатюк мягко сказал:

— Не могу. Нельзя мне...

Она недоверчиво посмотрела на него.

— Нельзя.— Сказал с состраданием: — Слова ваши, дорогая, жгут меня больше огня.

— А ты не думай, браток, лишнее! — перебила она властно. — Беда — она беда, тяжелая она. А только когда думаешь про нее, так еще тяжелее. Жить вроде не мило... Жизнь-то, она и сама по себе не сладкая... А — надо жить. И надо про живое думать... Я вот сильно горевала по своему Змитру, а что с того?.. Хоть, правда, сердце не слушается, не выходит у меня из души Змитро... Но не надо горевать зря, не надо...

8

Авдотья хотела еще что-то сказать, но вместо слов послышался глухой, приглушенный всхлип. Щербатюк подумал, что она сейчас начнет вспоминать своего мужа и будет плакать. Это ему было не впервые. Но он ошибся: Авдотья ни словом не обмолвилась больше о своем горе.

— Аж не верится, что прогнали лиходея. Не дай бог, опять вернется. Тогда всех погубит... Скажи, родной, ты человек

ученый и, видно, из командиров: будет она опять тут, война?

Генерала не удивили последние слова женщины, он не раз слышал такой вопрос от бойцов.

— Не будет.

Она покачала головой:

— На моем веку тут уже третий раз.

— Не будет! — твердо сказал он с упрямой ноткой в голосе.

— Если б не было... Чтобы сынки были здоровы. У меня теперь только и мыслей что о них! Каждую ночь снятся. У меня ж два воюют — Андрей в партизанах, а второй, Левон, тот на фронте. Сегодня ночью видела во сне его, Левона. Будто шел по зеленому полю в белой длинной рубашке. Это, говорят, на доброе, радость какая-то будет: может, весточка от него. Чтобы хоть узнать, что живой! А может, сам заглянет домой, дай бог.

— Вот было бы хорошо! — вырвалось у Вольки.

— Было бы холосо!

Генерал поблагодарил за угощение.

Яркий свет летнего солнечного дня ударил в глаза, ослепил, и Щербатюк на минуту зажмурился. Открыв глаза, он увидал перед собой несколько прутьев, по которым, обвиваясь, ползли вверх нити фасоли, увидал десяток зеленых стеблей кукурузы, дальше — синеватый лесок и над ним спокойное, с высокими кучевыми облаками небо.

Шабуниха проводила его до улицы, держа на руках Володьку.

Заполняя улицу, шла кавалерия и противотанковая часть, приданная дивизии Щербатюка. Шабуниха внимательно всматривалась в лица проходящих солдат.

— Вот если б Левон был жив! Если бы пришел домой! Может, придется случаем где встретить — Шабуня по фамилии, так передай ему поклон. И скажи ему, если вдруг, значит, увидишь, чтобы написал, здоров ли. Или что случилось. Как есть, всю правду. Так и скажи.

— Так и сказы! — повторил Володька.

— Передам!

Вернувшись в машину, генерал-майор какое-то время сидел задумчивый и взволнованный. То, что он увидел и услышал, не уходило из сердца, угнетало, жгло. Не уходил из памяти вопрос ее: «Будет ли опять тут?», тревожный, недоверчивый взгляд ее. «На моем веку уже третий раз»... Чувствовал себя виноватым, вместе со всеми такими, как сам, тяжело виноватым перед ней. Не впервые чувствовал это, но боль все не отпускала. Потом думал о детях, с которыми уже больше года не виделся. Люся в этом году окончила десятый класс. Как она

сдала экзамены? Ну, за сыновей, особенно за Володю, можно быть спокойным,— все годы отличник... Вспомнилась Саша, Александра Сергеевна,— жена. Где-то ждет его, волнуется, а он так редко радует ее письмами.

Надо сегодня же написать. Так долго не писал им,— сухарь, бюрократ! ..

Он резко изменил направление мыслей.

— Что слышно из полков? — спросил он у подполковника, молча наблюдавшего за ним.

ГЛАВА IV

I

Уже около двух часов в поселке шел бой, а немцы все не сдавались.

Хмурый и злой Ермаков, слушая частую перестрелку, которая не только не утихала, но даже крепла, нетерпеливо бросил Габдулину:

— Ну, черт, сколько возиться с этим селом! .. На что они, эти недобитые, надеются? Думают отсидеться или боятся сдаться?

— Сдадутся, никуда не денутся,— спокойно ответил Габдулин.

— Возиться сколько приходится! .. — Спокойствие Габдулина будто подогревало раздражение Ермакова.

Габдулин отозвался невозмутимо:

— Это им не апрель — не блокада!

Ермаков промолчал.

Они стояли в огороде, возле какой-то деревянной постройки. Неподалеку горел дом, подожженный немецкими минометчиками, и оттуда, едва Ермаков высовывался из-за строения, полыхало жаром.

— Передай командиру отряда, пусть снова атакует,— сказал комбриг связному.

Связным был Андрей Шабунек. Он казался себе одной из самых главных фигур в этом бою, конечно после комбрига, Туровца и Василя Крайко. Андрей был безмерно горд своей ролью и счастлив.

Он сразу бросился выполнять приказ комбрига.

Впереди и с обеих сторон вспыхивали автоматные очереди, взрывались гранаты... Ермаков, находившийся почти в самом пекле боя, видел, как ползком через гряды и огороды, мимо построек стали пробираться его люди. Они исчезли по ту сторо-

ну построек: сейчас оттуда доносились взрывы гранат и выстрелы.

Прибежал связной из «Родины» и доложил, что немецкий пулемет не удается подавить и что роты залегли. Командир отряда просит помощи минометчиков...

— Скажи, минометов не дам. И вообще — пусть пока не атакует. Не надо... Пусть только так, для вида, шумит, чтобы немцы побаивались... Обожди! — задержал Ермаков связного.

Он из полевой сумки выхватил блокнот, вырвал листок. Прислонившись к стене, торопливо набросал на листке несколько слов. Связной светил ему.

Едва связной исчез за забором, Габдулин передал обрадованно:

— Школу взяли, Ермак!

Эта школа беспокоила комбрига: оттуда был широкий обзор для немецкого наблюдательного пункта. Перед домом был пулемет,— теперь он молчал.

Ермаков перешел с Габдулиным и тремя связными вперед. Взяли еще несколько домов. Один, второй. Медленно...

Но ничего, Ермаков выбьет, непременно выбьет эту шваль отсюда! Правда, их много набилось сюда за последние дни, но он выбьет их! Должен выбить, во что бы то ни стало! Поселок небольшой, наполовину разрушенный, но стоит на пути. Если бригада займет его, она перережет гитлеровцам важную дорогу...

Ермаков приказал перенести минометы к школе, повернуть в сторону парка: подавить пулемет и автоматчиков.

Он сам следил, куда попадают мины. Сердце артиллериста не выдержало, когда увидел, что минометчики промахнулись.

— Опять рвутся слева. Куда они бьют?.. Правее, правее надо!..

Он стал командовать сам. Перебрался через несколько дворов вперед, ближе к парку.

Скоро пулемет стих, но через несколько минут объявился в другом месте. Возле минометчиков стали рваться вражеские мины. Ермаков приказал переменить позицию, дал новый прицел и угломер.

Комбриг увлекся стрельбой: он стрелял до тех пор, пока пулемет не затих.

Когда Ермаков вернулся к Габдулину, прибежал довольный связной и передал — наши в парке!..

Стрельба прекратилась. Над хатами, садами, пожарищами вместе с утренним сумраком медленно таял дым.

На перевязочном пункте, обосновавшемся в хате с разбитыми окнами, по-прежнему властвовала озабоченность. Мария

Андреевна, обвязав марлей черные волосы, нос и рот, оперировала молоденького русоволосого парня. У него пулей была раздроблена кость ниже коленного сустава.

Мария Андреевна, наклонившись, вынимала пинцетом из раны, которую все время заливала кровь, белые обломки кости. На лице парня, рядом с крапинками веснушек, вздрагивали мутные капли пота. Он время от времени стонал.

— Потерпи еще немного, милый, хороший мой... Уже немного осталось... Уже скоро, совсем мало... — шептала она нежно и вновь склонялась над ним с пинцетом в тонких пальцах.

На лице ее, в опущенных темных глазах, меж бровей, были то выражение сосредоточенного внимания, то сочувствие, то материнская нежность.

— Ну вот, видишь, не так страшно, как казалось! ..

В такие минуты особенно проявлялось то, что так нравилось в ней Туровцу,— удивительная мягкость, чуткость, казалось сквозившие в каждом ее движении.

Марии Андреевне помогала Валя Залесская. Она делала все, что следовало, с каким-то горделивым видом, как бы небрежно, но на редкость удачно. Будто заранее угадывала приказы врача.

К раненым Валя относилась иначе, нежели Мария Андреевна: она была, можно сказать, своенравной и даже деспотичной. Валя могла приказать раненому, чтобы он сейчас же замолчал, а не стонал, как баба, могла строго, грубовато отрезать, если кто-либо просил о недозволенном,— и ее слушались. И не только слушались, а любили и уважали,— наверное, за то, что она девушка, красивая, молодая, да еще такая умелая.

Она хорошо знала свою власть и силу, командовала, как хотела.

Едва Мария Андреевна кончила бинтовать ногу, Валя, не ожидая просьбы, подала ей шину.

Мария Андреевна стала прилаживать шину к забинтованной ноге,— Валя привычно помогала ей все с тем же гордым видом.

— Ну-ну, застони! — строго глянула она на парня, который морщился от боли.

Мария Андреевна метнула на нее укоряющий взгляд. Придерживая шину, сказала партизану ласково, с сочувствием:

— Потерпи, хороший мой... Уже кончаем!

Окончив перевязку, она устало выпрямилась, отошла от стола, с которого только что сняли раненого, начала неторопливо снимать забрызганный кровью фартук.

Прислушалась к шуму, входившему в пустые окна.

На небольшой мощеной площади, посреди которой, задрав ствол, стояла зенитка, вокруг которой чернели стены и печи

сожженных домов, бродили шумные, говорливые группы — жители и партизаны двух бригад, вместе бравшие поселок. Взлетали над площадью веселые припевки. Кто-то озорно, скороговоркой выводил:

А в поселке у ворот
собирается народ,
прут фашисты в наступленье,
только... задом наперед!

2

Ермаков не испытывал полной радости. Как ни горд он был победой, он понимал, что все, чего они добились, пока весьма непрочно.

Он предвидел, что немцы не примирятся с тем, что дорога перерезана. Чувствовал, что удержать поселок в своих руках, вероятно, будет труднее, чем было взять. Почти уверен был Ермаков, что следует ждать боя, и боя нелегкого.

Он сразу же, еще в то время, когда поселок хороводил весельем, начал готовиться к новому бою.

Большинство своих рот и почти все минометы и трофейные пушки он расположил на окраине, со стороны которой подходила к поселку широкая лента дороги. Здесь, предполагал он, придется тяжелее всего: гитлеровцы изо всех сил будут стремиться возвратить дорогу... Другая бригада должна была защищать поселок с северной стороны и с противоположной окраины, где дорога выходила в поле.

Ермаков устроил командный пункт в кирпичной клетушке какого-то полуразрушенного магазина.

Через каких-либо полчаса после того, как Мария Андреевна видела ликующую толпу, комбриг и Туровец на новом КП, присев на пустые ящики, закусывали. Перед ними на таком же ящике стояла банка трофейных консервов.

В оконном проеме виднелась дорога, бежавшая дугой к лесу,— она тускло серела между зелеными полосками картошки и желто-сизыми участками ржи.

Вдали еще слышалась минометная стрельба. Это вел бой заслон, которым командовал Дрозд; в нем был со своим взводом и Василь Крайко. С самой полуночи, когда началось наступление на поселок, они сражались у дороги с гитлеровцами, что стремились прорваться к поселку.

— Жарко Дрозду,— сказал Ермаков, доставая ложкой мясо из консервной банки.

За время, прошедшее после блокады, Ермаков заметно пополнел, и на его лице появилось несвойственное ему прежде выражение какой-то мягкости,

Туровец хмурил брови над цыганскими глазами, будто хотел что-то понять, но не мог.

— Сильно жмут их... И знаешь, мне кажется, наших обходят. Видно, хотят окружить...

— Не окружат! — Но в голосе Ермакова слышалась тревога, которую он не мог заглушить.

— Не окружат? Ты уверен?

Переспросив, Туровец, как всегда, посмотрел на Ермакова, будто оценивая его слова.

— Может, и не окружат, а может? Круто им будет, если окружат! У немцев там может подобраться очень много разного сброда. Сделают Дрозду мешок. Надо вывести «председателя», пока не поздно...

В комнатушку вбежал Лехора, отрапортовал, что прислан Дроздом.

— Вот хорошо! Как раз вспоминали вашего командира. Ну, что там у вас?

Лехора ответил, что немцы стремятся окружить роту, что сдерживать их одной ротой невозможно.

— Пусть будет по-твоему, комиссар.— Ермаков застегнул пуговицы на тугом воротнике, повернулся к Лехоре, решительный, быстрый: — Лети туда и передай: пусть отходят, сейчас же отходят! А фрицев — пропустить. Я их встречу!.. Понял? Повтори! Правильно...

Лехора выбежал из комнаты. Ермаков в окно видел, как он мчится на лошади по мосту, затем по зеленому выгону за речкой назад к лесу.

Ермаков окинул взглядом свои позиции, дополняя воображением то, чего не видел.

Партизаны сидели в окопах по обе стороны дороги на окраине. За последними хатами вилась узкая речушка, возле которой в прибрежных кустах и на дворах пока молчали три замаскированные пушки. Они стояли на прямой наводке. Неподалеку во дворе подымали свои трубы невидимые отсюда минометы, любимые помощники комбрига.

Ермаков позвал связных.

— Сообщите командирам: прибывают «гости»... Пусть подготовятся принять. Встречать, передайте, по всем законам, не жалея добра! Пусть ждут сигнала. Сигнал они знают — выстрел из пушки. Вот и все! Ступайте!

Ермаков впился глазами в даль. Наконец комбриг увидел, как из-за деревьев показалось на дороге несколько машин. Они начали постепенно приближаться... Скоро можно было уже различить бронетранспортеры, грузовые машины...

Ермаков взял трубку единственного телефона, связывавшего его с минометчиками и орудиями. Когда передние маши-

ны подошли метров на двести к речке, он коротко скомандовал:

— Давайте! Огонь!..

Неподалеку сразу раскатисто ударила пушка. Ее поддержала вторая, третья... Началось!

3

— Все вернулись? — спросил Туровец Дрозда.

Они были во дворе, обсаженном старыми кленами, неподалеку от бригадного КП. Возле хаты и под кленами сидели, лежали десятка полтора партизан, занимавшихся кто чем. Говорили, курили, прислушиваясь к стрельбе, осматривали оружие. Один из них, пожилой, с загорелым малиновым затылком, дремал. Они только что переправились вброд через речку и присоединились к своим. Комбриг пока держал их в резерве.

— Убитых нет... — Дрозд поправился: — Пока не было. Не могу точно сказать, не все еще вернулись.

Дрозд бросил недовольный взгляд на Лехору, тот торчал неподалеку, прислушиваясь к разговору.

— Кто не вернулся?

— Крайко и еще три бойца,— ответил за Дрозда хмурый Лехора. Вмешавшись без разрешения в разговор, он сразу же козырнул виновато: — Прошу извинить...

— Остались... прикрывать...

Дрозд рассказал, что для того, чтобы вырваться из почти полного окружения, надо было оставить заслон, который отвлекал бы внимание гитлеровцев на себя. Командовать этим заслоном попросился Крайко. С ним остались еще трое парней.

Дрозд объяснил им, сколько надо держаться, где отходить и переправляться через речку. Он жалел, что приходится поручать это опасное дело Василю, но успокаивал себя тем, что Крайко может справиться лучше других.

Отходя, Дрозд слышал там, где остался Василь, стрельбу... Потом, когда они уже переправились на этот берег, их догнал один из партизан заслона. А Василь и двое других не пришли. Вот и все, что может сказать Дрозд. Где Василь и двое остальных, что с ними,— неизвестно.

— Жаль, если пропадут хлопцы,— сказал Туровец. Ему почему-то вспомнилось, как несколько дней тому назад Крайко передал ему исправленную рацию. Парень признался, что почти месяц бился, пока не разобрался во всем, нашел нужные детали...

— Как только будет возможность, пошли на их поиски... Может, ранен...

Лехора словно ждал этого:

— Разрешите мне с отделением, товарищ комиссар... — Ему недавно дали отделение.

Лехора держал руку у козырька, ожидая с таким видом, будто готов был сейчас же броситься туда. Туровец знал, что это не рисовка: Лехора показал себя очень смелым в бою, к тому же они с Василем были хорошими друзьями.

Туровец не ответил. Он заметил с беспокойством — ко двору направляется Валя Залесская. «Знает она, что с Василем, или нет?» — мелькнуло в голове комиссара.

Прижимая к груди кулачок, Валя почти бежала, белый платочек сбился с головы на шею, и ветер трепал волосы. Туровец издали определил, что она очень встревожена.

Валя подбежала к Дрозду, взволнованно поправила платочек.

— Это правда... Что о Васе говорят?

— А что о нем говорят? — спокойно спросил Дрозд. Было заметно: нарочито спокойно.

— Будто он остался в лесу!

— Правда.

Валя прикусила губу и с отчаянием взглянула на Туровца. Ее запавшие глаза выражали такое беспокойство и горе, что Туровцу стало жаль ее.

— Как же это, товарищ комиссар, его одного оставили?

Дрозд ответил первым, устало прижмурив глаза:

— Не одного, а с группой партизан... Надо было, вот и оставили.

— Надо было! Оставили! — Валя до боли сжала кулачок. — Погубили!

— Почему — погубили? Это неправда, Валя! — косо взглянув на Дрозда, мягко сказал комиссар. — Зачем ты выдумываешь такое? Ну, пусть еще ничего не известно. Но я уверен, что он жив. Вот чувствую — он жив! Такой парень, Валя, не может пропасть!

— «Не может»! Пули не разбирают!..

— Пули не разбирают. Зато человек разбирает... Там и оставили такого человека, который умеет перехитрить пули. Смелого и рассудительного...

— Какой же он рассудительный! Он иногда такой неосторожный, прямо ужас! Как загорится, так ничего не остерегается...

— Нерассудительный? Ты не знаешь его, Валя... Он в бою очень рассудительный... С головой парень!.. Вот увидишь, вернется! — комиссар говорил так уверенно и сердечно, что де-

вушка невольно поддалась его убежденности.— Василь не вернется? Выдумает же!

Валя немного успокоилась. Но когда она шла назад к медпункту, тревога снова начала охватывать девушку. Неужели сейчас, когда уже близко счастье для всех, к ней придет такое горе? Неужели он, отчаянный, ревнивый, любимый, погибнет?! В эти последние дни!

Нет, не должен он погибнуть! Она ведь так любит его. Разве может солнце всходить, если его не будет! Разве может день быть светлым, если с Васей случится несчастье: все потемнеет вокруг для нее. Нет, ему надо жить! Она ведь так любит его. Разве еще кто-нибудь любит так, как она Василя,— никто на свете. И наверное, ни у кого так не болит по нему сердце, как у нее...

На медпункте тревога не покидала ее. Валя не могла ничего делать — за что бы ни бралась, она думала о Васе. Он все время был с ней, как никто, близкий; все время не выходило из головы: что с ним? Где он? Вспомнилось, что еще только позавчера шли по тихой лесной дороге, плечом к плечу, и Василь, глядя на колеи, рассказывал, как скрывался в лесу, когда бежал из немецкого лагеря, как погано было одному среди черных зарослей, как собирал и ел желуди, как потом вынул недогоревшую головешку из оставленного костра у леса, берег огонь в мокрой чаще. Закоченевший, вымокший под дождем, чуть согревался у костра. Тайком копал за лесом картошку, пек ее. Бедствовал, оборванный, одичавший совсем...

Чего только не пережил, сколько ужасных, смертельных опасностей избежал, и вот в последние дни такая нелепость, такая неудача!

Валя не выдержала: она пойдет искать его. Может, ему как раз нужна помощь — может, он сражается в лесу или лежит раненый...

Она расспросит партизан, где он остался,— и пойдет!

— Мария Андреевна, пустите! — попросилась Валя у врача.— Может, он там ранен... Его надо скорее найти...

— Куда ты пойдешь, Валюша? Ты сама погибнешь...

— Не погибну... Мария Андреевна! Отпустите! Не бойтесь за меня! Все будет хорошо.

— Не могу, Валюша...

4

Валя недаром тревожилась. Будто чувствовало ее сердце, как трудно приходится любимому парню.

Сразу после того, как Дрозд со своей ротой отступил, гитлеровцы отрезали небольшой заслон и стали окружать его. Пар-

тизаны постепенно отступали, перебегая от дерева к дереву, сворачивая,— пробовали вырваться из петли, которая все сжималась. Лес наполнял треск автоматов.

Лесное эхо удваивало, разносило звуки выстрелов.

Слушая эти звуки, можно было подумать, что здесь сражается не один взвод. Василь едва не наткнулся на автоматчика, забравшегося к ним в тыл, но вовремя заметил его и отскочил от дерева: автоматная очередь прошла очень близко. На траву посыпалась кора. В следующую секунду автоматчик сам валялся на траве, крича на весь лес...

Позже автоматной очередью был убит один из заслона.

Теперь они отбивались втроем. Но в ольховых зарослях их как-то разделили, и Крайко остался один.

Перед глазами Василя из-за ольшаника неожиданно сверкнула чистая полоска. Вода. Он догадался: это — речка! Парень с жадностью огляделся: за речкой расстилался голый кочковатый выгон, на котором виднелось только несколько чахлых кустиков.

Куда же теперь отступать? Туда — к реке, на выгон?.. Нет, туда не надо бежать. Нельзя туда. Там — гибель... Если немцы не застрелят, пока он будет перебираться через эту проклятую речушку, то пуля догонит его на тех кочках.

Эх, черт, что же делать? Он снова огляделся,— может, броситься влево? Но он хорошо знал, что там немцы. Направо? Там он слышал автоматные выстрелы. Что же он стоит? Надо скорее решать!

Словно подгоняя Василя, из-за лозняка поблизости донеслись до него голоса немцев.

Он направил в ту сторону автомат и нажал спусковой крючок. Голоса утихли. Оттуда ответили двумя очередями. С верхушки куста посыпались на Василя, на влажную траву листья...

Патронов уже мало. Он с отчаянием посмотрел на свой трофейный автомат.

Василь лихорадочно искал выхода, но ничего придумать не удавалось. Неужели нет выхода?.. Только одно: стрелять, пока есть еще немного патронов? А потом лежать здесь на траве, не видя ни ее, ни голубого неба. Никогда не встретиться с друзьями, с Валей...

С этим Василь никак не мог примириться, ему даже думать не хотелось о смерти. Опасность вызывала в нем такую жажду жить, что он был готов на любой поступок...

И вдруг он нашел выход. Это был неожиданный и рискованный план, но Василь ухватился за него. Что ж, у него не было выбора. Парень окинул взглядом чужой серо-голубой мундир, в который он был одет. Снял пилотку с вишнево-красной звездой, свернул и положил в карман.

Он еще попробует вырваться! Вот если это не удастся, тогда не останется никакой надежды — тогда последний патрон в автомате — себе...

Парень, пригибаясь, бросился вдоль берега. Отбежав шагов на пятьдесят, он остановился и выглянул из лозняка.

Прямо на него шел солдат. Он был близко.

Дальше, в стороне от него, Василь заметил еще двоих.

Гитлеровец, увидев Василя, настороженно поднял автомат.

Василь сразу выпрямился. «Не волноваться, не волноваться... Спокойнее, спокойнее! ..» — стучало в груди сердце.

И он старался быть спокойным, неторопливым. Сейчас, когда ему было хорошо известно, что делать, он действовал с необычайной рассудительностью. Он хорошо чувствовал, чем сейчас рискует. Голубые глаза его были непривычно холодными.

Немец, готовый крикнуть «хальт!», увидев перед собой серо-голубой мундир, заколебался. Но еще больше подействовало на солдата то, что этот загорелый, светловолосый незнакомец был совершенно спокоен. На его лице нет ни следа беспокойства или испуга. Так уверенно может идти только свой.

Солдат, однако, о чем-то спросил. Из всего, что он сказал, Василь понял только одно слово «warum».

Ничего не говоря, парень по-прежнему приближался к немцу. Солдат отступил на шаг назад, угрожающе крикнул:

— Wer ist du?! Halt! [1]

— Их бин... — стукнул себя в грудь парень, но что сказать дальше, он не знал.

Гитлеровец был рядом: усталые злые глаза, обросший, небритый подбородок, раскрытый, ощеренный от крика рот.

Медлить было нельзя. Василь, до этого казавшийся беззаботно-спокойным, вмиг переменился. Рванулся к гитлеровцу, изо всех сил ударил по рукам, державшим автомат.

Одним выстрелом прикончил солдата.

Теперь — бежать. Схватил автомат убитого и изо всех сил, пригнувшись, петляя, помчался дальше, в лесок.

Он, как сквозь сон, слышал сзади стрельбу, крики, чувствовал, что это гонятся за ним.

«Только бы не ранили в ногу»,— проплыло в голове. Он на минуту остановился и выпустил очередь навстречу гитлеровцам.

Скоро пришлось свернуть. Впереди меж деревьями стала видна дорога, по ней ползли повозки. Это были немцы. Ничего не оставалось, как побежать вдоль дороги.

Но и здесь он вскоре вынужден был остановиться. Впереди

---

[1] Кто ты?! Стой! (нем.)

парень увидел несколько грузовых машин, стоящих меж дубов и мелкого лесного кустарника.

Возле грузовиков двигались, переговаривались немцы.

Василь сразу остановился.

Чувствуя, как тоскливо сжимается сердце, он метнул взгляд вправо, влево. Справа лесок кончался, виднелось запущенное, заросшее сурепкой поле, по которому вдалеке шла дорога... Убегать некуда.

Василь прижался к шершавой коре дуба. Приготовил автомат.

ГЛАВА V

1

Вдоль дороги были полосы ржи. Когда набегали порывы ветра, по верхушкам ржи ходили сизые волны, будто по воде.

За гусеницами вихрилась белесая пыль, тучей поднималась над дорогой. Оседала на броню шедших вслед машин, забивала танкистам и автоматчикам глаза и уши.

Алексей, выбирая на платке места почище, изредка вытирал ресницы, что от толстого слоя пыли становились тяжелыми. Платок был серым от песка и пыли.

До городка, в котором накануне авиаразведка обнаружила немецкие танки и артиллерию, оставалось не более пятнадцати километров. Если бы все было хорошо, батальон через полчаса подошел бы к окраине. Но теперь каждому было понятно, что бой — и, видимо, нелегкий — неминуем.

Алексею вспомнился разговор с Гогоберидзе, тот вчера сказал старшему лейтенанту:

— Теперь, Алексей, двинемся на Минск, как по асфальту с горы. Без остановки, и все — быстрее, быстрее!.. Знаешь, как ехать вниз по асфальту, когда ветер свистит в ушах? И шины свистят. Чудесно! — Глаза Сандро заблестели от восторга.

— Говорят, тогда надо хорошо следить за дорогой и... держать тормоза.

— Конечно! — не понял Сандро.— А-а, это камешек в сторону разведки?! Не увлекаться?! Следить и быть наготове? Будь спокоен, дорогой Алексей, буду следить всеми глазами моего взвода!

— Во-во! Следи!.. А то как бы тут не пришлось включить тормоза...

Впереди, там, где проходила головная походная застава, зазвучали частые взрывы. Алексей сразу прислушался, по звукам взрывов он определил, что стреляют полевые пушки.

— «Гроза»! — услышал он торопливый голос в шлемофоне.— Я — Гогоберидзе! .. Из леса бьют орудия. Пока обнаружил четыре орудия. Останавливаюсь... «Гроза», какой будет дальнейший приказ? Какой будет приказ?

Алексей приказал ему занять удобный рубеж и разведать противника боем.

Остальные роты по команде Алексея сразу начали перестраиваться в боевой порядок и продолжали, не останавливаясь, приближаться к головной походной заставе.

Километра через полтора Алексей остановил и их...

Надо было, перед тем как ринуться в бой, хорошо разведать, какие противостоят силы. Алексей и теперь, после всех успехов, действовал осторожно. Он предчувствовал, что здесь, под Минском, немцы еще раз попытаются остановить наши войска.

Он вызвал по рации Гогоберидзе:

— «Молния», «Молния»... Доложи, что там у тебя.

Гогоберидзе сообщил, что на опушке леса он уже обнаружил около десятка пушек, несколько танков; у немцев здесь есть и пехота, не меньше роты; противник занял заранее подготовленные окопы...

Алексей собрался поехать к Гогоберидзе, увидеть все своими глазами, чтобы решить, как наступать дальше. Перед отъездом он доложил об обстановке Бессонову.

— Обожди,— вдруг приказал командир бригады.— Скоро сам буду у тебя! .. Кстати, есть новость для тебя.

— Какая новость, товарищ гвардии полковник?

— Услышишь. Приеду — сообщу...

Что за новость? По тону речи Бессонова он почувствовал, что новость хорошая. Хотя Бессонов и сообщил о ней довольно сдержанно. Как бы недовольно. Это в его манере... Сообщение полковника явно разожгло у Алексея любопытство. Но он постарался отогнать приятные разгадки, не желая разочаровываться потом.

Из того, что комбриг накануне боя едет не к другим комбатам, а к нему, старший лейтенант сделал вывод, что его батальон, видимо, будет наносить основной удар.

Где-то вблизи закуковала кукушка: «Ку-ку, ку-ку».

Костюченко начал считать:

— Один, два... пять...

Алексей вспомнил, как когда-то, маленьким человеком, сам с увлечением и трепетом считал эти загадочные «ку-ку».

Когда на «тридцатьчетверке» подъехал командир бригады, кукушка все еще насчитывала Костюченко годы — ишь ты, какая щедрая!

Неизвестно, сколько она напророчила бы Костюченко жиз-

ни, но в той стороне, где она считала, в лесу вдруг грохнуло несколько сильных взрывов. Только что соскочивший с машины, оживленный, командир бригады пытливо прислушался, обратил к танкистам веселое лицо:

— Что за шум, а драки нет, гвардия?

— Есть шум,— видать, будет и драка,— ответил Алексей.

— Да, наверно, не миновать. Но нам, кажется, не привыкать!.. Да, сегодня здесь может быть горячо. Жарко! Авиация обнаружила немало танков и артиллерии.

Он бросил на Алексея быстрый проницательный взгляд.

— Небось ждешь новости? — будто недовольно спросил. — Магарыч с тебя. Приказ получили. Присвоили капитана. Поздравляю!..

Он пожал Алексею руку, крепко, жестко. И лицо, красное, с широким носом и тяжелым подбородком, обветренное лицо было строго.

— Спасибо, товарищ гвардии полковник!

— Выходит, у тебя праздник сегодня!.. Да вот — праздновать некогда.— Он кивнул Алексею на его машину: — Садись, посмотрим ближе, что там творится...

Бессонов и Алексей на танках двинулись вперед. Проехав километр-полтора, остановили «тридцатьчетверки» в небольшой лощине, возле дороги. Здесь трепетало на ветру несколько тоненьких островерхих березок с блестящими листьями, над буйной зеленью травы повсюду поднимались кисточки метлицы.

Бессонов повел взглядом по полю, над полосками ржи в разных местах поднимались кусты, молодые деревья. Вдруг произнес озабоченно:

— Зарастает поле. Дичает...

— Хозяев нет...

Бессонов прислушался. Вблизи, немного в стороне и впереди, вели перестрелку с немцами танки бригады.

Сопровождаемые адъютантом и автоматчиком, полковник и Алексей взошли на пригорок. Автоматчик поставил оружие на боевой взвод — на тот случай, если вдруг, чего доброго, случится наткнуться в жите на вражеского солдата; зорко оглядывал поле, оберегая командира бригады, шедшего спокойно и уверенно.

Алексей хорошо знал отвагу Бессонова. Однажды, когда в поле в самый разгар боя пехотинцы начали отставать от танков и жаться к земле, Бессонов вылез из своей командирской машины и, размахивая пистолетом, принялся сам поднимать солдат:

— Встать!.. Встать!.. Вперед! За мной!

Ободренные его бесстрашием, пристыженные, пехотинцы

оторвались от земли. Пока не ворвались в немецкие траншеи, полковник бежал среди солдат.

Пули его не брали, словно заколдованного. За всю войну его только однажды ранило, еще под Москвой.

Смелость Бессонов считал главным качеством солдата: трусов он презирал больше всего на свете, отважных любил и ценил. Вообще Бессонов определял людей по тому, какие они солдаты. Ему — как отцу — в этом, можно сказать, не повезло: все его шестеро детей были девочки. Алексей слышал, как Бессонов, рассказывая о них, жаловался: «Ни одного солдата! Убьют — и заменить некем!»

С пригорка открывался лес в отдаленье. За зыбкой поволокой марева лес казался синевато-черным.

Полковник, стоя во ржи, доходившей ему до пояса, молча и хмуро вглядывался в лес, словно стремясь предугадать, что он таит, осматривал полосы хлебов, подходившие к опушке. Отсюда до леса было меньше трех километров.

Алексей тоже вглядывался в лес, изучал взглядом местность перед лесом,— сам того не замечая, привычно определял, где и как надо будет вести машины, если придется здесь наступать...

Вверху послышался, быстро приближаясь и усиливаясь, свист снаряда.

И-и-и-в-ва-а! В-ва-а!.. — почти одновременно два раза взорвалось вблизи.

Адъютант Бессонова оглянулся: возле того места, где они недавно шли, клубились два синеватых дыма; медленно ползли в сторону и редели. Адъютант забеспокоился, не заметили ли немцы их на пригорке, хотел посоветовать Бессонову отойти на менее опасное место, но сдержался. Знал: полковник не примет совета.

— Значит, твои разведывают здесь, слева,— произнес Бессонов, не глядя на комбата. Полковник приказал адъютанту подать карту, развернул ее, начал изучать.— Передай Близнецу,— бросил он адъютанту,— пусть прощупает пути в обход леса — справа...

Близнец был командиром разведки бригады.

Адъютант бегом устремился к «тридцатьчетверке» полковника.

Бессонов всем корпусом повернулся к Алексею. Взгляд мутноватых, как осенние тучи, глаз был холоден, тяжел.

— Я думаю, у них здесь оборонительный рубеж. В лоб на них лезть глупо, надо ударить сбоку или с тыла. Сил у них, кажется, не так много, чтобы хорошо укрепить фланги... Если это так, то я, может быть, тебя и пошлю туда в обход. Ну что же, подождем — что скажет разведка.

Он сорвал еще недоспелый колосок, начал мять его на шер-

шавой ладони. Попробовал вышелушить — зерна были водянистые.

— В сорок первом богатый был хлеб! — сказал он вдруг.— На токах целые горы, а вывозить не на чем... И в поле — стеной... Не видел, как горит хлеб?

— Видел, товарищ гвардии полковник...

— Сами жгли...

Бессонов, будто спохватившись, что говорит не о том, насупился недовольно.

— А Саркисяна с самоходками я поставлю там... — он повернул лицо к полю по другую сторону дороги, где зеленело несколько полосок картофеля и желтым озером красовалась сурепка.

Саркисян был командиром дивизиона самоходок, приданного бригаде.

Полковник стал спускаться в лощину к «тридцатьчетверке». Сейчас здесь стояла еще одна машина, видимо штабная, и десяток автоматчиков.

— А ну, давай Саркисяна! .. — приказал Бессонов радисту.

Возвратясь к своему танку, Алексей спросил, что нового сообщили разведчики. Быстров, стоявший у люка водителя, сказал, что в лощине возле леса обнаружен сильный танковый заслон. Гогоберидзе увидел в бинокль несколько машин. Стоят замаскированные и пока не отвечают на огонь наших танков...

— Ну, что у твоих разведчиков? — подошел Бессонов.

Услышав ответ, он велел Алексею продолжать разведку:

— Прикажи Гогоберидзе, пусть возьмет левее от дороги. Надо прощупать подступы к деревне Корзюки. Посмотреть, как они там себя чувствуют. А батальон собери в кулак — будь наготове...

Минут через пять Алексей увидел в поле приземистые, с квадратными башнями и тяжелыми стволами, самоходки. Саркисян выходил на огневой рубеж.

Вскоре Алексей услышал близкую стрельбу — самоходки завязали с немецкими батареями, стоящими на опушке, перестрелку.

Бой усиливался.

2

День выдался ясный, солнечный. Алексей внезапно услышал, что где-то над рожью поет жаворонок. Он не поверил, прислушался: в перерывах между взрывами в вышине рассыпался серебристый звонок...

Ишь ты, какой смелый!

В небе стояли белые ватные облака. Солнце, начавшее спускаться на запад, еще сильно жгло. Вокруг Алексея недружно поднимались беловатые стебли ржи, среди них кое-где вилась повилика, лезло из земли разное мелкотравье; под ногами ощущалась мягкая, податливая, высушенная солнцем почва.

Эта мягкая земля, ползучая повилика, беловатые усатые стебли, песня упрямого жаворонка были для него безмерно дорогими, родными. Он весело спросил у Костюченко, сколько лет накуковала ему кукушка.

— Да что-то около сотни,— вставил Быстров.

— Ого, праправнуки будут на руках носить,— Алексей улыбнулся.

На душе у него было светло. Даже когда он думал о Минске, тревога, вопреки обычному, не давила сердце,— он почему-то был уверен, что все будет хорошо.

Как он сейчас близок к Минску. Кажется, что очертания родного города скрыты сразу же за лесом, заманчиво синеющим перед глазами. Только минуешь его, этот лесок, кажется,— и сразу увидишь такие знакомые улицы и дома. У Московского шоссе, под Минском, есть точно такой сосновый лесок, похожий на этот, как родной брат.

Комбат все время следил за своей разведкой, держал связь с ротами, наготове стоявшими сзади.

Вот-вот Бессонов может дать приказ — идти в атаку. Начнется бой. Он, наверное, будет нелегким...

Это будет первый бой, в котором капитан поведет не одну роту, а целый батальон. Алексей командовал батальоном на марше, но вести бой батальоном ему еще не приходилось.

А бой — это испытание. Экзамен, трудный экзамен.

Справится ли он, Алексей? Хватит ли у него умения и опыта? Главное — держать под присмотром все роты, следить за всеми, направлять их... Правильно выбрать место для основного удара...

Не ошибиться бы в чем-нибудь, сберечь людей и не погубить машины!..

Было очень жарко и душно,— мысли шевелились тяжело, непослушно...

От жары пересохло в горле. Алексей оглянулся на Солнцева, тот с сонным видом сидел на бровке дороги, скучающе пробовал, как держится подошва на сапоге.

— Достань бачок с водой.

Водитель по пояс залез в люк, вытащил плоский, с ободранной краской бачок и подал капитану.

Алексей поднес бачок ко рту,— вода была неприятная, теплая и, казалось, пахла краской. Выпив два глотка, Алексей стал закручивать крышку.

В эту минуту радист крикнул ему:

— «Буря» вызывает, товарищ комбат!..

Бессонов приказал отвести батальон назад, к развилке дорог, где он покажет дальнейший маршрут...

На перекрестке Алексей снова увидел командира бригады. Здесь стоял крытый грузовик с бригадной рацией, два танка и газик комбрига. Рядом с Бессоновым был еще полковник, начальник штаба, высокий, стройный, с красивой черной бородой.

— Отсюда сразу повернешь круто вправо,— начал Бессонов, едва Алексей подошел к нему. — Достань карту. Вот твой маршрут... — Он толстым пальцем показал, где Алексею надо вести танки, скупо, точно сообщил о данных разведки.

Вскоре танки батальона мчались по узенькому проселку, по полю. Алексей вел их почти вдоль леса, которого из-за пригорка не было видно. Вел на третьей скорости. Надо было обойти позиции, где укрепился противник, быстро и незаметно.

Первой начала бой третья рота. Несколько танков роты наскочило на вражеских пехотинцев, сидевших в траншеях, скрытых в молодом сосняке-посадке. Хотя появление танков было неожиданным, гитлеровцы не растерялись, попробовали отбить атаку. Но танки атаковали так напористо и смело, что немцы в сосняке не устояли.

Траншеи начали быстро затихать...

Когда танки вошли в сосначок, в траншеях и окопах валялись только трупы и раненые да торчали брошенные минометы.

Алексей сразу послал машины дальше, стремясь не давать противнику передышки. Вскоре командир третьей сообщил, что атаковал батарею гаубиц и что застал ее врасплох. Немцы, конечно, слышали выстрелы, возникшие в стороне сосняка, но, должно быть, не знали, что там происходит; они по-прежнему продолжали бить по невидимой дороге. Когда танки наскочили на них, жерластые, коротенькие гаубицы смотрели стволами не навстречу им, а в сторону.

Командир третьей говорил, что немцы даже не успели развернуть гаубицы. Бросив их, начали разбегаться кто куда, некоторые подняли руки...

3

Алексей шел с ротой Алиева, наступавшей левее третьей.

Здесь бой был труднее. Здесь противнику не только удалось удержаться на своих позициях, но он едва не заставил роту отойти назад.

Когда один из взводов приблизился к вражеским позициям,

возникла такая схватка, что в ней почти нельзя было различить выстрелы танков. Между подвижными машинами все время вметались дымы взрывов; воздух пронизывали трассирующие снаряды...

В первые минуты боя одна из «тридцатьчетверок» замерла и задымилась...

Капитан видел, как из верхнего люка на землю торопливо выскользнули три черные фигуры, еще одна выбежала из-за танка. Они бросились назад, то вскакивая, то падая...

Другие два танка остановились. Они, правда, часто стреляли по немецким пушкам и маневрировали, но вперед не шли.

— Что это они стоят, Алиев?! — почти гневно крикнул Алексей.— Что они топчутся! .. Надо атаковать! Атаковать надо!!! Понял? Прием.— Не дослушав слов оправдания, снова переключив рацию на передачу, приказал Алиеву: — «Шторм», «Шторм»! Не медли! Вводи в бой все «коробки»! .. Не медли! Кроши их, гадов! ..

Да, нельзя тянуть, надо немедля, как можно быстрее катить туда, откуда угрожающе ревут орудия,— бить, крошить надо, пока там не замолчат, пока не начнут, умоляя о пощаде, поднимать руки!

Стреляя при коротких остановках и без остановок, «тридцатьчетверки» смело, сильно двинулись вперед.

Машина комбата шла вместе со всеми. Алексей в перископ видел, как, качаясь, быстро надвигается лес. Прямо впереди — две ели — большая и маленькая. У леса вспыхивали выстрелы, копошились люди... Он следил за вспышками, за людьми — оттуда угрожала ему, всем опасность. Но, следя за ними, он в то же время замечал и лес, те две ели.

Он то и дело поворачивал перископ, следил, как движутся другие машины. И вместе с тем — успевал! — подсказывал Быстрову цели.

И вдруг — башня вздрогнула. Сильный удар. Лицо Алексея осыпало веером искр. Он встревоженно оглянулся.

В то же время уловил: запахло дымом.

Что такое? Подбили?!

Быстров, припадая к окуляру прицела, почти не отнимал рук от поворотного и подъемного механизмов. Летели вниз, тускло поблескивая, дымящиеся гильзы. Остро пахло газами. По лицу заряжающего ручьем лился пот...

Быстров был весь захвачен делом, ничего не замечал иного. То поворачивал башню, то спеша вертел ручки механизмов; улучив момент, нажимал педаль пушки. Снова целился, вертел ручки, стрелял. Он словно слился с пушкой. Выстрел. Выстрел.

Алексей отметил: огонь с той стороны начинал слабеть. Несколько орудий там уже смолкли. Правда, и танкистам досталось: еще две машины замерли.

Но Алексей уже чувствовал: еще немного — и сопротивление будет сломлено...

Быстров все работал. Выстрел. Еще выстрел...

Увидел, как заряжающий Костюченко, схватившись рукой за бок, прижимаясь спиной к броне, бессильно оседал на кассеты. Алексею бросилось в глаза, что лицо его быстро белело, становилось бескровным. Возле его ног Алексей увидал небольшую, гладко отполированную болванку. Вот что попало сюда...

Разгоряченный боем, Быстров выстрелил еще раз. Только тогда оглянулся на заряжающего, все еще не выпуская ручку подъемного механизма.

Алексей движением руки показал Быстрову: «Помоги!»

Лишь теперь Алексей заметил, что и сам ранен, в правую руку, выше локтя,— видимо, осколком брони. Руку начало невыносимо тянуть вниз, будто к ней привязали груз. Рукав наполнялся липкой, жгучей кровью.

— Солнцев, жив? — тревожно спросил он. Солнцев, ничего не говоря о себе, сказал, что убит радист...

«Втроем остались».

Надо было срочно перевязать рану, но он чувствовал, что случилась беда бо́льшая, чем своя рана. Что с машиной?! Он окинул взглядом башню — не горит ли что-нибудь. Нет, машина не подожжена. Почему же она стоит? Испорчен мотор? Или — гусеницы?

— Солнцев, почему остановился?

— Остальные стали... Отступать, что ли, хотят?

— Кто?!

Капитан припал глазом к перископу. Пушки были близко. Их отделяло от роты менее трехсот метров. К счастью, ближайшая пушка, видно подбившая танк Алексея, смолкла.

Прислуга ее разбежалась. Возле пушки был только один из прислуги, — размахивал руками. Похоже, созывал своих солдат.

Алексей повернул перископ и увидел, что танки остановились: одна машина, видно, была подбита, две густо дымили, остальные торчали на месте. Обстреливали вражеских артиллеристов и не решались двинуться дальше.

Три машины, неподалеку от комбата, даже начали осторожно отползать назад.

«Вот как, на задней передаче наступаем!» — мелькнуло в голове Алексея обидное.

Он почувствовал, что в эту трудную минуту, когда победа так близка, рота вдруг не выдержала напряжения, потеряла уверенность, усомнилась в успехе...

Что же это? Они отступают? Нельзя отступать. И топтаться нельзя! Надо упорнее пробиваться вперед! Еще миг — и будет упущен удачный момент. Нельзя медлить!.. Где командир роты?

Комбат попробовал вызвать его:

— «Шторм»! «Шторм»! «Шторм»!

Командир роты не отозвался. Что с ним? Машину сожгли или убит?

Взглянув в сторону немцев, Алексей заметил, что двое-трое вражеских артиллеристов, бросившие пушку, начали несмело возвращаться. Они, видимо, уловили замешательство танкистов. Тот немец, что оставался у орудия, размахивая руками, что-то приказывает им...

Если еще немного помедлить, они совсем опомнятся...

Алексей теперь помнил и чувствовал только одно — нельзя медлить! От этой мысли, захватившей его, вдруг утихла боль в руке, забылась осторожность, удерживающая человека в опасности.

— Я «Гроза», я «Гроза»! Кто там топчется?! — гневно крикнул капитан всей роте.— Вперед, вперед!

Он подал Быстрову знак зарядить пушку, потом, припав к резиновому наконечнику прицела, здоровой рукой повернул башню. Быстро прицелился и выстрелил по пушке. И сразу же открыл огонь из пулемета. Первый же снаряд попал в щит пушечки — недаром Алексей был когда-то хорошим башенным стрелком! Прислуга пушечки припала к земле... Один вскочил — бросился бежать...

— Делай, как я! — скомандовал капитан всем экипажам.

Переключив рацию на внутреннюю связь, он приказал Солнцеву вести машину на пушку.

«Тридцатьчетверка» рванула так, что комбата отбросило назад. Солнцев по голосу Алексея почувствовал, что теперь каждый миг дорог, как жизнь...

Алексей, сжав зубы, превозмогая страшную боль и слабость, стал снова разворачивать башню, нацеливаясь на вторую пушку.

Машина летела через ямы, подминала кусты, ее сильно бросало из стороны в сторону. Прицелиться хорошо было невозможно: в прицеле появлялись то земля, то небо,— Алексей выбрал наиболее удобный момент. Нажал на педаль спускового механизма.

Ухнул выстрел...

Алексей теперь ничего не чувствовал, кроме желания домчать, долететь до орудия. На этом орудии сконцентрировалась вся его воля.

В какое-то мгновение он увидел, что орудие разворачивает-

ся. Возле него хлопотали фигуры... Неужели оно успеет выстрелить? Неужели опередит его?

Время начало измеряться долями секунды. Но и эти доли секунды казались длинными, — все события происходили с ураганной стремительностью. Секунды решали исход боя, судьбу жизни.

Вся воля Алексея была до предела напряжена. Малейшее промедление, опоздание, он знал, были равнозначны смерти...

Опередить, разбить, стереть! Иначе — смерть.

Он изо всех сил нажал правой ногой на вторую педаль — все, что было в диске пулемета, выпустил в пушечку...

И вот пушка прямо перед танком... Она исчезла где-то внизу, Алексею ее больше не видно...

Солнцев еще увидел, как от нее метнулась последняя фигура. Поздно!..

В следующий миг Алексей почувствовал рывок. Танк подскочил, как разъяренный зверь, и осел. Капитан едва удержался на сиденье, раненая рука обо что-то сильно ударилась.

Он посмотрел в перископ. Перед глазами шли кругом кусты, стена близкого сосняка, которая была теперь не впереди, а сбоку,— Солнцев разворачивал машину.

Солдаты в серых мундирах — и без мундиров — в панике убегали. Следом за ними на окопы, к пушкам с ревом врывались танки. Добивали тех, кто еще пробовал сопротивляться, секли из пулеметов...

Алексей приказал Солнцеву вести танк дальше, за позиции, — не дать бежавшим уйти. Разрешил остановиться только в нескольких километрах, в тихой деревушке. Теперь пока, кажется, все. Порядок.

Сердце Алексея билось часто и взволнованно. Он все не мог остыть от пережитого волнения. Да, горячий, грозный выпал час. Сейчас, когда опасность миновала, его с новой силой охватила тревога за свою жизнь.

— Вы же ранены, товарищ комбат! — первым заметил хмурый Быстров, только что склонявшийся над заряжающим.— Дайте перевяжу!

— Что с ним? — Алексей кивнул на заряжающего. Тот был без сознания.

Вытирая потное, в черных пятнах лицо, Алексей по рации снова вызвал Алиева:

— «Шторм»! «Шторм»!

Алиев отозвался.

— Что у тебя? — Алиев ответил: сожгли машину.— Ты в какой? Веди роту. Не отставай,— гони дальше! Ясно?

Он дал Быстрову перевязать руку. Вызвал фельдшера к заряжающему; потом связался со второй, третьей ротами,

узнал об обстановке. Доложил Бессонову о результатах боя, умолчал, что сам ранен.

Когда подошел фельдшер и Быстров взялся вытаскивать заряжающего через передний люк, Алексей встал, чтобы помочь сержанту. Но стенка боевого отделения, прицел, замок пушки вдруг начали плыть у него в глазах и застилаться туманом. Он оперся левой рукой о стенку, с трудом удержался на ногах.

— Солнцев, на дорогу!.. За Алиевым... — выжал он из себя, снова опускаясь на сиденье. Эх, как клонит в сторону, как слабеет тело...

«Что это? Неужели — в госпиталь? Прочь с корабля? А Минск?.. А завтрашний бой за Минск?

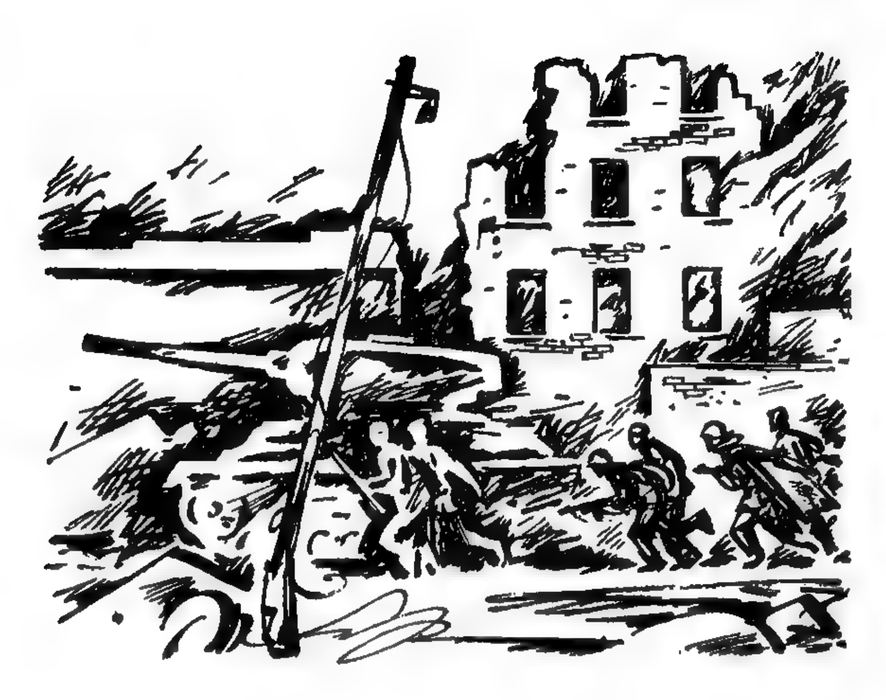
Без меня?»

Книга
третья

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ

Сколько раз, земля наша, поля и дороги твои топтали чужие, тяжелые сапоги. Сколько раз ползли на тебя черные тучи с запада. Скрежетали мечи, гремели взрывы... Дым пожаров застилал небо... Тянулись по горячим дорогам полонянки... Брели с торбами сироты...

Мы так жаждем, мать наша, чтобы беда эта была в последний раз, чтобы не повторилась никогда! Мы идем на борьбу с верой, что так и будет! Мы всё теперь сделаем для этого, мы будем беречь тебя всю жизнь! Мы любим тебя и мы сильны!



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ГЛАВА I

1

Всю ночь Клава то впадала в бред, то тяжело пробуждалась. Утром она лежала усталая, печальная. Казалось, отрешенная от всего.

Днем, когда голубело окошко, она преодолела себя. Поднялась, с усилием прошла по каморке. Остановилась у окошка, прислонившись к стенке, стала смотреть во двор.

Дорожка, трава, куст сирени — все во дворе сияло в солнечном блеске. Но блеск этот как бы не отражался в ее глазах, Клава смотрела на сиянье это, словно не веря.

На округлом лбу ее хмурилась уже обычная морщинка озабоченности. Было такое выражение, будто хотела что-то понять и не могла...

Здесь, у окна, застала ее Катерина. С испугом кинулась к ней:

— Опять! Боже мой! Нельзя, говорила ведь!..

— Принесите мне, тетя Катерина, веточку сирени,— тихо попросила Клава.

— Принесу... Только ты ляг...

Катерина довела ее до кровати, уложила. Вышла из комнаты, принесла несколько веток. Сирень уже отцвела, и казалось, не было теперь в этих веточках ничего привлекательного. Но когда Клава взяла их, лицо ее тронула светлая улыбка. Морщинка на лбу разгладилась.

Клава смотрела на ветки так, будто это было что-то необычное, очень дорогое, и Катерина с удивлением подумала: что могла она найти в отцветших ветках? Правда, Клава и сама толком не знала этого, не думала об этом. Наверное, были они так дороги потому, что такая же сирень осталась там, у ее родного дома. У той далекой ее жизни. Где было столько хорошего, где была мама, был Сережа. Милый дом, милая мама, родной Сережа...

Мама, мама, Сережа. Где они, что с ними?

Она так и уснула с ветками на груди. Со странной — грустной и нежной — улыбкой.

Чем крепче она чувствовала себя, тем больше хотелось ей выйти из каморки, во двор, на волю. Вырваться из страшных воспоминаний-видений, преследовавших, тревоживших ее и будто угрожавших здесь, в ее, казалось, ненадежном укрытии. Ей думалось, что она сможет освободиться от неотвязных видений сразу, как только выйдет отсюда на волю.

Мечтая о воле, она крайне огорчалась тем, что не может освободиться, что крепко держит ее здесь слабость. Не было, пожалуй, у Клавы более нетерпеливого желания, чем обрести снова силу в ногах, в руках. Как это, оказывается, хорошо быть сильной и ходить сколько хочешь. Делать то, что должно.

Она прямо ненавидела свою немощь, делающую ее покорной обстоятельствам, совершенно беспомощной. Ненавидя это, она со свойственным ей упорством напрягала все слабые силы, чтобы преодолеть немощь.

Ей противно было лежание, и она испытывала радость уже от того, что осторожно, но самостоятельно переступала ногами, передвигалась из одного угла каморки, где стояли кадки, в другой, к окошку. Ходить было нелегко, но она ходила. И не так уж страшно, что дрожали колени, что было кружение в голове, все же она ходила! Она не была уже безнадежно беспомощной. То, что она уже ходила, давало ей основание быть убежденной, что завтра-послезавтра будет ходить лучше, совсем хорошо. Что она скоро сможет выйти на свободу, к жизни.

— Ну чего ты себя мучаешь? — упрекнула ее тетка Катерина.— Чего? Спешишь куда-нибудь, что ли? Боишься на по-

езд опоздать? Всему свой черед, доченька; придет время, поправишься,— находишься еще.

— Я уже почти поправилась, тетка Катерина...

— Ну скажешь тоже,— поправилась! Тебе лежать и лежать еще! Спокойно лежать, не утомлять себя попусту.

Клава тихо, но настойчиво возразила:

— Лежать мне, тетенька, некогда и незачем. И я не буду лежать. Я буду ходить, тетенька. Сегодня — плохо, а завтра — лучше. Вот увидите, тетенька. А там и совсем хорошо ходить буду! .. А там — смогу хоть танцевать! .. — На округлых ее щеках, в уголках немного широкого рта вдруг появились, озорно задрожали две смешливые ямочки. Впервые за все эти дни Клава стала такой, какой была прежде: озорной, веселой и упрямой.

Тетка Катерина, глядя на Клаву, укоризненно покачала головой — такая непоседа; уже и смеется — будто забыла обо всех своих мучениях. Но озорной блеск в глазах девушки почти сразу погас; на лбу пролегла морщинка,— Клава снова задумалась, насторожилась...

Настроение у Клавы было теперь все время неровным — то она хмурилась, так горько что-то переживала, что Катерине даже становилось жаль ее, то вдруг веселела и начинала смеяться.

Жизнелюбивая, не склонная к горестям натура ее постепенно брала власть над угнетенностью. Клава снова становилась сама собой.

С каждым днем она ходила все крепче и смелее. Теперь она уставала меньше, чем в первые дни, — и это ее очень радовало.

Ей хотелось скорее вернуться в Минск, узнать, что с матерью, любимой мамой, с Сергеем, снова встретиться с товарищами. Ей все теснее становилось в каморке.

Когда Катерина приходила домой, Клава обычно спрашивала:

— Что там говорят, тетенька? Может, что новое услышали? Какую-нибудь хорошую весточку?

— Ничего, Клавка...

— Это правда, тетенька, так ничего и нет?

— Вот какая ты, ей-богу, недоверчивая да нетерпеливая. Разве ж я, чудачка ты моя, стала бы скрывать от тебя, если б было что-нибудь хорошее? Если б только услыхала, сразу прибежала бы и рассказала слово в слово. Только вот не слышно ничего особенного.

Тихой ночью сквозь сон Клава уловила глухое погромыхиванье. Похоже было не то на бомбежку, не то на далекий гром, будто где-то шла гроза. Клава, пробудившись ото сна, некоторое время все вслушивалась, стараясь понять. Так как гремело

долго, она решила, что, вероятно, идет гроза. Она так и уснула, не выяснив... А утром в каморку прибежала тетка Катерина, шумная, возбужденная, и, торжествуя, словно приготовила наилучший подарок, объявила, что наши заняли город Витебск.

Тетка Катерина, видно, плохо знала, где этот Витебск, но поняла из рассказов, что город большой и случилось большое событие. Клава же знала все без рассказов, мгновенно сообразила, что за весть принесла тетка.

— Откуда вы узнали?

— Хлопец наш один приходил, партизан,— говорил, что по радио передавали. Еще дня четыре, что ли, тому назад...

Клава соскочила с кровати, подбежала к тетке и, порывисто обняв ее, поцеловала.

— Ой, тетенька, какая ж вы добрая и милая!

Она весело, сияя от счастья, сверкнула белыми ровными рядами зубов. Видя, как она ожила, повеселела и тетка Катерина,— была так счастлива, будто это радовалась ее родная дочь.

Весь день Клава не находила себе места. Просто не могла улежать на кровати, все поднималась, бродила по каморке, подходила к окну. И все время, почти не умолкая, тихо пела.

То песню о Москве, о родной Москве: «...Москва моя, ты самая любимая...» То медленную, задушевную: «Ой рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поўная, чаму ж ты не поўная, з беражком не роўная...»

Сердечная, грустная песня, любимая песня матери Клавы, звучала сегодня необычно весело, полна была ликования.

Много песен вспомнила, перепела Клава в этот день!

Под вечер она, как никогда прежде, разговорилась, стала увлеченно рассказывать о своей жизни в Минске. Смешным и веселым выходило все у нее; слушая ее, тетка Катерина то смеялась вслед за Клавой, то вздыхала. Наконец с материнским упреком сказала девушке:

— И что это ты, дочка, надо всем смеешься?

— Разве ж я виновата,— озорно ответила Клава.— У меня и мать такая — что ни заметит, все ей смешно! .. — Улыбка на лице Клавы угасла, но она как бы скрыла печаль. Уже без озорства, с трудным раздумьем говорила: — И в войну, уж как нам было, никогда не стонала. Все на смешное показывала нам. Никогда не унывала и нас учила веселее смотреть! Да и как же иначе: тут и без мыслей да слов печальных — иногда на свет смотреть не хотелось... А уж как она пела... Какой голос у нее, тетенька, послушали бы вы! За душу хватало, как запоет! На что уж я, дерево нечуткое, а и меня хватало за душу! .. Я из-за нее и к песням приучилась. Гуду, как самовар кипящий, а тоже — пою вроде! .. Видно, правда — какая мать, такая и дочь... Только я песни пою редко — разве что тогда,

когда случится такое, как сегодня. А вот посмешить или сама посмеяться очень люблю...

Почти все время, когда Клава говорила о матери, чудилось тетке Катерине, будто скрывает Клава какую-то печаль. Хотелось спросить, но не решилась тетка Катерина: боялась тронуть что-нибудь больное. Разбередить душу страдалице.

— Да и разве это, тетенька, плохо? Если бы мы не умели смеяться, мы давно бы уже, наверное, засохли от горя и тоски... А так — погрустим, погрустим да и засмеемся. И самим веселее, и другим...

В тот вечер Клава сказала озабоченно:

— Кажется, хватит уж отлеживать бока. Домой пора бы...

Тетка Катерина с мудрой степенностью снисходительно пожурила:

— Поправиться сначала надо! Окрепнуть хотя бы немного...

— Окрепла уж... Знаете, так домой тянет!.. Терпенья нет!

И снова тетка Катерина уловила в голосе Клавы скрытую печаль, тревогу. И снова пожалела ее, не стала бередить мученицу напоминанием о немцах, об опасностях там. Нарочито мирно успокоила:

— Успеешь!.. Никуда твой дом не убежит.

Тетка Катерина не ощутила тогда всей серьезности намерений Клавы — мало ли кому хочется домой. Пусть пока лежит да выздоравливает.

2

Днем в деревню приехал какой-то немецкий отряд.

Деревня стояла в стороне от шумного шоссе, и сюда в последнее время немцы наезжали не часто. Приезд этих «гостей» очень встревожил Катерину,— вбежав в каморку, она испуганно воскликнула:

— Вот принесло! Чтоб они провалились!

Узнав, что случилось, Клава тоже встревожилась. Но она проявила бо́льшую выдержку. Подбежав к оконцу, за которым она увидела, как обычно, тихую улицу, Клава стала торопливо, практично обдумывать, что значит этот внезапный приезд немцев, что делать.

Неужели узнали о ней, что ее прячут здесь? Неужели ктонибудь донес?.. Непохоже было на это: если бы прикатили за ней, они сразу бросились бы сюда. А они хлопочут где-то у других домов, не спешат... Но если они и не знают о ней, Клаве все равно надо прятаться — она чужая в этой хате, ранена. Могут заподозрить, что она партизанка, расстрелять...

— Боже мой, они уже здесь!

На улице еще никого не было видно, но уже отчетливо доносились громкие непонятные возгласы. Тетка Катерина заспешила, бросилась отодвигать большую кадку и, подняв крышку потайного убежища под полом, приказала:

— Лезь сюда, быстрее!

Когда Клава спустилась в погреб, тетка Катерина снова опустила крышку. Заставила крышку тайника кадкой. Едва успела это сделать, на крыльце затопали тяжелые шаги. Она вышла навстречу.

— Курка, матка, есть? — спросил деловито молодой немец, и Катерина почувствовала облегчение. Слава богу, не за Клавой.

— Нет...

— Не-ет?! — не поверил солдат. — Шпек? Сало?

Ах, как Катерине не хотелось связываться с ним. Все бы отдала, что требует, только бы удалился. Но где она возьмет тот шпек? Сожрали все... Кусочек только разве последний. Чтоб отвязался этот...

— Есть кусочек... Идем, отдам уж... — неласково ответила женщина.

Через минуту гитлеровец, жуя сало и ругаясь, вышел из хаты в сени. Черноволосый, с красной шеей, толстый, он в сенях, поведя глазами из угла в угол, вдруг шагнул к двери в каморку, но женщина не пустила его,— заслонила собой дверь.

— Нет, говорю. Все, что есть, отдала, правду говорю!..

Немец, силой отодвинув Катерину, открыл дверь и шагнул в каморку.

— Нет, говорю... — Женщина ухватила его за руку, потянула из каморки.— Иди, иди!..

Клава хорошо слышала весь этот спор, удивлялась смелости Катерины, только что казавшейся такой испуганной и растерянной.

— А здесь кто спит? — неожиданно спросил немец, и Клава невольно затаила дыхание.

— Кто, известно кто — я!..

— Ты? Неправда!.. — угрожающе произнес немец.

Неизвестно, чем закончился бы этот разговор, если бы не послышался повелевающий голос: «Курт, коммт!..» За дверью, в сенях, стоял еще немец: видно, вошел позже, Катерина и не заметила — когда. Курт недовольно обернулся, пытливо посмотрел на вошедшего. Тот приказал движением головы выйти. Ворчливо пробормотав что-то в сторону Катерины, Курт вышел из каморки.

Немец ушел вслед за ним, но, проведя Курта на крыльцо, вдруг вернулся в каморку. Готовая уже успокоиться, Катерина

насторожилась: что этому еще надо? Заметила во взгляде немца что-то серьезное, угрожающее.

— Кровь! — сказал он по-русски, кивнув на постель.

Катерина оглянулась туда, куда он указывал, и похолодела: на подушке, в уголке, почти невидимом, чернело пятно засохшей крови.

Как она не заметила этого, не скрыла! Пропали...

— Не бойся, мать,— вдруг успокоительно произнес немец. Он был немолод, медлителен в движениях. На его лице с резкими чертами и внимательными синеватыми глазами жизнь сплела уже немало морщин.— Не бойся... Курта бойся, но он не заметил. А я не хочу делать тебе плохо... Отец или дочь? — кивнул он на кровь.

Катерина молчала. Она не понимала, почему он задержался здесь. Конечно, не к добру! А немец вдруг, будто для того, чтобы рассеять ее опасения, успокоить, сообщил, что русские уже около Борисова.

— Я когда-то работал у вас. На шахта, в Донбассе... Как немецки специалист... У меня тоже есть жена, сын. — Он вынул из нагрудного кармана фотографию, на которой был снят белобрысый парень, протянул Катерине: — Вот!.. Скоро будем вместе! В шахту вернусь работать. Буду уголь делал, как раньше...

— У меня племянник был в Донбассе... — отозвалась наконец Катерина, все думая, чем же это кончится.

— О, Донбасс, Донбасс... Полтора лет работал там. Много знакомих был... Потом — домой... Рур... Эссен. Пауль,— приложил он ладонь к груди. «Павлом звать»,— догадалась Катерина.

Во дворе снова послышались шаги. Пауль велел Катерине спрятать подушку, а сам направился к двери. О чем он говорил с теми, кто пришел, Катерина не поняла, но они, не заходя в хату, повернули назад.

Пауль снова возвратился и сообщил, что они скоро уедут, минут через десять.

— С фронта, матка, едем. А куда — наверно, сам бог не знает. Хоть он должен все знать.

Пауль попрощался, вышел, но Катерина все еще беспокоилась, нет ли здесь какого-нибудь обмана.

Только когда отряд выехал из села, Катерина подняла крышку и выпустила Клаву из тайника.

— Ну и перепугалась я,— призналась она Клаве, все еще под впечатлением недавней тревоги.— Особенно когда этот первый вытаращился: «Кто здесь спит?» Хорошо, что он хоть крови на подушке не заметил! Да и Павла, или как его там, боялась... А он, видишь ты, наверное, неплохой человек!..

— Кто их разберет!.. А вы слышали, тетенька,— обратилась к ней Клава, возбужденная по-иному, счастливо.— Он сказал: наши уже около Борисова? Или это мне показалось? Я вроде слышала, он сказал: около Борисова? Вы слышали про Борисов?

— А как же, слышала, дочушка. Сказал: около Борисова...

— Значит, скоро здесь будут, тетенька.

— Скоро должны.

Из-за пережитого потрясенья тетка Катерина словно не могла почувствовать великий смысл вести о том, что наши так близко.

— Может, только день-два осталось!..

— Недолго прятаться!..

«Ну уж теперь ты, непоседа, никуда не будешь рваться,— подумала Катерина, вспомнив вчерашние слова Клавы.— Куда тебе спешить, если так скоро здесь будут наши».

Но Клава иначе рассудила:

— Вот видите, тетя Катерина, мне нельзя больше лежать... Надо домой!..

— Так уж скоро! Сама ведь слышала!.. Как только придут наши — и пойдешь! На машине поедешь!

Катерина считала, что рассуждения ее настолько разумны, что и говорить больше не о чем. И особенно удачным, убеждающим показалось ей последнее, привлекательное: на машине, с нашими поедешь!

Словно показывая, что говорить больше не о чем, весело предложила:

— Давай пообедаем.

Катерина принесла из хаты глиняную миску с незабеленным борщом из щавеля, вынула из бочонка в углу припрятанную краюху хлеба. Подперев рукой подбородок, довольная, смотрела, как девушка ест. Так прежде она любила смотреть на своих детей.

Поев, Клава поблагодарила, отдала ей пустую миску. Катерина уловила: взгляд девушки был сосредоточенный, строгий.

— Ну вот, подкрепилась... Хоть прямо в дорогу...

— Ты все смеешься... — неодобрительно покачала головой, пожурила женщина.

— Я, тетенька, серьезно это. Я решила...

— Куда ты пойдешь, такая слабая? Ты ведь и до Минска не дойдешь.

— Дойду, тетя. Я хорошо уже, совсем хорошо чувствую...

— Может, ты боишься, что эти снова придут сюда? Так можно спрятать в другом месте, никто не найдет.

— Нет, я не боюсь. Просто я уже, ей-богу, выздоровела. Чего ж мне валяться тут? И так столько пролежала!..

— Сколько! Неделя всего лишь прошла...

— Ой, тетенька, хорошая, милая, не уговаривайте! Все равно не передумаю. Мне так хочется домой! Поймите: так хочется! ..

— Так уж мало совсем осталось! .. Ну, если бы долго, тогда я понимаю. А то ведь совсем мало! А ты идешь на такой риск! ..

Клава не смотрела на нее, но тетка Катерина видела: взгляд был тверд, лицо решительное. Не переменит, видно, решения. Чувствуя упорство Клавы, заговорила более настойчиво:

— Ведь на риск, на риск какой идешь! Ведь у них и раньше сколько всякой охраны вокруг города было, а теперь... теперь — за каждым кустом, за каждым домом, наверное... А попадешься им теперь — сразу...

Клава была глуха к ее таким убедительным доводам.

— Не могу я больше лежать здесь! .. — сказала Клава упрямо.— Не могу, ну просто — не могу остаться! Хожу я или лежу,— добавила мягче и как бы прося простить,— сердце мое летит домой, к своим...

Вечером женщины вышли из хаты. На дворе было тепло, в согретом за день воздухе еще не чувствовалось ночной свежести, на юге, с западной стороны, тлела, угасая, бледная желтоватая полоса. Клава и Катерина тихо дошли до хлева, перелезли через невысокий, полуразрушенный забор и очутились в огороде. Шаркая ногами, медленно шли среди грядок тыквы и кустов картофеля. Стебли и ботва часто цеплялись за ноги.

За огородом Катерина рассказала — не впервые,— как Клаве лучше добраться до города.

— А может, все же останешься? — никак не могла Катерина примириться с тем, что Клава уйдет.— Очень уж там опасно, пойми.

— Я уже говорила, тетенька... Зачем повторять сказку про белого бычка? ..

Катерина снова со щемящим чувством уловила в ее голосе затаенные печаль и тревогу. И решимость ощутила, решимость человека, знающего, что делает, на что идет. Клава вдруг уткнулась головой в грудь Катерины, порывисто обняла за шею и, вся отдавшись порыву, поцеловала.

Катерина нежно, с укором сказала:

— Ах ты, хохотуха непослушная! ..

— Когда придут наши, приезжайте к нам. Хорошо, тетенька? — Голос Клавы задрожал от волнения.— Я просто не знаю, как отблагодарить вас! Если б не вы, я, может, и сейчас лежала бы в поле...

— Не за что благодарить. — Катерина добавила, предостерегая: — Смотри, осторожнее, доченька! ..

— Теперь не попадусь! Теперь я — стреляный воробей! ..

Она ушла в темноту. Катерина неподвижно смотрела вслед девушке. Там, куда шла она, светлел край неба, и фигура Клавы — голова и плечи — долго виднелись на его фоне, постепенно уменьшаясь. Катерина смотрела туда, и на сердце у нее было печально и тревожно.

«Только бы все обошлось! ..»

3

Клава добралась до Минска перед рассветом.

Город горел. Клаву леденил ужас, когда она смотрела на пожары, свирепствовавшие в разных районах Минска. Особенно страшные пожары были около Академии наук,— там пылало сразу несколько больших зданий. Огромное багровое пламя полыхало возле Дома правительства. Она пыталась определить: что это, какие-нибудь дома на Советской? Нет, это же, наверное, горит университетский городок!

«Что они, гады, делают с Минском!» — в немом гневе смотрела Клава.

По Червенскому тракту в сторону костела с рычаньем двигалось несколько машин с потушенными фарами. Видно, тяжелые грузовики.

«Удирают, гады!» — подумала Клава и пожалела, что нельзя их остановить.

Еще когда лежала в каморке Катерины, думая о возвращении в Минск, Клава решила, что пойдет не домой, где сейчас, видно, никого нет, а к Залесской. Валина мать казалась Клаве наиболее надежным человеком. Клава выбрала Залесскую еще и потому, что у нее можно было скорее, чем у кого-нибудь другого, узнать, где мать и Сергей.

Она перелезла через забор и наконец очутилась на том дворе, куда пробиралась. Вот они, знакомые кусты георгинов, на которые Клава часто любила смотреть из окна, — кажется, совсем недавно была она здесь, а сколько пережито за это время! Прямо не верится, что пережила все. Словно приснилось.

Устало прислонившись к забору, стараясь отдышаться, она странно, беспечально засмеялась. Как же хорошо, что она все-таки вернулась, несмотря ни на что, пришла!

Осмотревшись, Клава осторожно приблизилась к окну и стала вглядываться сквозь темное стекло внутрь. Есть ли там кто-нибудь? В темноте, наполнявшей комнату, ничего нельзя было разобрать.

Она начала легонько стучаться в стекло, как стучала раньше, когда заходила сюда ночью, но никто не отозвался. Внезапно она услышала позади осторожные шорохи, быстро оглянулась.

— Кто здесь? — услышала Клава голос Валиной матери. Клава обрадованно шагнула навстречу:

— Я, Клава...

Залесская была хорошо видна среди кустов. Не выходила из них почему-то.

— Клава?.. Какая... Клава?

В голосе Залесской чувствовалось странное недоумение.

— Ну вот же! Спрашиваете! Будто забыли!..

Залесская молчала.

— Это я, тетенька!

— Боже! — сказала та скорее растерянно, чем радостно. Залесская вышла из-за кустов и, не спрашивая больше ни о чем, ни слова не говоря, потянула Клаву за руку. Клава пошла за ней. Они пробрались через грядки с тыквой, и, когда Залесская остановилась, Клава опустилась в борозду. Она так обессилела за дорогу, что ноги сами собой подогнулись...

— Мы теперь — здесь, в вишенник перебрались... Вдвоем тут, с Натальей,— ты ее не знаешь... Страшно в хате — еще подожгут... или гранату бросят...

После минутного молчания Залесская снова растерянно сказала:

— Боже мой! Клавка, это ты?

Она ощупала Клавины плечи, будто не верила голосу.

— Здесь ведь объявили, что расстреляли тебя. Значит, неправда?

— Правда, тетенька,— помрачнела Клава.— Расстреляли.

— Как же правда?.. Ты тише говори...

— С того света, из могилы пришла я, тетенька...

— Боже! — только и сказала Залесская.

Клава вдруг сжала руку тетки горячей ладонью, нетерпеливо, тревожно зашептала:

— Что с мамочкой моей, тетенька?

Тетка минуту молчала.

— Кто ж его знает...— заговорила как-то осторожно, неуверенно. Потом, видно, подумала, что скрывать не надо, рассказала все: — Арестовали маму твою, доченька. И где теперь — неизвестно...

В груди у Клавы что-то заболело, заболело так сильно, что захотелось застонать.

— Пропала мама! Загубили маму!..— загоревала Клава.

— Еще ничего не известно, говорю,— неуверенно попробовала успокоить ее Залесская. Но Клава сдержалась сама, тревожно спросила:

— А что с Сережей?

— Что? Жив Сережа! — Залесская говорила с такой радостью, что чувствовалось: хочет утешить Клаву. — Жив и здоров!..

— Значит, не попался?

— Выскочил вовремя!.. Жив твой Сережа! И такой же непоседливый, как и прежде!..

— Жив! Хоть Сережка жив!.. А мамочки... Мамочки, может, уже нет!..

— Не говори зря! Я ж сказала, еще ничего не известно...

— Ой, я знаю, тетенька, что там делают с людьми! Болит мое сердце, недоброе чует! — Клава со стоном запричитала снова: — Мамочка, мамочка моя!

— В трудное время ты пришла, доченька,— сказала тетка.— Эта нечисть задумала перед смертью своей еще одну беду. Боже мой, что ж это будет? Когда же это кончится! Им мало спалить город, им хочется еще и смерти, крови людской. Вчера здесь перед вечером понаклеили везде приказов, чтобы всем собраться в одном месте. Соберут — и под пулемет. Всех...

На тихой улице затопали сапоги, раздались непонятные немецкие возгласы. Залесская, сразу прервав рассказ, молча слушала до тех пор, пока шаги не затихли. Потом, вздохнув, поднялась и ввела Клаву, у которой кружилась голова, в вишенник. Здесь было темнее, чем в огороде, где мрак уже начинал светлеть, но Клава сразу же заметила женщину. Сидя на краю ямы, женщина держала на руках ребенка.

— Это Клава, племянница моя,— сказала ей Залесская. Посочувствовала: — Людочка еще не заснула?

— Нет... Кажется, начинает светать...

В голосе незнакомой слышалась тревога.

— Светает...— пожалела Залесская.

За городом, в восточной стороне, что-то часто заухало. Не то взрывы, не то выстрелы орудий.

Все стали прислушиваться: ухало все чаще и очень близко.

ГЛАВА II

I

Минск доживал последние дни неволи.

Одно за другим исчезали немецкие учреждения — разные комендатуры, управы, управления, отделы. Закрывались магазины, рестораны, мастерские. Совсем опустели фабричные дворы, куда еще недавно гнали людей нужда и голод.

Только вокзал с каждым днем все больше переполнялся. У комнат военного и гражданского комендантов волновались обеспокоенные толпы. Сюда стекалась гитлеровская мразь, вче-

рашние «чины» — из Орши, из Могилева, из Лепеля — отовсюду. Каждый хотел скорее пробиться к коменданту; кричали, тыкали в лицо соседям какие-то справки, озверело щерили зубы, угрожали, ругались.

Кассы были закрыты, и, хотя возле них аккуратно висели объявления, что билеты не продаются, у окошек касс была давка. Многие толпились на перроне: как и всюду, здесь были и чины в военных мундирах, и гражданские. С чемоданами и с узлами, без чемоданов и без узлов — кто как смог выбраться...

Все время ходили слухи о том, где теперь русские, Советы. С каждым днем слухи эти становились все более угрожающими: русские приближались, как неудержимый океанский вал. В небе над Минском очень часто гудели советские самолеты...

Выезжали разные тыловые организации, ехали группки, семьи, одиночки. Гестаповские изверги, шпионы, изменники, наемные убийцы. Отходящие от вокзала поезда были облеплены ими, как падаль мухами...

Сюда пригнало и свору приезжих деятелей Рады вместе с «президентом» и двумя заместителями. Последнее заседание «конгресса» не смогли закончить — надо было поскорее собирать пожитки. «Делегатам» объявили, чтобы выбирались из Минска как удастся: гитлеровцы уже не нуждались в этих подонках. А о «президенте» и его «министрах» господин генерал-комиссар фон Готтберг все же позаботился, разрешил дать место в вагонах.

Он еще надеялся, что «президент» и его «правительство» могут пригодиться: господин фон Готтберг старался заглядывать вперед...

Проводить радовцев на вокзал господин фон Готтберг поручил штурмбанфюреру Рейзе. Штурмбанфюреру задание пришлось не очень по вкусу,— большая честь провожать этих бездомных, никому теперь не нужных дельцов,— но приказ есть приказ.

По знаку Рейзе двое ефрейторов, стоявших у входа на перрон, пропустили их к вагонам.

Островский шел ссутулясь, вобрав голову в плечи. Он скоро увидел номер вагона, который значился на его билете, и, будто за ним кто-то гнался, торопливо поднялся по ступенькам. В проходе было тесно от вещей, от немцев, суетящихся, кричащих,— он нетерпеливо протискивался через эту сутолоку, пока не пробился к купе, выделенному ему и его сотрудникам. Устроив с помощью Кухты свои чемоданы, он уже немного спокойнее вернулся вслед за Рейзе на перрон.

— Я очень благодарен вам, господин штурмбанфюрер,— почтительно, по-немецки сказал он Рейзе.— И я, и все мои

сотрудники, все мы ценим исключительную заботливость господина генерального комиссара, который в такие неспокойные дни, среди всех государственных забот нашел время, чтобы позаботиться о нас. Мы это ценим как большую заботу о нашем народе, и мы полны желания, когда наступит время, ответить на эту заботу добрыми делами... — Тут господин «президент» заметил, что Рейзе нетерпеливо ждет, когда он кончит, и заторопился: — Я прошу вас, господин штурмбанфюрер, передать господину генеральному комиссару нашу искреннюю благодарность.

Господин штурмбанфюрер кивнул: исполнит просьбу, передаст. Господин «президент», поторапливаясь, однако же с достоинством, на которое был способен, заговорил о деле:

— Временно, на время нашего отсутствия... — Он понимал, что отсутствие это отнюдь не временно, но не хотел еще терять надежду и из чувства благодарности не хотел сердить хозяев,— временно я оставляю здесь моим уполномоченным уважаемого господина Кухту.

Господин Островский, будто для того, чтобы штурмбанфюрер воочию увидел, что полномочия переданы, взял господина Кухту за локоть. Господин Кухта с готовностью, ожидая одобрения, похвалы его преданности, взглянул на Рейзе.

Господин штурмбанфюрер согласно кивнул. Потом козырнул господину «президенту», собираясь возвращаться. Господин Кухта уловил момент, попросил с надеждой:

— С вашего разрешения, господин штурмбанфюрер, я хотел бы иметь честь проводить...

Господин штурмбанфюрер не возражал. Он сразу же озабоченно, твердым шагом направился в город. Господин Кухта до отхода поезда остался у вагона.

Возле здания генерального комиссариата штурмбанфюрер Рейзе встретил генерала Баумволя. Генерал шел навстречу подъезжавшей к нему машине.

— Вилли! — Генерал задержался, протянул руку. Устало сообщил: — Еду.

Сосредоточенный, углубленный в себя, махнул рукой на восток. Сообщил недовольно:

— Очень плохо.

Штурмбанфюрер понял: очень плохи дела на фронте.

В городе начали появляться солдаты с фронта. С каждым днем их становилось все больше. Они были оборванные, усталые и злые.

Одну группу таких солдат довелось увидеть Вольфу. Это было около Западного моста: они брели по середине улицы не

как солдаты, а как стадо животных — хмурые, безразличные ко всему, грязные. Один из них был даже без мундира.

Несколько минчан, проходивших мимо, остановились, начали с любопытством наблюдать за этим стадом, и Вольф заметил в их глазах злорадство и удовлетворение.

К солдатам бросился какой-то возмущенный эсэсовец, начал кричать, угрожать:

— Свиньи! Под суд! Расстрелять!..

Вольф устремился к нему на помощь, но вдруг случилось невероятное: коротко ударила автоматная очередь, и эсэсовец, пошатнувшись, осел на землю.

Майор невольно остановился, схватился за кобуру пистолета. Оглянулся, ища, кого бы позвать на помощь. Однако солдаты, быстро сообразив, что может последовать, с неожиданной для них резвостью кинулись кто куда.

Когда майор склонился к эсэсовцу, тот был мертв.

Это событие поразило майора. Он впервые видел такое злостное непослушание...

2

Майору в эти дни пришлось хлопотать на товарной станции. Его послали сюда помочь организовать срочную эвакуацию имущества по ведомству инженерного управления.

Офицер, занимавшийся этим до него, был убит. Имущество было давно подготовлено к отправке, ему надлежало уже быть в пути, но оно лежало на станции без движения. Майору следовало срочно отправить его.

Задача эта оказалась куда тяжелее, чем поначалу представлялась майору. По нескольку раз в день налетали на станцию советские самолеты. Они шли в голубом июньском небе уверенно, как вестники того грозного фронта, который стремительно приближался. Еще в первые прилеты бомбардировщики разбили зенитные батареи вокруг станции и теперь почти свободно хозяйничали в небе. Со свистом падали бомбы, корежили вагоны, разворачивали полотно дороги, наводили страх на железнодорожников.

Еще хуже было ночью. Самолеты налетали волна за волной, почти непрерывно кружили над станцией, над городом.

Если существовал ад на земле, то он был здесь. И в этом аду майор пытался выполнить возложенный на него долг. И в аду хлопотали также представители разных ведомств и учреждений, стремились протолкнуть свои грузы.

Все понимали, что дорог каждый час, что это последние дни, когда можно спасти ценности. Все делали возможное и невозможное, чтоб погрузить, отправить. Не один, пробуя

прорваться раньше, стремился нарушить порядок, обойти утвержденный график эвакуации.

Комендант станции, худой, серый от бессонницы и переутомления капитан, упорно стремился выдерживать порядок, график, но это с трудом удавалось. Майор, сам непоколебимый приверженец порядка, в данном случае тоже готов был обойти график, по которому ему надлежало еще ожидать, уступать дорогу другим. Прежде отправляли оборудование с танкоремонтного завода, разное иное имущество, по мнению других более ценное, чем его, майора.

Происходившее на станции ломало надлежащий порядок, содействовало хаосу.

Наконец майору удалось погрузить несколько ценных станков и немало различного оборудования. Вечером, когда состав уже был готов к отправке, послышался нарастающий рев советских бомбардировщиков. Их встретил огонь зенитных орудий, переброшенных к станции, но он был слишком слаб, потом и вовсе прекратился. Самолеты сбросили несколько ракет на парашютах, залили светом всю Товарную станцию и стали бомбить...

Когда Вольф вылез из блиндажа, накрытого рельсами и бревнами в несколько накатов, на станции во многих местах полыхали пожары.

Весь его состав горел. Одну платформу разнесло вдребезги,— видимо, от прямого попадания бомбы,— а с двух вагонов взрывной волной снесло крыши. Паровоз был искромсан осколками — возле него в отсветах огня блестела лужа воды.

Целую ночь, в перерывах между бомбежками, хлопотал майор с командой солдат и железнодорожников, выгружал то, что уцелело, оттаскивал с пути разбитые платформы.

Утром подали две исправные платформы, но работать было почти невозможно: солдаты и железнодорожники почти все время следили за небом, при первой опасности разбегались по ровикам, вырытым вблизи. Русские самолеты — бомбардировщики, штурмовики — все больше хозяйничали в небе. В группе майора несколько человек было убито и ранено. Погиб машинист, подававший платформы.

Хлопоты были почти бесполезны, но майор настойчиво исполнял свои обязанности. Делал все, чтоб прорваться со станции. Но прорвались только два эшелона, откуда-то из Осипович, проскочили станцию.

Ночью русские самолеты прилетали так часто, что никто уже не объявлял тревогу.

Пришлось всю ночь просидеть в бомбоубежище.

На следующий день стало известно, что отправленные эшелоны застряли в дороге. Пути между Минском и Барановичами взорваны партизанами. И восстановить их не удается.

Организовывать эвакуацию, тем более под беспрерывными бомбежками, уже не имело смысла. Практичный майор Вольф скоро это понял с беспощадной ясностью.

Комендант станции посоветовал ему возвратиться на прежнее место.

3

Первого июля майор вернулся к полковнику Шульце.

Полковник как раз рылся в большом несгораемом шкафу, пересматривал бумаги. Иные отбирал, засовывал в портфель, другие сжигал здесь же, прямо на полу. В кабинете воняло гарью.

Когда майор доложил, что возвратился в его распоряжение, полковник взглянул на него со странным недоумением.

— Распоряжение... распоряжение...— неприветливо отозвался Шульце.— Зачем вы мне?

Вольф, помня первое знакомство с ним, а также понимая обстановку, промолчал. Но полковника, кажется, и это разозлило. Он бросил какую-то бумагу в огонь, метнул раздраженный взгляд.

— Зачем?! — повторил полковник.— Зачем, ответьте?

Майор молчал.

Полковник оторвался от шкафа. Нервный, с горящими глазами, повернулся к майору:

— Я даже не знаю, для чего я сам здесь! Да, да, не знаю. И зачем я строил, голову ломал,— тоже не понимаю.

— Как не понимаете?

— А так — не понимаю! Русские же заняли Борисов. Они около Минска, обходят Минск, а наши солдаты — главные силы — еще по ту сторону Березины! Они отстали! Русские опередили их! — Полковник не скрывал отчаяния и разочарования. — Коммунисты подступят первыми к почти пустым сооружениям... Их встретят в городе пустые доты! .. Вы понимаете, что это значит, черт возьми?

— Да, господин полковник! Это — спутало все планы.

— Спутало планы? Это — позор. Позор для всей германской армии! — Он сдержал себя. После короткого молчания спросил тише, устало: — Вот я и спрашиваю: для чего вы вернулись ко мне, для чего?

— Разрешите быть свободным?

— Да, да — убирайтесь. И от меня, и вообще — из города. Пока не поздно.

Майор собрался уходить. Отчаявшийся Шульце, безусловно, был прав,— действительно, надо спешить, русские вот-вот могут перерезать дороги на запад.

Но когда майор направился к двери, Шульце вдруг спросил:

— Машина у вас есть? .. — Он, конечно, знал, что машины у майора нет, приказал: — Поедете со мной! .. Отправляйтесь в гостиницу на моей. Забирайте свое — и немедленно обратно! ..

Тут же повернулся к несгораемому шкафу, стал разбирать бумаги.

В гостинице было уже пусто. Оставался еще администратор, тоже готовившийся уезжать. Он обрадованно вручил майору ключ от номера, а когда тот возвратился с чемоданом, спросил, что делать. Майор посоветовал не задерживаться.

Возвратившись в управление, Вольф застал полковника уже готовым к дороге. С помощью адъютанта полковник быстро погрузился: вещей у него почти не было — два чемодана, пухлый портфель да кожаная папка, которые он держал все время при себе. Когда сел на сиденье впереди, портфель и папку положил на колени.

Сразу же выехали. Не заезжая на квартиру. Улица была полна движения. Но дома, темные, пустые, казались мертвыми. И что-то как будто таили в себе, недоброе, угрожающее. Майор чувствовал себя неловко оттого, что все это было похоже на бегство и даже на дезертирство. Преследовала майора мысль об опасности наказанья: позорный суд, бесчестье. Старые пехотные привычки еще сильно беспокоили майора.

Он успокаивал себя тем, что долга не нарушил: признанный негодным к боевой службе, он, конечно, имеет законное право уходить вот так, с тыловыми частями. Но чувство неловкости все же не покидало его, всегда исполнявшего долг свой в трудный час.

И все же в глубине души майор чувствовал радость, что уезжает, удаляется от опасности, которая угрожает жизни. И испытывал чувство признательности к полковнику, бескорыстно протянувшему руку помощи.

Как бы там ни было, дорога, мчавшаяся навстречу, радовала надеждой на жизнь.

Он не знал, что дорога эта была уже перерезана. И пути к спасению больше не было.

4

С каждым часом в Минске становилось все тревожнее. Чем ближе подступал фронт, тем больше зверели оккупанты.

Еще до того как был освобожден Борисов, гитлеровцы начали спешно минировать важные здания города. Они готовили к подрыву не только предприятия, которые смогли кое-как на-

ладить, но и почти все уцелевшие большие жилые здания. Минировали Дом правительства, Дом офицеров, корпуса Института народного хозяйства, Министерства лесной промышленности.

Начиная с утра первого июля — то в одном квартале, то в другом — днем и ночью оглушающе грохали сильные взрывы, страдальчески вздрагивала земля. То над одним, то над другим зданием взлетала черная туча дыма и пепла, и оседали, обваливались стены, рушились крыши... Фашисты будто мстили городу за свои неудачи на фронте, за пораженья. С садистской жестокостью они наносили истерзанному городу все новые раны.

Многие здания поджигали. Все три последних ночи, с вечера и до рассвета, небо над Минском и улицы его кровавили зарева пожаров. Днем над городом, поднимаясь высоко в синеву, висели, плыли ужасные черные тучи. И эти зарева и тучи были видны на десятки километров вокруг...

— Эх, звери! — с ненавистью шептала Наталья Михайловна, глядя на неистовое пламя, только что взметнувшееся неподалеку.— Ничего человеческого... ни крупицы человеческого... Настоящие звери.

— Звери проклятые! — отозвалась Залесская.

Они прятались в том же молодом, похожем на кустарник вишеннике, росшем у огорода за хатой Залесской. В вишеннике, в самой густой его части, в яме, они теперь и сидели. Было близко к полуночи, но Людка, примостившаяся на коленях у бабушки, все еще не спала. Наталья Михайловна поправила накинутый на плечи внучки платок и легонько прижала ребенка к груди.

— Не спит? — Залесская вздохнула. — Маленькая, и то, кажется, все понимает. Наверно, ей тоже страшно...

— А вы думаете, не страшно?.. Второй день замечаю — она какая-то особенно тихая. Вот и сейчас за весь вечер ни слова не сказала... Боится...

— С самого детства!..— снова вздохнула Залесская.— Да еще если бы знать, чем все это кончится!..

Наталья Михайловна не ответила. «Если бы знать!» В том-то и горе, что неизвестно, как будет дальше. Терпеть уже, видно, недолго — еще, может, несколько дней,— но посчастливится ли дожить до лучших.

Неподалеку, слева от вокзала, начало заниматься еще одно зарево.

— Это, наверное, снова в университетском городке... Боже мой, боже, да они же, проклятые, наверное, ни одного дома не обойдут!

Залесская заговорила о другом:

— Эх, Наталька, как я жалею, что не удалось выбраться из города... И надо же было наткнуться на этих нелюдей!

Наталья Михайловна с Залесской и Людкой хотели сегодня днем выйти из Минска, переждать страшные дни в Лошице. Они шли будто затем, чтобы кое-что продать да купить хлеба, но их задержал патруль из эсэсовцев, приказал вернуться. Оказалось, что вокруг Минска везде на выходах стоят патрули.

А потом, когда они уже вернулись, Залесская от соседки услышала, что эсэсовцы начали окружать город. Что еще они задумали? Видно, какую-нибудь новую беду, может, хуже той, что была раньше. Хорошего от них ожидать не приходится.

— Колосочек ты мой...— прошептала Наталья Михайловна, с нежностью и горестью прижимая к себе Люду.

Сергей в это время был на «работе». Рядом с ним, скрываясь в негустом красноватом полумраке, лежали и сидели еще несколько ребят, а вокруг, как памятники, чернели какие-то обгоревшие каменные столбы, высились горы битого кирпича. Меж кирпичей буйно росла полынь.

— Почему они не идут? — нетерпеливо зашептал один из его товарищей.— А может, Сергей, они прошли где-нибудь в другом месте...

— Нигде не пройдут, — успокоил Сергей. — Только здесь...

Время ползло очень медленно. А немцы все не появлялись. Конечно, никто не жаждал видеть их здесь, но все знали, что они непременно явятся сюда, и оттого их ждали и удивлялись, почему до сих пор нет. Сергей беспокоился, как бы они не пожаловали большой группой, например целым взводом, тогда их, может случиться, и не удастся отбить, и все это дело, ради которого Сергей собрал сюда своих ребят, свою подпольную группу, кончится очень печально...

Впереди за забором то тускло, то ярче багровели молчаливые кирпичные корпуса, в их больших, густо переплетенных черных окнах бегали беспокойные отблески пожаров. Эту фабрику горком поручил Сергею: фабрику и еще школу, которая возвышается вон там, за домами. Сергею и его товарищам поручили их спасти... Там, возле школы, тоже есть его люди: два надежных парня...

Где-то в центре города, заставив содрогнуться землю, грохнул взрыв.

— Это на улице Карла Маркса... Наверное — городская управа.

Только после полуночи появились три солдата, один из которых нес канистру, а другой мешок за спиной. Сергей, при-

поднявшись на коленях, стал внимательно следить за ними...

Вскоре стало видно, что они идут прямо к воротам проходной. Они спешили.

— Факельщики!..— шепнул Сергей. Он больше не сомневался, что это они, подлые поджигатели.

Юноша вскинул автомат, прицелился, чувствуя, как легко, свободно стало в груди. Почти одновременно с автоматной очередью гулко щелкнули два винтовочных выстрела. Солдат, несший канистру, сразу упал, а два других, как только поняли, что случилось, бросились назад. Но отбежать им удалось недалеко...

— Лежать! — приказал Сергей. В эту минуту он был так счастлив, как, наверное, никогда за всю войну. Сергей прислушался: все вокруг казалось таким же, как и до выстрелов. Было вроде бы спокойно,— видимо, немцев не встревожили эти несколько выстрелов...

Убедившись, что поблизости все тихо, Сергей, поставив дозорных, чтобы следили за улицей, с двумя парнями стащил трупы с дороги, скрыл в развалинах.

— Так будет лучше — никаких следов... Ну, как на улице, тихо? — спросил он, стараясь успокоиться, у дозорного, подползшего к нему.

— Да пока тихо...

— Вот и хорошо...

Один из парней высказал мнение, что теперь, похоже, можно идти домой. Но Сергей не разрешил.

— Подождем... Как бы они сюда не прислали еще кого. Чего доброго, заметят потерю... Одним словом, радоваться рано!.. — А самого все же переполняла радость. — Надо быть начеку.

Они не уходили отсюда до утра. И днем здесь были. Только не впятером, а вдвоем, и не около столбов, а в кустах малинника, на опустевшем огороде. Наблюдали...

5

Рейзе спешил. Он имел сведения, что русские уже обходят город и последние пути из Минска, вероятно, скоро будут отрезаны.

Штурмбанфюрер вытянул из-под кровати три уложенных чемодана. Огляделся, не забыл ли чего-нибудь ценного, забежал во вторую комнату, в которой возле столика по-прежнему висела фотография — Готтберг в парадной форме. Быстро окинув взглядом разбросанные вещи, Рейзе сорвал с гвоздя резиновый плащ и вернулся назад.

В комнату вбежал шофер. Рейзе приказал ему взять два чемодана — он показал какие. На минуту задумался, не придется ли ему завтра отвечать как паникеру и трусу, преждевременно покинувшему город?

Нет, он не останется. Он не будет сидеть здесь до тех пор, пока уже некуда будет убегать. Через день-два красные здесь сделают, видимо, то же, что и в Витебске. «Котел». А ему вовсе ни к чему попадать в «котел». «Котел» нежелательное для него удовольствие. Крайне опасное удовольствие для человека с его званием и делами. Чего же он стоит, раздумывает?

Раздумывать были основания: господину штурмбанфюреру надлежало уходить из города с последними частями. В противном случае могло угрожать обвинение в невыполнении долга перед фюрером и отечеством, позорное наказание. Но кто мог сказать, смогут ли эти последние части выбраться отсюда? Только чудо сможет предотвратить наметившийся «котел». Но случится ли чудо? Чудеса редки...

Требовательно зазвонил телефон. Рейзе подошел.

— Штурмбанфюрер Рейзе? Это вы, герр штурмбанфюрер? Вы?

— Я, Рейзе.

— Герр штурмбанфюрер! — безмерно обрадовался голос в телефонной трубке. Сразу же представился: майор Экк, начальник госпиталя. Еще, словно захлебываясь от радости, сообщил: — У меня лежат раненые... Сто двадцать человек раненых!..

— Почему не эвакуировали?

Голос сказал, что это — новые, только сегодня привезенные, что ему посоветовали позвонить Рейзе. Герр штурмбанфюрер будто бы может добиться для них двух вагонов или — хотя бы одного. Известно: группенфюрер фон Готтберг дал господину штурмбанфюреру исключительные права. Кроме того, у господина штурмбанфюрера — известно — есть машины в концлагерях.

Штурмбанфюрер раздраженно подумал: черт потянул его взять трубку! Сдержанно и твердо ответил:

— Ничего у меня нет. И я ничем не могу помочь.

Будто опасаясь, что он бросит трубку, голос торопливо напомнил:

— Раненые, герр штурмбанфюрер! Сто двадцать человек!..

Он молил о помощи, этот голос, в нем слышны были и надежда, и испуг, и штурмбанфюрер понимал его. Но штурмбанфюрер понимал и то, что сделать уже ничего невозможно. И надо спешить.

— Звоните, кому следует, — посоветовал он успокаивающе.

— Нигде никого нет. Я вас прошу. Сто двадцать человек — солдаты, офицеры... Один — полковник...

— Я сказал все! ..

Штурмбанфюрер опустил трубку.

Он схватил чемодан и сбежал по ступенькам во двор. Шофер уже сидел за рулем «мерседеса». Рейзе зажег фонарик, проверил, где положены чемоданы.

Все в порядке. Штурмбанфюрер вскочил в машину, поставил третий чемодан, самый важный, у ног.

Шофер, включив фары, начал уже разворачивать машину, когда на свет из темноты выскочила фигура. Рейзе схватился за пистолет.

— Герр штурмбанфюрер! Один момент! Герр штурмбанфюрер, это я, Кухта... Помощник президента...— торопливо заговорил человек.

— Что надо? — нетерпеливо перебил Рейзе.

— Прошу вас, герр штурмбанфюрер, одно место! .. Одно место! ..

— Какое место?

— В машине, герр штурмбанфюрер. Подвезите хотя бы до Баранович!

— Где ваша машина?

— Отобрали. Ваши солдаты отобрали.— Помощник никак не мог отдышаться.— Век буду благодарен. Век не забуду!

Штурмбанфюрер не ответил. Он крикнул шоферу «ехать», и машина сразу тронулась.

Помощник «президента» секунду стоял в растерянности, потом вдруг в отчаянии бросился за машиной, уцепился за кромку открытого окна. Не выпуская ее, не отставая от машины, стал умолять снова:

— Герр штурмбанфюрер! .. Герр штурмбанфюрер! ..

Машина, взревев, двинулась быстрее, и Кухта, все еще семенивший ногами, споткнулся. Но он не выпустил машину, потащился рядом.

— Прочь! — приказал Рейзе.

— Герр Рейзе! Герр штурм...— не послушался тот.

Рейзе разозлился:

— А, дрянь!

Он вспомнил о карманном фонарике, который держал в руке, злобно стукнул Кухту по пальцам. Кухта не разжал пальцев, и Рейзе бил по ним все сильнее. Наконец пальцы отпустили машину.

Навстречу господину штурмбанфюреру летела освещенная пожаром улица.

ГЛАВА III

1

Шабуниха почти не обратила внимания на легковые автомобили, остановившиеся неподалеку. Столько машин прошло перед ней за этот день, за этот час, пока она стоит здесь, возле своего жилья. Но вдруг она услышала незнакомую, похожую на немецкую речь и насторожилась: «Кто это?»

Шерстяные френчи цвета хаки, с отворотами, с галстучками, короткие курточки, фуражки с незнакомыми кокардами-коронами, береты, сдвинутые набок.

Шабуниха окинула взглядом незнакомые лица, ожидая, что будет дальше.

— Ма-ам, немцы...— испуганно заныл Володька, которого Авдотья держала на руках. Он теснее прижался к ее груди.

«Неужели? Но почему же с ними наши командиры, да еще такие приветливые?» Она бросила тревожный вопросительный взгляд на юного русоволосого лейтенанта, сопровождавшего их: «Кто это?»

— Не бойся, малыш, мы не немцы.

Один из незнакомцев, бритоголовый, с полным, немного бледноватым лицом, вынул из кармана шоколадку и протянул Володьке:

— Возьми, это очень вкусно.— Офицер при этом причмокнул: — Очень вкусно!

Но ребенок смотрел на него хмуро, исподлобья, будто не понимая.

— Возьми, сыночек,— ласково сказала мать, и Володька, не совсем уверенно, взял. Незнакомец дал шоколадку и Вольке. Потом, глядя то на Авдотью, то на подошедшую к ним Аксинью, изобразив на лице простодушную улыбку, сообщил:

— Мы ваши союзники. Великобритания...

— А-а? Англичане, — объяснила Авдотье Аксинья.

— Англичане! Англичане!.. Ваша армия сражается с немцами на Востоке, а мы — на Западе. Нормандия... Второй фронт — слышали?

— Слышали,— ответила Аксинья,— как не слышать?

— Второй фронт! Вместе!

Чтобы нагляднее представить женщинам смысл этого факта, он взял свою руку в руку, сжал их. С дружеской улыбкой сжатые руки потряс перед Авдотьей и Аксиньей. Вместе, вот так!

— Вместе, — согласилась Шабуниха. Но чувствовалось: не договорила, затаила что-то. Какое-то время раздумывала, будто

решала: говорить или не говорить. Произнесла, глядя в глаза генерала: — Ждали мы его. Долго ждали...

— Дождались! — оптимистически улыбнулся генерал.

Она повела взглядом по лицам окружающих: все смотрели на нее. Несколько человек, в том числе один наш, пересказывали, видно, ее слова на чужом языке. Англичане внимательно слушали. Под взглядами англичан и наших она почувствовала, как важно то, что и как она скажет. И в нее проник как бы страх — не ошибиться бы — и сознание ответственности за каждое слово. И тронула вместе с тем гордость за себя. Вот как смотрят на нее, ждут!

— Дождались...— согласилась она степенно. Вежливо, но весомо высказала свое мнение: — Только... немного поздно...

Остро взглянула на одного из наших, как показалось, старшего. Тот стоял рядом с генералом. Уловила в глазах того веселую искорку: одобрение.

— Поздно? Почему?

Она чувствовала: генерал понял ее. Удивлялся неискренне, изображал удивление для других. Будто играл.

— Почему? Да как вам сказать, дорогой... господин, или как... не знаю, как вас называть...

— Можете звать — господин генерал... Так я вас слушаю.

Она чувствовала себя все увереннее и, не смотря на нашего старшего, ощущала, что он, как и другие наши, поддерживает ее. С достоинством ответила:

— У нас говорят — дорога ложка к обеду.

— Так они же, тетка Авдотья, с ложкой как раз и пришли к обеду! — горячо, звонко подхватила Аксинья.

— Что правда, то правда, к обеду... — задумчиво согласилась Шабуниха.

Генерал дружелюбно усмехнулся. Дружелюбно и снисходительно: мол, что требовать от нее, простой крестьянки.

— Вы, миссис, рано собрались... праздновать...— Он с улыбкой взглянул на своих, как бы приглашая тех подтвердить его замечание. Те заулыбались, одобрительно закивали, переглядывались: хорошо сказал генерал.

Она едва не вспыхнула. В такие минуты среди своих Шабуниха становилась резкой, даже грубой, не церемонилась. Но здесь были не свои. И здесь надо было по-иному. С толком надо было.

— Вы не обижайтесь...— произнесла она, как бы объясняя: не ее вина, что должна говорить неприятные для гостей вещи. — Мы, женщины, такие: что на уме, то и на языке... Бегут вон эти, которые завоевать все хотели. Бегут назад... Ни Москвы им уже не надо, ни этого...— Аксинья подсказала ей: Парижа. Авдотья кивнула: — Ни Парижа, ничего. Лишь бы душу

голую донести... Здесь вроде им и первый фронт, и пятый. Насыпали гороха поганому Атрохе.

Генерал как бы от души захохотал. Другие его товарищи заинтересованно вслушивались, что им пересказывали, и тоже смеялись.

— Хвалю, миссис,— вы, оказывается, не только мать, но и — политик! — Генерал даже приставил ладошку к ладошке, как бы хлопая ей.

— Какой из меня политик,— покачав головой, твердо возразила она.— Вот моя политика,— она кивком показала на Володьку, повернулась к огороду,— и вот.

И наши, и англичане засмеялись. Бритый тоже засмеялся, широко, дружелюбно, едва снова не составил ладошки. Когда все умолкли, посмотрел вокруг и сказал сочувствующим тоном:

— Видно, ваши политические дела, миссис, идут без успеха. Бедно живете, миссис... Плохо.

— Откуда ж ему, богатству-то, быть? Сожгли фашисты все...

Генерал взглянул на недавно сложенный на пепелище фундамент хаты и свежеочищенные бревна, лежащие на земле. Обошел вокруг погребка, осторожно спустился на несколько ступенек вниз, заглянул внутрь, но войти не решился. Поднявшись наверх, вытер платочком руки, будто они испачкались, бегло окинул взглядом новенький отглаженный костюмчик.

— Плохо, очень плохо живете...

Шабуниха промолчала.

— Но не вешайте голову, миссис. Есть много людей, которые склоняются с уважением перед вашими муками и молят бога о счастье для вас... Помните, что вы не одиноки, — успокоил он, дружески улыбаясь. — Вся Великобритания, которая послала нас сюда, искренне сочувствует вам и разделяет ваше горе. Я знаю, что она скоро протянет руку мирной помощи. Да, да, мы поможем... Верьте моему слову.

— Спасибо на добром слове...

— Это, миссис, не только слова.

Шабуниха вздохнула, сказала, будто рассуждая сама с собой:

— Бедно живем, говорите?.. Куда же хуже... — Она печально обвела взглядом свое жилье.— С землей сровнял, ирод!..

— С землей. И не одну нашу деревню...— поддержала ее горестно Аксинья.— Не одну. Тысячи, наверно... И города многие...

Генерал метнул взгляд на Аксинью. Шабуниха заметила: довольный взгляд.

— Все города до Москвы,— подхватил он слова Аксиньи.— Почти половину России. Самую важную часть...— Шабунихе послышалось, что он вроде рад этому. Генерал, видно уловив

ее острый взгляд, печально, очень печально покачал головой: сочувствует всей душой.— Мне кажется, что положение у вас очень тяжелое. Тяжелее, чем вы думаете.

Авдотья хмуро вглядывалась в него. Будто не понимала чего-то.

— Почему это?

Генерал смотрел дружески, с грустью. На лице было и выражение: как вы не понимаете такие простые вещи.

— Почему? Должен признаться, я не такой оптимист, как вы. Я с состраданием думаю, миссис, о том, сколько потребуется времени и сил, чтобы снова подняться, возвратить все то, что уничтожила война.

Что-то ей не нравилось, не столько в словах, сколько в мыслях генерала, которые она угадывала. Она толком и не смогла бы объяснить, что именно не нравилось, но все же — не нравилось. И она слушала хмуро, и ей хотелось возражать.

— Трудно будет, это правда,— жестковато произнесла она. — Ну что же? Разве это в первый раз?

— Да-да, не в первый раз. Гражданская война, потом — разруха... Но эта война — особо тяжелая.

— Куда уж хуже. Но — одолеем как-нибудь...

— Да-да, одолеете. Но тяжело будет... Такое большое разрушение... Полстраны...

— Где — разрушили, а где — настроили нового... За Москвой села, говорят, как до войны стоят. Не сожжены...

— Сказало лихо, что не быть добру,— поддержала ее Аксинья.— Эх, чего плакать! Перебьемся как-нибудь! Не может же быть, чтоб не одолели! Не калеки ж и не паны, руки есть, слава богу!..

Аксинья смотрела на Авдотью, будто ждала похвалы ее словам. Но Шабуниха сделала вид, что не замечает этого. Упрямо сказала:

— Пусть не сразу, но одолеем. Быть не может, чтоб не одолели...

— Все сделаем как было! Отстроимся! Правда, тетенька?

Шабуниха промолчала.

— Дай бог,— дружески пожелал генерал и, взглянув на старшего из наших, стоявшего рядом, с уважением добавил: — Мне нравится этот... оптимизм вашего народа, их удивительная, почти фанатичная вера...

— Теперь об одном тревога, — сказала в раздумье Шабуниха, — чтобы нелюди эти не вернулись...

— Не придут, будьте спокойны,— ответил англичанин так, словно судьба Шабунихи зависела от него.

Генерал попрощался с Шабунихой и Аксиньей и двинулся со всей свитой в соседний двор.

2

Гостей ожидал Щербатюк. Он нервничал: хотелось ехать вперед, куда ушла дивизия, а приходилось сидеть. Сидеть и ждать,— когда у него столько забот!

Вместе с тем Щербатюк не был безразличен и к будущей встрече. Эта встреча волновала и вызывала любопытство у командира дивизии: как-никак предстояло не обычное дело, а дипломатическое. Такими делами еще не приходилось заниматься.

Следует сказать, что предстоящее дело немало и тревожило генерала. Как ни глушил, жила у боевого генерала робость перед этим делом, опасение, что не сможет исполнить все, как надлежит. Из-за этого генерал настраивал себя на скептический лад.

«Дипломат? ..— думал он, как бы подтрунивая над собой.— Какой из меня дипломат? Я рожден для того, чтоб рубить уголек или ремеслом солдатским заниматься...» Генерал с трезвой самокритичностью определял, что всегда был слаб по части этикета, не переваривал всякий лоск и выкрутасы в отношениях с людьми. Всю жизнь Щербатюк действовал, словно нарочно, наперекор всему тому, что считал дипломатией, и вот ведь предстояло побыть дипломатом. И надо было выполнить эту трудную миссию надлежащим образом. Как боевую задачу.

Дивизия была в движении, вела стычки и бои с немцами, и генерал все время держал связь с полками, следил за действиями их, давал указания. То обстоятельство, что он был в штабной машине не один, что за ним наблюдали, обязывало его держаться с обычным спокойствием, и генерал всячески показывал, что занят лишь делом. Но он ждал, волновался, нервничал, что гости запаздывают...

Наконец ему сообщили, что, видимо, едут англичане. Щербатюк неторопливо поднялся, подошел к раскрытой двери машины. Действительно, подъезжало несколько «виллисов» с офицерами в английской форме и английскими флажками на радиаторах.

Генерал по приставной лестнице спустился на землю. Ожидая прибывающих, окинул быстрым, хозяйским взглядом группу своих офицеров, стоявших рядом, недовольно бросил одному из них:

— Почему сутулишься, Братченко? ..

Когда первая машина, визжа тормозами, остановилась, Щербатюк шагнул к ней. «Кто?» — спросил он взглядом у советского капитана, сидевшего в первой машине с двумя англичанами. Капитан кивнул на следующую машину. Командир дивизии направился к полнолицему, холеному человеку,— тот

уже вышел из «виллиса» и приближался к нему. Щербатюк заметил на выгнутом полевом погоне англичанина генеральскую звезду. С англичанином шел навстречу молодой, красивый наш генерал, видимо из штаба армии или из Москвы. Щербатюк невольно приостановился в смятении, кому начинать представляться,— сопровождавший гостей генерал сразу уловил его затруднение, глазами указал на англичанина.

— Генерал-майор Щербатюк,— представился командир дивизии.

Англичанин на отличном русском языке назвал себя, и Щербатюк своей большой шахтерской рукой пожал мягкую руку гостя.

— Господин генерал... Позвольте... приветствовать вас... — несколько запинаясь, трудно заговорил Щербатюк,— а также ваш народ, который сражается вместе с нами... за общее, великое дело...

Англичанин, дружески улыбаясь, выслушал его речь, ответил на приветствие. Да, он тоже рад, — рад, что может лично засвидетельствовать глубокое уважение к славным советским воинам, что может видеть героических солдат русских союзников.

Щербатюк по очереди представил англичанину своих офицеров, назвав звание и фамилию каждого, гость познакомил его со своими.

Командир дивизии пригласил англичан в сад, расположенный за ближайшим домом. Во дворе дома девушки из медсанбата пригласили гостей умыться с дороги. К забору был прибит жестяный умывальник, на покрытом свежей простыней столе лежали белоснежные полотенца. Щербатюк заметил, что сопровождавший генерал — он ехал с англичанами из Москвы — одобрил его организацию дела на этой стадии. Весело переговариваясь, умывался рядом с англичанином. В саду между двух немолодых яблонь было накрыто новыми простынями несколько составленных вместе деревенских столов, на которых сейчас возвышался строй бутылок с водкой. Закуска была простая, солдатская — почти одни консервы, и этот недостаток хозяева, видимо, пробовали сгладить, выставив много водки.

Щербатюк, предложив генералам места, тяжело опустился рядом с англичанином. Англичанин, сев, снял фуражку, держа ее в одной руке, второй платочком вытер поблескивающую голую голову. Московский генерал глазами намекнул, что надо было бы взять головной убор у англичанина. Перехватив этот взгляд, Щербатюк кивнул своему ординарцу в сторону генеральской фуражки, и тот, молодец, сразу сообразил, подбежал, склонился к англичанину: дайте, мол, освободите ручку свою... Генерал из Москвы свою фуражку уже где-то пристроил...

Довольный расторопностью ординарца, Щербатюк, однако,

тут же почувствовал, что встал перед сложной проблемой: то ли занимать генерала, то ли позаботиться об остальных.

Решив, что генерала кое-как устроил на первое время, поднялся, чтоб взять общее руководство.

Офицеры кончали рассаживаться. Англичане уже все сидели вперемежку с нашими. Занимали места последние из наших. Щербатюк по-хозяйски осмотрел, как все устроились, всем ли хватило места. Убедившись, что эта часть дела обеспечена, генерал властным голосом отдал приказ наполнить стаканы.

Офицеры гвардейской дивизии Щербатюка охотно исполнили приказ командира. Кое-кто из англичан придерживал бутылки, пытался помешать наполнить стаканы. Наши спорили, настаивали на том, чтоб стаканы были полны.

За столами возникло веселое оживление. Щербатюк сам налил генералу-гостю, стоя оглядел столы, дождался тишины.

Торжественно, весомо провозгласил еще до встречи продуманный тост: за дружбу советского и английского народов.

Англичанин-генерал, а за ним и все остальные встали. Англичанин, протянув стакан к Щербатюку, братски улыбаясь, звонко призвал всех поддержать его:

— За могучую Советскую Россию. За Красную Армию!

— За союзную Англию!

— За дружбу!

Все протягивали друг к другу стаканы, слышался звон стекла.

Вскоре Щербатюк почувствовал, что за столами воцарился дух дружеского расположения, и сердце его, вначале столь недоверчивое, вдруг размякло, подобрело. Он следил за всем уже почти растроганно.

С каждым тостом, что следовали один за другим, беседа и возгласы за столом становились все оживленнее и громче. Возбужденный тостами и вином, молодой капитан-пехотинец, сидевший напротив Щербатюка, дружески обнял англичанина и, улыбаясь, начал что-то ему говорить.

Щербатюк уже не тяготился ролью хозяина, испытывал даже нежданное удовольствие от нее, от того, что эту необычную и ответственную роль ведет так успешно. А о том, что роль эту он ведет успешно, можно было судить и по оживленному, довольному лицу генерала из Москвы. Как хозяин, знающий свое дело, и как человек, полный дружелюбия к высокому гостю рядом, с открытой душой попросил командир дивизии англичанина извинить за скромное угощение. Очень хотелось ему, чтоб генерал-англичанин понимал, что угощение простое не потому, что пожалели чего-то, а не смогли собрать лучшее. Не смогли.

— Трудно организовать что-либо лучшее. Все время на ногах да на колесах. Даже спать приходится в машине...

— Все прекрасно, генерал! — улыбнулся англичанин.— Превосходно! Превосходно, что стол строгий! Мужской, фронтовой! И отличная идея — прямо под небом! И кроме всего — водка! Русская водка...

Будто подтверждая, как он доволен всем, английский генерал встал и четким, добрым голосом объявил тост за выдающегося советского командира дивизии Щербатюка. Надо сказать, что генерал Щербатюк не испытал недовольства, слыша похвалу себе, но определение «выдающийся» все же смутило его. Покраснев, он искоса, зорко взглянул на гостя из Москвы, словно желая узнать: что тот подумал. Но гость из Москвы улыбался, протягивал стакан. Щербатюк с радостью протянул свой.

— Я не случайно, коллега, говорю: за выдающегося, — сказал после тоста, наклоняясь ближе, касаясь плечом Щербатюка, англичанин.— Каждый, кто участвует в этой операции, имеет право на наивысшую честь,— он прославляет себя не только перед своим народом, но и перед человечеством. Ваша победа удивила и потрясла весь мир. Она настолько блестящая, что мы, современники и союзники, всей душой восхищаемся и гордимся вами...

Слова англичанина лились легко, журчали, словно тихий ручеек, — они приятно волновали доброе, теперь такое отзывчивое на похвалу генеральское сердце. Тем более что генерал сам был захвачен величием развернувшейся операции, что англичанин не просто льстил. Правду излагал, в общем. «Скажи ты, как говорит,— будто стихи читает»,— с одобрением подумал Щербатюк.

Но как ни был увлечен необычной встречей, ролью хозяина, как ни настраивало на благодушие застолье и хмель в голове, в сознание Щербатюка почти все время прорывались беспокойные мысли о дивизии. Он оставил ее в таком сложном положении; особенно волновали его дела у Сибиряка. Когда он говорил с Сибиряком перед этим обедом, там шел трудный бой. На них наседала сильная группа немцев... Раз за разом прорывались в голову командира дивизии вопросы: что у Сибиряка? Что у других?

Было ощущение неловкости от того, что он, пусть для дела, тоже сидит здесь, пьет. Выпустил из рук дивизию. Пьет, когда там воюют...

Беседуя с англичанином, следя за столом, он то и дело поглядывал на свою машину с рацией, все не мог преодолеть убеждения, что оторвался от полков, что должен ехать к людям своим. Что виноват перед ними, оставив их в такую минуту без руководства.

Вместе с тем добродушие, растроганность, хотя и омрачен-

ные требовательными, беспокойными мыслями, все же не покидали его.

«Кажется, получается неплохо,— думал он с удовлетворением.— Пусть знают, как русские умеют встречать...»

Он поглядывал на сопровождающего из Москвы и убеждался: не ошибается в своем мнении, что идет все неплохо. Что в данном случае и командующий армией должен будет признать: дипломатический экзамен Щербатюк выдержал.

Его противоречивые размышления прервали. Английский генерал попросил рассказать о Борисовской операции...

Когда Щербатюк, описав операцию, отвечал на вопросы, уже основательно захмелевший капитан-англичанин, чернявый, с усиками, не то спросил, не то заявил:

— Говорят, здесь у немцев совсем небольшие силы...

— Смотря кто говорит...— сразу уловил значение намека Щербатюк.

— Пленные, например.

— Пленные...— Щербатюк улыбнулся саркастически. Он был задет. Он чувствовал, что надо ответить сильно.— Если немцы говорят, то они с еще большим правом могут это сказать и о вашем фронте...

— Да?! — удивился капитан.

— Вам это кажется странным?

— Это — интересно.

У командира дивизии совершенно улетучилось благодушие. Был полон возмущения, боевого задора.

— В Нормандии у них всего тридцать дивизий — против армий двух государств! А здесь, только в Белоруссии, у них пятьдесят... Или точнее — было в начале нашего наступления... Пятьдесят — незначительные? Они скромничают!..

Приветливо, примирительно улыбаясь, вмешался английский генерал:

— Я не могу возразить... вам: данные о численности войск, конечно, неполны и... недостаточно проверены... Но мне, признаться, тоже приходилось слышать от пленных — повторяю: «слышать»,— поскольку мое мнение о мастерстве ваших войск самое высокое... Приходилось слышать, что вы их раздавили численным превосходством.

«Кажется, он немного сказал из того, что у него на душе»,— мелькнуло у Щербатюка. Командир дивизии ругнул себя в мыслях: зря погорячился, не дело — петушиться, как мальчишка. Да и с точки зрения дипломатии — ляпсус, явно. Метнул вскользь взгляд на гостя из Москвы: тот с интересом ждал продолжения. Щербатюк помолчал и, будто в раздумье, будто вяло, согласился:

— Факт, превосходство и количественное и материальное было...

— Браво! Это откровенно! По-русски откровенно! — воскликнул один из англичан.

— Да. Превосходство было, иначе нечего было бы и соваться в наступление. Но одного количественного превосходства, как показывают факты, мало...

Щербатюк провел взглядом по лицам гостей, ожидавших перевода его слов. Повременил, пока переведут, вникнут. В его глазах вдруг появилось что-то озорное, насмешливое.

— Это хорошо видно, например, из вашего опыта...— Он снова повременил, пусть переведут и вникнут. За столом стало очень тихо.— Возьмем хотя бы Касино [1]. Недавнее...— Он уже чувствовал себя в положении командира, отлично знающего, что удар будет точным, чувствительным для противника.— Там у вас было, насколько мне известно, две армии. Американская и английская. А немцев в несколько раз меньше. Ну, а как там шли дела?

— Это одна из наших военных неудач,— возразил в ответ англичанин-генерал. Возразил мягко и деликатно, будто напоминая, что следует соблюдать правила игры. Правила этикета.

— Простите, генерал, что затронул это. Меня эта операция заинтересовала только как пример. Как пример к разговору, что такое численное превосходство...

Щербатюк уловил: в глазах генерала, сопровождавшего англичан, играли веселые чертики. Тая улыбку, одобрял командира дивизии сопровождавший.

Спор, однако, не следовало разжигать. Завязавшие его англичане первыми же пошли на мировую. Почин сделал умный английский генерал. Щербатюк с удовольствием протянул ему свой стакан. Стаканы постукивали над всеми столами.

Потом Щербатюку принесли несколько радиограмм. Одна была от Сибиряка: натиск немцев сдержали и даже потеснили их. Но бой пока не кончился...

«Надо ехать. Оставлю за себя начальника политотдела и поеду. Момент как раз подходящий...»

Командир дивизии выбрался из-за стола, склонился к генералу из Москвы, сообщил о своем намерении. Генерал не возражал.

Щербатюк возвратился на место и, для приличия произнеся еще тост, встал, чтобы проститься.

— Очень прошу извинить меня, друзья,— он озабоченно взглянул сначала на главу гостей, потом на остальных англичан. — Но я должен срочно ехать... Ждут неотложные дела.

— Понимаю, прежде всего — война,— улыбнулся английский генерал. Он дружески протянул руку.

---

[1] Город в Италии, в районе которого англо-американцы в 1944 году вели бои с немцами.

ГЛАВА IV

1

Василь стоял возле дерева, сжимал в руках автомат и ждал. Он живым не дастся. Пусть только сунутся сюда, он их встретит. Жаль только, что в автомате один диск, да и тот не полный. Эх, и ни одной гранаты не осталось! Неподалеку вдруг переплелись частые выстрелы пушек и пулеметная стрельба. Кто это стреляет? Ермаков? Нет, не надо прислушиваться к этому. Вот-вот появятся из-за деревьев автоматчики, надо следить за ними. Но что же они медлят? Они уже могли бы быть здесь. Может, обходят? Вроде нет...

Немецкие грузовики почему-то зашумели моторами. Начали выбираться из леска. Василь в промежутках между деревьями видел: на дороге было странное движение. Повозки спешили обогнать одна другую, солдаты изо всех сил хлестали лошадей. То здесь, то там грузовики и повозки сворачивали с дороги, катили прямо по полю.

Вскоре откуда-то выскочило, стреляя из пулеметов, несколько танков. Немцы начали бросать повозки и грузовики, бежали куда глаза глядят. Кое-где солдаты поднимали руки.

«Что это они? Сдаются?.. Что это за танки? Наши?.. Нет, не может быть. Они же вчера были далеко... А чьи же? Гляди, что делается с немцами!.. Неужели наши?»

Василь, обо всем забыв, бросился к опушке леса, как зачарованный впился глазами в эти страшные для немцев машины. Теперь было ясно — наши танки!

Но танков было немного — всего пять машин. Они, почти не останавливаясь, прошли вперед, и Василь снова остался один. Вокруг по-прежнему были немцы.

«Эх, почему я не подбежал сразу к танкистам,— пусть бы взяли меня! Проворонил, разиня!» Чувствуя, что совершил непростительную ошибку, он, оглядываясь, начал осторожно отходить от опасного места — от зарослей к зарослям.

Вскоре Василь был уже в поле. Идти отсюда прямо к поселку он не мог, перед поселком, он знал, скопилось много немцев. Он даже видел в той стороне группы солдат и машины, там можно было наткнуться на них...

Он решил обойти немцев, зайти в поселок с другой стороны.

Шел полем, среди хлебов. Пригибаясь, бдительно осматриваясь, время от времени, когда возникала опасность, приседая так, что скрывался совсем среди стеблей. Присев на землю, он прислушивался к голосам немцев, осторожно высовываясь, следил за их движением. Определив, что опасность миновала, шел дальше.

Остановясь перед картофельным полем у леса, он вдруг увидел несколько человек в красноармейской форме. Они шли по дороге, с автоматами, советскими автоматами, поглядывая вперед, следя настороженно за дорогой впереди, за полем.

Пилотки, гимнастерки, автоматы, сам вид людей, усталых и внимательных,— все говорило, что это красноармейцы. В другое время Василь, возможно, из предосторожности все же обождал бы, чтоб не ошибиться, не напороться на переодетых власовцев или немцев, но теперь он ждать не мог. Беспокоясь, что и эти бойцы, как и танки, могут исчезнуть, если он промедлит, прозевает, Василь напрямик по картофельному полю устремился к ним. Его заметили, остановились. Как будто даже подняли автоматы. Ждали его. Ждали, видел, не очень приветливо, настороженно. И в нем вдруг снова возникло страшное: не ошибся ли, не переодетые ли? И ноги Василя сами по себе замедлили бег, и холод пошел по спине.

Неужели ошибся? Если ошибся, погиб. Так глупо. Он выхватил из группы чернявого, с монгольскими глазами ефрейтора и подумал: свои, должно. Увидел звездочки на фуражках, медаль у одного... Все, все у них — и одежда, и оружие — наше, советское. И лица наши, родные... Но почему же они так смотрят?

Холодные, даже враждебные взгляды их тревожили. Нетвердо, все замедляя шаг, приближался Василь к ним...

— Хэндэ хох! — вдруг скомандовал один из них, тот, с монгольскими глазами.

Всего мог ждать Василь, но только не этого. Опешил от неожиданности.

— Т-ты что это?

— Хэндэ хох! Ясно? — повторил красноармеец, угрожающе нацеливая оружие. Не сводя сторожащих глаз, приказал: — Автомат — сюда!

Василь не послушался.

— Автомат — сюда!

Ничего не понимая, растерянный, Василь отдал автомат. Вот так встреча! Никогда не думал, не гадал, что может такое случиться. Никак не понимал: почему он, этот пехотинец, так враждебно обходится с ним? Неужели — переодетые? Не похоже. Заметил, каким недоброжелательным взглядом окинул ефрейтор его одежду, и вдруг озарило: вот оно что! Мундир, наверное, во всем виноват, приняли за немца или полицая.

— Я — партизан,— попробовал восстановить справедливость Василь. — Я — не немец... Ну, правда — партизан. Из бригады Ермакова. Понимаешь?

В доказательство Василь вынул из кармана пилотку со звездочкой, надел, ясными голубыми глазами доверчиво посмотрел на ефрейтора.

— Ну, видишь?

— Ничего не знаем,— заявил боец.— Командир разберется.

Позвали командира. Невысокий, чернобровый сержант, метнув на Василя строгий взгляд, приказал предъявить какой-либо документ. Какие Василь мог дать ему документы! Всего-то и было документов, что старая, порыжевшая справка, которую за всю войну только раза два показывал теткам в деревнях. Достал из нагрудного кармана, развернул целлофановую обертку.

Сержант с достоинством принял бумагу, прочитал вслух фамилию и имя Василя. И вдруг поднял удивленный, почему-то взволнованный взгляд. Губы его странно вздрагивали.

— Отец?!

— Что? — не понял Василь.

— Отец здесь...

Он протянул справку.

Василь не понимал. Никто ничего не понимал. Было видно только: что-то случилось с сержантом.

— Подпись...

Сержант в волнении подал руку, назвался:

— Туровец... Юрий.

Это было так неожиданно, что Василь не сразу мог сообразить, что он сказал.

— Вы Йю-юрка?.. Юрка Туровец?! — как бы не поверил, усомнился Василь.

— Юрий.

Василь смущенно вглядывался в сержанта. Вот к кому, оказывается, попал он в «плен»! Вокруг них собралась теперь группа солдат, с интересом следила за разговором.

— Вы его давно видели?

— Вчера. Перед самым боем...— Счастливый тем, что может сообщить такую хорошую весть, что тяжелое недоразумение кончилось так удачно, Василь сказал, сияя: — Он вон в том поселке, сразу за этим пригорком! Как подниметесь на пригорок, сразу же будет поселок! Отец там... Вы его, ну, правда, скоро увидите!

Смуглое, не по годам жесткое лицо сержанта засветилось радостью.

— В поселке?! В этом поселке? Здесь — за пригорком?

...Юрий вдруг вспомнил, казалось такое давнее, прощание с отцом. Отец проводил его за город, на Могилевское шоссе. В грузовике, полном женщин, стариков и детей. Около последних домов остановил машину, обнял Юрия. Помнится, Юрий заметил тогда, что он крепко постарел за те дни...

Таким он и остался в памяти. Постаревшим, каким-то притихшим. Сразу, как только машина тронулась, он повернул-

ся и пошел назад, в город, над которым бушевали пожары...

Только через полтора года каким-то образом отец отыскал Юрия в далеком башкирском городке. Юрка стал получать вести от него из далеких лесов, из незнаемой, трудной и — прекрасной жизни. Как Юрка рвался в то время туда, где был отец, как бредил родными лесами, партизанскими походами... Едва только девятый класс остался позади, попросился в армию...

И вот они скоро увидятся... И надо же, чтобы их пути так удачно, так счастливо сошлись!..

Сержанта позвали к младшему лейтенанту Проворному. Василь остался теперь один среди солдат, что угощали его махоркой, расспрашивали о партизанской жизни. Тот, кто задержал Василя, — Шарафутдинов — отдал ему автомат:

— Возьми назад. Не надо обижаться — сам виноват. Носишь этот фрицевский мундир!

Вскоре Юрий возвратился и, запыхавшийся от бега, попросил Василя пойти с ним, к младшему лейтенанту.

Командиры — офицеры и сержанты — сидели возле дороги, у кювета и на тропинке. Вокруг них краснел и белел припорошенный пылью клевер, поднимал стебли-хвостики над лапчатыми листьями подорожник. Над командирами весело поблескивали шелестящими листьями три молодые березки. Подтолкнув вперед Василя, Юрий Туровец сообщил командирам, что это он и есть, Василь Крайко, и командиры начали вставать, знакомиться с ним. Кроме щуплого младшего лейтенанта был тут и командир батальона капитан Павловский.

Высокий, большой комбат, спустив ноги в кювет, сказал, что батальон отсюда должен повернуть на север.

— Не можете ли вы проводить нас? — Павловский назвал село, куда надо было добраться с батальоном.

— Поч-чему ж не могу?! Я здесь все дороги знаю. Как свои сапоги...— обрадовался Василь.

— Значит, можете. И согласны. Вот и чудесно!.. Ну, если так, будете проводником!

Павловский поднялся, отряхнул землю с брюк. Поднялся и Проворный, объявил, что грузовики придут скоро, велел, чтобы все были наготове, — и командиры начали расходиться.

Василь пошел с Юрием. Шагая рядом с молчаливым и задумчиво сосредоточенным сержантом, спросил участливо:

— А как же вы, с отцом?

Юрий посмотрел долгим взглядом вдоль дороги, бегущей в сторону поселка. Не сразу, с досадой ответил:

— Встречи, как видишь, пока не будет! Придется отложить...

2

Шашура в этот день шел на задание в особом настроении. Как ему было не испытывать такого состояния: ведь очень могло случиться, что эта операция окажется последней.

Прошлые операции виделись Шашуре теперь обычными, как работа в будний день,— сегодня же, чувствовал он, предстояло дело необычное. Всегда охочий до эффектных действий, он представлял эту завершающую операцию как бы последней гастролью, спектаклем «на прощание». Он помнил, что актеры, перед тем как уехать из города, неизменно выступали с прощальными спектаклями. Его издавна завораживали слова: последние, прощальные спектакли! Шашура почти всегда ходил на эти спектакли. Кстати, он очень любил и уважал артистов, считал их людьми необыкновенными...

Для столь важного дела Шашура выбрал тихую, малоезженую проселочную дорогу, километров за одиннадцать от того поселка, где сражалась бригада. Он был непоколебимо убежден, что немцы, стремясь обойти занятый Ермаковым поселок, непременно двинут сюда.

Шашура добрался до рабочего места, едва начало светать. Вот оно, место его, может быть, последней работы — дорога врезается в еловый лес. Удобный, укромный уголок: густой и темный молодой ельник подступает к самым песчаным колеям. Прекрасные подступы к дороге. Подходы, о которых можно лишь мечтать.

— Как специально, калина-малина, наросло для нас!..

— Хорошее местечко! —поддержал его один из помощников.

— Здесь мы и приземлимся!.. Ну, хлопцы, поворачивайся живей да — осторожней... Чтобы... птиц лесных, часом, не потревожить.

Выглядывая из ельника, Шашура окинул взглядом обе стороны дороги. В предрассветном полумраке она напоминала русло реки, а ряды черных деревьев казались похожими на скалы. На дороге было пусто.

Шашура собрался уже выйти на дорогу, но издалека донесся шум машин.

— Ш-ш! — зашипел он на товарищей.— Едут!.. Этих пока пропустим...

Промчались два грузовика. Кузов одного из них был открыт, и было хорошо видно, как там, свесив сонные головы, дремлют немцы, вторая машина была крытая.

— Это — первые птички, — успокаивал не так других, как себя Шашура.— Стая еще будет... Не жалей, хлопцы!..

Он выбрался на дорогу и с помощью двух ассистентов в той стороне, куда ушли машины, метрах в ста закопал в сыпучей,

песчаной земле тяжелую нажимную мину. Он определил такое расстояние, чтобы обезопасить себя от взрыва, а место выбрал там, впереди, в расчете, что те, которые будут в машине и уцелеют, после взрыва наверняка бросятся назад, сюда, где засада. Машина, можно не сомневаться, будет идти не одна. Надо, чтобы в ловушке место нашлось и другим. Как только передняя подорвется, эти другие, следующие, станут, очень удобная будет мишень. А для тех, кто решит спасаться в лесу, Шашура окаймил дорогу мелкими пехотными «хлопушками».

Подрывники, опытные в таких делах люди, вышколенные Шашурой, соблюдали строжайшую маскировку. Не высовывались из темного ельничка, переговаривались шепотком или жестами. Сделали все необходимые для боя приготовления, установили оба пулемета, расположили диски с патронами, гранаты. Лежали возле пулеметов, держали готовыми к бою автоматы. Шашура, вернувшись к ним, под защиту елей, нетерпеливо впился прищуренными кошачьими глазами в посветлевшую дорожную даль, стал вслушиваться.

Все больше открывавшаяся дорога была пуста, тиха. Никаких машин, ни единой, даже одиночной фигуры.

Прошло полчаса. Час, два. Все было по-прежнему. Сонная пустота и тишь. Только невидимый дятел где-то поодаль отстукивал, будто в насмешку.

— Эх, калина-малина, неужели я сплоховал? Неужели не там место выбрал? Быть не может!

Рядом кто-то из партизан зло выругался.

— Почему они, господа бога, не едут!

Продолжая наблюдать за дорогой, подрывники начали потихоньку переговариваться, осторожно курить. Долгое, нудное ожидание всем становилось в тягость.

Прошло три, четыре часа! Невдалеке, в стороне поселка, возникла сильная стрельба. Она то спадала, то разгоралась с новой яростью, а на дороге, будто нарочно, было пусто и тихо!..

Вдруг Шашура предостерегающе зашипел: «Ш-ш!» Свирепо оглянулся на товарищей, властным движением руки приказал замолчать.

Все сразу смолкли. Командир подрывников, вглядываясь в дорогу, даже приподнялся на локтях. Напряженно, остро вглядывался. Когда обернулся ко всем, в глазах был лихорадочный сияюще-радостный блеск.

— Едут! Все-таки едут «завоеватели мира»!

По дороге двигались машины. Скоро можно было уже рассмотреть их. Впереди — открытая легковая машина, за ней, чуть позади, — грузовики. Дорога шла не прямо, а делала поворот дугой, и, благодаря повороту, просматривалась вся

колонна, все грузовики — один, второй, третий. Всего шло за легковой четыре грузовых машины.

Машины все приближались. Уже четко было видно, что и в легковой машине, и в открытых кузовах следовавших за ней грузовых полно солдат.

Шашура, оглянувшись на товарищей, увидел, что одни из них застыли, целясь на дорогу, другие шевелились, стараясь поудобнее устроиться. Ну, быть бою!

Шашура с беспокойством подумал: только бы выдержали у всех нервы. Не ударил бы кто-либо раньше срока, до взрыва. Дать, обязательно дать втянуться им в лес. Чтоб ударить сзади, тогда, когда они замечутся, не зная, что делать...

Он тоже взял на руку автомат... Но что это? Шашура с недоумением опустил автомат и, приподнявшись на колени, до боли в глазах стал вглядываться: не немецкий это вездеход! И форма у солдат не серо-голубая. А главное — маленький красный флажок на передней машине... А может, он ошибается? Или, может, это провокация, обман?

Тогда солдаты с грузовиков сомнут, перебьют горстку партизан и самого его, Шашуру, пронзят очередью. Разве для того он столько сражался, чтобы погибнуть так бессмысленно! Что же это, наконец? Сколько ни всматривайся, ничего не разберешь!.. Недавно решительное лицо подрывника выражало страдальческую растерянность.

— Подождите, хлопцы!..

Шашура встал: надо выяснить, кто это.

Если это завоеватели — тогда одна очередь из машины, и ему конец, и многим товарищам смерть. Но это могут быть и наши, их надо остановить, предупредить! Одним словом, необходимо выяснить.

— Если дам очередь — значит: колбасники. Тогда — по всем машинам. Из всех стволов! Ясно?

С автоматом в руке, Шашура выбрался из ельника, вышел на дорогу и не спеша, будто спокойно, двинулся навстречу машинам. Партизаны из своего укромного места напряженно следили за ним.

Видели: широкоплечий, плотный, в кавалерийской портупее, он властно поднял руку, приказал машинам остановиться.

Подъехав ближе, легковушка медленно затормозила. И тут подрывник, постояв неподвижно какое-то короткое и трудное время, вдруг рванулся с места и бросился к машине.

— Отставить. Не стрелять!! — на мгновение задержался, повернулся он к партизанам. Объявил, ликуя: — Свои-и!!

Шашура крикнул так, что по лесу покатилось «и-и-и!».

В первой машине рядом с шофером — гордый и счастливый — восседал не кто иной, а друг, лесной брат Шашуры Василь Крайко, переодетый в солдатскую гимнастерку. Василь

и помог сразу разрешить трудные сомнения Шашуры, понять, кто следует в машинах.

— Вася?! Калина-малина, ты ли это? Откуда ты? Как ты сюда свалился?

— Приехал ос-свобождать вас! — засмеялся Василь.

— Ну, если так, то спасибо, товарищ бо-ец... — и Шашура, порывисто сдвинув кепку на макушку, так сжал освободителя, что у того косточки затрещали... Ошалелый от радости подрывник обнял выскочившего уже из машины смуглолицего сержанта, Юрия Туровца.

Тем временем остановились следовавшие позади грузовики. Из ельничка повылезали, бросились к машинам остальные партизаны. Из грузовых машин посыпались солдаты в выцветших гимнастерках. Все слились в толпах, шумных, возбужденных.

Подрывники каждый по-своему выказывали радость. Несколько хлопцев подхватили пожилого усатого бойца и подбросили в воздух; остальные кто жал, тряс по-дружески руки, кто по-братски обнимался. Почти все радостно кричали. Рослый партизан, обнимая молоденького ефрейтора, неожиданно заплакал от счастья, как ребенок.

Шашура перецеловал всех, кто ехал в передней машине, весело сдвинул кепку на лоб и почесал затылок.

— Эх, калина-малина, и не снилось — под своих мины подложил! Еще бы немного, и полетели бы вы на тот свет. И — от моей мины, пусть у меня руки отсохнут!..

8

— Размини-и-р-ровать! — спохватился он вдруг. Ошалевший, ликующий, он гаркнул так, что эхо покатилось по лесу.

Шашура двинулся со всеми: видно, скомандовал подрывник не только другим, но и себе.

Все бросились разгребать песок вокруг мин, вывинчивать запалы. Работали с небывалым рвением и весельем.

Скоро дорога была свободна, она теперь была изрыта, словно оспой, ямками, у которых желтел сыпучий песок. Вырытые мины покоились сбочь дороги, у самого ельничка...

— Путь свободен! — лихо козырнув, доложил Шашура младшему лейтенанту Проворному.— Но дальше мы вас, просите не просите,— не пропустим. Не можем пропустить! Надо, чтобы вы непременно погостили у нас!

— Где это?

— В поселке...

— Ну, там теперь и без нас хватает гостей! — Проворный озабоченно оглянулся на грузовики.— Туда, ни много ни мало, два наших полка пошли!..

— Нельзя,— строго сказал сержант. — Мы имеем задание...

— Я и забыл вас познакомить, — вдруг спохватился Василь.— Это Юрий, комиссаров сын.

— Юрий?! Вот это да! — Шашура снова обхватил сержанта. Отпустив, заявил убежденно: — Раз так, то, калина-малина, и говорить нечего! Обязательно заедем! Не увидеться с отцом при такой ситуации? Это же преступление! Ответственность перед вашим начальством, если на то пошло, я беру на себя. Скажу, я виноват, только я один!.. Договорились, товарищ командир! Едем!

— Не могу. Торопимся!..— И Проворный, повернувшись к стоящим на дороге бойцам, скомандовал: — По ма-ши-и-нам!

— Значит, нельзя, и конец?! — Лицо Шашуры выражало крайнее огорчение. Не верил он. Тут же огорчение сменилось мужественной деловитостью: — Ну, в таком случае — отметим, калина-малина, на ходу! Как говорится — экспромтом!

Шашура мгновенно отвинтил от фляжки алюминиевую крышку и, налив до краев спирта, широким жестом подал лейтенанту. Извлек из полевой сумки, в которой лежали и запалы, завернутый в несколько листков из книги кусок толстого, еще свежего сала, порезанного на ломтики, и аккуратно положил на соседнее сиденье. Потом налил из фляги Юрию, Василю, выпил сам, довольно крякнул и стал торопливо, как проголодавшийся, закусывать салом.

— Эх, разъезжаемся с отцом! — не выдержал, откровенно пожалел Юрий.— Вы привет ему передайте!..

Шашура заверил: передаст, конечно, о чем речь. Сразу, как только вернется. Но лучше бы Юрий сам заявился. Шашура нарочно взглянул на лейтенанта: как принял намек. Понимать должен. Лейтенант будто не слышал.

— Ничего, может, в Минске встретимся!.. — успокоил себя Юрий.

— Это-то факт! — поддержал его Шашура.

Проворный, чувствовалось все время, спешил; не дав закусить по-человечески, приказал заводить машины. Шашура, Проворный, Юрий, все остальные стали прощаться, по-дружески, как старые знакомые.

— А ты, Вася, друг мой юный, как же? Не вернешься уже? — полюбопытствовал озорно Шашура.

— Вернусь — п-позже! Только провожу — п-поближе к Минску!.. Знаешь что, — голос Василя стал тише и мягче, — повидай...

— Валю, конечно,— подмигнул догадливый подрывник.

— К-конечно. Скажи ей, что у меня все в порядке. А то она, наверное, переживает...

— Есть за кого переживать!

— Не кривляйся. Передай!

Машина уже тронулась. За ней мимо Шашуры и его помощников, набирая скорость, пробежали грузовики.

Возвращаясь обратно, подрывник пожалел не то в шутку, не то всерьез:

— Сорвалась, калина-малина, моя последняя операция!..

ГЛАВА V

1

Проворный не ошибся — действительно, в поселке было полно бойцов.

По главной, мощеной улице двигалась артиллерия. По всему поселку разносилось жесткое лязганье, скрежет тягачей, остро пахло перегаром горючего. На дворах стояли машины со снарядами и какими-то мешками, а в нескольких местах грузовики с зенитными пулеметами, в чехлах и без чехлов — нацеленными в небо.

Поселок хороводил как в праздник. Везде на улицах были солдаты и партизаны — будто одна армия; среди гражданских и военных головных уборов часто белели, пестрели цветами веселые платки женщин. Меж взрослых повсюду шмыгали непоседливые, любознательные дети. Все были хмельны первой радостью встречи, начинались расспросы, рассказы. Бесконечные расспросы!..

Хотя любопытному Шашуре очень хотелось постоять в какой-нибудь толпе, послушать, о чем говорят люди, он, очутившись здесь, на улице, устремился искать Туровца. «Вот обрадуется, когда скажу, что лицом к лицу встретил — кого бы вы думали? — Юрку!.. Вот как вас сейчас, видел, скажу.— Шашура не мог спокойно представлять, как он будет говорить все это, как слушать будет комиссар. Как ни увлекала эта необычная встреча с комиссаром, в какую-то минуту Шашура увидел в ней возможность иного поворота.— Или, чего доброго, забедует,— усомнился вдруг подрывник,— что не удалось повидаться. Гм, это может быть, очень может быть!.. — Шашура от этого открытия даже заметно умерил темп движения. Решил, однако: — Все равно, надо рассказать ему».

Комиссар и Ермаков, когда Шашура их увидел, как раз толковали с незнакомым армейским генералом. Генерал, пожилой, довольно грузный, с белесыми запыленными бровями, с широким крутым лбом, стоял около машины и, видимо, собирался уезжать.

Ермаков был в офицерской форме, в хромовых сапогах, в портупее, широкий командирский пояс блестел офицерской пряжкой. Держался с генералом комбриг степенно и как-то интимно, будто хотел показать, что он тоже не кто-нибудь, не лыком шит, а военный, кадровый.

— Так я надеюсь, друзья мои! — услышал Шашура.

Звякнув шпорами, Ермаков отрапортовал успокаивающе:

— Можете быть уверены, товарищ генерал! Все будет сделано! Все тропки знакомы! А о дорогах и говорить нечего! Сделаем! Проведем!

Генерал поблагодарил, по-товарищески пожал руки комиссару и комбригу и тяжело сел рядом с шофером в машину.

— Счастливого пути, товарищ генерал! — держа руку у козырька фуражки, пожелал Ермаков.

Едва машина, выбросив облачко синего дыма, двинулась по улице, Шашура подошел к Туровцу.

— Товарищ комиссар, разрешите сообщить. Весточка хорошая есть! Лично вам!

Шашура нарочно не договорил, сияя ждал вопроса. Туровец взглянул как бы недовольно, думая, видно, о разговоре с генералом.

— Какая весточка? — Во взгляде было, похоже, осуждение. Чего говоришь загадками? Но почти сразу же в глазах его и мелькнуло волнение, радостное ожидание. Ждал, догадался. Но не поверил. Сдержал себя.

— От сына вашего! — торжествуя, объявил Шашура.

— От сына? От Юрки? — Туровец, похоже было, все не верил.— Где он?!

— Близко!

Подрывник порывисто, то насмешливо, то с восторгом, принялся рассказывать о встрече, начиная с того, как он подложил мины для немцев, но как, увидев машины, сообразил вовремя...

Комиссар как бы все не верил Шашуре, и смотрел, и слушал, ловя каждое слово и будто еще не понимая всего.

— Так где он? — вдруг нетерпеливо перебил подрывника. Готов был, казалось, броситься навстречу.

— Попрощались,— скромно и участливо произнес подрывник. Выразил сочувствие, как только мог. Понимал ведь все.

— Как — попрощались?

— Приказ пришел сразу — дальше.

— Так что он — уехал?

— Выходит — поехал, товарищ комиссар!..

— Поехал! Что ж ты... — Туровец чуть не выругался с досады. Разозлился на неуместную болтливость подрывника.

— Я задерживал его, товарищ комиссар,— хотел оправдаться Шашура.— Не мог он. Задание.

— Куда он уехал?

— В сторону Ковалей, товарищ комиссар.

— Он, видимо, у Щербатюка служит,— вставил Ермаков, с любопытством слушавший рассказ Шашуры.— Надо попросить генерала, чтобы отпустил повидаться. А? Хочешь, я свяжусь, поговорю?

— Попробуй! — Туровец обрадовался, сразу ухватился за надежду, появившуюся после слов комбрига.

Они вдвоем бросились на поиски какого-нибудь штаба, из которого можно было бы связаться с командиром дивизии. Нашли штаб одного из полков. Судя по тому, что в машину у штаба грузили имущество, штаб, видно, тоже готовился выезжать из поселка. Комбриг с достоинством назвал себя, ссылаясь на личное знакомство с командиром дивизии, попросил связать с генералом.

— Подожди, может, он здесь, в этом полку,— перебил Ермакова Туровец. Он спросил майора, с которым говорил Ермаков, нет ли в личном составе полка сержанта по фамилии Туровец. Майор задумался, потеребил рыжий ус, покачал головой — не припоминает. Он приказал позвать какого-то Тимошкина и, когда появился худой, с желтыми глазами лейтенант, спросил его, нет ли у них в полку сержанта Туровца, велел проверить по спискам.

Вскоре Тимошкин вернулся и доложил, что в списках сержанта Туровца нет. Среди этой штабной озабоченности Туровец почувствовал неловкость за то, что беспокоит людей по личному делу. Но так хотелось увидеть хоть на минуту сына, что он не только не удерживал Ермакова, просившего связать с командиром дивизии, но и с нетерпением ждал, чем все это кончится. Не хотел так быстро терять надежду.

Генерала Щербатюка в штабе дивизии не оказалось. Ждать было некогда, штабисты полка, погрузив имущество в машины, уже ожидали команды двигаться.

— Разминулись! — Туровец с таким сожалением произнес это слово, что Шашура, ожидавший комиссара и комбрига на улице, почувствовал словно упрек себе.

— Три года ждал, вот он подошел, и — на тебе! — Туровец пытливо взглянул на Шашуру: — Скажи хотя бы, какой он? Высокий, а?

— Да нет, не очень... — Шашура заговорил охотно: хотел как-то утешить отца, да и свой промах загладить.— Невысокий совсем, можно сказать...

— Невысокий? Неужели не вырос?.. Отец виноват... Ну, а так, с виду? Взрослый, солидный?

— А как же, солидный! Солдат по всей форме!

— Солдат!.. Вот как мы, брат, Туровцы,— сказал комиссар со странной задумчивостью. Затаил сожаление о том, что разминулся с сыном. — И на фронте, и в тылу. С обеих сторон

Гитлера, чтоб он пропал заживо, тесним!.. Так говоришь, солдат — по форме.

— По форме!

Шашура видел: комиссар все не мог успокоиться, что разминулся с сыном.

2

В тот же день, под вечер, комиссару пришел приказ сдать дела в бригаде и подготовиться к отъезду в Минск.

Минск еще не был освобожден, а Туровец уже только и думал о городе, где ему предстояло работать секретарем одного из райкомов партии.

Начиналась новая, мирная жизнь, предъявляли права совсем иные, чем прежде, заботы. С завтрашнего — или, в крайнем случае, с послезавтрашнего — дня он будет знакомиться с неизвестными сегодня людьми, искать пути к их сердцам, сплачивать вокруг райкома, учить. Партия посылает его на новое место, дает новое дело, — дело, которое так близко его душе, о котором он столько мечтал все три долгих года войны...

Ему вспомнилось начало его партизанской жизни, мрачный, молчаливый лес, обступавший его и тех, кто был с ним, когда они сидели на полянке в первый вечер. И первая, почти без сна, ночь, в которую он думал, как будет готовить людей к боям. Тогда многое было непонятным, неясным — не то что сейчас. Сейчас, хотя и ожидали нелегкие дела, он смотрел вперед куда увереннее: Туровец хорошо представлял себе мирное будущее, представлял в конкретных деталях,— оно ведь было похожим на то, что он знал по довоенной работе. Конечно, в предстоящей жизни будет много непохожего,— это он учитывает. Он подумал об этом. Чего он только не передумал за долгие лесные ночи и дни.

Он шел на новую работу не один, а с группой толковых, испытанных людей, и это Туровца особенно обнадеживало. У него было немало помощников и советчиков, на которых можно будет вначале, да и позже, опереться...

Ермаков пока оставался по-прежнему командовать бригадой, на которую возлагалась обязанность помогать войсковым частям второго эшелона, обеспечивать порядок в освобожденном районе.

Комбриг очень жалел, что бригаде не придется участвовать в освобождении Минска: такое важное событие свершалось без него! Недоволен был, что приходилось только, как он говорил, выполнять роль сторожа, проводника,

Ермаков тоже мысленно прощался с бригадой. Туровец это почувствовал, когда они сошлись вдвоем решать некоторые дела в связи с отъездом комиссара.

— Пойду по старой специальности — «в пушкари»,— заговорил, обращаясь к Туровцу, комбриг, сдвигая набок свою артиллерийскую фуражку. Вдруг выпрямился, строго вскинул голову: — По цели номер четыре! Гранатой, взрыватель фугасный! Заряд первый!.. Угломер — тридцать четыре! Уровень — тридцать ноль!.. — громко скомандовал он, будто для того, чтобы доказать, что не забыл.

— Ты тише, Ермак. А то, чего доброго, минометчики поднимут тревогу.

— Ну и пусть поднимут!.. Прощальный салют устроим!

Они были в деревянном доме, рядом с тем, где недавно располагался командный пункт; окна были открыты, и с улицы врывались стук колес по мостовой и разноголосый говор. Дом был пуст — в нем, по рассказам, жил какой-то немец, исчезнувший в самый последний момент,— бежать, видимо, пришлось впопыхах, в доме было убрано и чисто. На Туровца и Ермакова глядели со стен какие-то фрау с замысловатыми прическами,— глядели и, казалось, удивлялись.

Ермаков вдруг озабоченно задумался:

— Хорошо тебе, Ничипор,— все у тебя ясно. Вот и место твое тебе уже известно.

— Ну, что у меня хорошего? — неискренне возразил в душе довольный Туровец. — Это же мне, может, временно...

— Не хитри. Не прибедняйся... И вообще ты, Ничипор,— мужик! Хоть и комиссар, а с мужицкой жилкой, — обижайся не обижайся!

Туровец не обиделся.

— Может быть, может. Со стороны пережитки виднее,— он явно посмеивался.

— А я вот не знаю, где буду через несколько дней... Интересно, что мне теперь дадут — батарею или на дивизион поставят, а, как ты думаешь?.

Туровец ответил, что могут поставить командовать дивизионом или назначить начальником штаба полка.

— На штаб едва ли. Со штабной работой я, наверное, не справлюсь, да что-то и не тянет меня к ней. Лучше бы командовать. А на дивизион не поставят — звание маловато... — Туровец уловил в его словах притаенную досаду, посочувствовал в душе ему. Месяца три назад, почти сразу после того, как стал командовать бригадой, Ермакова представили к майору, а приказа из Москвы все не было...

— Придет звание, Николай. А не застанет здесь, так в армии догонит. В таких делах, брат, порядок строгий,— успокоил его Туровец.

Он попросил начать пересмотр списков,— на работу в город обком партии решил направить одновременно с Туровцом необходимых там людей.

Списки этих людей были составлены давно и даже утверждены обкомом. В них были включены прежде всего опытные партийные работники, особенно комиссары отрядов, политруки, разные специалисты — инженеры, врачи, преподаватели, железнодорожники. Правда, часть их командование соединения разрешило пока задержать в бригаде, поскольку обстановка давала основания предполагать, что бригаде еще придется повоевать с гитлеровцами, очищать леса. Определить, кого сейчас отпустить в город, а кого оставить здесь, и должны были Туровец и Ермаков.

Когда они, сидя плечом к плечу, стали читать списки, разгорелись споры. Нередко оказывалось, что один и тот же человек был позарез нужен и Туровцу и Ермакову.

— Ну, это черт знает что!.. Всех лучших людей забираешь! — не выдержал наконец комбриг.— С кем я воевать буду?

Посмеиваясь цыганскими глазами, Туровец спокойно, ласково — с той ласковостью, за которой Ермаков чувствовал лукавство, — ответил:

— Э-э, комбриг, какая тут теперь война! Считай, кончилась тут война!..

— Для кого кончилась, а для кого и нет...— Ермаков, казалось, не заметил, что комиссар шутит. Он нетерпеливо встал из-за столика.— Слушай, Ничипор Павлович, этого надо оставить! Ведь командир, рота расползется без него! На нем все держится там!

— Если б ты, комбриг, знал, какой это был до войны инженер! По его делу другого такого мастера во всем Минске не найдешь,— академик, а не инженер! Талант!

Комиссар, добродушно улыбаясь, записывал фамилию инженера в свой блокнот. Но Ермаков все еще пробовал отвоевать командира:

— Слушай, комиссар, совесть имей! Обойдешься пока без него!

— Ну и чудак ты, Николай. Как же я обойдусь,— мягко, но уже без улыбки заговорил Туровец,— если, кроме него, по сути, ни одного специалиста на заводе! Ни одного, понимаешь?! Подумай, как можно без него там что-то сделать?..

Еще через две фамилии комиссар назвал Шашуру.

— Шашуру?! А этот зачем тебе понадобился? По какой специальности? Ну, те все, как ты говоришь, специалисты. Единственные, незаменимые, необходимые! А Шашура какой специалист? Какой?

— Шашура — какой? — будто удивился его вопросу Туровец. Сказал так, словно упрекал: как можно такие вопросы

задавать.— Шашура, сам знаешь, специалист на все руки! Нужный очень в наше время специалист! Для его будущей работы, брат, не только науку, но и природный талант надо иметь! Нам сейчас такие люди крайне нужны! ..

И обиделся за многое на Туровца, и разочаровался крепко в бывшем своем комиссаре Ермаков. Все время, хотя и сдерживался, с недовольством чувствовал, что Туровец, взявший часть людей справедливо, все же добивался большего, чем было необходимо для его дела. Раньше думал комбриг, что Туровец такой же патриот бригады, как и он сам. Было время, когда комиссар заботился о бригаде, как рачительнейший хозяин, когда для него, казалось, не было ничего дороже партизанской семьи. А пришло иное время, все забыл...

3

Утром из лагеря прибыла повозка, нагруженная мешками, чемоданами, ящиками. Ее сразу окружили, начали разбирать каждый свое. Ординарец комиссара взял с повозки вещевой мешок, ружье, кожух и направился в дом комиссара. Здесь он поставил ружье в угол, а мешок и кожух положил на скамью.

— Я все вещи сложил сюда, в мешок...

— Хорошо. Всем, кто едет, привезли вещи?

— Всем...

Туровец стал собираться в дорогу. Он просмотрел, что было в мешке: ношеное-переношеное белье, новое верхнее обмундирование, конспекты лекций, планы бесед — на отдельных листках, в тетрадях, в блокнотах, потертые, пожелтевшие от времени вырезки из газет, карту, испещренную знаками о положении на фронтах, томик В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю»...

Взял в руку ружье, переломил, посмотрел в ствол,— будто собирался на охоту. Это было ружье «Франкот», захваченное однажды вместе с полковником СС. Ребята, захватившие ружье, принесли его Дрозду, но Дрозд подарил Туровцу, страстному охотнику.

«Чудесная штука!» Туровец погладил отполированное сверкающее ложе. Он уже не раз стрелял из этой «штуки»: бой был отличный...

— Вот и все... — Комиссар взглянул на кожух: что с ним делать? Бросить, что ли? Нет, может, пригодится.— Петро, а кожух привезешь мне в Минск. Смотри, чтобы не пропал.

— Не пропадет, товарищ комиссар...

Туровец решил ехать сегодня же, не теряя времени, хотя немцы, возможно, еще были в Минске. Он рассчитывал, что, пока удастся добраться, родной город наверняка освободят.

Неудержимо влекло скорее вернуться в город, посмотреть, что там.

Со вчерашнего дня Туровца, кроме давнего желания скорее увидеть город, беспокоило еще одно, нетерпеливое, торопившее: сердце отца никак не покидала надежда встретить в городе Юрия...

Надо было вот только заглянуть в госпиталь. Заглянуть прежде всего, как объяснял себе Туровец, для того, чтоб попрощаться с ранеными. Сделать это велели ему его желание и его долг. Но вело его в госпиталь, конечно, не только это. Нет, не мог он уехать отсюда, не повидавшись с Марией...

Госпиталь был недалеко, в небольшом парке, где мощно возвышались столетние липы и вязы. Когда Туровец сосредоточенно шагал по аллейке к парку, ему повстречалась Валя, несла какую-то кастрюлю. Встретив комиссара, она приветливо поздоровалась. Но взглянула так, что Туровцу стало неловко, не по-девичьи проницательно и как бы с насмешечкой.

— А Марии Андреевны нет,— сообщила она. И метнула взгляд, от которого Туровцу снова стало не по себе.— Повезла раненых в военный госпиталь. Там им будут делать операцию... У них есть хороший хирург.

— Спасибо за сообщение,— произнес Туровец тоже словно с насмешкой. С комиссарской озабоченностью расспросил, кого повезли к хирургу, как состояние увезенных раненых. Дал понять самоуверенной девчонке, с кем она имеет дело. С официальным видом передал привет Марии Андреевне. А остальных пообещал повидать лично, попрощаться. Сообщил, что идет попрощаться с ранеными.

Он уходил из госпиталя растроганный разговорами с людьми, согретый теплотой их любви, опечаленный острым сознанием того, что встреча эта — прощальная. Что, как бы там ни было, что-то в связях с этими людьми разрывалось.

Странно устроено человеческое сердце: вот ведь мечтал об этой минуте, видел только радостную ее сторону, а в ней, оказывается, и своя печаль. Печаль, конечно, усиливало то обстоятельство, что не удалось повидаться с Марией Андреевной. Надо же было ей уехать именно в этот час.

У своей хаты Туровец встретил Шашуру, приказал:

— Собирай людей! Сейчас выступаем!..

Выйдя из хаты с вещевым мешком за плечами, он увидел вокруг группки уходящих с ним в город чуть не всю бригаду. Все, кто был в лагере, вышли их провожать, и Туровец почти с каждым попрощался за руку. Последним, к кому он подошел, был Ермаков. Счастливый комиссар несколько виновато взглянул на Ермакова, крепко-крепко, как лучшего друга, обнял.

— Ну, прощай, Коля!.. Только — не сердись. Всему, дорогой, своя пора.

— Легко говорить тебе...

— Будешь в Минске — заходи! Адрес простой — райком. А где его искать, я и сам пока не знаю...

— Найду.

4

И кто бы мог подумать, что ей, Авдотье Шабунихе, снова придется убегать из родного села и прятаться.

Целый день шли через Поплавы наши: и пехотинцы, и пушки, и обозы. И казалось, что теперь — все, что теперь можно жить себе в покое, жить — ничего не бояться. Но случилось по-иному. На следующий день, около полудня, в Поплавы снова прикатили немецкие машины.

Авдотья была в это время в поле. Она полола с женщинами картошку и видела эти машины и пыль, которую они подняли, но ей и в голову не приходило, что это могут быть не наши. Скоро прибежала испуганная, запыхавшаяся девочка и крикнула:

— Ой, немцы!

Авдотья пришла в ужас: там, в селе, Володя и Волька. Не думая ни о чем, ничего не страшась, она побежала туда, где сейчас стояли ненавистные машины. Авдотья знала только одно, одно помнила: там Володька и Волька!

Боже мой, почему она не взяла их с собой! Как могла она забыть о том, что было всего лишь вчера утром, как могла она не остерегаться, что ветер может вдруг перемениться, что они, эта вражеская напасть, вдруг снова придут. Они ведь еще везде здесь шатаются, по разным углам, тропам. Как же она так оставила детей одних в селе?!

Чувствуя, как холодеет в груди, Шабуниха вбежала в родное жилье. Спустилась в землянку по сходням — там было пусто. И в селении она их не видела. Она бросилась к соседке, к Аксинье, надеясь, что, может, та что-нибудь знает.

Но Аксиньи дома не было.

Здесь к Авдотье подошли несколько солдат и стали что-то требовать на своем непонятном языке. Она догадалась: приказывают дать яиц, молока, хлеба.

— Где я вам их возьму? — ответила она со злобой.— Где? Все подмели, как на току, нет на вас погибели...

Ее заставили проводить в свое жилье.

— Вот, все тут, в этом погребе. Берите, что найдете,— пусть оно вам боком выйдет!..

Один из солдат наставил на нее автомат, еще что-то приказывая. Она так бесстрашно держалась, что он выругался и опустил автомат. В своей великой тревоге она сейчас ничего не боялась.

Где же дети?!

Она обошла все село, искала детей, искала, у кого бы узнать о них. Будто во сне, она видела рядом с собой сине-серые машины и фигуры в чужих мундирах. Эти поганые приблуды подходили к ней, требовали, угрожали.

Не нашла ни Володьки, ни Вольки. Людей в селе было мало,— почти все скрывались где-то в лесу или на болоте. Авдотья старалась успокоить себя, что там, может быть, и ее дети, но тревога не покидала ее.

Шабуниха едва дождалась ночи. Все время в ней жило только одно желание: найти, найти детей!..

Под вечер в селе немцев стало еще больше. Они вкатили и на ее двор, поставили две машины под грушами. Выйти из села было трудно и опасно, но Авдотья не колебалась. Как только в селе и во дворе поутихло, немцы легли спать, она, пригнувшись, начала пробираться огородами к кустарнику.

На краю огорода она едва не наткнулась на немцев, но вовремя заметила, как мелькнул в темноте невдалеке огонек спрятанной цигарки. В кустарнике, где Авдотья рассчитывала укрыться, она внезапно услышала немецкий говор. Значит, немцы и здесь.

И она двинулась дальше, но не в лес, повернула в болота.

На рассвете, добравшись до лозняка, в котором ей уже приходилось когда-то скрываться, она нашла наконец своих знакомых. Одной из первых ей попалась Аксинья.

Аксинья сказала, что Володька и Волька здесь, около нее, спят. Но Волечка из-под лозового куста звонким, счастливым голоском возразила:

— Нет, мамочка, я не сплю!..

И бросилась со слезами к Авдотье.

— Детиночка ты моя, — прижала ее к себе Шабуниха шершавой ладонью. Вытерла ей слезы чистым уголком платка.

Устало присев на постланные Аксиньей завядшие, слежавшиеся ветви, подумала озабоченно: сколько же это еще скитаться?

ГЛАВА VI

I

Гитлеровцы возлагали большие надежды на оборону в районе Минска. Они рассчитывали уцепиться за оборонительные сооружения как в городе, так и на подходе к нему и остановить наступление. Но умелая тактика наших командиров и невиданно быстрое продвижение наших войск сводили на нет все надежды и расчеты гитлеровцев.

Дивизии генерал-полковника Глаголева, наступавшие по Минской магистрали, громили вражеские части и сбивали их с магистрали на юг. Наши войска двигались вперед так стремительно, что немцы, которым приходилось отходить по узким, извилистым дорогам, через болота и леса, не только не успевали организовать контрудары, но отставали от наших частей в общем на сорок — пятьдесят километров.

Создавалось весьма оригинальное положение, чрезвычайно выгодное нашим войскам. Для того чтобы задерживать отступающих еще больше, было даже выделено специальное соединение, которым командовал генерал-майор Олешев.

В ночь на третье июля, когда наши войска подходили к Минску, передовые подразделения остатков 4-й немецкой армии под командованием генерал-лейтенанта Мюллера были еще километров за пятьдесят от Минска. А им, по расчетам немецкого командования, следовало защищать город!

Неудержимый поток наступающих войск приближался к Минску, обтекал его со всех сторон. Уже 2 июля пехотинцы генерал-полковника Галицкого и танкисты маршала Ротмистрова, наступавшие севернее Минска, перехватили дороги на Вильнюс и Лиду, а части, двигавшиеся с юга, заняли Столбцы, Несвиж и Городею. Главные пути, которыми гитлеровцы связали город со своим тылом, были перерезаны.

Большие силы двух фронтов — 3-го Белорусского и 1-го Белорусского — направлялись прямо на Минск.

С востока, разбив немецкие заслоны под Смолевичами, подходили танковые бригады и пехотные дивизии Черняховского. С юга, от Осипович, спешили передовые части Рокоссовского, второго июля занявшие Пуховичи. Они двигались и днем и ночью, почти без привалов, чтобы вовремя успеть к штурму.

Все шли — на Минск. Все двигалось — на Минск. Танкисты, пехотинцы, саперы, полевые орудия и «катюши», минометы и зенитные установки. Подходили с разных сторон партизанские бригады и отряды...

Командующий 3-м Белорусским фронтом Черняховский поставил на третье июля перед соединением генерал-полковника Глаголева и танкистами Тацинского корпуса генерала Бурдейного задачу — взаимодействуя с танковым соединением маршала Ротмистрова, взять Минск.

2

Вечером Алексей был уже недалеко от Минска.

Перевязав кое-как рану, он по-прежнему двигался вместе со своими танкистами. Терпел сильную боль, что почти не оставляла правую руку. Рана горела, но этот огонь не так

беспокоил Алексея, как боль,— боль все время рывками тянула вниз руку, причем больше всего донимала не в том месте, где была рана, а возле локтя. От каждого толчка машины боль усиливалась.

Алексей старался не показывать своих страданий. Когда Гогоберидзе спросил, как комбат чувствует себя, капитан ответил:

— Порядок. Почти нормально, Сандро!

Больше всего беспокоило и даже, можно сказать, пугало Алексея то, что он с каждым часом слабел, тело становилось каким-то бессильным, непослушным. Начинала кружиться голова, хотелось лечь, закрыть глаза...

Он старался превозмогать противную слабость, держался как мог. В этот нелегкий вечер ему придавало силы тревожно-радостное сознание того, что уже близко до родного города: остаются считанные километры, и с каждым часом их все меньше и меньше.

Когда он думал, что скоро, очень скоро будет в Минске, что его отделяет от родного города не месяц, не неделя и даже не сутки, а всего каких-нибудь несколько часов, то казалось, и боль утихала, успокаивалась.

Вечером он сидел только на башне. Здесь, где лицо ласкал ветерок, пусть слабый и теплый, не было так душно, как внутри машины. Алексей чувствовал себя немного лучше.

В небольшом леске батальон остановился.

Лесок был почти полностью вырублен. Высокие прямые деревья стояли редко, их черные одеяния-кроны четко выделялись на глубоком звездном небе. Сбочь этих деревьев чернел едва заметный в полумраке молодой ельник, над ним лишь кое-где поднимались острые вершины деревьев повыше. Отсюда город был совсем близко. Алексей думал, что это, вероятно, последняя остановка перед штурмом Минска.

Сразу же, как только стало известно, сколько примерно придется здесь стоять, Алексей попросил Быстрова позвать военфельдшера. Надо было осмотреть и очистить рану и как следует перевязать. Возвращаясь назад, Быстров впотьмах не сразу нашел машину. «Черт его знает, заблудился я, что ли,— услышал Алексей его голос. — Ведь вот здесь она, кажется, была...»

— Давай сюда, Быстров,— позвал его капитан, вглядываясь в просветы среди деревьев.— Ведешь?

— Так точно, капитан, вдвоем!

Военфельдшер, подойдя к комбату, ни о чем не спрашивая, приказал Быстрову посветить карманным фонариком.

Вокруг Алексея почти тотчас же собрались танкисты, он с волнением почувствовал общее сострадание и беспокойство за него. Один из них что-то сказал Быстрову, и фельдшер строго

велел или разойтись, или молчать. Никто не отошел, но все замолчали.

Алексей устало смотрел, как под желтоватым светом быстро ходят две кисти рук и короткие желтые пальцы, раскручивая повязку. Потом фельдшер вымыл руки спиртом, острый запах которого вдруг возник среди запаха газойля и хвои. Пинцетом оторвал присохшую к ране подушечку.

— Гм, н-да... Дела! Что ж вы, комбат, не вызвали сразу?.. — Не дожидаясь ответа Алексея, объявил: — Повреждены мышцы, капитан...

Он поднял сумку ближе к свету, достал флакон, взглянув на всякий случай на этикетку, осторожно обмыл рану и тщательно ее перевязал. За все это время он не произнес ни слова, и Алексею показалось, что вокруг наступила больничная тишина, хотя где-то близко урчал танк.

— Придется, капитан, пожаловать в санбат. Такие дела. Пока стоим, передайте командование... — Фельдшер говорил буднично и как будто безразлично, тем временем привычно закрывая сумку. Быстров по-прежнему светил ему на руки, так что лицо фельдшера Алексею не было видно.

— Сдать? Из-за такого пустяка? Ты что, шутишь, Витошка?

— Нам некогда шутить, комбат. Это — не пустяк, надо делать операцию. Нужен больничный режим... Так что пока время — в санбат.

— Так сразу и в санбат? — Недоверие Алексея было притворным.

— Для начала...

— А если я не хочу?

— В санбат идут не по желанию...

Тон речи фельдшера был тверд. Алексей понял, что спорить с фельдшером нет смысла. Схитрил:

— Ну ладно: санбат так санбат... Загляну домой — и лягу...

— Куда — домой? — не понял фельдшер.

— В дом свой. В Минске.

— Надо ложиться немедленно, комбат.

— Лягу, лягу, сказал. В Минске и лягу.

— Сейчас же надо, комбат. Может начаться гангрена, не исключено это. Гангрена, заражение, понимаешь?.. Одним словом — не-мед-ленно.

— Я ведь сказал, Витошка. В Минске сразу и лягу.

— Дома быстрее заживет... — вступился за Алексея из темноты голос Колышева.— От одного домашнего воздуха поправится!

Фельдшер, обычно, казалось, мягкий, добродушный человек, упорно настаивал на своем. Алексей же по-прежнему не сдавался.

— Послушай, человек ты или не человек? — не выдержал Быстров.— Ты понимаешь по-человечески?

Фельдшер, не слушая его, спросил Алексея:

— Значит, отказываетесь отбыть в санбат?

— Да, не хочу.

— Ясно,— зловеще подытожил фельдшер.— Так и сообщим...

В голосе фельдшера звучала угроза. Алексей встревожился, знал: если в дело вмешается Бессонов, судьба его круто повернется. Бессонов уговаривать не будет...

3

За несколько минут до этого, не замеченная никем, вблизи остановилась легковая машина. Из машины вышел человек, спросил, как найти капитана Лагуновича.

Увидев около черного силуэта «тридцатьчетверки» группку спорящих танкистов и узнав среди других голос капитана, приезжий остановился и стал молча слушать. Очень скоро он понял причину перепалки.

— Кто здесь и кому грозится? — внезапно послышался его басок.— Ишь, расшумелись — на весь лес!

Говор сразу оборвался.

Бессонов заехал проверить, как батальон готовится, дать указания к бою и узнать, как ранен капитан, как себя чувствует. Но, подойдя к комбату, полковник заговорил не с ним, а узнал у фельдшера: какая рана, не перебита ли кость. Ручным электрическим фонариком осветил руку капитана, лицо его. Лицо капитана от потери крови и электрического света казалось белым. Взгляд был хмур, упрям.

Бессонов погасил фонарик, спросил фельдшера:

— Значит, отправить надо?

«Все. Прикажет сейчас двигаться в госпиталь, сухая душа...» — недобро подумал Алексей.

— Опасность гангрены, товарищ гвардии полковник!

— А он — не хочет?.. Не хочешь, капитан, назад?.. Зря...

— Я еще могу воевать, товарищ гвардии полковник!

— Не хочешь, значит? — как бы не слышал Бессонов.— Ну что ж, если жизнь своя недорога — оставайся. До Минска! Повоюй сутки... Твоя помощь будет, вероятно, нелишней.

— Хочется посмотреть, товарищ гвардии полковник, что там в городе. Три года спустя... — Алексей чувствовал себя виноватым.— Семью не терпится быстрее найти. Да оттуда — и на фронт легче будет добираться: ближе!

Полковник выслушал, но не ответил ничего. Коротко, жестко бросил фельдшеру:

— Следи за раной, да — внимательней!..

В лесу было темновато и очень тепло, будто в курене. Нагретая за день земля, деревья и воздух никак не могли остыть, окружали теплом, приятной тишиной, покоем. Стояла такая сушь, что на траву не ложилась роса.

В такую ночь хорошо спится в лесу, особенно после беспокойного, жаркого дня. Но почти никто не спал — все знали, что близко, почти рядом Минск, что вот-вот начнется бой за него, готовились к сражению. Командиры, которых Алексей собрал на совещание, изучали подходы к городу, маршруты по улицам, обсуждали различные вопросы, связанные с предстоящим боем, экипажи пополняли запасы снарядов, горючего в машинах, проверяли моторы, натяжение гусениц.

Царило бодрое возбуждение — у всех только и было разговоров что о Минске, о штурме...

Почти перед самым выступлением, когда танкисты Лагуновича ожидали, что вот-вот придет приказ в путь, прибыл на танке подполковник Семижон.

— Как рука, капитан? — спросил он у Алексея.

Вблизи часто заухали орудия. Алексей пережидал стрельбу.

— Рука?.. Жить можно...

— Душа болит? Последние минуты всегда длинные. — Семижон приказал собрать всех. Танкисты сходились, переговариваясь, смеясь, поблескивая искорками цигарок. Лиц почти не было видно, но по говору, по огонькам чувствовалось, как много людей под деревьями. По тому, как задорно разговаривали, как смеялись, чувствовалось, что настроение у большинства отличное.

Едва подполковник тихим сипловатым голосом заговорил, все сразу смолкли. Как он это теперь часто делал, Семижон начал с того, что рассказал о последних известиях с фронтов. Сообщил, что соседи справа уже заняли Вилейку, перерезали железную дорогу Минск — Вильнюс.

— Появилось новое направление — Барановичское! На этом направлении уже освобождены Несвиж, Городея и Столбцы. — Семижон говорил радостно-возбужденно, чувствуя, что этой же радостью полнятся сердца всех его слушателей.

Солнцев, выразив общее настроение, крикнул:

— Эх, мама родная! Им теперь, выходит, из Минска драпать некуда.

Алексей подумал: Минск еще не освобожден, а уже словно становится тыловым городом. Еще не окончено Минское направление, а уже существует Барановичское...

— Товарищи! — повысил голос Семижон. — Настала и наша очередь порадовать Родину. Нам выпала честь, великая честь освободить один из важнейших городов нашей страны, столицу Белоруссии, героический Минск!.. Родина, которая послала нас

сюда, которая поручила нам это великое дело, верит, что мы оправдаем ее доверие. Не только армия, вся страна, миллионы людей смотрят на нас — с Урала, с Кавказа, из Поволжья, ждут от нас — верните Минск!.. Нас ждут с нетерпением, как самых дорогих людей, там, в близком Минске, который гитлеровская погань жжет и взрывает, где в неволе три года мучаются наши матери, дети, сестры, наши родные!.. Кровавые изверги окружили город и собираются завтра учинить расправу над теми, кто дожил до сегодняшней ночи. В городе вывешены объявления, в которых эсэсовцы приказывают людям собираться на специальные сборные пункты, собираться на смерть! Не дадим на погибель наших людей!

— Не дадим! — горячо поддержал Колышев.

— Смерть фашистской нечисти!

— За наш Минск, за победу! За нашу великую Родину!

Последние слова подполковника заглушило нетерпеливое, напористое «ура», эхом прокатившееся по лесу. Было видно, что все, как и Алексей, рвались в город, на штурм.

После митинга Семижон остался в батальоне Алексея. Он присоединился к роте Алиева и с этой ротой, которая должна была подойти к Минску одной из первых, ждал, когда двинутся танки...

Алексей, непрерывно поддерживающий связь с Бессоновым, обойдя остальные подразделения, двинулся на машине к разведчикам. Он прибыл как бы только для того, чтобы сообщить Гогоберидзе новые сведения об обстановке, но в действительности ему хотелось лично, самому рассказать о тех местах, где сейчас придется действовать разведчикам. Эх, если бы Алексей мог, имел право идти в город вместе с разведчиками, так же, как и они, идти первым!.. Не признаваясь себе, комбат завидовал Гогоберидзе и остальным разведчикам.

— Алексей, покажи мне, пожалуйста, где твой дом стоит? — заговорил Сандро, внимательно выслушав советы и сведения Алексея.— Чтобы, часом, не разбить его своей пушкой. А то — твой друг еще станет твоим врагом! Зачем мне это? — сказал он с шутливой тревогой.

Он дружески обнял Алексея, попросил:

— Алексей, будь другом — познакомишь меня с Ниной? Я хочу посмотреть, какая она красавица у тебя!

— Познакомлю, Сандро... Если можно будет...

— А почему нельзя будет?

— Они, Сандро, тоже на войне... Три года... Боюсь я что-то... Ну давай, веди своих!

Приказав выступать, Алексей обождал, пока подойдут «тридцатьчетверки», и дальше пошел вместе с ними. Танки приближались к городу. Алексей видел впереди кроваво-багровые зарева пожаров, растянувшиеся по небосклону. Они

то вспыхивали, поднимая высоко в небо шевелящиеся отсветы, то спадали, и небо тогда будто опускалось и становилось черпее. Страшные зарева были так близко, что, казалось, слышалось их жаркое дыхание.

Он столько мечтал об этой минуте, и вот она наступила — близко, как никогда...

Глядя на зарева, трепетавшие над дорогой и пригорком, Алексей почувствовал, как им все сильнее овладевают нетерпение и тревога. Наверное, никогда он не тревожился так, как сейчас.

Что его там ждет?

4

Неподалеку от города батальон сбил вражеский заслон, повернул на магистраль и двинулся по асфальту прямо на Минск.

Алексей все время видел впереди большие зарева.

Когда начало светать, отполированные дорогами гусеницы, лязгая, отмеряли последние километры магистрали.

Первыми к окраине подошли три машины под командой лейтенанта Гогоберидзе. Остальные машины батальона стояли наготове позади, на шоссе и обочинах, возле полосок зреющих хлебов. Алексей по-прежнему сидел на башне, нетерпеливо прислушиваясь к звукам в шлемофоне. Он ожидал сообщений разведки.

Все, что он видел вокруг, было ему знакомо. И лощинка, в которой сейчас стояло несколько танков, и лесок слева, и плоская, ровная крыша здания метеостанции, возвышавшегося из-за пригорка впереди. Окраину и сосняк городского парка отсюда не было видно, но Алексей чувствовал, что они рядом.

Его мысли были с Гогоберидзе, на городской окраине, и дальше, в городе, который он знал, наверное, лучше, чем самого себя. Он ждал минуты, когда можно будет двинуться со своими танкистами туда — следом за мыслями, за желанием.

Алексей приподнял один наушник и прислушался, не слышно ли звуков боя впереди.

— Почему он молчит? — Быстров, сидевший рядом с Алексеем, выжидающе смотрел вперед.

— Рано еще...

Танки Гогоберидзе шли вдоль магистрали, один слева, а два — справа. Прошли широкую лощину, миновали метеостанцию и медленно по одному начали подниматься на пригорок, на котором виднелось несколько деревянных домиков. «Тридцатьчетверка» Гогоберидзе шла рядом с шоссе, которое, выгибаясь, стремительно бежало вверх, исчезая невдалеке за

гребнем холма. Асфальт, мокрый от утренней росы, тускло блестел.

В это время по передней машине, уже ушедшей за пригорок, ударили раз, другой орудия. Танкисты ответили несколькими выстрелами. Командир машины сообщил, что пушки бьют издалека. Гогоберидзе приказал вести с ними бой, а сам по другой стороне шоссе все шел вперед...

Пригорок, скрывавший от глаз город, с каждой минутой опускался все ниже. И вдруг в перископе перед глазами возникла картина города — справа большое недостроенное багрово-красное здание, возле него — несколько поменьше, слева — темный, строгий сосняк. «Минск!» — мелькнуло в голове. Гогоберидзе окинул быстрым, сторожким взглядом стены зданий, особенно большого красного дома, широкое русло шоссе, переходящего в улицу. «Можно проскочить туда, к красному», — загорелся Сандро.

— Вперед, прямо к красному!.. — крикнул он водителю.

Танк рванулся и понесся по обочине. Гогоберидзе впился глазами в перископ — навстречу бежала пустая мощеная улица, здание придвигалось, вырастало.

«Уже совсем рассвело!»

В то же мгновение лейтенанта сильно бросило вверх, ударило о броню. Удара он не почувствовал, как не почувствовал и боли. Только, будто эхо, снова прозвенело в голове «рассвело», — теперь какое-то острое, горячее. И в тот же миг все погасло — и тревога, и горячий звон...

Окутанный тучей земли и дыма, танк наклонился на правый бок и неподвижно застыл. Покореженные катки въехали в землю, рядом с ними вытянулся обрывок сорванной гусеницы, валялись разбросанные траки. На обожженную траву, на машину опадали комья земли, осыпался песок.

— Мины. Гогоберидзе подорвался... — услышал Алексей испуганный голос.

5

Комбат приказал разведчикам повернуть правее, на территорию Пушкинского поселка. Послал туда в помощь взвод Колышева.

Под прикрытием пригорка машины Колышева быстро двинулись напрямик через поле. Они без единого выстрела дошли до окраины и вползли в кривую улицу. Здесь автоматчики соскочили с машин и пошли вслед за ними, прижимаясь к стенам и заборам.

Колышев миновал первые строения окраины. Деревянные дома стояли недружно, как попало. На улице было тихо

и пусто, автоматчики забежали в один двор, в другой — никого нет. Будто вымерла улица...

И все же сознание того, что это Минск, радовало Колышева. Он был бы совсем счастлив, что входит сюда в числе первых, если бы не гибель Гогоберидзе.

Эх, не повезло Сандро! И надо же было так случиться — сложить голову под самым городом... На фугас, наверное, наскочил... На фугас, конечно!.. Такой невероятной, обидной была эта смерть, что Колышев не хотел верить в нее. А может, он не убит? Только ранен или контужен? Мысли эти прошли и исчезли. Некогда было думать о посторонних событиях. Надо было следить за происходящим впереди, делать свое дело...

Да, не повезло Гогоберидзе...

В то время как Колышев горевал о нем, лейтенант уже пришел в себя. Его только оглушило взрывом. Теперь у него в голове, в ушах было будто полно воды. Что-то больно давило на виски.

Сандро, морщась, огляделся вокруг. Взгляд его был бессмыслен. Он почти не соображал ничего. Равнодушно увидел он командира орудия, который почему-то поддерживал его. Увидел: рядом лежал на замке пушки Саша Бурлак, заряжающий.

Вид заряжающего вызвал у Сандро первую мысль: что с Сашкой? С трудом пробилось в сознание: ранен? Приглядываясь, понял наконец: убит. Но сквозь тяжесть в голове не почувствовал страха или сожаления. Появилось недоуменное: куда тянет его командир орудия? Вынести хочет?..

Сандро шевельнул плечами, освободился.

Опираясь руками о стенку, превозмогая слабость, с усилием поднялся и глянул в перископ. В окуляре виднелась улица. Она была пуста. Совершенно пуста. Она напомнила ему: такую он видел ее. Когда, давно ли, недавно ли,— он не знал. И не пытался узнать. Его отвлекло иное. «Я, кажется, на мину нарвался»,— не удивился, не поразился, просто отметил он про себя. Повернул перископ — танков сзади не было. Но Сандро увидел их левее, поодаль — они подходили к домам, исчезали за зданиями, появлялись и снова исчезали, за другими зданиями...

«Они ушли одни? Одни, без меня?» — не поверил своим глазам Сандро. У него вдруг, неизвестно откуда, взялись силы.

Он повернул на спину Сашку: тот дышал. Сандро подтянул его к люку, положил, выбрался через другой люк, вместе с командиром орудия вытащил заряжающего из машины. Тут к ним присоединился пулеметчик.

— Бери,— сказал Гогоберидзе, и они втроем, пригибаясь, по кювету понесли заряжающего к своим.

...Тем временем Колышев со своими «тридцатьчетверками» все углублялся в город. Обошел по дворам, по ямам несколько двухэтажных деревянных домов, слева от которых дымился, догорая, большой дом с широкими пустыми окнами. Повернул

в переулок и неожиданно наскочил на две группки немцев, торопливо тащивших навстречу противотанковые пушки. Немцы, едва завидев рванувшийся на них танк, бросились врассыпную. С лёту обе пушки были раздавлены. Через квартал перед Колышевым открылась большая улица...

На окраине уже рычали остальные машины батальона. Алексей жадно смотрел на знакомые дома, на хаты, был полон одним ощущением: он на минской улице! Эта реальность воспринималась еще как сон. Но и сон этот волновал необычайно.

Все время Минск был где-то далеко, в мыслях, а теперь он — вот, перед глазами.

Бежит навстречу минская улица... Алексею казалось, что он не сидит в машине, придерживая раненую руку, — а плывет, парит по воздуху — в счастье и нетерпении...

Колышев двигался уже по большой улице. Над его машиной пронеслось несколько снарядов, но лейтенант не слышал их, пока снаряды летели. Взрывы грохнули неподалеку сзади, выворачивая камни, разбрасывая осколки. Когда Колышев услышал эти взрывы, почувствовал себя как бы спокойнее. Все время, пока шел он по этой молчаливой широкой улице, казалось ему, будто тишина ее таит что-то неизвестное, очень опасное. Выстрелы, разорвав поганую тишину, разрядили трудное, настороженное ожидание беды, державшее лейтенанта в крайнем напряжении. Танк заскрежетал по мостовой так, что из-под него полетели искры, и, лязгая траками, побежал вперед, где в просвете меж двух сожженных каменных громад виднелись на холме силуэты многоэтажных зданий. Там был центр Минска.

Вдруг на глазах Колышева дома в перископе засияли, засверкали. Они переменились так быстро и так внезапно, что Колышев удивился: отчего это?

Это — взошло солнце!

Смотри ты, каким радостным стало все вокруг.

Израненный, истерзанный, со страшными, изувеченными стенами, город сиял, будто хотел, чтобы тем, кто шел сюда, не было больно от его ран...

Колышев завел танк за угол дома, осторожно выглянул из башни, окинул взглядом лежащую поблизости низину. Через низину, на которой — почти в центре города — зеленели полосы картошки, огороженные не заборами, а спинками сожженных ржавых кроватей, текла извилистая неширокая речка. Первым, что отметил лейтенант, было то, что он считал важнее всего, — мост. Мост был взорван, — Колышев видел: средина обрушенного моста уходила в воду... Вблизи за мостом десятка два немцев, озираясь, перебежали улицу. Слева, куда они бежали, виднелись здания с заводской трубой и — на пригорке высокие сильные деревья. Среди деревьев тоже суетились фигуры.

Вдруг в лицо Колышеву ударило каменной крошкой. Он невольно пригнулся. Над головой по кирпичной стене прошла наискосок пулеметная очередь...

— Осколочный! — Колышев, упав на сиденье, скомандовал ориентиры цели. Командир орудия сразу подал ручку реостата влево. Башня повернулась в сторону деревьев.

Пушка отскочила назад, сверкнула ярким белым пламенем, и на травянистом откосе, возле деревьев, вырос синевато-сизый куст. Вслед за ним вырос другой. Немцы рассыпались, припали к земле. К ним, стреляя на ходу, уже бежали наши пехотинцы...

II

Колышев повел танки в направлении оперного театра, оттуда повернул по сожженной улице вниз к Свислочи, где, по словам комбата, был еще один мост, пригодный для танков.

Едва Колышев собрался послать к мосту саперов — осмотреть его, — со двора, наперерез им, выскочила пожилая женщина в сбившейся на шею косынке, с всклокоченными волосами, — испуганно замахала руками. Танк остановился. Один из сидевших на «тридцатьчетверке» автоматчиков подбежал к женщине.

— Стойте! Стойте... Куда вы, родненькие? — Она махнула рукой в сторону моста: — Там немцы чего-то!..

— Где?

— Под мостом... Вчера положили...

Колышев остановил танк у черной, задымленной стены сожженного дома, вылез из башни и, осмотрев противоположный берег, послав автоматчиков с несколькими саперами, подошел к речке. Настороженно поглядывая на мост и на берег напротив, где уже начали хозяйничать автоматчики, спустился вниз, к маслянистой воде. Увидел: под настилом моста, на деревянных опорах,— мешочки с толом. Отметил мимолетно: речка была неглубока, хорошо просматривалось темное дно, вблизи, на поверхности воды, плавала, шевелилась прядь водорослей с вытянутыми вдоль течения расчесанными зелеными косами.

Саперы на другом берегу уже хлопотали у моста. Он приказал тем, что спустились к речке вместе с ним, тоже немедленно взяться за разминирование моста. Один сапер, пожилой, с подстриженными усами, сразу же деловито полез под мост, другой двинулся на настил, начал рассматривать бревна и доски сверху. Вскоре он перерезал и осторожно вытащил обрывок провода. Женщина стояла около моста и со страхом смотрела то на них, то на танкистов.

— Боже мой, как же это они так? Они ж сейчас подорвутся? Скажите, пусть бегут оттуда! Пусть сейчас же!.. Пока не поздно!..

— Ничего плохого не случится,— успокоил ее Колышев.

Когда мост был разминирован, Колышев приказал переправляться. Он не очень уверен был в надежности моста и, когда первая машина вышла на мост, следил за ней напряженно. Мост подрагивал, усиливал шум машины, но оказался достаточно прочным. Не ожидая, пока переправится последняя машина, лейтенант с удовольствием сообщил командиру батальона, что переправа есть.

Когда к мосту подошел со своими машинами Алексей, здесь уже хороводила толпа. Стоявшие вдоль мостовой и на дороге женщины, дети, старики, подростки, парни, глядя на приближающиеся машины, не только не уходили с дороги, а бежали навстречу танкам. Подступая к самым гусеницам, что-то радостно кричали, размахивали руками, подбрасывали шапки. Пришлось снизить скорость до предела, потом и вовсе остановиться. Едва машины стали, толпа надвинулась еще ближе. Вплотную обступили со всех сторон. На танки полетели охапки цветов. Охапка их упала возле Алексея, рассыпалась у башни.

Алексей соскочил с машины. Не успел он поздороваться, как его схватили, сжали в крепких объятиях. Он увидел перед собой счастливые, сияющие глаза пожилой женщины, услышал горячий шепот. Его запыленное лицо ожег поцелуй. Он неудачно соскочил или ему вовсе нельзя было прыгать: рана вдруг напомнила о себе сильной болью. Сдерживая боль, оберегая раненую руку, он попросил:

— Осторожно... Обождите!.. Обождите...

Но они не понимали, не слышали. Они не могли ждать! И так столько ждали!..

Он очутился во вторых объятиях, третьих, пятых. Все тянулись, все, кто был рядом, рвались к нему. Одна маленькая белокурая женщина, как обхватила его за шею, все целовала и целовала,— забыв обо всех, никак не хотела отпускать. Другая, стоявшая возле нее, не выдержала:

— Ну, хватит, хватит уж! Дай и другим подступиться!.. Вот вцепилась — как в собственного мужа!

— А что! Он мне, может, дороже мужа...

Вокруг засмеялись. Засмеялся и Алексей. Под этот смех она поцеловала Алексея еще раз и отпустила, сказав что-то шутливо-недовольное соседке, принялась поправлять светлые волосы, выбившиеся на лоб. Радость встречи, которой жили люди, захлестывала и Алексея. Он с восторгом смотрел на лица незнакомых людей, которых, казалось, всех давно знал, помнил, хотел видеть. Вот они, минчане, земляки дорогие.

Сам того не замечая, он кого-то искал глазами в толпе. Нетерпеливо, с надеждой искал. Кого? Тех, кого больше всех ждал. Нину, сына своего, мать Нины. Он как-то забыл вдруг или перестал верить, что Нина не здесь, а где-то в лесу. Что

она никак не может быть среди этих людей. Забыл. Не верил он, что не встретит здесь и сына и мать Нины. Хотя и помнил, что дом, где он жил до войны, далеко от этого места.

— Кого вы выглядываете? — спросила одна женщина.

— О чем вы? А-а, кого ищу? Сына своего... Или дочку.

— Как сына или дочку?

— Я ведь тоже из Минска. Я — дома!..

— Дома? Вот счастье будет малышам! — позавидовала и порадовалась она.

Двинулись дальше. Чутко слушая голоса в шлемофоне, отмечая, как приближаются черные слепые стены, горы камня, щебня, страшные — на целые кварталы, уже заросшие пустыри, он с надеждой и возрастающей тревогой заглядывал вперед: удастся ли увидеться с Ниной? Вдруг она задержится в отряде? Да и вообще он не знает, что с ней. Почему от нее не пришло ни одного письма? Хоть бы все с ней было хорошо!..

Скоро он обо всем узнает... Вот уже слева прошли первые, пережившие много веков и много войн, осевшие в землю кирпичные дома узкой Немиги. С Немиги Алексей повернул на улицу Островского, танки начали взбираться вверх, на Юбилейную площадь.

...На площади Алексея догнал газик, с которого вдруг соскочил одетый в комбинезон чернявый танкист, странно похожий на Гогоберидзе. Торопливо махая рукой: «Остановись», хромая, танкист рысцой направился к танку Алексея.

— Ты?! Сандро? — удивился и обрадовался Алексей, подав Гогоберидзе здоровую руку и помогая взобраться на машину.— Значит, жив?

— Эх! Не повезло,— разочарованно выпалил Сандро.— Перед самым городом — трах! Взорвался!.. Скажи, куда пошли разведчики? И прикажи, чтобы меня туда побыстрее подбросили.

Через минуту он уже мчался к своим.

ГЛАВА VII

I

Вскоре после того, как танкисты и пехотинцы ворвались в город со стороны Московской магистрали, подошли к Минску наши войска и с севера.

На северной окраине тоже завязались бои. Выбивая врага из дотов и домов, наши солдаты начали очищать и эти кварталы города.

Там же на севере, за городом, танковое соединение маршала Ротмистрова, занявшее Логойск, обходило немецкие позиции, перерезая врагу последние пути отступления из Минска.

Почти в то же время танки вошли и на юго-восточную окраину. Вместе с пехотинцами они двинулись по узким улицам, расстреливая немецкие заслоны и огневые точки.

Под ударами с трех направлений немецкий гарнизон вынужден был оставлять одну позицию за другой. Вражеские солдаты разбегались или сдавались в плен. Многие из них пытались укрыться в развалинах и подвалах.

Несмотря на стрельбу из парка, Юрий Туровец среди других пехотинцев из батальона Павловского переправился вброд через Свислочь.

Поднялся на высокий, крутой откос.

Словно встретив доброго знакомого, подошел к громаде, — целой, невредимой,— к Дому офицеров. Обойдя его, увидел сквер. Тоже знакомый и тоже — целый!.. Но в стороне от сквера, справа, где были дома... где была улица...

Здесь был центр. Центр города и Советской. Когда-то самое красивое, людное место города. Теперь — горы камней и пустые коробки домов.

Юрий невольно сжался. Мгновенно будто вновь увидел далекий июньский день, синий день, когда впервые бомбили город. Бомбежка застала Юрия у Лени Козыря, у друга. У Лени пережидал, когда кончат бомбить. Обратно — бежал. Выбежав из-за угла, замер. Там, где ожидал увидеть дом, не было дома. На месте дома была страшная круча стены и гора камня...

Там, под обломками, нашли мертвую мать...

Отсюда совсем близко то место... Только квартал за сквером. Угол улицы Карла Маркса и Ленина... Какое-то время шел словно в бреду. Почти не видел ни отделения, ни взвода. Пробежал расстояние перед сквериком, двинулся между деревьями сквера. Очнулся только тогда, когда откуда-то навстречу ударила пулеметная очередь.

Прижавшись к дереву, Юрий стал всматриваться в просвет: сквозь него видны были руины дома на углу Энгельса и Советской и чуть дальше — прямоугольный силуэт кинотеатра «Красная звезда». Пулемет бил, видно, оттуда, из кинотеатра...

Пехоты шло много; едва случилась задержка, весь скверик стал быстро заполняться бойцами. Подошел сюда и Павловский, большой, широкоплечий, начал с Проворным выяснять, в чем дело. Пулемет держал под обстрелом довольно широкое пространство — обе стороны улицы. Остановил продвижение на главном направлении...

Надо было немедля подавить пулемет. Рассуждая, как это сделать, кому поручить, Павловский, словно нарочно, избегал встречаться взглядом с Юрием, упрямо следившим за ним

и Проворным. Но Юрий был убежден: комбат это делает так — из-за обычной своей дипломатии. А сам конечно же думает: это его, Юрия, дело. Родной город, знакомые места, вот пусть и выручает. А не говорит прямо нарочно, проверяя его, Юрия, совесть. Мол, сам соображать должен.

Юрий соображал и совесть свою не пожелал запятнать. Да, он понимал: это его дело — устранить пулемет. И когда почувствовал, что наступило время, заявил, что пулемет берет на себя. Знает подходы и — справится успешно.

— Ну, раз есть такое добровольное желание, не возражаю, — сказал комбат Проворному. Потом уже — Юрию: — С богом, как говорится.

...Вскоре Юрий с Шарафутдиновым и другими пробирался среди гор камней, вдоль обломков стен. К огорчению и опасению своему, он почти ничего не узнавал, таким все было теперь непохожим на то, что он помнил.

И все же к кинотеатру он подвел удачно.

Здание «Красной звезды» было сожжено, поднимались только мутно-серые, в старой копоти стены. В пустых проемах широких окон таилась опасность, и Юрий тщательно осмотрел их, прежде чем двинуться к зданию. В окнах он ничего не заметил, но двинулся вперед осторожно, пригибаясь, перебежками. Готовый ко всему.

Вот наконец и здание. Переводя дыхание, он огляделся: вверх шла лестница, бетонная, кое-где покрытая обломками штукатурки. Отметил: бетонные потолки, хотя и прогнулись, уцелели...

Надо было действовать быстро. И успех, и жизнь зависели от мгновения. Он это знал и не медлил. Двинулся по лестнице. Вслушиваясь, следя, ступая почему-то носками сапог. Напряженно ожидая, готовый в любое мгновение нажать спусковой крючок автомата.

Не оглядываясь, чувствовал за собой Шарафутдинова и других бойцов. Поднявшись на площадку, откуда лестница поворачивала, приостановился. Оценил обстановку и, прижимаясь к стенке, двинулся дальше.

Вот и площадка, второй этаж. Ударил пулемет — выше где-то. Надо подниматься еще. Двинулись по лестнице, уже почти преодолели, как вдруг навстречу выскочили трое. От неожиданности на мгновение застыли в растерянности. Один, длинный, с какой-то коробкой в руке, начал поднимать руку: сдаюсь. Но второй, сзади, вдруг шевельнулся, резко двинул висевший на животе автомат.

Его опередила очередь из-за спины Юрия — ударил, видно, быстрый Шарафутдинов. Тот, с автоматом, согнулся и осел. Вслед за длинным поднял руки третий, что-то шепча. Юрий махнул рукой — взять их, увести, а сам, обойдя пленных, бросился наверх.

Проскочил площадку. Сдержал себя, осторожно выглянул в коридор. Коридор, широкий, заваленный в одном месте обрушившимся потолком, был пуст. Снова ударила очередь. В открытые проемы звук оглушительно шел по зданию, множился, но направление, где пулемет, Юрию не стоило труда определить.

Здесь его обогнал Пятых,— втянув голову в плечи, с мотающимся за спиной вещмешком, сиганул к пустому проему. Однако не успел он добежать, из проема показался немец. Увидев Пятых, что-то заорал во весь голос и шмыгнул назад. Почти сразу же из проема резанула автоматная очередь.

Пятых остановился. Все жались у стены. Пулемет умолк, немцы, видно, ждали. Подготовились. Юрий заглянул в соседний проем, нет ли подхода оттуда, сбоку. Подхода не было, глухая стена.

Пятых крикнул немцам, чтоб сдавались. Погрозил: иначе — капут. Оттуда ответили очередью. Вслед за ней полетела граната. Едва успели отскочить за стену. Но Шарафутдинова задело — в руку.

Видя, как сочится кровь сквозь гимнастерку, Шарафутдинов выругался на своем языке. Что-то быстро, зло говоря, он вставил запал в противотанковую гранату, подготовился броситься к проему, но Юрий удержал его. Оттуда снова ударили очередью. И опять бросили гранату. Бросили гранату наши, но неудачно: граната прокатилась дальше проема и не помогла нисколько. Какое-то время шла такая перепалка, вперемежку с руганью и угрозами. Наконец Шарафутдинов улучил момент, подскочил к проему и метнул свою противотанковую. Эта сделала свое дело.

Когда Пятых заглянул в проем, оттуда уже не отозвались. Там оказалось пятеро: трое были убиты, один, рыжий сопляк, сидел бледный, прижимал руку к боку. Испуганно смотрел, ждал. Пятый, в расстегнутом мундире, лысоватый, с отрешенным взглядом, жался к углу. Шарафутдинов с яростью бросился к нему, вцепился здоровой рукой, но его сдержали...

— У, ш-шакалы! — Шарафутдинов что-то снова говорил злое, ругательское.

На бетонном полу валялось множество расстрелянных гильз. В окно падал солнечный свет, и гильзы в нем блестели. Дым от взрыва просвечивался. Юрий невольно заметил в окно: в стороне от сквера даль просматривалась широко... Все — уродливые обломки стен, руины... Увидел вдали цепочку танков...

Надо было не задерживаясь выбираться отсюда, чтобы не отстать от своих. По сторонам улицы пехота уже шла вперед.

На Ленинской улице Юрий увидел уцелевшую стену дома, где когда-то была их квартира.

Стена стояла, как и прежде, три года назад. Как она выстояла? Что это там, на втором этаже, на их балкончике? Вазон?

Тот, который мать вынесла из комнаты в свой последний день? Неужели тот самый!

В нем еще жило напряжение только что закончившейся схватки, было еще нервное, лихорадочное состояние от нее. Но в эту лихорадочность все время проникали новые впечатления, среди которых особенно волновало то, что напоминало о былом.

Каждый уголок здесь о чем-нибудь напоминал ему. Но среди всего этого наплыва воспоминаний самым сильным, мучительным было — гибель матери. Словно она погибла только несколько минут назад...

По улице, по руинам цепочками и врассыпную двигалось много пехотинцев. Они шли и здесь, по Советской, и по Ленинской, и по площади Свободы, странно открытой среди просветов в развалинах. Оттуда, с площади Свободы, на Советскую выползли две «тридцатьчетверки», уверенно, не спеша двинулись в сторону Дома правительства.

Возле универмага Юрий перевел отделение на другую сторону Советской. Здесь, у высокого синеватого здания универмага, к ним присоединилось несколько незнакомых. У них были черные погоны. По миноискателям в руках у некоторых Юрий догадался, что это саперы.

Оказалось, у них было специальное задание — Дом правительства. По этой причине они перешли из другой роты, та наступает в стороне.

Вскоре подошли к островерхому кирпичному зданию костела. Пробежав вдоль ограды, мимо каштанов, костела и деревянного домика, стоявшего рядом с костелом на возвышении, Юрий и Проворный с двумя бойцами оказались перед Домом правительства.

Вся Советская, по которой Юрий шел сюда, многие десятки домов были в руинах, и громада Дома правительства, совершенно целая, такая знакомая, показалась будто нереальной. Словно то давнее время, навсегда разрушенное войной, пережитым. С восторгом и вместе с тоской увидел Юрий дорогое, столько напоминавшее ему здание...

«Цел!»

Солдаты с удивлением рассматривали его из-за костела. Кто-то присвистнул, кто-то считал этажи. Кто-то высказал предположение, что немцы не просто оставили его. Разговоры эти, однако, скоро умолкли.

Напротив Дома правительства, через улицу, начинал гореть дом, тоже довольно большой. Из окон нижнего этажа, где, помнил Юрий, раньше размещались магазины, клубясь, валил черный дым...

Но Юрию, как и его солдатам, некогда было интересоваться этим. Юрию, солдатам, всему взводу Проворного надо было думать о Доме правительства. Брать его.

На всякий случай держась поближе к стене домика, не высовываясь, Юрий с Проворным оглядывали пространство, которое им предстояло преодолеть: на их пути, перед домом, тянулось высокое проволочное заграждение.

Лязгая по мостовой, попыхивая синим дымком, вперед прошли танки. Один, потом еще два. Их не тронули.

Но едва несколько пехотинцев высунулось на площадь, откуда-то резанула пулеметная очередь. Не из Дома правительства, а из каменных бараков возле него. Бойцы отпрянули назад.

2

Чтобы не рисковать людьми, Проворный решил обойти Дом правительства с тыла, со двора. К счастью, сбочь костела оказалось множество различных заборов, построек. Они подступали почти к самому Дому правительства с тыльной его стороны. Весьма удобные для подходов к дому постройки и заборы. Прикрываясь ими, пехота и подобралась незаметно к проволочному ограждению, а потом и к высоким отвесным стенам.

Все время ждали выстрелов, но из дома не стреляли. Дом странно молчал. Был словно вымершим.

Вместе с пехотой к дому подошли и саперы со старшиной во главе. Старшина и один из саперов взбежали на крутые ступеньки крыльца пристройки, начали осматривать дверь, видимо проверяя, не заминирована ли она.

Вслед за ними поднялся сильный рябоватый Пятых. Прикладом автомата он высадил оконную раму рядом с дверью и бросился внутрь комнаты. За ним вскочило в окно еще несколько человек, в том числе и Юрий.

Он зашел за дверь, сорванную с верхних петель и, казалось, вот-вот готовую упасть, и очутился на узкой лестнице, ведущей наверх. Несколько бойцов бросилось по лестнице, но Юрий остановил их. Приказал повернуть к двери на противоположной стороне площадки. Дверь была приоткрыта.

Перед Юрием предстал большой полукруглый зал с мраморными колоннами и рядами деревянных кресел, тоже стоящих полукругом. Было видно: зал заседаний.

Миновав розовые колонны, там, где расположены лестницы, ведущие вверх и вниз, неожиданно наткнулись на человека в гражданском, бегущего навстречу из цокольного этажа.

Угрожающе подняли автоматы. Но человек почему-то не только не испугался, а, похоже, обрадовался. Худое, желтоватое лицо непонятно засияло улыбкой. Будто встретил долгожданных друзей.

— Ну, наконец-то!

— Вы кто?

— Я? .. — Он удивленно оглядел всех. — Электромонтер...

— Какой электромонтер?

Улыбку счастья сменило смущение. Сообразил, начал объяснять: подпольщик, пробрался сюда по заданию командира партизанского соединения.

— Одним словом, имею приказ охранять дом...

— Дом минирован? — бросил старшина-сапер, скорее тоном приказа, чем вопроса.

— Минирован.

— Чем?

— Авиабомбы. Тол.

— Знаете систему проводки?

— Да, но, видно, не всю. Часть проводов я только что перерезал.

— Покажите, где они. — Сапер, махнув своим рукой, чтобы шли вслед, двинулся с монтером. На минутку задержался: — Лейтенант, прикажи очистить дом! .. Может, где-нибудь спрятались немцы. Да скажи своим, чтобы ходили осторожно, если хотят остаться в целости!

Тихо, мертво было на лестницах и в коридорах, по которым опасливо ступали, вслушиваясь, вглядываясь, с несколькими саперами, непривычно молчаливые пехотинцы. С надеждой и тревогой следили за каждым движением саперов, что обследовали коридоры, комнаты. Точил страх, а вдруг не удастся разминировать? И сейчас, через минуту... Старались не думать об этом. Старались надеяться, что удастся, удастся. Но спокойствия не было.

Гулко стучали сапоги по дубовому паркету в пустых коридорах. Тягостной, давящей казалась тишина! Будто ступали не по коридору, а по минному полю.

Долго шли так, проверяли пустые коридоры, лестницы. Осматривали бесчисленные комнаты, то со столами, с конторскими шкафами, то с рядами нар и кроватей. Следили за всем, что делали саперы, за каждым их шагом, движением. По-прежнему царила тишина, и по-прежнему не покидала людей тревога.

Только на седьмом или восьмом этаже успокоились: снизу прибежал сапер, сообщил, что все сделано, провода перерезаны. Мины не взорвутся.

Сапер был маленький, веснушчатый, почти мальчик — мужичок с ноготок, но приняли его как спасителя, как героя. Необыкновенно обрадовались его известию! Сразу появились улыбки, завязался веселый разговор. Сапера начали угощать табаком.

— Обскакали, значит, фрица!

— Хитер: входите, мол, занимайте. Увидите.

— Обскакали!
— Ну, теперь стоять ему и стоять. Миллион лет!
— Выжил, красавец! ..

Осмотрев остальные комнаты, очутились на крыше здания.

Здесь, очутившись среди огромного, необъятного моря небесной синевы, мягкой, прозрачной, с редкими легкими облачками, Юрий остановился, захваченный широтой, простором.

Город лежал перед ним, будто на рельефной карте. Кое-где поднимались вверх дымы — одни слабыми, тонкими струйками, другие густыми мрачными круговоротами. За городом виднелись зеленые и желтоватые холмистые поля, синеющий лес, еще дальше — водонапорная башня, окутанная знойной дымкой.

Ощущение широты и простора захватывало дыхание.

«Наше!» — подумал Юрий торжествующе.

Глядя отсюда на город, он впервые за этот день ощутил радость новой, великой победы. Радость его была широкой, как этот залитый солнцем, необозримый простор. Рядом ударили автоматы, он оглянулся и увидел возбужденных солдат с поднятыми вверх автоматами.

«За Минск!» — сказал, озорно блестя узкими глазками, Шарафутдинов. Юрий тоже поднял автомат.

На площадь между Домом правительства и зданием напротив вошли самоходки. Они шли на некотором расстоянии друг за другом, спокойно и уверенно.

3

Когда больше половины города уже было в наших руках, к Минску приближалась группа немцев, человек триста. Они двигались не по шоссе, а через поля — по дорожке, вдоль которой тихо шелестела рожь.

У них был приказ занять окопы и подготовиться к обороне города.

Немцы шли спокойно. То один, то другой смотрел на солнце, начинающее припекать все сильнее, и думал, наверно, об одном: скорее бы добраться до места! Вели спокойный разговор... Только подойдя ближе к Минску, из которого все отчетливей доносились звуки боя, начали настораживаться; увидели на проходящем неподалеку шоссе какие-то войска, тоже движущиеся к городу.

Обер-лейтенант, командир группы, заинтересовался, кто там, приказал послать разведку...

Когда разведчики направились по ржи к шоссе, обер-лейтенант приказал группе остановиться. Стоя на дороге, наблюдали

за неизвестными войсками,— кое-кто из солдат устало опустился на горячую землю.

Вдруг оттуда, с шоссе, донеслась стрельба. Потом со свистом пролетел снаряд и взорвался за дорогой. За ним — второй, ближе.

— Русские, русские! — Все сразу заволновались, забегали. Над тихой рожью зазвучали команды,— немцы стали торопливо занимать оборону...

Со стороны шоссе повернули сюда четыре бронетранспортера и три грузовика с русскими. Подойдя ближе, грузовики остановились посреди поля, и с них высыпали бойцы. Один из бронетранспортеров, на котором было, видимо, не меньше десятка солдат, начал обходить левый фланг. За бронетранспортером подпрыгивала низкая, длинная пушечка. Вторая группа с тремя бронетранспортерами пошла прямо па тех, что засели во ржи.

Ударили очереди нескольких пулеметов, и бронетранспортеры остановились.

Русские начали размахивать флажками, делать какие-то знаки. Стрельба на какое-то время утихла.

— А-а-я... ы-ы... — шло неразборчивое от бронетранспортеров. Потом порыв горячего ветра донес: — Сдавайся-а-а!.. Сдава-айся, фрицы!

Снова зачастили выстрелы. Советские торопливо захлопотали у бронетранспортеров, отцепили пушки и стали бить прямой наводкой. Правее них, пригибаясь, приближались пехотинцы...

Бой был неровным и недолгим: довольно скоро автоматы и пулеметы замолчали, но теперь было слышно, как во ржи стонут раненые. Те из немцев, что остались в живых, вставали и, бросая оружие, бормоча: «Гитлер капут!», сдавались, их сводили вместе на дороге, недалеко от места, где завязался бой.

— Что это — ослепли они, что ли: мы заняли город, а они — идут, как домой... — произнес один из бойцов, охранявших пленных, маленький, белобровый, с наивными глазами.

— Куда поведем? — помолчав, спросил он у командира роты.

— Куда они хотели — в Минск.

Солдат засмеялся:

— Все-таки попадут в Минск — хоть пленными!..

Когда толпу пленных привели к городской окраине, в Минске уже было тихо. Разрозненные группы вражеских автоматчиков, пулеметчиков, артиллеристов, потеряв связь, надежды на успех сопротивления, сдались...

Наши пехотинцы вытаскивали из подвалов, из разных убежищ тех, кто пытался скрыться.

Тем временем к Минску приближались войска Первого Белорусского фронта. Впереди были танкисты Бахарева и Панова, занявшие накануне Пуховичи.

Третьего июля они вошли на южную окраину Минска. Здесь на протянувшейся по холму улице, с которой был виден почти весь город, генерал-майор Щербатюк встретил чернявого, пожилого полковника-танкиста, с башни танка всматривавшегося куда-то в западную часть города.

— Откуда? — спросил генерал-майор, когда полковник соскочил с башни, подбежал к его «виллису».

— Из Пухович, прямым сообщением...

— Первый Белорусский... — генерал-майор порывисто, крепко обнял танкиста.— А мы — из Борисова.

Бойцы и командиры многих полков, бригад и дивизий Третьего Белорусского встретились в этот день с войсками Рокоссовского.

Это было великое событие. Два фронта сомкнули кольцо вокруг немецких частей восточнее Минска, отрезали им последние пути отступления...

Так образовался «Минский котел».

4

День этот — один из самых значительных в жизни Черняховского.

Он начался важным сообщением: позвонил Глаголев и доложил, что передовой отряд 4-й танковой бригады из корпуса Бурдейного ворвался со стороны магистрали в Минск.

— Где Ротмистров? — возбужденно, нетерпеливо спросил Черняховский. Он полон был ощущением — вот и свершается самое главное, самое желанное.

Глаголев сообщил, что танки Ротмистрова тоже входят в Минск; на северную и северо-западную окраины.

— С частями Первого Белорусского есть связь?

— Есть,— издалека ответил Глаголев.— Передовые части Первого Белорусского подходят к южной окраине. В район — Красное урочище.

Черняховский невольно отметил: последнее название — Красное урочище — командарм упомянул специально для него: знал, ему это название должно быть знакомо. Глаголев не ошибся: он помнил этот район...

— Смотрите не столкнитесь! — предупредил, стараясь не терять требовательного тона, Черняховский.

Командующий армией успокаивающе заверил, что никаких недоразумений с соседом не будет, связь надежная...

Вскоре Глаголев снова позвонил и, веселый, звонкоголосый,

сообщил, что части армии с ходу перебрались через реку Свислочь и заняли центральные районы города.

— С НП вижу на Доме правительства красный флаг,— сказал он. Черняховский понял его чувства, когда он, забыв о своей обычной сдержанности в отношениях с командующим фронтом, почти с товарищеской вольностью сообщил: — Скоро перенесу НП на Дом правительства. Приглашаю вас.

— Спасибо. . .— Черняховский напомнил: — Не забывайте, что на вас ответственность за левый фланг фронта. Следите за противником, особенно со стороны Волмы!

Хотя Черняховский и сдерживался, зная, как опасно неосторожное увлечение в бою, как трудны предстоящие задачи, его все же весьма радовали эти сообщения: кроме того, что войска так удачно, намного раньше назначенного Ставкой срока, вызволяли самый значительный на освобожденной земле город, столицу республики, фронт вместе с Первым Белорусским блестяще решал важнейшую и труднейшую задачу операции: кольцо вокруг противника смыкалось все надежнее. В беспокойные мысли о том, как предупредить попытки немцев вырваться из мешка, время от времени вторгались, радовали сердце воспоминания о Минске, добрые воспоминания, которые не могло заглушить никакое беспокойство. Невольно по-молодому светло вспоминались счастливые предвоенные дни, когда столько раз случалось бывать в этом городе, который не раз по-хорошему распоряжался его судьбой и судьба которого сейчас зависит от него. Не терпелось: быстрее бы самому увидеть Минск. Въехать на его истерзанные улицы, под его опаленные войной каштаны и липы. . .

Явился на доклад аккуратный, неутомимый генерал Иголкин, стремительной скороговоркой доложил, что танкисты Ротмистрова освободили на северо-западе от Минска Раков, а на востоке — Волму, что мехкорпус Обухова занял район Нарочи и движется в направлении на Сморгонь.

Отпустив начальника оперативного управления, Черняховский связался с членом Военного Совета, весело глядя на залитый солнцем огородик, на улицу, которая словно ждала, звала, заговорил:

— Василий Емельянович, есть возможность взглянуть на Минск и заехать к Крылову, как вы к этому относитесь? — Генерал Макаров ответил, что такую возможность надо использовать.— Вот и хорошо! Тогда я жду!

Когда член Военного Совета вошел, Черняховский уже стоял во дворе, готовый ехать. Около машины и бронетранспортера усердствовал, отдавая последние распоряжения, зоркий, недоверчивый Комаров. И тут появился взволнованный, торопливый шифровальщик с листком в руке.

— Товарищ командующий! . .

— Что? — шагнул ему навстречу Черняховский.

— Телеграмма. Из Ставки.

Черняховский быстрым движением взял телеграмму, пробежал нетерпеливым взглядом. Член Военного Совета видел, как едва начал командующий читать телеграмму, изменилось лицо его, весь он. Подобрался, сосредоточился, построжал.

— Зайдемте, — коротко бросил генерал и решительными шагами пошел на крыльцо, в дом. В доме остановился, поймав вопросительный взгляд члена Военного Совета, сообщил: — Директива на Вильнюсскую операцию.— Он передал телеграмму генералу Макарову. — Так что поездку в Минск и к Крылову придется отложить...

Он позвал порученца и, когда Комаров вбежал в комнату, спросил озабоченно:

— Выяснили готовность нового ВПУ?

— Так точно, товарищ командующий,— отрапортовал Комаров, по выражению лица командующего, по голосу его понимая, что снова наступил важный, требующий быстрых действий момент. — ВПУ готово.

— Поедем на ВПУ,— тоном приказа произнес Черняховский.— Срочно вызовите Иголкина.

Вскоре машина мчала их по шоссе. Черняховский с членом Военного Совета сидели на заднем сиденье. Комаров, рядом с шофером, по-орлиному держа голову, следил за дорогой.

День сиял ярким светом, дышал летней жарой.

Ехали молча. Генерал Макаров все время поглядывал в окно, на дорогу, на обгонявшие их машины, на группы идущих сбоку солдат. Он был радостно возбужден, ему хотелось говорить об этой радости, но он видел: Черняховский сосредоточен, углублен в себя, о чем-то думает. На лице будто какая-то неудовлетворенность. Это смущало члена Военного Совета и сдерживало.

— Совпадение какое,— наконец заговорил он осторожно.— Вернулись почти в то же время, когда и покидали. Ровно через три года... Кажется, такое же лето, такая же жара. А на душе совсем по-другому.

— По-другому...— повторил, будто не понимая, Черняховский. Член Военного Совета взглянул на него, чуть скосив пытливые выпуклые глаза, снова увидел: мысли командующего где-то далеко. Понял: Черняховский, наверное, и не слышал, что он сказал.

Снова надолго замолчали. Макаров видел, что Черняховский по-прежнему о чем-то думает, по-прежнему будто чем-то недоволен, и уже не заговаривал. Черняховский вдруг сам заговорил. Взглянул на дорогу, не отводя от нее глаз, будто рассуждая сам с собой, сказал:

— Вот так. Вильнюс, Каунас. Упремся в Фриш-гаф или Куриш-гаф. И фронту — конец.

Член Военного Совета понял его недовольство. Черняховский, как и многие на их фронте, как и сам Макаров, надеялся, что Третий Белорусский будет наступать не куда-нибудь, а на самый центр Германии. Сама военная судьба поставила Третий Белорусский прямо перед центром рейха. Дорога из Орши в Минск вела потом прямо на Варшаву, на Берлин. Директива Ставки отклоняла фронт на Вильнюс, на Пруссию, рушила все эти надежды...

— Мы можем первыми подойти к границам Германии,— как бы попытался успокоить генерал Макаров.

— Да, это может произойти, — согласился Черняховский. — Все идет к тому.— Огорчаясь, не скрывая досады, сказал: — Прицелился я, примерился. Кое-что припас на будущее. Привык думать... А тут все перевернулось. Что ж,— он все не мог преодолеть сожаления,— повернемся лицом к морю! Такова наша судьба. — Деловито, сосредоточенно произнес: — Работки нам привалило, Василий Емельянович. Скучать не придется...

— Не придется!

Черняховский посмотрел вперед, где теснились машины, пушки, — дорога была забита. Шофер непрерывно сигналил.

Они подъехали к повороту на Логойск.

ГЛАВА VIII

I

После того как батальон Алексея выбил немцев из Кальварии, бригада сделала привал. Город остался позади. Выстрелы и взрывы затихли, но зловещие черные тучи дыма висели над кварталами.

Улицы, недавно пустые, были полны движения, шумели, пели.

По Пушкинской, по Советской, через площадь Ленина, по Московской беспрерывно двигались войска. В кузовах зеленых машин плыли по городу загорелые пехотинцы с автоматами и букетами цветов. За машинами, подпрыгивая, катились длинные приземистые противотанковые пушки. Проходили крытые брезентом славные гвардейские минометы — «катюши», которые, как обычно, привлекали к себе особое внимание. Шли «ЗИСы» в увядших ветвях маскировки, нагруженные боеприпасами и мешками с мукой. Тяжело неся длинные стволы с толстыми надульниками, гремели самоходки...

Минчане, пестрыми рядами толпившиеся вдоль тротуаров,

с обеих сторон этого потока, смотрели на все с гордостью и восхищением.

Девушки подбегали к машинам, протягивали бойцам цветы. Если подступиться к машинам было невозможно, цветы бросали в кузов или на башни,— солдаты на лету ловили их... Кабины многих грузовиков и пушки были украшены гвоздиками и розами. Цветы держали в руках бойцы, цветы краснели в карманах гимнастерок, рядом с орденами, цветы были везде. Нельзя было не удивиться, как в этом искалеченном городе могло найтись такое множество цветов,— наверное, все цветы, росшие во дворах, на огородах, в тот день были сорваны и розданы...

Все, кто остался в Минске, кто дожил до этого дня, влились в этот кипучий, опьяненный счастьем людской водоворот. Радиорупоры с военных агитмашин разносили передачи из Москвы,— около них собирались толпы, жадно ловили каждое слово, каждую мелодию.

На одной из улиц, обнявшись, брели трое подвыпивших смуглых молодых мужчин. Их привезли сюда издалека, из Италии, солдатами. После капитуляции Италии большинство их друзей, с которыми они попали в немецкие лагеря смерти, погибли. А этим троим повезло: наши пехотинцы их освободили.

Они шли, заметно покачиваясь из стороны в сторону, оборванные, исхудавшие, усталые, но тоже безмерно счастливые. Они пели,— старательно выговаривая слова, горячо, во весь голос:

Смьело ми в бой пойдьем
За власть Совьетов
И как один умрем
В борьбе за это!

Где и когда они узнали эту песню? Кто научил их петь ее? По тому, как они пели, было видно, что песня им по сердцу...

Танки Бессонова стояли на окраине, прижимались к заборам возле домиков с огородами, выглядывали из-под темных запыленных ветвей вишенника и кленов. Многие танкисты хлопотали у «тридцатьчетверок» — чистили машины, перетягивали гусеницы, заправляли баки горючим из бензоцистерн. Бессонов заранее предупредил командиров, что скоро будет приказ выступать.

Немало танкистов можно было видеть и у хат, у калиток, с девушками. Здесь разговор шел веселый, с шутками, звенел молодой смех. Кое-кто из солдат и командиров степенно беседовал с пожилыми людьми, слушал их горькие рассказы о трех страшных годах неволи; рассказывали сами — о Москве, о своих военных приключениях.

Близился полдень. Солнце сияло прямо над городом. На высоком и ясном голубом небе лишь кое-где белели облака.

2

Алексей вошел в светлый, с покрашенными охрой наличниками домик, в котором остановился командир бригады. Полковник был без кителя, в голубой шелковой нижней рубашке с короткими рукавами, плотно облегающей полные сильные плечи, широкую крепкую грудь. В вырезе воротника виднелась белая, нежная, как у женщины, кожа. Она резко отличалась от загорелой и огрубевшей, обветренной кожи лица.

— Заходи, заходи, капитан,— сказал Бессонов Алексею, когда тот, козырнув, остановился на пороге. Полковник крикнул в сторону окна:

— Готов?

— Готов, товарищ гвардии полковник,— послышался за открытым окном голос ординарца.

Бессонов снял рубашку, взял со стола солдатское вафельное полотенце, закинул его на плечо и вышел. Во дворе он долго мылся, в охотку, со смаком покрякивал, фыркал. Когда возвратился в дом, вытирал полотенцем грудь. Кожа его порозовела. Крепкий, без гимнастерки, с полотенцем, он был в эту минуту похож на борца или тяжелоатлета, готовящегося к выступлению.

— Свеж-жо! Вода — что лед! Будто заново на свет родился! — прогудел он удовлетворенно.

Натянув на полное тело голубую рубашку, спросил строго:

— Как рана?

— Терпеть можно, товарищ гвардии полковник...

— Не нравится мне,— сказал он недовольно,— еще один комбат выходит из строя. А у меня комбатов лишних нет!.. Смотри, быстрее поправляйся! Воевать надо! — Он произнес так, будто делал капитану выговор.

Лагунович вытянулся.

— Сколько будешь лечиться?

— Неделю, думаю...

— Неделю...— Он сел за стол.

Ординарец, быстрый, расторопный парень с Черниговщины, внес на тарелке закуску, алюминиевую кружку и фляжку в чехле.

— В санбате сколько дали? Три недели? Ну вот, так бы и сказал. Покажи заключение, что они там наморочили? М-да-а, меньше чем тремя неделями, видно, не обойтись. А попадешься в руки какому-нибудь формалисту, так он тебя и на два месяца приторочит к койке. Смотри подремонтируйся как надо, но не буксуй зря! Ясно?..

Полковник приказал ординарцу:

— Еще стакан принеси.— Заметил, что Алексей снова жмется у двери, бросил бесцеремонно: — Садись! Чего стоишь там! Ближе давай.

Ординарец шмыгнул за дверь. Алексей послушно подсел к столу.

Бессонов налил в стакан себе, потом ему, чокнулся.

— За Минск! За твою скорую встречу с женой, Лагунович, тоже!

Какое-то время молчали, закусывали.

— Я здесь, под Минском, крестился, — нацепив на вилку кусок тушенки, сказал Бессонов. — В сорок первом. Только что из-под Смоленска, из лагерей привел батальон. Земляки вроде...

Мысли Алексея, всегда нетерпеливого, были далеко. Полковник скоро почувствовал, что ему не сидится.

— Ну что ж, капитан, не задерживаю. Батальон передай Алиеву. В штабе скажи, пусть все оформят. Иди! Подожди,— вдруг вспомнил он. Вышел из комнаты и вскоре вернулся со свертком, обернутым газетой.— Вот, жене от меня. Когда был в Москве, купил на платье — думал, Ирине, дочке... Возьми.

— Спасибо. Передам...

Бессонов протянул широкую шершавую ладонь.

На улице Алексей встретил Гогоберидзе, тот ждал капитана у калитки. Гогоберидзе был чисто выбрит, в новой, уже где-то отглаженной чистенькой гимнастерке.

— Значит, расстаемся? Ах, Алексей, я так рад, что ты будешь дома! Дома, после таких боев, после такой длинной дороги! Помнишь, как ты ждал письма от Нины, а его все не было. А теперь оно и не нужно!.. Жаль, что мне не придется присутствовать при этой встрече!..

— Я — чтобы ты не жалел — постараюсь представить себе, будто ты стоишь рядом с нами. Хорошо?

— Ты, Алексей, забудешь об этом... Как все счастливые люди, ты станешь на это время эгоистом. Я только об одном прошу — не забудь передать от меня привет Нине и малышу. Не забудешь? И вообще не забывай нас!..

— Буду помнить, Сандро,— шутливо-торжественно поклялся Алексей.

3

Дом, в котором он прежде жил, был недалеко от улиц, где остановились танки. Сдав командование, попрощавшись с людьми, Алексей сразу отправился домой. Гогоберидзе проводил его до конца улицы, о чем-то говорил, но все, что он говорил, не доходило до Алексея. Он и слушал и что-то отвечал, но не знал и не помнил что. Сейчас он жил одним — будущей встречей,— чувством, в котором смешивались ожидание счастья и леденящая тревога, неугомонное нетерпение и сдержанность. Мысли путались и были словно в тумане.

— Я понимаю тебя, Алексей. Тебе не до того, чтобы слушать мою пустую болтовню,— спохватился Гогоберидзе.— Если сердце переполнено, хочется молчать... Не буду тебе мешать. Мы будем тебя, друг, помнить и ждать! Договорились? Будь здоров, Алексей!.. Желаю, чтобы дома все в порядке было.

Он по-братски обнял капитана.

Алексей почти не видел окружающего. Дома, возбужденные, шумные люди, автомашины, хмурые толпы пленных — все это проходило перед ним, как во сне...

Он не замечал, что все время ускоряет шаг. Свернув в свою улицу, он почти побежал. «Цела»,— мелькнула успокоительная мысль, когда глазам предстали два ряда домиков. Он с нетерпением смотрел вперед, где из-за поворота должен был вот-вот показаться знакомый силуэт его дома.

Дом был тоже цел! Алексей увидел это издали, едва вышел из-за поворота улицы. Почти сразу же он отметил, что забор и калитка сломаны, лежат на земле. Больше он уже ни о чем не думал, ничего не замечал. Лишь неотрывно, пристально смотрел на дом и бежал, будто боясь, что все это исчезнет вдруг.

Только у дома замедлил бег.

Шагнул по доскам поваленной калитки, взглянул на дверь и — остановился в растерянности. На двери висел замок! Словно не веря, Алексей подошел к двери и потрогал его. Замок был заперт.

Двинулся к окну. Поставив у ног чемоданчик, сняв фуражку, прижался тонким, с горбинкой носом к стеклу и заглянул внутрь. Там было пусто, в одной комнате стоял знакомый голый стол с медной желтой ручкой ящика, белели обрывки газет, в другой поблескивала никелевыми спинками кровать, тоже непокрытая. В уголке у окна зеленел высокий широколистый фикус. Алексей вспомнил: Нина любила, чтобы у нее в комнате стояли фикусы.

Побелка на стенах потемнела от времени. Комнаты имели нежилой вид, словно из них давно уехали. Они казались чужими — такими непривычными были запустение и беспорядок в этих когда-то старательно убранных комнатах. Только в кухне на столике лежал какой-то узелок, и по нему Алексей догадался, что здесь все же кто-то был. «И замок, наверное, недавно повешен, иначе бы он до сих пор не висел».

Он вышел на улицу. Чемоданчик так и остался у окна, забыл его взять. Куда пойти, кого спросить?

Поодаль на улице стояли три военных грузовика, около одного из них работали солдаты — выгружали какие-то ящики. В ту сторону шел пожилой хромой человек с лопатой — незнакомый. Осмотревшись вокруг, Алексей решил пойти к сосе-

дям — кто-кто, а они должны что-нибудь знать о Нине или Наталье Михайловне.

До войны в доме рядом жил старик, вагонный мастер в железнодорожном депо. Мастер был добродушным, разговорчивым человеком и любил выпить. Когда-то он часто заходил к Алексею, рассказывал о депо, подолгу беседовал с матерью Нины.

Алексей вспомнил о чемоданчике, взял его и направился к дому старика. Окна в доме были выбиты, двери выломаны. У двери лежала распоротая подушка, вокруг нее на ступеньках и во всем дворе белели разбросанные перья. На наволочке отпечатался грязный след сапога.

Алексей постоял молча и повернул к другим давним знакомым — Карповичам. Жена бухгалтера Карповича когда-то дружила с Натальей Михайловной. Но в доме Карповичей сейчас жила какая-то незнакомая семья. Во дворе Алексей встретил молодую женщину, та сидела на крыльце и что-то с упреком говорила белобрысому мальчику лет четырех. Заметив Алексея, она с волнением поднялась, в глазах ее мелькнули любопытство и надежда. Но когда Алексей спросил о Карповичах, она сразу разочарованно затаилась.

Оказалось, что Карпович с начала войны в армии, а жена его где-то в эвакуации,— после них здесь жила сестра Карповича, но ее полгода тому назад арестовали гестаповцы. Новые жильцы только несколько месяцев в этом доме.

— У меня к вам просьба. Скажите... Не знаете ли вы что-нибудь о семье Лагуновичей? — спросил Алексей.

— Лагуновичи? А в каком доме они?

Алексей показал.

— Там?.. Кто же это там? А-а! Чтобы не соврать, видела я там какую-то старую женщину...

— А про молодую ничего не слыхали? У старухи есть дочь? — Алексей бросил на нее нетерпеливый, пристальный взгляд.

— Нет, не слышала... И не видела там молодой, ни разу не видела. Еще, кажется, ребенок там живет. Лет трех,— сообщила вдруг женщина.

— Ребенок? — переспросил взволнованно Алексей. — Давно видели?

— Да нет, несколько дней тому назад...

— Девочка или мальчик?

— Девочка.

«Девочка, три года»,— проплыла в груди Алексея теплая, радостная волна. На усталом, осунувшемся лице засияла улыбка.

Женщина невольно взглянула на своего малыша, следившего за каждым движением военного с перевязанной рукой, вздохнула.

Но тревога омрачила Алексею светлую волну радости. По-

чему же их нет дома? Уже попрощавшись с женщиной, Алексей задержался, спросил:

— Так вы ни вчера, ни сегодня их не видели?

— Не видела... Здесь такой кошмар был, что кажется, свету белого не видели. Думали, что и не выживем. И сейчас страшно подумать...

Последние слова женщины еще крепче встревожили Алексея: как Наталья Михайловна с ребенком пережили эти дни?

Он возвратился домой, сел на крыльцо, поставил рядом чемоданчик, вынул из портсигара папиросу. Прикурил от зажигалки. Из-под темных с изломом бровей окинул взглядом видимый ему отрезок улицы. Не идет ли кто-нибудь.

Он попробовал разобраться во всем услышанном. Нина, наверное, еще в партизанах,— она не могла вернуться так скоро, — но где Наталья Михайловна и дочка? Были ли они дома вчера и позавчера? Может, этот замок висит на двери уже двое суток?

Где они? Почему их нет дома?

4

Он взял чемодан, вышел на улицу, осмотрел ее из конца в конец. Не мог больше сидеть и терпеливо ждать. «Посмотрю, что делается вокруг... Да и время быстрее пройдет...»

За поворотом улицы Алексей увидел мужчину с немецким автоматом за плечом. Человек с автоматом на двери здания размашисто, наискосок, как резолюцию, писал углем: «Занято под магазин».

«Смотри ты, какой скорый!» — не столько удивился, сколько мысленно похвалил его Алексей.

— Эй, кооператор! — весело крикнул рослый, с толстыми щеками пехотинец, проходивший мимо.— Что же ты, душа из тебя вон, пишешь — «занято», товара-то нету. Чем ты будешь заполнять ее, эту свою «магазею»?

«Кооператор» оглянулся — у него было молодое, чисто выбритое лицо,— оптимистически успокоил солдата:

— Товар будет! Было бы место для него...

— «Будет, будет»! Когда это будет, через месяц или через год?

Пройдя несколько кварталов, Алексей заметил еще две-три такие надписи.

Ему не терпелось вернуться домой. Но когда он вошел во двор, там по-прежнему никого не было. Чтобы чем-нибудь заняться, он нашел кирпич, присел на крыльцо и взялся прибивать к столбикам одной ступеньки оторванную доску. Некоторое время спустя он заметил, что с улицы к нему направилась черноволосая женщина с продолговатым лицом.

— Алексей! — вскрикнула она вдруг, подбежала, обняла капитана и трижды расцеловала.— А я думаю, кто это здесь согнулся да мастерит, что за хозяин такой объявился. А и вправду хозяин.— Лицо ее было знакомо капитану — эту женщину он не раз видел до войны, но сейчас не мог вспомнить, кто она такая.

Все же Алексей обрадовался встрече с ней, как-никак знакомый человек, первый знакомый.

— Ну, какой я хозяин?.. А где Наталья Михайловна, не знаете?..

— Она здесь... Только что здесь были... Вы, значит, разминулись! Они ж ночевали у меня, мы вместе прятались. Очень боялись, что эти ироды начнут всех убивать... И дочурка твоя жива!

— Жива?! — переспросил Алексей, будто не веря. Его лицо засияло от радости.— Как же ее... звать?..

— Люда... Дождались-таки! Вот будет радость... Мы с Натальей больше всего беспокоились за нее, за Людочку. Сидим с Натальей в вишеннике, возле ямы, слышим, как гремят выстрелы. Наталья поправила косынку на доченьке твоей, чтобы, значит, не замерзла, и говорит: «Боже, сколько мучений ребенку, ни одного спокойного дня за всю жизнь!..»

— Да,— Алексей насупил брови.— Испила горя больше чем надо.

Капитан спросил, не знает ли она, что с Ниной.

— Нина в партизанах. Она уже давно ушла... И Валька моя — ты, наверно, ее помнишь — тоже там...— Женщина вдруг оглянулась.— Что же мы стоим? Идем ко мне, посидим.

Вскоре Алексей был у нее дома, недалеко от того места, где жила Наталья Михайловна,— но на другой улице. Наконец он вспомнил фамилию женщины — Залесская; это была мать Вали Залесской. Алексей вспомнил и Валю, ее дочь, смуглую девочку, что когда-то мимо его окон ходила с портфельчиком в школу.

Залесская начала было готовить ему обед, но Алексей попросил ее:

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Я пообедал, а ужинать не хочется.

Приближался вечер. Солнце, большое, огненно-красное, медленно уходило за ближний дом, подпалив его край. Казалось, что дом вот-вот вспыхнет. Отсвет солнца лег красными квадратами на стену, оклеенную старыми обоями. Залесская сказала, что Наталья пошла поискать кого-нибудь из Нининых товарищей, узнать, когда она вернется. Понятно, материнскому сердцу неспокойно.

— Я и сама ходила на Московскую — думала, может, у ко-

го-нибудь из партизан выспрошу о моей Вальке... Как увижу партизана, подхожу — и одно: «Не знаете ли Валю Залесскую!» — «Нет, не знаю». Никто не видел ее. А так хочется поскорее узнать, что с ней...

То, что Вали тоже нет пока дома, успокаивало Алексея. Он, конечно, досадовал, что Нина не возвратилась еще, но в факте этом не виделось ничего ненормального, дающего основания для тревоги. Вызывало добрые надежды и то, что он уже нашел те ее следы, которые раньше казались почти невероятными. Он как никогда был близок к ней. В этот час он, пожалуй, больше беспокоился о Люде и Наталье Михайловне: о том, где они, когда они наконец появятся.

Он подумал, что, возможно, Наталья Михайловна уже вернулась домой. Впрочем, если даже она еще не пришла, лучше всего ждать там,— как только она возвратится, Алексей встретит ее. Кроме того, сидя здесь, он все время будет думать, что они, наверное, уже дома...

Алексей поднялся. Залесская тотчас догадалась о его намерении, сказала:

— Да вы не беспокойтесь, она не минет меня. У меня ключ от их замка: она просила меня смотреть за ее домом. Чтобы встретила, если вернется кто-нибудь из вас... Особенно надеялась, что Нина придет. А может, и правда, придет. Да если бы вдвоем с Валей! Вот хорошо было бы!..

Он невольно прислушивался к доносившимся снаружи шагам и голосам. Мимо дома все время проходили, разговаривали люди, и голоса за окном то приближались, звучали отчетливее, то утихали. Алексей все время прислушивался.

Когда во двор кто-то вошел, он сразу насторожился. Залесская была в соседней, дальней от двора комнате; сидя один в комнате, он слышал, как застучали шаги на ступеньках крыльца, как звякнула щеколда в двери, что вела в сени. Он слышал все, но не вставал. Не мог встать. Лишь с нетерпением смотрел на дверь. В комнате было уже довольно темно. Однако он увидел, как открылась дверь и вошла женщина с ребенком на руках. Алексей в потемках узнал — она, Наталья Михайловна! В сильном волнении поднялся навстречу вошедшей.

— Боже мой! Кто здесь? — произнесла Наталья Михайловна тревожно, каким-то сдавленным голосом; ему показалось, что она уже догадалась, узнала, кто он.

Взгляд его устремился на маленькую молчаливую девочку, которую она поставила на пол. Коснувшись ногами пола, малышка сделала шаг, второй по полу. В это время вошла Залесская с зажженной плошкой. Увидев вдруг незнакомого, малышка враз остановилась, вопросительными, широко раскрытыми глазами уставилась на него. Алексей догадался: Люда. Это Люда!..

Мать Нины судорожным движением руки дотронулась до шеи, расслабила узелок сбившегося с головы платка, словно он сжимал горло. Точно не веря себе, посмотрела на Залесскую, потом на Алексея, на его раненую руку.

— Ты? Алексей!

В этот миг он остро, со щемящим чувством заметил, как сильно она изменилась, постарела.

Он шагнул ей навстречу, порывисто обнял левой рукой, прижал ее побелевшую голову к своей груди. Ничего, ничего не сказал. Дочь следила за ним внимательным непонимающим взглядом, тихая и немного испуганная.

— Сколько мы ждали, Алексей...— горько произнесла мать Нины, подняв голову.

В этих простых словах было столько чувства, столько горечи, что Алексея словно обожгло.

— Хорошо, что это кончилось! — вздохнула она облегченно. Бросила тревожный взгляд на неподвижную руку Алексея, на марлевую косынку.

— Что с рукой?!

— Так — пустяк.

Наталья Михайловна вдруг спохватилась, подняла ребенка и с гордостью, с любовью, как самый дорогой подарок, поднесла к нему:

— Вот дочурка твоя... Люда.

Она подала Алексею девочку. Он неловко взял ее на руки и стал с любопытством всматриваться в личико. Все это было для него необычным — слова «вот дочурка твоя», и сама она, дочурка, беленькая, молчаливая, настороженная. Люда тревожно и доверчиво ожидала дальнейшего.

А у него на смену первому простому любопытству пришло новое чувство — нежности и какой-то отцовской жалости к этому родному, такому слабому созданию. Алексей видел сейчас в ней самого близкого человека, все ласковее, все нежнее чувствовал ее у своей груди.

Он поднял Люду выше и поцеловал в щечку. Она поморщилась, сделала недовольное движение, давая знать, что хочет на свободу, объявила:

— Колется...

— Потерпи, доченька,— засмеялся Алексей и поцеловал ее еще раз.

Грудь его переполняла любовь к этому незнакомому существу, которое он впервые увидел, но до которого долго шел. Сколько дней он мечтал об этой минуте!

Вот и встретились!

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ГЛАВА I

1

Оказалось, что добраться до Минска — нелегкая задача. Не проехали и получаса, как их — они ехали на попутной машине из дивизии Щербатюка — обстреляли из минометов. Чтобы объехать опасное место, пришлось свернуть с дороги и долгое время пробираться полем, по колеям, только что проложенным машинами, через рытвины и ямы.

Опять выбравшись на проторенный путь, они подъехали к регулировочному посту. Девушка в военной форме, стоявшая посреди дороги с карабином за плечом, подняла руку, приказывая остановиться.

Шофер остановил машину. Он взглянул на грузовики, уже теснившиеся здесь, и недовольно покачал головой. Сидевший рядом Туровец не понял, почему их задерживают,— наверное, будет проверка документов. Он увидел, как к машине, лениво переваливаясь с боку на бок, идет ефрейтор.

— Эй, начальник, ты почему это семафор закрыл? — спросил шофер у ефрейтора, выскочив из кабины и вынимая из кармана брюк кисет.

— Потому что надо! Временная задержка! Впереди перерезана дорога.

— Дорога перерезана...— Шофер спокойно насыпал махорки для цигарки.— Эх ты, семафорщик!

Значит, эти грузовики ждут, когда освободится дорога. Туровец подошел к ефрейтору.

— Ну, а может, есть какая-нибудь другая, свободная дорога... Скажем — в объезд?..

— Нет.

— Эх, калина-малина!.. А когда же она, эта дорога, будет свободна? — поинтересовался Шашура, который, конечно, не мог не вмешаться в такое событие. Любопытный и догадливый подрывник сразу, как только остановили машины, почувствовал, что случилось что-то недоброе.

— Когда отгонят немцев.

— А скоро их отгонят? — не отставал Шашура.

— Увидим...

Ефрейтор равнодушно отошел в сторону, всем своим видом показывая, что такие вопросы он слышит не впервые и что ему это уже надоело.

— Эй, братья-мстители, пришел приказ — загорать! — крикнул Шашура товарищам, еще сидевшим в кузове.— Можно приземляться!..

Он расстегнул пояс и лег в придорожную канаву, заросшую высокой, запыленной травой; его почти не было видно в траве. Туровец присел на меже у ржи, спустив ноги в борозду. Рожь вблизи была измята, спутана: по краю ее, видимо делая объезд, прошла машина. На земле виднелись глубокие узорчатые колеи, в них были вдавлены колосья и стебли. Согнутые в промежутках между колеями стебли упрямо напрягались, пытались выпрямиться. Колосья тянулись вверх, к голубому небу.

Рожь дозревала. Она желтела множеством упругих стеблей, среди которых кое-где зеленели повилика и горошек. Земля была бела, прибита и обмыта дождями, высушена солнцем.

От легких дуновений теплого ветра рожь чуть слышно шуршала. Шуршанье это — ясное, сухое — было не похоже на недавнее, когда рожь стояла еще зеленой,— теперь в нем чувствовались зной и истома.

Под этот знакомый шорох, вечный и величавый, слушать который было наслаждением, Туровец думал о сыне, о том, как было бы здорово, если бы удалось увидеться, случайно встретиться,— дело, конечно, почти невероятное, но Юрке ведь ничего не стоит догадаться обратиться в поисках отца в горком,

Ах, как здорово было бы повидаться, хотя бы накоротке! Думал о первых делах в освобожденном Минске... Но сегодня думать об этом не хотелось. Зачем думать? Все давно обдумано. Надо начинать дело делать. Надо браться за работу, а он вынужден сидеть. Сидеть — когда Минск снова наш, когда он наконец снова свободен! Эх, горе!

Что теперь делается в Минске? Едва он вообразил, как кипят по-праздничному минские улицы, как идут по Советской войска, вообразил то, о чем столько мечтал и что уже мог бы сегодня увидеть,— сердце его заныло от обиды. Когда Туровец в былые времена думал об освобождении Минска, ему почему-то всегда казалось, что он будет в этот день в родном городе. А он, как нарочно, в такой день должен загорать по пути в город, торчать здесь, на этой унылой, сонной дороге... Он сжал зубы. И надо же, чтобы так не повезло.

Время тянулось медленно. Сильно припекало солнце. Туровец расстегнул ворот гимнастерки и лег на спину, накрыв лицо фуражкой, чтобы солнце не било в глаза. Впереди, куда бежала дорога, слышалась беспорядочная стрельба.

Неподалеку в кювете лежал Шашура. Чтобы зря не терять времени, он сбросил пиджак и рубашку, подставил жгучему солнцу свою широкую спину. Лежа рядом с шофером, рассказывал какую-то историю из боевой лесной жизни. Шашура при этом очень много привирал, но получалось у него так складно, что Туровец, обычно не любивший вранья, увлеченно подумал: «Как сочиняет, негодяй!»

Туровец пролежал около часа. Потом не выдержал, вновь двинулся к регулировщику, сидевшему на обочине, по другую сторону дороги, и от скуки что-то вырезавшему перочинным ножом на зеленой палке.

— Ну что нового, товарищ ефрейтор? Еще не очистили дорогу?

— Пока все по-прежнему...

— Вот чертовщина! Сколько же еще здесь валяться?.. До ночи, что ли?.. — Туровец перешел на дружеский тон: — А может, в объезд можно пробиться? А?

— В объезд — рискованно...

— А все же можно?

Регулировщик раздраженно отложил палку, метнул недобрый взгляд на Туровца, но сдержался. Хотя Туровец говорил учтиво, по его поведению, по голосу, в котором звучали властные нотки, ефрейтор, видимо, сообразил, что человек перед ним — не из рядовых.

— Часа два назад проскочила одна группа,— сказал он, на всякий случай поднявшись. Но говорил и стоял лениво, отряхивая штаны.— Как им удалось — не знаю. Немцы там хоть

и не у самой дороги, но хорошо пристрелялись... Одним словом — рискованно, заранее говорю...

— Рискованно, но, значит, можно? Одна группа, говоришь, пробилась? А почему же другая не может? Почему бы ей хотя бы не попробовать, а?

2

Туровец все же какое-то время колебался: ехать — не ехать. Не мог решить: имеет ли право рисковать. Но велико было нетерпение и была вера в свой партизанский опыт. И чувствовал что-то недостойное в этом бездеятельном сидении здесь.

Шофер согласился ехать. Он тоже спешил добраться до Минска, чтобы присоединиться к остальным машинам дивизии. Парень подружился с партизанами, особенно с веселым шутником Шашурой, якобы тайком от Туровца угостившим его «партизанским зверобоем». Этот «зверобой» оказался обычной самогонкой, но дружба с шофером была скреплена. К Туровцу, которого все по привычке называли то комиссаром, то подполковником, который знал генерала Щербатюка, шофер относился как к своему командиру.

Туровец возвратился к регулировщику, расспросил о дороге, об опасном месте. Перед тем как отправиться в путь, сообщил всем обстановку, приказал быть наготове. Мог бы похвалить себя за предусмотрительность: у всех, кто ехал с ним, было оружие.

Сев в кабину машины, автомат положил на колени. Когда грузовик двинулся по дороге, Туровец сквозь шум мотора прислушивался к звукам вокруг, остро вглядывался в дорогу, в поле впереди и по сторонам.

Вдруг вблизи грохнули два взрыва. Снаряды или мины разорвались на полоске картофеля, за кустарником, росшим вдоль дороги, — там поднялись два облачка дыма. Прошла секунда — и снаряд взорвался уже на дороге, сверкнув огнем, перед самым носом грузовика. Машина, будто неожиданно налетев на стену, сразу стала, Туровец и шофер выскочили из кабины, из кузова мигом высыпали остальные. Пригибаясь, осматривались, ожидали, что будет дальше.

Туровец приказал всем залечь у дороги, приготовиться к бою.

Стреляли откуда-то издалека и, как теперь было видно, минами. Они со скрежетом ложились впереди, у самой дороги; одна мина упала метрах в восьми в кювет,— осколки с фырканьем прошли где-то очень близко. Стрельбу вели, вероятно, из леса, видневшегося справа, километрах в двух.

— Дороги ему не видно за кустами. Наверное, увидел пыль

от машины,— услышал Туровец рядом с собой рассуждение Шашуры.— Тут такая туча крутится за нами, что не только в Минске, но и в Лепеле видно. Ну и сушь!

— Одним словом, поворачивай оглобли,— отозвался скупой на слова шофер, окидывая взглядом поле у дороги, — похоже, смотрел, где тут удобнее развернуться.

«Неужели и правда придется вернуться? — подумал Туровец. — Эх, силы у нас здесь мало — не могут вытурить фрицев из леска. Вот бы сюда бригаду или хотя бы один отряд!»

А немцы, видимо, держат дорогу под обстрелом только здесь,— дальше путь, наверно, свободен. Но вот беда — объехать обстреливаемое место на машине нельзя, слева заболоченный лужок подходит к самой дороге... Жаль, машину придется отправить обратно...

— Будем пробиваться пешком, — объявил Туровец. Он взглянул на шофера: — А тебе, браток, обижайся не обижайся, придется ехать назад...

— А может, товарищ комиссар, попробовать еще раз...— неожиданно возразил шофер.— Неужели так и нельзя прорваться? Быть не может!

— Прорвемся, товарищ комиссар,— горячо поддержал шофера Шашура.— Они это только здесь! Выбрать момент — да рвануть! И опомниться не успеют! Проскочим, калина-малина, клянусь!.. Разрешите мне, товарищ комиссар,— вместе с шофером, а?

Шашура быстро принимал решение, как всегда, когда шел навстречу опасности. Туровец не сразу решился.

— Ладно, попытайтесь... Только для начала надо проверить путь...— Он объяснил, что пройдет с группой вперед и, если можно ехать, даст знать.

Пройдя в стороне от дороги километр-полтора, от идущих навстречу бойцов Туровец узнал, что дальше дорога свободна. Он замахал рукой, сообщая, что можно ехать.

Шофер вскочил в машину, нажал ногой на стартер:

— Ну, держись, друг!..

Немцы на время прекратили обстрел. Но как только машина подняла пыль, на дороге снова начали взрываться мины. Однако шофер вел и вел машину через грохочущий заслон... Пригнувшись к рулю, впился глазами в дорогу, летевшую навстречу,— издали высматривал, нет ли воронки, колдобины на пути.

Вот и свои! Машина пробежала еще метров сто, завизжала тормозами и остановилась,— на нее поплыла, оседая, туча пыли. Партизаны вслед за Туровцом подбежали к грузовику, взобрались в кузов.

Проехав еще несколько километров, Туровец увидел в березовых аллеях грузовики, возле которых сидели бойцы.

Впереди, очень близко, за пригорком, по которому тянулись полосы ржи, гудела, грохотала битва. Шофер остановил машину.

— Что, на Минск? — спросил у Туровца, подошедшего, чтобы разузнать обстановку, один из бойцов, сидевших у машин.— Эге, еще один товарищ по несчастью! Прибывает наших! Нельзя на Минск: дорога закрыта... Слышите, как немцы держат ее?

Он кивнул в сторону, откуда доносилась стрельба.

— Не везет нам сегодня, Шашура,— сказал Туровец, невесело улыбаясь подрывнику.

Глядя на вооруженных людей в гражданской одежде, приближавшихся к машинам, боец утешил:

— Очистят... К вечеру будет свободно...

3

— Ты Алексей, да? — спросила Люда.

— Алексей.

Она все время, сначала немного настороженно, потом с интересом, смотрела синими глазками на своего никогда прежде не виденного отца. Больше всего ее внимание привлекала белая марлевая косынка, на которой висела перевязанная рука, да блестящие звездочки на его плечах. Ей очень хотелось потрогать эти звездочки, но она не решалась.

— Не Алексей, а — папа,— поправила ее бабушка.— Это она слышала, что я называла тебя Алексеем... Папка твой, Людочка.

— Папка...— повторила Люда.

Алексей взял ее на руки, нежно привлек к себе и осторожно, чтобы не дотронуться колючей щекой, поцеловал.

— Ах ты, маленькая моя, дочурка ты моя!

Загляделся, как в глазах дочки поблескивают, переливаются веселые светлячки. Она засмеялась, морща курносый носик, и в ее улыбке Алексей уловил черточку Нины. У Нины тоже появлялись морщинки на носу, когда она смеялась.

Но улыбка скоро сошла с лица дочки, морщинки на переносице разгладились, и она, нетерпеливо шевельнув ручками и ножками, решительно заявила:

— Хочу к бабушке.

Люда снова нежилась на коленях у бабушки, тулилась к старухе щекой или терлась о ее руку, как котенок, и, почти не сводя глаз, следила за Алексеем. Он заметил, что в этом взгляде не было ни любви, ни нежности, только детское любопытство и иногда настороженность. Не такими глазами смотрела она на Наталью Михайловну.

— Дичится. Не привыкла к тебе... И к тому же еще испугана. А так она веселенькая и разговорчивая. В Нину, наверное.

Старуха прижала к себе беленькую Людину головку.

Алексей положил на стол портсигар, вынул из него папиросу, щелкнул зажигалкой, но не закурил,— нельзя при ребенке, папиросный дым повредит Люде.

Он вышел на крыльцо. В лицо пахнуло мягким теплом погожей летней ночи. Окинув взглядом знакомые, полузабытые силуэты домов, деревьев на улице, взглянув на столбы калитки, возле которой он впервые обнял Нину, Алексей подумал радостно и будто не веря:

«Неужели я дома? В Минске?» Он вспомнил своих товарищей, и тоже странным показалось, что сегодня они где-то без него...

4

Он проснулся и по привычке собрался было сразу вскочить, но вспомнил, что спешить некуда. Можно немного полежать. Солнце было еще невысоко, однако Наталья Михайловна хозяйничала в кухне, оттуда доносился треск горящих дров. Алексей не знал, когда она легла и когда встала, — как бы и вообще не ложилась.

Он спал в своей и Нининой комнате. В комнате, которую они до войны занимали. Лежал на их кровати. Оттого, что вокруг все напоминало о светлом, довоенном, Алексея какое-то время наполняло светлое, безоблачное ощущение. Отдохнувший, поздоровевший после крепкого сна, видя сияющий свет утра, он жил в первые минуты после пробуждения, как в те, казалось, совсем недалекие мирные годы. Была иллюзия, что война ушла, что все вернулось, все как тогда, в ту пору. Вот только — Нина придет. А она придет, и скоро притом...

Отсюда, из своей комнаты, он через приоткрытую дверь увидел, как в соседнюю комнату вошла Наталья Михайловна, достала откуда-то Нинино платье. Стала внимательно и любовно рассматривать его. Платье было измято: видно, прятала где-то в тайном месте. Может, поэтому так и рассматривала: не испортилось ли. Алексей вспомнил: это светло-зеленое платье, на котором, будто весной в саду, весело цвели белые цветочки, Нина любила особенно. Он с уважением подумал о матери Нины: сберегла через всю войну, как дорогое сокровище. Дождалась, когда Нина сможет снова надеть его.

Мать нежно разгладила ткань морщинистой рукой, вздохнула и повесила платье в шкаф.

Вдруг она что-то увидела в окно на улице. Торопливо удалилась в прихожую. Вскоре Алексей услышал из прихожей голос Залесской. Залесская поздоровалась, похоже, заглянула в соседнюю с Алексеевой комнату. Спросила тревожно:

— Нины еще нет?

Узнав, что Нина не возвратилась, Залесская успокоилась.

— И Вальки моей тоже нет! — В голосе ее странно звучала радость.— Видно, пока не отпускают! У них теперь там начальство,— как им скажут, так они и делают... Хотя и партизаны, но порядки военные...

— Пусть бы уж женщин не задерживали! Мужчины — те еще могут остаться, а зачем женщин держать?.. Особенно тех, у которых дома дети... Да и девушек тоже! — поправилась Наталья Михайловна, вспомнив о Вале.

— Ох, моя Валька, наверное, соскучилась обо мне! Она ж еще ребенок, не ровня твоей...

Поговорив о чем придется, прежде чем попрощаться, попросила:

— Наталья, если придет твоя, передай мне...

— Хорошо, передам...

Наталья Михайловна вышла вместе с ней во двор. Алексей сразу встал, подтянул к себе сапоги, чтобы обуться, но оказалось, что портянки куда-то пропали. Он надел сапоги на босые ноги, пошел искать их.

— Что так рано встал? — спросила, возвратясь, Наталья Михайловна.— Наверно, я разбудила?..

— Нет, я уже выспался...

— Портянки ищешь? Я их постирала.— Алексей последовал за ней на кухню. Она сняла с веревки, протянутой от стенки к стенке, побелевшие, чистые портянки.— На вот, возьми!.. Я тебе тут кое-какое белье собрала,— на окне вот. Переоденься. А я твое постираю.

Алексей увидел на окне старое, но чистое белье. Он вспомнил, что Наталья Михайловна, сколько он знал ее, только тем и жила, что заботилась обо всех, прежде всего о Нине и о нем. Без этих забот нельзя было представить ее жизни.

Вскоре она принесла в общую комнату завтрак, позвала Алексея к столу.

— Вот только Нины не хватает... — сказала она, глядя на Алексея.

Алексей тоже все время ждал Нину. Правда, он думал, что Нина может и не прийти сегодня, на второй день после освобождения города: она человек почти военный, могут задержать в отряде.

Когда позавтракали, Алексей заметил, что старуха оставила часть завтрака в кастрюле. Кастрюлю поставила в печь, пригребла к ней угли.

Время от времени старуха поглядывала в окно, в которое была видна часть улицы. Ее взгляд словно магнитом притягивало к оконным стеклам. Когда на дощатом тротуаре слышался вблизи стук шагов, она настораживалась.

Девочка резко повернулась и сбросила с себя одеяло, положила на него свою маленькую ножку. Алексей еще раньше заметил, что спит она очень беспокойно. Он склонился над ее кроватью и поправил одеяло, боясь неосторожным движением разбудить ее.

Дочурка спала на боку, выставив вперед круглый подбородок и курносый носик; лицо ее с приоткрытыми пухлыми губами казалось беззаботно-спокойным. Алексей заметил, что ее щечки нездорово бледны, будто они не знали ни солнца, ни свежего воздуха. Лежащая у щеки рука была худенькой, локоток заострен, пальчики тоненькие.

«Надо подправить девочку»,— подумал он с нежностью и жалостью.

Люда в это время начала просыпаться. Повернувшись, она попробовала открыть глаза, но от яркого света зажмурилась. Вероятно, она все же заметила рядом Алексея,— доверчиво, счастливо улыбнулась. Темные длинные ресницы чуть заметно затрепетали.

Алексей мягко дотронулся до ее светлой головки, был бесконечно обрадован ее улыбкой. А Люда повернулась на другой бок, потом на спину, решительно откинула ногой одеяло и наконец проснулась. Потерла кулачком глаза и стала смотреть на Алексея, но теперь уже недовольно, хмуря чуть заметные золотистые бровки. Позвала почти с испугом:

— Баб...

Наталья Михайловна была во дворе. Алексей склонился к дочке.

— Что тебе, Люда?

— Баб! — позвала дочь громче, и Алексей заметил, что она глядит на него со страхом, как на незнакомого человека. «Забыла», — пожалел Алексей.

— Что с тобой, внученька?! — вбежала в комнату Наталья Михайловна.

Едва она, склонившись над кроватью, нежно привлекла малышку к себе, Люда успокоилась.

— Ничего,— ответила она и строгими, неласковыми глазами искоса посмотрела на отца.

— Не привыкла еще...

Старуха сказала это так, будто просила у него прощения.

Алексей и не думал обижаться: как же еще должна девочка относиться к незнакомому человеку? А он пока для нее незнакомый...

5

Вскоре он вышел из дому,— хотелось посмотреть, как выглядит центр Минска.

Когда шел по улицам, бросилось в глаза: здесь и там трудились саперы, ходили с миноискателями, выносили из домов мины, ящики с толом.

Перед Домом правительства, огороженным колючей проволокой, лежала целая гора тола и бомб, извлеченных из здания. Возле этой страшной горы толпилась группа возбужденных минчан,— один из них сказал, что вынесли уже сто восемьдесят бомб и шестьсот пятьдесят килограммов тола.

Алексей услышал, что в городе за последние сутки взорвалось несколько домов, заминированных минами замедленного действия. Говорили, что люди боятся вселяться в большие дома.

Почти на каждом брошенном фашистами здании чернели предостерегающие надписи саперов: «Внимание! Минирован», «Минный карантин».

То, что Алексей увидел потом, потрясло его. Он прошел через многие разбитые, изуродованные города, повидал руин, но руины Минска показались страшнее всех, что он видел. Таких разрушений Алексей, казалось, нигде не видел. Разве что в Смоленске. Картина, которую он увидел, поразила его чрезвычайно. Вчера с батальоном он шел не по самому центру, по улицам, которые были более менее целы. Во всяком случае, похожи были на улицы. Здесь он видел то, что представить было невозможно. Невероятное это зрелище потрясло его тем более, что он помнил, каким было здесь все прежде. Он все же ждал увидеть хотя бы подобие того, прежнего. Но глазам его открылось невероятное. Весь центр города, улицы Комсомольская, Ленина, Энгельса, вся Советская, когда-то самая шумная, нарядная и оживленная, на которой почти непрерывно поблескивали с двух сторон широкие витрины и вывески, теперь представляли одну огромную, ужасную руину. Сколько охватывал взгляд, вокруг обступали его нагроможденья, глыбы битого кирпича, заплесневелые, поросшие бурьяном, торчали обугленные дымоходы, обломки стен. Даже пустых, мертвых коробок зданий было ничтожно мало. На всем протяжении улицы Советской, кроме Дома правительства, уцелело еще одно большое здание — Дом Красной Армии.

Внутри центрального универмага в пустые огромные проемы окон виднелся железобетонный потолок, прогнувшийся и обвисший тяжелыми глыбами и готовый вот-вот обрушиться.

Чем больше Алексей смотрел на это страшное кладбище, тем сильнее давила его тоска, жарче жег гнев. Гады, нелюди, что они сделали с домами, с улицами, с городом. Что они сде-

лали с людьми, жившими в этих домах, на этих улицах, в городе. Но и этого им было мало,— что же еще это зверье собиралось сделать? «Гады, гады,— мысленно клялся Алексей,— я вам не прощу этого. Я вам припомню каждую искалеченную улицу, каждый разрушенный дом, каждый камешек руин. Все припомню. Вот только вернусь в бригаду».

Повсюду еще сохранились чужие надписи и вывески, Алексею хотелось схватить какую-нибудь железку и начать соскребать эти ненавистные надписи, срывать и бросать вывески.

Единственным, что оживляло улицы, были взволнованные, беспокойные толпы людей да военные машины, катившие по мостовой, почти все на запад...

На улицах гремели громкоговорители,— транслировалась передача из Москвы, рассказ о боях за Минск.

Алексей всматривался в лица встречных, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых. Но ему попадались только незнакомые. Раньше у него в Минске было много друзей и знакомых, одних он хорошо знал, с другими изредка встречался — на собрании, на спектаклях или просто на улице. В таком городе, как Минск, когда-то легко было встретить знакомого. Теперь же никто из них не попадался на глаза!

Где они теперь? Конечно, одни, так же как и он, на фронте, — на разных фронтах, другие в эвакуации, многие, как и Нина, наверняка в лесах. Немало тех, кто вынужден был остаться здесь, видно, погибли в подпольной борьбе...

Многое, многое в городе вызывало печаль и горечь. Радость у Алексея на время почти совсем угасла. Но она все же тлела в нем даже в эти минуты. Скорбь даже в эти минуты не могла убить радостного ощущения жизни: все же главное — город свободен! Он будет жить! Его никто больше не будет терзать. Никогда.

Этот город обещал начало иной, счастливой жизни. Обещал исполнение самого дорогого желания: встречу с Ниной. Алексей все время жил предчувствием этой минуты...

ГЛАВА II

1

К березовым аллеям вдруг начали катить машины. Они шли не поодиночке, а двигались потоком, и Туровец, увидев это, догадался, что дорога позади теперь свободна...

— Выгнали фрицев из леса! — секунду спустя объявил Шашура, уже успевший поговорить с шофером одного из грузовиков.— Погода проясняется, товарищ комиссар!..

— Наверно, скоро и сюда подошлют пехоту,— сказал Туровец.

— Факт! — поддержал Шашура. — Разве ж может быть, калина-малина, чтоб дорога на Минск была закрыта?!

Но прошел час, два, а пехоты все не было. Прогремело несколько пушек большой мощности — на гусеничном ходу, с короткими толстыми стволами. Только ночью, перед самым рассветом, проехало десятка полтора грузовиков с пехотой, с боеприпасами и четыре «катюши». Появились наши танки, не спеша прошли вперед, к расположению немцев.

Бой начался утром. Разбуженный недалекой стрельбой, еще не понимающий ничего после сна, Туровец вдруг увидел, как в синеватое небо взвилась очередь каких-то слепящих, огненных комет. Рассекая синеву, кометы чертили высокую дугу, стремительно приближались к земле. Казалось, что кометы стараются перегнать друг друга. «Что это?» — с восхищением смотрел в небо Туровец. Он впервые видел это, но догадался: «Катюши»! Вот вы какие, сказочные «катюши»!» Он с восторгом слушал, как где-то впереди часто и сильно грохотали взрывы...

— Вот так голосочек, калина-малина! От такого женского голоса прямо душа в пятки уходит... Скажи ты, аж здесь земля задрожала.

— Авторитетная женщина! — поддержал Шашуру Туровец.— Ничего не скажешь!

Солнце уже поднялось на высоту берез, когда шоферы и военные, стоящие у машин и сидящие на обочинах, пришли в движение, забегали, начали передавать команды.

— Садитесь, минчане! Едем! — крикнул Туровец своим.

Первые грузовики тронулись. Минуя белолицые березы, пошли по дороге. Вслед за ними двинулся и весь поток машин. Вперед промчались, подпрыгивая на ухабах, два легковых газика.

Скоро Туровец увидел поле боя. Везде были видны неглубокие воронки, окаймленные комьями суглинка и песка, и везде — в перемятой желтеющей ржи, в кюветах, на тропах за ними, а то и прямо на дороге — трупы, в мундирах и без мундиров, иногда густо, впритык, навалом. Около одной воронки в кювете лежала минометная плита без ствола и оторванная нога в запыленном сапоге. Было разбросано много различного военного снаряжения — ранцы, котелки, шинели, каски. На повозках, брошенных возле зарослей ольшаника, у самой дороги, лежали мешки, похоже с мукой, цинковые патронные ящики; около мешков хозяйничало несколько пехотинцев, сносили их на свой грузовик...

Проехав это место, машина пошла быстрее. Теперь уже не было видно ни трупов, ни воронок, ни брошенных снарядов, —

навстречу бежала обычная, в колеях дорога. Туровец взволнованно всматривался в даль, ожидая, когда появятся знакомые очертания города, хотя и знал, что до Минска еще не меньше двух десятков километров.

Около Абчака грузовик въехал на асфальт Могилевского шоссе, пристроился среди других грузовиков, идущих на Минск.

На окраине города, где начиналась мостовая, машина остановилась, так как встали передние. Навстречу шло несколько грузовиков, в кузовах сидели солдаты. Туровец открыл дверцу и, стоя на подножке своей машины, стал всматриваться в лица пехотинцев, которые быстро приближались, проезжали мимо и отдалялись. Группка за группкой, кузов за кузовом...

Неожиданно в одном из кузовов он увидел человека, который показался ему очень похожим на сына.

«Юрка?!»

Туровец от неожиданности не сразу поверил, заколебался, а когда решился окликнуть, машина уже отошла от него.

«Неужели Юрка?!» Туровец верил и не верил. Пехотинец очень напоминал сына, но разве это не мог быть кто-нибудь другой, похожий на него,— ведь видеть довелось только мгновение. К тому же он не знал Юрку в военной форме...

Одолеваемый сомнениями, Туровец не заметил, как грузовик затрясся по мостовой.

2

Как ни готов был, казалось, Туровец к встрече с нынешним Минском, все волновало труднее, чем он предполагал.

За более менее благополучными, крестьянского образца хатами окраины пошли картины, на которые невозможно было смотреть спокойно. Пустыри пепелищ, руины, коробки сожженных домов. По сторонам улицы Свердлова шли только закопченные, мертвые коробки. Коробки, коробки... Ни единого живого дома...

Здесь шел путь на Брест, и по улице двигалось довольно много войск. Их целенаправленное движение, разнообразные проявления движения как бы вносили дыхание жизни и в мир улицы. Но все же вид пустых, мертвых коробок угнетал... Это ощущение сливалось со все не покидавшим сожалением, что, может быть, разминулся с сыном.

Горком разыскали довольно скоро. Среди нескольких остановленных прохожих один и указал, как найти горком. У здания горкома Туровец пожал руку солдату, так много сделавшему для его группы. Шашура, как друг, обнял шофера, приказал писать ему. Партизаны, радуясь, что добрались наконец,

разминались, громко говорили, оглядывались вокруг... Рассматривали уцелевший дом. Едва ли не единственный целый дом на всей улице...

Еще до того, как вошел в здание горкома, Туровец определил: здесь уже шла работа. Окна были открыты, за ними коегде были, что-то делали люди.

В коридоре Туровец невольно огляделся: не увидит ли парня в военной форме, который степенно и смущенно шагнет навстречу: «Вот и я, папа!..» Парня не было видно...

Первым из знакомых, кого Туровец увидел, была пожилая женщина с широким лицом и маленьким курносым носом, с красивыми белесыми волосами.

До войны она работала инструктором одного из минских райкомов, и хотя когда-то они были мало знакомы, сейчас Туровец обрадовался встрече с ней так, будто нашел дорогого друга.

Туровец узнал от нее, что горком начал работать сегодня, что Рогов уже тут, что прибыл он еще вчера, прорвался с армейскими частями.

Она приехала из Новобелицы со спецгруппой. Добирались на трех машинах, на четвертой везли разные вещи и провизию. Двигались с войсками. Добираться до Минска было трудно: на переправах почти повсюду длиннющие очереди, на дорогах целое половодье машин, военной техники.

Она сказала, где Рогов. Увидя Туровца, Рогов, застегивая верхние крючки генеральского кителя, подошел к нему и крепко, дружески обнял.

— Давно мы не видались, Ничипор! — Он выпустил Туровца из объятий, усталые глаза под мохнатыми бровями засветились радостью.— Вот хорошо, что приехал! Работа тебя ждет! С самого утра... Кстати,— я не мог предупредить,— бюро решило направить тебя в отдел кадров горкома. Заведующим...

— Признаться, не ждал этого,— удивился Туровец.— И конечно, сразу же за дела?

— А когда же? Немедленно. Запоздал-то ведь... Ждали-то еще вчера, товарищ заведующий отделом кадров...

И Рогов попросил Туровца рассказать, какие люди приехали с ним, где могут трудиться с пользой.

— Садись рядом и давай список. Возьмемся за дело!..

И здесь Туровца притаенное желание подталкивало спросить: не заходил ли случайно сын. Говоря с Роговым, он невольно ждал, что тот вот-вот взглянет тепло, по-братски и объявит: «Да-а! А знаешь, здесь только что был... Да! Ждет!..» Но Рогов молчал об этом...

Присев за стол, накрытый синей маскировочной бумагой, предварительно потолковали, кого из партизан куда послать.

— Как будем, по одному вызывать или... всех сразу?

— Зови всех... Это ж их и твоя последняя партизанская встреча. И первое мирное совещание! К тому ж нехай поглядят, сколько для нас, коммунистов, тут в городе работы. Нехай поглядят на свое место отсюда, с этого КП...

— Да, им будет полезно побыть здесь вместе... Сейчас позову.

Партизаны приближались к двери разговорчивой толпой, но, входя в комнату, притихали, старались не стучать сапогами. Здороваясь с Роговым, чаще всего — по почину Шашуры — сначала по-военному козыряли и только после того, как секретарь протягивал руку, пожимали ее «по-граждански».

— Прошу садиться, товарищи. Да поближе! — Рогов смотрел, как партизаны, двигая стульями и табуретками, устраивались перед его столом и немного дальше, у стены.— Кажется, всем хватило места? .. Тогда, чтоб не тратить времени, начнем...

Да, это была еще словно партизанская встреча, со стороны почти не отличающаяся от какого-нибудь совещания перед боевой операцией. Партизаны еще обычно, когда их спрашивал Рогов, вставали «смирно», отвечали четко, слишком громко. Но сами люди и даже Туровец этого не замечали,— их волновало и радовало иное, необычное, что заставляло всех, кто сидел в этом кабинете, чувствовать себя по-особенному, празднично, даже торжественно.

Рогов каждого расспрашивал о прошлых мирных специальностях, о том, что обычно хранилось только в памяти или лелеялось в мечтах... Но самое волнующее наступало тогда, когда секретарь горкома говорил:

— Горком решил направить вас на работу...

И тогда люди удивительно, невообразимо менялись: кто становился директором электростанции или школы, кто — начальником паспортного стола, кто — заведующим отделом коммунального хозяйства. Вставали, когда секретарь горкома вызывал их, партизанами, а садились на свое место мирными начальниками...

«Заведующий отделом! — удивлялся Шашура.— Был разведчиком, а теперь начальник отдела коммунального хозяйства. И надо же, чтобы такую должность дали разведчику! .. Да, кстати,— спохватился разведчик,— надо завтра забежать к нему, попросить комнату! Даст или не даст? Черт его знает, каким он себя покажет на этой новой должности... Должен дать, душа из него вон!» Подрывник вспомнил Аксинью, представил себя с ней в этой будущей комнате, — и в груди у него приятно потеплело.

Не впервые, но теперь с особой силой беспокойного подрывника захватила проблема: а куда его самого пошлют? В артель к слесарям или столярам? Для начальника паспортного стола он, например, не подойдет — слишком резвый. Там надо много

сидеть... Шашура перебрал несколько должностей, когда его позвали к столу

— Тебе, Шашура, придется заняться организацией питания,— сказал ему помогавший секретарю горкома Туровец.— Будешь директором заводской столовой на заводе «Ударник». Какая твоя главная задача? Дать питание рабочим, служащим. Дело очень почетное! .. Помещение?

Туровец взглянул на секретаря горкома. Тот встал из-за стола и заговорил, обращаясь к Шашуре:

— Помещение есть. Правда, товарищ Шашура, надо будет его подремонтировать... Стекол ни одного. Штукатурка обвалилась... Надо будет найти мебель, посуду. Мебель можно, кстати, взять в забегаловках, которые здесь работали... В брошенных квартирах... Там и посуда осталась... Ну вы, конечно, прекрасно знаете, что успех во многом зависит от людей. Поищите хороших поваров, подберите расторопных официанток... Продукты дадим, но в первые дни, пока не наладим подвоз, вы получите их очень мало. С тех складов, что удалось захватить... Одним словом, нужны умелая хозяйственность, инициатива. Ну и, конечно, партизанская находчивость! .. Да, да, находчивость! Не снимайте ее с вооружения... Ну, вот и все. Задача, по-моему, ясна? Ясна. Тогда — остановка за вами.

— Если можно что-нибудь сделать, товарищ секретарь, за мной остановки не будет...

— Посмотрим...

Так бывший подрывник получил первое мирное задание.

3

Когда партизаны разошлись, Рогов проводил Туровца и показал начальнику отдела кадров его «кабинет». Это была длинноватая комната с одним окном, у окна стояли стол и два табурета, а возле стены — зеленоватый немецкий шкаф. Комнатка была чисто подметена и даже вымыта. Оставшись один, Туровец вышел и скоро вернулся с вещевым мешком и курткой.

Повесив куртку на гвоздик, а мешок сунув в угол, он подошел к окну, поглядел на освещенную солнцем улицу, на пустыри по обеим сторонам ее. По улице шли несколько женщин. Раскрыл окно...

Надо начинать. С чего? Он знал с чего: городу нужны и директора заводов, и инженеры по электричеству, и хорошие финансисты, и председатели артелей, и клубные работники. Десятки важных учреждений и предприятий ждут людей...

Ждут. Но людей этих пока — на беду — мало. Очень мало. Почти нет... Туровец услышал, что сзади открылась дверь, и оглянулся. Оглянулся торопливо. С надеждой. Не осознавая, ждал: парень в военной форме. «Вот я, папа! ..»

— Простите,— сказал, входя, худой, красивый немолодой человек.— Думал, что никого нет. Не постучал... Голуб, врач...

— Помню вас, товарищ Голуб. Добрый день! Вы у меня первый, значит, самый почетный гость...

Туровец не только не скрывал, но всячески показывал, как он рад «самому почетному гостю». Обнял за плечи, спеша подал стул, усадил. Сияя смотрел: как здорово, что встретились!

Полюбопытствовал, где врач трудился,— оказалось, в партизанском госпитале. Охотно, по-братски поделился воспоминаниями. Позже уже, гораздо позже, спросил, чем думает почетный гость заняться теперь. Оказалось, Голуб думает заняться практикой: лечить ушные болезни. И писать диссертацию.

Туровец одобрительно кивал головой:

— Диссертацию?

— Да, да. Диссертацию, обязательно. Мне уже давно надо было ее написать, да, сами знаете,— война...

— Да, диссертация — хорошее дело, — поддержал Голуба Туровец.— Материал интересный, правда?

— Много интересного накопилось. Три года как-никак...

— Опыт, конечно, богатейший!

— Сами знаете!

— Это хорошо, очень хорошо! — похвалил Туровец.

И таким же мягким, восхищенным тоном вдруг спросил:

— А не взялись ли бы вы, товарищ Голуб,— конечно, временно,— за такое дело: заведовать отделом здравоохранения, а? Временно, повторяю, пока не найдем другого. Очень нужное дело, а?

— Нужное,— согласился врач.

— Очень нужное! — подхватил Туровец тем приятельским тоном, в котором были и доверие, и уверенность в поддержке и при котором собеседнику, знал Туровец, становилось трудно отказываться.— Даже необходимое!

Голуб помрачнел, задумался и ответил, словно прося прощения, что не может взяться за это дело.

— Почему?

— Не могу. Не справлюсь.

— Вы не справитесь? Я, признаться, не верю в это.

— Как это не верите?

— Не верю, что вы не справитесь! Будем откровенны, единственное, что я чувствую в вашем ответе: вы не хотите менять свои планы... так? — Туровец поднялся.— Я, Тихон Сергеевич, понимаю ваше настроение! Писать диссертацию, о которой столько лет мечтали!.. Более того, я считаю, что вы имеете на это полное право! Но, — заговорил открыто, сердечно Туровец, — людям нужны работники на некоторых наиболее важных участках. Город,— вам ли говорить,— опустошен, истерзан. Он — как раненый, опасно раненый человек. Как

организм, у которого парализованы важные органы. Их надо срочно восстановить, вы знаете это!.. Поэтому нужны люди. Очень нужны, позарез! В том числе и там, куда мы хотим вас послать. Там не сегодня-завтра должен быть знающий человек, иначе сорвется крайне важное дело... Мне прямо неловко говорить вам, что наладить медобслуживание надо как можно быстрее! Чем раньше, тем лучше!.. В Минске сейчас тысячи больных и искалеченных, вы понимаете?..

Туровец беспокойно прошелся. Голуб молчал. Трудно, со смущением произнес:

— Вы так говорите, будто я о б я з а н пойти.

— Да, вы не ошиблись. Я считаю, что вы, Тихон Сергеевич, обязаны пойти,— убежденно сказал Туровец.— Если вы чувствуете, в каком положении город, — а вы чувствуете это, — и если вы понимаете важность вашей работы, вы должны пойти!..

Голуб наконец согласился. Туровец провел Голуба на беседу к Рогову. Рогов тоже хорошо знал Голуба, и с первых минут Туровец почувствовал, что секретарь горкома одобряет его выбор. После беседы с Роговым Туровец рассказал Голубу, как найти председателя горсовета, чтоб представиться. Подав руку, прощаясь, заговорил иначе, не то ободряя, не то извиняясь:

— Придет время — будете писать. Что ж поделаешь, — пока придется подождать. А подыщем другого человека — достойного! — отпустим... С почестями!.. Если, конечно, вы потом пожелаете!— пошутил Туровец. — Только условие, Тихон Сергеевич, — до того времени работать по-настоящему. Никакой скидки на то, что мало опыта в руководстве, не будет. Не дадим спуска!

— Ну что ж, если уж взялся... то спуска не надо!

В это время в комнату шагнул человек в военной форме, но без погон. Одежда его была заметно запылена,— видимо, человек пришел сюда прямо с дороги, и дороги не ближней. Вошедший направился прямо к Туровцу.

— Михолап,— отрекомендовался он, наблюдая за выражением лица Туровца — помнит или нет?

Туровец вспомнил, обрадованно, от души пожал руку.

— Какой ветер занес тебя?! Из партизан? Нет, ты что-то вроде больше на военного похож!

— Военный! Из госпиталя вызвали в распоряжение ЦК КП(б) Белоруссии. А оттуда — сюда... За наступающими войсками. Можно сказать, со вторым эшелоном. А ты?

— А я? А, что я! В лесу все был...

— Ну-ну, по-прежнему любишь скромничать? Да, — вспомнил Михолап,— кстати, километров восемьдесят подвез твой сын...

— Юрка?!

— Юрий Туровец. Сержант.

Туровец стал осыпать Михолапа вопросами, где это было и как он, сын, теперь, говорил ли что-нибудь. Как держится, каким показался в военной обстановке. Туровец был счастлив, услышав, что сын держится как надо, достойный сын. Товарищи уважают...

Сдерживая себя, он спросил, где пришлось Михолапу побывать за годы войны. Он слушал рассказ об этом с восхищением, славный путь прошел земляк: защищал Севастополь и Сталинград, освобождал многие города. Биография его, Туровца, в годы войны куда беднее...

Да, не зря в ЦК поручили Михолапу руководить станкозаводом. Туровец с сочувствием сообщил, что завод, один из самых больших раньше в городе, почти полностью разрушен. Михолап, оказывается, уже знал это: в ЦК сообщили. Знал, куда посылают. По тому, как он относился к этому, Туровец почувствовал: Михолап готов на все, сильный человек. Такой, можно надеяться, наладит дело... Он зашел к Рогову, сообщил о приходе Михолапа, о разговоре с ним. Секретарь горкома захотел сам побеседовать.

О чем толковали Рогов с Михолапом, Туровец не слышал, его ждали посетители, и он возвратился в свою комнату.

Женщина лет тридцати,— она до войны была преподавателем биологии,— комкая в руках давно поблекшую шляпку, неуверенно говорила:

— Я к вам, товарищ, за советом: что делать? Скоро сентябрь, а у нас в школе ни одной парты, ни одного учебника.

Туровец был доволен, что учительница беспокоится о том же, о чем и он. Соскучилась, видно, по любимой работе, заждалась!

— Да, сентябрь уже близко... Пролетит полтора месяца — и снова малыши толпами, с книжками, с тетрадями, поплывут, как ручейки в реки, к школам. Зазвенят звонки... Давно, давно я не слышал школьных звонков! Приду первого сентября к школе, специально приду, встану и буду слушать звонок!..

— Так, значит, первого сентября... начнется?

— Обязательно. Горком сделает все, чтобы начать учебу вовремя. Передайте это всем преподавателям... Скажите, что нам — и детям — нужна помощь вас, учителей. Какая? Сейчас скажу... В школах пока, ясно, будет нелегко с учебниками: чтобы напечатать их, нужно время. Сразу не напечатаешь тысячи, правда?

— Правда, — кивнула учительница.

— Поэтому надо обойти всех учеников и собрать учебники, какие уцелели... В скором времени будем делать учет детей школьного возраста... Здесь мы тоже будем просить учителей помочь нам...

— Да я... да мы — хоть сегодня! — не выдержала учительница. Голос ее задрожал.— Мы столько времени ждали этого! .. Даже не верится... что снова все...

Сдерживая слезы, она вдруг поднялась и стала торопливо прощаться, словно куда-то спешила.

После нее вошел старый мужчина, спросил, куда писать, чтобы узнать о судьбе своих сыновей... С какими только вопросами не приходили в эти дни в горком!

4

Посетителей больше не было. И парня в военной форме не было. Так и не появился. Неужели там, на дороге, был действительно он? И разминулись так нелепо?

Туровец прошелся по комнате, вдруг заметил в углу свой мешок с вещами. Открыв пустой немецкий шкаф, толкнул его туда.

Окно возле стола было открыто, и в комнату плыл теплый летний ветер, время от времени врывался то стук копыт, то урчание военного грузовика.

Пришла знакомая, которую он встретил здесь первой. По-детски широко улыбаясь, она напомнила Туровцу:

— Ничипор Павлович, о массах ты не забыл? Не надо отрываться от масс. Массы ждут вашего слова...

— Это я с удовольствием. Хоть сейчас,— ответил Туровец.— Только скажи, куда? Конечно, не на фабрику и не в учреждение? Догадываюсь: наверное, просто — на улице?

— Ты угадал — прямо там, где соберется десяток-два минчан...

— Как в первые дни революции! Оживает история! ..

Перед тем как начать выступления, Туровец захотел лучше увидеть город. Ведь он пока видел еще так мало. И не видел еще, может быть, самого необходимого, того, о чем он не раз думал в лесу. Куда звал его долг, непременный и сердечный. Дом, где погибла жена, Зося. Где оборвалось все то, довоенное...

Он прежде всего пошел туда, на Ленинскую, где рядом со зданием Коммунбанка, одной стороной выходившим на улицу Карла Маркса, жил до войны. Вот он, дом его, семь месяцев довоенной его жизни. Уцелевшая изуродованная стена и балкончик — балкончик с вазоном. Дома нет, обрушившийся, слежалый кирпич. Масса уродливого кирпича, из-под которой с трудом достали мертвую, раздавленную — ее. Дома нет. Дом рухнул. А стена стоит, остро вонзается в небо. Как страшный памятник жене. Стена и балкончик. И вазон. Все это вдруг так ясно напомнило несчастный, далекий день и ее лицо, что

грудь Туровца обожгла жгучая, нестерпимая боль. Эх, Зося, Зося!

Долго шел он, ссутулясь, ничего не видя, со жгучей этой болью и печалью, с ожившими, нахлынувшими воспоминаниями. Единственным утешением было для него то, что вот он, рядом с ней. Что земля, где она жила и где похоронена, уже свободна. Долго шел по минским улицам в сильном нервном возбуждении. Обломки стен, пустые, слепые проемы окон, высокие дымоходы. И горы битого кирпича, позеленевшие, черные, на многие кварталы. Все, что виделось ему теперь, воспринималось сквозь тоску, которая тяжело легла на сердце там, у бывшего его дома.

На улицах тихо и почти пусто. Он, будто сквозь поволоку, поглядывал на встречных. Невольно ждал: нет ли знакомых? Знакомых не было.

В горе своем он с трудом следил за тем, что проходило перед глазами. Город был страшно захламленный, грязный. Какие-то обрывки бумаги, битое стекло, бутылки, разная дохлятина, проволока — чего только нет на мостовой! Чуть не на каждом шагу выбоины, ямы. А стоит только зашевелиться ветру,— тучи песка и пыли... До чего довели, гады!

Он прошел по Советской, спустился по Комсомольской на Немигу, где было еще больше грязи, пошел по улице Мясникова. Увидел возле водопроводной колонки в начале улицы Розы Люксембург длинную очередь. В городе не работал водопровод...

А почему бы ему не начать «разговор с массами» прямо здесь? Здесь — солдатские матери, завтрашние работницы, служащие, продавцы магазинов, железнодорожники. Он подошел к очереди.

— Нельзя ли у вас напиться?

— Да почему же! Пожалуйста...— ему подали кружку с водой; в те дни возле любой колонки можно было найти кружку: часто приходили напиться бойцы.

— Попил — будто поздоровел...— Он отряхнул с гимнастерки несколько бисеринок-капель воды.— Целая проблема — воды напиться! Кто бы подумал... Уж и не знаю, что делать тому, у кого на семью надо несколько ведер в день?

Женщина, стоявшая через два человека от Туровца, махнула рукой:

— Как? Вот так и стоим... Целыми часами стоять приходится...

Другая хмуро отозвалась:

— Это что, здесь хоть достоишься. А хлеба где, где достанешь? Четвертый месяц хлеба почти не вижу...

— Ничего, наши пришли — хлеб будет.

Седой человек в старой солдатской гимнастерке, с красным ведром, сказал, что все сразу не восстановится — вон какие руины. Почти все придется начинать сызнова.

— Скоро многое изменится! — твердо зазвучал голос Туровца. Ничипор Павлович сообщил, что уже сегодня начинает работать хлебозавод «Автомат».

— Хлебозавод? Да его же, навéрно, взорвали.

— Сжечь хотели. Да не вышло у них... Факельную команду у завода встретили таким огнем, что они — кто куда... Подпольщики спасли, Володя Недельцев с друзьями.

— Вот молодцы!.. Так, значит, цел. И хлеб будет?

— Будет.

Эта весть тотчас пошла по очереди, люди сразу заволновались.

— Кто это говорит? Откуда он знает?

— Значит, знает.

Люди начали окружать Туровца. Вскоре кто-то узнал в низеньком щуплом человеке с путаницей черных волос, с цыганскими глазами бывшего секретаря соседнего райкома.

Затаив дыхание слушали о том, что будет сделано в городе в ближайшие дни. Нетерпеливо перебивали:

— А скоро начнет работать почта?.. Может ли сейчас дойти сюда, скажем, письмо с фронта?

— Полностью ли разминировали Дом правительства? И что — не знаете — делать с минами, которые валяются в огороде? Как бы дети не подорвались!..

— А где сейчас немцы? Далеко ли от Минска?

— Можно ли будет купить где-нибудь обувь? Босиком ходим, прямо стыд...

— А не знаете ли, где найти детского доктора?..

— Неужели не поймали этого гада Готтберга? Вот если бы поймали да привезли сюда!

Несколько человек спрашивали о положении на фронте. Ответив тем, кто интересовался переменами в Минске, Туровец взялся с увлечением говорить о самом волнующем — о фронте. Там, на фронте, сыновья, отцы, братья, которых ждут уже три года. Рассказ о событиях на фронте слушали со слезами радости, как вести о близких; этот рассказ как бы укреплял у всех надежду, что проклятый фашист больше не вернется.

— Много работы у нас впереди,— вдруг переменил тему разговора Туровец, — много. И все придется делать всем нам вместе... Все зависит от нас, от всех.

— Ясно, что за нас никто не сделает...

— Да разве же мы не хотим работать? Руки сами тянутся к работе...

И начались расспросы — куда идти, что делать? Что делать швее, которая до войны работала на фабрике? А куда пойти

трамвайщику? Скоро ли будет восстановлен трамвай? А есть ли уже работа для слесаря-сантехника? А что тому, у кого нет специальности? «Я до войны училась в восьмом классе». Туровец, отвечая людям, чувствовал, что им действительно хочется, очень хочется работать...

С ним расстались, как с добрым другом.

— Большое вам спасибо. Не забывайте, опять заходите сюда... Путь знакомый!

— Прямо сюда, к колонке.

— Спасибо, зайду...

Туровец провел еще одну такую беседу возле листовки с приказом Верховного Главнокомандующего об освобождении Минска, где собралось десятка два человек. Листовка была наклеена на уцелевшую стену, взорванного дома. Здесь же у стены он и беседовал с людьми.

Шел он назад уставшим. Столько событий пережил он за один день с того часа, как взметнулись залпы «катюш». Доброе и горькое жило в нем, радовало, печалило, тревожило. Зося, Зося, стена в небо, балкончик с вазоном; Юрий в военной гимнастерке, проезжающий мимо в грузовике,— картины эти все время держала его память. И вместе с ними картины страшного разрушения города. Во все это проникали, чередовались с этим новые заботы, возникшие в кабинете Рогова, в его встречах с людьми.

Он был потрясен тем, как много надо сделать, чтоб город снова зажил. Чтоб убрать все эти горы кирпича, построить новые дома, новую жизнь, которую он в этот день представлял весьма смутно, как почти нереальную...

У него пока не было квартиры, но шел он в горком и по другой причине. Все надеялся: вдруг там ждет парень в военной форме.

Он не думал о том, что вот и началась желанная, мирная жизнь. Он слишком был полон ею, и уж очень много было в ней горького.

ГЛАВА III

I

Лейтенант Кляммт еще по ту сторону Березины пристал к части, отступавшей после сильных боев.

Часть была маленькая, сильно поредевшая, скорее напоминала толпу, чем боевую единицу.

Надо сказать, что таких частей у немцев было тогда нема-

ло. Потерявшие веру, деморализованные солдаты часто отставали от своих подразделений, стихийно присоединялись к первой попавшейся толпе военных или к походной кухне. Эти группы все время обрастали новыми спутниками и теряли их в каждом бою. Состав этих толп все время менялся, и теперь в дивизиях часто были не только солдаты, но и офицеры из самых разных частей, разных родов войск.

Но у гитлеровцев были еще и весьма сильные части, хорошо вооруженные и дисциплинированные. По дорогам двигались иногда целые дивизии почти в полном составе.

Группа, в которой шел Кляммт, состояла из случайных людей, и лейтенант относился к своим спутникам с недоверием. Хотя он и держался вместе с группой, ему нередко приходилось подавлять в себе желание бросить всех и пробиваться одному.

Ему в эти дни повезло. Когда он уже не мог идти дальше — были до крови натерты ноги,— на опушке леса он случайно набрел на брошенного коня. Прячась за деревья, лейтенант незаметно подобрался к нему и вцепился в рыжую гриву. Проехав несколько километров, лейтенант встретил исхудавшего, с повязкой на голове, офицера, обессиленно сидевшего у дороги. Офицер-капитан попросил взять его с собой. Лейтенант без большой охоты, но все же исполнил воинский долг свой. Слез с коня, посадил на лошадь капитана, сел сам позади. Придерживая капитана, двинулся дальше.

На окраине какой-то деревни их остановили. Здесь создавали новую часть. Побродив, потолкавшись среди незнакомых людей, задержанных ранее, лейтенант неожиданно встретил ефрейтора Келлера, о котором уже давно, вероятно дней пять, ничего не знал. Он обрадовался встрече с Келлером и, когда лейтенанту дали взвод, позаботился, чтобы ефрейтора направили к нему. Как-никак Келлер был смелым воином и, что там ни говори, пусть с грешками, но все же свой. Кроме него, во взводе не было ни одного знакомого солдата.

Командовал частью одноглазый, могучего сложения майор. Собрав офицеров в саду, он свирепо говорил, что надо немедленно, безжалостно установить порядок и дисциплину. Он показался Кляммту сильным, решительным человеком.

Под вечер майор приказал построить часть. Когда выстроились, к строю вывели какого-то солдата. Как объявили, где-то схваченного дезертира. Солдат был длинный, худой и грязный, стоял неподвижно, с отсутствующим взглядом. Майор сам выступил перед строем, назвал солдата изменником и трусом, который изменил солдатскому долгу, без приказа оставил позицию, бежал.

Солдаты слушали хмуро. Кончив речь, майор навел свой единственный глаз на Кляммта и, глядя прямо, жестко, чеканя

слова, приказал расстрелять беглеца. Лейтенант козырнул, направился к солдату, на ходу вынимая из кобуры пистолет. Остановился в нескольких шагах, не спеша прицелился в грудь солдата и выстрелил. Солдат качнулся, но не упал, какое-то время удивленно глядел на лейтенанта. Рухнул лицом в землю. Кляммт под взглядами тяжело молчавшей роты брезгливо склонился, нащупал пульс: дезертир был мертв. Второй пули не понадобилось. Одноглазый повернул свое большое тело к солдатам и сказал:

— Так будет с каждым, кто нарушит солдатский долг. Кто не выполнит приказ.

Но это событие, как позже заметил Кляммт, не произвело того впечатления, которого ожидал и на которое рассчитывал майор. Солдаты стали лишь более молчаливыми и хмурыми.

Вечером, ложась в траве за огородами, где его взвод занял позицию, лейтенант услышал обрывок разговора о том, что парня, наверно, зря сгубили.

— Может, он вовсе и не виноват...

Лейтенант удивился, как можно рассуждать подобным образом. Жалеть труса.

Келлер, сидевший рядом, снимая на ночь сапоги, произнес устало:

— Солдатское товарищество, лейтенант... общность судеб...

Лейтенант в последних словах уловил скрытый, недобрый намек, спросил, как это понимать — общность судьбы: один конец всем?

— Нет, я не имел этого в виду. — Келлер устраивал ранец под голову. — Я бодро смотрю вперед...

Он явно избегал откровенного разговора, и лейтенант не стал допытываться. Но и из этих немногих слов, по тому, как мрачно Келлер говорил, как вообще вел себя, лейтенант отлично понял его состояние. Подавленное, безнадежное состояние.

«Вот где беда! — подумал он.— В расслабленности, в упадке духа, нездоровом, гнилом, не немецком духе! Гниль эта вонючая, как ржавчина, разъедает армию... Дисциплина нужна, твердость!..»

«Заразу надо вырывать с корнем!..»

Но осуществить это лейтенанту не удалось.

На следующий день, едва только рассвело, на роту, в которой был и взвод Кляммта и которая шла занимать новый рубеж обороны, налетели советские кавалеристы. Рота, беспорядочно стреляя, видя, как стремительно мчится на них, разрастаясь, ширясь, волна конников, начала разбегаться. Кляммт пробовал командовать, но его никто не слушал. Сидя во ржи, куда он успел вбежать и укрыться, Кляммт видел, как несколько кавалеристов, не слезая с коней, вели толпу пленных. Ему удалось спастись.

2

С этого дня он пробивался один.

Он шел без дорог, прямо полями, лесами, лугами, стараясь быть незамеченным. Опасливо озираясь, обходил стороной деревни.

Идти было трудно. Приходилось всего остерегаться, быть готовым ко всему. Он не мог нигде чувствовать себя спокойно. Леса, казалось, в своем молчании постоянно таили что-то угрожающее. За лесами тянулись поля — тоже чужие, враждебные. Но больше всего лейтенанта беспокоил вид деревень — особенно опасных, ненавидящих...

Он страдал от тупой невыносимой боли в животе: почти за двое суток лейтенант не съел и маленького кусочка хлеба. Приходилось питаться только ягодами, которые он находил на опушках и полянках, да неспелыми зернами — одним словом, жить на «подножном корму».

Вечером он переплыл Березину и, посидев часа три на берегу, пошел дальше.

От голода, от боли в животе он зверел, наполнялся бешеной злобой. Иногда из-за этого почти забывал, что надо остерегаться, и подбирался вплотную к дороге. Присев где-нибудь в укромном месте, жадным взглядом следил за дорогой, ждал путников, надеясь поживиться. Теперь он и своим видом напоминал разбойника: лицо его заросло рыжеватой щетиной, одежда и руки были грязные. На одежде виднелись пятна засохшей глины, торфяной жижи и разной другой грязи — следы бродяжнических скитаний.

На лугу у речки он увидел мальчика, пасущего корову. «У него, видно, есть хлеб». Прячась за кустами, лейтенант незаметно подкрался. Он собрался было схватить мальчика за плечо, но тот, увидев его, испуганно вскочил и кинулся бежать. Несколькими прыжками лейтенант нагнал его и, рвапув за плечо, бросил на землю. Потом, обхватив заскорузлыми руками тонкую, мягкую, теплую шею, начал душить, чувствуя злорадное наслаждение. Со стороны он был похож на хищного зверя, который расправляется со слабой жертвой.

Когда мальчик перестал выгибаться и затих, зверь разнял твердые пальцы с длинными ногтями и начал жадно обыскивать карманы. В них не было ни крошки!

Стоя на коленях, выпрямился и почувствовал, как кружится голова. Огляделся, надеясь увидеть поблизости сумку с едой, но никакой сумки не было.

Неожиданно он заметил, что к лугу бежит женщина. В мутных глазах зверя блеснуло беспокойство,— он поспешно вскочил и метнулся в кусты. Женщина подошла к мальчику и, увидев, что он мертв, закричала:

— Сыночек! Сыночек!

Она начала тормошить его, поднимать, не веря тому, что случилось. Припала к нему, целуя и плача. Лейтенант услышал отчаянные вопли:

— Звери, выродки! За что они тебя, сыночек?! Солнышко ты мое ясное, зоренька ты моя единственная!..

На ее вопли подбежали еще три женщины и один мужчина. Они начали о чем-то совещаться, показывая в ту сторону, где укрылся Кляммт. Тотчас одна из женщин побежала куда-то, вероятно в деревню, созвать людей. Подошло еще несколько крестьян, посовещались о чем-то. Осторожно двинулись к кустам, начали обыскивать их.

Лейтенант почувствовал, что положение становится опасным, и, выскочив из кустов, заспешил к лесу, но его заметили, стали угрожающе кричать. Оглядываясь, лейтенант видел, что трое мужчин, размахивая чем-то, бросились вдогонку. Но когда лейтенант остановился и вынул пистолет, они замерли.

Лейтенант выстрелил несколько раз. Выстрелил почти не целясь, рука, державшая пистолет, дрожала от слабости.

Войдя в лес, лейтенант постарался как можно быстрее отойти от опасного места.

Ему удалось спастись. Но с каждым часом положение его все ухудшалось,— он был так обессилен от голода и усталости, что почти потерял способность скрываться, бояться. Его охватило безразличие ко всему.

Однажды, понимая, что нет иного выхода, кроме плена, он подошел к деревне, собираясь отдаться на милость победителя, но навстречу ему попались женщины. В эти дни Кляммт больше всего боялся женщин. Лейтенанту казалось, что от них ему нечего ждать, кроме смерти.

На третий день утром он набрел на поле боя. На поле, изрытом взрывами мин, среди порубленной и потоптанной картофельной ботвы валялись трупы немцев. Сначала это заставило его встревожиться, но тревогу сразу заглушила радость.

Можно найти что-либо из еды! И правда, обшарив трупы, обыскав карманы и ранцы, он нашел несколько еще не черствых кусков хлеба и две банки консервов. По привычке снял с какого-то ефрейтора золотое кольцо. Когда он держал в руке эту поблескивающую под солнцем вещь, у него в голове проплыла неясная мысль, что теперь золото уже не имеет никакой ценности. Какой от него толк?

Эта никчемная безделушка напомнила о том, что он все время стремился к золоту, к богатству. Богатство?! Мечты разбогатеть в России! Все — глупость, дрянь. Все рушится, все идет к черту!.. Он выругался, размахнулся злобно, чтобы бросить кольцо, но сдержался. Хоть без радости, положил его в карман.

Подкрепившись, он почувствовал себя увереннее и пошел тверже.

Возле какой-то дороги он увидел готовые к бою немецкие пулеметы и пушки с прислугой, а дальше, на опушке леса, под ветками, — грузовики. В лесу ходило много немецких солдат. Опытным глазом он отметил, что перед ним — действующая, дисциплинированная часть.

«Фронт?! Неужели я вышел из окружения?» Лейтенант встал из укрытия, заспешил к солдатам, крича, чтобы они не стреляли. Скоро пришлось разочароваться: первый же офицер, к которому привели его, сказал, что линия фронта где-то дальше. Где, ему неизвестно...

И все же вид настоящей боевой части ободрил его. Он узнал, что перед ним солдаты грозной 78-й штурмовой дивизии. Лейтенант много слышал о командире дивизии генерале Трауте, считавшемся одним из самых умелых немецких генералов. Лейтенант ожил, — теперь-то он пробьется к своим.

3

Четвертого июля остатки ряда гитлеровских дивизий — 78-й штурмовой, 25-й механизированной, 260-й пехотной, а также штаб 27-го армейского корпуса соединились вместе, в двух десятках километров от Минска. В этой группе очутился и генерал Баумволь.

Части эти были сильно побиты в боях. Даже в 78-й штурмовой дивизии оставалось теперь только около четырех тысяч человек вместе с приданным ей разбитым полком. Во всей дивизии имелось около ста машин и лишь четыре пушки. Почти всю артиллерию, в том числе и самоходную, дивизия потеряла.

Все же эти три дивизии, сосредоточенные воедино, составляли немалую силу — в них было в целом более пятнадцати тысяч солдат и офицеров. Правда, положение дивизий осложнялось тем, что у группы не хватало горючего и боеприпасов. Два дня назад немецкие транспортные самолеты сбросили в район размещения корпуса несколько бочек с горючим, но его не хватило и для половины машин, которые еще были в частях.

Штаб корпуса слезно просил о помощи. Командование группы войск обещало оказать помощь, но пока это были только обещания. С каждым днем надежды на помощь даже с воздуха слабели.

Надо сказать, что эта группа была только частью немецких войск, стянувшихся сейчас к Минску. Окруженные здесь войска занимали обширное пространство, простиравшееся от Волмы до самой Березины, — его теперь называли «Минским котлом». В котле очутилась не только 4-я армия, но и остатки еще

двух немецких армий. Общая численность окруженных войск достигала почти ста тысяч человек.

Гитлер передал по радио окруженным специальный приказ. Он приказал навести строгий порядок, установить дисциплину и любой ценой прорываться на юго-запад. Этот приказ и пытался осуществить Баумволь.

Под Минском кипели яростные бои. Окруженные не жалели ни солдат, ни снарядов, стремясь во что бы то ни стало вырваться из смертного кольца. Но все их попытки вырваться были безуспешны — атака за атакой захлебывались под ударами советских частей.

Подробный план вывода группы немецких войск из окружения был разработан при участии генерала Баумволя. Дивизии должны были обойти Минск с юго-востока, за двадцать — двадцать пять километров от города, и дальше двигаться на Барановичи, где, согласно данным последних сводок, теперь шли бои.

Но вырваться Баумволю со всеми войсками не удалось. Тогда на следующий день, пятого июля, Баумволь принял другое решение — пробиваться с небольшой группой.

Он вызвал командира корпуса и сообщил о своем решении. Заявил при этом:

— Дивизии должны по-прежнему защищать свои позиции...

— Яволь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мои дивизии выполнили эту... почетную обязанность, — успокоил его командир корпуса.

В 11 часов вечера Баумволь собрал генералов, старших офицеров и отдал приказ — обороняться до тех пор, пока будет возможно.

— Наше любимое отечество и фюрер нашей великой Германии в этот час трудного испытания смотрят на вас, отважные воины, с надеждой и верой. Они надеются, что вы с честью выполните свой долг...

Сразу же после этого совещания Баумволь с группой, в которой было около ста двадцати офицеров и солдат, начал собираться в путь. Узнав о его намерениях, к нему хотели присоединиться многие другие офицеры и солдаты, но Баумволь им не разрешил:

— Я не могу взять с собой больше. Кто останется в дивизиях, если я всех возьму?..

Перед выступлением генерал предусмотрительно спорол с плеч погоны, а с брюк — генеральские лампасы.

Сначала Баумволь вёл группу на юг, с тем чтобы, пройдя километров двенадцать, повернуть на запад.

Шли тихо, выбирая глухие дороги. Оставив войска, генерал

чувствовал себя несколько легче,— не надо было думать, что делать с теми, оставшимися многими тысячами.

Генерал, однако, был недоволен: шел и не знал, что будет днем, да что там — днем, неизвестно было, что ждало за полем, которое начиналось. Эх, судьба генеральская! Какой это дурак выдумал, что генералы умирают в постели? Побыл бы этот болтун теперь на его, генеральском, месте!

Генерал шел пешком. С тоской думал об удобном, уютном «оппеле», который пришлось оставить в дивизии. Сколько еще шагать генеральским ногам, пока они получат право отдохнуть?.. Время от времени Баумволь с беспокойством смотрел на небо,— черт знает зачем выползла такая яркая луна! Светло как днем...

Только на рассвете луна скрылась. В это время, проверяя маршрут по карте, генерал заметил, что группа сбилась с намеченного маршрута. Заплутались!

Дальше пришлось идти наугад. Генерал надеялся, что утром удастся сориентироваться и тогда можно будет исправить ошибку.

Но как только рассвело, часу в пятом, из ближнего поселка — это был поселок Полевцы — группу заметили. По ней открыли стрельбу. Скрываться или незаметно отступать было поздно...

ГЛАВА IV

1

В Минске было беспокойно. Хотя передовые части, освободившие город, вели наступление уже далеко на западе, люди в городе не чувствовали себя в безопасности. Жителей города беспокоило, что бои на востоке, там, где кипел огромный «Минский котел», шли почти у города. Гитлеровцы, казалось, в любой час могут снова ворваться в город. Тревога в городе жила еще и потому, что войска, заполнявшие улицы третьего и четвертого июля, покинули их. Ушли на запад. В городе остался только один полк.

Через сутки после освобождения на Минск, спокойно спавший под покровом теплой ночи, были брошены фашистские бомбардировщики. Самолеты бешено бомбили жилые кварталы, разрушали то, что, благодаря быстрому освобождению города советскими войсками, еще сохранилось. Особенно сильной бомбежке были подвергнуты район Московской улицы, Западного моста и Товарной станции.

Жители домов, расположенных у железной дороги, перебирались в более спокойные районы. Многие на ночь выходили за город, где можно было чувствовать себя безопаснее. Матери несли на руках или вели детей, почти всегда люди волокли с собой и коляски с домашним скарбом,— кто мог знать, что, вернувшись, увидит свой дом целым.

Но за городом тоже было тревожно. Там время от времени появлялись группы немцев, подходили к окраинам и даже проникали в город. Тишину ночи еще нередко нарушали очереди автоматов и выстрелы винтовок.

В одну из ночей автоматная стрельба поднялась в городском парке. По ближайшим к парку улицам пролетела тревожная весть: «Немцы в парке!» Кто-то пустил слух, что немцы наступают и заняли часть города.

В парк действительно проникла бродячая группка вражеских автоматчиков. Вскоре она была окружена и разбита.

Город все время горел. К пожарам, которые возникали под вражескими бомбардировщиками, присоединялись пожары от взрывов зданий, заминированных минами замедленного действия. Один из таких взрывов разрушил левое крыло Дома Красной Армии.

Кое-где горели здания, подожженные еще до третьего июля. Пожары нечем было тушить: в городе не хватало воды.

Дымы поднимались вверх то черными кипящими, бешеными клубами, то прозрачными угасающими струйками. На улицах стоял горький и едкий запах гари.

Обломки обрушенных зданий во многих местах завалили улицы. Целые горы сцементированных глыб, больших, погнутых, искореженных балок, битого кирпича преграждали путь машинам, приходилось искать обходных путей.

Поэтому первые дни после освобождения многим минчанам пришлось браться не за какое-либо другое дело, а расчищать улицы. С этого в Минске начиналась для многих новая жизнь...

На одной из улиц среди женщин и мужчин, расчищающих завал, можно было видеть Клаву Снежко. Она еще не вполне оправилась после ранения, после всего пережитого, быстро уставала; непосильная дорога в Минск, которую она одолела позавчера, тоже давала себя знать.

Лежать бы ей спокойно да понемногу поправляться дома, но разве могла Клава в такие дни сидеть спокойно! К тому же дома давило невыносимое горе: там все напоминало о покойной матери.

Почти всю прошлую ночь Клава не смыкала глаз, — к городу прорывались немецкие бомбардировщики; выскочив из дома, она видела, как в небе бегают зеленые ножи прожекторов и рвутся снаряды зениток...

Она поспала только часа два, когда ее разбудили Сергей и незнакомый синеглазый парень в военной гимнастерке. Парень назвал себя Василем Крайко. Скрывая застенчивость, этот Василь, с шутливо-важным видом, представил себя уполномоченным по расчистке улиц.

— Ого, какая редкая должность! — невольно посмеялась над ним Клава.

— В-важная должность! С-серьезно, ну правда, такой другой больше никогда не будет... При этом, п-предупреждаю,— мне даны особые права... Я не просто уполномоченный, а специально уполномоченный, ясно? — Услышав, что все ясно, Василь попросил ее собрать на работу людей, живущих по соседству.

— Сейчас соберу, товарищ уполномоченный!

— Н-надо отвечать: не «сейчас соберу», а — «есть». И не «товарищ уполномоченный», а «товарищ особо уполномоченный».

— Есть, товарищ особо уполномоченный!.. «По расчистке улиц» — не обязательно называть?

— Это — лишнее!

Сергей по секрету шепнул Клаве, что парень этот — боевой партизан, можно даже сказать — знаменитый партизан. И что назначен он на это дело горкомом партии, и ему действительно даны большие права.

— Ладно, будет сделано, товарищ помощник уполномоченного...

Скоро она привела на завал шестнадцать человек. Увидев Василя, направилась к нему, игриво поглядывая, доложила:

— Команда пришла. Что прикажете, товарищ уполно... специально уполномоченный?

— Взяться за дело...

— Есть. Сейчас?

— Сейчас.

Но работать ей в этот день почти не пришлось. Едва она подняла несколько камней, начала кружиться голова.

Поднимать камни становилось все труднее. И все сильнее кружилась голова, клонило к земле — лечь, отдохнуть... «Нет, не надо об этом думать. Не надо поддаваться».

Но вскоре она все-таки опустилась на каменную глыбу. Если бы Клава не села, то наверняка упала бы — так поплыло все вокруг. К ней подбежало несколько встревоженных женщин.

— Ничего. Ничего, все пройдет... — попробовала улыбнуться она.— Что-то голова кружится. Наверное, оттого, что не выспалась.

Ей пришлось возвратиться домой. Лечь...

2

Туровец взглянул в лицо капитана, сидевшего за тем же столом, напротив.

У капитана рука была на белоснежной, еще не запыленной марлевой косынке: видимо, ему совсем недавно делали перевязку. Кроме Туровца и капитана, в комнате никого не было.

— Есть тут у меня подпольщица, которая была с Ниной в одной камере. Только ее вывезли из тюрьмы раньше Нины... — сказал Туровец.

— Кто это?

— Клава Снежко... Она хорошо знает Нину, говорит, что они там, в камере, даже подружились. Но — я ее уже спрашивал об этом — дальнейшая судьба Нины ей неизвестна. Это я тебе, друг, сразу говорю. Не буду таить... На одно у меня надежда, что она может найти людей, которые встречались с Ниной. Мне кажется, Клава такая, что, если только их можно найти, она найдет...

— Ну и что она — пока не нашла? — капитан произнес это спокойно, но Туровец заметил, как складки в уголках его губ дрогнули и напряглись. «Волнуется».

— Пока не нашла. Если бы она узнала о Нине, то сообщила бы мне...

— Где она живет, где работает?

Туровец сказал, что Клава живет недалеко отсюда, на Лодочной.

— У меня на примете есть еще несколько человек, освобожденных из тюрьмы. Может, кто-нибудь из них и знаком с Ниной... Как бы там ни было, поговори с ними. Запиши, я тебе скажу, где они живут.

Алексей записал фамилии и адреса в книжечку, лежавшую у него в планшете, и стал прощаться. Пожимая ему руку, Туровец спросил, где он живет, пообещал, как только удастся что-нибудь узнать о Нине, сообщить ему.

Выйдя на тихую набережную Свислочи, вдоль которой склонились над водой седые поникшие вербы, Алексей сразу отправился на поиски.

От Туровца он уже знал, что Нину посылали с заданием в городок, что, возвращаясь назад, в лес, она случайно наскочила на засаду и ее, по данным, которые удалось выведать, отправили в тюрьму в Минск...

Первым делом он решил зайти к Клаве Снежко. Но здесь его постигла неудача. Войдя в ее двор, он увидел на двери дома замок. Женщина с соседнего двора, развешивая белье, сказала, что Клава пошла, кажется, устраиваться на работу, когда вернется — неизвестно.

Алексею не хотелось сидеть и ждать — может быть, долгое время, и он направился на другой конец города по второму адресу...

Долгие поиски Алексея почти ничего не дали,— только одна женщина, попавшая в тюрьму во время облавы, немного знала Нину — когда-то сидели рядом, но Нина ничего не рассказывала о себе, а вскоре их разлучили,— «и что дальше с ней было, не могу сказать». Несмотря на неудачи, Алексей все же продолжал поиски. Он побывал и на Комаровке, и на Ляховке, исходив по пыльным улицам много километров.

Чем дольше ходил Алексей, тем больше его охватывала тревога. Разыскивая знакомых Нины, спрашивая о ней, он скоро понял, что из тех, кто был в тюрьме в последние дни, почти никто не возвратился. Почти обо всех этих людях, как и о Нине, никто ничего не знал...

Он может надеяться только на то, что Нине повезло больше других, что ей выпало какое-то особое, для нее одной, счастье. Та счастливая случайность, которая так редко бывает в жизни...

Поздний вечер, темнота, окутавшая притихшие, неосвещенные улицы, заставили его прекратить поиски. Уставший за день, Алексей уже собрался пойти домой, когда вспомнил — и не впервые — слова Туровца о Клаве Снежко. Неужели ее и сейчас нет дома? Как бы там ни было, надо зайти к ней, надо обязательно увидеть ее. Она ведь — точно — была вместе с Ниной, видела ее еще совсем недавно, может, смогла узнать что-нибудь от других...

Войдя на Клавин двор, Алексей заметил в одном окне тусклую полоску света, пробившуюся из-за не совсем плотно прикрытой маскировки. Он постучал в дверь и услышал в ответ мужской голос: «Заходите». В комнате, освещенной коптилкой, стоявшей на столе, Алексей увидел невысокую круглолицую девушку. Она шла навстречу. У стола стоял парень с карабином — возможно, брат,— он, видно, собирался куда-то идти. Алексей поздоровался.

— Простите, что так поздно беспокою... Мне сказали, что здесь живет Клава Снежко.

— Да. Это я... А по какому вы делу? — Клава удивленно посмотрела на незнакомого капитана. Кто он? Кажется, она раньше не видела его.

— Я — Лагунович.

— Алексей?! — вырвалось у нее.

Дуги-брови ее вдруг взлетели. Она на какой-то миг растерялась и как бы испугалась его, и это заставило Алексея насторожиться. Наблюдательный всегда, а сейчас особенно, он почувствовал недоброе.

— Мне Ничипор Павлович сказал, что вы были вместе с Ниной...

— Да, была... Но что мы стоим,— спохватилась Клава. Она подошла к стенке, где стояли два табурета.— Садитесь.

Но ни он, ни она не сели.

Алексей заметил, что девушку что-то очень беспокоит, хотя она и старается это скрыть. Пальцы ее нервно пробежали по пуговицам жакета, поправили косынку.

Алексей молча ждал. В отличие от Клавы, он казался спокойным.

— Нет ее,— неожиданно услышал он почти шепот, почти стон.— Нет...

«Кого, Нины?» — хотелось спросить Алексею, но он молчал. У него в груди похолодело.

— Погибла она... Под утро забрали ее... повезли за город...

Только тогда он смог раскрыть рот. Но каким странным, незнакомым показался ему его голос:

— Кто это сказал?

— Красуцкая. Она видела, как Нину выводили... А об остальном потом хвастался полицай...

В эту минуту у него было одно ощущение — страшный холод в груди, который делал его почти немым. В голове застыла мысль: «Нину... расстреляли!» — огромная, странная, неподвижная.

— Ее забрали ночью. Под утро... — сдерживая слезы, но с решительностью человека, идущего на все, повторила Клава.

«Кого, куда забрали... — недоуменно подумал он.— Ах, это о Нине... Нину забрали...» Его Нину — снова с трудом дошел до него смысл. Нину расстреляли, его Нину!!

— Под утро?

— Красуцкая сказала, что было уже далеко за полночь, когда начали всех вызывать. Взяли тогда кроме Нины еще пять человек. Из одной камеры... Потом она слышала, как на дворе шумели машины.

Алексей, ссутулившись, будто оглушенный, вдруг встрепенулся: «Самому видеть эту женщину, самому расспросить обо всем!»

Он бросил на Клаву быстрый взгляд:

— Вы можете показать, где она?

— Кто?

— Красуцкая.

Клава ответила, что может. Сказав «спокойной ночи» парню с винтовкой, которого Алексей все время словно не видел, он вышел из дома...

Красуцкая жила в Грушевском поселке. Когда Клава подвела Алексея к квартире Красуцкой, в окнах была тишина и темнота. Но в доме, вероятно, не спали, сразу, как только Клава постучала в стекло, оттуда послышалось: «Кто там?»

Впустив Клаву и Алексея, в комнате зажгли свет. Красуцкая лежала на кровати, до подбородка накрывшись одеялом.

— Это — Алексей, Нинин муж, — познакомила Клава женщину с капитаном.

— Сами пришли... — сказала женщина, когда Алексей и Клава присели на диван у кровати.— А я Нинке обещала, да так и не сдержала слова. Отбили, гады, все внутри, встать не могу... Отбили, а потом выпустили, наверное надеялись, что все равно недолго уже. Ох!.. Еле до дому дотащилась... А Нинка...

Она закрыла глаза и замолчала. Алексею показалось, что она сдерживается, жалея его, думает, все ли говорить. Он попросил:

— Говорите все. Обо всем рассказывайте. Я хочу все знать...

8

«Ее убили... Под утро убили ее... Говорили — она пробовала убежать, спастись, но не удалось. Очередь из автомата настигла...»

Теперь, идя по молчаливым улицам один, он начинал все глубже понимать смысл того, что ему сказали. Он и до этого горевал, но только теперь, вспоминая разговор с Красуцкой, словно пробуждаясь, Алексей почувствовал всю невероятную жестокость услышанного.

«Ее нет! Нины нет!!» Той, к которой он больше всего стремился, которая больше всего нужна была ему, нет. Нет и никогда не будет.

Никогда уже не увидит он ее, любимых, словно подернутых дымкой глаз, не услышит ее голоса, не почувствует прикосновения ее рук. Никогда больше она не скажет тех слов, которые когда-то говорила и о которых он мечтал, когда рвался сюда. Никогда, никогда...

Она всегда жила в нем, наполняла его душу, весь мир вокруг жизнью, радостями, тревогами. Теперь ее нет. И радостей и тревог нет. Жизни нет.

Пусто, пусто... Все, что было вокруг, казалось навсегда опустевшим.

С ощущением необычного одиночества шел он по городу, по темным, молчаливым улицам и переулкам, не узнавая их. Пре-

жней усталости и слабости как не бывало. Что-то большое, горькое и сильное толкало и толкало его неизвестно куда, неизвестно зачем, не давало отдыха.

Проходя по улице, он в одном окне услышал песню, напевал то ли патефон, то ли радио, и почти одновременно до него донесся веселый смех. Этот смех так поразил его, что Алексей остановился.

Как они могут смеяться! В этот вечер, когда все, кажется, готово кричать о горе, на улицах, где еще словно звучит эхо шагов убийц. Еще не успела остыть на камнях кровь,— а они смеются!

Но Алексей сдержался. Ничего не сказав, побрел дальше. «Они там радуются, им повезло, а Нины нет!» — вдруг подумал он с обидой. Почему ей не посчастливилось дожить? Почему ему с Ниной не выпало счастье дождаться встречи? Вслед за этой мыслью возникла другая, рассудительная: разве только у него такое горе? Разве только с одной Ниной такое случилось? Но сердце ничего не хотело слушать. В нем было одно: Нины нет...

«Она просила, чтобы о ней думали без печали. Разве же можно не горевать? Милая, любимая... Просила, чтобы не плакали о ней... Как же не плакать? Как же терпеть, если сердце не слушается, исходит болью! Сердце плачет!»

Эх, почему он сейчас не со своими товарищами, почему не в дороге, не перед атакой! Там было бы лучше...

На Немиге его задержал военный патруль. Старший наряда, посветив фонариком и назвав себя, попросил документы.

— Что с вами, товарищ капитан? — сказал один из патрульных. — На вас лица нет. Рана? Болит?

— Да, рана... Который час? — спросил глухо капитан.

— Без десяти три...

Он удивился: так много! Надо возвращаться домой, там — ждут. Отойдя немного, Алексей вспомнил вопрос патрульного: «Рана? Болит?» — горькая спазма вдруг сжала горло. Он зарыдал...

Долго не мог сдержать он рыданий, отчаянья.

Потом медленно, усталой походкой пошел к дому. Подумал озабоченно: как и когда он расскажет матери о горе? Как она переживет это? «Надо помочь ей, надо поддержать старуху...»

Ему вспомнилось другое лицо, теперь самое любимое и самое дорогое в его жизни. В груди Алексея — впервые за этот вечер — затеплилась тихая, большая нежность. Люда, его маленькая дочурка... Его и Нины...

«Как же я мог забыть о ней?»

ГЛАВА V

1

Около Минска еще шли бои с окруженными вражескими группами. Днем и ночью над полями и лесами тишину рвали взрывы снарядов и автоматная стрельба.

Не было тишины и около Поплавов, от которых война будто все не хотела отступать.

Вчера в Поплавах шел бой. Немцев выгнали из села, но они еще удерживались неподалеку.

В селе было тревожно. Шабуниха, впервые после возвращения из своего болотного убежища переночевавшая в родном углу, старалась заглушить беспокойство, которое нагоняли близкие выстрелы. Ей не хотелось верить, что все снова может измениться к худшему. Сколько же можно скитаться да прятаться?

С самого утра она копалась в огороде, полола грядки. Сидеть без дела Авдотья не могла: всю свою жизнь она привыкла быть в вечных хлопотах. Сейчас она находила в этих хлопотах успокоение.

Рядом с ней были ее дети. Волечка старалась помочь матери, тоже полола гряды, а Володька дремал под грушей. Шабуниха нарочно держала детей при себе,— время неспокойное...

Недалеко от Поплавов, на одной из дорог, которые шли из «Минского котла», в это время был Юрий Туровец.

Утром здесь было удивительно тихо. В неглубоких окопах, наспех вырытых у дороги, дежурили только наблюдатели, остальные занимались кто чем. Черноглазый, обычно подвижный Шарафутдинов, сидя на краю окопа, озабоченно вырезал острым ножом на котелке немного ниже того места, где уже красовалась его фамилия, месяц и год рождения.

Юрий перебирал вещи в мешке, вытряхивал из него всякую труху.

— Слушай, ты пока побудь тут за меня,— сказал он Шарафутдинову, завязывая мешок.— Я хочу отлучиться...

— К землякам, конечно? — Глаза ефрейтора хитровато смеялись.

— К ним... — Юрий встал, потянулся, сонно глядя на молчаливые, редкие кусты, где располагались огневые позиции артиллерийской батареи. У орудий стволы были опущены, замаскированы увядшими ветвями. На одном из деревьев сидел, укрывшись в листве, артиллерист-наблюдатель.

«Как дятел»,— подумал Юрий и направился в другую сторону, где разместилась рота «земляков» — партизаны из бригады, комиссаром которой был его отец.

Юрия тянуло туда, как в родную семью, хотя сейчас тут не было ни отца, ни даже Василя Крайко. Юрий пропадал здесь все свободное время.

Лехора и еще двое парней лежали на зеленой меже и о чем-то беседовали. Рядом с ними несколько партизан играли в карты, стараясь держаться в тени молоденькой березки-одиночки.

Около игроков, наблюдая и нередко ерзая от нетерпения, когда создавалась острая ситуация, держался Андрей Шабунек.

— А, Юрка! — первым заметил Лехора.— Давай приземляйся! ..

Разговор у парней, видно, шел серьезный,— юноша с наивным, по-девичьи мягким лицом беспокоился:

— Освободим ее, а дальше?

Лехора повернулся к парню:

— Что — дальше?

— Гляди, опять эти ваши, как их — буржуи, что ли, вернутся...

Юрий догадался, что разговор идет о Чехословакии. Он уже однажды заметил, что Лехору здесь считают как бы ответственным за все, что касается судьбы его страны.

— Во-первых, буржуев можешь забрать себе, — ответил Лехора с той грубоватой простотой, которая передалась ему от партизан.— Они мои такие же, как и твои... А во-вторых, постарому не будет. Будет по-другому. Расчистим воздух, ясно...

— Давно пора! — заявил Юрий.

Юрий только вступил в важный и увлекательный разговор, как — в самое нежелательное время! — подбежал боец и передал, что его вызывает Проворный.

— Я скоро вернусь... — заверил Юрий друзей, вставая и отряхивая с брюк землю.

Но он не вернулся. Когда сержант подошел к Проворному, тот сообщил, что звонил Павловский и предупредил: приближается колонна противника.

— Так что скажи своим, чтобы были начеку. Может быть тепленькое дело...— Младший лейтенант почему-то никогда не говорил «горячий бой» или «горячее дело».

Юрий сразу бросился в отделение. Еще на бегу велел бойцам подготовиться к бою, торопливо проверил, все ли на местах.

На батарее артиллеристы выкрикивали команды, наводчики стояли на коленях у панорам, жерла пушек подстерегали еще невидимую цель.

Насупив черные брови, Юрий всматривался в даль, где дорога поднималась на пригорок. Отсюда до самого пригорка простиралось поле, изрезанное полосами, молчаливое, знойное,

на нем мирно зеленела картошка, тихо шевелилась рожь. Где-то во ржи, словно предупреждая о наступлении боя, тревожно затуркала перепелка.

Сколько их там? Юрий знал, что в «котле» есть большие и сильные группы; боясь страшного для них окружения, стремясь соединиться со своими, они могут драться бешено, с упорством смертников...

Вдруг в поле неподалеку появилось два человека. Они вышли из-за леса, за краем которого была деревня, и теперь, не то гуляя, не то осматривая поле, брели во ржи. В одной фигуре можно было легко узнать женщину,— она шла спокойно и, казалось, слушала мужчину, который, размахивая руками, что-то горячо доказывал.

Кто это? Непохоже, чтобы это были переодетые немцы, люди шли уж очень спокойно, да и со стороны деревни, которую занимали наши солдаты. Но почему эти двое вышли в поле в такой час?

Юрий приказал Шарафутдинову доставить их сюда.

— Чего ходишь тут, человек — голова, два уха?! — набросился солдат на Живицу. Он или сделал вид, что не узнает Живицу, или действительно не узнал.— Стрелять здесь будем!

Не дав Живице слова сказать, Шарафутдинов приказал следовать за ним. Когда задержанные,— теперь было ясно, что это свои, видно из Поплавов,— были приведены, сержант, ни о чем не расспрашивая, отправил их с Шарафутдиновым к Проворному.

Около Проворного, протиравшего глазок бинокля, как раз находился командир партизан Дрозд и его связной, маленький Шабунек.

И тут произошло нежданное. Не успел Шарафутдинов начать докладывать командиру о задержанных, как связной, с ликующим возгласом: «Мамка!», забыв о своей взрослой важности, устремился к женщине. Женщина молча, нежно прижала мальчика к себе.

Дрозд, удивленно моргая выцветшими ресницами, уставился в лицо мужчины:

— Ты — Живица? Откуда ты свалился?

— Не свалился, сосед, а прикатился... — обрадованно ответил Живица.

— Скоро же ты!.. И уже на поле? Ах ты, беспокойная твоя душа. Ты же мог в лапы к немцам попасть, да еще — черт ты этакий! — Авдотью завести.

— Я попал бы? Я их, браток, за пять верст чую!..

— Ишь ты какой уверенный!

— Он таки не попадет! — озабоченно произнес Проворный, наблюдая за полем.— Шарафутдинов, можешь идти назад...

— Ты знаешь, рожь и ячмень получились неплохие! — объ-

явил Живица.— Очень неплохие, можно сказать, выросли! А картошка — эта подгуляла! Подгуляла, сосед... Земля обеднела, кормить надо...

— Надо...

Проворный оглянулся на Дрозда и тихо сообщил:

— Появились!..

2

Юрий тоже увидел — длинная серая колонна, поднимая тучу пыли, медленно выползала на пригорок. Впереди, выставив, словно щупальца, стволы пушек, осторожно двигались танк и две самоходки.

Когда они подошли близко, в кустах, сверкнув пламенем, ударили пушки,— обе самоходки были подбиты несколькими меткими выстрелами. Танк поспешно свернул в сторону, начал, маневрируя, часто стрелять из пушки.

Колонна на поле стала расползаться вширь, заговорили невидимые отсюда немецкие пушки и минометы. Они больше всего обстреливали батарею, возле нее ни на минуту не стихал грохот.

Колонна шла прямо по полю, топча рожь. Из-за пригорка выползло еще несколько танков, за ними двигались цепочки и группки пехотинцев, чуть видимых во ржи. «Откуда их столько собралось!» — подумал удивленно и тревожно Юрий. Шарафутдинов что-то сказал, но Юрий не разобрал его слов, и казах повторил:

— Как саранча, говорю... Они — как саранча!.. Ползут. Много.

Там, возле пригорка, их было, вероятно, раза в два больше, чем наших.

— Ничего, мы уже видели таких. — Юрий сказал с ноткой презрения, намеренно спокойно.

— Видели! С-саранча...

Юрию уже не раз приходилось бить гитлеровцев и видеть, как они — пусть иногда после трудного боя — послушно поднимают руки. Наметанным глазом фронтовика Юрий заметил, что у тех, кто хотел прорваться, сейчас было меньше, чем когда-либо раньше, порядка и слаженности...

Однако он почувствовал, что справиться с такой силой будет нелегко. Очень уж много их здесь. Да и, кроме того, очень уж настойчиво они лезут, словно бешеные. Напролом прут...

Юрий махнул пулеметчику:

— Давай!..

Он мельком взглянул в сторону бронебойщика. Цел, стреляет. Стал смотреть туда, куда бьет пулеметчик: гитлеровцы бежали навстречу. Падали — одни навсегда, другие, чтобы пере-

дохнуть: вскоре они снова поднимались и бежали. Падали и бежали.

На поле дымилось уже несколько машин, было немало раненых и убитых, но фигуры в зеленых мундирах по-прежнему рвались вперед... Три танка, до половины скрытые рожью, маневрируя, стреляя из пулеметов, быстро надвигались на окопы взвода Проворного.

— Гранаты!.. Отражать танки!.. — крикнул Юрий, голос которого утонул в грохоте. Он ухватил в нише окопа тяжелую противотанковую гранату, вставил запал. С силой сжал ручку.

Но один из танков уже замер, прошитый навылет артиллерийскими снарядами, а вскоре кто-то — то ли артиллеристы, то ли кто-то из бронебойщиков — сжег и второй. Пуля или снаряд, видимо, попали в бак с горючим, над танком сразу высоко взлетел клуб дыма... Третий танк, немного отставший, прячась за дымом, отстреливаясь, не разворачиваясь, попятился назад...

Потом со стороны немцев начался бешеный обстрел из пушек. Один снаряд упал на край соседнего с Юрием окопа, разорвав на куски сидевшего там бойца-астраханца. «Вот глупо будет, если погибну сейчас», — невольно подумал сержант. Ему на какое-то мгновенье вспомнился Василь Крайко, разговор с ним об отце и та надежда скоро увидеться, которой жил Юрий эти два дня... Нет, нет, они обязательно увидятся!..

Некоторое время спустя сюда подошло несколько «катюш». Когда снаряды «катюш» стали с грохотом рваться в рядах гитлеровцев, натиск их заметно ослаб. Кое-где солдаты стали разбегаться. После трех-четырех залпов «катюш» над рожью появились первые белые платки.

— Прекратить огонь! Прекратить! — услышал Юрий приказ Проворного. Он передал приказ своему отделению.

Когда его бойцы перестали стрелять, Юрий заметил, что «катюши» и пушки уже молчали. Оглянувшись на взводного, Юрий увидел, что младший лейтенант, встав в полный рост, стройный, усталый, вытирает пилоткой вспотевшее лицо. Рядом с Проворным встал связной командира роты, видно только что прибежавший. Запыханно хватал воздух открытым ртом, сиял.

— Второе и третье отделения — ко мне!.. Пойдем брать завоевателей. В плен!..

Отделению Юрия Проворный приказал оставаться на месте, быть начеку. На всякий случай.

Зорко следя за полем, Юрий видел, как группы немцев, подняв руки, поспешно выбираются на дорогу, как пехотинцы и его «земляки» прочесывают рожь, обезоруживая тех, кто хотел спрятаться. На дороге росла гора трофейного оружия, которое теперь уже не могло никому угрожать, а рядом покорно жалась толпа пленных. Она быстро увеличивалась.

Позвав на помощь Шарафутдинова, Юрий вместе с ним вытащил из окопа убитого бойца. Надо было похоронить его.

— Почему они стреляли? — не то спрашивал, не то рассуждал сам с собой Шарафутдинов, удлиняя окоп, в котором был убит астраханец.— Им надо было сдаваться а они — стреляли! Зачем они стреляли, — бесполезно стреляли?

Да, дрались они бесполезно.

8

Встреча Баумволя с русскими у поселка была трагической для генерала. Сразу, едва группа завязала бой, генерал с несколькими офицерами отделился от нее, однако незаметно скрыться не удалось: Баумволя и его сподвижников окружили, и генералу, хочешь не хочешь, пришлось поднять руки.

В полдень Баумволя привели к командиру гвардейской дивизии генерал-майору Щербатюку.

Щербатюк сидел за столом. Он разрешил генералу сесть на скамью по другую сторону стола, спросил:

— Как генерал себя чувствует?

Баумволь минуту молчал, словно раздумывая, потом разжал губы и неохотно сообщил, что очень устал. Последние ночи пришлось мало спать, мучает сильная головная боль. Баумволь страдальчески сморщил лоб.

Генерал-майор приказал, чтобы принесли что-либо от головной боли. Майор-переводчик протянул хмурому генералу пакетик с порошком. Баумволь развернул его и, прищурив глаза с покрасневшими веками, внимательно присмотрелся к порошку. Спросил с тревогой:

— Что это?

— Пирамидон,— сообщил майор.

— Да? — В голосе пленного чувствовалось сомнение.

Впрочем, слышалось в нем и безразличие.

Щербатюк успокоил его. Генерал запил порошок глотком воды.

Он отвечал равнодушно. Кажется, он действительно основательно устал. В любую минуту, казалось, уснет. Но он не уснул, и чувствовалось: крепок, силен духом был. Умел переносить лишения. И даже в плену держался самоуверенно, требовательно. Недовольно сообщил, что потерял очки. Что нет некоторых дорогих ему личных вещей. Нет смены белья и обмундирования, которые он, уходя с группой, оставил в штабе войск. Он не просил, а требовал, чтобы русские нашли его вещи и возвратили ему.

Генерал-майор Щербатюк слушал его без какого-либо раздражения. Впервые видя перед собой такого маститого пленного,

командир дивизии смотрел на него, как на какого-то необычного зверя, крокодила или бегемота. Зверя, который уже не опасен и которого поэтому можно спокойно рассматривать...

Пленный потребовал оставить при нем ординарца, взятого вместе с ним.

— Хорошо. Я прикажу, чтобы ординарец был при вас,— ответил уступчивый Щербатюк.— Больше нет просьб?

О нет,— у генерала было еще одно требование. Можно сказать, самое важное.

— Русское командование должно известить мою семью о моем местонахождении и положении.

Это было так неожиданно, что Щербатюк не нашелся что ответить. С удивлением вгляделся в пленного. Тот, не давая ему времени на размышления, заявил тем же непреклонным тоном:

— Я давно не был дома, не видел семьи. Мой дом в Берлине бомбардировщики разбили, моя семья переехала в Кётцинген. Она уже почти год в Кётцингене... Я желаю встретиться с ней в ближайшее время... Кроме того, мне необходим отдых. Для восстановления сил и здоровья...

Слыша это, генерал-майор смотрел на пленного пристально и с явным недоумением. То, как и что говорил пленный, было так странно, что у Щербатюка явилось подозрение, не разыгрывает ли его этот уже безвредный и беспомощный фриц. Но пленный говорил серьезно, с выражением достоинства, с сознанием каких-то своих прав. Поразительно: побитый этот фриц не просил его, а, по существу, требовал. Устроить ему встречу с семьей, которая в Германии, дать ему отдохнуть. У Щербатюка возникла мысль: не вышибло ли у его высокого пленного последние остатки ума?

Что сказать ему, этому наглецу или помешанному? Щербатюк, конечно, мог бы должным образом напомнить пленному о его положении. Но генерал-майору нужен пока был пленный для дела. Дело требовало установить наилучшие контакты с пленным, и командир дивизии сказал дипломатично:

— Наше командование, очевидно, могло бы дать согласие на встречу вашу с семьей... Мы хотели бы, чтобы в Германии знали о положении в плену. Но... видимо, немецкое командование не позволит...

Генерал-майору не терпелось скорее перейти к делу, не та обстановка была, чтобы зря терять время; он резко изменил направление разговора:

— Как вы оцениваете положение германских войск в Белоруссии?

Было видно, что пленному разговор на эту тему не нравится. Но он сдержался. Сосредоточенно задумался, неторопливо, с достоинством изложил свое мнение:

— Нашим войскам нанесен сильный удар. Русским удалось создать очень большой перевес в количестве войск и техники. Наши войска не смогли выдержать столь сильный удар. Теперь положение их тяжелое. Но не безнадежное,— добавил непоколебимо пленный.

— Вы считаете, что у них есть шансы на успех? — с иронией взглянул на пленного Щербатюк.

— Да, они могут победить. Должны победить.

Щербатюк насмешливо спросил:

— Каким образом они это смогут сделать?

Баумволь оставил вопрос без ответа: дал понять Щербатюку, что ответ на это — его командирская тайна.

— Значит, вы считаете, что войска ваши должны продолжать бессмысленное сопротивление?

— Да, драться до конца!

Генерал-майор язвительно полюбопытствовал, почему в таком случае генерал бросил свои войска.

— Не думали ли вы, бросив вверенные вам войска в окружении, о том, чтобы спасти свою жизнь?

— Нет, я должен был перебраться к своим, чтобы организовать оборону на новых рубежах. Организовать новые силы...

— Но вы ведь обрекли на смерть прежние... Тысячи солдат!..

— Этого нельзя было избежать. Война не обходится без жертв...

— Без этих она обошлась бы. Эти жертвы не нужны ни войне, ни Германии... — Щербатюк решительно двинулся в наступление.— Вы можете спасти жизнь многим из них. Перед ними стоит опасность — бессмысленно погибнуть. Бессмысленно, повторяю, потому что положение их — и всех ваших войск — безнадежно.— Он говорил четко, уверенно и с угрозой.— Мы не выпустим отсюда ни одного солдата или офицера. Ни один из них не вырвется из окружения. Либо в плен — либо смерть. Плен сейчас — самое разумное. Вы хорошо знаете это... — Командир дивизии со строгим выражением заключил: — Командование армии поручило мне предложить вам обратиться к окруженным войскам с призывом прекратить сопротивление.

Ни единый мускул не дрогнул на лице пленного. Он твердо, жестко заявил:

— Я не сделаю этого обращения.

— Это окончательно?

— Да.

Баумволь произнес это таким тоном, что продолжать разговор не имело смысла. Генерал-майор встал, сказал холодно:

— Ну что же! Мы их вынудим капитулировать. И без вашего обращения.

ГЛАВА VI

I

Неожиданно Ермакову довелось провести день вместе с англичанами. Необычным гостям захотелось, чтобы с ними был кто-нибудь из известных партизан, и по приказу командования соединения комбригу довелось сопровождать их.

Офицеры английской миссии весь день осматривали Минск. Минск был самым значительным городом из тех, которые оказались на путях их путешествия. Они объездили разные кварталы города, полазили в немецких дотах, дзотах, походили около штабелей бомб у Дома правительства, сняли друг друга не однажды на своеобразном фоне: у еще дымящихся зданий, у проволочных заграждений, у дотов. Уезжая отсюда, они, вероятно, были убеждены, что узнали город. Ничего интересного: руины, запустение. Все это уже не раз приходилось видеть.

Они спешили. Приготовленный на окраине города богатый, с водкой, ужин съели аппетитно, с шумом, но в ускоренном темпе. Ночью немцы могли бомбить город, и путешественники, да и сопровождавшие их наши офицеры, не хотели рисковать.

Ермаков, сидевший в первой машине рядом с шофером, услышал обрывок разговора.

— Вы говорите, что мы жестоки, не гуманны...— горячо говорил наш майор, толковавший сзади с капитаном-англичанином. Если бы и не видел Ермаков, он бы по голосу, по тону разговора мог понять, что оба порядком выпили. По этой причине и спорили особенно горячо и громкоголосо.— А разве это гуманно — вот это, видите, пустыня с обеих сторон? Раньше здесь были улицы, сады, бегали дети...

Тоже захмелевший Ермаков, точно слова майора относились к нему, невольно посмотрел на огромный пустырь, простершийся по обе стороны реки. Можно было подумать, что это уже поле, но дальше на сером небе вырисовывались темные силуэты больших зданий. В сгущавшихся теплых сумерках руины казались особенно печальными.

— Они поступили скверно, не спорю... — ответил капитан по фамилии Харпер.— В войне тоже существуют свои законы приличия. Обязательные законы, которые всем надлежит соблюдать. Все же и в таком поганом деле, как война, человек должен оставаться цивилизованным существом. Они часто кажутся просто дикарями, которые не знают, что такое цивилизация и просто — приличие. Вы не согласны со мной, нет?

— Вы очень догадливый человек, капитан.

— Благодарю... А о Минске я вот что скажу. Мне, коллега, кажется, простите за откровенность, что Минск мог бы быть

меньше разрушен... Но он наполовину деревянный город... Чтобы сгорело полгорода, достаточно нескольких зажигательных пуль...

— Вы видели домики на окраинах? Они уцелели — случайно... А лучшая часть города уничтожена. Не зажигательной пулей. Минску пришлось принять столько бомб, сколько, наверное, не видел и Ковентри... Кстати, вот, посмотрите — это дымится Академия наук... Ее подожгли перед самым бегством отсюда...

Ермаков с интересом прислушивался, что ответит англичанин. Тот молчал несколько минут, а когда машина выбежала на магистраль и навстречу полетел ветер с поля, сказал неожиданно:

— Я люблю начало вечера... Душу обнимает необычайная тишина, огромная, как небо, как мир, а в сердце входит непонятная мистическая грусть... Вы, майор, любите вечернее время?

— Нет... Я не совсем понимаю вас... — ответил майор, и Ермаков почувствовал, что он думает не о красоте вечера.

— Как не понимаете, коллега?

— Я все еще думаю о нашем разговоре.

— Он вас удивляет?

— Удивляет. И если вас интересует — чем, то вашей, если можно так сказать, мягкосердечностью к фрицам...

— Не забывайте, майор, мы — христиане... Доброта — первое христианское чувство...

— «Доброта к ближнему»? К кому — к убийцам?

Капитан Харпер сказал, что майор рассуждает слишком прямолинейно и резко. «Вот подлец! — подумал Ермаков об англичанине.— «Христианская доброта»!.. «Мог сгореть от зажигательной пули»!..» Он чувствовал неприязнь к этому дипломату и шпиону в военном френче.

Ермаков не вмешивался в их разговор,— знал: бесполезно; не одобрял горячности нашего майора: впустую кипит. Нашел кому втолковывать!

Ермакова больше интересовал шофер, сержант Бейтс. Следя за дорогой, сержант, заметил Ермаков, довольно внимательно прислушивался к разговору позади и волновался. Но сдерживал себя. Молчал. Умел держаться. Знал дисциплину и свое место.

Ермаков помнил, как Бейтс прежде, еще днем, когда рассматривали город, проезжали бесконечные горы руин, вдруг сказал трудно:

— У меня тоже — в Грейт-Гримзби — разрушили дом: попала бомба... Мать и дочку — сразу, понимаете?..

Еще раньше, помогая сменить пробитый гвоздем скат, Ермаков узнал у него, что сержант приехал в Россию из Кирена-

ики, где сражался в танковом полку, что там осталось у него немало хороших друзей. Расстегнув карман коротенькой куртки, Бейтс тогда вынул несколько помятых фотографий, на которых был с друзьями. Ермакову понравился его откровенный, нехитрый рассказ о товарищах, что словно сопровождали его. Чарли Бейтс — так его звали,— видимо, очень любил своих «ребят», скучал по ним.

— Много или мало, а потягаться с бошами пришлось,— завертывая болт крепления колеса, говорил тогда в раздумье Бейтс.— Но там не такая война. Только здесь я, признаться, понял, что такое настоящая война... И вообще вы — русские — настоящие ребята. Вы умеете за себя постоять! Мне это нравится!..

Теперь сержант Бейтс молчал. Слушал, волновался, но дисциплинированно молчал.

По сторонам дороги побежали сосны, меж которых кое-где темнели большие молчаливые здания. Из сосняка выезжало несколько грузовиков; скупой свет их фар, скользивший по земле, выхватывал из темноты только комли деревьев, казавшиеся пнями. Скоро сосны остались позади.

Сержант Бейтс молчал. Вообще не очень разговорчив был он, деловой и сосредоточенный с виду, симпатичный парень, бывший фронтовой сержант Бейтс. Он все время вызывал большое любопытство у комбрига Ермакова: от всех других, от офицеров, комбриг был слишком далек. Уж очень комбриг знал, что каждый из них представляет по своей профессии и по характеру интересов здесь. Сознание этого вынуждало комбрига всегда держаться настороже, быть всегда себе на уме. Это обстоятельство вынуждало Ермакова и свое любопытство к англичанам, которое у комбрига было велико, держать тоже настороже. Но тем более интересовал его сержант Бейтс: сидя обычно рядом с сержантом, комбриг ощущал постоянное как бы родство состояний, родство душ. Впрочем, разумом Ермаков настраивал себя на то, что и сержант, конечно, все из той же компании, но сердце словно не верило разуму, настраивало Ермакова на дружелюбный лад.

Кажется, и Бейтс был расположен дружески к Ермакову. Не зря же, когда машина генерала обошла их и остановилась, а за ней остановились они, вышли на обочину, выстроились у кювета, а потом начали переговариваться, курить, сержант вдруг сказал раздумчиво, доверительно:

— Ни матери, ни дочери... Жена только там... Но часто скучаю по Грейт! Кажется: хорошо там... Да все не могу побывать: служба...

Но уж слишком молчалив был он, сержант Бейтс. Может быть, потому, что говорил по-русски плохо, трудно, но — молчалив очень.

— Черт, долго еще нам трястись? — спросил Харпер, когда уселись в машину.— Мне, признаться, уже хочется завалиться на постель...

— Скоро приедем. Это недалеко.

— Мы правильно едем? Не попадем в «гости» к фрицам?

— Не должны...

Ермаков смотрел, как впереди по асфальту бегут два подвижных желтых пятна от фар.

2

Офицеры военной миссии попросили устроить встречу с пленными.

Встреча состоялась в деревне Кресты. На этой встрече присутствовал и Ермаков. В просторной и светлой комнате, занимавшей почти половину дома, где англичане ночевали, собрались трое наших офицеров и несколько англичан. Рядом с этой комнатой была другая, в ней стояла кровать и у двери висел, словно нарочно бросаясь в глаза, яркий халат кого-то из англичан. Была в доме еще одна комната с большою печью, своеобразная прихожая, через нее по одному приводили пленных. Когда немцы появились перед гостями, наш офицер кратко докладывал о них: фамилия, чин, должность, время пленения.

— Баумволь, генерал-лейтенант,— доложил офицер, когда ввели пленного.

Баумволь острым и недобрым взглядом из-за очков обвел любопытных гостей. В глазах мелькнула настороженность, но генерал сразу же овладел собой. Лицо его стало неподвижным, как маска. На этой маске было теперь лишь выражение самоуверенности и неприязни к гостям, которую пленный и не пытался скрывать. Как показалось Ермакову, он был сейчас похож на неприрученного зверя, которого привели показать людям.

— Генерал Баумволь? Мы слышали о вас. Слышали как об одном из наиболее умных генералов противника, — произнес учтиво, даже приветливо англичанин-генерал, как бы стараясь ободрить пленного. Остальные англичане с любопытством рассматривали бывшего уполномоченного из Берлина, ждали, что он скажет.

Баумволь не ответил,— горделиво оставил похвалу без внимания. «Самолюбивый!» — подумал Ермаков.

— Как ваше здоровье, генерал? Впрочем, вы, вероятно, как солдат, не привыкли жаловаться на здоровье, не правда ли?

— Нет.

Баумволь не удостоил взглядом англичанина.

Пленный словно не замечал предупредительной вежливости английского дипломата. Англичанин заметно пытался придать официальному разговору тон мирной беседы, стремился щадить болезненное самолюбие гитлеровца. Ермаков отметил, что немецкий генерал открыто не поддержал этого тона, держался с военной прямотою.

— Вы не хотите позавтракать с нами, генерал? — Дипломат кивнул на стол, за которым было несколько офицеров. Генерал сидел на лавке у края стола. На столе заманчиво лежала различная закуска, над которой возвышались головки бутылок вина.

Пленный отвел глаза от столика, с достоинством ответил, что не хочет есть.

— В таком случае расскажите, пожалуйста, о себе...

— Выражайтесь точнее.

— Нас интересует ваша жизнь, естественно военная жизнь. Например, какими частями вы командовали? Какие поручения вы исполняли в последнее время?

Баумволь, хмуро глядя прямо перед собой, неохотно и кратко сообщил о том, какие командные должности занимал. О специальных поручениях говорить не стал.

Так же кратко он ответил на вопрос о наградах.

— Немцы понесли здесь большое поражение,— вдруг заговорил англичанин о другом.— Чем, по-вашему, объясняется такой успех, выдающийся, блестящий успех наших союзников — русских?

Это, видно, весьма занимало генерала-дипломата, он задавал этот вопрос почти каждому пленному. В чем, по мнению немцев, секрет победы советских войск? Генерал осторожно, но настойчиво искал ответа на этот вопрос. Невольно возникала мысль о том, что англичанин видит в этом ключ к разгадке тайны, которую так необходимо было знать. «Как это назвать? Ведь это ж, это — прямо открытая разведка!» — подумал Ермаков; он чувствовал, что расспросы англичанина выходят за рамки простого любопытства...

«Ключ» оказывался чрезмерно сложным. Пленные говорили вразнобой: одни объясняли все технической силой Советской Армии, другие тем, что у русских больше войск; среди прочего винили немецкие фланги, которые будто бы плохо были прикрыты. Некоторые хмуро признавались, что русские командиры оказались сильнее в стратегии и тактике — умело использовали все, что дает быстрота, натиск, маневр...

Генерал Баумволь с неприязнью принял вопрос. Казалось, колебался вначале: снизойти ли до ответа. Наконец, может быть, чтоб разрядить неприятное ожидание, снизошел. Разомкнул губы:

— Мы допустили просчет... в определении направления главного удара... В результате русские... добились здесь... огромного перевеса сил...

Он замолчал — было видно, что он больше не будет говорить об этом и не желает вообще никаких вопросов на эту тему. Английский генерал, видно, это уловил. Поблагодарив за ответ, перевел разговор на иное:

— Что вы думаете об операциях англичан и американцев на Западе?

Надменно взглянув на того, кто спрашивал, Баумволь заявил резко, непоколебимо:

— Ничего. Вы плохо воюете.

Ермаков видел, как недовольно шевельнулся на табурете такой приветливый и мягкий английский генерал, как он поджал губы. Дипломата явно начинал раздражать этот самоуверенный, грубый ариец.

Разговор явно не ладился.

Его едва не испортил совершенно Харпер.

Капитан во время встреч развлекался тем, что делал фотоснимки генералов «на память». Торопливо подготовив фотоаппарат, он теперь направил его на Баумволя. Пленный тотчас гневно сверкнул глазами, властно махнул рукой. Потребовал убрать фотоаппарат.

— Я хотел лишь оставить фотопамять о нашей встрече... — удивленно объяснил капитан Харпер.

Чтобы рассеять неловкое молчание, генерал-англичанин спросил у Баумволя о его семье, и здесь Ермаков заметил, как надменное лицо пленного впервые ожило, равнодушие исчезло. Холодные глаза за стеклами очков внезапно потеплели.

— Они жили в Берлине. Во время одной бомбежки мой дом разрушили...

— И где же они теперь, генерал?

— Переехали в Кётцинген. Там они были потом все время... Но уже почти полмесяца я о них ничего не знаю...

Опустив глаза, англичанин сочувственно кивнул головой: жаль, жаль...

— Вы, конечно, хотите передать весть о себе?

— Яволь.

— Наши войска, вероятно, скоро будут в этом... Кётцингене. Я охотно напишу нашим генералам, чтобы сообщили вашей семье, что с вами...

— Яволь... — генерал поправился: — Вы внимательны ко мне...

— Мы милосердны...

«Эх, господин союзник! — с неприязнью упрекнул в мыслях Ермаков, глядя на ласковое лицо союзного генерала. Удивленно подумал: — Словно не на разных полях росли с этим битым

воякой...» Он вдруг вспомнил вчерашний разговор в машине пьяного Харпера с нашим майором...

Когда Баумволя вывели и офицеры стали расходиться, Ермаков, случайно оказавшийся позади двух англичан, неожиданно услышал возбужденный шепот одного из них:

— ...генерал говорил с этим бошем... впечатление... с приятелем!..

Такой же тихий, но с ухмылочкой, голос Харпера многозначительно ответил:

— Война кончается, Майкл... Эта...

ГЛАВА VII

I

С каждым днем положение тех, кто был в «Минском котле», ухудшалось.

Почти целыми сутками над полями и перелесками около Волмы кружили наши бомбардировщики, выискивали группы противника и сыпали на них бомбы. Гремели орудия, выбивая окруженных с их позиций; и под прикрытием артиллерии и пулеметов бросались на врага пехотинцы, выгоняли его из ржаных полей, из лесов.

Немецкие части несли неслыханные потери. Почти все дороги, желтеющие хлебами изрытые поля, сияющие травами истоптанные луга были завалены трупами, быстро разлагавшимися на июльской жаре. Над трупами кружились тучи назойливых мух; прекрасный горячий аромат летних просторов был отравлен тошнотным смрадом смерти... Дорого заплатили гитлеровцы за попытку сопротивляться нашим войскам!

Петля вокруг окруженных с каждым днем сжималась все туже и туже. Бомбежки и обстрелы все усиливались. Они выбивали из голов немцев надежды на помощь с запада, на какое-либо спасение. Все больше солдат в одиночку и толпами шли в плен.

Дисциплина в частях совсем упала. Кончались боеприпасы, почти не было продуктов...

Восьмого июля командир 12-го немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант Мюллер, исполняющий обязанности командующего 4-й армией, подписал приказ о капитуляции:

«8. 7. 1944 г.

Солдатам 4-й армии, находящимся восточнее реки Птичь!

После недельных тяжелых боев и маршей наше положение

стало безвыходным. Мы выполнили свой долг. Наша боеспособность упала до минимума, и нет никакой надежды на снабжение. Русские, согласно сообщению Верховного командования, стоят у города Барановичи. Последние наши пути через ближайший водный рубеж перерезаны. Нет никакой надежды выбраться отсюда своими силами и средствами. Наши соединения беспорядочно рассеяны. Колоссальное количество раненых брошено без всякой помощи.

Русское командование обещало:

а) медицинскую помощь раненым,

б) сохранение офицерам холодного оружия, а солдатам орденов.

Нам предложено:

все оружие и снаряжение собрать и сдать в неповрежденном виде,

прекратить бессмысленное сопротивление.

Я приказываю:

Немедленно прекратить борьбу. Местным группам от 100 до 500 человек собираться под командованием офицеров или старших унтер-офицеров. Раненых собрать и взять с собой. Мы должны показать дисциплину и выдержку и возможно быстрее начать проведение этих мероприятий.

Этот приказ письменно, устно и всеми средствами передать дальше.

Мюллер, генерал-лейтенант,
командир 12-го армейского корпуса».

2

Кляммт не захотел идти в плен. Трое эсэсовцев, с которыми он познакомился два дня назад, решили во что бы то ни стало пробиваться на запад, и лейтенант присоединился к ним.

Еще до того, как началась всеобщая капитуляция окруженных, четверо отделились от остальных. Молча двинулись в глубь леса, кишевшего солдатами из разных частей.

Все вокруг только и говорили теперь о плене, о приказе Мюллера. Кое-где группки солдат уже выходили на окраину леса. Многие с подозрительностью смотрели на эсэсовцев и лейтенанта, идущих в противоположную сторону.

Эсэсовцы остановились далеко от окраины, в темном ельнике. Земля здесь была почти без травы, ее почти сплошь покрывала жухлая хвоя, там, где земля была обнажена, ее словно покрывала зола. Неподалеку от беглецов пирамидой поднимался большой рыжий муравейник, по верху которого в разных направлениях сновали занятые своим делом муравьи. Увидев

это, Кляммт вспомнил труп эсэсовца, который он с отвращением обошел недавно в лесу,— по трупу ползали муравьи, разъедали лицо, руки.

Здесь было относительно спокойно. Голоса из рупоров, установленных русскими, доносили сюда приказ о капитуляции, но слова его едва можно было разобрать. Эти звуки почти не нарушали состояния лесного покоя. Правда, и здесь иногда кто-нибудь невдалеке проходил: переговариваясь, шаркая сапогами, шли в сторону окраины солдаты.

— Генерал Мюллер — голова...— говорил один из них, шагавший в группе товарищей. Он равнодушно тащил на себе пулемет. — Все равно бессмысленно! ..

— Дерьмо все! — плюнув, подхватил второй, что-то жевавший. — Влезли! ..

Четверо в чаще молчали. Только рослый бледноватый, интеллигентного вида гауптштурмфюрер угрожающе выругался.

Они договорились переждать здесь до вечера, а вечером попробовать выбраться из леса и двинуться на запад.

С каждым часом тишина становилась все надежнее, и четверо беглецов понемногу успокаивались. Уже недалеко был вечер,— вечер и спасение.

И вдруг неподалеку снова послышались голоса. Когда голоса приблизились, Кляммт разобрал, что говорят по-русски.

— Прочесывают лес! — вырвалось у него.

В просвет лейтенант увидел человека, одетого в тесноватый пиджачок, в армейские брюки и сапоги; на пилотке незнакомого горела красная лента. Он что-то командовал кому-то невидимому. Значит, это партизаны. Больше всего Кляммт не хотел встречаться с партизанами!

3

Четверо стали отбегать от партизан. Они попробовали свернуть вправо, обойти партизанскую цепь, но там чуть не наскочили на другую группу партизан. Еще хорошо, что партизаны не заметили их.

Отступали, скрываясь за деревьями, избегая партизан, до тех пор, пока не засветилась опушка леса. Завидев поле, беглецы решили, что в этой ситуации, вероятно, надежнее укрыться во ржи; но едва добрались поближе к полю, обнаружили неподалеку группу советских солдат, наблюдавших за полем и за краем леса. Один русский вел во ржи немца с поднятыми руками.

Отступать было некуда. Кляммт и один из эсэсовцев бросились в ближайшие кусты, но их заметили.

— Эй, фриц... сдавайся! — крикнули вслед им.

Лейтенант, не целясь, направил в ответ очередь из автомата. Эсэсовец тоже выстрелил. Он выругался, высказал опасение, что русские могут попытаться обойти с тыла. Лейтенант дальнейшее понял без слов: надо поскорее уходить отсюда.

Дав еще очередь в сторону русских, лейтенант, вобрав голову в плечи, устремился вслед за эсэсовцем. Но, пробежав немного, он снова увидел русских, теперь уже сбоку. Там были молоденький паренек с винтовкой и человек в пилотке с ярко горевшей на ней красной полоской, которого он заметил раньше меж деревьями. Они явно хотели перехватить путь лейтенанта.

Кляммт выстрелил, и партизан в пилотке споткнулся и выпустил автомат из рук. В тот же миг второй, совсем молоденький, еще почти ребенок, размахнувшись, что-то бросил. «Граната!» — мелькнуло в голове Кляммта, и он отпрыгнул за дерево.

Раздался взрыв. Несколькими осколками сорвало кору, местами оголив дерево, по траве пополз сизый дым.

— Ах ты, гад проклятый! — угрожающе крикнул, затрясся от ненависти паренек. Это был Шабунек Андрей.

Прячась за деревьями, время от времени отстреливаясь, Кляммт начал отбегать от партизан. Вдруг он бросился в поле, стараясь добраться до недалеких кустов, но заметил, что справа наперерез ему бегут два бойца.

Кляммт на миг остановился, дико, как зверь, озираясь. И здесь его настигла пуля. Раненный в ногу, лейтенант упал. Повернувшись назад, превозмогая внезапную слабость, он хотел еще выстрелить в подбегающего партизана, в Андрейку, но его опередил один из солдат. Кляммт рванулся всем своим коротким, плотно сбитым телом, будто стремясь удержаться в жизни, стал царапать, хватать землю. Ухватился за комелек краснолистого дубка-побега. Словно пытался его вырвать. И — застыл.

Андрей, на всякий случай выставив винтовку, приблизился к Кляммту. Увидев, что он не двигается, поскорее оттолкнул ногой его автомат. Все еще с осторожностью склонился над лейтенантом, убедился, что тот мертв. К Андрею подошли двое военных, одним из них был сержант Туровец.

— До чего поганое создание: видит, что капут, а все вредит! — взволнованно произнес Юрий. Губы Шабунька-младшего передернула гримаса ненависти:

— Уу-у, г-гад!

В той стороне, где находился взвод Проворного, послышалась новая перестрелка — это, как потом выяснилось, стреляли два эсэсовца,— и Юрий, сбросив с шеи ремень автомата, побежал к своим товарищам.

Андрей, закинув винтовку за спину, с автоматом в руках, направился в лес, где остался раненый.

— Сильно он, товарищ командир, зацепил? — спросил он у Лехоры, лежавшего на траве. Шабуньку бросилась в глаза разрезанная почти доверху штанина, кровь, проступившая сквозь бинт, которым обматывала сестричка Валя раненую, белую, словно неживую, ногу.

— Кажется, нет... В мякоть попал,— процедил раненый, сдерживая боль.— Одно плохо, что, может, придется в госпиталь ложиться. Не отпраздную, Андрюша, с вами победу.

— Отпразднуете, товарищ командир! Вы быстро поправитесь, вы живучий!

Шабунек, которому хотелось сказать раненому что-нибудь очень хорошее, утешительное, попросил, прямо умоляя глазами, чтобы он из госпиталя приехал в Поплавы: мать будет так рада и он, Андрейка, тоже.

— Нет, Андрюшка, пока не обещаю... Хочу пойти в Чехословацкий корпус. Воевать за новую Чехословакию... Вот когда освобожу Прагу, тогда приеду, жди...

— Приезжайте, обязательно! Мамка будет так рада...— Он вдруг спохватился, успокоил: — Мы ему — будьте уверены — отомстили за вас! Теперь он отправился к Адаму. Окончательно обезвредили!..

Потом, словно подводя итог, прибавил солидно:

— Одним словом, еще один гад довоевался!

4

И вот утихли выстрелы. Фронт был далеко на западе, и здесь могло показаться, будто кончилась война.

Немцы в одиночку и группами сдавались в плен. Сдавались обозникам, собирались около регулировщиц. И солдат и офицеров десятками брали в плен работники редакций, деревенские женщины.

Немцы бросали оружие. На крупных сборных пунктах высились горы оружия, боеприпасов.

По тропам и дорогам тянулись длинные колонны пленных. Это был различный сброд. Представители разных частей, иногда давно уже разбитых, солдаты и офицеры всех возрастов, рангов, взглядов. Измученные, заросшие щетиной, в испятнанной торфом и глиной одежде...

Над ними, словно смеясь, синело высокое ясное небо, в котором кое-где млели мирные пушистые облачка, а по обеим сторонам дороги легко покачивала колосьями доспевающая рожь. Из-за стеблей любопытно выглядывали чистые глазки васильков.

Нещадно палило солнце. Пленные, что потеряли головные уборы, прикрывали головы ладонями или платочками, стирали с грязных лиц пот...

Бойцы и партизаны впервые ночевали беззаботно, как после полностью законченного дела.

Проснувшись утром на опушке, вблизи нестройного ряда хат, Юрий удивился тому великому покою, который царил в природе. Невольно он ждал, что вот-вот где-нибудь раздастся взрыв или выстрел, но вокруг было тихо. Только стучали дятлы да звенели комары.

Неподалеку, возле партизана-пастушка, стоял на длинных неуклюжих ногах крутолобый теленок со спокойными выпуклыми глазами, широкими коричневыми ушами, вытянув к сожженному танку морду, нюхал, словно видел перед собой что-то незнакомое. Вид у него был доверчивый и простодушно-любопытный. Скоро он безразлично отвернулся и, лениво помахивая хвостом, медленно подался в лесок.

«Даже теленок уже не боится танков! — засмеялся про себя Юрий. — Примета тишины...»

Вскоре пришел приказ — выступать в деревню, километрах в пяти. Там собиралась, как узнал Юрий, вся часть, вероятно, затем, чтобы уходить, двигаться дальше на запад. И это тоже было приметой тишины — здесь больше нечего делать. Солдаты стали прощаться с партизанами, ночевавшими тут же, на опушке. Пять дней совместных боев всех крепко сдружили. Юрий дружески обнял маленького Шабунька.

— Ну, прощай, Андрей!.. Да возвращайся домой, помогай маме. Ей теперь трудно одной...

Миновав опушку, взвод Проворного по проселку прошел через то поле, где вчера шли бои. Бой — это тоже прошлое, сейчас здесь только тишина.

Рожь, на стеблях которой кое-где еще сверкали капли росы, была во многих местах истоптана. Сколько ее вытоптано, этой доспевающей ржи! Что же, это последний бой. Больше здесь ее не будут топтать.

Тишина досталась нелегко. На дорогах, во ржи, везде — вражеское снаряжение. Земля повсюду изрыта снарядами, стебли ржи, полегшие от взрывных волн вокруг воронок, опалены и прижаты комьями вывернутой земли... Как призраки, темнеют среди поля разбитые грузовики, кухня с простреленным навылет пулеметной очередью котлом. Из нижних пробоин котла тянутся застывшие ручейки какой-то пищи.

Когда они снова подошли к опушке леса, что клином выдавалась в поле, Юрий вдруг увидел немецкого офицера, ранившего партизана. По лицу мертвеца ползла большая зеленая муха...

Мертвец здесь не один. Везде на поле возле воронок — трупы в грязных, землистых мундирах, с землистыми лицами.

— И они сейчас спокойны! — заметил кто-то.

— Притихли! — благодушно отозвался другой.

Навстречу колонне изо ржи вышел немец-солдат, без оружия, без пилотки, в распахнутом, вывалянном в земле мундире, обросший как леший. В его настороженном взгляде, которым он следил из-под рыжих бровей, было что-то дикое.

Он поднял дрожащие руки:

— Плен...

— Некогда здесь с тобой! — Проворный на минуту остановился: — Вир нихт габе цайт. Ферштей?

— Яволь,— пробормотал немец.

— Дуй туда! — младший лейтенант показал в сторону сбора пленных.— Один! Айн, айн!

Конвоира хочешь? Зачем? Никуда больше ты не пойдешь. Некуда...

ГЛАВА VIII

1

«Изверги... звери... людоеды...» — слова эти много раз вспоминались Алексею. То, что он видел сейчас, проходя по лагерю, было страшнее всего, что он узнал за последние дни... Ямы, полные трупов, вокруг ям — толпы живых. Потрясенно молчат, рыдают, бьются в горе, проклинают. Их много, этих ям-могил, которые раскопала следственная комиссия. По слухам, около сорока... А вот остатки наспех разрушенных печей, где еще несколько дней назад гитлеровцы делали свое зверское дело. Черный, прибитый дождем пепел печальными рубцами исполосовал вытоптанную сапогами землю. Обугленные, недогоревшие головешки...

На всю жизнь запомнилось, врезалось в память: около столбов с обрывками колючей проволоки — россыпью и горками — банки от консервов, — они были у невольников вместо посуды. Банок этих, и блестящих, и разъеденных ржавчиной, бесконечное множество — сотни, тысячи. И у каждой из них был не один хозяин...

По лагерю группками ходят люди, заплаканные, гневные. У каждого здесь свое горе, своя боль.

— У вас, товарищ командир... тоже кого-нибудь? — вдруг спросила Алексея тихая, маленькая, вся будто высохшая женщина, когда он уже возвращался из лагеря. Держа в руке

раскрытую сумочку, она вытирала скомканным платочком неподвижные, словно слепые, глаза.

— Жена...

— А у меня — троих сыновей... Подпольщиками были. Двух замучили в гестапо еще в сорок первом. А младшего — совсем недавно... Я и не знала, что он подпольщик. Скрывал от меня...— Она снова приложила платочек к глазам.— Боже мой, хоть бы один остался!

Алексей всем сердцем принял ее горе. Отзывчивый вообще, он теперь особенно чуток был к горю. Он понимал, что должен как-то утешить, поддержать ее. Но чем он мог утешить ее?

— Не плачьте, мама. Не надо!..— мягко, с сочувствием сказал Алексей.

— Ни одного!..

Он чувствовал, как слабы здесь были слова утешения. Но нельзя было молчать, слыша такое отчаянье! Страдая от безысходной боли сам, он должен был успокоить старую женщину.

— Большое горе у вас, мама. Я понимаю...— Старуха печально глянула ему в лицо. Молча ждала.— Страшное горе... Сердце у вас болит и будет болеть.— Как трудно было ему думать, как непослушен был разум. Алексей не находил необходимых слов. Но надо было найти. Надо было. Сквозь тоску, заполнявшую всего, туго пробилась мысль. Неясная вначале, определилась. Та, что нужна. — Но я вам хочу сказать вот что. Горе, конечно, есть горе... Но смысл жизни не в том, чтоб прожить обязательно долго... Можно прожить долго, но впустую. А можно и за короткую жизнь сделать много... А главное — прожить ее красиво...

— Это правда,— тихо согласилась старуха.

— Что стоит человек — проявляется в трудную минуту. Когда опасность... Особенно когда впереди, может,— смерть... Тогда выдерживают только сильные. Настоящие... А они пошли ведь и без приказа. По совести, по долгу только... Вам надо гордиться своими...

Страшно трудно было Алексею говорить это: спазмы сжимали горло. Была ужасная раздвоенность: разум, долг находили слова, стремились поддержать старуху, а сердце как бы возражало, хотело плакать, кричать...

Старуха измученно кивала головой: она понимает это. Но плакать не переставала.

Они медленно шли по тихой улице, в сторону шоссе. Алексей нарочно шагал неширокo, чтобы его спутница не отставала. Заглядывая Алексею в лицо, старуха участливо, по-родственному спросила, как погибла Нина. Слушала молча, с состраданием.

— И у вас большое горе... Много горя нынче у людей...

— Когда мне было больно... очень больно,— заговорил

Алексей,— я представил того, кто убил ее, мою Нину. Будто он, гад, смотрит на меня и видит, как я горюю... И я превозмог отчаянье. Ярость меня взяла!

В голосе Алексея послышалась угроза:

— Они мне расплатятся за все!..

— А за моих некому отомстить!..

— За всех и за все, мама, рассчитаемся. Вот только бы вернуться туда, к товарищам...

«...Нина, дорогая моя Нина,— думал он, попрощавшись со старухой.— Я никогда не представлял ни счастья, ни жизни без тебя... А теперь тебя нет... Я один должен жить. Вырастить дочку...

Вокруг идет жизнь. Другие, как и мы когда-то, может быть, любят, ждут, надеются. А тебя нет. И для меня как будто нет жизни... Только Людочка. Наша дочка...

Как мне быть дальше, не знаю. Ничего не знаю. Все сломалось, потеряло ясность без тебя... Ни ты, ни я не знали, как много ты для меня значила...

Не знаю, ничего не знаю... Знаю только, что должен отомстить за тебя. Больше всего хочу этого... Больше ничего не знаю. Не знаю...

По-прежнему люблю тебя. Больше, чем прежде... Помню все. Всегда буду помнить... Дочку выращу! Нашу дочку!.. Больше ничего не знаю... Не знаю... Не вижу... Не вижу...»

2

Как ни тяжело ему было, он старался поддержать Наталью Михайловну, помочь ей перенести горе.

Наталья Михайловна не плакала, переживала несчастье молча. Алексей заметил, что она стала тише, чем всегда, и будто сгорбилась. Теперь она часто говорила о сыне Олеге, который где-то на фронте,— чувствовалось, очень беспокоилась, что с ним, жив ли? Пусть бы хоть словом отозвался! Хоть одним словом!

Руки плохо слушались ее, вещи часто валились из них.

— Боже мой, что это я такая неловкая? — пробовала она иногда подшучивать над собой.

Она казалась теперь странно рассеянной. Беседуя с Алексеем, часто вдруг теряла нить разговора и не могла вспомнить, о чем хотела сказать.

— Вот память — дырявая, как решето... Забыла, о чем толковала только что!.. К чему я начала это?..— Смотрела на Алексея смущенно, просила напомнить...

Но в один из тех горьких дней к ней пришло счастье. Оно пришло вместе с почтальоном, пожилой неразговорчивой жен-

щиной, которая принесла конверт-треугольник. Наталья Михайловна, словно не веря, глядела на этот треугольник, на знакомый почерк сына, потом дрожащими руками открыла письмо.

— «Дорогая мама!» — пошевелила она немыми губами, прошептала, задыхаясь: — Олег, сыночек, мальчик ты мой!

И вдруг горько, в безутешном отчаянье разрыдалась.

...Оживляла и утешала ее и внучка. Бабушка почти каждый день утром и вечером сидела у кровати Людочки, не сводила с ребенка влюбленных глаз.

Днем она зорко следила за внучкой, никуда не отпускала одну: только бы не стряслось с малышкой какое-нибудь несчастье!

Алексей часто сажал Люду на колени, ласкал, заводил беседы с ней. Целыми часами, осторожно, пальцами держа слабую ручку, ходил он с малышкой по двору, по улице. Эти беседы и прогулки наполняли его сердце тихой, теплой радостью.

— Скоро тебе руку развяжут? — спросила Люда однажды, когда они шли по двору.

— Скоро, Людочка.

— Когда?

— Вот как немного заживет.

— А скоро она немного заживет?

— Да вот посмотрим когда. Как только заживет, тогда и будет видно...

— А сейчас не видно?

— Нет, Людочка...

— А ты бы развязал руку, вот и было бы видно.

— Нельзя, дочурка. Рука будет болеть...

Она замолчала, внимание ее привлекла птица, севшая неподалеку на столбик от забора. Из всего, что Люда видела, ее сейчас больше всего интересовали птицы. Она всегда смотрела на них с восторгом.

— Воробейчик... Смотри — воробейчик!..— показала она маленьким, почти прозрачным пальчиком на птицу. Людины глаза засияли от счастья.

Алексей ласково поправил ее:

— Не воробей, а скворец...

Люда убежденно возразила:

— Нет, это не скворец, а — воробей...

Порасспросив ее, Алексей выяснил, что она делит всех птиц на воробьев и кур. Куры — это те, которые ходят по земле, а воробьи летают.

— А это что? Скворец?..— тронула она позже отца за руку.

— А это — воробей.

— Воробей. Какой быстрый — воробей! Правда?

Алексея поражала ее любознательность. На каждом шагу только и слышалось от нее: «Что это? А почему?» Она так много спрашивала, что Алексей, и прежде не очень словоохотливый, а теперь чаще и вовсе молчаливый, с трудом успевал объяснять.

3

Люда привыкала к Алексею. В отношении дочери к нему день ото дня крепли искренняя детская доверчивость и привязанность. Они весьма радовали Алексея. Люда все охотнее ходила с ним на прогулки, а в последние дни ждала их нетерпеливо, спрашивала: скоро ли пойдут?

— Хочешь, мы будем с тобой дружить? — сказала она в одну из этих прогулок.

Ясные глаза вопросительно смотрели на отца.

— Хочешь, Алексей?

— Хочу, моя синеглазая,— засмеялся он.

— Ну, тогда мы будем дружить, — сказала она с удовольствием.

Потом доверительно сообщила:

— Еще я дружу с бабушкой. И с Сидором тоже. Он добрый и совсем не противный, как говорит бабушка...

Алексей знал: Сидор — добродушный и ленивый рыжеватый кот соседки. Частый гость на их дворе.

Почти каждый день Люда беспокоилась о руке отца:

— Тебе плохо ходить с завязанной рукой, правда? Даже размахивать нельзя... Почему ты ее так долго не развязываешь?

— Потому что рука еще не зажила, Людочка.

— Ну вот, почему она так долго не заживает!

Алексей заметил: дочь могла целыми часами гулять одна, говорить сама с собой. Было видно: не скучала без маленьких друзей. Не томилась одиночеством. Что это — характер или только привычка? — думал он. Вероятно, Люда стала такой потому, что почти всю маленькую жизнь, все три года обычно приходилось быть в одиночестве.

Алексей старался, чтобы она чаще гуляла с соседскими детьми. В его дворе теперь нередко кипели шумные детские игры, слышались крики и смех. Люда охотно участвовала в забавах, отдавалась им всей душой. Сдружилась с малышами.

Нередко случалось так, что, увлекшись игрой, Люда прибегала домой только для того, чтобы поесть. Бабушка или Алексей делали ей бутерброд с консервами, и она снова выбегала к товарищам, доедая уже во дворе. Порой бабушке приходилось звать или вести ее домой подкрепиться.

Все лучшее, что Алексей получал по пайку, он отдавал дочери. Очень хотелось ему, чтобы Люда быстрее поправилась, окрепла. «Ешь, ешь, дочурка! — пошутил он однажды.— Ты у нас теперь работаешь больше всех!»

— Бабушка, ножки болят,— жаловалась она по вечерам, ложась спать.

— Набегалась, вот и болят. Не удивительно — целый день на ногах!..

— Нагулялась, доченька?

— Нагулялась,— призналась она, засыпая.

Но дружба ее с детьми была некрепкой. Единственным человеком, по-настоящему необходимым ей, была бабушка. Отца же, хотя Люда теперь и «дружила» с ним, она все еще называла то папой, то Алексеем. Алексей думал, что пока у нее к нему только обычная привязанность, ничего больше,— и когда им придется расстаться, Люда, видно, скоро его забудет...

Совсем иное место занимал этот маленький светловолосый человечек в душе Алексея. С каждым днем Люда становилась ему дороже.

Думая о будущем, он прежде всего беспокоился о счастье дочки..

ГЛАВА IX

I

Девятого июля Клава провожала в армию брата.

Все предыдущие дни Сергей действовал с истребительным батальоном, командовал взводом, в котором было несколько знакомых шоферов. Весь батальон состоял из пожилых рабочих и молодых парней.

Со взводом, которым командовал, Сергей третьего июля обезоруживал немцев, засевших в кирпичных четырехэтажных зданиях у железной дороги — «казармах Белполка». Гитлеровцы стреляли с крыш, из окон. Когда их заставили замолчать, пришлось лазить на крыши, обыскивать коридоры, комнаты...

Наконец и здесь наступил покой.

На рассвете следующего дня Сергей дрался с немецкой группкой, которая проникла в город и была окружена на еврейском кладбище. Немцы, в большинстве своем эсэсовцы, упорно не хотели сдаваться. Укрываясь за надгробными плитами, отстреливались из автоматов и пистолетов.

Только после того, как минчане-истребители перебили больше половины их, между плитами появились белые лоскутки.

Теперь, когда в Минске и под Минском утихло, Сергей попросился в армию.

Клава проводила брата к месту сбора. Собирались на призывном пункте, в парке Челюскинцев. Среди строгих, поредевших за войну сосен зеленели брезентовые палатки; возле них повсюду стояли кружками парни, мужчины, девушки, матери, жены. Много было парней, подросших за войну.

В сосняке плыли, плескались песни, переливались голоса веселой гармошки.

— Так ты смотри, пиши чаще, — наказывала Клава. — Не ленись... А то я тебя знаю — собраться написать письмо для тебя целое горе...

— Буду писать... Только ты уж не думай ничего обо мне. И — не скучай без меня...

— А что мне думать? Вот еще — придет время, вернешься. Никуда не денешься!..

Хотя вид у Клавы был самый беззаботный, беспечальный, Сергей знал, что на душе у нее щемит: печальная штука расставание. Да и родных у нее больше нет, только он один...

— Конечно, куда ж я денусь? Вернусь, нигде не денусь! Ты ведь знаёшь меня!

— Знаю!..

— Да и обстановочка — не та. Это тебе не оккупация, где запросто можешь угодить в ловушку. Армия, кругом друзья!.. И обстановка — вперед, на запад... Вон как летят завоеватели!..

— Я и говорю: нигде не денешься. Вернешься!..

— Вернусь — и снова в гараж. За руль, обогащенный боевым опытом!.. А ты, Клава, чтобы тем временем школу кончила! И в институт поступила... Договорились?

— С осени — обязательно в школу. Работать и учиться... Ух, как хочется учиться!

Она немного помолчала.

— Я тебе кусочек мыла положила, оно в мыльнице... И полотенце, то, что с бахромой... Я их сверху положила, чтобы легче было достать...

— Все найду...

— Смотреть все за тобой нужно. Будто за малым. Как ты там будешь без меня?

— Как-нибудь, Клавка... Может, не пропаду... — Он засмеялся.

— Хорошо было б, если б тебя направили по специальности, правда?

— Я хотел бы — танкистом.

— Танкистом? Учиться надо будет!..

— Долго ли мне! С моей подготовочкой. Двигатели я знаю. Всякие повидал. Механика знакомая... Скоро постигну мудрости танковые!

— Из тебя и танкист будет хороший...

— Освою и это...

— Освоишь...

Вдруг она стала часто моргать, глаза ее странно затуманились.

— Так я пойду, — заспешила Клава, словно спохватившись. — И так уже опоздала...

Прикусив губу, она в последний раз обняла брата и поскорее отвернулась. Почти побежала по аллее — в город.

2

Клава второй день работала на станкозаводе.

Сегодня ее вместе с другими заводскими девушками поставили на расчистку завала. Завал был высокий, с мощными глыбами-обломками, Клава подумала, что возиться с ним придется долго. Дня на три хватит, не меньше.

Но мысль свою не высказала. Зачем? Разве она пришла сюда вздыхать? Чем веселее люди возьмутся за дело, тем быстрее сделают.

— Эй, носилки сюда! Кирпич некуда класть! Скорее, скорее... А то вот горы здесь набросаем!.. Надорветесь, не успеете носить...

— Смотри ты какая грозная, Клавка!

— Не пугай, Клавка. Не боимся! Никого теперь не боимся...

Рядом с ней усердствовали еще несколько женщин, разбирали и складывали кирпич на носилки. Результат их работы был почти незаметен, но трудились все с подъемом.

По улице, немного поодаль, провели группу тихих, послушных пленных...

— На работу, наверно? Учить работать...

— Научишь ты их! Они только и знают, что ломать да убивать...

— Разные и среди них есть... — Клава рассказала о поступке Пауля из Рура...

Спор о немцах утих, когда поблизости появились вооруженные мужчины, видимо партизаны. Мужчины принесли несколько ломов и носилки. Между женщинами и мужчинами сразу завязалась веселая перепалка.

Мужчины шутя называли Клаву начальницей. Сначала она отмахивалась и смеялась: «Какая из меня начальница?» — но потом изменила тон, приняла строгий начальственный вид и приказала им работать как следует.

— Куда, куда? — крикнула она двум рослым партизанам.— С этим камешком и девушка справится. Надо разбить вон ту глыбу.

— Ту?

— А какую же? Не бойтесь, не надорветесь! Смотри как разленились! ..

Кто-то из партизан пожаловался на неравноправие, но голос его потонул в дружных веселых криках женщин:

— Правильно, Клавка! Так и надо! ..

3

Василю в Минске не повезло. Во всяком случае, так он считал.

Он уже пришел в городской комитет комсомола получать назначение на работу в один из минских райкомов, когда неожиданно все изменилось.

— Поедете, товарищ Крайко, учиться,— сказал ему секретарь горкома комсомола.— Как раз получили указание из ЦК — послать несколько человек на учебу. В Москву поедете! На три года...

Когда Василь вышел из кабинета секретаря, он несколько минут стоял в коридоре, словно на трудном распутье.

Ехать в Москву ему, конечно, хотелось. О такой поездке еще недавно он и мечтать почти не решался: такой невероятной она казалась. Таким неправдоподобным счастьем. Увидеть Кремль, Мавзолей, Спасскую башню, Академию имени Фрунзе, где учился его брат, походить по улицам Москвы — он об этом и теперь думать спокойно не мог. В другое время он уехал бы учиться в Москву с превеликой охотой, но учиться сейчас, в такую горячую пору войны, уезжать из Минска, что так искалечен, в котором столько трудной работы...

«Нет, — Василь решительно надел пилотку, — не поеду...» Он был уверен, что поездка на учебу в глубокий тыл была бы не чем иным, как бегством с фронта.

Ища поддержки себе, Василь, конечно, прежде всего вспомнил о бывшем своем комиссаре. Он был уверен, что комиссар сразу же придет на выручку ему, отметет нависшую над Василем опасность. В кабинете Туровца, к несчастью, кто-то был, и Василю какое-то время довелось томиться в коридоре. Но едва Туровец освободился, Василь двинулся в его комнату. Обиженный, решительный.

Туровец встретил его удивленным взглядом:

— Что это ты такой хмурый, Василь? Несчастье какое?

— Посылают... Отсюда...

— Куда? Зачем?

— В Москву. Учиться... на три года...

— А-а! Так я это знаю! И радуюсь за тебя... Но почему ты хмурый?! Или ты,— в голосе Туровца послышалось удивление,— не хочешь учиться?

Василю показалось, что Туровец удивляется нарочно, как будто подшучивает над ним. Но все же рассказал, что расстроило его. Он говорил горячо, глядел в глаза Туровца с надеждой и верой. Но Туровец не смотрел на него.

— Все это правильно, Василь,— заговорил бывший комиссар, когда Василь умолк. — Но — понимаешь — учиться надо! Обязательно надо!

Он подошел к окну, усмехнулся:

— Можно подумать, ты боишься, что потом тебе мало будет работы. Хватит, Василь, работы! Приедешь через три года,— мы тебе дадим ее столько, сколько выдержат твои плечи! Много будет работы!.. И очень важной, и трудной, и еще более сложной!..

— Но ведь сейчас...

— А сейчас мы пока и без тебя справимся. Или ты нам не доверяешь? Доверяешь... Тогда я считаю инцидент исчерпанным. И вообще, ты зря пришел с жалобой. Я не ожидал от тебя этого...

Смутил Василя Туровец.

— Что думаешь делать до отъезда? — уже как бы с участием поинтересовался он.

— Н-не знаю пока.

— У тебя немало времени. Целых десять дней...

— Б-буду пока на старой работе... Расчисткой заниматься...

— Это — дело,— похвалил Туровец.— Но надо, брат, и к отъезду подготовиться. Утрясти все личные дела...— Василь почувствовал в словах Туровца намек о Вале.— И отдохнуть получше.

— Отдохнуть?

— Сил для учебы набраться...— Туровец со строгостью взглянул на Василя: — Смотри, чтобы учился как следует! Чтобы не позорил нас, минчан... Я специально проверю!

...Бродя по городу в сильном возбуждении, в непривычных размышлениях, Василь встретил на улице Шашуру. Лицо бывшего подрывника просияло радостью.

— Вот так встреча! Ну, покажись, как ты выглядишь? Ого, отощал! Ты смотри, этак тебе скоро, калина-малина, придется ноги в руках носить, — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить...

Он взял Василя под руку

— Знаешь что, товарищ студент, или как тебя там, идем ко мне. Подкормлю! Не могу спокойно видеть, как у меня на глазах гибнут лучшие люди. — Он заговорщически шепнул

Василю на ухо, что в запасе есть две бутылки пива из трофеев.

Шашура потащил парня к себе. Слушая озорную болтовню товарища, Василь подумал: «Все такой же. Ветер!» У него уже был готов приговор.

Но, придя на предприятие Шашуры, парень взглянул на товарища другими глазами.

Василь удивленным взглядом окинул помещение, или, как Шашура называл, залу, столовой. Стены не очень просторной, с низким потолком комнаты были чисто выбелены, в три ряда стояли аккуратные столики, накрытые листами бумаги. Как раз начинался обед, за столами сидели первые посетители. Из кухни вышла молодая девушка в белой кофточке, держа поднос с тарелками. Порядок, уют так ощущались здесь, были так неожиданны после руин и мусора на улицах, что невозможно было не удивляться.

— Т-ты все-таки здорово п-поработал!

Шашура без восторга махнул рукой. С озабоченным видом провел Василя на склад и показал несколько мешков муки и два ящика маргарина. Вот все богатство. Мало. Но с каким трудом все это досталось! Шашура отметил это таким значительным тоном, что было ясно: справиться с подобной задачей в нынешних условиях мог только он.

— Это что, калина-малина! — Они уже снова были в «зале». — Вот сейчас я тебе покажу находку. Лучшую мою находку!..

Он крикнул в сторону двери. Из нее вскоре вышел невысокий, чуть постарше Василя загорелый парень в белом колпаке. Выжидающе, с влюбленной улыбкой взглянул на Шашуру. Шашура познакомил с ним: шеф-повар.

— Умеет из этой самой простой муки делать семьдесят четыре блюда. Я не обманываю, Петро?

Повар кивнул с улыбкой: правда. Было видно, что он относился к Шашуре и с любовью и с уважением. Довольно, с гордостью подмигнув лесному другу: «Слышал?!» — Шашура попросил шеф-повара покормить «этого отощавшего товарища», — он кивнул на Василя.

— На этот раз я тебя накормлю даром, а с завтрашнего дня, если захочешь пообедать у меня, приноси карточку, ясно?

— Ясно, товарищ директор!.. Однако... т-ты стал скупым!

— Не скупым, Вася, а хозяйственным! Запомни.

— Да уж запомню.

Когда Шашура и Василь сидели за столиком в крохотной боковушке рядом с «залом», директор, приблизив к товарищу лукавое лицо, рассказал, как он целых два дня настойчиво уламывал начальство одной бригады отпустить этого мастера.

— Настоящую осаду устроил! По всем правилам современной войны! Из горкома специальное отношение принес!.. Все свое красноречие употребил! Два дня и две ночи, калина-малина, применял разные тактические приемы, пока не добился...

Шашура сообщил с гордостью, что вчера заявлялся сюда Туровец: все осмотрел, все обследовал, — остался доволен. Обещался помочь.

— Между прочим, сказал,— подмигнул Шашура,— что из меня может выйти серьезный хозяйственник! Вот какие, товарищ Вася, дела на моем пищевом участке!..

Возбужденный подрывник вдруг круто изменил речь, сообщил, что завтра, по точным сведениям, их бригада прибудет в Минск. Так что Василь должен настроиться на одну встречу. Шашура посоветовал:

— Ты смотри, покрепче держи ее, Валюху свою! Чтобы кто-нибудь, часом, не перехватил!..

— Не п-перехватит!..

— Ты твердо уверен?

— Больше, чем в с-себе! — горячо объявил Василь.

— Э-э, брат! — пожурил его Шашура.— Ты послушай опытного человека: бабам не очень верь! Есть, правда, одна, на которую можно надеяться! Даже больше, чем на себя. Но ты ее не знаешь, — в глазах Шашуры сверкнули игривые огоньки. — Это моя вдовушка...

4

В тот день Туровец увиделся с Марией Андреевной. Он привел ее на улицу Карла Маркса, туда, где мимо Дома Красной Армии спускается вниз к Свислочи и парку широкая бетонная лестница. Здесь, в старом двухэтажном доме, была его квартира.

— Вот мои пенаты! Заходи, знакомься,— пригласил он, открывая дверь.

Мария Андреевна оглядела комнату и засмеялась:

— Ничего не скажешь — пенаты! Пусто, неуютно, как в погребе. Будто и не жил никто.

— А ты, по правде говоря, не ошиблась. Я был тут всего раз или два... Живу и сплю пока в основном в горкоме, по-походному. Правда, совсем не потому, что отвык от оседлой жизни. Ты не думай, что я неисправимый бродяга. Все некогда было прибрать тут. А пока жилье это, как ты говоришь, похоже на погреб, я и не стремился к нему. Не люблю, когда неуютно!..

— Ага, догадалась: надо создавать уют?

— Именно. Единственно верный вывод!

— Задача ясна. Значит, за дело?

— За дело! Сейчас же!

Он принес откуда-то ведро, сходил — или, вернее, сбегал — за водой. Куском проволоки привязал к столу отломанную ножку, проверил, прочно ли стоит стол теперь. Маша следила за ним и весело подсмеивалась: смешно было видеть его за таким занятием!..

Но вскоре Туровец спохватился и, взглянув на часы, не без смущения сообщил: должен быть в горкоме. Дело одно важное будет решаться. И необходимо его, Туровца, участие...

Она взглянула на него с упреком, с нарочито горестным выражением:

— Начинается! Я так и думала, что создавать уют буду в основном я.

— Обязательно надо быть, Маша. Обязательно, понимаешь? Но как только освобожусь, я сразу вернусь под твое начало. И притом — охотно!.. А пока — все отдаю во власть твоих рук и вкуса!..

Мария Андреевна осталась одна. Она была полна ощущения счастья. Как хорошо будет жить в комнате, а не в землянке! У них теперь комната, настоящая комната! После землянок она кажется невероятно просторной, а окна — небывало широкими и светлыми! Здесь вместе с ней будет жить ее Ничипор! Как это еще странно — ее Ничипор! Был — комиссар, Туровец, пусть она его давно любила, но все же — комиссар, Туровец. Человек для всех. А теперь — ее Ничипор! Ее судьба. Все время думая о своем Ничипоре, о необычной, невообразимой жизни здесь, она с удовольствием хозяйничала. Теперь она казалась простой домохозяйкой, какой ее мало кто представлял.

Приехал партизан и привез на тачанке письменный стол, диванчик, вещевой мешок, подушку, связку разных книг. Все это он поставил и положил в коридоре и в углу комнаты...

Когда он уехал, Мария Андреевна снова принялась хозяйничать: мыть стекла, косяки, отдирать полоски бумаги с немецкими буквами, оставшиеся с зимы. Уставшая, с пятнами грязи на лице, на белой кофточке, порозовевшая, осматривала она комнату и в сотый раз размышляла, куда что поставить. Она никогда не предполагала, что будет с таким удовольствием заниматься устройством своего жилья.

За что бы она ни бралась, ей все хотелось сделать так, чтобы это понравилось Ничипору. Вещи были для нее не просто вещами, а как бы живыми существами, состоящими в каком-то родстве с любимым ею человеком,— вещи Ничипора!

Стол Мария Андреевна поставила у окна так, чтобы Ничипор, если будет сидеть за ним, мог видеть простор за окном. На стол положила несколько недочитанных книг, и показалось, что он работал уже за столом. В толстой тетради лежал деся-

ток фотографий. Одну из них, на которой был снят Юрий в военной форме, она поставила возле книг.

Сын похож лицом на него,— таким, наверное, был и Ничипор в молодости. Глядя на карточку, она подумала о первой жене Ничипора, матери Юрия, и ощутила вдруг словно вину, словно укор совести. Но разве она в чем-нибудь виновата перед той, погибшей? Перед сыном, который должен стать ее, Маши, сыном? Она любит его отца и хочет быть счастливой...

Поймет ли Юрка ее и Ничипора? Знает ли он, что и в тридцать пять и в сорок лет хочется любить и жить в счастье? Как он будет относиться к ней?

Мария Андреевна вспомнила свою Светку, оставленную так давно в деревушке на Витебщине, с бабушкой. Невыносимо захотелось: скорее забрать дочь сюда — Светка ведь наверняка так соскучилась по ней, матери! Светка — по маме, а мать — по ней! Вот сразу после парада и надо поехать, забрать!..

Она так увлеклась делом, что не заметила, как шло время. Не заметила, как вошел Ничипор. Он вдруг обнял ее и закрыл рукой глаза, словно велел угадать: кто?

— Пусти. Испачкаешься!.. У меня руки грязные,— попросила Мария Андреевна.— И волосы растрепались! Так ты меня и разлюбишь, чего доброго!

— Боюсь, что случится обратное! — Он поцеловал жену в висок и отпустил.

Осмотрелся удивленно. Это удивление было для нее наградой.

— Ну, ты, оказывается, способна чудеса делать!.. Я и не думал, что строгая докторша может быть такой хозяйкой. Если б я, доктор, не видел тебя здесь своими глазами, я мог бы подумать, что ошибся адресом...

Он взял ее руки в свои ладони и нежно сжал.

— В таких случаях, Маша, кажется, справляют новоселье. А чем мы хуже других?

Он вынул из свертка, который принес с собой, бутылку водки, выложил на стол закуску.

Когда они сели за стол, Туровец взглянул на портрет сына — вот еще кто должен был бы здесь быть!

— Выпьем, Ничипор, за Юрку! — сказала Мария Андреевна, словно угадав его мысли.— Чтобы он прошел дорогу свою счастливо и вернулся здоровым...

Туровец помрачнел: «Эх, так и не пришлось повидаться с Юркой! Как обидно получилось...»

Марию Андреевну наполняла тихая, спокойная радость. Она вспомнила бывшего своего мужа Анатолия, но это, обычно неприятное, воспоминание не принесло сейчас горечи. Все то прежнее кончено навсегда, и хорошо, что кончено. Но почему она, наперекор своему чувству, держалась за ушедшее?

Почему она колебалась, не решалась идти навстречу счастью? Почему сомневалась? Чудачка!

Туровец сказал, смеясь:

— Я, кажется, сегодня понимаю, как хорошо одиночество.

— Какое ж это, Ничипор, одиночество? Мы ведь вдвоем...

— Мы — одно, единое!..

ГЛАВА X

1

Минск готовился к празднику — параду партизан. Еще за неделю до парада из разных концов Белоруссии начали сходиться в столицу партизанские бригады, отряды, группы. Они занимали не только все улицы в центре города, но и поселки на окраинах — Козырево, Грушевский и другие окрестные деревни, таборами располагались в перелесках, а то и прямо в поле.

Дома не могли всех вместить, на пустырях и в садах вырастали палатки и шалаши из брезента, одеял, скошенной травы. Многие из приезжих устраивались под повозками, прямо под высоким небом...

У больших партизанских котлов усердствовали повара, помешивали суп, подкладывали дрова в огонь...

Никогда еще за всю войну не было в Минске такого оживления. По улицам гарцевали-красовались на конях лихие комбриги и начштабы со своими «свитами», разведчики, связные.

Бродили поодиночке и в обнимку девушки и женщины с винтовками и автоматами, загорелые, чубатые парни в кепках, пилотках, красноверхих казацких кубанках, молодецки надвинутых на ухо. Слышались смех, веселые возгласы, залихватские переборы гармошки... Вот он, в великий час, тот Минск, который гитлеровцы так стремились задушить. Минск — ликующий, торжествующий. Живет, кипит, хмельной от ощущения силы, от радости победы.

Вот они, скромные дети верной, непокоренной Белоруссии, слава о которых во время войны прошла по всему миру.

Подрывники, разведчики, мастера диверсий... Ходят захмелевшие от счастья, от тишины, от мирного покоя, от того, что исполнили самое главное.

Ермаков в первый день приезда встретился с бывшим своим комиссаром. Вошел в кабинет Туровца, шутливо доложил, что бригада закончила боевые операции.

— Слышал кое-что, Коля,— Туровец от души обнял друга.

Ермаков рассказал, что совершила бригада за дни после

отъезда Туровца. Ермакову казалось, что они давным-давно не видались с комиссаром...

— Молодцы. А вот нам так, похоже, нечем похвалиться, — признался Туровец. — Усердствуем, усердствуем, дорогой, а результатов — вроде никаких. Совсем почти не заметны.

— Ну, работы здесь, Ничипор,— делай не переделаешь. На много лет хватит. Всем на полную выкладку. Всем. Скажи, как здесь наши? Как себя ведут?

Внимательно, настороженно слушал Туровца: не подводят ли бригаду, не позорят? Нет, Туровец доволен ими, хвалит...

— Ну, хватит разговоров! — Туровец стал собираться: пригласил Ермакова домой к себе, «на чарку» по случаю встречи...

...И вот наступило шестнадцатое июля. Необычный, неповторимый день.

С самого утра из всех уголков Минска — с Комаровки, со Сторожевки, от Червенского тракта, с улиц, раскинувшихся за железнодорожными путями, из ближайших поселков и деревень двигались к широкому лугу в излучине реки, к бывшему ипподрому, колонны партизан и толпы городских жителей.

Туровец зашел к Алексею, и они вдвоем тоже направились к месту парада. Их накануне пригласили на правительственную трибуну. Туровца от горкома, а Алексея от офицеров и бойцов танковой бригады, освобождавшей Минск. Мария Андреевна утром пошла к своим помощникам, чтобы участвовать в последней, как она шутила, бригадной «операции».

На огромном зеленом пространстве на берегу тихой Свислочи, что полукругом огибала это красивое место, из конца в конец переливалось, волновалось необозримое людское море. В этом море, как огненные паруса, ярко, необычно празднично пламенели флаги, транспаранты, плакаты...

Такого множества народа в одном месте, на виду, Алексей, вероятно, ни разу не видел за всю войну. Ему вспомнились демонстрации в честь Первого мая или Октябрьских праздников в Минске, перед войной. Пестрое движение лиц, одежд, флагов на площади Ленина... И вот все снова возвращается.

Все? Нет, не все, — вонзилось воспоминание о Нине. Сейчас, на людном празднике, кипевшем радостью и песнями, вспоминать ее было особенно больно. Словно задели живую рану...

Видно, где-то здесь ее подруги, многие из ее товарищей. Им посчастливилось дожить до этого дня. Почему же Нины здесь нет? Туровец с Алексеем не сразу пошли к трибуне, некоторое время бродили среди толп людей, ища знакомых, беседуя. До начала митинга оставалось еще немало времени. Алексей смотрел вокруг и слушал со смешанным чувством. И горько было в душе, неизбывно горько, и сквозь горечь пробивалось любопытство. И как бы просветляла чужая радость. И странным казалось все вокруг, как бы непостижимым.

Около двенадцати Алексей с Туровцом направились к трибуне, над которой возвышались два огромных развернутых флага. Они явились туда чуть раньше времени: вскоре на трибуну по деревянной лестнице уже поднимались члены правительства, секретари ЦК партии, представители жителей города, делегаты от армии.

Стоя на трибуне, Алексей видел неподалеку от себя знакомую фигуру секретаря ЦК партии Пономаренко, рядом с ним оживленного, молодцеватого Черняховского.

Море, необъятное людское море было вокруг. Тысячи людей смотрели на трибуну, когда начал говорить секретарь ЦК партии.

2

Он поздравил минчан с освобождением белорусского народа. Огромная площадь ответила на поздравление радостными возгласами, аплодисментами, партизанским «ура».

— Разрешите,— глуховатым голосом, необычно взволнованно заговорил Пономаренко,— от вашего имени передать слова любви и благодарности тому, кто ведет нас от победы к победе,— нашей славной Коммунистической партии...

Снова всплескивает ликующее «ура» десятков тысяч людей. По плацу из конца в конец, как прибой, перекатывается, звенит:

— Ура родной Коммунистической партии!

— Да здравствует наша великая Родина!

Вместе с секретарем ЦК люди благодарят войска трех Белорусских и Первого Прибалтийского фронтов, что принесли свободу миллионам белорусов...

Алексея от ощущения разлива всеобъемлющего счастья снова остро пронзила боль о Нине: почему она не дождалась этого дня!..

Словно угадав мысли Алексея, Пономаренко начал говорить о том, что пришлось пережить людям в фашистской неволе. Сквозь свою боль Алексей отметил с особой чуткостью: секретарь ЦК сообщил — в неволе погибли «сотни тысяч людей»!

Сотни тысяч! Сотни тысяч людей уничтожили современные людоеды, своры бесноватого фюрера! Сколько матерей потеряли своих сынов и дочек, сколько детей осталось сиротами! Сам того не замечая, Алексей в эту минуту взглянул на свое горе иначе, чем раньше. Он почувствовал не только свое горе, но и горе всего народа.

Какое оно большое, это горе! Горе народа!..

Весь плац замер в напряженном молчании. Молчание было грозным, наполнено единым гневом огромного людского моря.

Но вскоре звучание голоса секретаря ЦК изменилось,— Пономаренко заговорил о героизме народа, о боевых делах партизан.

«Она погибла не напрасно!» — в который раз утешает себя, думает Алексей о Нине. Мысль эта по-прежнему не приглушает боли. По-прежнему боль проникает все чувства и мысли.

Каждое слово секретаря Центрального Комитета Компартии Белоруссии люди ловят затаив дыхание,— все шумное море затихло, вслушивается, как один человек.

Оратор напоминает о том трудном пути, который через три долгих года борьбы привел народ к освобождению. Его весомые, мужественные слова идут к тысячам людей, чувствуется: волнуют, будят мысли и воспоминания. Тысячи людей вслед за ним, видимо, оглядываются на прошлое, перебирают в памяти события последних лет.

Большинство, вероятно, вспоминало партизанские походы, бои с гарнизонами, тяжелые блокадные испытания, дни в оккупированном Минске, а Алексей свое — снежные дороги в донских степях, встречу с матерью, последний бой под Минском, когда он чуть не погиб...

— Товарищи минчане! Партизаны и партизанки! — голос Пономаренко окреп, стал торжественным.— Вы показали себя доблестными патриотами в эти страшные три года, вы не покорились врагу. Теперь перед вами стоит задача — не покладая рук работать над восстановлением родного Минска, родной Белоруссии... Большую помощь нам оказывают партия и правительство, нам помогает вся страна. Уже идут первые эшелоны с подарками из Горького, Перми и других городов. Мы залечим раны нашей прекрасной столицы!

— Залечим!..— поклялось людское море.

Я

Когда закончился митинг, началась подготовка к параду.

Алексей видел, как бригады и отряды выравнивали ряды. В колоннах здесь и там звучали команды, пробегали, озабоченно осматривая свои подразделения, командиры... Постепенно плац начал затихать.

— Парад, смирно!! — властно прозвучало над площадью.— Равнение направо!.. По отря-а-адам, шагом марш!..

Первой перед трибуной проходит бригада имени Воронянского, возникшая в начале войны здесь же, в Минске. Наблюдая за строгими рядами партизан, Туровец рассказывал Алексею: командиру бригады, Василию Трофимовичу Воронянскому,

не довелось дожить до этого дня, он трагически погиб, перелетая линию фронта.

Вслед за ней идут «щорсовцы», «чапаевцы», «чкаловцы», «кировцы»... Гарцуют на украшенных цветами конях партизанские кавалеристы, неслышно катятся, оставляя след на траве, трофейные противотанковые пушки-«тридцатисемерки»... Вот шагают перед трибуной, старательно ровняют ряды отважные солдаты «Штурмовой бригады», пустившей под откос двести вражеских эшелонов... Одна за другой перед минчанами проходят Первая, Вторая, Третья минские бригады, в которых воевали многие жители столицы.

— Мои, мои идут! — взволнованно шепчет Алексею Туровец, кивая головой в сторону бригады, впереди которой печатает строевой шаг торжественный Ермаков... Туровец с увлечением показывает Алексею Габдулина, Дрозда, Василя Крайко... Василь шагал со своими боевыми друзьями... И Василь, и Шашура...

На некоторое время строгую атмосферу парада вдруг сменило веселье, шутливые восклицания. Перед отрядом на площадь вышел козел, перекрещенный ремнями, обвешанный немецкими железными крестами и медалями. Козел, словно понимая свою незавидную роль — побитого гитлеровского вояки, уныло трясет бородой, покорно ковыляет на поводу за уходящим отрядом...

Снова сменяются ряды партизан, катятся пушки. Проходят славные бригады «Буревестник», имени Пономаренко... Бригада имени Ворошилова, до прихода Красной Армии освободившая Копыль. Бригада «Беларусь», выбившая гитлеровцев из Руденска...

— Подумать только,— задумчиво, сдержанно произнес Алексей,— таких людей сотни тысяч... Народные армии...

Туровец, ощущавший сложное состояние Алексея, дополнил мягко:

— За каждым из них, капитан, были десятки мирных людей, что помогали нам...

Этим войскам, кажется, не будет конца. Люди разных возрастов, с разным оружием, одетые в самую разнообразную одежду. Вот она, сила, душа народная!

Было ли еще когда-либо в Минске такое необычное, так много раскрывающее в душе и судьбе народа зрелище? .. Когда возвращались с Туровцом домой, Алексей какое-то время шел молча. В душе была все та же противоречивость мыслей и чувств. Не утихала обострившаяся боль о Нине, жалость, сострадание к ней, обида на жестокую судьбу! Могла бы ведь пощадить, оставить Нину, а вот же так беспощадно, в последние дни погубила. Но в эти чувства и мысли входили, теснили их новые, связанные с увиденным на митинге и на параде. Они

тоже волновали, держали Алексея в возбуждении. Все время ощущая боль и обиду за судьбу Нины, он грустно думал об увиденном. Наконец заговорил:

— Раньше, помню, было модным писать о нас: белорусы — тихий, почти безвольный народ, хорошие землекопы... Басни рассказывали о нашей покорности и терпеливости. Ах, какие несчастненькие, какие обиженные... Прочитаешь, бывало, и ничего не остается, как пожалеть этих бедных людей...

— Жалостные были писания! — отозвался Туровец, тоже задумчиво, мягко.

— Знаешь, Ничипор Павлович, что я подумал на параде? Вот пусть бы, подумал, эти чувствительные плакальщики встали из могил да посмотрели, хотя бы сегодня, на нас — «несчастненьких» да «покорных»... — Заметил: Туровец хотя и молчит, но слушает с интересом. — Сами выдумали и поверили, что это правда... Целыми годами и писали, и говорили, и плакали — «бедненькие»! А здесь вот какой он, народ, — воин! Можно было сегодня подумать, что этот народ будто создан для битв!.. Ну ничего,— в голосе Алексея вместе с непреодолимой печалью слышалась гордость, — теперь весь мир увидел, как этот бедный народ упорен и силен и, если надо, воинствен... Он с автоматом и гранатой умеет, оказывается, справляться не хуже, чем с плугом. Не хуже. Кто-кто, а воинственные арийцы в этом хорошо убедились...

— Хорошо — на собственной шкуре!

— Теперь, может, немного поумнеют и те, у кого еще не болела шкура, но чешутся руки...

— Дай бог! — не то недоверчиво, не то шутливо сказал Туровец.— Пора уже им поумнеть!..

ГЛАВА XI

I

Андрей Шабунек шел по улице, не чувствуя под собой ног. Он только что вылез из кузова военного грузовика, который подвез его из Минска в родные Поплавы.

Как было Шабуньку-младшему не спешить! Ведь он так давно не виделся с мамой, так соскучился по ней. Кроме этого, для радостного настроения были и другие причины: вчера, перед парадом, ему вручили серебряную партизанскую медаль. Парень все не мог нарадоваться, непрестанно посматривал на кружочек медали, что, как солнце, сияла на его длинноватом пиджачке.

Подумать только, у него такая же медаль, как и у Туровца и у Василя!

У Андрея в руках была немецкая винтовка, правда, без патронов, а на шапке ярко алела лента. По всему было видно, что человек возвращается с войны, и не как-нибудь, а со славой!

Он вошел на родной двор, показавшийся ему странно тихим и тесным. На месте пепелища теперь были сложенный партизанами фундамент и несколько рядов сруба, лежали обструганные смолистые бревна. В траве кое-где валялись несобранные мелкие щепки и желтели, как высевки, опилки.

Матери не было дома. Живица, проходивший мимо, сказал, что она в поле, за огородами: там ее бригада окапывает картофель.

— Бригадиром она теперь у нас, сынок...

Андрей направился в поле. Он узнал мать еще издали. Она работала вместе с женщинами, не заметила Андрея, но маленький Володька, вертевшийся возле матери, сразу навострил на него глаза. Выросшая картофельная ботва закрывала мальчика почти по плечи.

— Длей! — крикнул Володька.

Цепляясь за ботву, спотыкаясь, он стал пробираться к брату. Тогда мать разогнулась, бросила пучок травы, который держала в руках, и тоже пошла к Андрею, как всегда не спеша. Она вытирала руки о юбку.

Подошла, глянула на чрезвычайно серьезное лицо сына, едва сдерживающего улыбку широкого счастья, и, скрывая глубоко волнение, как бы не веря, что перед ней в самом деле сын, грубоватым голосом сказала:

— Андрей? Пришел, деточка моя?

— Приехал! Из самого Минска! Всего два часа ехали — аж ветер глаза режет... Шофер, знаешь, такой боевой хлопец: у него машина летит все равно что самолет!.. Хват шофер...

— Надолго, сынок?

— Теперь насовсем... — И прибавил: — Ну, п-правда — отвоевался. Кончили, мама... Теперь будем начинать новую жизнь...

Все такая же суровая с виду, она обняла его мягко, и, покоренный материнской нежностью, он сразу забыл, что хотел быть важным и сдержанным, как взрослый. По-детски преданный, отзывчивый, весь отдаваясь душевному порыву, он прижался головой к ее груди: как хорошо, когда обнимает мать!

— Тепель будем нёвую...— повторил Володька слова брата.

А мать шершавой твердой ладонью ласкала непокорный чубчик и приговарила, сдерживая слезы:

— Вернулся!.. Радость ты моя, надежда моя...

2

Откуда-то из-за сада вырвался свежий ветерок. Девушка запахнула пиджак, накинутый на плечи, сказала озабоченно:

— Надо, видно, идти домой... Холодновато становится...

— Вот выдумала, ну п-правда, в июле — холодно... Хорошо, что хоть в-вечерняя духота п-прошла, легче стало дышать!..

Она не возражала. Несколько минут они стояли молча, держась за руки.

— Ты помнишь,— снова заговорила девушка,— как ты застал в лесу этого Ермакова со мной. Он же прямо вытащил меня из землянки. Болтал что-то, все хотел меня рассмешить. И я сама не знаю, как засмеялась, а тут — как нарочно — ты!.. Эх, как мне обидно тогда было... Я после того просто видеть его не могла...

Василь слушает совершенно спокойно, — нет у него теперь ни ревности, ни обиды. Он вроде сам не понимает себя прежнего, удивляется минувшим тревогам своим: чудак был, ну, правда!

Валя упрекает его, тоже без обиды:

— А ты будто ничего не видел. Глупый ты мой!..

Василь осторожно привлекает ее к себе.

— Ты не сердись... Думаешь, п-почему я ревновал? Я хотел, чтобы все у нас было чистым и ясным. Если любить, так любить. Чтобы все твое, вся душа принадлежала любимому. До к-конца, одному! Вот как я думаю...

Они стояли у забора. Давно прошел теплый и темный вечер и лунная полночь, начинался рассвет, а они все не расходились. Как же они могли разойтись, если им предстояло надолго расстаться: Василю ведь надо в Москву, учиться. Они то медленно ходили по улице, то стояли у заборов. Влюбленным, счастливым, им весь мир казался полным счастья. Они видели рядом руины, они знали, что есть много несчастных, но их собственная радость была так прекрасна, что перед ней все отступало. Там, где парили их мысли и желания, было счастливо и светло. Только воспоминание о прошлом заставило Валю помрачнеть.

— Сколько я за тебя переволновалась! Особенно когда тебя оставили в заслоне под поселком. Прямо думала, не переживу. Трудно все-таки любить в войну! — вздохнула девушка.— Пусть бы она скорее кончилась, чтобы все могли любить радостно и без тревог!

— Не надо горевать о том, что было. Ну п-правда, оно ведь уже прошло! — Он ладонью нежно поднял ее голову, глянул в темные глаза, хорошо видные в утреннем полумраке.

Девушка опомнилась.

— Нет, все-таки надо идти: смотри, уже совсем рассвело. Прямо не знаю, как я буду смотреть маме в глаза...

Она сняла с себя пиджак и накинула Василю на плечи.

— Так ты часто будешь писать?

— Каждый день!.. Валя, скажи, т-только откровенно,— он порывисто сжал ее руку,—ты меня сильно любишь?

— Разве об этом спрашивают? Сам должен видеть...

— Скажи, ну правда! — настаивал он.

— Люблю. Так люблю, как никого,— серьезно, с какой-то торжественностью ответила она.— Знаешь, мне даже кажется, что я... даже маму свою... меньше... Только ты ничего не думай, — я и ее очень...

— Я хочу, чтобы ты меня всегда так любила! Чтобы мы всегда любили друг друга!.. Сильно!..

— Я тоже, Вася... хочу этого...

Он уезжал в Москву в то же утро — уставший от бессонной ночи, но счастливый.

3

Алексей Лагунович оставлял Минск в тот же день.

Перед отъездом он в последний раз зашел к Туровцу.

— Уже назад? У тебя ведь срок отпуска не кончился, да и рука не совсем в форме.

Ничипор Павлович по-товарищески упрекнул Алексея за то, что не хочет серьезно лечиться.

— Надо было бы дожить до конца отпуска: сколько его всего-то. И ехать совсем здоровым... А впрочем, может, ты и прав: там, видно, скорее заживают раны... Ну, возвращайся живым и бодрым, и обязательно к нам, в Минск!

На перекрестке улиц Карла Маркса и Володарского Алексей случайно встретился с Клавой.

— Еду к своим, на фронт! — сообщил он.

— А как же рука?

— А что с ней, с рукой,— заживет... Что вы пожелаете мне на дорогу?

— Что?.. Счастья, удачи. Там, на войне, и — везде... Всегда!

— Счастья? Самое большое мое счастье теперь — дочка... Заходите к ней, Клава, когда будет время... Она будет рада вам... И бабушка будет довольна... Одни остаются...

— Зайду...

Он резко и сильно пожал ее руку и зашагал домой. Клава не выдержала, оглянулась. Смотрела так, будто хотела надолго запомнить его.

Когда он исчез за поворотом улицы, в ее сердце что-то щемяще заныло.

О своем решении ехать раньше срока Алексей сказал Наталье Михайловне вчера, но мысли об отъезде волновали его непрестанно уже несколько дней. Все сильнее тянуло Алексея на фронт. Все сильнее звали его туда мысли о Нине, жажда мести за ее смерть. Все больше думал он о родном батальоне, о товарищах, с которыми прошел от Смоленщины до Минска. Он тосковал по ним, беспокоился за них. Как там командует батальоном новый командир? Ценит ли и бережет ли офицеров и экипажи?

Нет, не с легким сердцем покидал Алексей Минск. Надо было бы, конечно, еще побыть с дочкой, обогреть ее отцовской лаской. Надо было бы помочь старухе, которая горевала по Нине. Да и рана Алексея не совсем зажила. Но рассуждения эти уже не могли сдержать Алексея.

Дома Наталья Михайловна неожиданно подала ему два письма.

— Только что принесли.

Еще не читая, по почерку и маленькому красивому конверту Алексей догадался: от Гогоберидзе. Наконец-то! Сандро писал:

«Дорогой друг! Как ты живешь? Какими были эти дни у тебя? Если ты радуешься, то мы разделяем с тобой эту радость. А если какая-нибудь печаль? Будь мужественным. И знай, что мы всегда с тобой, душой и сердцем. Мы сейчас далеко от тебя, друг. Твоя Беларусь уже позади. Сейчас мы идем по литовским дорогам. Скоро-скоро настанет время, когда наши «тридцатьчетверки» ворвутся в берлогу того шакала, который осмелился пойти на нас с мечом. Мы уже близко от границы. Как только поправишься, приезжай!

Твой до конца жизни Сандро».

Второе письмо было от Быстрова и Солнцева. Командир орудия писал, что подошли к большой реке, которую он не называл. Как догадался Алексей, это, видимо, был Неман. Читая письмо, Алексей представлял насмешливую улыбку сержанта, когда Быстров писал о своем товарище: «А Солнцев, если вас интересует, по-прежнему спит каждую свободную минуту, — по моим подсчетам, уже на полгода вперед выспался». Солнцев тут же, в приписке, просил Алексея не верить Быстрову: «Все, что он написал обо мне, — брехня. Я почти не сплю, потому что все время в походе. А машина в полном порядке. Так что будьте спокойны и приезжайте, одним словом!»

«Приеду. Скоро приеду!» — взволнованно подумал Алексей.

Наталья Михайловна и Люда провожали его. Он хотел взять дочь на руки, но она пожелала идти сама, подав одну руку бабушке, а вторую отцу.

Втроем остановились у регулировочного поста, где среди улицы стояла русая загорелая девушка с флажками. Алексей решил ехать на попутной машине. В то время через Минск таких машин проходило на фронт много.

— Пап, — Люда подняла на Алексея озабоченные глазки, — а... немцы не придут сюда, когда ты уедешь?

— Нет, дочурка. Не пустим их.

— Не пускай, они очень плохие. Такие поганые!

— Товарищ капитан! — крикнула регулировщица.— Попутная!

Алексей заторопился. Обнял Наталью Михайловну, на глазах у которой выступили слёзы, поднял на руки дочь. В волнении, с любовью вгляделся в ее, такие знакомые, Нинины, глаза.

Люда вдруг нервно скривила губки. Прильнула, прижалась к нему, обхватила за шею. Будто просила защитить, не покидать. Видно, детской душой почувствовала действительное значение события, которое должно забрать у нее отца.

У Алексея сжалось сердце. С невыразимым состраданием и нежностью, с жалостью и с ощущением вины, запутанности жизни чувствовал он на шее мягкие ручонки. У груди — беззащитное, бесконечно дорогое существо.

Она сама сняла руки, вдруг требовательно сказала:

— Ты скорее возвращайся... а то я буду скучать...

Ее слова задели глубины души Алексея. Самые болезненные, отзывчивые его чувства.

— Вернусь, дочурка моя... Обязательно вернусь...

— Смотри же, вернись! Мы с бабушкой будем ждать.

Алексей поцеловал ее в лобик, в щечки, осторожно поставил на землю.

Закинул за плечо вещевой мешок, шинель взял на руку и сразу побежал к машине. Вскочив в кузов, где уже сидело несколько военных, Алексей оглянулся. Дочка махала ему своей маленькой, слабой ручкой — серьезная, задумчивая.

Стоя в грузовике, он помахал в ответ фуражкой. Машина резко рванула с места, понеслась по улице, подбрасывая кузов на неровной мостовой. Две фигурки на тротуаре начали стремительно удаляться. Пока видел их, Алексей все махал рукой тем двоим.

Вскоре дочка и старуха исчезли за поворотом улицы. По сторонам бежали каменные и деревянные дома, проскакивали телеграфные столбы...

Но душа его была полна теми двоими. Тоской прощанья. Любовью и жалостью к дочери. И болью о Нине. Больше

всего — жалостью и болью. «Скорее возвращайся, папа... Мы будем ждать».

...Да, жизнь его имеет смысл. Он едет на фронт, за которым еще живы те, кто погубил его счастье, Нину, кто угрожает еще его малышке. Кто превратил в развалины его город...

Он не знает, кто именно убил Нину. Но он знает, кому мстить. Ему известно, кто выучил убийц, кто прислал их сюда, нацеливал дула их автоматов.

Он не даст себе покоя до конца войны. Или до смертного своего часа...

У него есть дочь. Если суждено будет вернуться, он посвятит свою жизнь ей. Он сделает так, чтобы ее годы, как и годы ее подруг, были счастливыми, безоблачными. Чтобы никто никогда не мог отнять у них радость жизни, будущее.

Минск
1947—1952, 1953

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ. ТУЧИ НА РАССВЕТЕ. . . 7

КНИГА ВТОРАЯ. МИНСК ЗА ГОРИЗОНТОМ. 335

КНИГА ТРЕТЬЯ. БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ. . . . 589

Мележ Иван Павлович
МИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

М., «Советский писатель», 1973, 760 стр.
План выпуска 1972 г., № 221.

Художник Л. М. Хайлов
Редактор А. И. Чеснокова
Художественный редактор Д. С. Мухин
Технический редактор В. Г. Комм
Корректоры С. И. Малкина, И. Ф. Сологуб и Л. К. Фарисеева

Сдано в набор 9/I 1973 г. Подписано в печать 26/IX 1973 г. Бумага 60×90$^{1}/_{16}$, типогр. № 2. Печ. л. 47$^{1}/_{2}$ (47,5). Уч.-изд. л. 49,3. Тираж 100 000 экз. Заказ № 646. Цена 1 р. 57 к.

Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

1 р. 57 к.